



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

P Slav 176.25

Bound

MAY 21 1909



Harvard College Library

FROM THE

PRICE GREENLEAF FUND

Residuary legacy of \$711,563 from E. Price Greenleaf,
of Boston, nearly one half of the income from
which is applied to the expenses of the
College Library.

ВѢСТНИКЪ

Е В Р О П Ы

СОРОКЪ-ТРЕТІЙ ГОДЪ. — ТОМЪ V.

ГОДЪ LXXIII. — ТОМЪ CDXXVII. — ¹/₁₄ СЕНТЯБРЯ 1908.

1386-7/2

ВѢСТНИКЪ Е В Р О П Ы

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

ДВѢСТИ-ПЯТЬДЕСЯТЪ-ТРЕТІЙ ТОМЪ

СОРОКЪ-ТРЕТІЙ ГОДЪ

ТОМЪ V

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:
Васильевскій-Островъ, 5-я линія,
№ 28.

Экспедиція журнала:
Петербургская-Сторона,
Бронверкская ул., 21.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1908

psław 176. 25



8770



КНИГА 9 в. — СЕНТИБРЬ, 1908.

I.—ЛЮБЬ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОМУ.—По 28-мъ году (1908 г.) — Алексей Ивановичъ.	5
II.—ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБЬ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОМЪ. — 1-XXII.—Сергей Семинъ.	7
III.—РА ОДНО СЛОВО? — Рубина, съ предисловіемъ Дмит. Толстого — Н. С. Морозова.	94
IV.—КРИСИСЪ ВЪ МАКЕДОНСКОМЪ ОСВОБОДИТЕЛЬНОМЪ ДВИЖЕНІИ — Н. Каминкова.	72
V.—ВЪ ТОЛСТОВСКОМЪ БОЛОНІИ. — По письмамъ корреспондентамъ. — I-V. — А. М. —.	104
VI.—ТВОРЧЕСТВО А. П. ЧЕЛОВА, ЕГО МОТИВЫ И НАБЛ. — Кривонозовъ — IV-V. — Очерки. — А. П. Кривонозовъ.	140
VII.—РАБА САРОМА. — Повести. — I-VII. — Ольга Шаниръ.	170
VIII.—РАВНІЕ ГОЛЫ И Г. ЧЕРНЫШЕНСКАГО. По исторіи русской общины и литературы. — Очерки. — VIII-X. — Н. Е. Витринская.	234
IX.—ПРЕДЪИ. Романъ Лаврентіа Асютска — „Асютскъ“, by Gertrude Ahabov. — Очерки. — Часть третья: I-X. — С. —. О. Ч.	254
X.—РАБ. ПРОБЛЕМЪ ОНЪ УТРАЧЕНІИИ ПЕРЛОКА ШЕРТЕНЪ-ДАНУКАЛА. 1-4 — О. Чопинъ.	294
XI.—ПУТОВІЕ МОЛОДОЙ ПУШЕНЪ. — О. Гавриле Мадонна-де-Дакъ, реда- торъ. — Очерки. — Часть третья: VII-VIII — Часть четвертая: I-III — См. филол. А. П.	297
XII.—РАБНИКА. — Л. П. ТОЛСТОЙ. — 1828-1861 г. — К. Б. Арсеньевъ.	300
XIII.—ВНУТРЕННЕЕ ОБЩИНІЕ. — Периодическое издание греко-латинскихъ со- чиненій. — Периодическое издание латинскихъ сочиненій. — Въ каждой книжкѣ, содержащейся общинныя письма (1861-1862 г.) — Периодическое издание латинскихъ сочиненій. — Периодическое издание латинскихъ сочиненій. — Периодическое издание латинскихъ сочиненій. — Периодическое издание латинскихъ сочиненій.	311

ЛВУ НИКОЛАЕВИЧУ Т О Л С Т О М У

На 28-ое августа 1908 года *).

Твой разумъ—зеркало. Безмѣрное оно,
Склоненное въ землѣ—природу отражаетъ:
И ширь, и глубь, и высь, и травку, и зерно...
Весь быть земной оно въ себѣ переживаетъ.

Работа зеркала безъ усталы идетъ.
Оно глядитъ въ міры—духовный и тѣлесный;
И повѣствуетъ намъ всей жизни пестрый ходъ,
То съ мудрой строгостью, то съ нѣжностью прелестной.

Въ немъ отразился міръ съ подробностями весь;
Ему препоны нѣтъ ни сумрака, ни дали;
И видны тамъ черты, которыхъ люди здѣсь,
Въ духовной слѣпотѣ, пока не замѣчали.

* Писатель Алексѣй Михайловичъ, можно подумать, какъ бы въ предчувствіи жерги (сконч. 25 марта 1908 г.) и какъ бы желалъ, чтобы и его голосъ во всякомъ случаѣ, среди привѣтствій Льву Николаевичу въ день достиженья восьмидесятилѣтія жизни (род. 28 августа 1828 года), — весьма заблагоразсудилъ свой привѣтъ юбиляру, но хотѣлъ, конечно, сначала представить свое стихотвореніе въ рукописи, и только уже послѣ того помѣстить его. Какъ мы знаемъ, семья покойнаго такъ и распорядилась.—*Ред.*

Но люди есть еще (и между ними — я),
Чьи убѣжденія сложились иначе;
Иные чтутъ красы земного бытія;
Насущны для другихъ политиче задачи...

Но все же ты для насъ — свѣтильникъ на горѣ.
О, продолжай учить, на старости прекрасной,
О царствѣ Божіемъ, о мирѣ, о добрѣ!
Тебѣ все вѣдомо, осмыслено и ясно.

Туманно лишь одно прозрѣнію твоему:
Все сущее твой умъ и познаетъ, и судить;
Но грань воздвигнута и гению!.. Ему
Все вѣдомо, что есть; но темно то, что будетъ.

АЛЕКСѢЙ ЖЕМЧУЖНИКОВЪ.

5 марта 1908 г.



ВОСПОМИНАНІЯ

О

ЛЬВѢ НИКОЛАЕВИЧѢ

ТОЛСТОМЪ

I.

Первая моя встрѣча съ Львомъ Николаевичемъ Толстымъ произошла въ концѣ 1886 года. Я былъ тогда девятнадцатилѣтнимъ парнемъ чернорабочимъ и жилъ на окраинѣ Москвы, на фабрикѣ. Выгнанный нуждою изъ деревни съ одиннадцати лѣтъ, я до того времени скитался по разнымъ мѣстамъ, жилъ въ Москвѣ, Петербургѣ, на югѣ Россіи. Это скитаніе, всевозможныя положенія, столкновенія съ разнаго рода людьми вынуждали меня задумываться надъ положеніемъ человѣка вообще и трудового въ частности и съ разныхъ точекъ оцѣнивать отношенія людей другъ къ другу. Образованія я никакого не получилъ, даже не былъ въ сельской школѣ, которыя въ то время у насъ были очень рѣдки и поэтому мало доступны. Читать и писать я выучился кое-какъ дома самоучкой. Какъ только я выучился читать, я полюбилъ чтеніе и оно стало для меня самымъ цѣннымъ изъ доступныхъ мнѣ духовныхъ удовольствій. Читалъ я все, что попадется, и, конечно, больше изъ лубочной литературы. Когда же я выросъ, на народномъ рынкѣ появился новый родъ литературы для народа—изданія „Посредника“. Впечатлѣніе этихъ изданій какъ на меня, такъ и на всю ту среду, въ которой я

тогда находился, было громадное ¹⁾. Подъ вліяніемъ ихъ для меня отерлся новый взглядъ на все окружающее и у меня появилось неотразимое желаніе самому писать. И я сталъ писать. Когда я окончилъ свой первый рассказъ, прочиталъ его своимъ сосѣдямъ на фабрикѣ, рассказъ произвелъ самое желательное для меня впечатлѣніе. Мое настроеніе передалось другимъ, и это меня очень окрылило, и я сталъ думать пустить свой рассказъ въ свѣтъ. Изъ образованныхъ знакомыхъ тогда у меня былъ только одинъ бывшій ученикъ технической школы, работавшій въ одной типографіи, какъ корректоръ. Я обратился къ нему за совѣтомъ, какъ мнѣ лучше поступить. Тотъ, узнавъ о томъ, что главнымъ образомъ толкнуло меня на писательство и какого характера мое писаніе, заявилъ, что самое лучшее мнѣ обратиться въ „Посредникъ“, а такъ какъ въ этомъ издательствѣ большое участіе принималъ Л. Н. Толстой, то завести переговоры съ нимъ.

Въ то время настоящая литература нашему брату была почти недоступна. О произведеніяхъ автора „Войны и Мира“ я зналъ только то, что они существуютъ, а читать ихъ у меня не было никакой возможности. Но послѣ того, какъ я прочиталъ „Чѣмъ люди живы“ и „Ивана дурака“, Л. Н. Толстой сталъ властителемъ моихъ думъ и чувствъ, и все, что ни попадалось мнѣ—книжки, газеты, листки, гдѣ стояло его имя—притягивало меня, какъ магнитомъ. А въ это время въ Москвѣ какъ-разъ появился его увеличенный портретъ, гдѣ онъ былъ снятъ со сложенными по-наполеоновски руками, съ мужицкимъ проборомъ на головѣ и съ суровымъ, укоряющимъ взглядомъ. Я ни разу не могъ пройти мимо, чтобы не взглянуть на этотъ портретъ, и меня всегда поражала пророческая суровость этого лица. Мнѣ дѣлалось жутко. И когда я представилъ себѣ необходимость предстать предъ оригиналомъ этого портрета, то меня приводило въ трепетъ и я думалъ, что—нѣтъ, этого не можетъ быть, этому не случиться.

Но время шло. Рукопись моя лежала, и я прямо не зналъ, какъ ее иначе двинуть. Пришлось узнавать, гдѣ живетъ этотъ графъ Толстой. На мое счастье Левъ Николаевичъ оказался живущимъ въ Москвѣ, въ Хамовникахъ. Выпросившись у хозяина, я взялъ свою рукопись, приложилъ на всякій случай къ ней письмо со своимъ адресомъ, еслибы я не засталъ графа дома, и отправился изъ Соболевниковъ въ Хамовники.

¹⁾ О значеніи этой литературы для простомудина я уже говорилъ въ моей книжкѣ: „Въ родной деревнѣ“.

Я легко разыскалъ нужный мнѣ домъ, вошелъ во дворъ, позвонилъ у крыльца, и вдругъ мнѣ объявили, что графа нѣтъ, онъ еще не прїѣзжалъ изъ деревни, но не сегодня-завтра прїѣдетъ, и предложили мнѣ оставить, что у меня было, для передачи ему. Въ виду охватившаго меня волненія, которое усиливалось при представленіи о наступающемъ моментѣ свиданія съ великимъ человѣкомъ, я былъ даже радъ такому обороту. Оставивъ рукопись, я возвратился къ себѣ и сталъ ожидать, что будетъ. И вдругъ, черезъ два или три дня, я получилъ открытку, извѣщающую меня, что Л. Н. Толстой желаетъ переговорить со мной по поводу моей рукописи и проситъ зайти въ такіе-то часы, когда мнѣ будетъ угодно...

II.

Никогда не забуду того глубокаго волненія, въ какомъ я подходилъ во второй разъ къ историческому дому въ Долго-Хамовническомъ переулкѣ. Сколько усилий мнѣ нужно было употребить, чтобы перешагнуть порогъ этого дома. Я нѣсколько разъ прошелся взадъ и впередъ по тротуару, укорялъ себя, что стыдно такъ робѣть. Наконецъ я собрался съ духомъ и позвонилъ. Меня встрѣтилъ слуга и спросилъ, что мнѣ нужно. Я объявилъ, что пришелъ узнать насчетъ рукописи. Слуга пошелъ съ докладомъ. Вотъ онъ возвратился и заявилъ, что если я самъ Семеновъ, то графъ проситъ къ себѣ. Мы поднялись по лѣстницѣ съ мягкой суконной дорожкой и вошли въ просторный залъ. За длиннымъ столомъ сидѣли какія-то дамы, помню фигуру молодого военнаго и нѣсколько человѣкъ статскихъ. Думая, что мнѣ придется объясняться съ графомъ въ этомъ непривычномъ для меня обществѣ, я почувствовалъ, что у меня подламываются ноги... На мое счастье лакей не остановился здѣсь, а пошелъ дальше, спустился по лѣсенкѣ и узкимъ корридорчикомъ подвелъ меня къ угловой комнатѣ и отворилъ дверь.

И только я вошелъ въ эту дверь и увидалъ стоявшаго посреди комнаты высокаго, плотнаго человѣка съ темными волосами и подернутой сильной просѣдью бородой, въ сѣрой блузкѣ, юдопоясанной простымъ ремнемъ, я почувствовалъ, что робость оя исчезла, волненіе пропало; я сразу понялъ, что это не тотъ уродливый библейскій мужъ, такъ пугавшій своимъ видомъ, образъ котораго я нарисовалъ, глядя на его портреты. Передо мной стоялъ совсѣмъ другой человѣкъ: живой, сердечный, внимательно

глядѣвшій. Онъ не дождался моего поклона и привѣтливо сказалъ:

— Добро пожаловать, добро пожаловать.

Взглядъ и голосъ Льва Николаевича совершенно разсѣяли во мнѣ всю робость, и я почувствовалъ себя свободно и радостно. Мнѣ сейчасъ вспомнился глубокой евангельскій духъ этого человѣка, такъ пылавшій со страницъ „Чѣмъ люди живы“, „Богъ правду видитъ“, „Гдѣ любовь“, и это давало твердость прямо и свободно говорить, что тебя занимаетъ и волнуетъ.

Левъ Николаевичъ усадилъ меня на кожаное кресло, сѣлъ самъ на диванъ, поджавши подъ себя одну ногу, и сталъ спрашивать, кто я такой. Я вкратцѣ разсказалъ свою исторію. Онъ спросилъ, какъ я учился, что читалъ, какъ написалъ разсказъ. И когда я разсказалъ, онъ объяснилъ мнѣ, что разсказъ ему понравился, онъ ближе къ жизни, чѣмъ развивавшій ту же тему разсказъ Эртеля „Жадный мужикъ“; ему хочется его напечатать, но предварительно его нужно исправить. Въ немъ есть повторенія, потомъ о характерахъ только разсказывается,—нужно такъ, чтобы характеръ обрисовывался поступками. Тогда онъ сильнѣе запечатлѣвается. Онъ вернулъ мнѣ рукопись и выразилъ увѣренность, что я смогу улучшить разсказъ. Потомъ онъ сталъ спрашивать, что я читалъ и что мнѣ больше нравится изъ изданій „Посредника“. Попутно въ разговорахъ о книжкѣ Левъ Николаевичъ переходилъ и на тѣ явленія, которыя задѣвались въ разсказахъ, и мнѣ ясно вырисовывалось его отношеніе къ этимъ явленіямъ. И это отношеніе оказывалось такимъ вѣрнымъ, такимъ глубокимъ, что приводило меня въ восхищеніе и я чувствовалъ, что въ немъ дѣйствительная мудрость.

Мнѣ и той публикѣ, среди которой я жилъ, такъ восхищавшимся разсказами „въ родѣ притчъ“ самого Л. Н. Толстого, Лѣскова, Эртеля и другихъ, несовсѣмъ былъ ясенъ только-что изданный разсказъ Гаршина „Четыре дня“, и я высказалъ это. Левъ Николаевичъ слегка удивился.

— Это прекрасная вещь, — сказалъ Левъ Николаевичъ, — тамъ психологія человѣка, отражающаго ужасъ войны. Вѣдь война ужасное дѣло среди людей, и въ разсказѣ чувствуется этотъ ужасъ.

Я сказалъ, что нашему брату это чувство не передается.

— Это потому, что наши писатели пишутъ, забывая о простомъ народѣ. Для народа хорошо выходитъ у тѣхъ писателей, кто самъ знаетъ народъ и живетъ съ нимъ. Вотъ у насъ скоро будетъ изданъ разсказъ... его написалъ одинъ служащій изъ

трактира, я нашелъ его въ Тулѣ, онъ описалъ одинъ житейскій случай и такъ просто, вѣрно, что всѣмъ будетъ понятно...

— Противъ войны хорошъ рассказъ „Братъ на брата“, — замѣтилъ я.

— Да, этотъ очень хорошъ. Онъ взятъ изъ романа Виктора Гюго „Девяносто-третій годъ“.

Я сталъ говорить, какъ мало у насъ хорошихъ литературныхъ произведеній для народа. Какая гниль идетъ въ нашу среду съ лубочнаго рынка, а между тѣмъ нашъ братъ настолько непросвѣщенъ, что во многихъ случаяхъ не можетъ отличить чернаго отъ бѣлаго, особенно въ томъ положеніи, которое появилось послѣ воли. До „Посредника“ не было почти ни одной хватающей за душу книжки, — по крайней мѣрѣ, онѣ не проникали въ деревню.

— Да, да, это вѣрно, — соглашался Левъ Николаевичъ, — о народѣ мало заботы, но вотъ „Посредникъ“ уже намѣчаетъ кое-что, у него скоро появится календарь, потомъ отдѣлъ полезныхъ свѣдѣній. Нужно работать.

Когда я сталъ прощаться, Левъ Николаевичъ предложилъ заходить къ нему, когда у меня будетъ свободное время. Я, конечно, былъ несказанно обрадованъ этимъ приглашеніемъ. А когда вышелъ отъ него и сталъ разбираться въ своихъ ощущеніяхъ, то почувствовалъ, что послѣ этой бесѣды я значительно возмущалъ: площадь жизни передо мной расширилась и я видѣлъ, что у меня появилось множество задачъ, которыя нужно будетъ разрѣшить.

III.

При первомъ случаѣ, когда у меня вышло свободное время, я рѣшилъ воспользоваться предложеніемъ Льва Николаевича и придти къ нему. Меня тянуло къ нему, чтобы въ бесѣдѣ съ нимъ укрѣпить пробудившееся сознаніе, что въ жизни рѣшеніе всѣхъ житейскихъ бѣдъ можетъ быть достигнуто только житьемъ „по Божьи“, въ любви ко всѣмъ, какъ говорилось въ „Чѣмъ люди живы“, въ трудѣ и воздержаніи, какъ проповѣдывалось въ сказкѣ „Объ Иванѣ дуракѣ“, а служеніе Богу можетъ быть правильнымъ только такое, какъ указывалось въ рассказѣ „Два стага“. Особенно мнѣ хотѣлось побесѣдовать съ нимъ потому, что я недавно прочелъ въ одномъ столичномъ листкѣ, какъ въ номъ изъ московскихъ монастырей собирались архипастыри и ихъ сужденіе о религиозныхъ заблужденіяхъ графа Л. Н. Тол-

стого. Читая евангеліе и сравнивая выводы Л. Н. съ евангельскимъ ученіемъ, я видѣлъ, какъ одно поясняетъ другое, и понять не могъ, въ чемъ же онъ заблуждался?

На этотъ разъ я встрѣтилъ Льва Николаевича выходящимъ изъ воротъ на прогулку. Онъ предложилъ мнѣ пройтись съ нимъ, и мы пошли. Я сейчасъ же поспѣшилъ выложить ему, что меня смущало, и Левъ Николаевичъ сталъ объяснять. Онъ сказалъ, что, изучая евангельское ученіе, онъ постигнулъ всю его сущность. Эта сущность поразила его, какъ нѣчто новое и неожиданное. Въ ней—несомнѣнная истина, а эта истина была затемнена тѣмъ, что недобросовѣстные и слабые люди приравнивали это ученіе къ своимъ слабостямъ и приписками и толкованіями исказили его сущность. Онъ занимается теперь разборомъ этого ученія. Эту работу онъ приравнивалъ къ работѣ художника, нашедшаго прекрасно изваянную статую. Въ теченіе множества лѣтъ, когда статуя находилась въ забросѣ, къ ней прикасались грязными руками, на нейросло столько копоти и пыли, что ея первоначальный видъ сталъ совсѣмъ искаженъ. Его работа состоитъ въ томъ, чтобы освободить статую отъ грязи, но это нужно сдѣлать такъ, чтобы не задѣть первоначальной формы, не исказить ея красоты.

— Такъ какое же дѣло до этого пастырямъ?—спросилъ я.

— Очень просто какое дѣло. Имъ вовсе не дорого христіанство, имъ дороги ихъ установленія, какія завели они.

— А съ другой стороны на меня идутъ нападенія,—заявилъ Левъ Николаевичъ, — со стороны тѣхъ людей, которые хотятъ уничтожить неправду, но думаютъ сдѣлать это тѣми же средствами, какими неправда поддерживается. Зломъ хотятъ изгнать зло. Это все равно, какъ еслибы на телку, которая забѣжала въ хлѣбъ, сѣсть верхомъ и выгонять кнутомъ: такимъ средствомъ и телку скоро не выгонишь, и хлѣба гораздо больше натопчешь, чѣмъ бы сама телка съѣла.

Я согласился, что безъ нравственной основы ничего прочнаго создать нельзя, что надѣяться на что-нибудь можно, когда у людей будетъ въ душѣ сознаніе вѣковой правды. Я сталъ рассказывать про гибель людей отъ самихъ себя, которые безъ внутреннихъ устоевъ попадаютъ въ городъ, увлекаются чувственными удовольствіями. Я хотѣлъ описать даже одинъ изъ такихъ случаевъ.

Левъ Николаевичъ одобрилъ мое намѣреніе и сказалъ, что онъ сейчасъ пишетъ драму въ такомъ родѣ... Называться она будетъ: „Коготокъ увязъ, всей птичкѣ пропасть“.

И онъ сталъ разсказывать мнѣ содержаніе ея. Дойдя до того мѣста, гдѣ Никиту осѣняетъ мысль, что людей бояться нечего, что ничего бояться не нужно и нужно принять одну только правду, — Левъ Николаевичъ вдругъ заплакалъ. Нечего говорить о томъ впечатлѣніи, какое произвели на меня сюжетъ драмы и отношеніе къ ней автора.

Мой первый разсказъ послѣ новой моей обработки былъ посланъ въ редакцію „Посредника“ въ Петербургъ. Тамъ его процenzуровали и прислали Сытину, чтобы напечатать. За разсказъ мнѣ пришлось нѣсколько десятковъ рублей гонорара. Я рѣшилъ, что жить въ городѣ для меня больше не имѣетъ смысла. Мнѣ нужно ѣхать въ деревню и начинать земледѣльческую жизнь. Когда я пришелъ проститься съ Л. Н., Левъ Николаевичъ очень сердечно со мной распростился. Онъ далъ мнѣ свое сочиненіе „Въ чемъ моя вѣра“ и отрывокъ изъ статьи „Такъ что-же намъ дѣлать“.

Когда я пріѣхалъ въ деревню и сталъ читать „Въ чемъ моя вѣра“, то оказалось, что мнѣ не такъ-то легко было постигнуть философскія обоснованія новой вѣры. Это были не тѣ яркіе образы, которые были въ его народныхъ разсказахъ, но все-таки я понялъ, что новое религиозное міропониманіе значительно разнится отъ того, которое проповѣдывалось церковью.

Во „Въ чемъ моя вѣра“ не было утвержденія, что будетъ загробный судъ, отрицалось возмездіе, все опредѣлялось для человека въ настоящемъ, и это для меня было неожиданно опекляюще.

Вѣра въ возмездіе за гробомъ коренилась въ моей душѣ съ ранняго дѣтства. Еще очень маленькимъ—можетъ быть, лѣтъ пяти или шести—я какъ-то забрался къ себѣ въ горенку, и тамъ нашелъ двѣ старыя закоптѣвшія лубочныя картины. Одна изображала прекрасную дѣву съ золотымъ вѣнцомъ на головѣ, а другая—юношу, закованнаго въ латы, съ мечомъ и трубой въ рукѣ. Я принесъ эти картины въ избу и сталъ спрашивать свою бабушку, что изображаютъ эти картины. Бабушка стала объяснять мнѣ, что юноша—это Михаилъ Архангелъ, а дѣва—Екатерина-великомученица.

— А зачѣмъ же у него труба?

— А зачѣмъ, что когда придетъ конецъ свѣта—онъ пойдетъ надъ землею и затрубитъ въ нее: „Вставайте, живые и мертвые, на судъ Божій“...

— А зачѣмъ людей судить будутъ?

— А затѣмъ — кто какъ жилъ: кто жилъ праведно, по-Божьи, того святые ангелы поведутъ въ рай, а кто грѣшилъ, того нечистые потащатъ въ адъ.

— А что будетъ человѣку въ аду?

— Посадить его въ горячую смолу, онъ и будетъ въ ней вѣчно горѣть.

— И никогда его не выпустятъ?

— Никогда. Людямъ сказано: нужно праведно жить, — затѣмъ же они отступали? Вотъ Господь и накажетъ ихъ за это.

Меня такъ это поразило, что я не удержался и заревѣлъ. Бабушка стала меня утѣшать и говорить, что что-жъ этого бояться, не нужно только грѣшить. Будешь помнить законъ Божій, ну и не попадешь; нельзя же оставлять беззаконниковъ безъ наказанія. — Это меня успокоило. Но я никогда не забывалъ того чувства, которое охватило меня при разсказѣ о страшномъ судѣ и объ адскихъ мученіяхъ, и понемногу привыкъ думать, что это неизбѣжно, но это справедливо, что въ этомъ огромный смыслъ.

И вдругъ теперь открывалось, что этого не будетъ... Такое утвержденіе мнѣ казалось невѣроятнымъ, ненужнымъ, несправедливымъ. Несмотря на все довѣріе къ правильности толкованія христіанства Львомъ Николаевичемъ, я не могъ легко принять его утвержденіе. Приходилось крѣпко задумываться, чтобы разрѣшить этотъ вопросъ.

IV.

И вопросъ остался нерѣшеннымъ. Подошла весна. Наступили полевые работы. До сихъ поръ, когда я пріѣзжалъ на побывку въ деревню, я участвовалъ только въ работахъ второстепенныхъ: на покосѣ и въ жнитвѣ; теперь же приходилось впрягаться въ главные: пахать, бороновать, сѣять. Работы пошли успѣшно, годъ выдался хорошій, все шло порядкомъ, ожидался обильный урожай. Это очень занимало. Другое, что меня захватывало, это постепенно развѣтывавшееся предо мной превосходство земледѣльской работы надъ другими отраслями чернаго труда. Помимо утвержденія сознанія, что ты производишь самое необходимое для людей и поэтому твой трудъ имѣетъ важное значеніе, открывались незнакомыя многимъ радости отъ того, въ какихъ условіяхъ этотъ трудъ происходитъ. Человѣкъ становится лицомъ къ лицу съ природой; она развѣтываетъ передъ нимъ всю свою красоту, и эта красота дѣйствуетъ на душу такъ, что

тяжелый трудъ кажется истиннымъ наслажденіемъ. Это раннее вставаніе и выѣздъ въ поле, когда только-что всходитъ солнце, трава и листья облиты еще росой, чистый и ароматный воздухъ звенитъ пѣніемъ проснувшихся птицъ. Отерываются картины на горизонтѣ, доносится звукъ рожка пастуха или чье-нибудь пѣніе... тутъ и живопись, и музыка, и еще что-то такое, что создаетъ такое настроеніе, которое рѣдко вызывается первокласснымъ произведеніемъ искусства. А какъ хорошо думается, когда идешь за сохой или бороной! Левъ Николаевичъ одинъ, кажется, изъ всѣхъ писателей понялъ это, оцѣнилъ и описалъ это въ своей статьѣ „Въ чемъ счастье“.

Захватывало понемногу и то, что рядомъ съ тобой кипитъ жизнь и другое. Рождается и растетъ животное царство,—на глазахъ,—въ огородѣ, саду, въ лѣсу. Невольно приходится со всѣмъ соприкасаться, все возбуждаетъ интересъ и пріобрѣтаетъ въ твоихъ глазахъ особую цѣнность. Чувство дѣлается сложнѣй, сердце влечетъ въ одну и другую сторону, является рядъ вопросовъ, которые требуютъ разрѣшенія...

Особенно ясно мнѣ почувствовалось, какъ земледѣльская жизнь и жизнь на міру связываетъ съ людьми. Сталиваясь то съ однимъ, то съ другимъ на какой-нибудь работѣ,—на сходкѣ, на гуляньѣ, приглядываясь къ нимъ,—невольно въ каждомъ видишь какое-нибудь достоинство, какимъ несомнѣнно каждый человекъ и обладаетъ; эти достоинства вызываютъ уваженіе, а уваженіе не позволяетъ къ нему относиться какъ-нибудь; поэтому хочется подойти къ каждому ближе, быть съ нимъ тѣснѣй. Невольно чувствуешь необходимость держать себя миролюбиво, а когда устанавливается миролюбіе, чувствуется такъ легко, весело, радостно жить.

До сихъ поръ помню одну сцену въ первое лѣто. Дѣло было въ покосѣ; мы косили на опушкѣ лѣса, около большой дороги. Время подходило къ полдню, роса сошла, рубашки были мокрыя отъ пота, ломило руки и боляла спина, но изъ насъ изъ молодыхъ никто не тяготился усталостью, работали бодро, перекидывались шутками и ждали конца, чтобы соединиться въ группу и затянуть пѣсню. Вдругъ послышался колокольчикъ, на дорогѣ показалась тройка, и въ тарантасѣ какой-то господинъ, очевидно—откуда-нибудь издалека, намъ никому неизвѣстный. Этотъ господинъ, увидѣвши наши потные лица, мокрыя башки и вообразивъ себя, какъ намъ трудно на жарѣ работъ, очевидно, почувствовалъ что-то въ родѣ конфуза и снялъ редъ нами шляпу. Тройка побѣжала впередъ, и онъ долго

съ участіемъ глядѣлъ на насъ, а намъ было жалко его, сидѣвшаго въ тарантасѣ, ѣдущаго подъ солнцемъ по пыльной дорогѣ.

Даже крупныя перемены погоды, — разражавшаяся гроза, ливень, который заставлялъ въ полѣ и дѣлалъ много непріятнаго, — все-таки не были большимъ бѣдствіемъ и имѣли въ себѣ много привлекательнаго. Поэтому представленіе мое о превосходствѣ деревенской жизни надъ городской подтверждалось все болѣе и болѣе и укрѣпило мое намѣреніе остаться въ деревнѣ навсегда. Я рѣшилъ, что изъ деревни никуда не поѣду. Слѣдующей же осенью я женился, а такъ какъ съ наступленіемъ зимы по хозяйству работы было меньше и меньше, я углубился въ чтеніе и сталъ снова писать. Второй мой рассказъ былъ также принятъ въ „Посредникѣ“. По поводу моихъ писаній со мной вступилъ въ переписку неизвѣстный мнѣ тогда В. Г. Чертковъ. Въ своихъ письмахъ онъ обстоятельно говорилъ о всѣхъ достоинствахъ и недостаткахъ моихъ писаній. У двухъ писемъ, помню, были приписки Льва Николаевича, который соглашался со всѣмъ, что мнѣ писалъ Чертковъ, и желалъ мнѣ успѣха въ этомъ направленіи.

V.

Зимою, все-таки, мнѣ захотѣлось съѣздить въ Москву. Меня тянуло повидаться со Львомъ Николаевичемъ, поговорить и кое-что выяснить. Несмотря на открывшіяся мнѣ привлекательныя стороны деревенскаго житія, я не могъ закрыть глазъ и на рѣзавшую глаза темноту ея. А темноты было достаточно; огромное невѣжество, отсутствіе стойкости съ нравственной стороны встрѣчались на каждомъ шагѣ. Наша деревня была несовсѣмъ обойденной со стороны судьбы. Надѣлъ она получила полный. Подъ бокомъ были помѣщичьи земли, которыя сходно сдавались подъ яровое и покось; дешево былъ дѣсъ. Но, все-таки, жизнь крестьянская была некрасна. Мало замѣчалось хозяйственности, чувствовалось равнодушіе къ религіозной сторонѣ, и это особенно ярко выражалось у православныхъ. Сектанты и старообрядцы стояли гораздо выше, и по хозяйственности, и по большей человѣчности въ обоюдныхъ отношеніяхъ; православные же порой доходили до послѣднихъ степеней безпечности, халатности и разгильдяйства; самые отчаянныя пьяницы были среди нихъ. Пьянство разоряло и ихъ самихъ, отъ него страдалъ и міръ, и сосѣди. Это было первымъ зломъ въ моихъ глазахъ

въ деревенскомъ быту, и мнѣ думалось, что съ нимъ слѣдовало начинать борьбу въ первую голову.

И когда я выяснилъ себѣ это, вдругъ получилъ извѣщеніе изъ Москвы, изъ семьи Толстого, что у нихъ образуется согласіе противъ пьянства; участники его соединяются въ рѣшеніи самимъ не пить и никого не угощать виномъ. Обмѣняться мнѣніемъ объ этомъ предметѣ мнѣ почувствовалось необходимымъ. Еще тянуло меня, не выйдетъ ли случая въ личной бесѣдѣ со Львомъ Николаевичемъ выяснитъ то, что для меня осталось неразъясненнымъ послѣ прочтенія „Въ чемъ моя вѣра“, а также подѣлиться своими огорченіями, на которыя я невольно натолкнулся по милости своего необычнаго для деревни занятія писательствомъ. Я еще только присматривался къ деревнѣ, впитывалъ въ себя, что давала она, вносить своего ничего не вносилъ. Но мое поведение стало освѣщаться какъ нѣчто ненормальное. Мои долгія сидѣнія по вечерамъ съ книгой или съ перомъ, сношеніе съ графомъ Толстымъ, про котораго одинъ извозчикъ рассказывалъ, что онъ ходитъ въ лаптяхъ и кафтанѣ, и однажды въ такомъ костюмѣ явился къ губернатору, и его сразу не пустили, и только потомъ, когда узнали, кто онъ, приняли, — полученіе очень видныхъ для деревни суммъ — вызывали большое недоумѣніе. Прежде всего выѣшало духовенство. Мѣстный священникъ объяснилъ моему отцу, что я попалъ въ сѣти. Левъ Толстой — злобредный человѣкъ и хитрый предприниматель. Онъ заставляетъ такихъ простачковъ писать, платить за это гроши, а самъ выдаетъ эти писанія за свои и получаетъ большіе капиталы. Отецъ мой такъ разстроился, что напился, отчиталъ меня какъ пропащаго и сталъ восо глядѣть на все, чѣмъ я занимаюсь.

Наша деревня находится хотя всего въ полтора верстахъ отъ Москвы, но въ то же время у насъ для сообщенія съ Москвой не только не было желѣзной дороги, но даже линеекъ. Сообщеніе для деревенскаго люда шло на возахъ съ овсомъ, который везли въ Москву изъ уѣзднаго города. Вхаты приходилось три дня, ночевать на постоялыхъ дворахъ, вставали до свѣта. Такая поѣздка была подвигомъ и на нее смотрѣли какъ на событіе.

Но я этотъ подвигъ совершилъ. У Толстого, какъ и въ прошлый разъ, я встрѣтилъ самый радушный пріемъ. За этотъ годъ онъ ло перемѣнился. Онъ сталъ спрашивать меня, какъ я живу, къ привыкъ къ работѣ. Я описалъ, какъ у меня шло лѣто, раззалъ, что очень трудно молотить, потому что не привыкъ цдить“. Левъ Николаевичъ сказалъ, что молотить всегда трудно

и ему, но другія работы легче. Узнавши, какимъ способомъ я добрался до Москвы, онъ очень одобрилъ такіе простые способы передвиженія, и сталъ рассказывать, какъ онъ прошедшей весной ходилъ изъ Москвы въ Тулу. Въ этотъ разъ, какъ я послѣ узналъ, онъ встрѣтился съ тѣмъ старикомъ, рассказомъ котораго навѣяна статья „Николай Палкинъ“, которую Левъ Николаевичъ тутъ же, въ избѣ, карандашомъ въ памятной книжкѣ и написалъ.

— Такія простые передвиженія хороши, потому что не отрываешься отъ людей, всегда то съ однимъ, то съ другимъ, и отъ нихъ что-нибудь получишь, и самъ можешь помочь... а главное, они очень дешевы.

Левъ Николаевичъ вспомнилъ идею какого-то американца, который утверждалъ, что пѣшкомъ скорѣе можно дойти, чѣмъ ѣхать по желѣзной дорогѣ. Я не понялъ, какъ это, — Левъ Николаевичъ сталъ объяснять.

— А вотъ какъ. Возьмемъ простаго рабочаго, который получаетъ 6 рублей въ мѣсяцъ, 20 копѣекъ въ день. Чтобы доѣхать отъ Москвы до Петербурга, ему нужно купить билетъ и заплатить около 9-ти рублей. Чтобы скопить 9 рублей, ему нужно проработать полтора мѣсяца, а если онъ пойдетъ пѣшкомъ, онъ дойдетъ съ небольшимъ въ двѣ недѣли...

— Многое, что кажется выгоднымъ, на самомъ дѣлѣ не такъ выгодно — и наоборотъ. Я читаю теперь изслѣдованіе одного заграничнаго ученаго, во что обходится человѣку устройство жилища, ежедневный обиходъ, и оказывается совершенно невѣроятное; нелѣпости, какія-нибудь ненужныя вещи ложатся большимъ бременемъ, вещи же важныя не могутъ быть завезены. Возьмите сельское хозяйство и поставьте его какъ слѣдуетъ: чтобы трудъ былъ разуменъ и цѣлесообразенъ, кромѣ труда нужно вложить въ хозяйство большую сумму; этотъ же работникъ пойдетъ въ городъ, поступитъ куда-нибудь въ услуженіе, — работая меньше, получаетъ въ пять разъ больше.

Я сказалъ, что выигрышъ отсюда все-таки плохой: большій доходъ сейчасъ же вызываетъ и большій расходъ, и человѣкъ все-таки остается неудовлетвореннымъ.

— Совершенно вѣрно. Легкіе и большіе доходы вызываютъ и расходы. Городъ всегда на сторожѣ, чтобы добытыя изъ него деньги не уходили. Онъ всѣ усилія употребляетъ, чтобы подсунуть за нихъ свои издѣлія, пріучаетъ каждого нуждаться въ нихъ. Этимъ онъ и существуетъ. Поэтому какъ ни вертятся работающіе люди въ городѣ, а все они въ проигрышѣ. Это все

равно какъ въ прежнее время въ трактирахъ были игры въ лото. Играютъ цѣлый день, одни игроки смѣняются другими, а въ концѣ концовъ въ настоящемъ выигрышѣ остается 'одинъ хозяинъ. Такъ же и тутъ...

Я рассказалъ о томъ, какъ въ прошломъ году, читая „Въ чемъ моя вѣра“, былъ смущенъ тѣмъ, что въ его объясненіи христіанства отрицается возмездіе.

— Я не могу этого постигнуть.

— А то какъ же? Возмездіе въ томъ смыслѣ, какъ учатъ обыкновенно, не можетъ быть. Потому что этимъ уничтожается понятіе о милосердіи Бога. Стало бытъ, онъ не милосердъ, когда жестокъ. А по христіанскому понятію Богъ есть любовь, и если человѣкъ хочетъ быть ближе къ Богу, пусть онъ стремится быть въ любви. А не хочетъ быть въ любви, онъ не будетъ въ Богѣ. Въ этомъ вся награда и наказаніе. Вы не читали моихъ переводовъ Евангелія?

Я сказалъ, что нѣтъ.

— А какая досада, что я не могу ихъ вамъ дать! Можетъ быть, это вамъ легче бы объяснило...

Стали разбирать новыя книжки, появившіяся за это время; многія были такъ же хороши, какъ и первыя изданія „Посредника“, другія слабѣе. Я рассказалъ, какія у меня являются новыя темы для писаній. Л. Н. очень одобрилъ ихъ и сказалъ, что нужно больше писать. Въ Москвѣ предполагается къ издательству народный журналъ „Сотрудникъ“, который будетъ издаваться у Сытина, что нужно и туда писать. Если книжки „Посредника“ имѣютъ такой успѣхъ среди народа, значитъ пришло время, когда людямъ нужно сообщать новую истину. За эту поѣздку въ Москву мнѣ пришлось ближе подойти къ той средѣ, которая окружала Льва Николаевича. Я познакомился съ его дочерью Маріей Львовной, бывшей тогда очень молоденькой, ходившей въ простыхъ ситцевыхъ кофточкахъ и державшей экзаменъ на народную учительницу, и съ однимъ изъ его сыновей. Потомъ встрѣтился съ одной дамой, помѣщицей изъ южной губерніи, которая тоже примыкала къ Толстовскимъ воззрѣніямъ на жизнь и была очень увлечена идеями обновленнаго христіанства. Узнавши, что я не читалъ Евангелія, переведеннаго и вложеннаго Львомъ Николаевичемъ, она записала мой адресъ и обѣщала мнѣ его доставить.

VI.

Моя новая знакомая выполнила свое обѣщаніе и прислала мнѣ „Краткое евангеліе“ Л. Н. Толстого. По прочтеніи этой книги у меня разсѣялись всѣ сомнѣнія, которыя вызвало „Въ чемъ моя вѣра“, и я сталъ въ состояніи усвоить новый взглядъ на христіанство.

Новое христіанство оказывалось такимъ стройнымъ, такимъ понятнымъ. Оно тоже обязывало на служеніе Богу, но не внѣшнее, какъ у церковниковъ, а внутреннее, ставило въ обязательство воспитаніе въ себѣ чувства любви и дѣятельнаго проявленія ея безотчетнаго, безкорыстнаго. Оно рѣшительно утверждало, что только въ любви можетъ быть спасеніе человѣка, потому что онъ пріобщается къ Богу, посылающему солнце на злыхъ и добрыхъ, который есть самъ любовь. Это исповѣдываніе ставило человѣка на твердую позицію и открывало новые горизонты. Теперь мнѣ понятно стало „Въ чемъ моя вѣра“,—необходимость ея заповѣдей, ужасъ и отвращеніе къ войнѣ. И все, что до сихъ поръ было неяснымъ въ ученіи Толстого.

Я далъ прочесть это „Краткое евангеліе“ одному земляку, который былъ болѣе меня начитанъ и писалъ стихи. У него впечатлѣніе отъ чтенія евангелія оказалось такое же, какъ и у меня. Подъ такимъ впечатлѣніемъ у него даже вышли довольно стройные стихи:

„Какъ долго я бродилъ во мракѣ заблужденія и тяжкое сомнѣніе въ душѣ своей таилъ! Какъ истины искалъ и какъ страдалъ я много,—темна была дорога, я свѣта не видалъ. Но вотъ услышалъ я глаголь твой вдохновенный, и стала отеро-венной мнѣ тайна бытія, и новый предо мной путь жизни вдругъ открылся, и ярко засвѣтился свѣтъ истины святой“...

Это дѣйствительно былъ свѣтъ, онъ освѣщалъ и твою собственную жизнь, создавалъ и упрочивалъ настоящія отношенія къ людямъ. Въ этомъ оказывается поразительный смыслъ и радость. Я писалъ Льву Николаевичу о своемъ состояніи. Онъ своими письмами еще болѣе поддерживалъ меня. Въ этомъ состояніи у меня вышли рассказы „Немилая жена“, „Марфуша сирота“, „Дворникъ“.

Несмотря на то, что мое внѣшнее положеніе становилось съ каждымъ годомъ тяжелѣе,—появились дѣти, хозяйство нужно было расширять, увеличилась нужда, обострялось отношеніе окру-

жающихъ, какъ къ живущему „не полюдски“,—но все-таки это самое время было такъ хорошо, что я считаю его самымъ лучшимъ въ моей жизни и съ радостью его вспоминаю всегда.

Слѣдующей зимой при посѣщеніи Льва Николаевича я еще больше узналъ его окружающихъ. Дама, приславшая мнѣ евангеліе, въ это время тоже гостила въ Москвѣ со своимъ мужемъ. Я встрѣчался съ ней у Льва Николаевича, ходилъ къ нимъ. Около Льва Николаевича сгруппировался тогда кружокъ кончающей университетъ молодежи: М. Новоселовъ, В. Рахмановъ, А. Будкевичъ и другіе, горѣвшіе желаніемъ поѣхать въ деревню и сѣсть на землю. Одни хотѣли заняться хозяйствомъ, другіе лечить народъ. Я познакомился съ ними и въ одинъ холодный ясный зимній вечеръ съ г-жей А., Львомъ Николаевичемъ и однимъ студентомъ отправился къ нимъ на Прѣсню, гдѣ въ квартирѣ кого-то изъ этого кружка собралась вся эта молодежь. Пошли разговоры. Поднялся вопросъ, какъ лучше разбираться въ противорѣчіяхъ, и какъ вести себя въ жизни, опираясь ли на букву евангелія, или на свой разумъ. Левъ Николаевичъ отдавалъ предпочтеніе разуму, ссылаясь на то, что разъ разумомъ признана истина въ евангеліи, разумъ лучше опредѣлить и поведеніе. М. Новоселовъ же не могъ согласиться съ этимъ. Онъ разуму не довѣрялъ, а предпочиталъ ему евангельское слово, и съ горячностью отстаивалъ это. Вышло что-то похожее на споръ. Левъ Николаевичъ понялъ это и заявилъ, что споръ всегда нехорошая вещь, и поэтому лучше отъ него воздерживаться и выяснять, что неясно въ самомъ себѣ. Новоселовъ не согласился и съ этимъ, и опять заспорилъ. Левъ Николаевичъ сказалъ, что ему не хочется участвовать въ словопреніяхъ, и мы стали собираться уходить.

Послѣ я узналъ, что эта молодежь дѣйствительно переѣхала въ деревню, въ Тверскую губернію, образовала что-то въ родѣ колоніи, стала хозяйствовать, лечить и учить крестьянъ и проповѣдывать непротивленіе злу, грѣховность судбищъ и отрицать церковность. Это не понравилось мѣстному духовенству; оно заявилось къ нимъ въ лицѣ благочиннаго и стало увѣщевать ихъ образумиться. Увѣщанія не подѣйствовали; тогда духовенство шло съ другого конца... Въ ихъ лѣсохъ стали поѣзживать естѣяне и рубить его, потомъ выловили въ пруду рыбу, потомъ али травить хлѣбъ, колонія стала распадаться, а самъ основатель ея отошелъ въ сторону отъ этого теченія и вскорѣ поупилъ на казенную службу...

VII.

Послѣ этой зимы личныя мои сношенія со Львомъ Николаевичемъ прервались на нѣсколько лѣтъ и поддерживались только письменныя. Вышло это потому, что Толстые перестали прїѣзжать на зиму въ Москву и оставались жить въ деревнѣ. Но зато мнѣ пришлось познакомиться съ людьми, близко стоявшими къ нему, исповѣдывавшими его взгляды. Прїѣхавши однажды въ Москву, я нашелъ въ Хамовникахъ только одного Л. Л. Толстого, который и объявилъ мнѣ, что въ Москвѣ скоро будетъ проездомъ въ Ясную Поляну изъ Петербурга В. Г. Чертковъ.

Съ Чертковымъ я много переписывался, но лично съ нимъ не встрѣчался. До этого времени онъ жилъ въ Воронежской губерніи, а это было довольно далеко отъ насъ. Его считали любимымъ другомъ Льва Николаевича, и кое-кто даже упрекалъ Толстого за исключительное отношеніе къ нему. Онъ былъ гвардейскій кавалеристъ, сынъ генерала, жившій въ молодости весело и бурно, потомъ, подъ вліяніемъ разныхъ событій въ семьѣ и, кажется, подъ вліяніемъ родственниковъ-евангеликовъ, ему открылись разныя несоотвѣтствія дѣйствительности съ христіанскимъ ученіемъ, въ особенности въ военной службѣ. Онъ бросилъ службу и уѣхалъ въ деревню. Въ деревнѣ онъ началъ было работать въ земствѣ, но вскорѣ и земское дѣло ему показалось ненужнымъ. Онъ шелъ глубже и глубже въ выясненіи жизненныхъ противорѣчій, и ему показался ненормальнымъ весь житейскій строй. Измученный сомнѣніями, онъ однажды встрѣтился съ однимъ изъ своихъ друзей, Р. А. Писаревымъ, и тотъ ему объявилъ, что такое состояніе испытываетъ не онъ одинъ, — тѣмъ же волнуется и Л. Н. Толстой, который написалъ на этотъ счетъ сочиненіе. Чертковъ тотчасъ же поѣхалъ къ Толстому, и первая же встрѣча и бесѣда сблизили этихъ людей настолько, что ихъ дружба и солидарность во всемъ главнѣйшемъ остались неизмѣнными навсегда.

Увидѣться лично съ Чертковымъ у меня давно было пламенное желаніе. Я узналъ подробно, когда онъ прїѣдетъ въ Москву, и пошелъ, чтобы встрѣтиться съ нимъ, на Николаевскій вокзалъ.

Чертковъ ѣхалъ въ Ясную съ Н. С. Лѣсковымъ. Чертковъ былъ высокій, красивый, съ обворожительными манерами. Лѣсковъ — уже старій, рыхлый, типа кабинетнаго человѣка, ходившій съ

перевалкой. Последнее время онъ тоже увлекался христіанствомъ; кромѣ раньше написаннаго разсказа „Христосъ въ гостяхъ у мужа“, онъ обработалъ нѣсколько легендъ стариннаго Пролога, и они готовились къ печати въ „Посредникѣ“, съ иллюстраціями И. Е. Рѣпина. Съ Николаевского вокзала мы переѣхали на Курскій вокзалъ, и въ ожиданіи поѣзда завелась бесѣда. Говорили о церковности, объ отношеніи народа къ христіанству, объ извращеніи Евангелія. Лѣсковъ находилъ это извращеніе огромнымъ; онъ авторитетно заявилъ, что христіанство настолько ясно выражено въ четырехъ Евангеліяхъ, что вся другая литература, даже Посланія и Дѣянія не уясняютъ его, а только путаютъ, поэтому вся она имѣетъ чуть ли не отрицательное значеніе.

Мы условились съ Чертковымъ повидаться на обратномъ пути его изъ Ясной, и я сталъ ждать его возвращенія. Обратномъ изъ Ясной Чертковъ ѣхалъ съ художникомъ Н. Н. Ге, который выставилъ въ Петербургѣ свою картину „Что есть Истина“. Ге былъ уже старый, съ бѣлой бородой, яснымъ взглядомъ, одѣтый въ поношенную шубу и валенки, и очень живой человѣкъ. Остановились они на однѣ сутки у Л. Л. Толстого. Я сталъ спрашивать о Львѣ Николаевичѣ; мнѣ сказали, что ничего, здоровъ, бодръ; работаетъ, но подробностей Чертковъ не описывалъ, онъ былъ что-то расстроенъ, и только по отзыву Н. Н. Ге я почувствовалъ, что тамъ живетъ несовсѣмъ покойно.

— Развѣ такую жизнь ему нужно?—сказалъ Ге.—Онъ думаетъ за весь человѣческій родъ, а на него въ этой области нуль вниманія,—постоянная суетня, мелочи, придирки, эти гости... ф-у-у!

Николай Николаевичъ досталъ, кажется, акварельную копію своей картины и сталъ ее объяснять... Онъ мастерски прочелъ то мѣсто евангелія, которое относилось къ ней, объяснилъ, почему онъ изобразилъ такимъ Христа и Пилата, и отъ объясненій картина вдругъ ожила; старикъ сообщилъ ей необыкновенную силу, которая послѣ, какъ оказалось, не всѣмъ была понятна.

А Чертковъ везъ въ Петербургъ „Крейцерову сонату“; она уже ходила по Москвѣ литографированная, но это была не окончательная редакція,—окончательная редакція была у него. Еще изъ художественныхъ писаній Льва Николаевича была только что оконченная комедія „Плоды просвѣщенія“. Она печаталась въ сборникѣ, посвященномъ памяти Юрьева. Но эту еще Чертковъ не одобрялъ. Онъ не признавалъ достоинства за такими вещами, гдѣ не было религіозной тенденціи. Въ дѣлѣ

писательства онъ требовалъ религіознаго проповѣдничества, и чтобы это проповѣдничество не свелось къ ремеслу, онъ рѣшилъ, что за писаніе писатель не долженъ брать денегъ. Это—грѣхъ. Писаніемъ, какъ онъ говорилъ, мы служимъ людямъ, выводимъ ихъ души изъ тьмы, а въ этомъ случаѣ это служеніе обращается во что-то другое. Оно, по его мнѣнію, походило на то, какъ еслибы человѣкъ сталъ вытаскивать другого изъ воды и сталъ бы за это брать деньги,—тогда дѣло спасенія утопающихъ превратилось бы не въ спасеніе, а во что-то другое. Это было бы безнравственно; поэтому и плата за сочиненіе — дѣло безнравственное.

У старика Ге къ писательству было другое отношеніе. Онъ ставилъ на первое мѣсто художественность, оригинальность. Узнавши, что мои первыя вещи были написаны въ подражаніи, онъ сказалъ, что въ дальнѣйшемъ нужно будетъ отъ этого отдѣливаться; въ писательствѣ не нужно гнаться ни за какими образцами, а говорить свое личное. Малое свое будетъ гораздо лучше большого подражательнаго. Узнавши, что я не прошелъ никакой школы, онъ сталъ совѣтовать мнѣ больше читать классиковъ, по исторіи культуры. Онъ очень хвалилъ „Исторію культуры“ Кольба и совѣтовалъ мнѣ ее достать.

Отдохнувши послѣ дороги, Чертковъ и Ге отправились въ Петербургъ, а черезъ нѣсколько дней и я поѣхалъ туда же.

VIII.

До этого случая, въ Петербургѣ я былъ только мальчикомъ и видѣлъ его извнѣ; теперь же мнѣ пришлось проникнуть въ тотъ міръ, о которомъ я зналъ только по книгамъ. Чертковъ, у всторого я остановился, жилъ у своей родственницы на Выборгской Сторонѣ, жилъ очень просто; онъ занималъ небольшую квартиру на первомъ этажѣ; своего хозяйства не держалъ, обѣды брали въ помѣщавшейся внизу благотворительной столовой. У него была жена и грудной ребенокъ. А. К.—на была слабая физически, болѣзненная, но у нея была такая ясность сознанія, такая духовная опредѣленность, что она очаровала меня съ первой встрѣчи. Съ ней съ первыхъ же шаговъ хотѣлось говорить о самомъ душевномъ, выкладывать все, что было въ самой глубинѣ. Легко и незамѣтно проходило время въ разговорахъ. Она рассказывала о жизни въ своихъ мѣстахъ, о своихъ петербургскихъ знакомыхъ, писателяхъ, какъ имъ трудно было при-

вечь къ себѣ въ „Посредникъ“ выдающихся писателей. Они сколько разъ обращались къ Глѣбу Успенскому, чтобы онъ написать имъ для народа; онъ обѣщался, но до сихъ поръ обѣщанія не выполнилъ. Гаршинъ написалъ нѣсколько вещей, но цензура разрѣшила только „Сигналъ“, „Сказки о гордомъ Агтеѣ“ не пропустила... Заставила снять ихъ девизъ „Не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ“. Прежде, когда цензура не знала, какого общаго духа ихъ изданія, многія книжки одобрялись для обращенія въ войскахъ, тѣмъ болѣе что онѣ представлялись отъ Черткова, имя котораго въ военномъ вѣдомствѣ пользовалось почетомъ по заслугамъ отца и дяди. Теперь же невинныя вещи отъ его имени запрещаются, урѣзываются. Мой рассказъ „Солдатека“ никакъ не могъ быть проведенъ черезъ цензуру. Его напечатали было въ „Недѣлѣ“, но и тамъ у него искромсали конецъ и совсѣмъ изуродовали. Последнее время они уже стали представлять отъ разныхъ лицъ въ провинціальныя цензуры,—тамъ нѣсколько легче къ этому относятся... Я рассказывалъ о своихъ впечатлѣнїяхъ. И несмотря на то, что въ жизни было больше тяжелаго, чаще встрѣчалось торжество темныхъ силъ, все-таки послѣ разговоровъ столько было бодрости, прибавлялось силы; чистота души, любовь искренняя къ правдѣ, производили обаятельное впечатлѣнїе, и я чувствовалъ, что такую женщину я встрѣчаю въ первый разъ и такихъ женщинъ немного на свѣтѣ.

У Чертковыхъ въ качествѣ редактора народныхъ изданій жилъ И. И. Горбуновъ, только-что напечатавшій тогда свое стихотвореніе, навѣянное Л. Н. Толстымъ, „Въ Христову ночь“. Часто бывалъ П. И. Бирюковъ, тоже бывший петербургскій офицеръ, отказавшійся отъ службы и опростившійся. Приходили И. Е. Рѣпинъ, Ге. Ге выставилъ свою картину на передвижной выставкѣ. Но ее не такъ приняли, какъ хотѣлось старику. Ее осуждали за крайній реализмъ. И. Е. Рѣпинъ, восхищавшійся свѣтовыми тонами, говорилъ, что это не Христосъ, а пойманный революціонеръ. Христомъ были недовольны и многіе другіе. Николай Николаевичъ очень смѣялся надъ отношеніемъ къ его дѣтищу. „Они способны понять только такого Христа, какова напишетъ Нестеровъ. Нарисуетъ тощую фигурку, обведетъ голову мѣднымъ тазомъ, вотъ тебѣ и святость“... Онъ рассказывалъ, насколько малосодержательны картины на тогдашней передвижной выставкѣ, и приписывалъ это внутренней безсодержательности художниковъ.

Экземпляръ „Крейцеровой сонаты“, привезенный изъ Ясной Поляны Чертковымъ, былъ переписанъ, и повѣсть рѣшили про-

честь. Собрались литераторы, художники, молодежь. Квартіры Черткова не хватило. Пришлось перейти въ помѣщавшуюся внизу столовую. Между другими на чтеніе пришелъ Н. С. Лѣсковъ и сейчасъ же разсказалъ анекдотъ изъ харьковской жизни. Въ Харьковѣ издавалъ полуоффиціозную газету выкрещенный еврей. Несмотря на все усердіе показаться благонамѣреннымъ, онъ иногда сбивался и впадалъ въ либерализмъ; въ мѣстныхъ казенныхъ кругахъ очень смущались этимъ и не знали, чѣмъ объяснить. Кто-то въ шутку замѣтилъ объ этомъ архіерею и высказалъ соображеніе, что издателя плохо прокрестили. Но архіерей отвѣтилъ, что тутъ духовенство не виновато, а скорѣе кумъ. Онъ, очевидно, сплеховалъ и или не додунулъ, или не доплюнулъ...

Чтеніе „Крейцеровой сонаты“ началъ одинъ студентъ, потомъ его смѣнилъ К. С. Баранцевичъ, впоследствии описавшій этотъ вечеръ въ своемъ романѣ „Семейный очагъ“. Повѣсть своими выводами произвела ошеломляющее впечатлѣніе. Поднялись споры. Одни говорили, что то, что проповѣдуетъ авторъ, поведетъ къ гибели человѣчества; другіе находили, что проповѣдь воздержанія необходима, такъ какъ жизнь верхнихъ слоевъ общества вся сводится къ культу чувственности... Воздержаніе поможетъ человѣку въ большей степени проявить свои человѣческія особенности, потому что сократитъ дѣторожденіе, иначе человѣку грозитъ гибель отъ несоразмѣрнаго роста населенія. Споры въ этотъ вечеръ не закончились. Они продолжались и въ дальнѣйшія собранія.

Получались свѣдѣнія, какъ встрѣчалась повѣсть въ другихъ мѣстахъ Петербурга. Вездѣ она производила сильное впечатлѣніе и возбуждала споры. Болѣе благосклонно къ ней отнеслись въ крупныхъ литературныхъ кругахъ; ихъ восхищало то, что Левъ Николаевичъ взялся снова за художественную форму, отъ которой онъ было отсталъ. Его поѣздъ изъ туннеля вновь выскочилъ на свѣтъ Божій...

Чертковъ, однако, не былъ доволенъ такимъ успѣхомъ повѣсти; онъ говорилъ, что важно бы написать такое сочиненіе, которое не вносило бы разнорѣчій, а объединяло бы всѣхъ, всѣхъ бы заставило признать его неотразимость...

Другимъ пунктомъ въ Петербургѣ, гдѣ объединялись люди около имени Л. Н. Толстого, былъ книжный складъ „Посредника“. Онъ помѣщался гдѣ-то на Лиговкѣ, занималъ нѣсколько комнатъ и весь былъ наполненъ кипами книжекъ. Тутъ были и собственные изданія „Посредника“, и „ублюдеи“, какъ ихъ

окрестилъ Левъ Николаевичъ. Они были написаны на темы „Посредника“, издавались тѣмъ же Сытинымъ, имѣли рисунки на обѣихъ сторонахъ обложки и рамею вокругъ рисунка, только не краснаго, какъ у „Посредника“, а синяго цвѣта, и принадлежали перу видныхъ писателей: Красова (Л. Е. Оболенскаго), Кота-Мурлыки и другихъ, но не отвѣчали требованіямъ „Посредника“, поэтому издавались не имъ. Помимо специальныхъ народныхъ изданій, было множество общихъ книгъ, избранныхъ и одобренныхъ къ распространенію „Посредникомъ“. Дѣло распространенія книгъ вело нѣсколько человѣкъ, идейно приставшихъ къ этому. Изрѣдка въ этомъ складѣ бывали собранія, обмѣнивались мнѣніями, обсуждались разные вопросы. На одно изъ такихъ собраній попалъ туда и я.

Собралось человѣкъ двадцать. Тутъ были работавшіе въ „Посредникѣ“ студенты, рабочіе. Пришелъ Н. Н. Ге. Онъ высказалъ живое удовольствіе по поводу такого собранія. „Вотъ это хорошо!—говорилъ онъ. Здѣсь прекрасно чувствуешь себя. Мнѣ это напоминаетъ древнія каткомбы, гдѣ собирались древніе христіане. Кругомъ мятутся, бѣснуются, купаются въ животныхъ удовольствіяхъ. А здѣсь собралась горсть людей, которымъ ничего не нужно кромѣ истины. Превосходно!“

И онъ, дѣйствительно, весь сіялъ и своимъ добродушнымъ настроеніемъ заразилъ всѣхъ собравшихся.

Сначала шли разговоры безъ всякой цѣли, потомъ предложено было приступить къ чтенію. Такъ какъ „Крейцера соната“ большинству собравшихся была извѣстна, то согласились читать появившуюся тогда книгу Минскаго: „При свѣтѣ совѣсти“. Читать вызвался Николай Николаевичъ. Прочитавши нѣсколько страницъ, онъ почувствовалъ неискренность автора, незамѣтно перешелъ съ серьезнаго тона на юмористическій и читалъ такъ, что въ патетическихъ мѣстахъ всѣ присутствующіе заливались хохотомъ. Чтеніе превратилось въ забаву и готово было затянуться надолго, но его прервалъ самъ же Николай Николаевичъ и очень удачно. Помню — въ книгѣ какая-то женщина, образъ чего-то, вызывала людей состязаться въ словопреніяхъ; люди подходили, говорили, что они должны были сказать — женщина ихъ побѣждала, они тушили свои факелы и отходили въ сторону...

— „Наконецъ, подходитъ ученый!“ — воскликнулъ Ник. Ник., почувствовавъ, что въ комнату кто-то вошелъ новый, поднялъ лаза. Въ комнатѣ стоялъ невысокій господинъ среднихъ лѣтъ, съ темной бородкой. — „И вмѣсто женщины съ нимъ будемъ бѣдовать мы“, — добавилъ старикъ и, отбросивъ книгу въ сторону,

поднялся къ пришедшему навстрѣчу, сталъ знакомить всѣхъ съ пришедшимъ. Это былъ профессоръ П. А. Костычевъ.

Въ концѣ вечера поднялась бесѣда о чудесномъ и сверхчудесномъ. Почти всѣ сошлись на томъ, что чудесами нельзя вызвать настоящую религіозность, и религіозность, вызываемая чудесами, не есть религіозность, а сознание своей безпомощности и растерянности, а это только вредитъ настоящему духовному развитію.

IX.

Въ деревню на этотъ разъ я возвратился съ высокимъ духовнымъ подъемомъ, хотя самого Льва Николаевича и не видалъ. Передо мной раскрывались все шире и шире перспективы новой жизни, которая должна начаться на землѣ отъ духовнаго развитія человѣка. При осуществленіи духовнаго возрожденія человѣка все измѣнялось и освѣщалось въ другомъ свѣтѣ. Трудъ самый тяжелый уже былъ не въ тягость, а въ радость. Лишенія становились незамѣтными. Ненависть и злоба, отравляющія сердце, парализовались, и ядъ ихъ терялъ свою силу. При отсутствіи же злобы въ своемъ сердцѣ была замѣтнѣй въ каждомъ человѣкѣ его духовная красота, а это дѣлало тебя ближе всѣмъ, роднѣе. Все же тѣневое въ жизни вызывало состраданіе, сочувствіе и побуждало или на помощь, или на противодѣйствіе и защиту. Это наполняло человѣка самыми благородными чувствами и высоко ставило надъ уровнемъ обыденной толпы.

Кромѣ этого, духовное возрожденіе, такъ высоко поднимавшее отдѣльную личность, могло измѣнить и общія условія. Я уже раньше видѣлъ, что вѣшняя жизнь идетъ лучше и благоустроеннѣе только тамъ, гдѣ въ жизни человѣка есть хотя крупица духовнаго содержанія, религіознаго интереса къ жизни. И это было вполне понятно. Для такихъ людей было обязательство передъ своей совѣстью, долгъ. У кого же не было совѣсти, не было долга, не было никакихъ обязанностей, и онъ дѣйствовалъ только побуждаемый животными инстинктами.

И чѣмъ дальше, тѣмъ больше во мнѣ укрѣплялось это сознание. Я считалъ такой непоколебимой истиной утвержденія Толстого, что самъ человѣкъ можетъ вывести себя на надлежащую дорогу и этимъ показать путь другимъ, что не испытывалъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Въ это же вѣрила и вся деревенская мудрость, т.-е. всѣ, кто жили сознательно, размышляли надъ положеніемъ вещей, вѣрили хорошимъ преданіямъ старины. Это

подтверждалось въ разговорахъ, въ отношеніяхъ къ прочитаннымъ книгамъ, которыя я иногда читалъ. Но такихъ было немного, у большинства было другое отношеніе, и другое отношеніе ко всему. У насъ было нѣсколько мужичковъ; они считали себя христіанами, ходили въ церковь, почитали поповъ и яро ненавидѣли всѣхъ, кто разсуждаетъ. И, конечно, у нихъ и личное поведеніе ничѣмъ хорошимъ не выражалось, и жизнь семей была самая ужасная... И внѣшнимъ имъ ничѣмъ нельзя было помочь. Они бѣдствовали, страдали, дѣти мерли, какъ мухи, но найди они кладъ, свались имъ золото съ неба, жизнь ихъ не строилась бы лучше, а стало бы больше грязи, жестокости. Единственное средство улучшить ихъ состояніе — это пробудить въ нихъ духовные интересы. Только одно это могло измѣнить ихъ условія, облегчить существованіе ихъ окружающихъ.

Но чѣмъ больше для меня выяснялась истина Толстовскихъ утвержденій, тѣмъ яростнѣе стали возставать на Толстого въ правящихъ и церковныхъ кругахъ. Мелкія газетки, проникавшія въ деревню, въ родѣ „Свѣта“, „Сына Отечества“, московскихъ листковъ, въ своемъ лакейскомъ усердіи передъ высшими выставили его какъ колебателя основъ. Особенно яростны были нападенія на Толстого со стороны херсонскаго архіепископа Никанора, книжки котораго усердно распространяло духовенство. Главнымъ образомъ онъ обрушивался на Толстого за „Крейцерову сонату“, примѣнялъ къ нему тексты изъ евангелія и причислялъ его къ породѣ волковъ въ овечьей шкурѣ и совѣтовалъ его истребить, такъ какъ его ученіе расшатываетъ весь строй. Курьезнѣе всего, что Никаноръ утверждалъ, что Толстой не понимаетъ, что такое настоящій бракъ, и приводилъ примѣры чистаго и цѣломудреннаго брака въ высшихъ кругахъ, гдѣ и гнѣздилося все то зло, которое изгнало даже всякое представленіе о томъ, что такое цѣломудріе. Подобныя выходки только яснѣе подчеркивали, на какой сторонѣ правда, и заставляли крѣпче держаться за нее...

Х.

Я не видѣлъ Толстого до начала зимы 92 года. Приѣхавши въ Москву, я первымъ долгомъ отправился въ Хамовническій переулокъ узнать, въ Москвѣ ли Левъ Николаевичъ. Мнѣ сказали, что въ Москвѣ. Въ первый же вечеръ я пошелъ къ нему.

Первое впечатлѣніе отъ встрѣчи было то, что Левъ Николаевичъ значительно перемѣнился. Борода стала совсѣмъ сѣдая,

волосы порѣдѣли, самъ онъ сталъ какъ-то меньше, но все тѣ же глаза глубокіе, проникающіе въ душу. Это было время самой кипучей дѣятельности для него. Въ земледѣльческихъ губерніяхъ былъ голодъ, и онъ устраивалъ тамъ столовыя, добывалъ средства, писалъ статьи въ газетахъ и журналахъ, выяснялъ для себя и другихъ ненормальное отношеніе классовъ, слѣдствіемъ чего является то, что одни, ничего не дѣлающіе, объѣдаются и безчинствуютъ, а производящіе хлѣбъ вынуждены голодать. Левъ Николаевичъ сталъ спрашивать, какъ я живу. Я рассказалъ всѣ подробности ему своей жизни, и онъ позавидовалъ тѣмъ условіямъ, въ которыхъ я нахожусь. И когда я сказалъ, что крестьянская трудовая жизнь, хозяйственные заботы очень затягиваютъ въ мелочи, и эти мелочи многое отнимаютъ и отъ многого отвлекаютъ, — Левъ Николаевичъ сказалъ, что нельзя же повседневно дѣлать подвиги... Подвиги дѣлаются очень рѣдко, а нужно только быть готовымъ ко всему. Нужно никогда не забывать, что если отъ тебя потребуются исповѣданіе истины, въ какую ты вѣришь, — чтобы эту истину сказать, несмотря на всѣ послѣдствія, которыя могутъ произойти.

И Левъ Николаевичъ сталъ рассказывать, какъ распространяется такой духъ. Онъ упомянулъ о священникѣ Аполлонѣ, который снялъ съ себя рясу; — объ учителѣ Дрожжинѣ, отказавшемся идти на военную службу, за что его запрятали въ дисциплинарный батальонъ, а онъ только радуется этому; — о крестьянахъ на югѣ, которые все больше и больше переходятъ въ штунду, уясняютъ себѣ ближе значеніе христіанства и стремятся къ исповѣданію его. Онъ показалъ мнѣ нѣсколько писемъ отъ новообращенныхъ, и эти письма поразили меня своей ясностью, силой духа писавшихъ ихъ и красотой языка.

— Нужно просто дѣлать дѣло жизни, — говорилъ Левъ Николаевичъ. — Не нужно навязывать то, во что самъ повѣрилъ, другимъ, и нельзя этого скрывать въ самомъ себѣ. Слѣдуетъ всегда держаться середины. И это-то самымъ лучшимъ образомъ отразится на дѣлѣ. А у насъ не всегда дѣлается такъ.

Вспомнили объ одномъ всероссійскомъ религіозномъ праздникѣ. Левъ Николаевичъ удивлялся, какъ власти изъ ничего могутъ создать такую шумиху. Чествовался ничѣмъ невыдающійся подвижникъ. Онъ прочиталъ о немъ очень многое и увидѣлъ, что это самый ординарный монахъ, отъ другихъ ничѣмъ не отличающійся. А между тѣмъ, путемъ листовъ, картинъ, образковъ, которые разносятся по всей Руси, распространили ими выдуманную его славу, загипнотизировали народъ и восхи-

щаются:—ахъ, народъ!—милый простой народъ, сколько у него вѣры, сколько любви къ старинѣ!..

Я сталъ часто ходить къ Льву Николаевичу, и это было самое интересное время, какое мнѣ приходилось проводить въ Москвѣ. Левъ Николаевичъ весь кипѣлъ религіозными, общественными, литературными вопросами и на все давалъ самый живой и самый ясный отвѣтъ. Онъ началъ тогда писать „Царство Божіе внутри насъ“, думалъ о продолженіи раньше начатой имъ работы объ искусствѣ. Онъ удивлялся, какъ люди высшихъ классовъ увлекаются все больше и больше искусствомъ и все меньше требуютъ отъ него содержанія, приспособляя его для одного удовольствія. Его раздражало это, и онъ говорилъ:

— Это они отъ пресыщенія. Они объѣдались всѣмъ и требуютъ, чтобы и искусство доставляло имъ только наслажденіе. Они находятъ поэзію тамъ, гдѣ поэзіи нѣтъ вовсе. Обращаютъ серьезное вниманіе на то, на что отъ души хочется плюнуть, и такъ они развращаются сами и развращаютъ художниковъ. Ге — серьезный старикъ, а вотъ тоже пишетъ розовое тѣло; ему это ненужно, а онъ все-таки не можетъ отдѣлаться, — ну, просто потому, чтобы показать, что онъ можетъ писать, только не хочетъ. А писатели?.. Когда ихъ читаютъ такіе господа и превозносятъ, они убѣждаются, что они страшно нужны, смотрятъ на свое ремесло, какъ на призваніе, начинаютъ не по средствамъ жить; такая жизнь требуетъ чрезмѣрнаго напряженія въ работѣ, ихъ писаніе дѣлается плохо. И они не думаютъ, что плохо то, что они такъ живутъ... Вотъ Фетъ,—онъ говоритъ, что ему ничего не нужно, у него очень скромныя требованія: дайте ему мягкую постель, хорошій бифштексъ, бутылку добраго вина и пару хорошихъ лошадокъ,—и ему больше ничего ненужно...

Левъ Николаевичъ часто рассказывалъ про скромныя требованія Фета и всегда отъ души надъ этимъ смѣялся.

Но Фета онъ признавалъ настоящимъ поэтомъ и цѣнилъ его стихи.

— А какъ вы думаете о Лермонтовѣ?—разъ спросилъ Льва Николаевича одинъ изъ гостей.

— Форма хороша, но настоящаго содержанія мало. Все наносное, искусственно вызванное, хотя у него была способность проникать въ самую глубину души. Я недавно пересматривалъ его сборникъ и попалъ на молитву. Не ту—уже избитую—„Въ минуту жизни трудную“, а другую, написанную въ 29-мъ году.

Софья Андреевна Толстая нашла и принесла книжку Лермонтова, и Левъ Николаевичъ прочиталъ это стихотвореніе, на-

чинающееся словами: „Не обвиняй меня, Всесильный, и не карай меня, молю“...

— Пушкинъ былъ гораздо выше,—у него было больше настоящей художественности. Это былъ примѣръ самаго настоящаго поэта; онъ часто писалъ, самъ не зная, чѣмъ кончить. Восхитительно, какъ онъ сказалъ про Татьяну... „Знаешь, а вѣдь Татьяна-то замужъ вышла. Я никакъ отъ нея этого не ожидалъ“...

Когда же доходило дѣло до Некрасова, то у Льва Николаевича всегда дѣлалось какое-то холодное выраженіе; его добродушіе исчезало и онъ говорилъ:

— Ну, что жъ Некрасовъ,—что у него было? Развѣ „Ермилъ Гиринъ“, а то все фальшиво. Этотъ стонъ мужика,—гдѣ это онъ стонетъ? Это либералы повдумывали. Нѣтъ, нѣтъ, его изъ понимающихъ поэзію никто не считалъ за поэта. Да и человѣкъ онъ былъ нехорошій, Герценъ не принималъ даже его.

О Плещеевѣ мнѣ пришлось услышать отзывъ еще болѣе пренебрежительный. Левъ Николаевичъ называлъ его просто „сентиментальнымъ стихотворцемъ“.

Къ этому пріѣзду у меня была готова одна рукопись. Я ее читалъ въ одномъ кружкѣ; рассказъ вызвалъ два противоположныхъ мнѣнія. Одни говорили одно, другіе — другое. Меня это сбило съ толку, и я не зналъ, какъ считать свою вещь. Чтобы выяснитъ недоразумѣнія, я рѣшилъ показать рассказъ Л. Н.—чу. Левъ Николаевичъ рассказъ похвалилъ, сказалъ, что у меня есть писательская способность, и далъ совѣтъ не полагаться на мнѣнія первыхъ встрѣчныхъ. Судьями писателя можетъ быть только, во-первыхъ, онъ самъ („доволенъ ли ты самъ, взыскательный художникъ?“), во-вторыхъ, большіе люди, люди выдающагося ума, образованія. Средняя же публика склонна ошибаться и давать невѣрный отзывъ.

И онъ рассказалъ мнѣ случай съ Бернарденъ-де-Сенъ-Пьеромъ. Когда онъ написалъ свою повѣсть „Поль и Виргинія“ и прочиталъ ее своимъ друзьямъ, друзья ее совершенно забраковали. Онъ разогорчился и забросилъ рукопись и... забылъ о ней... И только черезъ пятнадцать лѣтъ, разбираясь въ бумагахъ, онъ наткнулся на рукопись, перечиталъ ее, пришелъ отъ нея въ восторгъ и сейчасъ же напечаталъ. И когда онъ ее напечаталъ, то выдающіеся люди признали ее за образцовую, и повѣсть сдѣлалась классическимъ произведеніемъ.

XI.

Въ одинъ вечеръ я засталъ у Льва Николаевича В. Ф. Орлова и еще кого-то изъ почитателей Вл. Соловьева. Шелъ философски-религіозный разговоръ. Орловъ говорилъ, что главное дѣло — нужно упростить догматы. Догматы православнаго христіанства очень сложны, туманны; проникнуться вѣрой въ нихъ могутъ только исключительныя натуры. А нужно доставить доступъ къ нимъ большому числу людей. Почитатель Соловьева, писавшаго тогда въ „Недѣль“, — „О любви“, — говорилъ, что нужно пронизываніе любовью. Левъ Николаевичъ возражалъ тому и другому. Ему указали на XIII-ую главу Посланія къ Коринѳянамъ. Левъ Николаевичъ сказалъ, что онъ не любитъ эту главу и увѣренъ, что по ея милости тысячи душъ пошли въ адъ, сбиваясь съ толку.

— Зачѣмъ мнѣ проникаться чувствомъ любви, когда у меня живетъ въ сознаніи необходимость добра всѣмъ, и я долженъ дѣлать добро; понятіе же, что нужно еще испытывать любовь, и если этого чувства нѣтъ, то изъ добра ничего не выйдетъ, способно только парализовать мое дѣло, — а это-то и есть вредъ.

Соловьевецъ заступался за свое положеніе. Вышелъ споръ.

Въ другой разъ мнѣ пришлось присутствовать при чтеніи первыхъ восьми главъ „Царствіе Божіе внутри васъ“. Въ числѣ слушателей былъ и самъ Вл. Соловьевъ, и Льву Николаевичу, кажется, хотѣлось критики, но Соловьевъ отъ критики воздержался, а спокойно замѣтилъ, что, по его мнѣнію, все хорошо и возражать нечего.

У Льва Николаевича часто бывали Н. Я. Гротъ, А. В. Алехинъ, Клобскій, который собиралъ деньги на голодающихъ и приносилъ ихъ Льву Николаевичу. Встрѣтилъ я у него однажды князя С. Н. Трубецкого, который держалъ себя очень скромно и мало говорилъ. Пріѣзжали люди изъ провинціи. Разговоры о голодѣ поднимались очень часто, и Левъ Николаевичъ ясно выражалъ, какое участіе испытываетъ онъ къ голодающему народу и какое раздраженіе у него было противъ правительства и высшихъ классовъ. Какъ сейчасъ вижу его негодующее лицо, когда онъ рассказывалъ, какъ у нихъ въ Тульской губерніи и рядомъ въ Рязанской крестьяне хотѣли переселяться, но помѣщики испугались, что отъ нихъ уйдутъ дешевыя рабочія руки, и „появился циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ, запрещающій временно переселяться“. Но, негодуя на правительство, онъ не щадилъ и общественныхъ дѣятелей.

— Вонъ у меня сидитъ графъ Бобринскій и говоритъ, что спасеніе народа въ томъ, если всюду заведутъ церковно-приходскія школы, или говорятъ, что народъ спасетъ отъ голода наука, когда разовьется знаніе и химически можно будетъ добыть продукты питанія. Все это вздоръ. Не въ этомъ дѣло. И зло не въ томъ, что не уродилось достаточно хлѣба. У однихъ хлѣба не уродилось, а рядомъ съ ними стоятъ полные амбары, и эти амбары заперты, а голодающимъ хлѣбъ везать за тысячи верстъ. И никто не возмущается этимъ, — думаютъ, что это нормально. И въ этомъ опять повинны высшіе классы; они завели такіе порядки и развращаютъ народъ. И народъ чувствуетъ это. Были случаи холерныхъ бунтовъ, всѣ возмущаются этимъ, ужасаются степенью темноты и невѣжества, а это — самый естественный взрывъ народнаго негодованія противъ тѣхъ, кто коверкаетъ имъ жизнь, только вылился-то онъ на случайно подвернувшихся несчастныхъ докторовъ. Тутъ не темнота, а сознаніе, что нѣтъ терпѣнія отъ безтолковаго вмѣшательства въ народную жизнь...

— Но вѣдь надо же какъ-нибудь выводить народъ изъ этого ненормальнаго положенія? — сказалъ одинъ изъ гостей.

— Вовсе не надо. Нужно только постараться отойти отъ него подальше, слѣзть съ его шеи. И когда вы слѣзете съ его шеи, то онъ самъ оправится, выберетъ себѣ дорогу и выйдетъ на нее.

У Льва Николаевича даже явилась мысль написать рассказъ, гдѣ дѣвочка-подростокъ рѣшаетъ вопросъ, какъ облегчить положеніе простаго народа, и онъ принимался писать его, но не отдѣлалъ...

Желаніе же временно помочь народу, дать ему сейчасъ что-нибудь, Левъ Николаевичъ очень привѣтствовалъ. Его радовала всякій пожертвованный рубль, и онъ говорилъ, что въ обществѣ пробуждается совѣсть, представители его раскошеляются, вносятъ свою лепту. Это Левъ Николаевичъ называлъ „закхействомъ“ и съ умиленіемъ рассказывалъ, какъ къ нимъ принесли то старую шубу, то драгоценность, и когда въ концѣ 92 года пожертвованія пошли слабѣе, онъ выпустилъ свою „слезу“, то-есть напечаталъ знаменитую замѣтку въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, гдѣ говорилъ о мужикѣ, пришедшемъ просить, и о мальчикѣ съ слезой на голубыхъ глазахъ. Этимъ выражалось, что бѣдствіе не кончилось, и хотя заниматься голодомъ надоѣло, но помогать нужно продолжать.

Еще возмущался въ это время Левъ Николаевичъ тѣмъ, какъ одна религіозная барыня въ Петербургѣ проповѣдывала, что помогать голодающимъ не нужно, ибо голодъ послалъ Богъ, въ

наказаніе людямъ, и облегчать это наказаніе значитъ идти противъ воли Бога. Онъ видѣлъ въ этой проповѣди высшую степень фарисейства.

Кромѣ всего сказаннаго, я почувствовалъ въ ту зиму, какого вѣрнаго защитника имѣетъ въ Толстомъ простой народъ—вотъ по какому случаю. Въ началѣ 93-го года я поѣхалъ помогать заѣдывать столовыми, устроенными Львомъ Николаевичемъ въ Рязанской губерніи. Туда пріѣзжалъ на нѣкоторое время и самъ Левъ Николаевичъ. Онъ тамъ окончилъ свою работу „Царствіе Божіе внутри васъ“. И въ XII-й главѣ этой удивительной книги, я по ясности мысли, и по настроенію автора, вылилась вся глубина его пониманія народа, уваженія къ нему, и возмущеніе, и негодованіе на лицъ правящихъ классовъ, которые забывали въ простыхъ людяхъ человѣческое достоинство. Недаромъ тогда „Московскія Вѣдомости“, пользуясь статьей въ англійскомъ журналѣ, подняли на него такую травлю, которая чуть не закончилась изъятіемъ Льва Николаевича и заключеніемъ. Они не могли переварить спокойно его настроеніе.

XII.

Но, несмотря на суровое отношеніе къ тогдашнему правительству, на горячее негодованіе, вызываемое его дѣйствіями, Левъ Николаевичъ никогда не одобрялъ политической агитаціи въ народѣ. Помнится одинъ случай на голодовкѣ. Въ Бѣгичевку, между прочимъ, пріѣхали два молодыхъ человѣка и выразили желаніе поселиться на какомъ-нибудь изъ пунктовъ, чтобы участвовать въ распредѣленіи пособій. Льву Николаевичу захотѣлось узнать, что это за люди, что ихъ побуждаетъ участвовать въ этомъ дѣлѣ. Молодые люди признались, что они принадлежатъ къ тогда еще очень малочисленнымъ въ Россіи русскимъ социаль-демократамъ и что ихъ цѣль при общеніи съ крестьянами сообщать имъ по возможности свои взгляды на положеніе вещей, просвѣщать ихъ въ этомъ отношеніи. Левъ Николаевичъ, сказалъ, что онъ допустить этого не можетъ. Гости спросили: развѣ онъ не признаетъ, что народъ находится въ угнетеніи? Левъ Николаевичъ сказалъ, что онъ это сознаетъ, но выходъ изъ этого положенія видитъ въ революціонномъ возмущеніи. Кромѣ этого онъ сознался, что онъ твердо увѣренъ, что революціонное возстаніе ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть успѣшнымъ, потому что у народа не можетъ быть средствъ для этого, какъ у правительства.

— Развитие классового сознанія поможетъ народу обратиться въ такую силу, передъ которой спасуетъ и правительство,—сказалъ одинъ изъ гостей.

— Никогда. Правительство всегда будетъ давить массы и не дастъ разростаться ихъ силѣ.

— Но если изъ среды народа пойдутъ сознательные люди въ парламентъ, въ войска... Вотъ въ Германіи...

И гость сталъ говорить, какъ распространяется социаль-демократическая идея среди германскаго народа.

— Правительство сейчасъ же себя отъ нихъ обезопаситъ,—заявилъ Левъ Николаевичъ.—Съ ростомъ противниковъ правительства будутъ увеличиваться и силы правительства. Вильгельмы и Бисмарки плотно сидятъ на своихъ позиціяхъ и зорко слѣдятъ за тѣмъ, чтобы ихъ могущество не колебалось. И противъ надвигающейся опасности они всегда принимаютъ мѣры. И имъ это легко. У нихъ штыки, пушки, телеграфы, телефоны. Всѣ изобрѣтенія человѣческаго ума захватываются прежде всего правительствами и используются ими для укрѣпленія ихъ могущества и большого поработенія массъ. И пока отдѣльные люди не будутъ отказываться поддерживать правительство, правительства всегда будутъ сильны, и внѣшней силой съ ними ничего не подѣлаешь.

Левъ Николаевичъ приводилъ такіе сильные аргументы въ защиту своего положенія, что молодымъ людямъ пришлось невольно замолчать. Побывши нѣсколько дней въ Бѣгичевѣ, они принуждены были уѣхать изъ нея, не выполнивъ своей задачи.

Въ слѣдующемъ, 94-мъ году мнѣ довольно подробно пришлось услышать отъ Льва Николаевича объ его отношеніи къ земельной собственности. Наша деревня покупала себѣ землю, я былъ уполномоченнымъ, и мнѣ пришлось ѣздить въ Москву съ хлопотами по этому дѣлу. Левъ Николаевичъ и на эту зиму пріѣхалъ въ Москву. Онъ писалъ въ то время „Хозяина и работника“. Когда я пришелъ къ нему и объяснилъ, почему я въ Москвѣ, Левъ Николаевичъ спросилъ меня:

— Что же, и вы покупаете на свою часть?

— И я... восемь десятинъ.

Левъ Николаевичъ улыбнулся и проговорилъ:

— Ну, васъ-то и Богъ простить.

— Какъ Богъ простить? Развѣ это большой грѣхъ?—изумился я.

— Конечно. Земля—Божій даръ, она не можетъ быть ничьей собственностью. Она необходима, какъ свѣтъ и воздухъ, и должна быть свободна, какъ свѣтъ и воздухъ... для всѣхъ...

— Но она не свободна. Она разобрана по рукамъ и за одно пользованіе съ насъ дерутъ. Намъ надоѣло платить за аренду, мы рѣшили укрѣпить ее за собой.

— Поэтому я и говорю, что васъ и Богъ простить, а вотъ тѣхъ, кто пользуется землей и жметъ ею другихъ, того Богъ не простить...

— Какъ же быть?

— Земля должна быть освобождена, собственность на нее уничтожена. Владѣніе землей есть страшное зло, и зло это будетъ искоренено.

И онъ сталъ говорить мнѣ о Генри Джорджѣ, его системѣ единого налога, который еслибы былъ введенъ, то земля попала бы только въ руки тружениковъ, и эксплуатированіе посредствомъ нея стало бы невозможнымъ. И кромѣ этого, единый налогъ уничтожилъ бы необходимость поощрять пьянство среди народа, дающее казнѣ такіе доходы. Не нужно бы обременять населеніе воевными налогами.

— А не будетъ труденъ земледѣльцу такой налогъ?

— Нисколько. Налогъ будетъ въ такой мѣрѣ, сколько земля даетъ безъ труда по своимъ почвеннымъ свойствамъ и по своему положенію къ рынку. Даетъ она травы на три рубля, три рубля придется заплатить. Если же подъ бокомъ рынокъ, можно разводить огородъ и получать отъ нея больше дохода, тогда придется больше и платить, а за землю на Кузнецкомъ-Мосту и очень дорого придется платить, но это не будетъ несправедливо: до такой цѣнности довелъ землю не владѣлецъ ея, а все населеніе; вотъ населеніе и отбираетъ, что ему принадлежитъ.

— Это хорошо, но какъ этого добиться, какъ произвести эту реформу?

— Я думаю,—замѣтилъ Левъ Николаевичъ,—что такой переворотъ можетъ быть произведенъ абсолютной властью. Какъ освобожденіе крестьянъ было осуществлено волей царя, такъ и уничтоженіе земельной несправедливости можетъ быть осуществлено подобною же властью... Другая власть этого не сдѣлаетъ, потому что она будетъ противорѣчить интересамъ классовъ, которые эту власть поддерживаютъ.

XIII.

Этой же зимой началась новая полоса въ жизни Толстого, и орая имѣла большое вліяніе и на развитіе его ученія и по-

будила на работу какъ въ моральной, такъ и художественной области. Въ московской пересыльной тюрьмѣ содержался нѣкто Изюмченко, за отказъ отъ воинской повинности ссылаемый въ Сибирь. Друзья Толстого, узнавши объ этомъ, стали его навѣщать. Въ одно изъ такихъ посѣщеній тюрьмы Е. И. Поповъ узналъ, что въ пересыльной тюрьмѣ содержится пересылаемый въ Сибирь П. В. Веригинъ, руководитель кавказскихъ духоборовъ, бывшій ссыльный въ Архангельской губерніи, но своими душевными свойствами сѣмѣвшій и тамъ привлечь къ себѣ людей и образовавшій толпу почитателей. Власти опасались развитія его вліянія и рѣшили убрать его подальше. Е. И. познакомился съ пришедшими къ нему на свиданіе друзьями, взялъ у нихъ ихъ московскіе адреса и сообщилъ о своемъ знакомствѣ Льву Николаевичу. На другой день Левъ Николаевичъ съ П. И. Бирюковымъ и Е. И. Поповымъ отправились къ духоборамъ, и познакомились съ ними. Съ этого и начались сношенія Льва Николаевича съ этими замѣчательными людьми, которые до сего времени не знали ни Толстого, ни его ученія, и только внутреннимъ пониманіемъ задачъ жизни дошли впоследствии до проявленія высочайшей степени христіанскаго настроенія и привлекли къ себѣ вниманіе и сочувствіе всего просвѣщеннаго человѣчества.

Послѣ личнаго знакомства Льва Николаевича съ духоборами, его друзья стали разыскивать литературу объ нихъ; пошли разспросы знавшаго ихъ князя Д. А. Хилкова, бывшаго въ ссылкѣ на Кавказѣ. И чѣмъ дальше Левъ Николаевичъ узнавалъ объ нихъ, тѣмъ больше умилялся тому, какъ этими простыми людьми понимается христіанство и какъ выполняется. Возможность воображаемой имъ для людей жизни была очевидна, и чтобы больше способствовать пониманію задачъ истиннаго христіанства, онъ сталъ вновь излагать наивозможно популярнѣе правила религіозной жизни и написалъ „Христіанское ученіе“.

Лѣтомъ этого года я въ первый разъ попалъ въ Ясную Поляну. Меня пригласилъ погостить поселившійся невдалекѣ отъ нея В. Г. Чертковъ. И когда я отдохнулъ отъ дороги, мы отправились съ Чертковымъ въ Ясную.

Не буду описывать этого знаменитаго угла, но не могу не упомянуть, что я подѣлжалъ къ нему съ чувствомъ внутренняго трепета. Мнѣ представлялось, что каждое дерево, каждая тропинка, окружающія скромный помѣщичій домъ, были свидѣтелями думъ и чувствъ, давно уже волновавшихъ все мыслящее челоѣчество, и надолго передали свои волшебныя свойства да-

лекому потомству.. Невольно вспомнились картины природы въ художественныхъ произведеніяхъ Льва Николаевича, люди, жившіе здѣсь прежде, которые послужили образцами для его творчества, предки Льва Николаевича.

Особенно поразила меня въ окружающемъ одна аллея, боковая, параллельно дорогѣ, ведущей къ дому. Она не широка, но старыя деревья, высокія и прямыя, тѣсно тянутся въ рядъ, напоминаютъ собою колонны какого-то храма. По словамъ П. И. Бирюкова, въ то время, когда Левъ Николаевичъ переживалъ свое возрожденіе или религіозный подъемъ, онъ чаще всего уходилъ сюда и, расхаживая взадъ и впередъ, выяснялъ себѣ свое пониманіе задачъ и сущности христіанства.

Жизнь въ Ясной, какъ и въ Москвѣ, шла барская, веселая, суетливая. Это несомнѣнно совпадало съ серьезнымъ взглядомъ на трудъ и отрицаніемъ праздности и роскоши самого Льва Николаевича. И это невольно коробило. Было жалко Льва Николаевича, который теперь уже и самъ отсталъ отъ своихъ увлеченій работой въ полѣ, помощью трудомъ, и жилъ уже безъ этого. Но послѣ завтрака Татьяна Львовна заявила, что къ ней приходила одна женщина, которая брала въ экономіи соломы и общалась связать десятину ржи, и вотъ теперь ее вызываютъ на вязку, а она не можетъ, у нея кто-то боленъ въ семьѣ, и она просила повліять на приказчика, чтобы онъ отсрочилъ ей работу.

— Пойдемте, свяжемъ за нее рожь,—предложила Татьяна Львовна.

Человѣкъ пять вызвались и пошли на работу очень охотно. Изъ семьи Льва Николаевича были Татьяна и Марья Львовны, потомъ М. А. Шмидтъ, я, Бирюковъ, одна барышня. Такой компаніей рожь была вскорѣ связана и уложена въ крестцы, и мы весело возвратились домой.

Это былъ единственный случай, когда я видѣлъ, какъ въ Ясной производится помощь работой крестьянамъ. Другого же рода помощь—леченіемъ, совѣтами, деньгами—я замѣчалъ всякій разъ, когда пріѣзжалъ въ Ясную Поляну.

Ко времени моего пріѣзда Левъ Николаевичъ только-что окончилъ „Письмо къ либераламъ“, которое у него вызвали трое петербургскихъ общественныхъ дѣятелей, возмущенныхъ присненіями правительства на пути народнаго просвѣщенія. Они осили Льва Николаевича, чтобы онъ своимъ мощнымъ голомъ вступился за ихъ дѣло, но Левъ Николаевичъ въ письмѣ вѣдалъ имъ почти то же, что пріѣзжавшимъ въ Бѣгичевку со-

ціаль-демократамъ: что съ деспотизмомъ бороться всякими другими средствами безцѣльно; нужно только не идти ни въ какія его учрежденія, — только этимъ однимъ можно чего-нибудь добиться. Другой же работой, которая привлекала Льва Николаевича, была помощь Черткову дѣлать выборы изъ его замѣтокъ, дневниковъ, выписки изъ писемъ. Чертковъ занимался этимъ очень усердно и имѣлъ уже въ своихъ рукахъ огромный матеріалъ, очень характерный и драгоцѣнный, по которому въ будущемъ можно будетъ заглянуть во внутреннюю жизнь великаго человѣка и съ удивленіемъ встрѣтить тамъ такія черточки, какія трудно было и подозревать въ немъ.

XIV.

Слѣдующимъ лѣтомъ я былъ въ Ясной. Левъ Николаевичъ въ это время началъ уже свое „Воскресеніе“. Въ Ясной жилъ композиторъ Танѣевъ, гостила сестра Льва Николаевича, монахиня Марія Николаевна, старшіе сыновья, Меньшиковъ. Было много суетни, разговоровъ, музыки. Меньшиковъ, гостившій передъ этимъ у Чехова, сообщилъ, что въ Ясную собирается Чеховъ. Это извѣстіе было встрѣчено всѣми съ большимъ удовольствіемъ; стали поджидать пріятнаго гостя.

Къ Чехову въ семьѣ Толстыхъ относились всѣ съ большимъ вниманіемъ. Левъ Николаевичъ всегда съ удовольствіемъ читалъ его и восхищался его способностью изобразительности.

— Это удивительный инструментъ, — говорилъ онъ: — такъ подмѣтитъ и такъ сжато и ярко изобразить... А какой юморъ!.. Послѣ Гоголя и Слѣпцова это первый юмористъ.

Когда началась серія „интеллигентная“ изданій „Посредника“, матеріалъ для которой указывалъ Левъ Николаевичъ, то въ первую очередь были поставлены два разсказа Чехова: „Жена“ и „Именины“. О немъ всегда съ удовольствіемъ говорили, и Левъ Николаевичъ только скорбѣлъ, что у него нѣтъ собственнаго міровоззрѣнія.

Я Чехова видѣлъ не въ первый разъ. До этого я встрѣчался съ нимъ въ „Посредникѣ“. Онъ производилъ впечатлѣніе скромнаго, серьезнаго, задумчиваго человѣка. Когда онъ пріѣхалъ, то его встрѣтили очень радушно. Сейчасъ же имъ завладѣли Софья Андреевна и Татьяна Львовна. Левъ Николаевичъ на этотъ разъ былъ несовсѣмъ здоровъ и не выходилъ изъ своего кабинета, но вечеромъ онъ далъ начало „Воскресе-

нiя“ и просилъ, чтобы его прочитали съ Антономъ Павловичемъ; мы удалились въ бесѣдку и стали читать первыя главы.

Когда рукопись была кончена, всѣ пошли ко Льву Николаевичу. Чеховъ сталъ говорить о своемъ впечатлѣнiи; онъ говорилъ просто, но въ этихъ простыхъ словахъ чувствовалось, что новое произведенiе старика его достаточно задѣло. Ему показалось все очень вѣрнымъ; онъ недавно былъ самъ присяжнымъ засѣдателемъ и чувствуетъ, какъ въ описанiи суда схвачены всѣ детали. Потомъ и преступленiе Масловой. Когда онъ былъ на Сахалинѣ, то большинство преступницъ оказалось сосланнымъ туда именно за отравленiе. Только вотъ приговоры. Въ первомъ вариантѣ Маслову приговаривали къ двумъ съ половиной годамъ каторги. Такихъ приговоровъ не бываетъ. Въ каторгу приговариваютъ на кратчайшiй срокъ на четыре года.

Левъ Николаевичъ принялъ это къ свѣдѣнiю и впоследствии измѣнилъ въ повѣсти эту часть. Чеховъ написалъ уже тогда свою „Чайку“. Меньшиковъ слышалъ ее въ чтенiи и не одобрилъ. Поэтому ли, или еще почему, но, помнится, Чеховъ ничего не говорилъ о своемъ новомъ произведенiи.

И Чеховъ, и Меньшиковъ изумлялись способности Льва Николаевича такъ тонко подмѣчать все въ людяхъ, въ обстановкѣ и въ природѣ, проникать въ самую суть вещи и изображать ихъ съ такой яркостью. И это было не только въ его произведенiяхъ, но въ разговорѣ, въ передачѣ какого-нибудь мимолетнаго случая. Одинъ случай былъ подмѣченъ Львомъ Николаевичемъ какъ разъ въ это лѣто. Онъ шелъ по полю и замѣтилъ на межѣ бурьянъ. Съ одной стороны земля была опажена и у бурьяна обнажились корни; онъ тогда уцѣпился другой стороной, но и съ другой стороны вскорѣ стали пахать, сломали межу и вырвали его, но, отброшенный въ сторону и сбитый въ бокъ, бурьянъ пробовалъ поднять голову и вновь запустить корни. И эта упорная борьба за жизнь навѣяла на Льва Николаевича рядъ мыслей; въ немъ поднялись художественныя воспоминанiя, и слѣдствiемъ этого явилась ненапечатанная до сихъ поръ повѣсть „Хаджи-Муратъ“, заключающая въ себѣ высокiя художественныя достоинства.

Лично мнѣ пришлось на этотъ разъ услышать несовсѣмъ истинныя вещи. Я тогда написалъ рассказъ „Пересоль“ и напечаталъ его въ „Новомъ Словѣ“, редактируемомъ С. Н. Крижено. Когда мы увидались, Левъ Николаевичъ спросилъ меня, не написалъ ли этотъ рассказъ. Я отвѣтилъ, что я.

— Удивительно, — никакъ не ожидалъ. Очень плохо.

Я былъ очень смущенъ такимъ заявленіемъ; мнѣ самому тогда разсказъ не казался плохимъ, въ газетахъ и журналахъ о немъ были рецензіи, его собирався перепечатать другой журналъ.

Мнѣ захотѣлось выяснитъ, почему онъ такъ суровъ къ этому разсказу.

— Тема не художественная, — объявилъ Левъ Николаевичъ. — Въ художественныхъ произведеніяхъ нельзя останавливаться на такихъ явленіяхъ жизни, которыя имѣютъ временный, случайный характеръ. Искусство захватываетъ вѣчное, и это вѣчное даетъ ему силу и смыслъ...

Тогда Чертковъ сталъ разсказывать Льву Николаевичу содержаніе только-что прочитаннаго имъ англійскаго романа. Въ романѣ изображалась женщина, которая почувствовала тяжесть своей зависимости и рѣшила освободиться отъ этой зависимости. Наперекоръ своимъ роднымъ, мнѣнію окружающей среды, она начинаетъ жить одна. Сходится съ мужемъ безъ церковнаго брака, и когда мужъ ея умираетъ, оставивъ ей дѣвочку, она все усиліе употребляетъ на то, чтобы и дочь воспитать въ такихъ же взглядахъ. Дочь вырастаетъ, случайно встрѣчается съ однимъ очень обыкновеннымъ человѣкомъ и наперекоръ матери влюбляется въ него. Онъ ее тоже любитъ, но, чтобы вступить съ ней въ союзъ, хочетъ непременно и женитьбы, и церковнаго брака. Мать ужасается этому, а дочь покоряется и идетъ на всѣ эти условія.

— Это возможно, — согласился Левъ Николаевичъ. — За такой исходъ говорить и женское свойство чувства, и наслѣдственность.

XV.

Вскорѣ послѣ этого наступила полоса, когда предъ Львомъ Николаевичемъ неотразимо сталъ вопросъ: „Что такое искусство“, и онъ не могъ успокоиться, чтобы не высказать свое отношеніе къ искусству со всей ясностью и силой. Онъ и раньше касался этой темы, написавши статью для народа: „Въ чемъ правда въ искусствѣ“; потомъ онъ выяснялъ цѣль и задачи искусства въ предисловіи къ моимъ „Крестьянскимъ разсказамъ“, къ собранію сочиненій Мопассана. Но это не все было имъ сказано, и онъ хотѣлъ полнѣе и обстоятельнѣе развить мысль о значеніи искусства, его силу, и съ увлеченіемъ занялся захватившей его темой.

Меня въ это время интересовало наблюдаемое мною отно-

шеніе отцовъ и дѣтей въ деревнѣ и семейный разладъ, встрѣчающійся довольно часто, и я надумалъ использовать одинъ случай въ драматической формѣ. Вышла трехъ-актная пьеса. Я прочиталъ ее своимъ уѣзднымъ знакомымъ; ее одобрили. Мнѣ захотѣлось познакомить съ нею Льва Николаевича, и я послалъ рукопись ему. Отвѣтъ не замедлилъ. Левъ Николаевичъ категорически заявлялъ, что пьеса плоха, и я такими вещами порчу себѣ репутацію. Это меня такъ разогорчило, что я сейчасъ же написалъ ему очень унылое письмо, въ которомъ сѣтовалъ на него за излишнюю строгость. Мнѣ казалось, что мои послѣднія вещи были не хуже первыхъ, а между тѣмъ онъ отзывается о нихъ такъ уничтожающе. Черезъ нѣсколько времени я попалъ въ Москву. По обыкновенію, въ первый же вечеръ я завернулъ въ Долго-Хамовнический переулокъ. На вопросъ, дома ли Левъ Николаевичъ, мнѣ сказали, что онъ несовсѣмъ здоровъ, но онъ гуляетъ наверху въ залѣ. Я поднялся наверхъ. Левъ Николаевичъ, значительно постарѣвшій, взъерошенный, какимъ онъ всегда кажется, когда недомогаетъ, съ пледомъ на плечахъ, расхаживалъ по залѣ съ Н. Я. Гротомъ и разговаривалъ. Увидавши меня, онъ съ улыбкой воскликнулъ:

— Ну, что, сердитесь на меня? Думаете, что сказалъ я неправду? Правду, правду, повѣрьте мнѣ.

Гротъ спросилъ, въ чемъ дѣло, и Левъ Николаевичъ сталъ объяснять.

— Вотъ человѣкъ написалъ пьесу и думаетъ, что она хороша, а я говорю, что она нигуда не годится...

И онъ такъ весело засмѣялся, что заразилъ смѣхомъ и смущившагося меня, и Грота. Гротъ полюбопытствовалъ, въ чемъ содержаніе пьесы. Я рассказалъ. Гротъ согласился, что тема—совсѣмъ не драматическая.

— Да вромѣ того это тенденціозная вещь, а что тенденціозно—никогда не хорошо.

Я сказалъ, что нѣкоторые и мои рассказы считаютъ тенденціозными.

— Нѣтъ, вотъ именно рассказы-то ваши и не тенденціозны, а пьеса и тотъ рассказъ, о которомъ я говорилъ вамъ раньше,—тенденціозны.

Мы стали ходить втроемъ по залѣ. Левъ Николаевичъ верся къ разговору съ Гротомъ. Они говорили о Вл. Соловьевѣ. Ва Николаевича поражали послѣднія работы философа, гдѣ онъ оправдывалъ церковность.

— Это удивительно! — говорилъ Левъ Николаевичъ. — Цер-

ковность не выдерживаетъ простой грамотности, не только философіи, а тутъ философія ея поддерживаетъ,—непостижимо!

Гротъ указалъ на какую-то отвѣдь Соловьеву, появившуюся въ печати. Левъ Николаевичъ зналъ уже ея и согласился, что тамъ все очень вѣрно. Гротъ сказалъ еще кое-что о своемъ журналѣ, о томъ, какъ его мучаетъ цензура со статьей Льва Николаевича; потомъ Гротъ ушелъ и мы остались одни.

Разговоръ пошелъ объ искусствѣ. Левъ Николаевичъ сильно и убѣдительно сталъ говорить, какія темы подлежатъ области искусства. Художественныя темы—это вопросы вѣчнаго: любовь къ родинѣ, семьѣ, отношеніе къ ближнимъ. Эти чувства свойственны каждому, и описаніе ихъ будетъ соотвѣтствовать задачамъ художественнаго, а либеральныя темы не художественны; онѣ имѣютъ интересъ въ короткое время и для небольшого кружка лицъ, захваченныхъ этимъ настроеніемъ. А искусство не можетъ ограничиваться кружкомъ, группой, классомъ. Оно должно быть всеобщимъ, оно должно объединять безконечное число душъ, миллионы, сотни миллионѣвъ, и вызвать въ нихъ чувства, которыя волнуютъ художника.

— Не важно то, что я или кто другой написалъ двадцать или тридцать томовъ, которые нравятся нѣкоторымъ; болѣе важно для писателя написать только четверть тома, но чтобы эта четверть тома могла быть интересна во всѣ времена и всѣмъ людямъ, которые про него знаютъ. И такія произведенія есть.

Я спросилъ, не подразумѣваетъ ли онъ греческихъ классиковъ.

— Да, греческіе классики, Гомеръ. Но еще больше я имѣю въ виду нѣкоторые изъ библейскихъ разсказовъ. Напримѣръ, исторія объ Іосифѣ. Гдѣ она неизвѣстна? И кому она неизвѣстна? И нельзя ей быть неизвѣстной, потому что въ ней удивительно правдиво разсказывается о всѣхъ движеніяхъ человѣческой души.

И Левъ Николаевичъ сталъ перечислять всѣ моменты изъ исторіи Іосифа, и дѣйствительно въ ней все было правдиво и трогательно и ясно говорило, какъ составителю исторіи была близка человѣческая душа...

— А вотъ это-то самое важное въ художникѣ, чтобы душу человѣческую знать и любить ее...

XVI.

Въ слѣдующій приходъ я рѣшился познакомить Льва Николаевича съ своимъ новымъ рассказомъ, который я написалъ къ тому времени. Въ рассказѣ изображался безземельный, безхозяйственный сорванецъ-пастухъ, обокравшій степеннаго хозяйственнаго мужа. Случай сталкиваетъ ихъ на ночлегъ, и разговоръ сглаживаетъ остроту интересовъ у обоихъ и отодвигаетъ на задній планъ ихъ враждебныя чувства. Левъ Николаевичъ сказалъ, что вотъ это вѣрно. Человѣческое есть во всѣхъ людяхъ, и это никогда не нужно забывать художнику. А у насъ большинство писателей видятъ передъ собой не людей, а ярлыки, ими же самими наклеенные. По ихъ мнѣнію, коли Разуваевъ — такъ это непременно отъявленный злодѣй, а какъ либераль — такъ весь пренеполненъ благородства. Я терпѣть не могъ Щедрина... Зло несутъ въ міръ не отдѣльные люди, а человѣческія установленія, которыя порабащаютъ отдѣльныхъ людей. И деревенскій кулакъ — человѣкъ, и до его души добраться можно, и вызвать въ немъ доброе чувство; а вы вотъ попробуйте, заставьте какое-нибудь установленіе перемѣнить свое рѣшеніе! И въ этомъ-то главное зло, и люди его не видятъ...

Левъ Николаевичъ рассказалъ, что онъ давно задумалъ одну сказку, какъ послѣ сошествія Христа въ адъ и заточенія сатаны люди безъ воздѣйствія сатаны возстановили все зло, посѣянное имъ, и это зло было возстановлено человѣческими учрежденіями.

— А наши писатели этого не понимаютъ. Пишутъ о народѣ, а изображаютъ его не такимъ, какъ есть, а какимъ онъ имъ кажется. О психологін его судятъ по словечкамъ, подхваченнымъ гдѣ-нибудь на базарѣ. Нѣтъ, писателю надо знать народъ, и тогда онъ увидитъ, что и въ народной средѣ столько захватывающихъ темъ и темъ еще не разработанныхъ. Вотъ Ляпуновъ, — вы не знаете Ляпунова?

Я сказалъ, что нѣтъ. Левъ Николаевичъ рассказалъ, какъ къ нему пришелъ одинъ парень и принесъ ему стихи. Левъ Николаевичъ, вообще сурово относившійся къ стихамъ, мало-привѣтливо отнесся и къ нему; но, познакомившись со стихами, чѣ увидѣлъ въ нихъ глубокое содержаніе. Въ одномъ стихотвореніи изображались муки пахаря, въ другомъ — жизнь мальчика-пожника.

— Это такъ хорошо, какъ у Никитина, — воскликнулъ Левъ Николаевичъ.

— А вы цѣните Никитина?

— Еще бы! Это крупный поэтъ, и я не понимаю, какъ его забываютъ. Его нельзя забывать.

Наравнѣ съ Никитинскими стихами Левъ Николаевичъ цѣнилъ стихи Сурикова. Однажды онъ увидѣлъ у кого-то изъ прислуги народный цѣсенникъ, открылъ его и, напавши на Суриковскую „Долю бѣдняка“, которую уже распѣвали по деревнямъ, пришелъ отъ нея въ восторгъ. Узнавши отъ меня, что въ Москвѣ живетъ С. Д. Дрожжинъ, онъ пошелъ въ книжный магазинъ, чтобы познакомиться съ нимъ. Очень привѣтливо встрѣчалъ представленныхъ мною ему моихъ друзей — писателей изъ крестьянъ, Козырева и Вдовина. А раньше много возился съ поэтомъ-крестьяниномъ Ивинымъ, извѣстнымъ подъ псевдонимомъ И. Кассирова всему читающему крестьянству, наводнившимъ своими передѣлками рассказовъ и романовъ лубочный рынокъ. Ивинъ былъ большой внѣшній талантъ, но, попавши въ кабалу лубочникамъ, онъ былъ погубленъ ими. Каторжная работа надъ передѣлками погубила въ немъ способность свободного замысла; потомъ у него былъ свойственный русскимъ неудачникамъ порокъ — пристрастие къ хмельному. Когда Левъ Николаевичъ попалъ на него, онъ уже былъ человѣкъ поконченный, неспособный воспринять отъ него ничего. Напротивъ, исповѣдая казенное православіе, онъ поражался еретическимъ отношеніемъ Льва Николаевича къ ученію церкви и всякій разъ заводилъ съ нимъ споры, чтобы убѣдить его въ заблужденіяхъ и обратить на стезю истины.

Мы перешли изъ кабинета въ залъ. Пріѣхалъ И. Е. Рѣпинъ. И съ нимъ разговоръ пошелъ объ искусствѣ. Левъ Николаевичъ и Софья Андреевна очень хвалили его „Дуэль“ и жалѣли, что ее не купили въ Россіи, и картину увезли во Флоренцію. Перешли на статью Льва Николаевича объ искусствѣ. Рѣпинъ не соглашался съ нѣкоторыми опредѣленіями Льва Николаевича истиннаго искусства и заявилъ, что японская живопись не есть искусство. Левъ Николаевичъ спросилъ — почему? Рѣпинъ сказалъ, что у нихъ большіе недостатки въ техникѣ: напримѣръ, нарисованы рыбы, а у нихъ не чувствуется костей.

— Если вамъ нужны кости, то идите въ анатомическій театръ, — горячо возразилъ Левъ Николаевичъ. — Да, — сказалъ Рѣпинъ, — но все-таки это карриатура. — И карриатура можетъ быть искусствомъ, возьмите карриатуры Кар'ан'д'аша...

Рѣшину, очевидно, не хотѣлось спорить. Левъ Николаевичъ почувствовалъ это и, смѣясь, заявилъ, что ему объ этомъ „бавтъ не подобаетъ“, и перевелъ разговоръ на другую тему.

Съ опредѣленіемъ искусства, сдѣланнымъ Львомъ Николаевичемъ, не соглашались многіе, но никто болѣе ясно и понятно не опредѣлялъ, что такое искусство; всякъ молодецъ толковалъ его на свой образецъ. Нѣкоторые упрекали его, отчего, разсуждая о теоріяхъ эстетики, не упомянулъ о русскихъ писателяхъ по теоріи искусствъ. Я тоже спросилъ его объ этомъ, и Левъ Николаевичъ отвѣтилъ мнѣ:

— Очень просто почему: изслѣдуя теоріи искусства, я подходилъ къ такимъ, которыя философски самостоятельно сложились у ихъ авторовъ; а у русскихъ ни у кого нѣтъ оригинальной теоріи, ничего самостоятельнаго, — все заимствовано у европейцевъ, — поэтому они никакого значенія не имѣютъ, и я считаться съ ними не могъ.

Однажды я сказалъ, побывавши въ театрѣ, Льву Николаевичу, какое большое значеніе имѣютъ старыя уже иностранныя пьесы, насколько онѣ выше произведеній для сцены послѣдняго времени и нашей драматической стряпни. Левъ Николаевичъ согласился съ этимъ.

— О, еще бы! Тамъ все, и драматическое, и комическое — образцово. Возьмите Мольера — какой юморъ! Ради него прощаешь ему всѣ его грубости. „Мѣщанинъ въ дворянствѣ“ — это такая прелесть, а „Лекарь поневолѣ“! Еще хороши пьесы Корнея.

Корнея я совсѣмъ не зналъ. Левъ Николаевичъ сказалъ, что и къ нимъ теперь интересъ уже охладѣлъ, но вовсе не потому, что онѣ могли сами наскучить, а потому что такимъ вещамъ появилась масса подражаній и подражаній — подражаніямъ, которыя въ концѣ концовъ отбили вкусъ и къ этимъ оригиналамъ. Это породило и другого рода искусство — будничную прозу. Появилась повѣсть объ Иванѣ Ивановичѣ и Иванѣ Никифоровичѣ. Люди набросились на нее, какъ на свѣжинку, и съ восторгомъ стали смаковать ее. А на самомъ дѣлѣ исторія Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича вовсе неинтересна и ненужна. Въ литературѣ важно появленіе высшихъ чувствъ, и это-то и ло задачей классическаго искусства.

Однажды вечеромъ мы пошли на телеграфъ, чтобы отправить телеграмму высланному уже за-границу Черткову. Я разсказалъ заинтересовавшій меня сюжетъ одной повѣсти. Левъ Николаевичъ заявилъ:

— Этотъ сюжетъ не для повѣсти, а для драмы. Вотъ драматическій сюжетъ. Для всякаго сюжета должна быть и своя форма. Форма драмы имѣетъ свои законы, свои опредѣленные этими законами условія. А теперь пишутъ драмы, чтобы вызвать настроенія... Настроение вызывается лирическими стихотвореніями, музыкальной симфоніей, а никакъ не драмой. Зачѣмъ только переводятъ Метерлинка, почему имъ интересуются, я понять не могу. Еслибы въ наше время появились подобныя вещи, ихъ встрѣтили бы хохотомъ, а теперь находятся люди, которые серьезно относятся къ такому уродству. — Удивительно!..

— Ну, а какъ же — когда появился романтизмъ, это вѣдь тоже было новое и небывалое для того времени, а его тоже приняли серьезно?

— Романтизмъ — совсѣмъ другое дѣло. Въ немъ были достоинства, какихъ у символистовъ и декадентовъ и въ помину нѣтъ. Вы не читали Марлинскаго? ..

Я сказалъ, что нѣтъ.

— Очень жаль; тамъ было много интереснаго.

XVII.

Въ Москвѣ проживалъ нѣкто Г. А. Русановъ. Онъ когда-то служилъ по судебному вѣдомству, но теперь былъ разбитъ парализмомъ и жилъ, сидя въ креслѣ, не имѣя возможности безъ помощи двинуться съ мѣста. Но несмотря на его тѣлесныя недуги, умственное и душевное состояніе его было почти всегда прекрасное, и Левъ Николаевичъ любилъ заходить къ нему, когда жилъ въ Москвѣ, — побесѣдовать.

Однажды онъ завелъ и меня къ Г. А. Какая-то теплая, уютная атмосфера стояла въ этомъ домѣ. Привѣтливая хозяйка, здоровые серьезные крѣпыши-сыновья. Самъ хозяинъ сидѣлъ въ передвижномъ креслѣ въ концѣ стола; передъ нимъ лежалъ платокъ и табакерка. На письменномъ столѣ стоялъ портретъ Чехова, съ надписью его самого; вокругъ лампы висѣло нѣсколько матовыхъ стеколъ съ изображеніями Льва Николаевича, котораго Г. А. очень любилъ. Главными занятіями Г. А. было то, что онъ читалъ. Онъ читалъ много, понималъ толкъ въ литературѣ и послѣднее время самъ сталъ переводить съ иностраннаго. Это были избранныя мысли Ларошфуко, Лабрюйера, Вольтера. Когда мы поздоровались и усѣлись около стола, Г. А.

сталъ спрашивать, какія извѣстія отъ Чертова. Левъ Николаевичъ разсказалъ. Разговоръ перешелъ на литературу.

— У Чехова появилась новая вещь, „Моя жизнь“; читали ее вы?

— Пробѣжалъ, — улыбаясь, проговорилъ Левъ Николаевичъ. — Мнѣ думается, она навѣяна исторіей князя Вяземскаго, вотъ этого чудака, что подѣ Серпуховомъ жилъ.

— И что же, хороша?

— Есть мѣста удивительныя, но вся повѣсть слаба.

— Все-таки она интересна, — сказалъ Г. А. — Я много читаю, но что-то мало цѣннаго. Вотъ въ историческихъ журналахъ читаю я разныя записки и съ большимъ удовольствіемъ, чѣмъ художественное творчество...

— Тамъ все-таки жизнь, а тутъ выдумка и плохая.

— Либеральные писатели еще ничего, но консервативные совсѣмъ никуда не годятся. Тамъ совсѣмъ нѣтъ талантовъ.

— Еще бы! — согласился Левъ Николаевичъ: — какіе же тамъ могутъ быть таланты, когда самая консервативность ихъ свѣдѣтельствуешь объ ихъ ограниченности. Какіе у нихъ могутъ быть таланты, когда у нихъ въ головѣ чего-то недостаетъ...

Когда открылся Художественный театръ и вся Москва восхищалась „Федоромъ Іоанновичемъ“ Алексѣя Толстого, Левъ Николаевичъ оставался въ сторонѣ одинъ и удивлялся, какъ это могутъ люди такъ восхищаться такой посредственной, неоригинальной, фальшивой вещью...

— Я увѣренъ, — говорилъ онъ, — что Федоръ Іоанновичъ былъ не такимъ, и Борисъ Годуновъ тоже.

Кто-то сказалъ, что Федоръ Іоанновичъ имѣетъ много общаго съ „Идіотомъ“ Достоевскаго.

— Вотъ неправда! Ничего подобнаго ни въ одной чертѣ. Помилуйте, какъ можно сравнивать „Идіота“ съ Федоромъ Ивановичемъ, когда Мышкинъ — это бриллиантъ, а Федоръ Ивановичъ — грошевое стекло; тотъ стоитъ, кто любитъ бриллианты, цѣны тысячи, а за стекло нѣто и двухъ копѣекъ не дастъ. У Алексѣя Толстого есть цѣнныя вещи, но не драмы. Возьмите „Сонъ статскаго совѣтника Попова“, — ахъ, какая это милая вещь! Вотъ настоящая сатира и превосходная сатира...

Однажды въ Ясной я засталъ гостившихъ тамъ В. В. Стасова и скульптора Гинцбурга. Стасовъ былъ прямой, высокій и старый старикъ съ бѣлою бородою, а Гинцбургъ — маленькій, ленькій; они уже гостили нѣсколько дней и собирались уѣхать. Левъ Николаевичъ показывалъ имъ свою новую работу,

и Стасовъ былъ отъ нея въ восторгѣ. Его поразила ясность мысли, сила языка и то новое, что Левъ Николаевичъ открывалъ ею. Статья была „Не убій“ и была вызвана убійствомъ итальянскаго короля.

Послѣ завтрака пошли гулять. На прогулкѣ говорили о той смутѣ, которая царитъ наверху, какъ въ дѣлѣ управленія государственные интересы отошли совсѣмъ на задній планъ, а замѣнились искательствомъ и интригами, и т. п., и никто изъ близко стоящихъ этимъ не возмущается. Печать усердно лакействуетъ и все оправдываетъ. Гинцбургъ сказалъ, что когда онъ послѣдній разъ видѣлся съ Чеховымъ, то тотъ страшно негодовалъ на постоянное флюгерство одного стараго и умнаго журналиста. Чеховъ хотѣлъ даже писать Льву Николаевичу, чтобы тотъ попробовалъ усовестить его; Льва Николаевича этотъ журналистъ уважаетъ, и, можетъ быть, изъ этого что-нибудь вышло бы...

— Нѣтъ,—съ грустью сказалъ Левъ Николаевичъ,—заранѣе увѣренъ, что ничего не выйдетъ. Это такая порода людей. На нихъ ничье увѣщаніе подѣйствовать не можетъ. У нихъ нѣтъ этихъ свойствъ, чтобы имъ стало стыдно. Я убѣдился въ этомъ, когда произошелъ переворотъ съ Катковымъ. Меня поразило тогда до глубины души. Какъ это человекъ можетъ такъ распоряжаться своимъ даромъ! Вѣдь несомнѣнно, этотъ даръ данъ человеку для одной цѣли—для увеличенія въ жизни добра, и талантъ этотъ принадлежитъ не ему, а онъ употребляетъ его для своихъ личныхъ цѣлей и корыстныхъ расчетовъ и изъ такихъ расчетовъ начинаетъ служить имъ не добру, а злу. И можетъ это дѣлать спокойно. Это было для меня поразительно, и я сейчасъ же порвалъ съ нимъ всякія сношенія... Такое мое отношеніе и тутъ...

Стасовъ сказалъ, что въ наше время вообще относятся ко всякимъ дарамъ легче и никакихъ обязательствъ ни передъ чѣмъ не чувствуютъ. Это можно понять, кого теперь выставляютъ героями. Послѣднее время привлекаетъ къ себѣ большое вниманіе Леонардо да-Винчи. Волынский написалъ о немъ цѣлую книгу. Книга важная, несомнѣнно, но присматриваешься по ней къ личности художника, и у него не оказывается никакихъ устоевъ, никакихъ запросовъ души. А говорятъ, онъ былъ образцомъ сверхчеловѣка.

— Все это Ницше,—сказалъ Левъ Николаевичъ.—Вотъ сумасбродъ. А какой талантъ! Я положительно былъ очарованъ его языкомъ! Какая сила и красота! Я такъ увлекся, что и себя забылъ. Потомъ опаматовался и сталъ все переваривать. Богъ

мой, какая дичесть! Это ужасно. Такъ снизводитъ христіанство!

— Христіанство давно снизводится, Ницше только довершаетъ ударъ.

— Прекрасно знаю; еще когда я впервые заговорилъ о христіанствѣ, то это сочли такимъ абсурдомъ, что отъ меня отвернулся нашъ приходскій попъ и перестали бывать Боборыкинъ и Михайловскій... Но я вѣдь тутъ ни при чемъ. Тимирязевъ однажды мнѣ говорилъ, что религія нужна, какъ лѣса строящемуся дому, но когда зданіе закончено, лѣса убираются... А зданіе-то еще не окончено, а они хотятъ отнимать лѣса...

XVIII.

Съ перваго же года моего знакомства съ Толстымъ, когда его духовный обликъ почти всегда стоялъ въ моемъ воображеніи, меня поражало и удивляло одно обстоятельство: стояло мнѣ выйти изъ круга обыденной жизни—я неминуемо наталкивался на отраженіе тѣню его въ чьей-нибудь головѣ. Приѣдешь ли на базаръ въ село, или въ уѣздный городъ, приедешь ли въ гости къ учителю, поѣдешь ли въ дальнюю дорогу, Москву, Петербургъ, неминуемо наталкиваешься на разговоры о Толстомъ. То, что о Толстомъ заговаривали люди, знавшіе меня, при моемъ появленіи, было неудивительно: мое причастіе къ его имени могло навести на мысль о немъ и вызвать разговоръ. Но меня удивляло то, что разговоръ заводился людьми, совсѣмъ меня не знавшими и совершенно случайно сошедшимися между собою. Особенно часто пришлось наталкиваться на такіе разговоры въ 90-хъ годахъ. Послѣ 94-го года, когда наша деревня покупала землю и мнѣ, какъ уполномоченному по покупке, часто пришлось покидать насиженное мѣсто и ѣздить въ Москву, за Москву, гдѣ жила владѣлица, въ Петербургъ, чтобы вести хлопоты въ крестьянскомъ банкѣ,—каждый разъ я становился невольнымъ свидѣтелемъ разговоровъ, гдѣ предметомъ была религія, и къ этому непремѣнно притягивался Толстой. Чувствовалось, чѣмъ жило простонародье, отличительной чертой котораго служить необыкновенная искренность: что на душѣ, то и языкѣ. И въ большей части разговоровъ диспутантами выказались такіа разумныя понятія христіанскихъ основъ, что сердце наполнялось радостью, весело и бодро глядѣлось кругомъ. Очень памятенъ мнѣ одинъ разговоръ въ линейкѣ между чѣмъ городомъ и Москвой. Вхалъ какой-то фабричный, худой,

безбородый, съ впалыми глазами; онъ былъ фанатикъ православный и ругаль трудовой людъ, который тогда началъ напоминать о своемъ существованіи.

— Хотятъ по-хрѣнцузски завести: не нужно жить по-старому, а давай новое. Какое тебѣ новое, когда стараго не проворотишь...

— А если старое-то въ горло не лѣзетъ?—возражалъ ему молодой мужикъ съ мягкой черной бородкой и въ заячьей шапкѣ.

— Тебѣ не лѣзетъ, а другимъ только давай. Нѣтъ, братъ, у насъ на этомъ обожгутся. У насъ за старое-то большіе миліоны держатся. У насъ не такая рилегія. Мы церковь-матушку чтемъ да обряды соблюдаемъ.

— Церковь чтутъ, а Христовъ законъ въ забросѣ. Для вещей храмы строятъ, а людямъ въ городахъ становится головы негдѣ приклонить. Нѣшто Христовъ законъ въ томъ?

— А что-жъ, по-твоему, церкви не нужно?—ядовито уставляясь въ лицо своего противника, прошипѣлъ безбородый.

— Я не про то. Я только говорю, что у насъ евангеліе забыли. Только и помнить его одинъ графъ Толстой.

Безбородаго покоробило, точно его ткнули каленымъ желѣзомъ.

— Графъ Толстой! сказалъ тоже!—воскликнулъ съ негодованіемъ онъ.—Графъ Толстой сицилистъ и не христіанинъ...

— Кто бы онъ ни былъ, а онъ правду говоритъ. Тамъ Богъ, гдѣ любовь, а гдѣ любви нѣтъ, тамъ и Бога нѣтъ.

Это было сказано такъ просто и съ увѣренностью, что, несмотря на горячую защиту безбородымъ казенной вѣры, сочувствіе всѣхъ сидѣвшихъ въ линейкѣ было не на его сторонѣ.

А между тѣмъ сочиненія Толстого были подъ запретомъ, издатели ихъ не считали себя въ правѣ распространять такъ, какъ распространялась нелегальная литература. Они проникали въ массу въ очень ограниченномъ количествѣ. Мнѣ думается, подберись вокругъ Толстого не такіе люди, которые его большею частью окружаютъ, а другого умственного и нравственного порядка, оцѣни они болѣе его духовный строй и пожелаай болѣе дѣятельно осуществить его идеалы, а не бояться, какъ бы чего изъ этого не вышло, то они могли бы завербовать въ ряды исповѣдниковъ новаго христіанства огромныя массы. И что это неголословно, укажу на слѣдующіе факты, лично мнѣ извѣстны.

Среди моихъ земляковъ, кому какъ-нибудь удалось познаться обстоятельно съ сочиненіями Толстого, многіе круто измѣнили свое отношеніе къ жизни. Не буду говорить о томъ поэтѣ, который написалъ приведенные мною вначалѣ стихи и нѣсколь

лѣтъ книгѣ въ огнѣ новой жизни,—и другіе чувствовали не-отразимость вѣрнаго толкованія евангелія Толстымъ и проникались имъ. Знаю одного артельщика, служившаго на желѣзной дорогѣ, который, прочитавши сочиненія Толстого, задумался надъ своей жизнью и не могъ уже спокойно вести ее. Онъ сталъ искать выхода изъ нея и хотѣлъ ѣхать въ деревню и возобновить жизнь простымъ деревенскимъ портнымъ,—и только жена, рѣзко возставшая противъ этого, удержала его и помирилась на сельскомъ хозяйствѣ, на которое онъ и ушелъ. Другой жилъ мальчикомъ въ бакалейной лавкѣ. Читаніемъ онъ развилъ себя до уровня средняго интеллигента. Однажды ему попалось „Въ чемъ моя вѣра“. Книга такъ поразила его, что онъ сталъ жадно ловить все, что выходило изъ-подъ пера Толстого. Когда были напечатаны статьи противъ военной службы, онъ проникся отрицательнымъ отношеніемъ къ войнѣ, и когда пришло время идти къ призыву, онъ рѣшилъ отказаться отъ присяги и испытать судьбу Дрожжина и Ольховика. Но судьба рѣшила иначе. Ему дали льготу... Онъ былъ настолько этимъ пораженъ, что готовъ былъ отказаться отъ льготы; онъ чуть не плакалъ отъ досады, что ему не пришлось высказать свою вѣру.

Другому парню, также рѣшившемуся отказаться отъ службы, не удалось исполнить этого, потому что не достался жребій; третьему посчастливилось, его приняли на службу и послали; въ уѣздномъ городѣ онъ присяги не принялъ, но на это не обратили вниманія; а когда его пригнали въ полкъ и стали подводить къ присягѣ передъ знаменемъ, онъ вышелъ изъ фланга и отказался. И несмотря на усовѣщиваніе, которое велось отъ попа до полкового командира, парень стоялъ на своемъ. Онъ не отказывался служить, но не хотѣлъ присягать, обѣщаться убивать по приказанію кого-то... Его пожалѣли, не отдали подъ судъ, послали служить въ Закаспійскій край, гдѣ онъ и выслужилъ свой срокъ въ нестроевой части.

Еще одинъ заколебался и принялъ присягу. Но это отравило ему покой. Съ перваго же времени онъ понялъ, что онъ не можетъ служить, и сталъ отказываться отъ повиновенія начальству. Его отдали подъ судъ и закатали въ дисциплинарный лагерь.

Что все люди, про которыхъ я узналъ совершенно случайно, только же было такихъ, про переживанія которыхъ ни до свѣдѣнія не доходило?

XIX.

На ряду съ увлеченіемъ Толстовскимъ толкованіемъ христіанскаго ученія продолжались встрѣченныя мною на первыхъ порахъ и суровыя нападки на него. Производились онѣ всегда духовенствомъ. Помню, какъ одинъ законоучитель сельской школы, узнавши, что я состою въ числѣ почитателей Льва Николаевича, раздраженно заговорилъ:

— Такихъ людей не почитать нужно, а избѣгать. Онѣ основалъ новое ученіе. Это—не что иное, какъ барская выдумка. Отъ гордости она... Нужно подумать, къ какому онѣ роду принадлежить. Онѣ вѣдь графъ. А графъ—маленькій царекъ, у него превосходства надъ другими вотъ сколько. Ну и гордость отъ этого. Онѣ хочетъ, чтобы у него все свое было. Земля своя, домъ свой, мужики его. Мало этого стало—онѣ и вѣру свою завелъ. Не хочу быть со всѣми равнымъ, а выдумую свою вѣру. Вотъ онѣ и написалъ „Въ чемъ моя вѣра“.

Другое характерное сужденіе со стороны священника мнѣ пришлось слышать во время голода въ Рязанской губерніи.

Однажды къ хозяину моей квартиры пришли гости. Гости были: священникъ изъ сосѣдняго села, письмоводитель земскаго начальника и урядникъ. Всѣхъ замѣчательнѣе былъ первый: пухлый, высокій, съ черной бородой и немного рябоватымъ лицомъ; у него были быстро бѣгающіе маленькіе глазки. Вошли они шумно, весело; съ прибауточками поздоровались съ хозяевами и безцеремонно расположились за столомъ.

— Ну что, благодѣтельствуете? — обратился ко мнѣ батюшка.—Помогаете немущимъ? Кормите голодныхъ?

Тонъ, какимъ были сказаны эти слова, показался мнѣ насмѣшливымъ, и я проговорилъ:

— Что-жъ тутъ плохого? Тутъ, кажется, смѣяться не надъ чѣмъ!

— Нѣтъ, есть надъ чѣмъ! — авторитетно проговорилъ батюшка.—Благодѣтельствуютъ съ какимъ-то упоеніемъ. „На, батюшка, на, кормилецъ. Вотъ тебѣ отъ нашихъ трудовъ!“... Развѣ такъ нужно помогать?.. Вотъ „Красный Крестъ“, тотъ дѣйствуетъ правильно. Въ немъ всѣ помѣщики. Они знаютъ, кому выдать пособіе. У нихъ каждая душа на счету. Стоящій мужикъ, трудолюбивый, не задира, можно отъ него въ будущемъ пользы ждать—они поддерживаютъ. А встоющій — от

воротъ поворотъ да за уголъ... А у васъ это дѣлается безъ толку, безъ разбора... Другому не только хлѣба куска, а ему комъ снѣга жалко кинуть,—а вы и ему помогаете. Онъ тунеядецъ, лежебока и пьяница, не хочетъ кормить жену съ дѣтьми, ему бы нужно работы искать, а вы помогаете ему безъ дѣла жить. Какая отъ этого польза?

— Намъ не приходится разбирать. Мы видимъ, люди на краю гибели, и стараемся спасти ихъ.

— А кто ихъ къ гибели-то привелъ? Они сами!

— Мы этого не знаемъ.

— А мы знаемъ. Поэтому и говоримъ: не слѣдовало бы къ чужой монастырь съ своимъ уставомъ лѣзть.

— Это дѣлается изъ чувства состраданія. Помогать несчастнымъ самъ Богъ велѣлъ. Сказано прямо: голодныхъ накормите, больныхъ посѣтите.

— Это отдѣльныя мѣста, а вы изъ отдѣльныхъ мѣстъ-то Богъ знаетъ что дѣлаете. Вашъ Левъ Толстой непротивленіе въ евангеліи откопалъ. Не противься злему, говорить.

Священникъ, сказавъ это, громко засмѣялся.

Меня это покорило, и я проговорилъ:

— А развѣ это не изъ евангелія?

— Изъ евангелія-то изъ евангелія, да это понимать-то нужно умѣючи, а не съ бухты-барахты. Не одно мѣсто выбирать оттуда, а съ другими связывать. Чтобы одно другое поддерживало. А то изъ этого Богъ знаетъ что выйдетъ. Въ старину вотъ тоже разъ нашелся такой умникъ,—обратился батюшка уже не ко мнѣ одному, а ко всей компаніи,—и тоже сталъ чистое евангеліе проповѣдывать. Про его проповѣдь услышалъ языческій намѣстникъ, призвалъ къ себѣ:—„Въ чемъ твое ученіе заключается?“—Вотъ въ томъ-то и въ томъ-то. „А-а, говорить, вотъ какъ: ударившему въ щеку подставь и другую—отлично. Ну, такъ вотъ тебѣ—давай-ка мнѣ другую-то!“... Смазалъ онъ его разъ, другой, потомъ началъ каждый день вызывать его да такъ испытывать... У человѣка ужъ и терпѣнія не хватало. Приходитъ онъ къ своему епископу и говоритъ: такъ и такъ. Епископъ и посоветовалъ ему: „А ты вспомни-ка другой текстъ: какою мѣрою мѣрится, такою и вамъ отмѣрено будетъ“.

Истинникъ намоталъ это на усь, и какъ только правитель пришелъ его и ударилъ,—тотъ, не будь глушь, въ отвѣтъ ему: „Въ темѣнѣ говорится также: какою мѣрою мѣрите, такою и вамъ мѣрятъ“,—да какъ хватить его самъ въ ухо, тотъ индо на полъ... Съ тѣхъ поръ христіанина перестали безпокоить...

Компанія единодушно захохотала отъ удовольствія. Сіялъ и поплъ, и, обращаясь ко мнѣ, побѣдоносно потрахиная головой, внушительно проговорилъ:

— Нѣтъ, все ваше христіанское милосердіе есть глупость, и людямъ отъ него не польза, а вредъ.

Встрѣчались и другіе случаи осужденія Толстого, но они не отличались ни большей справедливостью, ни большимъ остроуміемъ, развѣ только превосходили иногда своей дикостью. Такъ, напримѣръ, въ 1897 году, Левъ Николаевичъ получилъ два угрожающихъ письма, въ которыхъ говорилось, что его вредоносная дѣятельность вывела изъ терпѣнія членовъ воинствующей церкви и его положено убить. Крайній срокъ назначенъ на 3-е апрѣля 1898 года.

XX.

Когда былъ опубликованъ указъ объ отлученіи Льва Николаевича, я жилъ въ деревнѣ и былъ въ уѣздномъ городѣ на одномъ изъ собраній. Прочитали газету; смиренный тонъ статьи сначала не произвелъ большого впечатлѣнія, только остановились надъ выраженіемъ, что Толстой „данный ему Богомъ талантъ употребилъ противъ Бога“—какъ будто бы всемогущій Богъ не могъ предвидѣть, на что онъ этотъ талантъ употребитъ! Потомъ перечитали еще разъ статью, раскусили, что она обозначаетъ, и вдругъ всѣхъ охватило опредѣленное чувство смущенія. Предметъ собранія былъ оставленъ. Пошли разговоры о значеніи и послѣдствіяхъ этого документа. Поняли расчетъ составителей документа, который былъ вовсе не въ томъ, чтобы Толстой одумался и покался, а въ томъ, чтобы оттолкнуть отъ него сочувствіе массъ. Съ этою цѣлью они и рѣшили объявить его анаемой. Чувства всѣхъ опредѣлились; сейчасъ же былъ составленъ текстъ письма, выражающаго сочувствіе Льву Николаевичу, и стали собирать подписи.

Несомнѣнно, эта цѣль отчасти достигалась. Это почувствовалось вскорѣ. У насъ одинъ управляющій, увидавши у своего сына сочиненія Толстого, велѣлъ ему сжечь ихъ. Были случаи, что возвращали нечитанными только-что взятые книги изъ библіотеки. Законоучители въ школахъ и нѣкоторые попечители стали показывать на „Книги для чтенія“ и „Новую азбуку“ говорили, что ихъ теперь нельзя имѣть въ школѣ, за нихъ и горить. Даже не устояли такіе люди, которые испытали личное обаяніе Льва Николаевича. Одинъ изъ мелкихъ служащихъ :

железной дорогѣ, увлекшійся ученіемъ Толстого и переписавшій для себя полууставомъ съ заставками „Въ чемъ моя вѣра“, прочитавши постановленіе синода, испугался своего преклоненія передъ Толстымъ и рѣшилъ развязаться съ нимъ; но уничтожить книжку было жалко, много труда было положено на нее. Продать—попадешься. Тогда онъ рѣшилъ преподнести ее духовенству. Онъ написалъ покаянное письмо, приложилъ его къ еретической книгѣ и отправился къ архіерею. Архіерей вызвалъ его къ себѣ и сталъ спрашивать, какъ же это онъ подпалъ подъ вліяніе этого безбожника. Раскаившійся отвѣчалъ, что онъ лично видѣлся съ графомъ Толстымъ и за безбожника принять его не могъ, потому что онъ всегда былъ сердеченъ, говорилъ о религіозномъ. Архіерей сказалъ, что для соблазна всегда принимаютъ такой видъ и этимъ уловляютъ въ сѣти. Онъ поздравилъ его съ тѣмъ, что онъ одумался, и благословилъ его образкомъ, вырѣзаннымъ изъ кости, тонкой, чуть не ажурной работы. Раскаившійся толстовецъ послѣдовалъ домой въ радости, что онъ сдѣлалъ выгодный обмѣнъ, и думалъ, что эту вещь можно съ большей безопасностью держать дома, а при случаѣ и продать. Но дорогой образокъ выскользнулъ у него изъ рукъ, ударился о камень и разбился.

Но такихъ случаевъ было немного. Передъ этимъ было напечатано „Воскресеніе“; романъ проникалъ во всѣ углы и настроеніе автора покорило даже бывшихъ до сихъ поръ враждебно къ нему настроенными. Поэтому указъ объ отлученіи вызвалъ большій интересъ къ его запрещеннымъ сочиненіямъ, ихъ стали добывать и читать. Въ нашихъ мѣстахъ послѣ этого какъ-то больше пошла изданная Академіей Наукъ чешская книга „Сѣть вѣры“ Хельяскаго, гдѣ духовенство изображалось само попавшимся въ сѣти сатаны. И хотя въ книгѣ говорилось о духовенствѣ католическомъ, но читатели понимали, что и православное духовенство мало отличается отъ него.

Вскорѣ мнѣ пришлось поѣхать въ Москву. Въ вагонѣ мнѣ пришлось услышать очень своеобразное объясненіе отлученія Льва Николаевича. Разговоръ шелъ между женщинами—старой и молодой. Старая была полная, въ темномъ платкѣ и бумазей-

— За что же его анаемъ-то предали?

— А вотъ за то, — спокойно и увѣренно стала объяснять дая. — Сталъ онъ проповѣдывать и сочиненія писать: не о святого брака...

— Какъ не нужно, это чтобы безъ брака жить?—дѣлая глаза круглыми, спросила старуха.

— Нѣтъ, совсѣмъ не нужно. Чтобы не было мужчины съ женщиной, отъ этого гибель и дѣти родятся на гибель.

— Стало быть, монахами всѣмъ быть?

— Какъ монахи. И грѣхъ смертный, говорить, отъ этого всякому человѣку. Ну вотъ, написалъ онъ это сочиненіе, прошелъ годъ али другой, глядь, у него самого ребеночекъ родился. Ну, тогда и стали судить, что же онъ отъ людей требуетъ того-то и того-то, а самъ этого не исполняетъ, — взяли его и отлучили.

Старуха промолчала, очевидно, переваривъ какъ слѣдуетъ объясненія, а молодая вдругъ прижала къ сердцу своего мальчика и сочно поцѣловала прямо въ губы.

XXI.

Приѣхавши въ Москву, я съ первыхъ же шаговъ увидѣлъ, что центромъ вниманія всей Москвы служитъ Левъ Николаевичъ. Объявленіе объ его отлученіи совпало какъ разъ съ происходившими тогда студенческими волненіями; къ этимъ волненіямъ примыкали чуть ли не впервые рабочіе. Москва кипѣла, распространялись всевозможные слухи, ходили анекдоты... Все это страшно волновало.

На другой день по приѣздѣ, я поѣхалъ на Дѣвичье-Поле, въ редакцію „Посредника“; проѣзжая въ конкѣ по Пречистенкѣ, я увидѣлъ, какъ по тротуару шли прогуливавшіеся ученики реальнаго училища. Юноши шли выстроенные въ группы, — очевидно, была официальная прогулка. Вдругъ навстрѣчу имъ попался шедшій внизъ по Пречистенкѣ Левъ Николаевичъ. Онъ нагнулъ голову, свернулъ съ тротуара и ускорилъ шагъ, чтобы пройти незамѣченнымъ. Но это ему не удалось. Молодежь дружно, какъ по командѣ, группа за группой, поднимала надъ головой фуражки и привѣтствовала его, только-что объявленнаго врагомъ всего человѣчества. Было такъ трогательно глядѣть на эту картину, что подступали слезы.

Дальше я узналъ, что вскорѣ послѣ отлученія Левъ Николаевичъ встрѣчалъ еще болѣе замѣтныя выраженія симпатіи. Однажды съ своимъ докторомъ Левъ Николаевичъ пошелъ и Мясницкую. По дорогѣ всѣ узнавшіе его почтительно кланялись. Около университета за ними собралась толпа и пошла вслѣдъ

она провожала его до театра; на Лубянской площади были новыя толпы волновавшагося тогда народа. Въ толпѣ Льва Николаевича тоже узнали, и кто-то, иронизируя надъ синодскимъ постановленіемъ, сказалъ довольно громко: „Вотъ дьяволъ въ человѣческомъ образѣ!“—и эти слова послужили сигналомъ, раздались крики: „ура“, „Толстой“, „да здравствуетъ Левъ Николаевичъ Толстой!“ Какой-то студентъ выскочилъ впередъ и закричалъ на всю площадь: „Коллеги, сюда! Левъ Николаевичъ Толстой здѣсь!“ Началось, какъ рассказывалъ докторъ, нѣчто невообразимое: вся эта громада людей, покрывавшая площадь, хлынула къ Толстому, крича и махая шапками, каждый стараясь протиснуться впередъ. Левъ Николаевичъ сказалъ доктору: „Пойдемте куда-нибудь“... На углу Неглинной, у Малаго театра, они успѣли вскочить на извозчика, но тутъ же сани облѣпили студенты, становясь сзади на полозья, хватаясь сбоку за поloseсть. Докторъ попросилъ отпустить ихъ,—они сейчасъ же соскочили и разступились; извозчикъ стегнулъ лошадь, толпа замахала шапками и закричала новое „ура“!

Когда они вернулись домой, то дома была получена цѣлая куча писемъ и телеграммъ, выражающихъ ему сочувствіе. Передъ обѣдомъ явилась депутація женщинъ. Послѣ обѣда весь дворъ наполнили студенты, барышни, рабочіе. Левъ Николаевичъ выходилъ къ нимъ и долго разговаривалъ, успокаивая ихъ и совѣтуя не дѣлать чего-нибудь такого, что дѣлаютъ ихъ враги, а стараться стоять всегда выше ихъ.

Съ этого дня каждый часъ стали получать письма, телеграммы, цѣты, свидѣтельствовавшіе и благоговѣніе, и уваженіе передъ славнымъ именемъ представителей русскаго общества.

Въ Чертковскомъ изданіи „Свободное слово“, относящемся къ тому времени, приводится такой фактъ. Однажды на улицѣ къ Льву Николаевичу подошелъ пожилой рабочій, остановилъ его и спросилъ:

— Скажите пожалуйста, не вы ли графъ Толстой?

— Я,—отвѣтилъ Левъ Николаевичъ.—А вамъ что-нибудь нужно отъ меня?

— Только хотѣлъ узнать, неужели это вѣрно, что я имѣю счастье видѣть самого Толстого?—Поклонился низко и отошелъ.

Вечеромъ я зашелъ ко Льву Николаевичу. Онъ былъ несѣмъ здоровъ. Но все-таки чувствовалось, какъ онъ возбужъ происходящимъ, которое его очень волновало. Онъ сталъ орять, какъ чувствуется, что чаша народнаго долготерпѣнія еполняется, и для выраженія протеста противъ ненормаль-

ныхъ порядковъ объединяется все больше людей. Волненія студентовъ теперь уже меньше раздражаютъ и законность ихъ признается во всѣхъ слояхъ общества. Все это показываетъ, что что-то наболѣло у всѣхъ, и это наболѣвшее нужно устранить. Онъ не понимаетъ, какъ это наверху застыли въ своемъ упорствѣ и продолжаютъ глядѣть на людей, какъ на неспособныхъ къ духовному росту, и поддерживаютъ святость того, что въ низахъ давно уже перестало считаться святымъ. Онъ разсказалъ о новыхъ случаяхъ отказа отъ воинской повинности, объ увеличивающихся преслѣдованіяхъ судомъ за такъ-называемыя кошунства, которыя проявляются чаще и чаще. А это доказываетъ, что для людей нужны новые свѣточки, которые свѣтили бы челоуѣческой душѣ.

Левъ Николаевичъ только-что составилъ тогда обращеніе къ правительству, гдѣ выражались требованія народа. Эти требованія сводились къ свободѣ вѣрованія, допущенію всѣхъ безъ различія къ образованію, къ уравниенію народа въ правахъ читать всѣ выходящія въ свѣтъ книги, къ свободѣ печати и къ допущенію безнаказанно выражать свои мнѣнія, къ облегченію доступа для крестьянъ къ землѣ, къ освобожденію крестьянъ отъ исключительныхъ законовъ и отъѣмъ земскихъ начальниковъ. Левъ Николаевичъ сознался, что онъ не согласенъ со всѣмъ тѣмъ, что тутъ требуется. Но онъ долженъ былъ написать ихъ, такъ какъ эти именно требованія предъявляются всѣми сознательными группами къ правительству, нужно съ ними считаться.

Я спросилъ его, съ чѣмъ онъ не согласенъ въ этихъ требованіяхъ самъ.

— Я не согласенъ на полную свободу печати. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что положеніе печати ненормально, запрещеніе и преслѣдованіе за несогласныя съ законами мысли — ужасная дикость. Этимъ нисколько не достигается то, чего хочется цензурѣ. Она забываетъ, что запрещенный плодъ сладокъ, и тѣмъ самымъ вызываетъ интересъ къ тому, что никакого интереса не заслуживаетъ. Я знаю нѣкоторыя заграничныя изданія, гдѣ нѣтъ стѣсненія печати. Есть газеты, проповѣдующія самый свободный анархизмъ, и у нихъ всего шестьсотъ подписчиковъ. Примѣны къ нимъ стѣснительныя мѣры — и у нихъ сейчасъ же явятся тысячи и десятки тысячъ читателей. Стало быть, цензура не достигаетъ своей цѣли. Но и полная свобода опасна, потому что сейчасъ поднимется наверхъ такая грязь, которая сейчасъ таится подъ спудомъ, что этимъ ядомъ будутъ одурманены тысячи головъ. У нихъ загрязнится воображеніе... А мнѣ этого жалко

XXII.

Кромѣ выраженія, чего требуетъ народъ, Левъ Николаевичъ составилъ тогда текстъ адреса князю Вяземскому, выступившему въ Петербургѣ на Казанской площади противъ градоначальника Клейгельса и заступившагося за безоружную толпу. Адресъ слѣдующаго содержанія:

„Уважаемый князь Леонидъ Дмитріевичъ!

Мужественная, благородная и челоуѣколюбивая дѣятельность ваша 4-го марта передъ Казанскимъ соборомъ извѣстна всей Россіи.

Мы надѣемся, что вы такъ же, какъ и мы, относите выговоръ, полученный вами отъ Государя за эту дѣятельность, только къ грубости и жестокости тѣхъ людей, которые обманываютъ Его. Вы сдѣлали доброе дѣло, и русское общество всегда останется вамъ благодарнымъ за него.

Вы предпочли отдаться чувству негодованія противъ грубаго насилія и требованіямъ челоуѣколюбія, а не условнымъ требованіямъ приличія и вашего положенія, и поступокъ вашъ вызываетъ всеобщее уваженіе и благодарность, которыя мы и выражаемъ вамъ этимъ письмомъ“.

Подъ адресомъ были собраны подписи въ Москвѣ и посланы князю. А такъ какъ я на другой день ѣхалъ въ Петербургъ, то этотъ текстъ былъ переданъ мнѣ для сбора подписей въ Петербургѣ.

Когда я пріѣхалъ въ Петербургъ, то и въ Петербургѣ, какъ и въ Москвѣ, была замѣтна поднявшаяся волна сочувствія Толстому: ходили всевозможныя стихотворныя басни объ отлученіи. Одна изъ басенъ была очень мила. Называлась она „Голубь и побѣдители“ и съ тонкимъ юморомъ характеризовала постановленіе синода. Распространялись рисунки, изображавшіе событія послѣдняго времени. Устраивались оваціи передъ портретомъ Толстого на передвижной выставкѣ. Съ другой стороны, поднималась другая волна. Только-что опубликовалось письмо митрополита Антонія графинѣ С. А. Толстой, изъ общественныхъ библіотекъ ючались его книги, запретили печатать въ газетахъ извѣстья объ оваціяхъ и манифестаціяхъ въ честь Толстого и его портретомъ на передвижной выставкѣ. Журналъ „Знѣ“ хотѣлъ помѣстить этотъ портретъ—такъ цензура его отклонила. Велись проповѣди противъ Толстого съ церковной

каеэдръ. „Новое Время“ устами Сигмы негодовало на Рѣпина, что онъ въ своемъ портретѣ канонизировалъ Толстого. Дошли до того, что телеграфъ сталъ отказываться принимать телеграммы, выражавшія сочувствіе Льву Николаевичу, и не стали доходить такого характера письма. Письма же и открытки съ ругательствами доходили акуратно.

И несмотря на это, Левъ Николаевичъ не терялся, не ослабѣ духомъ, не озлобился. Физически онъ тогда сталъ очень немогать. У него появился ревматизмъ, потомъ лихорадочныя боли. Онъ часто сваливался, но все-таки продолжалъ работать, писалъ свою повѣсть „Хаджи-Муратъ“, составилъ отвѣтъ на постановленіе синода, задумывалъ рядъ другихъ работъ, отвѣчалъ на письма и съ горячимъ участіемъ слѣдилъ за тѣмъ, что происходитъ кругомъ.

Когда я вернулся изъ Петербурга и подѣлился впечатлѣніями своими съ нимъ, онъ очень смѣлся надъ тѣмъ, что въ Петербургѣ расплодилось такъ много нелегальной литературы, которая проникла во всѣ углы. Когда пришла какая-то знакомая, у которой былъ ридикюль въ рукахъ, Левъ Николаевичъ, смѣясь, сказалъ:

— А ну-те-ка покажите, что у васъ есть, навѣрное—что-нибудь запрещенное?

Барыня созналась, что запрещенное есть. Левъ Николаевичъ опять залился смѣхомъ.

— Это зараза, просто зараза, психическая зараза, всѣхъ она охватила.

Недомоганія Льва Николаевича дѣлались все сильнѣе, пока онъ не свалился рѣшительно. Его увезли въ деревню, а потомъ въ Крымъ.

Когда Левъ Николаевичъ болѣлъ и былъ въ Крыму, я его не видѣлъ, но всегда внимательно слѣдилъ за его состояніемъ, и все, что мнѣ ни сообщали, подтверждало величіе его духа, благородство сердца. То, что онъ написалъ по выздоровленіи въ Крыму, а главнымъ образомъ обращеніе къ рабочему народу, говорило, какими прочными нитями онъ привязанъ къ милліонамъ простыхъ людей и какъ пламенно желаетъ имъ истиннаго блага. Какъ любить ихъ... По одному его выраженію: „любовь — это проникновеніе въ душу любимаго существа, жизнь ея (этой души) желаніями“. И это-то проникновеніе въ душу всѣхъ и каждый дѣлалъ онъ. Онъ проникалъ въ глубину души человѣка сквозь наваленный и нагроможденный тамъ цѣлыми кучами мусоръ, достигалъ до самыхъ лучшихъ ея свойствъ и всѣ усилія упо-

треблялъ, чтобы оживить эти свойства, вызвать ихъ наружу и освѣтить ихъ свѣтомъ все человѣческое существо. Не его вина, что усилія эти иногда пропадали. Онъ дѣлалъ ихъ всю свою жизнь, и эта его служба людямъ останется памятна на многіе вѣка и много вѣковъ будетъ притягивать къ себѣ сердца, бьющіяся любовью къ истинѣ и жаждущія блага живущему, какъ фонарь на темной дорогѣ притягиваетъ къ себѣ заблудившихся. Пусть послѣднее время послѣ болѣзни онъ не такъ твердо держалъ этотъ фонарь, пусть въ старомъ организмѣ, изношенномъ годами, стали показываться иногда сохранившіеся инстинкты представителя извѣстнаго класса, проявленіе которыхъ заставляло мучительно сжиматься сердца у тѣхъ, которые всегда видѣли его стоящимъ во весь ростъ и человѣкомъ внѣ классовъ и предразсудковъ; его промахи въ наступившее вскорѣ бурное время въ Россіи незамѣтнѣе промаховъ, сдѣланныхъ за это время тысячами людей, стоявшихъ, какъ и онъ, на огромной высотѣ умственной культуры и политическаго такта. Если же приглядишься внимательнѣе къ обстоятельствамъ, сопровождающимъ его жизнь, и къ условіямъ, которыя его окружаютъ, то и эти погрѣшности покажутся такими естественными и законными, что удивительно было бы, если бы они не обнаружились.

СЕРГѢЙ СЕМЕНОВЪ.



„ЗА ОДНО СЛОВО“

РАЗСКАЗЪ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Разсказъ этотъ написанъ любимѣйшимъ моимъ ученикомъ первой моей школы 1862 года, тогда милымъ 12-ти-лѣтнимъ Васькой Морозовымъ ¹⁾, теперь уважаемымъ 60-ти-лѣтнимъ Василиемъ Степановичемъ Морозовымъ.

Какъ тогда мнѣ были особенно дороги въ милomъ мальчикѣ его чуткость на все доброе, его сердечность и, главное, всегдашняя искренность и правдивость, — такъ и теперь мнѣ особенно понравились тѣ же черты въ этомъ простомъ разсказѣ, такъ ярко отличающемся своей правдивостью отъ большинства литературныхъ писаній.

Чувствуешь, что тутъ нѣтъ ничего придуманнаго, сочиненнаго, а разсказано то, что именно такъ и было, — выхваченъ кусочекъ жизни, и той именно русской жизни съ ея грустными, мрачными и дорогими, задушевыми чертами.

Думаю, что я не подкупленъ моей привязанностью къ сочинителю и что читателямъ разсказъ полюбитъ такъ же, какъ и мнѣ.

Левъ Толстой.

1908 г. 18 июля.

¹⁾ О немъ я писалъ въ 1862 г. въ статьѣ: „Кому у кого учиться писать—крестьянскимъ ребятикамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ“, помѣщенной въ IV томѣ полнаго собранія моихъ сочиненій.

Какъ-то въ эту зиму мнѣ пришлось пить чай въ знакомомъ трактирѣ. Дѣло было въ четыре часа пополудни, и мнѣ по обыкновению, какъ завсегдатаю трактира, „изъ уважительности“ подали газету.

Надѣвъ свои стариковскіе очки, я утонулся въ газету и занялся чтеніемъ статьи о Львѣ Толстомъ.

Въ трактирѣ было тихо, народу было мало, и я весь отдался чтенію.

Оторвалъ меня отъ чтенія подошедшій ко мнѣ старикъ въ запунѣ, лаптяхъ и съ сумочкой на рукѣ. Онъ слегка дотронулся своей рукой до моего плеча и проговорилъ:

— Не дадите ли копѣечку? Ъсть хочется.

Мнѣ стало досадно на то, что нахалъ этотъ тревожить меня. И, считая себя самого бѣднякомъ, чуть ли не нищимъ, хотя я и не побираюсь, я съ досады, не отрываясь отъ газеты, проговорилъ:

— Много васъ тутъ шатается голодныхъ; я и самъ голоденъ, ну тебя къ чорту! — И, сказавъ это, сталъ опять читать.

Но чтеніе мое прервалъ странный звукъ: рыданія и всхлипыванія.

Я скинулъ очки, положилъ на газету и посмотрѣлъ на просителя. Это былъ старикъ, очевидно крестьянинъ, блѣдный, худой, сторбленный. Онъ стоялъ не двигаясь и изъ впалой груди его, не переставая, разъ за разомъ вырывались рыданія и всхлипыванія.

Мнѣ стало вдругъ и стыдно, и больно. Что-то мнѣ подступило къ горлу, и я самъ едва удержался отъ слезъ: мы, старые люди, слабы на слезы; мнѣ было стыдно, но я все-таки въ душѣ старался оправдать себя за то, что не подаль ничего, да еще и послалъ его къ чорту: „я самъ голодный, безработный, съ большимъ семействомъ на рукахъ“, — подумалъ я про себя. Но сейчасъ же въ душѣ моей заговорилъ голосъ совѣсти: „А все-таки не надо было такъ поступать съ нимъ. Все-таки нехорошо, хорошо сдѣлалъ ты, братъ-Василій“, — говорилъ я себѣ.

Я не зналъ, что заставило его такъ разрыдаться: нужда ли хлѣбъ, или мой грубый отказъ. Во всю свою 60-ти-лѣтнюю жнъ я мало видѣлъ радостей, и съ тѣхъ поръ, какъ сталъ мнѣ себя, мнѣ нерѣдко приходилось испытывать на себѣ

черствость людей и слышать отъ нихъ такія же слова, какъ тѣ, какія я сказалъ этому старику, но все-таки мнѣ было больно и стыдно.

Я сидѣлъ; онъ стоялъ передо мною, и съ минуту мы молча смотрѣли другъ на друга. Я долго не находилъ словъ, чтобы заговорить съ нимъ. Но, наконецъ, поборовъ смущеніе, я такимъ же неровнымъ, робкимъ голосомъ, какимъ онъ просилъ у меня за минуту передъ тѣмъ копѣйку, сказалъ:

— Чего же ты, другъ, плачешь? Вѣдь этимъ не поможешь; нужно терпѣть.

— Тяжело терпѣть... Пытался работишки найти. Нѣту. Милостыню просить—дѣло непривычное... Тоже не даютъ. Вотъ какъ выпустили изъ тюрьмы, повѣришь ли, дядюшка, третій день фунтъ хлѣба не доѣлъ. Затошаль, страсть!

И онъ опять заморгалъ глазами и засопѣлъ носомъ, и слезы опять выступили ему на глаза.

Мнѣ было неловко, но такъ какъ мнѣ казалось, что человекъ этотъ, выпущенный изъ тюрьмы, не объ одномъ хлѣбѣ такъ убивается, что есть на душѣ у него что-нибудь поважнѣе, я попытался разговориться съ нимъ, чтобы, если можно, утѣшить его.

— Слезами, братъ, не поможешь,—сказалъ я,—а больше себя разстроишь. Вотъ садись со мной здѣсь, поговоримъ. Расскажи все толкомъ.

Старикъ подсѣлъ ко мнѣ, сумочку свою положилъ къ себѣ на колѣни, и я началъ его спрашивать.

— Ты откуда будешь самъ-то?

— Я-то? Я самъ Курской губерніи, уѣзда Обоянскаго, Рыбацкой волости, села Бобровка.

— Какъ же ты сюда-то попалъ?

— Какъ попалъ? Выслали сюда.

— За что же такъ?

— Выслали-то? Да за слово, за одно слово.

— Какое же такое слово, милый человекъ?

Онъ замаялся, какъ бы боясь мнѣ сказать, за какое слово онъ страдаетъ. Хотя я и крестьянинъ, но одѣтъ былъ по-господски: на мнѣ былъ пиджакъ и крѣпкіе сапоги съ галошами, передо мной лежали газета и очки. Все это онъ пытливо и недоувѣрчиво осмотрѣлъ и замолчалъ, вѣроятно подозрѣвая меня въ какихъ-нибудь недобрыхъ замыслахъ. „Не спроста, молъ, разспрашиваетъ меня: что, да за что, да откуда“. И старикъ замолчалъ, вѣроятно думая, что лучше доброе молчаніе, чѣмъ слово невпопадъ.

Я понял, что ему тяжело сказать это слово, за которое онъ страдаетъ, незнакомому, городскому человѣку, который можетъ оказаться волкомъ въ овечьей шкурѣ. И понявъ это, я не старался болѣе вызвать его на откровенность, хотя мнѣ и очень хотѣлось узнать, какъ могъ попасть такой человѣкъ и быть высланъ. Онъ, очевидно, былъ высланъ за „политическія дѣла“.

Я зналъ много политическихъ, съ нѣкоторыми изъ нихъ жилъ даже на одной квартирѣ. Это большею частью были люди молодые, развитые, самоувѣренные краснобаи. Какъ же могъ попасть въ политическіе такой совершенно непохожій на этихъ людей, жалкій старикъ?

— Вотъ что, — сказалъ я ему, — ты вотъ поди теперь вонъ въ тотъ запычекъ, посиди тамъ съ полчаса. А когда соберутся извозчики, я постараюсь собрать тебѣ съ ихъ помощью, сколько возможно; а теперь закажи себѣ щей и проси хлѣба, сколько съѣшь.

— А какъ же, денегъ-то у меня нѣтъ? Ну-ко!

— Ну-ко, проси, ѣшь, деньги уплотимъ.

Старикъ пошелъ. Я остался опять одинъ; надѣлъ очки и сталъ дочитывать статью. И опять мое чтеніе прервали. Подошелъ половой.

— Василій Степановичъ! Вы приказали подать старику щей и хлѣба?

— Да.

— Вы заплатите двѣнадцать копѣекъ?

— Да.

Черезъ полчаса, не болѣе, всѣ столы были заняты извозчиками: они проводили поѣздъ и собрались на вечерній чай и ужинъ. Тихій до этого трактиръ сталъ шумнымъ отъ разговоровъ: кто рассказывалъ про жандарма, кто про пассажира, кто ругалъ ухабистую дорогу. Разказы перебивали одинъ другой, въ перемежку съ бранью и остротами.

Я сидѣлъ, выжидая времени, чтобы обратиться къ товарищамъ съ своимъ воззваніемъ. Я самъ много лѣтъ былъ извозчикомъ. И я всѣхъ зналъ, и меня всѣ знали. Спусти полчаса, разговоры стали смолкать, всѣ занялись ѣдой, чаепитіемъ и зажиганьемъ за полбутылкой. Я долго не рѣшался начать. Наконецъ, набравшись смѣлости и обратился къ болѣе другихъ дежнему въ этомъ дѣлѣ человѣку, котораго всѣ звали Алехой, для такого торжественнаго случая я назвалъ его Алексѣемъ Тичемъ.

Я рассказалъ ему подробно, въ чемъ дѣло, и предложилъ вмѣстѣ вызвать у товарищей сочувствіе къ бѣдному человѣку, нашему брату крестьянину, который страдаетъ, какъ самъ говоритъ, за одно слово и просить помочь ему.

Я вызвалъ старика изъ темнаго зальчика. Со стороны извозчиковъ не было вопросовъ: „чей? откуда? за что?“ Какъ по командѣ, всѣ одинъ за другимъ стали вынимать кошельки, и помощь въ видѣ мѣдныхъ монетъ потекла со всѣхъ сторонъ въ руки старику.

— Не взыщи, старичокъ, нынче какъ есть ни за что пропадешь,—говорили жертвователи, подавая.

Старикъ былъ совсѣмъ растроганъ и едва успѣвалъ кланяться жертвователямъ. Дѣло было сдѣлано: у старика была полная горсть мѣдяковъ.

Теперь я ужъ не боялся испугать старика своимъ любопытствомъ и просилъ рассказать мнѣ, отчего съ нимъ это случилось. Я попросилъ его посидѣть со мной, и когда онъ присѣлъ, я спросилъ:

— За какое же слово тебя, милый человѣкъ, выслали сюда?

Его прежняя робость прошла. Онъ окинулъ взглядомъ жертвователей, какъ бы приглашая и ихъ послушать, и началъ свой рассказъ.

— Тяжело, другъ, охъ, какъ тяжело! Вѣрите ли, Богу одному извѣстно, Онъ порукой намъ, Батюшка, что я правду говорю: только за одно слово потерпѣлъ. Дѣло такъ было. Былъ у насъ въ губерніи, въ Курскѣ, погромъ. Я чай, слышали?

— Да, какже, — подтвердили нѣкоторые, — и въ газетахъ писали.

— Ну, вотъ... да, да, може и писали въ газетахъ, но слухокъ-то вездѣ былъ. Такъ вотъ: начали крестьяне господъ разорять, все у нихъ отбирать, увозить, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поджигать начали.

— Что жъ, и ты, дядя, тамъ, значить, дѣйствовалъ?—спросилъ Алеха.

— Я-то? То-то и дѣло, что нѣтъ. Меня за слово выслали, за одно слово. Ъду я разъ изъ своего города, изъ Обояни, и ѣдутъ со мной нашего барина работники — хуторцы. Слово за слово. Тары—да бары... Разговорились. Они меня знаютъ, и я ихъ знаю. Они говорятъ: „Вотъ хорошо, Микишка, ваши обоянцы очистили свое поле отъ нашего барина, теперь очистили бы отъ этого хутора, сожгли бы и его“. А я только и сказалъ:

„наши обоянцы очистили свое поле отъ вашего барина, а вы сами, коли охота, поджигайте свой хуторъ“. Тѣмъ разговоръ у насъ съ ними и кончился. Только это сказали и попрощались, и поѣхали они своей дорогой,—я своей.

И забывъ я и думать про это. Живу дома. Только такъ черезъ недѣлю,—дѣло къ вечеру,—полѣзъ я на печку. Лежу. И только сталъ засыпать, забываться—кто-то загрохалъ въ раму. „Охъ, ты, пусто тебя возьми!“—даже дрогнулъ. Дочь моя старшая вышла отворить. Я приподнялъ голову. Слушаю. Кто такой дурашливый? Слышу, спрашиваетъ меня. Имя и фамилію свою слышу. Дочь говоритъ ему: „Дома, на печи лежитъ“. Не пойму, чей голосъ. Смотрю, въ хату лѣзетъ стражникъ. „Гдѣ онъ тутъ?“ Называетъ меня. Я такъ и обмеръ. Думаю, зачѣмъ я ему понадобился? А этого и въ головѣ не держу, что у насъ съ работниками разговоръ бался. „Но, слѣзай, одѣвайся скорѣй, живо маршъ, въ станъ къ исправнику!“ Я пытался спросить, зачѣмъ, а онъ, псяга, несговорчивый оказался, даже притопнулъ ногой и крикнулъ: „Не разсуждать, живо!“ Я второпяхъ надѣлъ вотъ эту свитку. Даже и вязанки на руки не захватилъ. Вышелъ и пошелъ. Онъ сѣлъ на коня верхомъ и меня гонимъ погналъ. Ребятишки мои перепугались. У меня пятеро дѣтей, самая старшая дочь—семнадцати лѣтъ, и мальчикъ двѣнадцати остался хозяинъ, а тѣ все меньше и меньше. Всю деревню они меня проводили, кричали благимъ матомъ, плакали.

И старикъ задыхнулся, грудь его заколыхалась, плечи задержались, а лицо исказилось и онъ ладонью закрылъ глаза.

— Охъ, какъ трудно, братцы, разставаться. Вѣдь у меня старшая дочь, не спусти Богъ съ порукъ, а сынишка... что-жъ, онъ вѣдь пискленокъ, а и вотъ тутъ какъ былинка, за глазами у пятерыхъ. Видите: во мнѣ силы-то осталось золотники, а мучиться-то еще сколько! Господи, кажется, цѣлый вѣкъ прожилъ бы скорѣе, нежели протяну эту годину!

— Да изъ-за чего же это все вышло?

— А вышло отъ того — такъ люди сказывали: работники барскіе пріѣхали домой, да и скажи управляющему: „вотъ, говорятъ, мы ѣхали съ Микишкой; Микишка намъ разсказалъ, какъ ихніе обоянцы очистили свое поле отъ барскаго помѣстья; теперь, говорить, чередъ за вами, очищайте свой хуторъ баринъ“. Управляющій передалъ барину, а баринъ нашъ — подполковникъ отставной; онъ написалъ губернатору бумагу: вотъ, молъ, кой-то крестьянинъ Микишка подстрекаетъ моихъ работниковъ поджогъ моего хутора. А я этого и въ головѣ не держалъ.

— Ну, а потомъ куда же привели тебя?—спросилъ я.

— Куда? Да перво пригналъ меня стражникъ въ станъ къ исправнику. Дѣло уже поздно было. Посадили меня они въ арестный домъ, потому вечеромъ меня не допрашивали. Ночь мнѣ, дѣтки, показалась за недѣлю. Я и глазъ не сомкнулъ. Ну, думаю, исправникъ долго не будетъ держать меня: спросить что—и домой. Дома выплюсь. Вотъ, вижу, разсвѣтаетъ. Утро. Жду, жду и таково-то долго. Все меня не зовутъ. А душа просто изъ тѣла выскочить хочетъ. Сердце—„ѣкъ, ѣкъ!“ Охъ, думаю, недоброе будетъ. Слышу стукъ въ моемъ казематѣ. Ну, молъ, къ Иисусу, Микишеа. Замокъ звякнулъ; дверь отворилась, привели меня къ исправнику. Исправникъ глянулъ на меня; покачалъ головою, и говорить: „Однако ты, братъ, на старости лѣтъ на хорошую попалъ дорожку. Тебѣ бы внушать молодымъ, а ты самъ „... Какъ онъ, бишь, назвалъ слово-то это мудреное: „пропро-пади“, что-ли... Нѣтъ, не выговорю, запомнать.“

— Пропавандиромъ сталъ,—подсказалъ кто-то.

— Такъ, это самое. Я и сейчасъ не знаю, къ чему это слово клонить. Потомъ взялъ бумагу и говорить: „Вотъ, слушай, эта бумага—отъ губернатора приказъ“, и началъ читать. Въ глазахъ у меня затуманило; голова кругомъ пошла, и ничего я не понималъ, только понималъ слова, что будто я къ поджогу подговаривалъ. Кончилъ онъ читать и говорить: „Ну, въ какой губерніи ты желаешь поселиться?“ Я молчу, не знаю, что ему сказать. Онъ опять повторяетъ. „Въ какой губерніи?“ Я стою, какъ статуя. „Ну, я тебѣ назначаю мѣсто въ Тулу. Слышишь, что я тебѣ сказалъ?“ Слушаю, а теперь, васкородіе, можно идтить совсѣмъ домой?—„Возьмите его и отведите!“ Тутъ стояли два солдата и меня подъ конвоемъ отвели въ тюрьму. Сабли наголо, одинъ впереди, другой позади... Какъ лютаго звѣря. Тамъ я просидѣлъ двѣ недѣли, а потомъ меня этапомъ привезли въ Тулу. Отродясь не былъ тутъ. Повѣрите ли, дѣтки, три дня ходилъ съ фунтомъ хлѣба. Затошалъ. Насчетъ работѣнки у васъ, я вижу, туговато; пытался, куда устроить, да нѣту. Тоже милостыню просить—дѣло непривычное—никто не подаетъ. Дай Богъ вамъ добраго здоровья, дѣтки, навелъ меня Богъ на васъ. Нахлебался и хлѣба досыта наѣлся, и вотъ про запасъ еще собрали. Богъ вамъ невидимо царство небесное пошлетъ. — И онъ началъ креститься и кланяться на всѣ стороны:—Благодарствуйте!

— Что же теперь дѣлать, дѣдъ?—Умирать все равно—и своей ли пашнѣ, на чужой ли,—земля и земля...

Старикъ повернулъ голову въ ту сторону, откуда послѣ

шался ему голосъ, и передернулъ плечами, почесываясь отъ насъѣомныхъ, которыми его щедро наградила тюрьма.

— Дѣдь, тебѣ бы въ баню нужно, — замѣтилъ кто-то, — да въ жаркой печи одешонку бы выжарить, а то острожные квартиранты заѣдятъ.

— Да, дитенокъ, давно не мылъ тѣло. Ну, братья, твори Богъ волю свою. Спасибо вамъ.

— Не на чемъ, не на чемъ, дѣдушка. Заходи коли еще когда. Мы тебѣ еще соберемъ.

— Спасибо, спасибо, милые мои; мнѣ, може, завтра счастье выпадетъ. Меня обѣщались взять на конку въ поденщики; а теперь простите меня, дѣтки; я пойду, не обезсудьте.

— Куда же, въ почлежный?

— Нѣтъ, я тамъ ночевалъ. Народъ тамъ Боже упаси. Пойду, ночью на вокзалъ, а завтра, можетъ, Богъ дастъ на конку.

Я вышелъ съ нимъ вмѣстѣ изъ трактира, и мы распростились. Я пожалъ ему руку.

— Спасибо, отецъ, — сказалъ онъ, — я съ вами отдохнулъ. — Снялъ шапку, перекрестился и направился на вокзалъ, а я домой.

Вотъ, подумалъ я, человѣку приходится влечить свою старческую жизнь вдали отъ своихъ дѣтей. Доживетъ ли онъ увидѣть своихъ сиротъ и что будетъ со старшей дочерью, о которой онъ говорилъ: „не спусти Богъ съ порукъ“? Все можетъ случиться. Кто замѣнитъ ей отца?...

М — овъ.



КРИЗИСЪ

ВЪ

МАКЕДОНСКОМЪ

ОСВОБОДИТЕЛЬНОМЪ ДВИЖЕНІИ

Какъ бы ни казались убѣдительными въ своей научной достовѣрности этнографическіе, филологическіе и историческіе аргументы, выдвигаемые болгарами въ защиту своихъ преимущественныхъ правъ на Македонію, не имѣ—во всякомъ случаѣ, не имѣ главнымъ образомъ—обязана Болгарія своими политическими, культурными и всякими другими успѣхами въ этой странѣ. Какова бы ни была истинная національная сущность христіанскаго населенія въ Македоніи, она никогда не мѣшала македонцамъ называть себя—а отчасти, пожалуй, и чувствовать себя—то греками, то сербами, то болгарами, въ зависимости отъ чисто-политическихъ условій мѣста и времени, отъ того, что при данныхъ обстоятельствахъ казалось болѣе выгоднымъ или болѣе безопаснымъ. Даже и теперь еще, послѣ столькихъ лѣтъ борьбы за національное самоопредѣленіе, борьбы, которая велась не только за счетъ македонскаго населенія, но и при его участіи, сплошь и рядомъ приходится наблюдать, какъ цѣлыя села кочуютъ отъ одной національности къ другой, переходятъ то въ „экзархисты“, то въ „патріаршисты“, то въ „сербоманы“ или „грекоманы“. И не подлежитъ сомнѣнію, что полагайся болгары въ своихъ притязаніяхъ на Македонію лишь на „естественный голосъ крови“ да на историческія воспоминанія, они не ушли бы особенно далеко съ ними. Но, на свое счастье, бол-

гары никогда не грѣшили наивнымъ сентиментализмомъ въ политикѣ. И менѣе всего грѣшили они имъ въ своей македонской политикѣ. Практики до мозга костей, они, не покладая рукъ, работали надъ осуществленіемъ своихъ „національныхъ идеаловъ“ въ Македоніи, и эта ихъ работа отличалась энергіею, настойчивостью и смѣлою предприимчивостью, которыхъ недоставало ихъ соперникамъ. Раньше другихъ поняли они громадное значеніе планоуѣренной національной пропаганды въ той слабо дифференцированной этнографической средѣ, которую представляла еще сравнительно недавно христіанская Македонія, и направили въ эту сторону всѣ свои недюжинные организаторскіе таланты, всю силу своей цѣпкой и практической энергіи. Въ то время, какъ поэтическіе сербы баюкали себя мечтами о Душановской великой Сербіи и о своемъ расовомъ единствѣ съ населеніемъ Старой Сербіи и Македоніи,—въ то время, какъ узко-практическіе греки самоуѣренно полагались на преимущества, которыя давало имъ официальное положеніе константинопольскаго патріарха и всей, подчиненной ему, греческой церковной іерархіи въ христіанскихъ областяхъ европейской Турціи,—болгары однимъ геніальнымъ ударомъ успѣли создать себѣ въ Македоніи могучее орудіе національной пропаганды, въ видѣ экзархіи, съ цѣлою сѣтью ея церквей и школъ, учителей и священниковъ, и сразу оставили за собою всѣхъ своихъ соперниковъ. Когда же появленіе на аренѣ борьбы этого новаго фактора національнаго самоопредѣленія разбудило грековъ и заставило ихъ поспѣшить съ приведеніемъ въ состояніе боевой готовности своей патріаршеской іерархіи, болгары вызвали къ жизни новый — еще болѣе могучій—факторъ національной пропаганды. Рядомъ съ культурно-и религіозно-просвѣтительною работою экзархіи и ея органовъ явилась новая сила, которая должна была служить тому же дѣлу національно-болгарскаго самоопредѣленія, и которой суждено было въ самое короткое время отодвинуть на задній планъ всѣ другія, боровшіяся рядомъ съ нею, или противъ нея, силы. Въ Македоніи возникло и быстро пошло впередъ революціонно-освободительное движеніе.

Вотъ этому-то движенію и было, главнымъ образомъ, обязано болгарское дѣло“ въ Македоніи своими блестящими успѣхами. во-то и создало Болгаріи то господствующее положеніе, которое она занимаетъ въ этой странѣ. Хотя и возникшее въ самой Македоніи, среди немногочисленной болгаро-македонской интелгенціи, которую не могла надолго удовлетворить скромная культурно-просвѣтительная работа въ тѣсныхъ предѣлахъ, отве-

денныхъ турецкимъ режимомъ экзархіи и ея церковно-училищнымъ функціямъ, македонское освободительное движеніе съ первыхъ же шаговъ своихъ усвоило опредѣленный національно-политическій характеръ. Зародившееся въ кругу людей, считавшихъ себя и по языку, и по національности, и по симпатіямъ болгарами, оно на первыхъ же порахъ оказалось проникнутымъ болгарскими національно-политическими тенденціями и идеалами. Горячій откликъ, который оно тотчасъ же встрѣтило въ средѣ многочисленной—и въ тому времени уже вліятельной—македонской эмиграціи въ княжествѣ, не могъ, конечно, не укрѣпить этихъ тенденцій. Активная же моральная и матеріальная поддержка, которую оно не замедлило найти себѣ въ самой Болгаріи, въ ея правительствахъ, обществахъ и народѣ, окончательно придали ему національный—въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже шовинистскій—болгарскій характеръ.

Эта же поддержка была при данныхъ условіяхъ вполне естественна, чтобы не сказать—неизбѣжна. Болгары не опочили на лаврахъ, приобрѣти въ лицѣ экзархіи могучее орудіе національной пропаганды среди македонскихъ христіанъ. Они продолжали искать все новыхъ и новыхъ путей проникновенія въ Македонію, утвержденія въ ней своего культурнаго и политическаго вліянія, подготовленія ея къ будущему „возсоединенію“. Именно въ виду этихъ идей и плановъ они такъ широко открывали свои объятія македонской эмиграціи, готовя себѣ въ ней идеальнаго посредника между княжествомъ и Македоніею, осыпали ее выраженіями своего сочувствія и своей любви, приручали ее къ себѣ субсидіями, казенною службою и всякимъ инымъ покровительствомъ. Въ виду этихъ же плановъ они такъ охотно слали своихъ лучшихъ людей на службу въ экзархію и ея школы, такъ щедро давали ей деньги, такъ горячо и энергично предстательствовали за нее передъ Европою и передъ турецкими властями. Въ виду ихъ же, главнымъ образомъ, встрѣтили они съ такимъ энтузіазмомъ и съ такимъ дѣятельнымъ сочувствіемъ возникновеніе въ Македоніи революціоннаго освободительнаго движенія, зародившагося впервые въ болгарской средѣ и носившаго съ самаго начала ясно выраженный національный характеръ.

Въ Болгаріи сразу поняли, какія богатія перспективы открывало это движеніе „болгарскому дѣлу“ въ Македоніи; какія потенціальности могло бы развить оно изъ себя при умѣлой его обработкѣ. Оно должно было пробудить въ населеніи болгарско-національное самосознаніе, спавшее тяжелымъ сномъ подъ гнетомъ безпросвѣтнаго рабства, связанныхъ съ нимъ заботъ и стра-

даній, порождаемаго имъ жалкаго инстинкта самосохраненія. Оно должно было возродить въ населеніи угасшіе инстинкты протеста и борьбы, бросить въ его обиходъ цѣлый міръ новыхъ идей и настроеній, обратить его жадные взоры на свободныхъ братьевъ, живущихъ тутъ же подъ бокомъ въ независимомъ цвѣтущемъ и могучемъ государствѣ, вселить въ его истомленную рабствомъ душу вѣру въ силу этихъ братьевъ, въ ихъ сочувствіе, въ ихъ готовность протянуть ему руку помощи. Направленное по такому руслу, македонское освободительное движеніе должно было оказаться могучимъ рычагомъ, который скорѣе, чѣмъ что бы то ни было другое, могъ привести Болгарію къ осуществленію ея завѣтныхъ національныхъ идеаловъ. Началось оно хорошо, какъ разъ такъ, какъ этого требовали интересы Болгаріи. Оставалось принять мѣры, чтобы оно такъ же и продолжалось. Для этого надо было „прибрать движеніе къ рукамъ“, подчинить его своему влиянію и руководительству, связать его неразрывными узами съ жизнью и политикою княжества. Но та же линія поведенія диктовалась и естественнымъ голосомъ сердца. Возрожденіе братскаго народа къ новой свободной жизни не могло не вызвать сочувственнаго отклика въ душѣ болгарина. Онъ не могъ не привѣтствовать его выступленія на арену борьбы за свободу, не могъ не испытывать горячаго и искренняго желанія оказать ему поддержку. Такимъ образомъ, требованія политическаго разсчета оказывались въ полной гармоніи съ велѣніями сердца. Въ результатъ, македонское революціонно-освободительное движеніе съ перваго же момента своего возникновенія было встрѣчено съ распростертыми объятіями въ сосѣднемъ княжествѣ. Сразу, какъ-то само собою, оно сдѣлалось главною осью, вокругъ которой вертѣлась съ тѣхъ поръ македонская политика Болгаріи, пожалуй даже — вся ея внѣшняя политика вообще. Общество открыло ему свой кошелекъ, дало ему теоретиковъ и идеологовъ, предоставило къ услугамъ его пропаганды и агитаціи столбцы своихъ газетъ и журналовъ. Народъ послалъ ему добровольцевъ-солдатъ, пополнявшихъ собою ряды его арміи. Правительство предоставило къ его услугамъ своихъ дипломатовъ, свои арсеналы, свою территорію — для руководства и для формированія летучихъ революціонныхъ отрядовъ, свою границу — для внезапныхъ набѣговъ на неприятеля, даже свою армію, въ рядахъ которой движеніе вербоvalo себя воеводъ и полководцевъ.

Всѣ эти жертвы приносились не напрасно, и расчеты болгaрскихъ политиковъ оправдались вполне. Македонскіе револю-

пionеры честно расплатились за поддержку, которую ихъ дѣло нашло себѣ въ Болгаріи. Начавшись подъ болгарскимъ флагомъ, македонское освободительное движеніе подъ нимъ же продолжало развиваться и дальше. Съ каждымъ новымъ успѣхомъ, съ каждымъ шагомъ впередъ оно все шире раздвигало вокругъ себя рамки болгарскаго національнаго самосознанія, все сильнѣе распространяло въ населеніи престижъ болгарскаго имени и вліяніе болгарской государственности, все рѣшительнѣе противопоставляло имъ, какъ нѣчто чуждое и даже враждебное, и турецкую официальную власть, и греческую церковную іерархію, и притязанія сербскаго шовинизма, и даже европейскую дипломатію. И чѣмъ быстрѣе росло его собственное вліяніе въ населеніи, тѣмъ опредѣленнѣе устанавливался его національно-болгарскій характеръ, тѣмъ откровеннѣе и смѣлѣе выступали въ немъ болгарскія тенденціи и идеи, тѣмъ большее мѣсто занимали въ немъ болгарскіе государственные идеалы и задачи.

Это не значитъ, конечно, что македонское освободительное движеніе носило такой характеръ официально, хотя въ извѣстные моменты своего развитія и въ извѣстныхъ своихъ проявленіяхъ оно и подходило очень близко къ такому положенію. Печать официальности въ отношеніяхъ между нимъ и Болгаріею грозила бы слишкомъ большими опасностями для послѣдней, и потому ея избѣгали обѣ стороны. Да она и не была нужна для успѣховъ дѣла. Нужные результаты достигались сами собою, безъ видимыхъ нарочитыхъ усилій, естественною игрою входившихъ въ движеніе силъ. Когда вожди движенія и добрая доля его рядовыхъ борцовъ были не только болгарами по происхожденію, но и подданными Болгарскаго княжества; когда средства, которыми оно располагало, и оружіе, которымъ были вооружены его солдаты, шли почти цѣликомъ изъ Болгаріи; когда его четы шли на отдыхъ, какъ въ себѣ домой, въ Болгарію, и тамъ же организовывались для новыхъ набѣговъ; когда верховный управительный органъ движенія избиралъ своею резиденціею столицу Болгаріи; когда, однимъ словомъ, на всей техникѣ движенія лежала печать болгарскаго происхожденія или болгарскаго участія, само движеніе, очевидно, не могло не проникаться болгарскими національными тенденціями и интересами. И оно ими проникалось, въ иныхъ отношеніяхъ до излишества, до истребительной борьбы противъ „сербомановъ“ и „грекомановъ“, до безчеловѣчныхъ насилій надъ „патріаршистами“, наконецъ, до участія, въ качествѣ послушнаго и неразборчиваго орудія власти, во внутреннихъ дѣлахъ Болгаріи...

И все-таки, національныя особенности движенія, какъ рѣзко онѣ въ немъ ни проявлялись, оставались для него побочными, внѣшними. Въ своей сущности движеніе было и до конца оставалось революціонно-освободительнымъ. Его завѣтною, конечною цѣлью было освобожденіе отъ турецкаго ига. А должно ли было это освобожденіе совершиться съ помощью болгарскаго оружія, или безъ нея, какъ и должна ли была освобожденная Македонія слиться съ Болгаріею, или могла она остаться автономною—это были вопросы теоретическаго характера, рѣшеніе которыхъ предоставлялось будущему. Пока надо было сосредоточить всю энергію на борьбѣ за освобожденіе. И подготовленіе населенія къ этой борьбѣ въ теченіе ряда лѣтъ оставалось главною задачею движенія.

Извѣстно, какими быстрыми успѣхами сопровождалась эта подготовительная работа. Движеніе росло и развивалось, расширяло свои функціи, утверждало свое вліяніе въ массѣ, быстро и увѣренно шло впередъ къ своей конечной цѣли. Несмотря на то, что ему приходилось развиваться въ самой, казалось бы, неблагоприятной обстановкѣ—среди неподготовленнаго, забытаго населенія, въ атмосферѣ всеобщей вражды и недовѣрія, подъ гнетомъ неслыханныхъ по своей жестокости турецкихъ репрессій,—за нѣсколько лѣтъ оно успѣло сдѣлаться однимъ изъ самыхъ важныхъ факторовъ не только въ общественно-политической жизни Македоніи, но и въ дипломатическихъ перипетіяхъ самого „македонскаго вопроса“.

Конечно, македонскіе революціонеры отличались рѣдкою энергіею, поразительною преданностью своему дѣлу, замѣчательнымъ мужествомъ... Но, быть можетъ, еще болѣе, чѣмъ этими качествами, они были обязаны своими успѣхами тому практическому чутью, той трезвости поступковъ и мыслей, тому рѣдкому умѣнью не спѣшить, довольствоваться малымъ, ставить себѣ лишь исполнимыя задачи, какими такъ выгодно отличается болгарское племя отъ другихъ славянскихъ племенъ. Эта специфическая болгарская практичность блестяще проявила себя въ болгарскомъ освободительномъ движеніи второй половины XIX столѣтія. Теперь она же проявляла себя въ македонскомъ революціонномъ движеніи. Какъ тогда болгары начали свою освободительную борьбу менѣе опаснаго врага, грековъ и, только набивъ на нихъ ку, перешли постепенно къ чисто-политической борьбѣ противъ турецкаго султана, такъ и македонскіе революціонеры начали съ того, что было въ ихъ программѣ легкаго и понятнаго, ишь постепенно, по мѣрѣ роста революціоннаго настроенія

въ народѣ, переходили къ тому, что было въ ней настоящему цѣлю. Призывъ къ борьбѣ на жизнь и смерть, къ вооруженному возстанію противъ турецкаго владычества явно не отрицалъ степени сознательности и подготовкѣ населенія. Онъ могъ бы лишь отпугнуть его отъ участія въ явно непосильной борьбѣ, убить въ самомъ зародышѣ слабые ростки протеста въ его пришибленной душѣ. И при первыхъ своихъ шагахъ вожаки революціоннаго движенія почти не выдвигали этой опасной задачи, — по крайней мѣрѣ, не выдвигали ее, какъ непосредственное практическое дѣло момента. Они выступали передъ населеніемъ, какъ защитники его реальныхъ повседневныхъ интересовъ, страдавшихъ отъ эксплуатаціи и грабительства мѣстныхъ турецкихъ беевъ, какъ мстители за надругательства и обиды, которымъ подвергали его представители мѣстной власти, греческіе попы, турецкіе башибузуки и всевозможные официальные и неофициальные насильники господствующаго племени. Такая постановка борьбы была понятна и близка населенію. Она апеллировала къ его естественнымъ чувствамъ ненависти и мести, вызывала въ его душѣ живой откликъ искренней признательности, сочувствія, восторженнаго преклоненія передъ силою и героизмомъ его новоявленныхъ защитниковъ.

Съ другой стороны, она весьма упрощала и облегчала революціонерамъ ихъ дѣятельность. Сжечь амбары грабителя-бея, или отравить его скотъ, убить шпиона или насильника-чауша, припугнуть зазнававшегося греческаго монаха, устроить засаду шайкѣ башибузуковъ — что могло быть проще этого? Все это было вполне по силамъ даже и молодыхъ, еще неокрѣпшихъ революціонныхъ организацій. Неспособная, насквозь деморализованная, турецкая полиція, неповоротливые, вѣчно бунтующіе, турецкіе гарнизоны оказывались совершенно безсильными въ борьбѣ съ неуловимыми македонскими террористами. Они не умѣли ни предупреждать ихъ ударовъ, ни даже карать за нихъ. И эта безнаказанность еще болѣе поднимала престижъ революціонеровъ въ глазахъ населенія, будила въ немъ давно угасшія надежды и готовность работать въ пользу ихъ осуществленія участіемъ въ борьбѣ. Въ однородной рабской массѣ начиналась дифференціація. Изъ нея выдѣлялись болѣе активные и рѣшительные элементы, которые отдавали свое сочувствіе возникшему въ странѣ движенію и даже примыкали къ нему. Движеніе разрасталось и крѣпло, расширяя рамки своей дѣятельности и распространяя свое вліяніе на новыя мѣстности, на все болѣе широкіе слои населенія. Первоначальные мелкіе и однородные по

составу интеллигентскіе и полу-интеллигентскіе кружки превращались мало-по-малу въ широко развѣтвленные революціонныя организаціи, съ раздѣленіемъ труда, съ опредѣленною іерархіею, съ обширными полномочіями и задачами. При этихъ организаціяхъ начали возникать болѣе или менѣе постоянныя дружины — четы, —которыя все болѣе специализировались въ исполнительныхъ и агитаціонныхъ функціяхъ...

Четничеству вполнѣ суждено было оказать плохую услугу македонскому революціонному движенію. Но пока, въ его начальномъ восходящемъ движеніи, этотъ институтъ въ могущественной степени способствовалъ его успѣшному и быстрому росту. Его отрицательныя стороны еще не давали себя чувствовать сколько-нибудь замѣтно, тогда какъ положительныя проявлялись въ полной мѣрѣ. Прекрасно вооруженныя, всегда готовые къ дѣйствію, составленныя изъ отборныхъ молодцовъ, хорошо знакомыхъ съ мѣстностью, въ которой имъ приходилось работать, и часто связанныхъ родственными узами съ окрестнымъ населеніемъ, организаціонныя четы оказывались какъ нельзя болѣе подходящимъ инструментомъ въ той по преимуществу агитаціонно-террористической борьбѣ, въ какую вылилось, особенно на первыхъ порахъ, македонское революціонное движеніе. Онѣ были всегда подъ рукою для нанесенія намѣченныхъ ударовъ, и наносимые ими удары были всегда безошибочны и вѣрны. Какъ чисто террористическія дружины, эти крѣпко спаянныя, дисциплинированныя и отборныя организаціи оказывались незамѣтными, и ихъ дѣятельность, вездѣ, гдѣ только онѣ работали сколько-нибудь систематично, неизмѣнно давала вполнѣ опредѣленные результаты въ смыслѣ устрашенія и обезвреженія ближайшихъ насильниковъ и угнетателей народной массы. Турецкіе помѣщики отказывались отъ традиціонныхъ приемовъ эксплуатаціи своихъ рабочихъ и арендаторовъ и превращались въ самыхъ покладистыхъ и миролюбивыхъ сосѣдей; полицейскіе чиновники ограничивали свои поборы и насилія; шпионы и предатели зажимали себѣ рты; пришлыя башибузукскія шайки спѣшили перекочевать куда-нибудь подальше, а мѣстные турецкіе разбойники разоружались и превращались въ мирныхъ обывателей, болѣе всего боявшихся навлечь на себя гнѣвъ и месть грозныхъ революціонныхъ организацій. Христіанское населеніе получало возможность дышать и жить сколько-нибудь спокойною жизнью. Оно ясно видѣло, что единственнымъ виновникомъ благотворнаго переизмѣненія была, всегда и во всякомъ отдѣльномъ случаѣ,

дѣятельность четъ и руководившихъ этими четами мѣстныхъ революціонныхъ комитетовъ и организацій.

Такимъ образомъ, однимъ своимъ существованіемъ, почти автоматически, боевыя дружины въ громадной степени способствовали росту вліянія и престижа революціонныхъ организацій въ странѣ. Но ихъ роль этимъ не ограничивалась. Рядомъ съ терроромъ, онѣ очень дѣятельно занимались и революціонною агитаціею. Ихъ образъ жизни не мѣшалъ, а помогалъ этому. Онѣ лишь въ случаяхъ непосредственной опасности искали себѣ спасенія въ безлюдныхъ мѣстностяхъ. Въ обыкновенное же время онѣ чувствовали себя въ полной безопасности въ селахъ и деревняхъ своихъ районовъ, въ которыхъ проживали недѣлями, нѣдѣмъ и ничѣмъ не тревожимыя, бдительно и любовно охраняемыя отъ турецкой полиціи самими крестьянами. Находясь, такимъ образомъ, въ постоянномъ и тѣсномъ общеніи съ населеніемъ, онѣ имѣли полную возможность воздѣйствовать на него въ желательномъ направленіи: расширять его національное и революціонное самосознаніе, возбуждать въ немъ революціонныя симпатіи и надежды, вселять въ него вѣру въ могущество и непобѣдимость революціоннаго движенія, и т. п.

И эта агитація, подкрѣплавшаяся соотвѣтствующею дѣятельностью, давала самыя блестящія результаты. Боевое настроеніе охватывало все болѣе широкіе слои населенія, и, рядомъ съ этимъ, росъ въ его глазахъ авторитетъ революціонныхъ четъ, ихъ воеводъ и стоявшихъ надъ ними комитетовъ. Въ нихъ привыкали видѣть какъ бы естественныхъ защитниковъ и покровителей. Къ нимъ шли за совѣтомъ и помощью въ трудныя минуты жизни. Имъ оказывали всяческое содѣйствіе не только за страхъ, но и за совѣсть. Имъ охотно выплачивали революціонный налогъ, который обезпечивалъ ихъ существованіе и позволялъ имъ всѣ свои силы и все свое время обращать на исполненіе своихъ революціонныхъ обязанностей. Понемногу революціонныя организаціи обращались, такимъ образомъ, въ какое-то неофіціальное, но всѣми признаваемое правительство, которому подчинялись добровольно всѣ мѣстные жители, и компетенція котораго распространялась на всѣ сферы жизни, вплоть до семейныхъ раздѣловъ и сосѣдскихъ ссоръ.

Само собою разумѣется, эти успѣхи движенія въ значительной степени обусловливались дѣятельною поддержкою, которую оно находило себѣ въ Болгаріи. Оттуда получало оно постоянную помощь и въ видѣ денежныхъ средствъ, и въ видѣ оружія, и,

назонецъ, даже въ видѣ вполне готовыхъ, часто весьма многочисленныхъ, прекрасно вооруженныхъ и совсѣмъ по-военному организованныхъ четь.

Эти болгарскія четы не слѣдуетъ смѣшивать съ мѣстными „организаціонными“ дружинами, роль и значеніе которыхъ очерчены выше. Онѣ отличались отъ организаціонныхъ четь какъ по своему составу, такъ и по своимъ задачамъ и тактическимъ приемамъ борьбы. Набираемая въ самой Болгаріи и поддерживаемая всецѣло на болгарскія средства, онѣ подчинялись руководству болгарскихъ революціонныхъ комитетовъ и преслѣдовали главнымъ образомъ свои, болгарскія, цѣли. Онѣ предназначались для болѣе широкихъ и громкихъ предпріятій, для которыхъ силы мѣстныхъ районныхъ были слишкомъ недостаточны, и отъ исполненія которыхъ послѣдніе уклонялись пока вполне сознательно. Болгарскія четы являлись какъ бы авангардомъ той болгарской арміи, которая должна была въ недалекомъ будущемъ принести на своихъ штыкахъ освобожденіе Македоніи. Ихъ главною задачею было, поэтому, популяризировать эту армію въ глазахъ мѣстнаго населенія, связать съ ея героическимъ образомъ всѣ его мечты, надежды и стремленія. Снаряженные по-военному, управляемые въ большинствѣ случаевъ болгарскими офицерами и руководимыя изъ Софіи „Верховнымъ македонскимъ комитетомъ“, эти четы отправлялись въ Македонію для широкихъ опытовъ борьбы уже не съ мелкими мѣстными тиранами, а съ самою Турецкою имперіею, въ лицѣ ея войскъ, полиціи и администраціи. Съ ихъ появленіемъ передъ христіанскимъ—въ частности, болгарскимъ—населеніемъ Македоніи впервые ясно и прямо ставился вопросъ о борьбѣ за освобожденіе, вопросъ о всенародномъ возстаніи, которое должно было, съ помощью военной и дипломатической поддержки со стороны Болгаріи, вырвать Македонію изъ турецкихъ рукъ. Вторгаясь въ Македонію, болгарскія четы начинали смѣлую партизанскую войну на сравнительно широкомъ масштабѣ, давали настоящіе сраженія турецкимъ войскамъ, нападали врасплохъ на слабо защищенные городки и немногочисленные турецкіе гарнизоны, подвергали суровымъ экзекуціямъ цѣлыя села, населеніе которыхъ отличалось грекоманскими или сербоманскими симпатіями, и, гдѣ можно, вызвали частныя возстанія, къ участію въ которыхъ привлекали и мѣстное болгарское населеніе. Все это дѣйствовало на воображеніе, будило надежды, поднимало настроеніе, укрѣпляло національное и революціонное сознаніе болгарскаго населения, такимъ образомъ, въ сильнѣйшей степени способство-

вало углубленію и расширенію русла, по которому протекало молодое революціонное движеніе.

Но во всемъ этомъ была и обратная сторона. Пришлыя болгарскія четы, все-таки, оставались для Македоніи и ея внутреннихъ отношеній явленіемъ временнымъ, мимолетнымъ, случайнымъ. Пройдясь по странѣ, внеся въ нее смущеніе и тревогу, онѣ спокойно возвращались въ Болгарію, гдѣ отдыхали и восстанавливали свои силы для новыхъ подвиговъ. А за ними, въ несчастной Македоніи, оставался тяжелый и мучительный слѣдъ, въ видѣ усиленія турецкихъ репрессій, возбужденія преувеличенныхъ надеждъ въ населеніи, обостренія отношеній между разными національностями и т. п. Съ точки зрѣнія болгарскихъ революціонеровъ—и, еще болѣе, съ точки зрѣнія тѣхъ вліятельныхъ сферъ, подъ покровительствомъ которыхъ работали эти революціонеры—во всемъ этомъ не было большой бѣды. Пожалуй, даже наоборотъ: это было какъ разъ то, что требовалось для усиленія національнаго чувства въ болгарскомъ населеніи Македоніи и для укрѣпленія въ немъ спасительной надежды на Болгарію.

Но это было совсѣмъ не такъ для „Внутренней организаціи“. Помимо непосредственныхъ неудобствъ и опасностей, связанныхъ для нея съ случайными вторженіями болгарскихъ четъ, дѣйствія этихъ четъ, также какъ и стремленія руководившихъ ими болгарскихъ комитетовъ, во многихъ отношеніяхъ оказывались въ рѣзкомъ противорѣчій съ тѣмъ пониманіемъ революціонныхъ задачъ и революціонной тактики, къ которому—чѣмъ дальше, тѣмъ рѣшительнѣе и настойчивѣе—приводили „Внутреннюю организацію“ опытъ и окружающія обстоятельства. Они явно нарушали систематичность ея подготовительной агитаціонно-организаціонной работы, врывались неумѣстнымъ и непредусмотримымъ факторомъ въ ея расчеты и планы, вносили самыя нежелательныя усложненія въ взаимныя отношенія между разными группами мѣстнаго населенія и переносили центръ тяжести борьбы отъ естественнаго роста революціонной самостоятельности къ платонической надеждѣ на помощь со стороны. И чѣмъ болѣе разрасталось движеніе, во главѣ котораго стояла „Внутренняя организація“, чѣмъ болѣе крѣпли въ ней сознаніе своей силы и вѣра въ свою миссію, тѣмъ это противорѣчіе должно было казаться ей болѣе очевиднымъ и опаснымъ.

Въ самомъ дѣлѣ, пока македонское революціонное движеніе было еще въ зародышѣ и носило узко-клубковой характеръ, оно могло еще обходиться безъ своей опредѣленной идеологіи; ил,

вѣрѣе, въ его идеологiи могли еще уживаться рядомъ, безъ большого вреда для дѣла, весьма разнообразныя, подчасъ даже прямо противоположныя, представленiя, мотивы и цѣли. Но по мѣрѣ углубленiя и расширенiя его русла, его руководители должны были все болѣе стремиться къ водворенiю ясности и порядка и въ этой области. Въмѣсто смутныхъ, неопредѣленныхъ и противорѣчивыхъ представленiй они должны были стремиться къ выработкѣ возможно болѣе стройной идеологiи, которая дала бы устойчивыя и не подлежащiя спору основанiя для партiйной программы и тактики.

И эта идеологiя, вырастая на македонской почвѣ, по необходимости впитывала въ себя черты, оказывавшiяся въ болѣе или менѣе рѣшительномъ противорѣчiи съ революцiонными концепцiями болгарскаго происхожденiя. Чѣмъ глубже входила „Внутренняя организацiя“ въ соприкосновенiе съ массами населенiя, и чѣмъ болѣе росло въ нихъ ея влiянiе, тѣмъ самонадѣяннѣе становились ея планы, тѣмъ смѣлѣе задачи, тѣмъ ярче сознание отвѣтственности за нихъ. И въ зависимости отъ этого тѣмъ болѣе подчиненное значенiе придавала она болгарской поддержкѣ, тѣмъ рѣшительнѣе выдвигала на первый планъ революцiонную самостоятельность самого македонскаго населенiя. Работая на мѣстѣ, въ центрѣ скрещивающихся интересовъ и притязанiй окружающихъ государствъ, она все болѣе убѣждалась въ томъ, что освобожденiе Македонiи—дѣло громадной трудности, судьбы котораго въ гораздо большей степени зависятъ отъ Европы, чѣмъ отъ Болгарiи, и для осуществленiя котораго потребуется величайшее напряженiе революцiонной энергiи всего населенiя Македонiи. Сорвать его какъ-нибудь нечаянно, случайнымъ натискомъ—немыслимо. Къ нему надо готовиться долго и упорно, путемъ настойчивой и кропотливой агитацiонной и организацiонной работы. Къ борьбѣ за него надо привлечь всю страну, всѣ населяющiя ее народности, не исключая даже и турокъ, которые тоже страдаютъ подъ гнетомъ дикаго режима. Только при такихъ условiяхъ освободительная борьба можетъ быть доведена, наконецъ, до всеобщаго, всенароднаго возстанiя, которое одно съумѣетъ, если не восторжествовать своими собственными силами, то, по крайней мѣрѣ, вызвать на сцену рѣшительное вѣшательство Европы.

Итакъ, всенародное возстанiе, какъ цѣль; подготовительная агитацiонно-организацiонная работа, охватывающая по возможности всѣ элементы населенiя, какъ средство, — такова была типическая формула, къ которой приводила жизнь „Внутреннюю

организацию". И въ соответствии съ этою формулою идеологи „организациі" все отрицательнѣе относились ко всякимъ проявленіямъ національнаго шовинизма въ ихъ дѣлѣ; все смѣлѣе и послѣдовательнѣе подводили международный фундаментъ подъ свои революціонныя построенія; все рѣшительнѣе выдвигали впередъ свой новый лозунгъ „автономной Македоніи".

Такимъ образомъ, революціонная доктрина „Внутренней организациі" все дальше отступала отъ привычной идеологіи и тактики болгарскихъ революціонеровъ-націоналистовъ. Ихъ разногласія не могли, конечно, не отражаться и на ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Въ нихъ таилась угроза неизбежныхъ недоразумѣній и конфликтовъ между этими двумя теченіями македонской революціонной мысли и дѣятельности. Въ своемъ постепенномъ развитіи эти противорѣчія должны были сдѣлаться источникомъ непримиримаго антагонизма между ними, вести ихъ шагъ за шагомъ къ междоусобной борьбѣ и окончательному разрыву. Но эти опасности угрожали движенію еще въ будущемъ. Пока онѣ не давали себя чувствовать особенно сильно и не мѣшали будущимъ врагамъ не только работать рука-объ-руку, но и считать себя товарищами въ одномъ общемъ дѣлѣ.

Со стороны „Внутренней организациі" такое отношеніе къ дѣлу объяснялось громаднымъ значеніемъ, которое имѣла для нея поддержка Болгаріи. Какъ ни быстро росли ея силы и вліяніе внутри страны, безъ этой поддержки она не могла пока обходиться. И потому она принимала ее, несмотря на всѣ ея частичныя неудобства, на всѣ таившіяся въ ней опасности и угрозы. Единственное, въ чемъ все-таки проявлялась пока ея недовѣрчивость къ своимъ болгарскимъ товарищамъ, была глухая борьба, которую вела она за преобладающее вліяніе въ руководившемъ ими софійскомъ „Верховномъ македонскомъ комитетѣ". Съ болгарской стороны дѣло было еще проще. Болгарскіе революціонеры были, прежде всего, практиками, и „теоретическія умствованія" имѣли въ ихъ глазахъ весьма второстепенное значеніе. Пока ихъ четы находили свободный доступъ въ Македонію и встрѣчали тамъ содѣйствіе со стороны и населенія и мѣстныхъ революціонеровъ, до тѣхъ поръ имъ было довольно безразлично, какъ относятся идеологи „Внутренней организациі" къ ихъ задачамъ и планамъ. Имъ не мѣшали работать; ихъ дѣятельности давала желательные результаты. Этого пока имъ было совершенно достаточно.

Что касается болгарскаго правительства, то и его пока ничуть не беспокоили автономистско-интернаціональныя тенденціи

„Внутренней организаціи“. Оно не придавало имъ никакого реального значенія. Въ его глазахъ все это относилось къ области чисто академическихъ споровъ, отъ которыхъ никому не было ни тепло, ни холодно. Тяготѣніе къ Болгаріи у македонскихъ болгаръ естественно и неодолимо, и никакой искусственной проповѣди не удастся свернуть его въ сторону. Революціонное движеніе, подъ какими бы девизами оно ни происходило, только усиливаетъ его. Чего же сомнѣваться и спорить изъ-за словъ? Пусть теоретики „Внутренней организаціи“ мечтаютъ, сколько имъ угодно, о внѣ-національных рамкахъ освободительной борьбы, о будущей автономіи и т. п. Эти бредни все равно не будутъ имѣть никакого практическаго результата. Движеніе все равно останется болгарскимъ, и національная окраска будетъ и впредь отличать собою и его тактическіе приемы, и его общія тенденціи, и его конечныя цѣли. Пусть же „Внутренняя организація“ выводитъ какіе угодно узоры въ своей теоретической программѣ. Это не мѣшаетъ ей дѣлать нужное и полезное дѣло. И поскольку она его дѣлаетъ, она заслуживаетъ всяческаго содѣйствія и поощренія со стороны тѣхъ, для кого она—сознательно или бессознательно—работаетъ.

Тѣмъ менѣе имѣли что-нибудь противъ „идеализма“ „Внутренней организаціи“ болгарское общество, болгарская демократія. Она и сама была несовсѣмъ чужда этому идеализму, апеллировавшему къ его воображенію, къ его человѣческимъ симпатіямъ, къ его братскому чувству, наконецъ. Правда, въ болѣе консервативныхъ кругахъ болгарскаго общества и тогда уже можно было замѣтить нѣкоторые признаки недовольства какъ самимъ македонскимъ революціоннымъ движеніемъ, такъ и тою дѣятельною поддержкою, которую оказывало ему болгарское правительство. Не одобряли его антинаціональных тенденцій; смущались его крайностями; находили, что оно занимаетъ слишкомъ большое мѣсто въ болгарской политикѣ и вноситъ въ нее слишкомъ большой элементъ авантюризма и риска. Но такія мнѣнія оставались одинокими и скрытыми. Они слишкомъ не гармонировали съ общимъ настроеніемъ и вслухъ почти не высказывались. Въ массѣ же населенія царили безраздѣльно самыя горячія симпатіи ко всему, что прямо или косвенно говорило о македонской освободительной борьбѣ. Передъ героями этой борьбы преклонялись, какъ передъ полубогами. Въ нихъ видѣли высшее выраженіе болгарскаго національнаго генія. Въ всестороннемъ и великодушномъ содѣйствіи ихъ великой миссіи видѣли первую обязанность гаріи, болгарскаго правительства, болгарскаго народа.

Такимъ образомъ, теоретическія разногласія, возникшія между двумя главными теченіями македонской революціи, не выходили пока изъ предѣловъ академическаго спора. На живомъ дѣлѣ они почти не отражались, если не считать соперничества и борьбы за вліяніе вокругъ „Верховнаго македонскаго комитета“. Практически, обѣ партіи — если тутъ можно говорить о партіяхъ — работали рука-объ-руку, поддерживая другъ друга и сливая свои усилія не только въ одномъ общемъ движеніи, но — сплошь и рядомъ — и въ такихъ отдѣльныхъ предпріятіяхъ, какъ, напримѣръ, возстаніе 1895 года, въ которомъ только большой знатокъ могъ бы указать, хотя бы приблизительно, какая доля участія принадлежала одному и какая — другому теченію...

Такъ, съ небольшими сравнительно измѣненіями, дѣло шло до возстанія 1902—03 годовъ. Это возстаніе оказалось фатальнымъ для дальнѣйшихъ судебъ македонскаго освободительнаго движенія. Грубою рукою вскрыло оно всѣ таившіяся въ немъ противорѣчія, внесло въ него элементы деморализаціи и разложенія, гибельное вліяніе которыхъ даетъ себя чувствовать съ каждымъ годомъ все больше и больше. Именно съ этой злополучной даты начинается тотъ тяжелый кризисъ въ македонскомъ освободительномъ движеніи, наличность — а въ иныхъ случаяхъ и безвыходность — котораго не подвергается болѣе сомнѣнію даже въ кругу самихъ македонскихъ революціонеровъ.

Въ мою задачу не входитъ описаніе самаго возстанія 1902—03 гг. Достаточно будетъ здѣсь напомнить, что оно совершенно не оправдало своихъ обѣщаній и вызванныхъ имъ надеждъ. Несмотря на весь героизмъ его участниковъ и на сравнительно большіе размѣры охваченной имъ территоріи, оно свелось, въ концѣ концовъ, къ мелкой партизанской борьбѣ, которая была скоро и безъ труда подавлена турецкими войсками. Непосредственными, ближайшими его результатами были лишь новый разгулъ турецкихъ репрессалій да глубокое разстройство стоявшихъ въ его главѣ мѣстныхъ революціонныхъ организацій.

Извѣстно, что возстаніе 1902—03 гг. не было ни дѣломъ „Внутренней организаціи“, ни, тѣмъ менѣе, стихійнымъ взрывомъ самого македонскаго населенія. Оно было поднято софійскимъ революціоннымъ комитетомъ и его четами, противъ воли „Внутренней организаціи“, которая считала его, при данныхъ обстоятельствахъ, неподготовленнымъ, преждевременнымъ и въ высшей степени опаснымъ экспериментомъ. И тѣмъ не менѣе, отвѣтственность за него, вся тяжесть постигшей его неудачи пали цѣликомъ на „Внутреннюю организацію“ и — черезъ нее —

на революционное движение, которое она собою представляла.

И это было неизбежно. Софийский революционный комитет, хотя он и назывался „македонским“, все-таки оставался для Македонии чужим, сторонним. Он повиновался своим мотивам, вдохновлялся своими стремлениями, руководился своими планами и задачами. Для него неудача восстания была простою случайностью, не разстраивавшею ни его организации, ни его общего плана революционной кампании. Она даже входила въ этот планъ, какъ возможность всегда мыслимая и допустимая. Сегодня не удалось; завтра удастся!—такъ должны были думать про себя болгарские заправилы комитета, когда их разстроенныя четы возвращались изъ Македоніи.

Положение „Внутренней организации“ было совсѣмъ иное. Она не только стояла во главѣ движенія, она какъ бы олицетворяла его собою. Волею-неволею на нее и ея силы должна была пасть вся тяжесть борьбы. На нее же должна была лечь и ответственность за ея результаты. Такъ смотрѣла на дѣло она сама. Такъ смотрѣло на нее македонское населеніе. Такъ, наконецъ, смотрѣли на нее въ Болгаріи и даже въ Европѣ. На нее же, естественно, выпала тяжелая участь расплатиться за восстаніе, хотя оно и было вызвано не ею.

И она расплатилась за него страшно дорогою цѣною. Прежде всего она понесла въ немъ громадныя потери чисто матеріальнаго характера. Многіе изъ ея лучшихъ воеводъ погибли въ бою или въ турецкихъ застѣнкахъ. Ея боевыя дружины были децимированы. Наиболѣе сознательные, энергичные и преданные ей элементы среди населенія были избиты или принуждены искать себѣ спасенія на болгарской территоріи. Самыя основы ея революціонной организации въ Македоніи были разрушены. Все приходилось начинать чуть не сначала. Но это была еще меньшая изъ обрушившихся на нее бѣдъ. Хуже всѣхъ матеріальныхъ потерь, по самому существу своему поправимыхъ и проходящихъ, былъ тяжелый ударъ, нанесенный репутаціи и престижу организации въ глазахъ населенія. Ея моральный авторитетъ былъ подорванъ въ самомъ корнѣ. Она казалась такою сильною. Она такъ много брала на себя, такъ много сулила роду. И при первомъ же своемъ выступленіи она оказалась къ легко и скоро разбитою. Гдѣ же ея хваленая сила? Гдѣ общанія и перспективы? Гдѣ пресловутая болгарская помощь? Въ европейское вмѣшательство, которое должно было, при первомъ признакѣ народнаго пробужденія, вырвать Македонію

изъ окровавленныхъ турецкихъ рукъ?.. Вмѣсто всего этого — подавленное возстаніе оставило послѣ себя лишь сожженные деревни, опустошенные поля и трупы, трупы безъ конца, по пути слѣдованія побѣдоносныхъ турецкихъ карательныхъ отрядовъ... Несчастное македонское населеніе было подвергнуто тяжкому испытанію, и это испытаніе не могло не отразиться самымъ разрушительнымъ образомъ на его молодыхъ, неокрѣпшихъ еще, революціонныхъ надеждахъ, не могло не подорвать въ немъ вѣры въ питающую эти надежды революціонную организацію.

Но и эта бѣда не должна была, сама по себѣ, казаться непоправимою. Какъ и чисто матеріальныя потери, подорванный престижъ не долженъ былъ приводить въ отчаяніе „Внутреннюю организацію“. Съ своею преданностью дѣлу, обширнымъ житейски-революціоннымъ опытомъ, энергіею и смѣлостью она, несомнѣнно, скоро счумѣла бы восстановить свое прежнее положеніе въ странѣ, если бы не измѣнилась самая обстановка, въ которой ей приходилось теперь работать.

Но эта обстановка измѣнилась до неузнаваемости. Во-первыхъ, въ очень значительной степени усилились бдительность и энергія турецкихъ властей въ дѣлѣ преслѣдованія революціонныхъ четъ и вообще революціонной агитаціи. Рядомъ съ усиленіемъ мѣстныхъ гарнизоновъ въ македонскихъ вилайетахъ были организованы особыя летучія колонны, на которыхъ были возложены обязанности беспощаднаго преслѣдованія и уничтоженія революціонныхъ четъ. Подвижныя, снабженные проводниками изъ мѣстныхъ жителей, составленныя изъ отборныхъ солдатъ и хорошихъ стрѣлковъ, эти колонны представляли собою очень серьезнаго противника, присутствіе котораго чрезвычайно затрудняло дѣятельность организаціонныхъ и болгарскихъ четъ.

Но главную опасность для нихъ представляли, все-таки, не турецкія войска, а сербскія и греческія вооруженныя банды, наводнившія Македонію послѣ неудачнаго возстанія. До возстанія онѣ держали себя тигре воды, ниже травы. „Внутренняя организація“ счумѣла послѣ долгой и упорной борьбы почти совершенно вытѣснить ихъ изъ округовъ, въ которыхъ болгарскій элементъ являлся преобладающимъ въ населеніи. Но послѣ подавленія возстанія онѣ подняли голову. Стоявшія за ихъ спиною правительства прекрасно поняли выгоды положенія и спѣшили использовать ихъ въ своихъ національно-государственныхъ интересахъ. Страшная „Внутренняя организація“ была разбита и разстроена. Болгарскому правительству необходимо было оправдать себя отъ обвиненія въ помощи возстанію, и оно вело себя

въ высшей степени сдержанно и скромно. Болгарское население въ Македоніи было запугано суровыми репрессаліями, и его сила сопротивленія упала до минимума. Эвзархъ было только впору думать о своемъ собственномъ спасеніи... Сербской и греческой вооруженнымъ пропагандамъ открывалось обширѣйшее поприще для дѣятельности. Наконецъ-то онѣ получили возможность взять свой реваншъ и отплатить ненавистной „Внутренней организаціи“ за всѣ свои прежнія униженія. Наконецъ-то передъ ними была свободная открытая дорога, на которой некому было остановить ихъ напоръ. И онѣ спѣшили использовать благоприятную обстановку, созданную разгромомъ болгарскаго возстанія. Цѣлый потокъ ихъ дружинъ хлынулъ съ двухъ сторонъ въ Македонію. Сербы шли съ сѣвера, греки—съ юга. И тѣ и другіе имѣли за собою чуть не официальное содѣйствіе своихъ правительствъ. И тѣ и другіе могли, кромѣ того, разсчитывать на болѣе или менѣе открытую поддержку турецкихъ властей, въ глазахъ которыхъ важнѣйшею задачею момента было выбить, какою бы то ни было цѣною и съ чьею бы то ни было помощью, строптивый духъ изъ своихъ болгарскихъ подданныхъ. Сербскія и греческія банды подоспѣли какъ разъ въ-время. Правда, онѣ работали для себя, въ своихъ собственныхъ національныхъ интересахъ, но это обстоятельство менѣе всего смущало турецкихъ политиковъ. Отдаленная, притомъ весьма проблематичная, опасность ихъ не тревожила. Ихъ гораздо болѣе занимали непосредственные ближайшіе результаты борьбы, предпринятой сербско-греческою пропагандою противъ болгарскихъ революціонныхъ организацій и вообще противъ сознательныхъ элементовъ мѣстнаго болгарскаго населенія. Эта борьба съ турецкой точки зрѣнія была во всякомъ случаѣ своевременною и полезною. И турки съ радостью пріивѣтствовали новыхъ претендентовъ, предоставляя къ ихъ услугамъ свою полицію и своихъ солдатъ.

Сильныя этою поддержкою, сербскія и греческія банды дѣйствовали смѣло и успѣшно. Онѣ шли на проломъ, проникали все дальше въ глубь страны, забирались въ такія области, къ которымъ раньше не смѣли приближаться и на пушечный выстрѣлъ. И ихъ смѣлый натискъ оказывался при измѣнившихся умѣхъ почти непреодолимымъ. У „Внутренней организаціи“ таяло силъ для того, чтобы остановить, или хотя бы задержать его. Ея порѣдѣвшія четы, еще недавно царившія тутъ азѣльно, должны были шагъ за шагомъ отступать передъ чуждымъ противникомъ. Предоставленное самому себѣ, мѣ-

стное болгарское населеніе чувствовало себя совершенно безпомощнымъ передъ новыми благодѣтелями, пришедшими освободить его отъ „болгарской тирани“. Эти благодѣтели были безпощадны, и ихъ прозелитизмъ не признавалъ другихъ методовъ убѣжденія, кромѣ террора. При малѣйшемъ сопротивленіи со стороны мѣстныхъ жителей, при малѣйшей ихъ попыткѣ отстоять свое право на принадлежность къ болгарской національности и церкви, ихъ села подвергались самымъ жестокимъ карамъ и репрессаліямъ. При такихъ условіяхъ борьба оказывалась для нихъ совершенно непосильною. Село за селомъ, районъ за райономъ, еще недавно считавшіеся окончательнo завоеванными для „болгарскаго дѣла“, снова переходили на сѣверъ — къ сербамъ, на югъ — къ грекамъ. И каждый новый шагъ на этомъ пути, каждое новое пораженіе вносили новые элементы деморализаціи и отчаянія въ среду мѣстнаго болгарскаго населенія, подрывали въ немъ все болѣе и болѣе престижъ и вліяніе „Внутренней организаціи“. Оно теряло вѣру въ ея силу, отчаявалось въ спасительности ея революціонныхъ методовъ борьбы и въ осуществимости ея обѣщаній, отказывалось отъ своихъ гордыхъ надеждъ и снова превращалось въ безропотную райю, искавшую себя спасенія то въ молчаливой покорности туркамъ, то въ робкихъ надеждахъ на европейскихъ „реформаторовъ“.

Пожалуй, еще неблагоприятѣе отозвалось неудачное возстаніе на мѣстѣ, которое занимало македонское революціонное движеніе въ симпатіяхъ и въ уваженіи болгарскаго общества въ княжествѣ. Для македонскихъ болгаръ это пораженіе было все-таки своимъ собственнымъ дѣломъ, въ которомъ казалось крайне труднымъ — чтобы не сказать: невозможнымъ — распредѣлить отвѣтственности между революціонными организаціями и населеніемъ. И тѣ и другіе стояли тамъ передъ общимъ горемъ, въ которомъ приходилось больше страдать и лить слезы, чѣмъ искать виновниковъ. Болгары въ княжествѣ находились совсѣмъ въ иномъ положеніи. Глядя на возстаніе со стороны, они могли и относиться къ нему, какъ къ чужому, въ концѣ концовъ, дѣлу, въ которомъ можно — и должно — было установить отвѣтственность и искать виновниковъ. И главнымъ виновникомъ естественно казалась имъ злополучная „Внутренняя организація“, какъ бы воплощавшая въ себя въ ихъ глазахъ все македонское революціонное движеніе. Она стояла во главѣ подготовительнаго движенія; она пѣла восторженные гимны возстанію, когда оно оставалось еще отдаленною цѣлью, и руководила имъ, когда

оно, наконецъ, вспыхнуло, — она же должна была понести на себя всю тяжесть ответственности за его поражение. Это поражение говорило о ея слабости и непредусмотрительности. Оно давало почву для обвиненія ея въ легкомысліи, въ преступной самоувѣренности, чуть ли не въ сознательномъ злоупотребленіи довѣрчивостію и симпатіями Болгарин. Оно развѣнчивало „Внутреннюю организацію“ въ глазахъ болгарскихъ патріотовъ, разсѣивало то обаяніе могущества, ловкости и неизмѣнной удачливости, которое она успѣла создать вокругъ себя до возстанія.

Но не въ этихъ — все-таки болѣе или менѣе платоническихъ — обвиненіяхъ была главная бѣда „Внутренней организаціи“. Съ неудачею самой по себѣ еще можно бы было помириться. Но поражение повлекло за собою рядъ послѣдствій, которыя самымъ непосредственнымъ образомъ затрагивали болгарскіе національные интересы въ Македоніи. Въ результатъ поражения въ Македоніи создалось ужасное положеніе, грозившее свести на нѣтъ все, что успѣла тамъ сдѣлать многолѣтняя и упорная болгарская національная пропаганда. Прежде всего, конечно, приходилось считаться тутъ съ антиболгарскою дѣятельностью поднявшихъ голову сербскихъ и греческихъ четъ. Не встрѣчая нигдѣ серьезнаго противодѣйствія, волна сербско-греческой вооруженной пропаганды поднималась все выше, разливалась все шире, грозила затопить собою всю Македонію. Болгарское вліяніе таяло предъ нею, какъ таетъ воскъ отъ лица огня. Самые испытанные, самые, казалось, прочно завоеванные районы одинъ за другимъ отпадали отъ экзархіи и переходили на сѣверѣ къ сербамъ, на югѣ — къ грекамъ. Каждый новый ударъ въ этомъ направленіи отзывался тѣмъ болѣе смертельною обидою въ болгарскихъ сердцахъ, что, официально, Болгарія была лишена какой бы то ни было возможности бороться противъ него. Съ одной стороны, у нея не было на это никакого признаннаго права; съ другой, на ней тяготѣло подозрѣніе въ подстрекательствѣ къ только-что усмиренному возстанію, и ей приходилось держаться тише воды ниже травы, чтобы хоть нѣсколько поправить свою репутацію въ глазахъ Европы. Но если сама Болгарія была вынуждена изъ-за дипломатическихъ соображеній молча смотрѣть на это поношеніе, то „Внутренняя организація“ не вѣдь въ совершенно иномъ положеніи. Она могла и должна была дѣйствовать. Если когда-нибудь было необходимо участіе въ защитѣ болгарскаго дѣла въ Македоніи, то оно было необходимо теперь. И какъ разъ въ этотъ критическій моментъ она бездѣйствовала. Она отступала по всей линіи, без-

сильная не только отбить нападеніе врага, но и защитить самое себя. Зрѣлище этого безсилія должно было приводить въ отчаяніе болгарскихъ патріотовъ. Они должны были все чаще и настойчивѣе спрашивать себя: что же имъ дала ихъ пресловутая македонская политика, и къ чему привели тѣ безконечныя жертвы, которыя они приносили на алтарѣ „Внутренней организаціи“? И къ былому преклоненію передъ македонскими революціонерами начинали примѣшиваться пренебреженіе къ ея слабости, раздраженіе противъ ея безпомощной растерянности, протестъ противъ ея неумѣстной самоувѣренности и ея ничѣмъ не оправдываемыхъ притязаній.

Но успѣхами соперничавшихъ пропагандъ не исчерпывались печальныя послѣдствія пораженія. Не меньшею—въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, пожалуй, большею—опасностью грозили болгарскому дѣлу въ Македоніи тѣ гоненія, которыя были воздвигнуты тамъ противъ него самими турками.

Возстаніе какъ бы раскрыло имъ глаза. Оно во-очію показало имъ, какъ далеко зашла систематическая болгарская пропаганда, давно уже превратившаяся изъ національно-религіозной въ національно политическую, и какими серьезными опасностями грозитъ она самому ихъ владычеству. Эту пропаганду необходимо было искоренить какъ можно скорѣе, и турки набросились на нее съ тѣмъ большимъ озлобленіемъ, чѣмъ позднѣе спохватились. Все, что такъ или иначе напоминало имъ объ этой пропагандѣ; все, что связывалось въ ихъ представленіи съ „брамольнымъ“ болгарскимъ элементомъ, было подвергнуто систематическому и беспощадному гоненію. Самыя, казалось бы, невинныя проявленія болгарскаго національнаго самосознанія, самыя мирныя и культурныя начинанія, въ родѣ болгарскихъ церквей, школъ, читаленъ, благотворительныхъ обществъ, сдѣлались объектомъ всевозможныхъ притѣсненій и преслѣдованій. Въ нихъ таился тотъ же ненавистный „болгарскій“ ядъ, и этотъ ядъ надо было искоренить во что бы то ни стало. Торжествующая турецкая реакція не щадила ничего и никого, но съ особеннымъ остервенѣніемъ набросилась она на мѣстную болгарскую интеллигенцію, въ которой не безъ основанія видѣла корень зла. Учители, священники, торговцы переполняли тюрьмы и толпами шли въ ссылку. Школы и церкви закрывались вездѣ, гдѣ только можно было найти для этого малѣйшій поводъ. Гибло все, что добывалось такимъ трудомъ, ради чего приносились такія жертвы, на что возлагались такія надежды!.. И къ чувству

злости противъ турокъ въ болгарскихъ сердцахъ примѣшивалось невольное раздраженіе противъ тѣхъ, кто вызвалъ эти гоненія и теперь оказывался безсильнымъ положить имъ конецъ.

Первымъ выразителемъ этого настроенія была, конечно, экзархія. Она давно уже тяготилась гегемонією революціонныхъ организацій, которыя мало-по-малу оттѣснили ее на задній планъ не только въ симпатіяхъ македонскаго населенія, но и въ самой Болгаріи. Съ другой стороны, она являлась главнымъ страдающимъ лицомъ въ тѣхъ испытаніяхъ, которыя обрушились на „болгарское дѣло“ послѣ усмиренія восстанія. На ея учрежденія и на ея людей сыпались удары, наносившіеся турками въ отместку за революціонныя выступленія. Ей же обѣщали турки всякія льготы, если она разорветъ съ революціонными традиціями и выступитъ открыто противъ тактики, казавшейся осужденной самою жизнью. Соблазнъ былъ слишкомъ великъ, чтобы не поддаться ему, хотя бы въ интересахъ простого самосохраненія. Раньше экзархія молчала, потому что боялась окончательно потерять свое вліяніе, выступая противъ такого популярнаго теченія, какимъ было революціонное движеніе до восстанія. Теперь положеніе измѣнилось, и экзархія заговорила. Ея органы, самъ экзархъ, начали все рѣшительнѣе выступать противъ привычной тактики революціонныхъ организацій, казавшейся при данныхъ условіяхъ безцѣльнымъ революціоннымъ изувѣрствомъ, лишь оправдывавшимъ собой крайности турецкой реакціи. Они взывали къ патриотизму революціонеровъ и требовали отъ нихъ хотя бы временнаго разоруженія. Они взывали къ благоразумію болгарскаго общества и болгарскаго правительства и требовали отъ нихъ прекращенія помощи революціонерамъ, рѣшительнаго разрыва съ тою традиціонною македонскою политикою, однимъ изъ главныхъ элементовъ которой была поддержка революціоннаго движенія въ Македоніи.

Протесты экзархін не прошли на этотъ разъ совершенно безслѣдно. Они упали на подготовленную почву и нашли себѣ отзывъ въ болгарскомъ обществѣ, притомъ въ самыхъ различныхъ кругахъ его, какъ среди консервативныхъ политиковъ типа Начевича, защищавшихъ идею дружбы и союза съ Турціею, такъ и среди искреннихъ демократовъ, ясно понимавшихъ, что „македонская политика“ Болгарскаго княжества питаетъ собою тренную реакцію и вкрѣпить ея „личный режимъ“. Чѣмъ выше, тѣмъ громче и чаще раздавались въ Болгаріи голоса, ювавшіе прекращенія этой политики, измѣненія самыхъ основъ. Эта политика оказывалась слишкомъ дорогою и непосильною

для маленькой и слабой Болгаріи; она сковывала всё её движёнія, осуждала её на безцѣльное топтанье на одномъ мѣстѣ. Она изсушала её матеріальные ресурсы, отвлекала её отъ внутреннихъ задачъ, задерживала и сбивала съ настоящаго пути её собственную общественно-политическую эволюцію. Исходя изъ явно ошибочнаго предположенія, что главнымъ факторомъ при разрѣшеніи македонскаго вопроса должна быть Болгарія, она постоянно толкала страну на опрометчивые поступки, которые только компрометировали её въ глазахъ Европы, навлекали на неё подозрительность и вражду со стороны турокъ, препятствовали нормальному развитію „реформенной дѣятельности“, и т. д., и т. д.

Съ другой стороны, не менѣе злополучною казалась эта политика и съ точки зрѣнія передовой болгарской демократіи. Въ её глазахъ, эта политика являлась неисчерпаемымъ источникомъ неурядицъ и реакціи внутри страны. Она питала собою непосильный милитаризмъ; вносила деморализацію и партизанскій разладъ въ политическія отношенія; отвлекала вниманіе общества къ вопросамъ внѣшней политики, что всегда и вездѣ оказывалось пагубнымъ для внутренняго развитія страны; давала недобросовѣстнымъ правителямъ широкую возможность злоупотреблять патріотическими чувствами населенія и, подъ ихъ прикрытіемъ, преслѣдовать свои реакціонныя и тираническія цѣли... Она служила главнымъ препятствіемъ на пути культурнаго прогресса Болгаріи. Она являлась врагомъ её свободы. Ею росъ и крѣпъ „личный режимъ“, и т. д., и т. д.

Во всѣхъ этихъ обвиненіяхъ была, конечно, значительная доля преувеличеній. Они помнили лишь отрицательныя стороны этой злополучной „македонской политики“ и упускали изъ виду её несомнѣнныя заслуги. Они забывали, что, лишь поддерживая всѣми силами революціонное движеніе въ Македоніи, Болгаріи удалось завоевать въ ней такое прочное положеніе въ прошломъ, и что съ этимъ же движеніемъ и съ его успѣхами тѣсно связаны всё её надежды въ будущемъ. Но, какъ раньше, въ дни торжества и силы, македонское революціонное движеніе стояло выше какихъ бы то ни было подозрѣній, такъ теперь, въ дни упадка, оно оказывалось тѣмъ козломъ отпущенія, который долженъ былъ расплачиваться за всё, и свои и чужія, неудачи и разочарованія. Отрицательное отношеніе къ нему изъ сравнительно тѣснаго круга посвященныхъ распространялось на все болѣе широкіе общественные круги, становилось все болѣе сознательнымъ и опредѣленнымъ. А движеніе, какъ нарочно, ни-

какъ не могло оправиться и стать на ноги. Напротивъ, чѣмъ дальше, тѣмъ неудержимѣе стремилось оно къ своему паденію, тѣмъ упорнѣе преслѣдовали его неудачи и невзгоды со стороны, тѣмъ глубже проникала въ самую его ткань тяжелая внутренняя деморализація.

Въ этомъ послѣднемъ отношеніи фатальную роль сыграли тотъ скрытый антагонизмъ, который намъ пришлось уже отмѣтить, говоря о теоретическихъ разногласіяхъ между „интернаціоналистами“ „Внутренней организаціи“ и „націоналистами“ „Верховнаго македонскаго комитета“. Въ тяжелой атмосферѣ, созданной пораженіемъ, этотъ антагонизмъ расксерился и далъ свой плодъ. Мало того, что „верховисты“ не покаались въ своихъ прежнихъ прегрѣшеніяхъ противъ „Внутренней организаціи“, которую они такъ жестоко подвели своимъ несвоевременнымъ возстаніемъ, — они и послѣ усмиренія возстанія продолжали свою прежнюю „вспышкопускательскую“ тактику, несмотря на то, что при новыхъ условіяхъ это грозило окончательною гибелью разстроенному и обезсиленному движению. „Внутренняя организація“ протестовала противъ этой тактики всѣми силами, но ея протесты оставались безплодными. Надо было искать другихъ путей. Убѣжденія не дѣйствовали, — приходилось прибѣгать къ силѣ. Приходилось отказывать вторгавшимся изъ Болгаріи верховистскимъ четамъ въ какомъ бы то ни было содѣйствіи, запрещать мѣстному населенію давать имъ кровь и пищу; приходилось, наконецъ, просто гнать ихъ силою назадъ за-границу. Насилія съ одной стороны вызывали отвѣтныя насилія съ другой. Взаимныя отношенія между двумя лагерями принимали все болѣе враждебный характеръ. Между ними начиналась настоящая братоубійственная война, отвлекавшая ихъ силы отъ освободительной борьбы, заставлявшая ихъ тратить свои лучшія силы на дѣло взаимнаго истребленія. Между ихъ военными силами — мѣстными районными четами, съ одной стороны, и пришлыми болгарскими четами, съ другой — происходили настоящія сраженія, съ засадами, перестрѣлками, избіеніями плѣнныхъ и т. п. Пошли взаимные суды и смертные приговоры, взаимные заговоры и покушенія, жертвами которыхъ сплошь и рядомъ становились ершніе товарищи по дѣлу. Къ какому безумному послѣдствію приводила подчасъ эта нелѣпая и преступная братоубійственная война — показываетъ сравнительно недавнее убійство тѣхъ знаменитыхъ македонскихъ дѣятелей, Бориса Сарафова и ана Гарванова, стоявшихъ въ послѣднее время во главѣ „на-

ціоналистическаго" теченія и убитыхъ по приговору „интернаціоналистовъ" изъ восточно-македонскихъ революціонныхъ округовъ. Этому убійству предшествовала долгая и ожесточенная борьба, драматическія перипетіи которой и до сихъ поръ еще остаются неполнѣ извѣстными. Достаточно сказать, что борьба съ обѣихъ сторонъ была коварна и безпощадна; что противники не останавливались въ ней ни передъ чѣмъ и не брезгали никакимъ оружіемъ, и что эта цѣпь взаимныхъ заговоровъ, провокацій и приговоровъ завершилась кровавою трагедіею, въ которой и жертвы и палачи—особенно жертвы—принадлежали къ числу самыхъ заслуженныхъ и самыхъ популярныхъ героевъ македонской революціонной эпопеи.

Это убійство, конечно, еще болѣе разожгло страсти и раскалало атмосферу. Друзья Сарафова поклялись отомстить за его смерть, и, какъ извѣстно, на послѣднемъ „македонскомъ революціонномъ конгрессѣ" Санданскій, Паница и другіе вожди серескаго революціоннаго округа были въ свою очередь исключены изъ партіи и приговорены къ смерти. Остановится ли тутъ это взаимное истребленіе среди македонскихъ революціонеровъ, или это — только начало повальной вендетты, которая съ каждымъ новымъ приговоромъ и съ каждою новою смертью будетъ становиться все болѣе повальной и все болѣе безпощадной? Кто можетъ отвѣтить на этотъ вопросъ? Одно очевидно: не зрѣлищу этой братоубійственной борьбы, охватившей въ послѣднее время македонское освободительное движеніе, оживить симпатіи къ нему въ болгарскомъ обществѣ, поднять его престижъ въ македонскомъ населеніи, возродить энтузіазмъ и зажечь угасающую вѣру въ сердцахъ его собственныхъ адептовъ...

А этотъ энтузіазмъ и эта вѣра быстро изсыхаютъ. Глубокая внутренняя деморализація овладѣваетъ движеніемъ, проникаетъ въ самыя его поры. И въ этой внутренней деморализаціи лежитъ, быть можетъ, главная угрожающая ему опасность. Она не падаетъ въ немъ никого и ничего. Самыя прочныя его традиціи, самыя крѣпкія его основы подвергаются всеразъѣдающему сомнѣнію и всесокрушающей критикѣ. Само „четничество", которое еще недавно какъ бы олицетворяло собою все движеніе, берется подъ подозрѣніе. Его начинаютъ все чаще признавать отжившимъ методомъ революціонной борьбы; въ его прошломъ находятъ многочисленныя промахи, въ его настоящемъ видятъ чуть не сплошную, и притомъ пагубную для дѣла, ошибку. И на этотъ разъ противъ него выступаютъ уже не „клеветы эказархъ" и не „угодники султана". Нѣтъ, противъ него все

громче и все чаще раздаются авторитетные голоса самих революционных деятелей, совсем недавно еще бывших его горячими защитниками и поклонниками.

В этом отношении в высшей степени знаменателен примѣръ одного изъ талантливейшихъ публицистовъ „Внутренней организаціи“, Пенчева. Известный революціонеръ и съ недавняго времени даже членъ центрального комитета организаціи, Пенчевъ печатаетъ за своею подписью рядъ статей ¹⁾, въ которыхъ, нисколько не умаляя заслугъ четничества въ прошломъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ осуждаетъ его въ настоящемъ. „Было время,—говоритъ авторъ,—когда на четы смотрѣли, какъ на святыню, а на четниковъ, какъ на героев... Покрытыя какою-то мистическою таинственностью, мощныя, вездѣсущія, грозныя, онѣ пробуждали лишь восторгъ и энтузіазмъ въ болгарскомъ обществѣ... Теперь—не то. Онѣ потеряли бывшее обаяніе и перестали вселять надежду на успѣхъ... Въ нихъ видятъ какой-то теоретическій анахронизмъ; отъ нихъ ожидаютъ лишь бѣды; о нихъ говорятъ со злобою и возмущеніемъ. Вся наша печать высказывается противъ нихъ и требуетъ ихъ безусловнаго уничтоженія... Въ томъ же смыслѣ начинаютъ высказываться и партійные конгрессы“...

И эта перемена въ отношеніи болгарскаго общества къ четничеству ничуть не удивляетъ автора. Отчасти она объясняется разочарованіемъ, вызваннымъ неудачею возстанія и печальнымъ положеніемъ дѣлъ „по ту сторону Риды“, но еще больше виновато въ ней само четничество... „Оно“ выродилось—говоритъ авторъ уже отъ себя.—Его бывшій идеализмъ и обаяніе исчезли безвозвратно. Ихъ смѣнили грубый эгоизмъ, алчность и страхъ. Наши четы превратились въ убѣжище лѣности и бездѣлья, а большая часть четниковъ погрязла въ развратѣ, вымогательствахъ и скандалахъ. У нихъ нѣтъ охоты работать; они потеряли смѣлость умереть... Съ своими пороками, съ своими капризами, жестокостями, ошибками, они начинаютъ отвращать отъ себя населеніе, бросать его въ объятія чужихъ пропагандъ и даже предательства“...

Также очевидно для автора, что четничество не отвѣчаетъ новымъ условіямъ, вызваннымъ въ жизни подавленіемъ возстанія 3 года. Оно не въ силахъ бороться съ чуждыми пропагандами. Оно оправдываетъ своимъ существованіемъ турецкія репрессіи. Оно, наконецъ, стоитъ главнымъ препятствіемъ на

¹⁾ „Четнический институтъ внутренней организаціи“—„Прѣпорецъ“, 1907 г.

пути расширенія пресловутыхъ „реформъ“, для успѣха которыхъ прежде всего необходимы порядокъ и умиротвореніе. Оно должно быть реформировано. Какъ? Въ какомъ направленіи? Это не выполнѣ ясно и для самого автора. Онъ много говоритъ о „перенесеніи центра тяжести борьбы съ четъ на само населеніе“, о приобщеніи населенія къ повседневной рутинѣ революціонной борьбы, о его массовой организаціи, о его поголовномъ вооруженіи, и т. д., и т. д. Но все это только намѣчается, имѣетъ характеръ скорѣе пожеланій, чѣмъ настоящаго реальнаго дѣла. И это—рядомъ съ такою опредѣленною, такою рѣшительною и всестороннею критикою настоящаго положенія!..

И съ такою критикою приходится встрѣчаться все чаще и чаще. Ея голосъ все громче раздается и въ партійной печати, и въ партійныхъ организаціяхъ, и, въ послѣднее время, даже на партійныхъ конгрессахъ. Не такъ давно засѣдалъ въ Пловдивѣ конгрессъ „адрианопольскихъ благотворительныхъ братствъ“—такъ называются здѣсь комитеты македоно-адрианопольской эмиграціи съ тѣхъ поръ, какъ репрессивныя мѣры Данева заставили ихъ укрыть подъ невинною внѣшностью благотворительныхъ учрежденій свою революціонную сущность,—и этотъ комитетъ самымъ рѣшительнымъ образомъ высказался противъ четничества и другихъ традиціонныхъ формъ революціонной борьбы въ адрианопольскомъ вилайетѣ. И—что еще болѣе знаменательно—немногимъ болѣе милостивымъ къ нимъ оказался и самъ „Общій конгрессъ внутренней революціонной организаціи“, происходившій въ мартѣ гдѣ-то на болгарско-македонской границѣ. Правда, конгрессъ еще разъ подтвердилъ свое рѣзко-отрицательное отношеніе къ „реформамъ“ и свою непоколебимую вѣрность „революціонному пути“, но это не помѣшало ему осудить четничество, какъ отжившій институтъ, подлежащій возможно болѣе быстрой и полной ликвидаціи. Было принято рѣшеніе сохранить четы въ ихъ старомъ видѣ лишь тамъ, гдѣ „организаціи“ приходится отбиваться отъ натиска иноплеменныхъ вооруженныхъ „пропагандъ“. Во всѣхъ же другихъ мѣстностяхъ „организаціонной территоріи“ четы будутъ распущены и вмѣсто нихъ въ каждомъ районѣ будутъ назначены особые „инструкторы“, которые должны будутъ руководить населеніемъ въ повседневной борьбѣ, организовывать его, вооружать его, служить посредникомъ между нимъ и центральными учрежденіями „организаціи“, и т. д., и т. д.

Но конгрессъ самъ чувствуетъ, что этимъ „институтомъ“ инструкторовъ—даже если взять его совершенно въ серъезъ—

еще не рѣшается вопросъ о „новой тактикѣ“. И онъ пытается отвѣтить на него въ другихъ резолюціяхъ, въ которыхъ говорить о томъ, что главною непосредственною задачею „организациі“ является „полная и всесторонняя боевая подготовка населенія“; что „культурно-національная дѣятельность“ допускается ею лишь постольку, поскольку она „не противорѣчитъ боевымъ задачамъ“; что организациа будетъ преслѣдовать и карать всякій враждебный по отношенію въ ней актъ со стороны экзархіи; что она будетъ вести беспощадную борьбу съ чуждыми пропагандами, и т. д. Но все это фразы, въ которыя можно вложить какое угодно содержаніе. Все это — не отвѣтъ, а, въ лучшемъ случаѣ, лишь матеріалъ для отвѣта, не говоря уже о томъ, что даже и то небольшое, что есть въ немъ опредѣленнаго и положительнаго, — на примѣръ, рѣшеніе относительно „инструкторовъ“, имѣющихъ замѣнить собою теперешнія четы, можетъ имѣть практическое значеніе лишь для той части „организационной территоріи“, которая признаетъ компетенцію конгресса. Значительная же часть этой территоріи — особенно та, въ которой господствуетъ вліяніе Санданскаго, считаетъ этотъ конгрессъ самозваннымъ и игнорируетъ всѣ его рѣшенія.

Передъ тою же мучительною неизвѣстностью стоитъ македонское освободительное движеніе и по другому основному вопросу — о взаимныхъ отношеніяхъ между „организациею“ и болгарскимъ правительствомъ. Событія послѣдняго времени не только не способствовали соглашенію между „націоналистами“ и „интернаціоналистами“, но, напротивъ, перенесли этотъ споръ въ нѣдра самой „организациі“ и сдѣлали его еще болѣе острымъ и непримиримымъ. Въ то время, какъ въ лагерѣ Санданскаго и его друзей царитъ безраздѣльно самый крайній интернаціонализмъ, доходящій до открыто враждебныхъ дѣйствій противъ всего, что хоть отдаленно напоминаетъ о болгарскомъ „вмѣшательствѣ“, въ лагерѣ его противниковъ замѣчается все болѣшая готовность согласовать свое поведеніе съ требованіями и указаніями официальной Болгаріи. Послѣдній конгрессъ „Внутренней революціонной организациі“ и въ этомъ отношеніи является весьма знаменательнымъ. Онъ вполне признаетъ за Болгаріею право бороться о своихъ соплеменникахъ въ Турціи“ и имѣть свою македонскую политику“. Правда, тутъ же онъ вмѣняетъ въ обязанность представителямъ „организациі“ быть „осторожными“ своихъ сношеніяхъ съ официальными представителями Болгаріи и охранять „независимость“ и „престижъ“ организациі. платоническій характеръ этой оговорки только подчеркни-

вается тѣмъ фактомъ, что въ числѣ представителей „организациі“—какъ въ центральномъ, такъ и въ редакціонномъ комитетахъ—были избраны конгрессомъ исключительно люди, пользующіеся твердо установившеюся репутаціею „націоналистовъ“.

И такъ вездѣ и во всемъ. Бездна между двумя теченіями, на которыя раскололось движеніе, становится съ каждымъ днемъ все болѣе глубокою и непроходимой. Соглашеніе между ними представляется все менѣе вѣроятнымъ. Причины расхожденія между ними—помимо личныхъ мотивовъ соперничества, вражды и мести—распространяются на всѣ пункты теоретической программы, на всѣ сферы практической дѣятельности, привычныя формы которой систематически дискредитируются, а новыя—едва только намѣчаются...

И рядомъ съ этимъ процессомъ глубокой внутренней дезорганизациі, медленно, но вѣрно падаетъ престижъ всего движенія. Падаетъ онъ въ Болгаріи, въ глазахъ болгарскаго общества. Еще рѣшительнѣе падаетъ онъ въ самой Македоніи, среди тамошняго христіанскаго населенія, которое начинаетъ питаться другими надеждами и искать другихъ путей спасенія. Само движеніе еще крѣпится, энергично отбивается отъ обрушивающихся на него бѣдъ, усиливается снова стать на ноги. Но чѣмъ дальше, тѣмъ эти усилія кажутся болѣе безнадежными; тѣмъ тяжелѣе дѣлается кризисъ и тѣмъ безвыходнѣе представляется положеніе.

Чѣмъ кончится все это? Кто возьмется съ увѣренностью отвѣтить на этотъ вопросъ, особенно когда дѣло касается такой страны, какъ Турція! Но, глядя со стороны, приходишь невольно къ заключенію, что красные дни македонскаго революціоннаго движенія—позади, и что имъ не вернуться болѣе. Они сдѣлали свое дѣло: разбудили страну, призвали къ жизни таившіяся въ ней ведужинныя силы, завоевали ей сочувствіе европейскаго общественнаго мнѣнія, заставили европейскую дипломатію принести ей въ даръ свои заботы и свои реформы, и теперь имъ приходится очистить свое мѣсто новымъ людямъ и новымъ пѣснямъ...

А тамъ, у гробового входа,
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять...

И. Кашинцевъ.

Софія, апрѣль 1908.



ВЪ „ТОЛСТОВСКОЙ“ КОЛОНИИ

По личнымъ воспоминаніямъ.

I.

Въ наше время русское общество увлекается иными стремленіями, и о такъ называемыхъ „толстовскихъ“ колоніяхъ мало слышно. Но въ нѣсколько уже отдаленные отъ насъ восьмидесятые и девяностые года истекшаго вѣка волна „толстовскаго“ движенія захватывала русскую интеллигенцію широко и ея поселки вырастали по „лицу земли родной“ все чаще и чаще съ каждымъ годомъ. Иные, правда, черезъ годъ уже распадались, и колонисты возвращались снова въ „первобытное состояніе“, т.-е. шли служить, учиться и т. п. Зато другія колоніи имѣли, въ силу удачнаго подбора членовъ, болѣе продолжительную жизнеспособность и просуществовали нѣсколько лѣтъ.

Когда-то и я заплатилъ дань своему времени, и жизнь свою въ одной изъ такихъ колоній желаю разсказать читателямъ.

Я давно стремился къ „простой“ жизни на „лонѣ природы“ и неоднократно дѣлалъ опыты въ этомъ направленіи, выбирая этого Малороссію. Но выходило все неудачно, и я возвращался опять „на лоно службы“,—какъ иронизировалъ мой товарищъ—съ истощеннымъ кошелемъ и нехорошимъ, тяжелымъ комъ на душѣ. Причиной моихъ неудачъ я считалъ главнымъ образомъ то обстоятельство, что я селился на землѣ оди-

ночкой, среди чуждаго мнѣ общества. И вслѣдствіе этого окружающее населеніе глядѣло на меня какъ-то подозрительно. Нѣкоторые думали даже, что я папу землю и хожу за скотомъ только для отвода глазъ, а что на самомъ дѣлѣ я представляю какую-то тонкую политическую штуку. Нѣкоторые во всеуслышаніе заявляли, что я занимаюсь фабрикаціей фальшивыхъ денегъ. Разная челядь подходила къ моей усадьбѣ и таинственно поводила носомъ, точно чутьемъ надѣясь что-то постыгнуть. Иногда эти люди заговаривали со мной „про то, про се“, и, ничего не добившись отъ меня, возвращались къ себѣ, изображивши на лицѣ недовольную мину и усиленно чертыхаясь.

Вся остальная крестьянская масса полагала, что у меня денегъ слишкомъ много, по меньшей мѣрѣ „куры не клюютъ“, и потому всякій старался меня обчитать и обмануть. Потрава и порча деревьевъ въ саду шли, конечно, сами собой. Всѣ эти обстоятельства привели меня къ убѣжденію въ необходимости поселиться въ обществѣ единомышленниковъ—въ интеллигентной колоніи.

„Тамъ, — думалъ я, — среди товарищей одного взгляда на жизнь, и жизнь будетъ содержательнѣе, полнѣе и интереснѣе“.

Я услышалъ отъ моихъ знакомыхъ, что на Кавказѣ уже года два какъ существуетъ такая колонія. Гдѣ-то чуть не у самаго Кавказскаго хребта поселилось нѣсколько семействъ „толстовцевъ“, расчистили дѣвственный лѣсъ подъ пашни и огороды, развели скота и живутъ въ экономическомъ отношеніи сносно. И не долго думая, я бросилъ службу, сложилъ свои пожитки, книги и выѣхалъ изъ своего родного Трущобска въ „пламенную Колхиду“. Дней черезъ семь я уже былъ на той станціи, откуда надо было ѣхать въ колонію на лошадахъ верстъ сорокъ. Мнѣ посоветовали остановиться у одного казака, котораго прозывали Бурьяномъ.

— У него можно найти лошадей и онъ отвезетъ васъ за первое удовольствіе.

Я направился къ нему. Домъ его былъ небольшой, представлявшій обыкновенную мазанку, но раздѣленную на нѣсколько клѣтушекъ, „на случай пріѣзжающихъ“, какъ пояснилъ мнѣ хозяинъ, высокаго роста среднихъ лѣтъ человекъ съ большими усами.

— Подождите, — сказалъ мнѣ Бурьянъ, узнавъ о цѣли моего пріѣзда: — здѣсь остановился одинъ докторъ, который тоже ѣдетъ къ толстовцамъ. Пойдемъ къ нему, — можетъ быть, сговоритесь вмѣстѣ ѣхать. — Въ клѣтушкѣ за самоваромъ, мурлыкающимъ унылую однообразную пѣсню, сидѣлъ старикъ, углубившись въ чтеніе газеты. Мы познакомились. Василій Васильичъ — такъ звали

доктора—былъ радъ, что нашелъ спутника по путешествію въ горы, такъ какъ ѣхать на Кавказъ въ ночное время несовсѣмъ безопасно. Не менѣе его пріятно было и мнѣ, пріѣхавшему на Кавказъ впервые и знавшему эту интересную страну чуть-ли только не по оперѣ „Демонъ“ да развѣ еще по газетнымъ сообщеніямъ о кавказскихъ разбояхъ.

— Я ѣду племяннича навѣстить, — сказалъ Василій Васильичъ, улыбаясь: — не видалъ его столько лѣтъ. И куда это онъ забрался къ чорту на кулички!

Старикъ отхлебнулъ изъ стакана холоднаго чая.

— И что ему тамъ дѣлать, — продолжалъ онъ: — неужели онъ не нашелъ бы себѣ подходящаго мѣста гдѣ-нибудь въ Россіи?

Я сказалъ, что не всегда бываетъ возможно найти себѣ подходящее дѣло, въ особенности у насъ.

— Да помилуйте! — сказалъ старичокъ, оживляясь: — развѣ мало есть интереснаго дѣла? Вѣдь племянникъ—докторъ.

Старикъ засмѣялся хриплымъ, глухимъ смѣхомъ, перешедшимъ черезъ минуту въ затяжной кашель.

— Ну, вотъ хоть бы Пятигорскъ, — оправившись, продолжалъ онъ: — сколько тамъ страждущаго народа пріѣзжаетъ! Лечи, приноси посильную пользу, служи человѣчеству...

— Насколько мнѣ извѣстно, — сказалъ я, — страждущее человечество тамъ отсутствуетъ, а есть только жуирующія барыньки, которымъ доктора прописываютъ „легкій климатъ“.

Старикъ безнадежно махнулъ рукой и засмѣнилъ по комнатѣ, выкидывая съ какимъ-то остервенѣніемъ клубы табачнаго дыма.

— Не слишкомъ ли это узкая программа служенія человечеству? — сказалъ я, желая нарушить наступившее неловкое молчаніе.

— Вы, кажется, одного духа съ моимъ племянникомъ, — сказалъ Василій Васильичъ: — вы навѣрное съ нимъ сойдетесь. А меня ужъ простите, не могу.

И добродушная старческая улыбка разлилась по его лицу.

— Я съ вами бы поспорилъ, — сказалъ онъ, — разбилъ бы всѣ ваши теоріи, если бы не этотъ проклятый кашель.

Мы тронулись въ путь часовъ въ пять вечера. Нельзя было думать попасть засвѣтло въ колонію. Все время приходится цинматься. Къ тому же возница нашъ былъ не изъ бойкихъ лыхъ, какой-то сонный и неразговорчивый подростокъ лѣтъ тнадцати. Лошади его плохо слушались, и мы ѣхали не болѣе сти верстъ. Засвѣтло успѣли проѣхать казачью станицу. цы широкія, чистенькія, бѣлыя хаты съ роскошно распу-

стившимися бѣлыми акаціями подъ окнами. Въ воздухѣ стоялъ отъ цвѣтущихъ деревьевъ сильный медовый ароматъ. По улицамъ попадались станичные обыватели въ высокихъ бараньихъ шапкахъ и кафтанахъ самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ до краснаго включительно. Казачки, въ нарядныхъ праздничныхъ костюмахъ (было воскресенье), повсюду, словно цвѣты, пестрѣли по завалинкамъ, луща подсолнечныя сѣмечки и разговаривая о разныхъ житейскихъ дѣлахъ. За станицей подъемъ дѣлался значителнѣе. Чудная горная панорама развернулася передъ нашими глазами во всей своей величественной красотѣ. Съ востока на западъ тянулся Кавказскій хребетъ. Съ безчисленными сверкающими серебромъ зубцами онъ казался громадной пилой. И какъ пила, онъ отливалъ въ лучахъ заката чудными фіолетово-синими цвѣтами. Влѣво виднѣлась снѣговая шапка Казбека; справа сіялъ Эльбрусъ громадной глыбой, поднявшейся неимоვნю высоко надъ группой горныхъ пикъ. Широкая даль была слегка задернута синеватой дымкой, сквозь которую не трудно было различить простымъ глазомъ у подножья горъ сакли аула. И виднѣлись дымки, точно вата поднимавшіеся изъ саклей. Мнѣ казались невѣроятными увѣренія Сидора, нашего возницы, что горы отъ насъ были на пятидесятиверстномъ разстояніи. Намъ казалось, что до нихъ не было и двѣнадцати верстъ. Нашъ глазъ, какъ я потомъ убѣдился, жестоко ошибался. Въ горной мѣстности удивительно скрадываются разстоянія, и прибывшему изъ равнинъ человѣку приходится долгое время упражнять свой глазъ, чтобы опредѣлять пространства. Мы ѣхали по ровной, укатанной арбами дорогѣ, среди необозримыхъ посѣвовъ кукурузы, выкинувшей мѣстами султаны. Порою попадались заросли терна. Дикій хмель путался въ его вѣткахъ и отъ него перекидывался на вѣтки придорожныхъ грушъ. Въ листвѣ деревьевъ и въ бурьянахъ временами слышалось громкое пѣніе какихъ-то птичекъ. Высоко-высоко кружили орлы, издавая визгливые крики. Изрѣдка проѣзжала арба на высокихъ колесахъ, запряженная парой маленькихъ, но шустрыхъ быковъ. Изъ арбы выглядывало смуглое лицо кабардинца въ бешметѣ съ посеребренными гозырями (мѣсто, куда вкладываются патроны) на груди. Онъ тянулъ какую-то длинную заунывную пѣсню и, казалось, не замѣчалъ ничего на свѣтѣ. Длинный кинжалъ, торчавшій за его поясомъ, невольно напоминалъ намъ о разныхъ страшныхъ эпизодахъ временъ покоренія Кавказа.

Вотъ уже и солнце сѣло. Постояло оно съ минуту на однихъ вершинѣхъ, какъ бы оглядывая на прощанье землю, бросило г

послѣдній разъ сночь лучей и медленно потонуло въ горныхъ пикахъ. Сумерки на Кавказѣ бывають недолги, и почти вслѣдъ за закатомъ наступаетъ ночь. Одна за другой стали зажигаться звѣзды. Съ горныхъ ущелій подулъ холодный вѣтеръ. Мы закрылись въ шубы и предоставили себя бдительности Сидора. Я не могъ заснуть, однако. Разныя тревожныя мысли лѣзли въ голову. Я думалъ о кавказскихъ разбойникахъ, о частыхъ нападеніяхъ на путниковъ. Мнѣ припомнилось, что временами нападенія принимаютъ угрожающій характеръ для всего населенія, и сами власти нерѣдко ничего не въ состояніи бывають сдѣлать для укрощенія абрековъ. Людская молва поговариваетъ, впрочемъ, что русскія власти пребываютъ съ абреками въ дружбѣ, но все же надо согласиться, что трудно что-нибудь подѣлать съ разбойничествомъ въ этомъ неустроенномъ краѣ. Мы покорили его только внѣшне; привить къ нему европейскую культуру мы не сумѣли.

— Вы не спите? — тихо проговорилъ Василій Васильичъ, слегка дотрогиваясь до моего плеча. — Вы не спите?

Я отозвался.

— А я все думаю о моемъ племянничкѣ, — сказалъ онъ: — и забрался же!

Я чувствовалъ, что старикъ думалъ не о племянничкѣ, а все о тѣхъ же абрекахъ.

— А что, Сидоръ, знаешь ли ты эту дорогу? — спросилъ онъ ямщика.

— Чаво? — сонно отозвался онъ.

— Дорогу-то знаешь ли?

— А кто-жъ ее знаетъ!

— Вотъ те на! какъ кто знаетъ? — воскликнулъ я, и почувствовалъ, какъ въ душѣ у меня подулъ холодеомъ.

— Да я тутъ самъ одинъ разъ бывалъ, — сказалъ онъ, — и то днемъ. Кабы много, ну, тогда такъ.

— Сидоръ нехорошо насъ утѣшаетъ, — сказалъ я Василью Васильичу.

Тотъ смотрѣлъ въ спину ямщика и, казалось, былъ чѣмъ-то раздраженъ.

— Возницы здѣсь, на Кавказѣ, не то, что у насъ въ Россіи, — проговорилъ онъ: — какія-то мямли! То ли дѣло наши ямщики съ тѣсными да бойкими словами! Да погоняй же ты, братецъ, людей!

— Ну и Бурьянъ! — проговорилъ онъ: — и далъ же намъ ту!

Сидоръ, наконецъ, дернулъ возжами, кони подхватили и весело застучали копытами по каменистой дорогѣ. Экипажъ нашъ то-и-дѣло подбрасывало, и эта тряска дѣйствовала на насъ усыпляюще. Но спать 'мы не могли.

— Въ такую чудную ночь прямо безсовѣстно спать, — замѣтилъ мой спутникъ.

— Ну, — обратился я къ Сидору, — часто здѣсь пошаливаютъ абреги?

— А кто ихъ знаетъ, — позѣвывая, отвѣчалъ Сидоръ: — говорить, бываетъ, — особенно по ночамъ. Да вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ, — съ оживленіемъ произнесъ Сидоръ, — у пастуха прошлымъ лѣтомъ отбили сорокъ лошадей.

— На этомъ мѣстѣ! — воскликнули мы оба.

— Да, на самомъ на этомъ. Только это было днемъ. Напали, значитъ, двое, гонять лошадей, а третій держитъ пастуха, наставилъ ему въ ротъ левольвертъ, чтобы, значитъ, какъ пикнуть, такъ ему тутъ и смерть. Такъ и угнали въ горы всѣхъ лошадей!

— Червезъ, онъ хуже чорта, — продолжалъ оживившійся Сидоръ: — у него левольвертъ или „сѣкимъ башка“.

Я взглянулъ на моего спутника. Онъ какъ-то странно мигалъ глазами и въ отвѣтъ на мой взглядъ прошепталъ:

— Какая чудная ночь!

И потомъ продекламировалъ довольно выразительно:

Горныя вершины
Спать во тѣмъ ночной,
Тихія долины
Полны свѣжей мглой.
Не шумитъ дорога,
Не дрожатъ листы,
Подожди немного—
Отдохнешь и ты...

— Да! — сказалъ я: — „отдохнешь и ты“, какъ „сѣкимъ башка“ сдѣлаютъ. „Подожди немного“!

И мы разсмѣялись.

— А у васъ есть съ собою револьверъ? — спросилъ меня Василій Васильевичъ.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ я: — давно уже считаю мерзостью всякое оружіе.

— А напрасно! — наставительно сказалъ онъ: — напрасно! Въ данномъ случаѣ ребячествовать не надо.

Я никакъ не могъ понять, въ какомъ это въ данномъ случаѣ, и едва удерживался отъ смѣха.

— А я вотъ имѣю хорошенькій смиттъ-вессонъ, — сказалъ онъ и, немного помолчавъ, обратился къ Сидору:

— А что если бы напали на насъ абреки—сладили бы мы втроемъ?

Сидоръ обернулся и пытливо посмотрѣлъ на доктора.

— Тоже скажутъ!—проговорилъ онъ:—да кто же съ ними, съ азіятами, сладить? У нихъ живо съѣдимъ башка! Народъ хитрый. Съѣдимъ башка въ одинъ моментъ!

Съ этимъ дуракомъ становилось рѣшительно невозможнымъ продолжать разговоръ на эту тему, и я рѣшился поговорить съ нимъ изъ другой области.

— Ты какъ давеча назвалъ людей, къ которымъ мы ѣдемъ?

— Какъ?—толстовцы они, кто же больше?..

— Что же они за люди такіе? почему ихъ называютъ толстовцами?

— Да кто ихъ знаетъ? Это намъ неизвѣстно. Зовутъ—толстовцы, толстовцы, а кто они—это мнѣ не говорили.

— Ну, такъ какъ же—добивался я:—вѣдь вотъ твоего Буряна не называютъ же толстовцемъ?

— Нѣтъ.

— Ну, тебя тоже не называютъ такъ?

Сидоръ обернулся, посмотрѣлъ на меня и весело засмѣялся.

— Тоже скажутъ!

— Какъ же? Значить, чѣмъ нибудь они отличаются? различіе вѣдь есть?

— Да, есть,—сказалъ, наконецъ, Сидоръ:—вотъ они говорятъ все, что не надо убивать.

— Ну, а еще что говорятъ?

— Еще? не надо воровать.

Я не могъ не расхохотаться при этомъ наивномъ объясненіи сущности толстовства.

— А по-твоему развѣ надо и убивать, и воровать?

— Да нѣтъ, и по-моему не нужно.

— Такъ, значить, и тебя можно назвать толстовцемъ?

— Тоже и скажутъ!

Я такъ и не могъ добиться отъ Сидора, какъ понимаетъ ученіе великаго писателя этотъ сынъ народа. И мнѣ стало больно за носителей этого ученія, забравшихся куда-то въ ущелье и живущихъ настолько обособленной жизнью, что окружающее ученіе знаетъ ихъ только по кличѣ.

Въ ночной темнотѣ обозначались какія-то черныя пятна, по-
93 я на скирды сѣна. Пятна эти стали выдѣляться все яснѣе

и яснѣе, и черезъ нѣсколько минутъ мы увидѣли передъ собой кабардинскій аулъ. Насъ встрѣтилъ страшный лай собакъ.

— Вотъ и до аула доѣхали!—сказалъ радостно Сидоръ.— Анзорово!

Стадо гусей, мирно дремавшихъ на дорогѣ, поспѣшно задвигалось въ сторону, заслыша наше приближеніе. Замелькали плетни огородовъ, плетневые загоны для скота и приземистыя длинныя мазанки. Съ разныхъ сторонъ послышался собачій лай, скоро превратившійся въ протяжный гулъ.

— И собачню же злую держать эти азіаты!—съ досадою сказалъ Сидоръ, отмахиваясь кнутомъ.— Надо бы здѣсь заночевать—сказалъ онъ.

Онъ сказалъ, что здѣсь есть одинъ кабардинецъ—большой кунакъ ¹⁾ Бурьяна. У него можно переночевать, а со свѣтомъ будемъ продолжать путь. Мы съ радостью приняли предложеніе. Сидоръ повезъ насъ по узкой дорожкѣ между плетней, подъ яростный лай собакъ. Вдругъ лошади сами заворотили къ плетневымъ воротамъ и стали какъ вкопанныя.

— Али Мурза, эй!—закричалъ Сидоръ такимъ зычнымъ голосомъ, что эхо далеко отозвалось за шиханами. Изъ ночной темноты выплылъ чей-то силуэтъ.

— Чево твоя кричить?—проговорилъ силуэтъ, приближаясь къ намъ.

— Это ты, Али?

— Алы! Алы!—издавалъ гортанные звуки силуэтъ.

— Здоровъ?—обратился Сидоръ съ обычнымъ на Кавказѣ привѣтствіемъ.

— А-а-а, Сидорка!—радостно воскликнулъ Али и отворилъ передъ нами скрипящія ворота. Мы въѣхали въ довольно обширный дворъ, по сторонамъ котораго видѣлись низенькія плетневые загородки для скота. На соломѣ посреди двора лежали коровы. Нѣсколько лошадей стояло у плетушки, шумя переворачиваемымъ сѣномъ и вкусно хрустя на зубахъ. Али ввелъ насъ въ отдѣльную мазанку—въ „кунацкую“ (предназначенную у горцевъ специально для пріема гостей)—и сталъ стелить намъ постели изъ буроковъ и овчинъ.

— Чай кушать ваша будетъ?—спросилъ Али, кончивши съ постелями.

Получивъ утвердительный отвѣтъ, Али вышелъ изъ кунацк. и за самоваромъ. Прошло минутъ десять въ ожиданіи. Наконецъ,

¹⁾ Другъ.

дверь растворяется, и Али показывается съ какимъ-то виноватымъ выраженіемъ на лицѣ.

— Что же самоваръ твой не тащить?—спросилъ Сидоръ, ломая языкъ для удобопонятности.

— Уд-д-ля нѣтъ! — кричитъ Али трагическимъ голосомъ и выдѣлывая не менѣе трагическіе жесты руками:—Уд-д-ля нѣтъ! кунчалъ вся! ей Богу право, кунчалъ вся!..

Тутъ онъ сказалъ еще словцо, несовсѣмъ удобное для печати и которое горцы употребляютъ, желая блеснуть знаніемъ русскаго языка. Въ завоеванномъ краѣ русское крѣпкое словцо привилось прочно. Привилось ли отъ русскихъ что лучшее — пока незамѣтно.

Мы завернулись шубами и скоро заснули богатырскимъ сномъ.

Насъ разбудилъ Сидоръ на разсвѣтѣ. Мы распрощались съ добрымъ Али и тронулись въ путь.

Горы приняли красивый темно-фіолетовый оттѣнокъ. По нимъ змѣнились черными полосами овраги и ущелья. Кое-гдѣ изъ ущелій поднимался туманъ, казавшійся намъ отсюда клочкомъ пуха. Солнце еще не было видно, но уже на высокихъ вершинахъ солнечный лучъ и ледники переливались разноцвѣтными огнями. Когда же изъ за горъ показался край солнца, мгновенно нѣжно-розовый свѣтъ разлился по горамъ.

— Вѣдь какая роскошная страна! — восхищался Василій Васильичъ. — Смотрите, противъ насъ на горахъ—точно башенка. Скала, вѣроятно. А возлѣ три зубца—словно три брата богатыря.

— Можетъ быть, это были на самомъ дѣлѣ три брата богатыря,—фантазировалъ онъ:—но они прогнѣвили Аллаха, и вотъ вмѣсто нихъ три обелиска говорятъ путнику о гнѣвѣ неба.

Чистый кристальный воздухъ, слегка морозный, дѣйствовалъ возбуждающе. Мой спутникъ все время безъ умолку болталъ и смѣялся. По мѣрѣ приближенія въ горы я погружался въ размышленія о своей будущей жизни въ колоніи. Я вѣдь окончательно порывалъ съ прошлымъ. Оно оставалось позади съ каждымъ шагомъ, пройденнымъ лошадьми; съ каждымъ шагомъ я приближался къ новой жизни на совершенно иныхъ началахъ, къ пройденной жизни, къ встрѣчѣ съ новыми хорошими людьми. И сердце учащеннѣе билось, чувствовался приливъ радости и восторгъ передъ этимъ новымъ, доселѣ неизвѣданнымъ близкимъ...

часа черезъ полтора мы уже подѣзжали къ колоніи,

которая красиво выглядывала изъ-за лѣса красными черепичатыми крышами.

II.

Колонія представляла собою нѣсколько уютныхъ домиковъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга небольшими фруктовыми садами. Громадные дубы-одиначки величественно поднимались надъ домами, широко раскинувъ свои лапы. Подъ овнами цвѣли кусты розъ и георгинъ, споря за первенство съ обступившей мрачной крапивою и жирнымъ, самодовольно улыбающимся лопухомъ. Заслыша нашъ экипажъ, неимоверно грохотавшій по камнямъ, изъ одного дома вышелъ какой-то человѣкъ лѣтъ сорока, въ простой рубахѣ безъ пояса и въ кавказскихъ чукякахъ на босу ногу.

— Куда Богъ несетъ?—спросилъ онъ, радушно улыбаясь.

Мы сказали.

— Такъ, пожалуйста, остановитесь у меня.

И онъ сталъ вынимать засовы изъ воротъ. Мы въѣхали въ заросшій травкою дворъ и остановились передъ крыльцомъ дома. Я вынесъ изъ экипажа вещи и простился съ Василиемъ Васильичемъ, который поѣхалъ въ домъ своего племянника. Человѣкъ безъ пояса былъ князь Георгій Александровичъ Дадіани. Онъ ввелъ меня въ чистую и довольно свѣтлую комнату съ простымъ некрашеннымъ столомъ и такими же табуретами. Въ углу стоялъ небольшой столярный верстакъ. Въ другомъ углу размѣстились русская печь и плита, на которой шипѣли кастрюли. Молодая женщина въ красномъ сарафанѣ, повязанная ситцевымъ платкомъ, вся покраснѣвшая отъ жара, стояла у плиты и силилась снять дымящую кастрюлю. Справившись съ кастрюлей, она смущенно проговорила какъ-бы про себя:

— Опять это противное молоко пригорѣло!

— Это моя жена,—сказалъ Г. А.,—Надежда Яковлевна.

Минутъ черезъ десять мы уже сидѣли вокругъ самовара. На столѣ были разставлены простыя глиняныя кружки, и Надежда Яковлевна наливала въ нихъ кофе, приготовленный изъ дубовыхъ желудей.

— Кофе своихъ плантацій,—пояснилъ, улыбаясь, Г. А.

Обильно заправленный молокомъ, этотъ напитокъ показался мнѣ очень вкуснымъ.

— Вы кто же будете?—спросилъ меня Г. А.

— Георгій!—строго произнесла жена:—какъ тебѣ не стыдно!

И улыбаясь, она обратилась ко мнѣ:

— Вы не смущайтесь, онъ у насъ всѣ приличія забылъ!

— А какъ же?—сказалъ Г. А.:—какъ же знакомиться иначе? Ужель по вашему, по-институтски? Чтѣ интересно тебѣ, то и нужно говорить прямо безъ подходовъ.

Создавались новыя формы жизни, и новшество проглядывало даже въ манерѣ знакомства съ незнакомыми людьми.

— Да, — сказалъ я, — мнѣ тоже нравится такъ. Я былъ раньше учителемъ. Такъ сказать, „просвѣщалъ массу“.

И я разсказать кратко свою біографію.

— А вы кто?—спросилъ я, очень довольный въ душѣ приятнымъ методомъ опрашиванія.—Въ свою очередь разскажите о себѣ.

— А я военный, — сказалъ Г. А.: — служилъ въ славномъ 1-мъ войскѣ и вышелъ въ отставку въ чинѣ подполковника.

— Что же дальше не служили?—спросилъ я.

— Да такъ, не пришлось. Очень ужъ душа захотѣла свободы. Да и чтѣ собственно дѣлать въ войскѣ человѣку, который началъ критически относиться къ жизни? Не могъ же я, залившись изученіемъ евангелія, продолжать военную карьеру? И вотъ нашлись товарищи по мыслямъ, и мы поселились здѣсь.

— Хорошо здѣсь!—говорилъ онъ, расхаживая по комнатѣ: —привольно! свободно! И жизнь дешева. Не нужно тратиться и на женины наряды. Сшилъ сарафанъ—и не проси больше!

— Когда я тебя обременяла нарядами, Георгій? — шутливо замѣтила жена.—Зачѣмъ ты все клеветешь?

— Нашъ Лескенъ ¹⁾—продолжалъ Дадіани—все можетъ дать человѣку, чтѣ нужно для жизни: и оздоравлиющій трудъ, и чистый воздухъ, и здоровую пищу. А согласитесь—вѣдь все это и есть самыя главныя условія жизни. Дѣти мои стали такими крѣпышами... Съ переездомъ сюда всѣ мы ощущаемъ избытокъ энергіи и здоровья. А тамъ, въ „міру“, врачи меня уже было приговорили къ смерти: нашли было какой-то гидро-пневмо-перикардитъ!

— Слава Богу, что пришлось таки наконецъ оставить „міръ“ — продолжалъ Г. А.—Пакость тамъ одна, пакость!

— Вотъ отъ той же пакости и мнѣ хотѣлось бы уйти сю, — сказалъ я.

— Конечно, надо уходить скорѣе, пока еще не омертвѣла ду! — сказалъ Дадіани.—Здѣсь продается одинъ участокъ съ

¹⁾ Такъ называлась колонія по имени протекавшей возлѣ горной рѣчки.

домомъ, вотъ и покупайте! Хозяинъ этого участка задумалъ бѣжать на легкіе хлѣба.

Я отвѣтилъ, что хотѣлъ бы предварительно пожить въ колоніи лѣто въ качествѣ работника и ознакомиться такимъ образомъ поближе съ обитателями колоніи и условіями жизни. Г. А. предложилъ мнѣ прожить лѣто у него, и я согласился.

— Только на пищѣ не осудите, — сказалъ онъ, боишно разводя руками: — деликатесовъ нѣтъ!

Спустя немного, къ намъ подошли двое изъ сосѣдняго дома. Одного звали Михалъ Михалычъ. Онъ былъ въ осетинской войлочной шляпѣ и босикомъ. Другой — Петро — пришелъ только-что съ пашни, гдѣ допыхивалъ полосу, былъ въ крестьянскихъ сапогахъ и холщевой рубахѣ, подпоясанной ремнемъ.

Черезъ минуту полилась у насъ непринужденная бесѣда, шутки, смѣхъ, точно вѣкъ были знакомы. Но было время рабчее, прохлаждаться некогда. И всѣ стали расходиться по работамъ. Главная работа была прополка кукурузныхъ полей. Я пошелъ осматривать владѣнія колоніи. Въ чичероне вызвался Михалъ Михалычъ, тотъ самый, что задумалъ уходить изъ поселка „обратно“ и поэтому ничего не дѣлалъ. Мы подошли къ кукурузному полю.

— Здѣсь у насъ благодать! — сказалъ Михалъ Михалычъ и указалъ на группу полольщиковъ. Они всѣ были босикомъ и въ рубахахъ съ разстегнутыми воротами.

— Одежда требуется самая минимальная, а ходить въ сухую погоду всегда въ родителевыхъ сапогахъ.

— Какъ въ родителевыхъ? — спросилъ я.

— Ну, то-есть, попросту говоря, босикомъ.

— Да, здѣсь благодать! — отозвался, не прерывая работы, Владиміръ, высокій, сухой, съ черной бородой чуть не по поясъ: — совсѣмъ не надо работать — сытъ будешь.

Онъ пріостановился и, опершись на тяпку (родъ мотыги), шутиливо разсказалъ, какъ Михалъ Михалычъ, увлекшись идеей добыванія хлѣба „безъ поталица“, ничего нынѣшнимъ лѣтомъ не посѣялъ, а когда пищевые запасы подобрались, пошелъ искать въ заросшемъ бурьяномъ огородѣ, нельзя ли чѣмъ поживиться, и въ удивленію своему нашелъ множество кустовъ картошки-самосѣйки.

— Теперь Михалъ вонъ какъ отѣлся съ даровой-то картошки! — сказалъ въ заключеніе Владиміръ, и принялся продолжать полеу. Всѣ расхохотались, не исключая и самого Михалъ-Михалыча.

Мы пошли дальше.

— Зачѣмъ вы бѣжите отсюда?—спросилъ я своего спутника.

— Какъ вамъ сказать?.. Смѣна мыслей: когда я былъ увѣжденъ, что картошкой единой живѣть будетъ человѣкъ, я сидѣлъ здѣсь и всю мощь своей души клалъ на культуру сего полезнаго „мака“. Но теперь я думаю, что человѣку одной картошки мало, и я бѣгу, презрѣвъ всѣ эти насмѣшки и улыбочки правобѣрныхъ толстовцевъ.

По пути я любовался живописной мѣстностью. Колонія расположена между двумя высокими шиханами (горами), покрытыми роскошнымъ буковымъ лѣсомъ. Съ юга надвигался Кавказскій хребетъ, захватывая собой чуть не полнеба. Снѣговья вершины ослѣпительно сіяли своей бѣлизной. По крутому спуску мы сошли на берегъ Лескена, быстро бѣгущей горной рѣчки. Какія-то рыбы стрѣлой замелькали по ямамъ.

— Это форель!—сказалъ Михалъ Михалычъ:—ея здѣсь пропасть.

— Почему же вы ее не ловите?—спросилъ я.

— Не позволяетъ вѣра, — сказалъ онъ: — мы вѣдь вегетарианцы. Казаки иногда пріѣзжаютъ къ намъ ловить. Достаютъ много. Отвозятъ въ Пятигорскъ. За форель тамъ большія деньги получаютъ: отъ двадцати до пятидесяти рублей за сотню.

— А вотъ это у насъ баня, — сказалъ онъ, указывая на постройку съ соломенной крышей: — мы вѣдь „рассейскіе“ и любимъ попариться. Да и осетины во вкусъ вошли: какъ суббота, нерѣдко пріѣзжаютъ.

Я подивился остроумному водоснабженію. Баня размѣстилась подъ самымъ спускомъ, изъ котораго выбѣгаетъ ключъ. И вотъ, когда нужно моющимъ достать холодной воды, изнутри выдвигается жолобъ подъ ключъ. Вода падаетъ на жолобъ и бѣжитъ въ баню. Легкимъ отодвиганіемъ жолоба къ себѣ притокъ воды прекращается, и она падаетъ опять на землю. Если принять во вниманіе, что каждый разъ требуется воды только для однихъ котловъ ведеръ тридцать, то описанная колонистская выдумка должна считаться весьма удачною. Потомъ поднялись мы снова наверхъ и пошли обозрѣвать луга.

Хотя лѣто только начиналось, но трава была высока настолько, уже можно было начинать косить. Ждали только установиться вѣдра.

— Теперь наши покосы узнать нельзя, — восторгался Михалъ Михалычъ: — лугъ облагородился благодаря намъ. До прихода все это пространство представляло сплошь почти

болото, поросшее осокой и мятой. Заболоченіе происходило оттого, что на наши луга выбѣгаетъ изъ снѣговыхъ горъ ручей. До насъ онъ не имѣлъ опредѣленнаго русла и разливался по всему лугу. Первымъ нашимъ дѣломъ было ввести шальной ручей въ русло. Лугъ осушился, и годъ отъ года трава становится все лучше и разнообразнѣе. Вотъ денегъ нѣтъ, а то бы нужно подсѣять нѣкоторыхъ травъ.

— Вотъ, посмотрите, какъ мы его обуздали!—сказалъ онъ, немного пройдя впередъ. На всемъ луговомъ пространствѣ, сколько могъ видѣть глазъ, была вырыта ровная какъ стрѣла канава, по которой стремглавъ несли мутный ручей, бурля и елобоча, словно выражая ропотъ на человѣка, властно подчинившаго его себѣ.

— По шнуру провели мерзавца!—сѣялся Михалъ Михалычъ.

Прошли на выгонъ, на которомъ пасся колонистскій скотъ. Мальчикъ-осетинъ сидѣлъ подъ тѣнью орѣшника и сосредоточенно выдѣлывалъ что-то перочиннымъ ножикомъ изъ дерева. Невдалекѣ отъ него паслось десятка два лошадей и коровъ. Пастбище было роскошное и скотъ не сѣдалъ всей травы, а только топталъ, выбирая самую лучшую молодую траву. Мнѣ бросился въ глаза жалкій видъ стада. Лошади еще были сносныя, но коровы! Маленькія, на высокихъ ногахъ, съ выменемъ покрытымъ густой шерстью, онѣ характеризовали собой далеко не молочную породу.

— Это мѣстная горская порода, — сказалъ Михалъ Михалычъ. Я покачалъ головой.

— Гдѣ же все сразу? — сказалъ онъ въ отвѣтъ на мой жестъ. — Вѣдь вы подумайте, мы только-что покончили съ постройками и посадкой садовъ. Потомъ все будетъ. У колоніи есть проектъ купить нѣсколько породистыхъ коровъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ. Въ нѣсколько лѣтъ въ нашей колоніи создастся особая порода скота — „голландско-кавказская“.

— Да, — продолжалъ Михалъ Михалычъ: — нехватки все, а то развѣ столько бы нашей колоніи держать надо скота: и четвертой доли не имѣемъ того, сколько нужно, чтобы вполне использовать наши роскошныя пастбища!

— Вотъ вы такъ, повидимому, любите и знаете хозяйство — сказалъ я, — почему же вы хотите бѣжать отсюда? Вы вѣдь ужъ много сдѣлали затратъ здѣсь.

— Хочу на нѣкоторое время сдѣлать вылазку въ міръ, — сказалъ онъ, и легкая тѣнь пробѣжала по его лицу: — надо нѣмного службой поддѣрпнуть себя, а то совсѣмъ денегъ не стало.

На другой день я сбросилъ съ себя свое „вавилонское“ платье и одѣлся въ простую одежду, а черезъ день сбросилъ сапоги и сталъ ходить босикомъ.

— Это самая здоровая обувь, — шутилъ Георгій, — и не дорогая.

Дѣйствительно, было пріятно ходить босикомъ по раскаленной солнечными лучами дорогѣ, шлепать по грязи и перескакивать съ камня на камень на берегу Лескена, куда мы приходили въ послѣобѣденный часъ купаться. Чувствовалось каждую минуту, что нога крѣпла на свободѣ и жила новой жизнью, вырвавшись изъ тѣсной, душной тюрьмы, которая зовется обувью. И это оздоровленіе сообщалось всему тѣлу. За нѣсколько копѣекъ я купилъ войлочную осетинскую шляпу и сталъ въ ней щеголять. Шляпу эту я считаю самымъ совершеннымъ покровомъ для головы. Она легка, имѣетъ очень подвижныя поля, благодаря чему ихъ можно переворачивать на всѣ лады сообразно времени дня: въ полуденные палящіе лучи поля совсѣмъ опускаются внизъ и лицо находится какъ бы подъ зонтомъ; можно отогнуть поля спереди — тогда шляпа имѣетъ видъ фуражки съ козырькомъ, и т. д. Я радовался, что приобрѣлъ такой несложный и дешевый костюмъ, и мысленно жалѣлъ горожанъ, которымъ надо зарабатывать разными путями уйму денегъ, чтобы не отстать отъ людей и имѣть возможность, выходя на улицу, навѣшать на себя чуть не пудъ разнаго ненужнаго тряпья, галстуковъ, манжетъ, пиджаковъ, навидокъ.

Вставать приходилось вѣстѣ съ Георгіемъ Александровичемъ очень рано — часа за полтора до восхода солнца — и сразу же приниматься за работу. Съ непривычки было немножко натужно, но желаніе не отстать отъ „хозяйина“ и зарекомендовать себя передъ колоніей могущимъ работать брало верхъ. Скоро раннее вставанье вошло въ привычку и ужъ встать до солнца не стоило труда. Вставши, Георгій рубилъ дрова для кухни, выгонялъ скотъ на пастбище. Я ходилъ къ ключамъ за водой, косилъ по росѣ фуражъ для лошадей (въ полдень былъ сильный оводъ и скотъ пригоняли часа на два, на три домой). Покончивши съ мелкими работами, мы отправлялись полоть кукурузу. Къ этому времени оставалъ старшій сынъ Георгія — Володя, здоровый, цвѣтущій мальчикъ лѣтъ тринадцати.

Пололи особыми легкими мотыгами-сапками или тяпками, какъ зывали чаще. Когда тяпка хорошо отточена, работа идетъ лгко и быстро. Но почва изобиловала камнями, и тяпки наши приходилось то-и-дѣло оттачивать. Несмотря на несложность боты сапой, она все же требовала порядочнаго навыка, чтобы

поспѣвать за товарищами. На первыхъ порахъ я никакъ не могъ поспѣвать за ними, какъ ни старался я выказать свою работоспособность. А къ концу дня чувствовалась боль въ спинѣ и ломило руки. Трудно было на первыхъ порахъ освоиться и съ прорѣживаньемъ кукурузы (попутная работа при сапаньѣ). Мнѣ все казалось безумствомъ срубать тяпкой роскошные стебли, и я оставлялъ ихъ нетронутыми, давая поводъ къ остротамъ Георгія, который возвращался поправлять мои „грѣхи“.

До завтрака мы работали часа два, пока съ холмовъ, гдѣ стояли дома, не раздавался серебряный голосокъ дочурки Георгія, девятилѣтней Лены, призывающей завтракать. Утомленные, мы садились молча за столъ, на которомъ Надежда Яковлевна устанавливала нехитрые яства.

Завтракъ былъ крайне простой, большею частью изъ одного блюда—варенный картофель съ хлѣбомъ или какая-нибудь каша. Иногда же эти блюда замѣнялись нѣсколькими кружками желудевого кофе съ молокомъ и хлѣбомъ. Но, несмотря на неизысканность пищи, она вполне поддерживала наши силы даже въ самой напряженной работѣ, а веселое расположеніе духа замѣчалось болѣе чѣмъ гдѣ-либо.

За завтракомъ заводили разговоръ большею частью о текущихъ дѣлахъ, о вѣроятной погодѣ на завтрашній день. Иногда Георгій доставалъ съ полки книжку и читалъ вслухъ заинтересовавшія его мѣста.

Потомъ шли опять въ кукурузу и работали до часу. Опять на холмѣ показывалась Лена и слышался ея голосокъ, тоненькій, точно комаринный дискантъ: „а-а-абѣда-ать!“ И пріятное сознаніе близкаго отдыха наполняло душу; усталое тѣло радо было послѣ напряженной работы побыть часъ-другой въ абсолютномъ бездѣйствіи. Это въ высшей степени радостное состояніе знакомо, вѣроятно, всѣмъ рабочимъ людямъ; оно вполне естественно, но въ колоніи всѣ считали чуть не доблестью не показывать его передъ своими товарищами.

За обѣдомъ подавалось обыкновенно два блюда: борщъ или картофельный супъ; на второе—каша изъ варенаго картофеля, слегка приправленная подсолнечнымъ масломъ. Въ нѣкоторые дни подавались вмѣсто каши вареники изъ творогу. Изрѣдка готовился компотъ изъ набранныхъ въ лѣсу грушъ и яблокъ, но это кушанье требовало большого расхода на сахаръ и потому появлялось только по праздникамъ. Само собою разумѣется что всѣ были строгіе вегетаріанцы, и мяса во всей колоніи, какъ говорится, и въ поминѣ не было.

Послѣ обѣда кто уходилъ на часокъ поспать, зарывшись въ душистомъ снѣгъ въ сараѣ; кто—повидаться съ товарищами другихъ домовъ; кто писалъ письма или садился за чтеніе ¹⁾).

Много, однако, нельзя было удѣлять времени на отдыхъ. Полка требовала быстрой работы, такъ какъ отъ несвоевременнаго сачанья сорняки травы скоро осиливаютъ культурные всходы и можно въ концѣ концовъ лишиться половины урожая. И мы, подправивъ наскоро на точилѣ мотыги, поспѣшно удалялись на поле.

Возвращались домой—уже темно. Наскоро поужинавъ, мы ложились спать и черезъ минуту засыпали какъ убитые. На другой день опять то же, и дни за днями незамѣтно пролетали, похожіе другъ на друга, какъ братья-близнецы. Всѣ зарабатывались до того, что по недѣлѣ не видались со своими сосѣдями, да и не было желанія: у всѣхъ стояла неотвязно одна забота—какъ бы поскорѣй освободить поля кукурузы отъ сорныхъ травъ, которыя здѣсь, благодаря кавказскому дождливому лѣту, имѣютъ какой-то особенный форсированный ростъ. Эта ожесточенная война съ сорняками травами измучивала насъ, и мы, разбитые, съ нестерпимой болью въ спинѣ, думали только о снѣ. Бросившись въ постель и спишь какъ убитый, съ тѣмъ, чтобы съ зарею проснуться и, схвативъ сапку, бѣжать въ кукурузу, продолжать нещадную борьбу съ „дикими племенами“ земледѣльческой культуры—осотомъ, пыреемъ, крапивой.

— Вотъ теперь знаешь, Антонъ, что значить „въ потѣ лица будешь ѣсть хлѣбъ твой“,—сказалъ мнѣ Георгій, когда я однажды, разгибая спину, вскрикнулъ отъ боли.

— Вотъ всѣмъ бы надо выполнять такъ Божій законъ,—продолжалъ онъ:—конечно, было бы меньше тяготы трудовымъ классамъ, когда бы въ жизнь не вторглись еще законы людскіе. Ну, а теперь божескій-то законъ и трудненько выполнять.

— Какіе же это людскіе законы?—спросилъ я.

— Ихъ много,—отвѣчалъ Георгій,—и все одинъ другого безстыднѣе. Вотъ хоть бы взять тотъ законъ, по которому громадная масса людей сдѣлала свою жизнь однимъ сплошнымъ праздникомъ, предоставивъ весь трудъ жизни нести другимъ.

¹⁾ Въ періодъ напряженныхъ физическихъ работъ читать сознательно долѣе чѣмъ нѣсколькихъ минутъ почти невозможно. Это не мѣшало бы помнить тѣмъ печальнымъ народомъ, которые недоумѣваютъ, почему простой народъ, несмотря на развитіе грамотности, почти совсѣмъ ничего не читаетъ. Создайте для трудовыхъ классовъ я условія, при которыхъ онъ не работалъ бы до переутомленія, дайте ему больше „а, дайте забиться отъ хлѣбнаго ига, и тогда онъ будетъ читать ваши умныя книги.

Вотъ оттого-то у тебя и болитъ спина, Антонъ! Не будь этого безбожнаго закона, для жизни одной семьи потребовалось бы заработать не болѣе гривенника на день. А теперь надо столько работать, чтобы приготовить продукта никакъ не меньше рубля.

— Отчего это, Платонъ?

Георгій посмотрѣлъ на меня веселыми глазами. Такъ учитель глядитъ на ученика, когда на очередь предстоитъ рѣшить сложную по виду задачу и въ сущности очень простую.

— Да все оттого,—продолжалъ Георгій наставительнымъ тономъ,—все оттого, что при настоящемъ положеніи вещей трудовому люду надо зарабатывать на себя, да еще и на празднество господствующихъ классовъ.

Сосѣдняя семья, располагавшая большимъ количествомъ рабочей силы, окончила прополку кукурузы раньше насъ, и какъ окончила, въ ту же минуту съ побѣдоносными криками молодежи на радостяхъ отправилась купаться. Намъ же еще оставалось полоть дня два. Кромѣ этого, выступали снова „дикія племена“ въ огородѣ. Не безъ зависти поглядывали мы на стройное полчище сосѣдской кукурузы, выдѣлявшейся правильными рядами на разбитой мотыгами черной землѣ, и еще съ большимъ остервенѣніемъ взмахивали мы тѣпами на обступившія полчища зеленой „нечистой силы“. Глядимъ—къ намъ подходитъ дѣлая гурьба народа. Это сосѣдняя семья пришла помочь намъ. Смѣхъ, шумъ. Кто-то затянулъ пѣсню. Работа закипѣла. Къ вечеру и наше поле приняло красивый видъ. Кукурузные стебли казались теперь значительно выше и горделиво смотрѣли въ небо, освобожденные отъ бурьяна. А на землѣ валялась безжизненной массой выполотая трава.

Въ первое же воскресенье, желая ознаменовать окончаніе работы, жители поселка собрались на общій чай. Расположились на дворѣ, въ тѣни большого дуба. Но собирались на пиръ не сразу. У каждого были какія-нибудь задержки по дому. Ведерный самоваръ шипѣлъ въ ожиданіи, выбрасывая клубы пара и, казалось, выражалъ досаду, что его заставляютъ такъ долго ждать. Наконецъ, вышла старшая дочь Владиміра, ближайшаго сосѣда Георгія. Она несла аршинный подносъ съ какимъ-то незамысловатымъ печеньемъ изъ сѣраго пшеничнаго тѣста, оказавшимся очень вкуснымъ, какъ и все, впрочемъ, на Лескенѣ. Пиршество было задумано на „артельныхъ началахъ“, и каждому предоставлялось принимать участіе отъ щедротъ своихъ. Въ одномъ дому много доило коровъ, и оттуда принесли молока и масла. Одна принесла лепту въ видѣ пирога съ поджаренной капустой. На-

конецъ, всѣ были въ сборѣ. Какъ и всюду на многочисленныхъ собраніяхъ, первое время чувствовалось какъ-то неловко (въ особенности мнѣ, еще не успѣвшему близко сойтись съ нѣкоторыми). Только дѣти вели себя свободно, дурачились, визжали, спасаясь отъ преслѣдованій разыгравшейся собаки, продѣлывали на суку дуба самыя рискованныя гимнастическія штуки. Мало-по-малу у взрослыхъ начала завязываться бесѣда. Какъ-то сама собой зашла рѣчь о современной литературѣ, откуда перешли на вѣстителей думъ, Льва Николаевича. Кто-то замѣтилъ, что у Толстого нѣтъ преемника и всѣ согласились съ фактомъ бѣдности литературы послѣднихъ двадцати лѣтъ. Перешли на Чехова и на другого корифея, Горькаго. Назвали типы его дѣланьями. Кто-то отмѣтилъ вредное направленіе въ литературѣ, съ легкой руки Горькаго—идеализированье босачества. И всѣ дружно разсмѣялись, когда одинъ серьезно замѣтилъ, что настоящее собраніе представляетъ собой живую галерею литературныхъ типовъ Горькаго.

— Вотъ еще босачка идетъ!—сказалъ онъ, встрѣчая подхлывшую Ольгу Васильевну, жену врача. И всѣ дружно засмѣялись. Смѣялась и сама Ольга Васильевна. „Смѣхъ—показатель доброты“, припомнился мнѣ чей-то афоризмъ, когда я глядѣлъ на эти добрыя, веселыя лица. Демонъ смѣха не покидалъ собранія. Смѣялись надо всѣмъ часто по самой маловажной причинѣ. Было очень смѣшно, когда одинъ изъ насъ взялъ кусокъ пирога, и начинка вся высыпалась на столъ. Говорятъ, смѣхъ излечиваетъ душевныя муки. Я, по крайней мѣрѣ, долго послѣ этого былъ въ самомъ жизнерадостномъ настроеніи.

Пока они сидятъ и благодушествуютъ и не дошли еще до „принципіальныхъ“ разговоровъ, я попрошу позволенія у читателя познакомить его поближе съ членами колоніи.

III.

Весь поселокъ состоялъ изъ восьми домовъ. Самая большая семья по числу рабочихъ силъ была у Владиміра. Кромѣ него самого и жены, работавшей по кухнѣ, у него былъ сынъ лѣтъ 14-ти, два, и двѣ дочери, 12 и 15-ти лѣтъ. Всѣ трое могли работать равнѣ съ взрослыми. Благодаря здоровому физическому труду, достаточно выносливы и казались значительно старше своихъ лѣтъ. Вторая дочь въ большихъ работахъ, какъ, напр., косовицѣ, стѣя не принимала еще. Ей только-что купили небольшую

садовую косу, чтобы приучалась косить; она завѣдывала двумя неменѣе важными отдѣлами—цехами, какъ въ шутку называлъ Владиміръ: коровьимъ и птичьимъ. Она доила коровъ (вмѣстѣ съ старшей сестрой) и гоняла по зимамъ скотъ на водопой. На ней одной лежала обязанность ухода за курами, которыхъ къ осени скапливалось штукъ до полутораста. Изъ дня въ день она вела журналъ носки яицъ и производила по нему сознательный отборъ особенно носкихъ куръ. Куры, давшіе наименьшее количество яицъ, осенью сбывались на базаръ. Третьей дочери, Манѣ, было всего семь лѣтъ. Какъ Некрасовская Матрена, она была выведена изъ младенчества „по пятому году“ и давно уже принимала участіе въ тяготахъ жизни сообразно своимъ силамъ: носила обѣдъ пастуху, запасала въ домъ растопку, помогала матери чистить картошку. Такъ дѣти постепенно подходили къ суровой трудовой школѣ.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, къ Владиміру пріѣхали работать два его старыхъ знакомыхъ и такъ и остались у него навсегда. Они были довольны своимъ положеніемъ и лучшаго ничего не искали. Въ семьѣ Владиміра они считались своими. Дѣти ихъ любили и одного изъ нихъ называли не иначе какъ „дядей Петей“. Только другого, мрачнаго и непривѣтливаго, они звали холодно-почтительно—„Яковомъ Ивановичемъ“. Этотъ послѣдній былъ довольно необщительный, лѣтъ сорока человѣкъ, часто страдавшій ужасными мигренями. Разговаривалъ онъ мало и свободное время предпочиталъ употреблять на чтеніе книгъ, тѣмъ на живую бесѣду. Настоящимъ работникомъ онъ не могъ быть по своимъ недостаточнымъ силамъ, но все-же на его плечахъ выносилась обширная трудовая область—„по дому“: онъ рубилъ дрова, подвозилъ ихъ къ дому, носилъ воду, мѣсилъ хлѣбъ, помогалъ ухаживать за скотомъ. Прошое его было далеко не заурядное, но оно, можетъ быть, и наложило на его фигуру какія-то мрачныя черты угрюмости и замкнутости. Онъ учился когда-то въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, но былъ выключенъ за „исторію“. Послѣ этого онъ еще сильнѣе отдался „политикѣ“ и, будучи арестованъ, просидѣлъ съ полгода въ одиночномъ заключеніи. Изъ тюрьмы онъ пошелъ въ рабочіе и, наконецъ, пришелъ къ Владиміру. Къ этому времени образъ мыслей у него рѣзко измѣнился. Изъ яраго революціонера онъ превратился въ мирнаго послѣдователя толстовскихъ идей.

— Жаль,—говаривалъ въ бесѣдѣ съ нами Яковъ Ивановичъ,—моя молодость прошла въ увлеченіи живорѣзными ученіями! (Ученія эти безжизненны, потому что служатъ не сближенію)

людей, а наоборотъ, раздѣленію ихъ на два противоположныхъ лагеря, которые должны ненавидѣть другъ друга и вести неуспѣшную борьбу. Міръ спасетъ то ученіе, которое соединитъ людей и возстановитъ въ людскихъ сердцахъ огонь взаимной любви.

Несмотря на радикально измѣнившіеся взгляды, Яковъ долгое время считался подѣ полицейскимъ надзоромъ и раза два въ годъ въ нашу колонію пріѣзжалъ волостной писарь изъ близняго аула, — маленькое хитро-наивное существо, и съ выраженіемъ глубочайшей тайны отводилъ „хозяина“ въ другую комнату и что-то шепталъ ему.

— Отпиши, — говорилъ ему во всеуслышаніе Владиміръ: — Яковъ совершенно поумнѣлъ теперь: безпокоить никого не хочетъ, а занялся исключительно спасеніемъ своей души.

„Дядя Петя“ былъ прямая противоположность Якову: живой, веселый, общительный. Несмотря на то, что ему было уже подѣ тридцать, онъ былъ любимцемъ дѣтей и искренно могъ съ ними жить одними интересами. На взрослыхъ онъ производилъ очень выгодное впечатлѣніе, какъ добрый и въ высшей степени участливый человѣкъ. Когда онъ улыбался, то всякій могъ, не ошибаясь, сказать, что эта добрая улыбка — добрая вправду, и что обладатель ея не можетъ быть въ жизни актеромъ на благородныя роли, а дѣйствительно благородный человѣкъ, просвѣтленный высокими истинами евангелія. Рассказывали, что одинъ пріѣзжавшій въ колонію журналистъ, ярый противникъ толстовства, говорилъ потомъ въ бесѣдѣ съ кѣмъ-то: „Изъ всѣхъ такъ называемыхъ толстовцевъ — одинъ только Петръ можетъ назваться просвѣтленнымъ христіаниномъ, да и тотъ не по вниѣ Льва Николаевича, а скорѣе по своей счастливой духовной организаціи“. Одно водилось за нимъ нехорошее: это какая-то бурсацкая манера забрасывать въ спорахъ своего противника цѣлымъ потокомъ словъ, не слушая его доводовъ, и спорить поэтому съ нимъ нерѣдко воздерживались. Работникомъ онъ былъ на всѣ руки. Не было, кажется, такого дѣла, которое не было бы ему извѣстно и, какъ говорится, не „горѣло“ у него въ рукахъ. Въ хозяйствѣ онъ былъ первымъ пахаремъ, первымъ грядомъ.

За окончаніемъ полевыхъ работъ, приблизительно въ ноябрѣ, онъ начиналъ учить ребятъ своего поселка, которыхъ было въ немъ двѣнадцать.

Школа помѣщалась въ концѣ поселка, въ хатѣ, построенной имъ учителемъ. Родители были очень довольны Петромъ, какъ

педагогомъ, и искренно довѣряли ему своихъ дѣтей. „Я радуюсь, что судьба послала нашимъ дѣтямъ такого воспитателя, — какой онъ, право, милый и добрый человекъ!“ — не разъ говаривала жена Владимира — Ольга Федоровна, сама бывшая учительница. И нельзя было не радоваться, глядя на Петра среди дѣтей, на его беззаветно-преданное отношеніе къ дѣлу воспитанія. Уроки у него велись всегда живо и увлекательно. Дѣтьми овладѣвалъ такой энтузіазмъ, что учителю совсѣмъ не приходилось взывать къ прилежанію учениковъ. Напротивъ, по образному выраженію Петра, его школа просила возжей. И несмотря на короткій учебный годъ (въ зависимости отъ полевыхъ работъ — съ ноября и до марта, а то и ранѣе) Петръ успѣвалъ пройти основательно выработанный имъ курсъ.

На его долю выпала серьезная задача — создать новую школьную программу, ничего общаго не имѣвшую съ оффиціальными программами, такъ какъ въ колоніи можно было и не принимать министерскихъ циркуляровъ и указаній. Нѣкоторые предметы, какъ не дающіе ничего дѣтской душѣ, были Петромъ совсѣмъ изъяты изъ колонистской школы. Исторія была мѣстами дополнена, мѣстами сокращена. Упрощена была грамматика, буква „ять“ была изгнана совсѣмъ. Введены были нѣкоторые новые предметы, какъ, напр., физиологія. Основной задачей лескенской школы было сообщеніе своимъ питомцамъ такой суммы знаній и такого навыка въ способности мыслить, чтобы они, вступивши въ жизнь, могли по праву считаться образованными людьми и умѣли критически относиться какъ къ себѣ, такъ и къ окружающимъ.

Нѣкоторые, однако, находили, что для правильности постановки школьнаго дѣла одного Петра мало, какъ бы ни считали его идеальнымъ учителемъ, и что въ подмогу ему необходимо пригласить еще кого-нибудь изъ колонистовъ. По этому поводу нерѣдко собирались педагогическія конференціи, но ни къ какому положительному результату не могли придти. Тѣмъ не менѣе, налицо выходило, что если бы привлечь къ дѣлу воспитанія еще нѣсколькихъ жителей колоніи, то получился бы цѣлый университетъ. Такъ благопріятствовалъ этому составъ поселка!

Изъ женскаго персонала три были съ высшимъ педагогическимъ образованіемъ. Кромѣ нихъ, одна могла преподавать игру на роялѣ и французскій языкъ. Врачъ бралъ на себя предметы анатоміи, физиологіи и гігіены. Не обходилось при этомъ и безъ курьезовъ. Одинъ брался преподавать исторію, но рѣшительно не хотѣлъ преподавать ее по избитымъ руководствамъ въ родѣ

Иловайскаго, а только по своимъ запискамъ, причемъ каждая историческая эпоха должна была иллюстрироваться соответствующимъ художественнымъ произведеніемъ. Никакой учебникъ не можетъ такъ живо нарисовать извѣстный историческій моментъ, какъ художественный романъ талантливаго писателя. Такимъ образомъ, по его проекту, лексенскій профессоръ исторіи долженъ былъ прочесть со своими учениками, вмѣсто сухихъ учебниковъ, романы Эберса, Джованіоли („Спартакъ, предводитель гладиаторовъ“), хроники Шекспира, Пушкинскаго „Бориса Годунова“ и „Капитанскую дочку“, „Юрія Милославскаго“ — Загоскина, „Войну и миръ“ — Толстого, трагедію Алексѣя Толстого — „Царь Федоръ“ и т. д.

Но въ концѣ концовъ школа все-таки оставалась за Петромъ, который, не задаваясь слишкомъ широкими задачами, дѣлалъ свое дѣло обдуманно, умѣло, а главное, любилъ его и любилъ до безконечности дѣтей.

А тѣ отдѣлялись то недосугомъ, то отсутствіемъ необходимыхъ пособій, все собирались и подготавливались, пока учебный годъ, вынесенный на плечахъ одного Петра, не подходилъ къ концу.

Самъ Владиміръ происходилъ изъ помѣщиковъ Курской губерніи. Онъ рано увлекся идеей земледѣльческаго труда. Не доучившись, онъ пошелъ работать въ Батищево, въ Ангельгардту, и скоро настолько усвоилъ крестьянскія работы, что привелъ однажды въ смущеніе столичныхъ гостей, пріѣхавшихъ въ Батищево посмотреть на невиданныя зати Александръ Николаевича.

— Ну, вотъ, узнайте, который здѣсь интеллигентъ? — сказалъ имъ профессоръ, указывая на группу мужиковъ, косившихъ лугъ. Одинъ старичокъ-генералъ, особенно скептически относившійся къ работоспособности русскаго интеллигента, тщетно отыскивалъ „тонконогаго“ въ ряду косарей и, наконецъ, совсѣмъ растерялся. — „Не могу, Александръ Николаевичъ! каюсъ!“ — сознался генералъ. Ангельгардтъ пришелъ ему на помощь и указалъ на одного парня въ крестьянской войлочной шляпѣ и пестрядинной рубахѣ, единственнаго въ этой группѣ интеллигента. Это и былъ Владиміръ, тогда еще двадцатилѣтній юноша, только-что бросившій петербургскія науки и прибывшій къ батищевскому отцу-профессору поучиться иной наукѣ.

— Онъ и дуется водку не хуже мужика! — шутилъ Ангельгардтъ, трепля Владиміра по плечу. Петербуржцы долго разговаривали съ нимъ и на прощанье дали ему на водку нѣсколько рублей.

Черезъ нѣсколько лѣтъ мы видимъ Владимира уже семейнымъ человѣкомъ, но скоро разошедшимся съ женой по несоотвѣтствію принциповъ. Онъ ведетъ скитальческій образъ жизни по разнымъ интеллигентнымъ колоніямъ, которыхъ въ то время было немало на Руси. Между прочимъ, онъ нѣсколько разъ бывалъ у Л. Н. Толстого въ Ясной-Полянѣ. Принималъ дѣятельное участіе въ помощи голодающимъ крестьянамъ. Наконецъ, онъ переселился съ Петромъ и нѣкоторыми другими въ Закавказье и тамъ основалъ общину. Его жена пріѣхала къ нему жить и приняла, наконецъ, „толстовскую вѣру“, и съ тѣхъ поръ уже не покидаетъ простую крестьянскую жизнь.

Но общинѣ въ Закавказьѣ скоро пришлось распаться, главнымъ образомъ по случаю страшныхъ лихорадокъ, этого злѣйшаго бича закавказскаго поселенца. Познакомившись въ Тифлисѣ съ семьей Дадіани, они всѣ вмѣстѣ перевалили хребетъ, купили у какого-то узденя землю въ полтораста десятинъ и основали извѣстный уже намъ Лескенъ.

Рядомъ съ домомъ Владимира построился Георгій Дадіани. Онъ принадлежалъ къ потомкамъ владѣтельныхъ князей Грузинъ, служилъ въ военной службѣ, участвовалъ въ русско-турецкой войнѣ. Когда онъ былъ адъютантомъ у кавказскаго намѣстника, — кажется, кн. Барятинскаго, — у Георгія стало замѣчаться, по выраженію его сослуживцевъ, шатаніе въ мысляхъ. Это шатаніе возникло у него подъ вліяніемъ его друга, кн. Хилкова (племянника бывшаго министра). Хилковъ оставилъ самъ военную службу и поселился въ своемъ родовомъ имѣніи для трудовой земледѣльской жизни.

— Мое міросозерцаніе — рассказывалъ намъ Георгій — въ одно прекрасное утро вдругъ перевернулось какъ бы вверхъ ногами. Чтò еще недавно казалось хорошимъ и красивымъ, стало казаться безобразнымъ и гадкимъ; чтò же обыкновенно считалось плохимъ — вдругъ засвѣтилось въ моихъ глазахъ ореоломъ святости. Я впервые тогда узналъ, что босыя изъ ночлежнаго дома — это „тоже люди“, имѣющіе право наравнѣ съ богатыми на жизненное благополучіе. Удивляюсь я теперь, какъ это я раньше не зналъ такой простой истины, а сказать совѣстно — я не зналъ ее!

Въ женѣ своей, Надеждѣ Яковлевнѣ, онъ нашелъ убѣжденную приверженицу своихъ новыхъ идей, и такимъ образомъ ему было несравненно легче перейти отъ словъ къ дѣлу, чѣмъ, напр., Владимиру. У Георгія разлада съ семьей при переходѣ въ новую жизнь не было. Жена ему не была помѣхой.

Къ несчастію многихъ колонистовъ, жены ихъ долгое время не соглашались раздѣлять воззрѣнія своихъ мужей и играли въ домѣ роль какой-то непобѣдимой крѣпости язычества.

Зато Георгій встрѣтилъ энергическій отпоръ со стороны своей тещи, старой богатой генеральши, въ домѣ которой онъ жилъ съ своей семьей. Она никакъ не могла понять теорій своихъ дѣтокъ и всѣми силами старалась предохранить ихъ отъ дальнѣйшихъ безумствъ. Когда же ей пришлось убѣдиться, что ни Георгій, ни жена его и не думаютъ возвращаться на путь истинный, она попробовала прибѣгнуть къ одному рѣшительному средству. Она сказала, что будетъ ходатайствовать объ отнятіи у нихъ дѣтей. Передъ ея глазами стоялъ очень яркій прецедентъ.

Мать Хилкова долго мучилась тѣмъ, что доблестный родъ, идущій отъ Рюрика, пресѣкается на ея сынѣ. Сынъ сдѣлался мужикомъ и безъ ея согласія вступилъ въ бракъ съ какой-то неизвестной дѣвушкой. Ко всему этому не могло спокойно относиться княжеское старушечье сердце. Но болѣе всего, что дѣти этой женщины, все-же отпрыски княжескаго рода—не получаютъ надлежащаго воспитанія въ духѣ церковнаго ученія и дворянскихъ традицій, а растутъ мужиками въ обществѣ другихъ дѣтей изъ податнаго сословія. И вотъ у престарѣлой княгини созрѣваетъ замыселъ. Она рѣшила обратиться къ имп. Александру III съ просьбой отобрать у жены ея сына дѣтей и помѣстить ихъ подъ контроль бабушки. Разрѣшеніе скоро послѣдовало, и старуха при участіи полиціи отбираетъ у беззащитной женщины ея дѣтей и водворяетъ ихъ въ своихъ княжескихъ апартаментакъ для воспитанія въ страхѣ Божіемъ и дворянскихъ чувствахъ...

— Смотрите! — кричала старуха-генеральша своимъ „дѣткамъ“:—я съумѣю у васъ отобрать дѣтей, также какъ Хилкова мать!..

Но ей не пришлось привести свои замыслы въ исполненіе.

Однажды вечеромъ супруги Дадіани, взявъ съ собой дѣтей, поѣхали въ театръ и, по окончаніи спектакля, домой уже не вернулись. Словно канули въ воду! Говорили, что ихъ видѣли сѣвшими на ночной поѣздъ, но куда они поѣхали—никто не могъ сказать. Трудно вообразить себѣ, какъ была возмущена генеральша, правовѣрная исполнительница всѣхъ законовъ великодушнаго этикета. А по городу уже ходила стоустая молва, которая распространяла самыя невѣроятныя добавленія ко всему происшедшему. Генеральшу такъ это поразило, что она слегла въ постель. Но скоро, впрочемъ, оправилась и стала писать письма

во всѣ стороны, къ многочисленной сановной роднѣ и вліятельнымъ знакомымъ. Потомъ смирилась и простила. Узнавъ какимъ-то родомъ черезъ начальника края о мѣстожительствѣ своихъ дѣтокъ, она написала имъ длинное посланіе, въ которомъ считала все происшедшее испытаніемъ для себя Божьяго Промысла, „Его же пути неисповѣдимы“.

„Но я перенесла данное мнѣ испытаніе“—такъ, приблизительно, писала она въ письмѣ—„и отношусь теперь къ вамъ не съ чувствомъ злобы, но съ беззавѣтной любовью, какою за-вѣщаль платитъ обижающимъ насъ Единородный Сынъ Божій. Объ одномъ теперь прошу васъ—не оставляйте свою любящую мать въ тоскливомъ одиночествѣ старости и почаще шлите о себѣ вѣсточки“. Въ заключеніе просила написать, не нужно ли имъ чего послать,—напримѣръ, денегъ, припасовъ и т. д. Дадіани не замедлили отвѣтомъ. Сообщили ей о своихъ тихихъ радостяхъ земледѣльческой жизни, о томъ, съ кѣмъ они поселились, какой чудный уголокъ выбранъ ими подъ колонію. Но просили ничего не посылать, такъ какъ ни въ чемъ не нуждаются съ переходомъ на новый жизненный путь. Тѣмъ не менѣе, теща время отъ времени посылала имъ почтой цѣлые ящики съ разными лакомствами, начиная съ французскаго печенья къ чаю и кончая сардинами и омарами. „Хитрая старуха!“—говорилъ всякій разъ при полученіи посылокъ Георгій:—„всею этою пакостью она хочетъ развратить насъ!“—И онъ съ удивительной изобрѣтательностью придумывалъ способы использовать присылаемое, не нарушая своихъ этическихъ принциповъ. Омары выкидывались за окошко, гдѣ тотчасъ же расхватывались курами; изъ какао приготовлялась къ обѣду похлебка на молокѣ, заправленная хлѣбными крошками.

Способность Георгія къ физическому труду была изумительная. Несмотря на свои сорокъ лѣтъ, онъ скоро научился дѣлать всѣ крестьянскія работы. Онъ научился пахать, косить, метать стога и дѣлать все это не какъ любитель, а какъ настоящій крестьянинъ, впрягая себя въ тяжелую работу по 12—14 часовъ въ день!

Онъ научился также столярному ремеслу и всю мебель для своего дома сдѣлалъ собственными руками. Для домашняго обихода онъ могъ считаться сноснымъ сапожнымъ мастеромъ и всю семью „обшивалъ“ самъ. Обувь выходила, правда, по какому-то особому модному рисунку,—сапоги, напримѣръ, были съ безобразно тупыми носками, но зато было прочно и не нужно было обращаться на сторону и тратить деньги, которыхъ въ колоніи имѣлось лишь на самое необходимое.

Его жена Надежда Яковлевна одѣвалась въ простой крестьянскій сарафанъ и повязывалась въ ситцевый платокъ. Она сама исполняла всѣ домашнія работы: готовила обѣдъ, стирала бѣлье, доила коровъ. Сынъ лѣтъ тринадцати, Володя, ходилъ работать вмѣстѣ съ отцомъ; восьмилѣтняя Лена помогала матери по дому.

Эти двѣ семьи Владиміра и Георгія были, такъ сказать, основой поселка, выполняя неотступно предлагаемую Толстымъ программу. Они жили исключительно своимъ трудомъ, не прибѣгая почти совсѣмъ къ постороннимъ ресурсамъ. Они сократили до минимума свои потребности и порвали всякую связь съ городомъ. Остальные дома были въ „малодушіи“, какъ выразился жившій въ поселкѣ крестьянинъ Афонасъ. Встрѣчалась нужда въ деньгахъ, и эти малодушные тотчасъ старались убѣжать изъ колоніи на заработки, оставляя въ поселкѣ свою семью. Такъ, въ мой пріѣздъ, двое гражданъ Лескена находились на заработкахъ въ отхожихъ промыслахъ: племянникъ Василія Васильича, съ которымъ читатель познакомился въ первой главѣ,—докторъ Р., нашедшій временную службу гдѣ-то въ Кубанской области, и П., служившій на желѣзной дорогѣ. Оба они и ихъ жены когда-то страстно увлекались общинными идеалами и основывали колоніи въ средней Россіи, но подъ вліяніемъ разныхъ житейскихъ обстоятельствъ нѣсколько поохладилась, и если приобрѣли теперь земельные пай на Лескенѣ, то главнымъ образомъ по настоянію женъ, сами же пріѣзжали въ колонію на короткое время, чтобы повидаться съ семьей и отдохнуть немного отъ служебной тягости.

Жилъ еще въ колоніи Михалъ Михалычъ, о которомъ читатели уже знаютъ кое-что изъ предыдущей главы. Былъ онъ недавно казачьимъ офицеромъ, но, какъ и Дадіани, „помутился въ мысляхъ“ и, заслыша о возникновеніи колоніи, подалъ въ отставку и поселился здѣсь. Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ 27, съ серьезными взглядами на жизнь, но такъ какъ-то сложились обстоятельства, что ему пришлось прожить въ колоніи немного. Только-что окончивши постройку дома, только-что посадивъ садъ, его уже потянуло изъ колоніи обратно. Къ моему пріѣзду въ Лескенѣ его держала только его собственность. Я имѣлъ въ ту освободить его отъ Лескена, купивъ его участокъ со всѣмъ хозяйствомъ. Домъ Михалъ-Михалыча былъ выкрашенъ голубую краску и представлялъ собой миленькую идиллическую хижину, но для жизни она была мало удобна, такъ какъ ютлеръ ея руководился не столько хозяйственными соображеніями, сколько эстетикой. Комнаты были маленькія, едва удобныя

для помѣщенія семьи, но зато въ окнахъ были дорогія бемскія стекла. Не было русской печи для печенія хлѣбовъ, но была искусно сдѣланная спеціально привезеннымъ мастеромъ-нѣмцемъ „духовка“ для приготовленія разныхъ печеній къ чаю. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ этого голубого домика (на слѣдующее лѣто я сдѣлался обладателемъ его) стояла простая крестьянская хата съ низко нахлобученной мохнатой соломенной крышей. По постройкѣ можно было догадаться, что тутъ живетъ не нарядившійся мужикомъ „пановъ“, а настоящій бѣднякъ-крестьянинъ, которому „не до жиру—быть бы живу“. Его некрасивая, сбитая изъ глины хата какъ-то сурово насупилась, глядя небольшими подслѣповатыми глазами-окошкками на своихъ франтоватыхъ сосѣдей. Тутъ жилъ дѣйствительно настоящій мужикъ изъ Кіевской губерніи, Афонасъ. Интеллигенты пріютили его въ поселкѣ, помогли ему купить шесть десятинъ земли, купили ему въ складчину корову, и онъ сталъ жить здѣсь съ престарѣлой матерью и двумя малолѣтними сыновьями, питаясь картошкой и кукурузными хлѣбами. И скоро позабылъ свою „кыевщину“, откуда ему пришлось уйти подъ давленіемъ православнаго духовенства, въ то время полицейскими насиліями боровагося со штундой за православіе. Противъ его хаты на скатѣ бугра примостилась другая крестьянская хата. Тутъ жилъ сапожникъ, который также поставилъ скромное ховяйство при матеріальной поддержкѣ интеллигентовъ. Въ поселеніи этихъ двухъ крестьянскихъ семей, помимо акта благотворительности, видѣлась еще и личная польза.

Простые люди, не имѣвшіе никакихъ надеждъ на помощь со стороны, были поставлены въ необходимость жить только отъ своего личнаго труда, и они должны были служить такимъ образомъ показателемъ для интеллигентовъ, какъ вести ховяйство, съ какимъ напряженіемъ работать и до какого минимума нужно свести свои потребности, чтобы при неудачахъ не обращаться къ деньгамъ (которые по намѣченной программѣ исключались совсѣмъ изъ обихода жизни).

Вотъ и все населеніе нашего поселка.

Насколько оно было въ силахъ приблизиться къ поставленнымъ идеаламъ—могли ли устроители новой жизни не срѣзаться, а съ честью выдержать экзаменъ въ способности жить по евангельскимъ истинамъ, не дѣлая попопзновеній на захватъ сосѣдскихъ правъ, уважая индивидуальныя особенности каждаго—это должно было показать недалекое будущее.

IV.

Разговоръ подъ дубомъ принялъ нѣсколько обостренный характеръ. Начали говорить объ общинѣ—самомъ больномъ мѣстѣ колоніи. Дѣло въ томъ, что по самому существу колонія должна бы представлять собой общину, на самомъ же дѣлѣ ея не было, о ней только говорили и строили разные предположенія. Нѣсколько разъ въ колоніи поднимался вопросъ о примѣненіи въ жизни поселка общинныхъ принциповъ, и каждый разъ онъ вызывалъ шумные споры раздраженныхъ сторонъ, и въ концѣ концовъ вопросъ оставался нерѣшеннымъ.

— Общинное хозяйство сдѣлало бы для насъ очень много,—говорила Надежда Яковлевна, сторонница общины:—вѣдь поймите, какъ для насъ это невыгодно: собрались всѣ для одного дѣла и живемъ всѣ врозь! Община подниметъ насъ нравственно, поможетъ намъ матеріально. Мы будемъ жить не каждый по своимъ угламъ, а сплотимся и создадимъ одну христіанскую семью.

— Да однихъ дровъ теперь, господа, сколько выходитъ,—поддерживалъ Дадіани,—вѣдь этакъ мы скоро всѣ лѣса свои спалимъ! Не успѣваешь навозиться дровъ. При общинѣ кушанья готовились бы на всю колонію въ одной кухнѣ; дровъ потребовалось бы вдесятеро меньше, чѣмъ теперь. Община съэкономитъ намъ и въ продуктахъ: вѣдь извѣстно, что если для пятнадцати человѣкъ требуется въ отдѣльности 15 павъ пищи, то этимъ же пятнадцати посаженнымъ за общій столъ потребуется всего 12 павъ.

— Есть еще одна выгодная статья въ общинѣ,—сказалъ Н:—это то, что при общинномъ порядкѣ требуется меньше женскихъ рукъ на приготовленіе обѣдовъ и вообще на кухонныя обязанности, на возню съ разными ложками-плоскями. При общинѣ на кухню можетъ быть всего одна, много двѣ женщины, а при теперешнихъ условіяхъ всѣ бабы на кухняхъ.

— Ну, теперь высказались за общину,—сказала жена Владимира:—теперь желательно услышать что-нибудь и противъ общины.

— А вотъ вы и скажите — если имѣете что сказать противъ.

— Я хотѣла сказать... Что же, въ нашей общинѣ должно быть все общее, или община только распространяется на одну чю?

Кто-то разсмѣялся. Многимъ была извѣстна истинная причина ея тревожнаго чувства. Ея красавцемъ-мужемъ когда-то многія увлекались въ тверской колоніи, и она приписывала почему-то всѣ непріятности общинѣ.

— Нѣтъ, — сказала N. N., — община должна распространяться и на души товарищей. Души всѣхъ должны принадлежать всей общинѣ, а не быть собственностью одного лица.

— Я хотѣла сказать, — продолжала Ольга Ѳеодоровна: — не всякій могъ бы оказаться способенъ къ абсолютной общинѣ. Одно, господа, говорить объ общинѣ разными красивыми словами, и другое дѣло — примѣнять ихъ въ жизни.

— Что же особенно васъ страшить?

— Да мало ли что можетъ встрѣтиться! Мы видѣли на примѣрѣ шевылевской общины, какъ тамъ давилась личность и какіе фруеты выкультивировались въ общинномъ климатѣ. Жить общей жизнью можно лишь тогда, когда есть общность духовныхъ интересовъ.

— Да сначала и не нужно распространять общинные принципы на весь строй нашей жизни, — сказала Надежда Яковлевна, — достаточно пока ограничиться общиннымъ столомъ.

— Но надо при этомъ непременно включить огородъ, — сказалъ Петро.

— На первый разъ достаточно и того, если всѣ соберемся за однимъ столомъ, — сказалъ Яковъ Ивановичъ: — Если не разделимся за общиннымъ столомъ, ну, тогда устроимъ и общинные огороды.

— Безъ огородовъ выйдутъ осложненія, — сказалъ Петро съ жаромъ: — Что можетъ быть легче добывать сообща пищевые припасы — картошку, капусту, свеклу — и складывать все въ общій погребъ, откуда дежурныя стряпки будутъ брать что нужно. А безъ общихъ огородовъ какъ же станете: ходить на обѣдъ съ своими огурцами, съ своей картошкой? Или дѣлать раскладку по душамъ для сбора овощей на общинный столъ? Тогда надо завести особую бухгалтерію.

— Да, но тогда ужъ придется и сѣнокосы сдѣлать общими, а отсюда прямой выводъ: нужно завести и общинный скотъ.

— А какъ бы ты думалъ? — набросился Петро: — все и должно быть общее, если хотите настоящую общину, а не игрушечную. Кто не согласенъ на настоящую общину, тотъ пусть пока ограничится лишь общиннымъ самоваромъ, за которымъ собираются и ведутъ хорошія словеса объ общинѣ.

— Безъ общины собственно и жизнь здѣсь теряетъ всякій

смыслъ, — говорилъ Георгій: — во имя чего же тогда и жить здѣсь, въ этой глухой Осетіи, гдѣ-то подъ ледниками, — развѣ для того, чтобы спрятаться каждому въ свою берлогу и не имѣть никакого сношенія съ товарищами по избранной жизни? Съ болью въ сердцѣ я замѣчаю, что съ каждымъ мѣсяцемъ мы все болѣе и болѣе отрываемся другъ отъ друга, и оторванность отъ міра чувствуется особенно тяжело при оторванности отъ своихъ единомышленниковъ, ради жизни съ которыми и поселился въ этомъ дикомъ ущельи.

— Зачѣмъ же винить въ этомъ другихъ? — сказала Владиміръ: — самъ отрываешься, вотъ и оторванность.

— Я сказалъ это къ примѣру только, — отвѣчалъ Георгій. — Я вотъ не могу стакана чаю выпить безъ общества близкихъ, а между тѣмъ, живя отдѣльной берлогой, могу ли я видѣться съ ними?

— А вы вотъ и не живите отдѣльной берлогой, и чай ходите къ намъ пить, — сказала Ольга Ѳедоровна, явно не сочувствующая общинному строю.

— Не въ томъ дѣло, — раздраженно отвѣчалъ Георгій: — вы, очевидно, меня не понимаете или не хотите понять. Я хочу сказать, что община можетъ сплотить даже самые разрозненные элементы. Только она можетъ насъ гарантировать отъ вражды и розни. Община хорошо повліяла бы и на нашу подростящую молодежь, укрѣпляя въ ней христіанскіе идеалы. И ужъ дѣти-то навѣрное составили бы послѣ насъ христіанское братство; такъ община воспитываетъ въ людяхъ христіанскія чувства, не даетъ ей члену упасть, тогда какъ, предоставленные самимъ себѣ, люди идутъ вразбродъ, и дружеское единеніе, во имя котораго мы пришли сюда, остается пустымъ звукомъ.

— Да что это вы все объ общинѣ! — съ обычной прямою брякнулъ Матвѣй: — можетъ быть, она кому и выгодна, а кому — въ прямой убытокъ.

— Ты, собственно, что же хочешь этимъ сказать? — сказала N. N., слегка всплывъ: — ты какъ будто дѣлаешь на кого-то намеки?

— Да, ты, Татьяна, сама знаешь — отвѣчалъ спокойно Яковъ: — ты вѣдь была въ шевылевской общинѣ и помнишь, какъ наравнѣ съ настоящими работниками приходили барышни, мышія помы улетнымъ мыломъ; а когда посылали доить, то онѣ не умѣли гличить быка отъ коровы.

— Это всегда заговариваютъ объ общинѣ, — сказалъ кто-то; дополненіе мысли Якова, — когда чувствуютъ свое безсиліе и хотятъ опереться на плечи другихъ.

— Конечно такъ! — повышала голосъ Ольга Федоровна. — И зачѣмъ все это? Только усложнять жизнь. Вѣдь жизнь наша идетъ потихоньку и безъ общины. На первыхъ порахъ, правда, трудно, но вѣдь потомъ будетъ всѣмъ годъ отъ году легче. Къ чему же налагать еще какія-то обязательства на себя? Вотъ еще!

— Да кто же требуетъ обязательствъ? — чуть не кричалъ Георгій, выходя изъ себя: — наоборотъ, всѣ стоящіе за общину готовы сами принести себя въ жертву ей, готовы себя опутать обязательствами.

— Да стойте! — среди общего шума раздался властный голосъ Владимира, до того молчавшаго: — Скажи мнѣ, Георгій, ты чего ожидаешь отъ общины?

— Жду помощи себѣ отъ всѣхъ, помогая въ то же время всѣмъ.

— Такова твоя формула общины?

— Да.

— Ну, хорошо, стой! А безъ общины ты не можешь рассчитывать на помощь своихъ сосѣдей?

— Рассчитывать не могу.

— И никогда не получалъ ты отъ сосѣдей помощи?

— Получалъ.

— Такъ на что же въ самомъ дѣлѣ и община, когда и безъ нея можно прожить въ духѣ христіанства! — сдѣлалъ неожиданно выводъ Владимиръ съ побѣдоносной улыбкой въ лицѣ.

— Ты кому это хочешь голову морочить? — кричалъ Георгій. — Ты забываешь о нравственной сторонѣ общины: скажи, зачѣмъ ты умышленно хочешь запутать вопросъ? Это теперь тебѣ не удастся...

Споръ начиналъ принимать бурный оборотъ. Стали переходить на личности. Посыпались всевозможныя обвиненія въ отсутствіи товарищескихъ чувствъ, въ неблагодарности за оказанныя тогда-то и тогда-то услуги. Что-то стали припоминать, чему-то подводить счеты. Всплыли наружу какія-то давнишнія недоразумѣнія. Женщины кричали чуть не до истерики. Петро выпускалъ по двѣсти словъ въ минуту и билъ въ довершеніе всего неистово кулакомъ по столу. Изъ общего гама выдѣлялся по временамъ густой басъ Владимира, старавшагося примирить стороны и не видѣвшаго на основаніи большого опыта ничего путнаго изъ общины. Богъ знаетъ, до какихъ поръ продолжались бы эти споры, но за плетнемъ показалось возвращающееся стадо.

Всѣ стали расходиться по домамъ, чтобы загнать въ хлѣвы скотъ и засвѣтло подонть коровъ.

За ужиномъ Георгій былъ мраченъ и все время почти молчалъ. Не веселѣе было на душѣ и у Надежды Яковлевны.

— Да,—проговорилъ я,—договорились!—Битва русскихъ съ кабардинцами.

Георгій какъ-то грустно улыбнулся.

— Вы удивились,—сказала мнѣ Н. Я.,—что наши товарищи могли договориться до такихъ словомыслиній?

— Признаюсь, удивленъ,—сказалъ я:—я думалъ, что люди, взявшіе такъ высоко...

— Не могутъ опускаться такъ низко?—досказала она:—Могутъ! могутъ!

И она нервно засмѣялась.

— Но вы тоже ошибаетесь,—сказала она мнѣ:—зачѣмъ вы хотите смотрѣть на насъ, какъ на какія-то высшія существа? Нисколько мы не выше другихъ. Мы освободились отъ городской жизни, но не освободились отъ своихъ эгонистическихъ наклонностей. Вѣдь въ это ущелье мы пришли затѣмъ, чтобы создать новыя формы жизни, начать жить, такъ сказать, сначала,—ну, и смотрите на насъ, какъ на людей, живущихъ на зарѣ общественности. Наша жизнь—переходная стадія отъ дикаго пещернаго прозябанія въ цивилизованной жизни. Съ первобытными дикарями мы поставлены въ одни и тѣ же условія, и для пытливаго ума соціолога въ нашей жизни наплась бы богатая пища...

— Ну, а за борщомъ есть еще какая пища?—спросилъ мрачно Георгій, подавая пустую миску.—Ты знаешь, мы сегодня вѣдь и не обѣдали, давая соціологамъ богатую пищу.

Жена засмѣялась и пошла къ печкѣ доставать кашу.

V.

Дни шли за днями. Работы каждый день было по горло, и, казалось, ей не было конца. За полкой кукурузы началась возка дровъ, потомъ стали возить изъ хлѣвовъ навозъ. Еще не кончили эту работу, а ужъ на огородахъ поднялась такъ сорная трава, что надо было скорѣй бросать хлѣвы и начать опять непримиримую войну съ зеленымъ непріателемъ. Надо было съ этимъ торопиться, пока не начались дожди. Въ дождливую погоду поля пропадаютъ даромъ: выполотая трава захватывается

за землю и начинаетъ отростать. Кавказскія сорныя травы не могутъ спорить только съ жарнымъ кавказскимъ солнцемъ. Пламенные солнечные лучи помогаютъ земледѣльцу добывать подрубленную сапой зелень. Кавказскій затяжной дождь выходитъ ей на защиту.

А разныя работы по дому — заготовленіе на ночь фуража лошадямъ, носка воды, ѣзда на мельницу — шли своимъ чередомъ. Шести дней не хватало, и работы не прерывались даже и по воскресеньямъ. Вокругъ колоніи много росло всякихъ ягодъ, грибовъ, орѣховъ, но о запасахъ всего этого нечего было и думать. Отъ непрерывной работы всѣ выглядѣли изнуренными и при встрѣчѣ какъ-то не хотѣлось и разговаривать. Одни объясняли это тѣмъ, что сильно всѣ заработались, другіе смотрѣли на это какъ на прискорбное послѣдствіе потери всякаго интереса другъ къ другу.

У всѣхъ была неотступная мысль — какъ бы побольше успѣть сдѣлать, пока не наступили дожди, наши невольные праздники. Дожди здѣсь нерѣдко лили по цѣлымъ недѣлямъ. Приходили они какъ-то вдругъ. Вечеромъ было такъ ясно и тепло, а ночью съ горъ напозвали на насъ тучи и начиналъ безостановочно лить дождь, мелкій и холодный. Проснешься утромъ, глянешь на сѣрое утро, на намокшую природу, на ползущія по шиханамъ сѣдыя космы тучъ, и на душѣ сдѣлается такъ грустно. Всюду темно и уныло, а воздухъ тяжелый, густо напоенный испареніями, такъ и рѣжетъ грудь.

Непріятное чувство было еще острѣе, когда не было обуви, а это случалось, конечно, довольно часто. Приходилось шлепать босикомъ по липкой холодной грязи, и въ хлѣвъ къ скоту, и на родникъ за водой, и только крѣпкій организмъ не наживалъ при такихъ условіяхъ ревматизма.

Но зато въ такіе дни чувствовалось нѣсколько свободнѣе. Работы на полѣ прекращались, и на Лескенѣ наступалъ какъ будто праздникъ. Не даромъ наши остряки называли ненастные дни праздниками „Дождь-богъ“ (играя на созвучіи съ славянскимъ „Дажь-богомъ“). Въ эти дни удавалось кое-что почитать, написать письма, посидѣть въ кругу своихъ сосѣдей, обмѣняться мыслями. По грязнымъ, осклизлымъ тропинкамъ пойдешь, бывало шлепать босикомъ изъ дома въ домъ. Потребность поговорить, обмѣняться впечатлѣніями сказывалась сильно. Одно только было жаль при этомъ: со временемъ наша жизнь, не получая извнѣ свѣжаго притока мысли, дѣлалась постепенно безцвѣтною, узкою, такъ-что не о чемъ въ сущности было и разговаривать. На-

передъ можно было знать, кто что скажетъ при встрѣчѣ. Міръ идей каждаго, — безъ сомнѣнія, когда-то богатый и обширный, — какъ-то захирѣлъ, остановился въ ростѣ подѣ влияніемъ этого тѣснаго ущелья, замкнутаго для свѣжаго воздуха. И потому нерѣдко бесѣда съ глазу на глазъ была невыносимо тяжела. Все было сказано въ нѣсколькихъ отрывочныхъ фразахъ. И искалось страстно случая собраться всѣмъ, чтобы перемолвиться живымъ словомъ, пошутить, посмѣяться, забыть на людяхъ тоску одиночества и грызущія сомнѣнія въ правильности избраннаго пути. Къ несчастію, собранія колонистовъ были рѣдки, опять-таки въ силу притупляющихъ душу условій.

На другое лѣто я окончательно все-таки рѣшилъ поселиться въ Лескенѣ. Сильно соблазняла мысль устроиться на своемъ клочкѣ земли и быть ни отъ кого независимымъ. Силъ было не занимать стать, желанія работать — еще больше. Я выслалъ Михалѣ-Михалычу деньги за участокъ и сталъ обладателемъ священной земельной собственности въ 13 десятинъ.

Первымъ дѣломъ надо было заняться пополненіемъ сада. Я выписалъ изъ Екатеринослава сотню разныхъ плодовыхъ деревьевъ-трехлѣтокъ. Имѣя самыя скромныя познанія въ садоводствѣ, я не зналъ, на какихъ сортахъ остановиться для нашей подгорной дождливой мѣстности. И какъ всякій новичокъ, я старался выбрать какъ можно больше сортовъ, благо въ преискурантахъ садовыхъ фирмъ всѣ сорта имѣли хорошую аттестацію. И въ результатѣ въ моемъ небольшомъ садикѣ получился довольно разнообразный ассортиментъ.

Въ помощь себѣ я приобрѣлъ наиболѣе капитальныя руководства по садоводству Гоше. Благодаря неопытности, я не искалъ фирмы, находящейся въ родственномъ намъ климатѣ, а выписалъ деревья изъ далекаго отъ насъ Екатеринослава, откуда выписали деревья и другіе сосѣди. Деревья въ общемъ, однако, принялись, но нѣкоторые сорта на другое же лѣто пропали, какъ, напр., бѣлый кальвиль и нѣсколько бергамотовъ. Но скоро всѣ группы стали покрываться какимъ-то чернымъ налетомъ, точно копотью. Деревья приняли невеселый, чахлый видъ. При подрѣзкѣ ножомъ древесина внутри оказывалась вся черная. Съ каждымъ лѣтомъ — была въ грушахъ прогрессировала. Нужно было предполагать, о всѣхъ группахъ обречены на вѣрную гибель.

Съ чернымъ налетомъ, который появляется на грушевыхъ ревяхъ (повидимому, это какой-то чужеродный грибокъ), не безъ пѣха можно бороться обмазываньемъ древесной коры тѣстомъ изъ извести съ глиной. Послѣ такой операціи, которую необхо-

димо повторять раза два въ годъ — весною и осенью, кора дѣлается сочною и принимаетъ скоро здоровый видъ.

Яблони меньше пострадали отъ переменъ климата. За исключеніемъ кальвилей, которыя посохли чуть ли даже не въ первое лѣто, всѣ сорта стали роскошно развиваться, покрываясь сочною темно-зеленою листвою. Было ясно, что яблони у насъ могли хорошо акклиматизироваться. За успѣшность нашего садоводства ручалось еще и то обстоятельство, что кругомъ по лѣсамъ росло множество разныхъ дикорастущихъ фруктовыхъ деревьевъ — яблонь, грушъ и др.

Изъ всѣхъ сортовъ нашихъ яблонь особенно выдѣлялись своими хорошими качествами слѣдующіе сорта: апортъ, виргинское, антоновка, юбилейное, Грогема, Бисмаркъ. Послѣдніе два сорта, а также виргинское, на другое же лѣто дали нѣсколько красивыхъ, сочныхъ плодовъ, и можно съ увѣренностью сказать, что перечисленные сейчасъ сорта были бы самыми доходными въ лескенскихъ садахъ. Вопреки совѣтамъ садоводовъ не давать истощаться молодымъ деревьямъ раннимъ плодоношеніемъ, я не рѣшался обрывать всѣ завязи, и нѣсколько яблокъ красивой формы доразвивались вполне, радуя хозяйское сердце и вселяя надежду, что за всѣ труды мои любимицы дадутъ мнѣ впоследствии награду.

А я любилъ ихъ... Я привязался къ нимъ, и минуты досуга посвящалъ уходу за ними. Бывало, пройдемъ по саду и что-нибудь поправишь въ немъ; то обрѣжешь излишнія вѣтви, то укрѣпишь расшатанный бурей колъ, служащій опорой молодымъ деревьямъ, разрыхлишь лопатой землю надъ корнями. Всѣ остатки отъ хозяйства, которые считалъ полезными для деревьевъ по своему физическому составу, я непременно старался выливать подъ деревья: испорченные отруби, печная зола, помои, размельченная старая штукатурка — все шло подъ деревья, какъ удобрительный матеріалъ.

Прежде чѣмъ начать свое хозяйство, я долженъ былъ основательно обдумать, какая отрасль должна въ немъ преобладать. Остановиться на чисто земледѣльческомъ хозяйствѣ я не могъ, такъ какъ для этого требовалось имѣть не меньше пары лошадей и по крайней мѣрѣ одного взрослого сотрудника. А я былъ одинъ. Жена моя, бывшая сельская учительница, никогда прежде не работавшая и имѣвшая какой-то страхъ передъ физическимъ трудомъ, была мнѣ плохой помощницей. Замѣтно было, что она дѣлала все неохотно и своими стопами и охами и ежеминутнымъ выраженіемъ несочувствія къ избран-

ной мною жизни только расхолаживала во мнѣ энергію и наводила на тяжелыя размышленія. Дѣти были еще малы и на ихъ помощь не скоро можно было рассчитывать. Всѣ эти обстоятельства приводили меня къ рѣшенію не заводить хозяйства чисто-земледѣльческаго. Я не могъ бы съ нимъ справиться при всей сложности работъ—и пахать, и косить, и жать, и ѣздить на мельницу. И я, послѣ долгихъ размышленій, остановился на молочномъ хозяйствѣ. Тутъ не нужно было сильно разбрасываться и разрываться на части. И не приходилось на долгое время отлучаться изъ дома и оставлять хозяйство на произволъ судьбы. Это давало возможность исполнять всѣ домашнія работы: колоть дрова, носить съ родника воду и т. д. На выгодность молочнаго хозяйства указывало и то, что наши роскошныя пастбища не использовались и въ половину при отсутствіи достаточнаго количества скота. Основныхъ угодій у насъ было столько, что сѣно отъ зимы оставалось и приходилось продавать его за безцѣнокъ осетинскимъ скупщикамъ. Подножнаго корма также было вдоволь. По приблизительному расчету надо было увеличить наше стадо вчетверо, чтобы использовать всѣ имѣющіяся пастбища. Я купилъ на первое время четыре коровы, изъ которыхъ двѣ были нѣмецкія породы. Я ѣздилъ за ними за сто верстъ въ нѣмецкую колонию. Выбѣсъ съ ними я купилъ также годовалого бычка, который долженъ былъ стать потомъ производителемъ нашего стада. Купилъ необходимую молочную посуду, датскую маслобойку и небольшой сепараторъ. Сепараторъ оказалъ мнѣ незамѣнимую услугу: онъ много сокращалъ времени въ работѣ по приготовленію масла. При немъ почти не было нужды въ холодномъ погребѣ и не требовалось много мѣста для кринокъ. Выдѣляя сливки въ часъ болѣе чѣмъ отъ трехъ ведеръ молока, сепараторъ давалъ возможность весь удой превращать сразу въ масло.

Я размѣстилъ коровъ по стойламъ. Нѣмецкихъ привязалъ на цѣпи, какъ онѣ были у нѣмцевъ, и въ послѣдствіи каждая знала свое мѣсто и сама приходила къ нему. Петро научилъ меня доить. Я сталъ доить коровъ самъ и на этомъ поприщѣ чувствовалъ себя прекрасно. Молочное хозяйство меня заинтересовало и захватило. Я завелъ тетрадь, въ которую записывалъ ежедневно количество удоевъ. Время отъ времени я дѣлалъ посредствомъ изурки измѣренія отстоя сливокъ отъ молока каждой коровы неукоснительно записывалъ все это въ тетрадь. Записывались же результаты опытовъ съ тѣмъ или инымъ кормомъ, ихъ цѣны на составъ молока и т. д. Для этихъ опытовъ я держалъ козъ то на одномъ исключительно сѣнѣ, то съ прибавленіемъ

отрубей, то примѣшивалъ къ пойлу остатки разныхъ овощей, то кукурузной муки, то снятого молока. Телятъ выпаивалъ не иначе, какъ съ вѣсу, не отступая ни на іоту отъ нормы, предложенной однимъ сельскохозяйственнымъ авторитетомъ. Весь день былъ заполненъ работой и, несмотря на нѣкоторое однообразіе, не казался скучнымъ и въ суетѣ пролеталъ незамѣтно. Рано утромъ я бралъ подойникъ и отправлялся въ хлѣвъ доить. Было какъ-то радостно на душѣ при видѣ своихъ кормилицъ, ласково протягивающихъ ко мнѣ морды и мычащихъ утреннее привѣтствіе. Я накладывалъ имъ свѣжаго сѣна и скоро по хлѣву раздавалось аппетитное жеванье корма и энергичная работа мордой въ поискахъ въ ворохѣ сѣна наиболѣе вкусной травы. Телята, отгороженные въ особое отдѣленіе, съ любопытствомъ поднимали морды и мычаньемъ требовали сѣна. Подойдешь къ нимъ, погладишь и кинешь охапку сѣна. На первыхъ порахъ я много накладывалъ сѣна, и это было большой ошибкой: пресытившіеся скотъ начиналъ рыться въ сѣнѣ и добрую половину выбрасывалъ себѣ подъ ноги. Впослѣдствіи я постигъ науку кормленія, и кормовыя дачи сталъ строго соразмѣрять съ потребностью, причемъ принялъ за правило: давать понемногу, но почаще. Эта мѣра привела къ тому, что сѣна стало выходить значительно меньше, скотъ имѣлъ здоровый видъ и всегда располагалъ хорошимъ аппетитомъ.

Доилъ я коровъ три раза въ сутки. Послѣ утренней дойки весь запасъ молока вмѣстѣ съ вечернимъ удоємъ ставилъ на плиту для подогреванія (безъ этого сепараторъ не можетъ работать). Подогрѣтое молоко пропускалось черезъ сепараторъ. По окончаніи работы части сепаратора должны быть тщательно вымыты теплой водой, что при ежедневномъ употребленіи часто надоѣдало. Дѣла такъ было много, и мелкаго, и крупнаго, что я не замѣчалъ, какъ подкатывалось и время второго доенія коровъ. Полдневный удой вмѣстѣ съ вечернимъ поступалъ въ сепараторъ на слѣдующее утро. Вечеромъ билось масло, промывалось, формовалось и складывалось въ особое помѣщеніе, недоступное для крысъ и мышей. Зимой, во время между доеньемъ, прибавлялась еще работа: я ходилъ рубить дубнякъ для топлива на принадлежащихъ мнѣ лѣсныхъ полосахъ, и такъ какъ лошади своей не имѣлъ, а обращаться къ сосѣдямъ не всегда было удобно, то я носилъ нарубленный дубнякъ на себѣ. При силѣ и здоровьи это не представляло особаго труда. Напротивъ, отъ такой „гимнастики“ я чувствовалъ себя на весь день въ веселомъ расположеніи духа, былъ все время бодръ, а мускулы пріобрѣтали крѣпость и вы-

носливость. Со временемъ носка дровъ вошла въ привычку и дѣлалась какъ бы попутно. Пойдешь, бывало, гнать коровъ на водопой, или такъ пройтись, пройдешь къ мѣсту, гдѣ лежалъ нарубленный лѣсъ, взвалишь на плечи дерево и тащишь домой, и мысль, что вотъ я, интеллигентъ, воспитанный въ барскихъ чувствахъ, могу обойтись безъ слугъ и безъ денегъ, невыразимо радовала меня и отгоняла далеко всѣ страхи и сомнѣнiя.

А. М—овъ.



ТВОРЧЕСТВО

А. П. ЧЕХОВА,

ЕГО МОТИВЫ И ИДЕИ

КРИТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Окончаніе.

IV *).

Любовь у Чехова постоянно имѣетъ одинъ и тотъ же характеръ. Это сплошь и рядомъ — любовь ненормальная, болѣзненно напряженная, со всѣми особенностями, свойственными чувствамъ обезличенныхъ людей, жертвамъ общественной непристроенности. Въ этомъ смыслѣ чеховскія фигуры иногда поразительно напоминаютъ собой образы Достоевскаго, — только безъ многословія Достоевскаго и безъ его чрезмѣрностей. Онѣ страдаютъ той формой обезличенности, при которой непристроенность и растерянность доведены до крайней степени. Въ этомъ состояніи человекъ находитъ особенное, болѣзненное удовольствіе въ собственной непристроенности, въ безцѣльности своего существованія, въ мучительной ненужности собственныхъ стремленій. „Когда вѣтъ настоящей жизни, то живутъ миражами. Все-таки лучше, чѣмъ ничего“, — говорятъ „дядя Ваня“ въ пьесѣ этого имени. И именно упрямая приверженность къ миражамъ глубоко характерна для такихъ людей, — „все-таки лучше, чѣмъ ничего“.

*) См. выше: августъ, стр. 529.

Въ „Дядѣ Ванѣ“—и самъ „дядя“, Войницкій,—и его племянница Соня, и его мать, и жена профессора, Елена, всѣ—жертвы такихъ миражей. Они всѣ обожаютъ профессора, выжимаютъ изъ себя всѣ силы, служа ему, гордятся его наукой, живутъ, дышутъ имъ, а онъ, оказывается, какъ говорить дядя Ваня, „ничто, мыльный пузырь“. Своей научной дѣятельностью онъ „совершенно неизвѣстенъ, послѣ него не останется ни одной страницы труда“. И „дядя Ваня“ чувствуетъ себя глупо обманутымъ. При этомъ, — что особенно любопытно, — совершенно непонятно, какое отношеніе къ наукѣ и къ научной извѣстности имѣетъ добрыйшій дядя Ваня и почему его обожаніе имѣло бы смыслъ, если бы профессоръ дѣйствительно оказался человекомъ науки, достойнымъ извѣстности, и оставилъ бы много страницъ своего труда. Но именно это-то и характерно въ данномъ случаѣ. Объединившій помѣщикъ Телѣгинъ въ этой же пьесѣ говорить, обращаясь къ профессору: „Я, ваше превосходительство, питаю къ наукѣ не только благоговѣніе, но и родственныя чувства. Брата моего Григорія Ильича жены братъ былъ магистромъ...“ И у дяди Вани совершенно такое же отношеніе къ профессору и его наукѣ. Что она ему? Чѣмъ меньше онъ въ ней понимаетъ, тѣмъ больше онъ долженъ дорожить „миражемъ“—„все-таки лучше, чѣмъ ничего“. Той же самой чертой остроумно отмѣченъ Самойленко въ „Дуэли“. Онъ „никогда не читалъ Толстого и каждый день собирался прочесть его“. Онъ отъ души преклонялся предъ Лаевскимъ, но „то, что онъ понималъ въ немъ, ему крайне не нравилось: Лаевскій пилъ много и не въ-время, игралъ въ карты, презиралъ свою службу, жилъ не по средствамъ, часто употреблялъ въ разговорѣ непристойныя выраженія, ходилъ по улицѣ въ туфляхъ и при постороннихъ ссорился съ Надеждой Феодоровной—и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевскій былъ когда-то на филологическомъ факультетѣ, выписывалъ теперь два толстыхъ журнала, говорилъ часто такъ умно, что только немногіе его понимали, жилъ съ интеллигентной женщиной—всего этого не понималъ Самойленко, и это ему нравилось, и онъ считалъ Лаевскаго выше себя и уважалъ его“.

Тотъ же смыслъ вложенъ, въ „Вишневомъ саду“, въ слова вѣнчанной Дуняши, которая говоритъ лакею Яшѣ: „Я страстно люблю васъ, вы образованный, можете обо всемъ разсуждать“. То же также, въ „Чайкѣ“, увлеченіе Нины Зарѣчной Тригорина въ вызвано тѣмъ, что онъ—извѣстный писатель, знаменитость, и имеецъ публички, о которомъ пишутъ во всѣхъ газетахъ. Ей

представляется, что извѣстные люди — какіе-то совсѣмъ особенные, совсѣмъ не похожіе на другихъ; что они горды, неприступны. Ее занимаетъ, „какъ чувствуется извѣстность“, и, какъ она говоритъ, „за такое счастье, какъ быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близкихъ, нужду, разочарованье, я жила бы подъ крышей и ѣла бы только ржаной хлѣбъ, страдала бы отъ недовольства собою, отъ сознанія своихъ несовершенствъ, но зато бы ужъ я потребовала бы славы, настоящей, шумной славы... и толпа возила бы меня на колесницахъ“.

Въ той же „Чайкѣ“ Маша, влюбленная въ Треплева, восторгается тѣмъ, что у него прекрасный, печальный голосъ и „манеры какъ у поэта“. Въ „Дамѣ съ собачкой“ избалованный женщинами Гуровъ „всегда казался имъ не тѣмъ, кѣмъ онъ былъ, и любили онѣ въ немъ не его самого, а человека, котораго создавало ихъ воображеніе и котораго онѣ въ своей жизни искали; и потомъ, когда замѣчали свою ошибку, то все-таки любили“. Въ „Дядѣ Ванѣ“ Войницкій говоритъ, что въ любви Елены къ мужу — „фальшь отъ начала до конца, — риторика“. „Фальшь“ и „риторика“ во всѣхъ этихъ случаяхъ — явленія той же категоріи, какъ и уваженіе Самойленка къ Лаевскому или благоговѣніе Телѣгина, чуть не „родственные чувства“ къ наукѣ, — основанныя на томъ, что „брата его жены братъ былъ магистромъ“. Въ любимыхъ людяхъ ихъ привлекаетъ то, чего они не понимаютъ въ нихъ, — что-то далекое и чуждое. Это парадоксальное влеченіе къ непонятному и чуждому, какъ извѣстно, — явленіе во все не исключительное. Оно характерно для тѣхъ, у кого ослаблены руководящія нити въ жизни, — характерно для непристроенныхъ, выброшенныхъ изъ колен. Маша въ „Чайкѣ“ такъ и аттестуетъ себя; она проситъ Тригорина, чтобы онъ прислалъ ей свои книжки съ автографомъ. — Только не пишите „многоуважаемой“, а просто такъ: „Марья, родства непомнящей, неизвѣстно для чего живущей на этомъ свѣтѣ“. — То же самое могутъ сказать о себѣ всѣ эти безнадежно и бессмысленно влюбленные, которыхъ увлекаетъ больше всего то, что для нихъ менѣе всего понятно. Въ этихъ условіяхъ любовь, или „романъ“, какъ любить выражаться Чеховъ, неизмѣнно является въ существованіи его героевъ заранѣе обреченнымъ на неуспѣхъ, на роль совершенно празднаго эпизода, которому явно не подъ силу борьба съ пустотой жизни.

Вотъ докторъ Старцевъ, онъ же „Іонычъ“, въ разсказѣ того же имени. „Когда онъ, пухлый, красный, ѣдетъ на тройкѣ въ

бубенчиками, и Пантелеймонъ, тоже пухлый и красный, съ мясистымъ затылкомъ, сидитъ на козлахъ, протянувъ впередъ прямыя, точно деревянные руки, и кричитъ встрѣчнымъ: „Прррава держи!“, то картина бываетъ внушительная, и кажется, что ѣдетъ не человѣкъ, а языческій богъ“. „Горло у него запыло жиромъ, онъ жаденъ, характеръ у него тяжелый, раздражительный. Принимая больныхъ, онъ обыкновенно сердится, нетерпѣливо стучитъ палкой о полъ и кричитъ своимъ непріятнымъ голосомъ: — „Извольте отвѣчать только на вопросы! Не разговаривайте“. Онъ одинокъ. Живется ему скучно, ничто его не интересуеть. — Но у него былъ романъ, неудавшійся, описанію котораго посвященъ рассказъ. И этотъ неудавшійся романъ — „любовь къ Котиеву была его единственной радостью, вѣроятно послѣдней — за все время, пока онъ живетъ въ Далижѣ“. Отъ этого романа у него ничего не осталось. Когда случается по сосѣдству за какимъ-нибудь столомъ въ клубъ заходить рѣчь о Туркиныхъ, семьѣ дѣвушки, которую онъ любилъ, то онъ спрашиваетъ: „Это вы про какихъ Туркиныхъ? это про тѣхъ, что дочка играетъ на фортепьянахъ?“ — Вотъ и все, — заключаетъ Чеховъ, — что можно сказать про него“. — Вотъ все, что осталось отъ „единственной радости“ въ жизни человѣка, — обрывокъ чего-то, имѣвшаго когда-то высшій для него смыслъ.

Такимъ же безсвязнымъ обрывкомъ является „романъ“ въ жизни Гурова — въ рассказѣ „Дама съ собачкой“. Это былъ человѣкъ, который о женщинахъ отзывался всегда дурно, — говорилъ о нихъ: „низшая раса“! Но безъ „низшей расы“ онъ не могъ прожить и двухъ дней. Въ обществѣ мужчинъ ему было скучно, а среди женщинъ онъ чувствовалъ себя свободно и хорошо. И вотъ, одно изъ его любовныхъ похожденій становится для него чѣмъ-то болѣе значительнымъ, чѣмъ простое приключеніе. Голова у него уже стала сѣдой, но тутъ-то онъ первый разъ въ жизни полюбилъ по-настоящему. Подъ вліяніемъ любви все въ окружающей жизни пріобрѣтаетъ для него другую окраску. Онъ не можетъ удержаться, чтобы не сказать сослуживцу партнеру, чиновнику, при выходѣ изъ клуба: „Если бы вы знали, съ какой очаровательной женщиной я познакомился въ Ялтѣ!“ — „Чиновникъ сѣлъ въ сани и поѣхалъ, но вдругъ обернулся и окликнулъ: Дмитрий Дмитриевичъ! — Что? — А давеча вы были правы: осетеръ — то съ душкомъ!“ — „Эти слова, такіа обычныя, почему-то вдругъ возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечестными. Какіе дикіе нравы, какія лица! Что за безтолковыя и, какіе неинтересныя, незамѣтные дни! Неистовая игра въ

карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все объ одномъ. Ненужныя дѣла и разговоры все объ одномъ отхватываютъ на свою долю лучшую часть времени, лучшія силы, и въ концѣ концовъ остается какая-то кучая, безкрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти, и убѣжать нельзя, точно сидишь въ сумасшедшемъ домѣ или въ арестантскихъ ротахъ". Среди этой-то обстановки пустѣйшее и пошлѣйшее любовное приключеніе по какому-то странному случаю обращается у него въ любовь „по-настоящему" — во что-то такое, что ему кажется единственно важнымъ, интереснымъ, необходимымъ, такимъ, въ чемъ онъ искрененъ и не обманываетъ себя и что составляетъ зерно его жизни. Ему и Аннѣ Сергѣевнѣ кажется, что „сама судьба предназначила ихъ другъ для друга, и было непонятно, для чего онъ женатъ, а она замужемъ; и точно это были двѣ перелетныя птицы, самецъ и самка, которыхъ поймали и заставили жить въ отдѣльныхъ клѣткахъ"... „Они долго совѣтовались, говорили о томъ, какъ избавить себя отъ необходимости прятаться, обманывать, жить въ разныхъ городахъ, не видѣться по долгу. Какъ освободиться отъ этихъ путъ?.. И казалось, что еще немного — и рѣшеніе будетъ найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь". Но авторъ заканчиваетъ словами: „и обоимъ было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается". Внимательному читателю этого прелестнаго разсказа трудно отдѣлаться отъ вопроса: что, собственно, связываетъ этихъ двухъ людей, и неужели то, что ихъ связываетъ, дѣйствительно чего-нибудь стоитъ, а не есть миражъ? За него хватаются эти люди, затерявшіеся въ жизни и лишенные въ ней того „важнаго", того „зерна жизни", безъ котораго жизнь обращается въ „какую-то чепуху". Но одно ясно, — что въ любви этихъ перелетныхъ птицъ, этого „самца" и этой „самки", запертыхъ въ клѣтку, нѣтъ дѣйствительно спасенія отъ ненужныхъ дѣлъ, отъ „кучей, безкрылой жизни" и отъ всей „чепухи". Лучшимъ поясненіемъ къ этому могутъ служить соображенія разсказчика въ разсказѣ „О любви". Онъ тоже полюбилъ замужнюю женщину, и она его полюбила. Но они не рѣшаются даже признаться прямо другъ другу въ любви. „Мы по долгу говорили, молчали, но мы не признавались другъ другу въ нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну намъ же самимъ. Я любилъ нѣжно, глубоко, но я разсуждалъ, я спрашивалъ себя, къ чему можетъ повести наша любовь, если у насъ не хватитъ силъ бороться съ нею; мнѣ казалось невѣроятно, что эта моя

тихая, грустная любовь вдругъ грубо оборветъ счастливое теченіе жизни ея мужа, дѣтей, всего этого дома, гдѣ меня такъ любили и гдѣ мнѣ такъ вѣрили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я могъ увести ее? Другое дѣло, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы я, напримѣръ, боролся за освобожденіе родины, или былъ знаменитымъ ученымъ, артистомъ, художникомъ, а то вѣдь изъ одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее въ другую такую же, или еще болѣе будничную. И какъ бы долго продолжалось наше счастье?"

Вотъ истинное освѣщеніе тѣхъ роковыхъ неудачъ, которыя преслѣдуютъ всѣхъ героевъ любовныхъ романовъ у Чехова. Вотъ объясненіе того, что, въ своей жаждѣ любовнаго счастья, они либо останавливаются на полѣ-дорогѣ, мечтаютъ, вздыхаютъ и не рѣшаются сдѣлать шага впередъ, либо находятъ въ любви не счастье, а все ту же „взую, безкрылую“, ненужную жизнь. Въ разорванной на части безцѣльной жизни одна любовь, какъ бы она ни была возвышенна, ничего не въ силахъ перемѣнить; она остается безсильнымъ обрывкомъ. Въ заключительной сценѣ разсказа, о которомъ мы сейчасъ говорили, происходитъ слѣдующее: На станціи желѣзной дороги, — „когда она уже простилась съ мужемъ и дѣтьми и до третьяго звонка оставалось одно мгновеніе, я вбѣжалъ къ ней въ купѣ, чтобы положить на полку одну, изъ ея корзинокъ, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тутъ, въ купѣ, взгляды наши встрѣтились, душевныя силы оставили насъ обоихъ, я обнялъ ее, она прижалась лицомъ къ моей груди, и слезы потекли изъ глазъ; цѣлуя ея лицо, плечи, руки, мокрыя отъ слезъ, — о, какъ мы были съ ней несчастны! — я признался ей въ своей любви, и со жгучей болью въ сердцѣ я понималъ, какъ ненужно, мелко и какъ обманчиво было все то, что намъ мѣшало любить. Я понималъ, что когда любишь, то въ своихъ разсужденіяхъ объ этой любви нужно исходить изъ высшаго, отъ болѣе важнаго, чѣмъ счастье или несчастье, грѣхъ или добродѣтель въ ихъ ходячемъ смыслѣ, или не нужно разсуждать вовсе“.

Этого „высшаго“ у него, повидимому, не было. Слушатели ея, послѣ его разсказа, смотря на него, „жалѣли, что этотъ чужбѣ съ добрыми, умными глазами, который рассказывалъ имъ съ такимъ чистосердечіемъ, вертѣлся здѣсь, какъ бѣлка въ колесѣ, а не занимался наукой или чѣмъ-нибудь другимъ“. Надо думать, если бы онъ „занимался наукой“ или „былъ знаменитымъ ученымъ и т. д.“, то у него оказалось бы такое высшее,

способное осмыслить все существованіе и поднять его надъ мелочностью и ничтожествомъ обыденщины. Но жизнь такъ сложилась, что онъ „какъ бѣлка вертѣлся въ колесѣ“ и высшаго у него не было. Поэтому и его любовь оказалась такой безнадежно ненужной, какъ и все остальное въ его существованіи. И во всѣхъ специфически Чеховскихъ драмахъ любви, въ которыхъ человѣкъ по годамъ не знаетъ, любить ли ему или не любить и что ему дѣлать съ своей любовью—мы имѣемъ предъ собой все то же самое положеніе. Люди вертятся и толкуются въ сутолокѣ мелочей и, теряясь въ нихъ, лишаются самой способности „исходить отъ высшаго“, „отъ болѣе важнаго, чѣмъ счастье или несчастье“. Этимъ мельчающимъ, растеряннымъ, одинокимъ, общественно и духовно непристроеннымъ людямъ и любовь не подѣ силу. Огневъ—въ разсказѣ „Вѣрочка“—думаетъ, смотря на дѣвушку, которая только-что объяснилась ему въ любви: „Господи, сколько во всемъ этомъ жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глупъ и нелѣпъ!“.. И чувствуетъ въ себѣ „безсиліе души, неспособность воспринимать глубоко красоту, раннюю старость, приобретенную путемъ воспитанія, беспорядочной борьбы изъ-за куска хлѣба, номерной, безсемейной жизни“.

Развѣ не такое же безсиліе опустошенной души у Анны Петровны въ „Несчастьи“, которая за минуту передъ тѣмъ, какъ бѣжать отъ мужа, почти признается ему въ этомъ и готова его умолять, чтобы онъ ее удержалъ. Она какъ-то помимо собственной воли кокетничаетъ и играетъ съ своимъ ухаживателемъ и чувствуетъ, „какъ силенъ и неумолимъ врагъ“. Но вся сила врага заключается только въ ея собственномъ безсиліи. Для того, „чтобы бороться съ нимъ, нужна сила и крѣпость, а рожденіе, воспитаніе и жизнь не дали ей ничего, на что бы она могла опереться“. Не на что опереться ни въ любви, ни въ борьбѣ съ любовью. У нея хватаетъ рѣшимости сказать сонному мужу: „Ты спишь? Я иду пройтись. Хочешь со мной?“—А не получивъ отвѣта, она идетъ къ любовнику.

Душевное опустошеніе въ сферѣ этихъ отношеній достигаетъ максимума въ тѣхъ женщинахъ, которыя такъ удивительно изображены въ „Ариаднѣ“, въ „Супругѣ“ и въ „Аниѣ на шеѣ“. Въ нихъ, какъ говорится въ „Ариаднѣ“, „буржуазная, интеллигентная женщина возвращается къ своему первобытному состоянію: на половину она уже человѣкъ-звѣрь, и благодаря ей, очень многое, что было завоевано человѣческимъ гениемъ, уже потеряно; женщина мало-по-малу исчезаетъ, на ея мѣсто садится

первобытная самка“. О такихъ же женщинахъ вспоминаетъ Гуровъ въ „Дамѣ съ собачкой“ — „о такихъ двухъ-трехъ, очень красивыхъ, холодныхъ, у которыхъ промелькнуло на лицѣ хищное выраженіе, упрямое желаніе взять, выхватить у жизни больше, чѣмъ она можетъ дать“. Такая же изображена въ „Супругѣ“. И дѣло тутъ вовсе не въ какомъ-нибудь фізіологическомъ вырожденіи, упрощающемъ женщину до чловѣка-звѣря или звѣрька. Въ „Ангѣ на шеѣ“ очень мѣтко и просто изображена та житейская обстановка, которая толкаетъ женщину на этотъ путь. Неравенство въ возрастѣ между мужемъ и женой, рознь во вкусахъ и привычкахъ, глубокая пропасть сословная (въ „Супругѣ“, въ „Попрыгуньѣ“, въ „Трехъ годахъ“ и во многихъ другихъ) — всѣ эти контрасты легко обращаютъ и женщину, и мужчину въ взаимныхъ ихъ отношеніяхъ вспять отъ того, что „завоевано чловѣческимъ гениемъ“ — въ сторону „чловѣка-звѣря“. Все это, опустошая душу, лишаетъ ихъ взаимныя отношенія живого чловѣческаго смысла. И всѣ эти драмы любви неизмѣнно окружены атмосферой какой-то ненужности, глубоко проникающей все существованіе непристроенныхъ одинокихъ людей.

V.

Въ маленькомъ, но очень замѣчательномъ разсказѣ: „По дѣламъ службы“, слѣдователь думаетъ о томъ, что кругомъ его „не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что все здѣсь случайно, никакого вывода сдѣлать нельзя“, что „все это не жизнь, не люди, а что-то существующее только „по формѣ“, все это не оставитъ въ памяти ни малѣйшаго слѣда и забудется“. И этотъ общій основной мотивъ проходитъ черезъ всѣ произведенія Чехова. Грусть и поэзія одиночества, проникающія лучшія его произведенія, составляютъ ощущенія людей, затерянныхъ именно въ той жизни, которая „не жизнь, а клочки жизни, отрывки“, что-то сплошь случайное, изъ чего „никакого вывода сдѣлать нельзя“. Это равняетъ „Трехъ сестеръ“, вздыхающихъ о Москвѣ, съ слѣдователемъ („По дѣламъ службы“), тоже мечтающимъ о Москвѣ, „блго каторжника — въ разсказѣ „Мечты“ — одинокаго, вроткаго, игнаннаго мечтателя, и столь же одинокаго архіерея въ разсказѣ „Архіерей“. „Его (архіерея) поражала пустота, мелкость сего того, о чемъ просили, о чемъ плакали; его сердили невзвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его оюю массою“. Въ ней онъ чувствовалъ себя одинокимъ, не-

пристроеннымъ, чуждымъ всѣмъ. „Не могъ онъ привыкнуть къ страху, какой онъ, самъ того не желая, возбуждалъ въ людяхъ, несмотря на свой тихій и скромный нравъ. Всѣ люди въ этой губерніи, когда онъ глядѣлъ на нихъ, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. Въ его присутствіи робѣли всѣ, даже старики протоіерей, всѣ „бухали“ ему въ ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова отъ страха, такъ и ушла ни съ чѣмъ... За все время, пока онъ здѣсь, ни одинъ человѣкъ не поговорилъ съ нимъ искренно, по-просту, по-человѣчески. Даже старуха мать и та его пугается и говоритъ ему „вы“.

Эта сплошная атмосфера чуждыхъ другъ другу клочковъ жизни, среди которыхъ одинаково теряются и чувствуютъ себя одиночными и забытыми и архіерей, и его паства, и „три сестры“, и бѣглый каторжникъ, — эта атмосфера влекла къ себѣ Чехова неотразимо. Къ ея изображенію онъ подходилъ съ разныхъ сторонъ. Повидимому, именно въ этомъ отношеніи его такъ интересовало и привлекало изображеніе душевныхъ состояній въ болѣзненномъ бреду или полуснѣ, когда мысли высказываютъ въ видѣ безсвязныхъ отрывковъ, которые тѣмъ не менѣе въ цѣломъ тоже „угнетаютъ своей массой“ — или, вѣрнѣе, именно своей отрывочностью. Въ „Архіереѣ“ преосвященный Петръ изображенъ въ состояніи предсмертнаго тифа. Именно въ этомъ состояніи, „когда ему нездоровилось“, его поражаютъ пустота и мелочность всего того, о чемъ просили и плакали. Повидимому, въ глазахъ самого Чехова это болѣзненное лихорадочное ощущеніе (его онъ, напри- мѣръ, изображаетъ въ „Тифѣ“, „Черномъ монахѣ“ и другихъ) являлось состояніемъ, въ которомъ съ особенной рельефностью проявляется духовный разбродъ жизни, составленной изъ разползающихся въ разные стороны клочковъ.

Въ драматическихъ произведеніяхъ Чехова отрывочность жизни даетъ себя знать въ очень своеобразной, особенно характерной для Чехова манерѣ дѣйствующихъ лицъ вести разговоръ. Они часто говорятъ каждый свое, совершенно не слушая другихъ и поражая посторонняго слушателя полной неожиданностью своихъ репликъ.

Въ „Вишневомъ саду“ старикъ Фирсъ, въ отвѣтъ на слова Раневской: „Я такъ рада, что ты еще живъ“, — по глухотѣ отвѣчаетъ: — „Позавчера“. Но и остальные лица — и Лопахинъ, и Шарлотта, и Дуняша, и Епиходовъ очень часто разговариваютъ такъ же невпопадъ, точно они глухіе: каждый изъ нихъ какъ бы сидитъ за перегородкой, изъ-за которой твердитъ свое,

не слушая и не замѣчая другихъ. Лопухинъ вспоминаетъ своего „папашу“, который былъ „мужикъ, идиотъ“, и свое „замское“ прошлое. Гаевъ кается, что все свое состояніе проѣлъ на леденцахъ, и бесѣдуетъ въ ресторанѣ съ половымъ о декадентахъ; Раневская вслухъ мечтаетъ о своемъ бурномъ и безпутномъ прошломъ; Шарлотта точно въ трансѣ говорить о своемъ фантастическомъ дѣтствѣ; Дуниша вспоминаетъ о своемъ; Епиходовъ, точно Петрушка, высказываетъ со своими „двадцатью-двумя несчастными“, съ „Боклѣмъ“ и т. д., и т. д. То же самое — въ „Ивановѣ“ и въ „Трехъ сестрахъ“.

И эта удивительно схваченная Чеховымъ разногласица отражаетъ въ себѣ отрывочность, глубоко проникающую весь строй жизни. Постарайтесь, напримѣръ, уловить какую-нибудь связь въ ходѣ мыслей учителя Кулыгина. „Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будемъ же отдыхать, будемъ веселиться каждый сообразно со своимъ возрастомъ и положеніемъ. Ковры надо убрать на лѣто и спрятать до зимы. Персидскимъ порошкомъ или нафталиномъ... Римляне были здоровы, потому что умѣли трудиться, умѣли и отдыхать... Маша меня любитъ. Моя жена меня любитъ. И оконныя занавѣски тоже туда съ коврами... Сегодня я веселъ, въ отличномъ настроеніи духа. Маша, въ четыре часа сегодня мы у директора. Устраивается прогулка педагоговъ и ихъ семействъ“.

А вотъ послѣдовательность желаній у графа Шабельскаго въ „Ивановѣ“. Онъ мечтаетъ о выигрышѣ двухсотъ тысячъ. „А что бы вы сдѣлали, если бы вы выиграли?“ — спрашиваетъ его Анна Петровна. — „Я прежде всего поѣхалъ бы въ Москву и цыганъ послушалъ. Потомъ... потомъ махнулъ бы въ Парижъ. Нанялъ бы себѣ тамъ квартиру, ходилъ бы въ русскую церковь“.— „А еще что?“— „По цѣлымъ днямъ сидѣлъ бы на женينوи могилѣ и думалъ. Такъ бы я и сидѣлъ на могилѣ, пока не околѣлъ“. Цыганки, русская церковь въ Парижѣ и могила жены — попробуйте связать все это.

Примѣровъ нескладицы, составляющей изъ такихъ отрывочныхъ ключковъ, у Чехова — цѣлая бездна. И всѣ эти отдѣльныя пятнышки, въ свою очередь, тонутъ въ общемъ основномъ фонѣ отрывочности и безсвязности. Въ первый періодъ дѣятельности Чехова эта особенность изображаемой жизни больше смѣшила и представлялась ему въ комическомъ видѣ. Вслѣдъ затѣмъ она обернулась къ нему своей грустной и серьезной стороной. Съ теченіемъ времени у него возникла потребность найти очъ къ данному явленію, стремленіе поискать выхода изъ

него или, по крайней мѣрѣ, яснѣе формулировать причины его. Въ качествѣ художника, онъ склоненъ былъ формулировать свои заключенія, даже когда они обобщались имъ, въ конкретной формѣ. Они являются у него въ видѣ указаній на опредѣленные конкретныя явленія дѣйствительности. Общій смыслъ ихъ въ наглядныхъ образахъ выраженъ, между прочимъ, въ слѣдующихъ словахъ студента Трофимова въ „Вишневомъ саду“:

„Громадное большинство изъ насъ, девяносто-девять изъ ста живутъ какъ дикари, — чуть что — сейчасъ зуботычина, брань, бѣдятъ отвратительно, спятъ въ грязи, въ духотѣ, вездѣ клопы, смрадъ, сырость, нравственная нечистота. И, очевидно, всѣ хорошіе разговоры у насъ для того только, чтобы отвести глаза себѣ и другимъ. Уважите мнѣ, гдѣ ясли, о которыхъ говорятъ такъ много и часто, гдѣ читальни? О нихъ только въ романахъ пишутъ, на дѣлѣ же ихъ нѣтъ совсѣмъ. Есть только грязь, пошлость, азіатчина... Называютъ себя интеллигенціей, а прислугѣ говорятъ „ты“, съ мужиками обращаются какъ съ животными, учатся плохо, серьезно ничего не читаютъ, ровно ничего не дѣлаютъ, о наукахъ только говорятъ, въ искусствѣ понимаютъ мало. Громадное большинство той интеллигенціи, какую я знаю, ничего не ищетъ, ничего не дѣлаетъ и къ труду пока не способно“.

Таковыми же картинами характеризуютъ дѣйствительность разныя лица въ „Трехъ сестрахъ“, въ „Дядѣ Ванѣ“, въ „Моей жизни“, въ „Учителѣ словесности“, въ „Крыжовникѣ“.

Во всѣхъ этихъ характеристикахъ русской жизни центральная мысль Чехова заключалась въ контрастѣ между „хорошими разговорами“ интеллигенціи и окружающей ее духотой, грязью, пошлостью, „азиатчиной“. Именно этотъ контрастъ обращаетъ жизнь въ „клички жизни“, въ отрывки, въ которыхъ „все случайно“, изъ которыхъ „никакого вывода сдѣлать нельзя“, которые „не оставляютъ въ памяти ни малѣйшаго слѣда и забудутся“. Эта мысль въ еще болѣе общей формѣ высказана въ „Крыжовникѣ“, гдѣ жизнь характеризуется такъ: „наглость и праздность сильныхъ, невѣжество и скотоподобіе слабыхъ, кругомъ бѣдность невозможная, тѣснота, вырожденіе, пьянство, лицемеріе, вранье“. При этомъ — „все тихо, спокойно, и протестуетъ одна только нѣмая статистика: — столько-то съ ума сошло, столько-то ведеръ выпито, столько-то дѣтей погибло отъ недоданія“.

Не останавливаясь долѣе на общихъ сужденіяхъ этого рода, мы видимъ, что въ нѣкоторыхъ образахъ Чеховъ подходитъ съ

нѣсколько иной стороны къ освѣщенію того же основного явленія, т.-е. къ расколотости жизни на двѣ половины, рѣзко отдѣленные другъ отъ друга: „хорошіе разговоры“ или идеи съ одной стороны, и азіатчину, скотоподобіе, вырожденіе и прочее — съ другой. Чеховъ, именно, очень любилъ изображать узкихъ людей, рабовъ мелкихъ мыслей, узкихъ формулъ. Его усиленно интересовало это любопытнѣйшее воплощеніе жизни, слагающейся изъ мелкихъ ключевъ, это оригинальнѣйшее изъ проявленій общественной и духовной непристроенности. Фигуры этой категоріи глубоко влекли его къ себѣ, какъ художника, — онѣ его и тѣшили, и возмущали.

Всѣ онѣ — разновидности того, что онъ называлъ „человѣкомъ въ футлярѣ“. Въ рассказѣ „Человѣкъ въ футлярѣ“ собесѣдники говорятъ о женѣ старосты, Маврѣ, что она „женщина здоровая и неглупая, во всю жизнь нигдѣ не была дальше своего родного села, никогда не видѣла ни города, ни желѣзной дороги, а въ послѣднія десять лѣтъ все сидѣла за печью и только по ночамъ выходила на улицу“. — „Что же тутъ удивительнаго! — говорить на это одинъ изъ собесѣдниковъ. — Людей, одинокихъ по натурѣ, которые, какъ ракъ, отшельникъ или улитка, стараются уйти въ свою скорлупу, на этомъ свѣтѣ не мало“. И затѣмъ идетъ рассказъ объ учителѣ греческаго языка, Бѣликовѣ, у котораго „все было въ чехлѣ — зонтикъ, часы, перочинный ножъ и даже лицо, казалось, тоже было въ чехлѣ, такъ какъ онъ все время пряталъ его въ поднятый воротникъ“. Онъ носилъ темные очки, фуфайку, уши закладывалъ ватой, и когда садился на извозчика, то приказывалъ поднимать верхъ. Вообще, „у этого человѣка наблюдалось постоянное и непреодолимое стремленіе окружить себя оболочкой, создать себѣ, такъ сказать, футляръ, который уединилъ бы его, защитилъ бы отъ внѣшнихъ вліяній. Дѣйствительность раздражала его, пугала, держала въ постоянной тревогѣ“. Самую мысль свою Бѣликовъ также старался запрятать въ футляръ. При этомъ, опасаясь всего, онъ больше всего боится всякаго рода нарушеній, уклоненій, отступленій отъ циркуляровъ и вообще отъ установленныхъ правилъ. Если, напримѣръ, учителю не разрѣшено циркуляромъ ѣздить на велосипедѣ, то этимъ устанавливается, какъ непоколебимое правило, что ѣздить ему не полагается, и т. п.

Въ „Трехъ сестрахъ“ Кулыгинъ, по темпераменту совсѣмъ не похожій на Бѣликова, — родной братъ ему по духу: такъ же, какъ Бѣликовъ, онъ весь ушелъ въ маленькія, узенькія формулы. Онъ испытываетъ истинный душевный подъемъ, когда можетъ

сообщить что-нибудь въ родѣ „mens sana in corpore sano“, или какую-нибудь столь же интересную истину. Онъ въ самомъ непріятномъ положеніи не упускаетъ случая отмѣтить, что по-латыни при восклицаніи примѣняется вѣнчившій падежъ. Такой же „человѣкъ въ футлярѣ“ Ипполитъ Ипполитовичъ въ „Учителѣ словесности“. Онъ или молчитъ, или говоритъ длинно и съ разстановкой, и притомъ отличается особенной склонностью говорить о томъ, что всѣмъ давно извѣстно: „Въ одеждѣ спать нельзя. Отъ этого одежда портится. Спать надо въ постели, раздѣвшись“. „Женитьба — шагъ серьезный. До сихъ поръ вы были неженаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоемъ“. „Безъ пищи люди не могутъ существовать... Лошади кушаютъ овесъ и сѣно“, и т. п.

Къ „людямъ въ футлярѣ“ принадлежитъ также Власичъ въ „Сосѣдяхъ“. Это человѣкъ совсѣмъ другихъ убѣжденій и взглядовъ, чѣмъ забытые жизнью и безгласные — чѣмъ Бѣликовъ, Кулыгинъ или Ипполитъ Ипполитычъ. Онъ — свободомыслящій либераль. „Онъ въ уздѣ считается краснымъ, но и это выходитъ у него скучно. Въ его вольнодумствѣ нѣтъ оригинальности и пафоса; возмущается, негодуетъ и радуется онъ какъ-то все въ одну ноту, не эффектно и вяло. Скучнѣе всего, что даже свои хорошія, честныя идеи онъ умудряется выражать такъ, что онѣ кажутся у него банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда онъ медленно, съ глубокомысленнымъ видомъ начинаетъ толковать про честныя, свѣтлыя минуты, про лучшіе годы, или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идетъ впереди общества, или порицаетъ русскихъ людей за то, что они въ тридцать лѣтъ надѣваются халаты и забываютъ завѣты своей *almae matris*. Когда остаешься у него ночевать, то онъ кладетъ на ночной столикъ Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читалъ, то онъ выйдетъ и принесетъ Добролюбова“.

Какъ видимъ, это тоже — человѣкъ въ футлярѣ. Только его футляръ — это „хорошія, честныя идеи“, которыя онъ, даже не переставая быть искреннимъ, „умудряется“ выражать такъ, что онѣ обращаются въ шаблонъ, въ нѣчто „банальное и отсталое“.

Но спрашивается: дѣйствительно ли это онъ такъ „умудрился“, или же причины тому надо искать гдѣ-нибудь внѣ его личности, въ окружающей его жизни? Не она ли умудрилась обратить искренняго человѣка съ настоящими побужденіями и чувствами — въ скучнѣйшую машину, способную производить только шаблонъ? Если Власичу свойственны „утомительные шаблонные разговоры

объ общинѣ или о поднятїи кустарной промышленности, или объ учрежденїи сыроваренъ,—разговоры, похожіе одинъ на другой“, то не справедливо ли призвать за это къ отвѣту весь тотъ своеобразный механизмъ, который насильно въ теченіе десятиковъ лѣтъ держалъ русскихъ людей на однихъ разговорахъ и только на разговорахъ о сыроварняхъ? Благожелательному русскому человѣку некуда было уйти отъ сыроваренъ и отъ разговоровъ о поднятїи кустарной промышленности. Онъ въ нихъ и сидѣлъ безвыходно.

По поводу приведеннаго уже разсказа о феноменально уединенной жизни жены старосты Мавры, въ „Человѣкъ въ футлярѣ“, разсказчикъ заключаетъ: „Быть можетъ, тутъ явленіе атавизма, возвращеніе къ тому времени, когда предокъ человѣка не былъ еще общественнымъ животнымъ и жилъ одиноко въ своей берлогѣ, а можетъ быть это просто одна изъ разновидностей человѣческаго характера“. Но—характеръ тутъ ни при чемъ. Миліоны Мавръ, Матренъ, Авдотій и прочихъ русскихъ бабъ всю жизнь нигдѣ не бывають дальше своего села, никогда не видятъ ни города, ни желѣзной дороги, а между тѣмъ среди нихъ есть вѣдь всевозможные характеры. При чемъ тутъ характеръ, когда по всѣмъ условїямъ своей жизни, по совокупности интересовъ и отношеній, всѣмъ этимъ бабамъ ни городъ, ни желѣзныя дороги просто-на-просто ни къ чему и не нужны? Онѣ одиноки и сидятъ въ своихъ берлогахъ просто потому, что ихъ туда засадила узкая тѣснота жизни, не справляясь ни съ ихъ характерами, ни съ ихъ личностями вообще. Ихъ одиночество—явно вынужденное,—и развѣ только съ теченіемъ времени оно, можетъ быть, дѣйствительно способно повліять уже на самый характеръ. Любой изъ Чеховскихъ „людей въ футлярѣ“ засаженъ въ футляръ узостью своей профессїи, вообще мелкой ограниченностью той среды и тѣхъ общественныхъ отношеній, среди которыхъ ему суждено жить. Любопытно, напримѣръ, что указанные выше образы исключительно ограниченныхъ людей—Бѣликовъ, Ипполитъ Ипполитычъ и Кулыгинъ—всѣ трое люди одной и той же профессїи: они—учителя. Въ „Учителѣ словесности“ Никитинъ (тоже учитель) страдаетъ отъ ничтожества и пошлости жизни. „Гдѣ я, Боже мой!—пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ.—Меня окружаетъ пошлость и пошлость... Скучные, ничтожные люди, горшечки со смѣтаной, кувшины съ молокомъ, тараканы, глупыя женщины... Ничего страшнѣе, оскорбительнѣе, тоскливѣе пошлости. Бѣжать отсюда, бѣжать сегодня же, иначе я сойду съ ума!“ А что же, спрашивается, засадило его въ этотъ футляръ? Вотъ

его собственныя соображенія на этотъ счетъ. „Если бы онъ, подобно громадному большинству людей, былъ угнетенъ заботой о кускѣ хлѣба, боролся за существованіе, если бы у него бо-лѣли спина и грудь отъ работы, то ужинъ, теплая, уютная квар-тира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшеніемъ его жизни; теперь же все это имѣло какое-то странное неопредѣленное значеніе“. Вотъ, значитъ, какія обще-ственные комбинаціи засадили его въ тотъ футляръ, подъ кото-рымъ онъ изнываетъ отъ пустоты и пошлости жизни. Этотъ футляръ созданъ тѣсными перегородками, отдѣляющими его отъ того большинства людей, у которыхъ „болятъ спина и грудь отъ работы“. А откуда происходитъ та пустота существованія, которая такъ характеризуетъ Аріадну въ повѣсти того же имени? Подъ какой футляръ попала она?

Вотъ какъ ее характеризуетъ Шамохинъ:

„Часто, глядя, какъ она спитъ или ѣстъ, или старается придать своему взгляду наивное выраженіе, я думаю: для чего же даны ей Богомъ эта необыкновенная красота, грація, умъ? Неужели для того только, чтобы валяться въ постели, ѣсть и лгать, лгать безъ конца? Она была дьявольски хитра и остро-умна, и въ обществѣ умѣла казаться очень образованнымъ, передовымъ человѣкомъ... Главнымъ, основнымъ свойствомъ этой жен-щины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, повидимому безъ всякой надобности, а какъ бы по инстинкту, по тѣмъ же побужденіямъ, по какимъ воробей чиркаетъ или тараканъ шевелитъ усами. Она хитрила со мной, съ лакеями, съ портѣе, съ торговцами въ магазинахъ, со зна-комыми; безъ кривлянья и лманья не обходился ни одинъ раз-говоръ, ни одна встрѣча. Нужно было войти въ нашъ номеръ мужчинъ,—это бы онъ ни былъ, гарсонъ или баронъ,—какъ она мѣняла взглядъ, выраженіе, голосъ и даже контуры ея фи-гуры мѣнялись... И все это для того, чтобы нравиться, имѣть успѣхъ, быть обаятельной! Она просыпалась каждое утро съ единственною мыслью: „нравиться“! И это было цѣлью и смы-сломъ ея жизни. Если бы я сказалъ ей, что на такой-то улицѣ въ такомъ-то домѣ живетъ человѣкъ, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, плѣнять, сводить съ ума“.

Женщины, подобныя Аріаднѣ—а Чеховъ ихъ изобразилъ не одинъ разъ—явный продуктъ данной общественной среды. Это не просто случайный душевный складъ, а продуктъ специаль-ныхъ общественныхъ отношеній,—которые отнимаютъ у женщины,

какъ нормальной и осмысленной участницы жизни, все ея живое содержаніе. Совокупность фальшивыхъ общественныхъ отношеній дѣлаетъ изъ нея легкомысленную, изломанную и жадную прожигательницу жизни, у которой во всѣ поры существованія проникають фальшь и бездушная жажда успѣха.

По словамъ рассказчика, женщина въ такихъ условіяхъ обращается въ „человѣка-звѣря“; единственная цѣль жизни этого человѣка-звѣря — нравиться самцу и умѣть побѣдить этого самца. И образы Чехова ясно рисуютъ картину тѣхъ общественныхъ условій, въ которыхъ это коренится. Черезъ массу рассказовъ у него проходитъ густая сѣть отношеній, которая перегораживаетъ жизнь на узенькія клѣтки и, сажая въ нихъ людей, обращаетъ ихъ въ такія созданія, какъ Аріадна, Раневская въ „Вишневомъ саду“, Аня въ „Аннѣ на шеѣ“, Ольга Дмитріевна въ „Супругѣ“ и тысячи имъ подобныхъ. Аріадна, напримѣръ, по природѣ натура очень одаренная: „она поэтично вѣрила въ Бога, поэтично разсуждала о смерти, и въ ея душевномъ складѣ было такое богатство оттѣнковъ, что даже своимъ недостаткамъ она могла придавать какія-то особенныя, милыя свойства“. — И такая дѣвушка, въ какомъ видѣ она себѣ представляетъ будущее? „Она, опредѣленно не знавшая, для чего собственно она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя въ будущемъ не иначе, какъ очень богатою и знатною; ей грезились балы, скачки, либри, роскошная гостиная, свой салонъ и цѣлый рой графовъ, князей, посланниковъ“. Къ ней сватается князь, человѣкъ богатый, но совершенно ничтожный. Она отказывается ему наотрѣзъ. Но — „какъ мужикъ дуется съ отвращеніемъ на квасъ съ тараканами и все-таки пьетъ, такъ и она брезгливо морщилась при воспоминаніи о князѣ и все-таки говорила: что ни говорите, а въ титулѣ есть что-то необъяснимое, обаятельное“.

„Какъ неудобно и скучно живется сытымъ и богатымъ! — восклицаетъ рассказчикъ, — какъ вяло и слабо воображеніе у нихъ, какъ несмѣлы ихъ вкусы и желанія“!.. Но именно этотъ-то микроскопическій міръ, который ограниченъ слабымъ воображеніемъ и несмѣлыми вкусами и желаніями, для Аріадны — все. Для нея все — ничтожный по своимъ интересамъ *grand monde*, о которомъ такъ саркастически отзывался гр. Л. Толстой, и замыкающій къ нему столь же микроскопическій и убогій міръ изъядной сытости и всяческаго безпутства. Въ этомъ мірѣ она чувствуетъ въ своей тарелкѣ даже въ самыхъ затруднительныхъ положеніяхъ. „Понадобилась ей новая лошадь, а денегъ нѣтъ — ну, что-жъ за бѣда? Можно продать что-нибудь или

заложить, а если приказчикъ божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать съ флигелей желѣзныя крыши и спустить ихъ на фабрику, или же въ самую горячую пору погнать рабочихъ лошадей на базаръ и продать тамъ за безцѣнокъ“.

Тѣми же чертами обрисованы и Раневская въ „Вишневомъ саду“, и Аня въ „Аннѣ на шеѣ“, и другія. Всѣ онѣ, въ маленькой клѣтѣ, созданной извѣстными общественными комбинаціями, чувствуютъ себя такъ, какъ будто эта искусственная клѣточка—вся вселенная. Въ наивной убѣжденности, которою онѣ при этомъ проникнуты, заключается комизмъ, а подчасъ и трагизмъ ихъ жизни.

Съ ясностью, не оставляющей желать ничего больше, это положеніе изображено у Чехова на цѣломъ рядѣ фигуръ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ. Вотъ, напримѣръ, Лубковъ въ „Ариаднѣ“: онъ „любилъ природу, но смотрѣлъ на нее, какъ на нѣчто давно уже извѣстное, притомъ по существу стоящее неизмѣримо ниже его и созданное только для его удовольствія. Бывало, остановится передъ какимъ-нибудь великолѣпнымъ пейзажемъ и скажетъ:—Хорошо бы здѣсь чайку попить!“ Точно такъ же Оленька въ повѣсти „Душечка“: когда она замужемъ за антрепренеромъ оперетки, то находитъ, что „самое замѣчательное, самое важное и нужное на свѣтѣ—это театръ, и что получить истинное наслажденіе и стать образованнымъ и гуманнымъ можно только въ театрѣ“. Когда, послѣ смерти антрепренера, она вышла замужъ за лѣсоторговца, то — „ей казалось, что она торгуетъ лѣсомъ уже давно-давно, что въ жизни самое важное и нужное—это лѣсъ“, и о театрахъ она говорила: „Намъ съ Васечкой некогда по театрамъ ходить. Мы люди труда, намъ не до пустяковъ. Въ театрахъ этихъ что хорошаго?“

Для футлярныхъ людей весь міръ покрывается логиею тѣхъ маленькихъ общественныхъ клѣтокъ, которыя отведены для нихъ общественными условіями,—клѣтокъ, которыя наглухо отгорожены отъ остального міра. И когда въ этихъ клѣточкахъ люди чувствуютъ себя совершенно въ своей тарелкѣ, то въ этомъ заключается неисчерпаемый источникъ комическихъ положеній.

Вотъ брандмейстеръ въ „Господахъ обывателяхъ“. „Видите ли,—говоритъ онъ,—самое важное въ жизни человѣческой,—это каланча и всякій ученый вамъ это скажетъ“. Въ томъ же духѣ, очевидно, думаетъ приказчикъ въ оружейномъ магазинѣ относительно револьверовъ. Граціозно поворачиваясь и сѣменя ножками, этотъ господинъ съ французской фигуркой дѣлаетъ видъ, что

задыхается отъ восторга, показывая револьверы и обнаруживая всѣ ихъ достоинства. „О, мсье,—говорить онъ,—вы не знаете, какое негодование возбуждаетъ во мнѣ современная порча нравовъ! Любить чужихъ женъ теперь такъ же принято, какъ курить чужія папиросы и читать чужія книги. Съ каждымъ годомъ у насъ торговля становится все хуже и хуже,—это не значитъ, что любовниковъ становится все меньше, а значитъ, что мужья мирятся со своимъ положеніемъ и боятся суда и каторги“. Въ томъ же заключается комизмъ выходки телеграфиста Козьмодемьянскаго, который записываетъ въ жалобную книгу на станціи: „Такъ какъ меня прогоняютъ со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что всѣ вы мошенники и воры“, или неизвѣстнаго, записавшаго въ ту же книгу во всеобщему свѣдѣнію — „Катинька, я васъ люблю безумно!“ Или коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ („Радость“), который не слышитъ ногъ подъ собой отъ радости, что про него напечатано въ газетѣ, какъ онъ, „выходя изъ портерной и находясь въ нетрезвомъ состояніи, поскользнулся и упалъ подъ лошадь“, а „ударъ, который онъ получилъ оглоблей по затылку, отнесенъ къ легкимъ“. Или чиновникъ, который чрезвычайно огорченъ, зачѣмъ онъ „училъ стереометрію, ежели ея въ программѣ нѣтъ, — вѣдь цѣлый мѣсяцъ надъ ней, подлой, сидѣлъ; этакая жалость“.

Во всѣхъ этихъ разнообразныхъ обстоятельствахъ люди съ комической наивностью не замѣчаютъ разницы между объемомъ того микроскопическаго уголка, который ихъ цѣликомъ поглощаетъ, и дѣйствительными размѣрами жизни. Они разсуждаютъ и дѣйствуютъ въ полной увѣренности, что интересы и логика ихъ уголка суть интересы и логика всего міра. И въ этой увѣренности заключается комизмъ ихъ положенія.

Этотъ же мотивъ лежитъ въ основѣ многихъ Чеховскихъ изображеній простонародья, дѣтей и животныхъ. И тутъ опять передъ нами трогательная беспомощность узенькаго умственнаго кругозора, наивно прилагающаго свои мѣрила къ тому, что выходитъ за его предѣлы. Чертами этого рода блещутъ у Чехова фигуры мелкихъ ремесленниковъ, прислуги и всякаго вообще простонародья, также дѣтей и животныхъ. Это—особый Чеховскій міръ, освѣщенный неотразимымъ свѣтомъ добродушно-спокойнаго Чеховскаго настроенія. Любопытно при этомъ отмѣтить, что даже у дѣтей и животныхъ эта комическая ограниченность кругозора рисуется Чеховымъ не просто какъ свойство природы, а ереплется съ элементами общественнаго порядка. Собаку Китанку, когда она потеряла на улицѣ хозяина, толкаютъ по-

гами безостановочно спующіе взадъ и впередъ „незнакомые заказчики“. — „Все человѣчество Каштанка дѣлитъ на двѣ очень неравныя части: на хозяевъ и на заказчиковъ; между тѣми и другими была существенная разница: первые имѣли право бить ее, а вторыхъ она сама имѣла право хватать за икры“. Мальчикъ Гриша, маленькій семилѣтній карапузикъ („Кухарка женится“), недоумѣваетъ, почему это „кухарка женится“. Всѣ обстоятельства сватовства извозчика Данилы за кухаркой Пелагеей — сплошь какой-то кавардакъ, въ которомъ и взрослые путаются. „Ты этого Данилу раньше видала?“ спросила барыня Пелагею. „Гдѣ мнѣ его видѣть? Первый разъ сегодня вижу, Аксинья откуда-то привела... чорта океаннаго... И гдѣ онъ взялся на мою голову?“ — За обѣдомъ, когда Пелагея подавала кушанья, всѣ обѣдавшіе засматривали ей въ лицо и дразнили ее извозчикомъ. Она страшно краснѣла и принужденно хихикала. „Должно быть, совѣстно жениться, — думалъ Гриша. — Ужасно совѣстно!“ Гриша воображаетъ, что „на папѣ и Павлѣ Андреечѣ, такъ и быть ужъ, можно жениться: у нихъ есть золотыя цѣпочки, хорошіе востюмы, у нихъ всегда сапоги чищенные; но жениться на этомъ страшномъ извозчикѣ съ краснымъ носомъ, въ валенкахъ... фи! И почему это нянькѣ хочется, чтобъ бѣдная Пелагея женилась?“ ... Когда на слѣдующій день послѣ свадьбы извозчикъ, зайдя въ кухню, сурово взглянувъ на Пелагею, ведетъ себя господиномъ, Гриша задумывается. „Жила Пелагея на волѣ, какъ хотѣла, не отдавая никому отчета, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, явился какой-то чужой, который откуда-то получилъ право на ея поведеніе и собственность. Гришѣ стало горько. Ему страшно, до слезъ захотѣлось приласкать эту, какъ онъ думалъ, жертву человѣческаго насилия“. И онъ является ей на помощь — съ простодушной точки зрѣнія своихъ маленькихъ дѣтскихъ желаній. „Выбравъ въ кладовой самое большое яблоко, онъ прокрался на кухню, сунулъ его въ руки Пелагеи и опрометью бросился назадъ“.

Комизмъ тутъ — двойной. Не только маленькая дѣтская головка комически безсильна охватить своеобразныя противорѣчія жизни, но въ наивной безпомощности дѣтской души только ярче и чище отражается безпомощность взрослыхъ. Взрослые тоже, точно малыя дѣти, барахтаются въ дѣйствительности, изумительно перегородженной на безсвязныя клѣтки и клочки. Только они уже притерпѣлись къ этому порядку вещей; они въ этомъ кавардакѣ чувствуютъ себя довольно непринужденно. И ихъ непринужденность, по меньшей мѣрѣ, столь же комична, какъ тѣ по-своему

простыя объясненія, которыми разрѣшаетъ свои недоумѣнія маленький Гриша.

Въ другомъ разсказѣ изъ міра дѣтской души („Дома“) товарищъ прокурора хочетъ убѣдить своего семилѣтняго сынишку, чтобы онъ не курилъ. Происходитъ разговоръ между отцомъ и мальчикомъ, очаровательная прелесть котораго не поддается пересказу. Отецъ чувствуетъ свое полное безсиліе. „Что я ему скажу? — думалъ Евгенийъ Петровичъ. — Онъ меня не слушаетъ. Очевидно, онъ не считаетъ важными ни своихъ проступковъ, ни моихъ доводовъ. Какъ втолковать ему? У него свое теченіе мыслей!“ „У него въ головѣ свой мірокъ и онъ по-своему знаетъ, что важно и неважно. Чтобы овладѣть его вниманіемъ и сознаніемъ, недостаточно подтасовываться подъ его языкъ, но нужно также умѣть и мыслить на его манеръ. Онъ отлично бы понялъ меня, если бы мнѣ въ самомъ дѣлѣ было жалъ табакъ, если бы я обидѣлся, заплакалъ. Потому-то матери незамѣтны при воспитаніи, что онѣ умѣютъ заодно съ ребенкомъ чувствовать, плакать, хохотать... Логикой же и моралью ничего не подѣлаешь. Ну, что я ему еще скажу? Что?“ И Евгению Петровичу казалось страннымъ и смѣшнымъ, что онъ — опытный правовѣдъ, полжизни упражнявшійся во всякаго рода пресѣченіяхъ, предупрежденіяхъ и навазаніяхъ, рѣшительно терялся и не зналъ, что сказать мальчику“. Черезъ нѣкоторое время отецъ рассказываетъ сыну сказочку, конецъ которой случайно получаетъ такой оборотъ, что царевичъ отъ куренія заболѣлъ чахоткой и умеръ, а царство отъ этого погибло. Конецъ этотъ самому Евгению Петровичу кажется смѣшнымъ и наивнымъ. Но на маленькаго Сережу, у котораго „въ головѣ свой мірокъ“, сказка произвела сильное впечатлѣніе. „Глаза его подернулись печалью и тѣмъ-то похожимъ на испугъ. Минуту онъ глядѣлъ задумчиво на темное окно, вздрогнулъ и сказалъ упавшимъ голосомъ: — Не буду я больше курить“.

Теплый юморъ разсказа главнымъ образомъ основанъ на томъ, что наивная логика дѣтской души, при всей своей ограниченности, въ изображеніи художника является силой, которая вскрываетъ гораздо болѣе тѣсную ограниченность логики взрослыхъ, забывшейся во всякаго рода „пресѣченіяхъ, предупрежденіяхъ и навазаніяхъ“. Жертвы этой логики забываютъ, что на свѣтѣ есть мудрецы, которыя не сняты мудрецамъ, а въ особенности тѣмъ мудрецамъ, которые сидятъ въ футлярахъ. И когда они подходятъ съ этой логикой къ наивному и простому дѣтскому міру, то ихъ постигаетъ комическій конфузъ: миниатюрный дѣтскій

мірокъ оказывается какъ будто шире ихъ условнаго большаго міра.

Комическіе эффекты футлярной жизни въ образахъ Чехова образуютъ цѣлую лѣстницу постепенныхъ переходовъ въ драмѣ. Даже тогда, когда обыватель чувствуетъ себя въ футлярахъ привольно, онъ иногда получаетъ отъ дѣйствительности суровыя и совсѣмъ не комичныя напоминанія о жизни за предѣлами футляра. Элементарно смѣшна въ своей скупости и жадности Аркадина въ „Чайкѣ“, у которой есть деньги на туалеты и которая, уѣзжая изъ имѣнія, оставляетъ на чай тремъ слугамъ одинъ рубль. Далекъ уже не смѣшнъ, а больше жалокъ Медвѣденко въ той же пьесѣ, который не можетъ говорить ни о чемъ, чтобы не вспомнить, что онъ получаетъ двадцать-три рубля въ мѣсяцъ, „да и еще вычитаютъ эмеритуру“, или что у него въ домѣ шестеро, а мука—семь гривенъ пудъ. Такъ же смѣшнъ и жалокъ Боркинъ въ „Ивановѣ“, который вѣчно носитъ съ проектами, какъ бы кого обжечь. Комическій элементъ уже сильно ступевывается предъ драмой въ „Скрипкѣ Ротшильда“, гдѣ гробовщикъ, онъ же скрипачъ Яковъ, никогда не бываетъ въ хорошемъ расположеніи духа—по той причинѣ, что „ему постоянно приходилось терпѣть страшныя убытки“. И эти „убытки“ никогда не даютъ ему ни покоя, ни жизни. Когда онъ похоронилъ свою старую жену, то „за гробомъ шли старухи, нищія, двое юродивыхъ и встрѣчный народъ набожно крестился. И Яковъ былъ очень доволенъ, что все такъ честно, благопристойно и дешево“. И „прощаясь въ послѣдній разъ съ Марей, онъ потрогалъ рукой гробъ и подумалъ: хорошая работа!“ Но, вернувшись домой съ кладбища, онъ въ первый разъ сообразилъ, что за пятьдесятъ-два года совместной жизни онъ ни разу не приласкалъ ее, не пожалѣлъ или не обратилъ на нее вниманія, „какъ будто она была кошка или собака“. И вся жизнь этого человѣка сплошь прикрыта и придавлена душнымъ футляромъ, не дающимъ вздохнуть и подумать ни о чемъ, кромѣ „хорошей работы“ и о томъ, чтобы „не было убытковъ“. Даже въ предсмертной агоніи, когда ему кажется, что жизнь прошла безъ пользы, пропала зря, ни за понюшку табаку, ему представляется это такъ, что „посмотришь назадъ—такъ ничего, кромѣ убытковъ и такихъ страшныхъ, что даже ознобъ беретъ“. „И почему—думаетъ онъ—человѣкъ не можетъ жить такъ, чтобы не было потерь и убытковъ? Зачѣмъ люди дѣлаютъ всегда именно не то, что нужно? Зачѣмъ Яковъ всю свою жизнь бранился, рычалъ, бросался съ булаками, обижалъ свою жену? Зачѣмъ люди вообще“

мѣшаютъ жить другъ другу? Вѣдь отъ этого какіе убытки! Какіе страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, то люди имѣли бы другъ отъ друга громадную пользу“.

Въ фигурѣ Якова комическое переходитъ уже въ драму. Но глубокий комизмъ остается и тутъ въ той убѣжденности, съ которой гробовщикъ мѣряетъ всю человѣческую жизнь мѣриломъ тѣснаго, удушливаго „футляра“ — „хорошей работой“ и „убытками“. Комизмъ тутъ, какъ и въ длинномъ рядѣ фигуръ и положеній Чехова, заключается въ той непоколебимой убѣжденности, съ которой логика тѣсно отгороженного кружка навязывается всему объему жизни. Съ выходомъ въ болѣе широкія перспективы укороченная логика терпитъ фіаско. Но это не нарушаетъ убѣжденности ея жертвъ, этихъ комиковъ по-неволѣ. И въ этомъ весь ихъ комизмъ. Онъ весь въ ясной убѣренности и непринужденности, съ которыми они двигаются въ атмосферѣ микроскопически маленькихъ клѣточекъ развинченной на части жизни.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда эти жертвы существованія въ „футлярѣ“ начинаютъ подозрѣвать, что около ихъ маленькой клѣтки разверзается пропасти жизни въ ея настоящемъ размѣрѣ, налицо имѣются уже задатки драмы. Съ своими футлярными мыслями, чувствами и привычками они въ этихъ условіяхъ испытываютъ беспокойство, раздраженіе и страхъ; всего чаще — испугъ и чувство виноватости. Это испугъ и виноватость — неизвѣстно передъ чѣмъ, или вѣрнѣе — передъ тѣмъ неизвѣстнымъ, которое лежитъ по ту сторону футляра.

Въ рассказѣ „Страхъ“ изображенъ Дмитрій Петровичъ Силинъ, человѣкъ, „замученный“ жизнью. „Глаза у него были грустные, искренніе и немножко испуганные, какъ будто онъ собирался рассказать что-нибудь страшное“. „Мнѣ страшно — говорить онъ — главнымъ образомъ обыденщина, отъ которой никто изъ насъ не можетъ спрятаться. Я сознаю, что условія жизни и воспитанія заключили меня въ тѣсный кругъ лжи. И мнѣ страшно отъ мысли, что я до самой смерти не выберусь изъ этой лжи. Я не понимаю людей и боюсь ихъ. Мнѣ страшно смотрѣть на мужиковъ; я не знаю, для какихъ такихъ высшихъ цѣлей они страдаютъ и для чего они живутъ. — Мнѣ непонятно, и у и для чего нужна эта инвизиція“. Эти нѣсколько общія соображенія разрѣшаются затѣмъ конкретной драмой, составляющей содержание рассказа. Дмитрій Петровичъ женился по страстной любви. Жена же ему сказала: „я васъ не люблю, но буду вамъ вѣра“. Условіе это онъ принялъ съ восторгомъ. „Я тогда по-

нималъ, что это значить, но теперь, клянусь Богомъ, не понимаю. Это туманъ, потемки..." Эти потемки его страшатъ, потому что онъ безумно влюбленъ въ свою жену. „Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь къ женщинѣ, отъ которой имѣешь уже двухъ дѣтей! Развѣ это понятно и не страшно? Развѣ это не страшнѣе привидѣній?" Когда въ самый день этой исповѣди онъ становится свидѣтелемъ грубой измѣны жены, онъ не рветъ и мечетъ, а смущенно ступевывается. Чувство испуга смѣняется въ немъ смущеніемъ человека, который чувствуетъ себя виноватымъ. Предъ кѣмъ и предъ чѣмъ онъ виноватъ, этого онъ явно не понимаетъ. „Мнѣ, вѣроятно, на роду написано — говорить онъ — ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю васъ. У меня темно въ глазахъ". И не одинъ разъ мы встрѣчаемъ у Чехова фигуры людей испуганныхъ, смущенныхъ и виноватыхъ предъ чѣмъ-то непонятнымъ, что лежитъ за предѣлами очерченнаго вокругъ нихъ маленькаго круга дѣйствительности. Такая же виноватая, запуганная жизнью — Анна Сергѣевна въ „Дамѣ съ собачкой". Въ ея романѣ съ Гуровымъ все время ее одолеваетъ страхъ, испугъ передъ жизнью. У Медвѣденко въ „Чайкѣ", о которомъ у насъ была выше рѣчь, авторъ отмѣчаетъ даже, что у него походка „виноватая". Въ разсказѣ „Мечты" изображенъ бродяга, бѣжавшій съ каторги, въ которую сосланъ по чужой винѣ. Подъ конвоемъ двухъ сотскихъ, на переходѣ, онъ мечтаетъ о вольной жизни, о томъ, какъ онъ будетъ рыбку ловить („наипервѣйшее мнѣ удовольствіе") и т. п. Мечтаютъ и сотскіе. Въ этихъ мечтахъ „сотскіе напрягаютъ умъ, чтобы обнять воображеніемъ то, что можетъ вообразить себѣ развѣ одинъ только Богъ, а именно то страшное пространство, которое отдѣляетъ ихъ отъ вольнаго края". Въ головѣ же бродяги „тѣснятся картины ясныя, отчетливыя и болѣе страшныя, чѣмъ пространство. Передъ нимъ живо вырастаютъ судебная волокита, пересильныя и каторжныя тюрьмы, арестантскія барки, томительныя остановки на пути, студенныя зимы, болѣзни, смерти товарищей..." И „бродяга виновато моргаетъ глазами... и боязливо оглядывается". Въ разсказѣ „Кошмаръ" отецъ Яковъ, буквально, замученъ голодомъ. Между тѣмъ, онъ кормитъ стараго, прогнаннаго за „слабость", предмѣстника; у него сидитъ безъ хлѣба и „хуже кухарки" молодая попадья, „бѣлоручка и нѣжная". По его словамъ, „она привыкла и къ чаю, и къ бѣлой булкѣ, и къ простынямъ... Она у родителей на фортепьянахъ играла... хочется, небось, и нарядиться, и пошालить, и въ гости съѣздить". И без-

сильный помочь себѣ, отецъ Яковъ „робкимъ и придушеннымъ голосомъ“ извиняется, что рассказываетъ о своемъ бѣдственномъ положеніи. „Извините! все это... пустое и вы не обращайтесь вниманія... А только я себя виню и буду винить. Буду!“ Видите ли, онъ самъ виноватъ!

Такъ же чувствуютъ себя виноватыми Липа (въ повѣсти „Въ оврагѣ“) и ея мать, поденщица Прасковья. „Когда-то еще въ молодости одинъ купецъ, у котораго Прасковья мыла полы, разсердившись, затопалъ на нее ногами, она сильно испугалась, обомлѣла, и на всю жизнь у нея въ душѣ остался страхъ. А отъ страха всегда дрожали руки и ноги“.

Обо всей этой массѣ „виноватыхъ“ даже странно спрашивать, предъ кѣмъ они виноваты. Они напуганы жизнью, въ которой чувствуютъ себя такъ или иначе не на своемъ мѣстѣ. Они другъ друга раздражаютъ и боятся, и въ минуты особеннаго упадка духа на нихъ находитъ странное чувство виноватости. Всѣ они—жертвы общественной среды, въ которой обострены общественные контрасты и въ которой притуплена способность понимать чужіе интересы и даже свои собственные,—той среды, которая разрываетъ интересы на мелкіе клочки и бессмысленно сталкиваетъ ихъ между собой. Эта-то среда и распространяетъ вокругъ себя атмосферу раздраженія, страха и виноватости. Кто виноватъ въ бракѣ между нахальнымъ „агентомъ“, фальшивымъ монетчикомъ Анисимомъ, и кроткой, испуганной Липой („Въ оврагѣ“)? „И зачѣмъ ты отдала меня сюда, маменька!“—говоритъ она. „Замужъ идти нужно, дочка. Такъ ужъ не нами положено“,—отвѣчаетъ мать. Кто жъ тутъ виноватъ, когда такъ ужъ „положено“? Въ драмѣ между мужемъ и женой въ „Страхѣ“ кто виноватъ? Мужъ ли, который взялъ жену, категорически заявившую ему: — „я васъ не люблю, но буду вамъ вѣрна“,—или жена, которая это сказала и все-таки пошла замужъ? Вѣроятно, и она тоже думала, какъ и прачка Аесинья,—что „замужъ идти нужно, такъ ужъ не нами положено“. Виновата вся та общественная и духовная среда, въ которой возможны такіе недоразумѣнія. Виновата вся сумма тѣхъ общественныхъ контрастовъ, раздѣленій и взаимной отчужденности, при которыхъ можетъ возникнуть идея, что возможно построить семейное счастье и началъ: „я васъ не люблю, но буду вамъ вѣрна“, или на томъ, что „такъ ужъ положено“. А между тѣмъ, эта тьма непониманія лежитъ не только въ нравахъ того или другаго общественнаго слоя, а проникаетъ глубоко по всѣмъ направленіямъ. Не только вухарка Пелагея рѣшается выйти за извоз-

чика, видѣвши его всего одинъ разъ, но и Анна Сергѣевна въ „Дамѣ съ собачкой“ говоритъ про мужа: — „Мой мужъ, быть можетъ, честный, хорошій человѣкъ, но вѣдь онъ лакей! Я не знаю, что онъ дѣлаетъ тамъ, какъ служить, а знаю только, что онъ лакей“. Когда она выходила за него замужъ, ей „хотѣлось чего-нибудь получше“, — „вѣдь есть же, говорила она себѣ, — другая жизнь. Хотѣлось пожить! Любопытство жгло...“ И въ результатѣ — она даже не знаетъ, гдѣ онъ служить и что дѣлаетъ. Она допускаетъ, что онъ, быть можетъ, честный, хорошій человѣкъ, но въ то же время презираетъ его („вѣдь онъ лакей“), оставаясь глубоко ему чуждой. Точно также, когда она интимно сходится съ Гуровымъ, она опять-таки и его совершенно не знаетъ: онъ самъ думаетъ, — что „все время она называла его добрымъ, необыкновеннымъ, возвышеннымъ, — очевидно, онъ казался ей не тѣмъ, чѣмъ былъ на самомъ дѣлѣ, значить, невольно обманывалъ ее“. И дѣло тутъ не въ капризахъ судьбы, которая случайно сводитъ въ порывѣ страсти или изъ неясныхъ расчетовъ людей далекихъ другъ отъ друга, не успѣвшихъ познакомиться и ближе разглядѣть другъ друга. Даже живя одинъ около другого, эти незнакомые люди такъ до конца и остаются незнакомыми. Положеніе также далеко не исчерпывается тѣми сословными контрастами, которые имѣютъ мѣсто въ семейныхъ драмахъ — въ „Супругѣ“ или въ „Печенѣгѣ“ и другихъ. Это только частности. Все содержаніе и весь строй жизни на каждомъ шагу ставятъ всѣхъ этихъ людей такъ, что они живутъ другъ возлѣ друга по одной только „формѣ“ — не въ той близости, которая создается взаимнымъ пониманіемъ и сознаніемъ большихъ общихъ цѣлей жизни. Этой близости у нихъ нѣтъ. Связываетъ ихъ только мелкая и подневольная сторона жизни — омертвѣлыя ея формы. Убѣжденіе, что „такъ положено“, не можетъ дать живой связи; не могутъ дать ее всѣ тѣ отношенія и интересы, которые специально приноровлены къ какому-нибудь тѣсному кругу жизни и игнорируютъ то, что находится за его предѣлами. Приспособленные только къ тѣсному кругу, за его предѣлами они роковымъ образомъ наталкиваются на недоразумѣнія и создаютъ сплошную атмосферу раздраженія, испуга и виноватости. Путаясь и барахтаясь въ этой атмосферѣ, не освѣщенной сознаніемъ большихъ общихъ цѣлей, люди обезличиваются. Они теряютъ способность „жить бодро, осмысленно, красиво, играть видную, самостоятельную роль и дѣлать исторію“.

Но временами въ ихъ мірокъ врываются просвѣты на свѣтѣ другіе горизонты. Это просвѣты какого-то особаго ощу-

щенія, напоминающаго о томъ, что за предѣлами данныхъ ключевъ жизни существуетъ что-то обширное, возвышенное и, какъ любить выражаться Чеховъ, „красивое“,—что-то способное связать людей всевозможныхъ категорій одной общей большой связью, для всѣхъ равно привлекательной и сильной. Иногда они ищутъ этой общей связи совсѣмъ отвлеченно, отрываясь отъ реальной дѣйствительности, разсуждая и мечтая даже прямо наперекоръ ей. Судебному слѣдователю Лыжину („По дѣламъ службы“) приходится въ голову, что между всѣми людьми есть что-то общее въ жизни и притомъ такъ:—„въ этой жизни, даже въ самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имѣетъ одну душу, одну цѣль“. Но, самъ чувствуя что-то неладное въ этой мысли, онъ высказываетъ предположеніе, что для того, „чтобы понимать это, мало думать, мало разсуждать, надо еще, вѣроятно, имѣть даръ проникновенія въ жизнь, даръ, который дается; очевидно, не всѣмъ“. И кто обладаетъ этимъ даромъ, тотъ чувствуетъ, что всѣ люди—„не случайности, не отрывки жизни, а части одного организма, стойкаго и разумнаго“. Очевидно, то же самое чувство испытываютъ Алексинъ и Липа („Въ оврагѣ“), когда Липа выходитъ замужъ. „Чувство безутѣшной скорби готово было овладѣть ими“. „Но, казалось имъ, кто-то смотритъ съ высоты неба, изъ синевы, оттуда, гдѣ звѣзды, видитъ все, что происходитъ въ Уклеевѣ, сторожить. И какъ ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же въ Божьемъ мірѣ правда есть и будетъ, такая же тихая и прекрасная, и все на землѣ только ждетъ, чтобы слиться съ правдой, какъ лунный свѣтъ сливается съ ночью“. И послѣ этого—„обѣ, успокоенныя, прижавшись другъ къ другу, уснули“.

Не трудно понять этихъ измученныхъ женщинъ. Имъ не много надо, чтобы найти успокоеніе. Но неужели возможно хоть на минуту остановиться на мысли, что дѣйствительно „все на землѣ только ждетъ, чтобы слиться съ правдой, какъ лунный свѣтъ сливается съ ночью“, или что „всѣ люди—части одного организма чудеснаго и разумнаго“? Въ этихъ мысляхъ есть что-то опьяняющее по силѣ захвата и по разслабляющему ихъ воздѣйствію. Но если героямъ Чехова, можетъ быть, и вполнѣ естественно увлекаться мечтами, то именно имъ, какъ жертвамъ роки и разлада жизни, меньше всего пристало, хотя бы даже и въ мечтахъ, принимать дѣйствительность за „одинъ чудесный и разумный организмъ“.

[въ этомъ смыслѣ особенно интересно, когда они стано-

ваются на реальную почву и обнаруживаютъ тѣ реальныя общія условія дѣйствительности, отъ которыхъ больше всего зависитъ обращеніе этого „чудеснаго организма“ въ разрозненные отрывки глубоко безсвязнаго цѣлага. Герои Чехова съ немалымъ трудомъ пробиваются къ яснымъ формулировкамъ, но тѣмъ интереснѣе, что они въ этомъ отношеніи съ разныхъ сторонъ подходятъ къ опредѣленному заключенію,—къ тому, именно, что причины всего этого развала жизни коренятся въ явленіяхъ общественнаго порядка, и притомъ въ извѣстной области этихъ явленій.

Въ разсказѣ „По дѣламъ службы“ слѣдователь попадаетъ изъ земской избы, гдѣ лежалъ трупъ самоубійцы, въ гостепріимный домъ помѣщика. Онъ смѣется, танцуетъ кадрили, ухаживаетъ, а самъ думаетъ: „Не сонъ ли все это? Черная половина земской избы, куча сѣна въ углу, шорохъ таракановъ, противная нищенская обстановка, голоса понятыхъ, вѣтеръ, мятель, опасность сбиться съ дороги,—и вдругъ эти великолѣпныя свѣтлыя комнаты, звуки рояля, красивыя дѣвушки, кудрявыя дѣти, веселый, счастливый смѣхъ,—такое превращеніе казалось ему сказочнымъ; и было невѣроятно, что такія превращенія возможны на протяженіи какихъ-нибудь трехъ верстъ, одного часа. И скучныя мысли мѣшали ему веселиться, и онъ все думалъ о томъ, что это кругомъ не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что все здѣсь случайно, никакого вывода сдѣлать нельзя; и ему было жаль этихъ дѣвушекъ...“

Какъ видимъ, когда тутъ идетъ рѣчь объ отрывочности жизни, то имѣются въ виду совершенно конкретныя явленія. Это—общественные контрасты, общественная перегородченность и та взаимная отчужденность, отъ которыхъ и зависитъ все остальное—вся нескладица и опустошенность жизни.

Совершенно то же самое опредѣленно подчеркивается и въ „Моей жизни“, и въ „Новой дачѣ“, и въ „Крыжовникѣ“, и въ различныхъ эпизодахъ въ „Разсказѣ неизвѣстнаго человѣка“, въ „Кошмарѣ“, въ „Мужикахъ“, въ „Вишневомъ саду“ и другихъ. Вездѣ раздѣленіе жизни на рѣзко отдѣленныя общественныя перегородки не только создаетъ острые общественные контрасты, но—что еще важнѣе—лишаетъ личность тѣхъ широкихъ общественныхъ перспективъ и коренящихся въ нихъ высшихъ началъ, внѣ которыхъ она не можетъ жить по-человѣчески. Въ этихъ условіяхъ она одинока и въ своемъ одиночествѣ мельчающаго существованія—обезличивается.

Обезличивается она всякими способами и всевозможными путями. И тогда, когда принимаетъ участіе въ „наглости и праз-

дности сильныхъ“, и когда погрязаетъ въ „невѣжествѣ и скотоподобіи слабыхъ“. Она не можетъ не обезличиваться тамъ, гдѣ „брюгомъ бѣдность невозможная, тѣснота, вырожденіе, пьянство, лицемѣріе, вранье...“, т.-е., гдѣ все охвачено атмосферой общественнаго разъединенія и духовнаго одиночества. „Во всѣхъ домахъ и на улицахъ — говорится въ „Крыжовникѣ“ — тишина, спокойствіе; изъ пятидесяти тысячъ живущихъ въ городѣ — ни одного, который бы вскрикнулъ, громко возмущился. Мы видимъ тѣхъ, которые ходятъ на рынокъ за провизіей, днемъ ѣдятъ, ночью спать, которые говорятъ свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащатъ на кладбище своихъ покойниковъ; но мы не видимъ и не слышимъ тѣхъ, которые страдаютъ, и то, что страшно въ жизни, происходитъ гдѣ-то за кулисами. И такой порядокъ, очевидно, нуженъ; очевидно, счастливый чувствуетъ себя хорошо только потому, что несчастные несутъ свое бремя молча, и безъ этого молчанія счастье было бы невозможно. Это общій гипнозъ. Надо, чтобы за дверью каждаго довольнаго, счастливаго человѣка стоялъ кто-нибудь съ молоточкомъ и постоянно напоминалъ бы стукомъ, что есть несчастные, что какъ бы онъ ни былъ счастливъ, жизнь рано или поздно покажетъ ему свои когти, стрясется бѣда — болѣзнь, бѣдность, потери, и его никто не увидитъ и не услышитъ, какъ теперь онъ не видитъ и не слышитъ другихъ. Но человѣка съ молоточкомъ нѣтъ, счастливый живетъ себѣ, и мелкія житейскія заботы волнуютъ его слегка, какъ вѣтеръ осину, — и все обстоитъ благополучно“.

Такъ характеризуетъ Чеховъ то положеніе, въ которомъ никто „не видитъ и не слышитъ другихъ“. „И все обстоитъ благополучно“ — съ грустнымъ сарказмомъ заключаетъ онъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ, очевидно, думалъ наоборотъ, — что все обстоитъ неблагополучно. Въ этой атмосферѣ даже самые благополучные — въ конецъ обезличиваются и тѣмъ самымъ теряютъ все, чѣмъ цѣнна жизнь. Обезличенность со всѣми ея послѣдствіями — таковъ кардинальный фактъ, окрашивающій собой всѣ частности жизни, согласно Чехову. Обезличенность — какъ результатъ одинокаго существованія въ измельчавшей своей разрозненностью жизни. И дань обезличенности одинаково отдаютъ всѣ — и мужики, которые „однообразны, неразвиты, грязно живутъ“, и интеллигенція, съ которой „трудно ладить“, и тѣ, кто „утомляется“, потому что „мелко мыслить и мелко чувствуетъ“, — тѣ, „которые поумнѣе и покрупнѣе, но истеричны, заѣдены нализомъ, рефлексомъ... ноютъ, ненавистничаютъ, болѣзненно невещуютъ“.

Гдѣ же просвѣтъ?—спросить читатель у Чехова. Онъ только въ одномъ — въ спасеніи отъ обезличенія, т.-е. отъ всего того, что дѣлаетъ людей одинокими—жертвами разрозненной, мельчающей жизни. И съ своей замѣчательной любовью къ ясности и простотѣ, къ яснымъ и простымъ чувствамъ, мыслямъ и задачамъ, Чеховъ видѣлъ исходъ не въ чемъ-нибудь сверхъестественномъ или сверхчеловѣческомъ, а въ томъ, что непременно слѣдуетъ искать около себя, въ окружающихъ насъ условіяхъ жизни. Къ его любимымъ идеямъ за послѣдніе годы принадлежала простая мысль о необходимости усиленнаго труда на пользу культуры. И для склада его мысли характерно то, что въ этомъ желанномъ дѣлѣ онъ выше всего ставилъ широкую общественную перспективу и требованіе преемственности культурной работы. Въ этомъ отношеніи интересныя слова Чехова приводитъ Горькій въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ. „Странное существо—русскій челоѣкъ. Въ немъ, какъ въ рѣшетѣ, ничего не задерживается... Въ юности онъ жадно наполняетъ душу всѣмъ, что подъ руку попало, а послѣ тридцати лѣтъ въ немъ остается какой-то сѣрый хламъ... Чтобы хорошо жить, надо же работать! Работать съ любовью, съ вѣрой... А у насъ не умѣютъ этого... Архитекторъ, выстроивъ два-три приличныхъ дома, садится играть въ карты, играетъ всю жизнь или же торчитъ за кулисами театра. Докторъ, если онъ имѣетъ практику, перестаетъ слѣдить за наукой, ничего, кромѣ „Новостей терапіи“, не читаетъ и въ сорокъ лѣтъ серьезно убѣжденъ, что всѣ болѣзни—простуднаго происхожденія... Актеръ, сыгравши сносно двѣ-три роли, ужъ не учитъ больше ролей, а надѣваетъ цилиндръ и думаетъ, что онъ гений. Вся Россія—страна какихъ-то жадныхъ и лѣнивыхъ людей“. Для самого Чехова трудъ и радость труда связывались даже въ его интимной личной жизни прежде всего съ сознаниемъ необходимости преемственности. По свидѣтельству Куприна, Чеховъ, хлопоча въ своемъ саду, говаривалъ: „Вѣдь здѣсь до меня былъ пустырь и нелѣпые овраги, всѣ въ камняхъ и чертополохѣ. А я вотъ пришелъ и сдѣлалъ изъ этой дичи культурное, красивое мѣсто“. Таковъ былъ простой, реальный смыслъ того пантеистическаго чувства, которое проникаетъ многія изъ его произведеній. И таковъ же смыслъ призыва, съ которымъ обращается студентъ Трофимовъ въ „Вишневомъ саду“, восторженно восклицая: „Здравствуй, новая жизнь!“ Онъ тоже проповѣдуетъ трудъ, притомъ—„необычайный, непрерывный трудъ“,—и глубоко возмущается тѣмъ, что „у насъ нѣтъ опредѣленнаго отношенія къ прошлому“,—„мы только философствуемъ, жалуемся на тоску!

или пьемъ воду". — Самъ онъ къ этому прошлому чувствуетъ тяжелое общественное обязательство. „Вѣдь такъ ясно,—говоритъ онъ,—чтобы начать жить въ настоящемъ, надо сначала искупить наше прошлое, покончить съ нимъ". А въ будущемъ онъ предвидитъ, что „человѣчество идетъ къ высшей правдѣ, къ высшему счастью, какое только возможно на землѣ". — „И я въ первыхъ рядахъ!—восклицаетъ онъ.— Душа моя всегда, во всякую минуту, и днемъ и ночью, полна неизъяснимыхъ предчувствій. Я предчувствую счастье... я уже вижу его... Если мы не увидимъ, не узнаемъ его,—прибавляетъ онъ,—то что за бѣда? Его увидятъ другіе!"

Его увидятъ—такъ свидѣлствуетъ намъ совокупность образовъ и творчества Чехова — тѣ, кто преодолѣтъ роковой развалъ мельчающей жизни, которая обезличиваетъ человѣка и тѣмъ самымъ опустошаетъ и принижаетъ смыслъ существованія. Его увидятъ тѣ, кто избавится отъ остроты общественныхъ раздѣленій, контрастовъ и неравенствъ, дробящихъ на мелкія, безсвязныя части и общество, и все содержаніе жизни. Они его увидятъ, потому что для нихъ существованіе перестанетъ быть „блочками жизни", непристроенными „отрывками, въ которыхъ все случайно".

А. Красносельскій.



РОЗА САРОНА

ПОВѢСТЬ.

I.

Егоръ, садовникъ, только-что облилъ изъ резинового рукава пышный бордюръ цвѣтущихъ нарцисовъ, съ ихъ сочной крупной зеленью, блѣдными бутонами и благоуханными серебряными звѣздами. Всѣ влюблены въ нарцисы еще и потому, что это — первые дачные цвѣты.

Потомъ Егоръ ступилъ своимъ огромнымъ сапогомъ въ середину балконной куртины и принялся бережно навивать на натянутые шнуры нѣжные стебельки convolvulus'a, и его загорѣлыя щеки налились здоровымъ румянцемъ.

Папа, въ гимназической сѣрой рубашкѣ и безъ фуражки, присѣлъ на ближайшей скамейкѣ; его сапоги, лѣвый рукавъ и черные брюки обрызганы водой, послѣ схватки съ Егоромъ, не позволившимъ поливать всѣ куртины, какъ хотѣлось Пашѣ.

— Вечёръ пожалуйста, тогда все кряду поливать будемъ, — сказалъ Егоръ.

— И все врешь! самому лѣнь, вотъ и нельзя! — злился Папа, нарочно вставшій рано, чтобы поливать изъ рукава.

Въ домѣ всѣ еще спали.

Въ нарядномъ садикѣ большой дачи Найдено-Горлецкихъ тихое майское утро сіяло на изумрудныхъ газонахъ, испещренныхъ золотыми и бѣлыми звѣздочками весеннихъ цвѣтовъ, и на многоцвѣтныхъ узорахъ недавно засаженныхъ куртинъ, и въ прозрачной еще листвѣ кустовъ и деревьевъ. Утро щебетало, жужжало, стрекотало и шуршало незримымъ ликующимъ хоромъ; оно вливалось трепетными волнами звуковъ и красокъ, вымы-

вало изъ мозга и сердца все себѣ чуждое и увлекало въ великій таинственный круговоротъ...

Паша не замѣтилъ, какъ пересталъ злиться на Егора. Сидѣлъ весь настороженный, распахнувъ во всю величину каріе глаза, и глубоко втягивалъ въ себя смѣшанные запахи тополя, нарцисовъ, цикорія и мокрой земли.

Паша знаетъ отлично голоса всѣхъ птицъ. Онъ требовалъ, чтобы Егоръ сказалъ ему навѣрное — въ которомъ часу надо встать, чтобы захватить соловья?

— Тутъ какіе соловьи... соловей въ паркахъ! И то рѣдко ужъ какой теперь свищетъ. Соловьевъ надо ночью слушать.

— Экую рѣдкость сказалъ, точно я этого самъ не знаю! Слава Богу, ты думаешь, что я никогда соловья не слышалъ? То-то и бѣда, что у насъ нынче никого на настоящую прогулку не вытащишь. Одного развѣ отпустить поздно въ паркъ? А еще бы лучше — въ лѣсъ, на шоссе! Соловьевъ гдѣ больше, Егоръ, — въ лѣсу или въ паркѣ?

— Въ паркахъ больше, — отвѣтилъ, подумавъ, Егоръ, не желая колебать свой авторитетъ передъ барчукомъ.

— Все равно, не пустать! — сказалъ хмуро Паша, вспомнивъ, что онъ и разбудить себя велѣлъ для того, чтобы выбиться изъ такой непривычной для лѣта, тоскливой атмосферы дома.

Правда: въ большой дачѣ нынче тихо и хуже, тѣмъ скучно, — не стало вовсе ясной беззаботности дачнаго житья. И теперь всѣ поняли, какое въ этомъ было благополучіе.

„У себя на дачѣ“ — должно быть только пріятное, благодушное и веселое. Все чересчуръ сложное и безпокойное, а тѣмъ болѣе тревожное и непріятное, старательно обходилось и изгонялось. Если весной случалась непріятность — напримѣръ, чей-нибудь провалъ на экзаменѣ — то даже и это отбрасывалось на осень. Софья Кирилловна умѣла парализовать въ зародышѣ всякіе шпильки и упрёки по адресу пострадавшаго.

— Ахъ, Боже мой, дайте вы мальчику отдохнуть отъ всѣхъ этихъ мученій! Придетъ августъ, еще успѣемъ натужиться, — говорила она, и всѣ невольно сдавались передъ силой ея убѣжденности.

И конечно, пріятнѣе всего въ лѣтнемъ отдыхѣ — это внезапный приливъ снисходительности и доброты.

Перебравшись на дачу, каждый спѣшилъ зажечь своей отдѣльной жизнью и былъ полонъ довѣрія и симпатіи къ жизни другого.

И какъ легко это достигалось! Однимъ прикосновеніемъ къ личавому простору и покою лѣтнаго ландшафта, вѣчно струящейся волнѣ безгнѣвныхъ звуковъ иной, необъятной жизни...

Душа, вострепнувшаяся, тоже рвется въ просторъ—ищетъ найти въ немъ себя.

Ну, никто, разумѣется, въ большой дачѣ не думалъ ничего подобнаго—каждый просто знаетъ, что онъ словно отдыхаетъ послѣ зимней усталости.

Зимой, по мѣрѣ того какъ истрепываются нервы и скопляется усталость, растетъ безсознательно нетерпимость, раздражительность и мелочная придирчивость.

Въ тѣснотѣ зимняго житія настолько выдвигается различіе интересовъ и вкусовъ и возраста, что, наконецъ, каждый сталкивается съ сосѣдомъ своимъ боевымъ фронтомъ. Кровныя связи и глубокія оцѣнки, удобства и отрады семейной жизни заслоняются обостренной жаждой свободы.

— Ну, матушка, видно, пора васъ отправить къ себѣ на дачу—конца нѣтъ дразгамъ!—покрикиваетъ такъ около Пасхи Михаилъ Михайловичъ Горлецкій.

У главы дома свои досады и заботы, въ связи съ тѣмъ, что и въ этомъ сезонѣ—несмотря на всѣ зарокѣ и обѣщанія—денегъ прожито много больше, чѣмъ это допустимо благоразумнымъ бюджетомъ.

На дачу Михаилъ Михайловичъ съ семьей не перебирается, а только наѣзжаетъ по праздникамъ.

— Отдыхать на дачахъ могутъ большіе богачи или бездѣльники, — любить говорить Горлецкій, терпѣливо ожидая августа, когда онъ на холостую ногу прокатится на мѣсяцъ въ какой-нибудь курортъ, „прополоснуть нутро водицей“.

А вернувшись изъ поѣздки, онъ находитъ домашнюю жизнь во всей чистотѣ лѣтняго ремонта: лица—порозовѣвшими, голоса—ласковыми, всѣхъ—бодро плавающими въ безбурномъ рейдѣ прекрасныхъ плановъ и благоразумныхъ намѣреній.

Что имѣетъ человѣкъ прочнаго и неизмѣннаго, чтобы не цѣнить этихъ временныхъ благъ?

На дачѣ каждый живетъ какъ хочетъ. Всѣ разбрелись по-дальше другъ отъ друга, и каждый у себя завелъ ту степень лѣтней безпорядочности, какая ему по душѣ.

Сама Софья Кирилловна взираетъ равнодушно на дачную непротивную пыль, на платья, почему-то нацѣпленные на гвоздяхъ, на всюду валяющіяся шляпы, зонтики, палки, раскрытыя книги, завядшіе цвѣты.

Вѣдь все равно, некому водворять минутный порядокъ, потому что прислуга цѣлый день бѣгаетъ взадъ и впередъ, поглощенная смѣняющимися сериями обильной и вкусной лѣтней ѣды.

Потому что всегда куда-то собираются—кто-нибудь опоздалъ — кого-нибудь надо ждать—и вокруг трапезы создается специфическое волненіе. И все вмѣстѣ гонить жизнь куда-то къ лучшему, къ тому, что за завѣсой!

Кто знаетъ? при безупречномъ благообразіи и непогрѣшимой аккуратности, не утратилось ли бы самое цѣнное: минутная свобода отъ условностей и бессмысленныхъ тисковъ, крадущихъ у людей время?

...Время! эти капельки жизни, просачивающіяся неозвратно расточительно сквозь безчисленныя скважины — чтобы исчезнуть въ вѣчности даромъ, не отразивъ вовсе нашего истиннаго облика, души нашей...

Такъ смѣнялись сезоны въ большой счастливой семьѣ Найдено-Горлецкихъ. Такъ было до послѣдней зимы, когда мало-помалу стало ясно для всѣхъ: на этотъ разъ даже и лѣто не принесетъ привычной беззаботности.

Никогда еще не было такой тяжелой зимы. Правда, на замутившейся поверхности не пробивались глубокія внутреннія теченія, расколыхавшія прежній безпечный складъ ранней юности, изгнавшія то свободное и случайное, что пестрѣетъ на немъ весело, какъ вѣнокъ изъ полевыхъ цвѣтовъ.

На поверхности жизни отражалась только связанность внутренней назрѣвающей борьбы. Всѣ жили разсѣянные, озабоченные, уклоняющіеся другъ отъ друга.

„Вадимъ не живетъ дома“ — это сложилось въ формулу. Таня волновалась замѣтнѣе всѣхъ, отданная на жертву подозрительныхъ наблюденій. Какъ могло бы укрыться то, что Таня точно охладѣла къ своей Саррочкѣ?

Послѣ послѣдняго лѣта, особенно дружнаго и безумно веселаго — Саррочка вдругъ сдѣлалась какая-то чинная и неестественная. Она не пріѣзжала къ Танѣ на цѣлый вечеръ и даже „съ ночевкой“ — что было самое для дѣвочекъ любимое! Теперь она являлась въ неожиданное время и всегда спѣшила.

А мадамъ Горлецкая непремѣнно допытывала и удерживала, и странно... выходило почти непріязненно! Точно въ томъ, что Саррочка не могла остаться обѣдать или не хотѣла снять шляпку, заключалось тайно враждебное и неблагодарное къ семьѣ, гдѣ ея любили и ласкали, съ тѣхъ поръ, какъ онѣ съ Таней ходили въ черныхъ передничкахъ. И когда Саррочку принуждали противъ воли остаться—въ этомъ было не такое всѣмъ привычное удовольствіе, а точно жуткое испытаніе, отъ котораго она живо уклонялась.

Точно, право, кто-то другая, а не Саррочка Ротблатъ, съ которой всё такъ сжились, какъ еслибъ она была родная. Такъ про нихъ и говорилось: *дѣвочки*. Дѣвочки готовятся къ экзаменамъ — дѣвочки затѣяли кататься на конькахъ — дѣвочки на Рождество затащили на дачи, гдѣ было столько возни съ печами, и пр., и пр.

Няня зоветъ Саррочку „наша жидовочка“, хотя она и знаетъ, что дѣти — нѣмецкой вѣры. Зимой няня отвозитъ Таню въ гости и давно свела знакомство съ экономкой Ротблатовъ, получающей одного жалованья — четвертной билетъ. Еслибъ нянѣ сказали, что экономка получаетъ сто рублей или служить совсѣмъ даромъ, она бы всему сейчасъ же повѣрила: такъ оно и быть должно, что у этихъ людей во всемъ свои особенные порядки. Порядки эти старуха благосклонно одобряла.

Смѣшная старушка въ атласномъ парикѣ, Саррочкина тети Розалія, приходила въ экономкину комнату угощать нянюшку и расхваливала на чемъ свѣтъ стоитъ Танечку и Вадима. А только о чемъ бы ни говорила Розалія, всегда на первый планъ выступаетъ ея восторженное обожаніе Саррочки. Нянюшѣ и это нравится: „крѣпкое семейство“, — говоритъ она про богатей евреевъ и думаетъ, что у нихъ никогда между собой не ссорятся и не кричатъ на весь домъ, какъ бываетъ частенько у Найдено-Горлецевыхъ.

— Изъ-за однихъ этихъ евреевъ спорять, спорять — поладить не могутъ! А коли крещенные, такъ чего теперь и спорить?

Недовольна няня. Сама она всегда готова поставить Саррочку въ примѣръ своей питомицѣ:

— Умная, ровная барышня, не то что у насъ: сейчасъ на смѣхъ поднимаютъ — сейчасъ слезы! и хопъ на кого кричать готовы.

Таня не обижается, ей радостна каждая похвала ея Саррочкѣ. Но вѣдь обыкновенно всё говорятъ только объ ея удивительной красотѣ.

— Да ужъ, мое почтенье-съ! — всегда гордился Саррочкой Вадимъ: — Отыщите-ка такую между русскими барышнями! Все больше изъ породы булочныхъ жаворонковъ.

— Давно извѣстно, что молоденькія еврейки бываютъ очень красивы... кому нравится этотъ типъ! По мнѣ, Богъ съ ними, съ восточными красавицами. Но Саррочка — милая дѣвочка, и это совершенно забывается.

Благосклонное заключеніе Софьи Кирилловны рассчитано на чью-то признательность. А Таня, по обыкновенію, загорается обидой.

— Мнѣ все равно, еслибъ Сарра была негритянка, или цыганка, или не знаю кто!

— Н-ну, не скажите! — играетъ пикарными бровями гимназистъ: — много пріятнѣе было бы не имѣть дѣла съ Розаліей, прямехонько выползшей изъ Ноева ковчега! Да, пожалуй, и съ самой великолѣпной Раисой Моисеевной, и съ заносчивымъ дурачкомъ Робертомъ. И пусть бы у нихъ въ домѣ каждая вещь стояла вдесятеро дешевле и не была куплена въ самомъ знаменитомъ магазинѣ. И за обѣдомъ не было бы пяти не-вкусныхъ блюдъ.

— Какъ не стыдно взрослому мальчику молоть такой вздоръ? — останавливается Вадима мать.

— Ахъ, тебѣ, можетъ быть, весело съ мамашами и тетуськами другихъ дѣвочекъ? — насканиваетъ оскорбленная Таня: — Раиса Моисеевна — образованная дама и ужасно любезная хозяйка. И ужъ, конечно, Робертъ ничуть не глупѣе тебя! А если не вкусно — можешь у нихъ никогда не обѣдать!

— Ха, ха, ха! — Молодецъ Татьяна! — ловко отбрила восьмиклассника! — хохоталъ отецъ.

Робертъ — дуракъ! Это — тотъ явный вздоръ, который мальчики говорятъ другъ про друга, если они ни поладили. Вѣдь и Робертъ считалъ Горлецаго пустымъ фанфарономъ и увѣрялъ, что онъ день и ночь вичится своимъ барствомъ. А виноватъ Паша; вздумалъ доказывать Роберту, что стародворянскія двойныя фамиліи гораздо важнѣе новыхъ выслуженныхъ титуловъ. Послѣ этого Робертъ звалъ его боляриномъ: „болярину Найдено-Горлецкому бьемъ челомъ“...

Давно это было... ахъ, еслибъ все давнишнее у всѣхъ навсегда изгладилось изъ памяти!

А изъ Таниной памяти никогда не изгладится. Ея жизнь такъ и шла — между двумя мірами. То, что было драмой въ одномъ мірѣ, въ другомъ неизмѣнно затушевывалось комизмомъ или пренебреженіемъ. Когда дѣвочка возмущалась, ей говорили: почему нельзя посмѣяться надъ евреями? — развѣ не представляютъ въ смѣшномъ видѣ пьянаго русскаго мужика, или дѣнтя хохла, или спѣсиваго польскаго пана?

А то, надъ чѣмъ смѣяться невозможно, просто отталкивалось, съ досадными „еврейскія исторіи“, — точно нѣтъ у всякаго довольно его горя! Что-то такое, что ни до кого прямо не касается.

Когда случился ужасъ, еврейскій погромъ на югѣ, Таня зашла отъ стыда и страха: что если и въ Петербургѣ? если молъ Сарру?

На нее сердились, какъ на виноватую. Всѣхъ больше сердился Вадимъ. Говорилъ, что это институтская сентиментальность, никому не легче и ничему не поможетъ.

— Всякій порядочный человѣкъ возмущается варварствомъ — что тутъ нужно доказывать? — Америку открыла! Все русское общество не можетъ свалиться въ постель по этому случаю — тутъ вопросъ историческій!

Няня ночью пришла въ Танину комнату сказать: — Саррочку въ одинъ день умчали за границу.

О! какъ Таня полюбила за это умную, гордую Саррочкину маму! Посерединѣ учебнаго года взяла и увезла, никого и спрашивать не стала.

Онѣ не простились. Сарра не написала, не прислала адреса. Такъ и надо было! Танѣ хорошо было отъ этого.

Въ гимназіи дѣвочки-еврейки изъ другихъ классовъ старались показать Горлецкой свою симпатію. Зато и враговъ было не мало: Ротблатъ въ классѣ не любилъ, считали надменной. Правда, Сарра держитъ себя гордо со всѣми, въ комъ не увѣрена. Горлецкой дали прозвище „преданный вассалъ“.

Горлецкой рассказывали всякія драматическія исторіи. У одной гимназистки братъ уже три года держалъ конкурсные экзамены въ нѣсколькихъ заведеніяхъ, но все „не попадалъ въ процентъ“. Долго Таня не могла усвоить себѣ, что значить человѣкъ-процентъ?

У другой — родителей въ два дня выселили изъ Петербурга. Дѣвочка осталась тайкомъ у чужихъ, жила въ вѣчномъ трепетѣ, какъ преступница. Все равно учиться не могла — заболѣла и ее тоже увезли.

А одна, тоже въ ихъ классѣ, ходила мрачная, заплаканная, часто пропускала уроки — и вдругъ, точно голову потеряла! Вскочила на скамейку и начала кричать: расскажетъ, расскажетъ! Онѣ ужъ не маленькія — пусть узнаютъ! Братъ, единственный сынъ, боленъ, обреченъ на смерть по милости русскихъ законовъ. Небось, онѣ, русскія дѣвочки, даже и не слыхали никогда, что евреи не смѣютъ лечиться въ русскихъ курортахъ, не смѣютъ привезти лечить въ столицу? — да, да! — русскіе поданные не смѣютъ за свои деньги!..

— У отца нѣтъ денегъ послать за границу — одного нельзя а въ Ялту запрещено! Надо умирать — пускай умрутъ, какъ можно больше — тѣмъ лучше для русскихъ!

У нея было искаженное лицо, дикій голосъ. Началось невообразимое смятеніе. Кричали, что она лжетъ, влещетъ, эт

бессмыслица! Многія плакали. Она требовала всѣмъ классомъ пойти къ инспектору—спросить, правда это, или клевета.

Собѣжались классныя дамы, учителя. Дѣвочку увели къ директрисѣ. Досталось всему классу.

Таня убѣжала домой и, какъ была, въ шубѣ и галошахъ, влетѣла въ кабинетъ отца. Пусть ей объясняютъ: почему, зачѣмъ, кто это позволяетъ?

Но получился только скандалъ. Отецъ почему-то вспылить. Ахъ, опять еврейскія трагедіи начинаются? Опять Таня угостить ихъ истерикой?

— Нѣтъ ужъ, спасибо, довольно и прежняго! Если ты не довольна законами Россійской имперіи, — я въ этомъ не могу тебѣ помочь. А съ дѣтьми подобныхъ диспутовъ вести не намѣренъ!

Взявъ за плечи и вывелъ изъ комнаты.

Родители совѣщались за запертыми дверями.

На другой день мать холодно объявила: если Таня дорожить дружбой съ Саррочкой, всѣ эти исторіи должны кончиться. Она слишкомъ еще молода, чтобы судить. Нельзя позволить, чтобы она разстроивала себѣ здоровье.

II.

Подобныя знакомства возможны только въ столицахъ: дѣтскія дамы, живя на близкихъ дачахъ, были приведены къ необходимости раскланиваться, но дальше этого сближеніе не пошло.

Въ самомъ началѣ Раиса Моисеевна Ротблатъ пробовала присылать семейные пригласительные билеты на свои роскошные дѣтскіе праздники, но Горлецкая положила этому конецъ.

— Скажи Саррочкѣ—она можетъ просто пригласить тебя и мальчиковъ. Это же смѣшно—семейные билеты!—Но это не помѣшало молодежи сближаться все тѣснѣе. Даже ребяческая антипатія мальчиковъ постепенно смягчалась въ атмосферѣ общаго веселья, хотя Робертъ попрежнему избѣгалъ бывать у Гейцкихъ.

Да и Саррочка любила лучше безъ брата бывать у своихъ друзей. Она боялась того, что называла „неумѣстными разговорами“. Точно нарочно Робертъ старается говорить все такое, о чемъ особенно выступаетъ различіе взглядовъ и жизни.—И

вѣдь нѣтъ надобности по нѣскольку разъ въ вечеръ называть себя евреемъ! „По еврейской привычѣ“ — „моя еврейская душа“... Затѣмъ?—Никому это не было пріятно. Никто не зналъ, что съ этимъ дѣлать.

Дѣвочки, напротивъ, инстинктивно дѣлали все возможное, чтобы различія сглаживать или просто заслонять тѣмъ, что есть общаго и одинаковаго. И отъ этихъ искреннихъ усилій одинаковое между ними дѣйствительно множилось и крѣпла ихъ дружба.

И въ отношеніи Роберта къ Танѣ Горлецкой были какія-то непобѣдимыя противорѣчія. Постоянно перемѣщались, то выравниваясь, то перетягивая другъ друга—и уваженіе къ ея великодушному характеру, благодарность за благородство ея мыслей и чувствъ—и не то досада на что-то, не то неискоренимая подозрительность.

Даже въ увлекательной романической атмосферѣ прошлаго лѣта Робертъ не пытался ухаживать за Таней Горлецкой. Почему? Онъ этого не могъ бы объяснить. Но и дружески онъ съ нею тоже не сблизился, какъ сблизился легко и просто его пріятели,—Яковъ Гендель и Исаакъ Зонъ. Онъ не хотѣлъ перестать видѣть раздѣляющую границу. Онъ видѣлъ ее и за сестру, глубоко возмущая этимъ Саррочку.

А Таня говорила просто и немного грустно:

— Извѣстно, что Робертъ меня не любитъ!

— Ахъ, вовсе не то... Ты не понимаешь! — протестовала и не могла объяснить Саррочка...

Прошрое лѣто для всѣхъ промчалось въ угарѣ напряженнаго веселья. Горлецкая скучала, потому что молодежь ея пропадала у сосѣдей.

Импровизированные танцы, живыя картины, шарады, кавалькады, прогулки. Наконецъ, цѣлыя экскурсіи: ѣздили въ Финляндію, на Иматру, и въ Кронштадтъ; ухаживающій за Саррочкой морской врачъ, Сивучевъ, показывалъ дамамъ броненосцы и знакомилъ съ моряками.

У Ротблатъ пропасть родственниковъ и друзей, съѣзжались изъ города и дачныхъ окрестностей. Въ центрѣ всего—радушная, неутомимая и распорядительная Райса Моисеевна, ничего не жалѣвшая для триумфовъ своего кумира.

— Деньжищъ-то, деньжищъ! такъ и сорить! Своя вдовья воля, некому окоротить. Стало быть, партію хорошую ладить для дочери. Умная дама.

Таня кричала на няньку; Вадимъ сердито вскакивалъ и уходилъ; Софья Кирилловна улыбалась тонко.

Да, прошлое лѣто было для Саррочки сплошной полосой красованья: точно всѣхъ охватилъ гипнозъ влюбленности. Почти въ каждой женской жизни вспыхиваютъ отдѣльные моменты яркаго разгоранія всей доступной ей прелести—какой-то покровительственный лучъ, вызывающій новую игру выраженій, красокъ, граціи, интонацій...

— Боже мой, какъ же похорошѣла ваша Саррочка!—восклицали гости Райсы Моисеевны.—Я себя спрашиваю—развѣ она не всегда была красавица?

Да, Саррочка была прелестна во всѣ возрасты, и казалось, что ничто не можетъ измѣниться въ этой счастливой гармоніи пропорцій, линій и красокъ. И для того, чтобы это слово — (гдѣ вѣтъ тайна и полетъ жизни!) было въ то лѣто на всѣхъ устахъ и во всѣхъ взорахъ—новое что-то должно было озарить живую картину своими неуловимыми просвѣтами. И тогда... тогда дѣвушка минутами сама изнемогала отъ силы красоты, какую она въ себѣ несла. Въ ней появилось что-то пугливо-недоумѣнное, какая-то обворожительная дикость...

Она не могла быть одна! Свѣтъ долженъ сіять кому-нибудь... Но въ то же время пожирающіе и любопытные взоры раздражали... оскорбляли ее! Не надо одиночества и не надо толпы.

Саррочка тѣснѣ жалась къ своему другу. Но Вадимъ вдругъ началъ преслѣдовать страстную дружбу дѣвушекъ: находилъ, что это переходить въ экзальтацію, смѣшно, обвинялъ въ какой-то искусственности... Вадимъ бунтовалъ, плохо формулируя и только подавляя искренностью собственныхъ мятежныхъ настроеній — весь въ ихъ власти...

И вотъ, въ этой короткой, какъ бы ничѣмъ не вызванной и даже бессмысленной схваткѣ — для двоихъ, знавшихъ другъ друга давно и спокойно, совершилось нежданное.

Что-то неясное, блуждающее въ душѣ дѣвушки, опредѣлилось—остановилось.

Для юноши впервые въ покорившемся взорѣ красоты открылся цѣлый міръ. И сразу родились голоса, властно повлекшіе на готовые пути...

Саррочка нежданно отброшена отъ готовой, такой прекрасной и подробной теоріи любви, созданной друзьями. О, нѣтъ! не могла она больше обсуждать и взвѣшивать... Она даже и гортать не могла!

— Подожди... подожди,—не могу!.. Не теперь,—уклонялась отъ Тани.

Надо, чтобы не прерывался разливъ шумнаго веселья, смѣна лицъ, напоръ чужихъ чувствъ. Для того, чтобы не оставалось времени погружаться въ глубины собственныхъ ощущеній... Точно Саррочка хитрила сама съ собой!

Таня тоже безумно веселилась въ то лѣто, хоть она ни въ кого не влюбилась и за ней никто серьезно не ухаживалъ. Но само собой сдѣлалось, что она стала повѣренной нѣсколькихъ тайнъ и должна была постоянно что-нибудь выяснять и кого-нибудь умиротворять: вѣдь къ концу лѣта всѣ ожесточенно ревновали Саррочку къ „безцвѣтному, недоучившемуся студенту“. А Татьяну Михайловну носили на рукахъ, прославляли ангеломъ доброты, благородства у ума.

И вотъ, въ день рожденія Тани, Горлецкіе были поражены количествомъ поздравительныхъ телеграммъ и цвѣтовъ. Но это не помѣшало тому, что праздничный день былъ однимъ изъ самыхъ тихихъ, потому что за рѣпотку большой дачи не легко проникнуть.

Всего легче это было для доктора Сивучева, который оказался школьнымъ товарищемъ дяди Володи, брата Софьи Кирилловны. Докторъ надѣлъ мундиръ и съ великолѣпнымъ букетомъ въ рукахъ, подъ покровительствомъ Саррочки, явился къ Горлецкимъ.

Съ непринужденностью моряка, онъ давно усвоилъ себѣ простоту отношеній къ жизни и людямъ; въ его мастерскихъ разсказахъ сверкающій интересъ кругосвѣтныхъ плаваній изливался безъ всякихъ усилій, какъ червонцы текутъ изъ лопнувшаго мѣшка.

Сивучевъ сразу очаровалъ всѣхъ и получилъ приглашеніе остаться обѣдать.

— Это и есть женихъ Саррочки?—спросилъ Горлецкій, проводивъ по саду новаго знакомаго и возвращаясь на иллюминированный балконъ. — Можно поздравить, — милѣйшій человѣкъ, большой умница... И какая внѣшность чудесная!

...„Хоть бы и не для Саррочки!“—добавила мысленно Софья Кирилловна.

А Таня подумала смѣшливо: „Внѣшность?.. Старикъ!.. лѣтъ сорокъ...“

— Вовсе онъ не женихъ... Папа, что за охота повторять сплетни!—сказала она съ упрекомъ.

— Развѣ?..

— Сами подняли трезвонъ на весь міръ, не нужно и сплетень, — отчеканила сухо Горлецкая.

Въ комнатѣ Вадима няня принесла кувшинъ свѣжей воды и помедлила у двери.

— Это какъ же? нѣшто докторà тоже плаваютъ на корабляхъ? Хорошій баринъ, всѣмъ показался. Вотъ бы, я говорю, женихъ для нашей Танюшки... а? Вы какъ скажете, Вадимъ Михайлычъ?

Вадимъ стремительно повернулся на каблучкахъ.

— Да! какъ бы не такъ! — расхохотался онъ съ тупымъ, безсознательнымъ торжествомъ.

И только на одну Таню неожиданное появленіе у нихъ доктора Сивучева не сдѣлало впечатлѣнія. Вѣдь Татьяна Михайловна, „добрая фея“, глядѣла въ сердца всѣхъ этихъ людей и давно свыелась съ мыслью, что около Саррочки не можетъ быть мѣста иному очарованію. Она была совершенно неуязвима для жала зависти.

III.

На Пасху Владиміръ Кирилловичъ Малаховъ всегда разгавливался у сестры. Всей семьей отставивали свѣтлую заутреню въ мѣнстерской церкви и спѣшили домой разговѣться.

Самъ Горлецкій прїѣзжалъ позднѣе, потому что изъ церкви заѣзжалъ поздравить начальство, и за столомъ всегда поздно засиживались.

Въ этотъ день Саррочка прїѣзжала къ Горлецкимъ и оставалась ночевать, чтобы не возвращаться поздно по шумнымъ улицамъ.

А Робертъ говорилъ сестрѣ, что онъ предпочитаетъ „временное препровожденіе болѣе интеллигентное, чѣмъ трапезы Найдено-Горлецкихъ“.

Такъ было всегда до этой зимы.

Настала Пасха — и Саррочка не прїѣхала къ Горлецкимъ разгавливаться. И что всего хуже — это ни для кого не было неожиданностью. Письмо, извѣщавшее объ ея нездоровьи, было въ сущности лишнее: Таня даже и не сказала никому, что получила письмо.

Такъ упорно всю зиму сгущались тяжелыя тучи: развѣ могло было ждать, что сквозь нихъ внезапно просіяетъ солнце?

И все-таки, по необъяснимому капризу ощущений, Вадимъ въ послѣдней минутѣ болѣзненно волновался: „А вдругъ она все-таки прїѣдетъ?..“

И хоть онъ долженъ знать, что *вдругъ* Саррочка ничего не сдѣлаетъ, но одинъ знакомый видъ пасхальнаго стола, парадно накрытаго во весь залъ — а не въ столовой, — бессмысленно потушилъ въ немъ недавнюю увѣренность.

И это несмотря на то, что Вадимъ страшился этой ночи, располагающей всѣхъ къ изліяніямъ, — страшился безтактности однихъ и рѣшительности другихъ, раздраженныхъ тяжелой зимой, — боялся себя и Саррочки. Разъѣзжая днемъ по кондитерскимъ съ порученіями матери, онъ таки-очутился у Ротблатовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! ни за что не пріѣду! — твердила Саррочка, точно не замѣчая, что Вадимъ ее не уговариваетъ. Возражала чему-то другому, что искушало ее такимъ привычнымъ, уютнымъ весельемъ этой ночи.

— А помните въ прошломъ году? — обожгла его дѣвушка быстрымъ пугливымъ взглядомъ.

Какъ, какъ могла она надѣяться найти въ немъ прошлогоднюю безмятежность!

— Какъ весело было! — договорила сама, и губы ея задрожали.

Онъ молчалъ, одурманенный красотой.

Годы онъ видѣлъ эту красоту, какъ на картинѣ, которою весело любуешься. Или видѣлъ только блестящую оболочку, не зная, что таятся за ней — еще неизмѣримо болѣе прелестное! Теперь онъ летитъ въ сіяющую бездну... Не знаетъ, что будетъ съ нимъ.

За столомъ старались не замѣчать тревожную мрачность Вадима и унылость Тани.

Но, разумѣется, дядя Володя былъ удивленъ и во много пріемовъ выражалъ свое сожалѣніе, что лишенъ случая полюбоваться „Розой Сарона“. Такъ Малаховъ прозвалъ Саррочку Ротблатъ, послѣ того какъ въ его абонементъ въ Марининскомъ театрѣ дали оперу „Маккавей“.

Дядя Володя упрекнулъ Таню:

— Отчего же ты, милая крестница, не пригласила сегодня какую-нибудь другую барышню? Видишь, какъ молодежь носи повѣсила въ стариковскомъ обществѣ...

Онъ всегда имѣлъ, милый крестный, несчастную способность громоздко заговаривать о томъ, чего въ эту минуту невозможно касаться! Онъ ступаетъ довѣрчиво-тяжелой поступью какъ разъ туда — черезъ что можно лишь проскользнуть на крыльяхъ страха...

Наконецъ-то мать поднялась съ своего мѣста, освободивъ

всѣхъ, кто тоскливо рвался отъ этого стола въ свободу одиночества.

— А съ тобой, Володя, мы еще покойфуюемъ полчаса въ моей комнатѣ... воп? Есть тамъ у меня одна интересная бутылочка...— сказала Софья Кирилловна.

— Ну, а я — ужъ простите! — попробую стряхнуть съ себя въ какомъ-нибудь пріятномъ мѣстѣ вашу погребальную атмосферу! — протянулъ въ носъ Горлецкій, обводя всѣхъ презрительнымъ взглядомъ.

— Да, ужъ, благодарю покорно за такое розговѣнье! Отличное веселье завели у насъ нынче! — выкрикнулъ Паша, красный какъ ракъ, и со всей силы хлопнулъ рукой по столу, вслѣдъ сорвавшемуся съ мѣста Вадиму.

— Отправляйся-ка спать! — крикнула на него злымъ голосомъ Таня.

Въ своей комнатѣ Софья Кирилловна усадила брата въ большое старинное кресло и взяла съ окна приготовленный графинчикъ и рюмки въ формѣ полураскрытаго вѣничка лиловаго цвѣта.

Безъ сомнѣнія, дядя Володя не подозреваетъ, что неудачное розговѣнье лишь завершаетъ собою тяжелую для Горлецкихъ зиму. Все совершающееся вокругъ него всегда полно самыхъ поразительныхъ сюрпризовъ: смерть онъ видитъ только въ гробу, а бракъ — передъ свадебнымъ налоемъ. Ему случается нерѣдко повторять совершенныя небылицы... Онъ увѣренъ, что и всѣ другіе, въ такой же мѣрѣ, какъ онъ, не ограждены отъ чужой недобросовѣстности и лжи.

Это ничуть не удивительно: откуда взялся бы у Малахова досугъ для низменныхъ наблюденій и нескромныхъ догадокъ? Въ его жизни царитъ одна прекрасная страсть: любовь къ міровой литературѣ. Онъ знакомъ со всѣми литературными языками и многіе изъ нихъ знаетъ въ совершенствѣ.

Въ роскошной галереѣ безсмертныхъ образовъ, на вершинахъ трагедій и комизма нѣтъ ничего тайнаго, для чего была бы нужна пошлая догадливость. Онъ привыкъ созерцать безъ помѣхъ глубины человѣческой души.

Само собою понятно, что онъ одинокъ. Какой могъ быть достаточно очевидный стимулъ, чтобы нарушить равновѣсіе жизни нитьбой?

Въ этомъ наджизненномъ существованіи нѣтъ мѣста ни волѣямъ, ни скукѣ. Основное его желаніе — успѣть ознакомиться ументально со всѣмъ матеріаломъ. Нерѣдко это сопряжено

съ затрудненіями, съ далекими путешествіями, крупными затратами, обширной перепиской.

Зато Малаховъ совершенно недосыгаемъ для скуки, ибо въ любомъ мѣстѣ и обществѣ, не двигаясь съ занятого стула, онъ безшумно отбываетъ на какой-нибудь пунктъ своей независимой территоріи. Всегда есть запасъ любопытѣйшихъ вопросовъ, которыми онъ охотно займется въ минуты, потерянные для настоящей работы.

Работая надъ огромнымъ трудомъ—„Исторіей всемірной словесности“,—онъ до старости не могъ превозмочь въ себѣ застѣнчивости, мѣшающей выступать въ текущей журналистикѣ. Всю жизнь онъ сражался съ безвкусной тенденціозностью и литературнымъ невѣжествомъ русскихъ рецензентовъ, — но сражался только въ случайныхъ спорахъ глазъ на глазъ. Разоблачить печатно святая святыхъ своего ума, впустить толпу въ храмъ своей души представляется ему возможнымъ лишь тогда, когда до его слуха ужъ не достигнетъ „шумъ торжища“...

Владиміръ Кирилловичъ полагалъ, что Софи не хочется спать и она увела его къ себѣ для того, чтобы онъ оцѣнилъ золотистый ликеръ. Кромѣ литературы, онъ знатокъ также и старыхъ винъ и ликеровъ.

Въ мягкомъ объятіи покойнаго кресла начинало клонить ко сну. Онъ въ смущеніи перекачивалъ въ пальцахъ прозрачный стебелекъ лилового цвѣтка и думалъ:

...„Это же джинъ-джиръ... несомнѣнно, самый обыкновенный джинъ-джиръ. Непонятно, какъ могла бѣдная Софи принять за что-то особенное“.

Даже и въ пустякахъ тяжело разочаровывать людей.

Горлецакая что-то перемѣнила за драпировкой въ своемъ туалетѣ и, выйдя оттуда, приступила прямо къ дѣлу. Она задвинулась на диванъ поближе къ его креслу и спросила—но не о джинъ-джирѣ, какъ ждалъ братъ, — а о томъ, какіе у него планы на это лѣто?

Очевидно — *rouge entrer en matière*, такъ какъ его лѣтній режимъ лѣтъ десять какъ всѣмъ извѣстенъ.

Софи сидитъ такъ близко—и зорко смотритъ ему въ лицо. И вдругъ показалось: какъ будто Софи чѣмъ-то озабочена? Развѣ у нихъ что-нибудь случилось? Семейная жизнь — это спѣшенъ событий. Событій, уводящихъ человѣка отъ самого себя.

Онъ пошутилъ: въ Виши будетъ наряжено слѣдствіе, если б онъ къ 15-му іюня не оказался въ своемъ уголовномъ номерѣ.

Сестра выслушала это съ облегченіемъ и сейчасъ же откры

атаку. Ей только и нужно знать, что онъ не чувствуетъ себя хуже обыкновеннаго, и что у него не завелось никакихъ экстренныхъ маршрутовъ.

— Нѣтъ, не раньше осени,—какъ это тебѣ тоже должно быть извѣстно, Софи, — сказалъ онъ своимъ слабымъ, глуховатымъ голосомъ, второй сестра такъ любить.

Малаховъ въ высокой степени изумленъ: Софи просить принести ей эту жертву — отказаться на этотъ разъ отъ Виши и прожить лѣто съ ними на дачѣ.

Сестра хорошо знаетъ, что убѣдить въ чемъ-нибудь брата Володю — не въ ея средствахъ; но зато всегда легко выпросить согласіе этого мягкаго сердца. Онъ сейчасъ же пришелъ въ беспомощное волненіе.

...Какой же можетъ быть вопросъ, если это серьезно нужно для чего-нибудь?

— Только вотъ... какая, собственно, можетъ быть польза отъ моей особы? Недоумѣваю. Вообще... какъ это, милая, могло случиться? Чрезвычайно странно...

— Тебѣ не хочется? — спросила просто сестра, улыбаясь глазами.

Онъ вынулъ тончайшій душистый платокъ и вытеръ лобъ. Должно быть, отъ мягкаго кресла жарко.

Горлецекая попыталась его успокоить: ничего особеннаго отъ него не потребуется, она не взваливаетъ на него никакой миссіи. Просто, она страшно скучала прошлое лѣто... Онъ получить большой кабинетъ и смежную комнату для спальни. Онъ вѣдь помнитъ комнаты?

...Да, да, разумѣется, онъ знаетъ дачу Горлецекихъ. Но когда онъ услышалъ, что его уже помѣщаютъ въ какихъ-то комнатахъ, гдѣ онъ никогда не жилъ, — въ его тѣлѣ разлилось недоуманье, похожее на физическую тошноту.

Изъ всего, что она говорила, онъ понялъ двѣ вещи: что дачный вопросъ уже считается рѣшеннымъ, и что бѣдная Софи чѣмъ-то серьезно встревожена. Второй выводъ лишаетъ его права оспаривать первый. Ясно.

Теперь припоминаются огромные шкафы съ книгами въ дачномъ кабинетѣ Горлецекаго... Ихъ, разумѣется, наполнилъ не молодой Михаилъ Михайловичъ! Въ старыхъ дворянскихъ домахъ составлялись библиотеки по традиціи философскаго вѣка... Мало быть перевезено изъ какой-нибудь старинной усадьбы... Дача по наслѣдству... Возможна, быть можетъ, какая-нибудь интересная находка?..

— ...Ты этого не можешь понять, Володя! — можетъ быть, это грѣшно — но иногда я тебѣ завидую... Говорятъ объ одинокой старости—да вѣдь старость всегда одинока,—всегда одинока! Иначе не можетъ быть...

Онъ испуганно отскочилъ отъ библиотечныхъ шкафовъ, сконфуженный, что не слышалъ начала ея рѣчи.

— Кто не завелъ семьи, тотъ зато нажилъ личныхъ друзей... сохранилъ ихъ! Только люди одного возраста понимаютъ другъ друга. Такъ это для насъ и для молодыхъ — одинаково! Насъ семья грабитъ. А они отъ нея отдѣляются, когда имъ угодно!

— Ты какъ-то странно говоришь сегодня, Софи... Вѣдь тутъ приходится цѣлая категория чувствъ и переживаній наиболѣе интенсивныхъ? Да... вижу — у васъ, повидимому, что-то случилось?

Она медлила. Только теперь она замѣтила, что пасхальный звонъ кончился. Уже очень поздно. Голосъ ея суевѣрно притихъ.

— Пока ничего опредѣленнаго... Ахъ, Богъ мой, Володя! Да неужели ты ничего не замѣчаешь?! Какъ все прежнее точно уплыло куда-то...

— Да... Собственно сегодня? Обыкновенно этотъ вечеръ...

— Ахъ, вовсе не сегодня! Цѣлая зима, съ самой осени. Увѣрена, что въ университетъ Вадимъ не заглядывалъ... Торчалъ тамъ всѣ вечера! Это все несчастное прошлое лѣто... оно отняло ихъ у меня...

Владиміръ Кирилловичъ ничего особеннаго не можетъ вспомнить про прошлое лѣто—а вотъ, оказывается! Дѣйствительно... Семья...

— Завертѣли! вскружили голову! Я, ты знаешь, всегда презирала мѣщанскую подозрительность. Во всемъ видѣть только расчеты—на это я не способна. Я довѣряла!

Малаховъ такъ боится произвольности догадокъ, какъ если бы онъ былъ ученый экспериментаторъ, а жизнь—біологическій кабинетъ или химическая лабораторія.

— Моя милочка... какъ бы я хотѣлъ добросовѣстно понимать. О чемъ, собственно, рѣчь?..

Хотѣлось схватить и встряхнуть покрѣпче эти круглые безмятежныя плечи.

Софья Кирилловна говорила о дружбѣ съ Ротблатами. Да, она не должна была допускать.... Нѣтъ ничего легче, какъ разсуждать заднимъ числомъ! Но вѣдь дѣти—не больше, какъ дѣти! Школьныя сближенія. Могутъ ли родители выбирать друзей своихъ дѣтей? Легко теперь обвинять!.. Хотя...

Она остановилась по срединѣ комнаты и взялась руками за виски.

— Хотя, знаешь?.. Я сама теперь не понимаю! Отчего мнѣ никогда не приходило въ голову, что Вадимъ въ нее влюбится? Привычка считать ребятами... вѣдь росли, какъ сестры! И потому—меня не привлекаетъ этотъ типъ красоты.

...Такъ вотъ почему я не видалъ тебя сегодня, очаровательная Роза Сарона! — подумалъ меланхолически Малаховъ, но не о Саррочкѣ Ротблатъ, а о какой-то поэтической и несчастной героинѣ Вальтеръ-Скотта. И тревога, которой заразила его Софи, начала расплываться.

— Милая... позволь! Изъ-за чего, собственно, такъ жестоко волноваться? Я, право, не понимаю,—говорилъ онъ своимъ успокоительнымъ, глухимъ голосомъ, добродушно улыбаясь:—Ну, если это и такъ? Мальчишъ въ его годы... Эта ли прелестная дѣвушка, или другая... кто-нибудь долженъ овладѣть воображеніемъ хорошаго юноши, ты же это понимаешь!.. Мнѣ, напротивъ, кажется...

Но Софи замахала руками, не въ силахъ себя сдержать.

— Да, да! Такъ и надо было знать, что ты заговоришь съ облаковъ!!

Какъ ни высоки облака, онъ почувствовалъ, что его назвали глупцомъ. Тогда онъ понялъ, что говорить праздныя слова: бѣда, конечно, не въ томъ, что Вадимъ влюбился въ свои двадцать-три года.

Владиміръ Кирилловичъ меланхолически покачалъ головой.

— Da liegt der Hund begraben! Мы любимъ увѣрять себя, что совершенно чужды варварскихъ предразсудковъ. Мы переросли первобытное міросозерцаніе. Пріятно проявлять благородныя чувства. Но вотъ уже улика: почему *благородныя*? Какое особенное благородство нужно для того, чтобы признавать, что люди равны передъ равно создавшей всѣхъ природой? Такъ думать повелѣваетъ просвѣщенный разумъ, такъ учить наша религія.

Софья Кирилловна всплеснула руками, какъ бы отъ совершенной неожиданности:

Ее обвинять въ предразсудкахъ!

— Но развѣ ты не видѣлъ собственными глазами, что эта вочка была въ нашемъ домѣ какъ родная?! Володя, это ужасно! ошное лѣто я ихъ не видѣла—они жили на Красной дачѣ! къ если меня обвинять въ предразсудкахъ...

Тутъ случилось нѣчто необычайное: Владимиръ Кирилловичъ

взволновался. Онъ поднялся во весь свой внушительный ростъ, и его мирное чело было мрачно.

— Такъ нельзя спорить, Софи. Я тебя ни въ чемъ не обвинялъ. Это прискорбная манера женщинъ—не разсуждать, а только обвинять или защищаться. Каждый человекъ можетъ имѣть предразсудки, если это свойственно его уму. Не нужно только прятаться, не нужно затемнять.

— Я прячусь?!..

— Несомнѣнно. Коль скоро одна мысль, что Вадимъ можетъ предпочесть еврейскую дѣвушку, уже оскорбляетъ тебя—совершенно очевидно, что она и никогда не была у васъ въ домѣ, какъ родная. Надо только разсуждать. Чѣмъ можешь ты опровергнуть этотъ доводъ? Только спокойно разсуждать, Софи.

Софи металась—въ одинъ—въ другой конецъ комнаты. Воскликнула: „О-о-о!!—А-а-а!!“—и вдругъ разсмѣялась и вся покраснѣла.

Еще не хватаетъ—поссориться изъ-за этого съ Володей!

...И, конечно, правда, что онъ говоритъ... Но только это не предразсудокъ—нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Ее бѣситъ педантское слово, когда возмущеніе кипитъ гдѣ-то въ самомъ сердцѣ ея. Теперь лучше всего прекратить этотъ разговоръ.

— Хорошо... довольно! Пойдемъ теперь спать, голубчикъ,—сказала она утихшимъ голосомъ.—Много будетъ еще такихъ разговоровъ! Увидишь самъ, что это не такъ просто, какъ учать наука и религія.

— Ошибаешься, милая. Чему онѣ учать—всегда просто и велико. Люди все исковеркали своей жадностью и недомыслиемъ.

— Потому что жизнь—не наука!—по-женски оставила она за собой послѣднее слово.

IV.

Горлецекіе перебрались на дачу раньше обыкновеннаго. На третьемъ курсѣ нѣтъ экзаменовъ; а за Пашу Софья Кирилловна рѣшила на этотъ разъ отступить безъ боя, послѣ развѣдокъ въ области годовыхъ отмѣтокъ.

Въ другое время ей не удалось бы такъ легко примирить съ этимъ отца, но нынче всѣ были равнодушны къ тому, что Паша застрялъ въ шестомъ, и къ тому, что у Тани за зиму развилось малокровіе: ходить вялая, блѣдная, неинтересная.

Всю эту зиму Таня „кисла“. Сидѣла въ своей комнатѣ, глс

тала книги и говорила о курсахъ. Съ Саррочкой видѣлись рѣдко, потому что она, напротивъ, постоянно выѣзжала. Раиса Моисеевна помѣшана на новыхъ знакомствахъ, каждый разъ ждетъ отъ нихъ чего-то особеннаго, преувеличенно расхваливаетъ.

И вдругъ недоумѣніе Тани выяснилось: въ этомъ круговоротѣ внезапныхъ знакомствъ, часто исчезающихъ такъ же быстро съ горизонта, — въ звучащихъ въ домѣ новыхъ именахъ, — скрывается не чтѣ иное, какъ усиленное сватовство Саррочки! Нельзя уже было, наконецъ, не понять этого изъ наивныхъ проговариваній тети Розалин и изъ постоянной лихорадки, въ какой жилъ Вадимъ...

Наконецъ, Таня не выдержала и заговорила:

— Неужели, Сарра, ты считаешь себя обязанной выносить это униженіе въ угоду имъ!? Еще одинъ герой?

Саррочка взглянула въ ея пылающее лицо и безпечно разсмѣялась.

— Успокойся, пожалуйста, — всѣ эти герои неопасны. Маму это занимаетъ... Это — самое обыкновенное. Всѣмъ извѣстно, что не я нуждаюсь въ женихахъ. Если угодно получать ность — на здоровье!

...Что — что за тонъ?!...

— Не знаю, конечно... На мѣстѣ Вадима я бы этого не вынесла!

Саррочка ударила безпорядочно по клавишамъ рояля, у котораго происходилъ разговоръ.

— Ну... Вадиму Михайловичу еще рано предписывать что-нибудь!

Но Таня не хотѣла нечестно таить свои чувства.

— Не знаю... откуда мнѣ знать? Сивучевъ, кажется, не бываетъ у васъ больше?

Саррочка сдѣлала большіе глаза.

— Почему?? — Ты находишь, что каждому, кому вздумается ухаживать за мной, я уже обязана отчетомъ? Не знаю, почему это не унижительно!

О, какъ больно билось сердце Тани!

— Вижу, вижу... ты ни о чемъ уже не думаешь попрежнему.

Протянулась тягостная пауза. Сарра смотрѣла на свои руки, растрепавъ брови.

— Нѣтъ, Таня, ты говоришь вздоръ! А только меня вѣдь на одинъ день не оставляютъ въ покоѣ. Развѣ мы могли ить заранѣе всѣ вопросы?

— Да, можно! Я знаю, какъ буду поступать всегда, — ска-
Таня неумолимо.

— Не знаешь, не знаешь! Ахъ, поскорѣ бы лѣто... отдохнуть. Таня... это правда, я испортилась!

И Саррочка засмѣялась, неожиданно и странно.

„Она не любитъ Вадима!“ — подумала невольно Таня.

Горлецкій былъ въ восторгѣ, что Володя проживетъ лѣто у нихъ на дачѣ. Сонечка не будетъ одна, и нельзя желать лучшаго противовѣса женскимъ волненіямъ.

Отецъ стоялъ за систему *laissez faire, laissez aller* — ничего не *раздувать*. Все приходитъ и уходитъ естественнымъ путемъ, и три четверти семейныхъ драмъ создаются безпокойными женскими руками. Въ этомъ Горлецкій былъ несокрушимо убѣжденъ.

На дачѣ кабинетъ и маленькую спальню Софья Кирилловна устраивала съ такой нѣжностью, какъ еслибъ они предназначались для новобрачныхъ. Изъ города привезли ковры и занавѣски, обилие заново мебель. А со стѣнъ кабинета, сюрпризомъ для Малахова, его встрѣтили его собственныя рѣдкія гравюры. На туалетѣ приготовленъ флаконъ его любимыхъ духовъ и вездѣ букеты сирени.

Владиміръ Кирилловичъ былъ растроганъ такимъ пріемомъ. Въ нѣмую жизнь прекрасныхъ созерцаній и гармоническихъ привычекъ прокрался и залепеталъ живой рѣчью свѣтлый ручеекъ женской нѣжности. Онъ вдругъ коснулся чего-то... не своего, но и не совсѣмъ чужого...

Несбывшихся возможностей?.. Дремлющихъ сожалѣній?..

Дядя Володя расхаживалъ по своему новому убѣжищу съ мечтательнымъ лицомъ. Привычная жизнь — избави Богъ, онъ не согласился бы въ ней измѣнить ни одного штриха! — но она точно остывала или тускнѣла, когда онъ чувствовалъ ее за собою изъ этихъ двухъ свѣтлыхъ дачныхъ комнатъ, съ пронизанной солнцемъ цвѣтущей сиренью за окномъ и съ легкими дѣвичьими шагами по потолку. Тамъ — комнатка Танюши.

Малаховъ поглядывалъ на старинное бюро краснаго дерева, гдѣ уже уложены въ порядкѣ его папки и портфели. Приходило въ голову: можетъ быть, именно здѣсь суждено внести нѣсколько совершенно свѣжихъ страницъ въ дорогой трудъ его жизни?..

Для Горлецкихъ первая недѣля на дачѣ была совсѣмъ какъ прежнія. Молодежь хотѣла въ одну недѣлю продѣлать всѣ свои прогулки: точно нужно было скорѣе удостовѣриться, что лѣса, поля, рѣка и парки — все тѣ же, на своихъ мѣстахъ. Лица порозовѣли и голоса зазвенѣли весной.

Вадимъ былъ милъ, не уединялся, былъ друженъ съ Таней

Или, присѣвъ къ роялю, начиналъ что-то прибирать, задумчивые аккорды.

— Барыня! переѣхали! Съ двѣнадцатичасовымъ пожаловали. Вещи два дня возили — никакъ сундуковъ еще вдвое прошлогодняго! Экономка моя совѣмъ съ ногъ смотавши. Охъ! завертять опять ту же шарманку... Вотъ, сами увидите! Охъ!

Горлецкая выслушала докладъ няни и тяжело вздохнула.

Странное, обидное чувство: въ собственной жизни боязливо высѣживать вибрацію невидимыхъ токовъ... Чувствовать чужую волю! Ощущать ежеминутно это *чужое* — но больше уже не безразличное. Одно среди океана чужого и безразличнаго, гдѣ, какъ песчинка, затеряна жизнь каждой отдѣльной семьи...

Пока угловая дача стояла пустая, прибранная и разукрашенная къ приѣму хозяевъ, Горлецкая не хотѣла помнить о ней. Жила освобожденная. „Приѣхали!“ — и уже на завтра Софья Кирилловна читала только это слово на всѣхъ лицахъ, слышала его во всѣхъ голосахъ.

О чемъ-то совѣщались полусловами, шептались, спорили — и умолкали при звуѣ ея шаговъ.

Вадимъ не явился къ завтраку.

Неожиданно приѣхалъ изъ города Сивучевъ, и къ обѣду пришла Саррочка.

А послѣ обѣда вся молодая компанія перекочевала въ садъ къ Ротблатамъ, пить чай въ хмелевой бесѣдкѣ, куда нынче проведено электричество — въ пестрые китайскіе фонари.

Изъ города явились на новоселье Исаакъ и Яковъ. И казалось — вотъ, вотъ вернулось беззаботное молодое веселье, царившее здѣсь такъ недавно!

Казалось въ первыя минуты — но нѣтъ: Горлецкій попрежнему непростительно разсѣянъ и молчаливъ, — но блѣдна Саррочка, грустна Таня и неестественно бравуренъ, какъ всегда въ такія минуты, одинъ докторъ Сивучевъ.

Яковъ и Исаакъ, поодаль отъ другихъ, завели свой всегдашній нескончаемый споръ о путяхъ молодого еврейства, по поводу газетныхъ извѣстій о предстоящемъ сіонистскомъ съѣздѣ.

Зонъ убѣждалъ Якова и Роберта прокатиться за границу. Чтѣ имъ стоитъ? Отчеты передадутъ подробно рѣчи, но ни одинъ не передастъ главнаго — настроенія!

— Ну, и чтѣ изъ того, если даже я почувствую это ваше настроеніе? — пожалъ плечами Яковъ. — Мнѣ представляется, что это вовсе не трудно. Чѣмъ бы ни была захвачена толпа — это и овладеетъ.

— Точно ты не знаешь, что господа сіонисты ничѣмъ не брезгаютъ!—крикнулъ издали Робертъ:—если можно завербовать кого на одну недѣлю—будьте покойны, они не откажутся. Только бы занести въ списки и предать тисненію!

— Какой вздоръ, Робертъ! Откуда ты это берешь?

— То же случается рѣшительно во всѣхъ партіяхъ. Агитаторы всегда вербуютъ налету, а евреи такъ впечатлительны..., Совсѣмъ понятно.

— Но дискредитируетъ дѣло!—настаивалъ Робертъ.

— Не страшно. Дѣло слишкомъ громко говоритъ само за себя.

— Кому? романическимъ головамъ! Сказки!

— Тогда, Робертъ, ступай въ реальное дѣло. Если Палестина тебѣ не по вкусу—будемъ завоевывать Европу,—сказалъ, потирая свои длинные пальцы, Яковъ.

— Для другихъ? Слуга покорный!

Сарра вдругъ поднялась съ своего мѣста и подошла къ нимъ.

— Опять у васъ состязаніе на Робу? вы оба плохіе политики. Ему же очень лестна эта позиція—желаннаго приза!

— Ты воображаешь, что очень остроумно?—фыркнулъ Робертъ на сестру.

— Пора, наконецъ, остановиться на чемъ-нибудь,—уронилъ вѣско Яковъ.

Робертъ засунулъ руки въ карманы и шагнулъ къ нему.

— Что? зачѣмъ? цѣлую зиму носиться по городу съ карманами, набитыми билетами лекцій, концертовъ, вечеровъ—собирать рубли на революцію? Я выну тебѣ сто рублей и проваляюсь на моемъ диванѣ.

— Давно извѣстно, что тебѣ ничего не стоитъ сто рублей,—отвѣтилъ холодно Гендель:—но и для насъ, могу тебя увѣрить, они значатъ не такъ ужъ много. Нужны люди. Тебя мы живо проведемъ въ петербургскій комитетъ, это тебѣ прекрасно подходитъ. Слушай! если у тебя нѣтъ еще убѣжденій pro, то вѣдь нѣтъ и contra? На бѣломъ листѣ можно написать то и это. Работаемъ мы не для другихъ—а съ другими, для всѣхъ.

Сарра смотрѣла на него, какъ онъ говоритъ: ровнымъ голосомъ, съ сдержанной настойчивостью. Она тряхнула головой.

— Еслибъ я была мужчиной—я бы пошла и къ вамъ—къ вамъ—и еще къ третьимъ! Вездѣ бы пошла, гдѣ работаютъ для нашего человѣческаго будущаго—для счастья! Развѣ он должно быть для всѣхъ на одинъ ладъ?

Мужчины разсмѣялись.

— Вотъ это такъ политика!

Сивучевъ незамѣтно передвинулся къ нимъ.

— Что за алчность, Сарра Яковлевна! Вамъ нужно и Палестину, и Россію, и Европу?

Дѣвушка оглянулась на него блестящими глазами.

— Ну, да, ну, да! гдѣ хорошо живетъ вамъ и всѣмъ, кромѣ насъ!

— А Палестина?—произнесъ Зонъ.

— Есть много такихъ, для кого Палестина лучше,—выговорила дѣвушка не сразу, задумчиво, для себя самой.

— Это точно крестовый походъ!—шепнула брату Таня.

— Страшная отвѣтственность—манить народъ химерами!—сказалъ взволнованно Вадимъ, не спуская глазъ съ Саррочки.

— Да вѣдь нужна же какая-нибудь надежда, чтобы столько терпѣть?

И ей вспомнились слова Якова Генделя:

— Надо перестать терпѣть. Сорвать всѣ заплаты и всѣ амулеты, какими опутана воля народа къ жизни,—жизни человеческой, а не затравленнаго звѣря!

Братъ и сестра остались вдвоемъ въ сторонѣ отъ стѣснившихся у входа. Круглая бесѣда сіяла пестрыми свѣтами среди мягко шелестѣвшаго сада, еще не затихшаго для ночи.

V.

Горлецазя взяла слово съ доктора Сивучева, что онъ будетъ прѣзжать по четвергамъ къ нимъ обѣдать. Софья Кирилловна ничего не упускала, чтобы обставить пріятно жизнь брата Володи и такъ, чтобы ему самому не нужно было ничего придумывать или рѣшать.

Она не тяготилась ежедневно рано утромъ провожать его въ паркъ, гдѣ онъ останется до завтрака въ дворцовыхъ цвѣтникахъ. А вечеромъ она шла съ нимъ на прогулку или на музыку.

Малаховъ всю жизнь обожалъ цвѣты—цвѣты и ароматы. Но до сихъ поръ ему еще не случалось сдѣлать наблюденія, что, проведя часа два-три среди такого „Божьяго ковра“, можно вѣдать совсѣмъ особенныя блестящія мысли и фантазіи.

„Божьимъ ковромъ“ его восхитилъ старикъ-садовникъ, съ которымъ съ тѣхъ поръ онъ и подружился. Старикъ издали сѣмаетъ шапку, и лицо не-русскаго типа распускается въ бодрящую улыбку. Продолжая свою работу,—то присѣдая на

корточкахъ, то нагибаясь съ кривымъ ножомъ и пучкомъ мочалы, — онъ постепенно придвигается къ хмелевой верандѣ, около которой ласковый баринъ расположился подъ распущеннымъ свѣтлымъ зонтомъ со своимъ походнымъ люпитромъ. Одрѣ пчелы гудятъ и шныряютъ мягкими пулями надъ клумбами.

Здѣсь отдыхъ. Изъ кармана вынимается коротенькая финская трубочка и начинается философская бесѣда: отъ цвѣтовъ и пчелъ — къ Богу.

Въ первый четвергъ, когда Сивучевъ пріѣхалъ къ обѣду, Горлецовъ коварно пошутила:

— *Avis au lecteur*: не правда ли, докторъ, я вѣдь не общала, что вы непременно каждый разъ встрѣтите у насъ интересное общество? Мы съ Володи — старые эгоисты, приглашали васъ для себя. Но въ награду за великодушіе — торжественно обязуюсь не учинять никакихъ наблюденій надъ тѣмъ, что можетъ случиться дальше... когда вы насъ покинете! Вѣдь и ты также, Володя?

— Ни малѣйшей надобности. Хотя самъ я, не помню право, былъ ли когда-нибудь влюбленъ? — но, зато, какія же у меня знатнѣйшія связи среди этихъ волшебниковъ! Умень будетъ, кто проведетъ Владимира Малахова!

Сивучевъ смѣялся — раскланивался. Всѣ хохотали. Только Татьяна Михайловна кусала губки и не смотрѣла на гостя.

Никто не замѣтилъ, когда Таня выскользнула въ садъ. Докторъ нашелъ ее у калитки и весь просіялъ отъ радости.

— А-а-ай! Вотъ это по-дружески!

— Ну-съ, „волшебникъ“... А вѣдь это мило сказано, правда? Это у насъ привѣтся! — смѣялась дѣвушка.

— Рады, насмѣшница, лишней побрякушей на дурацкомъ колапѣ? Охъ, кто только не еутитъ на нашъ счетъ! Видали, какъ мальчишки кубарь гоняютъ: дззжж — дззжж!

— Вольно же вамъ!

Онъ любить этотъ забавный тонъ покровительственнаго назиданія.

— Прошу поясненія: что значить „вольнѣ“?

Татьяна Михайловна сдвинула брови и отвернула голову.

Онъ любить ея профиль — ту изящно сливающуюся со лбомъ линію немножко мягкаго, но прелестнаго носика, съ спокойными розовыми ноздрями. Прямая линія удивительно какъ идетъ къ нѣжному лицу съ разставленными сѣро-голубыми глазами, — можетъ быть, глазами дяди Володи. Солнце играло въ русыхъ косахъ, которыя сегодня онъ впервые видитъ свободно спущен-

ными—ровными, мягкія, до колѣнъ... одна прелесть! И круглая бѣлая шейка такъ мило отклонилась отъ него. И плечо розовѣетъ сквозь кисею.

Все это Сивучевъ впервые воспринимаетъ сегодня цѣльнымъ букетомъ въ сіяніи майскаго солнца. Она стояла безъ зонтика и такъ близко... Онъ заглядѣлся на маленькое родимое пятнышко около розовой раковины.

— Я просто поражаюсь...—говоритъ Таня хмуро—не ему, а свѣсившейся кисти лиловой сирени:—выходитъ какая-то официальная любовь... во всеобщее свѣдѣніе! Остается только думать, что вы уже женихъ.

Морякъ снялъ фуражку и провелъ маленькой темной рукой по коротко остриженной головѣ. Въ карихъ глазахъ пропала порхающая улыбка, дѣлающая ихъ такими добрыми. Съ минуту онъ теребилъ свою чудесную бороду, не по модѣ пущенную на полную волю, волнистымъ вѣеромъ.

— Ну, ужъ тогда уважите тоже, Татьяна Михайловна,—когда именно я это совершилъ?

— Что?—Она быстро повернула голову.

— Въ газетахъ не печатали о томъ, что приступаю къ ухаживанію „съ серьезными намѣреніями“—вѣдь вы не читали такого объявленія? И добрый Софій Кирилловичъ, сколько помнится, никогда не изливался въ бушевающихъ меня чувствахъ. Скажите же, въ чемъ моя вина?

Теперь нѣжное личико склонилось книзу и покрыто безпкойнымъ румянцемъ. Желтая туфелька нервно разрываетъ теплый песокъ, и отлетѣвшія песчинки ударяютъ въ его сапогъ.

Но онъ этого не видѣлъ, потому что смотрѣлъ куда-то вдоль улицы. Темныя брови подергивались.

— Отшучиваюсь... отсмѣиваюсь на всѣ стороны. Пыль и прахъ! Не знаю—что другое я могъ бы придумать? Научите, мудрецъ нашъ! Мало забавно, смѣю васъ увѣрить. Наконецъ, не сама же Сарра Яковлевна...

— Алексій Алексѣвичъ! да вы, кажется, думаете, что это я? Я выдала вашу тайну?—не могла дольше выдержать Таня.

Онъ забылъ свою досаду—такъ она была мила въ этомъ спугѣ.

— Э-э! Что тутъ выдавать? Не на горѣ ли, какъ огнеюлонники, мы поклоняемся нашему свѣтилу? Какія ужъ тутъ тайны! Не даромъ есть у нихъ эта Купина Синая...

— Перестаньте! перестаньте же, какъ у васъ хватаетъ духу утѣть!—чуть не плакала Таня.

— Какія ужъ шутки! Это, вѣдь, монополюющая привилегія Роберта Яковлевича считать всѣхъ дураками! Ахъ, ну вотъ опять... сердитесь? Языкъ мой—врагъ мой. Отрѣжьте негодный языкъ, чудная барышня, и дѣлу конецъ!

Таня и смѣется, и краснѣетъ, и ногой топаетъ, точно въ ловушку попала у жарко напеченнаго солнцемъ зеленаго заборчика.

— Дайте честное слово, что вы этого про меня не думали... Ни одной минуты, ни во снѣ, ни наяву?

— Десять честныхъ словъ!

— Десять нигде не годится. Клянитесь сейчасъ!

— Чѣмъ прикажете? сапфировыми очами Розы Сарона? Красивѣе клятвы не выдумаете.

...Ну, что это за человѣкъ?!

Въ ней оскорблено юное благоговѣніе передъ тайной любви и гордость ея Саррочки. Но сейчасъ... совсѣмъ близко витало что-то свѣтлое, беззаботно счастливое!

И пригрѣло такъ давно омраченную душу. Мучительно хочется отдохнуть отъ боязливой тоски.

Но сейчасъ же, — именно оттого, что гнетъ этой тоски почувствовался особенно явственно, — Таня поняла, что нельзя больше малодушно отталкивать эти мысли: она должна, должна!

Дѣвушка дождалась, пока за угломъ скрылась статная фигура, на ходу коротко взмахивающая одной рукой, — и тогда вошла въ калитку и дошла до самаго дальняго угла сада. Здѣсь ее ни откуда не видно.

...Странно! Прошло такъ немного времени, а глубокій осадокъ горькихъ зимнихъ настроеній въ ея сердцѣ уже растаялъ, какъ ледяная глыба на весеннемъ солнцѣ.

Но вѣдь то не была же глупая безпричинная хандра!

Было уныніе неожиданнаго одиночества, обида разочарованія въ самомъ важномъ, въ томъ, что никогда не должно измѣнить... А теперь ей такъ понятно: имъ было не до нея! Всѣ зимнія обиды и счеты съ Саррочкиной дружбой — стали мелкимъ и ребяческимъ передъ тѣмъ, что теперь грызетъ Таню.

Чему-то она не можетъ, не можетъ повѣрить всей душой: такъ какъ ей хочется побѣдить разочарованія... Развѣ такъ она воображала любовь Саррочки?

Вадимъ! Ну, да... славный, милый ихъ Вавочка.

Нѣтъ! Часто вовсе даже не славный. Ужасный эгоистъ — самый обыкновенный студентъ.

Всю зиму необыкновенная идеальная дружба соперничала съ

самым обыкновенным студентом и претерпѣвала безпощадныя пораженія.

Сарра не хотѣла разговоровъ, избѣгала своего друга. Но, Боже мой, развѣ это не та самая *банальщина*, которую Сарра всегда презирала и изгоняла?!

Главное, Таня не могла забыть, что много лѣтъ знакомства Вадимъ не только не былъ влюбленъ, но—но и считалъ это невозможнымъ...

Что-то такое страшное прячется въ этомъ сознаніи, что до сихъ поръ Таня не могла рѣшиться обдумать до конца.

Но, вотъ, она пришла въ садъ, сѣла на скамейку и сразу начала думать о самомъ страшномъ. Ждать дольше нельзя! Настало лѣто и куда-то погнало жизнь... Показалось, что еще страшнѣе не думать.

И то, что такъ часто пріѣзжаетъ Сивучевъ, и всѣ у нихъ открыто его дразнятъ Саррочкой—это тоже имѣетъ отношеніе къ главному.

— Мама не допускаетъ, чтобы Сивучевъ могъ серьезно полюбить... такъ, чтобы жениться! И папа, дядя Володя—никто, никто! Иначе они бы не посмѣли намекать.

А самъ Сивучевъ?

Въ воздухѣ проплываетъ пара ласковыхъ карихъ глазъ... Любуется ею съ полной откровенностью... тамъ, у зеленого забора.

Но уже вовсе не это она хочетъ вспоминать!

„Вѣдь онъ же знаетъ, что она влюблена въ Вадима. Значитъ, онъ тоже совершенно увѣренъ, что изъ этой любви ничего не выйдетъ. И тогда—какъ же онъ самъ? Что же это такое?“

Но всѣ тревожныя мысли только еще кружатся вокругъ самаго страшнаго, какъ воронка водоворота постепенно втягиваетъ въ свою глубину.

Таня преодолеваетъ сопротивленіе своей души и шепчетъ мысленно:

„Вадимъ всегда презиралъ евреевъ“...

Теперь она—на днѣ... Это—послѣднее.

Въ одинъ мигъ память вытолкнула цѣлую толпу незабываемыхъ словъ—интонацій, минъ—гимназиста и первокурсника: (извѣстна старая жгучая боль ея дѣтскаго сердца...

„Несчастный, несчастный человѣкъ! быть такъ позорно вѣрнымъ передъ собственной любовью!“

Ужасъ завладѣвалъ ея душой.

„Это было! Сарра можетъ узнать когда-нибудь“.

Какимъ образомъ? Развѣ можно угадать! Все всплываетъ рано или поздно. Кто-нибудь скажетъ—намекъ...

И оттого что всѣмъ своимъ существомъ Таня въ эту минуту чувствовала необходимость тайны навсегда—именно отъ этого тайна уже выскользнула изъ ея души. Отдѣлилась отъ глубины прошлаго, гдѣ столько вещей могутъ спокойно исчезнуть... а эта тайна не исчезнетъ! Она стоитъ передъ Таней черной тѣнью—гигантской, заслоняющей небо...

„Всю жизнь скрывать отъ своей жены!“

Вотъ что означали тучи, сгущавшіяся надъ этой любовью. Но когда Таня погрузилась до самаго дна,—въ умѣ своевольно блеснула мысль:

„Вадимъ не можетъ думать объ этомъ. Онъ живетъ своей любовью... для него одного прошлое умерло“.

VI.

Съ обѣдомъ спѣшили, потому что Горлецкій уѣзжаетъ въ городъ раньше обыкновеннаго.

Софья Кирилловна, съ разгоряченнымъ хмурымъ лицомъ, стояла надъ суповой миской и торопила усаживаться:

— Садитесь, садитесь... Вадима Михайловича нѣтъ, по обыкновенію!

— Оставить молодого человѣка безъ обѣда! Три вины прощаются, а это уже злоупотребленіе, — шутить примирительно дядя Володя.

— Нѣтъ, знаете,—не пришлось бы потомъ лечить отъ истощенія силъ!—подтруниваетъ Горлецкій, всегда снисходительный въ минуты отъѣзда.

— Что дѣлать — каникулярное положеніе! Да и, помнится, прежде у васъ не было строгостей на этотъ счетъ? Вѣдь это только я, грѣшный, всегда въ дружбѣ съ часовой стрѣлкой.

„Слава Богу, что хоть дядя у насъ живетъ“, — думаетъ Таня про возрастающую раздражительность матери.

А Софья Кирилловнѣ въ словахъ брата слышится намекъ на далекое... на ту интересную полосу жизни, когда на первомъ планѣ были ея собственныя желанія, тайныя и явныя волненія, планы.

— Кажется, не Богъ знаетъ какія строгости—желать элементарнаго порядка?—говоритъ она угрюмо.

— Скорѣе нельзя ли? Я опоздаю, — перебиваетъ отъѣзжающій,

до кого уже не касаются домашнія событія. Передъ пирожнымъ Михаилъ Михайловичъ извинился и всталъ изъ-за стола.

— Нѣтъ, нѣтъ, прошу не вскакивать! Кофе подадутъ сюда. Таня—сиди! Знаю, что кофе не пьешь—скушай еще мороженого. Дядя Володя, скажи хоть ты этой дѣвицѣ—красиво ли въ девятнадцать лѣтъ заводить морщины на лбу!

— Ахъ, мама!..

— Въ томъ-то и дѣло, милочка, что въ девятнадцать лѣтъ все красиво!—приласкавъ взглядомъ хмурое личико дѣвушки нестарый старикъ.

— И еслибъ еще сама влюблена была—дѣло понятное! А то вѣдь нѣтъ конца дружескимъ повинностямъ.

Вдругъ Таня насмѣшливо и холодно засмѣялась.

— Можно подумать, что въ ваше время не было ни любви, ни дружбы—мы эти неудобныя вещи выдумали!

— Нѣтъ, вы взяли себѣ свободу не считаться ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ!—воскликнула гнѣвно мать:—ты должна бы понимать, что своимъ потворствомъ...

Софья Кирилловна осѣлась: къ гостиной приближались легкіе быстрые шаги. Она успѣла подумать:

„Безъ упрековъ... Ни къ чему не ведетъ...“

Вадимъ вошелъ.

И всѣ мгновенно увидѣли, что онъ поразительно блѣденъ—ни на кого не глядя горячіе глаза въ красивыхъ темныхъ кольцахъ...

Таня похолодѣла и впиалась въ него тревожными глазами: дергаются губы... волосы слиплись на вискахъ... мелкія безцѣльныя движенія рукъ...

„Что-то случилось!!.. Затѣмъ сюда, гдѣ всѣ?! Прошелъ бы сначала къ себѣ—могли переговорить“.

Таня мучительно растерялась отъ внезапности. Она встала и пошла навстрѣчу ему.

— Что?? что??

Горящій взоръ не могъ задержаться на ней дольше одного мига. И вдругъ Вадимъ началъ смѣяться, тихо и странно. И обѣими руками поправляетъ прическу.

— Да... да... мама, прости, пожалуйста! Я общалъ... нынче е опаздывать... для дяди Володи. На этотъ разъ только!.. ты видишь...

— Молчи... замолчи!.. Ступай къ себѣ... Что ты дѣлаешь?!—сптала Таня, стараясь заслонить его собою, и вдругъ заговорила громко, звенящимъ голосомъ:

— Дайте ему мороженаго!.. Ты обѣдалъ, Вада? конечно, онъ хочетъ! Паша, распорядись скорѣе!

— Оставь его въ покоѣ, Таня! — крикнула властно мать и тоже направилась къ двери.

Но Таня не могла остановиться.

— Онъ хочетъ мороженаго! Вадимъ, садись—вотъ сюда, сюда!

Таня стучала объ полъ ножкой стула, чтобы привлечь его вниманіе, чтобы помѣшать—сама не зная, чему.

— Что съ тобой?—спросила мать, подойдя къ нему вплотную.

— Софи... Софи... — ронялъ тревожно Малаховъ, двигая стуломъ.

А Паша подскочилъ къ нему сзади и прямо въ ухо шепнулъ со свистомъ:

— Сейчасъ объявить, что хочетъ жениться на Сарроткѣ—вотъ увидите, увидите!

— Мама, оставьте! Ему нехорошо — ради Бога, отведемъ въ его комнату... Потомъ! дайте ему успокоиться!—молила Таня, точно отклоняя насиліе. Слезы бѣжали по ея лицу.

Софья Кирилловна не шевелилась, ближе всѣхъ къ нему. Это—ея мѣсто.

Вадимъ припалъ губами къ рукѣ, лежавшей на его плечѣ. Мать стала гладить другой рукой влажные волосы.

Все исчезло вокругъ... Вдвоемъ—какъ на палубѣ парохода, который начинаетъ качать.

Никто не могъ бы разувѣрить Таню въ томъ, что она первая должна все узнать, и только она одна можетъ успокоить Вадима. И вотъ, она видитъ съ глубокимъ смятеніемъ, какъ мать его уводитъ, обнявъ за плечи... И никто не обращаетъ вниманія на ея протесты.

Вадимъ даже не оглянулся на нее...

Вадимъ сидѣлъ въ глубинѣ кушетки. На головѣ—платокъ, смоченный одеколономъ.

Вмѣстѣ съ медленно возвращающеюся ясностью сознанія ломается слѣпой порывъ, перебросившій его—онъ не помнитъ какъ!—изъ сада угловой дачи въ ихъ столовую...

Летѣлъ—скорѣе—сейчасъ—мгновенно опрокинуть всѣ преграды! овладѣть ослѣпительнымъ счастьемъ ея любви!

Его гнало слѣпо, безъ мысли...

Но вотъ... уже уплываетъ свѣтлыми волнами угаръ восторженнаго подъема, когда все казалось легко, близко!..

Вѣдь до этой минуты они жили въ собственномъ мірѣ, огражденномъ тайной: разгаданной давно, понятной всѣмъ—и все-таки неприкосновенной тайной человѣческаго сердца... Тайна защищала ихъ, дала сплестись ихъ душамъ. А сейчасъ онъ самъ, добровольно долженъ перешагнуть заповѣдную черту?..

Онъ кинетъ имъ тайну души. Развѣ онъ не знаетъ, что они никогда не поймутъ... не захотятъ!?

И самъ, самъ это сдѣлаетъ... Обязанъ сдѣлать!..

Все его существо сопротивляется — молить объ отсрочкѣ...

...Не сейчасъ!.. Не сегодня!

...Одному... въ собственной глубинѣ... въ тайномъ воспоминаніи снова и снова переживать такъ мгновенно промелькнувшее блаженство... О!.. быстрѣе чѣмъ сонъ!..

Они вѣдь не жили еще счастьемъ признанія, не успѣли. Сейчасъ въ первый разъ произнесены заветныя слова... Слова, сжигавшія душу годъ! Наконецъ, онъ могъ, могъ—онъ посмѣлъ! Читалъ въ ея взволнованномъ лицѣ, покорномъ...

...Тоска, тоска сверлитъ сердце!

Въ тотъ же мигъ стала нестерпима *неизвѣстность* — стала виной передъ Саррочкой.

...„Ваши родители...“—едва она выговорила глухимъ голосомъ,—и онъ ринулся съ мольбой: она вѣрить должна, вѣрить! Онъ ручается... О, нѣтъ! Ни одного дня ея сомнѣній!

Онъ заставитъ принять свою волю!

Это было точно предчувствіе, угроза. Она молча дала ему уйти. Уйти такъ скоро! Всего послѣ нѣсколькихъ безсвязныхъ словъ... Нельзя говорить! Смотрѣть ей въ лицо нельзя, пока...

Вадимъ застоналъ безсознательно, силясь вспомнить, какъ чужая враждебная сила отрывала ихъ другъ отъ друга,—погнала его!..

...Она ждетъ!..

Мать тихо стояла сбоку, у окна.

За окномъ нарядный садикъ плоско и мелко пестрѣетъ, залитый солнцемъ. Взволнованный взоръ напрасно ищетъ гдѣ-нибудь прорваться въ просторъ.

Всѣ упреки за собственную слѣпоту, какіе Софья Кирилловна высказывала брату въ пасхальную ночь, еще разъ прилипли къ ея мозгу горькой волной... Но какая-то новая, стинетивная робость глушитъ знакомый порывъ.

Пораженная на смерть, но все еще дышащая тайна раздѣлитъ двухъ людей.

— Тебѣ лучше немного? Дай, я еще смочу одеколономъ!—репнулась мать, когда Вадимъ сбросилъ со лба платокъ.

— Не надо...

— Успокойся... Успокойся, умоляю тебя!

— Какъ я могу?!—Ты знаешь, что я не могу...

Бессознательнымъ порывомъ онъ протянулъ къ ней руки.

И въ тотъ же мигъ счастье любви самовластно прихлынуло къ его глазамъ, всдрыгнуло румянцемъ на похудѣвшихъ щекахъ, задрожало непобѣдимой стыдливой улыбкой на горящихъ устахъ.

Сіяющая прелесть пріотерывшагося лица любви точно обожгла душу матери. Она оттолкнула протянутыя къ ней руки.

— Я знаю?! Что, что я знаю?... Развѣ вы идете къ намъ съ признаніемъ?—Мы всегда послѣдніе! Сначала всѣхъ измучаете, испортите жизнь, запутаетесь непоправимо... Ты влюбленъ? Всякій прохожій на Кленовой улицѣ давно знаетъ, въ кого влюбленъ сынъ Горлецовъ. Этого ты можешь не возвѣщать мнѣ!—Она шагала по комнатамъ сильными, нетерпѣливыми движеніями рвущагося на волю гнѣва.

И отъ этого жесткаго голоса въ его душѣ завяла безотчетная робкая надежда: мать пощадить. Они не поднимутъ противъ него отравленнаго оружія, лежащаго такъ близко позади... всѣмъ, всѣмъ доступнаго оружія! Такъ страшно близко!

Вотъ чего страшился — и до послѣдней минуты не хотѣлъ знать, что страшится... Жалкое ребячество!

...Мгновенное блаженство быстро-быстро уносится отъ него, какъ утренній туманъ. И голова тихо кружится вслѣдъ.

...Родители! мать! Неужели нельзя понять бездны его отчаянія?..

А мать говоритъ быстро, горько:

— Хотя бы капля довѣрія за всю нашу любовь! Пусть мы глупѣе васъ во всемъ — но любовь развѣ каждый не переживаетъ въ свой чередъ? Раньше, когда еще было время... хоть ради нея, если ты ее любишь... ты въ особенности, Вадимъ! Развѣ я не всегда стояла горой, защищала? Я не другъ тебѣ??

Она заплакала.

Онъ смутился отъ неумѣстности слезъ.

— Не знаю... Кто же можетъ рассказывать? Это странное требованіе...

Ее, какъ ударомъ, отбросило къ прежнему запальчивому тону:

— Ахъ, сдѣлай милость, не говори о требованіяхъ! Что отъ васъ когда-нибудь требовали? Вы знаете только свои желанія, фантазіи...

— Мама...

— Ты страдаешь?.. Кого же винить? Вѣдь ты не ребенокъ,— ты знаешь, кто она!

Онъ былъ уже на ногахъ, весь дрожа, плающій.

— Я страдаю? Чтѣ ты думаешь?.. Да, страдаю, потому что знаю, что вы истерзаете меня... Но въ цѣломъ мірѣ нѣтъ никого счастливѣе меня—нѣтъ другой подобной дѣвушки!.. О, какъ я недостойнъ ея, недостойнъ!.. Но я заслужу ея любовь... Послушай... мама!.. Не оскорбляй моей любви... Не говори жестокихъ словъ. Это будетъ напрасно! Никто не вырветъ моего счастья!..

Онъ захлебывался, метался, какъ женщина въ истерикѣ. Жгучія волны постыднаго страха ударяютъ въ сердце—дрожитъ оно, дрожитъ,—нестерпимую боль сейчасъ ему причинять!.. Точно она достигнетъ туда—услышитъ Саррочка!..

Нѣтъ, нѣтъ... Одинъ!.. Она никогда не узнаетъ.

Лицо передергивалось судорогой. Растерянный взоръ суженныхъ зрачковъ ждетъ удара.

Но мать, сраженная словами, не замѣчала его состоянія.

— Ты счастливъ?.. Твое счастье?!

Умолкла. Потомъ вырвалась быстрая, спутанная, беззвучная скороговорка:

— Нѣтъ, ты не такъ же ослѣпленъ—всему есть мѣра! Какъ будто никто не переживалъ—не побѣждалъ безразсудной любви?—Породнить насъ съ этой... съ этой семьей... съ фамиліей Ротблатовъ... Любовь безумна, тебя никто не обвиняетъ... Но... Но у тебя же есть здравый смыслъ, Вадимъ!..

Непроизвольно она начала смѣяться, срывающимся смѣхомъ. Трезвыя мысли исчезли изъ ума.

— Молчи! Перестань!—Ты хочешь, чтобы я ушелъ навсегда отъ васъ?..

Въ воображеніи ея вспыхнуло: въ этомъ волненіи, въ истерикѣ, Вадимъ выскочилъ на улицу, перебѣжалъ всего нѣсколько сажень, —дверь угловой дачи распахнулась—приняла его.

...Этого тамъ ждутъ, добиваются! Не ждутъ же они ея согласія?—Да, ему есть куда уйти...

Ледяныя волны затушили пожаръ,—прояснили голову. Она подошла и насильно завладѣла его руками.

— Будетъ, будетъ!.. Мы безумствуемъ!.. Вада, любимецъ мой... первый сынъ мой!

Она поцѣловала влажную и какъ ледъ холодную руку.

Онъ вырвался.

— Какъ ты могла!? послѣ всѣхъ оскорбленій!.. Оставь!.. Я хочу уйти.

Она точно не могла остановиться—говорить о своей любви, о страхѣ. Его муза такъ понятна! Кто же не пойметъ ее?

— Потерпи—только потерпи немного! Ты вѣришь, что это прочно? Никакая красота не сдѣлаетъ чужого—своимъ! Всегда чувствовалось чужое... Послушай! Еслибъ могла быть истинная любовь, она пришла бы давно... Ты такъ давно видишь эту самую красоту. Отчего же только теперь... Господи! Еслибъ мнѣ это въ голову приходило! Ну, ухаживаешь—флиртуете. И уйдетъ, какъ пришло! Мало ли жениховъ у такой богачки.

Все равно, онъ не слышалъ ея словъ, — онъ въ это же время говорилъ свое:

— Примирись! вы должны примириться,—не будетъ ничего другого. Уговори отца! Такихъ жертвъ нельзя требовать. Я не обязанъ испортить себѣ жизнь въ угоду безчеловѣчнымъ предразсудкамъ!

Вотъ когда обрушился ударъ! Когда онъ уже не думалъ... Опять горячая волна залила ея мозгъ — глаза блеснули торжествомъ.

— Ахъ, это *предразсудки*? да?? . Съ какихъ же поръ вы, Вадимъ Михайловичъ, такъ измѣнили свои взгляды? Еврейскаго вопроса не существуетъ больше... Что-жъ! вы, можете быть, подружились и съ тетусьей „изъ Ноева Ковчега“... Чьи это слова?—И не Богъ знаетъ какъ давно! Могу, могу напомнить...

Онъ молча, стиснувъ челюсти, рванулся къ двери. Но она этого ждала—опредила его.

— Не могу отпустить въ такомъ состояніи! Выпей воды.

Онъ въ изступленіи затопалъ ногами.

— Я никогда... никогда тебѣ не прощу—этой низкой жестокости... Низость, низость! Мальчишкѣ набили голову дворянской фанаберіей... Ваши же слова повторялъ, пока на себѣ не почувствовалъ.

Она ядовито усмѣхалась.

— Ну, не мы это выдумали! Въ милліонахъ—въ народахъ—говорить что-нибудь и кромѣ предразсудковъ. Голосъ расы!

— Мнѣ все равно до милліоновъ! Ты—моя мать! нѣтъ... нѣтъ... Чтѣ я сказалъ? Неправда, не все равно! На всѣхъ, на каждаго всю жизнь буду смотрѣть какъ на враговъ...

— Конечно, конечно! Тамъ чему же ты могъ научиться, кромѣ ненависти!

— Человѣчности! Только тамъ научился человѣчности!

— И оскорблять мать—свою семью! Не ты первый изъ-за красиваго личика готовъ испортить жизнь себѣ... другимъ. Но ты носишь имя, которое ты обязанъ уважать!..

Вадимъ подошелъ къ окну и толкнулъ раму. Она крикнула:

— Не смѣй! расшибешься!

— Тогда дай уйти. Я не только вашъ сынъ, Найдено-Горлецкій... Я имѣю право на человѣческое счастье, какъ я самъ его понимаю, какъ хочу. Да! я отрекаюсь отъ вашихъ понятій, отъ вашихъ чувствъ! Прощай! Ты сама этого хотѣла.

О! какое холодное отчужденіе глядѣло ей въ лицо изъ его воспаленныхъ глазъ!

Горлецкая посторонилась.

— Нѣтъ! Не говорить же съ нимъ объ этой женитьбѣ, какъ о чемъ-то мыслимомъ,—доказывать, убѣждать. Зачѣмъ, зачѣмъ она пыталась?! Несчастный, безумный мальчикъ! Поймали, опутали!

...Михаилъ Михайловичъ, господинъ Найдено-Горлецкій, пожалуйста, не угодно ли! Какъ-то понравится вамъ прикладываться къ ручкѣ госпожи Ротблатъ? Та, другая... въ атласномъ парикѣ...

Въ окно, открытое Вадимомъ, вырвались звуки захлебывающагося смѣха, похожаго на рыданія.

Но скоро смѣхъ стихъ. Вся сила души, всколыхнувшейся до первоосновъ своихъ, сосредоточилась въ напряженной работѣ мысли... Должно быть средство не допустить безумія!

Надъ Вадимомъ все безсильно.

...Иначе?

Горлецкая замерла, точно превращенная въ камень. Даже дыханіе нельзя уловить по судорожно стиснутой руками груди.

...Развѣ честно оставить дѣвушку въ заблужденіи? Нуженъ ли ей этотъ мальчикъ такой цѣной?..

VII.

Малаховъ въ своемъ кабинетѣ лежалъ въ качалкѣ, съ книгой въ рукахъ. Не стоило приниматься за работу,—сегодня его не ставятъ въ покоѣ.

Во время обѣда Малаховъ подумалъ въ нѣсколько приѣмовъ: о сущности, человѣкѣ, на которомъ лежитъ отвѣтственный трудъ—трудъ всей жизни—имѣетъ ли право отступить отъ своей программы безъ равноцѣнныхъ поводовъ?

Конечно, не имѣетъ. Онъ чувствовалъ себя виноватымъ. Непродуманная расточительность извинительна развѣ молодости. Чему можетъ онъ помочь въ семьѣ сестры? Совершенно очевидно, что онъ никого не образумитъ: люди живутъ эмоціями и не хотятъ слушать голоса разума.

Но въ то же время на немъ, какъ тяжесть, лежитъ несомнѣнная обязанность по мѣрѣ силъ помочь Софи въ ея трудномъ положеніи... И однако, вдуматься въ это положеніе реально онъ не могъ себя заставить: совершенно произвольно мысль ускользаетъ изъ рамокъ данныхъ жизненныхъ позицій и оказывается уже въ привычномъ просторѣ свободныхъ умствованій. Еврейскій вопросъ... увостъ сословныхъ традицій... мораль и религія... любовь и красота... родительская драма...

Все это переливается въ умъ, но упорно не хочетъ вылиться въ какой-нибудь утилитарный поступокъ, годный для примиренія материнскаго спокойствія съ поэтической любовью къ красавицѣ-еврейкѣ... И непріятно утомляютъ бесплодныя напряженія ума...

Малаховъ очнулся отъ стука въ дверь.

При видѣ взволнованной, заплаканной Тани онъ прежде всего ощутилъ острую досаду за свою неподготовленность.

Конечно, она ждетъ, что онъ поглощенъ событіемъ. И они ждутъ отъ него... всѣ чего-нибудь ждутъ отъ него! Обѣ стороны обратились къ нему за помощью. Въ чемъ собственно его истинная обязанность? Онъ такъ удачно прожилъ жизнь, ничѣмъ не обязанный, — и вотъ, теперь...

Непривычно сухо прозвучалъ вопросъ: желаетъ ли Таня отъ него сейчасъ же чего-нибудь опредѣленнаго?

Дѣвушка смутилась.

— Дядя, милый... Кто же можетъ, кромѣ васъ? Мама такъ васъ любитъ и почитаетъ. Ну, что бы мы дѣлали безъ васъ!

Она не рѣшалась взять его руку и только водила бѣлыми пальчиками по рукаву.

Малаховъ слегка пожалъ бѣлые пальчики. Только бы всѣ успокоились и захотѣли разумно мыслить! Онъ не видитъ ничего ужаснаго.

Таня рассказывала, что Вадимъ, какъ пуля, вылетѣлъ изъ комнаты матери. Заперся на ключъ—не отзывается на всѣ ея мольбы.

Но развѣ это не совершенно естественно? Ему нужно обратиться съ мыслями. Отнюдь не слѣдуетъ ему мѣшать! Спокойствіе всего важнѣе.

— Немного терпѣнія и все благополучно уладится.

Увы! досадная неподготовленность толкаетъ на торную дорожку. Ровный голосъ звучитъ успокоительно. Необдуманное слово мгновенно подхвачено:

— Да? уладится? да?.. Ахъ, слава Богу, какое счастье! Вы, вѣрно, раньше ужъ переговорили съ мамой? Ну, да, это ужъ понятно!

Глаза еще полны слезъ, но имъ уже хочется улыбнуться. Она жадно спрашиваетъ его глаза—можно ли улыбаться?

Какъ хорошо, что Малахову нечего выдавать такой неприличной для него, стремительной вкрадчивости. Онъ поскорѣе отводитъ въ сторону мигающіе глаза, чтобы не видѣть такъ близко умоляющаго розоваго лица.

Положа руку на сердце, онъ думаетъ, что Софи не подготовлена къ такому... къ такому рѣшительному обороту.

— Софи... то-есть, конечно, и отецъ также, и, наконецъ, всѣ имѣли основанія—ты этого, милочка, не станешь, я думаю, отрицать?—основанія считать Вадима юношей разсудительнымъ... Вѣдь бракъ въ наше время не можетъ быть вопросомъ одного увлеченія.

Дѣвушка по-дѣтски, порывисто всплеснула руками.

— Это вы говорите!? вы говорите?? Ну, чего же тогда требовать отъ другихъ!.. Да, да, увлеченіе, не серьезно... это ужъ всегда такъ! Саррочка—значитъ увлеченіе, а еслибъ была русская барышня, тогда дѣло другое... О-о-о!

Таня выхватила платокъ и простодушно залилась слезами разочарованія. И какъ будто этотъ упрекъ сказала не Таня—пропѣлъ жалобный хоръ милыхъ молодыхъ друзей и недруговъ... да, также и недруговъ, но все-таки милыхъ, родныхъ.

Юные образы, такъ давно привычно живущіе въ его душѣ, что немного было у него жизненныхъ встрѣчъ, которыя бы жили въ ней такъ же ясно и реально.

Малаховъ тоже вынулъ душистый платокъ и помахалъ имъ себѣ въ лицо.

...Да, собственно говоря, почему же онъ вдругъ обязанъ бороться противъ самыхъ законныхъ и симпатичныхъ правъ молодости? Бороться противъ любви!

...Да! вотъ какъ легко измѣнить самому завѣтному, разъ ты позволишь втянуть себя въ совершенно чуждые интересы!

Несомнѣнно, онъ всегда, всю жизнь исповѣдывалъ свободу вѣства. Разумѣется, онъ считаетъ высокую, безкорыстную страсть шимъ украшеніемъ человѣческой души. Онъ несомнѣнно со-

вершенно и окончательно не можетъ,—именно, *не можетъ* смотреть иначе на этотъ вопросъ.

И однакоже, бѣдная Софи страдаетъ и съ полнымъ правомъ ждетъ отъ него поддержки въ этомъ серьезномъ случаѣ.

Дядя Володя смутно чувствуетъ, что сейчасъ нужно нѣчто совсѣмъ иное, не имѣющее отношенія къ его теоретическимъ признаніямъ и умственнымъ влеченіямъ. Но совершенно отчетливо приходитъ въ голову только одно: какъ легко онъ могъ избѣжать этихъ тягостныхъ конфликтовъ! Еслибъ у него хватило на нѣсколько минутъ выдержки спокойной убѣжденности—только и всего.

Въ воображеніи съ дразнящей отчетливостью замелькали привычныя картины нѣмецкаго курорта, повѣяло миромъ беззаботнаго режима въ удобной рамѣ высокой культуры.

Ничего мучительнаго. Сейчасъ онъ сидѣлъ бы въ виноградной верандѣ надъ круглымъ прудомъ, у подножія мраморнаго Феба.

„Justement c'est l'heure!“ — подумалъ онъ завистливо, почему-то по-французски...

Спустя четверть часа, Малаховъ съ Таней вмѣстѣ явились въ комнату Софьи Кирилловны.

Дядя Володя общалъ.

Правда, онъ не сказалъ ничего опредѣленнаго. Съ безукоризненно выбритыхъ щекъ не сходило краска смущенія, а близорукіе глаза никогда въ жизни не смотрѣли такъ мрачно. Но въ груди волновалось пріятное чувство благородной рѣшимости.

И Таня полна была готовности проявить невиданное міромъ самообладаніе. Вѣдь она знаетъ навѣрное, что самыя вѣрныя побѣды одерживаются самообладаніемъ.

Ихъ появленіе было встрѣчено съ откровеннымъ неудовольствіемъ: „Почему вмѣстѣ? комплотъ?“

Софья Кирилловна поднялась отъ стола, на которомъ что-то писала. Она посмотрѣла вопросительно на брата, но не удержалась и сейчасъ же кинула дочери:

— Наконецъ, душа ваша на мѣстѣ, Татьяна Михайловна?! Добились своего,—Вадимъ потерялъ всякій здравый смыслъ! Съ нимъ невозможно говорить... Представляешь себѣ, Володя,—сейчасъ жениться на m-lle Ротблатъ, ни больше, ни меньше!

И она засмѣялась тѣмъ же отчаяннымъ короткимъ смѣшкомъ, какъ въ объясненіи съ сыномъ.

Владиміръ Кирилловичъ сдѣлалъ слабый жестъ маленькой бѣлой рукой и со вздохомъ опустился въ кресло.

— Но вѣдь это же совершенно естественно, милочка. Если взглянуть объективно, какъ мы собственно и обязаны,—выговорилъ онъ скорбнымъ, кроткимъ голосомъ.

— Тогда скажите, мама, чего другого Вадимъ могъ бы желать?!—произнесла Тania съ сдержанной дрожью въ голосъ.

Но съ Таней мать мгновенно теряетъ послѣднее самообладаніе. Вихрь гнѣва налеталъ и кидался въ голову. Она крикнула грубо:

— Я тебя не спрашиваю, о чемъ вы сговаривались и какіе тамъ готовились планы!

— Сговаривались... кто?!—переспросила дѣвушка испуганно.

— Софи, мой другъ... будемъ воздерживаться отъ бесполезной горячности.

Нѣтъ, и Володя бѣсилъ ее ничуть не меньше!

— Ну, да, конечно, чтѣ же стоитъ другихъ урезонивать! Вотъ если бы для тебя случилось несчастье,—напримѣръ, кто-нибудь испортилъ бы твои драгоценныя рукописи,—что же, ты оставался бы такимъ же олицетвореніемъ достойнаго хладнокровія?! А такъ... ха!—на комъ женится твой племянникъ,—не все ли равно въ концѣ концовъ!

— Позволь. Если ужъ позволять себѣ параллели, въ такомъ случаѣ обязательно...

— Ахъ, какія тамъ параллели и чтѣ такое обязательно!.. Да и чтѣ ты можешь сказать? *Noblesse oblige!* ты долженъ защищать романтическую любовь—или всѣ эти твои шедевры ничего не стоятъ!

У нея пылало лицо и блестѣли, точно стеклянные, глаза, и дрожали руки отъ непроходящей боли въ сердцѣ.

Малаховъ поднялся со стула, на которомъ онъ только-что усѣлся. Массивная фигура дышала спокойнымъ достоинствомъ.

— Ухожу, Софи. Ты меня позови, когда будешь способна вести разговоръ корректно. Такъ я не умѣю, извини.

— Вижу, что мнѣ придется бороться одной! Нарочно и день выбрали, когда отецъ уѣхалъ... Мастера своего дѣла!

Тania выскользнула раньше изъ комнаты, сообразивъ, что ея отсутствіе лишаетъ мать послѣдняго самообладанія. Быть можетъ, и тогда Володя одинъ попытается...

Но, увѣ, вслѣдъ за ней и Малаховъ появился въ корридорѣ, на робкій вопросъ дѣвушки совершенно неожиданно высказалъ вѣтвореніе: — благодаря Бога, хотъ онъ не взялъ на себя

отвѣтственности за чужія судьбы. Семейные конфликты унижательны.

— Всего лучше, моя милочка, оставить это до прїѣзда вашего отца. Я, право, не вижу никакихъ способовъ... у женщинъ въ такія минуты какъ бы атрофированы задерживающіе центры.

Таня проводила его нѣмымъ взглядомъ нравственнаго превосходства: молодого мужества, всегда готоваго принять открытый бой...

За дверью Вадима была пугающая тишина. Таня прижималась лицомъ къ двери и шептала въ щелку:

— Милый, обдѣнькій мой Вавочка! —пусти меня—отопри дверь! Развѣ я виновата? Чѣмъ я виновата, Вадимъ?.. Пуси!

За запертой дверью быстро растетъ страхъ.

— Развѣ ты не хочешь знать, что говорить дядя Володя?

Видно, и Вадимъ тоже возлагалъ кое-какія надежды на патентованнаго знатока человѣческаго сердца,—дверь, наконецъ, распахнулась.

Блѣдный, растрепанный, съ красными глазами, Вадимъ не хотѣлъ пустить Таню дальше порога.

— Ну? скорѣе пожалуйста! Какое именно литературное произведеніе избралъ изысканный дядюшка? Цѣлую дюжину??

Таню испугалъ его видъ.

— Боже мой, Вадимъ, зачѣмъ ты не предупредилъ меня!? Вѣдь это же безуміе такъ сразу обрушить на маму... Что ты надѣлалъ!

Его и безъ того уже терзало сомнѣніе,—онъ раздражительно крикнулъ:

— Ахъ, не все ли равно! Впрочемъ, откуда я зналъ, что отца вѣтъ дома?

— Но отчего, отчего такъ вдругъ?! Вадимъ, не сердись... я всегда думала... Ахъ, конечно, теперь ужъ все равно! И можетъ быть... можетъ быть, она этого хотѣла?

Вадимъ безсознательно пытался отъ двери, точно ускользая отъ ея словъ.

— Пожалуйста, не критикуй!—крикнулъ онъ.—Сдѣлано —такъ вышло, вотъ и все! Не могъ медлить ни минуты... ни минуты!.. когда она... когда послѣ объясненія...

„Объясненіе“... Слово обожгло Таню.

— Да и вовсе не думалъ, не зналъ самъ, что сегодня! Пожалуйста, такъ и всегда бываетъ?? Я не зналъ...

Лицо преобразилось: стало мечтательное и нѣжное.

Таня поняла, что онъ *вспоминаетъ*, и пугливо отвела свои глаза.

Да! Онъ опять стоитъ въ липовой аллеѣ передъ Саррочкой, съ головы до ногъ осыпанной маленькими золотыми кружечками, точно крупными искрами.

...Какъ было?.. Развѣ видятъ въ блескѣ молніи? Развѣ помнятъ?

...И сейчасъ онъ чувствуетъ ея холодныя, пугливыя руки—онѣ какимъ-то холоднымъ огнемъ пронизывали все его тѣло.

Руки помнятъ! Гибкое движеніе тоненькаго стана, обвитаго жесткой голубой лентой... Только когда она выскользнула—понялъ, что пытался обнять ее...

Онъ шелъ къ крыльцу вдоль забора, какъ всегда. Вдругъ она позвала его изъ сада. Она изъ сада смотрѣла, какъ онъ шелъ. Что-то было въ ея голосѣ!..

Его ударило въ сердце: сегодня!

Никогда раньше не было такого голоса...

„Теперь всегда будетъ такой голосъ, всегда!“—кто-то шепнулъ совсѣмъ отчетливо.

Вадимъ засмѣялся и покраснѣлъ. И вдругъ онъ почувствовалъ, что Таня схватила его руку и цѣлуетъ, цѣлуетъ. И слезы каплютъ на его пальцы...

— Таня, глупая, глупая!..

Онъ схватилъ ее за плечи, стиснулъ, больно чмокнулъ въ ухо и убѣждалъ изъ собственной комнаты.

Таня говорила себѣ, что ей страстно хочется сейчасъ же увидѣть Саррочку.

...Невозможно!

Какъ и Вадимъ, она чувствовала, что все прежнее рушится. Точно это ужъ не та любовь, которую она такъ давно знаетъ, о чемъ постоянно думала, волновалась, ждала.

Распалась неуволнимая преграда, сдерживавшая другое, розовое... смутно предчувствуемое! Преграда, дѣлавшая видимой для нихъ троицъ только одну любовь—прекрасную, таинственную первую любовь!

Но, вотъ, Таня не можетъ уже чувствовать, какъ прежде, только одну свою любимую Саррочку: и Раиса Моисеевна, и тѣ Розалія, и Робертъ, и старшій заграничный братъ (важный инжиръ, котораго она видѣла всего одинъ разъ) и кузены Саррочки, и цѣлая толпа родственниковъ и друзей необыкновенно низкихъ, точно всѣ одинаково родные и близкіе. Огромная жая толпа стѣснилась вокругъ Саррочки—заслонила ее!

...Поетъ, поетъ, поетъ сердце Тани...

Съ беззаботностью юности, она еще никогда не вдумывалась основательно въ то, какъ именно можетъ осуществиться ихъ бракъ. Разумѣется, она знала, что сопротивление родителей неизбежно,—но изъ этого почему-то не получалось никакого реального представленія: все заливалъ потокъ страстныхъ благородныхъ словъ, которыя Вадимъ и она кинулъ въ лицо людямъ, зачерствѣвшимъ въ предразсудкахъ,—чего нельзя опровергнуть! Потокъ этотъ заранѣе смывалъ все.

Вѣдь никто же не можетъ прямо въ лицо отвѣтить: да, пусть будетъ оскорблена и несчастна прелестная Саррочка, которую всѣ всегда любили,— пусть будетъ отчаяніе Вадима, любимого сына. Надо, чтобы торжествовала фамиліальная гордость Найдено-Горлецевыхъ, не допускающая брака съ еврейкой, кто бы она ни была,—это одно важнѣе всего. Важнѣе счастья двухъ людей.

Ну, развѣ можно представить себѣ, что отецъ и мать скажутъ такіа безсмысленныя и безчеловѣчныя слова? Развѣ имъ не дорого счастье Вадима?

Нужно только, чтобы у нихъ не оставалось надежды сломить Вадима,—взрослые всегда надѣются сломить дѣтей! Но только послѣ этого разговора съ Вадимомъ Тania создалась самой себѣ, что до сихъ поръ и у нея не было непоколебимой вѣры въ его твердость. Слава Богу, теперь это прошло — все кончено! Они объяснились, Саррочка его невѣста! Ужъ никто теперь не можетъ измѣнить этого...

А вотъ... пойти сейчасъ къ Саррочкѣ она все-таки не можетъ. Все равно, она узнаетъ... нельзя скрыть! Она ужъ и теперь знаетъ! Вѣдь еслибъ объясненіе съ матерью кончилось счастливо — они оба сейчасъ полетѣли бы къ ней.

Саррочка считаетъ часы—ждетъ.

Точно сейчасъ самой Танѣ надо спрятаться отъ Саррочки — отъ всѣхъ...

Какъ будто теперь впервые Тania Горлецкая разглядѣла рѣзкія границы обособленнаго міра людей—*не такихъ, какъ въ*.

Она шла туда беззаботно... Нѣтъ! съ какимъ-то сложнымъ чувствомъ скрытаго довольства собой (за то, что шла) и неустрашимого глухого недоверія къ ожидающему ее тамъ всегда одинаково любезному и старательному приему. Ее осыпали вниманіемъ и радушіемъ,—а она все-таки лучше любить затащить Саррочку къ себѣ. Потому что вовсе и не нужно столько любезности, угощенія, веселья... У нихъ Саррочка могла чувство-

вать себя совсѣмъ просто и свободно,—никто для нея не стался, и это самое лучшее. А Таня у Ротблатъ—всегда почетная гостья.

„*Не своя*“ —нашлось вдругъ настоящее слово.

Таня всегда находила, что Саррочка слишкомъ много обдумывается, какъ поступить или что сказать, или почему другіе поступаютъ такъ, а не иначе. Оттого иногда Саррочка вдругъ начнетъ подозрѣвать „неискренность“, — неискренность — *bête noire* Саррочки,—видитъ какія-то скрытыя побужденія, намеки, обижается на шутку.

Но вѣдь это только находить иногда на Саррочку со стороны—отъ всѣхъ этихъ любезныхъ и недовѣрчивыхъ людей.

„Да не старайся столько, Саррочка, не старайся, пожалуйста! Опять ужъ тебѣ хочется что-то такое откопать несуществующее?“ —ловить ее со смѣхомъ Таня, и до тѣхъ поръ тормошитъ и вышучиваетъ, пока совсѣмъ не исчезнетъ маленькая тревожная черточка между живописными, точно нарисованными бровями.

Теперь Танѣ страшно думать, — какъ должна волноваться Сарра! Она ждетъ — а Вадимъ не идетъ. И она не идетъ... И вдругъ точно откуда-то вырвался вопросъ: *спришла ли Сарра?*

...„Нѣтъ! всегда боялась... сомнѣвалась!...“

Но никогда ничего не сказала ей. Такая дружба — и ни одного откровеннаго слова о самомъ главномъ!..

Таня вдругъ перестала понимать: почему же ей казалось естественнымъ, не оскорбляло ее, не поссорило ихъ?.. Неясное сложное чувство подчиняло ее волѣ ея друга.

А теперь возсталъ и ропщетъ ея глубокая любовь. Вѣдь это никогда, никогда не вернется! Не вернется ея правота передъ Саррочкой, передъ всѣми ими.

Онѣ могли вмѣстѣ переживать сомнѣнія и страхи и надежды. Тогда все было можно! —а теперь она не смѣетъ пойти къ своему другу, когда она страдаетъ.

И опять Таня что-то прячетъ, что-то боится назвать настоящимъ именемъ, что-то малодушно отталкиваетъ...

Поздно она уснула съ мокрыми рѣсницами и пылающими щеками.

Ольга Шапиръ.



РАННИЕ ГОДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО

Изъ исторіи русскаго общества и литературы.

Окончаніе.

VIII *).

Саратовская гимназія, согласно закону 21 марта 1849 г., была семиклассная, имѣла общее и специальное обученіе; специальное, начиная съ IV класса, имѣло въ виду выходъ воспитанниковъ изъ гимназій прямо на службу,—и для такихъ были добавочныя занятія по русскому языку, математикѣ и законовѣдѣнію; для воспитанниковъ, готовившихся по общему отдѣленію въ университетъ, съ IV класса полагались латинскій и греческій языки, послѣдній только для желающихъ поступить на I-е отдѣленіе философскаго факультета. При выработкѣ положенія для гимназій, откровенно имѣлось въ виду „оградить гимназіи отъ умножающагося прилива, какъ въ эти среднія, такъ и въ высшія учебныя заведенія, молодыхъ людей, рожденныхъ въ низшихъ слояхъ общества, для которыхъ высшее образованіе бесполезно: ибо, составляя лишнюю роскошь, оно выводитъ ихъ изъ круга первобытнаго состоянія безъ выгоды для нихъ и для государства (Сборн. постанов. по мин. нар. просв., т. II, отд. второе. Спб. 1876. Стр. 1051—1063).

Школѣ ставилась, такимъ образомъ, совершенно чуждая ей по существу цѣль прикладнаго государственнаго характера—при-

*) См. выше: авг., стр. 494.

готовленіе къ службѣ и университету высшихъ, либо „умственная плотина“ для низшихъ. Не лишнее, однако, указать, что, вообще говоря, гуманитарная цѣль школы все-таки не была вполне заключена. Сравнительно съ всероссійскимъ неумытымъ провинціальнымъ бытомъ, уваровская гимназія все-таки имѣла свои хорошія стороны, и ее находить возможнымъ помянуть добрымъ словомъ, по сравненію съ режимомъ толстовской классической гимназіи, напримѣръ, такой ученикъ уваровской гимназіи (правда, столичной), какъ В. П. Острогорскій.

Отрицательныя черты уваровскаго режима, конечно, въ саратовской гимназіи, какъ провинціальной, были сильнѣе. Но указанныя положительныя черты — относительная свобода преподавателя и учениковъ — объясняетъ, почему не былъ вымысломъ попадающійся въ нѣкоторыхъ беллетристическихъ произведеніяхъ того времени положительный типъ идеальнаго учителя, въ особенности учителя словесности. Въ учителя попадали Рудины, съ горячимъ призывомъ нравственнаго и литературнаго развитія; въ средѣ учителей, по словамъ современника, — конечно, нѣсколько гиперболическимъ, — не было „ни одного учителя гимназіи, ни одного уѣднаго учителя, который бы не былъ подъ авторитетомъ русскаго запада, который бы не зналъ наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю, и подъ ихъ руководствомъ воспитываются новыя поколѣнія“ (Ив. Аксаковъ, письмо 17 сент. 1856 г.).

Н. Г. Чернышевскій и явился въ саратовской гимназіи представителемъ этого новаго типа русскаго учителя.

О саратовской гимназіи сохранились очень рельефныя воспоминанія ея воспитанника, М. А. Воронова, изложенныя въ беллетристической формѣ въ сборникъ его рассказовъ „Болото“. Вороновъ списывалъ съ натуры портреты своихъ учителей, и очерки его, очень слабыя въ художественномъ отношеніи, интересны только какъ фотографія саратовской гимназіи за время преподаванія въ ней Чернышевскаго. Нравы ея представлялись Воронову, когда онъ писалъ свои очерки, „готтентотскими“, и она является въ его изображеніи запущеннымъ заведеніемъ въ родѣ „бурсы“ Помяловскаго. Общая грубость нравовъ ея подтверждается позднѣе набросанными воспоминаніями учившагося въ ней А. Н. Пыпина.

„Гимназія находилась въ лучшей части города и отличалась обыкновенно ветхостью и грязнымъ наружнымъ видомъ... Зданіе состояло изъ трехъ этажей: въ среднемъ помѣщались классы, въ нижнемъ — пансіонъ и квартира директора, въ верхнемъ — библіотека и физическій кабинетъ. Классы гимназіи располагались

по обѣимъ сторонамъ грязнаго узкаго корридора. О гимназической библіотекѣ и физическомъ кабинетѣ трудно сказать что-нибудь определенное, потому что въ первую никто не допускался, а во второй иногда водили учениковъ, какъ будто именно для того, чтобы показать имъ, что всѣ инструменты находятся въ совершенной негодности. О библіотекѣ ходили слухи, что главная достопримѣчательность ея—самоваръ, назначавшійся для директора, который любилъ иногда выпить чашку чая съ Ломоносовымъ или Державиннымъ въ рукахъ; что на случай пріѣзда ревизоровъ книги собирались по городу, и тогда полки шкафовъ совершенно ломились подъ различными отечественными и иностранными изданіями.

Гимназія считалась, однако, одной изъ лучшихъ въ округѣ, и кончавшіе въ ней курсъ пользовались правомъ поступать безъ экзамена въ казанскій университетъ. Во главѣ ея стояли директоръ А. А. Мейеръ и инспекторъ Э. Х. Ангерманнъ, кандидаты казанскаго университета. Шпіонство и розги были на первомъ планѣ въ ихъ воспитательныхъ приѣмахъ. Директоръ, по рассказамъ Воронова, принадлежалъ къ числу надутыхъ чванствомъ „провинціальныхъ аристократовъ-чиновниковъ, имѣющихъ похвальную привычку ничего не дѣлать... На гимназію онъ мало обращалъ вниманія, потому что чинъ и мѣсто не позволяли „вертѣться съ мальчишками, которыхъ выпороть можетъ и инспекторъ“; да кромѣ того и времени не было для этого, потому что клубъ, карты и знакомства съ высшими городскими властями поглощали всѣ часы дня“. Управление же было въ рукахъ инспектора. Благодаря его усердію, „гимназія превратилась въ какую-то кордегардію, откуда то-и-дѣло слышались вопли и крики. Кромѣ наказаній за уроки, наказывали за всевозможныя прѣдѣлки, о которыхъ инспекторъ узнавалъ отъ различныхъ шпіоновъ, выбранныхъ изъ сторожей и учениковъ. Съ какимъ варварствомъ и невозмутимымъ хладнокровіемъ производились эти наказанія, можно судить по слѣдующему случаю, — случаю, какихъ наберется не одинъ десятокъ. Мальчикъ лѣтъ четырнадцати плохо учился изъ нѣмецкаго языка. Инспектору надобно сѣчь его за каждый невученный урокъ, и вотъ онъ придумалъ посадить его на недѣлю въ карцеръ, гдѣ бы онъ занимался исключительно нѣмецкимъ языкомъ, а между тѣмъ, для поддержанія въ немъ энергіи, ежедневно давать ему по семидесяти розогъ... и бѣдный мальчикъ, дѣйствительно, вытерпѣлъ положенное истязаніе въ теченіе недѣли“.

Отъ инспектора не отставали въ жестокости и нѣкоторые

учителя, и кулачная расправа, тычки, рванье за уши и т. п., по рассказамъ Воронова, были въ широкомъ ходу.

Въ гармоніи съ этими воспитательными приѣмами были, конечно, и учебные. Большинство ограничивалось задаваніемъ учебниковъ „отъ сихъ до сихъ“ и само было очень нетвердо въ собственной наукѣ.

„Помню, напримѣръ, какъ учитель алгебры, желая похвастаться своею ученостью, иногда задавалъ намъ такіа задачи, къ которымъ никто не могъ даже и приступить. За одну изъ такихъ задачъ, неразрѣшенныхъ нами, учитель поставилъ весь классъ на колѣни. Когда вошелъ инспекторъ и попросилъ рѣшить, съ задачей не справился самъ учитель. Одинъ изъ моихъ товарищей—на вопросъ учителя: „почему это такъ?“—всегда отвѣчалъ: „о семъ сказано въ такомъ-то параграфѣ“, — и учитель удовлетворялся“.

Таковы же были и другіе педагоги. Учитель греческаго языка, уже упомянутый, какъ преподаватель семинаріи, Синайскій, врагъ Пушкина и Лермонтова, болталъ съ учениками о своихъ домашнихъ съ кухаркою дѣлахъ. „Съ учителемъ греческаго языка оригинальностью могъ поспорить развѣ только учитель исторіи, у котораго учебникъ Кайданова считался единственнымъ научнымъ пособіемъ и который простодушно увѣрялъ, что римляне ѣдили на оленяхъ. Въ классѣ онъ постоянно спалъ, а ученики поочередно вставали и какъ будто отвѣчали урокъ, бормоча всевозможныя нелѣпости: это, впрочемъ, дѣлалось для инспектора, который, посмотрѣвши въ окно, видѣлъ бы, что урокъ идетъ, какъ слѣдуетъ“.

Символомъ того, до чего опускались въ русской провинціи иной разъ и даровитые люди среди педагоговъ, была въ гимназіи одна фигура:

„Учитель французскаго языка былъ жалкій калѣка, хромымъ и сухорукой. Правая сторона его тѣла была разбита параличомъ, личные нервы тоже были сильно разстроены... То же, разумѣется, постигло и умственные способности бѣдняка, разстройство которыхъ онъ энергически поддерживалъ употребленіемъ спиртныхъ напитковъ. Бродя по классу, онъ безпрестанно бормоталъ что-то, глупа давая лѣвой рукой щелчки сидѣвшимъ на первомъ мѣстѣ еникамъ, которые марали мѣломъ его фракъ. ...О несчастномъ французѣ рассказывали, что онъ когда-то былъ идоломъ своихъ ениковъ, что своими рассказами на ломаномъ русскомъ на- чин о красотахъ швейцарской природы онъ приводилъ своихъ шателей въ неподдѣльный восторгъ, и т. д. Легенда во всемъ

обвиняла среду, въ которую попалъ бѣдный иностранецъ; что онъ, какъ и всѣ ея члены, не могъ устоять противъ извѣстной русской пословицы: съ волками жить—по волчьему бытъ... и изъ идеала вышла грязнѣйшая дѣйствительность, приправленная физическимъ и нравственнымъ калѣчествомъ¹⁾.

Таково было большинство товарищей Чернышевскаго по гимназіи. Болѣе или менѣе близокъ ему могъ быть только второй учитель словесности, В. Г. Варенцовъ, и учитель географіи, въ послѣдствіи довольно извѣстный историкъ Е. А. Бѣловъ.

Товарищъ И. Введенскаго и другихъ молодыхъ петербургскихъ педагоговъ съ новыми воспитательными и учебными приемами, Чернышевскій былъ подготовленъ къ преподаванію своего предмета еще и лекціями и Срезневскаго, и Никитенка. Первый съ большимъ искусствомъ передавалъ и прививалъ своимъ слушателямъ здравые взгляды и приемы преподаванія языка (Острогорскій), второй—со своимъ мастерствомъ художественнаго изобразительнаго чтенія—былъ для будущихъ преподавателей словесности во многомъ нагляднымъ образцомъ. Молодые энтузіасты новой русской литературы, не скованные программой и готовыми учебниками, особенно по части новой словесности, должны были въ значительной части сами создавать себѣ программу и приемы преподаванія новаго, и такимъ образомъ здѣсь была открыта возможность для нихъ самостоятельнаго творчества, что, конечно, могло только благопріятствовать ихъ успѣху. И мы видимъ, что Чернышевскій, какъ новаторъ въ своемъ педагогическомъ дѣлѣ, быстро пріобрѣтаетъ не только любовь учениковъ, но имѣетъ возможность оказать освѣжающее вліяніе на весь ходъ учебно-воспитательнаго дѣла въ гимназіи, — вліяніе, конечно, не Богъ вѣсть какой силы, но послѣ котораго полный возвратъ къ старому былъ уже невозможенъ.

Приводимъ разсказъ Воронова о Чернышевскомъ, какъ преподавателѣ¹⁾.

„Словесность, прежде преподаваемую какимъ-то старичкомъ по книжкѣ Кошанскаго, читалъ теперь новый учитель, только что окончившій курсъ въ одномъ изъ столичныхъ университетовъ.

„Это была свѣжая молодая натура, полная силъ и энергіи, человекъ, обладавшій огромными специальными и энциклопедическими познаніями, что и заставило его довольно скоро выбрать

¹⁾ Разсказъ этотъ полностью нигдѣ, кажется, не цитировался. Въ брошюрѣ К. М. Оедорова: „Н. Г. Чернышевскій. Спб. 1905 г.“, приведенъ отрывокъ безъ указанія источника.

болѣе широкую арену для своей дѣятельности. Но и въ то недолгое время, которое учитель пробылъ въ нашей гимназiи, глубоко была имъ потрясена старая система, и память о немъ навсегда сохранилась между его учениками. Учителя тоже помнили и помнятъ молодого учителя словесности, постоянно упрекавшаго ихъ въ жестокосердiи и неумѣнii передавать взятаго на себя предмета. Все измѣнилось на время подъ благотворнымъ влiянiемъ этого умнаго, гуманнаго человѣка. Въ ученикахъ своихъ онъ умѣлъ развить охоту къ чтенiю, постоянно прочитывая самъ различныя книги и, кромѣ того, снабжая ими желающихъ. Уроки всегда рассказывались имъ съ такою ясностью и такъ понятно, что каждый могъ повторить ихъ, не прочитывая по книгѣ. Кромѣ своего предмета, онъ сообщилъ намъ необходимыя понятiя почти о всѣхъ наукахъ, показавъ въ то же время методъ къ изученiю ихъ и степень важности каждой во всеобщемъ знанiи.

„Съ какою радостью мы встрѣчали всегда этого человѣка и съ какимъ нетерпѣнiемъ ожидали его рѣчи, всегда тихой, нѣжной и ласковой! Если онъ передавалъ намъ какiя-либо научныя свѣдѣнiя, въ классѣ господствовала тишина; даже самые шаловливые мальчики затихали и напрягали слухъ, боясь проронить хоть одно слово... Особенно полное и глубокое впечатлѣнiе онъ произвелъ на насъ чтенiемъ Жуковского, къ поэзiи котораго питалъ тогда особенную склонность нашъ дѣтскiй, мечтательный умъ. Мы, помню, плакали надъ сказкой „Рустемъ и Зорабъ“, прочитанной, правда, съ необыкновеннымъ умѣнiемъ и чувствомъ.

„До какой степени было сильно влiянiе учителя словесности на всѣхъ его окружающихъ, можно судить уже потому, что учитель греческаго языка пересталъ бранить Пушкина и Лермонтова, а учитель исторiи отказался отъ римскимъ оленей и, кромѣ того, началъ спрашивать хронологiю различныхъ историческихъ событiй, думая, что теперь уже исчерпывается вся наука. Математики, прежде занятые разговорами о различныхъ пирушкахъ и попойкахъ, въ которыхъ принимали живѣйшее участiе, тоже бросились въ науку, стараясь отыскать квадратуру круга, и, можетъ быть, нашли бы, если бы отъѣздъ учителя не вывелъ ихъ на житейскую дорогу. Инспекторъ смотрѣлъ искоса на новатора попрежнему продолжалъ съѣзъ лѣннцевъ, уводя, впрочемъ, въ нижнiй этажъ, откуда неслышны были уже вопли...

„Особенно много приходилось учителю спорить съ директоромъ касательно такъ называемыхъ литературныхъ бесѣдъ. Беды эти назначались для учениковъ шестого и седьмого клас-

совѣ; на нихъ прочитывалось сочиненіе, написанное кѣмъ-нибудь изъ учениковъ, и защищалось имъ же противъ возраженій, дѣлаемыхъ его товарищами. Директоръ поставлялъ каждому въ непремѣнную обязанность „возражать“; кто не дѣлалъ этого, тотъ или ставился имъ на колѣни, или былъ осыпаемъ всевозможными ругательствами. Кромѣ того, темы для сочиненій назывались самаго возвышеннаго характера: „о благородствѣ души“, „о волѣ“, „о различіи между разсудкомъ и разумомъ, степени аналогіи ихъ между собою и сліяніи въ одномъ общемъ источникѣ — умѣ“, и проч., и проч. Такая чепуха, разумѣется, не поправилась молодому учителю, и онъ возсталъ, какъ противъ дурного обращенія со взрослыми учениками, такъ равно и противъ темъ съ философскимъ или психологическимъ оттѣнкомъ. Директоръ противился. Тогда учитель наотрѣзъ отказался посѣщать бесѣды. Дѣлать было нечего: упорный любитель возвышенныхъ темъ и низкой брани принужденъ былъ уступить, и бесѣды приняты живой, осмысленный характеръ, лишенный пареній и колѣнопреклоненій.

„Молодой учитель пробылъ въ нашей гимназіи довольно недолго, оставивъ, однако, добрую прочную память по себѣ между учениками и преслѣдуемый проклятіями своихъ товарищей, кредитъ которыхъ между воспитанниками былъ подорванъ навсегда, и грубая матеріальная сила уже не могла быть опорой въ отношеніяхъ между оставшимися учителями и учениками. Каеэдра словесности была занята другимъ, кроткимъ и умнымъ человекомъ (Варенцовымъ), не имѣвшимъ, однако, той энергіи, какою владѣлъ прежній учитель“.

По другимъ рассказамъ, Чернышевскій „никогда никого не наказывалъ и ни на кого не жаловался“:—многіе ли педагоги могутъ похвалиться тѣмъ же? Вообще, онъ обладалъ, видимо, совершенно исключительнымъ педагогическимъ талантомъ, что особенно рельефно чувствуется въ рассказахъ о позднѣйшей порѣ его жизни, о времени пребыванія въ Александровскомъ заводѣ, въ каторжной тюрьмѣ, гдѣ ему приходилось читать иногда цѣлыя лекціи и бесѣдовать съ молодежью.

„Кажется, просто просидѣли вмѣстѣ люди нѣсколько часовъ,—вспоминаетъ одинъ изъ этихъ собесѣдниковъ (П. Ф. Николаевъ):—поболтали о томъ, о семъ, и только. Но не только это было... Приходилось вспоминать, обдумывать, сравнивать, наводить справки въ книгахъ, перетряхивать багажъ старыхъ знаній и искать новыхъ... Приходилось нѣсколько разъ возвращаться къ одному и тому же, требовать разъясненій и даже спорить... Въ спорахъ

Н. Г. никогда не горячился, не былъ рѣзкимъ, не забывалъ противника массой своихъ знаній. Онъ умѣлъ говорить, но умѣлъ и слушать. Мало того, онъ умѣлъ вкладывать въ уста своего противника тотъ аргументъ, который тотъ непременно употребилъ бы, если бы хорошенько подумалъ,—умѣлъ, такъ сказать, вытянуть аргументъ изъ глубины его сознанія...; по совѣсти сказать, быть имъ побитымъ въ спорѣ не было обидно, а даже пріятно. Чувствовалось при этомъ сильное возбужденіе мысли, страстная жажда знанія и охота спорить еще и еще. Я думаю и до сихъ поръ, что настоящее призваніе Николая Гавриловича была профессура. Онъ былъ бы, вѣроятно, идеальнымъ профессоромъ“.

„Когда, я помню,—пишетъ другой молодой товарищъ Чернышевскаго по каторгѣ (В. Н. Шагановъ),—возникалъ какой-нибудь вопросъ общественнаго или общенаучнаго свойства и ты самъ рѣшалъ его въ своемъ умѣ, рѣшалъ долго и съ трудомъ, а все же предъ тобой еще стоялъ рядъ дилеммъ, тогда нерѣдко случалось обращаться за разъясненіемъ къ Чернышевскому, при разговорѣ изъ этой сферы. И когда онъ излагалъ свой взглядъ на рѣшеніе этого вопроса, ты видѣлъ, что онъ какъ будто всѣ твои затрудненія читалъ въ твоей душѣ, и всѣ тѣ частные вопросы, на которые ты не могъ дать отвѣта, устранялись сами собой съ дороги при рѣшеніи вопроса Чернышевскимъ. Казалось, будто онъ беретъ вопросъ съ самой легкой стороны, въ дѣйствительности же выходило, что она-то и есть суть вопроса, а все остальное — ей подчиненное. Онъ всегда такъ умѣлъ стать на точку зрѣнія слушателя, что не его вводилъ въ свой образъ разсужденія, а заставлялъ слушателя отъ его же собственной точки зрѣнія идти только логическимъ путемъ и найти вѣрное рѣшеніе вопроса“.

Конечно, въ болѣе поздніе годы эта способность педагога становится въ уровень развитія ученика должна была развиваться въ Чернышевскомъ послѣ лѣтъ популяризаторства и многосторонняго познанія людей, но и въ гимназическій періодъ, очевидно, на ней опиралось вліяніе Чернышевскаго на его учениковъ.

Съ нѣкоторыми изъ нихъ онъ поддерживалъ и личныя сношенія. „Въ домѣ отца его, гдѣ жило все семейство, Н. Г. была отведена особая комната на антресоляхъ, съ прекраснымъ видомъ на Волгу. Здѣсь-то онъ принималъ своихъ очень, очень немногихъ друзей да гимназистовъ, которымъ на диво было человѣческое безцеремонное отношеніе учителя, разговаривавшаго съ ними просто и умно. Много нравственнаго вліянія, много добра

принесъ Чернышевскій учащейся молодежи; онъ всегда почти съ успѣхомъ поддерживалъ юношей, когда они, по русской привычкѣ, отъ первыхъ неудачъ впадали въ отчаяніе и падали духомъ; и матеріальную помощь не разъ оказывалъ онъ бѣднякамъ безъ сапогъ, которыхъ не мало было въ гимназін, въ ужасу *чистоплотнаго начальства* („Колоколъ“).

Ведя бесѣды съ учениками въ классѣ и внѣ класса, выдавая интересующимся свои и библіотечныя книги (черезъ годъ по пріѣздѣ, Чернышевскій принялъ на себя завѣдываніе совершенно заброшенною „продажною“ (ученическою) библіотекою въ гимназін, и, надо думать, по возможности ее упорядочилъ и обновилъ; эту должность библіотекаря Чернышевскій исправлялъ до отъѣзда), вступая въ вышеуказанную Вороновымъ борьбу съ начальствомъ и товарищами, Чернышевскій рисковалъ, конечно, многими непріятностями. По свѣдѣніямъ г. Лакомте, вступившаго въ саратовскую гимназію въ 1855 году, Чернышевскій не выходилъ въ своихъ бесѣдахъ изъ легальныхъ рамокъ, „не былъ тенденціозенъ, не имѣлъ въ виду никакой агитаціи“. Онъ, видимо, смотрѣлъ на свою задачу не какъ на обязанность создавать прозелитовъ своихъ убѣжденій, а также какъ на задачу всей литературы сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ: „каки-нибудь намекомъ натолкнуть на честный путь къ развитію способную натуру... Хорошая задача!“ (стихъ Некрасова).

Его рѣчи ученикамъ могли быть, самое большее, лишь тѣмъ гимномъ духовному развитію человѣка, который мы находимъ въ концѣ третьей главы романа „Что дѣлать?“: „Поднимайтесь изъ вашей труппы, друзья мои, поднимайтесь, это не такъ трудно, выходите на вольный бѣлый свѣтъ, славно жить на немъ, и путь легокъ и заманчивъ, попробуйте: развитіе, развитіе. Наблюдайте, думайте, читайте тѣхъ, которые говорятъ вамъ о чистомъ наслажденіи жизнью, о томъ, что человѣку можно быть добрымъ и счастливымъ. Читайте ихъ—книги радуютъ сердце, наблюдайте жизнь—наблюдать ее интересно, думайте—думать завлекательно. Только и всего. Жертвъ не требуется, лишній не спрашивается, ихъ не нужно. Желайте быть счастливыми—только, только это желаніе нужно. Для этого вы будете съ наслажденіемъ заботиться о своемъ развитіи: въ немъ счастье. О, сколько наслажденій развитію человѣку! Даже то, что другой чувствуетъ какъ жертву, горе, онъ чувствуетъ, какъ удовлетвореніе себя, какъ наслажденіе, а для радостей какъ открыто его сердце, и какъ много ихъ у него! Попробуйте:—хорошо!“

Можетъ быть, все-таки и эта дѣятельность Чернышевскаго

уже казалась подозрительна. „Я увѣренъ, что меня теперь вытѣснятъ“, — писалъ онъ въ дневникѣ 4 марта 1853 г. (стр. 37). Директоръ собирался за что-то доносить на него въ Казань, но отказался (дневникъ, 14-е марта), повидимому обрадованный нахѣреніемъ Чернышевскаго уѣхать въ Петербургъ.

Память о Чернышевскомъ, какъ педагогъ, долго хранилась въ Саратовѣ. Г. Лакомте приписываетъ толчку, данному Чернышевскимъ, то обстоятельство, что позднѣе, именно въ 1862 году, педагогическій совѣтъ саратовской гимназіи, при разработкѣ по предложенію министерства проекта общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній, высказалъ пожеланія, и нынѣ далекія отъ осуществленія: таковы требованія, чтобы директоръ былъ выборнымъ изъ учителей на три года, чтобы совѣтомъ избирались и новые преподаватели, требованія полной независимости совѣта въ выборѣ книгъ для фундаментальной библіотеки, учебныхъ пособій и руководствъ и т. п.

Послѣ ссылки Чернышевскаго на каторгу, и особенно послѣ покушенія Каракозова и дѣла такъ называемыхъ „каракозовцевъ“, изъ которыхъ самъ Каракозовъ и нѣкоторые „каракозовцы“, учились въ саратовской семинаріи или гимназіи (уже послѣ Чернышевскаго, или въ самыхъ младшихъ классахъ), надъ саратовской гимназіей долго тяготѣло въ официальныхъ сферахъ пятно, что учительствовалъ въ ней Чернышевскій. Когда въ 1866 году здѣсь былъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Д. Толстой, въ рѣчи преподавателямъ гимназіи онъ прямо выражалъ о томъ свое сожалѣніе.

„Должно сожалѣть, что въ прежнее время въ вашемъ составѣ находились такіе личности, которыя не должны были бы вступать на учительское поприще; они принимали на себя эту важную обязанность не для пользы юношества, а во вредъ для него, для распространенія разрушительныхъ идей, послѣдствіемъ коихъ, какъ теперь оказывается на опытѣ, было умственное и нравственное развращеніе нѣкоторыхъ людей, сдѣлавшихся несчастною жертвою этой пропаганды. При мнѣ подобные преподаватели невозможны“, и т. д.

Для справедливости нужно сказать, что и въ духовномъ вѣдомствѣ Саратова не меньше отвергивались отъ Чернышевскаго и „агтеловъ“. Вотъ что сообщаетъ намъ объ этомъ г. И. Горизонтовъ, жертва чисческаго ужаса предъ памятью Чернышевскаго.

„Въ началѣ 60-хъ годовъ я въ числѣ другихъ поступилъ въ саратовскую духовную семинарію, гдѣ воспоминанія о личности и значеніи бывшаго ея „воспитанника“, Н. Г. Чернышевскаго,

еще были свѣжи, живы и всеобщы. Этому обстоятельству способствовало и то, конечно, что литературная дѣятельность покойнаго была въ ту пору въ зенитѣ своей продуктивности и славы; и каждая книжка „Современника“ украшалась его статьями. Не скрою, мы, семинаристы, болѣе увлекались тогда статьями другого семинариста, Н. А. Добролюбова, но Чернышевскимъ гордились, какъ *своимъ* саратовцемъ, землякомъ.

„Одно время Н. Г. Чернышевскій состоялъ преподавателемъ мѣстной гимназій, и благодарная память о немъ сохранялась и въ томъ учебномъ заведеніи. Въ Саратовѣ въ то время многое напоминало Чернышевскаго: и его родовой домъ (доселѣ существующій) на углу Большой Сергіевской и рѣчного взвоза, и домъ его жены, О. С. Чернышевской, дочери извѣстнаго въ свое время доктора Сократа, рядомъ съ архіерейскимъ подворьемъ. Въ наше время среди семинаристовъ ходило много различныхъ разсказовъ о личности Чернышевскаго...

„Арестъ и осужденіе Николая Гавриловича мы, семинаристы, его почитатели (конечно, не всѣ) встрѣтили уныніемъ и слезами. На саратовскую семинарію за Чернышевскаго и за участіе въ процессѣ Каракозова бывшихъ саратовскихъ семинаристовъ (Лапкина, Воскресенскаго, Сергіевскаго), обрушились страшныя гоненія и невзгоды: говорили даже о ея закрытіи.

„Между прочимъ я пострадалъ, и очень сильно. Подалъ я, какъ и всѣ прочіе товарищи по классу, сочиненіе на заданную профессоромъ Хитровскимъ тему—„разница между ученіями идеалистовъ и материалистовъ“. Имѣя на плечахъ 18 лѣтъ, будучи начитанъ не въ примѣръ другимъ въ *свѣтской* литературѣ, я наваялъ (именно наваялъ!) такое сочиненіе, отъ котораго весь освященный соборъ клириковъ (ректоръ—архимандритъ, преподаватель—священникъ, инспекторъ—архимандритъ, и прочіе профессора—такъ тогда звали учителей семинарій) пришелъ въ трепетъ и ужасъ. Довели до свѣдѣнія архіерея Іоаннікія II-го, который приказалъ меня сейчасъ же выгнать изъ семинаріи. У меня произвели обыскъ и нашли фотографическую карточку—группу, мою и двоихъ товарищей, съ надписью изъ романа Чернышевскаго „Что дѣлать?“. „Будемъ учиться—знаніе освободитъ насъ; будемъ трудиться—трудъ обогатитъ насъ“.

„—А, ты (то-есть я) и по сочиненію, и по поведенію (!), желаешь быть Чернышевскимъ... Вонъ! Чтобы духу твоего не было!“

„Я былъ изгнанъ съ волчьимъ паспортомъ: въ поведеніи 2 и съ отмѣткой—увольняется изъ семинаріи по неблагонадежности къ духовному званію“.

Но все это, и подозрѣнія, тяготѣвшія на саратовской гимназій, и исключенія по подозрѣнію въ слѣдованіи по стопамъ Чернышевскаго — дѣла сравнительно давняго времени, близкаго къ трагической развязкѣ судьбы Чернышевскаго. Обратимся къ днямъ его смерти, все, казалось бы, сглаживающей: „смерть велитъ умолкнуть злобѣ“.

Вотъ что, между прочимъ, было въ дни похоронъ Н. Г., свончавшагося въ Саратовѣ же.

„На первой вечерней панихидѣ обращалъ на себя вниманіе Мосоловъ, политическій ссыльный шестидесятихъ годовъ, ученикъ Н. Г. (т.-е. въ здѣшней гимназій). Уже сѣдой старикъ, онъ горько плакалъ все время панихиды“, — а когда при выносѣ на кладбище похоронное шествіе стало подниматься по Гимназическому взвозу, и все громче и громче стали раздаваться голоса, чтобы служить литію у гимназій, „директоръ, очевидно, ожидая этого, выслалъ сказать священнику, что онъ не желаетъ, чтобы у гимназій служили литію, и священникъ отказался служить ее“... Къ сожалѣнію, имя этого человѣка въ футлярѣ, достойнаго преемника Мейера и Ангерманна, намъ неизвѣстно, но, конечно, памятно саратовцамъ.

IX.

Можно думать, что въ саратовскомъ обществѣ не безъ любопытства ожидали приѣзда новаго учителя гимназій. Родители, конечно, рассказывали о его надеждахъ на мѣсто въ Петербургѣ, о покровительствѣ ему профессоровъ. Введенскій въ письмахъ роднымъ рекомендовалъ имъ непременно познакомиться съ его другомъ Чернышевскимъ, „умнѣйшимъ человѣкомъ“. У Н. Г. была полная возможность занять въ саратовскомъ „свѣтѣ“ видное мѣсто. Его приглашаетъ къ своему столу саратовскій губернаторъ М. Л. Кожевниковъ и онъ принятъ въ кругу высшаго губернскаго чиновничества.

Но, какъ видно изъ дневника, который дошелъ до насъ за послѣдніе мѣсяцы жизни Чернышевскаго въ Саратовѣ, онъ съ самаго начала совершенно отказался бывать въ обществѣ и уклонился отъ обычныхъ знакомствъ, въ которыхъ при желаніи не было недостатка. Онъ при отѣздѣ общалъ Срезневскому зятюся словаремъ къ Ипатьевской лѣтописи, но, развлеченный этими впечатлѣніями, гимназіей и семейнымъ кружкомъ, только въ концѣ этого 1851 г. послалъ Срезневскому начало словаря,

сообщая при этомъ, что имъ задумана болѣе обширная работа, составленіе не только филологическаго словаря къ одной лѣтописи, но и полнаго реальнаго словаря ко всѣмъ лѣтописямъ. Однако, ни то, ни другое не двигалось, и для университетской работы Чернышевскій серьезно засѣлъ за занятія только предъ самымъ отъѣздомъ.

Срезневскій, помимо совѣтовъ по научнымъ работамъ и обѣщанія присылать необходимыя для нихъ книги, настойчиво рекомендовалъ Чернышевскому познакомиться съ Н. И. Костомаровымъ, съ 1848 года отбывавшимъ ссылку въ Саратовъ по извѣстному дѣлу о Кирилло-Меѳодіевскомъ Обществѣ. Немедленно по приѣздѣ Чернышевскій первый отправился къ Костомарову. О своемъ знакомствѣ съ нимъ Н. Г. пишетъ въ томъ же письмѣ отъ 16-го ноября 1851 года, когда послана была часть работы по словарю.

„Это знакомство отнимаетъ у меня довольно много времени, котораго я, однако, не назову ни въ какомъ случаѣ потеряннымъ... Я нашелъ въ немъ человѣка, къ которому не могъ не привязаться; онъ, естественно, въ Саратовѣ очень тоскуетъ, и я поэтому иногда служу для него развлеченіемъ. Такимъ образомъ я бываю у него часто“. Чернышевскій далѣе рассказываетъ о Костомаровѣ, его томленіи въ ссылкѣ и его надеждахъ на возобновленіе научныхъ историческихъ работъ, о его цензурныхъ столкновеніяхъ. „Невозможность видѣть свои труды напечатанными отнимаетъ охоту трудиться: такъ писалъ онъ исторію Богдана Хмѣльницкаго—цензура обрѣзала ее до безсмыслия; онъ не захотѣлъ портить своего труда, и оставилъ ее у себя въ бюро. А исторія эта разливала новый свѣтъ на положеніе Малороссіи въ XVII вѣкѣ и присоединеніе ея къ Россіи. Надолго это отбило его отъ новыхъ трудовъ; наконецъ, принялся онъ за эпоху Ив. Вас. Грознаго. Онъ вѣритъ въ возможность этому труду пройти малоизмѣненнымъ въ печать и горячо взялся за него. Я этому радъ, потому что одно занятіе можетъ нѣсколько разсвѣять его тоску и отвратить дурныя для здоровья слѣдствія душевнаго томленія“. Костомаровъ страдалъ ипохондріей и вообразалъ себя на краю гроба. Чернышевскій обращался отъ его имени къ Срезневскому съ просьбой прислать нѣкоторыя рѣдкія, нужныя для времени Грознаго книги.

„Кругъ моихъ знакомствъ — вспоминаетъ о времени этомъ Костомаровъ — по преимуществу составляли ссыльные поляки, изъ которыхъ многіе были люди очень образованные. Было у меня и нѣсколько знакомыхъ семейныхъ домовъ. Чиновничество избѣгало меня, но помѣщики, напротивъ, заискивали во мнѣ,

особливо получившіе образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, а такихъ было немало; но всѣ они скоро дичали, и даже на многихъ незамѣтно было и слѣдовъ образованія.

„Въ началѣ 1851 г. я познакомился съ Чернышевскимъ, который самъ ко мнѣ пріѣхалъ. Это былъ благообразный, блѣднѣйшій юноша, съ тонкими чертами лица и крайне бурсацкими манерами, отъ которыхъ онъ, повидимому, и не хотѣлъ отвѣкаться...

„Я видѣлся съ Чернышевскимъ очень часто и сошелся съ нимъ. Мы играли съ нимъ въ шахматы (онъ игралъ мастерски), толковали, читали вмѣстѣ. Чернышевскій былъ тогда учителемъ словесности; его занимало тогда славянство и онъ изучалъ сербскія пѣсни.

„Изъ близкихъ мнѣ знакомыхъ поляковъ, Мелантовичъ, человѣкъ поэтический и увлекающійся, не долголюбивалъ Чернышевскаго, называлъ сухимъ, самолюбивымъ и не могъ простить въ немъ отсутствіе поэзіи. Въ послѣднемъ онъ врядъ-ли ошибался. Помню я одинъ вечеръ въ маѣ 1852 г.: сидѣлъ я у окна, изъ котораго открывался прекрасный видъ—Волга во всемъ величіи, за нею горы, кругомъ сады, пропасть зелени... Я совершенно увлекся. „Смотрите, Н. Г., какая прелесть: не налюбуюсь. Если освобожусь когда-нибудь, то пожалуй это мѣсто“. Чернышевскій засмѣялся своимъ особымъ тихимъ смѣхомъ и сказалъ: „Я неспособенъ наслаждаться красотами природы“...

Знакомство для обоихъ было свѣтлою стороною саратовской ихъ жизни.

„Это были люди одинаковаго научнаго уровня, что въ провинціи не легко было встрѣтить, — замѣчаетъ объ отношеніяхъ ихъ А. Н. Пыпинъ:—Н. Г. могъ вполне оцѣнить начатки тогда работы Костомарова, которыя вскорѣ потомъ появились въ печати: „Хмѣльницкій“ въ „Отеч. З.“ и „Очеркъ жизни и нравовъ великорусскаго народа въ XVI и XVII стол.“ въ „Соврем.“. Чернышевскій очень высоко цѣнилъ труды Костомарова и сравнивалъ ихъ съ произведеніями знаменитаго Тьерри. По характерамъ они не очень сходились; у Костомарова бывали странности; бывало, напримѣръ, соединеніе вкусовъ мистическихъ и рядомъ скептическаго реализма; бывали капризы и немалыя гловатости характера (иногда очень рѣзкія), которыя Чернышевскому нравиться не могли; послѣднія онъ, вѣроятно, приписывалъ извѣстному нервному возбужденію“...

Саратовскіе старожилы передаютъ анекдоты о столкновеніяхъ ежду пріятелями на почвѣ разницы религіозныхъ убѣжденій, которыхъ отъ близкихъ друзей Чернышевскій не скрывалъ и,

какъ видно изъ дневника, иногда дразнилъ Костомарова ¹⁾. Но, несмотря на возможность этихъ стычекъ, они, конечно, были очень дружны. Между прочимъ, вмѣстѣ строили какую-то машину, имѣвшую отношеніе, кажется, уже къ упомянутой. Н. Г. въ концѣ концовъ „уничтожилъ всѣ слѣды своихъ глупостей“ (дневникъ, стр. 5).

Кромѣ Костомарова, довольно близокъ Н. Г. въ это время съ Евгеніемъ Александровичемъ Бѣловымъ, переведеннымъ въ 1852 г. въ саратовскую гимназію изъ пензенскаго дворянскаго института учителемъ географіи. Вмѣстѣ съ Бѣловымъ они переводятъ Шлоссерову исторію XVIII и XIX вѣковъ. Надо думать, Бѣловъ и упомянутый В. Г. Варенцовъ были единственными педагогами, которые, тяготясь режимомъ гимназіи, шли съ Чернышевскимъ въ ней за-одно и такимъ образомъ сблизились и во внѣслужебныхъ отношеніяхъ. Къ нимъ примыкаетъ еще врачъ С. Стефани и кое-кто изъ молодежи. Такъ образовался, по рассказамъ, небольшой кружокъ, собиравшійся разъ въ недѣлю для обмѣна мнѣній, споровъ, чтенія и т. п. Сами члены кружка называли свои собранія „говорильнями“.

„Въ числѣ самыхъ интересныхъ и заидѣныхъ ораторовъ были, если вѣрить рассказамъ, собраннымъ П. Л. Юдинымъ,—Костомаровъ и Чернышевскій. Послѣдній, приходя на журфилесы, не подходилъ ко всѣмъ здороваться, какъ то дѣлали другіе, а ограничивался рукопожатіемъ только тѣхъ, кто находился по дорогѣ къ намѣченному имъ мѣсту. Онъ прежде всего искалъ глазами свободный стулъ, на которомъ поскорѣе усаживался и начиналъ прислушиваться къ дебатамъ. Проходило немного времени, и уже видишь его въ числѣ главныхъ спорщиковъ. По временамъ, впрочемъ, онъ больше молчалъ и только внимательно прислушивался къ тому, о чемъ говорили ораторы“ (П. Л. Юдинъ, Е. А. Бѣловъ, „Русская Старина“, 1905 г., декабрь).

¹⁾ Запись въ дневникѣ, стр. 55, о томъ, что послѣ рѣшенія вопроса о женитьбѣ онъ у Костомарова „не хотѣлъ даже смѣяться надъ Богомъ и будущею жизнью, отъ чего не удержался бы раньше“. Г. Горизонтовъ сообщилъ намъ слѣдующій, ходившій въ Саратовѣ, анекдотъ: „Костомаровъ, какъ извѣстно, былъ очень религіозный человѣкъ, знатокъ богослуженій и рѣчи церковно-славянской, и вотъ въ одну изъ пасхальныхъ ночей онъ послѣ ранняго церковнаго богослуженія взобрался къ спящему еще Чернышевскому „на антресоли и, разбудивъ его, поздравилъ съ воскресеніемъ Христа: „Христосъ воскресъ, Николай!“—будто бы привѣтствовалъ Костомаровъ Чернышевскаго, а тотъ, „недовольный пробужденіемъ, будто бы отвѣтилъ:—Это еще надо доказать“. По рассказу, К. будто бы чуть не слетѣлъ съ крутой лѣстницы антреселей и долго сердился на Ч. Такъ говорили“. Разумѣется, это не болѣе, какъ анекдотъ.

Остается упомянуть еще о дружеских отношеніях Н. Г. къ Аннѣ Никаноровнѣ Пасхаловой, впоследствии женѣ Д. Л. Мордовцева. Это была образованная особа, внушавшая своими мѣткими и самостоятельностью, повидимому, нѣкій священный ужасъ въ родныхъ Чернышевскаго. Право знакомства съ нею было почти отвоевано. Мы цитировали выше уже то мѣсто дневника, гдѣ идетъ рѣчь объ ихъ разговорахъ и мысляхъ на темы соціальнаго будущаго, такъ захватывавшія молодого человека. Была между ними теплая дружеская симпатія, и уже женихомъ, при томъ же разговорѣ, такъ взволновавшемъ Чернышевскаго, онъ говорилъ ей: „если бы и никто, кромѣ меня, не зналъ васъ, и тогда вы жили бы не даромъ, потому что слѣды знакомства съ вами не изгладятся и во мнѣ“.

Въ нѣкоторыхъ разсказахъ о Чернышевскомъ въ Саратовѣ онъ рисуется въ образѣ отъявленнаго нигилиста, направо и налево расточавшаго хулы на все „высокое и прекрасное“, вызывавшаго на религіозныя и политическія темы для цѣлей подрыванія основъ. Разсказы эти — изъ вторыхъ рукъ и сочинены, видимо, заднимъ числомъ.

Ив. Палимпсестовъ, братъ котораго Федоръ Устиновичъ упоминается въ дневникѣ, передаетъ, напримѣръ, будто по пріѣздѣ изъ Петербурга (еще студентомъ) Чернышевскій, явившись къ нему въ первый разъ для возобновленія знакомства, повелъ съ перваго слова такой разговоръ:

— Что это, Иванъ Устиновичъ, вы все по-прежнему живете? (при этомъ рука моего гостя указала на икону, занимающую передній уголъ моей комнаты). „По-прежнему“, — отвѣчалъ я. — „И за Николая Павловича молитесь?“ — „Молюсь“. — „И свѣчки Нерукотворному ставите?“ (образъ Спасителя, находящійся въ старомъ соборѣ и чтимый всѣми жителями Саратова, даже нѣкоторыми нѣмцами: во время холеры и они брали его въ свои дома). — „Ставлю“. — „Да перестаньте жить по преданіямъ старины глубокой, поѣзжайте въ Питеръ, и вы просвѣтитесь истинно невечернимъ свѣтомъ“. — „У насъ одинъ невечерній свѣтъ, котораго и тьма не объять“, — сказалъ я. — „Нѣтъ, этотъ свѣтъ уже отжилъ свои вѣка“.

Разговоръ, будто бы, и дальше продолжался въ томъ же грубо-оватомъ пошломъ тонѣ.

„— Думаю, что первое, обо что вы спотыкаетесь, — сказалъ я, — о духовная половина человѣческаго существа: ея ни взвѣсить, мѣрить нельзя“. — „Но мы будемъ мѣрить и вѣсить мозги. , что вы называете духомъ и при томъ бессмертнымъ, по-

нашему есть продуктъ мозга; разрушится мозгъ, и духа нѣтъ“ — Выслушавъ эти слова, я съ улыбкою сказалъ: „Гавріилъ Ивановичъ! Не доброе ли сѣмя сѣялъ еси на селѣ твоємъ? Откуда убо имаешь плевелы? Но неужели, скажите пожалуйста, такимъ свѣтомъ просвѣщаетъ васъ С.-Петербургскій университетъ?“ — „Можетъ ли что доброе быть отъ этого Назарета? — слышу я въ отвѣтъ. — Тамъ читаютъ по засаленнымъ тетрадамъ. Если пошло на откровенность, то скажу вамъ, что теперь еще нѣтъ настоящаго свѣта; свѣтятся огоньки, подобные блуждающимъ огонькамъ на болотѣ (послѣднее слово было такъ подчеркнуто, чтобы видно было, что это намекъ на православную Русь). Мы соберемъ эти огоньки въ одинъ фокусъ, изъ котораго разольется свѣтъ по всей подсолнечной“.

Въ томъ же родѣ рассказъ о пребываніи Чернышевскаго въ Саратовѣ преосвященнаго Никанора, сообщающаго, будто бы Чернышевскій поторопился выбраться изъ Саратова, ибо его сталъ обличать преосвященный Іоанникій, какъ вреднаго проповѣдника невѣрія.

„Уже и тогда въ Саратовѣ Чернышевскій намѣтилъ себѣ цѣль жизни—разрушать, по меньшей мѣрѣ, религіозный порядокъ. Говорятъ, онъ былъ необычайно тонокъ и остроуменъ, и могъ проводить разрушительныя мысли въ неувомимыхъ двусмысленностяхъ. Но при этомъ онъ и не стѣснялся и, увлекаясь духомъ эпохи, иногда выступалъ въ походъ открыто и прямо къ цѣли своего разрушенія. Костомаровъ рассказывалъ, что въ одномъ обществѣ, гдѣ зашла какъ-то рѣчь о творческой премудрости, Чернышевскій замѣтилъ: „Да, да, что и говорить. Кажись, и я распорядился бы умнѣе въ устройствѣ міра. Вотъ, примѣрно, Алтайскій хребетъ я кинулъ бы на берегахъ Ледовитаго океана. Тогда и сѣверная, и средняя Азія были бы обитаемы: сѣверная была бы теплѣе, не скована въ своихъ льдахъ, а средняя холоднѣе—не потонула бы въ своихъ пескахъ“. Саратовское общество, по тогдашней модѣ, сочувствовало Чернышевскому, а свѣтское начальство даже покровительствовало. Но возсталъ противъ него, конечно, осторожно, тогдашній саратовскій епископъ, преосвященный Іоанникій, бывшій впослѣдствіи архіепископъ варшавскій, скончавшійся херсонскимъ. Развѣдавъ, что Чернышевскій въ гимназіи проводитъ явно безбожныя идеи, преосвященный Іоанникій сталъ называть эти вещи по имени, и Чернышевскій вынужденъ былъ убраться изъ Саратова въ Петербургъ. Куда же больше? Большому кораблю большое плаваніе“.

Все это въ томъ видѣ, какъ изложено, очень далеко отъ

истины. Болѣе преосв. Никанора освѣдомленный, весьма мало сочувствовавшій Чернышевскому, г. Лакомте, какъ мы видѣли, отрицаетъ, чтобы что-либо въ этомъ родѣ могло быть въ гимназiи. Не могъ Чернышевскій и выступать столь развязнымъ нигилистомъ, какъ то рисуетъ Палимпсестовъ; въ обществѣ, судя по всему, что извѣстно объ отношенiяхъ Чернышевскаго къ людямъ иныхъ, чѣмъ онъ, убѣжденій, онъ могъ высказываться съ рѣзкой прямолинейностью развѣ въ случаяхъ крайняго раздраженiя; можетъ быть, и было съ его стороны нѣчто въ этомъ родѣ при вызывающемъ и демонстративномъ подчеркиванiи ультра-благонамѣренныхъ вѣрованiй и политическихъ убѣжденiй того или иного лица, напр., того же Палимпсестова. Но въ общемъ, конечно, ни о „модѣ“ на безвѣрiе въ саратовскомъ обществѣ, ни о политической пропагандѣ не можетъ быть и рѣчи.

Точнѣе всего положенiе Чернышевскаго въ саратовскомъ обществѣ обрисовано, очевидно, авторомъ статьи въ „Колоколѣ“.

„Прошло два года,—читаемъ здѣсь:—Чернышевскій продолжалъ свою жизнь уединенную, домашнюю, среди занятiй и чтенiя очень небольшого количества книгъ, вывезенныхъ имъ изъ Петербурга. Иногда, уступая просьбамъ матери, онъ нѣхотя отправлялся въ семейства, связанные съ его домашними старинными связями, и по неволѣ долженъ былъ просиживать вечера въ компанiи канцелярскихъ служителей, столоначальниковъ и т. п.

„Но таково влiянiе свѣтлой натуры: даже изъ числа этихъ заплесневѣлыхъ господъ не одинъ сталъ, благодаря Чернышевскому, чувствовать затхлость окружающаго воздуха, переставалъ брать взятки, брался за книгу, съ грѣхомъ пополамъ прочитывалъ ее и, наконецъ, даже выходилъ въ отставку, чтобы заняться чѣмъ-нибудь болѣе соотвѣтствующимъ человѣческому достоинству. Заслуга эта понятна въ Россiи, кто знакомъ съ чиновничьимъ бытомъ хоть нѣсколько“.

Къ этому кругу семей, близкихъ къ дому Чернышевскихъ, принадлежали упоминаемыя многократно въ дневникѣ Н. Г. семьи Акимовыхъ, Вороновыхъ, Чесноковыхъ, Шапошниковыхъ. Лично Чернышевскій здѣсь не былъ ни съ кѣмъ особенно близокъ; внѣшнее прiятельство существовало лишь съ Фед. Устин. Палимпсестовымъ, товарищемъ по семинарiи, если не опиемся. Отмѣчаетъ въ дневникѣ самъ Чернышевскій нѣкоего ас. Дм. Чеснокова. Это—„славный человѣкъ и искренно презанъ высокимъ мыслямъ объ общественныхъ дѣлахъ“, и съ нимъ дутся разговоры и на темы о политикѣ. „Я привязанъ къ мѣ, Николай Гавриловичъ, какъ собака“,—говорилъ онъ Чер-

нышевскому, совѣтовавшему бросить Саратовъ и ѣхать въ Петербургъ (стр. 102 и 105).

Эта среда могла только подозрѣвать, но не оцѣнивать огромныя умственные силы въ Чернышевскомъ. Но и ей была доступна оцѣнка его со стороны чисто моральной, со стороны характера, невольно подчинившаго себя людей во многихъ случаяхъ обаяніемъ сердечности и участія. И входившіе съ нимъ въ соприкосновеніе, надо думать, чутьемъ угадывали въ этомъ по наружности какъ бы вяломъ и холодномъ человѣкѣ тѣ черты, о которыхъ говоритъ онъ въ своемъ самоанализѣ въ дневникѣ: „Всякое несчастье, всякое горе заставляетъ меня болѣе интересоваться человѣкомъ, усиливаетъ мое расположеніе къ нему. Если человѣкъ въ радости, я радуюсь съ нимъ. Но если онъ въ горѣ, я болѣе раздѣляю его горе, чѣмъ раздѣляю его радость, и люблю его гораздо больше“... „я человѣкъ, который прежде всего созданъ быть повѣреннымъ, которому говорятъ все; это замѣчали мнѣ люди, которые не любятъ меня и которыхъ я не люблю (я говорю о Паскаловой), которые все-таки говорили мнѣ, что „на васъ можно положиться болѣе чѣмъ на кого-нибудь, съ вами скорѣе будешь высказываться, чѣмъ съ кѣмъ-нибудь“. Охотно шли на встрѣчу всякому сближенію съ нимъ, потому что невольно чувствовали, что это — „одинъ изъ тѣхъ людей, которые кроютъ чужую крышу, а свою раскрываютъ“, т.-е. способны ко всякому самопожертвованію (дневникъ, стр. 74, 79).

Говоря о пребываніи Чернышевскаго въ Саратовѣ, нельзя не остановиться на нѣкоторыхъ чертахъ повѣсти его „Старина“, содержаніе которой или, точнѣе, характеристика героя подробно передается Шагановымъ ¹⁾. Нельзя не увидѣть въ фигурѣ героя существенныхъ автобіографическихъ чертъ, при чемъ даже въ пересказѣ ярко обрисовано своеобразное положеніе Чернышевскаго съ его революціоннымъ міровоззрѣніемъ въ средѣ массы саратовцевъ и въ родной семьѣ.

„Только русская жизнь создаетъ такіе характеры“, — замѣчаетъ Шагановъ о героѣ повѣсти; дѣйствіе ея происходитъ въ

¹⁾ С. Г. Стахевичъ, также запомнившій эту вещь Чернышевскаго, говоритъ: „Люди, событія и времена, изображенныя въ „Старинѣ“, по своему общественному значенію далеко уступаютъ изображеннымъ въ „Прологѣ“, и тѣмъ не менѣе, картины въ „Старинѣ“ ярче, выпуклѣе, живѣе, чѣмъ въ „Прологѣ“, чувствуется (т.-е. чувствовалось мною), что авторъ изображаетъ мысли, чувства и событія, которыя глубоко запали ему въ душу въ молодые, свѣжіе, бодрные годы его жизни, — въ наилучшіе годы. Если рукопись „Старины“ затерялась, считаю эту потерю очень прискорбною для будущаго біографа Николая Гавриловича; по моему мнѣнію, изъ его беллетристическихъ произведеній „Старина“ — наилучшее“.

началъ 50-хъ годовъ. Дѣло въ слѣдующемъ: „Въ одномъ изъ поволжскихъ губернскихъ городовъ живетъ чиновничья семья средней руки. Вся она состоитъ изъ отца, матери, дочери лѣтъ двадцати и сына лѣтъ двадцати-двухъ—двадцати-трехъ, который оканчиваетъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ. Сынъ-студентъ очень внимателенъ къ семьѣ: онъ при всякомъ случаѣ высылаетъ подарки сестрѣ и матери, что крайне радуетъ его родителей; только онъ не можетъ бывать дома на каникулахъ, будучи занятъ въ это время уроками. Тѣмъ съ большимъ нетерпѣніемъ они ожидаютъ его возвращенія—по окончаніи курса,—пріѣзда въ ихъ родное гнѣздо, можетъ быть навсегда, на службу. И сынъ, наконецъ, пріѣзжаетъ. Его домашніе въ первое время даже стѣсняются его въ своихъ разговорахъ, привычкахъ. Они уже слышали, что теперешняя молодежь многое осуждаетъ, многому не вѣритъ и живетъ иначе, чѣмъ они — старые люди. Но сынъ, кажется, скоро входитъ въ унисонъ ихъ жизни. Онъ ни надъ чѣмъ не смѣется, ничѣмъ не шокируется и даже соглашается со всѣми ихъ планами, которые они несмѣло развиваютъ насчетъ его будущей жизни. Да, онъ будетъ тутъ служить (вотъ блаженство для родителей!); онъ, вѣроятно, и женится (отчего же и не такъ?), они будутъ жить вмѣстѣ, или разными домами, но въ одномъ городѣ. Конечно, являются разные родные и знакомые посмотреть новаго пріѣзжаго, и всѣ очаровываются имъ: онъ такъ мило рассуждаетъ со старушками, входя во всѣ печали и радости ихъ мелкой жизни, онъ такъ солидно говоритъ съ мужчинами, выслушивая со вниманіемъ всѣ огорченія (радостей тутъ не бываетъ) ихъ служебной жизни... Онъ видитъ, что это народъ по большей части добродушный, даже не безличныи, но только они всѣ идутъ въ тѣсныхъ рядахъ бюрократической арміи, и ихъ отношеніе къ старшимъ можетъ быть только одно: слѣпое повиновеніе. И его отецъ—онъ тоже не выдается изъ ихъ числа, хотя человекъ и не глупый, и даже могущій серьезно критиковать строй своей служебной жизни. Но зачѣмъ и критиковать его, когда измѣнить невозможно? Надо только, насколько возможно, обходить въ ней, въ этой служебной жизни, пропасти и западни, грозящія своей совѣсти и человѣческому достоинству“. Нельзя не увидѣть въ этомъ—настроеніи семьи Чернышевскаго по пріѣздѣ его изъ Петербурга. При той нѣжной любви, которую онъ питаетъ къ старикамъ и родителямъ, онъ и не могъ, чтобы не огорчать ихъ, съ надобности распространяться о своихъ новыхъ взглядахъ, и все же, повидимому, до конца старикъ Чернышевскій и не подо-

зрѣвалъ о свободныхъ религіозныхъ убѣжденіяхъ сына; по крайней мѣрѣ о какомъ бы то ни было конфликтѣ въ семьѣ на этой почвѣ и рѣчи не было.

Въ содержаніи „Старины“ намѣчены Шагановымъ два эпизода. Первый изъ нихъ послужилъ деталью для другой повѣсти, появившейся въ полномъ собраніи сочиненій Чернышевскаго подъ заглавіемъ „Тихій голосъ“; это — исторія любви сестры героя „Старины“ къ нѣкому Лачинову. Нѣсколько строкъ въ „Тихомъ голосѣ“ поясняютъ опредѣленіе образъ героя „Старины“, какъ человѣка свободныхъ, революціонныхъ взглядовъ.

Вотъ что о немъ и о себѣ пишетъ его другъ Лачиновъ, предметъ симпатій дѣвушки, „лишній человѣкъ“, опустившійся и спившійся, непримиримый врагъ русской дѣйствительности:

„Я пренебрегаю собою, за то, что ни къ чему не гошусь. Когда явилось во мнѣ это сознаніе, я безусловно отдался всякимъ пошлостямъ, потому что не для чего стало беречь себя. Въ этомъ чувствѣ разница между мною и другими.

„Вашъ отецъ служить, и думаетъ, что его служба полезна обществу. Какъ онъ понимаетъ надобности и пользы общества, это все равно. Другіе могутъ понимать ихъ лучше, нежели онъ; но точно также думаютъ, что служатъ имъ. Они уважаютъ свой трудъ. Я много работалъ, когда былъ чиновникомъ особыхъ порученій; теперь работаю еще больше: я веду всѣ дѣла въ палатѣ... Я дѣлаю гораздо больше, чѣмъ они. Но вся эта работа — пересыпанье изъ пустого въ порожнее. Нельзя ничего дѣлать такъ, чтобы изъ этого выходила польза обществу. Да и нѣтъ въ дѣлахъ, надъ которыми всѣ мы работаемъ, ничего такого, что относилось бы къ надобностямъ общества. Всѣ эти дѣла — безсмыслица. Я толку воду.

„Вы шьете платье вашей сестрѣ. Вы чувствуете, что эта работа и нужна, и полезна. Но представьте себѣ, что въ вашей иголѣ не вдѣта нитка... Можно ли уважать свою работу, когда вы знаете, что нѣтъ, и не только нѣтъ, не будетъ, не можетъ быть никогда нитки въ вашей иголкѣ? Можно ли уважать себя? — становись отвертителемъ самому себѣ и думаешь: пропадай я, того я и стою, туда мнѣ и дорога, въ пошлость и безсмысліе.

„Есть и другіе люди, — больше юноши, но иные остаются такими и до моихъ лѣтъ, и до старости. Здѣсь ихъ мало; вы, полагаю я, видѣли только одинъ образчикъ ихъ — это вашъ братъ; немножко таковъ же и его товарищъ. Они имѣютъ убѣжденія, — тѣ же самыя, какія имѣю я. Но они думаютъ, что когда-нибудь могутъ сдѣлать что-нибудь для ихъ осуществленія; что ужъ и

теперь могут сдѣлать что-нибудь. Поэтому они уважаютъ себя въ настоящемъ, дорожатъ собою для будущаго. Я не могу раздѣлять ихъ самообольщенія. Передѣлать общественную жизнь!—Объ этомъ хорошо было мечтать дѣдамъ нынѣшнихъ французовъ: они не имѣли никакого историческаго опыта. Я вижу, что во Франціи, слава Богу, все остается по-прежнему, несмотря на шестидесятилѣтнія хлопоты филантроповъ и революціонеровъ. По-прежнему господствуютъ предрассудки, голодаетъ народъ, наживаются плуты, самовластвуютъ администраторы, рабѣлѣствуетъ толпа. Но то—еще Франція! А мы живемъ въ Россіи. Передѣлать по нашимъ убѣжденіямъ жизнь русскаго общества!—Въ молодости натурально думать о всякихъ химерахъ. Поэтому я снисходителенъ къ тѣмъ фантазерамъ, которые не старше вашего брата... Я—давно сталъ совершеннолѣтнимъ, давно увидѣлъ, въ какомъ обществѣ я живу, какой страны, какой націи я сынъ. Хлопотать надъ примѣненіемъ моихъ убѣжденій къ ея жизни значило бы трудиться надъ внушеніемъ волю моихъ понятій о ярмѣ. Къ чему же пригодны мои убѣжденія?—ни къ чему. Они безплодны, я презираю ихъ. А они—самое лучшее, что есть во мнѣ. Какъ же, презирая ихъ, не презирать мнѣ всего остального въ себѣ, не презирать всего себя?.. Для такой націи, какъ моя, хорошъ и такой, какимъ вы видите меня. Лучшаго не нужно ей“ (Соч., т. X, ч. I, 62—64).

Нельзя не видѣть, что мысли Лачинова—это темная часть умонастроенія всѣхъ людей пятидесятихъ годовъ, которые видѣли мрачный разгулъ реакціи николаевскаго заката и, какъ Аксаковъ, готовы были восклицать:

Пусть сгинетъ все, къ чему сурово
Такъ долго духъ готовленъ былъ:
Трудилась мысль, дерзало слово,
Въ запасъ много было силъ...
Слабѣйте, силы,—вы не нужны!
Засни ты, духъ,—давно пора!
Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны
Во имя правды и добра!

Несомнѣнно и Чернышевскій болѣлъ тѣми же черными мыслями, что и его Лачиновъ. Объ этомъ говорятъ та страница его романа „Прологъ“, гдѣ Чернышевскій-Волгинъ вспоминаетъ разъ поражавшую его картинку народной жизни, пріобрѣтшую, вѣнецъ, для него нѣкій безотрадный, символически въ ней скрытый, смыслъ.

„Ему вспоминалось, какъ, бывало, идетъ по улицѣ его родного города толпа пьяныхъ бурлаковъ: шумъ, крикъ, удалыя

пѣсни, разбойничьи пѣсни. Чужой подумалъ бы — городъ въ опасности, — вотъ, вотъ бросятся грабить лавки и дома, разнесутъ все по щепочкѣ. Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо, съ сѣдыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый ротъ и не то кричить, не то стонетъ дряхлымъ хрипомъ: — „Скоты, чего разорались, вотъ я васъ!“ — Удаля ватага притихла, передній за задвѣго прячется; еще бы такой окрикъ, и разбѣжались бы удалые молодцы, величавшіе себя „не ворами, не разбойниками, Стеньки Разина работниками“, общавшіе, что они „какъ весломъ махнуть“, то и „Москвой тряхнуть“, разбѣжались бы, куда глаза глядятъ, куда ноги понесутъ — крики еще разъ инвалидъ въ дверь будки; но старый будочникъ знаетъ, что передъ Богомъ грѣхъ былъ бы слишкомъ пугать удалыхъ молодцевъ: лбы себѣ перебьютъ, ноги переломаютъ, навѣкъ, бѣдные, искалѣчатся, — будочникъ, понюхавъ табакъ, говоритъ: „идите себѣ, ребята, съ Богомъ! только не будите меня, старика, не вводите въ сердце“. И затворяется въ будкѣ, — и ватага удалыхъ молодцовъ, Стеньки Разина бывшихъ работниковъ, скромно идетъ дальше, „перешептываясь, что будочникъ, на счастье имъ, видно, добрый человѣкъ“.

Въ дѣтствѣ Волгинъ приходилъ въ недоумѣніе отъ этихъ сценъ, теперь (раздумывая на собраніи дворянства о шансахъ освобожденія крестьянъ, для нихъ мало-мальски выгоднаго) видѣлъ въ нихъ символъ.

„Жалкая нація, жалкая нація. — Нація рабовъ, — снизу доверху все сплошь рабы... думалъ онъ и хмурилъ брови“. (Соч. т. X, ч. I, Прологъ, стр. 171—172).

Этотъ безнадежный выводъ не могъ его не преслѣдовать въ такой глуши, какъ Саратовъ, гдѣ всѣ рабскія черты русской жизни не могли не быть особенно сильны. Могъ ли онъ вступать въ сколько-нибудь тѣсное общеніе съ окружившей его въ родномъ городѣ средой и той умственной атмосферой, для которой „тѣмъ-то“ были, какъ мы говорили въ самомъ началѣ нашего очерка, такіе факты, какъ открытіе книжной лавочки, гдѣ „прогрессивнымъ“ было начало, сообщаемое министерствомъ... И онъ, какъ герой „Старины“, жилъ въ родной средѣ, чуждый и холодный для нея, храня лишь свою нравственную независимость для темнаго, неизвѣстнаго будущаго. Онъ буйвально исполнялъ совѣтъ Никитенка, вырвавшійся даже у него въ эту пору: „Спасай кто можетъ свою душу!“

Общій смыслъ этого положенія Чернышевскаго въ Саратовѣ

весьма удачно схваченъ въ томъ же изложеніи „Старинны“ Шагановымъ, который, видимо, и не подозревалъ, что, говоря о героѣ „Старинны“, рассказываетъ въ сущности объ ея авторѣ.

„Этотъ характеръ опредѣляется въ сценахъ разсказа, — пишетъ Шагановъ, — характеръ прямо противоположный всей его окружающей жизни, по принципамъ прямо враждебный этой жизни, но высказывающійся не въ мелочахъ и словахъ, а только въ поступкахъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обставляющій эти поступки такъ, что съ ними въ концѣ концовъ мирятся и не находятъ, въ чемъ сдѣлать ему упрека, а тѣмъ болѣе преслѣдовать, какъ своего врага — врага всѣмъ своимъ преданіямъ. Такъ, напримѣръ, герой этого разсказа незамѣтно, безшумно отвоевываетъ себѣ въ своей семьѣ право свободы совѣсти, т.-е. по-просту — право не ходить въ церковь и не исполнять прочихъ религіозныхъ обязанностей, и всѣ привыкаютъ къ этому“... „Я упомянулъ, что это типъ, должно быть, специально русскій. Съ одной стороны характеръ, привычный понимать, что лбомъ стѣны не прошибешь, т.-е. стѣны предрасудковъ, но гдѣ можно — игнорирующій эту стѣну, гдѣ показывающій ей всѣ признаки наружнаго почтенія, а гдѣ надо — хладнокровно, безъ шума подводящій подъ эту стѣну мину. Съ другой стороны, эта самая стѣна, эта среда, мирящаяся съ человѣкомъ, поступки котораго идутъ въ разрѣзъ съ ея поступками, но который имѣетъ только тактъ не оскорблять ея и чрезъ это приводитъ ее къ тому, что она безъ ужаса смотритъ, въ лицѣ другого, на паденіе всѣхъ своихъ преданій. Это и канунъ паденія старыхъ преданій, старой жизни. Въ слѣдующій періодъ эта среда вступаетъ уже въ послѣднюю смертельную борьбу, хотя она уже сама приготовила себѣ пораженіе и сама себѣ вырыла могилу, но тѣмъ ожесточеннѣе будетъ борьба на краю могилы“.

Х.

Неудивительно, что въ концѣ концовъ жизнь въ Саратовѣ становится для Чернышевскаго невыносима.

Какъ видно изъ дневника, въ теченіе двухъ лѣтъ онъ „два раза собирался рѣшительно уѣхать и все-таки не уѣхалъ“, „отчасти апатія, отчасти изъ сожалѣнія оставить маменьку“. Въ письмѣ къ Срезневскому, отъ 16 мая 1852 года, онъ просилъ его поопатать за него для опредѣленія учителемъ въ одну изъ пѣтербургскихъ гимназій, гдѣ освободилась вакансія старшаго учителя словесности: опредѣленіе не состоялось. Онъ рѣшился ѣхать

въ Петербургъ, наконецъ, не имѣя въ виду опредѣленнаго мѣста. Онъ спрашивалъ себя: „Да что жъ, наконецъ, я дѣлаю здѣсь? И до какихъ поръ это будетъ продолжаться?.. Неужели я долженъ остаться учителемъ гимназіи, или быть столоначальникомъ, или чиновникомъ особыхъ порученій, съ перспективою быть ассесоромъ? Какъ бы то ни было, а все-таки у меня настолько самолюбія еще есть, что это для меня было бы убійственно. Нѣтъ, я долженъ поскорѣе уѣхать въ Петербургъ“ (стр. 37).

Толчкомъ, побудившимъ его разстаться съ роднымъ захолустьемъ, была женитьба.

Глубокое, всецѣло овладѣвшее имъ чувство страстной любви къ Ольгѣ Сократовнѣ Васильевой и всѣ перипетіи его романа рассказаны имъ, почти изо дня въ день, въ его дневникѣ и запискахъ къ нему (Соч., т. X, ч. II). Это замѣчательный „человѣческій документъ“, глубоко трогательная по искренности и глубинѣ чувства исповѣдь, открывающая тайники сердца исключительнаго человѣка; и не много исповѣдей этого рода могутъ выдержать испытаніе времени и холоднаго изслѣдованія такъ полно, какъ исповѣдь Чернышевскаго.

Красавица собою, блестящая, бойкая, избалованная множествомъ ухаживаній, Ольга Сократовна, дочь мѣстнаго врача Васильева, была единственною женщиною, всецѣло наполнившею всю интимную жизнь Чернышевскаго. Она жива и до сихъ поръ. По понятнымъ причинамъ, мы не можемъ входить въ обсужденіе того множества предвзятыхъ сужденій и поверхностныхъ мнѣній, которыя, къ сожалѣнію, проникли въ печать о женѣ Чернышевскаго. Лучшимъ ихъ опроверженіемъ служатъ то исключительное чувство, какое въ теченіе жизни онъ питалъ къ этой женщинѣ (между прочимъ, ей онъ посвятилъ „Что дѣлать?“ и „Прологъ“) и то обстоятельство, что она шла за Чернышевскаго въ сознаніи, какъ сейчасъ увидимъ, предстоявшей ему дороги политическаго мученичества.

Мысль о женитьбѣ занимаетъ его, какъ предстоящій серьезный и совершенно неизбѣжный для него шагъ, еще въ Петербургѣ. Безъ того не можетъ сложиться сколько-нибудь правильная *рабочая* жизнь, его идеаль, потому что „волокітство“, „любовь помѣшаетъ работѣ“ (стр. 38). Но на пути впереди не только жизнь трудовая, но и жизнь подъ рискомъ предстоящаго ему, какъ слѣдствія той же его работы, какъ онъ ее понимаетъ, политическаго преслѣдованія за эту работу. Онъ говоритъ себѣ и потомъ невѣстѣ: „мнѣ должно жениться, чтобы стать осторожнѣе. Потому что если я буду продолжать такъ, какъ на-

часть ¹⁾, я могу попасться въ самомъ дѣлѣ. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себѣ, что я не вправѣ рисковать собою,—иначе, почему знать? Развѣ я не рискну? Должна быть какъ защита противъ демократическаго, противъ революціоннаго направленія, и этою защитой ничто не можетъ быть, кромѣ мысли о женѣ" (стр. 39). „Я долженъ тѣмъ-нибудь сдерживать себя на дорогѣ къ Искандеру" (стр. 96). Но онъ не можетъ скрыть отъ себя, что при всей осторожности возможна и при извѣстныхъ условіяхъ неизбежна катастрофа. Трагическая тѣнь ложится на все возможное для него и его избранницы взаимное счастье...

Такой избранницѣ, которой въ „грядущаго волнуемомъ морѣ" онъ можетъ сулить только „трудъ и горе", онъ долженъ отдать себя и весь пылъ чувства всецѣло, исключительно.

Еще въ Петербургѣ онъ говоритъ себѣ (въ несохранившейся части дневника): „я хочу любить одну, чтобъ могъ сказать ей: никого я не обнималъ раньше тебя, никого я не любилъ раньше тебя" (дневникъ, стр. 28 и 66). Такъ и въ Саратовѣ высказываетъ онъ все то же свое „фантастическое желаніе", „глубокую потребность":

„Я хочу любить только одну во всю жизнь.

„Я не хочу, чтобы у меня было о комъ-нибудь и какія-нибудь воспоминанія, кромѣ какъ о моей женѣ.

„Я хочу, чтобы мое сердце не только послѣ брака, но и раньше брака, не принадлежало никому кромѣ той, которая будетъ моей женой.

„Кромѣ этого, я хочу поступить теперь въ обладаніе своей женѣ, и тѣломъ не принадлежавъ ни одной женщинѣ, кромѣ нея...

„И въ обіятіяхъ жены, если это будетъ не она (О. С.), я буду помнить: „а было время, мое сердце принадлежало другой"... Это будетъ мнѣ мучительно. Я буду ревновать себя за свою жену къ О. С., къ моей первой любви. Я этого не хочу. Пусть у меня будетъ одна любовь. Второй любви я не хочу.

„Все это весьма идеально, можетъ быть весьма смѣшно, но что-жъ дѣлать? Мало ли есть въ моемъ характерѣ такого, что для другихъ должно показаться смѣшнымъ и отъ чего все-таки я не могу и не хочу освободиться" (дневникъ, стр. 39—40).

Онъ заранѣе сознательно беретъ на себя безусловное подчиненіе—во всѣхъ подробностяхъ и складѣ обыденной жизни—женѣ: И созданъ для повиновенія, для послушанія, но это послушаніе

¹⁾ Это, вѣроятно, воспоминаніе о какомъ-нибудь неосторожномъ съ мало знающими людьми разговорѣ.

должно быть свободно" (стр. 93). Ей предстоит полное управление семейной жизнью, ибо весьма немного дѣлъ, рѣшеніе которыхъ будетъ не отъ нея зависѣть. И заранѣе же онъ готовъ на всякое самопожертвованіе, въ трагическомъ случаѣ новаго съ ея стороны серьезнаго чувства (стр. 64). Въ нѣкоторыхъ замѣчаніяхъ нельзя не увидѣть мыслей, въ будущемъ нашедшихъ мѣсто въ „Что дѣлать?“—таково, напр., намѣреніе устроиться въ домѣ на двѣ половины и т. п. Здѣсь, вообще, мы находимъ ключъ къ тому взгляду на женщину, который проведенъ и въ „Что дѣлать“, и въ другихъ произведеніяхъ Чернышевскаго, дошедшихъ до насъ частью неполно, частью въ малообработанномъ видѣ. Онъ очень хорошо формулированъ П. Ф. Николаевымъ, имѣвшимъ возможность уяснить этотъ взглядъ Чернышевскаго и въ личной бесѣдѣ.

„Даже благорасположенные люди были склонны видѣть въ авторѣ (романа „Что дѣлать?“) систематическаго-утописта и не разсматривали критика, срывающаго съ чувства любви мистическіе покровы средневѣковаго идеализма. Систематическомъ-утопистомъ въ этомъ вопросѣ Чернышевскій несомнѣнно былъ... Но надо умѣть отдѣлять основное зерно системы отъ ея часто фантастической оболочки. А зерно было вотъ въ чемъ: надо попроще смотрѣть на дѣло, надо дать личности жить и наслаждаться сообразно ея натурѣ и естественнымъ склонностямъ, надо больше уважать самое личность и ея права на счастье, и потому надо снять съ чувства любви его идеалистическій ореолъ. Совсѣмъ уже не такую важную роль въ жизни индивидуума играетъ оно, чтобы на преувеличенномъ понятіи его святости строить цѣлыя системы, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно все-таки столь интенсивно, что лишать человѣка права любить, какъ онъ хочетъ, значитъ лишать его счастья. Далѣе несомнѣнно и то, что половая страсть и интеллектуальное развитіе обратно пропорціональны, и потому-то задача всякаго думающаго человѣка должна состоять въ подчиненіи своей страсти—страсти другого, въ извѣстнаго рода самоотреченіи и самоограниченіи. Всегда было и будетъ такъ, что типы, живущіе умственною жизнью, вялы и на нравствѣ, и хотѣть ли они этого или не хотѣть, должны подчиняться типамъ эмоціональнымъ. Это—законъ фізіологическій и психологическій, чтобы эмоціональные типы вели житейскій поѣздъ. Поэтому нечего прикрывать этотъ законъ фіговымъ листкомъ, а лучше стараться поступать согласно съ нимъ. Потому-то мужчина въ извѣстныхъ отношеніяхъ и долженъ подчиняться женщинѣ, какъ типу болѣе эмоціональному. Въ этомъ послѣднемъ положеніи,

которое Чернышевский часто развивалъ въ разговорахъ съ нами, я и вижу весь дефектъ его системы, поведшій его къ совершенно фантастическимъ построениямъ. По-моему, совсѣмъ не доказано, чтобы женщина была болѣе эмоциональна отъ природы и чтобы для нея не дѣйствовалъ законъ обратно пропорціональнаго отношенія страсти и разума“.

Въ сущности, какъ видно изъ дневника, теоретическія построения плохо ладили съ дѣйствительностью чисто идеалистическаго увлеченія Чернышевскаго: онъ хочетъ построить необходимость своей женитьбы и именно на О. С. съ правильностью и неизбежностью логическаго вывода холоднаго разсудка, но и сквозь нѣсколько комическій перечень резонновъ для женитьбы горячей струей пробивается молодая сильная страсть первой любви и трогательно нѣжное сердце, болѣющее за то горе, которое суждено, быть можетъ, пережить его избранницѣ.

Раньше рѣшительнаго шага онъ обращается къ товарищу-врачу Стефани, который успокоилъ его относительно воображаемаго имъ у себя (вѣроятно, послѣ болѣзни, о которой онъ 16-го ноября 1851 г. писалъ Срезневскому) аневризма. Труднѣе было отрѣшиться отъ сомнѣній, связанныхъ съ предвидѣніемъ политическихъ преслѣдованій, и онъ не разъ—не два возобновляетъ объ этомъ разговоръ съ О. С.

„— О. С., вы все шутите. Я начинаю не шутить“,—говоритъ онъ ей, когда завязавшаяся между ними „игра во влюбленность“ переходитъ въ правду:—„Я вовсе не шучу. Я хочу имѣть такого мужа, какимъ вы будете по вашимъ словамъ“.—Конечно, это она сказала такимъ тономъ, что если бы дѣло разстроилось, то это должно было принять за шутку. „Хорошо, я не могу жениться ужъ по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободѣ. Меня каждый день могутъ взять. Какая будетъ тутъ моя роль? У меня ничего не найдутъ, но подозрѣнія противъ меня будутъ весьма сильныя. Чтѣ же я буду дѣлать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконецъ, когда ко мнѣ будутъ приставать долго, это мнѣ надоѣстъ, и я выскажу свои мнѣнія прямо и рѣзко. И тогда я едва ли уже выйду изъ крѣпости. Видите, я не могу жениться“ (стр. 22).

Далѣе, по поводу этого и подобныхъ разговоровъ, онъ записываетъ:

„Тяжело было для меня говорить такъ, какъ я говорилъ съ О. Вмѣсто любви, вмѣсто восторга, вмѣсто языка жениха, я къ человѣку, который говорить: пожалуйста не рѣшайтесь вѣнчаться за меня замужъ.

„Чѣмъ бы это могло кончиться? Этотъ разговоръ могъ бы быть чрезвычайно . . (пагубенъ?) для моего счастья.

„Но я все-таки началъ этотъ разговоръ и высказалъ все, что долженъ былъ высказать.

„Я поступилъ, какъ честный человѣкъ.

„И она выслушала этотъ грубый языкъ, она выслушала его и поняла мои рѣчи въ ихъ истинномъ смыслѣ; не оттолкнула меня за мой грубый совѣтъ: „откажитесь отъ мысли быть моей женой“.

„Она поняла, что я говорю какъ честный человѣкъ, что говорю это не для того, чтобы мнѣ хотѣлось заставить ее оттолкнуть меня—что было бы тогда со мною, я не знаю,—а потому, что я долженъ былъ сказать ей, за кого она выходить.

„Она поняла, что я не ломаюсь, что я говорю искренно, по чувству обязанности сказать все, а не потому, что хотѣлъ отказаться отъ ея руки. Кто бы понялъ это? Она поняла!

„Кто бы не оскорбился этимъ? Она не оскорбилась!“ (стр. 41).

Въ другой разъ онъ говоритъ ей, что „если за полчаса до вальсы она сказала бы, что ей больше нравится другой“, онъ радовался бы за нее“ (стр. 63). „Шелъ сильный дождь почти весь день,—записано незадолго до свадьбы,—и когда она провожала меня: „Мнѣ жаль васъ“—и я при Серержѣ сказалъ: „Вы знаете, что мнѣ гораздо больше жаль васъ“... „мы остались въ залѣ... я взглянулъ на нее, и у меня въ глазахъ навернулись слезы—да и теперь навертываются.—„Мнѣ жаль васъ, что вы принуждены любить меня. Не такой долженъ быть у васъ женихъ. Мало у насъ порядочныхъ людей. Нѣтъ, не такимъ долженъ быть у васъ женихъ...“ (стр. 93).

Выходъ замужъ за неловкаго увальня-домосѣда, какимъ считался Чернышевскій, блестящей дѣвушки, кружившей голову множеству поклонниковъ, конечно, возбудилъ въ саратовскомъ „обществѣ“ немало разговоровъ и глупыхъ пересудовъ, дошедшихъ и до жениха ¹⁾, и до его родителей, незнакомыхъ съ О. С. Какъ примутъ его женитьбу родители—это очень волюно-

¹⁾ Въ дневникѣ (стр. 44) записаны слова Палимисестова (Фед. У.), который „по-пріятельски“ говорилъ Н. Г. объ О. С.: „она истаскана (конечно, сердцемъ)—она растеряла свои чувства и уже не способна любить“. Это вызвало въ дневникѣ по адресу пріятеля и ему подобныхъ страницу гнѣвной отповѣди на тему: „ам въ сущности люди съ грязною душою“ (стр. 44—45). Чернышевскій перенесъ этотъ эпизодъ цѣлымъ въ „Старину“, но въ рѣзко преувеличенномъ видѣ: герой, не смущаясь слезными, женится на любимой имъ дѣвушкѣ, а пріятеля, который „по-пріятельски“ сталъ на нее клеветать, хладнокровно застрѣливаетъ. См. Шаганова, стр. 17.

вало молодого человека. Онъ увѣренъ, что съ отцомъ поладить легко, другое дѣло — маменька; такъ дѣйствительно и вышло: старуха была, повидимому, обижена, что сынъ, ея „Николя“, отъ котораго она не привыкла видѣть ничего, кромѣ самой нѣжной покорности, вздумалъ устроиться безъ ея содѣйствія и совѣта. Нѣсколько строкъ изъ дневника, характеризующихъ отношенія Чернышевскаго къ родителямъ, здѣсь не лишнія.

„Въ сущности, — замѣчаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ: — развѣ я не дѣлалъ всегда такъ, какъ мнѣ казалось нужнымъ, а всегда только прикрывался ихъ волею?“ (стр. 47). Онъ хочетъ въ такомъ дѣлѣ, какъ женитьба, отбросить это, какъ ему кажется, „гнусное лицемеріе“; на дѣлѣ, это, конечно, лишь чувство такта, умѣнье идти своею дорогою, любовно смягчая, изъ нѣжной любви къ родителямъ, возможные конфликты. Но здѣсь онъ опасался со стороны матери отношенія къ его шагу, оскорбительнаго уже не для него одного. Онъ повторяетъ ея слова: „Ты и въ семьдесятъ лѣтъ будешь моимъ сыномъ, и тогда ты будешь меня слушаться, какъ я до пятидесяти лѣтъ слушалась маменьки“, и замѣчаетъ протестующе: „я уже не тотъ сынъ, котораго вы держали такъ: „Милая маменька, позвольте мнѣ съѣздить къ Ник. Ив. (Костомарову)“. — „Хорошо, ступай!“ — „Милая маменька, позвольте мнѣ съѣздить къ Аннѣ Ник. (Паскаловой)“. — „И не смѣй ѣздить, это гадкая женщина“. Чувство любви къ матери, которую ему все-таки больно огорчить, какъ ни неразумно представляется ему ея огорченіе, борется въ немъ съ чувствомъ долга по отношенію къ О. С., и онъ приходитъ даже къ серьезной мысли о самоубійствѣ въ случаѣ безусловнаго протеста матери противъ его женитьбы на О. С., хотя протестъ съ ея стороны не могъ бы, конечно, имѣть никакой реальной силы. „И если будетъ необходимость, я исполню свою угрозу, потому что лучше умереть, чѣмъ жить безчестнымъ въ собственныхъ глазахъ, или рассорившись съ тѣми, кого люблю, которые, наконецъ, сами любятъ тебя“ (стр. 48—49).

Въ этихъ строкахъ, въ которыхъ такъ трогательно излилось нѣжное сыновнее чувство, нельзя не видѣть въ то же время отраженія и вообще авторитета той безусловной родительской власти, которая по традиціи все же сохраняла свое обаяніе и адъ такимъ въ сущности уже совершенно эмансипированнымъ момъ, какъ Чернышевскій. Въ біографіи Грановскаго имѣется совершенно аналогичный эпизодъ. Будучи совершенно независимъ отъ отца и самостоятеленъ, онъ не находилъ, однако, возможнымъ вѣнчаться на любимой дѣвушкѣ безъ согласія и благословенія

отца, что, встать сказать, послужило г. Скабичевскому однимъ изъ поводовъ къ утверженію, что „въ Грановскомъ сидѣли двѣ противоположныя системы воззрѣній: одна—допетровская, архаическая, вся основанная на средневѣковыхъ преданіяхъ, другая—новая, система XIX столѣтія, основанная на идеяхъ свободы разума, чувства и воли личности отъ всѣхъ стѣсняющихъ оковъ обветшалаго родового быта“ („Три человѣка сороковыхъ годовъ“, Соч., т. I, Спб. 1895, стр. 508—510). Читатель видитъ, что это не грѣхъ того или иного отдѣльнаго дѣятеля, но психологическая черта цѣлыхъ поколѣній. Это преклоненіе предъ авторитетомъ родительской власти такихъ людей, какъ Грановскій, выходецъ дворянства, или Чернышевскій, питомецъ духовенства, лучше всего показываетъ, что въ шестидесятые годы конфликты „отцовъ и дѣтей“ имѣли самое реальное значеніе не только конфликта идей, которыми жили разные поколѣнія, но и прямого ослабленія безусловнаго родительскаго авторитета. По мѣткому выраженію Шелгунова, это время было „эпохой перелома всѣхъ домашнихъ отношеній, новымъ кодексомъ для воспитанія свободныхъ людей въ свободной семьѣ“. „Когда я былъ маленькимъ, насъ учили говорить: „папенька, маменька“ и „вы“, — вспоминаетъ онъ же (и именно такъ говорилъ и Чернышевскій), — потомъ стали говорить: „папа, мама“ и тоже „вы“; въ шестидесятыхъ годахъ рѣзкая реакція ниспровергла эти мягкія формы, и сами отцы учили дѣтей говорить: „отецъ“, „мать“, „ты“. Теперь говорятъ: „папа“, „мама“ и тоже „ты“. Вотъ краткая и наглядная исторія вопроса объ отцахъ и дѣтяхъ за шестьдесятъ лѣтъ“ (Шелгуновъ, Воспоминанія, Соч., т. II). Такъ, исторія самостоятельныхъ шаговъ Чернышевскаго въ его женитьбѣ приобрѣтаетъ характеръ явленія типическаго, какъ одно изъ выраженій тогдашняго движенія къ эмансипаціи отъ безусловнаго подчиненія родительскому руководству, т.-е. къ тому, что для теперешнихъ поколѣній не составляетъ уже и вопроса.

Какъ бы то ни было, все уладилось благополучнѣе, чѣмъ самъ Чернышевскій ожидалъ, но все же ему пришлось пережить немало тяжелыхъ минутъ. Мать держалась съ невѣстой и ея родными „чопорно“, — О. С. это „показалось строгостью и неудовольствіемъ“ (стр. 91). Огорченный, онъ разъ „долго говорилъ маменькѣ, чтобы была ласковѣе съ ней (О. С.), и наконецъ началъ съ горя плакать“ (стр. 92).

Помимо этого, онъ весь полонъ небывалаго подъема энергіи, жизнерадостнаго настроенія и блаженно любовнаго отношенія къ людямъ. Онъ энергично берется за ученую работу. Въ то же время

онъ чувствуетъ, что „сердце его стало не таково, какъ прежде“. „Я теперь рѣшительно измѣнился“,—говорилъ онъ Костомарову, хотя, по его словамъ, вовсе не хотѣлъ высказываться, но не могъ—отъ избытка сердца говорили и уста:—„и эта переменна все будетъ усиливаться. Мое презрѣніе къ самому себѣ, источникъ моего ожесточенія, причина того, что я покрываю ядовитымъ презрѣніемъ все,—прошло. Теперь я почти доволенъ собою... и въ мирѣ съ самимъ собою. Я теперь не хочу ругать никого. И я сдержалъ свое слово, не хотѣлъ даже смѣяться надъ Богомъ и будущею жизнью, отчего не удержался бы раньше“ (стр. 55). Прежнія сомнѣнія относительно собственнаго характера забыты. „Теперь я спокоенъ. Теперь я чувствую себя человекомъ, который въ случаѣ нужды можетъ рѣшиться, можетъ дѣйствовать, а не существомъ изъ числа тѣхъ крысъ, которыя собирались привязывать звонокъ на шею коту. О, какъ мучила меня мысль о томъ, что я Гамлетъ. Теперь вижу, что нѣтъ; вижу что я тоже человекъ, какъ другіе; правда, не такъ много имѣющій характера, какъ бы желалъ имѣть, но все-таки человекъ не совсѣмъ безъ воли, однимъ словомъ человекъ, а не совершенная дрянь“ (стр. 36). „Теперь у меня есть воля, теперь у меня есть характеръ, теперь у меня есть энергія“ (стр. 54). „Вотъ рѣшительная картина моей внутренней жизни до и послѣ (19 февраля, дня принятаго предложенія): раньше это былъ туманъ, покрытое все одной сѣрой тучей—небо, на которомъ только изрѣдка мелькали свѣтлыя мѣста среди облаковъ. Теперь это чистое, ясное, лазурное небо, по которому только изрѣдка пробѣгаютъ облака, но и эти облака оварены счастьемъ моей жизни, мыслью о ней, и они скоро расплываются отъ теплыхъ лучей яркаго солнца... Иду отдохнуть отъ чувствъ спокойныхъ, но слишкомъ сильныхъ. Это восторгъ, какой является у меня при мысли о будущемъ социальномъ порядкѣ, при мысли о будущемъ равенствѣ и отрадной жизни людей—спокойный, сильный, никогда не ослабѣвающій восторгъ. Это не блескъ молніи, это равно не волнующее сіяніе солнца. Это не знойный іюльскій день въ Саратовѣ, это вѣчная сладостная весна Хиоса“ (стр. 55—56).

„Въ гимназій, на лекціяхъ сталъ онъ съ жаромъ говорить о значеніи любви и женщины въ жизни человека; въ письмахъ то къ друзьямъ слышался молодой бредъ сильной, глубокой любви“ („Колоколъ“).

Въ будущее, что касается матеріальнаго его положенія, онъ глядитъ съ совершенной увѣренностью, съ сознаниемъ своего превосходства надъ всѣми окружающими. Высокая самооцѣнка

вообще ему свойственна; такъ, онъ даже признается, что невольно свысока смотритъ на Костомарова, Пасхалову, не говоря уже, напр., о Бѣловѣ и другихъ (стр. 31). О своихъ расчетахъ на Петербургъ, переѣздъ куда былъ имъ давно рѣшенъ, онъ записываетъ въ дневникъ: „Наконецъ, глупо сомнѣваться въ возможности работать и получать деньги, когда выше всѣхъ изъ кружка Введенскаго, напримѣръ, хотя выше его и Милюкова“... „Я человѣкъ, которымъ не будутъ пренебрегать. Я человѣкъ нужный. Буду писать въ „Отечественныхъ Запискахъ“ или „Современникъ“. Можетъ быть, получу нѣсколько денегъ и черезъ Русскую Академію. Буду писать все, что угодно. Главнымъ образомъ, если на мой выборъ, критическія извѣстія о различнаго рода литературѣ и теоріи словесности. Можетъ быть даже, составлю учебникъ вмѣстѣ съ Введенскимъ. Ему отдамъ всю честь, себѣ приму только участіе въ денежныхъ выгодахъ“ (стр. 65).

Путь впередъ былъ ясенъ въ общихъ своихъ очертаніяхъ.

Свѣтлые дни были, однако, омрачены болѣзью и потомъ кончиною матери (19-го апрѣля 1853 г.); ея смерть кумушки приписали огорченію отъ женитьбы Н. Г. на О. С., и эта сплетня повторена даже недавно (въ статьѣ П. Л. Юдина), какъ повторялась и сплетня, что старикъ Г. И. Чернышевскій былъ убитъ атеистическою проповѣдью своего сына и его арестомъ.

Авторъ статьи въ „Колоколѣ“ давно объяснилъ, въ чемъ и какъ было дѣло.

„Во время сватовства случилось такъ, что его мать простудилась и умерла. Чернышевскій былъ глубоко пораженъ этою смертію; безъ слезъ и съ блѣднымъ лицомъ провожалъ онъ тѣло матери. Но такъ какъ онъ осмѣлился не выждать положеннаго этикетомъ срока траура, женился недѣли двѣ спустя послѣ похоронъ (свадьба состоялась чрезъ десять дней—В. В.—ѡ) и тотчасъ уѣхалъ въ Петербургъ съ женой, и такъ какъ, кромѣ того, онъ не рыдалъ въ церкви, не падалъ въ обморокъ и не кидался съ воемъ на гробъ, то саратовское бонтонное общество, разныя кликуши обоихъ половъ, привилегированные заступники и заступницы общественнаго блага—не замедлили провозгласить Н. Г. безчувственнымъ, безжалостнымъ, неприличнымъ сыномъ, который до того равнодушенъ былъ къ своей матери, что женился, не доносивши траура, и покиннулъ отца „въ такія минуты“.

„Но старикъ думалъ не такъ; онъ отпустилъ сына въ Петербургъ, гдѣ ему должно было быть лучше, а самъ, какъ че-

ловѣкъ серьезный и умный, охотно даже остался одинъ съ своею глубокой грустью.

„Впрочемъ, старика окружали и холили родные покойной жены, обязанные ему многимъ въ жизни, и не повинили его до самой смерти, которая скосила Г. И. на седьмомъ десятѣ въ 1862 году (неточно: Г. И. Чернышевскій скончался 23-го октября 1861 года—В. В.—¹⁾), причемъ опять-таки саратовское общество не преминуло назвать сына отцеубійцею своимъ непочтеніемъ къ родителямъ, не зная того, съ какою гордостью, съ какою радостью говаривалъ старикъ о сочиненіяхъ своего милаго Николая, котораго и не думалъ обвинять ни въ чемъ“.

Черезъ нѣсколько дней послѣ свадьбы Чернышевскій съ женою выѣхалъ въ Петербургъ.

Черезъ ранніе годы Чернышевскаго и потомъ черезъ послѣдующую его жизнь проходятъ двѣ основныхъ черты; эти двѣ особенности его невольно останавливаютъ вниманіе изслѣдователя.

Во-первыхъ, отъ природы это—необыкновенно мягкое и участливое сердце, покоряющее ему окружающую среду.

Въ дѣтствѣ это—„ангелъ во плоти“; подросткомъ онъ окруженъ обожаніемъ разной дѣтвора, которую забавляетъ играми и возней съ нею. Въ годы ученія предъ нимъ „просто благоговѣютъ“ товарищи, не только предъ его исключительными способностями семинарскаго генія, но и предъ обаяніемъ его характера и мягкой натуры. Въ молодые уже годы въ немъ видятъ человѣка, который „прежде всего созданъ быть повѣреннымъ, которому говорятъ все“: юноши привязываются къ нему „какъ собака“, по признанію одного изъ нихъ, и до его гроба гимназическіе ученики его сохраняютъ способность плакать объ учителяхъ. Это же обожаніе по отношенію къ нему сохранять навсегда

¹⁾ Въ книгѣ „Очерки по исторіи города Саратова и Саратовской губерніи“ сообщено: „Послѣдніе годы у Гавріила Ивановича развилась болѣзнь сердца. Она была во-время замѣчена докторомъ, который пользовалъ Гавріила Ивановича, но самъ больной едва ли подозрѣвалъ въ себѣ эту болѣзнь. Замѣтивъ, однако, дурное мнѣніе на себя крѣпкаго чая, онъ, дотогѣ любитель его, сталъ въ этомъ отношеніи болѣе воздержанъ; крѣпкихъ же напитковъ вообще не употреблялъ. Такимъ образомъ, больной при условіи спокойной жизни могъ бы прожить до глубокой старости. Въ этомъ смыслѣ докторъ старался успокоить и сына Гавріила Ивановича, встретивъ ласками о болѣзни отца. Но 22-го октября 1861 г., на 67 году отъ роду, Гавріилъ Ивановичъ внезапно скончался, сидя въ креслѣ и спокойно, повидимому, и говаривая о своихъ служебныхъ дѣлахъ съ Н. Д. П. (Пшенинъ)“.

Г. И. похороненъ на Воскресенскомъ кладбищѣ (Пичуженскомъ), около церкви, въ одномъ изъ захороненій съ женой. Г. Юдинъ, датой смерти устанавливаетъ 23-е октября.

и тѣ, кто будетъ сближаться съ нимъ въ послѣдующіе годы, такъ что, годы спустя послѣ его смерти, одинъ изъ нихъ, вспоминая насильственную съ нимъ разлуку, скажетъ: „рана и до сихъ поръ не зажила“ (М. Антоновичъ, „Арестъ Н. Г. Ч.“, „Былое“, 1906, 3). „Кто зналъ его, забыть не можетъ, тоска о немъ язвить и гложетъ“,—примѣнить къ нему стихъ Некрасова одинъ изъ его товарищей по ссылке (Шагановъ). Но еще поразительнѣе обаяніе этой натуры на людей простыхъ,—способность, которая въ немъ развилась, очевидно, еще въ эти годы, ибо, вообще говоря, способность къ сближенію, общительность натуры съ годами рѣдко растутъ. Отмѣтимъ поразительный разсказъ г. Николаева, свидѣтеля того, какъ слово Чернышевскаго утишило буйно настроенную толпу поляковъ изъ простонародья, по своимъ воззрѣніямъ „черносотенцевъ“, ополчившихся въ тюрьмѣ противъ товарищей по ссылкѣ, социалистовъ, и какъ эта толпа въ заключеніе бесѣды „рыдала“, подъ обаяніемъ безыскусственной, но прямо къ сердцу шедшей рѣчи „пана Чернышевскаго“.

Это обаяніе личности Чернышевскаго тотъ же г. Николаевъ, близко его узнавшій по годамъ совмѣстнаго заключенія, сводитъ къ „простотѣ“ всего его существа, къ природенной демократичности. „По этой простотѣ Николай Гавриловичъ былъ истымъ, инстинктивнымъ демократомъ, въ самомъ буквальномъ смыслѣ этого слова, человѣкомъ труда, человѣкомъ народа, братомъ всякаго человѣка труда, всякому мужику, всякому простому человѣку, и при томъ безъ фразъ, безъ предвзятыхъ намѣреній, можно сказать безъ убѣжденій, просто одной вотъ этой самой святой простотой“. И съ этою „демократичностью“ вполне гармонируютъ всѣ его личныя привычки, особенно полное равнодушіе къ удобствамъ жизни, поражавшее многихъ. „Чернышевскій—сказалъ о немъ Головачевой-Панаевой Добролюбовъ—свободенъ отъ всякихъ прихотей въ жизни, не такъ, какъ мы всѣ, ихъ рабы (конечно, и Д. не могъ быть названъ „рабомъ прихотей“—В. В—ий); но главное, онъ и не замѣчаетъ, какъ выработалъ въ себѣ эту свободу“...

Съ этою же святою простотою онъ высказываетъ и проводитъ, когда нужно, и свои убѣжденія, и въ этомъ, конечно, въ той глубокой искренности и непоколебимости убѣжденія, которыми дышали его писанія, и былъ въключъ его вліянія на современниковъ. Въ личныхъ отношеніяхъ, онъ никогда не торопится высказывать или навязывать тѣ или иные занимавшіе его взгляды; столь рѣзкій иногда въ печатной полемикѣ, онъ въ обращеніи

упрекает себя за „характеръ уклончивый до фальшивости“, „изгибающійся, податливый“ („Въ изъясненіе признательности“, т. IX, 104); на дѣлѣ „уклончивостью“ было просто проявленіе врожденной сердечности и мягкости, при которыхъ вызвать его на рѣзкость было трудно. Но въ печати, гдѣ дѣло шло объ убѣжденіяхъ, онъ высказывается безъ остатка, съ полной и безусловной (не говоримъ, конечно, объ условіяхъ цензурныхъ) откровенностью и съ исключительной увѣренностью и твердостью.

Въ этомъ была другая основная черта личности Чернышевскаго—ничѣмъ невозмутимая увѣренность въ себя и своихъ убѣжденій, непоколебимость и сильная воля.

Если въ молодые годы его могла смущать мысль о гамлетовскомъ элементѣ въ своей натурѣ, то именно это отсутствіе въ немъ гамлетовщины способно поразить изслѣдователя. Ни самоупрековъ „лишнихъ людей“, ни слѣдовъ „больной совѣсти“, болѣзни „кающагося дворянства“, невозможно замѣтить въ Чернышевскомъ, когда опредѣлился уже его характеръ и онъ близокъ къ выступленію на арену журналистики. Это совершенно новый въ ту эпоху общественный типъ, который незамѣтно выросъ въ низинахъ русской жизни, внѣ повѣи, но и грязи и жестокости дворянскихъ гнѣздъ. Онъ воспитался на крохахъ, падавшихъ отъ стола привилегированнаго и въ образовательномъ отношеніи дворянства, и въ школѣ первой русской независимой журналистики, и онъ внесъ въ общественную жизнь глубокое отвращеніе къ дворянско-бюрократической полосѣ русской жизни, способность къ неустоимому труду и ясную спокойную совѣсть людей, чуждыхъ старой неправды, почуявшей въ нихъ не безъ основанія самыхъ непримиримыхъ враговъ себя.

Этотъ глубокій, ясный покой чистой души, аналогичный, какъ мы говорили, душевному покою протоіерея Чернышевскаго, все въ чемъ близко напоминаетъ выразительный портретъ Луи Блана, въ немногихъ, но рѣзкихъ чертахъ набросанный Герценомъ, портретъ вообще натуры, уравновѣшенной въ духовной жизни.

„Когда я ближе познакомился съ Луи Бланомъ, меня поразили внутренній невозмутимый покой его,—вспоминаетъ Герценъ.—Въ его разумѣніи все было въ порядкѣ и рѣшено; тамъ не рождало вопросовъ, кромѣ второстепенныхъ, прикладныхъ. Свои сеты онъ свелъ: er war im Klagem mit sich; ему было нравственно свободно, какъ человѣку, который знаетъ, что онъ правъ. Изъ частныхъ ошибокъ своихъ, въ промахахъ друзей—онъ считался добродушно; теоретическихъ угрызений совѣсти у него не было. Онъ былъ доволенъ собой послѣ разрушенія республики

1848 года (въ которой принималъ участіе, какъ членъ революціоннаго правительства)... Умъ его, подвижной въ ежедневныхъ дѣлахъ и подробностяхъ, былъ японски неподвиженъ во всемъ общемъ. Эта неизбежная увѣренность въ основахъ, однажды принятыхъ, слегка провѣтриваемая холоднымъ раціональнымъ вѣтеркомъ, прочно держалась на нравственныхъ подпорочкахъ, силу которыхъ онъ никогда не испытывалъ, потому что вѣрилъ въ нее. Мозговая религіозность и отсутствіе скептическаго сосавія подъ ложечкой обводили его китайской стѣной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли; ни одного сомнѣнія ("Былое и Думы", "Англія", глава III).

Дѣлая это сопоставленіе Чернышевскаго съ Герценовскимъ портретомъ Луи Блана, нужно только замѣтить, что Герценомъ Луи Бланъ какъ бы умаленъ; эти эпитеты: „китайскій“, „японскій“, такіа выраженія, какъ „вѣтерокъ“, „подпорочки“, отнюдь не свидѣлствуютъ, чтобы Герценъ считалъ Луи Блана человекомъ истинно крупнымъ. Но холодность Герцена къ такой натурѣ, какъ Луи Бланъ, поясняетъ намъ и холодность впоследствии Герцена къ Чернышевскому, подобно Луи Блану „незыблемо увѣренному въ основахъ однажды принятыхъ“.

„Я мертвъ къ похвалѣ и къ порицанію тому, что я пишу“, характерно заявляетъ въ одномъ мѣстѣ Чернышевскій, и это не было преувеличеніемъ, а дѣйствительно выражало его отношеніе къ дѣлу исповѣданія своихъ взглядовъ. Здѣсь не только высокая самооцѣнка, которая казалась мало знавшимъ Чернышевскаго иногда чуть не маніей величія. Это — свойство его разъ убѣдившейся или, точнѣе, увѣровавшей натуры ¹⁾, это нѣчто въ родѣ античной „атараксія“, полной невозможности посторонними его натурѣ элементами.

¹⁾ „Ч. былъ глубоко увѣренъ, что только недомысліе и незнакомство съ инводами новой свободной европейской мысли, наложенными въ „антропологическомъ принципѣ“, могутъ удерживать людей въ лагерѣ „схоластики“ и „метафизики“. Въ этой глубокой увѣренности Ч. и сила, и слабость какъ самого Ч., такъ и того движенія, которое происходило подъ его вліяніемъ: сила, потому что создавалось уже не просто „направленіе“, а своего рода новая религія, воодушевлявшая на борьбу съ враждебными ей понятіями; слабость, потому что война съ „отмеченностью“ и „метафизикой“ вела къ другой крайности — къ очень ужъ элементарной ясности, лишенной глубины и вдумчивости. Для послѣдователя Ч. нѣтъ трудныхъ проблемъ ни философскихъ, ни нравственныхъ, — нѣтъ, слѣдовательно, той жгучей борьбы сомнѣній, въ горнилѣ которой закаляли свой духъ всѣ великіе искатели истины. Оптимистическая вѣра, что все на свѣтѣ „очень легко“ устранивается при добромъ желаніи, составляетъ основу на половину утопическаго романа „Что дѣлать“ (С. Венгеровъ, „Н. Г. Ч.“, „Энциклопедическій Словарь“ Брокгауза и Эфрона, полутомъ 76, стр. 679).

При этомъ въ умѣ его была сильна рационалистическая складка; его далеко видящій, не обольщаемый собственными желаніями умъ всегда вноситъ въ представленія о дѣлахъ и результатахъ его дѣятельности охлаждающую струю. Мы видѣли, что онъ способенъ умиляться до слезъ, приходитъ въ тихій созерцательный восторгъ при мысляхъ о будущемъ человѣчества, но объективно онъ очень хорошо знаетъ, что всякія мечты объ этомъ, тѣмъ болѣе въ условіяхъ русской жизни, среди „націи рабовъ“, осуждены оставаться мечтами. Отсюда мы наблюдаемъ въ Чернышевскомъ очень рано трагическую двойственность. Мы видѣли, что онъ уже въ эти ранніе годы намѣчаетъ себѣ путь, какъ единственно подлежащій ему—„дорогу къ Герцену“, т.-е. путь пропаганды печатнымъ словомъ своихъ свободныхъ общественно-политическихъ вѣрованій. Но въ то же время онъ холодно предвидитъ съ одной стороны неизбежную развязку этой дороги, какъ политическое мученичество, а съ другой—безрезультатность, быть можетъ, этого мученичества и этой дороги для дѣла, или, во всякомъ случаѣ, знаетъ, что результатовъ не дано ему видѣть. Дѣйствительно, мучительно положеніе человѣка, который хорошо знаетъ справедливое рѣшеніе дѣла, и когда будетъ нужно—онъ сдѣлаетъ все, что будетъ въ его власти для приближенія такого справедливаго рѣшенія, но онъ очень хорошо знаетъ, что все-таки это справедливое рѣшеніе не будетъ принято и жизнь пойдетъ попрежнему черезъ пень-колоду, съ громадной непроезжистой затратой, для неполнаго рѣшенія дѣла, силъ, труда и... крови.

Этотъ внутренний трагизмъ біографіи Чернышевскаго рельефно обрисованъ имъ самимъ въ „Прологѣ“, и эти автобіографическія признанія, изъ гораздо болѣе поздняго времени, мы приведемъ здѣсь, потому что такой трагизмъ былъ естественнымъ выводомъ изъ всего пережитаго и пережитоваго Чернышевскимъ въ ранніе его годы, когда онъ увидѣлъ русскую жизнь въ глухой провинціи и испыталъ ее косность, рабски выносящую всяческій разгулъ реакціи.

Ниже приводимыя размышленія составляютъ продолженіе раздумья Волгина-Чернышевскаго, исходной точкой котораго было цитированное уже воспоминаніе о сценѣ въ Саратовѣ съ бурлаками.

„Онъ не любилъ дворянства. Но бывали минуты, когда онъ не имѣлъ вражды къ нему. Можно ли ненавидѣть жалкихъ рабовъ?“ Онъ стоялъ бы въ виду этого за то, чтобы сразу развязаться въ интересахъ народа со всѣми правами и претензіями крѣ-

постниковъ, выкупивъ у нихъ всѣ ихъ права, гарантировавъ имъ всѣ ихъ теперешніе доходы.

„Подобная гарантія тяжела,—быть можетъ, неудобноисполнима у націй, гдѣ поземельный налогъ уже высокъ, и не можетъ подыматься быстро. А у насъ?—Въ пять лѣтъ удвоились бы, въ десять—учетверились бы средства націи, лишь бы освобожденіе было полное и мгновенное, по мыслямъ народа, который говорить: „господа пусть уѣзжаютъ изъ деревень въ городъ и получаютъ тамъ жалованье“,—нѣсколько лѣтъ, небольшіе займы, съ каждымъ годомъ меньше—и черезъ десять лѣтъ что значило бы государству выкупить эти нищенскія ренты?

„Когда Волгинъ былъ чувствителенъ, онъ фантазировалъ въ этомъ вкусъ...

„Правда и то, что когда онъ фантазировалъ, онъ помнилъ, что только фантазируетъ по чувствительности своего сердца. Потому, онъ берегъ для собственнаго удовольствія свои буколическія соображенія, а въ разговорахъ рассуждалъ нѣсколько въ иномъ вкусъ: онъ не забывалъ, что исторія—борьба, что въ борьбѣ нѣжность неумѣстна. *Правда, онъ не считалъ себя борцомъ за народъ: у русскаго народа не могло быть борцовъ, по мнѣнію Волгина, оттого, что русскій народъ не способенъ поддерживать вступающихъ за него; какому же человеку въ здоровомъ смыслѣ бываетъ охота пропадать задаромъ? Такъ или нѣтъ вообще, но о себѣ Волгинъ твердо зналъ, что не имѣетъ такого личнаго желанія, и никакъ не могъ считать себя защитникомъ народныхъ правъ. Но тѣмъ меньше и могъ онъ дѣлать уступки за народъ, тѣмъ меньше могъ не выставлять правъ народа во всей ихъ полнотѣ, когда приходилось говорить о нихъ.*

„Потому-то онъ и улыбался съ угрюмою ироніею, размышляя о томъ, какую буколичку онъ строить въ пользу помѣщиковъ, и какъ несходно съ нею то, что они не имѣютъ права ни на грошъ вознагражденія; а имѣютъ ли право хоть на одинъ вершокъ земли въ русской странѣ, это должно быть рѣшено волею народа.

„Должно—и, разумѣется, не будетъ. Тѣмъ смѣшнѣе вся эта штука!

„Она была такъ смѣшна, что Волгинъ начиналъ злиться. У безсильнаго одно утѣшеніе—злиться. Ему противно становилось смотрѣть на этихъ людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всѣхъ своихъ, заграбленныхъ у народа, доходахъ; безнаказанны за всѣ угнетенія и злодѣйства; противно, обидно за справедливость,—и онъ опускалъ, опускалъ

нахмуренные глаза къ землѣ, чтобы не видѣть враговъ народа, вредить которымъ былъ безсиленъ...”

Самая возможность этихъ чувствъ должна была назрѣть въ Чернышевскомъ еще въ Саратовѣ, гдѣ онъ созерцалъ вмѣстѣ съ Костомаровымъ „дѣвухъ помѣщиковъ“, гдѣ его томили эти темныя мысли о родинѣ, какъ странѣ „рабовъ сверху до низу“. Здѣсь источникъ прямоты, рѣзкости и сдержанной гнѣвливости будущихъ писаній Чернышевскаго, такъ увлекавшихъ часть общественнаго мнѣнія.

Подчеркнутыя нами слова Волгина имѣютъ также прямое отношеніе къ весьма спорному вопросу о томъ, насколько Чернышевскій въ дѣйствительности былъ причастенъ, въ болѣе поздніе годы, къ чисто революціонной пропагандѣ, за дѣйствительную или мнимую прикосновенность къ которой онъ формально и пострадалъ. Намъ кажется, что эти, въ поздніе годы Чернышевскаго написанныя, строки, въ связи съ тѣмъ, что нами было уже указано, какъ предчувствіе со стороны Чернышевскаго политическихъ преслѣдованій, опредѣленно говорятъ въ пользу того, что, по крайней мѣрѣ, въ ту пору и долго спустя (дѣйствіе „Пролога“ — около 1858 г.) *вся* цѣль его плановъ могла сводиться лишь къ чисто публицистической, просвѣщающей общественное сознаніе дѣятельности.

В. Е. Вѣтринскій.



ПРЕДКИ

Романъ Джертруды Асертонъ.

„Ancestors“, by Gertrude Atherton.

Окончаніе *).

ЧАСТЬ III.

I.

Лэди Викторія заболѣла аппендицитомъ. Она находилась въ опасности всего нѣсколько дней, но лучшій въ Санъ-Франциско докторъ, заботливо приглашенный Изабеллою, предписалъ ей продолжительный отдыхъ, что явилось для нея облегченіемъ во всѣхъ отношеніяхъ: ей не надо было ни о чемъ думать. Цѣлую недѣлю Изабелла и Гвиннъ дежурили поочередно, несмотря на присутствіе сидѣлки; но какъ только опасность миновала, больная потребовала, чтобы они вернулись къ своимъ занятіямъ. Ее будутъ навѣщать Анна Монгомери и м-съ Треннаганъ. Внутренно она была рада возможности избавиться отъ своихъ близкихъ.

Вернувшись домой, Изабелла отъ избытка восторга освѣтила свой домъ сверху до низу и, несмотря на холодъ, цѣлый часъ проходила по верандѣ, любуясь приливомъ и темнѣющими холмами. Отъ радости она не хотѣла ложиться и кончила тѣмъ, что задремала въ креслѣ у огня. Проснувшись, она была смутно удивлена и разочарована, не найдя Гвинна въ креслѣ насупро-

*) См. выше: августъ стр

тивъ. Затѣмъ уже она уяснила себѣ причину своего прерваннаго сна. Со стороны цыпличьяго городка слышались выстрѣлы и собачій лай. Въ три минуты она подвязала юбки, надѣла высокіе сапоги и уже бѣжала съ револьверомъ въ рукѣ, стрѣляя на бѣгу. Въ теченіе цѣлаго часа она и ея люди сражались съ полчищемъ крысъ-эмигрантовъ. Миссъ Отисъ чувствовала въ нихъ отвращеніе, но въ своемъ костюмѣ, со своею мѣткостью прицѣла и дрессированными собаками — она ничѣмъ не рисковала. Остатки непріятеля были разбѣяны, и она, вернувшись домой, заснула молодымъ, здоровымъ сномъ.

На слѣдующій день начались дожди, подобные тѣмъ, которые предшествовали потоку, и продолжались они почти безостановочно въ теченіе трехъ недѣль. Горы исчезли за сѣрою завѣсою дождя, вѣтеръ потрясалъ старый домъ и изъ оконъ не видно было ничего, кромѣ потопа пѣнящейся и бушующей воды, но Изабелла не скучала. Она имѣла по телефону извѣстія отъ лэди Викторіи, читала, мечтала и наслаждалась борьбою стихій. О Гвиннѣ трудно было не думать, — они очень сблизились за время болѣзни его матери; она не отрицала, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ объявилъ ей о своемъ намѣреніи жениться на ней, она стала больше интересоваться имъ. Было бы громаднымъ наслажденіемъ свести его съ ума, но за это пришлось бы заплатить слишкомъ дорого: цѣною ея свободы.

По мѣрѣ того, какъ дни проходили, ей становилось все скучнѣе безъ него; она удивлялась, почему онъ не ѣдетъ, и подъ конецъ, разсердившись на него, не стала отвѣчать ему по телефону.

На четвертый день непрерывныхъ дождей терпѣніе Гвинна истощилось, и онъ, взявъ въ розуотѣрской гостинницѣ помѣщеніе, перевезъ туда свою бібліотеку по юриспруденціи, своего японца — Имуру Кизабуро Хиномото, нѣсколько удобныхъ креселъ, и, не видя болѣе изъ оконъ ни вздыхающихъ мокрыхъ деревьевъ, ни затопленной долины, — почувствовалъ себя почти счастливымъ. Глядя изъ окна на мужчинъ въ кожаныхъ и высокихъ сапогахъ, онъ вспомнилъ, какъ Изабелла дразнила его этимъ костюмомъ, и изъ тщеславія рѣшилъ не показываться ей въ такомъ видѣ. Пусть лучше она думаетъ, что онъ равнодушенъ къ ней; это можетъ оказаться полезнымъ. И вообще, чѣмъ меньше будетъ къ покуда думать о ней, тѣмъ лучше...

Онъ впервые пришелъ въ ближайшее соприкосновеніе съ бѣдными „выдающимися людьми“, которые были слишкомъ заняты для того, чтобы ѣздить къ нему въ ранчо. Но тутъ они

скоро открыли, что комнаты его—очень уютны, а его виски и табакъ— „первый сортъ“. Бездомные граждане, жёны которыхъ „дулись въ карты“, стали заходить къ Гвинну, и помѣщеніе его скоро превратилось въ подобіе политическаго клуба. Судья Лесли и Томъ Кольтонъ бывали рѣдко, но м-ръ Уитонъ, банкиръ, м-ръ Хэйтъ, аптекарь, м-ръ Баутсъ и другіе солидные дѣльцы сдѣлались его постоянными посѣтителями. Онъ былъ крупнымъ землевладѣльцемъ и уже продалъ нѣсколько небольшихъ фермъ желательнымъ покупателямъ; онъ тратилъ деньги въ Розуотерѣ вмѣсто того, чтобы тратить ихъ въ Санъ-Франциско; наконецъ, онъ изучалъ законы съ тѣмъ, чтобы практиковать впоследствии въ ихъ средѣ, а съ удаленіемъ отъ дѣлъ судьи Лесли, который былъ самаго высокаго мнѣнія о его способностяхъ, — онъ долженъ былъ сдѣлаться его замѣстителемъ. Они чрезвычайно нуждались въ человѣкѣ съ выдающимися способностями, который могъ бы отстаивать ихъ интересы. М-ръ Уитонъ, заѣхавшій какъ-то случайно къ Гвинну въ необычное время, прозрачно намекнулъ ему въ разговорѣ, что, по истеченіи четырехъ лѣтъ, они охотно послали бы его въ Сакраменто. Есть группа вліятельныхъ людей, и онъ самъ въ томъ числѣ, которая не вѣритъ Тому Кольтону; демократическая партія, правда, ухватилась за него, но его честолюбіе все растетъ, самъ же онъ въ сущности — анархистъ, хуже анархиста, пожалуй, такъ какъ тотъ рискуетъ своею жизнью, а этотъ не рискуетъ ради другихъ и кожею своею мизинца. Такой типъ уже чертовски начинаетъ надоедать; они много толковали объ этомъ между собою и если еще ничего не говорили Гвинну, то единственно потому, что онъ видимо дружить съ Кольтономъ.

— Называйте это дружбой, если хотите. Я прямо сказалъ Кольтону, что если мнѣ удастся принять участіе въ политической жизни, я постараюсь искоренить его и ему подобныхъ. Онъ слишкомъ добродушенъ и увѣренъ въ себѣ и — въ своемъ штатѣ, чтобы сердиться на меня. Но между нами нѣтъ недоразумѣній.

— Я подозрѣвалъ нѣчто подобное и очень радъ, что это выяснилось.

Они заговорили о желательныхъ для края реформахъ, и на прощанье гость обѣщалъ прислать ему — что служило у него знакомъ особаго благоволенія — нѣсколько книгъ о Линкольнѣ.

Гвиннъ слышалъ то же самое отъ своихъ пріятелей въ Санъ-Франциско.

Одинъ изъ выдающихся адвокатовъ предложилъ ему вступить

къ нему въ контору на правахъ сотоварища, но Гвиннъ отклонилъ покуда это предложеніе. До наступленія сезона дождей, онъ, подъ предлогомъ посоветоваться съ фермерами насчетъ хозяйства, часто посѣщалъ ихъ, и при случаѣ оказывалъ имъ услуги. Его долговязая американская фигура, смутное сходство съ Гирамомъ Отисомъ, его готовность выпить съ сосѣдомъ и его доступность, въ которой чувствовалось однако, что онъ не допуститъ никакой лишней фамильярности, все это—вмѣстѣ съ репутаціей „чертовской прямоты“—создало ему извѣстную популярность.

Бывали минуты, когда въ компаніи розуотѣрскихъ пріятелей онъ непроизвольно начиналъ употреблять чисто американскіе обороты рѣчи, что казалось ему слѣдствіемъ атавизма. Когда очертанія предметовъ тонули въ табачномъ дыму и съ полдюжины паръ толстыхъ подошвъ грѣлись у его печи, ему не трудно было себя вообразить въ станѣ золотонскаателей въ бурную зимнюю ночь.

Тѣмъ не менѣе, общество мужчинъ утомляло его, и онъ сталъ желать, чтобы Изабелла переѣхала на зиму въ Розуотѣръ. Едва эта мысль мелькнула у него, какъ онъ позвонилъ къ ней по телефону, но Дзума отвѣчала ему, что ея нѣтъ дома. На слѣдующій день онъ протелефонировалъ снова и получилъ въ отвѣтъ, что она спитъ, а въ третій разъ ему сообщили, что она занята извлеченіемъ какого-то посторонняго предмета изъ горла курицы рѣдкой породы. Онъ выбранился и уѣхалъ на четыре дня въ Санъ-Франциско, откуда вернулся сердитый, съ сознаниемъ, что онъ утратилъ власть надъ собою и пренебрегъ дѣлами.

Гвиннъ глядѣлъ въ раскаленное жерло печи, когда безшумный японецъ доложилъ ему о гостѣ. Гвиннъ прочелъ на карточкѣ имя судьи, имѣвшаго въ окрестностяхъ виллу, но смутный инстинктъ подсказалъ ему, что это посѣщеніе—не случайное.

Гость оказался человѣкомъ лѣтъ пятидесяти-пяти, крупнымъ, съ виду благодушнымъ; у него было умное лицо, длинный носъ, хитрые глаза. Послѣ вступительныхъ любезностей и похвалы высшему качеству виски, онъ прямо заявилъ о цѣли своего посѣщенія. Ему извѣстно, что онъ говоритъ не съ кѣмъ инымъ, какъ съ м-ромъ Джономъ-Эльтономъ-Сесилемъ Гвинномъ. Онъ былъ близкъ съ Отисами и заинтересованъ карьерою блестящаго молодого политическаго дѣятеля, отказавшагося (не его дѣло допытываться: чего ради?) отъ громкаго титула и высокаго общественнаго положенія. Сograждане должны чувствовать себя пощеченными. Но неужели его честолюбіе ограничивается юридическою дѣятельностью?

Гвиннъ вѣжливо отвѣтилъ, что многіе изъ первыхъ людей въ странѣ были адвокатами. Затѣмъ стремиться къ большему?

Судья сталъ возражать. Съ его энергіей и выдающимся талантомъ онъ никогда этимъ не удовлетворится.

— Но честные адвокаты такъ рѣдки!—воскликнулъ Гвиннъ невинно-мальчишескимъ тономъ.—А я думаю, что буду честенъ. Вы угадали: я дѣйствительно честолюбивъ и хочу проложить себѣ дорогу; поэтому я и пріѣхалъ сюда, гдѣ у меня есть земельная собственность. Состоянія съ титуломъ я не получилъ, а титулъ безъ денегъ—одно неудобство. Вотъ причина, по которой я покинулъ Англію. Здѣсь съ каждымъ днемъ я становлюсь все болѣе американцемъ; я даже собираюсь наживать деньги; я помѣстилъ часть денегъ въ строительное предпріятіе, въ которомъ принимаютъ участіе и моя мать съ моею кухней...

Онъ догадывался, что судья знаетъ о немъ всю подноготную, но продолжалъ откровенничать. Тотъ улыбался, одобрительно качалъ головою, вставлялъ реплики, потягивая крѣпкое шотландское виски, и, наконецъ, прищуривъ глазъ, проговорилъ:

— А все-таки, сэръ, не пытайтесь заговорить мнѣ зубы—ничто кромѣ политики не интересуетъ васъ. Совнайтесь!

— Что-жъ? Вы правы, — отвѣтилъ Гвиннъ скромно, — но этотъ пятилѣтній срокъ дѣлаетъ изъ меня какого-то отщепенца...

— Жаль, жаль, что вы отказались отъ правъ американскаго гражданина! Если бы не это—года пребыванія въ Калифорніи было бы достаточно.

Гвиннъ насторожился, но ничего не сказалъ. Гость продолжалъ:

— Кажется, вы — невысокаго мнѣнія о нашей внутренней политикѣ? Не скажу, конечно чтобы нѣкоторая чистка повредила дѣлу, но все же, сэръ, я знаю, вамъ напѣли реформисты много лишняго — мы не такъ страшны, какъ насъ малюютъ... Реформы — вещь обоюдоострая, а злоупотребленія бываютъ во всякомъ дѣлѣ и при каждомъ режимѣ. Талантливому человеку нельзя бросаться очертя голову въ крайности... Это простиительно какому-нибудь Тому Кольтону, а не вамъ, сэръ. Съ нимъ позабавятся и выбросятъ его за бортъ, а съ вами должны считаться. Если вы станете однимъ изъ крайнихъ — васъ близко не подпускать къ дѣлу, сэръ. Я говорю со стороны. Мое время уже ушло...

Онъ продолжалъ съ весьма своеобразнымъ краснорѣчіемъ развивать эти положенія. Онъ знаетъ о предложеніяхъ, сдѣланныхъ Гвинну партіей реформистовъ. Они затѣяли донкихотскую

игру и проиграють ее. М-ру Гвинну надо идти вѣрнымъ путемъ. Если онъ будетъ адвокатомъ корпораціи, онъ можетъ зарабатывать по сту тысячъ въ годъ. За это можно поручиться.

— Можно поручиться?

— Дѣло вѣрное. Корпораціи не бываютъ неблагодарны.

— Видите ли, я происхожу изъ семьи реформаторовъ.

— Ваши чувства дѣлають вамъ честь, но, стоя непосредственно у власти, вы можете скорѣе способствовать искорененію злоупотребленій и всего такого. Въ качествѣ адвоката корпораціи вы приобретете славу и деньги.

У Гвинна вертѣлся на языкѣ вопросъ: какой?—но въ немъ все уже кипѣло, и онъ долженъ былъ сдерживаться. Притомъ было очевидно, что онъ имѣлъ дѣло съ очень ловкимъ человекомъ, который не раскроетъ своихъ картъ. Поэтому онъ промолчалъ и обрадовался, увидѣвъ, что посѣтитель встаетъ.

— Чортъ побери! Я пропущу поѣздъ, а я не желаю остаться еще на одну ночь въ этой грязной дырѣ. Вотъ моя карточка. Когда вы будете въ городѣ? Въ среду? Въ такомъ случаѣ сдѣлайте мнѣ честь—отобѣдайте у меня въ среду. Мы поговоримъ о вашей будущности. А теперь я спѣшу. Извините!

Гвиннъ проводилъ его до лѣстницы и удержался отъ искушенія столкнуть его внизъ. Не было сомнѣнія въ томъ, что онъ подосланъ „смазчиками“. Ему предлагаютъ взятку.

Онъ надѣлъ непромокаемое пальто, взялъ шляпу и пошелъ къ судѣ Лесли, у котораго долженъ былъ обѣдать; было еще рано, но до обѣда онъ успѣетъ поговорить съ судьей по поводу случайно запавшей ему въ голову мысли.

II.

Это была самая бурная ночь за всю зиму. Старый домъ Огисовъ скрипѣлъ, и трещалъ, и стоналъ, какъ корабль въ бурю. Въ девять часовъ вечера было темно какъ въ полночь. Не будучи въ состояніи выйти изъ дому, Изабелла вымыла волосы и сидѣла на циновкѣ у камина, просушивая ихъ. Ей было тепло и уютно, и она не обратила вниманія на шумъ и стукъ на кухнѣ. Если явился путникъ, его накормятъ; если это—воръ, ея люди счумѣють съ нимъ справиться. Ее вывелъ изъ полусабытья голосъ Гвинна.

Она собиралась оказать ему холодно-высокомѣрный пріемъ— въ наказаніе за то, что онъ бросилъ ее на цѣлый мѣсяцъ, но

она не успѣла подняться, а сохранять достоинство, сидя на коврѣ съ распущенными по полу волосами, было невозможно. Поэтому она рѣшила быть очаровательной.

— Я долженъ былъ пройти черезъ кухню и оставить тамъ мои доспѣхи. Не вставайте. Мнѣ всегда хотѣлось увидѣть ваши волосы распущенными. Джими Иксаму тоже этого хотѣлось. Видѣлъ онъ ихъ?

— Конечно, нѣтъ; не увидѣли бы и вы, если бы не явились въ такое необычайное для визита время. Конечно, я въ восторгѣ, что вижу васъ послѣ... столькихъ лѣтъ, но что это вамъ вздумалось?

Онъ въ какомъ-то возбужденіи ходилъ по комнатѣ, несмотря на ея приглашеніе сѣсть. Не хуже ли леди Викторія? Нѣтъ, она оправляется, ее осыпаютъ цвѣтами, и, кажется, она даже тронута этимъ неzasлуженнымъ ею вниманіемъ. Кромѣ Треннагановъ, она ни съ кѣмъ не была любезна. Вѣроятно, она скоро вернется въ Европу. Санъ-Франциско хорошъ для молодыхъ людей съ предпримчивымъ духомъ...

— А вы не думаете послѣдовать за нею? Теперь обстоятельства ваши измѣнились къ лучшему.

— Денежныя обстоятельства — тутъ ни при чемъ. Вы забываете, что я могъ имѣть миллионъ Джуліи Кэй. Если вы не возьмете вашихъ словъ назадъ — я уйду.

— Хорошо, я беру ихъ назадъ, — поспѣшно сказала Изабелла, которую мучило любопытство, и вмѣстѣ съ тѣмъ ей казалось, что одна изъ преградъ между ними — рушится.

— Не знаю: перспектива ли будущаго богатства нарушила мое душевное равновѣсіе, но сейчасъ, когда я мчался къ вамъ по грязи, борясь съ каждымъ порывомъ вѣтра и дождя, какъ донъ-Кихотъ съ вѣтранными мельницами, мнѣ пришло въ голову, что Англія достигла въ сущности высшей точки цивилизаціи. Она — та Мекка современной культуры, къ которой должны стремиться всѣ могущіе ее оцѣнить. Ради чего же я разрываюсь здѣсь, на этомъ жалкомъ клочкѣ культуры, выдерживая борьбу съ почти первобытными условіями жизни? Какова моя цѣль? Установить то, что уже существуетъ въ Англіи, что уже мое по праву? Чего ради я брожу здѣсь по колѣна въ грязи?

— Вы имѣли слишкомъ много, — поэтому васъ потянуло въ другую сторону. Вы жаждали тяжелого труда для того, чтобы приложить къ дѣлу ваши силы.

— А къ чему это приведетъ? Допустивъ даже, что я необычайно одаренъ, — что могу я сдѣлать противъ сплоченныхъ,

грозныхъ организацій? Ваши общественные дѣятели связаны по рукамъ и по ногамъ. Въ Англіи премьеръ-министръ властвуетъ фактически надъ одиннадцатію милліонами квадратныхъ миль,— здѣсь даже президентъ зависитъ отъ людей, его окружающихъ.

— Вы говорили въ Англіи, что личное честолюбіе у васъ на второмъ планѣ.

— Мы легко увлекаемся недостижимо высокими идеалами. Но непріятно быть только инструментомъ въ чужихъ рукахъ, вѣчно день за днемъ бороться противъ людской подлости во всѣхъ ея видахъ. А если бы мнѣ и удалось организовать новую партію и стать во главѣ ея, я могу увлечься партійной близорукостью, что представляется мнѣ худшимъ изъ золъ.

Онъ шагаль изъ угла въ уголъ; лицо его зарумянилось, глаза горѣли. Въ этомъ человѣкѣ, привыкшемъ, по мнѣнію Изабеллы, жить мозгомъ, проснулась страсть. Это придавало ему странное обаяніе, о которомъ она слышала отъ людей, близко его знавшихъ въ Англіи.

Онъ продолжалъ развивать свою мысль. При такой громадной территоріи и разноплеменности населенія — никакой новый порядокъ управленія не принесетъ пользы. Все должно идти какъ заведенная машина, а тамъ, гдѣ царить такой порядокъ, въ людяхъ всегда развиваются низшія качества ихъ природы. Первый изъ здѣшнихъ богачей не знаетъ, что такое жизнь джентльмена—въ нашемъ смыслѣ слова. Никакія реформы не внесутъ сюда истинной цивилизаціи. Онъ чувствуетъ себя именно донъ-Кихотомъ, а весь этотъ проклятый край — одна гигантская вѣтряная мельница съ хлопающими крыльями...

— Безъ сомнѣнія, вы—изъ породы донъ-Кихотовъ. Вы чувствовали, что у васъ есть миссія. Въ Англіи вы могли сдѣлать одно: сѣсть за трапезу избранниковъ, но вы недолго бы за нею усидѣли.

— А здѣсь—начать съ того, что у меня руки связаны на цѣлыхъ четыре года. Это бездѣйствіе больше всего бѣситъ меня. Каждый разъ, ложась въ постель, я спрашиваю себя: зачѣмъ? для чего? А вы задаете себѣ подобные вопросы?

Онъ вдругъ опустился въ кресло напротивъ нея и взялся за голову обѣими руками.

Она кивнула головою. Онъ разсѣянно подумалъ, что она похотѣла на русалку со своими распущенными волосами, полу-скрытыми ея лицомъ. Онъ видѣлъ лишь уголокъ глаза и одно черное пятнышко на щекѣ, а также — крошечную ямочку въ углу рта. На ней былъ свободный голубой пеньюаръ, а позади нея

поднималось отъ полѣньевъ въ каминѣ яркое пламя. Буря была жестокая, и ему вдругъ пришло на умъ, что—это единственная уютная комната, гдѣ онъ чувствуетъ себя какъ дома. Ему только-что казалось, что ничто не можетъ вернуть ему душевное спокойствіе, но онъ неожиданно ощутилъ радость при мысли, что онъ—съ нею наединѣ въ эту бурную ночь.

Она отвѣтила спокойнымъ тономъ, хотя внутренно волновалась.

— „*Cui bono!*“—вотъ девизъ на цѣлѣ жизни. Счастье наше, что мы не всегда видимъ его. Бываютъ промежутки, когда мы играемъ въ политику, веселимся, наслаждаемся бурей и... обществомъ друзей...

— Но вѣдь жизнь—не есть приготовленіе къ переходу въ лучшій міръ. Тогда на что же намъ были бы всѣ успѣхи культуры? Этой цѣли можетъ достигнуть отшельникъ въ пещерѣ. А если существуетъ предопредѣленіе, то имѣетъ ли право человѣкъ нарушать извѣстную стройность плана? Долженъ ли онъ насильственно исторгнуть себя изъ привычныхъ условий, съ тѣмъ, чтобы пустить корни въ дѣвственной почвѣ?

— Быть можетъ, его долгъ—быть тамъ, гдѣ онъ всего нужнѣе.

— Вы хорошо аргументируете, иначе я не сталъ бы спорить съ вами. Чтò вы думаете о любви?

Неожиданность атаки заставила ее вскочить на ноги и нѣсколько отодвинуться. Онъ наклонился въ ея сторону, и она почувствовала сильнѣе, чѣмъ когда бы то ни было, его мужской магнетизмъ. Она сознавала всю романтичность обстановки: бурную ночь, уединеніе, насыщенную трепетомъ атмосферу,—но отвѣтила сдержанно:

— Я не думаю о ней, я уже давно все это похоронила.

— Развѣйте прахъ. Опытъ послужилъ вамъ лишь на пользу, какъ онъ служить мужчинамъ. Это было простое влеченіе—безъ идеальныхъ порывовъ и безумія; онъ былъ, наконецъ, не парамъ. Словомъ, это было не настоящее...

— А какимъ образомъ, смѣю я спросить, отличите вы настоящее отъ ненастоящаго, если влюбитесь?

— Ужъ я отличу, не беспокойтесь. Я желалъ бы, чтобы вы подкололи ваши волосы. Вы похожи на колдунью, а не на женщину. Вы черезчуръ многосторонни. Я люблю васъ естественною и человѣчною...

— Если вы думаете, что, причесавъ волосы какъ слѣдуетъ, я достигну этихъ результатовъ, то—шпильки мои вы найдете наверху, на туалетномъ столѣ...

Онъ моментально исчезъ. Когда онъ вернулся, она стояла и свертывала волосы толстымъ жгутомъ; ея широкіе рукава откинулись назадъ, обнажая руки. Гвиннъ глядѣлъ на нее какъ очарованный, подавая ей шпильку за шпилькой. Но когда она окончила прическу и, опустивъ рукава, поглядѣла на него глазами, похожими на двѣ полярныхъ звѣзды, онъ рѣзко отвернулся и снова принялся безпокойно шагать по комнатѣ.

— Я перемѣнилъ рѣшеніе,—сказалъ онъ отрывисто:—я рѣшилъ жениться на васъ при какихъ бы то ни было условіяхъ, потому что вы плѣнили мой избалованный вкусъ. Но я убилъ бы васъ, или вы убили бы меня. Вы на все способны. Одна любовь могла бы помирить насъ, ничто другое...

— Значить, помолвка нарушена?—кратко спросила Изабелла, поставивъ одну ногу на рѣшетку камина.

Онъ облегчилъ свои чувства, оттолкнувъ попавшійся ему на пути стулъ.

— Можете вы полюбить меня?—спросилъ онъ.

— Я не оракулъ.

— Вы рѣшили не выходить за меня замужъ?

— Что касается этого—да.

— Потому ли, что вы не можете полюбить меня, или потому, что вообще не выйдете замужъ?

— Я не хочу страдать. Я скорѣе бы вышла за васъ безъ любви, если бы думала, что я могу способствовать вашему успѣху въ жизни.

— Я не желаю жениться на васъ на такихъ условіяхъ.

— Вы и не находитесь въ непосредственной опасности. Боже, что за буря! Вы должны остаться у меня на ночь. Если въ комнатѣ для гостей слишкомъ холодно, вы можете лечь здѣсь на диванъ.

— Если это — вѣжливый намекъ, я принимаю его къ свѣдѣнію и ухожу. Я и такъ пробылъ здѣсь слишкомъ долго.

— Я говорю серьезно. Не хочу и слышать о томъ, чтобы вы уѣхали въ такую тьму. Вы попадете въ болото. Вы можете вернуться завтра утромъ настолько поздно, что согладаясь по-думаютъ, что вы были у меня съ утреннимъ визитомъ.

— Я вернусь сегодня ночью. Я пріѣхалъ въ такую же тьму; не совсѣмъ ужъ я дуракъ, и конь мой—тоже.

— Но вы плохо знаете дорогу.

— Вотъ—единственное путное слово, какое я слышу отъ васъ сегодня! Только эти неожиданные ваши возвраты въ вѣчно-застывшему и спасаютъ меня отъ отчаянія. Такая ночь—для

любви, а мы съ вами изощряемся какъ два профессиональных борца! Если бы вы дали мнѣ какъ-нибудь заглянуть въ вашу душу, я увѣренъ, что полюбовалъ бы васъ такъ глубоко, какъ только можетъ мужчина полюбить женщину...

— Можетъ быть, вы ничего бы въ ней не нашли. Я сама себя не знаю.

— Значить, вы вполне довольны тѣмъ, что не можете любить меня?

— Это не имѣетъ никакого отношенія къ дѣлу.

Она проговорила это, покраснѣвъ, и ея выразительныя губы дрогнули.

— Очень большое. Не хотите ли вы меня увѣрить, что вы довольны теперешнею вашею жизнью, состоящею изъ чтенія и ухода за этими цыплятами, будь они прокляты! У васъ самый романтическій темпераментъ въ мірѣ, а надъ вашимъ способомъ удовлетворять запросы его—расхохотался бы слонъ!

— Я мечтаю о будущемъ.

— Какъ тогда — до переезда въ городъ? Чтò изъ этого вышло? Ничто кромѣ политики не можетъ увлечь васъ по настоящему.

— Я интересуюсь женщинами, заинтересованными дѣломъ прогресса. Я ни на комъ не вымещаю моего дурнаго настроенія, какъ дѣлаете вы, и не хочу сдѣлать мужа несчастнымъ въ бракѣ...

— Хорошо. Мнѣ уже наскучилъ этотъ вопросъ. Я пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы проститься. Завтра я ѣду на югъ, а затѣмъ — на востокъ, по дѣлу... Когда вернусь — не знаю... О, да вы можете блѣднѣть! Я могу заставить васъ поблѣднѣть?

— Еще бы! Сразу ошеломить такою вѣстью? Чтò за этимъ кроется?

— Было бы нехорошо утаить отъ васъ правду. Мнѣ намекнули, что если я при совершеннолѣтіи не отрекся формально отъ своихъ правъ, то могу пріобрѣсть американское гражданство. Судья Лесли посоветовалъ мнѣ поѣхать въ Вашингтонъ. Съ одной стороны, я тридцать-два года былъ британскимъ подданнымъ, служилъ Англіи въ войсѣхъ и въ палатѣ, ношу титулъ англійскаго пэра и за всѣ эти года не ступалъ ногою на американскую территорію. Съ другой стороны, я родился въ Америкѣ, платилъ большой поземельный налогъ и не отказывался отъ своихъ правъ; въ жилахъ у меня течетъ кровь двухъ президентовъ. Судья Лесли совѣтуетъ мнѣ познакомиться съ президентомъ и лично воздѣйствовать на него. Онъ можетъ дать дѣлу

„законный ходъ“, но можете рѣшить вопросъ и своею властью. Это было бы въ его духѣ. Нужно только сохранить цѣль побѣды въ тайнѣ. Вы заинтересовались?

— Очень! Я боялась, что вы утомитесь и разочаруетесь. Четыре года—долгій срокъ. Вы рады?

— Не знаю. Когда придетъ пора принимать присягу, я, можетъ быть, сяду на пароходъ. Впрочемъ, въ концѣ концовъ я, кажется, не отъ этого главнымъ образомъ волнуюсь... Я положительно начинаю думать, что причиною моей тревоги — вы. Неужели я *уже* люблю васъ? Только этого не доставало!

Онъ смотрѣлъ на нее, и что-то въ его лицѣ заставило ее похолодѣть, но она отвѣчала:

— Вы не сразу можете опредѣлить: влюблены вы или нѣтъ? Вы слишкомъ часто меня видѣли—за исключеніемъ этого мѣсяца. Когда вы уѣдете въ Санъ-Франциско, это впечатлѣніе развѣтается.

— Я васъ люблю! — повторилъ онъ медленно, словно съ усиленіемъ: — я готовъ ждать и понимаю ваши колебанія. Когда я вернусь...

— Все равно. Я не хочу выходить замужъ.

— Оставимъ это покуда. Я хочу только знать: можете ли вы полюбить, любите ли вы меня?

— Не знаю... Знаю только, что я не хочу... Вы имѣете надо мною какую-то власть. Все другое стало казаться мнѣ пошлымъ, неинтереснымъ. Я была очень обижена на ваше невниманіе въ теченіе этого мѣсяца. И еще — я готова сказать вамъ даже это—я мечтала, я представляла себѣ, что я въ васъ влюблена... Но я убѣждена, что если вы оставите меня въ покоѣ, то все это у меня пройдетъ.

— Я не имѣю намѣренія оставить васъ въ покоѣ.

Она вдругъ отступила, и онъ расхохотался.

— Я не дотронусь до васъ и сорокафутовымъ шестомъ, если вы не желаете,—сказалъ онъ рѣзко,—но мало вы знаете мужчинъ и себя — тоже. Если бы я въ эту минуту поцѣловалъ васъ, вы бы не устояли...

Онъ обернулся, вышелъ изъ комнаты, и кухонная дверь хлопнула за нимъ раньше, чѣмъ она сообразила, что онъ дѣйствительно ушелъ и намѣренъ покинуть домъ. Она судорожно сжала руки; чувство облегченія и въ то же время сожалѣнія ватило ее. Но тревога одержала верхъ надъ женскимъ инстинктомъ. Она выбѣжала въ пріемную, на кухню, но его кожаное пальто, даже сапоги его исчезли. Она открыла дверь во дворъ и заглянула въ кромѣшную тьму. Въ конюшнѣ мелькалъ огонь.

Дождь лилъ потоками, и отъ вѣтра она покачнулась, но, подбравъ платье, она опрометью кинулась къ конюшнѣ. Онъ былъ одинъ и подтягивалъ ремни у сѣдла при тускломъ свѣтѣ фонаря. Бросивъ на нее взглядъ, онъ продолжалъ свою работу.

— Вы не должны уѣзжать! — Вѣтеръ заставлялъ ее кричать. — Вы не уѣдете! Вы сошли съ ума... Такой разливъ... Эти приличія прямо смѣшны. Я не признаю ихъ...

Вмѣсто отвѣта онъ вывелъ лошадь, но прежде чѣмъ онъ успѣлъ вскочить въ сѣдло, она схватила его за руку. — Вы не уѣдете, не уѣдете!

Она едва узнавала звукъ своего голоса, но она слышала его голосъ и чувствовала его прикосновеніе. На секунду ей показалось, что они остались въ мірѣ вдвоемъ, что сама юность воплотилась въ нихъ. Его рука готова была обвиться желѣзнымъ кольцомъ вокругъ ея стана. Она думала, что онъ хочетъ поцѣловать ее, и безсознательно повернула къ нему голову. Но онъ крикнулъ ей на ухо:

— Я останусь, если вы согласны быть завтра моей женой.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

Это былъ крикъ ея воли, и прежде чѣмъ эта воля была сломлена, она увидѣла искру свѣта, блеснувшую и исчезнувшую во мракѣ. Она осталась одна лицомъ къ лицу съ бурей, и ей показалось, что міръ перевернулся.

III.

Понедѣльникъ утромъ.

„Пишу лишь съ тѣмъ, чтобы увѣдомить васъ, что я не погибъ въ разливѣ, и что при моемъ возвращеніи мы возобновимъ этотъ разговоръ съ того же мѣста, на которомъ онъ былъ прерванъ. — Э. Г.“

Изабелла получила эту записку рано утромъ, а вечеромъ, для того, чтобы отнять у себя возможность ждать Гвинна и ощущать его отсутствіе, она переѣхала къ м-ссъ Треннаганъ, жившей въ старинномъ домѣ Іорба. Она рѣшила, что должна взять себя въ руки. Треннаганы жили своимъ доходомъ, не стремясь богатѣть, и въ домѣ ихъ все успокоительно дѣйствовало на нервы, хотя, благодаря присутствію взрослой дочери, приходилось много выѣзжать. Иногда Изабелла выѣзжала съ вѣрною м-ссъ Гоферъ, братъ которой, молодой миллионеръ, оказывалъ ей серьезное вниманіе. Въ первый разъ въ жизни она отчаянно кокетничала, и

на костюмированномъ балу, даваемомъ ежегодно на масляницѣ художественнымъ кружкомъ, она появилась въ испанскомъ костюмѣ и даже проплясала испанскій танецъ, аккомпанируя себѣ на тамбуринѣ и кастаньетахъ.

Она имѣла громадный успѣхъ, получила два предложенія и вернулась домой съ сознаниемъ, что роль кокетки превосходно удалась ей. Но это была только роль.

Отъ лэди Викторіи она узнала, что Гвиннъ задержался на нѣкоторое время въ Санта-Барбара по случаю вывиха ноги. Черезъ Кольтона старшаго она получила отъ него официальное извѣщеніе и просьбу присутствовать въ качествѣ хозяйки при закладѣ громаднаго зданія, которое должно было носить названіе „Дома Отисовъ“. Въ одно прекрасное весеннее утро она съ большимъ достоинствомъ и граціей выполнила эту церемонію, на которой присутствовали многіе изъ знакомыхъ, пріѣхавшіе въ убранныхъ цвѣтами автомобиляхъ.

Треннаганы, собиравшіеся цѣлою компаніей въ Мексику на специально заказанномъ поѣздѣ, звали ее съ собой, но мѣсяцъ увеселеній утомилъ ее, и хотя она вернулась домой не съ прежнею бьющею черезъ край радостью, но все же она была довольна, что вернулась въ свое уединеніе, и до поздней ночи просидѣла на верандѣ.

Исчезли всѣ слѣды зимняго безумія, — холмы зазеленѣли, листва распускалась, полевые цвѣты поднимали изъ травы свои головки. Пейзажъ почти напоминалъ мирную Англію.

Подъ вліяніемъ ли городского переутомленія или ранней весны, но миссъ Отисъ ощущала какую-то невѣдомую ей вялость и подолгу лежала въ гамакѣ, повѣшенномъ подъ деревьями у портика. Теперь Гвиннъ, безъ сомнѣнія, уже убѣдился, что она не измѣнитъ своего рѣшенія, а можетъ быть, и онъ „раздумалъ“. Ее вызвала изъ этого состоянія апатіи телеграмма изъ El-Razo.

„Я здѣсь съ Треннаганами. Сегодня ѣду въ Вашингтонъ. Ожидайте меня во всякое время. Но если меня что-нибудь задержитъ, заглядывайте по временамъ ко мнѣ въ ранчо. Прошу васъ всѣмъ распорядиться. Радъ, что вы развлеклись въ городѣ. Я предпочитаю для „Дома“ окраску цвѣта terra-cotta. Получилъ извѣстіе, что заложены еще два новыхъ зданія по содѣйствию. Чувствую себя хорошо.—Э. Г.“

Принесенныя ей этой телеграммою радость, облегченіе, нѣжная надежда и неуловимая лесть—не только вывели ее изъ апатіи, но привели въ такое состояніе возбужденія, что она вскочила, побѣжала къ себѣ въ спальню и зарыдала.

Она не столько была удивлена, сколько разсержена на себя и на жизнь, сыгравшую съ ней такую шутку. Менѣе чѣмъ когда-либо ей хотѣлось выходить замужъ, перестать быть вполне собою, примириться съ неизбежною смертю мечты и грядущими разочарованіями, но еще болѣе пугало ее и будущее, въ которомъ не было бы мѣста Гвинну. Ея прежніе планы показались ей призранными, и если ей предстояло всю жизнь любоваться розуотѣрскими озѣрами и болотами, она знала, что возненавидитъ природу, какъ ненавидитъ теперь свое измѣническое я. Никто лучше ее не зналъ, что если человекъ покоряетъ невидимую, незащищенную сторону существа женщины, это значитъ, что ей все равно придется отдать ему все остальное. Это чувство духовнаго обладанія было такъ сильно, что она даже оглянулась, чтобы убѣдиться, не видитъ ли духъ Гвинна ея покраснѣвшихъ глазъ?

И все же она за него не выйдетъ. Лучше быть несчастною одной, чѣмъ вдвоемъ, и сохранить нѣкоторые иллюзіи. Нѣтъ женщины счастливѣе и приспособленнѣе для семейной жизни, чѣмъ Анабель Кольтонъ, но и та жалуется порою на утомленіе и заботы.

Цѣлую недѣлю она была такъ сумрачна и раздражительна, что Абъ дважды заговоривалъ объ уходѣ, а старый Макъ предусмотрительно заболѣлъ ревматизмомъ. Она замучила свою лошадь, ворчала по телефону на Анабель, дѣти которой заболѣли корью, и даже оттаскала за хохолокъ непослушнаго пѣтуха. Въ концѣ недѣли ея сходство со злою старою дѣвой напугало ее, а время и чудная погода—окончательно ее исцѣлили.

Весна явилась неожиданно. Холмы расцвѣтились золотыми ранункулами, синими колокольчиками, желто-красными лупинами, яркими піонами. Молодая зелень плакучихъ ивъ и перечныхъ деревьевъ казалась необычайно нѣжною на фонѣ яркаго синяго неба. Розуотѣръ превратился въ паркъ — съ своими скверами, садиками, улицами, утопавшими среди массы камелій, розъ, апельсиновыхъ деревьевъ, гигантскихъ акацій, осыпанныхъ душистыми желтыми цвѣтами. Миндальные деревья съ ихъ яркимъ алымъ цвѣтомъ видны были за двѣ мили. Дѣвушки одѣлись въ бѣлыя платья и ходили безъ шляпъ. Въ саду Изабеллы было много старинныхъ кастильскихъ розъ, примѣшивавшихъ свой нѣжный дѣвственный аромат къ одуряющему благоуханію акацій. Птицы распѣвали во все горло; даже нѣкоторые изъ премированныхъ пѣтуховъ Изабеллы вздумали перелетѣть черезъ заборъ, очевидно скучая въ своихъ гаремахъ, и отправились на поиски

приключеній. Будучи изловлены неумолимымъ Абомъ и водворены къ своимъ дамамъ, они поколотили ихъ, испуская побѣдоносный крикъ самцовъ-побѣдителей.

Языческое очарованіе весны совершенно овладѣло Изабеллою. Она сидѣла съ массою розъ на колѣняхъ, упиваясь весною и ощущеніемъ влюбленности. Пусть Гвиннъ не вернется, пусть онъ броситъ ее. Ей все равно.

Любовь сама по себѣ уже была наслажденіемъ; однимъ изъ сильнѣйшихъ элементовъ ея природы было желаніе — испить каждую чашу до дна. О будущемъ она не заботилась. Она была безумно, идеально, нелѣпо счастлива. Дикое языческое блаженство лѣсной нимфы, радующейся своей свободѣ отъ земныхъ заботъ и погруженной въ видѣнія о будущемъ счастьи, — этого было съ нею достаточно. Она надѣялась, что ничто не нарушитъ этого состоянія, но случилось не такъ. Однажды Томъ Кольтонъ неожиданно вызвалъ ее по телефону. Ихъ бѣби умеръ отъ кори, и Анабель сходила съ ума отъ отчаянія: это былъ первый ударъ судьбы, и онъ казался тѣмъ тяжелѣе. Самъ онъ бродилъ по дому, какъ потерянный. Изабелла, къ собственному своему изумленію, была глубоко потрясена при видѣ воскового личика ребенка и сама разрыдалась. Она пробыла нѣкоторое время у Кольтоновъ, пытаясь утѣшить и успокоить Анабель, не отпускаящую ее отъ себя; ей некогда было думать о Гвиннѣ, но когда она вернулась домой, его образъ снова завладѣлъ ею, только теперь ея мечты уже не текли золотымъ, безмятежнымъ потокомъ. Она волновалась при мысли, что онъ позабылъ ее, что Джулія Кэй пріѣхала въ Вашингтонъ, и тотчасъ принялась лихорадочно рыться въ накопившихся за это время газетахъ.

О Гвиннѣ упоминалось дважды по случаю обѣдовъ въ Бѣломъ Домѣ; имя его стояло въ спискѣ приглашенныхъ и на другія увеселенія. Одно утѣшало ее: онъ не остановился въ англійскомъ посольствѣ, слѣдовательно его намѣреніе оставалось непоколебимо.

Изабелла утратила спокойствіе. Незвѣстность пожирала ее, а при ея пламенномъ воображеніи она склонна была къ преувеличенію. Но ея энергичная натура не допускала бездѣйствія, и, похоронивъ свою женскую гордость, она призвала на помощь свою женскую хитрость и написала Гвинну письмо. Оно начиналось въ дѣловомъ духѣ. Арендаторъ домика въ горахъ выѣхалъ неожиданно, захвативъ съ собою мебель, а также рамы и двери. Другого жилья пока не находится; ей совѣтуютъ учредить компанію и устроить тамъ санаторію. Тамъ нашлись сѣрные

ключи, но безъ него, конечно, ничего рѣшить нельзя. Далѣе она сообщала о смерти бѣби Кольтоновъ и спрашивала, что онъ подѣлываетъ? Вѣроятно, онъ не добился своихъ правъ; иначе онъ былъ бы уже дома, развѣ только британскій духъ въ концѣ концовъ одержалъ въ немъ побѣду.

Она подписалась: „любящая кузина“. И только тутъ ей пришло въ голову, что онъ, навѣрное, рѣшилъ въ умѣ, что первое письмо будетъ отъ нея. Это разозлило ее, но она во что бы то ни стало хотѣла получить отъ него извѣстіе.

На шестой день пришла длинная телеграмма. Гвиннъ благодарилъ ее за милое письмо—болѣе чѣмъ желанное. Онъ здоровъ, надѣется со дня на день покончить дѣла и уѣхать въ Калифорнію. Ея сомнѣнія изумляютъ его. Его очень тянетъ домой.

Изабелла задала себѣ вопросъ: не потому ли онъ телеграфируетъ, что не рѣшается написать письмо? Она нѣсколько успокоилась, снова отдавшись очарованію весны и мечтаній.

IV.

Была уже половина апрѣля, когда Гвиннъ сошелъ съ поѣзда за милою отъ Limalitas и пѣшкомъ отправился домой. Первымъ его побужденіемъ было—взять лошадь въ Розуотерѣ и помчаться къ Изабеллѣ, но онъ побоялся „разыграть изъ себя дурака“. Онъ не видѣлъ ее два съ половиною мѣсяца и не зналъ ея настроенія. Письмо ея онъ читалъ и перечитывалъ, но не былъ увѣренъ, что сумѣлъ прочесть между строкъ.

Помимо этого его преслѣдовали другія сомнѣнія. За эти недѣли отсутствія онъ идеализировалъ Изабеллу. Онъ зналъ многія стороны ея характера, но многое ускользало отъ него. Въ умѣ ея онъ сомнѣваться не могъ, но почему она всегда словно скрывала отъ него и отъ другихъ благороднѣйшія черты своей натуры? Ея честность, гордость, независимость—давно завоевали его уваженіе. И то, что она была настоящею женщиной—было для него вѣкъ сомнѣній; съ человѣкомъ, слишкомъ близко ее знавшимъ, она не могла выдерживать роли безполаго философа. Самый чертенокъ, сидѣвшій въ ней, былъ несомнѣнно женственнаго типа. Умственно она могла быть незамѣнимымъ товарищемъ; ея чувство юмора и женское лукавство восхищали его. Но скрывается ли подъ всѣмъ этимъ душа?

Весна напоминала людямъ о вѣчно-человѣческомъ. Всѣ жа-воровки въ громадной долинѣ распѣвали на перебой. Синія,

желтыя птицы перекивались между собою, словно думая, что на землѣ вѣчно будетъ май. Вся земля расцвѣтилась. Онъ никогда не думалъ, чтобы въ поляхъ могло быть такое количество цвѣтовъ — въ такомъ гармоническомъ сочетаніи оттѣнковъ. Его сѣрые дубы одѣлись пышною листвою, въ саду красовались бѣлыя, красныя, черныя вишни. Вся земля дышала надеждой, юностью, всѣми чарами обѣщаній.

Гвиннъ не удивился, найдя на верандѣ Имуру-Кизабуро-Хиномото съ папиросою въ зубахъ, погруженнаго въ чтеніе „Геодезическаго Обзорѣнія“. Слуга быстро всталъ, затушилъ папиросу и поклонился съ выраженіемъ величайшаго уваженія.

Гвиннъ кивнулъ ему головою и, замѣтивъ, что онъ очень радъ видѣть его за полезнымъ чтеніемъ, распорядился, чтобы Карлосъ съѣздили на станцію за его багажомъ, а самъ, рѣшивъ отложить поѣздку къ Изабеллѣ до двухъ часовъ, прошелъ на кухню.

Маріана, чистившая лукъ для *olla podrida*, вскрикнула и обняла его.

— Извините, сеньоръ, никакъ не могла удержаться! — пояснила она.

Гвиннъ отвѣтилъ, что вполне цѣнить ея чувства, и что въ его чемоданѣ имѣются гостинцы изъ Нью-Йорка для дѣтей.

Онъ сѣлъ на верандѣ, но уже не могъ любоваться красотою весенняго полудня; онъ нервничалъ и въ то же время думалъ, что этотъ періодъ ожиданія и неизвѣстности онъ будетъ вспоминать впослѣдствіи съ грустью, какъ все невозвратно ушедшее.

По дорогѣ послышался стукъ колесъ, и на верандѣ неожиданно появился Томъ Кольтонъ. Гвиннъ радушно поднялся къ нему навстрѣчу, но Кольтонъ отстранился и не взялъ протянутой руки.

— Такъ вы получили свидѣтельство?—спросилъ онъ, и его голубые глаза были полны рѣзкой враждебности.

— Да,—отвѣтилъ Гвиннъ,—я намѣренъ былъ самъ сказать вамъ. Но какъ вы это узнали? Я принималъ присягу подъ величайшею тайной.

— Мало есть такого, чего бы я не узналъ. Къ сожалѣнію, меня поздно извѣстили. Почему же вы не сказали мнѣ передъ отъѣздомъ?

— Не видѣлъ въ этомъ необходимости. Во-первыхъ, успѣхъ былъ сомнителенъ; во-вторыхъ — вы сдѣлали бы все для того, чтобы мнѣ помѣшать. Когда я давалъ вамъ поводъ считать меня сломъ?

— Вы слишкомъ умны,—пробормоталъ Кольтонъ,—лучше бы вамъ оставаться въ Англіи, тамъ у васъ не было враговъ.

— Пусть дѣлають что хотятъ. Враги — отличный стимулъ для всякой дѣятельности.

— Какъ знаете.

Къ изумленію Гвинна, онъ вдругъ сѣлъ и вытянулъ ноги, между тѣмъ какъ Гвиннъ стоялъ, засунувъ руки въ карманы. Кольтонъ откровенно наблюдалъ за нимъ. Глаза его все еще имѣли жесткое выраженіе, но онъ не видѣлъ причины къ тому, чтобы терпѣть неудобство, и притомъ онъ зналъ, что съ Гвинномъ онъ могъ позволить себѣ роскошь — быть откровеннымъ.

Онъ сердился еще болѣе оттого, что чувствовалъ къ Гвинну дружбу, на какую только былъ способенъ. Онъ надѣялся такъ незамѣтно связать его судьбу со своею, чтобы тому уже нельзя было порвать съ нимъ, но, разумѣется, Гвиннъ долженъ былъ оставаться на второмъ планѣ. Иногда ему приходило въ голову, что англичанинъ, пожалуй, перехитритъ его, но чтобы это случилось такъ скоро — онъ не ожидалъ.

— Трудно вамъ было добиться вашихъ правъ? — спросилъ онъ.

— Порядочно. Никогда въ жизни моей не слыхалъ я столько низкой лести.

— Я желалъ бы, чтобы это стоило вамъ еще большихъ трудовъ. Что же вы намѣрены дѣлать?

Гвиннъ отвѣтилъ, что онъ будетъ продолжать занятія у судьи. Онъ много занимался и въ эти мѣсяцы. Въ сентябрѣ исполнится годъ, какъ онъ сюда пріѣхалъ, — онъ станетъ избирателемъ. Вотъ и все покуда. Его никто не знаетъ, исключая сотни фермеровъ, группы дѣятелей въ Санъ-Франциско, нѣсколькихъ лидеров партій. Вся разница въ томъ, что теперь онъ можетъ въ любой моментъ занять извѣстное положеніе и станетъ работать уже для себя...

— Вы измѣнились, — сказалъ Кольтонъ, — я замѣтилъ это съ перваго взгляда.

— Да, я измѣнился. До сихъ поръ я не былъ увѣренъ, что въ любую минуту я не вернусь въ Англію. Теперь съ этимъ покончено. Я — не только американецъ, но всегда имъ былъ. Высшій юридическій авторитетъ страны призналъ это. Теперь моя англійская жизнь — эпизодъ изъ прошлаго, какъ и мои походы въ Индію и Африку. Разумѣется, я никогда не буду врагомъ Англіи, но для меня облегченіе — знать, что не я бросилъ ее, что мы были всегда чужими другъ другу. Это отчасти деморализовало меня.

— Наша присяга — очень торжественная, — сказалъ Кольтонъ, почти забывъ свою досаду и все болѣе заинтересованный разсказомъ: — принявъ ее, вы почувствовали себя американцемъ?

— Да. Меня охватило какое-то возбужденіе. Жребій былъ брошенъ. Новая жизнь начинается.

— Начинается, и чертовски трудная, я вамъ скажу. Что же вы бросаете меня?

— Повторяю то, что уже говорилъ вначалѣ: это будетъ зависѣть отъ васъ. Я, вѣроятно, не стану вотиловать до слѣдующихъ выборовъ въ президенты. Если до тѣхъ поръ не создается новой независимой партіи, я подамъ голосъ за демократовъ. Вначалѣ они все же кое-что сдѣлаютъ, оказавшись у власти: новая метла всегда лучше мететъ. Во мнѣ нѣтъ энтузіазма Изабаллы, но у меня есть опредѣленная задача. Пришло время, когда личнымъ честолюбіемъ надо пожертвовать на пользу общую.

— Гвиннъ! — отрывисто воскликнулъ Кольтонъ: — для чего въ сущности все это? Черезъ тысячу лѣтъ что произойдетъ вслѣдствіе того, что мы сидимъ здѣсь съ вами, обсуждая самый негодный въ мірѣ предметъ: нашу внутреннюю политику? Что значить наша роль въ исторіи будущаго? Я лучше бы умеръ — такова сила инстинкта, — чѣмъ допустить, чтобы Соединенные Штаты оказались во власти Японіи или другого восточнаго народа, хотя я перенесъ бы побѣду народа намъ равнаго. Но тутъ все дѣло — въ нѣсколькихъ годахъ. Кромѣ настоящаго у насъ ничего нѣтъ. Жена моя набожна, она вѣритъ въ загробную жизнь; я желалъ бы тоже вѣрить, но не могу. Я не занимаюсь отвлеченнымъ мышленіемъ, какъ вы съ Изабеллой, но и я часто спрашиваю себя: къ чему? Къ чему вся наша жизнь, кончающаяся ничѣмъ?

— Мы этого не знаемъ. Можетъ быть, всѣ наши единичныя усилія зачтутся намъ и міру; быть можетъ, все идетъ извѣстными путями къ извѣстной цѣли — къ высшему совершенству, и когда наступитъ то, что мы называемъ суднымъ днемъ — произойдетъ послѣдній великій бой между добрымъ и злымъ началомъ, и добро побѣдитъ. Мы чувствуемъ себя счастливейше, когда слѣдуемъ нашимъ высшимъ инстинктамъ, и страдаемъ, когда дѣлаемся рабами низшихъ инстинктовъ. Не доказательство ли это, что вспія внушенія приводятъ въ концѣ концовъ къ невѣдомой в сокой цѣли?

— И эта теорія не хуже другихъ.

— А я вамъ совѣтую применить къ независимой партіи, если она образуется.

— Я и примкну, если она будетъ достаточно сильна. Ну, пока—до свиданія!—Онъ всталъ и пожалъ руку Гвинну.—Радъ, что вы поправились и пополюбили. Это вамъ къ лицу. Когда будете въ Розуотэръѣ, заходите провѣдать жену.

Онъ вышелъ, сохраняя дружелюбный видъ, но какія мысли таились подъ его неправильнымъ черепомъ — Гвиннъ не могъ разгадать, да и не пытался; ему было не до того. Онъ спѣшилъ къ Изабеллѣ.

Ея не было дома. Онъ вошелъ въ знакомую комнату, полную лучшихъ воспоминаній. Тамъ вѣяло прохладой и полумракомъ. Окно, выходившее въ садъ, было открыто; рядомъ съ нимъ стояло удобное кресло, въ которое Гвиннъ опустился и сталъ смотрѣть въ старый, запущенный садъ. Громадная акація съ массою золотистыхъ цвѣтовъ видѣлась изъ окна; въ саду цвѣли кастильскія розы, ставшія уже почти рѣдкостью; онѣ были темными, и зелени ихъ почти не было видно изъ-за множества бутоновъ. Широкія неправильныя грядки покрылись роскошною зеленью, изъ которой выглядывали синія звѣздочки барвинка, маргаритки, фіалки; тутъ же благоухали кусты сирени, жимолости, розъ и жасмина. Ароматъ былъ одуряющій. Наканунѣ Гвиннъ просидѣлъ съ матерью половину ночи; онъ утомился отъ долгаго путешествія по жарѣ и задремалъ.

Сначала ему снилось, что онъ поднимается въ гору и слышитъ странный шумъ и гулъ; затѣмъ онъ очутился въ пустомъ огромномъ залѣ съ массою колоннъ. Въ центрѣ зала стоялъ между двухъ колоннъ гигантъ, ухватившійся за нихъ обѣими руками...

Тутъ какая-то невѣдомая сила заставила его очнуться отъ забытья и оглядѣться. Въ комнатѣ царилъ прохладный полумракъ, и ему показалось, что передъ нимъ стоитъ воплощенная Весна. Она была въ бѣломъ и уронила къ ногамъ массу полевыхъ цвѣтовъ. На шляпкѣ у нея красовались піоны и дикія азалеи; за поясомъ у нея были приколоты незабудки и ранункулы.

— Я ничуть не отказываюсь отъ моихъ убѣжденій, — сказала она, когда Гвиннъ подошелъ къ ней, — но это — сильнѣе меня.

V.

Изабелла встала, какъ всегда, въ пять часовъ, но вмѣсто того, чтобы сейчасъ же одѣться, она лѣниво стояла у окна и смотрѣла на озеро. Тринадцать часовъ тому назадъ она при-

няла рѣшеніе, приняла его, какъ ей казалось — мгновенно, и этотъ мигъ такъ сразу измѣнилъ всю ея жизнь, что у нея кружилась голова. Она сказала Гвинну—это было, по ея мнѣнію, больше, чѣмъ простое признаніе въ любви,—что она въ состояніи прожить съ нимъ всю жизнь. Безъ сомнѣнія, между ними не обойдется безъ схватокъ, но онъ не обладалъ ни однимъ изъ мелочныхъ, эгоистическихъ недостатковъ, присущихъ ея отцу, дядѣ и Листеру Стону. Онъ былъ истинно гуманенъ и культуренъ, кромѣ того—молодъ, и она была молода. И все это казалось такимъ удивительнымъ: удивительно чувствовать себя такою счастливою и знать, что она ничѣмъ не поступилась.

И все-таки она была немного грустна; она знала, что, несмотря на свою радость и торжество, Гвиннъ уѣхалъ смутно разочарованный. Онъ обернулся, садясь въ сѣдло, и бросилъ на нее быстрый вопросительный взглядъ. Она разсмѣялась, послала ему привѣтъ рукою и снова ощутила желаніе „танталлизировать“ его.

Наканунѣ она радовалась, какъ прекрасная язычница, тому, что ея пылкой юности выпала на долю пылкая молодая любовь, и тому, что онъ всегда будетъ съ нею. Отъ восторга, что онъ наконецъ у ея ногъ, она готова была плясать, и мучила его, какъ только смѣла.

Это произошло въ среду. Свадьба назначена была на субботу для того, чтобы лэди Викторія, уѣзжавшая въ субботу въ Англію, успѣла благословить ихъ. Тогда, безъ сомнѣнія, Гвиннъ во многомъ поставитъ на своемъ, но покуда она желала насладиться своею властью надъ нимъ, и сознавала, что ни одна женщина не можетъ быть обворожительнѣе, задорнѣе, опаснѣе. Если Гвиннъ пріѣхалъ влюбленнымъ, то уѣхалъ онъ — готовый цѣловать слѣды ея ногъ. Она на все согласилась: на поспѣшное вѣнчаніе, на выборъ дома по его усмотрѣнію, на то, чтобы провести медовый мѣсяцъ въ Санъ-Франциско въ домѣ на Русскомъ холмѣ. Но она чувствовала, что онъ былъ смутно неудовлетворенъ — въ лучшихъ потребностяхъ своей души. И она плохо спала, раскандалась, зная, что онъ тоже плохо спалъ, и боялась, что какъ только онъ пріѣдетъ, она отъ избытка счастія снова начнетъ сводить его съ ума.

Она задумчиво смотрѣла на плоскую вершину Tamalpais, и вдругъ у нея мелькнуло сознаніе, что происходитъ нѣчто странное. Солнце уже взошло, но почему-то стояло низко. Въ эту пору утра небо бываетъ сѣрое, а теперь оно было какого-то призрачно-голубого электрическаго цвѣта. И въ ту же минуту

она услышала грохотъ, похожій на пушечный залпъ, прогремѣвшій на все міровое пространство. Онъ пронесся отъ Золотыхъ воротъ черезъ заливъ и озеро и разразился у стѣны подъ окнами. Она ухватилась за подоконникъ, и домъ задрожалъ отъ сильнѣйшаго подземнаго удара, какой ей когда-либо случалось слышать.

Изабелла стояла на колѣняхъ, держась за подоконникъ. Къ счастью, колебаніе земли продолжалось нѣсколько секундъ, но электрическіе огоньки—такіе же синіе и призрачныя, какъ само небо—играли по озеру и болоту; она видѣла, какъ плоская вершина Тамапаис то поднималась, то опускалась, словно присѣдая въ какой-то безумной пляскѣ.

Изабелла стала одѣваться, думая, что насталъ послѣдній день Калифорніи. Она знала, что бывають землетрясенія, которыя длятся часами, даже днями, и рѣшила, что оно только начинается, такъ какъ земля снова заколебалась и сила колебанія увеличивалась съ каждою минутой. Домъ сотряслся, какъ ящикъ съ игральными костями. Ей казалось, что онъ свалится въ озеро. Отъ утеса отваливались громадныя глыбы, но такъ силенъ былъ грохотъ стихій, трескъ дерева, шумъ паденія кирпичей и даже штукатурки, что казалось, будто онѣ подпрыгиваютъ и низвергаются безшумно.

Еще одно сотрясеніе, отъ котораго домъ содрогнулся до основанія, и вдругъ все сразу кончилось! Изабелла, не вѣря себѣ, встала. Явленія природы вызываютъ обыкновенно у людей два чувства: или ощущеніе дикаго, слѣпотаго страха, или какого-то страннаго равнодушія и любопытства.

Одинъ изъ неписанныхъ законовъ Калифорніи состоитъ въ томъ, что землетрясеніе—шутка природы, и надо принимать его легко.

Изабелла забыла на мигъ о себѣ, о Гвиннѣ; она была преисполнена изумленія и любопытства и жалѣла, что она не въ Санъ-Франциско.

Она поспѣшила надѣть верховой костюмъ и сбѣжала по лѣстницѣ. Япончикъ Дзума, безупречно опрятный, подметалъ полъ, покрытый осыпавшеюся штукатуркою.

— Чтѣ вы думаете о нашихъ землетрясеніяхъ?—спросила она.

— Вольшое. Очень большое!—отвѣтилъ онъ весело.

Старый Макъ бѣжалъ въ ней навстрѣчу, забывъ о своихъ ревматизмахъ. Красное лицо его было необычайно оживлено. Сѣдая лошадь, онъ не переставалъ передавать ей подробности самаго сильнаго землетрясенія, видѣннаго имъ въ 68-мъ году, но нынѣшнее—вчетверо сильнѣе...

Изабелла приказала приготовить катеръ и поскакала. Замѣчательно, что оба они нисколько не думали объ опасности, о возможной убыли воды или наводненіи, какой-нибудь дьявольской штуки природы.

Кейзеръ скакалъ во весь опоръ, и миссъ Отисъ лишь поглядывала по сторонамъ: нѣтъ ли гдѣ-нибудь трещины? Розуотеръ еще стоялъ на своемъ мѣстѣ, огня не было видно. Подъѣзжая къ мосту, она увидѣла несшагося къ ней навстрѣчу всадника. Они поздоровались и вмѣстѣ поѣхали къ ней. Глаза его горѣли и казались почти черными.

— Знаете, я видѣлъ, какъ горы качались; онѣ плясали какъ пьяныя, и мнѣ казалось, что онѣ должны провалиться! St.-Peter— въ развалинахъ, разрушены общественныя зданія, четыре отеля, погибшихъ масса. У меня Карлосъ чуть не убилъ Имуру за его утвержденіе, что въ Японіи землетрясенія ничуть не хуже...

— А что Розуотеръ?

— Разрушено много трубъ, но зданія цѣлы, за исключеніемъ стараго шеольнаго дома. М-ссъ Хэйтъ въ капотѣ сидѣла на тумбѣ и завывала замогильнымъ голосомъ, но хотя чуть не всѣ жители были на улицѣ и въ подобныхъ же костюмахъ—они вели себя спокойно. Проѣзжая мимо кладбища, я побоялся взглянуть туда. Всѣ памятники опрокинуты... Какъ вы думаете: что дѣлается въ Санъ-Франциско?

— Тамъ, вѣроятно, гораздо хуже—Санъ-Франциско больше всѣхъ достается. Ваша мать навѣрное въ истерикѣ. Я велѣла приготовить катеръ.

— Жаль, что она не уѣхала. Боюсь, что она посмотритъ на это не такъ, какъ мы съ вами. Я въ жизни моей не былъ такъ заинтересованъ. Еще рано ей телефонировать.

Изабелла указала на повисшія оборванныя проволоки. Два телеграфныхъ столба лежали на землѣ.

— Сообщение прервано. На наше счастье у насъ есть катеръ.

VI.

Завтракъ изготовили на спиртовѣ; Изабелла съ Гвинномъ завтракали не спѣша,—быть можетъ, съ свойственною людямъ таенною надеждой, что когда жизнь идетъ обычною чередой, то это способствуетъ тому, чтобы и природа вернула себѣ утраченное равновѣсіе.

На катерѣ чувствовалось все время какое-то особенное под-

водное движеніе, похожее на мертвую зыбь. Изабелла сказала Гвинну о видѣнныхъ ею синихъ огонькахъ. Тамъ и сямъ на берегу видѣлись слѣды разрушенія въ видѣ обвалившихся трубъ, кое-какія старыя строенія лежали на боку, но природа блистала всею роскошью красокъ, только птицы не пѣли и въ толпѣ около зданій замѣчалось что-то странное: люди были въ купальныхъ плащахъ, простыняхъ, навидкахъ, въ первомъ попавшемся подъ руку, и не рѣшались, очевидно, входить въ дома. Движеніе поѣздовъ тоже прекратилось.

Гвиннъ правилъ катеромъ; они говорили о городѣ, и Изабелла радовалась, что основанія дома на холмѣ солидно укрѣплены. За „Домъ Отисовъ“ она тоже не особенно беспокоится: его фундаментъ укрѣпленъ въ скалѣ, весь остовъ желѣзный. Ее тревожитъ участь острововъ: не занесло бы ихъ пескомъ. Двѣсти лѣтъ тому назадъ заливъ Санъ-Франциско былъ, какъ думаютъ, долиною.

Но съ островами покуда было все благополучно; когда же катеръ повернулъ къ востоку, Гвиннъ прищурилъ глаза и указалъ Изабеллѣ на черное, стоявшее надъ городомъ, облако дыма...

— Это похоже на большой пожаръ.

— Тамъ всегда бываютъ пожары во время землетрясеній. Огонь вспыхиваетъ сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

Линія горизонта измѣнилась: очевидно, что всѣ трубы въ городѣ были разрушены. Облако дыма стояло какъ страусовое перо. Они направили катеръ въ сторону Эрба-Буэна, чтобы увидать, гдѣ горитъ, и какъ только открылся Телеграфный холмъ, они увидѣли большой пожаръ на East-Street, широкой артеріи, отдѣлявшей городъ отъ береговой полосы и желѣзныхъ строеній. Внизу, съ юга, отъ Market-Street тоже поднималось большое пламя. Горѣли, вѣроятно, склады. Лишь желѣзныя строенія — колоссальное зданіе — стояли невредимо, благодаря удивительной прочности своихъ основаній и честности строителей.

На заливѣ царилъ необычайная тишина — ряды пароходовъ стояли неподвижно, вѣроятно машины у нихъ были попорчены. Отъ мола отчаливалъ оклендскій пароходъ, на которомъ все было черно отъ нагара. Изабелла изумилась. Неужели люди покидаютъ городъ? Надо поторопиться: лэди Викторія, навѣрное, перепугана. Она говорила, что никогда въ жизни не видѣла пожара.

— Ваша пожарная команда славится. Но, кажется, и вы трусливы? — засмѣялся Гвиннъ.

— Какой вздоръ! Я нисколько не была испугана во время

землетрясения, но пожаръ—большое бѣдствіе. Я боюсь, чтобы среди общей паники ваша мать не вздумала уѣхать.

— Каковы бы ни были теперь ея нервы, я готовъ поручиться, что она не уѣхала.

Черезъ нѣсколько минутъ они причалили къ подножію Русскаго холма. Нѣсколько домиковъ вдоль склона обрушилось, но большія строенія были цѣлы.

М-ръ Клеттъ, сторожившій суда, останавливавшійся у этой пристани, вышелъ изъ своего коттеджа на зовъ Изабеллы.

— Радъ видѣть васъ невредимой, миссъ. Я васъ поджидалъ.

— Разрушеніе большое?—спросилъ Гвиннъ.

— Порядочное, но главная бѣда—пожаръ. Городъ въ огнѣ.

— Послѣ взрывовъ всегда бываютъ пожары,—сказала Изабелла сердито.

— Городъ въ огнѣ. Онъ загорѣлся въ тридцати мѣстахъ сразу. Водопроводъ испорченъ. Начальникъ пожарной команды убитъ... Старому городу не уцѣлѣть.

Гвиннъ обернулся къ хозяину пристани, покуривавшему свою трубочку.

— Миссъ Отисъ и моей матери понадобится, быть можетъ, уѣхать изъ города на катерѣ. Могу я положиться на васъ, что вы не дадите никому завладѣть имъ? Если огонь перекинется сюда, я предлагаю вамъ уѣзжать въ моему ранчо.

— Я прострѣлю шкуру тому, кто до него коснется. Конечно, теперь въ городѣ безобразіе и къ полиціи на помощь уже призваны солдаты...

На этой сторонѣ холма народу было мало; всѣ глядѣли на пожаръ съ вершины, но тѣ, кто попадался навстрѣчу, кричали имъ:—Городъ въ огнѣ! Водопроводъ испорченъ!

Лэди Викторія, въ *sortie de bal* поверхъ ночного капота—ходила взадъ и впередъ по верандѣ.

— Боже мой!—воскликнула она:—я не смѣла думать, живы ли вы или нѣтъ? Зачѣмъ пріѣхали мы въ эту забытую Богомъ страну!

Глаза ея сверкали, щеки горѣли, она была въ сильномъ возбужденіи и говорила такъ быстро, какъ никогда въ жизни.

— Это было очень ужасно? Какъ выбрались вы изъ дому? Я выбѣжала вонъ, хотя меня бросало объ стѣны... Этотъ страшный качающійся городъ! Представьте себѣ тысячи домовъ—припадающихъ, подпрыгивающихъ, разрушающихся... Башни кланялись такъ торжественно, что я опозорилась: впала въ истерику... А этотъ трескъ и грохотъ падающихъ стѣнъ и трубъ! А эта

пыль! Она, казалось, поглотила весь городъ. Когда она разсѣялась, улицы были полны людей въ бѣломъ... Въ бѣломъ—какъ цыпята Изабеллы... Какими пигмеями кажутся они отсюда! Пигмеи! Вотъ что мы такое... А горничная моя—такая дрянь—убѣжала...

— Она не могла убѣжать далеко, поѣзда не ходятъ,—успокоительно сказалъ Гвиннъ.

Изабелла убѣдила, наконецъ, лэди Викторію войти въ домъ и одѣться, а Гвиннъ, вооружившись сильнымъ биноклемъ, принялся обозрѣвать городъ.

Разрушеніе было значительное; больше всего пострадали фабрики и заводы; величественная башня городской ратуши обрушилась, какъ символъ недобросовѣстной работы и разграбленныхъ общественнымъ управленіемъ миллионѣвъ.

Стѣны въ обломкахъ, зіяющія кровли, выбитыя окна — все это производило впечатлѣніе обрушившагося города, хотя многія солидныя постройки уцѣлѣли. Невредимъ былъ и „Домъ Отисовъ“, колоссальный желѣзный остовъ. Но теперь Гвиннъ менѣе всего думалъ о своихъ интересахъ.

Улицы, площади—кишѣли народомъ. Онъ видѣлъ офицеровъ верхами, группы солдатъ, пожарныхъ, безпомощно стоявшихъ у своихъ лошадей и насосовъ. Изъ нѣкоторыхъ домовъ люди таскали свои пожитки. Изучая горѣвшіе районы, Гвиннъ постепенно приходилъ къ убѣжденію, что онъ видитъ не просто большой пожаръ, но—горящій городъ. Возможно, что огонь не перекинется за черту Market-Street, но этотъ кварталъ былъ самъ по себѣ цѣлымъ городомъ; погибнетъ и Rincon-Hill со своими красивыми старомодными домами, и Южный Паркъ—съ его трагическими воспоминаніями. А если уничтожатся заводы, склады, торговая часть города, то онъ обѣднѣетъ на многіе миллионы.

Автомобили—цѣлыми сотнями—мчались по всѣмъ направленіямъ. Ординарцы скакали сломя голову между Президію и Nob-Hill. Одно изъ общественныхъ зданій было превращено въ госпиталь, и автомобили постоянно подвозили къ нему пострадавшихъ. Все это походило на рисунокъ Дорэ: дымная атмосфера, цѣлые фонтаны, букеты, массы пламени, низко нависшія облака, человѣскій потокъ, разрушенные дома, отдѣльныя уцѣлѣвшія зданія, гордо выдѣляющіяся на багровомъ фонѣ зарева...

Одинъ изъ сосѣдей, вернувшійся съ развѣдокъ, остановился и сообщилъ ему, что мэра убѣдили созвать митингъ изъ выдающихся гражданъ для того, чтобы рѣшить, какъ предотвратить вѣчную гибель города и панику жителей.

М-ръ Филэнъ, мэръ-реформистъ, стоявшій во главѣ управленія въ лучшіе дни Санъ-Франциско, посовѣтовалъ послать въ военные склады за динамитомъ и, взорвавъ часть города, локализовать пожаръ, но собственники не соглашались.

Сосѣдъ посовѣтовалъ Гвинну наполнить всѣ ванны въ домѣ водою, покуда еще осталась вода въ трубахъ, и запастись припасами. Проволоки испорчены, подвозу нѣтъ, вѣроятно скоро начнется голодъ. Гвиннъ поблагодарилъ его, отдалъ японцамъ-слугамъ соотвѣтствующія приказанія и далъ имъ денегъ. Катеръ стоялъ наготовѣ, но у него не было никакого желанія покидать городъ, жившій усиленною жизнью. Не общалъ ли онъ въ день бала Гоферу и его друзьямъ, что въ случаѣ необходимости онъ готовъ быть на посту?

Лэди Викторія съ Изабеллою спустились съ холма по лѣстницѣ, ставшей еще неудобнѣе.

Двери въ домахъ были сорваны, мебель, украшенія—лежали сваленныя въ кучу. Въ домѣ Гоферовъ дивная мраморная лѣстница представляла груду блестящихъ осколковъ. Дорогія картины валялись на полу. М-съ Гоферъ слишкомъ спѣшила вступить во владѣніе аристократическимъ старымъ домомъ на Nob-Hill и не дала мужу времени на то, чтобы подвести новый фундаментъ. Отъ слугъ Гвиннъ узналъ, что вся семья, включая и дѣтей, уѣхала, съ часъ тому назадъ, на двухъ моторахъ осматривать городъ.

Страшно перепугались итальянцы на Телеграфномъ холмѣ. „Вѣдь они — не калифорнійцы!“ — говорили съ презрѣніемъ въ толпѣ. Китайцы на Портсмутской улицѣ потѣшались надъ дамами, выбѣжавшими изъ домовъ босикомъ и въ однихъ юбкахъ, но въ *sorties de bal*. Еще болѣе смѣшили ихъ блѣдныя, искаженные лица узниковъ, прильнувшія къ тюремнымъ рѣшеткамъ.

Какой-то человѣкъ, взявъ Гвинна за пуговицу, толковалъ ему, что у него „прахомъ пошли двѣсти-пятьдесятъ тысячъ“.

— Какъ странно—чувствовать себя въ самомъ центрѣ жизни, чисто физической жизни!—говорила лэди Викторія.

Глаза ея были тревожны и блестящи; маска ея упала, а съ нею—и бремя многихъ лѣтъ.

Она снова помолодѣла. Хотя на время она сбросила съ себя тяжесть собственнаго я.

Сравнительно люди были спокойны, хотя слухи распространились самые дикіе: Нью-Йоркъ исчезъ, Чикаго залило водою...

На площади Согласія толпа была особенно велика. Тутъ сплосжились обитатели громадныхъ отелей, между прочимъ—оперные артисты гастролировавшей въ Санъ-Франциско труппы.

Отъ Market-Street двигался потокъ людей, нагруженныхъ вещами, дѣтскими колясочками, колыбельками, домашними животными. А позади людей, въ концѣ каждой улицы, виднѣлось зарево и стлался дымъ. Темныя облака его, сверкавшія золотистыми искрами, поднимались все выше. Атмосфера была тропическая.

Уже слышались фразы: „Обреченный городъ“... „Поясъ огня“... „Выгорить до основанія“... Всюду разъѣзжали военные патрули; они всѣхъ выпускали, но мало кого впускали. Въ госпиталяхъ работа шла своимъ порядкомъ. Толпа была необыкновенно молчалива и сдержанна. Многіе смутно надѣялись, что огонь не перекинется на скалы: постройки на нихъ были каменные и желѣзные, на кровляхъ стояли люди съ насосами; окна домовъ, выходившія на пожарнице, были затянuty мокрыми простынями. Но большинство не вѣрило, и слова: „обреченный городъ!“ — были подхвачены и неслись все дальше и дальше.

VII.

Гвиннъ уже начиналъ раздражаться отъ своего бездѣйствія, какъ вдругъ изъ-за угла повернулъ автомобиль, несшійся съ ужасающею скоростью. Онъ сейчасъ же узналъ сидѣвшаго рядомъ съ шофферомъ Гофера и, недолго думая, сдѣлалъ ему знакъ остановиться. Гоферъ отвѣтилъ восклицаніемъ, моторъ замедлилъ ходъ, оба сидѣвшихъ встали, нагнулись и втащили къ себѣ Гвинна. Длинные ноги его мелькнули въ воздухѣ, онъ едва успѣлъ обернуться и крикнуть своимъ дамамъ: „ступайте домой!“ какъ автомобиль уже исчезъ изъ виду.

Викторія широко раскрыла глаза. Это похоже на похищеніе!

— Вѣроятно, Гоферъ увезъ его на митингъ въ подземелья. Они нуждаются въ человѣкѣ, могущемъ подать умный совѣтъ. Я провѣдаю Паулу и ея дѣтей. Пойдемте со мною.

Викторія отказалась. Все это слишкомъ интересно, и она уже не боится. Онѣ встрѣтятся дома за вторымъ завтракомъ.

Изабеллѣ пришлось проходить по бѣднымъ и грязнымъ кварталамъ, и она, сожалея о судьбѣ бѣднаго люда, въ то же время думала, что огонь оказываетъ городу услугу, очищая эти кварталы. На улицѣ, гдѣ помѣщаются извѣстнаго рода заведенія, она увидѣла несчастныхъ созданій, о спасеніи которыхъ никто не заботился. Многія изъ нихъ и при солнечномъ свѣтѣ были молоды и красивы. Она охотно отвѣчала на ихъ вопросы, но содрогнулась, когда у одной изъ нихъ вырвался крикъ:

— Боже! вѣтеръ дуетъ съ юго-востока, и какой сильный вѣтеръ!

Изабелла оглянулась. Окаймленные краснымъ отблескомъ, волны дыма неслись быстрее. Если бы вѣтеръ былъ западный, пламя направилось бы къ заливу, гдѣ работали съ судовъ и пристани моряки, и огонь былъ бы потушенъ. Каждый разъ какъ порывъ вѣтра развѣвалъ ей волосы, она раздражалась и удивлялась тому, какъ могла она любить вѣтеръ!

На Avenue Van-Ness, представлявшей подобіе долины, почва и дома дали много трещинъ. Богачи сидѣли на чемъ попало въ садахъ и на троттуарѣ. Одна изъ красавицъ, блиставшихъ на балѣ м-съ Гоферъ, была въ купальномъ халатѣ и чулкахъ. Другая, растрепанная, держала на колѣняхъ неумытаго ребенка и поила его молокомъ съ ложечки. Нѣкоторые отправлялись въ Президію, гдѣ раздавалась пища.

Паулу она нашла одѣтою, даже подмазанною и чуть ли не гордившеюся тѣмъ, что она переживаетъ такое событіе. Отъ предложенія Изабеллы—укрыться съ дѣтьми у нея въ ранчо—она отказалась, но предложенный ей кошелекъ взяла безъ церемоній съ небрежнымъ: „Благодарю, дорогая!“—Сосѣдка угощаетъ ихъ завтракомъ, а въ случаѣ если огонь перекинется сюда, они пойдутъ ночевать въ Президію. Это даже интересно. Листеръ ушелъ на развѣдки.

Выйдя отъ нея, Изабелла почувствовала, что страшно устала, но попавшійся ей возница запросилъ съ нея пятьдесятъ долларовъ и—деньги впередъ.

Она повернулась къ нему спиною и медленно пошла далѣе. Уже около California-Street ее обогналъ возчикъ, который, замѣтивъ ея усталость, предложилъ „подвезти ее“. Она поблагодарила, отвѣтивъ, что у нея нѣтъ денегъ.

— И не нужно. Надо же людямъ оказать услугу. Вѣдь вы подвезли бы меня, не такъ ли? А что вы обо всемъ этомъ думаете?

Ея оптимизмъ заставилъ его покачать головою.

— Нѣтъ, городъ обреченъ. Хотя я здѣсь и не живу, а жаль его. Господи, вотъ такъ ударъ былъ! Меня выбросило съ постели, а сосѣдній домъ вылетѣлъ на середину улицы. Одна женщина повредила въ умѣ. Вывѣшены объявленія, что въ грабителей солдаты будутъ палить. Ну, времена! Я ѣду къ себѣ въ Оклендъ и хочу захватить кое-кого изъ пріятелей. Не можете ли поѣхать къ намъ, миссъ? Моя жена устроитъ васъ угостить чѣмъ Богъ послалъ.

Изабелла горячо поблагодарила его, но отказалась. Въ карманѣ ея жакетки нашелся долларъ; она предложила его, и старикъ философски его принялъ.

— Я не изъ-за платы, миссъ, но если у васъ есть чѣмъ заплатить, я не отказываюсь. Пожалуй что теперь деньги скоро понадобятся. Всего хорошаго! Ваше общество доставило мнѣ большое удовольствіе.

VIII.

Когда Изабелла вернулась домой, она нашла лэди Викторію на террасѣ, смотрѣвшую, не отрываясь, передъ собой. Она ничего не сказала, когда Изабелла подошла къ ней, и та въ свою очередь онѣмѣла. Пылало семнадцати-этажное зданіе съ куполомъ и семидесятью окнами съ каждой стороны; огонь съ невѣроятной быстротою пожиралъ его внутренность и вырывался изъ двухсотъ оконъ, подобныхъ пущечнымъ жерламъ... Масса бѣлаго дыма поднималась вверхъ и сливалась съ облаками черной копоти. По временамъ развѣваемые вѣтромъ облака пламени и дыму словно танцовали какой-то дикій вакхическій танецъ; они постоянно мѣняли форму. Ревъ пламени доносился все явственнѣе; онъ походилъ на ревъ моря, стремящагося затопить землю.

И вдругъ завѣса дыма заволокла картину.

Викторія объявила, что имъ что-то приготовили на завтракъ, хотя она лично предпочла бы ванну. Но думать о ваннѣ было нечего, и онѣ съ черными лицами и руками сѣли за свою трапезу. Изабелла послала тарелку сэндвичей и бутылку пива вѣрному м-ру Клэтту, который продолжалъ сидѣть у катера, держа на колѣняхъ заряженный револьверъ. Вокругъ него уже собралась жужжавшая какъ улей небольшая толпа.

Изабелла спросила Викторію, не желаетъ ли она ѣхать. Та покачала головою.

— Вѣдь вы не ѣдете?

— Нѣтъ. Я останусь до послѣдней возможности, такъ какъ не знаю плановъ Эльтона. Если катеръ отберутъ, мы отправимся въ Президіо или Портъ-Мезонъ. Но какъ же вы можете ночевать подъ открытымъ небомъ? По ночамъ бываетъ сыро.

— Если вы можете, то и я могу. Я совершенно здорова, и—видитъ Богъ—это первое, чѣмъ за послѣдніе годы меня заинтересовало... Притомъ, я увѣрена, что сюда огонь не дойдетъ. Я забыла вамъ сказать, что м-съ Треннаганъ была такъ добра, что заѣжала ко мнѣ и звала съ собою въ Менло-Паркъ.

Изабелла объявила, что она намѣрена прилечь и заснуть, такъ какъ неизвѣстно, что будетъ ночью.

Она сейчасъ же заснула, но черезъ нѣкоторое время лэди Викторія вбѣжала къ ней.

— Вставайте! Горитъ Palace-Hotel и большое зданіе — редакція газеты!

Вся долина была сплошнымъ моремъ пламени... Сосѣди навѣдывались каждую минуту и сообщали извѣстія. Жители покидали городъ на южно-океанскихъ пароходахъ, на уцѣлѣвшихъ яхтахъ, катерахъ и фрагтовыхъ судахъ. Имъ приходилось плыть кругомъ, такъ какъ береговая линія и ближайшія улицы превратились въ горнило, хотя огонь еще не перекинулся на East-Street. Всѣ дома по другую сторону залива были открыты для пострадавшихъ; кромѣ того, на площадяхъ были раскинута шатры и устроены полевые лазареты. На помощь войскамъ призвали милицію для охраны еще не охваченныхъ огнемъ районовъ.

— Вы не боитесь за Эльтона? — вдругъ спросила Изабелла.

— Нисколько. Я не боялась за него, когда онъ былъ ребенкомъ. Я никого не знаю, кто былъ бы ловчѣе его и умѣлъ бы такъ приспособиться къ обстоятельствамъ.

— Но онъ слишкомъ отваженъ. Онъ можетъ попасть въ огненную ловушку или быть убитымъ падающими бревнами.

— Онъ человекъ предопредѣленія, и покуда не исполнитъ того, что долженъ — онъ будетъ жить.

Двое слугъ японцевъ на вопросъ Изабеллы отвѣтили, что они желали бы уѣхать въ Оклендъ. Уплаты жалованья они подождутъ. Старшій изъ нихъ, солидный человекъ лѣтъ тридцати, предложилъ остаться. Онъ имѣлъ видъ ученаго и объяснилъ, что интересуется землетрясеніями; такого сильнаго ему ни разу не приходилось наблюдать. Ему интересно было бы знать о результатахъ, отмѣченныхъ сейсмографомъ, а также въ которомъ часу были они переданы въ Японію?

— Вѣроятно, профессоръ Омора прибудетъ сюда, — сказалъ онъ скромно: — онъ пожелаетъ изучить почву.

— Вы не испугались?

— Нѣтъ. Но я не люблю огня. Я видѣлъ пожаръ Токио. Могу стряпать — не особенно хорошо, но временно могу занять повара. Можетъ быть, вы возьмете меня потомъ въ де-ню? Я согласенъ исполнять всякую работу за небольшое вознагражденіе, покуда все не придетъ въ нормальное состояніе, и вы разрѣшите мнѣ заниматься по вечерамъ. Покуда я буду

дѣлать обходъ, чтобы какіе-нибудь глупые люди не развели по неосторожности гдѣ-нибудь огня.

— Я буду очень рада, если вы примете на себя наблюдение за этимъ, — отвѣтила Изабелла, спрашивая себя: не имѣетъ ли она дѣло съ принцемъ-инкогнито? — А теперь, пожалуйста, поднимитесь наверхъ и узнайте: успѣли ли вывезти раненныхъ изъ Корпуса Механиковъ? Онъ пылаетъ какъ костеръ.

Японецъ вернулся съ извѣстіемъ, что больные, сидѣлки, доктора всѣ отвезены на автомобиляхъ на отдаленные временные перевязочные пункты. Арестанты тоже переведены въ военныя тюрьмы. Кто-то видѣлъ м-ра Гвинна, правившаго однимъ изъ автомобилей, въ которыхъ перевозили больныхъ. Онъ дважды сопровождалъ транспортъ — туда и обратно. Владѣльцы моторовъ много работаютъ, они эвакуируютъ раненныхъ, закупаютъ припасы. Другіе взобрались на кровли, разстилаютъ мокрые холсты и накачиваютъ воду изъ цистернъ. Нѣкоторые дома удалось такимъ образомъ отстоять.

Изабелла пошла къ м-ссъ Гоферъ на Nob-Hill. У дома стоялъ крытый автомобиль, въ которомъ уже сидѣли дѣти съ няньками и старый м-ръ Туль, отецъ м-ссъ Гоферъ. Онъ выѣзъ, чтобы поздороваться съ Изабеллою; его добрые старые глаза были очень грустны. М-ссъ Гоферъ вскрикнула при видѣ миссъ Отисъ, словно увидѣвъ привидѣніе.

— Какъ я рада, что вы невредимы! Я не ждала подобнаго ужаса! А вы? И мы еще удивляемся живущимъ близъ Везувія... Все погибло, все! Вы надѣетесь на переменъ вѣтра? Я не надѣюсь. Мы, очевидно, обречены... М-ръ Гоферъ потерялъ миллионы...

Она встряхнулась и продолжала.

— Онъ ихъ нажилъ, поэтому можетъ нажить и другіе. Но о чемъ, вы думаете, онъ главнымъ образомъ заботится? Онъ влетѣлъ сюда полчаса тому назадъ — черный какъ его шляпа, — чтобы объявить мнѣ о необходимости ѣхать немедленно въ Берлингэмъ, и тутъ же заговорилъ о „чистѣмъ“ города въ политическомъ отношеніи... Безумный идеалистъ! Знаете, чѣмъ они съ м-ромъ Гвинномъ теперь заняты? Перевозкою динамита между фортомъ Мезонъ и линіей огня. Они оба ѣздить до того, что автомобиль еле живъ, и предоставили себя въ распоряженіе властей... Какъ только пожаръ прекратится или м-ръ Гоферъ дозволитъ мнѣ, я вернусь и займусь устройствомъ столовыхъ. Теперь скоро начнется подвозъ припасовъ и понадобятся организаторы. Могу я рассчитывать на васъ?

— Конечно. Я васъ разыщу.

— Не тревожьтесь. Газеты ничего не упустятъ. Редакціи сгорѣли, но журналисты уже устроились въ Оклендѣ. До свиданія. Если скажете словечко, я пришлю моторъ за вами, хотя безъ дѣтей его пожалуй не пропустятъ, а заберутъ для динамита. Въ немъ помѣстится нѣсколько бочекъ...

Онѣ стояли уже на троттуарѣ, и она прильнула губами къ уху Изабеллы.

— Хотѣла бы я навсегда убраться изъ этого проклятаго мѣста, чтобы глаза мои больше не видѣли его, — шепнула она. — Конечно, передъ другими я виду не подамъ. И не я одна такъ думаю...

Она вскочила въ моторъ, кивнула головою, принужденно улыбаясь, и черезъ минуту экипажъ исчезъ за угломъ.

Миссъ Отисъ стала спускаться съ холма и встрѣтила Анну Монгомери, которая, взявъ ее подъ руку, увлекла ее съ собою на California-Street; здѣсь снова онѣ очутились въ толпѣ ищущихъ убѣжища. Это не была бѣднота, видѣнная Изабеллой поутру; большинство принадлежало къ среднему классу, пользующемуся довольствомъ. Ни дѣтей, ни домашнихъ животныхъ почти не было видно, люди спасали кое-что изъ имущества: документы, драгоценности; нѣкоторыя женщины были въ мѣхахъ — лучший способъ спасти ихъ. Казалось, они ни о чемъ не думали, всѣ они жили настоящею минутою. И здѣсь мало говорили и не жаловались, хотя многіе теряли не только состояніе, но и домъ, дорогіе по воспоминаніямъ цѣлой жизни.

Въ толпѣ имъ попался Листеръ Стонъ, везшій дѣтскую колясочку и нагруженный какъ мулъ.

— Стойте! — крикнулъ онъ. — Гвиннъ просилъ вамъ передать, что онъ перевозитъ раненыхъ и динамитъ, и настаиваетъ, чтобы вы съ лэди Викторіей уѣхали сегодня же вечеромъ въ деревню.

Толпа увлекла его. Дѣвушки пошли далѣе; миссъ Отисъ тайнѣ изумилась взволнованному выраженію лица Анны. Та предупредила ея вопросъ.

— Знаете, у меня удивительное ощущеніе свободы, свободы и надежды! Наконецъ произошло событіе! Всѣ колені перепаханы. Жизнь уже будетъ другою — съ сотнею возможностей для каждаго. Всѣ начнутъ жить съизнова... И это выраженіе я подмѣтила въ глазахъ у многихъ людей... Теперь всѣ люди, достойные того, чтобы земля ихъ носила, заботятся о спасеніи несчастныхъ ихъ имущества. Политическія фракціи и личные враги — работаютъ рядомъ, особенно — на линіи огня. Даже мэръ заслужилъ уваженіе согражданъ, хотя онъ разрывается между Комитетомъ

Пятидесяти и военными властями, съ одной стороны, и собственниками—съ другой, которые не желаютъ, чтобы взрывали дома, надѣясь, что направленіе вѣтра переменится. Земля терпитъ насъ и нашу заносчивость, покуда это ей не надоесть, а потомъ стойтъ ей встряхнуться — и мудрѣйшій изъ людей становится безпомощнымъ какъ ребенокъ, принцу приходится хуже, чѣмъ нищему, такъ какъ послѣдній скорѣе можетъ выбраться изъ своей лачуги. Подобныя событія словно устанавливають равенство между людьми, и мы втайнѣ чуть ли не гордимся тѣмъ, что сдѣлались свидѣтелями подобнаго переворота... Немудрено, что это даетъ чувство освобожденія отъ прежнихъ, годами носимыхъ узъ...

Было уже подъ вечеръ, и онѣ встрѣтили цѣлую процессію китайцевъ, также тянувшихъ къ Президію. Богатые купцы въ роскошныхъ шолоховыхъ вышитыхъ одеждахъ выступали рядомъ съ кѹли въ ихъ простыхъ синихъ блузахъ. Жены богачей, въ башенно-подобныхъ прическахъ, еле держась на своихъ неаппетитныхъ ножкахъ, еле подвигались, поддерживаемыя мужьями и прислужницами. Тутъ же были дѣти и женщины легкаго поведения, которыми кишитъ кварталъ. Всѣ эти люди казались такими же деревянными, какъ ихъ боги, и походили на священную праздничную процессію.

Изабелла стала звать Анну къ обѣду. Вечеромъ миссъ Монгомери собиралась въ фортъ-Мезонъ, гдѣ былъ устроенъ лазаретъ для слабѣйшихъ. Миссъ Отисъ сказала, что, можетъ быть, и она пойдетъ съ нею, но прежде она должна дожидаться извѣстій отъ Гвинна. Онъ можетъ нуждаться въ ея помощи.

IX.

Ученый Сугихара варилъ супъ въ саду на спиртовой кухнѣ; тутъ же подъ деревомъ была вырыта яма, и онъ объяснилъ, что заставилъ Кушу и Курапагу вырыть ее до ихъ ухода. Сюда надо спрятать серебро, которое слишкомъ тяжело для того, чтобы увезти его на катерѣ. Онъ вырѣжетъ изъ рамъ и портреты предковъ и уберетъ ихъ сюда передъ отъѣздомъ.

— Вы сокровище, — сказала Изабелла со вздохомъ; — когда мы приѣдемъ въ ранчо, вы ничего не будете дѣлать, только читать.

Лэди Викторія по-прежнему ходила по террасѣ, не отрывая глазъ отъ огня, покуда дѣвушки обѣдали кусочками поджареннаго мяса и картофеля.

По временамъ слышались взрывы, и грохотъ былъ такъ силенъ, что при нѣкоторомъ воображеніи можно было представить себя въ осажденномъ городѣ.

М-ръ Клэттъ, которому Сугихара отнесъ обѣдъ и предложилъ временно смѣнить его, отвѣтилъ, что онъ останется на своемъ посту и прострѣлитъ голову всякому („тутъ онъ неприлично выразился, миссъ!“) кто вздумаетъ приблизиться къ катеру.

Послѣ обѣда Анна пошла въ кладовую—отбирать бѣлье для больныхъ, а Изабелла подошла къ лэди Викторіи, стоявшей къ ней въ профиль; выраженіе ея глазъ было странное, зачарованное, восторженно-сладострастное.

— Я думала сейчасъ,—машинально отвѣтила она на вопросъ Изабеллы,—что я понимаю, наконецъ, въ чемъ состоитъ конечная цѣль, къ которой мы рвемся въ нашихъ — безумныхъ порою — поискахъ счастья. Это—смерть.

— Что такое?

— Не могу себѣ представить ничего упительнѣе такой смерти въ пламени! — продолжала она глубокимъ груднымъ голосомъ: — я всегда восхищалась Эмпедокломъ, бросившимся въ Этну. Минута, когда этотъ дивный огонь охватилъ бы меня своими объятіями, была бы минутою величайшаго блаженства...

Изабелла схватила ее за плечи и отвела въ сторону.

— Вы не сдѣлаете ничего подобнаго! Во-первыхъ, васъ не пропустятъ сквозь линію огня; во-вторыхъ, вы нужны въ фортъ-Мезонѣ. Анна понесетъ туда корзину съ бѣльемъ для больныхъ и раненыхъ, тамъ работаютъ хрупкія женщины, а у васъ столько силъ и вы можете использовать ихъ вполнѣ. Скоро у васъ будетъ столько дѣла, что этотъ вздоръ вылетитъ у васъ изъ головы. Вы должны пойти. Вотъ и Анна.

— Хорошо, я пойду,—отвѣтила лэди Викторія, напряженіе которой сразу ослабѣло.

Она надѣла шляпу и жакетку, поданныя ей Изабеллою, и та, стоя наверху лѣстницы, видѣла, какъ онѣ стали спускаться, неся вдвоемъ тяжелую корзину.

Изабелла осталась одна. Небо казалось такимъ же краснымъ, какъ и бушевавшее внизу, все шире разливавшееся море огня. Кто-то высчиталъ въ послѣдствіи, что столбы дыма, поднимавшіеся въ высоту, были длиною въ семь миль. Кое-гдѣ по временамъ вспыхивали голубые огоньки, а когда взрывали гдѣ-нибудь домъ, тысячи золотистыхъ искръ напоминали гигантскій фейерверкъ.

Въ бинокль она видѣла людей, распростертыхъ на землѣ, похожихъ на войско послѣ боя.

Она изумлялась тому, что гибель любимого города не вызываетъ въ ней сожалѣнiя. Онъ казался ей живымъ существомъ, получившимъ должное возмездiе за пожранныя имъ сердца, разбитыя жизни. Удивлялась она и тому, что не тревожится о Гвиннѣ. Быть можетъ, какъ и его мать, она была увѣрена, что онъ не можетъ погибнуть. Она какъ-то не вѣрила въ жизнь безъ него.

Въ два часа она легла и, уходя съ веранды, видѣла, что огонь уже подбирается къ холмамъ.

X.

Утромъ послѣ завтрака Сугихара убралъ въ яму серебро; Изабелла тоже уложила въ мѣшокъ наиболѣе цѣнныя вещи. Японецъ объяснилъ, что взрывы приносятъ мало пользы, такъ какъ взрываютъ не скалы, а только домъ. Войско не вытѣпшывается, а мѣръ—въ подчиненiи у капиталистовъ.

Изабелла на минуту испугалась, увидѣвъ пламя, восплазвшее на холмѣ; ей представилось, что оно охватило и восточный склонъ. Небо казалось совсѣмъ чернымъ, и лишь подобный сургучной печати дискъ указывалъ положенiе солнца. Жара была ужасающая, взрывы не прекращались, но они не могли заглушить рева пламени и треска падающихъ стѣнъ. Пепелъ сыпался какъ снѣгъ и дымъ разѣдалъ глаза.

Кварталь, расположенный у подножiя холма и состоявшiй главнымъ образомъ изъ большихъ деревянныхъ построекъ, былъ, буквально, сметенъ колоннами огня въ какой-нибудь часъ; затѣмъ пламя перекинулось на склоны, извиваясь какъ живое чудовище, поиграло съ ними, отступило и вдругъ устремилось на Nob-Hill.

Изабелла входила по временамъ въ домъ и погружала лицо въ чашку съ водою, но затѣмъ снова возвращалась къ своему посту. Изъ академiи художествъ выносили вырѣзанныя изъ рамъ картины; солдаты прикладами выгоняли многихъ вѣрныхъ слугъ, не желавшихъ покидать домовъ своихъ господъ.

Домъ изящной архитектуры, съ ихъ арками и колоннами въ развалинахъ, смутно напоминали—въ колоссально увеличенномъ видѣ—римскiй форумъ и Палатинскiй холмъ.

Внезапно, еле вѣря своимъ глазамъ, Изабелла увидѣла моторъ, который, развивая возможную скорость, вынесся изъ California-Street, уже объятый пламенемъ, и направился къ Русскому холму. Она знала, что въ немъ—Гвиннъ. Черезъ минуту Гоферъ высадилъ его, и помчался по Jackson-Street.

Изабелла узнала Гвинна по фигурѣ; онъ былъ черенъ какъ угольщикъ и волосы у него обгорѣли. Онъ попросилъ прежде всего умыться. Воды скоро не будетъ.

— Сейчасъ. А закусить хотите?

— Нѣтъ, я съѣлъ нѣсколько сэндвичей.

Черезъ минуту онъ вернулся; теперь его можно было узнать, хотя его костюмъ цвѣта хаки былъ весь черный и прогорѣвшій; волосы съ одной стороны тоже обгорѣли, и казалось, что онъ вышелъ изъ лазарета.

— Счастливо мы проскочили,—сказалъ онъ, садясь противъ нея:—мы не знали, доберемся ли мы сюда, или попадемъ въ подобіе жерла вулкана?.. Я отдохну съ вами нѣсколько минутъ и затѣмъ побѣду снова. Листеръ передалъ вамъ мое порученіе? Я видѣлъ мать мою и Анну часъ назадъ. Вы должны сейчасъ же уѣхать.

— Скажите мнѣ, чтѣ вы дѣлали?—спросила она уклончиво.

— Я жилъ!—отвѣтилъ онъ:—никогда во всю мою жизнь я не жилъ такъ интенсивно! За эти два дня я постоянно былъ на волоскѣ отъ смерти, и сознаніе, что мы боремся нашими слабыми силами въ союзѣ съ плодами тысячелѣтней культуры противъ могущественной стихіи,—это сознаніе преисполнило меня радостью жизни, какую я могъ бы узнать еще третьяго дня, если бы вы были тогда такою, какъ сегодня...

Онъ съ минуту молча смотрѣлъ на нее, но не чувствовалъ потребности привлечь ее къ себѣ. Все это—въ возможномъ, но уже совсѣмъ иномъ будущемъ. Сегодня душа его была настроена очень высоко; онъ чувствовалъ себя не столько человѣкомъ, сколько борцомъ, отстаивавшимъ каждую пядь земли отъ захвата грознаго врага.

— Боже мой, чтѣ это за люди!—вырвалось у него:—этотъ Комитетъ Пятидесяти съ м-ромъ Филэномъ во главѣ! Они уже говорятъ о новомъ городѣ. Вчера были созваны на совѣтъ архитекторы. А сколько дѣловой, предпримчивой молодежи, жаждущей работы! Они говорятъ лишь о безграничныхъ возможностяхъ будущаго. Я читалъ, что нѣчто подобное происходило въ Лондонѣ послѣ великаго пожара: такой же необычайный подъемъ духа. Это самая удивительная вещь на свѣтѣ—быть въ состояніи безусловно уважать человѣчество. Сегодня въ немъ умерли всѣ трусливыя и себялюбивыя черты... Скоро мы снова станемъ пионерами. Помните, я какъ-то сожалѣлъ, что мнѣ не удалось работать надъ созиданіемъ новаго города? И вотъ, мы вернулись къ пятидесятымъ годамъ. Работы и борьбы будетъ много, но я вѣрю въ успѣхъ...

Онъ всталъ, и она, желая удержать его, спросила:

— Вы не спали?

— Мы съ Гоферомъ забрались подъ утро въ пустой домъ на Western-Addition и проспали часа три. Теперь мнѣ пора... Я долженъ былъ повидать васъ и сказать, чтобы вы сейчасъ же уѣзжали.

— Я не хочу оставлять городъ.

— Вы должны. До полудня домъ загорится, а еще ранѣе этого васъ выселятъ. Можно спасти восточную часть отъ Van-Ness-Avenue, такъ какъ мэръ согласился, наконецъ, взорвать скалы... Я везу динамитъ. Если бы я увидѣлъ Русскій холмъ въ огнѣ и не былъ увѣренъ, что вы находитесь въ безопасности, это лишило бы меня мужества, а оно нужно мнѣ.

— Я могу уйти въ фортъ-Мезонъ.

— Я хочу знать, что васъ нѣтъ въ городѣ. Матери моей здѣсь лучше, она вся ушла въ дѣло и отказывается уѣхать. Я не настаиваю. Тамъ она въ безопасности. Никакой пожаръ не можетъ перекинуться черезъ песчанныя дюны, и ей нужно занятіе. Но вы должны уѣхать. Меня измучила бы тревога, а я не долженъ знать личныхъ чувствъ.

— Хорошо. Я уѣду.

— Какъ только прекратится пожаръ, я поѣду за вами, мы обвѣнчаемся и поселимся въ какомъ-нибудь шалашѣ, какъ пионеры 49-го года. Тогда у васъ будетъ довольно работы. Теперь прошу васъ, освободите меня отъ тревоги за васъ. Такъ вы ѣдете сейчасъ же? Катеръ еще здѣсь.

— Я ѣду сейчасъ.

Они простились, и черезъ минуту она съ узломъ на плечахъ уже спускалась съ холма. Позади нея шель Сугихара съ портретами предковъ подъ одною мышкой и со своею библіотекой — подъ другою. М-ръ Клеттъ, завидя ихъ, вскрикнулъ отъ радости. На пристани толпились мексиканцы и итальянцы, недружелюбно на нихъ поглядывавшіе. Тутъ же она замѣтила семью китайцевъ, находившуюся въ отчаянномъ положеніи. Женщина ростомъ съ дѣвочку, великолѣпно одѣтая, прислонилась къ стѣнѣ, не будучи въ состояніи двинуться далѣе; лицо ея исказилось отъ боли въ ногахъ и отъ страха. Хорошенькая дѣвочка лѣтъ трехъ, въ шелку и вышивкахъ, изливала свое горе на обще-дѣтскомъ жаргонѣ; нянька старалась утѣшить ее, а молодой мужъ не могъ помочь жевѣ, такъ какъ онъ несъ въ рукахъ тяжелый ящикъ.

Изабелла, радуясь возможности кому-нибудь помочь, велѣла ему передать ящикъ м-ру Клетту и взять на руки жену, чтобы

перенести ее на бортъ; за ними послѣдовала нянька съ ребенкомъ—и катеръ отчалилъ. Изабеллѣ невольно вспоминалась лодка бѣглецовъ изъ Помпеи.

Она нѣсколько разъ оборачивалась въ сторону горящаго города: на фонѣ красной завѣсы огня поднимались столбы пламени, гонимые клубящимися массами дыма. Загорѣлся и Fairmont-Hotel; квадратная бѣлая масса камня ярко выдѣлялась на фонѣ пожара. Сотни оконъ казались мѣдными щитами. Послѣднее, что она видѣла, когда катеръ повернулъ въ заливъ Санъ-Пабло, была волна пламени, охватившая Телеграфный холмъ и бѣгущія передъ нею тысячи черныхъ пигмеевъ.

Былъ чудный мирный вечеръ, когда катеръ вошелъ въ Розуотэрскій заливъ. Озѣра были озарены слабымъ отблескомъ зари. Птицы пѣли, люди сидѣли въ садахъ и паркахъ въ тѣни деревьевъ. Рыболовъ плылъ въ челнѣ, возвращаясь домой съ уловомъ. Если бы не блѣдное зарево на югѣ и не отдаленный гулъ, похожій на гулъ побѣдоноснаго войска, ничто не напоминало бы о томъ, что дѣло цивилизаціи остановилось и что великій городъ выгораетъ до тла.

Съ англійск. О. Ч.



ИЗЪ ПѢСЕНЪ ОБЪ УТРАЧЕННОЙ

Принца Э. Шенанха-Баролата *).

1.

Дышало все въ лучахъ весны
Весеннимъ сладкимъ забытемъ.
Мы шли, въ мечты погружены,
Священной рощею — вдвоемъ.

Звучалъ рожокъ тамъ за холмомъ.
И я привлекъ ее на грудь;
Она сказала:— „Близокъ домъ!“ —
И краткимъ намъ казался путь...

Въ осенній день въ послѣдній разъ
Опять я тѣмъ же шелъ путемъ,
Гдѣ улыбнулась мнѣ на часъ
Любовь обманчивымъ лучомъ.

Щемила сердце мнѣ тоска
По той веснѣ, что не вернуть!
Вдали—ни звѣздъ, ни огонька,
Лишь сожалѣній долгій путь!

*) Извѣстный нѣмецкій поэтъ школы Гейне, скончавшійся въ маѣ текущего года, былъ весьма цѣнимъ нѣмецкой критикой; кромѣ своей лирики, онъ знакомъ читателямъ нашего журнала своими рассказами: „Гражданская смерть“ и „Толленштейнъ“.

2.

Ты подала безмолвно руки,
Въ глазахъ твоихъ была печаль,
И солнце скрылось въ часъ разлуки,
И мертвою казалась даль.

Лица и стана очертанья
Я видѣлъ словно въ смутномъ снѣ,
И отъ опушки:— „До свиданья!“ —
Еще разъ донеслось ко мнѣ.

Кукушка тихо куковала,
А на холмы и гладь озеръ—
Вдругъ дождевое покрывало
Накинуло свой темный флёръ.

Ты, подъ давленіемъ суровымъ
Мнѣ противъ воли измѣня,
Своимъ любви послѣднимъ словомъ
Утѣшить думала меня.

Въ лучахъ посѣва, въ блескѣ жатвы—
Проходить годы надо мной,
И вѣрю я, какъ слову клятвы:
— „Мы свидимся въ странѣ иной!“

3.

Какъ нѣжное видѣнье, предъ поэтомъ
Прошелъ въ быломъ твой образъ дорогой,
Я ждалъ тебя, —но этимъ кроткимъ свѣтомъ
Здѣсь озаренъ очагъ другой.

Безъ ропота, съ покорною печалью
Я трудъ свершу. Какъ пахаря соха
Сверкаетъ межъ бороздъ своею сталью —
Такъ заблеститъ и сталь стиха.

Я обману тебя безстрастнымъ видомъ:
Душевныхъ бурь, что раздирають грудь,
Какъ вѣрный другъ я предъ тобой не выдамъ,
И, можетъ быть, когда-нибудь

Осенній свѣтлый день придетъ, голубка, —
Душѣ мила дней грустныхъ красота, —
Когда отъ горестнаго кубка
Я оторву навѣкъ уста...

Вотъ ты одна... Глубокимъ размышленьемъ
Любимый свѣтлый взоръ твой омраченъ,
Прикованъ онъ къ пылающимъ полѣньямъ,
А за окномъ ты слышишь вѣтра стонъ.

Ты уронила книгу на колѣни,
Въ былое ты уносишься въ мечтахъ,
И по лицу скользятъ порою тѣни,
Дрожить вопросъ безмолвный на устахъ:

— „Кто былъ его послѣднею любовью?
Изъ-за кого страдалъ онъ тяжело?
Кто—женщина, изъ-за которой кровью
Поэта сердце изошло?“—

О. Чюмина.



ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ ДѢВУШКИ

— *Claude Farrère. Mademoiselle Dax, jeune fille.—Paris, 1908.*

Окончаніе.

VII *).

Въ Монте-Карло было еще мѣсяца четыре до начала сезона. Только профессиональные игроки, да кое-какіе мѣстные жители, прїѣзжіе изъ Каннъ, Ниццы, Ментона, гуляли по садамъ, по знаменитой террасѣ и по салонамъ казино, гдѣ еще не видно было шикарной зимней публики.

— Тутъ нѣтъ ни души,—сказалъ Бертранъ Фужеръ, выходя изъ экспресса за три недѣли до того.

— Но теперь, зато, время самыхъ багровыхъ закатовъ солнца,—отвѣтила Карменъ де-Ретцъ.

Покинувъ Сэнъ-Сэргъ, они сѣхались въ Женевѣ и оттуда поѣхали вмѣстѣ на Ривьеру. Фужеръ предложилъ сначала для этого „почти свадебнаго путешествія“ менѣе „отшельническій“ маршрутъ.

— Поѣдемъ въ Эксъ, въ Трувилль—тамъ еще мы можемъ застать кое-кого,—говорилъ онъ.

— А вамъ нужна публика, для дуэта, который мы соби-
! ямся пѣть?—насмѣшливо спросила Карменъ.

Въ отелѣ они заняли отдѣльныя комнаты. Этого потребовала
! рменъ.

— Не изъ стыдливости или боязни передъ толками, —

*) См. выше: августъ, стр. 697.

объяснила она. — Но я люблю самостоятельность... И затѣмъ еще одно очень прозаическое соображеніе: я желаю сама платить по моимъ отельнымъ счетамъ.

— Послушайте, однако...

— Да, милый мой, это—непремѣнное условіе. Мы будемъ вездѣ и всегда платить каждый за себя. Я не богата, и потому не могу безъ урона ни отъ кого ничего принять. Вы, къ тому же, не богаче меня...

— Именно потому и я...

— Нѣтъ, Фужеръ, другъ мой, поймите меня разъ навсегда и не смотрите на меня ни какъ на женщину полусвѣта, ни какъ на свѣтскую куклу. Я сошлась съ вами по собственному желанію, но остаюсь при этомъ равною вамъ: То, что мы нравимся другъ другу, не должно мѣшать намъ быть свободными въ нашихъ отношеніяхъ. Вотъ почему я не разрѣшаю вамъ ни предлагать мнѣ деньги, ни просить моей руки.

— Я не вижу никакого отношенія...

— Отношеніе такое же, какъ между наймомъ и покупкой. Я отказываюсь отъ того и другого. Карменъ де-Ретцъ въ достаточной степени феминистка, чтобы никогда не стать ничьей собственностью...

— Берегитесь, — настанетъ день, когда вы влюбитесь, и тогда...

— Неблагодарный!.. Развѣ я теперь не влюблена, и не доказываю вамъ это?..

— Да, конечно. Но все-таки...

Она ударила его вѣеромъ.

Они устроили жизнь съ полной независимостью другъ отъ друга, но не злоупотребляли условленной свободой и почти никогда не разставались. Первые дни прошли въ постоянныхъ экскурсіяхъ. Но вскорѣ Карменъ стала тяготиться полной праздностью и принялась работать по нѣсколькимъ часамъ въ день. Либретто „Дочерей Лота“ было уже закончено, и Карменъ задумывала новый романъ.

— Заглавіе уже придумано?—спросилъ Фужеръ.

— Заглавіе есть... но кромѣ него почти ничего еще нѣтъ. Плохо тутъ какъ-то работается. Монте-Карло—очаровательное мѣсто, но я чувствую какое-то отупѣніе.

— Обычное дѣйствіе здѣшняго климата... Это пройдетъ. А какое же заглавіе будущаго романа?

— Очень простое: „Совсѣмъ одна“.

— Вотъ какъ! Что же... книгу эту можно будетъ читать дѣтямъ моего возраста?

Конечно, въ число развлеченій входили также рулетка и trente et quarante.

И уже на вторую недѣлю Карменъ де-Ретцъ, которая не умѣла ничего дѣлать наполовину, проиграла всѣ деньги до послѣдней стофранковой бумажки.

— Все равно,—беззаботно сказала она.—У меня еще есть резервъ: деньги за четырнадцать изданій моей послѣдней книжки. Я еще не трогала этихъ денегъ. Я получу чекъ черезъ три дня и постараюсь отыгаться.

— Вотъ этого желанія я и боялся больше всего.

— Милый мой, родъ человѣческій дѣлится на двѣ семьи: на игроковъ и на нотариусовъ. Я очень уважаю вторую, но сама принадлежу къ первой. Вы это осуждаете?

— Ничуть... Тѣмъ болѣе, что мы, повидимому, сродни. Я не зналъ до сихъ поръ, что принадлежу къ игрокамъ, но во всякомъ случаѣ семьѣ нотариусовъ я чуждъ.

Фужеръ и Карменъ были очень оригинальной влюбленной парочкой. Они весь день вздорили и преслѣдовали другъ друга веселыми эпиграммами и насмѣшками.

Иногда только, объединенные общей любовью къ прекрасной природѣ и широкимъ горизонтамъ, они предавались молчаливымъ восторгамъ. Но уже черезъ минуту они снова начинали поддразнивать и преслѣдовать другъ друга...

Можетъ быть, они изъ гордости старались скрыть другъ отъ друга истинные размѣры того, что они называли преходящимъ увлеченіемъ.

Однажды вечеромъ, 13 октября, они кончили обѣдъ и сидѣли на террасѣ ресторана, любуясь мягкой ночью послѣ багроваго заката, который они ходили смотрѣть на Капъ-Мартинъ. Вдругъ Карменъ поднялась, какъ бы желая стряхнуть овладѣвшую ея грусть.

— Фужеръ,—сказала она.—Я вамъ еще не сказала...

Она раскрыла сумочку, висѣвшую у пояса, и вынула оттуда чекъ синихъ билетовъ.

— Это и есть вашъ чекъ?

— Да. Я его сегодня размѣняла. Мы провели сегодня очень чутательный день. Я никогда не забуду это японское солнце

среди итальянскихъ деревьевъ... Но послѣ двухъ часовъ экстаза нужно вернуться къ дѣйствительности. Я иду въ казино.

— Все-таки... подумайте. Ваша сумочка, я вижу, туго набита.

— Тутъ пять-тысячъ-шестьсотъ.

— Вы не думаете, что было бы благоразумнѣе оставить въ кассѣ отеля... нѣкоторый резервъ?

— Зачѣмъ?

— Родъ человѣческій дѣлится на двѣ семьи, и вы сами сказали, что не принадлежите къ семьѣ нотариусовъ.

— Вы меня плохо знаете. Я достаточно взрослый человекъ, чтобы остановиться во-время даже во время игры.

Когда они вошли въ казино, маленькая сумочка у пояса была попрежнему туго набита.

Въ игорныхъ залахъ было довольно пусто. Нѣсколько столовъ для рулетки были даже покрыты чехлами. Но играть было зато удобнѣе. За стульями не тѣснились играющіе стоя, за немѣнѣемъ свободныхъ стульевъ, и крупье, не обязанные зорко слѣдить за ставками, быстрѣе вели игру.

Въ двухъ первыхъ залахъ „работали“ шесть рулетокъ подл непрерывный перезвонъ золота и серебра. Карменъ пренебрежительно прошла мимо нихъ, направляясь къ святилищу въ глубинѣ залы. Тамъ игра въ trente et quarante шла безшумно и велась болѣе крупно. Какъ-разъ въ эту минуту одинъ игрокъ поднялся съ мѣста. Карменъ сѣла на его мѣсто, взяла карточку и булавку и стала отмѣчать удары.

Фужеръ, стоя за нею, слѣдилъ за игрой. Черезъ минуту, види, что она еще не начинаетъ, онъ предложилъ нескромный вопросъ:

— Что же, еще не пробилъ счастливый часъ?

Карменъ раздраженно пожала плечами.

— Пойдите поищите меня за рулеточными столами,—сказала она, прогоняя его.

Онъ со смѣхомъ отошелъ, дѣйствительно пошелъ къ рулеткѣ и поставилъ пять франковъ на нумеръ, который вздумала напрогочить ему стоявшая у стола молодая особа, жаждавшая видимо новаго знакомства. Онъ проигралъ ставку, слегка полюбезничалъ съ хорошенькой, но неудачной пророчицей; потомъ, вспомнивъ о Карменъ, пошелъ посмотреть, что съ нею дѣлается.

Карменъ играла крупную игру. Фужеръ сразу увидѣлъ, что передъ нею нѣтъ ни одного лудора: все только стофранковыя золотыя „плаки“ и крупные банковые билеты.

— Ай! — пробормоталъ онъ съ безпокойствомъ. Сѣвъ противъ нея, онъ слегка кашлянулъ.

Она подняла глаза и увидала его. Онъ попытался остановить ее глазами, но она съ вызывающимъ видомъ толкнула три сто-франковика на красное поле. Крупье разложилъ карты.

— Шесть... девять... Красный проигрываетъ и двѣтъ.

— Кхе... кхе... — каплянулъ снова Фужеръ, печально указывая на три монеты, которыя сгребла лопаточка крупье.

Карменъ, раздосадованная его вмѣшательствомъ, развернула билетъ въ пятьсотъ франковъ и бросила на черное.

„Она съ ума сошла!“ — съ ужасомъ подумалъ Фужеръ.

Вышелъ красный.

— Ахъ! — громко произнесъ Фужеръ.

Карменъ взглянула на него съ бѣшенствомъ и взяла въ руки тысячный билетъ.

Фужеръ быстро всталъ, обогнулъ столъ и нагнулся къ уху Карменъ.

— Умоляю васъ, — сказалъ онъ, — будьте благоразумны. Вотъ какъ вы умѣете останавливаться въ-время!

— Уходите! — сердито отвѣтила она. — Сколько разъ я должна вамъ повторять, что вы приносите мнѣ несчастье?!

Онъ тоже сталъ кипятиться.

— Бросьте, наконецъ, это безуміе! — сказалъ онъ. — Сколько вы проиграли?

— До васъ я выигрывала. Уходите, говорю вамъ!

— Ни за что. Я останусь и не позволю вамъ дѣлать глупостей.

— Вотъ какъ! Не дадите?

Онъ сдѣлалъ усиліе надъ собой и еще разъ спокойно сталъ уговаривать ее перестать играть. Они говорили тихо, но ихъ продолжительное перешептываніе стало обращать на себя вниманіе сосѣдей. На нихъ стали смотрѣть. Карменъ это замѣтила.

— Замолчите! — властно сказала она.

Она бросила тысячу франковъ на столъ.

— На красное, — сказала она крупье.

Фужеръ нѣсколько секундъ неподвижно стоялъ, точно парализованный сознаніемъ своей безпомощности. Потомъ вдругъ ему пришла въ голову странная мысль:

— На черное! — поспѣшно крикнулъ онъ. — Тысяча франковъ объявлена.

Онъ поспѣшно вынулъ изъ портфеля единственный находившійся тамъ крупный билетъ. На столѣ лежали два билета Фужера и Карменъ, какъ два противника на полѣ битвы. Карменъ умленно подняла брови. Но уже крупье раскладывалъ карты:

— Два... пять... красный проигрываетъ...

Лопатка быстро подхватила проигранный билетъ и положила его на выигранный. Фужеръ взялъ оба билета и опять наклонился къ Карменъ.

— Я вамъ говорилъ, что помѣшаю вашему безумію. Проигрывайте сколько угодно, я буду играть противъ васъ... и верну вамъ вашъ проигрышъ.

Она вся вздрогнула отъ гнѣва и хотѣла подняться. Но ее удержали соблазняющія слова:

— Игра начинается, господа...

Она черезъ плечо взглянула на Фужера. Онъ ждалъ, твердо рѣшивъ ставить противъ нея. Она увидѣла, что онъ раскрылъ бумажникъ... На нее нашло бѣшенство. У нея оставались еще два билета по тысячѣ и восемь стофранковыхъ золотыхъ. Она толкнула всю кучку:

— А cheval черный и цвѣтъ.

Фужеръ ни на минуту не поколебался:

— А cheval красный и противъ цвѣта.

Онъ бросилъ на столъ свои два билета и прибавилъ къ этому все, что у него было въ портмонѣ и жилетномъ карманѣ—ровно сорокъ лун. Обѣ ставки на противоположныхъ поляхъ были равныя.

Карменъ обернулась къ Фужеру съ выраженіемъ истинной ненависти во взглядѣ. А у Фужера, хотя онъ и дѣйствовалъ въ силу благоразумія, явилось вдругъ жестокое желаніе побѣдить и унижить эту волю, возставшую противъ него, и вызвать слезы на этихъ сверкающихъ дерзкихъ глазахъ. И въ то же время въ немъ загоралась все сильнѣе страстная любовь... Сложное упонительное ощущеніе гнѣва и страсти длилось одну секунду... Потомъ онъ сразу отрезвѣлъ, захваченный опасностью положенія въ игрѣ.

„Лишь бы ударъ не вышелъ въ пользу банка“!

Для этого достаточно было, чтобы оба ряда картъ дали тридцать-одинъ.

Но крупье уже возгласилъ:

— Семь... пять... Красный выигрываетъ, цвѣтъ проигрываетъ.

Раздался сухой стукъ отодвинутаго стула. Карменъ поднялась, спокойная, но очень блѣдная, и царственнымъ шагомъ направилась къ двери. Игроки оборачивались, чтобы поглядѣть на нее. Фужеръ нерѣшительно сдѣлалъ шагъ къ ней, но не рѣшился предложить ей руку. Онъ слѣдовалъ за нею издали.

Карменъ прошла три залы, вестибюль, и уже у выхода Фужеръ, наконецъ, подошелъ къ ней.

— Карменъ!—окликнулъ онъ ее.

Она не повернула головы и, спустившись внизъ въ садъ, быстро пошла по узкой черной аллеѣ магнолій; въ темной чащѣ платье ея свѣтилось, какъ полоса луннаго свѣта. Фужеръ схватилъ ее, наконецъ, за руку.

— Умоляю васъ!—произнесъ онъ.

Она быстро вырвалась отъ него и побѣжала, какъ травленный звѣрь, по направленію къ высокой крутой террасѣ надъ моремъ. Фужеръ испугался и побѣжалъ за ней. „Она обезумѣла отъ бѣшенства и на все способна“,—подумалъ онъ. Но нѣтъ,—прибѣжавъ первая къ периламъ террасы, она остановилась и облокотилась на перила. Онъ облегченно вздохнулъ, и страхъ его сразу смѣнился нѣжностью.

— Чита, дорогая! — прошепталъ онъ, близко подойдя къ ней.

— Замолчите! — отвѣтила она ледянымъ тономъ, и замолчала сама, глядя въ пространство неподвижнымъ взглядомъ.

Фужеръ сталъ въ нѣсколькихъ шагахъ дальше и тоже сталъ глядѣть на темную пелену моря. Ночь была изумительно тихая, на небѣ сверкали мириады звѣздъ, и великое спокойствіе природы постепенно поворило себѣ мятежныя души стоявшихъ на террасѣ. Ихъ ссора какъ-то постепенно отходила куда-то вдаль, исчезала смутнымъ воспоминаніемъ въ прошломъ. Они забыли про нее. Фужеръ приблизился къ Карменъ. Плечи ихъ вздрогнули при прикосновеніи. Фужеръ обнялъ свою подругу. Вокругъ нихъ царил торжествующая ночь.

Они еще долго стояли рядомъ молча; ихъ взгляды обратились въ одно и то же время на очень синюю звѣзду, такъ ярко сверкавшую, что полоса свѣта ложилась отъ нея дрожащимъ свѣтомъ на воду.

— Сиріусъ, — прошепталъ Фужеръ. Карменъ взглянула на него, потомъ пристально взглянула на звѣзду. Фужеръ сталъ восторгаться вѣчнымъ сверканіемъ звѣздъ, которыя хранятъ и передаютъ, угадая, вновь зажигающимся новымъ свѣтиламъ вѣчное сіяніе,—какъ любящіе передаютъ грядущимъ поколѣніямъ любящихъ свою неизбежную любовь. — Сегодня любимъ другъ друга и, — закончилъ онъ взволнованнымъ голосомъ, — а потомъ будутъ любить мой сынъ и ваша дочь. Страсть и счастье любви вечны.

Карменъ де-Ретцъ смотрѣла уже не на далекую синюю звѣзду, а на Фужера: блескъ его глазъ манилъ ее... Издали раздался бой башенныхъ часовъ.

Карменъ выпрямилась. Фужеръ обнялъ ее за талію, и она не противилась.

Но вдругъ она вся встрепенулась, возмущившись. Фужеръ, сжимая ея пальцы, хотѣлъ всунуть ей въ руку маленькую шелковистую пачку синихъ банковыхъ билетовъ.

— Нѣтъ... нѣтъ!

— Возьми... умоляю... они твои.

Онъ бурно цѣловалъ ее. Она смягчилась, поддалась, оставила у себя пачку и прошептала нѣжныя, ласковыя слова и обѣщанія.

Они поспѣшно направились въ отель по благоухающему парку. Когда они входили, къ нимъ подошелъ человѣкъ съ подносомъ.

— Письмо для васъ.

Фужеръ взялъ и, не глядя, сунулъ въ карманъ; затѣмъ онъ поспѣшно послѣдовалъ за Карменъ, которая звала его.

VIII.

Только на слѣдующее утро Фужеръ вспомнилъ о письмѣ, полученномъ наканунѣ. Оно выпало изъ кармана смокинга, и Карменъ, увидавъ его на полу, подняла его.

— Вы потеряли письмо... и даже нераспечатанное.

Она быстро порвала конвертъ и взглянула на письмо.

— Отъ женщины... А вы сунули въ карманъ и забыли. Хорошо!.. Ну, ужъ я вамъ не стану писать длинныхъ писемъ, когда мы разстанемся... Да, я и не подумала: мнѣ полагается сдѣлать вамъ сцену ревности. Ну, теперь ужъ поздно. Вотъ вамъ ваше письмо.

Фужеръ еще лежалъ въ постели. Онъ взялъ протянутое письмо и, сидя, сталъ лѣниво читать. Но съ первыхъ же словъ онъ вдругъ оживился.

— Вотъ неожиданность!—Карменъ подошла къ нему.—Читайте,—сказалъ онъ.

Она подѣла къ нему, и они стали читать вдвоемъ.

„Другъ мой, я не знаю, что со мной станется. Я очень несчастна. Вокругъ меня недобрые люди. Только вы и мадамъ Терьенъ жалѣли бѣдную Алису. Я обращаюсь поэтому къ вамъ

за совѣтомъ... и за защитой... Мнѣ очень тяжело. Я вамъ все объясню: прежде всего, моя свадьба разстроилась. Мой женихъ не любилъ меня. Его привлекало только мое приданое. Мое самолюбіе очень страдало, когда я это поняла, но я все-таки съ этимъ примирилась. Мой духовникъ постоянно твердилъ мнѣ, что для женщины главное—не то, чтобы ее любили страстной любовью, а чтобы у нея былъ мирный семейный очагъ. Я покорилась. Но третьяго дня я вдругъ поняла, что мой женихъ не только не любить, но и не уважаетъ меня. Тогда я объявила, что не выйду за него. Это было ужасно. Мои родители пришли въ бѣшенство, готовы были, кажется, избить меня. Но я все-таки не уступлю. Чтѣ со мной станется — не знаю. За доктора Барье я не выйду замужъ — это рѣшено: никто не можетъ заставить меня сказать „да“ въ мѣріи. Но на всякій другой бракъ отецъ мой не дастъ согласія... такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ сказалъ. Къ тому же я никого не знаю, нигдѣ не бываю. У меня нѣтъ ни друзей, ни близкихъ подружекъ: кто же подумаетъ обо мнѣ? Кто будетъ просить моей руки? А жить у родителей еще годы... еще много лѣтъ ненавистной мнѣ жизнью — похоронить всю молодость въ этомъ мрачномъ домѣ, гдѣ всѣ причиняютъ мнѣ страданія—нѣтъ, нѣтъ, я предпочла бы этому все, чтѣ угодно. Но чтѣ значитъ: „все чтѣ угодно“?.. Можно выйти замужъ или остаться старой дѣвой — или же уйти изъ семьи, зарабатывать свой хлѣбъ, давать уроки... Куда уйти? Кому давать уроки? Мнѣ страшно о всемъ этомъ подумать. И у меня нѣтъ никого, кто помогъ бы мнѣ разобраться во всемъ, дать нужный совѣтъ... никого, кромѣ васъ. Но вы далеко, у васъ тысяча дѣлъ и интересовъ, и вамъ некогда думать обо мнѣ.

„А вѣдь сколько есть бѣдныхъ дѣвушекъ, работницъ, приказницъ, которыя работаютъ для пропитанія и не имѣютъ возможности тратить деньги. Онѣ, навѣрное, завидуютъ мнѣ, встрѣчая меня на улицѣ: вѣдь я богата, хорошо одѣваюсь и у меня четыреста тысячъ приданого—четыреста тысячъ, соблазнившія доктора Барье. А между тѣмъ, кто болѣе достоинъ жалости: я или онѣ?“

„Вотъ уже шесть мелко исписанныхъ страницъ. Я вамъ надоѣла... простите. Но будьте добрымъ, отвѣтите мнѣ, скажите мнѣ что-нибудь доброе, милое, какъ тогда, въ Сѣнь-Сѣргѣ, когда я гуляла по утрамъ. Помните вечеръ послѣ грозы въ шалѣ дамъ Терень? Помните Сигналъ?“

„Помогите мнѣ. Облегчите мою судьбу.—Алиса Даксъ.

„Пишите „до востребованія“, почтовое отдѣленіе улицы въ, АМД“.

Письмо выпало изъ рукъ Фужера и упало на колѣни Карменъ. Наступило молчаніе. Карменъ первая прервала его. Она снова взяла письмо въ руки, снова прочла нѣсколько строчекъ и бросила его на кровать со словами:

— Бѣдная дѣвочка!

Она стояла, закинувъ руки за голову, и задумалась. Ея неподвижная, полуобнаженная фигура казалась прекраснымъ мраморомъ, ожившимъ подъ лучами солнца. Вдругъ она отступила на нѣсколько шаговъ и подошла къ письменному столу. На немъ разбросано было нѣсколько исписанныхъ листовъ бумаги съ большими помарками: первые наброски новаго романа „Совсѣмъ одна“...

Карменъ стала перебирать странички и нахмурилась. За нею Фужеръ снова взялъ въ руки письмо Алисы.

— Бѣдная дѣвочка! — сказалъ онъ въ свою очередь. — Что я могу сдѣлать, чтобы помочь ей?

Карменъ смяла нервнымъ движеніемъ листокъ рукописи.

— Вы можете сдѣлать все, что угодно, милый мой... Прежде всего вы можете жениться на ней.

Фужеръ изумленно взглянулъ на нее.

— Жениться? Вы съ ума сошли? — воскликнулъ онъ.

— Конечно, жениться. Неужели вы не видите, что дѣвочка влюбилась въ васъ?

— Что за глупости! Жениться на Алисѣ Даксъ!.. И вы... вы предлагаете мнѣ жениться!

— Что же тутъ удивительнаго?

— Какъ что? Ну, знаете ли... Я начинаю сомнѣваться, въ здоровомъ ли умѣ я... и вы. Соболаговолите обратить вниманіе на то, въ какихъ мы оба туалетахъ...

— Бѣдный мой другъ, вы положительно смѣшны!.. Что съ вами?.. Изъ-за того, что мы, я и вы, были милы другъ съ другомъ... изъ-за того, что эта комната, если бы она обладала даромъ слова, могла бы кое-что поразсказать... изъ-за этого одного вы воображаете, что мы—любовная чета въ романтическомъ и условномъ значеніи этого слова? Вы воображаете, что я женщина, которая боится, чтобы ее не „бросили“? Вы воображаете, что вы связаны?.. Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ... Мы свободные товарищи, которыхъ даже чувственный капризъ не можетъ запретъ въ одно ядро. У меня—мои писательскія задачи, у васъ—ваша дипломатическая карьера. У cadaго изъ насъ свое дѣло. Наши дороги встрѣтились. Я объ этомъ не жалѣю. Но я отказываюсь свернуть съ моего пути, чтобы вступить на вашъ. Я и рѣшила, что

когда мы дойдемъ до перекрестка, я протяну вамъ руку на прощанье, не требуя отъ судьбы ни четверти часа отерочки.

— Благодарю васъ. Вы замѣчательно любезно указываете на дверь „товарищу“.

— Не говорите глупостей. Вы отлично сами знаете, что я права. Довольно спорить. Выяснимъ положеніе просто, безъ фразъ. Начинаю съ себя. Я уже нѣсколько дней, какъ замѣчаю, что климатъ Монте-Карло не по мнѣ: живя тутъ, въ вашемъ обществѣ, я становлюсь лѣнивой, разсѣянной. Работа не клеится. Мой талантъ какъ-то измѣняется мнѣ. Вамъ тоже пора вернуться въ посольство. Молодому и блестящему секретарю не пристало слишкомъ долго бродить по свѣту въ роли Мюссэ и въ обществѣ какой-то самозванной Жоржъ-Зандъ. Словомъ, намъ слѣдуетъ разстаться. Ну, а что касается наивной дѣвочки, которая пишетъ такіе нѣжные письма, то она недурна собой, довольно хорошо воспитана — въ свѣтскомъ смыслѣ, — не безъ средствъ. Она васъ любитъ. Женитесь на ней. Едва-ли вы могли бы сдѣлать лучшую партію.

— Весьма признателенъ... Вы удивительно милы.

— Да почему? Алиса Даксъ — отличная невеста для васъ. Вы — милый молодой человѣкъ, но у васъ нѣтъ ни гроша.

— Ни гроша... это преувеличено.

— Во всякомъ случаѣ не много грошей. Я знаю, что секретари посольства могутъ жениться на богатыхъ русскихъ князьяхъ, но вы думаете, что молоденькая французская буржуазка не стоитъ свѣтскихъ дѣвицъ другихъ странъ? И приданое въ четыреста тысячъ тоже не такъ часто дается въ руки.

— Вы, можетъ быть, правы. Но молоденькихъ буржуазокъ много во Франціи.

— Не будьте слишкомъ разборчивы. Другую, можетъ быть, не отдадутъ за васъ... Да и эта не такъ-то легко вамъ достанется. Держу пари, что вамъ весьма и весьма трудно будетъ добиться ея руки.

— Положимъ...

— Вы, кажется, готовы жениться на Алисѣ Даксъ, чтобы доказать, что я ошибаюсь?

— Согласитесь, что ей будетъ тогда чѣмъ гордиться... Удивительно, до чего всѣ женщины помѣшаны на томъ, чтобы женить людей противъ ихъ воли!

— Со стороны женщинъ, дѣлающихъ это въ болѣе чѣмъ египетскомъ туалетѣ, и когда „люди“ — ихъ же „товарищи“, — это, огласитесь, довольно смѣло. Но вернемся къ главному. Все .

равно, изъ-за чего бы вы ни женились на Алисъ Даксъ, она все-таки будетъ довольна судьбой. Она принадлежитъ къ пороку женщинъ-собачекъ, которыя одинаково любятъ, чтобы ихъ и ласкали, и били,—лишь бы то и другое чередовалось. Какъ-разъ женщина для васъ, Фужеръ. Вы будете мучить ее, постоянно ей измѣнять, смѣяться надъ нею, какъ я надъ вами,—а она будетъ вамъ за все благодарна,—при единственномъ условіи, что вы иногда приласкаете ее—со свойственнымъ вамъ умѣньемъ.

— Очаровательная перспектива... И все-таки я отказываюсь.

— Какъ угодно. Но во всякомъ случаѣ—прощайте... Если эта дѣвочка будетъ проливать слезы, то во всякомъ случаѣ не я въ нихъ буду виновата. Я стала между вами—я уйду.

— Куда?

— Это мое дѣло. Алиса Даксъ не сможетъ упрекнуть меня въ томъ, что я отстранила отъ нея ея избранника.

— Оставьте глупости... Вы сами не понимаете, что говорите. Послушайте, я сейчасъ одѣнусь и уйду. Одѣньтесь и вы и приходите въ Café de Paris. Тамъ мы позавтракаемъ.

— Мнѣ очень жаль, но я не приду къ завтраку. Уже десять часовъ, и у меня едва-едва хватитъ времени уложить сумки къ отходу экспресса.

— Не безумствуйте!

— Я не безумствую, другъ мой. Я говорю вамъ: прощайте!

— Какое гадкое слово!

— Но необходимое. Фужеръ, мой милый товарищъ и другъ! Мы расстаемся, потому что это необходимо и потому что это мудро. Но расстанемся по-хорошему—безъ споровъ, безъ вульгарной ссоры. Я прошу у васъ прощенія за мои насмѣшки; я говорила ихъ, не думая. Я въ душѣ никогда не смѣялась надъ вами. Мы внесли въ нашу мимолетную близость много фантазій, граціи, радости—и думали, что больше ничего не вносили. Но мы забыли пригласить на нашъ пиръ еще одну фею, и она пришла сама—фея нѣжности. Что же дѣлать! Этого по программѣ не полагалось. А теперь приходится уплатить по счету за все—и мы заплатимъ честно и мужественно.

— Чита... Чита... любовь моя!

— Тсс... Чита умерла... Комедія сыграна, не будемъ повторять старыхъ ролей. Уходите, милый товарищъ! Вотъ моя рука. Не для поцѣлуя, а для товарищескаго пожатія. Уѣзжайте скорѣе... Алиса Даксъ ждетъ васъ съ нетерпѣніемъ... А я...

— Что вы?

— Я васъ забуду... Постараюсь сдѣлать это какъ можно скорѣе... Если понадобится...

— То что?..

— Если понадобится, я поищу кого-нибудь, кто бы мнѣ помогъ... Молчите... Между нами все кончено... Женитесь... Прощайте!

— Прощайте. Поворяюсь вашему желанію.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

— Алиса!—раздался на лѣстницѣ голосъ мадамъ Даксъ, и Алиса, одѣтая для прогулки, молча спустилась внизъ, чтобы пойти въ лицей за Бернаромъ.

Алиса уже никогда не выходила теперь въ сопровожденіи горничной. Мать не покидала ее ни на шагъ, повинуваясь строгому приказу мужа, хотя и считала эту предосторожность лишнею, увѣренная, что дочь, выросшая подъ ея материнскимъ попеченіемъ, не заведетъ интриги внѣ дома.

Мать и дочь молча шли по тротуару набережной. Была половина октября, и опадающіе листья платановъ застилали землю. Желтые воды Роны, отягченные осенними дождями, медленно текли подъ низкимъ сѣрымъ небомъ.

— Уже скоро зима,—замѣтила мадамъ Даксъ, чтобы прервать молчаніе. Алиса молча кивнула головой. Онѣ шли скоро, потому что было уже поздно. Подойдя къ лицу уже послѣ того, какъ пробило четыре, онѣ увидѣли высыпавшую изъ дверей толпу школьниковъ; они рассыпались по набережной и примыкающимъ улицамъ. Мадамъ Даксъ обезпеконилась, какъ бы Бернаръ не воспользовался запоздалымъ приходомъ матери и сестры, чтобы добѣжать до улицы Республики. Съ тѣхъ поръ какъ она стала всюду сопровождать дочь, мадамъ Даксъ ознакомилась со вкусами своего сына и не очень довѣряла его благонравію.

— Скорѣй, скорѣй!—торопила она Алису.—Не то онъ опять начнетъ разсматривать что-нибудь неприличное.

Алиса пожала плечами. Не все ли ей равно, прилично или неприлично то, что возбуждаетъ любопытство Бернара. Она шла тому же быстрѣ матери и ежеминутно перегоняла ее.

Бернаръ, дѣйствительно, остановился передъ кіоскомъ. Мадамъ Даксъ побранила его. Мальчикъ благоразумно опустилъ голову ничего не отвѣтилъ; они направились всѣ втроемъ домой.

Дойдя до Театральной площади, Бернаръ, который шелъ впереди, вдругъ остановился какъ вкопанный.

— Посмотрите! — изумленно сказалъ онъ.

— Что такое? — спросила мать.

— Посмотрите на этого господина у входа въ театръ.

— Да, — сказала мадамъ Даксъ, — правда. Это — тотъ господинъ изъ Сэнъ-Сэрга. Помнишь, такой проходимецъ съ виду.

— Изъ Сэнъ-Сэрга? — Алиса быстро подняла глаза и, совершенно растерянная отъ неожиданности, узнала Бертрана Фужера.

Бертранъ Фужеръ вѣжливо поклонился. Потомъ, вынувъ изъ кармана письмо, запечатанное воскомъ, онъ бросилъ его очень явственнымъ движеніемъ въ почтовый ящикъ на площади.

II.

— Кому ты пишешь? — спросила мадамъ Даксъ, неожиданно входя въ комнату Алисы.

— Аббату Бюру.

Алиса указала пальцемъ на заранѣе приготовленный конвертъ. Потомъ прибавила, опустивъ глаза:

— У меня нѣтъ марокъ.

— Ты можешь зайти въ почтовое отдѣленіе на улицѣ Дюгелэнъ и тамъ купить.

Черезъ часъ, мадамъ Даксъ и Алиса, по установившемуся обыкновенію неразлучныя, вышли вмѣстѣ за покупками. Проходя мимо почтоваго отдѣленія, мадамъ Даксъ предпочла подождать на чистомъ воздухѣ.

— Я не выношу духоты, — сказала она. — Зайди одна за маркой. Только поторопись.

Алиса вошла, подождала, пока за ней захлопнулась дверь, и подошла рѣшительнымъ шагомъ къ окошку, надъ которымъ красовалась надпись: „Письма до востребованія“.

— Есть письмо для АМД? — спросила она.

Голосъ ея звучалъ хрипло и лицо сильно покраснѣлось. Бюралисткѣ истинно хотѣлось помучить молодую дѣвушку, которая была красивѣе, чѣмъ она, и спросила о письмѣ съ умоляющимъ оттѣнкомъ въ голосѣ. Она нѣсколько разъ переспросила инициалы, искала цѣлую безконечность въ ящикѣ, переглядываясь ироническими взглядами со своей сосѣдкой-телеграфисткой, и наконецъ вручила Алисѣ длинный синеватый конвертъ, запечатанный черной печатью. Алиса едва успѣла засу-

нута письмо за корсажъ, какъ дверь отдѣленія открылась и вошла мадамъ Даксъ, которой надоѣло ждать у дверей.

III.

Бертранъ Фужеръ, стоя передъ зеркаломъ, перемѣнилъ галстухъ, подвинулъ слегка кончики усовъ и надѣлъ перчатки, предварительно отполировавъ ногти. Затѣмъ онъ позвонилъ и спросилъ, нѣтъ ли для него письма.

— Нѣтъ.

— Хорошо. Я не буду обѣдать. Но вечеромъ пришлете мнѣ наверхъ что-нибудь... холоднаго мяса и бутылку Eau d'Evian.

— Какъ вчера?

— Какъ вчера.

Онъ спустился съ лѣстницы, прошелъ черезъ площадь и пошелъ по аллеѣ каштановыхъ деревьевъ, любясь величественнымъ видомъ памятника посреди площади, видомъ окружающихъ дворцовъ и садовъ.

„Точно не въ Ліонѣ, а въ Римѣ“, — подумалъ онъ. Онъ позвалъ проѣзжавшій мимо фіакръ.

— Въ паркъ „Золотой Головы“.

Фіакръ поѣхалъ медленнымъ шагомъ, повернулъ налѣво...

— Остановитесь...

Они проѣзжали мимо ратуши. Фужеръ быстро высочилъ изъ экипажа и подбѣжалъ къ витринѣ одного магазина. Тамъ стояла молодая женщина и разсматривала выставленные въ окнѣ мѣха. При крикѣ Фужера она обернулась. Это была Карменъ де-Ретцъ.

Очутившись лицомъ къ лицу, они нѣсколько секундъ молча глядѣли другъ на друга. Наконецъ, она расхохоталась.

— Да, — сказала она. — Ліонъ маленькій городъ. Нельзя не встрѣтиться.

— Какъ вы очутились здѣсь?

— Я пріѣхала посмотреть, какъ вы будете ухаживать за вашей будущей невестой.

Онъ смотрѣлъ на нее растерянный, радостный и въ то же время нѣсколько смущенный. Онъ имѣлъ при этомъ такой мѣшной видъ, что Карменъ не могла говорить серьезнымъ тономъ:

— Ради Бога, Фужеръ, не бойтесь меня. Общаю вамъ не ѣсть васъ. Я говорю вамъ полную правду: я пріѣхала посмотреть, какъ вы будете ухаживать за Алисой Даксъ. Мною чадѣло глупое любопытство. Не сердитесь. Мое пребываніе въ

городѣ, гдѣ меня ни одинъ человѣкъ не знаетъ, ничему не можетъ помѣшать. Никто вѣдь не подозрѣваетъ о нашей прежней... дружбѣ. Только, вотъ, я надѣялась не встрѣтиться съ вами. Смѣшно, что мы сразу натыкнулись другъ на друга...

— Я не нахожу въ этомъ ничего смѣшного. Это скорѣе странно... Судьба насъ связываетъ другъ съ другомъ...

— Пустяки. Нить порвалась... Къ тому же я могу васъ сразу успокоить... Я исполнила... то, что сказала.

— Что? Что вы сказали?

— Что я васъ скоро забуду, и что, въ случаѣ надобности, даже...

— Нѣтъ, Карменъ, вы шутите, вы не...

— Да, милый мой. У васъ есть преемникъ. Это было необходимо для твердости рѣшенія. Это совершилось. У меня есть возлюбленный. Здѣсь въ Ліонѣ.

Она стояла передъ нимъ выпрямившись, съ дрожащими губами. Онъ опустилъ глаза. Онъ чувствовалъ странное острое страданіе, но самъ удивлялся, что не ощущаетъ ни гнѣва, ни уязвленного самолюбія. Наконецъ, онъ спросилъ, не особенно впрочемъ желая получить отвѣтъ:

— Кто?

— Не все ли вамъ равно!—отвѣтила она, пожавъ плечами. Это можетъ интересовать меня... да и то... Оставимъ это. Поговоримъ лучше о васъ. Я видѣла Алису Даксъ, видѣла ея мать и даже ея отца. Я очень занята устройствомъ вашего счастья, но дѣйствую очень осторожно. Ваша будущая семья не подозрѣваетъ о томъ, что я здѣсь. Я невидима для всѣхъ... кромѣ васъ.

Она опять засмѣялась... Но смѣхъ прозвучалъ какъ-то несовсѣмъ весело. Фужеръ не слушалъ. Въ головѣ его все перепуталось. Онъ почти машинально снова спросилъ:

— Кто?

Она на этотъ разъ покраснѣла—неизвѣстно почему.

— Опять? Чѣмъ это васъ интересуетъ? „Кто?“ — Она говорила измѣнившимся голосомъ, торопливо, точно стараясь одурманить себя словами.— Да это прямо неприлично, Фужеръ. Развѣ можно спрашивать у женщины, съ кѣмъ она близка. Ну, да, впрочемъ, если вы настаиваете, я вамъ скажу, нарушая всѣ правила приличій. Моего новаго возлюбленнаго зовутъ... вы не можете отгадать?... докторъ Габріэль Барье. Вамъ это имя, кажется, ничего не говоритъ?... Габріэль Барье, бывшій женихъ Алисы Даксъ... Да, онъ самый. Согласитесь, что это справедливо. Мадемуазель Даксъ отняла у меня Бертрана Фужера, я отнимаю у нея

Габріэля Барье. Поблагодарите же меня. Я дѣйствую какъ ваша вѣрная союзница, сразу избавляя васъ отъ самаго опаснаго конкуррента. Связь со мной лишаетъ доктора Барье всякой возможности жениться. Ни одинъ ліонскій отецъ не рѣшился бы выдать за него дочь. Нужно только побольше афишировать нашу близость.

Бертранъ Фужеръ не произносилъ ни слова и, стоя съ опущенными глазами, о чемъ-то сосредоточенно думалъ. Заразившись его молчаніемъ, Карменъ тоже замолчала и веселость ея исчезла.

Фужеръ взялъ ее за руку.

— Карменъ, — тихо сказалъ онъ. — Карменъ! Зачѣмъ вы это сдѣлали? Почему такъ скоро?

Она отступила на шагъ.

— Довольно. Я уже вамъ сказала, почему. Не будемъ возвращаться къ этому, другъ мой. Это лишнее... совсѣмъ лишнее... Ну, а что ваши дѣла? Вѣдь вы, я полагаю, ѣхали на свиданіе?

Онъ сдѣлалъ равнодушный жестъ.

— На довольно проблематическое свиданіе. За Алисой Даксъ очень слѣдятъ. Мнѣ съ большимъ трудомъ удалось предупредить ее о томъ, что есть для нея письмо до востребованія. Съ тѣхъ поръ я каждый вечеръ жду на условленной аллеѣ въ паркѣ прихода моей невѣсты. Когда она придетъ, мы обдумаемъ дальнѣйшій планъ дѣйствій.

— Это очень романтично. А вы давно караулите ее въ паркѣ?

— Два дня... Отъ четырехъ до пяти.

— Поэтичный предвечерній часъ... Хотите, я пойду съ вами?

— Вовсе не хочу, — сказалъ онъ, отстраняя ее движеніемъ руки.

— Да я шутила. Значить, обо всемъ поговорили... Теперь прощайте.

— Я надѣюсь, что еще увижу васъ.

— Надѣюсь, что нѣтъ.

Онъ грустно улыбнулся. И на этотъ разъ она сказала кучеру:

— Въ паркъ „Золотой Головы“.

IV.

Уже темнѣло. Заходящее солнце бросало тусклые лучи на одъ. Фужеръ медленно ходилъ по сырой, мшистой аллеѣ и

остановился передъ условленнымъ мѣстомъ свиданія. Было уже поздно. Очевидно, Алисъ опять не удастся придти. „За ней слишкомъ зорко слѣдятъ, и ей, очевидно, невозможно вырваться“, — подумалъ Фужеръ.

Онъ шелъ подъ сводомъ переплетающихся вѣтвей въ потѣмнѣвшей, таинственной въ этотъ часъ аллеѣ. Вязы были еще зелены, какъ лѣтомъ, но огромныя липы, опавшія раньше другихъ деревьевъ, стояли съ голыми вѣтвями, поднимавшимися вверхъ тонкимъ и нѣжнымъ кружевомъ. Листья ихъ, желтые сверху и серебристые внутри, пестрили землю золотыми и серебряными пятнами. Стройный тополь поднималъ къ небу свою заостренную вершину. Тишина оглашалась только криками невидимыхъ птицъ.

„Хорошо бы,—мечталъ Фужеръ, восхищенный и видомъ, и влажнымъ запахомъ деревьевъ,—хорошо бы гулять по этому ковру мертвыхъ листьевъ, держа за руку взволнованную женщину, которая шла бы молча, не произнося ни слова. Хорошо бы вдыхать эту свѣжесть осенняго лѣса и продолжить прогулку до поздней ночи, отдавая сладкій часъ возвращенія въ темнотѣ. Тогда была бы заслуженной божественная радость трепещущей нѣжности, испытываемой при лунномъ свѣтѣ, при жуткой полумглѣ лѣса... Такъ можно было бы спастись отъ будней и чудомъ войти въ царство, мечты“.

Среди своихъ мечтаній онъ увидѣлъ среди липъ и вязовъ свѣтлое платье. Алиса торопливыми шагами приближалась къ таинственной аллеѣ.

— Здравствуйте, мадемуазель Алиса,—сказалъ Фужеръ.

Онъ говорилъ спокойнымъ, корректнымъ тономъ, какъ при встрѣчѣ въ салонѣ.

Алиса, взволнованная, позволяетъ ему взять ее за руку.

— Какъ мило, что вы пришли! — продолжаетъ Фужеръ. — Удалось вамъ, наконецъ, выйти изъ дому незамѣченной?

Алиса улыбается, но все еще отъ волненія не можетъ ничего сказать.

— А я уже отчаявался, — продолжаетъ Фужеръ. — Думалъ, что и сегодня не придете. Писать вамъ я не рѣшался. Взять письмо на почтѣ вамъ не легче, чѣмъ придти сюда въ паркъ. Да, кромѣ того, письмо ничего не можетъ сказать. Я хотѣлъ видѣть васъ...

Долгое молчаніе. Они гуляютъ подъ густой тѣнью деревьевъ. Алиса прячетъ въ муфту обѣ руки и опускаетъ глаза.

— Представьте себѣ... — Фужеръ нѣсколько колеблется: не

такъ-то легко разговаривать съ нѣмой...—Представьте себѣ, что я получилъ ваше письмо въ Монте-Карло въ среду... поздно вечеромъ. Такъ поздно, что не могъ его сейчасъ же прочесть. Я ждалъ слѣдующаго утра. Но, прочтя, уѣхалъ на слѣдующій день съ первымъ поѣздомъ.

При упоминаніи Монте-Карло, Алиса спотынулась о камешекъ на дорогѣ. Наконецъ, она заговорила глухимъ голосомъ:

— Вы оставили Карменъ-де-Ретцъ въ Монте-Карло?

— Конечно... Т.-е., нѣтъ... мадемуазель де-Ретцъ уѣхала до меня...

— До васъ...—Красивое личико Алисы густо покраснѣло.— До васъ? Такъ вы уже... разстались?

— Конечно... Все уже кончилось... Я вамъ говорилъ въ Сентъ-Сэргѣ: капризъ и больше ничего. Такъ оно и было.

Алиса поднимаетъ глаза. Затѣмъ она снова ихъ опускаетъ и говоритъ почти шопотомъ:

— Однако... Карменъ очень красива.

— Ничего,—говоритъ Фужеръ.

Опять молчаніе, но уже болѣе короткое. Фужеръ чувствуетъ, что лучше отвести разговоръ отъ Карменъ.

— Такъ вотъ видите: я сейчасъ же прискакалъ изъ Монте-Карло въ Ліонъ. Я готовъ помочь вамъ... Только... чѣмъ?

Онъ смотритъ на нее. Лицо ея вдругъ странно поблѣднѣло и голосъ сдѣлался еще болѣе хриплымъ:

— Не знаю,—говоритъ она.

Она очень мила въ своей робости. Когда она медленно ходитъ, въ движеніяхъ ея нѣтъ ничего порывистаго. Тѣнь сумерекъ придаетъ ей утонченность, женственное очарованіе, котораго въ ней нѣтъ днемъ... Она очень хорошенькая...

Фужеръ подходитъ къ ней и беретъ ее подъ-руку. Они идутъ дальше.

— Вы не знаете?.. Обдумаемъ все вдвоемъ...

Они какъ бы случайно свернули съ аллеи на темную боковую дорожку.

— Прежде всего объясните: ваша свадьба разстроилась, вы писали мнѣ. Это, дѣйствительно, исполнѣ рѣшено?

— Да.

— Вы не видѣли больше вашего жениха?

— Нѣтъ.

— Я знаю, что порвали вы. Ну, а онъ... какъ отнесся къ изрыву?

— Не знаю.

Алиса думаетъ и, наконецъ, начинаетъ объяснять:

— Я думаю, что онъ ищетъ другую партію. Онъ сначала разсердился... Папа не хотѣлъ ему говорить, полагая, что я одумаюсь. Онъ поэтому приходилъ къ намъ, какъ всегда. Но я не выходила изъ своей комнаты. Пришлось ему сказать... Вышла сцена съ папой. Онъ ушелъ, хлопнувъ за собой дверь.

— Отлично. Положеніе совершенно опредѣленное. Ну, а вы?

— Я...

Алиса грустно опустила голову. Фужеръ, тронутый ея видомъ, кладетъ руку на муфту и черезъ мягкій мѣхъ ласково жметъ спрятанныя руки.

— Передъ вами цѣлая жизнь, — говоритъ онъ. — Слава Богу, что этотъ глупый бракъ разстроился. Сколько вамъ лѣтъ? Двадцать? Двадцать лѣтъ и такіе черные, совсѣмъ новые, ничего не знающіе глаза... Вашей руки будутъ добиваться многіе; вы выберете достойнаго.

— Нѣтъ, — сказала Алиса, покачавъ головой. — Я вѣдь вамъ говорила: я никого не знаю, нигдѣ не бываю.

— Къ вамъ всѣ придутъ. Неужели вы думаете, что вы можете хотя бы пройти по улицѣ незамѣченной?

— Меня, можетъ быть, замѣтятъ... Но меня не полюбятъ. Любятъ только красивыхъ женщинъ.

— Надѣюсь, вы знаете, что вы красивы?

— Я?

Алиса остановилась съ удивленнымъ видомъ.

— Вы не знали? Что же это — у васъ въ домѣ нѣтъ, что-ли, зеркалъ?

Она не говоритъ ни слова. Она смотритъ на него, взволнованная, дрожащая.

— Вы не знали, что вы красивы, болѣе того — обворожительны — съ вашимъ страстнымъ ртомъ, дѣтскими щечками и чистымъ лбомъ? Вы не знали — вамъ никто не говорилъ, что у васъ тонкій станъ, и что мужчины мечтаютъ о васъ, увидѣвъ васъ хоть разъ? Неужели я первый говорю вамъ о вашей власти надъ всѣми нами? Не отнимайте вашу руку... Вамъ нечего бояться... вы подъ моей защитой, и никто васъ не оскорбитъ. Но послушайте меня и повѣрьте мнѣ... Вѣрьте въ жизнь, вѣрьте въ любовь. Ждите безъ страха и грусти жениха, который придетъ, который уже стучитъ къ вамъ въ дверь... Нужно только, чтобы у васъ хватило смѣлости впустить его наперекоръ всѣмъ враждебнымъ вліяніямъ, какъ у васъ хватило смѣлости на то, чтобы оттолкнуть недостойнаго, не любившаго и не любимаго вами.

Алиса еще больше поблѣднѣла. Дрожь охватила ее всю, и безкровныя губы едва могутъ прошептать:

— Придетъ ли тотъ, кто меня любить... и кого я люблю?

Она неподвижно стоитъ на темной дорожкѣ. Она держится прямо, и только голова слегка наклонена впередъ, точно готовясь получить ударъ — смертельный ударъ. Но смертоноснаго удара не послѣдовало. Ласковая рука обвиваетъ ее плечи и горячій голосъ шепчетъ:

— Кто вамъ сказалъ, что онъ уже не пришелъ?..

Наступаетъ ночь. Глубокая тишина охватила паркъ. Замолкли и птицы, и холодный вѣтеръ, который гонить на небѣ тяжелыя тучи, не спускается къ неподвижной, нѣмой листвѣ.

Алиса медленно возвращается на большую аллею, и Фужеръ мягко обнимаетъ ее за талию. Она не уклоняется...

— Боже! — вспоминаетъ она вдругъ. — Уже совсѣмъ темно... Который же часъ?

— Половина шестого... Развѣ это такъ поздно?

— Все равно... Не беспокойтесь... Я какъ-нибудь выпутаюсь. Одной сценой больше или меньше — не все ли равно? Но теперь я уйду... Такъ значить... прощайте?

— Да... до завтра.

— До завтра?

— Да, завтра я васъ увижу... у васъ.

— Вы придете... къ намъ?

— Конечно... Я хочу прежде всего видѣть вашу мать... и какъ можно скорѣе.

Они подошли къ цвѣтнику. Фужеръ вѣжно цѣлуетъ руку Алисы — немного слишкомъ большую... Алиса, смущенная и счастливая, отворачиваетъ голову... Случайно она замѣчаетъ опущеннымъ взоромъ узоръ цвѣтовъ на лужайкѣ: изъ разноцвѣтныхъ цвѣтовъ неуклюжая фантазія садовника составила фигуру геральдическаго льва — эмблему города Ліона.

— Очень красиво сдѣланъ левъ, — разсѣянно говоритъ она, чтобы заговорить, чтобы нарушить молчаніе, таящее въ себѣ смутную опасность.

Эта фраза сразу охлаждаетъ Фужера. Онъ отпускаетъ руку Алисы, и она быстро убѣгаетъ, торопясь домой...

Скользя какъ тѣнь вдоль стѣнъ, Алиса дошла до родительскаго дома, открыла дверь добытымъ разными хитростями ключомъ и пробралась незамѣтно, снявъ шляпу уже въ передней держа ее за спиной, къ себѣ въ комнату. Слава Богу, никто не замѣтилъ. Сидя у себя на кушеткѣ, она можетъ, закрывъ

глаза, отдаться воспоминаніямъ о прогулкѣ въ паркѣ, рѣшившей ея судьбу.

Она вспоминаетъ предвечерній пейзажъ, вѣтви осеннихъ деревьевъ, желтые и бѣлые листья, застилающіе землю... Ея плечи вздрагиваютъ отъ нѣжной ласки... Горячій мягкій голосъ шепчетъ: „Вы не знали, что вы красивы?.. Болѣе чѣмъ красивы... обворожительны!“

Алиса вскакиваетъ, охваченная дрожью. Въ вискахъ стучить. Она птается.

Съ трудомъ сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, она зажигаетъ электричество и подходитъ къ зеркальному шкапу. Въ зеркалѣ отражается слегка поблѣдѣвшее лицо, глаза съ потемнѣвшими кругами, чистый лобъ, дѣтскія щеки, чувственный ротъ...

Алиса долго разглядывала себя въ зеркало. Улыбка полуоткрыла ея губы.

Сверкнула влажная бѣлизна зубовъ. Точно зачарованная своимъ изображеніемъ, Алиса подошла къ нему совсѣмъ близко — такъ что уже ничего не могла видѣть. Тогда она вся вздрогнула и два раза прошептала:

— Меня любятъ... любятъ!

V.

Фужеръ, выходя изъ парка, замѣтилъ одиноко бродившую женщину, машинально улыбнулся ей и пошелъ вслѣдъ за нею. Такъ онъ дошелъ до центра города, нашептывая ей по дорогѣ обычныя въ такихъ случаяхъ любезности. Потомъ вдругъ, когда послѣ пустынныхъ улицъ около парка и вдоль набережной онъ пришелъ на ярко освѣщенную электричествомъ улицу, онъ вспомнилъ, что теперь онъ уже почти женихъ, и что ему не пристало открыто ухаживать за дамой, которой онъ даже не представленъ... Онъ рѣшительно повернулъ въ другую улицу.

Что дѣлать весь вечеръ въ чужомъ городѣ? Онъ приготовился очень скучать.

Идя по тротуару, онъ увидѣлъ какого-то обывателя, который велъ за руку плачущаго ребенка и такъ занятъ былъ имъ, что не замѣтилъ, какъ толкнулъ Фужера.

— Вотъ увидишь, — сердито говорилъ онъ. — Я пожалуюсь мамѣ, и тебѣ достанется!

„Вотъ какимъ и я сдѣлаюсь!“ — иронически подумалъ Фужеръ, и эта мысль не привела его въ лучшее настроеніе.

Ему захотѣлось одиночества. Онъ свернулъ въ первую улицу. Было семь часовъ.

Проходя мимо небольшого ресторана, Фужеръ зашелъ, пообѣдалъ и потомъ пошелъ вдоль набережной въ прежнемъ сѣромъ настроеніи.

Вдругъ онъ увидѣлъ нѣчто странное, отвлекшее его отъ грустныхъ размышлений. Поднявъ случайно глаза на фонарь, онъ увидѣлъ человѣка, корректно одѣтаго, въ цилиндрѣ; онъ взлѣзалъ на фонарный столбъ и успѣлъ уже подняться футомъ на шесть отъ земли.

— Это что? — сказалъ Фужеръ. — Что вы тамъ дѣлаете наверху?

— Ищу билетъ въ театръ, который, къ несчастью, гдѣ-то потерялъ.

Голосъ былъ у него слегка заплетающійся и носъ очень красный...

— Печальная пропажа, — сказалъ Фужеръ, улыбаясь. — Но, можетъ быть, она еще найдется. Искали ли вы всюду... я хочу сказать — на всѣхъ фонаряхъ вдоль набережной?

— Увы, нѣтъ, — отвѣтилъ незнакомецъ. — Ихъ слишкомъ много...

Сказавъ это, онъ спустился на землю, упалъ и поднялся съ нѣкоторымъ трудомъ.

— Я отказываюсь отъ дальнѣйшихъ поисковъ, — мрачно сказалъ онъ. — И такъ какъ мое несчастье безъисходно, то я брошусь сейчасъ въ воду.

Онъ сдѣлалъ движеніе, точно собираясь перешагнуть черезъ высокія перила.

— Нѣтъ, не дѣлайте этого! — поспѣшно остановилъ его Фужеръ. — Самоубійство — спортъ, вышедшій изъ моды. Къ тому же, подумайте: вы хотите утопиться въ водѣ, когда на свѣтѣ такъ много вина.

— Вы, пожалуй, правы, — отвѣтилъ незнакомецъ, тотчасъ же сдаваясь на его доводы. — Вы мудрецъ. Позвольте мнѣ низко поклониться вамъ, — хотя я и недостойнъ сей чести. Какъ васъ зовутъ: Пизагоромъ или Платономъ? Или вы — ученикъ божественнаго Парменида?

Фужеръ развеселился.

— Вы дѣлаете мнѣ много чести, — сказалъ онъ. — Я только ень незамѣтный дипломатъ, и зовутъ меня, если желаете узнать, ртраномъ.

Незнакомецъ низко поклонился.

— А вашего покорнаго слугу зовуть Панталонъ... простите. По роду занятій я астрологъ, хиромантъ, каррикатуристъ и богема. Кромѣ того, я люблю философію и слѣдую завѣтамъ нашего общаго учителя, Ноя.

Онъ въ третій разъ поклонился.

— И все же,—продолжалъ онъ съ мрачнымъ видомъ,—мнѣ трудно сегодня сохранить философское спокойствіе. Утрата билета печалитъ меня болѣе, чѣмъ вы можете представить себѣ. И я тщетно пытался только-что утопить мое горе въ четырехъ бутылкахъ бургонскаго—правда, поддѣльнаго.

Онъ мрачно замолчалъ.

— Я понимаю ваше горе,—сказалъ Фужеръ,—и сочувствую ему. Однако несчастье это поправимо. Вы потеряли билетъ въ театръ; но вѣдь онъ, я полагаю, не единственный въ своемъ родѣ. Я полагаю, что мы найдемъ такой же еще—въ кассѣ.

Каррикатуристъ-астрологъ покачалъ головой.

— У меня нѣтъ денегъ,—произнесъ онъ похороннымъ тономъ.—Т.-е., нѣтъ больше денегъ. Прежде были... Но въ этотъ вѣкъ желѣза бургонское, даже поддѣльное, стоитъ въ двѣнадцать и въ тринадцать разъ больше своего вѣса въ сестерціяхъ...

Фужеръ въ свою очередь снялъ шляпу и поклонился.

— Я привѣтствую въ васъ—сказалъ онъ—жертву желѣзнаго вѣка. Въ силу этого сдѣлайте мнѣ честь принять въ даръ билетъ въ партеръ и разрѣшите мнѣ взять билетъ рядомъ съ вами. Я сегодня тоже очень мраченъ и очень нуждаюсь въ обществѣ такого учтиваго, разсудительнаго и краснорѣчиваго человѣка, какъ вы.

Учтивый, разсудительный и краснорѣчивый человѣкъ сдѣлалъ такой поклонъ, что чуть снова не упалъ.

— Ваше предложеніе свидѣлствуетъ о большомъ благородствѣ души,—сказалъ онъ,—но я долженъ, къ сожалѣнію, отказаться. Я не принадлежу къ разряду людей, которые сидятъ въ партерѣ. Кромѣ того—не скрою—я пьянъ.

— Астрологи, дипломаты и философы выше всякихъ кастъ,—сказалъ Фужеръ.—И Ной, котораго вы цѣните, училъ насъ, что лучше быть пьяными, какъ вы и я, чѣмъ безумцами, какъ все человѣчество. Идемте.

— Иду,—сказалъ побѣжденный этими доводами ученикъ Ноя.—Иду и подчиняюсь вамъ, ибо слова ваши золотыя.

VI.

Они заняли два кресла въ третьемъ ряду. Занавѣсъ уже поднялся, но представленіе едва только начиналось. Ставили „Вертера“ Масснэ.

— Не судите меня, — сказалъ Фужеру его странный спутникъ, — по моему пристрастію къ этой оперѣ, въ которой много искусственнаго лиризма. Но надъ этимъ произведеніемъ парить тѣнь великаго Гёте, а для философа много поучительнаго во всѣхъ Вертерахъ, и драматическихъ, и музыкальных.

Въ залѣ было почти темно, и Фужеръ не могъ разглядѣть публику, очень многочисленную. Не было почти пустыхъ мѣстъ. Фужеръ видѣлъ смутно дамскіе туалеты въ ложахъ, но не могъ различить лицъ и въ ожиданіи антракта сталъ смотрѣть на сцену.

На сценѣ не было еще пѣвцовъ. Играли интродукцію, слышалась пѣсня сборщиковъ винограда, декорація представляла садъ бургомистра. Вертеръ и Шарлота еще не пришли.

Фужеръ рѣшился заговорить съ сосѣдомъ, внимательно слушавшимъ музыку:

— Какія мысли внушаетъ вамъ эта музыка? — спросилъ онъ.

— А вотъ какія: что вино — полезный совѣтникъ, а любовь — пагубный... И вы въ этомъ убѣдитесь въ пятомъ актѣ: молодой Вертеръ, служащій Эросу, будетъ умирать, лежа съ разбитымъ черепомъ, а сборщики винограда, служащіе богу вина, будутъ пѣть звучныя пѣсни... что и требовалось доказать. Словомъ — подальше отъ женщинъ!

Онъ прервалъ свои разсужденія, потому что на сцену пришли Вертеръ и Шарлота. Начался романтический дуэтъ. Фужеръ тоже внимательно слушалъ, увлеченный словами и звуками любви. Наконецъ, занавѣсъ опустился послѣ горестнаго прощанія героя съ героиней.

Зажглось электричество, театръ ожилъ, поднялся шумъ въ партерѣ и въ ложахъ. Фужеръ сталъ оглядываться направо и налево, и вдругъ его взглядъ устоялся въ одну изъ ложъ бѣлѣ: тамъ сидѣла Карменъ де-Ретцъ рядомъ съ высокимъ одинокомъ, котораго Фужеръ не зналъ.

Хиромантъ-карикатуристъ тоже поднялся.

— Я, конечно, не имѣю права давать вамъ совѣты, — сказалъ онъ, взявъ за рукавъ Фужера. — Но я принимаю къ сердцу и интересы, и потому осмѣливаюсь напомнить вамъ право

ученіе, которое мы съ вами вдвоемъ извлекли изъ кровавой драмы, положенной на музыку Массне: подальше отъ женщины.

— Да, вы правы,—съ грустью отвѣтилъ Фужеръ.

Но, привлеченный таинственнымъ магнитомъ, онъ оставилъ свое мѣсто и, пробираясь между двумя рядами креселъ, подошелъ и прислонился къ барьеру ложи бенуара. Его голова, прислонясь къ барьеру, коснулась локтя Карменъ.

Тогда онъ услышалъ надъ головой знакомый голосъ:

— Барье, дайте мнѣ, пожалуйста, сумочку. Я забыла ее, кажется, въ муфтѣ...

Послышался шумъ отодвинутаго стула. И Фужеръ вдругъ почувствовалъ ласковое прикосновеніе руки къ волосамъ.

Ему сдѣлалось жарко. Легкій потъ выступилъ на вискахъ, и онъ машинально вытеръ его пальцемъ, опять коснувшись руки, которая провела по его волосамъ и теперь небрежно повисла съ барьера.

Фужеръ быстро оглянулъ залу, почти опустѣвшую. Никто не слѣдилъ за нимъ, ничей бинокль не былъ направленъ въ его сторону. Онъ быстро схватилъ свѣсившуюся руку и поцѣловалъ ее.

Рука вздрогнула, а вслѣдъ за ней, вѣроятно, и плечо. И въ эту именно минуту докторъ Барье, вѣроятно, любовался прекраснымъ плечомъ своей подруги.

Фужеръ вдругъ увидѣлъ высунувшуюся изъ ложи свѣтлую бороду и услышалъ громкій, рѣзкій голосъ:

— Послушайте, вы съ ума сошли... Какая наглость...

Поднялся шумъ.

Бертранъ Фужеръ отступилъ на два шага и сжалъ кулаки. Неожиданный, несправедливый и жестокий гнѣвъ возбуждалъ его противъ этого дурака. У него явилось сильное желаніе сразу отвѣтить пощечиной. Но онъ сдержался, обнаруживая на дѣлѣ свой дипломатическій тактъ.

— Вы это мнѣ говорите?—спросилъ онъ съ полнымъ спокойствіемъ, поднявъ голову и вправляя монокль въ глазъ.—Вы, какъ видно, больны? Призвать вамъ доктора... или психіатра?

Среди зрителей, заинтересованныхъ поднявшимся шумомъ, послышался смѣхъ. Докторъ Барье въ бѣшенствѣ ухватился за барьеръ.

— Не представляйтесь простакомъ. Вы выказали непочтеніе дамъ...

— Чтѣ вы!—запротестовалъ Фужеръ.—Какъ бы я посмѣлъ... да еще здѣсь... Но если даже предположить худшее, если даже...

вамъ поставили рога, то зачѣмъ кричать объ этомъ на весь міръ?

Смѣхъ въ публикѣ усилился. Барье, весь багровый, кричалъ:

— Вы невѣжа, грубіанъ!

— Этого не можетъ быть! — съ хохотомъ возразилъ Фужеръ. — Вѣдь я не съ вами вмѣстѣ воспитывался.

Барье поднялъ руку.

— Вотъ какъ! Хотите получить пощечину?

— Зачѣмъ? — быстро возразилъ Фужеръ. — Гораздо проще поступить вотъ такъ... — И онъ ловко бросилъ перчатки прямо въ лицо Барье.

Съ первыхъ же словъ ссоры Карменъ отошла въ глубину ложи. Положеніе женщины между двумя мужчинами, которые изъ-за нея оскорбляютъ другъ друга, — всегда глупое. Чтобы избѣжать замѣчаній публики, героиня скандала поспѣшила скрыться въ темноту ложи, не особенно тревожась о томъ, что изъ-за нея произойдетъ обмѣвъ рѣзкихъ словъ. Но когда слова смѣнились жестами, она уже испугалась — и не за себя. Дуэль между Бертраномъ Фужеромъ и Габріэлемъ Барье, дуэль, которая должна поднять шумъ и о которой будетъ говорить весь Ліонъ... Нѣтъ, этому нужно помѣшать во что бы то ни стало... и ради Барье, и ради Фужера... и ради бѣдной Алисы.

Вѣ себя отъ бѣшенства, Барье крикнулъ:

— Подождите!

Онъ бросился къ двери ложи, чтобы скорѣе нагнать своего противника, но Карменъ схватила его за руки.

— Куда? — спросила она.

— Это мое дѣло, — грубо отвѣтилъ онъ и хотѣлъ пройти. Но она удержала его, обнаруживая больше силы, чѣмъ онъ могъ предположить въ ней...

— Это касается и меня, и даже больше, чѣмъ васъ, — отвѣтила она. — Вы хотите вдѣпиться въ этого человѣка... на глазахъ всей залы, которая смѣется надъ вами и надо мной? Очень красиво... Очень жаль, но вы этого не сдѣлаете. Я ненавижу скандалы. Извольте дать мнѣ пальто и муфту и уйдемъ. Мнѣ скучно, я не хочу дольше оставаться.

Но Габріэль Барье, вмѣсто того, чтобы исполнить ея ясно выраженное желаніе, сталъ злобно смѣяться.

— Конечно! Еще бы!.. Сейчасъ къ вашимъ услугамъ. Мнѣ тоже здѣсь скучно. Уйхавъ отсюда, я сведу счеты съ вами. Но я дѣйствую по порядку. Прежде всего я долженъ раздѣлаться съ человѣкомъ, цѣловавшимъ вамъ руку...

Карменъ вдругъ поблѣдѣла и отступила на шагъ.

— Что?—Счеты со мной?

Она не отпускала его руку, а теперь вцѣпилась въ нее ногтями. Онъ сталъ ругаться.

— Да пустите же меня, чортъ возьми! — сказалъ онъ. — Конечно, я съ вами сосчитаюсь...

Онъ грубо схватилъ ея тонкія руки и сжалъ ихъ такъ, что она крикнула отъ боли и разжала пальцы. Но въ ту же минуту она бросилась, какъ раненый звѣрь, на своего обидчика.

Она не могла одолѣть его. Възбѣшенный не менѣе, чѣмъ она, онъ забылъ, что она женщина, и оттолкнулъ ее такъ сильно, что она пошатнулась. Тогда она утратила всякое благоразуміе; въ ней остался только инстинктъ женщины, которая ищетъ защиты у мужчины.

— Фужеръ!—крикнула она.

У ложи стояла табуретка, которая могла служить лѣсенкой. Фужеръ, какъ безумный, вскочилъ на нее, бросился въ ложу черезъ барьеръ и схватилъ Барье за горло. Борьба длилась не болѣе минуты. Изъ сосѣднихъ ложъ, изъ корридоровъ, изъ партера прибѣжали люди и стали разнимать противниковъ. Сразу возстановилось спокойствіе. Фужеръ, снова корректный, протянулъ карточку Барье.

— Хорошо,—проворчалъ тотъ,—мы будемъ драться.

— Завтра же утромъ, если это вамъ удобно,—предложилъ Фужеръ,—такъ какъ вечеромъ у меня неотложное свиданіе.

Онъ остановился, подумавъ вдругъ, что послѣ скандальной дуэли едва-ли это свиданіе можетъ привести къ желаннымъ результатамъ.

„Все равно“, — рѣшилъ онъ про себя. Обернувшись къ Карменъ, онъ не могъ устоять противъ соблазна поставить несчастнаго Барье въ еще болѣе глупое положеніе.

— Я отвезу васъ домой,—сказалъ онъ.

У дверей ложи, Панталонъ, астрологъ, хиромантъ, каррикатуристъ и богема, показавшись въ своемъ цилиндрѣ, со своимъ краснымъ носомъ и испуганными глазами въ тотъ моментъ, когда Фужеръ и Карменъ выходили вмѣстѣ подъ-руку...

— Я слышу, что вы въ опасности: я явился предложить свои услуги.

— Благодарю васъ,—отвѣтилъ Фужеръ съ улыбкой.—Дѣло въ томъ, что я завтра утромъ дерусь на дуэли и, кромѣ васъ, у меня нѣтъ ни одного друга въ этомъ городѣ. Поэтому хотите быть моимъ секундантомъ?

— Конечно, хочу,—гордо отвѣтилъ философъ, ученикъ Ноя.

Онъ снялъ шляпу и пропустилъ Фужера и Карменъ, произнеся имъ вслѣдъ грустнымъ голосомъ:

— Вино—хорошій совѣтчикъ, а любовь—пагубный.

VII.

Алиса на слѣдующій день тѣтено ждала Фужера. Она простояла много часовъ у окна, высматривая прохожихъ, и только когда часы на каминѣ пробили шесть,—поняла, что онъ не придетъ. Она не зажигала электричества, хотя въ комнатѣ было совсѣмъ темно. Горничная давно уже подала газету, но она лежала блѣднымъ пятномъ на столѣ... Алиса даже не повернула голову, когда ей принесли газету.

Издали опять раздался бой часовъ, и часы на каминѣ пробили семь, вторя колоколу съ близкой церковной башни.

Мадамъ Даксъ сильно ударила въ дверь кулакомъ.

— Алиса... да что это, Господи помилуй! Мало тебѣ просто мечтать. Ты, кажется, уже просто спишь днемъ... Не слышишь, когда мать съ тобой говорить?

Алиса, вырванная изъ задумчивости, машинально засвѣтила электричество.

— Ты еще не одѣлась въ обѣду? Ты отлично знаешь, что сейчасъ придетъ отецъ! Скорѣе!

Мадамъ Даксъ повернулась и ушла. Оставшись одна, Алиса сѣла и машинально развернула газету.

Передовая статья... политика... финансовый бюллетень... Алиса не читала. Глаза ея машинально скользили по столбцамъ, взгляды останавливаясь только на крупныхъ буквахъ названій. Вдругъ пять словъ приковали страннымъ образомъ ея вниманіе. Она вскочила и жадно прочла:

„*Дуэль на Большомъ Полѣ*. Вслѣдствіе крупной перебранки, прервавшей вчера въ театрѣ представленіе „Вертера“, господинъ Б., извѣстный врачъ нашего города, и господинъ Ф., секретарь посольства, находившійся проездомъ въ Лионѣ, дрались сегодня на дуэли на Большомъ Полѣ. Дуэль была на пистолетахъ. Оба противника ранили другъ друга довольно серьезно; докторъ Б. раненъ въ бедро, господинъ Ф.—въ плечо. Но ихъ можно было безпрепятственно перевезти каждого домой въ положеніе обоихъ раненыхъ удовлетворительно. Г. Дюма, полицейскій комиссаръ, открылъ слѣдствіе и отправился на домъ обоимъ дуэлянтамъ. Но оба отказались его принять...”

— Алиса, — раздался нетерпѣливый зовъ мадамъ Даксъ. — Да сойдешь ли ты, наконецъ? Отецъ пришелъ къ обѣду.

Алиса сошла внизъ. Ноги ея дрожали. Она два раза чуть не упала и удержалась за перила. Она шла, едва передвигая ноги. Каждый шагъ мучительно отзывался болью въ затылкѣ. И одно слово, точно молотомъ, ударило ей въ мозгъ:

— Раненъ... раненъ... раненъ...

— Что это съ ней? — сердито спросилъ Даксъ. — Она блѣдна какъ смерть.

— Она спала у себя въ комнатѣ, — отвѣтила мать. — Да и теперь спитъ стоя. Она ужъ сама не знаетъ, что придумать для оригинальности.

Даксъ пожалъ плечами и молча сталъ ѣсть. Обѣдъ прошелъ въ молчаніи.

Подали кофе.

— Папа, — рискнулъ заговорить Бернаръ, — ты знаешь, что докторъ Барье дрался на дуэли?

Даксъ повернулся къ сыну.

— А ты откуда знаешь?

— Мнѣ рассказали два товарища при выходѣ изъ лица. Они утромъ поѣхали на Большое Поле кататься на велосипедахъ и все видѣли съ насыпи. Говорятъ, что дуэль была замѣчательная. При первомъ же выстрѣлѣ Барье упалъ, и его противникъ — тоже. Тогда какая-то дама, которая ждала въ коляскѣ, быстро подбѣжала поднять — не Барье, а другого. Имъ сдѣлали обѣимъ перевязки и унесли каждого къ себѣ домой. А ужъ когда все было кончено, явились полицейскіе, дежурящіе у входа въ паркъ.

Даксъ слушалъ, нахмурившись, а мадамъ Даксъ даже раскрыла ротъ отъ изумленія. Никто не подумалъ взглянуть на Алису.

— Да, — сухо сказалъ Даксъ. — Все это совершенно вѣрно. Докторъ Барье повздорилъ вчера съ...

Даксъ остановился и саркастически посмотрѣлъ на жену.

— Кстати, поздравляю васъ, я и забылъ. Вы хорошо выбираете дорожныя знакомства. Я просилъ васъ навѣстить въ Сэнтъ-Сэргѣ мадамъ Терьенъ. И вы этимъ воспользовались, чтобы завязать дружбу съ какими-то подозрительными субъектами, которые у нея бываютъ. Чудесно. Докторъ Барье, который утѣшается, какъ умѣетъ, послѣ отказа Алисы, дрался на дуэли именно съ этимъ Фужеромъ, о которомъ вы мнѣ столько рассказывали... Да, съ Фужеромъ, изъ-за прекрасныхъ

глазъ Карменъ де-Ретцъ, которая васъ такъ занимала и которая оказалась особою самого двусмысленнаго свойства. Это она доставила себѣ утонченное и романтичное удовольствіе быть свидѣтельницей поединка своихъ двухъ... Это что такое?

Алиса упала на полъ въ глубокомъ обморокѣ.

Мадамъ Даксъ въ испугѣ бросилась къ ней съ графиномъ воды въ рукѣ, но Алиса уже приходила въ себя. Даксъ не двинулся съ мѣста. Онъ удивленно и холодно смотрѣлъ на дочь.

— Ну что, лучше?—спрашивала мать, сразу успокоившись.

Алиса, ничего не понимая, провела нѣсколько разъ рукою по лбу, потомъ вдругъ зарыдала. И Даксъ, зорко слѣдившій за ней, услышалъ, какъ она шептала, выдавая свою тайну:

— Изъ-за нея... изъ-за нея...

Онъ сразу все понялъ. Гнѣвный блескъ показался въ его взглядѣ.

— Я, наконецъ, все понялъ!—воскликнулъ онъ, всталъ съ мѣста и, подойдя къ дочери, схватилъ ее за плечо.

— Такъ вотъ въ кого ты тамъ влюбилась... въ Фужера! Изъ-за него отказала Барье, которому я далъ слово... Конечно, это совершенно просто и ясно. Вотъ тебѣ и награда... Онъ не любить тебя, твой Фужеръ, онъ любитъ Карменъ де-Ретцъ... На то они одного поля ягоды. Для тебя, честной дѣвушки, я выбралъ честнаго человѣка въ мужа. Но ты не захотѣла и предпочла какого-то шута. Но онъ-то тебя не захотѣлъ. Онъ предпочелъ равную себѣ... какую-то цыганку, женщину, которая всѣмъ отдается. Да, онъ ее предпочитаетъ. Онъ изъ-за нея дрался на дуэли. Она была при дуэли, увезла его раненаго домой, — ты слышала вѣдь. Теперь она за нимъ ухаживаетъ, и когда онъ выздоровѣетъ, они поженятся. Да, женятся, а ты останешься ни при чемъ.

Онъ больно сжалъ ея руку, вдавливая пальцы до боли въ ея плечо.

— Тебя они вышвырнули за бортъ, опозоренную, запятнанную. Вѣдь они не будутъ молчать, будутъ рассказывать о тебѣ. Они рады будутъ обезчестить семью, пользующуюся общимъ почетомъ. Они уже рассказывали о тебѣ. Теперь я понимаю лицемерныя сіяющія лица моихъ соперниковъ и враговъ, которые прибѣгали ко мнѣ сегодня днемъ. Стыдъ и позоръ падаетъ не на тебя одну, а на насъ всѣхъ, на меня, на мое имя... Недница...

Онъ изо всей силы ударилъ ее по лицу.

Она крикнула,—вскочила, опрокинула стулъ и выбѣжала.

Даксъ поднялъ стулъ, закрылъ дверь и сѣлъ снова къ столу.

VIII.

Выбѣжавъ изъ столовой, Алиса повертѣлась минуту въ передней, потомъ, увидавъ лѣстницу, побѣжала наверхъ къ себѣ въ комнату,—какъ раненый звѣрь, инстинктивно укрывающійся у себя въ засадѣ.

Но у себя въ комнатѣ она увидѣла газету, и опять неумолимые слова стояли передъ ея глазами: „Дуэль Б. на Большомъ Полѣ“. Она со стономъ отвернулась и бросилась къ окну. Ее схватило безуміе. Ей казалось, что Рона течетъ тутъ же передъ нею. Она отступила отъ окна до самой постели. На постели лежала шляпа. Она машинально надѣла ее, быстро спустилась съ лѣстницы и убѣжала изъ дому.

Аллея тонула въ густомъ туманѣ. Подъ деревьями было темно и свѣтъ отъ фонарей мелькалъ тусклыми пятнами. Алиса шла сначала по тротуару. Она шла прямо, не думая куда, инстинктивно направляясь къ невидимой рѣкѣ. Вдругъ у одного изъ фонарей она остановилась. Среди аллеи, пустынной какъ кладбище, мелькнуло видѣніе: показалась коляска, запряженная парой лошадей, дерзко роскошная. Она мчалась среди мрачной ночи, точно былъ мягкій лѣтній вечеръ... Не слышно было стука копытъ. Алиса вздрогнула. Развалившись на бирюзово-голубыхъ подушкахъ, сидѣла женщина, нарумяненная, съ крашенными волосами. Алиса ее узнала. Она, казалось, улыбалась ей циничной, жестокой улыбкой... Потомъ вдругъ коляска исчезла въ ночномъ мракѣ. Алиса въ испугѣ подбѣжала къ лѣстницѣ, ведущей къ рѣкѣ, и стала спускаться по ней. Воды не видно было въ туманѣ; лѣстница спускалась въ какую-то желтую мутную бездну.

Алиса спускается все ниже. Брызги воды омочили ей ноги.

Еще три шага—и все кончено. Только немного твердости. Рона освѣжить горящую голову, успокоить разрывающееся сердце... Немножко мужества... и конецъ страданіямъ... ни враждебнаго родительскаго дома, ни жестокаго отца, ни ворчливой матери, ни предателя-жениха... Лучше смерть, чѣмъ жизнь, гдѣ побѣждаютъ и торжествуютъ Діаны д'Аркъ, а честныя дѣвушки погибаютъ.

Алиса хотѣла спуститься еще на ступеньку. Но туманъ и холодъ ужаснули ее. Она стала отступать. Она отступила до берега и долго стояла у воды. Съ ботинокъ ея струилась вода. Наконецъ, она пошла вдоль берега, глядя на нее съ испугомъ и тоской. Она не отважилась броситься въ воду.

Тавъ она дошла до перваго моста... и, понявъ, что у нея не хватитъ мужества покончить съ собой, она горько заплакала. Съ берега она поднялась на набережную. Между двумя платанами стояла скамейка. Она сѣла на нее. Ею овладѣло безграничное отчаяніе, и она стала глухо рыдать. Мысль, что она должна вернуться къ прежней жизни, опять жить нѣмъ нелюбимой, была нестерпима. Все кончено. Умереть у нея не хватаетъ рѣшимости. Значить — нужно вернуться домой и опять жить по старому...

Она не двигалась съ мѣста, изнемогшая, обезсиленная, и плакала, взявъ голову въ руки.

Раздались какіе-то шаги. Кто-то проходилъ мимо... какой-то неизвѣстный. Онъ шелъ быстро, поднявъ воротникъ, засунувъ руки въ карманы. Онъ курилъ папироску. Можетъ быть, онъ шелъ съ обѣда, или шелъ въ театръ, въ клубъ, можетъ быть къ своей возлюбленной... Онъ прошелъ мимо самой скамейки и остановился.

— Кто тутъ?—спросилъ онъ.

Никакого отвѣта. Можетъ быть, его вопроса не разслышали. Онъ подошелъ ближе, съ любопытствомъ нагнулся и приподнялъ рукой лицо, покрытое слезами.

— Чтѣ это? — спросилъ онъ. — Такое горе пришло? И у такой хорошенькой дѣвушки?

Голосъ былъ слегка насмѣшливый, но добрый, почти нѣжный. Алиса подняла тяжелыя вѣки и увидѣла темные глаза, участливо глядѣвшіе на нее.

— Ну, чтѣ случилось? Я знаю: онъ обманулъ... Онъ бросилъ и ушелъ къ другой? А та навѣрное—не такая хорошенькая... Знаете чтѣ: нужно отплатить ему той же монетой. Нужно и ему измѣнить... Пойдемте со мной... мы это устроимъ.

Онъ взялъ обѣ руки Алисы въ свои и привлекъ ее къ себѣ.

— Бѣдненькая, брошенная дѣвочка... Я васъ утѣшу... буду любить...

Алиса поднялась. У нея изсякли силы, изсякло благоразуміе, исчезъ стыдъ. Она послѣдовала за человѣкомъ, который обѣщалъ любить ее.

Съ франц. З. В.



Л. Н. ТОЛСТОЙ

1828—1908

Великимъ писателямъ рѣдко бываетъ дана долгота дней. Рѣдко, поэтому, ихъ современникамъ приходится переживать такіе моменты, какой наступилъ теперь для русскаго общества и для всего образованнаго міра по отношенію къ Льву Толстому.

За черту, которой достигъ Толстой, переступили, въ послѣдніе два вѣка, Вольтеръ, Гёте, В. Гюго. Старость Вольтера была временемъ наибольшей—и наиболѣ заслуженной—его славы. Къ литературному ореолу, давно окружавшему его имя, присоединилось обаяніе борьбы противъ худшихъ сторонъ современнаго ему режима. Восторженный пріемъ, оказанный восьмидесятичетырехлѣтнему старцу въ Парижѣ—когда онъ, въ 1778 г., пріѣхалъ туда послѣ долгаго, вынужденнаго отсутствія,—былъ выраженіемъ широко распространеннаго чувства, тѣсно связаннаго съ тогдашнимъ настроеніемъ французскаго общества. Смутное ожиданіе переменъ располагало къ преклоненію передъ тѣмъ, кто, вольно или невольно, такъ много способствовалъ ихъ подготовкѣ. Другимъ источникомъ энтузіазма служила ненависть, которую провозвѣстникъ свободы—свободы отъ суевѣрій и предрассудковъ—внушалъ „темнымъ людямъ“, облеченнымъ свѣтскою и духовною властью. Немало поклонниковъ было у Вольтера и внѣ Франціи; но, принадлежа, болѣею частью, къ правящимъ, привилегированнымъ классамъ, они не цѣнили въ немъ того, что съ особенною силой влекло къ нему французскую интеллигенцію. Какъ бы велико, однако, ни было увлеченіе, оно не могло заставить забыть недостатки человѣка, недочеты художника и мыслителя. Позади недавнихъ заслугъ Вольтера лежало многолѣтнее прошлое, съ его мало привлекательными, иногда прямо отталкивающими чертами двуличности, лъстивости, мелкой злобы. Хс-

людная искусственность вольтеровских трагедій, такъ ярко раскрытая Лессингомъ, если не сознавалась, то чувствовалась многими и во Франціи. Совершенно ясенъ для всѣхъ былъ упадокъ таланта, долго казавшагося неизмѣннымъ: оваціи, встрѣтившія „Irene“, были вызваны не пьесой, а авторомъ. Въ области идей звѣзду Вольтера начинала затмѣвать звѣзда Руссо. Если бы гармоническій аккордъ отзвучалъ не такъ скоро, за нимъ неизбежно должны были послѣдовать рѣзкіе диссонансы.

Между состарѣвшимся Гёте и его современниками не было того внутреннего сродства — той *Wahlverwandschaft*, — которое озарило мягкимъ свѣтомъ послѣдніе дни Вольтера. Его уважали, къ нему являлись на поклоненіе, но сердца не бились въ униссонъ съ его сердцемъ. Лучшая пора его творчества давно прошла; вторая часть „Фауста“ настолько же уступаетъ первой, насколько „Годы странствованій“ Вильгельма Мейстера уступаютъ „Годамъ ученья“. Къ новымъ стремленіямъ своего народа Гёте относился если не непріязненно, то равнодушно. Ему платили той же монетой предшественники „Молодой Германіи“. Бѣрне злоратно выискивалъ и подчеркивалъ все то, что можно назвать изнанкой гениальнаго человѣка: его отрѣшенность отъ политической жизни, его покорность придворнымъ обычаямъ, его старозавѣтную почтительность передъ носителями власти. За границей германскаго міра извѣстность Гёте росла медленно и проникала не глубоко. Справедливая его оцѣнка и здѣсь, и на его родинѣ была еще далеко впереди; предметомъ культа его память должна была стать лишь много лѣтъ спустя послѣ его смерти.

Для В. Гюго кульминаціоннымъ пунктомъ популярности и успѣха были годы изгнанія, когда онъ, съ высоты гернсейскихъ скалъ, велъ непримиримую войну съ похитителемъ французской свободы. Его „*Châtiments*“ были дѣйствительно своего рода казнью для Наполеона III-го, для Морни, Сентъ-Арно и другихъ участниковъ декабрьскаго злодѣяства. Его „*Misérables*“ одинаково сильно дѣйствовали на французскихъ и не-французскихъ читателей. Возвращеніе его во Францію прошло сравнительно мало замѣченнымъ, въ виду бѣдствій франко-германской войны; но какъ ни тяжелы были годы, слѣдовавшіе за двукратной осадой Парижа, это не помѣшало французскому обществу восторженно привѣтствовать появленіе „*Année terrible*“, „*Quatre-vingt-treize*“, первой части „*Légende des Siècles*“. Съ половины семидесятихъ годовъ начинается реакція. На долю новыхъ произведеній трихлѣвшаго писателя выпадаетъ лишь такъ называемый *succès d'estime*. Въ сенатѣ, куда онъ былъ избранъ не столько въ силу возгвавшихся на него надеждъ, сколько изъ уваженія къ его прошлому, о голосъ почти не слышенъ. Окруженный небольшимъ кружкомъ

колѣнопреклоненныхъ обожателей, онъ становится все болѣе и болѣе чуждъ молодымъ поколѣніямъ. Процессъ развѣнчиванья его идетъ за кулисами, сдерживаемый, при его жизни, привычнымъ піететомъ—по выступаетъ наружу, какъ только отдана послѣдняя честь памяти поэта. Еще быстрѣе, чѣмъ Франція, охладѣвають къ Гюго другія страны, и раньше высоко цѣнившія въ его творчествѣ лишь немногое: въ тридцатыхъ годахъ—„Notre Dame de Paris“, четверть вѣка спустя—„Misérables“.

При иныхъ условіяхъ протекаетъ вечеръ жизни Л. Н. Толстого. Дѣйствіе времени не касается ни его сочиненій, ни его самого. Обаяніе его военныхъ разсказовъ, его трилогіи до сихъ поръ такъ же велико, какъ въ моментъ ихъ появленія—и столь же неотразимо впечатлѣніе, производимое его послѣднимъ романомъ. Съ такимъ же нетерпѣніемъ, съ какимъ русская публика пятидесятихъ годовъ ожидала продолженія „Дѣтства“ или „Отрочества“, читатели всѣхъ цивилизованныхъ странъ ждутъ теперь cadaго слова, идущаго изъ Ясной Поляны. Нѣтъ, кажется, такого литературнаго языка, на который не были бы переведены и не переводились бы вновь произведенія Толстого. Число книгъ, ему посвященныхъ, измѣряется сотнями, число статей—тысячами. Никто, даже Тургеневъ и Достоевскій, не способствовалъ больше Толстого всемірному признанію самобытныхъ и высокихъ достоинствъ русской художественной литературы; никто изъ русскихъ мыслителей не служилъ въ такой мѣрѣ и такъ долго предметомъ всеобщаго и повсемѣстнаго вниманія. Враждебно относятся къ Толстому многіе, равнодушно—никто. Въ немъ чувствуется сила, съ которою нельзя не считаться. Въ прошедшемъ Толстого нѣтъ темныхъ сторонъ, какихъ было слишкомъ много въ жизни Вольтера; въ его настоящемъ нѣтъ слабостей и противорѣчій, какія ставились въ вину веймарскому министру. Никогда Толстой не становился на ходули, какъ Гюго, никогда не искалъ извѣстности и не гонялся за успѣхомъ. Онъ не замыкался въ олимпійскомъ спокойствіи, не отворачивался отъ запросовъ жизни, не переставалъ служить, на избранномъ имъ пути, „великимъ цѣлямъ вѣка“—и въ этомъ заключается разгадка удивительной молодости духа, надъ которымъ, по выраженію поэта, „безсильны дни“.

„Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда“. Этими словами заканчивается одинъ изъ первыхъ, по времени, разсказовъ Толстого („Севастополь въ маѣ мѣсяцъ“). Они опредѣляютъ собою существенно важную

особенность его творчества. Нелегко видѣть дѣйствительность такую, какая она есть, во всѣхъ ея отдѣльныхъ чертахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ ея цѣломъ; еще труднѣе передать видѣнное, ничего въ немъ не измѣняя, но не теряясь въ деталяхъ, не заслоня важное неважнымъ. И то, и другое сразу удалось Толстому. Его военные рассказы раскрыли цѣлый міръ, раньше извѣстный только своей показной стороною. Для русскихъ офицеровъ и, еще болѣе, для русскихъ солдатъ Толстой сталъ такимъ же Колумбомъ, какимъ былъ Гоголь—для помѣщиковъ и чиновниковъ, Тургеневъ—для крестьянъ, Островскій—для купцовъ. Мѣсто театральныхъ героевъ, излюбленныхъ Марлинскими, заняли реальные фигуры капитана Хлопова, рядовыхъ Жданова, Антонова, Веленчука. Толстой сдѣлалъ еще больше: онъ приподнял завѣсу, скрывавшую или скрашивавшую „ужасы войны“—и уживающіяся съ этими ужасами мелочи и дразги. Въ кавказскихъ и севастопольскихъ рассказахъ заложенъ фундаментъ величественнаго зданія, которое возведено Толстымъ въ „Войнѣ и мирѣ“. Такимъ же новаторомъ, какъ въ военныхъ рассказахъ, Толстой явился и въ трилогіи, первая часть которой — „Дѣтство“ — была его литературнымъ дебютомъ и послужила основаніемъ его славы. Никто до тѣхъ поръ, у насъ въ Россіи, не проникалъ такъ глубоко въ раннюю исторію души, постепенно пробуждающейся къ жизни. Помимо громаднаго интереса, представляемого трилогіей, какъ матеріаломъ для біографіи Толстого, она сохраняетъ сама по себѣ неуываемую прелесть, скорѣе выигрывая, чѣмъ проигрывая отъ сравненія съ лучшими образцами того же рода въ иностранныхъ литературахъ. Психологія Николиньки Иртеньева и князя Нехлюдова („Утро помѣщика“, „Люцернъ“) сложнѣе и значительнѣе, чѣмъ психологія „petit Chose“ (Альф. Додэ) или Давида Копперфильда... Въ „Казакахъ“ одинаково яркимъ свѣтомъ освѣщена душа Олеѣина, утомленного пустотою и ничтожествомъ поверхностно-культурной жизни—и душа такихъ первобытныхъ людей, какъ Ершका, Лука, Марьянка.

Какъ ни прекрасны, какъ ни оригинальны первыя произведенія Толстого, „Война и миръ“ превосходитъ ихъ не только колоссальностью замысла, но и совершенствомъ исполненія. Историческій романъ, достигшій своей кульминаціонной точки въ началѣ второй четверти XIX-го вѣка, въ шестидесятихъ годахъ казался потерявшимъ право на существованіе, въ виду требованій строгой *правды*, осуществимыхъ только при условіи непосредственнаго наблюденія. Толстой доказалъ противное, удачно выбравъ тему и разработавъ ее съ подражаемымъ искусствомъ. Александровская эпоха воскресла подъ перомъ со всѣми красками жизни, благодаря сравнительной близости событій, свидѣтели и участники которыхъ не всѣ еще тогда

сошли въ могилу — но еще болѣе благодаря дару проникновенія въ чужой душевный міръ, составляющему отличительную черту Толстого. Толстому ставилось иногда въ вину отсутствіе *исторической окраски* въ „Войнѣ и мирѣ“; высказывалось мнѣніе, что воздухъ, въ этомъ романѣ, тотъ же самый, какъ и въ „Аннѣ Карениной“. Мы думаемъ, наоборотъ, что въ общемъ и главномъ историческая перспектива соблюдена Толстымъ вполне. Конечно, въ князѣ Андрѣ, въ Пьерѣ Безухомъ чувствуется что-то родственное съ людьми позднѣйшаго времени; но вѣдь такое родство дѣйствительно существовало, умственные и нравственные запросы второй половины XIX-го вѣка коренились, отчасти, въ работѣ предшествующихъ поколѣній. Князь Андрей не можетъ быть признанъ слишкомъ утонченнымъ и сложнымъ, если вспомнить, что онъ — современникъ Александра I-го, этой по истинѣ „загадочной натуры“. Больше, чѣмъ на дѣйствующихъ лицахъ романа, міросозерцаніе Толстого отразилось на выдвинутыхъ имъ историческихъ фигурахъ — Кутузова и Наполеона. Правъ ли онъ или неправъ въ ихъ объясненіи и въ ихъ оцнѣнѣ — это служило и, вѣроятно, долго еще будетъ служить предметомъ безконечныхъ споровъ, какъ и самое существо философско-историческихъ взглядовъ Толстого. Несомнѣнно, въ нашихъ глазахъ, одно: громадная важность идей, затронутыхъ въ „Войнѣ и мирѣ“, поднимаетъ значеніе романа, усиливаетъ его дѣйствіе на умы, нисколько не вредя его художественному достоинству. Въ связи съ ними задуманъ образъ Каратаева — а онъ принадлежитъ къ числу самыхъ рельефныхъ и самыхъ привлекательныхъ въ нашей и въ всемірной литературѣ.

Возвратясь къ современности, Толстой создалъ „Анну Каренину“. Прошелъ тотъ моментъ въ жизни русскаго общества, который здѣсь захваченъ; прошелъ и тотъ моментъ въ личной жизни Толстого, который получилъ свое выраженіе въ заключительныхъ главахъ, посвященныхъ Левину — но нисколько не уменьшилось значеніе романа. Не говоря уже объ отдѣльныхъ его эпизодахъ (скачки, косьба, охота), такъ же глубоко врѣзывающихся въ память, какъ картины великаго мастера, онъ весь, съ своими многочисленными лицами, живетъ и дышитъ, какъ часть дѣйствительности — и вмѣстѣ съ тѣмъ, настоячиво, но не навязчиво, ставитъ передъ нами вѣчные вопросы о смыслѣ и цѣли жизни. Сцены, полныя истиннаго комизма (напр. тѣ, которыми открывается романъ) чередуются съ тихо радостными и глубоко трагическими, обнимая собою (по выраженію Зола, безъ достаточнаго права примѣненному имъ къ одному изъ его собственныхъ произведеній) *tout le clavier humain*. Въ свое время „Анна Каренина“ не была оцнѣна по достоинству; вниманіе критики было обращено преимущественно на тѣ стороны романа, которыми — иногда лишь повѣ-

диному—затрогивалась злоба дня. Периодъ недоразумѣній, во многомъ сходныхъ съ тѣми, которыми были встрѣчены „Отцы и дѣти“ и „Новь“ Тургенева,—миновалъ сравнительно скоро. Вѣсть о поворотѣ, совершившемся въ внутренней жизни Толстого, проникла, несмотря на всѣ цензурныя преграды, въ широкіе круги русскаго общества. Ясной, въ главныхъ чертахъ,—благодаря, отчасти, книгѣ покойнаго М. С. Громеки ¹⁾—сдѣлалась связь между „Анной Карениной“ и „Исповѣдью“, между Левинымъ и Толстымъ. Можно было опасаться, что „Аннѣ Карениной“ суждено стать послѣднимъ художественнымъ произведеніемъ Толстого. Къ счастью, этого не случилось: ею закончился только одинъ изъ фазисовъ его творчества. Измѣнилась, отчасти, его цѣль, но далеко не въ такой же мѣрѣ измѣнились его приемы.

Значеніе событія выходитъ въ свѣтъ „Смерти Ивана Ильича“ (1886) книгѣ, между прочимъ, именно потому, что онъ знаменовалъ собою возвращеніе Толстого въ покинутую имъ на время область. „Послѣ десятилѣтняго труда надъ вопросами социологіи, религіи и этики“—писали мы въ то время ²⁾—„работы, прерываемой или дополняемой только составленіемъ небольшихъ разсказовъ для народа, Л. Н. Толстому стоило лишь коснуться прежней, родной почвы, чтобы явиться во всеоружіи своего дарованія. Что теоретическое отрицаніе художественнаго творчества оставило неприкосновенной творческую способность самого отрицателя—въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: никто не можетъ уничтожить, по своему произволу, основныхъ силъ своей натуры. Замѣчательно нѣчто другое: это—устойчивость тяги къ творчеству, потребности творить, уцѣлѣвшей въ Толстомъ не смотря на смертный приговоръ, произнесенный имъ надъ нею. Въ „Исповѣди“ искусство провозглашается баловствомъ, за поэзіей не признается призванія учить людей—и все-таки авторъ „Исповѣди“ опять вовлекается въ сферу поэзіи и искусства... Сознательно, въ „Смерти Ивана Ильича“, Л. Н. Толстой выступаетъ такимъ же учителемъ нравственности, какъ и въ философскихъ или этическихъ своихъ трактатахъ; бессознательно онъ оказывается, по прежнему, учителемъ искусства“. Еслибы на такой темѣ, какъ „Смерть Ивана Ильича“, остановился одинъ изъ представителей моднаго въ то время, съ легкой руки Зола, натурализма или экспериментализма, его заинтересовала бы всего больше фیزیологическая и патологическая ея сторона. Онъ началъ бы съ того, что изучилъ бы нѣсколько медицинскіхъ книгъ, поговорилъ бы съ нѣсколькими врачами, побывалъ бы,

¹⁾ Этой книгой пользовался и нашъ журналъ, когда говорилъ (въ статьѣ: „Диагнозы и рецепты“, декабрь 1886) объ „Исповѣди“ Толстого.

²⁾ См. „Обществ. Хронику“ въ № 7 „Вѣстника Европы“ за 1886 г.

можетъ быть, въ больницѣ, у постели подходящихъ больныхъ — и занялся бы, затѣмъ, точнымъ воспроизведеніемъ хода болѣзни. Совершенно иначе поступилъ Толстой. Онъ не счелъ даже нужнымъ опредѣлить, какою именно болѣзью страдалъ Иванъ Ильичъ. Симптомы болѣзни намѣчены не такъ, какъ они описываются въ специальныхъ книгахъ, а такъ, какъ они отражались въ сознаніи больного. Рядомъ съ изображеніемъ физической боли идетъ изображеніе страждущей души. Ультра-реалисты дали бы намъ исторію *болѣзни*; Толстой даетъ исторію *больного*. Мы точно видимъ слѣды недуга на лицѣ Ивана Ильича, точно слышимъ его стоны и крики, — но это не заслоняетъ отъ насъ его прошлаго, тяготящаго надъ нимъ съ еще большей силой, чѣмъ физическія муки. А это прошлое — въ той или другой мѣрѣ прошлое всѣхъ тѣхъ, чья жизнь протекаетъ въ условіяхъ аналогичныхъ съ изображенными въ „Смерти Ивана Ильича“. Отсюда потрясающее, незабываемое дѣйствіе разсказа. Въ Толстомъ-художникѣ Толстой-моралистъ нашелъ незамѣнимаго союзника.

За „Смертью Ивана Ильича“ слѣдуютъ „Власть тьмы“ (1886), „Крейцеровъ соната“ (1889), „Плоды просвѣщенія“ (1890), „Хозяинъ и работникъ“ (1895), „Воскресеніе“ (1899). Толстой перестаетъ отрицать искусство, ограничиваясь указаніемъ требованій, которымъ оно должно отвѣчать, чтобы стоять на высотѣ своего призванія. Истинно-художественное произведеніе — говорятъ онъ, напримѣръ, въ предисловіи къ русскому переводу сочиненій Мопассана (1894), — должно соединять въ себѣ три условія: „правильное, т. е. нравственное отношеніе автора къ предмету — ясность изложенія или красоту формы, что одно и то же — искренность, т. е. непритворное чувство любви или ненависти къ тому, что изображаетъ художникъ“. Достаточно ли этихъ условій — вопросъ спорный; въ произведеніяхъ Толстого они конечно оказываются на лицо, но не они одни. Нравственное отношеніе къ предмету соединяется здѣсь съ широкимъ его пониманіемъ, ясность изложенія — съ своеобразной силой; любовь — или ненависть — часто доходитъ до степени страсти, вытекающей изъ глубокаго убѣжденія. И если страсть — какъ напримѣръ въ „Крейцеровой сонатѣ“ — бьетъ дальше цѣли, если она подсказываетъ выводы, на которыхъ, во всей ихъ неумолимости, не настаиваетъ, въ концѣ концовъ, самъ авторъ, то это не уменьшаетъ впечатлѣнія, производимаго удивительно написанной картиной. Основной темой творчества Толстого становится и остается противорѣчіе между дѣйствительностью и идеаломъ, между жизнью, какъ она складывается и на верхнихъ, и на нижнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы — и жизнью, какою она должна и можетъ быть въ силу вѣчнаго нравственнаго закона. Это противорѣчіе сознается умирающимъ Иваномъ Ильичемъ, чув-

ствуется замерзающимъ Брежуновымъ; это противорѣчіе губить Никиту (въ „Власти тьмы“), доводитъ Позднышева до убійства, дѣлаетъ Нехлюдова неоплатнымъ должникомъ Катюши. Ивану Ильичу, за нѣсколько дней до смерти, „пришло въ голову, что онъ прожилъ свою жизнь не такъ, какъ должно быть, что тѣ его чуть замѣтныя поползновенія борьбы противъ того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошимъ, — поползновенія чуть замѣтныя, которыя онъ тотчасъ же отгонялъ отъ себя, что они-то и могли быть настоящія, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, и его семья — все это могло быть не то. Онъ попытался защитить передъ собой все это. И вдругъ почувствовалъ всю слабость того, что онъ защищаетъ. И защищать нечего было“. Вечеромъ того дня, который рѣшилъ его судьбу, Нехлюдовъ вспоминаетъ о томъ, какимъ онъ былъ при первомъ его знакомствѣ съ Катюшей. „Тогда онъ былъ бодрый, свободный человѣкъ, передъ которымъ раскрывались безконечныя возможности; теперь онъ чувствовалъ себя пойманнымъ въ тенетахъ глупой, пустой, безцѣльной жизни, изъ которыхъ онъ не видѣлъ никакого выхода, да даже, большей частью, и не хотѣлъ выходить. Онъ вспомнилъ, какъ онъ когда-то гордился своей прямою — и какъ онъ теперь былъ весь во лжи, въ самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всѣми людьми, окружающими его, правдою“.

Противорѣчіе, отравляющее личную жизнь, отражается на учрежденіяхъ — и въ свою очередь поддерживается и обостряется ими. Съ поразительною ясностью это показано въ послѣднемъ романѣ Толстого. Топоровъ, старый генераль-спирить, Масленниковъ, графъ Иванъ Михайловичъ, баронъ Воробьевъ, мужъ Мариетты, бросаютъ страшный свѣтъ на цѣлый режимъ, въ то время находившійся въ полномъ расцвѣтѣ, да и теперь, несмотря на событія послѣднихъ лѣтъ, сохранившій свои типичныя черты. Сцены, происходящія въ судѣ, вызвали возраженіе со стороны „старого судьи“, вступившагося за честь своей корпораціи¹⁾; но ихъ возможность — и, слѣдовательно, ихъ правдивость — не рѣшится отрицать безпристрастный наблюдатель, какъ бы дороги ему ни были преданія лучшей эпохи русскаго суда. Безусловное отрицаніе *права* судить и осуждать не помѣшало Толстому провести рѣзкую демаркаціонную черту между коронными судьями, въ рукахъ которыхъ, при неблагоприятныхъ условіяхъ, профессія слишкомъ часто обращается въ ремесло — и присяжными, свободными отъ рутинѣ и не смѣшивающими формализмъ съ справедливостью... Больше чѣмъ когда-либо современны — и своевременны —

¹⁾ См. „Общественную Хронику“ въ № 12 „Вѣстника Европы“ за 1899 г.

картины тюрьмы и ссылки, нарисованныя въ „Воскресеніи“. Можно не соглашаться съ мнѣніемъ Нехлюдова о пяти разрядахъ арестантовъ—но нельзя не раздѣлять его негодованія, его скорби при видѣ безцѣльной, ненужной жестокости, обусловливаемой мыслью, что „есть на свѣтѣ такія положенія, въ которыхъ обязательно человѣческое отношеніе къ человѣку“. Больше чѣмъ когда-либо наводитъ ужасъ изображеніе ночи, сдѣлавшей Крыльцова революціонеромъ; больше чѣмъ когда-либо слышится горькая правда въ рассказѣ Корниловой о томъ, какъ она „озлобилась и перестала вѣрить въ людей“. Симонсонъ, Набатовъ и другіе политическіе, идущіе въ Сибирь въ одной партіи съ Катюшей, принадлежать къ числу самыхъ крупныхъ фигуръ, созданныхъ Толстымъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ къ числу самыхъ яркихъ иллюстрацій момента, давно переживаемаго и все еще не пережитаго Россіей.

Мы довели до конца обзоръ главнѣйшихъ художественныхъ произведеній Толстого. Параллельно съ ними идетъ, въ продолженіе послѣднихъ тридцати лѣтъ, кипучая дѣятельность другого рода. Потребность проводить свои идеи непосредственно въ жизнь проявлялась въ Толстомъ уже въ то время, когда онъ еще вѣрилъ въ искусство и видѣлъ въ немъ свое настоящее призваніе. Прославленный писатель, сразу занявшій и быстро закрѣпившій за собою мѣсто рядомъ съ Тургеневымъ, Островскимъ, Гончаровымъ, беретъ на себя обязанности мирового посредника и, самъ занимаясь съ аснополянскими школьниками, энергично пропагандируетъ вырабатываемые имъ на практикѣ педагогическіе взгляды. Счастливая семейная жизнь, въ связи съ расцвѣтомъ литературнаго творчества, отвлекаетъ его, на цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ, отъ всего остального. Наступаетъ кризисъ, начало котораго воспроизведено въ „Аннѣ Карениной“, дальнѣйшее развитіе—въ „Исповѣди“. Многое, издавна таившееся въ душѣ Толстого, овладѣваетъ имъ съ непреодолимой силой, становится исходной точкой горячихъ исканій и выливается, наконецъ, въ стройное ученіе („Въ чемъ моя вѣра“, 1884). Это ученіе идетъ въ разрѣзъ съ официальнымъ міросозерцаніемъ, угрожаетъ, говоря казеннымъ языкомъ, „основамъ“ общества и государства—и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительно расходится съ обычными путями и приѣмами борьбы противъ „основъ“. Всѣми зависящими отъ власти способами — кромѣ одного, примѣненію котораго препятствуетъ всемірная слава Толстого ¹⁾—пре-

¹⁾ Припомнимъ, по этому поводу, что еще въ 1896 г. Толстой обратился къ министрамъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи съ письмомъ, въ которомъ, выставивъ на видъ безсмысленность преслѣдованія мысли, просилъ—разъ что такое преслѣдованіе

дупреждается распространение новой доктрины. До послѣдняго времени знакомство съ нею было сопряжено съ большими затрудненіями; за границей ее знали, пожалуй, лучше, чѣмъ въ Россіи. А между тѣмъ, именно у насъ, въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годахъ, она могла оказать могучее противодѣйствіе съ одной стороны все болѣе и болѣе усиливавшейся апатіи и дремотѣ, съ другой—все болѣе и болѣе разгоравшейся злобѣ. Будущему историку печальной эпохи удастся, быть можетъ, раскрыть благотворное вліяніе „толстовства“ даже на тѣхъ, кто не отдался ему всецѣло или, перейдя отъ него къ другимъ взглядамъ, удержалъ въ душѣ свойственный ему высокий тонъ и сердечное отношеніе къ людямъ. И Толстой не ограничивался словомъ, хотя оно и само по себѣ было дѣломъ. Не говоря уже о трудовой помощи, которую онъ оказывалъ своимъ сосѣдямъ, онъ бралъ на себя, гдѣ могъ, починъ активнаго служенія народу. Иногда его усилія оставались тщетными: безслѣдно, напримѣръ, прозвучала его знаменитая рѣчь по поводу московской городской переписи 1882-го года. Иногда, за то, успѣхъ превосходилъ ожиданія; достаточно припомнить, сколько подражателей нашелъ, въ 1891-мъ году и позже, данный Толстымъ примѣръ открытія столовыхъ въ голодающихъ деревняхъ. Его „Статьи по поводу голода“, въ связи съ его работой на мѣстахъ, останутся навсегда доказательствомъ тому, что для истинной любви и истиннаго пониманія нѣтъ мелкаго, маленькаго дѣла. Съ высотъ мысли Толстой умѣлъ спускаться, оставаясь самимъ собою, къ заботамъ о покупкѣ дровъ или печеніи хлѣба. Трудясь для настоящаго, онъ не забывалъ о будущемъ; онъ ясно видѣлъ недостаточность помощи, дающей только возможность пережить, кое-какъ, особенно трудную минуту. Статья: „Голодь или не голодь?“, написанная въ 1898 г., ставитъ вопросъ во всей его широтѣ. Раскрывъ главную причину непрерывно повторяющагося бѣдствія — упадокъ народнаго духа, умственную и нравственную удрученность крестьянства—Толстой указываетъ единственный выходъ изъ невозможнаго положенія: „нужно перестать презирать, оскорблять народъ обращеніемъ съ нимъ, какъ съ животнымъ, нужно дать ему свободу исповѣданія, нужно подчинить его общимъ, а не исключительнымъ законамъ, не произволу земскихъ начальниковъ; нужно дать ему свободу ученія, свободу чтенія, свободу передвиженія и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежитъ на прошломъ и теперешнемъ царствованіи—разрѣшеніе дикаго истязанія, тѣченія взрослыхъ людей только потому, что они числятся въ сосло-

изнается необходимымъ,—направлять жѣры строгости не противъ лицъ, распространяющихъ „вредныя“ сочиненія, а противъ него самого, какъ автора ихъ. То же ебованіе онъ, какъ извѣстно, недавно повторилъ въ печати.

віи крестьянъ" ¹⁾. Въ этихъ словахъ—и еще полнѣе въ „Обращеніи Л. Н. Толстого“, помѣченномъ 15-мъ марта 1901-го года, —выразилась характерная черта Толстого, рѣзко отдѣляющая его отъ другихъ проповѣдниковъ *покаянія*, т.-е. внутреннего переворота, совершающагося въ душѣ человѣка. Провозглашая необходимость нравственнаго самоусовершенствованія, онъ выдвигаетъ на первый планъ не личное спасеніе, а общее благо. Отвергая насиліе, какъ средство осуществить это благо, онъ понимаетъ, что новая личная жизнь требуетъ новыхъ общественныхъ условій—и стремится всѣми силами души къ мирному устраненію преградъ, мѣшающихъ установленію этихъ условій. Отсюда негодующій протестъ противъ всего унижающаго личность и стѣсняющаго мысль; отсюда пламенная защита равенства и свободы; отсюда возведеніе существующихъ аграрныхъ отношеній на степень „Великаго грѣха“; отсюда неустанное заступничество Толстого, въ печати и всѣми другими доступными ему путями, за сектантовъ, преслѣдуемыхъ церковью или государствомъ; отсюда, наконецъ, отношеніе Толстого къ революціи и къ реакціи. Его статья: „Не могу молчать“ еще жива въ сердцахъ, не потерявшихъ способности отзываться на кровь и слезы.

Мы не коснулись основаній ученія Толстого, не коснулись доказательствъ, которыми оно обставлено, и выводовъ, которые изъ него вытекаютъ. Это требовало бы громаднаго труда, для котораго теперь не время и который во всякомъ случаѣ былъ бы намъ не по силамъ. Оцѣнка Толстого съ этой точки зрѣнія принадлежитъ будущему. Въ настоящемъ онъ является гениальнымъ художникомъ, смѣлымъ обличителемъ зла, вдохновеннымъ проповѣдникомъ мира на землѣ и благоволенія между людьми. Передъ его искусствомъ одинаково преклоняются и друзья, и враги—но послѣдніе старательно отличаютъ прежняго Толстого отъ нынѣшняго, не замѣчая или не желая замѣтить неразрывную связь между тѣмъ и другимъ. За обличенія, за проповѣдь его ненавидятъ тѣ, кому дороги отжившіе порядки, выгодные для немногихъ въ ущербъ многимъ—и любятъ тѣ, кто вѣритъ въ возможность обновленія личности и общества.

К. АРСЕНЬЕВЪ.

¹⁾ Противъ „позорнаго клейма“ была направлена еще раньше статья Толстого: „Стыдно!“ (1895); имъ же визвана одна изъ самыхъ потрясающихъ страницъ „Воскресенія“.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 сентября 1908.

Періодическое повтореніе тревожныхъ слуховъ.—Почему они легко находятъ вѣру.—
Въ какой мѣрѣ осуществлены общанія указа 12-го декабря 1904-го года.—Поста-
новленія кievскаго миссіонерскаго сѣзда.—Новыя теченія въ средѣ октябристовъ.—
Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія.—Петиція финляндскаго сейма.

Отъ времени до времени въ нашей печати появляются слухи о новомъ обостреніи реакціи, готовящемся или уже совершившемся, о проектируемомъ, въ томъ или иномъ видѣ, приближеніи или возвращеніи къ старому, до-конституціонному режиму. Подтвержденіемъ ихъ служатъ иногда отзывы лицъ, повидимому хорошо освѣдомленныхъ — напр. вліятельныхъ представителей центра Государственной Думы. Оффиціозная газета, вмѣстѣ съ добровольными ея союзниками, удивляется неустойчивости общественнаго мнѣнія, проповѣдуетъ спокойствіе и довѣріе; но это нисколько не мѣшаетъ періодическому возобновленію тревоги. Въ какой степени она основательна — мы не знаемъ; но во всякомъ случаѣ она совершенно естественна и понятна. Ее поддерживаетъ, прежде всего, обиліе реакціонныхъ элементовъ, близко стоящихъ къ власти, вѣрныхъ традиціямъ и привычкамъ недавняго прошлаго. Что они ничего не забыли и ничему не научились — объ этомъ свидѣлствуетъ дѣятельность „правыхъ“ въ Государственномъ Совѣтѣ. Непосредственно примыкаютъ къ нимъ нѣкоторые изъ числа членовъ Совѣта министровъ. На мѣстахъ административная и административно-карательная власть, расширенная до крайнихъ предѣловъ, находится почти вездѣ въ рукахъ систематическихъ отрицателей закона и права. Подъ ихъ эгидой высоко поднимаютъ голову псевдоюлитическіе союзы, служащіе низменнымъ страстямъ, руководимые воекорыстіемъ или злобой и множащіеся благодаря невѣжеству. Млагосклонность, оказываемая имъ сверху, составляетъ, въ сущности,

всю ихъ силу,—но эта сила, по нынѣшнимъ временамъ, весьма значительна; чего стоитъ одна надежда на безнаказанность, питаемая цѣлымъ рядомъ правительственныхъ распоряженій! Въ тѣснѣйшее общеніе съ арміей насилія и нетерпимости вступаютъ, къ несчастію, и многіе іерархи православной церкви, въ средѣ которой, какъ показалъ недавній миссіонерскій съѣздъ, торжествуетъ — по крайней мѣрѣ наружно—опредѣленно ретроградное теченіе. На съѣздѣ „русскихъ монархическихъ“ партій третья Государственная Дума провозглашается „выразительницей не нуждъ народныхъ, а революціонеровъ и интеллигентовъ“; крамольниками признаются всѣ тѣ, въ чьихъ глазахъ русское самодержавіе (въ прежнемъ смыслѣ слова) болѣе не существуетъ. И на всѣ эти характерные симптомы бросаетъ особый свѣтъ воспоминаніе о 3-мъ іюня 1907-го года, устраняющее вѣру въ ненарушимость и непоколебимость основныхъ законовъ. Удивительна ли, затѣмъ, та легкость, съ которою воспринимаются и распространяются мрачныя вѣсти? Для нихъ не останется почвы только тогда, когда русская политическая жизнь войдетъ въ нормальную колею и поступательному ея движенію не будутъ болѣе угрожать ни разныя охраны, ни избирательная система, установленная внѣ законнаго порядка и основанная на принципѣ искусственнаго подбора.

Существенно важнымъ неудобствомъ настоящаго положенія вещей является трудность или, лучше сказать, невозможность опредѣлить съ точностью настроеніе различныхъ общественныхъ сферъ и всей народной массы. Въ теченіе тѣхъ долгихъ лѣтъ, когда на поверхности страны царила тишь и гладь, а въ глубинѣ, мало кому вѣдомая, совершалась усиленная работа, вынужденное молчаніе часто толковалось какъ согласіе и одобреніе. Нѣчто подобное мы видимъ и теперь. Внѣшняя тишина принимается за доказательство внутренняго спокойствія; мнѣнія, формально обрѣтающіяся не въ авантажѣ, признаются какъ бы не существующими или потерявшими право на существованіе. Отсюда, между прочимъ, та неугомонная травля, которую услужливая печать ведетъ противъ партіи народной свободы. „Кадеты“ — воскликаетъ, напримѣръ, одинъ изъ доѣзжачихъ— „потеряли страну, т.-е. потеряли соучастіе общества въ своей игрѣ; въ день выборовъ въ третью Думу они увидѣли себя почти всѣми оставленными. Тутъ дѣло заключается не въ законѣ 3-го іюня, или не въ одномъ этомъ законѣ, а въ томъ, что совершилась перемѣна въ отношеніи общества къ нимъ. И кадеты никогда не поумнѣютъ, пока горестно не сознаютъ, что общество разочаровалось, и основательно разочаровалось въ нихъ“. По истинѣ изумительна смѣлость этихъ утвержденій. Если кадеты прошли въ третью Думу въ числѣ гораздо меньшемъ, чѣмъ прежде, если значительный ущербъ потерпѣли на послѣд-

нихъ выборахъ и другія оппозиціонныя партіи, то это зависѣло непосредственно и прямо отъ радикальныхъ перемѣнъ, происшедшихъ въ составѣ и устройствѣ избирательныхъ сѣздовъ, въ способѣ избранія и числѣ депутатовъ. Можно сказать, не рискуя впасть въ ошибку, что при дѣйствіи избирательныхъ правилъ, однородныхъ съ изданными 3-го іюня, совершенно инымъ былъ бы результатъ и прежнихъ выборовъ. Правила 3-го іюня имѣли цѣлью сокрушить оппозиціонныя партіи—и удивляться слѣдуетъ не тому, что эти партіи оказались побѣжденными, а тому, что онѣ все-таки удержали за собой больше четверти голосовъ въ Государственной Думѣ. Это свидѣлствуетъ не о слабости, а о живучести и жизненности оппозиціонныхъ элементовъ. Сравненію подлежатъ только явленія, происходящія при одинаковыхъ условіяхъ. Первые и вторые выборы въ Думу были произведены на основаніи одного и того же закона; можно было, слѣдовательно, утверждать, что партія народной свободы, въ промежутокъ времени между выборами, потерпѣла довольно значительный уронъ, нанесенный ей отчасти справа, отчасти — и въ гораздо большей степени—слѣва. Никакихъ точекъ опоры для аналогичныхъ выводовъ выборы въ третью Думу не представляютъ. Измѣнилось ли *отношеніе общества къ кадетамъ*—объ этомъ, пока не восстановлена прежняя избирательная система, возможны только догадки.

„Разбитость кадетовъ“—увѣряетъ тотъ же беззащитный публицистъ—„тѣмъ замѣчательна, что это есть *окончательная* разбитость и что въ ней получила свой крахъ вообще часть русской интеллигенціи—эта книжная и теоретическая интеллигенція, оказавшаяся неспособною къ творческой государственной работѣ“. Мы не беремся заглядывать далеко въ будущее, да намъ и не нужно разбирать, окончательна ли или неокончательна „разбитость“, разъ что не доказанъ—и не можетъ быть доказанъ—самый фактъ разбитости. Свою способность къ государственной работѣ русская интеллигенція—далеко не исчерпываемая, конечно, партией народной свободы—обнаружила съ достаточною ясностью и до, и послѣ наступленія поворотнаго пункта въ нашей государственной жизни. Что такое, напримѣръ, указъ 12-го декабря 1904-го года, какъ не перечень реформъ, за которыя не переставало стоять, въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій, все что было живого и чуткаго въ русскомъ обществѣ? Не изъ того же ли источника исходили указанія на необходимость гарантій, безъ которыхъ непрочно реформы—указанія, оправданныя манифестомъ 17-го октября? А законопроекты, выдвинутые инициативой думской оппозиціи—неужели въ нихъ меньше творческой силы, чѣмъ въ произведеніяхъ министерскихъ канцелярій, проникнутыхъ близорукою озабоченностью разрыва съ печальнымъ прошлымъ?.. Еслибы дѣло кадетъ

было безповоротно проиграно, еслибы они были безапелляционно осуждены общественнымъ мнѣніемъ, не было бы и надобности направлять противъ нихъ столько ожесточенныхъ нападеній. Главная сила кадетъ заключается въ томъ, что съ ихъ именемъ неразрывно соединено воспоминаніе о первой Думѣ. Чѣмъ больше ее стараются затоптать въ грязь, чѣмъ больше придумываютъ для нея позорящихъ эпитетовъ, тѣмъ ярче выступаютъ на видъ ея свѣтлыя стороны. Ошибка, какою было, въ глазахъ многихъ, выборгское воззваніе, уравновѣшена другою, противоположною ошибкой—судомъ надъ подписавшими воззваніе и постигшей ихъ карой. Очень характерна, съ этой точки зрѣнія, рѣчь, обращенная Д. Н. Шиповымъ къ выборгцамъ, только-что освобожденнымъ изъ московской тюрьмы. „Я привѣтствую васъ“—сказалъ онъ—„не отъ имени вашихъ товарищей по партіи, а отъ партіи мирнаго обновленія. Та небольшая группа людей, положившая основаніе партіи мирнаго обновленія, во главѣ которой стояли Н. Н. Львовъ, М. А. Стаховичъ и покойный графъ Гейденъ,—не подписала выборгскаго воззванія, сознавая, что этотъ шагъ усилитъ реакцію. Опасенія ихъ, къ сожалѣнію, оправдались. Но если они отказались подписать воззваніе, они всегда и во всемъ шли вѣстѣ съ вами, будутъ идти съ вами въ борьбѣ за политическую свободу русскаго народа, за проведеніе необходимыхъ социальныхъ реформъ, за правовой порядокъ и за торжество общественной правды. Поэтому мы должны объединиться, какъ объединяется все русское прогрессивное общество безъ различія партій“. Да, не только для своихъ членовъ, но и для всѣхъ тѣхъ, кто желаетъ достигнуть мирнымъ путемъ кореннаго обновленія нашей государственной и социальной жизни, партія народной свободы продолжаетъ обладать большой притягательной силой, какъ самая крупная, самая крѣпкая, самая богатая дарованіями изъ всѣхъ организацій, сложившихся въ виду этой цѣли. Съ нею можно расходиться въ частностяхъ, можно не во всемъ раздѣлять ея тактику и не одобрять эксцессы ея партійной дисциплины—но нельзя считать ее побѣжденной въ открытомъ полѣ, въ равной борьбѣ, нельзя считать ее сошедшей или сходящей съ политической сцены... Само собою разумѣется, что она не можетъ пользоваться сочувствіемъ болѣе лѣвыхъ партій; но представителямъ послѣднихъ не мѣшало бы повяты, въ пользу какого „радующагося третьяго“ идутъ злобныя выходы противъ кадетъ. Когда въ одной изъ лѣвыхъ газетъ, по поводу душевнаго привѣта, встрѣтившаго освобожденныхъ выборгцевъ, появилась статья, озаглавленная: „Политическая пошлость“, этому чрезвычайно обрадовалась „Россія“, поспѣшившая перепечатать наиболѣе оскорбительныя обращенія къ кадетамъ и присоединить къ нимъ соотвѣтствующіе комментаріи. „Кадеты“—

сказано было, между прочимъ, въ вышеупомянутой статьѣ—„говорили передъ лицомъ всей Россіи. И право же, одно это стоило трехмѣсячной отсидки“. „Вотъ это“—съ торжествомъ восклицаетъ офиціозъ—„не въ бровь, а въ глазъ. Если ужъ мзда была воздана по заслугамъ, то гдѣ же тутъ героизмъ-то, страдальчество-то гдѣ?“ Въ словахъ, восхитившихъ „Россію“, мы видимъ не что иное, какъ „пріемъ ироніи“; мы вполне убѣждены, что лѣвая газета не можетъ вѣрить въ справедливость кары, постигшей выборгцевъ. Умѣстны ли, однако, шутки, допускающія такое толкованіе? Своевременна ли насмѣшка, упадающая, черезъ голову кадетъ, на первую Государственную Думу, главное наслѣдство которой составляютъ именно „кадетскія“ рѣчи? Глубоко печальное впечатлѣніе производитъ отсутствіе политическаго такта, приводящее къ ненормальнымъ союзамъ и къ столь же ненормальнымъ, въ данную минуту, раздорамъ.

Мы упомянули о Высочайшемъ указѣ 12-го декабря. Со времени изданія его прошло почти четыре года—а многое ли осуществлено, многое ли близко къ осуществленію изъ намѣченной имъ программы? Онъ призналъ неотложнымъ „принятіе дѣйствительныхъ мѣръ къ охраненію полной силы закона, дабы ненарушимое и одинаковое для всѣхъ исполненіе его почиталось первѣйшею обязанностью всѣхъ властей, неисполненіе же неизбежно влекло законную за всякое произвольное дѣйствіе отвѣтственность“; онъ требовалъ пересмотра исключительныхъ законоположеній, возможнаго уменьшенія числа мѣстностей, на которыя они распространяются, и допущенія вызываемыхъ ими стѣсненій „только въ случаяхъ дѣйствительно угрожающихъ государственной безопасности“. И что же? Никогда еще „сила закона“ не была доведена до такого минимума, никогда не ослабѣвало до такой степени чувство отвѣтственности должностныхъ лицъ, никогда сфера дѣйствія исключительныхъ положеній не была такъ широка, никогда въ примѣненіи ихъ не считались такъ мало съ самыми безспорными правами. Правда, вскорѣ послѣ изданія указа 12-го декабря наступило смутное время, обстоятельствами котораго и оправдываютъ, обыкновенно, крайнее напряженіе и развитіе произвола; но въ трудныя минуты чрезвычайная оборона была черезъ край, выходила далеко за предѣлы необходимости—а теперь она сохраняетъ всю юю остроту, хотя съ прекращеніемъ смуты не имѣетъ болѣе никакой *raison d'être*. Какою „дѣйствительно угрожающею опасностью“ можетъ быть объяснена, напримѣръ, высылка заслуженнаго старика, иновѣрнаго только въ нежеланіи выписывать, для своей читальни, пріосотенныя газеты? Во имя какихъ высшихъ соображеній можетъ

быть освобожденъ отъ отвѣтственности администраторъ, вторгающійся въ совершенно чуждую ему область гражданскихъ правоотношеній?.. И что предвидится въ ближайшемъ будущемъ? Законъ объ исключительномъ положеніи, соединяющій въ себѣ всѣ худшія стороны нынѣшнихъ „охранъ“—законъ, введеніе котораго въ дѣйствіе не предполагается обставить серьезными гарантіями, продолжительность примѣненія котораго не предполагается ограничить опредѣленнымъ срокомъ. То ли имѣлось въ виду, когда выходилъ въ свѣтъ указъ 12-го декабря? То ли проектировалось учрежденіями, призванными, первоначально, къ его исполненію?.. Сила закона названа въ указѣ 12-го декабря „важнѣйшей опорой престола въ самодержавномъ государствѣ“. Развѣ не таково ея значеніе въ государствѣ правовомъ? Развѣ не рѣжетъ слухъ сочетаніе такихъ понятій, какъ произволъ—и конституція? Послѣ 17-го октября проведеніе въ жизнь началъ, признанныхъ декабрьскимъ указомъ, составляетъ настоятельную, насущную потребность Россіи. Отсрочекъ было уже слишкомъ много; дальнѣйшее промедленіе грозитъ непоправимымъ вредомъ нашей государственной жизни.

Пойдемъ далѣе. Указъ 12-го декабря призываетъ къ дѣятельности въ земскихъ и городскихъ учрежденіяхъ, *на однородныхъ основаніяхъ*, представителей всѣхъ частей заинтересованнаго въ мѣстныхъ дѣлахъ населенія; онъ предоставляетъ органамъ земскаго и городского самоуправления возможно широкое участіе въ завѣдываніи различными сторонами мѣстнаго благоустройства, съ дарованіемъ имъ необходимой для того, въ законныхъ предѣлахъ, самостоятельности. Положеніе мѣстнаго самоуправления признано, тѣмъ самымъ, совершенно ненормальнымъ; радикально измѣнить рѣшено какъ составъ его органовъ, такъ и ихъ дѣятельность. Отсюда вытекала сама собою необходимость безотлагательной перестройки обветшавшихъ зданій. Мѣстное самоуправленіе имѣетъ слишкомъ большое значеніе, чтобы можно было, однажды сознавъ его серьезные дефекты, оставлять ихъ неисправленными. Больше чѣмъ когда-либо эти дефекты обнаружались именно въ послѣдніе годы; знаменательнымъ ихъ признакомъ явился колоссальный ростъ земскихъ недоимокъ. Съ самаго начала, однако, земскій вопросъ попалъ въ долгій ящикъ. Совѣщаніе, которому предполагалось поручить его разработку, не было создано, пока дѣйствовалъ старый законодательный порядокъ. Когда этотъ порядокъ уступилъ мѣсто новому, правительствомъ не было принято мѣръ къ скорѣйшей подготовкѣ земской реформы. Законопроектъ о реорганизаціи земскихъ выборовъ былъ внесенъ во вторую Государственную Думу, но затѣмъ взятъ назадъ и переданъ на разсмотрѣніе совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства—до-реформеннаго учрежденія, долго существовавшего только

на бумагѣ. Въ составъ этого совѣта были приглашены земскіе дѣятели, мнѣніе которыхъ можно было предугадать заранѣе, въ виду резолюцій московскаго земскаго съѣзда. Когда работа совѣта, вновь пересмотрѣнная министерствомъ, поступитъ, наконецъ, на обсужденіе Государственной Думы—это неизвѣстно; еще меньше можно предвидѣть, когда двинутся въ ходъ остальные отдѣлы новаго земскаго положенія. Чего, затѣмъ, слѣдуетъ ожидать отъ реформы, движущейся такимъ черепашинымъ шагомъ? Совершенно ясно, что, идя по проложенному для нея пути, она не дастъ представительства, построеннаго на *однородныхъ основаніяхъ*: система курій, съ ея наклономъ въ сторону крупныхъ плательщиковъ, неизбежно должна сохранить — или усилить—ту *разнородность*, которую осудилъ, въ принципѣ, указъ 12-го декабря. Нельзя рассчитывать и на „необходимую самостоятельность“ земскихъ (и городскихъ) учреждений, разъ что одновременно съ ихъ реформой должно произойти усиленіе губернаторской власти. Еслибы въ намѣренія министерства входила дѣйствительная эманципация органовъ мѣстнаго самоуправленія, оно перестало бы уже теперь пользоваться дискреціонною властью, позволяющею ему — и подчиненнымъ ему должностнымъ лицамъ — идти прямо въ разрѣзъ съ желаніями земскихъ собраній. Не было бы больше случаевъ неутвержденія председателей и членовъ земскихъ управъ — неутвержденія, принимающаго иногда (напр. въ Вятской губерніи) колоссальные размѣры и извращающаго характеръ земской работы... Въмѣстѣ съ пересмотромъ положеній земскаго и городского отодвинуто въ неопредѣленную даль и образованіе мелкой земской единицы, предрѣшенное указомъ 12-го декабря.

Законы о крестьянахъ указомъ 12-го декабря повелѣно было привести къ объединенію съ общимъ законодательствомъ имперіи. Къ этой цѣли указъ 5-го октября 1906-го года приблизился только отчасти. Крестьяне все еще остаются особымъ сословіемъ, образующимъ особые территориальныя единицы и оплачивающимъ изъ своихъ средствъ всѣ расходы, сопряженные съ сельскимъ и волостнымъ управленіемъ; надъ ними все еще тяготѣетъ власть земскихъ начальниковъ, смягченная только въ одномъ изъ своихъ проявленій. Чрезвычайно ярко обособленность крестьянства отразилась на избирательныхъ законахъ 1905 и 1907-го гг., устанавливающихъ для крестьянъ — только для крестьянъ — своеобразную четырехстепенную избирательную систему... Въ близкомъ будущемъ предстоитъ, быть можетъ, уравненіе крестьянства съ другими сословіями передъ судомъ: въ Государственную Думу внесенъ и думской комиссіей, въ главныхъ чертахъ, одобренъ законопроектъ о мѣстномъ судѣ, возстановляющій мировыхъ судей и упраздняющій волостные суды. Если этотъ проектъ получить

силу закона, изъ нашей жизни исчезнетъ, наконецъ, одно изъ главныхъ юридическихъ различій между крестьянствомъ и другими сословіями; но будетъ ли фактъ соответствовать праву, будетъ ли судъ одинаковъ для всѣхъ не только по имени, но и на самомъ дѣлѣ? Земскія собранія, при той избирательной системѣ, за которую высказался совѣтъ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, сдѣлаютъ ли и захотятъ ли выбирать истинно безпристрастныхъ мировыхъ судей? Да и легко ли будетъ найти такихъ судей, при тѣхъ условіяхъ избираемости, которыя намѣчены въ законопроектѣ? Безслѣдно ли, наконецъ, сойдутъ со сцены земскіе начальники—или удержатъ за собою, подъ другимъ именемъ и въ другихъ формахъ, „попечительныя“ функціи по отношенію къ крестьянству?.. Много, очень много преградъ видѣется еще на пути, ведущемъ къ обращенію крестьянъ въ „полноправныхъ, свободныхъ сельскихъ обывателей“.

Предписанный указомъ 12-го декабря пересмотръ постановленій, ограничивающихъ права инородцевъ и уроженцевъ отдѣльныхъ мѣстностей имперіи, долженъ былъ оставить въ силѣ лишь тѣ изъ числа этихъ постановленій, которыя „вызываются насущными интересами государства и явною пользою русскаго народа“. Въ этомъ направленіи не только сдѣлано, но и проектировано еще весьма немногое. Существенно важное значеніе имѣетъ только Высочайшій указъ 1-го мая 1905-го года, касающійся девяти западныхъ губерній; по онъ до сихъ поръ приведенъ въ исполненіе не вполне (не возстановлено, напримѣръ, производство дворянскихъ выборов). Неизмѣненнымъ осталось юридическое положеніе евреевъ. Нѣтъ даже и рѣчи о распространеніи земскаго и городского самоуправленія на окраины имперіи. Интересамъ и правамъ бѣльшей части окраинъ нанесенъ тяжелый ударъ новой избирательной системой, сократившей или вовсе отнявшей представительство ихъ въ Государственной Думѣ.

Печатное слово указъ 12-го декабря признавалъ необходимымъ поставить въ *точно опредѣленные закономъ предѣлы*—а между тѣмъ никогда еще оно не стояло до такой степени внѣ закона, никогда еще не тяготѣлъ надъ нимъ до такой степени необузданный произволъ. Вездѣ, гдѣ дѣйствуетъ военное положеніе или чрезвычайная охрана—т.-е. во всѣхъ главныхъ центрахъ умственной жизни—судьба органовъ печати зависитъ всецѣло отъ усмотрѣнія должностныхъ лицъ, ничѣмъ не стѣсняемаго и никѣмъ не руководимаго. Позволительное въ одномъ городѣ оказывается непозволительнымъ въ другомъ, сосѣднемъ; никто не увѣренъ въ завтрашнемъ днѣ. Дѣло доходитъ до того, что редакціи опять, какъ при дѣйствіи пресловутой ст. 140-ой уст. ценз., начинаютъ получать приглашенія не касаться той или другой темы; вся разница въ томъ, что исходятъ приглашенія

теперь не отъ цензурнаго вѣдомства, а отъ полиціи, мѣстному начальнику которой принадлежитъ право жизни и смерти по отношенію къ органамъ печати.

Сравнительно далеко проведено исполненіе того пункта указа 12-го декабря, которымъ обѣщана терпимость въ дѣлахъ вѣры. Высочайшимъ указомъ 17-го апрѣля 1905-го года сдѣлано, въ этомъ отношеніи, многое и весьма важное. Въ томъ же духѣ составлены, повидимому, и законопроекты по разнымъ вѣроисповѣднымъ вопросамъ, внесенные въ третью Государственную Думу. Съ особенной силой, за то, сказывается въ этой области и противоположное теченіе. Въ началѣ нынѣшняго гола измѣнился составъ св. синода, въ смыслъ благопріятномъ для ретроградныхъ поползновеній. Съ цѣлью затормозить дальнѣйшій ходъ преобразованій и, если можно, подготовить почву для обратнаго движенія созванъ былъ въ Кіевѣ миссіонерскій съѣздъ, своею многочисленностью и торжественностью обстановки рѣзко отличавшійся отъ предыдущихъ и представлявшій собою какъ бы подобіе церковнаго собора. Одновременно съ засѣданіями съѣзда и при участіи нѣкоторыхъ видныхъ его членовъ происходили собранія союза русскаго народа. Мягкія, примирительныя рѣчи с.-петербургскаго митрополита и оберъ-прокурора св. синода прозвучали безслѣдно. Выдающаяся роль досталась такимъ поборникамъ отжившей системы, какъ архіепископъ волинскій, какъ протоіерей Восторговъ, какъ редакторъ „Колокола“ и „Миссіонерскаго Обозрѣнія“ Скворцовъ. За ними слѣдовало большинство съѣзда; вольно или невольно — это вопросъ спорный. Весьма вѣроятно, что въ массѣ священниковъ предложенія руководителей съѣзда искренняго сочувствія не встрѣчали; но воспитанный вѣками страхъ передъ властью налагалъ молчаніе на уста многихъ и обезпечивалъ побѣду за смѣлостью немногихъ. Православная церковь, по мнѣнію съѣзда, должна стоять внѣ сферы вліянія Государственнаго Совѣта и Государственной Думы; не отъ законодательныхъ учрежденій, слѣдовательно, долженъ зависѣть пересмотръ состоявшихся уже законодательныхъ актовъ, опредѣляющихъ положеніе церкви въ государствѣ. Вѣроисповѣдныя законопроекты, внесенные въ третью Государственную Думу, должны быть взяты оттуда и переданы на разсмотрѣніе предстоящаго церковнаго собора или св. синода (правильнѣе было бы прямо сказать — на разсмотрѣніе синода, такъ какъ на скорый созывъ собора рассчитывать нельзя). Въ церковныя проповѣди слѣдуетъ вводить публицистическій элементъ, посвященный современнымъ событіямъ. Такимъ же элементомъ должны быть проникнуты, вѣроятно, и книги, брошюры, чтецы, изданіе которыхъ рекомендуетъ синоду и епархіальнымъ властямъ. Для борьбы съ социализмомъ слѣдуетъ пользоваться услу-

гами и помощью истинно-русскихъ патріотическихъ организацій. Немало заявлено съѣздомъ ходатайствъ о разныхъ запретительныхъ мѣрахъ, объ усиленіи полицейскаго и всякаго другого надзора. Особенное вниманіе обращаетъ на себя ходатайство о воспрещеніи браковъ православныхъ съ инославными (кроме епархій холмской, варшавской и рижской, гдѣ, въ исключительныхъ случаяхъ, такіе браки могутъ быть допускаемы съ разрѣшенія архіерея); чрезвычайно характерно также ходатайство о продажѣ православнымъ русскимъ крестьянамъ, при посредствѣ крестьянскаго банка, тѣхъ маіоратныхъ имѣній въ Холмской Руси, владѣльцы которыхъ не живутъ на мѣстахъ, и о немедленномъ удовлетвореніи земельной нужды крестьянства въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ замѣчается движеніе въ пользу католицизма.

Таковы главные результаты кіевскаго съѣзда. Прежде, чѣмъ перейти къ ихъ оцѣнѣ, посмотримъ, въ какихъ краскахъ изображали положеніе православной церкви авторитетные представители духовенства. По словамъ архіепископа волынскаго, присоединеній къ церкви очень мало, а отпаденія отъ нея „весьма и весьма значительны“. „Въ сердцахъ современнаго общества торжествуетъ злая воля. Прежде относились къ церкви враждебно по недоразумѣнію; нынѣ идутъ изъ ограда церковной потому, что захотѣли иной жизни, чѣмъ указываемая церковью“. Съ этимъ объясненіемъ отпаденій не совпадаетъ мнѣніе докладчиковъ противосектантской комиссіи съѣзда; они удостовѣряютъ, что всѣмъ сектамъ присуще, особенно въ последнее время, стремленіе реформировать свое ученіе въ направленіи большаго соответствія Евангелію, а такъ называемыя безнравственные секты (къ которымъ, впрочемъ, какъ прежде присоединялись, такъ и теперь присоединяются весьма немногіе) постепенно отрѣшаются отъ своихъ отрицательныхъ сторонъ. Не настолько велико и различіе между житейскими правилами, предписываемыми съ одной стороны православіемъ, съ другой—католицизмомъ и протестантизмомъ, чтобы можно было искать въ немъ причину отпаденій. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, одно: три года—промежутокъ времени слишкомъ недостаточный, чтобы поколебать въру десятковъ и сотенъ тысячъ людей, чтобы уничтожить въ нихъ привязанность къ церкви, въ составъ которой они входили по рожденію и воспитанію. Послужить сигналомъ массоваго перехода православныхъ въ другія исповѣданія указъ 17-го апрѣля могъ, очевидно, только потому, что для такого перехода всѣ условія уже раньше имѣлись налицо; недоставало только юридической возможности осуществить его. Поспѣшно вышедшіе изъ православной церкви были, въ огромномъ большинствѣ, православными только по имени, давно тяготѣвшими туда, куда они теперь пошли

открыто. Таковы были, напимѣрь, бывшіе униаты, въ отчетахъ оберъ-прокурора св. синода именовавшіеся „упорствующими“; таковы были въ остзейскомъ краѣ—лютеране, въ приволжскихъ губерніяхъ—магометане, легкомысленно принявшіе православіе и затѣмъ раскаявшіеся въ томъ; таковы были старообрядцы и сектанты, попавшіе, тѣмъ или другимъ путемъ, въ официальные списки православныхъ, но не имѣвшіе ничего общаго съ православною церковью. Въ продолженіе многихъ десятилѣтій господствующая церковь, энергично поддерживаемая всемогущею свѣтскою властью, не могла создать, во всѣхъ этихъ на-правленіяхъ, ничего болѣе прочнаго, чѣмъ чисто формальную связь, которая неизбѣжно должна была порваться при первомъ дуновеніи свободы. На что же разсчитываютъ теперь руководители миссіонерскаго съѣзда? Почему они думаютъ, что средства, негодность которыхъ обнаружилась такъ ярко при старомъ порядкѣ, благопріятствовавшимъ принужденію, станутъ цѣлесообразными при новыхъ условіяхъ, благопріятствующихъ свободѣ? Неужели содѣйствіе „истинно-патріотическихъ организацій“, дискредитирующихъ все то, чему онѣ служатъ, можетъ замѣнить собою полицейско-криминальный аппаратъ, еще недавно состоявшій въ распоряженіи православнаго духовенства? Неужели гг. Дубровину и Юзефовичу удастся то, къ чему въ теченіе цѣлой четверти вѣка напрасно стремился К. П. Побѣдоносцевъ?.. Для насъ по истинѣ непонятны надежды, возлагаемыя на политику преслѣдованій и стѣсненій. Еслибы возвращеніе къ ней и оказалось возможнымъ, еслибы и была взята назадъ единственная сколько-нибудь прочно и широко осуществившаяся свобода, ничего не измѣнилось бы въ положеніи православной церкви, разъ что она сама осталась бы неизмѣнной; неудержимо продолжался бы ея упадокъ, вызванный вѣками подчиненія свѣтской власти и непризнанія правъ совѣсти и мысли.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что миссіонерскій съѣздъ, настаивая на изыятіи церковныхъ дѣлъ изъ „сферы вліянія“ Государственнаго Совѣта и Государственной Думы, имѣлъ въ виду болшую независимость и самостоятельность православной церкви. На самомъ дѣлѣ онъ хотѣлъ не чего иного, какъ только возстановленія отношеній, существовавшихъ между церковью и государствомъ до манифеста 17-го октября—тѣхъ отношеній, при которыхъ церковь, по признанію всѣхъ лучшихъ защитниковъ православія, находилась и не можетъ не находиться во власти государства. Надъ церковью, которой не касались бы Государственный Совѣтъ и Государственная дума, по прежнему стоялъ бы синодъ, а надъ синодомъ—верховная власть, представляемая оберъ-прокуроромъ. Въ конституціонномъ государствѣ уцѣлѣлъ бы, такимъ образомъ, уголокъ, въ которомъ го-

сподствовалъ бы абсолютизмъ. Устранена была бы главная точка опоры указа 17-го апрѣля, устранено было бы главное препятствіе къ его отмѣнѣ—или, по меньшей мѣрѣ, существенно затруднено было бы дальнѣйшее его развитіе... Именно такова окончательная цѣль домогательствъ съѣзда: въ соотвѣтствіи съ нею намѣчены способы дѣйствій. „Публицистическій элементъ“, введеніе котораго въ церковную проповѣдь рекомендуется съѣздомъ, долженъ состоять, безъ сомнѣнія, въ пропагандѣ началъ, исповѣдуемыхъ „истинно-патріотическими организациями“; тѣ же начала должны быть положены въ основаніе издательской дѣятельности духовенства. Что изъ этого должно выйти—о томъ дають понятіе результаты, достигаемые агитаціей о. Иліодора. Теперь, больше чѣмъ когда-либо, духовенству слѣдовало бы дѣйствовать въ примирительномъ, успокоительномъ духѣ—а ему ставятся задачи прямо противоположнаго характера.

Возбудивъ ходатайство о воспрещеніи смѣшанныхъ браковъ, миссіонерскій съездъ пошелъ такъ далеко назадъ, какъ не рѣшались идти у насъ церковныя власти въ эпохи наибольшей религіозной нетерпимости. Усилія правительства и церкви, въ такія эпохи, были направлены къ строжайшему соблюденію правила, въ силу котораго дѣти, рожденныя отъ смѣшаннаго брака, подлежатъ воспитанію въ православной вѣрѣ; иногда къ этому присоединялось, со стороны епархіальнаго начальства, требованіе *увѣщаній*, имѣвшихъ цѣлью удержаніе православныхъ отъ вступленія въ бракъ съ неправославными—но о рѣшительномъ запрещеніи такихъ браковъ не было и рѣчи. Чего, собственно, домогается съездъ? Того ли, чтобы священникамъ было предписано ихъ начальствомъ не вѣнчать православныхъ съ не-православными—или того, чтобы былъ отмѣненъ самый законъ, разрѣшающій подобные браки? Въ первомъ случаѣ духовенство должно будетъ стать прямымъ послушникомъ закона, должно будетъ пойти въ разрѣзъ съ желаніями и требованіями правительства; во второмъ случаѣ правительство должно будетъ отказаться отъ своей вѣковой политики, отступить къ до-петровскимъ временамъ. Разрывъ между духовенствомъ и правительствомъ прямо немислимы; онъ противорѣчилъ бы всѣмъ привычкамъ православной церкви и знаменовалъ бы собою отреченіе ея отъ выгодъ, которыя ей приносятъ союзъ съ властью—выгодъ особенно цѣнныхъ именно съ точки зрѣнія, восторжествовавшей на миссіонерскомъ съездѣ. Извѣстно, что на почвѣ борьбы между духовною и свѣтскою властью возникъ, напри-мѣръ въ Германіи, гражданскій бракъ... Мало вѣроятенъ и второй исходъ. Нормальнымъ путемъ законъ, воспрещающій смѣшанные браки, пройти не могъ бы; не нашлось бы такой Думы, большинство которой согласилось бы на такой скачокъ назадъ. Что касается до виѣ-легаль-

наго пути, то для обращенія къ нему правительство, въ данномъ случаѣ, не имѣло бы достаточно сильныхъ побужденій... Запрещеніе смѣшанныхъ браковъ—не такая мѣра, которая могла бы быть принята безъ полнаго переворота въ отношеніяхъ правительства къ вѣроисповѣдному вопросу. Пока свободенъ выходъ изъ православной церкви, запрещеніе смѣшанныхъ браковъ сплошь и рядомъ не достигало бы цѣли: чтобы вступить въ предположенный бракъ съ лицомъ инославнымъ, православному достаточно было бы заявить о переходѣ своемъ въ другое исповѣданіе. Чтобы создать реальную преграду для смѣшанныхъ браковъ, нужно было бы, слѣдовательно, возстановить глухую стѣну, которою еще недавно была окружена православная церковь; нужно было бы возвратиться къ фикціи, въ силу которой однажды записанный православнымъ долженъ былъ навсегда считаться принадлежащимъ къ православной церкви, хотя бы у него не было съ нею рѣшительно ничего общаго. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что такое возвращеніе невозможно... Помимо всего остального, ходатайство съѣзда подрывается въ корнѣ тѣмъ изъятіемъ, которое оно допускаетъ изъ проектируемаго имъ общаго правила. Если смѣшанный бракъ противорѣчитъ церковнымъ канонамъ, то онъ противорѣчитъ имъ вездѣ и всегда—и наоборотъ, если онъ возможенъ, безъ нарушенія каноновъ, въ Варшавѣ или Ригѣ, то нельзя отрицать его возможность во всей Россійской имперіи.

Нѣтъ ничего болѣе противнаго духу и достоинству религіи, чѣмъ попытки удержать въ ея лонѣ или побудить къ ея принятію общаніемъ или предоставленіемъ матеріальныхъ выгодъ. На этотъ скользкій путь вступилъ миссіонерскій съѣздъ, ставя удовлетвореніе земельныхъ нуждъ крестьянства въ зависимость отъ степени опасности, грозящей со стороны католицизма. Уважить это ходатайство, значило бы узаконить лицемеріе, значило бы признать безсиліе вѣрованій, не поддерживаемыхъ расчетомъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ посѣять раздоръ между различными группами крестьянскаго населенія. Аграрный вопросъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые могутъ служить предметомъ политической игры; нельзя ставить и рѣшать его въ одной мѣстности такъ, въ другихъ—иначе... Убѣждая своихъ слушателей не смущаться отпаденіями отъ православія, одинъ изъ руководителей съѣзда выразилъ мысль, что важно не количество, а качество: „пусть останутся въ истинной церкви хоть одинъ архіерей и съ нимъ три мірянина—и въ этомъ небольшомъ обществѣ можетъ сіять свѣтъ истинной вѣры, который можетъ согрѣть всю землю“. Затѣмъ же, въ такомъ случаѣ, стремиться къ увеличенію „количества“, съ одной стороны—принужденіемъ, съ другой—общаніемъ земныхъ благъ?

„Христосъ былъ среди насъ, братіе“—читаемъ мы въ рѣчи, про-

изнесенной при закрытіи сѣзда; „Его благодатная сила неоднократно ощущалась въ этомъ собраніи“. А вотъ что сказалъ передъ тѣмъ одинъ изъ членовъ сѣзда (священникъ Трачъ): „нужно брать упорнымъ трудомъ въ духъ Христовой истины и любви, и тогда никакіе баптисты намъ не будутъ страшны. Гдѣ же Христосъ? Гдѣ духъ Его любви? Слышадъ я въ бесѣдѣ со старообрядцами что угодно, но о Христѣ и слова нѣтъ не молвилъ... Братья! Намъ нужна коренная, сверху до низу во всемъ реформа. И прежде всего Христосъ, о которомъ я не слышу“. Предоставляемъ читателямъ судить, который изъ двухъ ораторовъ былъ ближе къ истинѣ... Въ какомъ настроеніи уѣхали со сѣзда нѣкоторые его участники—это видно изъ статьи священника Аггеева, напечатанной въ „Московскомъ Еженедѣльникѣ“ князя Е. Н. Трубецкого (см. въ особенности № 31, стр. 41).

Возвращаемся къ нашей исходной точкѣ. Если указъ 12-го декабря, въ значительной своей части, остается до сихъ поръ мертвой буквой, если преобразованія, признанныя неотложными при господствѣ стараго режима, не осуществлены вовсе или осуществлены далеко не вполнѣ при новомъ государственномъ строѣ, то не ясно ли, въ чемъ заключается одна изъ самыхъ настоятельныхъ задачъ народнаго представительства? Не ясно ли, что на обязанности Государственной Думы лежитъ возможно быстрое проведеніе въ жизнь всего обѣщаннаго четыре года тому назадъ, съ тѣми дополненіями, которыхъ требуютъ измѣнившіяся обстоятельства — и ужъ конечно безъ отступленій въ сторону давно осужденнаго прошлаго? Необходимо поставить на ближайшую очередь вопросы крестьянскій, земскій, городской и разрѣшить ихъ радикально, не ограничиваясь палліативами и полумѣрами; необходимо довершить великое дѣло, начатое указомъ 17-го апрѣля; необходимо обезпечить равноправность всѣхъ русскихъ гражданъ, гдѣ бы они ни обитали и къ какой бы народности ни принадлежали; необходимо создать дѣйствительную неприкосновенность личности и дѣйствительную свободу печати. Всему этому могъ бы оказать содѣйствіе союзъ 17-го октября, еслибы онъ, удаливъ изъ своей среды мало подходящіе къ нему элементы, рѣшился, наконецъ, оправдать свое названіе и стать достойнымъ своего знамени: вѣдь манифестомъ 17-го октября не упраздненъ указъ 12-го декабря, а сдѣланъ дальнѣйшій, крупный шагъ въ томъ же направленіи. Безъ конституціонныхъ гарантій непрочно были бы всѣ отдѣльныя реформы — но безъ отдѣльныхъ реформъ не могутъ воспріять реальную силу конституціонныя гарантіи. Есть нѣкоторое основаніе думать, что въ средѣ октябристовъ проис-

ходить движеніе, могущее вывести ихъ на настоящую дорогу. Непосредственнымъ поводомъ къ нему послужили тѣ тревожные слухи, о которыхъ мы говорили въ началѣ обозрѣнія. Октябристскіе органы призываютъ къ единенію оппозиціи въ случаѣ торжества реакціи. „Когда корабль накрененъ“ — восклицаетъ одинъ изъ нихъ, — „то въ толгѣ, скучившейся на непокрытой волнами части, пассажиры разныхъ классовъ смѣшиваются. И вновь, какъ до 17-го октября, увидали бы мы занятыхъ общимъ дѣломъ нынѣшнихъ политическихъ враговъ. О разногласіяхъ можно говорить потомъ — сперва врагъ общій“. Совершенно вѣрно: но зачѣмъ же ждать побѣды общаго врага? Почему бы не объединиться раньше, чтобы помѣшать этой побѣдѣ и достигнуть общими силами, всего того, что одинаково дорого для всѣхъ объединяющихся?

Въ нашемъ сводѣ законовъ сохраняются до сихъ поръ нѣкоторые чисто-моральныя правила, не имѣющія и не могущія имѣть никакой юридической силы (напр. — мужъ обязанъ любить свою жену, жена обязана пребывать въ почтеніи и любви къ своему мужу). Что такія правила неумѣстны въ законѣ — въ этомъ теперь не сомнѣвается никто; но едва ли они цѣлесообразны и въ предписаніяхъ начальства. Чѣмъ оно щедрѣе на наставленія, тѣмъ болѣе вѣроятно, что усвоена и принята къ исполненію будетъ только формальная ихъ сторона — а сущность дѣла измѣнится очень мало. Нельзя, поэтому, ожидать полезныхъ послѣдствій отъ циркуляра, съ которымъ министръ народнаго просвѣщенія обратился недавно къ попечителямъ учебныхъ округовъ. Напоминая о законѣ, возлагающемъ на директора средней школы отвѣтственность „по всѣмъ частямъ ея благоустройства“, г. министръ требуетъ отъ директоровъ „преданности дѣлу, которому они призваны служить, неослабнаго и бдительнаго надзора за исполненіемъ постановленій, касающихся школы, твердаго руководства воспитателями и преподавателями“. Если начальникъ учебнаго заведенія соединяетъ въ себѣ качества, предполагаемыя назначеніемъ на эту должность, онъ не нуждается въ поученіяхъ столь общаго характера — а дать ему то, чего ему недостаетъ, они ни въ какомъ случаѣ не могутъ... Только словами являются и другія указанія циркуляра, не идущія ни на шагъ дальше того, что хорошо извѣстно всякому сознательно дѣйствующему на педагогическомъ поприщѣ. Сколько-нибудь опредѣленнымъ можно назвать лишь одно предписаніе циркуляра: „директоръ долженъ по возможности значительную часть учебнаго дня проводить въ классахъ“. „Только тогда“ — читаемъ мы дальше — „можетъ установиться живая и близкая связь

начальника заведенія съ учащими и учащимися; а при доброжелательномъ и умѣломъ руководствѣ преподавателями со стороны директоровъ несомнѣнно поднимется и авторитетъ ихъ въ глазахъ педагогической семьи". Такому формальному условію, какъ *присутствіе* директора въ классахъ, придается здѣсь до крайности преувеличенное значеніе. Все зависитъ не отъ того, сколько времени директоръ проводитъ въ классахъ, а отъ того, какъ онъ пользуется этимъ временемъ; но такъ какъ количество часовъ, проведенныхъ въ классѣ, подлежитъ учету — чего нельзя сказать о способѣ ихъ преподаванія, — то для директора, желающаго заслужить благоволеніе начальства, явится прямой расчетъ напирать именно на эту внѣшнюю сторону своей работы... Въ заключеніе циркуляръ требуетъ отъ директоровъ представленія попечителю округа свидѣній о дѣятельности преподавателей, о достигаемыхъ ими въ учебномъ отношеніи результатахъ, о мѣрахъ, которыя самими директорами принимались для улучшенія преподаванія, и о послѣдствіяхъ такихъ мѣропріятій, а отъ попечителей — представленія донесеній о дѣятельности директоровъ въ этомъ отношеніи. Единственнымъ результатомъ подобныхъ требованій слишкомъ легко можетъ явиться, кромѣ значительнаго увеличенія переписки, придумыванье такихъ „мѣропріятій“, которыми подчеркивалась бы готовность директора идти на встрѣчу предначертаніямъ высшей власти.

Поменьше предписаній и запрещеній, побольше живого содѣйствія всему расширяющему и углубляющему образованіе: вотъ чего можно пожелать министерству народнаго просвѣщенія — и чего трудно ожидать отъ управленія А. Н. Шварца. Чтò дастъ средней школѣ новый ея уставъ — объ этомъ нельзя еще сказать ничего опредѣленнаго: можно лишь опасаться, что тяжелымъ бременемъ вновь ляжетъ на нее мелочная регламентація, съ тою сѣткю „постановленій“, исполненію которыхъ придаетъ такую важность только-что рассмотрѣнный нами циркуляръ министра. Еще серьезнѣе опасность, грозящая университетамъ. Едва успѣвъ войти въ нормальную колею, они рискуютъ потерять все пріобрѣтенное съ такимъ трудомъ — рискуютъ потому, что опять начинаютъ брать верхъ старыя административныя преданія. „Политика министерства“ — говоритъ проф. Гревсъ въ прекрасной статьѣ: „Строительство и разрушеніе въ нашей высшей школѣ“ („Право“, №№ 29 и 31), — „пригнетаетъ автономію: стѣсняется студенческое представительство, остаются безъ утвержденія важныя рѣшенія совѣтовъ, профессора назначаются иногда помимо совѣтскаго выбора. Въ частности преслѣдованіе въ Петербургѣ института факультетскихъ старостъ можетъ быть объяснено только неосвѣдомленностью министерства или стремленіемъ разбить во что бы то ни стало создав-

шуюся организацію“. На самомъ дѣлѣ „автономная организація университетовъ отрицала за старостами самостоятельную власть. Они признавались органами той (очень значительной) части учащихся, которая интересуется коллегіальнымъ устройствомъ своего быта и желаетъ имѣть посредниковъ для сношеній о своихъ нуждахъ съ университетскою администраціею. Давленіе старостъ на всю массу студенчества устранялось; рядомъ съ ними совѣтъ признавалъ и другія, легально сложившіяся организаціи и входилъ въ сношенія съ комитетами всѣхъ утвержденныхъ кружковъ... Совѣтъ с.-петербургскаго университета и особенно ректоръ, проректоръ и совѣтская коммиссія могутъ единодушно засвидѣтельствовать, что для нихъ существованіе факультетскихъ старостъ было драгоцѣннымъ условіемъ сохраненія мира внутри университета, выработки нормальныхъ отношеній со студентами и укрѣпленія авторитета профессоровъ“. Въ виду столь рѣшительныхъ и вѣскихъ удостовѣреній, въ виду опыта послѣднихъ десятилѣтій, показавшаго наглядно, что отсутствіе легальныхъ студенческихъ организацій не способствуетъ, а препятствуетъ внутреннему миру и правильнымъ занятіямъ, неужели опять настанетъ періодъ ограничительныхъ мѣръ и неизбежно слѣдующихъ за ними репрессій?

Финляндскому сейму предстоитъ разсмотрѣніе петиціи, внесенной представителями всѣхъ партій, кромѣ социалистической — петиціи, направленной противъ порядка доклада финляндскихъ дѣлъ, установленнаго 20-го мая нынѣшняго года. Петиція предлагаетъ сейму войти къ Монарху съ всеподданнѣйшимъ ходатайствомъ о томъ, „чтобы за Финляндіей было сохранено ея основное право въ отношеніи разсмотрѣнія и доклада дѣлъ, касающихся законодательства и управленія страной“. Это право, по убѣжденію авторовъ петиціи, нарушено передачей всѣхъ важнѣйшихъ финляндскихъ дѣлъ на предварительное заключеніе совѣта министровъ. Съ формальной стороны положеніе 20-го мая признается неправильнымъ потому, что оно издано помимо доклада министра статсъ-секретаря по дѣламъ Финляндіи и съ ссылкой на основные законы имперіи, а не на законодательство великаго княжества; по существу оно грозитъ значительнымъ замедленіемъ въ ходѣ дѣлъ и, что еще важнѣе, ограниченіемъ самостоятельности Финляндіи, такъ какъ предметомъ разсмотрѣнія русскихъ властей легко могутъ быть не только дѣла, относящіеся одновременно къ имперіи и великому княжеству, но и дѣла, касающіяся исключительно Финляндіи.

Съ подробнымъ разборомъ петиціи выступилъ въ „Россіи“ (№№ 836-837) г. Берендтсъ. Избравъ исходной точкой различіе между управленіемъ верховнымъ и управленіемъ подчиненнымъ, онъ не только

не проводить его съ достаточною послѣдовательностью, но впадаетъ въ прямое противорѣчіе съ самимъ собою. Въ первой статьѣ онъ относитъ Совѣтъ министровъ къ числу органовъ подчиненнаго управленія¹⁾ и называетъ власть верховнаго управленія сосредоточенною въ рукахъ монарха; во второй статьѣ онъ признаетъ Совѣтъ министровъ органомъ верховнаго управленія и выводитъ отсюда его право давать заключенія или совѣты по дѣламъ финляндскимъ. Изъ этихъ двухъ несовмѣстимыхъ взглядовъ правилень, безъ сомнѣнія, первый: онъ вытекаетъ съ полною ясностью изъ ст. 10-й и 120-й зак. основн. Подтвержденіе его можно найти и въ словахъ самого г. Берендтса. Принадлежность Совѣта министровъ къ органамъ верховнаго управленія онъ доказываетъ тѣмъ, что Совѣтъ служить „непосредственнымъ коллективнымъ совѣтникомъ монарха“. Но вѣдь совѣтовать—не значитъ управлять; первая функція настолько же пассивна и безвластна, насколько активна и властна вторая... Съ отрицательнымъ разрѣшеніемъ вопроса объ участіи Совѣта министровъ въ верховномъ управленіи аргументація г. Берендтса теряетъ главную точку опоры; остаются только разсужденія о правѣ монарха пользоваться совѣтами всѣхъ тѣхъ, къ кому онъ заблагоразсудитъ обратиться, и о цѣлесообразности обращенія за совѣтомъ именно къ совокупности ближайшихъ официальныхъ сотрудниковъ монарха, какою является Совѣтъ министровъ. Это право, эта цѣлесообразность не подлежатъ никакому сомнѣнію и спору; но вѣдь рѣчь идетъ не о нихъ, а о введеніи Совѣта министровъ на степень инстанціи, черезъ которую обязательно должны проходить важнѣйшія финляндскія дѣла. Опасеній, возбуждаемыхъ этимъ порядкомъ въ Финляндіи, г. Берендтсъ не касается вовсе—а между тѣмъ въ нихъ заключается центръ тяжести петиціи, представленной сейму.

Высочайшія повелѣнія по дѣламъ Финляндіи скрѣпляются министромъ статсъ-секретаремъ. Отсюда естественно вытекаетъ заключеніе, что именно ему принадлежитъ и должна принадлежать роль отвѣтственнаго докладчика, по выслушаніи котораго императоромъ великимъ княземъ принимается то или другое рѣшеніе. Иначе смотритъ на дѣло г. Берендтсъ. Министръ статсъ-секретарь, по его мнѣнію, „не есть отвѣтственный министръ, не есть руководитель какой-либо отрасли управленія, и его скрѣпа имѣетъ лишь одно значеніе: удостовѣрить подлинность подписи или резолюціи монарха и безусловное съ ними согласіе исполнительныхъ бумагъ. Онъ несетъ отвѣтственность только

¹⁾ Правда, г. Берендтсомъ сдѣлана здѣсь оговорка: въ известныхъ случаяхъ—но имъ не указано, что это за случаи, и не объяснено, какимъ образомъ одно и то же учрежденіе можетъ быть органомъ и верховнаго, и подчиненнаго управленія.

за канцелярскую точность и достовѣрность, а отнюдь не за закономѣрность дѣйствій монарха. Еслибы на министра статсъ-секретаря возложить отвѣтственность послѣдняго рода, то онъ бы сталъ, вопреки законамъ Финляндіи, начальникомъ и главой гражданскаго управленія Финляндіи, вмѣсто генераль-губернатора и сената, какъ то постановляютъ финляндскіе законы“. Нѣсколько выше г. Берендтсъ признаетъ министра статсъ-секретаря, наравнѣ съ сенатомъ и генераль-губернаторомъ, однимъ изъ „финляндскихъ совѣтниковъ“ монарха. Чтò же это за совѣтникъ, отвѣтственность котораго сводится къ ручательству за „канцелярскую точность“? Чтò это за докладчикъ, который не отвѣчаетъ за содержаніе своего доклада? Не ясно ли, что, удостоивъ закономѣрность докладываемой имъ мѣры, министр статсъ-секретарь нисколько не вторгается въ область административныхъ функций генераль-губернатора и сената?

Въ ближайшемъ будущемъ предстоитъ, по всей вѣроятности, регулированіе, при участіи имперскихъ и финляндскихъ законодательныхъ учреждений, способа рѣшенія дѣлъ, касающихся одновременно имперіи и великаго княжества. Самъ собою, при этомъ, разрѣшится и вопросъ о роли, какую долженъ играть въ такихъ дѣлахъ Совѣтъ министровъ. Выдѣленіе этого вопроса было, какъ намъ кажется, ошибкой, которую въ настоящую минуту легко исправить. Не хочется вѣрить, что изъ-за разногласія, вовсе не существеннаго, можетъ возникнуть кризисъ, тяжелый не только для Финляндіи, но и для имперіи. Больше чѣмъ когда-либо слѣдуетъ теперь избѣгать новыхъ усложненій и раздражающихъ мѣропріятій.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 сентября 1908.

I.

— П. Коганъ. Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы. Томъ первый, выпускъ I. Москва. 1908. Стр. 256.

Этотъ первый выпускъ дѣлится на три части: обширное предисловіе, заключающее въ себѣ характеристику Николаевского царствованія (политическій режимъ и умственные движенія эпохи), и два большихъ очерка—о Бѣлинскомъ и Герценѣ. Слѣдующій выпускъ, по плану автора, представитъ обзоръ литературной дѣятельности писателей-художниковъ, выступившихъ на литературное поприще въ Николаевскую эпоху, т.-е. Тургенева, Гончарова и пр. Второй томъ будетъ посвященъ новѣйшей литературѣ вплоть до нашихъ дней.

Первый выпускъ, если взять его, какъ онъ есть, внѣ общаго плана „Очерковъ“, надо признать вполне удачнымъ. Онъ не даетъ ничего новаго, да это и не составляло задачи автора. Предметъ, трактуемый здѣсь авторомъ, принадлежитъ къ числу наиболѣе разработанныхъ въ нашей литературѣ; г. Коганъ полностью перенялъ у своихъ предшественниковъ и постановку вопросовъ, и отвѣты на нихъ. Такъ же, какъ всѣ, характеризуетъ онъ Николаевскій режимъ; такъ же дѣлитъ литературное движеніе Николаевского времени на три группы—официальная народность, славянофильство и западничество; такъ же, какъ всѣ, изображаетъ духовную эволюцію Бѣлинскаго (какъ развитіе отъ метафизики къ научному міровоззрѣнію) и Герцена (какъ развитіе отъ идеалистическаго либерализма къ социализму). Но весь этотъ рядъ давно выработанныхъ и уже изрядно поблекшихъ разсужденій онъ облекъ въ формы современной мысли, и уже тѣмъ самымъ нѣсколько углубилъ ихъ; достаточно прочитавъ у него, напримѣръ, общую оцѣнку

знаменитой „Элегіи“ Вѣлинскаго, чтобы убѣдиться въ этомъ. Притомъ, его книга написана живымъ и легкимъ языкомъ, правда, нѣсколько перьяшлывымъ, но зато и свободнымъ отъ претензій. Въ общемъ получился болѣе свѣжій, чѣмъ мы имѣли до сихъ поръ, и легко читаемый очеркъ развитія русской общественной мысли въ первую половину истекшаго вѣка. Можно спросить, разумѣется, нуженъ ли *весь* этотъ литературный жанръ, какъ онъ процвѣтаетъ у насъ, и была ли надобность въ новомъ, сто-первомъ изложеніи философско-политическихъ идей Вѣлинскаго и Герцена; можно спросить, не пора ли отъ изученія ихъ отвлеченной мысли спуститься нѣсколько глубже, въ ихъ психологію, къ тѣмъ сторонамъ ихъ душевной жизни, которыя обуславливали и питали ихъ отвлеченную мысль. Но это—общій вопросъ, касающійся всей постановки у насъ такъ называемой исторіи общественной мысли, и разсмотрѣніе его увело бы насъ далеко отъ книги г. Когана. Мы предпочитаемъ остановиться здѣсь на другомъ вопросѣ, имѣющемъ непосредственное отношеніе къ этой книгѣ.

Это все тотъ же вѣчный вопросъ, который приходится предъявлять почти каждой выходящей у насъ книгѣ по исторіи русской литературы. Что понимаетъ г. Коганъ подъ литературою? Въ чемъ полагаетъ онъ сущность этого понятія и гдѣ проводить его границы? — Онъ заявляетъ, что важнѣйшей задачей всякаго историко-литературнаго обзора ему представляется слѣдующее: „знакомство съ корифеями нашей литературы должно раскрыть передъ читателемъ главныя вѣхи идейнаго пути, пройденнаго русскимъ обществомъ“, и соотвѣтственно съ этимъ обѣщаетъ „повсюду въ избранныхъ имъ крупнѣйшихъ произведеніяхъ русской литературы улавливать общія идеи, которыми жило общество“. Этотъ планъ ясенъ и совершенно законенъ. Дать исторію русской общественной мысли, поскольку она отразилась въ печатномъ словѣ,—вполнѣ рациональный планъ. Тутъ художественная литература ставится на одинъ уровень съ публицистикой; и та, и другая являются по существу различными, но для данной цѣли одинаковыми матеріалами, совершенно такъ, какъ спиртъ добывается и изъ картофеля, и изъ хлѣбнаго зерна. Въ публицистикѣ общественная мысль отражается прямо, изъ беллетристики ее можно добыть путемъ перегонки; художественная литература извѣстнаго періода, взятая въ цѣломъ, отражаетъ въ себѣ всю жизнь, а слѣдовательно до извѣстной степени и социальныя, и политическія воззрѣнія разныхъ слоевъ общества, и отъ, кто интересуется этими воззрѣніями, безусловно вправѣ эксплуатировать и этотъ матеріалъ. Но есть ли это исторія литературы? Разумѣется, нѣтъ: это—исторія философскаго, политическаго, социальнаго ознанія, — исторія идей, т.-е. исторія логической мысли; и она не только не совпадаетъ съ исторіей литературы, но даже должна быть

признана отличной отъ нея по самому существу. Исторія литературы— это исторія художественнаго творчества, т.-е. исторія не логическаго, а интуитивнаго сознанія и способовъ его выраженія; между той и другой существуетъ то же различіе, какъ между ихъ субстратами— логической мыслью и надсознательнымъ воспріятіемъ. Г. Коганъ былъ бы совершенно правъ, если бы, привлекая въ качествѣ матеріала, рядомъ съ публицистикою, и художественную литературу, далъ исторію русской общественной мысли за XIX столѣтіе. Но онъ смѣшалъ двѣ разнородныя задачи: онъ однимъ духомъ выговариваетъ: „смѣну философскихъ и общественныхъ идей, а также художественно-литературныхъ формъ“. Что общаго между развитіемъ политической мысли и, скажемъ, эволюціей нашего романа? или между ростомъ социализма въ нашемъ обществѣ и развитіемъ русской лирики? Конечно, ничего, или общаго лишь столько, сколько между всѣми явленіями духа за одинъ и тотъ же промежутокъ времени, а это уже такая степень обобщенія, до которой современная исторія далеко не доросла. Такъ что одно изъ двухъ: или г. Коганъ въ дальнѣйшемъ изложеніи (т.-е. перейдя къ художественной литературѣ) будетъ перегонять поэзію въ общественныя идеи и выбрасывать вонъ самое ея существо— искусство, или же онъ принужденъ будетъ излагать параллельно двѣ эволюціи, совершенно различныя по объекту,—эволюцію идей и эволюцію интуитивнаго сознанія и формъ его воплощенія. Онъ сдѣлалъ бы лучше, если бы избралъ первый путь, какъ это сдѣлалъ, напримѣръ, г. Ивановъ-Разумникъ; тогда его книга отличалась бы, по крайней мѣрѣ, единствомъ содержанія, тогда какъ второй путь можетъ приводить только къ грубой путаницѣ вещей. Добрую надежду намъ подаетъ то обстоятельство, что уже въ настоящемъ первомъ выпускѣ, обсуждая беллетристическія произведенія Герцена, онъ анализируетъ ихъ исключительно съ общественной точки зрѣнія. Въ добрый часъ! Лучше быть послѣдовательнымъ въ одной узкой сферѣ, нежели смѣшивать разныя вещи изъ желанія охватить все.

II.

— Д. Н. Овсяннико-Куликовскій. А. И. Герценъ (характеристика). Спб. 1908. Стр. 37.

Это не характеристика Герцена: подъ характеристикой понимаютъ обыкновенно нѣчто полное и систематическое, а книжка Д. Н. Овсяннико-Куликовскаго— только непринужденная бесѣда о Герценѣ и по поводу Герцена. Но эта бесѣда такъ полна мыслей и такъ хорошо изложена— вдумчиво, задушевно, красиво,— что ее безъ обиняковъ надо признать чрезвычайно цѣннымъ вкладомъ въ литературу о Гер-

цевъ. Можно не соглашаться съ мыслями, выраженными въ ней, но нельзя отказать имъ ни въ оригинальности, ни въ послѣдовательности.

Г. Овсяннико-Куликовскій пытается въ сущности не столько характеризовать, сколько *оцѣнить* личность и мышленіе Герцена, оставаясь притомъ исключительно на почвѣ соціально-политической и не затрогивая философской стороны дѣла. Въ первыхъ же строкахъ онъ съ категорической ясностью устанавливаетъ свою общую точку зрѣнія на Герцена: Герценъ, говоритъ онъ, приобрѣлъ право на безсмертіе тѣмъ, и только тѣмъ, что со всею полнотою пережилъ жизнь своего времени. Бываютъ, говоритъ онъ, великіе умы, одинаково умѣющие и сполна переживать настоящее, и прозрѣвать въ будущее; этого прозрѣнія Герценъ былъ лишенъ; онъ былъ слишкомъ зараженъ романтизмомъ и скептицизмомъ, его взоръ былъ недостаточно присталенъ и холоденъ, чтобы видѣть далеко и ясно. Въ чемъ же, спрашивается, обнаружилась непрозорливость Герцена? Въ слѣдующихъ двухъ его ошибкахъ, отвѣчаетъ г. Овсяннико-Куликовскій: „1) онъ не понялъ и не оцѣнилъ того великаго движенія русской общественной мысли, которое зачиналось въ концѣ 50-хъ годовъ (въ самый разгаръ политической дѣятельности Герцена) и было связано съ великими именами Чернышевскаго и Добролюбова; 2) онъ не понялъ и не оцѣнилъ зачинавшагося въ 60-хъ годахъ величайшаго въ новѣйшей исторіи Европы движенія—рабочаго, руководимаго тогда Карломъ Марксомъ, какъ не понялъ значенія научно-философскихъ идей великаго экономиста“. Въ дальнѣйшемъ изложеніи оказывается, что кромѣ этихъ двухъ главныхъ ошибокъ за Герценомъ числятся еще двѣ: барски пресрительное отношеніе къ буржуазіи и „русскій мессіаниззмъ“.

Эта оцѣнка Герцена кажется намъ невѣрной прежде всего потому, что самый принципъ дѣленія историческихъ дѣятелей, положенный въ ея основу, представляется намъ чистой фикціей. Тамъ, гдѣ рѣчь идетъ не о мыслителѣ, не объ ученомъ, а о политическомъ дѣятелѣ, первый вопросъ, который мы ставимъ, заключается въ томъ, уразумѣлъ ли данный человекъ очередную идею своего времени во всемъ ея объемѣ и отдалъ ли себя на служеніе ей. Это вопросъ общій и главный; сравнительно съ нимъ имѣетъ ничтожное значеніе—и тѣмъ дальше во времени, тѣмъ меньшее—второй вопросъ, о цѣлесообразности средствъ, которыми данный дѣятель надѣялся осуществить очередную задачу вѣка. Что же г. Овсяннико-Куликовскій называетъ исторической прозорливостью? Если первое, то болѣе прозорливаго чловѣка, чѣмъ Герценъ, не было въ девятнадцатомъ столѣтіи. Никто вѣреннѣе его не говорилъ о неминуемомъ крушеніи феодально-капиталистическаго строя, никто не умѣлъ такъ зорко разглядѣть его проявленія въ самыхъ скрытыхъ уголкахъ общественной и личной

психологіи современнаго культурнаго человѣчества, — и никто такъ радостно не привѣтствовалъ зарю новой жизни, разумной и справедливой, какъ Герценъ. Этого никто не будетъ отрицать; и никто не будетъ отрицать также того, что лишь немногіе дѣятели XIX вѣка понимали социализмъ такъ широко и вѣстѣ такъ свободно, какъ онъ. Его взоръ проникалъ дальше очередной идеи его вѣка. Говоря о начинающемся „третьемъ томѣ всеобщей исторіи“, онъ писалъ: „Основной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ принадлежать социальнымъ идеямъ. Социализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій, до нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой социализмъ займетъ мѣсто нынѣшняго консерватизма и будетъ побѣжденъ грядущею, неизвѣстною намъ революціею“.

Рядомъ съ этою ясностью взгляда (или, по терминологіи г. Овсяннико-Куликовскаго, „прозрѣнія въ будущее“) — что значать тѣ временныя ошибки Герцена, непониманіе умственнаго движенія 50-хъ годовъ (это намъ, признаться, даже не совсѣмъ ясно), или непониманіе научнаго социализма? и что значать онѣ въ особенности для насъ, для которыхъ идеи Герцена — все еще очередной идеалъ, а ученіе Чернышевскаго, ученіе Маркса — пройденныя ступени?

Изъ ошибокъ Герцена, которыя ставить на видъ г. Овсяннико-Куликовскій, одна дѣйствительно кажется тяжелой: это его „мессіаниззмъ“, его вѣра во всемірно-спасительное предназначеніе русской общины. Онъ мало зналъ общину и еще меньше ея исторію, какъ и всѣ русскіе политики его времени (да, кажется, и нашего); его вѣра въ общину несомнѣнно была окрашена романтизмомъ. Но стоить только внимательнѣе прислушаться къ его словамъ, и они перестанутъ казаться наивною утопіею. Изъ того немногаго, что онъ зналъ о духовномъ складѣ, о социальныхъ и правовыхъ взглядахъ русскаго народа, онъ вынесъ впечатлѣніе, что народъ этотъ является носителемъ сильнѣйшаго въ мірѣ *стихійнаго социализма*, т.-е. что въ немъ исторически развился и укоренился неистребимый инстинктъ социальной справедливости; этотъ инстинктъ, говорилъ онъ, ждетъ только логическаго обоснованія, чтобы выступить во всеоружіи и перевернуть вверхъ дномъ весь современный строй; и это случится, когда инстинктивный аграрный социализмъ русскаго крестьянства сольется съ сознательнымъ социализмомъ западнаго городского пролетаріата. Вотъ что въ духѣ, а не въ буквѣ, представляетъ собою мысль Герцена о русской общинѣ. Такъ ли она нелѣпа, какъ казалось съ перваго взгляда? Это — одно изъ тѣхъ громаднхъ историческихъ обобщеній-пророчествъ, которыя опровергаются или подтверждаются въ

ками; во всякомъ случаѣ, послѣ того, чему свидѣтелями мы были въ послѣдніе годы, никто не будетъ оспаривать за этой мыслью, по крайней мѣрѣ, нѣкоторой доли вѣроятности.

Книжка г. Овсяннико-Куликовскаго, помимо ея литературныхъ достоинствъ, цѣнна тѣмъ, что она заставляетъ глубже вдуматься въ Герцена. Авторъ предлагаетъ ее, какъ предисловіе къ особому труду о Герценѣ, который онъ намѣренъ современемъ издать. Она заставляетъ съ интересомъ ждать этого общаго труда, въ которомъ должны быть развиты и обоснованы оригинальныя мысли, только бѣгло намѣченныя въ ней.

III.

— К. Чуковский. Леонидъ Андреевъ большой и маленькій. Спб. Т-во „Издательское бюро“. 1908. Стр. 134.

Между нашей старой и нашей современной критикой есть одно коренное различіе. Критическая способность чрезвычайно повысилась; у нынѣшнихъ критиковъ—глазъ острый, ихъ наблюденія тонки, неожиданны, остроумны, часто глубоки, разнообразіе ихъ точекъ зрѣнія и изобрѣтательность по части категорій удивительны. Но всѣ ихъ наблюденія и категоріи—и эстетическія, и моральныя—неизмѣнно поражены бесплодіемъ; зорко подсмотрѣть и констатировать фактъ—этимъ ограничивается задача современнаго критика. И не то, чтобы это дѣлалось умышленно, во избѣжаніе произвольнаго догматизма; критикъ не можетъ не знать, что анализъ, во-первыхъ, только половина дѣла, и что, во-вторыхъ, адогматическій анализъ немислимъ, что и онъ самъ, этотъ критикъ, въ своемъ „объективномъ“ анализѣ исходить изъ нѣкоторыхъ общихъ положеній. Очевидно, здѣсь дѣйствуетъ не научная добросовѣстность, а какой-то страхъ формулировать во всеуслышаніе свой символъ вѣры. Этому могутъ быть разныя причины; обиліе и разнорѣчивость идей, точекъ зрѣнія, вѣрованій стали настолько удручающими (и во всѣхъ есть частица истины), что выработаться себѣ, хотя бы только въ одной какой-нибудь области, прочныя убѣжденія—подъ силу только или очень ограниченному, или очень самостоятельному уму. Средній человѣкъ теряется среди этой разногласицы несомнѣнныхъ частичныхъ истинъ, и во всякомъ случаѣ не смѣетъ публично исповѣдовать какую-нибудь одну, боясь насмѣшекъ за узость взгляда. Раньше было легче; раньше существовали нѣкоторые основныя общепризнанныя истины, изъ которыхъ безъ всякаго лишняго усилія можно было прямолинейно выводить всѣ нужныя для обихода прикладныя убѣжденія. Теперь единобожіе позитивизма, реализма въ искусствѣ и проч. рухнуло, каждый жрецъ строить храмы

своему собственному богу, на всѣхъ перекресткахъ продаются идолы. Только немногіе знаютъ, что въ этомъ многобожии сказывается тоска по новому единому догмату, и смѣютъ его назвать. Большинство боится насмѣшки, да и не чувствуетъ острой потребности имѣть вѣру; и вотъ на выручку является объективность: „вотъ что я вижу—а дальше мнѣ дѣла нѣтъ“.

Г. Чуковский—типичный критикъ этого переходного времени, и, надо прибавить, самый талантливый изъ своихъ собратьевъ, а его очеркъ о Л. Андреевѣ—лучшая и наиболѣе характерная вещь этого рода.

Два мѣткихъ наблюденія сдѣлалъ г. Чуковский надъ творчествомъ Л. Андреева. Во-первыхъ, герой Андреева—никогда не цѣлостный человѣкъ: это какое-нибудь одно духовное свойство, олицетворенное въ мнимо-цѣломъ человѣкѣ, при полномъ отсутствіи всѣхъ другихъ чертъ. Докторъ Керженцевъ—это олицетворенная мысль, Райко Вукичъ—патріотизмъ, Василій Оивейскій—исканіе вѣры, и т. д., и всѣ эти черты отдѣлены другъ отъ друга у Андреева непроницаемыми перегородками, такъ что носителю „мысли“ совершенно чуждо исканіе вѣры, искателю вѣры—ужасъ смерти, и т. д.; и самъ Андреевъ, обрабатывая одну изъ этихъ темъ, больше никогда не возвращается къ ней, и ни одна изъ нихъ не владѣетъ имъ преимущественно. Такимъ образомъ, у него нѣтъ ничего завѣтнаго; къ каждой трагедіи, къ любому вопросу онъ подойдетъ, посмотритъ, и пройдетъ мимо. Въ этомъ г. Чуковский видитъ Ахиллесову пяту Л. Андреева: „Оттого, что онъ смотритъ недолго, и только на одну точку, и только затѣмъ, чтобы пройти,—всѣ лица, предметы, явленія и кажутся ему розами. Если бы онъ смотрѣлъ подольше, и не только смотрѣлъ, а и жилъ, онъ бы увидалъ въ предметахъ множество другихъ сторонъ, множество смагчающихъ тѣней, оттѣнковъ, переливовъ—и рожи стали бы отъ этого лицами, или даже ликами, какъ предъ взоромъ Толстого или Чехова“.

Второе наблюденіе г. Чуковского заключается въ томъ, что основная идея Андреева во всѣхъ его произведеніяхъ—перерожденіе души человѣческой, демонстрація абсолютнаго, свободнаго человѣка, когда все временное и условное сходитъ съ человѣка, какъ линючая краска, и обнаруживается „подлинная субстанціональная личность“, неподвластная грѣху и страданію. Въ урочный часъ губернаторство, завладевшее самой сущностью жизни губернатора,—какъ гриммъ, стирается съ него, революціонизмъ—съ террориста, стыдъ и грязь—съ проститутки, и въ вѣчныя свои права вступаетъ истинная жизнь „голаго“ человѣка.

Что общаго между этими двумя наблюденіями? и въ чемъ нравственный смыслъ того единаго явленія, которое мы называемъ твор-

чествомъ Л. Андреева? Оба эти наблюденія мѣтки, но оба они — не больше, какъ два частныхъ наблюденія, какихъ можно сдѣлать сотни надъ творчествомъ всякаго крупнаго художника. Они и вѣрны, и остроумны, но сами по себѣ они не имѣютъ никакой цѣны; это — настоящий критическій пустоцвѣтъ, такъ пышно разросшійся теперь на Западѣ. Чѣмъ „свободнѣе“ (свободою отъ всякаго знанія добра и зла), тѣмъ „объективнѣе“ критикъ, тѣмъ виртуознѣе онъ будетъ въ такихъ наблюденіяхъ. Этотъ импрессионизмъ очень хорошъ на службѣ цѣлостной и самостоятельной личности, внѣ которой истинная критика невозможна, ибо только цѣльнымъ духомъ можно воспринять то цѣлое и единое, что представляетъ собою творчество художника. Г. Чуковский въ первой части своего очерка доказываетъ, что у Андреева нѣтъ ничего завѣтнаго, во второй — что у него есть завѣтное (абсолютная человѣческая личность). Это есть противорѣчіе въ существѣ, и объясняется оно тѣмъ, что сущность Андреевскаго творчества, то завѣтное, что несомнѣнно есть у Андреева, г. Чуковский оказался не въ силахъ уловить. Да это и дѣлается не тѣмъ оружіемъ, которымъ такъ хорошо владѣетъ г. Чуковский, — не остроумной наблюдательностью.

Очень интересна вторая половина книжки г. Чуковского: собраніе критическихъ отзывовъ, появившихся въ нашей печати о всемъ творчествѣ и отдѣльныхъ произведеніяхъ Л. Андреева. Интересно и предисловіе, гдѣ авторъ приводитъ длинный рядъ личныхъ инсинуацій и безтактностей, которымъ подвергся въ нашей печати Л. Андреевъ, съ цѣлью показать, какъ онъ говоритъ, „ту фантастическую, невѣроятную бытовую обстановку, въ которой приходится расти и развиваться русскому дарованію“.

IV.

— П. Засодимскій. Изъ воспоминаній. М. 1908. Стр. 450.

Эти воспоминанія написаны безъ цѣли и системы, безъ всякой мысли о томъ, что слѣдуетъ разсказать и что не стоитъ. Личный элементъ занимаетъ въ нихъ слишкомъ большое мѣсто. Поневолѣ вспоминается изреченіе Л. Толстого, что личное въ литературѣ только тогда хорошо и умѣстно, когда оно полно своеобразія и страсти. Г. Засодимскій пространно и не безъ самодовольства изображаетъ свои настроенія въ тотъ или другой моментъ своего прошлаго, и это — не на каждой страницѣ. Можетъ быть, эти настроенія и были тогда по-своему ярки, но въ словесной передачѣ они такъ дюжинны, такъ безличны, какъ стертая монета, что читать о нихъ — настоящий адвигъ терпѣнія. Г. Засодимскій несчетное число разъ живописуетъ

чувства, наполнявшія его въ такую-то лунную ночь или въ такой-то обыкновеннѣйшій вечеръ, и вы, читая, недоумѣваете: зачѣмъ понадобилось ему предавать печати эти банальности? Но авторъ любитъ себя и, видимо, искренно любитъ собой—и даже своей наружностью: въ книгѣ нѣсколько его портретовъ, и на обложкѣ, и впереди текста, и внутри текста, числомъ четыре.

У г. Засодимскаго странная манера воспроизводить прошлое: если повѣрить ему, онъ помнитъ и мелочи обстановки, и даже подлинныя слова разговоровъ за 40—50 лѣтъ. Ему ничего не стоитъ рассказать въ подробностяхъ, какова была одна „холодная зимняя ночь“, обыкновенная ночь, когда однажды Левитовъ провожалъ его до дому („морозило“, и пр.); онъ воспроизводитъ полностью, въ лицахъ, свои бесѣды со всякаго рода людьми, и даже со своей нянькою въ младенчествѣ, лѣтъ шестьдесятъ назадъ; и т. п. Но все это, конечно, только для красы, потому что и ночь-то эта—банальнѣйшая, которую можно описать и не помня, и разговоры эти—пустѣйшіе, какихъ можно сочинить сколько угодно (занятіе, впрочемъ, крайне скучное). Все это скучно и бесполезно, какъ и тотъ дешевый лиризмъ, на который такъ щедръ г. Засодимскій. Книга вдесятеро выиграла бы, если бы изъ нея вычеркнуть девять десятыхъ.

И все-таки ее стоитъ прочесть. Какъ ни мала художественная способность автора, какъ ни безпорядоченъ его рассказъ,—вся въ цѣломъ эта книга полна бытовой типичности; здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ, преимущественно полуобразованной, радикальной, пролетарской интеллигентной Русью шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Много типичныхъ бытовыхъ чертъ и въ первой половинѣ воспоминаній (родительскій домъ и гимназическіе годы автора), но особенно цѣнна вторая часть—рассказы автора о его друзьяхъ-литераторахъ семидесятыхъ годовъ. Здѣсь около десяти очерковъ (Лавровъ, Шелгуновъ, Левитовъ, Плещеевъ и др.). Каждый очеркъ въ отдельности блѣденъ, мало-содержателенъ, о портретѣ нѣтъ и рѣчи,—просто въ кучу свалены клочки поверхностныхъ воспоминаній, и больше о себѣ, чѣмъ о томъ, кому посвященъ очеркъ. Но тутъ и самъ авторъ становится частью картины; то, чтó онъ рассказываетъ, и то, какъ онъ рассказываетъ, сливается въ одно цѣлое, и все вмѣстѣ очень недурно возсоздаетъ жизнь и психологію того круга писателей-народниковъ, къ которому принадлежалъ авторъ. Вѣчное безденежье, вѣчныя гоненія со стороны цензуры и администраціи, вѣчное скитальчество, искреннее, теплое чувство къ народу, задушевные бесѣды до зари и готовность раздѣлить послѣдній рубль съ такимъ же горемыкой-другомъ,—таковъ былъ этотъ безалаберный и по-своему патріархальный бытъ. Вотъ Демертъ, талантливый неудачникъ, все

мечтающій о томъ, какъ онъ уладить свои дѣлишки и уѣдетъ жить въ Чистопольскій уѣздъ; вотъ Левитовъ, бьющійся въ рукахъ ловкаго предпринимателя и отдающій послѣднюю десятирублевку брату-писателю; вотъ Минаевъ и Омулевскій декламируютъ извозчикамъ въ трактирѣ „Ямка“ свои куплеты; вотъ самъ Засодимскій, странствующій по Тверской губерніи для изученія артельного дѣла, потомъ — народный учитель, и вѣчно странникъ по милости нужды или начальства, пишущій уже старикомъ такіа строки: „Всю жизнь, кажется, мнѣ только и приходилось распаковывать и запаковывать свой чемоданъ и собираться въ путь. Я такъ привыкъ къ тому, чтобы судьба перебрасывала меня изъ угла въ уголъ, не давая мнѣ покоя въ семь мѣсяцевъ 6—8 на одномъ мѣстѣ“. Такъ не живутъ писатели на Западѣ; по крайней мѣрѣ, тамъ это исключеніе. Много специфически-русскаго идеализма и душевной теплоты было въ тѣхъ людяхъ, и это придаетъ интересъ книгѣ г. Засодимскаго, которая вся — и содержаніемъ, и тономъ — вводитъ насъ въ атмосферу тѣхъ близкихъ и уже невозвратныхъ дней. Она, притомъ, лишній разъ напоминаетъ намъ о неуплаченномъ долгѣ: у насъ нѣтъ ни одной дѣльной работы по исторіи нашей народнической литературы 60—70-хъ годовъ, а она — одна изъ самыхъ свѣтлыхъ, самыхъ трогательныхъ страницъ нашего прошлаго.

V.

— А. Купринъ. Разказы. Томъ пятый. „Московское Книгоиздательство“. Москва. 1908. Стр. 286.

Въ этомъ томѣ помѣщено четыре большихъ разказа, изъ которыхъ только одинъ — „На переломѣ“ — намъ пришлось здѣсь прочитать впервые; остальные уже раньше были напечатаны въ альманахахъ или отдѣльно. Г. Купринъ — талантливый и опытный беллетристъ; пока онъ остается въ предѣлахъ русскаго быта, все написанное имъ читается безъ скуки и часто даже съ живымъ интересомъ. Онъ въ рѣдкой степени владѣетъ искусствомъ разсказывать, искусствомъ особенно цѣннымъ у насъ, гдѣ вялость и медлительность въ развитіи фабулы, безпомощность въ построеніи разказа, растянутость, отступленія и пр. парализуютъ часто и сильныя художественныя дарованія. Не знаю, было ли обращено у насъ вниманіе на эту сильнѣйшую сторону творчества г. Куприна, но она кажется намъ замѣчательной. Его разказъ — по крайней мѣрѣ въ лучшихъ своихъ образцахъ — развивается неуклонно и быстро, ровнымъ энергичнымъ темпомъ, безъ колебаній и безъ длиннотъ. Купринъ, можно сказать, прирожденный

разсказчикъ. Въ противоположность подавляющему большинству нашихъ художниковъ, его влечетъ не описывать, не анализировать, не философствовать въ образахъ, а только разсказывать. Оттого сюжеты его лучшихъ разсказовъ—не состоянія, общественныя или личныя, а непремѣнно случай, одно событіе или короткая цѣпь тѣсно связанныхъ событий; тамъ, гдѣ онъ пытается описывать, онъ неизмѣнно слабъ, какъ, напримѣръ, въ „Поединкѣ“: онъ дѣлаетъ это словно по обязанности, по предвзятой мысли, которая расколаживаетъ его самого, и это же чувство передается читателю. И такъ какъ его ничто такъ не увлекаетъ, какъ процессъ разсказыванья, то онъ, вѣроятно непроизвольно, выбираетъ сюжетами для своихъ разсказовъ преимущественно случаи яркіе, эффектные, которые богатствомъ драматическаго движенія возбуждаютъ его инстинктъ разсказчика. Чеховъ—тоже большой мастеръ разсказа—смотритъ сквозь свою фабулу, пристально ищетъ въ ней нѣкоторую общую связь явленій; поэтому онъ выберетъ всего охотнѣе обыденный случай, заурядную картину, лишь бы содержательную въ нужномъ ему художественно-философскомъ смыслѣ. У г. Куприна также, разумѣется, есть свой художественный синтезъ, но, во всякомъ случаѣ, не достаточно сильный, чтобы обуздать его врожденную страсть разсказывать. Такова его сила—и его слабость. Его лучшія, наиболѣе удавшіяся ему вещи—блестяще разсказанные анекдоты: напримѣръ, „Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ“.

Изъ четырехъ разсказовъ, вошедшихъ въ настоящій томъ, объ одномъ мы уже говорили на этихъ страницахъ: о совершенно неудачной, олеографической „Суламии“. „На переломѣ“ изображаетъ бытъ военной гимназіи наканунѣ переименованія этихъ гимназій въ кадетскіе корпуса. Какъ и всегда, гдѣ г. Куприну приходится только описывать, гдѣ нѣтъ фабулы-случая, этотъ разсказ блѣденъ и вялъ; его спасаетъ только его сравнительная краткость. Въ немъ нѣтъ ничего оригинальнаго: это—тысяча-первый разсказъ о бытѣ закрытаго учебнаго заведенія, и бытъ этотъ изображенъ такъ поверхностно, что въ немъ даже не чувствуется военный характеръ данной школы; пансіонъ, какъ пансіонъ, и тридцать лѣтъ назадъ, и сейчасъ. Фигуры учителей и мальчиковъ набросаны эскизно, и ни одна не останавливаетъ на себѣ вниманія.

Если вы непосредственно вслѣдъ за этимъ очеркомъ, пропустивъ слѣдующій за нимъ разсказъ „Олеся“, прочитаете стоящую на третьемъ мѣстѣ „Морскую болѣзнь“, вы сразу почувствуете тотъ острый, почти спортивный интересъ, который возбуждаетъ въ авторѣ фабула-случай, то, что называется „присшествіе“. Случай взятъ изъ ряда вонъ выходящій, грубо-драматическій: честная замужняя молодая женщина, на крымскомъ пароходѣ, въ пароксизмѣ морской болѣзни, почти по-

терявъ сознаніе, попадаетъ въ руки негодяя (помощника капитана) и становится жертвою животнаго насилія. Разсказанъ этотъ случай чисто-внѣшне, но разсказанъ съ технической стороны мастерски: пристально, сжато, энергично; ни одного валаго замѣчанія, ни одной безразличной детали, все сосредоточенно и быстро нарастаетъ къ высшей точкѣ событія. Въ этой напряженности разсказа выигрываетъ и художественная сторона: дѣйствующія лица очерчены, хоть только извнѣ, но рѣзко четкими контурами; чувствуется, что самъ авторъ увлеченъ своимъ повѣствованіемъ. Но какъ только происшествіе изчерпано, интересъ автора сразу изсаяетъ; все слѣдующее затѣмъ разсказано кое-какъ; то, что г. Купринъ пытается сообщить о душевномъ состояніи пострадавшей женщины, крайне-поверхностно и не мѣтко, а „идейная“ мораль разсказа (какъ отнесся къ этому происшествію мужъ потерпѣвшей)—уже совершенно лишній привѣсокъ, ни внутренне, ни внѣшне не связанный съ ядромъ разсказа. Анекдотъ—такъ анекдотъ, и незачѣмъ было привѣшивать къ нему тяжелую психологическую гиру: на протяженіи всего разсказа мы ничего не узнали о характерѣ и мысляхъ героини: можемъ ли мы повѣрить ея заключительному письму (къ мужу), которое должно быть плодомъ глубокой душевной борьбы и сильной мысли? Весь конецъ кажется неискусной выдумкой.

„Олеся“ стоитъ особнякомъ среди разсказовъ г. Куприна. Онъ написанъ въ мягкой Тургеневской манерѣ—въ немъ чувствуется вліяніе „Записокъ охотника“. Это—одна изъ самыхъ поэтичныхъ вещей г. Куприна; образъ Олеси, исторія сближенія съ нею разсказчика и ихъ любви—очаровательны. Но большихъ требованій не надо предъявлять и къ этому разсказу. Онъ не захватываетъ жизни глубоко, онъ легко и граціозно скользитъ по поверхности. Дѣйствіе происходить въ Полѣсьѣ, но Полѣсье въ немъ не чувствуется нисколько, не чувствуется оно и въ молодой „вѣдьмѣ“ Олесѣ—какъ и вообще ея внутренній обликъ намѣченъ только въ самыхъ элементарныхъ его проявленіяхъ. Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ, будто г. Купринъ—поэтъ быта, въ „Олесѣ“ до такой степени нѣтъ быта, что безъ авторской ремарки никто бы и не догадался, что мѣсто дѣйствія—Полѣсье, а не Орловская или Костромская губернія. Достаточно сказать, что и сама Олеся, и ея бабушка—старая полѣсская колдунья Мануилиха, говорятъ обычнымъ нашимъ беллетристическимъ языкомъ безъ малѣйшаго мѣстнаго колорита, что немало коробитъ читателя.

VI.

— Н. Брянчаниновъ. Скитанія. Москва. 1908. Стр. 160.

Это — путевыя записки умнаго и наблюдательнаго, съ артистической жилкой человѣка, повидимому безъ всякой другой цѣли, кромѣ удовольствія новыхъ впечатлѣній, объѣхавшаго Нубію, Суданъ и Палестину. Книга, украшенная очень хорошими фотографическими снимками, читается съ большимъ интересомъ, хотя написана она нѣсколько тяжелымъ слогомъ и, буквально, кишитъ опечатками. Описаніе Хартума, Омдурмана, желѣзно-дорожнаго пути чрезъ суданскую пустыню, исторія гибели Гордона — обо всемъ этомъ впервые приходится читать по-русски. Но самое любопытное въ книгѣ г. Брянчанинова — это обильно разсѣяныя въ ней черты для характеристики англійской колоніальной политики. Читая эти страницы, невольно сравниваешь эти приемы съ нашимъ хозяйничаньемъ на окраинахъ: какая чудовищная разница, прежде всего, въ практичности, въ цѣлесообразности приемовъ, не говоря уже о нравственной сторонѣ дѣла! Читатель не постѣдуетъ на насъ за длинную цитату: не можемъ устоять противъ искушенія привести здѣсь для образчика слѣдующія слова директора хартумскаго реального училища въ отвѣтъ на вопросъ автора, почему такъ слабо развито въ суданскихъ школахъ обученіе англійскому языку. „Мы хотимъ прежде всего — отвѣчалъ м-ръ Керри — быть практичными, а потому вмѣсто того, чтобъ учить туземцевъ англійскому языку, мы предпочитаемъ обучаться самимъ арабскому и тѣмъ его разновидностямъ, на которыхъ говорятъ въ Суданѣ. Въ большинствѣ случаевъ знаніе англійскаго языка совершенно излишне и даже вредно для туземцевъ. Мы это замѣтили въ Индіи, а потому стараемся не повторить здѣсь той же ошибки. Вотъ странный, но неоспариваемый фактъ: какъ только туземецъ мѣняетъ свои привычки и начинаетъ одѣваться по-европейски... такъ онъ сейчасъ же съ внѣшней стороны становится совершеннѣйшей обезьяной. Ну, такъ англійскій языкъ имѣетъ точно такое же вліяніе на его интеллектъ, какъ штаны и сюртукъ на его внѣшность; въ двухъ словахъ: онъ перестаетъ быть человѣкомъ и становится существомъ смѣшнымъ, несчастнымъ и почти всегда непригоднымъ ни къ какому дѣлу, жалкой смѣсью попугая съ обезьяной. Мы обучаемъ англійскому языку въ одномъ лишь отдѣленіи управляемой мною школы, и это потому, что намъ необходимо имѣть мелкихъ служащихъ, понимающихъ нашъ языкъ“. Тутъ нѣтъ никакой мудрости: это просто здравый смыслъ, и для того, чтобы дѣлать противоположное этому, надо быть безумнымъ. Какъ бы мы ни оцѣнивали нрав-

ственный уровень европейской цивилизации, распространяемой англичанами въ этихъ полу-дикихъ странахъ, — однако нельзя отрицать, что въ своей колоніальной дѣятельности они слѣдуютъ извѣстной системѣ, разумной и практичной. У насъ и этого нѣтъ; наша (если этотъ терминъ уместенъ здѣсь) „колоніальная политика“ основывается съ одной стороны — на отвлеченныхъ принципахъ руссификаціи, съ другой — на произволѣ бездарныхъ и часто недобросовѣстныхъ исполнителей; не удивительно, что изъ этого соединенія ложно-понятыхъ принциповъ съ людской безчестностью не выходитъ ничего хорошаго. Надо прочитать у г. Брянчанинова о грандіозныхъ ирригаціонныхъ работахъ, предпринятыхъ англичанами въ нижнемъ Египтѣ и Суданѣ (рѣчь идетъ не болѣе и не менѣе, какъ о переустройствѣ самыхъ резервуаровъ Нила съ цѣлю правильного распредѣленія его водъ), чтобы понять, чего можетъ достигнуть энергичная чужеземная власть, руководимая незатемненнымъ здравымъ смысломъ.

VII.

— Н. Казимиръ-Вьюговъ. О религіозномъ воспитаніи дѣтей. Спб. 1908.

Замѣчательная брошюра г. Казмина-Вьюгова заслуживаетъ самаго глубокаго вниманія не только педагоговъ, но и всякаго образованнаго человека. Въ ней затронутъ вопросъ первостепенной важности, и поставленъ онъ во всемъ объемѣ, съ силою и задушевностью честно продуманнаго убѣжденія.

Въ двухъ формахъ практикуется у насъ религіозное воспитаніе дѣтей, и въ обѣихъ оно, по мысли автора, является жестокимъ насилиемъ надъ будущимъ человекомъ. Одна изъ нихъ — отрицаніе всякой религіи, сопровождающееся обыкновенно ироническимъ отношеніемъ (при дѣтяхъ) не только къ обрядовой сторонѣ религіи, но и къ религіознымъ вѣрованіямъ вообще. Это дѣлается для того, чтобы дѣти были свободны. Въ дѣйствительности эта система заранѣе связываетъ ребенка. Въ него вѣдряютъ нѣкоторое готовое мировоззрѣніе, къ которому онъ, разумѣется, не можетъ отнестись критически, но которое становится для него привычнымъ; и когда, позднѣе, его мысль начинаетъ работать надъ вопросами о Богѣ, о совокупности жизни, о смерти, — въ немъ оказывается полный комплектъ вѣдренныхъ съ истава отвѣтовъ на эти вопросы, т.-е. его мысль именно не-свободна своихъ исканіяхъ; ему приходится съ великими усиліями освобождаться отъ власти привычныхъ идей, чтобы выйти на путь самостоятельнаго, безпристрастнаго мышленія, — и это не всякому по силѣ. Вся ошибочность этой системы, широко практикуемой среди

нашей интеллигенціи, авторъ вскрываетъ въ слѣдующихъ умныхъ строкахъ: „Одно изъ двухъ: или ваше отрицаніе истинно—или истинность его сомнительна. Если оно истинно, обосновано, убѣдительно, тогда не нужно вѣдрать его дѣтямъ раньше, чѣмъ они могутъ во всей силѣ понять убѣдительность вашего отрицанія, раньше чѣмъ они могутъ придти къ нему сознательно. Послѣднее же возможно лишь тогда, когда дѣти получать общее научное развитіе. Если же отрицаніе не обосновано, если его истинность сомнительна, то какое право имѣемъ мы внушать его беззащитнымъ дѣтямъ?“

Другая система, можетъ быть, еще пагубнѣе. Она состоитъ въ раннемъ приученіи дѣтей къ исполненію религиозныхъ обрядовъ, молитвъ, хожденію въ храмъ и пр. Такіе родители обыкновенно ссылаются на то, что внѣшнее въ религіи есть выраженіе и, вмѣстѣ, способъ пробужденія внутренней потребности. На это авторъ мѣтко возражаетъ, что въ такомъ случаѣ не должно ли внѣшнее само собою рождаться изъ душевной потребности, какъ рождается крикъ радости или дрожь испуга? Какой смыслъ имѣетъ благодарственная молитва Богу въ устахъ ребенка, когда у него нѣтъ самаго чувства? Мы назвали бы вопіющей нелѣпостью систему воспитанія, которая заставляла бы дѣтей, напримѣръ, ежедневно въ опредѣленный часъ громко выражать радость, притомъ—одними и тѣми же словами и тѣлодвиженіями; но не это ли самое дѣлаютъ съ дѣтьми тѣ, кто заставляютъ ихъ читать безъ смысла готовые молитвы, и пр.?

Эта система опаснѣе, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. Она гипнотизируетъ ребенка, и часто на всю жизнь. Воспитанное въ дѣтствѣ благоговѣніе ко всему церковному сдѣлаетъ юношу несвободнымъ въ его религиозныхъ исканіяхъ; оно или заставитъ его безсознательно бояться отрицанія, быть робкимъ и непостѣдовательнымъ изъ страха разрушить уютный міръ дѣтскихъ привычекъ и представленій, или, наоборотъ, въ упорной борьбѣ съ этими трудно-искоренимыми привычками толкнетъ его къ рѣзкому, излюбленному отрицанію. Но это еще не все. Сторонники церковно-религиознаго воспитанія не ограничиваются внушеніемъ религиознаго чувства: они стараются сообщить ребенку извѣстный циклъ религиозныхъ понятій, которыя представляютъ собою готовые отвѣты на глубочайшія міровыя загадки. Въ семьѣ, а еще болѣе въ школѣ, ребенокъ получаетъ множество догматическихъ знаній—о томъ, что Богъ есть, что Онъ сотворилъ міръ, и т. д. Извѣстно, какой характеръ носить преподаваніе Закона Божія въ нашихъ школахъ. Восьми-девятилѣтнимъ дѣтямъ законоучитель обязанъ (таково требованіе программы) сообщать общія понятія „о Богѣ, Творцѣ міра, о Его вездѣсущи, всемогуществѣ и благодѣи... объ ангелахъ, душѣ человѣка, созданной по образу Божію“ и пр. Чтѣ

пойметъ здѣсь ребенокъ? Авторъ обстоятельно и очень тонко выясняетъ многообразный вредъ, проистекающій изъ такого воспитанія для ума и воли, для нравственнаго склада ребенка. Чего стоить, напримеръ, одна идея непрестаннаго внимательства Бога въ естественный порядокъ вещей, прививаемая этимъ путемъ ребенку! Войдя въ плоть и кровь, сдѣлавшись привычною, она парализуетъ разумъ и укореняетъ фатализмъ; зачѣмъ допытываться причины, зачѣмъ обдумывать заранѣе? — Богъ послалъ, Богъ не попустилъ, какъ Богъ дастъ, — и кончено.

Авторъ не ограничивается критикой господствующихъ системъ религіознаго воспитанія, — онъ предлагаетъ свою. Онъ исходитъ изъ опредѣленнаго пониманія религіи, которое намъ кажется невѣрнымъ, — какъ вѣры въ какую-нибудь высшую цѣнность и въ ея вѣчное сохраненіе; отсюда онъ заключаетъ, что все религіозное воспитаніе ребенка должно сводиться къ развитію въ немъ идеализма. Онъ говоритъ: „надо позаботиться, чтобы все воспитаніе, и въ дѣтствѣ, и въ юности, было религіозно, чтобы у воспитанника широко и сильно развилось чувство связи съ міромъ и человѣчествомъ, и это чувство дастъ основу его идеализма, его религіи“. Впрочемъ, онъ оговаривается, что такое воспитаніе послужитъ лишь базисомъ для той вѣры, которою воспитанникъ впоследствии свободно увѣнчаетъ свое развитіе.

Этотъ совѣтъ намъ кажется ошибочнымъ. Понятіемъ о высшей цѣнности религіи не исчерпывается; всякая высшая цѣнность есть часть: религіи есть связь всѣхъ частей и чувство этой связи. Эта связь — не отвлеченіе, она реальна и осязательна; безъ чувства и сознанія этой мировой связи человѣкъ неполонъ, близорукъ, онъ не въ состояніи вѣрно оцѣнивать вещи и правильно опредѣлять ихъ перспективу. Съ раннихъ лѣтъ внушать ребенку чувство этой мировой связи, наводить его мысль на единство космоса, спокойно, не запугивая, указывать ему на непостижимость бытія, открывающуюся при этомъ созерцаніи, — вотъ въ чемъ мы видимъ задачу религіознаго воспитанія. И въ этой формѣ религіозное воспитаніе намъ кажется не только обязательнымъ: мы думаемъ, что оно есть важнѣйшая часть воспитанія вообще и должно составлять его основу. Эти представленія (о единствѣ и разсудочной непостижимости бытія) должны составлять самую атмосферу, въ которой растетъ умъ ребенка, — ибо это суть представленія объ основныхъ условіяхъ, въ которыхъ протекаетъ жизнь, — и они же должны проводиться во всѣхъ отрасляхъ реальнаго обученія, въ ознакомленіи съ природой, съ жизнью человѣка и съ исторіей человѣчества. Это мы вправѣ дать ребенку, потому что это — вещи неоспоримыя, и этого мы не вправѣ не дать ему, такъ какъ

это — основа всякаго правильнаго знанія и всякой нравственности. Всѣ религіи опираются на эту почву; избереть ли воспитанникъ позже какую-нибудь догматическую религію, или нѣтъ, — во всякомъ случаѣ мы должны пробудить въ немъ религіозность, которая есть не что иное, какъ всеобъемлющая разумность. — М. Г.

VIII.

— М. П. Драгомановъ. Политическія сочиненія. Изд. подъ ред. И. М. Гревса и Б. А. Кистяковского. Т. I. Центръ и Охрана. Москва. 1908. Стр. LXXXII + 486.

Наше культурное общество много теряло не только благодаря неправильности и перерывамъ въ своемъ ростѣ, но и по причинамъ чисто внѣшнимъ и случайнымъ. Творческія мысли многихъ видныхъ писателей надолго оставались для нашего общества почти недоступными и запретными; онѣ только просачивались въ сознаніе современныхъ поколѣній въ видѣ фрагментовъ или лозунговъ, но не расходились широкой волной, не проникали въ глубь общественнаго самосознанія съ той силой и съ тѣмъ значеніемъ, какія хранили въ себѣ и на какія имѣли право, потому что представляли завершеніе коллективной работы творческаго духа своихъ предшественниковъ, своего народа, своей страны. Проходили годы. И только новыя поколѣнія получали доступъ къ старому наслѣдію. Благо еще, если это наслѣдіе не ветшало за давностью лѣтъ. Такъ случилось, къ счастью, и съ литературно-общественнымъ достояніемъ одного изъ самыхъ крупныхъ русскихъ публицистовъ и видныхъ украинскихъ „идеологовъ“, — Мих. Петр. Драгоманова.

И личная жизнь его, и судьба его сочиненій, особенно публицистическихъ, были полны драматизма. Жилъ, работалъ онъ для своей искренно любимой родины — и провелъ всѣ зрѣлые годы своего недолгаго житія (род. 1841 г., ум. 1895 г.) за-границей (почти двадцать лѣтъ), въ гг. Женевѣ и Софіи; писалъ онъ только по животрепещущимъ вопросамъ обще-русской и украинской общественности — и случайно, тайными путями доносилась его страстная проповѣдь до земляковъ. Умеръ онъ, осталась о немъ честная память, но труды его все же лежали за „предѣлами досягаемости“. А роль и значеніе этого талантливаго публициста и энергичнаго общественнаго дѣятеля заслуживали, какъ и заслуживаютъ, не только честной, но и вѣчной памяти. Какъ ни какъ, а должно признать совершенно правильною оцѣнку жизненнаго труда Драгоманова, указывающую, что его идейная проповѣдь „пополняла существенный, громаднй пробѣлъ въ ряду элементовъ, изъ которыхъ у насъ слагалась общественная мысль; онъ былъ долгіе годы единственнымъ истиннымъ представителемъ широ-

каго конституціонализма и полного пониманія демократіи. Онъ также являлся однимъ изъ немногихъ защитниковъ осуществленія этихъ великихъ началъ путями сознательной, планомерной постепенности, однако не постоянно прилаживающейся или вѣчно отступающей, а всегда твердо завоевывающей шагъ за шагомъ яснонамѣченные позиціи, непримиримой при проведеніи въ жизнь политическаго убѣжденія". Такъ говорятъ редакторы полного собранія политическихъ сочиненій въ предисловіи къ изданному ими первому тому работъ Драгоманова о центрѣ и окраинахъ.

„Центръ и окраины"... Какой это большой, роковой и современный вопросъ для Россіи! Драгомановъ разъяснялъ эту дилемму совершенно противоположно тому, какъ разрѣшали и разрѣшаютъ ее русскіе „націоналисты" и русское правительство. По убѣжденіямъ своимъ глубокой демократъ и конституціоналистъ, онъ былъ наиболѣе сильнымъ, яркимъ и послѣдовательнымъ представителемъ въ Россіи идей федерализма. Какъ выдающійся дѣятель украинскаго движенія, Драгомановъ унаслѣдовалъ эти идеи отъ первой группы сознательныхъ украинцевъ, внесшихъ въ свою программу политическія идеи все-славянскаго освобожденія и федерализма (общество Кирило-мееодіевскихъ братчиковъ 1847 г.). Но, принявъ ихъ идеи, онъ разработалъ въ этомъ направленіи программу до самыхъ послѣднихъ и крайнихъ выводовъ, внесъ въ нее много новаго и старался детально нарисовать картину будущаго демократически-федеративнаго строя политической жизни и своей родной Украины, и сосѣдей ея, и — въ отдаленной перспективѣ — всего человѣчества.

Драгомановъ утверждалъ, что въ ассоціаціи, въ равенствѣ и въ обществѣ завѣдываніи всѣмъ тѣмъ, что нужно людямъ, заключается основа свободы, какъ для народовъ, имѣющихъ свои государства, такъ и для неимѣющихъ ихъ. Однако, каждая народность, представляя слишкомъ большую группу людей, не можетъ составлять одну ассоціацію. Она должна превратиться въ ассоціацію ассоціацій, въ союзъ общинъ, которыя имѣютъ постоянныя посредственныя (черезъ выборныхъ) или непосредственныя связи съ другими общинами, съ какими имъ легче, ближе и полезнѣе быть въ союзѣ для того, чтобы устраивать общія дѣла и помогать другъ другу. Сама же по себѣ каждая подобная первичная группа-община должна быть союзомъ свободныхъ людей. Дойти до того, — говоритъ Драгомановъ, — чтобы союзы людей, какъ большіе, такъ и малые, состояли изъ такихъ свободныхъ людей, которые добровольно сошлись для общей работы и взаимной помощи, это и есть та цѣль, къ которой стремятся люди и которая не имѣетъ ничего общаго съ современными государствами. Эта федерація свободныхъ автономныхъ общинъ была названа Драгомановымъ — „Вільна

спілка“, т.-е. вольный союзъ—въ одноименной программѣ, изданной имъ въ 1884 г. Позднѣйшіе русскіе конституціонные проекты многое почерпнули изъ этой программы—„максимумъ“, написанной детально, живо и увлекательно. Но для Россіи путь къ достиженію этого свободного союза авторъ видѣлъ одинъ: раньше всего, указывалъ онъ, необходимо добиться отміны правительственнаго самовластия и замѣны его представительнымъ правительствомъ, т.-е. конституціоннымъ строемъ. Только тогда и послѣ проникновенія въ широкія народныя массы идей о необходимости глубокаго измѣненія всего соціального строя, можно будетъ въ Россіи подойти къ главной задачѣ, основной цѣли — къ федеративной группировкѣ и болѣе крупныхъ, и болѣе мелкихъ вольныхъ общинъ.

Далеко еще этотъ путь... Много неправды надо устранить, чтобы подойти къ устройству будущаго лучшаго общежитія на землѣ. И особенно труденъ онъ, во-первыхъ, вообще для славянъ, во-вторыхъ для тѣхъ народностей, что входятъ въ составъ Россійской имперіи. Прошлое и современное положеніе тѣхъ и другихъ именно и освѣщаютъ работы Драгоманова, изданныя въ настоящее время. Всѣ онѣ, кромѣ одной небольшой статьи, были нѣкогда напечатаны въ „Вѣстн. Европы“ (въ началѣ 70-хъ годовъ подъ псевдонимомъ М. Т—ва, и въ 90-хъ—подъ псевдонимомъ Р. Я.). Теперь эти статьи собраны воедино.

Раздѣлить ихъ можно на три группы. Прежде всего въ обширной статьѣ авторъ разсматриваетъ вопросъ о восточной политикѣ Германіи и обрусеніи до 70-хъ годовъ и сейчасъ вслѣдъ за франко-прусской войной, обострившей національный антагонизмъ не только у береговъ Рейна. Ознакомивъ читателей съ отношеніемъ нѣмецкой и русской прессы къ польскому вопросу, Драгомановъ особенно подробно говорить объ опасности, какая грозитъ Россіи въ будущемъ и при политикѣ насильственнаго обрусенія Польши, и при проведеніи тѣхъ же мѣръ по отношенію къ другимъ окраинамъ и негосударственнымъ народностямъ. Широко поставленная и обстоятельно разработанная тема даетъ автору возможность освѣтить всѣ темные закоулки вопроса: онъ касается и московскихъ славянофиловъ, и бюрократической централизаціи, и народныхъ реакцій противъ полонизма, и итоговъ польской революціи 63—64 гг. Очень характерны и далеко не лишены современнаго значенія отзывы Драгоманова не о всякихъ мракобѣсахъ, а о томъ отношеніи къ окраинамъ, какое сказывалось и 30—40 лѣтъ назадъ въ средѣ многихъ великорусскихъ людей — прогрессивныхъ и либерально мыслящихъ. Авторъ говоритъ, что и тогда добрая доля русской печати, особенно петербургской, отличалась невниманіемъ къ вопросу объ обрусеніи окраинъ и была даже явно враждебна ко всякимъ толкамъ объ окраинахъ. Онъ находитъ возможнымъ назвать

эту довольно многочисленную группу среди образованныхъ людей въ столицахъ и въ великой Россіи—партіей ультрарусской. „Этотъ новый родъ „великорусскихъ сепаратистовъ“, продолжаетъ Драгомановъ, „говорить: да Богъ съ ними, съ этими окраинами и съ этимъ обрусеніемъ; насъ, несомнѣнныхъ русскихъ, на несомнѣнной русской землѣ все-таки 30—40 милліоновъ (въ началѣ 70-хъ годовъ), будемъ заниматься своими дѣлами, а окраины пусть живутъ, какъ хотятъ! Конечно, останься эти „ультрарусскіе“ безъ Риги и Варшавы и, чего добраго,—безъ Вильно и Кіева, они бы почувствовали себя не совсѣмъ ловко; и, хорошенько пораздумавъ, они и теперь увидятъ, какъ тѣсно связаны нравственныя и экономическія интересы середины Россіи съ судьбою ея окраинъ и даже отчасти съ судьбою лежащихъ и дальше нашихъ границъ странъ прикарпатскихъ и придунайскихъ. Но этотъ ультрарусскій сепаратизмъ людей середины Россіи совершенно понятенъ и естественъ, какъ реакція направленію, которое заботится такъ неловко объ обрусеніи и перерусеніи племенъ, населяющихъ наши окраины, и печется съ неменьшей ловкостью о славянскихъ, румынскихъ, греческихъ дѣлахъ, видя собственное отечество въ большомъ еще нестроеніи и даже тормозя его устройство воззваніемъ къ жизни устарѣлыхъ идей и учреждений“ (стр. 200—201).

Другая обстоятельная работа нашего автора, помѣщенная въ вышедшей книгѣ, носитъ заглавіе: „Евреи и поляки въ юго-западномъ краѣ“. Въ ней Драгомановъ старается обосновать рѣшеніе о совмѣстной жизни разныхъ національностей на широкой программѣ положительныхъ мѣропріятій въ направленіи поднятія культурныхъ и экономическихъ силъ народностей въ противоположность попыткамъ обычными запретительными и ограничительными (а въ то же время безрезультатными) мѣрами найти выходъ изъ еврейскаго и польскаго вопроса, выгодный и справедливый для меньшинства среди украинскаго большинства въ юго-западномъ краѣ. Въ частности, данный очеркъ затрагиваетъ недавнее историческое прошлое въ отношеніяхъ поляковъ и великороссовъ къ украинцамъ и знакомитъ съ началомъ возникновенія малорусскаго національнаго самосознанія и украинофильства.

Третью часть разсматриваемаго тома составляютъ статьи о русскихъ въ австрійской Галиціи, литературномъ движеніи и литературно-общественныхъ партіяхъ тамъ же, новѣйшихъ движеніяхъ у русскихъ галичанъ и о всеобщемъ голосованіи и положеніи русиновъ въ Австріи. По вопросамъ о галицкой Руси Драгомановъ является среди малороссовъ самымъ виднымъ дѣятелемъ и писателемъ. Съ одной стороны, именно онъ обратилъ вниманіе и въ значительной степени познакомилъ украинцевъ съ работой и движеніями зарубежныхъ братьевъ; въ другой стороны,—онъ же влиялъ практически на общественную

жизнь галичанъ, способствовалъ отрѣшенію многихъ изъ нихъ отъ узкихъ и специально-мелочныхъ націоналистическихъ интересовъ, а также выступленію на болѣе широкую и прогрессивную дорогу національнаго дѣла.

Таковы любопытные и важные вопросы, затронутые или разработанные Драгомановымъ. Обращаемъ вниманіе широкой русской читающей публики на первый томъ собранія политическихъ сочиненій того, кого украинцы почитаютъ и часто называютъ своимъ Герценомъ.

IX.

— А. М. Лазаревскій. Малороссійскіе посполитые крестьяне (1648—1783). Историко-юридическій очеркъ. Киевъ, 1903.

Покойный историкъ Малороссіи Лазаревскій занималъ видное мѣсто среди самыхъ крупныхъ представителей исторической науки, на ряду съ Максимовичемъ, Костомаровымъ и В. Антоновичемъ. Каждый изъ нихъ сохранилъ своеобразное отношеніе къ выбору и исполненію поставленныхъ себѣ историческихъ задачъ. Лазаревскій былъ историкъ-юристъ, осторожный изслѣдователь прошлыхъ судебъ исключительно по документальному и проверенному матеріалу. Источниками для его трудовъ служили болѣе акты, архивныя данныя, описи, протоколы, чѣмъ лѣтописи, мемуары, преданія... Отсюда—необыкновенная точность въ выводахъ А. М., вѣрность утвержденій и незыблемость защищаемыхъ имъ историческихъ положеній. Работы его преимущественно относились къ Днѣпровскому лѣвобережью и касались вопросовъ внутренней жизни народа. Лишены онѣ были беллетристическихъ красокъ или смѣлыхъ и красивыхъ гипотезъ, основанныхъ на остроумныхъ соображеніяхъ и догадкахъ. Зато каждый историкъ не только долженъ считаться съ ними, но вынужденъ полагать ихъ исходнымъ пунктомъ для всякой новой работы по затронутымъ Лазаревскимъ вопросамъ.

Таково и вновь изданное изслѣдованіе: „Малороссійскіе посполитые крестьяне“. Замѣтимъ, что во всѣхъ трудахъ Лазаревского по исторіи „Старой Малороссіи“, какъ онъ называлъ Лѣвобережье Украины, — будь то изслѣдованіе о малорусскихъ дворянскихъ родахъ, о сословныхъ отношеніяхъ, о послѣдствіяхъ Хмельницыны во внутренней жизни Малороссіи, о разложеніи внутренняго строя ея въ XVIII-мъ в.—всегда съ особою чуткостью и внимательностью слѣдилъ А. М. за развитіемъ крестьянскаго закрѣпощенія, мужицкой доли; нелицеприятно и беспощадно вскрывалъ онъ все зло и неправду, которыя вносили привилегированныя группы населенія въ поло-

женіе бѣднаго, угнетаемаго сельскаго люда. Въ своихъ изслѣдованіяхъ Лазаревскій разсматривалъ вопросы болѣе въ юридическомъ направленіи, касаясь по пути и экономическихъ отношеній. Окончательную разработку этихъ сюжетовъ онъ оставилъ младшему поколѣнію своихъ учениковъ, какъ завѣтъ ученаго историка.

Настоящая книга—какъ бы сжатый очеркъ основныхъ положеній, на которыхъ преимущественно останавливался Лазаревскій. Много въ ней цѣнныхъ указавій, важныхъ данныхъ, интересныхъ соображеній. Передъ нами какъ бы проходитъ вся эволюція „посполства“ отъ тѣхъ временъ, когда „народъ, живо помня войну Хмельницкаго, изгнаніе крупныхъ землевладѣльцевъ и затѣмъ свое расселеніе на земляхъ уже *свободныхъ*, считалъ поземельныя права свои крѣпкими“, такъ какъ „вся борьба съ поляками иначе и не представлялась народу, какъ борьбою за свободу отъ всякихъ притѣсненій польскихъ пановъ“. А тутъ, вмѣсто послѣднихъ, народу стали навязываться *новые паны*, только уже *свои*, въ лицѣ козацкой старшины, „товариства войскового“, впоследствии превратившагося въ малорусскихъ крѣпостниковъ-дворянъ. И главною основною мыслью Лазаревскаго, которую онъ доказывалъ съ неоспоримою убѣдительною, была та, что крѣпостное право въ Малороссіи явилось результатомъ не однѣхъ только мѣръ русскаго правительства въ этомъ направленіи, а цѣликомъ вытекало изъ украинскихъ общественныхъ отношеній, изъ украинской жизни, и русскому правительству во второй половинѣ XVIII в. приходилось часто только утверждать своими указами то, что на самомъ дѣлѣ давнымъ давно существовало уже въ жизни. Такимъ образомъ, „не одни только внѣшнія условія, не одна только централистическая политика и воздѣйствіе русскаго правительства, а главнымъ образомъ уродливый самостоятельный ходъ внутренней жизни украинскаго народа привелъ къ крушенію тѣхъ началъ чисто демократическаго строя, которыя были выдвинуты великой украинской революціей 1648—1654 гг.“. Въ данное время въ исторической литературѣ и приняты взгляды А. М. на процессъ прикрѣпленія малорусскаго крестьянства (В. Семевскій, В. Мякотинъ и др.).

Къ книгѣ Лазаревскаго приложена вступительная статья одного изъ его друзей и учениковъ — Н. Василенка. Можно надѣяться, что вскорѣ послѣдуетъ изданіе и другихъ работъ выдающагося малорусскаго историка, тѣмъ болѣе необходимое, что многія изъ нихъ разбросаны до сихъ поръ по разнымъ журналамъ и изданіямъ.

Игн. Ж—кій.

X.

— П. А. Никольскій. Къ вопросу о затрудненіяхъ при изученіи экономическихъ явленій. Казань. 1908. Ц. 1 р. 25 к.

Названный трудъ профессора казанскаго университета П. А. Никольскаго вызываетъ замѣчанія прежде всего съ формальной стороны. Въ немъ трактуется вопросъ о „препятствіяхъ“ развитію политической экономіи, которыхъ не избѣгаетъ, впрочемъ, и „всякая другая наука“. Препятствія эти имѣютъ „субъективное или объективное происхождение“, и въ послѣднемъ случаѣ они обуславливаются, конечно, свойствами изучаемаго предмета. Но если дѣло находится въ описываемомъ состояніи; если рѣчь идетъ о тѣхъ или другихъ свойствахъ даннаго явленія, требующихъ примѣненія соотвѣтствующихъ методовъ и приѣмовъ ихъ изслѣдованія; если предметомъ разсужденія служатъ *условія* научной разработки данной категоріи явленій, то врядъ-ли научно и рачительно поступаетъ тотъ, кто передѣлываетъ эту тему въ вопросъ о „препятствіяхъ“ и „затрудненіяхъ“ изслѣдованія. Подобная постановка вопроса относительно одной опредѣленной науки предполагаетъ наличность другихъ наукъ, развивающихся, такъ сказать, „безпрепятственно“. Но такихъ наукъ въ дѣйствительности не существуетъ; и причина выдѣленія дѣла изслѣдованія въ особую специальность коренится именно въ томъ, что непосредственное воспріятіе вѣшняго міра недостаточно для полученія о немъ правильнаго понятія; что для познанія этого міра требуется преодолѣніе „препятствій“ при помощи особыхъ методовъ и приѣмовъ.

„Препятствія“ (будемъ употреблять терминологию автора) для развитія науки лежатъ или въ самомъ предметѣ изслѣдованія, или въ субъектѣ изслѣдующемъ. Объективныя препятствія развитію экономической науки г. Никольскій видитъ въ сложности и измѣнчивости соотвѣтствующихъ явленій. Онъ высказываетъ по этому предмету нѣсколько своихъ и чужихъ мыслей; но его окончательныя заключенія врядъ-ли вносятъ много новаго въ пониманіе этого предмета. Поставивъ себѣ задачей „доказать“ всѣмъ извѣстную вещь—„взаимность вліянія между отдѣльными сторонами человѣческой жизни“,—и „обрисовать степень вліянія одного общественнаго фактора на другой“ (стр. 14), авторъ приходитъ по этому вопросу къ такимъ, напр., мало-содержательнымъ заключеніямъ. „Нравственность можетъ оказывать вліяніе на нѣкоторыя стороны экономической жизни“; „въ нравственности мы имѣемъ такой факторъ, который нужно болѣе и болѣе развивать даже въ интересахъ экономическихъ“ (стр. 22, 23); „право

можетъ служить средствомъ осуществленія экономическихъ цѣлей“ (стр. 44); „другія отрасли права, кромѣ экономического“, будутъ имѣть такое отношеніе къ экономической жизни населенія, какое существуетъ между послѣдней и категоріей явленій, регулируемой этимъ другимъ правомъ (стр. 46). Насколько полно изслѣдуются авторомъ взаимоотношенія между различными явленіями, видно хотя бы изъ того, что по вопросу о вліяніи экономіи на технику онъ счелъ возможнымъ развить только мысль, что „именно экономическія требованія опредѣляютъ дѣйствительное приложеніе тѣхъ или другихъ техническихъ приемовъ въ данное время и въ данныхъ условіяхъ“ (стр. 15), и ничего не говоритъ объ экономической основѣ прогресса техники, какъ таковой, заключающейся въ опредѣленной организаціи производства, допускающей осуществленіе грандіозныхъ техническихъ проектовъ и ставящей технику опредѣленныя задачи. Вмѣсто того онъ защищаетъ мысль, что „въ основномъ техника независима отъ экономической жизни; все богатое содержаніе ея опредѣляется не экономическими, а другими причинами, главнымъ образомъ естественными“ (стр. 14).

Замѣна вопроса объ условіяхъ научнаго изслѣдованія экономическихъ явленій вопросомъ о препятствіяхъ такому изслѣдованію весьма неблагоприятно отразилась на выясненіи пр. Никольскимъ роли субъективнаго фактора въ научныхъ изысканіяхъ; потому что, благодаря такой замѣнѣ, его вниманіе привлекали не столько нормальныя и необходимыя стороны научной творческой работы, сколько болѣе или менѣе сознательное уклоненіе отъ объективнаго отношенія къ изучаемому предмету въ пользу различныхъ предвзятыхъ религіозныхъ, философскихъ и социальныхъ воззрѣній, стремленій, интересовъ и т. п. Съ такими уклоненіями и пристрастіями добросовѣстный изслѣдователь можетъ, конечно, бороться, и естественно, поэтому, заключеніе автора, что „стоитъ только поступать по правиламъ объективнаго изученія явленій, которое одно принципиально свойственно научному познанію“, и изъ науки исчезнетъ то разнообразіе экономическихъ школъ, которое „объясняется субъективными затрудненіями при изученіи экономическихъ явленій“ (стр. 198). Авторъ правъ, насколько дѣло касается очевидныхъ пристрастій съ одной стороны и научныхъ положеній—достаточно обоснованныхъ—съ другой. Но вѣдь разнообразіе научныхъ экономическихъ (а не партійныхъ) воззрѣній покоится не на пристрастномъ отношеніи къ положеніямъ, объективно доказаннымъ. Какія положенія принимаются всѣми добросовѣстными изслѣдователями, и для ихъ усвоенія достаточно имѣть соотвѣтствующія знанія умѣть правильно строить силлогизмы. Но какъ быть въ тѣхъ случаяхъ, когда объективныхъ данныхъ недостаточно для разъясненія

какого-либо явленія? Г. Никольскій предложить, вѣроятно, воздержаться въ этихъ случаяхъ отъ всякаго объясненія. Но исторія всѣхъ наукъ показываетъ, что это предложеніе неприемлемо и невыгодно для успѣховъ самой науки. Не имѣя достаточныхъ данныхъ для объясненія изучаемаго явленія, естествоиспытатель тѣмъ не менѣе стремится его объяснить, и прибѣгаетъ для этого къ помощи своего „я“, вносить въ объективное изслѣдованіе нѣчто отъ себя, нѣчто субъективное, и создаетъ гипотезу, недоказанную, очень часто невѣрную, но имѣющую огромное значеніе для развитія науки. Вмѣшательство субъективнаго элемента въ данномъ случаѣ не только не „препятствуетъ“, но способствуетъ прогрессу знанія.

Аналогичныя явленія повторяются и при изслѣдованіи социальныхъ явленій. И здѣсь, при недостаточности объективныхъ данныхъ для разъясненія явленія, ученый, сознательно или нѣтъ, включаетъ въ цѣль объективныхъ доказательствъ нѣчто субъективное и получаетъ болѣе или менѣе правильную или ложную гипотезу, освѣщающую предметъ и облегчающую, а то и задерживающую дальнѣйшее развитіе науки. Разница въ этомъ отношеніи общественныхъ и естественныхъ наукъ заключается лишь въ томъ, что составъ субъективнаго фактора, дополняющаго объективное изслѣдованіе, въ первомъ случаѣ гораздо сложнѣе и обнимаетъ не только интеллектуальныя, но и моральныя элементы; а вслѣдствіе этой сложности и личной, такъ сказать, заинтересованности ученаго въ той самой жизни, которую онъ изучаетъ, созданіе правильной социальной гипотезы гораздо труднѣе и уклоненіе ученаго на ложный путь гораздо возможнѣе.

Проф. Никольскій весьма далекъ отъ такого пониманія роли субъективнаго фактора въ научномъ изслѣдованіи, и вмѣшательство этого фактора онъ считаетъ поэтому только зломъ, съ которымъ нужно бороться. „Относительно субъективизма нельзя говорить, что онъ необходимъ — высказываетъ авторъ; — относительно его приходится говорить, что онъ нерѣдко можетъ имѣть мѣсто даже незамѣтно для самого изслѣдователя; поэтому на изслѣдователѣ лежитъ всегда довольно трудная обязанность слѣдить за собой, держать себя въ рукахъ, чтобы не впасть въ грѣхи субъективизма и тѣмъ не повредить истинному познанію“ (стр. 100). Такое заключеніе понятно, если имѣть въ виду, что, по мнѣнію автора, „вездѣ субъективизмъ состоитъ въ томъ, что изслѣдователь не удерживается отъ *защиты* собственныхъ вѣрованій, нравственныхъ настроеній и интересовъ, которые у него совпадаютъ, конечно, съ вѣрованіями и интересами не всего общества а только части его“ (стр. 196). Съ такимъ субъективизмомъ изслѣдователь, конечно, долженъ бороться. Но это — слишкомъ грубое пониманіе предмета, и моральному субъективизму, напр., социалистовъ

утопистовъ, изслѣдовавшихъ капиталистическій строй съ точки зрѣнія интересовъ трудового населенія, мы обязаны не только фантастическими построениями относительно желательнаго имъ будущаго, но и тонкой критикой этого строя, разъяснившей многія характерныя его особенности. Сначала эта критика отвергалась патентованными экономистами. Но дальнѣйшая эволюція капиталистическаго строя и изучающей его науки настолько разъяснила этотъ вопросъ, что указанныя социалистами отрицательныя стороны господствующаго хозяйственнаго порядка получили объективное обоснованіе и признаются даже тѣми, кто относится къ нему съ особой симпатіей и равнодушіемъ къ судьбѣ страдающей отъ него части общества. Недостаточному разъясненію авторомъ этого вопроса содѣйствовалъ и методъ его разработки. Превративъ вопросъ объ условіяхъ научной работы въ предметъ разсмотрѣнія препятствій для успѣховъ науки, проф. Никольскій и этотъ вопросъ изслѣдовалъ не самостоятельно, а путемъ разбора чужихъ мнѣній. И хотя заключенія цитируемыхъ имъ русскихъ субъективистовъ (Лавровъ, Михайловскій и др.) подводили его вплотную къ правильной постановкѣ вопроса, но такъ какъ авторъ произволенъ въ выборѣ заслуживающихъ его вниманія чужихъ взглядовъ, а этотъ выборъ обуславливается предвзятыми воззрѣніями и настроеніями, то онъ могъ просмотрѣть главное существо вопроса и пойти въ своемъ изслѣдованіи побочнымъ, а не главнымъ русломъ. Это именно и случилось съ авторомъ разбираемой нами работы.

Въ заключеніе—два слова *pro domo sua*. Мы не можемъ не выразить удивленія, что, цитируя нѣкоторыхъ русскихъ писателей, проф. Никольскій называлъ ихъ не ихъ литературнымъ именемъ, значащимся на обложкѣ соответствующаго изданія и извѣстнымъ читателю ихъ произведеній, а гражданской фамиліей, о которой никогда не заявляли сами писатели и противъ употребленія которой въ книгахъ и статьяхъ они неоднократно протестовали печатно.

XI.

— Жизнь современнаго фабричнаго рабочаго (въ Германіи). Подъ редакціей и съ предисловіемъ Павла Гёре. Переводъ съ нѣмецкаго Э. Берштейнъ. Спб. 1908. Ц. 1 р.

Хотя цивилизація, по всеобщему признанію, имѣетъ уравнительную тенденцію, сглаживая отличія, раздѣляющія сословія, классы и даже національности, но отдѣльные слои каждаго общества въ бытовомъ отношеніи представляютъ еще большія различія. Извѣстныя различія можно наблюдать даже между слоями одного и того же, такъ наз.

образованнаго класса общества; тѣмъ болѣе несходствъ должно существовать между этимъ классомъ, рабочими и крестьянами. А если есть различія быта и нравовъ, то естественно ожидать, что они подвергнутся научному изученію. Но этнографія почти не касается быта наиболѣе цивилизованныхъ народовъ, который къ тому же въ послѣднее время быстро мѣняется, и обрисовку этого быта взяло на себя искусство, главнымъ образомъ беллетристика. Благодаря этимъ отраслямъ творческой дѣятельности человѣка, мы составляемъ себѣ извѣстное понятіе о нравахъ, жизни и стремленіяхъ различныхъ слоевъ своего и иноземныхъ обществъ, и мы научаемся понимать ихъ психологію. Но беллетристъ и художникъ собираютъ свои матеріалы не такъ, какъ ученые. Въ большинствѣ случаевъ они не могутъ ограничиваться свободнымъ или открытымъ наблюденіемъ со стороны. Имъ нужно еще войти въ жизнь изучаемыхъ людей, проникнуть въ ихъ психологію; а для того они должны жить съ ними, какъ со своими, участвовать въ ихъ горѣ и радостяхъ. Они должны быть членами тѣхъ обществъ, которые изучаютъ и описываютъ. Чтобы отлить въ художественную форму свои наблюденія, нуженъ извѣстный досугъ, образованіе и подготовка. Комбинація этихъ условій нѣмало встрѣчается среди верхнихъ слоевъ, и ее очень рѣдко можно наблюдать въ средѣ такъ наз. низшихъ классовъ общества. Поэтому, какъ общее правило, беллетристика заимствуетъ свои сюжеты изъ жизни первыхъ, и только въ видѣ исключенія воспроизводитъ бытъ, нравы, стремленія и чаянія самыхъ многочисленныхъ классовъ общества, которые, поэтому, остаются намъ очень мало извѣстными.

Сказанное приложимо ко всѣмъ передовымъ государствамъ; и источники для познанія жизни рабочихъ классовъ, напр., Германіи, настолько ограничены, что, указывая литературу по различнымъ сторонамъ соціального вопроса, Зомбартъ могъ назвать, кажется, одну только книгу, касающуюся даннаго предмета, именно, наблюденія надъ бытомъ рабочихъ христіанскаго соціалиста (нынѣ соціаль-демократа) Гёре, вошедшаго ради этой цѣли въ шкуру рабочаго и жившаго съ ними, какъ съ равными. Эти очень интересныя наблюденія были переведены на русскій языкъ, и о нихъ въ свое время была рѣчь въ нашемъ журналѣ. Этотъ же Гёре задался цѣлью пополнить литературу по данному вопросу, или, какъ онъ самъ выражается въ предисловіи къ книгѣ, составляющей предметъ настоящей замѣтки, „возможно глубже и шире распространить свѣдѣнія о дѣйствительной жизни современнаго пролетаріата“, и для этого онъ обратился къ самымъ рабочимъ съ предложеніемъ описанія своей жизни и своихъ столкновеній съ людьми. „Жизнь современнаго фабричнаго рабочаго въ Германіи“, заключающая автобіографію одного рабочаго, Вильяма

Бромме, и является отвѣтомъ на это предложеніе: Бромме безки- тростно рассказываетъ, какъ онъ жилъ и работалъ, что видѣлъ и слышалъ; и такъ какъ всю жизнь ему приходилось биться изъ-за куска хлѣба, и большую половину сутокъ проводить въ работѣ, то описанія перипетій его трудовой жизни, работы и впечатлѣній на фабрикѣ составляютъ главное содержаніе его записокъ. Бромме опи- сываетъ главнымъ образомъ то, что касается его самого и его то- варищей по работѣ. Поэтому его описанія не имѣютъ общаго харак- тера. Но такъ какъ по условіямъ жизни и работы Бромме и его то- варищи не представляютъ чего-либо исключительнаго, то описанныя имъ картины являются въ извѣстной мѣрѣ типическими и могутъ служить иллюстраціями къ тому, что имѣетъ уже общее значеніе. По справедливому замѣчанію Гёре, такое описаніе, въ смыслѣ уясненія вопроса о матеріальномъ положеніи извѣстныхъ слоевъ рабочаго класса, „не менѣе убѣдительно, чѣмъ богатая и исчерпывающая ста- тистика“.

Въ качествѣ рабочаго, Бромме не имѣетъ специальныхъ знаній; онъ принадлежитъ, поэтому, къ средѣ необученныхъ рабочихъ, и его жизнеописаніе характеризуетъ матеріальное положеніе и нравы этого именно слоя нѣмецкаго пролетаріата, во всѣхъ отношеніяхъ стоящаго ниже слоя рабочихъ крупныхъ фабрикъ и заводовъ. Но Бромме пред- ставляетъ рѣдкое явленіе въ томъ смыслѣ, что онъ почти окончилъ курсъ средняго учебнаго заведенія, заботился затѣмъ и о самообра- зованіи, и выдѣлился поэтому надъ среднимъ уровнемъ и въ умствен- номъ отношеніи, и въ отношеніи источниковъ заработка, получая до- полнительные доходы отъ литературнаго труда. Но если въ отно- шеніи правовъ и духовныхъ интересовъ въ описаніи Бромме мы ви- димъ рѣзкую разницу между нимъ и нѣкоторыми другими сознатель- ными рабочими съ одной стороны и остальной массой рабочихъ—съ другой, то въ отношеніи матеріальнаго благосостоянія Бромме стоялъ на той же низкой ступени, что и его товарищи, потому что онъ имѣлъ несчастіе быть отцомъ размножающагося семейства. Матеріаль- ное и духовное состояніе необученнаго рабочаго рисуется въ книгѣ Бромме въ довольно мрачныхъ краскахъ. „Въ общемъ и цѣломъ,—го- воритъ по этому поводу Гёре,—экономическое и социальное положеніе необученнаго современнаго рабочаго весьма немногимъ лучше поло- женія того же рабочаго двухъ предыдущихъ поколѣній“, несмотря на гигантскіе успѣхи промышленности и улучшеніе положенія обу- ченныхъ рабочихъ. На тридцатомъ году жизни Бромме, напр., имѣлъ всего три сорочки, „и то одна изъ нихъ была вся въ заплаткахъ“, двѣ манишки, „изъ которыхъ одна была рваная“, одну пару каль- зонъ, пять носовыхъ платковъ и три воротничка. „За всю жизнь я

не имѣлъ лѣтнаго пальто,— поясняетъ авторъ воспоминаній,— и теперь, на тридцать-третьемъ году своей жизни—средній возрастъ фабричныхъ рабовъ— я ношу только второе зимнее пальто“. „Несчастнѣйшій день, когда я родилась,— писала мужу его жена въ ожиданіи шестого ребенка.— Другія совсѣмъ не имѣютъ дѣтей или смерть ихъ избавляетъ сейчасъ же отъ нихъ. Я же осуждена на вѣчное горе и заботы и должна себѣ отказывать въ самомъ необходимомъ!“ Такому матеріальному положенію соответствуетъ и духовное состояніе необученнаго рабочаго, не подпавшаго подъ просвѣтительное вліяніе товарищей, болѣе сознательныхъ и обыкновенно настроенныхъ социаль-демократически. Послѣдніе, напротивъ того, выгодно выдѣляются изъ массы своимъ развитіемъ и интересомъ къ общественнымъ дѣламъ. Нужно, однако, замѣтить, что въ книгѣ Бромме читатель не найдетъ систематическаго описанія быта и политическихъ воззрѣній различныхъ слоевъ нѣмецкаго пролетаріата; и наблюденія самого Гёре, о которыхъ мы упоминали ранѣе, представляются болѣе цѣльными въ этомъ отношеніи.

XII.

— Вопросы колонизаціи. Периодическій сборникъ. Подъ редакціей А. В. Успенскаго и Г. Ф. Черкина. № 2. Спб. 2 р. 50 к.

Годъ назадъ въ нашемъ журналѣ была рѣчь объ изданіи, носящемъ вышеупомянутый заголовокъ, посвященномъ вопросамъ русскаго переселенческаго дѣла и предпринятомъ лицами, по своей судьбѣ близко стоящими къ послѣднему. Разъясненіе путемъ печати этихъ вопросовъ и ознакомленіе общества съ матеріалами, касающимися переселенческаго дѣла и имѣющими почти исключительно officialный характеръ, имѣетъ очень важное значеніе въ настоящее время, когда дѣло переселенія не находится уже въ исключительномъ вѣдѣніи бюрократіи, а состоитъ подъ контролемъ и нуждается въ санкціи Государственной Думы.

Редакторы-издатели № 1 „Вопросовъ колонизаціи“ обѣщали—если встрѣтятъ сочувствіе общества—обратить свой сборникъ въ периодическое изданіе. Обѣщаніе это пока не выполнено, и вмѣсто того выпущенъ въ свѣтъ второй нумеръ „Вопросовъ колонизаціи“ при заявленіи, что, по мѣрѣ накопленія матеріаловъ, послѣдуютъ новыя выпуски изданія.

№ 2-й разсматриваемаго изданія состоитъ, какъ и № 1, изъ статей и хроники переселенческаго дѣла, но не содержитъ, подобно его предшественнику, библиографіи. Изъ числа вопросовъ, привлекившихъ особенное вниманіе сборника, въ № 2, какъ и № 1, слѣдуетъ прежде

всего назвать вопросъ о вліяніи переселеній на бытъ кочевниковъ нашихъ средне-азиатскихъ владѣній. Недостатокъ земель въ европейской Россіи и въ Сибири заставляетъ переселенцевъ двигаться въ азіатскія степи; а тамъ они встрѣчаются съ кочевыми туземцами и, занимая ихъ земли, стѣсняють развитіе кочевого хозяйства. Переселенческое управленіе первоначально стояло въ этомъ вопросѣ на точкѣ зрѣнія сохраненія кочевого быта и предполагало оставлять въ пользованіи туземцевъ—соотвѣтственно нуждамъ кочевого хозяйства—очень крупныя площади земли. Но съ разливомъ переселенческой волны взглядъ этотъ начинаетъ измѣняться, а въ статьяхъ разсматриваемаго нами изданія доказывается даже, что кочевое хозяйство отвѣчаетъ интересамъ лишь небольшой кучки туземныхъ богачей; преобладающая же часть инородческаго населенія нашихъ азіатскихъ степей уже не въ состояніи вести кочевого хозяйства, больше и больше переходитъ къ осѣдлому быту и хлѣбопашеству, и въ развитіи послѣдняго видить единственный выходъ изъ бѣднаго состоянія. Въ № 2 „Вопросовъ колонизаціи“ эта мысль доказывается въ нѣсколькихъ статьяхъ анализомъ данныхъ статистико-экономическаго изслѣдованія нѣкоторыхъ степныхъ районовъ, свидѣтельствующихъ о быстрыхъ успѣхахъ земледѣлія среди кочевниковъ и о борьбѣ за угоды, завязавшейся между осѣдающими на землѣ и кочующими инородцами. Авторы соотвѣствующихъ статей (гг. Чиркинъ, Соколовъ и др.) считаютъ цѣлесообразнымъ стать въ этой борьбѣ на сторону осѣдающихъ инородцевъ, въ интересахъ и большинства инородческаго населенія, и культурнаго развитія края, и финансовыхъ нуждъ государства. Съ переходомъ же кочевниковъ въ осѣдлое состояніе освободится много земли для малоземельнаго населенія европейской Россіи. Такого же мнѣнія придерживается, повторяемъ, и правительственное вѣдомство, завѣдывающее переселеніями. Другой рядъ статей № 2 „Вопросовъ колонизаціи“ (гг. Кузнецова, Юферова) посвященъ вопросу о хозяйственномъ бытѣ переселенцевъ различныхъ районовъ; матеріаломъ для нихъ служили подворныя изслѣдованія нѣкоторыхъ мѣстностей. Указанныя статьи, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, имѣють, если можно такъ выразиться, частный характеръ. Большая интересная статья „Современное положеніе переселенческаго дѣла и его нужды“, излагающая ходъ переселеній въ 1906 и 1907 гг. и правительственные предположенія на 1908 г., носитъ офиціозный характеръ; то же самое надлежитъ сказать и о статьѣ „Колонизація Сибири въ связи съ землеустройствомъ мѣстнаго населенія“, посвященной запросу второй Государственной Думы относительно незакономѣрности дѣйствій правительства, грозящихъ опасностью благосостоянію старожильче-

скаго населенія Сибири. Въ хроникѣ переселенческаго дѣла сообщаются также по преимуществу свѣдѣнія officialнаго характера.

Въ общемъ относительно разсматриваемаго изданія приходится сказать, что въ немъ по преимуществу развиваются мысли, составляющія содержаніе переселенческой политики правительства. Это въ значительной мѣрѣ объясняется тѣмъ, что взгляды правительствующихъ лицъ на вопросы переселенческаго дѣла слагаются подъ вліяніемъ того опыта и наблюденій, какіе выносятся изъ служебной дѣятельности на мѣстахъ чиновниками, ведущими это дѣло. А изъ состава этихъ лицъ выдѣлилась и группа, предпринявшая изданіе „Вопросовъ колонизаціи“.

Правительство, какъ извѣстно, принимаетъ нынѣ мѣры къ разрушенію общиннаго землевладѣнія среди крестьянъ европейской Россіи. Изъ разсматриваемаго же изданія мы узнаемъ, что той же политики оно намѣрено держаться при землеустройствѣ переселенцевъ, и уже вырабатывается законопроектъ „о коренной реорганизаціи колонизаціоннаго дѣла на принципахъ отвода земель въ частную собственность“ (стр. 389). Въ виду этого обстоятельства особый интересъ представляютъ приводимыя въ „Вопросахъ колонизаціи“ свѣдѣнія о результатахъ уже предпринимавшихся попытокъ разрушенія общины въ Сибири. Попытки эти вызваны закономъ 22 іюня 1900 года о подворномъ и хуторскомъ размежеваніи переселенческихъ участковъ. Нѣкоторые администраторы въ циркулярахъ объ этомъ законѣ недвусмысленно намекали на свое желаніе введенія его въ жизнь, а нѣкоторые усердные ихъ подчиненные доставили имъ удовольствіе, представивъ приговоры обществъ о подворномъ и даже хуторномъ раздѣлѣ земель. Но въ дѣйствительности общины сибирскихъ переселенцевъ отнеслись къ этому закону безусловно отрицательно; за три года его дѣйствія фактически онъ былъ примѣненъ лишь къ шести участкамъ, а въ мотивахъ противъ его примѣненія фигурируетъ, между прочимъ, интересное и небезосновательное соображеніе о томъ, что „подворное владѣніе устранить взаимный контроль въ недопущеніи хищническаго хозяйства между крестьянами, что повлечетъ вредную эксплуатацію и истощеніе земель“ (стр. 250). Водворяемые на сибирскихъ земляхъ поселенцы согласно закону сами опредѣляютъ форму владѣнія землей, отводимой имъ, какъ извѣстно, въ вѣчное пользованіе; и переселенцы изъ общинной Россіи вводили, какъ общее правило, общину. Поэтому-то изслѣдованіе 233 переселенческихъ поселковъ показало, что тогда какъ общинное пользованіе землей принято въ различныхъ районахъ Сибири 24—89% изслѣдованныхъ поселковъ, подворное владѣніе найдено лишь у 6—4%; остальные 7—70% поселковъ не находятъ пока нужнымъ какъ-либо регулировать свое

землепользованіе, и ихъ члены пользуются захваченнымъ при поселеніи количествомъ земли. Образованіе опредѣленной формы землепользованія у нихъ еще впереди.

ХІІІ.

— Очеркъ забастовочнаго движенія рабочихъ бакинскаго нефтепромышленнаго района за 1903 — 1906 годъ. Составилъ заведующій статистическимъ бюро Совѣта Съѣзда нефтепромышленниковъ В. И. Фроловъ. Баку. Ц. 1 р. 50 к.

Бакинскій нефтепромышленный районъ изъ всѣхъ мѣстностей Россіи выдавался въ послѣдніе годы количествомъ и силою всякаго рода движеній и беспорядковъ среди рабочаго населенія. Широкое развитіе получило въ немъ и наибольшіхъ успѣховъ достигло и спеціально рабочее движеніе или классовая борьба пролетаріата съ предпринимателями. По разсчету автора вышеназваннаго труда, чистая заработная плата бакинскихъ рабочихъ возросла съ 1903 г. на 50%; а если принять во вниманіе завоеванное рабочими право на квартирное денежное довольствіе, на бесплатное полученіе воды, топлива, освѣщенія, мыльных, банныхъ, проѣздныхъ (съ мѣстожительства на промыслы), а главное, наградныхъ денегъ, то можно считать, что „средняя сумма полученія каждаго рабочаго удвоилась“. Другое важное завоеваніе бакинскихъ промысловыхъ рабочихъ заключается въ сокращеніи рабочаго времени съ 10½ — 12-ти часовъ до 9-ти и даже 8-ми часовъ въ сутки. „Увеличеніе и введеніе разнаго рода удобствъ при работѣ, усовершенствованіе внутренняго распорядка, улучшеніе мѣстъ работы въ санитарномъ и гигиеническомъ отношеніяхъ и пр.—въ ряду другихъ перемѣнъ въ нефтяной промышленности—занимаетъ также одно изъ главнѣйшихъ мѣстъ“ (стр. 56). Бакинскіе рабочіе добились даже, наконецъ, того, что предприниматели согласились заключать съ ними коллективные договоры о различныхъ условіяхъ работы. Первый такой договоръ былъ заключенъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1904 г., второй—въ октябрѣ 1905 г., а теперь, какъ извѣстно, идутъ переговоры о заключеніи между сторонами коллективнаго договора относительно высоты заработной платы.

Такіе успѣхи рабочаго движенія на бакинскихъ промыслахъ представляются тѣмъ болѣе интересными, что національный и культурный составъ бакинскихъ рабочихъ крайне разнообразенъ (въ 1904 г. рабочіе насчитывали въ своей средѣ представителей 23 народностей, „и по степени культурности ими была представлена чуть ли не вся исторія человѣчества“); что время классовой борьбы рабочихъ съ предпринимателями совпало съ проявленіями національной вражды среди

самихъ рабочихъ, долженствовавшей, казалось бы, разстроить ихъ солидарную дѣятельность въ качествѣ пролетаріевъ; и что серьезное рабочее движеніе въ данномъ районѣ проявилось только въ самыя послѣдніе годы. „Рабочій вопросъ, не насчитывающій за собою и трехъ десятилѣтій въ культурныхъ центрахъ Россіи, здѣсь, на далекой азиатской окраинѣ, является вопросомъ совсѣмъ новымъ“, говоритъ г. Фроловъ. „Можно съ достаточнымъ основаніемъ утверждать,— продолжаетъ онъ,— что до іюля 1903 года борьбы рабочихъ съ капиталистами въ нефтяной промышленности не было“. „Но за тотъ короткій промежутокъ времени, который прошелъ съ возникновенія рабочаго вопроса, какъ вопроса общественнаго и важнаго, онъ выросъ до такихъ размѣровъ, что затмилъ по значенію всѣ другіе вопросы“. Національный вопросъ, проявляющійся періодическою рѣзней среди армянъ и мусульманъ—несмотря на его грозный видъ—по сравненію съ рабочимъ вопросомъ—по мнѣнію г. Фролова,— „не больше, какъ маленькое преходящее недоразумѣніе; и это потому, что чѣмъ болѣе просвѣщенными становятся рабочіе бакинскіе промышленности и окружающее промысла населеніе, тѣмъ меньше возможности ожидать столкновенія между различными національностями и тѣмъ болѣе общей и глубокой становится борьба труда съ капиталомъ“ (стр. VII).

Борьба эта до сихъ поръ проявлялась главнымъ образомъ въ забастовкахъ, „и каждый промежутокъ между забастовками приходится разсматривать, какъ періодъ собиранія силъ и подготовки къ новой забастовкѣ“ (стр. VIII). Не удивительно, поэтому, если бакинскіе предприниматели обратили серьезное вниманіе на эту форму проявленій классовой борьбы и съ 1907 г. завели правильную подробную регистрацію забастовокъ и добытыя свѣдѣнія публикуютъ въ періодическомъ изданіи „Нефтяное Дѣло“. Книгу, указанную въ заголовкѣ настоящей замѣтки, можно считать какъ бы вступленіемъ въ это дѣло регистраціи, а ея цѣлю—служать описаніе и характеристика забастовочнаго движенія съ момента его возникновенія по 1906 г. Составлена она на основаніи матеріаловъ, полученныхъ отъ предпринимателей, при чемъ откликнулись на призывъ Совѣта съѣзда бакинскихъ нефтепромышленниковъ лишь представители половины бакинскихъ промышленныхъ фирмъ, которыя занимаютъ, однако, болѣе 80% промысловыхъ рабочихъ. Доставленные свѣдѣнія не полны и не совсѣмъ точны; тѣмъ не менѣе ими достаточно рисуется общій характеръ бакинскихъ забастовокъ. Разработка собраннаго матеріала производится г. Фроловымъ довольно безпристрастно; не довольствуясь данными анкеты, касающимися собственно промысловыхъ рабочихъ, авторъ разрабатываетъ и свѣдѣнія о забастовкахъ, собираемыя фабричною инспекціей относительно подвѣдомственныхъ ей заведеній. Наконецъ,

г. Фроловъ производитъ сравненіе бакинскихъ забастовокъ съ забастовками другихъ мѣстностей Россіи, пользуясь для этого извѣстнымъ трудомъ В. Е. Варзара о стачкахъ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ за 1895—1904 гг. Самъ авторъ, впрочемъ, находитъ, что сравниваемые данныя нельзя считать вполне однородными уже по отсутствію въ книгѣ г. Варзара свѣдѣній за такіе бурные годы, какъ 1905 и 1906. — В. В.

Въ теченіе августа поступили въ Редакцію нижеслѣдующія новыя книги и брошюры:

Адарюковы, Н. и И. — Разсвѣтъ. Литературный сборникъ. Спб. 908. Стр. 162. Ц. 80 к.

Анисимовъ, Н. В., подп. — Элементарная тактика. Отд. III. Артиллерія. Курсы военныхъ и юнкерскихъ училищъ. Изд. 3-е. Спб. 908. Стр. 100. Ц. 85 к.

Астровъ, П. И. — Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ. М., Сергіевъ-Посадъ, 908. Стр. 15. (Оттискъ изъ „Богословскаго Вѣстника“).

Баймушевъ, А. — Очерки мусульманскаго раскола. Татарскій пророкъ. Саратовъ, 908. Стр. 122. Ц. 1 р.

Баржицкій, А. Н. — I. Полезныя свѣдѣнія по фотографіи. II. Раскрашивание фотографій на бумагѣ, стеклѣ, фарфорѣ и шолкѣ. Каменецъ-Подольскъ 908. Стр. 30. Ц. 25 к.

Барскій, Л., и Лучанскій. П. — Завязь. Изд. П. Скороходова. Спб. 908. Стр. 116. Ц. 75.

Биништокъ, М. Л. — Лира. Сборникъ произведеній русской художественной лирики. Спб. 908. Стр. 209. Ц. 1 р.

Бончъ-Бруевичъ, Вл. — Избранныя произведенія русской поэзіи. Изд. 5-е. Спб. 909. Изд. тов. „Знаніе“. Стр. 319. 4°. Ц. 2 р.

Виноградовъ, А. М. — Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка. Одесса, 908. Стр. 456. 16°. Ц. 60 к.

Грустный, Сергій. — Въ безсонныя ночи. Стихотворенія. М. 908. Стр. 574. Ц. 3 р.

Губаревичъ-Радобильскій, А. — Чай и чайная монополія. Опытъ изслѣдованія основъ обложенія чая въ Россіи. Спб. 908. Стр. 175. Ц. 1 р. 50 к.

Зюкова, П. А. — Товарищъ. Книга для чтенія въ школѣ. Второй годъ обученія. Изд. 4-е. Стр. 192. Ц. 40 к. — Третій годъ обученія. Изд. 3-е. Стр. 206. Ц. 45 к. (Изд. книжнаго маг. Распопова). Одесса. 908.

Карцовъ, Ю. С. — За кулисами дипломатіи. Спб. 908. Стр. 69. Ц. 1 р.

Картевъ, Н. — Учебная книга новой исторіи. Съ историч. картами. Изд. 9-е. пб. 908. Стр. 350. Ц. 1 р. 45 к.

——— Исторія западной Европы въ новое время. Т. III. Исторія XVIII вѣка. Изд. 4-е. Стр. VI+640. Ц. 3 р. 50 к.

——— Т. V. Среднія десятилѣтія XIX вѣка (1830—70). Изд. 3-е. Стр. VI+4. Ц. 5 р. Спб. 908.

Кравковъ, С. П. — Матеріалы къ изученію процессовъ разложенія растительныхъ остатковъ въ почвѣ. Экспериментальное изслѣдованіе. Спб. 908. Стр. 175.

Бропоткинъ, П. А. Поля, фабрики и мастерскія. (Земледѣліе, промышленность и ремесла). Съ англійскаго перевелъ А. Н. Коншинъ. Изданіе третье, вновь просмотрѣнное и исправленное переводчикомъ. М. 908. Стр. 220. Ц. 80 к.

Михаилъ, духовный. — Духовный вопросъ, связанный съ природными тайнами. Къ всемірному духовному собору. Стр. 37 (оттискъ, безъ означенія мѣста и времени печатанія).

Никитинъ, Евг. — Наканунъ свадьбы. Современная комедія въ 1-мъ дѣйствіи. М. 908. Стр. 32. Ц. 30 к.

Николай Михайловичъ, великій князь. — Московскій Некрополь. Т. III (Р—О). Спб. 908. Стр. 432.

Петровъ, А. Н. — Къ лѣтописному сказанію о славянской грамотѣ. Спб. 908. Стр. 16. (Оттискъ изъ „Извѣстій отд. русскаго яз. и словесности Имп. Академіи Наукъ“).

Реморовъ, К. — Божій человекъ. Стр. 16. Ц. 10 к. — Дѣдушкино горе. Стр. 40. Ц. 15 к. Спб. 909.

Саттлинъ, А. — Краткій Учебникъ ботаники. Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 283 рисунками. Одесса, 908. Стр. 242. Ц. 1 р. 25 к.

Семеновъ, Вл. — Расплата. Спб. 908. Стр. 420. Ц. 3 р.

Степановъ, Н. В. (Клементъ). Лирика, шутки и пародіи. Стихотворенія. Съ портретомъ и факсимиле автора. Тамбовъ, 908. Стр. 207. Ц. 1 р.

Сюардъ, А. Ч., проф. — Юрскія растенія Кавказа и Туркестана. Съ 8 табл. (Труды Геологическаго комитета. Новая серія. Вып. 38). Спб. 907. Стр. 48. 4°. Ц. 2 р. 60 к.

Тарноградскій, В. — Одинокія думы. Стихотворенія. Каменецъ-Подольскъ. 908. Стр. 30. Ц. 30 к.

Тургеневъ для дѣтей. Подъ редакцію Нестора Котляревскаго. Изданіе И. Глазунова. Цѣна 90 коп. Спб. 1908. Съ приложеніемъ двухъ портретовъ Тургенева, различныхъ эпохъ, и портрета его же на охотѣ, съ ружьемъ.

Шаховъ, А. — Гёте и его время. Лекціи по исторіи нѣмецкой литературы XVIII вѣка, читанныя на Высшихъ женскихъ курсахъ въ Москвѣ. Изд. 4-е, исправл. и дополн. Спб. 908. Стр. IX+296. Ц. 1 р.

Шемишуринъ, Андр. — Стихи В. Брюсова и русскій языкъ. М. 908. Стр. 150.

Ястребовъ, Н. В. — Этюды о Петрѣ Хельяндомъ и его времени (Изъ исторіи гуситской мысли). Вып. I. Спб. 908. Стр. 258+X. Ц. 2 р.

Штыкъ, М. Ф. — Можно ли дать евреямъ равноправіе? Спб. 909. Изд. 2-е. Стр. 36. Ц. 15 к.

Яковлевъ, Н. — Палезой Изюмскаго уѣзда, Харьк. губ. Съ картой. Спб. 908. Стр. 29. 4°. Ц. 80 к.

Mauzaige, René. — L'Art allemand d'avoir une marine marchande aux dépens d'autrui. Paris, 908. Стр. 172. Ц. 2 фр. 50 сант.

— Врачебная хроника Харьк. губ. 1908 г. Изд. Харьк. губ. земской управы. Харьковъ, 908. №№ 4, 5 и 6.

— Доклады Олонецкой губ. земской управы губернскому земскому собранію (29 ноября—19 дек. 907 г.). Петрозаводскъ. 908. Стр. 798.

— Дѣло о выборгскомъ воззваніи въ Правит. Сенатѣ. Вмѣсто предисловія—О. Пергамента. Спб. 909. Стр. XVIII+87. Ц. 40 к.

— Живые звуки. Стихотворенія. Литературно-художественный сборникъ. І. Каменецъ-Подольскъ. 908.

— Жизнь вообще и въ частности. Повѣсть въ 4-хъ книгахъ изъ областей быта, нравовъ, дѣеспособности и жизнедѣятельности вещей бытія. Переписалъ по посторонней рукописи Святополкъ Недражовъ. Книга І. Отд. первый. Спб. 908. Стр. 68.

— Журналъ перваго съѣзда областей земской переселенческой организаціи 9—11 іюня 908 г. Полтава, 908. Стр. 43.

— Журналы Олонецкаго губернскаго земскаго собранія ХLI-ой очередной сессіи съ 29 ноября по 19 декабря 1907 года. Петрозаводскъ, 1908. Стр. 409.

— Матеріалы по статистикѣ движенія землевладѣнія въ Россіи. Изд. Д-та Окладныхъ Сборовъ. Вып. XIII. Погубернскіе итоги мобилизаціи земель и среднія земельныя цѣны за 40-лѣтіе 1863—1902 гг. Спб. 1907 Стр. XVII и таблицы.

— Матеріалы по статистикѣ землевладѣнія въ Россіи. Изд. Д-та Окладныхъ Сборовъ. Вып. XV. Купля-продажа земель въ Европейской Россіи за 1900 г. Спб. 1908 г. Стр. 61.

— Огни на вершинахъ. Изданіе „Просвѣтъ“, ред. А. Шумиловъ. М. 908. Стр. 82. Ц. 1 р.

— Отчетъ о состояніи учебныхъ заведеній Кавказскаго учебнаго округа за 1907 годъ. Тифлисъ, 908. Стр. X+164+463.

— Первая трудовая артель горнорабочихъ Урала. Пермь, 908. Стр. 28. (Изъ „Пермской Земской Недѣли“).

— Сборникъ правилъ и условій поступленія въ учебныя заведенія Россіи (Vademecum). Вып. II. Среднія уч. зав. — Низшія уч. заведенія. М. 908. Изд. тов. Сытина. Стр. 436. Ц. 1 р.

— Статистика производствъ, облагаемыхъ акцизомъ. 1905 г. (съ предварительными данными за 1906 г.). Изд. Главнаго управл. неокл. сборовъ и казенной продажи питей по статистич. отдѣленію. Вып. II. Спб. 908. 4°. Стр. XIII+333+179.

— Статистика стачекъ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ за 1905 годъ. Изд. Мин. Торг. и Пром. (Отдѣлъ промышленности). Составилъ фабричный ревизоръ В. Е. Варзаръ. Спб. 908. стр. 111.

— Стенографическій отчетъ Портъ-Артурскаго процесса. Подъ общей ред. К. И. Ксидъ и М. К. Соколовскаго. Вып. III. Съ 3 планами. Спб. 908. Стр. 193—279. Ц. 1 р.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 сентября 1908 г.

Рѣчи Вильгельма II о войнѣ и мирѣ.—На чемъ держится миръ въ Европѣ.—Воинственныя мечты и миролюбивая дѣйствительность.—Разсужденія Ллойда-Джоржа.—Колониальныя предпріятія и мароккскій вопросъ.—Турецкая конституція и балканскія дѣла.

Недавно въ Лондонѣ засѣдалъ международный конгрессъ мира, и отъ его имени былъ представленъ королю Эдуарду VII адресъ, въ которомъ ему подносили титулъ „миротворца“. Отвѣчая делегатамъ конгресса, король между прочимъ сказалъ: „Правители и государственные люди не могутъ ставить себѣ болѣе высокой цѣли, чѣмъ содѣйствіе взаимному пониманію и сердечной дружбѣ между народами міра. Это—самое вѣрное и прямое средство къ тому, чтобы человѣчество было въ состояніи осуществить свои благороднѣйшіе идеалы; и достиженіе такой цѣли будетъ всегда служить предметомъ моихъ постоянныхъ усилій“.

Мѣсяцемъ позже, 30 августа (нов. ст.), на банкетѣ въ Страсбургѣ, императоръ Вильгельмъ II, обращаясь къ представителямъ мѣстнаго населенія, произнесъ слѣдующій спичъ: „Какъ жители этой пограничной области, вы естественно имѣете величайшій интересъ въ дальнѣйшемъ сохраненіи мира, и я радуюсь возможности высказать вамъ мое глубокое внутреннее убѣжденіе, что европейскій миръ не подвергается опасности. Онъ покоится на слишкомъ твердыхъ основаніяхъ, чтобы его могли поколебать нападки и клеветы, внушаемая завистью и недоброжелательствомъ отдѣльныхъ лицъ. Прочное ручательство представляетъ прежде всего совѣсть государей и правительственныхъ дѣятелей Европы, которые признаютъ и чувствуютъ себя отвѣтственными передъ Богомъ за жизнь и благосостояніе народовъ, вѣренныхъ ихъ руководству. Второе ручательство—желаніе и воля самихъ народовъ извлекать пользу изъ великихъ пріобрѣтеній прогрессивной культуры въ спокойномъ дальнѣйшемъ развитіи и испытывать свои силы въ мирномъ соперничествѣ. И наконецъ миръ охраняется и обезпечивается нашей вооруженной силой на сушѣ и на морѣ—нѣмецкимъ вооруженнымъ народомъ. Гордая несравненной выдержкою и духомъ чести своей вооруженной силой, Германія проникнута рѣшимостью и впредь, не угрожая другимъ, сохранять ее на

той же высотѣ и такъ развивать ее, какъ того требуютъ собственные интересы, никому не въ угрозу и никому не въ обиду. Съ Божьею помощію и подъ покровомъ германскаго орла вы можете поэтому и впредь предаваться своимъ мирнымъ занятіямъ и собирать плоды своего труда“...

Германскій императоръ съ свойственнымъ ему примодушіемъ точно и ясно формулировалъ современное положеніе проблемы, которой едва коснулся англійскій „миротворецъ“. Дѣйствительно, вопросъ о мирѣ или войнѣ между передовыми европейскими націями зависитъ отъ совѣсти государей и прежде всего самого Вильгельма II и отъ ихъ личнаго чувства ответственности предъ Богомъ: другой ответственности у нихъ нѣтъ, и то представленіе о долгѣ передъ родиной, которое въ каждый данный моментъ можетъ побудить ихъ рѣшиться на войну, остается руководящимъ обязательнымъ закономъ для подвластныхъ имъ народовъ. Ответственный только передъ Богомъ, Вильгельмъ II неоднократно ставилъ на карту общій миръ Европы по своимъ собственнымъ таинственнымъ побужденіямъ, которыя нѣмцы не могли быть ни предусмотрѣны, ни разгаданы. Когда онъ внезапно вмѣшался въ мароккскій вопросъ въ крайне чувствительной для Франціи формѣ, не только заинтересованныя державы, но и сами нѣмцы были поражены неожиданностью, и до сихъ поръ нѣмецкіе патріоты не могутъ объяснить, въ чемъ заключается важность этого вопроса для Германіи, и почему изъ-за него подняты непріятные споры съ Франціею и Англіею. Никто также не понимаетъ, съ какою цѣлью Вильгельмъ II столь настойчиво и неуклонно торопится создать могущественный военный флотъ, способный соперничать съ британскимъ въ открытомъ морѣ; а между тѣмъ эти лихорадочныя усилія возбуждаютъ понятное безпокойство въ Англіи, противъ которой они преимущественно и направлены. Недавніе опыты съ воздушнымъ шаромъ графа Цеппелина и обильныя пожертвованія на это „національное дѣло“,—какъ правительственныя, такъ и частныя,—откровенно связываются съ мыслью о новомъ способѣ перевозки войскъ и орудій черезъ водныя пространства, охраняемые непріятельскимъ флотомъ, причемъ островной характеръ Англіи потерялъ бы для нея значеніе гарантіи отъ нападеній сухопутной арміи. Воображенію нѣмецкихъ патріотовъ рисовались картины смѣлыхъ побѣдоносныхъ нашествій при помощи многочисленныхъ отрядовъ воздушныхъ шаровъ, и эти мечты становятся предметомъ серьезныхъ разсужденій въ обществѣ и въ печати.

Можно сказать положительно, что нѣмецкій народъ, предоставленный самому себѣ, никогда не сталъ бы разстраивать свои мирныя отношенія съ сосѣдними народами какими-то фантастическими воинственными планами въ родѣ тѣхъ, которые неустанно возникаютъ и упорно

держатся въ умѣ императора Вильгельма II. Въ сущности нѣтъ никакого разумнаго смысла въ политикѣ, систематически раздражающей и волнуемой другія великія націи, и она, очевидно, противорѣчитъ истиннымъ чувствамъ и идеямъ огромнаго большинства населенія; но совѣсть Вильгельма II и его чувство отвѣтственности передъ Богомъ заставляютъ его идти по пути, несогласному съ понятіями и интересами народа, а такъ называемое общественное мнѣніе, увлекаемая ложно понятымъ патріотизмомъ, легко принимаетъ на вѣру произвольныя фантазіи относительно необходимости будущихъ войнъ съ Франціею и Англіею. Вся политическая атмосфера пропитывается ядомъ недовѣрія и подозрительности; французы и англичане начинаютъ бояться за будущее и ищутъ новыхъ международныхъ комбинацій для огражденія и защиты своихъ интересовъ; эти волненія невольно отражаются въ газетахъ, въ публичныхъ рѣчахъ и отчасти также въ парламентахъ, что въ свою очередь вызываетъ соответственные отголоски въ Германіи. Нѣмцы протестуютъ противъ приписываемыхъ имъ замысловъ, говорятъ о несправедливыхъ „нападахъ и клеветахъ, внушаемыхъ завистью и недоброжелательствомъ“,—какъ бы не замѣчая, что весь этотъ шумъ есть результатъ личныхъ дѣйствій и заявленій правителя, отвѣтственнаго лишь передъ Богомъ. Куда приведетъ Германію, а съ нею и Европу, безпокойная, неопредѣленно-предприимчивая политика Вильгельма II—предсказать трудно; но, какъ справедливо замѣтилъ „Berliner Tageblatt“, совѣсть и чувство отвѣтственности предъ Богомъ являются плохимъ ручательствомъ мира, при отсутствіи надлежащей отвѣтственности министровъ и совѣтниковъ монарха передъ народнымъ представительствомъ.

Второе ручательство—сознательное миролюбіе народа—къ сожалѣнію, не имѣетъ никакой реальной силы, пока внѣшняя политика страны находится внѣ контроля парламента и опредѣляется исключительно внушеніями совѣсти лицъ, воспитанныхъ въ традиціяхъ военнаго могущества и величія. Наконецъ, третье ручательство—существованіе сильной національной арміи—обыкновенно само создаетъ почву для воинственныхъ стремленій и опасеній, ибо армія можетъ проявить свое превосходство только на войнѣ, и генералы, чувствующие свое призваніе къ роли полководцевъ, неохотно мирятся съ вынужденнымъ бездѣйствіемъ. Остается только одно обстоятельство, говорящее въ пользу мира,—личное убѣжденіе императора, выраженное имъ съ достаточною категоричностью; но не вызвано ли оно именно тѣми „враждебными“ предупредительными мѣрами и комбинаціями, которыя такъ раздражаютъ нѣмецкихъ патріотовъ?

Публичное заявленіе Вильгельма II о прочности мира совпадаетъ съ моментомъ усиленной дѣятельности западно-европейской дипло

матин; король Эдуардъ VII ѣздилъ въ Ишль къ императору австрійскому, имѣлъ свиданіе съ императоромъ германскимъ въ Кронбергѣ, принималъ въ Маріенбадѣ французскаго министра-президента Клемансо и нашего министра иностранныхъ дѣлъ, А. П. Извольскаго, которые въ то же время совѣщались между собою; въ Берлинѣ пріѣзжалъ одинъ изъ наиболѣе выдающихся членовъ британскаго правительства, канцлеръ казначейства Ллойдъ-Джоржъ. Послѣ этого, имѣя въ виду возможныя военныя соглашенія между правительствами заинтересованныхъ державъ, Вильгельмъ II призналъ нужнымъ отнестись съ довѣріемъ къ дружественнымъ попыткамъ англійскаго короля и его министровъ; совѣсть и чувство ответственности передъ Богомъ внушили ему слова миролюбія,—но долго ли продержится это миролюбіе и не уступить ли оно другому настроенію при первой перемѣнѣ обстоятельствъ?

Дѣятели конгрессовъ мира, принципиальные противники войны, большею частью обращаются съ своими доводами по невѣрному адресу: они убѣждаютъ публику въ преступной пагубности военныхъ кровопролитій и думаютъ добиться упраздненія войнъ при помощи логическихъ доказательствъ. Мирные слушатели согласны, публика рукоплещетъ, народъ сочувствуетъ, но всѣ эти общественные элементы безсильны и не могутъ идти далѣе пассивнаго сочувствія, ибо въ государствѣ существуетъ и господствуетъ особый могущественный классъ, специально приспособленный къ войнѣ, живущій и питающійся войною или ожиданіемъ войны. Безполезно и даже смѣшно доказывать ненужность и злоуредность войнъ представителямъ и вождямъ военной организаціи, располагающей фактически всѣми средствами и силами государства; эта организація не можетъ сама себя упразднить, и нѣтъ такой власти, которая могла бы достигнуть ея упраздненія при существующемъ политическомъ строѣ государствъ. Проповѣдники мира не убѣдаютъ ни одного изъ германскихъ офицеровъ отречься отъ военной карьеры и не поколеблютъ военныхъ идеаловъ и стремленій Вильгельма II; а какъ смотреть на армію и ея задачи остальная публика—это безразлично для правящихъ лицъ. Пропаганда идей мира не затрагиваетъ коренныхъ основъ милитаризма, и потому она обречена на безплодіе.

Англійскій министръ Ллойдъ-Джоржъ, въ своей рѣчи на митингѣ конгресса мира въ Лондонѣ, приводилъ разные житейскіе аргументы въ подтвержденіе той мысли, что воевать вообще неразумно и нелѣпо. Почему государственные люди—говорилъ онъ—не могутъ улаживать анимные конфликты своихъ странъ тѣми же способами, какими они зрѣшаютъ свои индивидуальныя споры? Развѣ націи ненавидятъ на другую? Въ Германіи имѣется большое количество людей, зани-

мающихся производствомъ убойнаго скота, и огромную массу его они продають намъ; зачѣмъ же стануть они убивать своихъ лучшихъ покупателей? Это былъ бы наихудшій путь къ успѣху въ дѣлахъ. Мы покупаемъ въ Германіи товаровъ на десятки милліоновъ; почему же они должны насъ убивать? Они покупають у насъ товаровъ приблизительно на тридцать милліоновъ фунтовъ; зачѣмъ понадобилась бы намъ убивать ихъ? Это, конечно, не привело бы къ расширенію нашей торговли. Какая это глупость, какое безуміе!.. Девять десятыхъ всѣхъ пререканій и ссоръ происходятъ вслѣдствіе недоразумѣній относительно мотивовъ противника. У насъ есть люди, притомъ съ большимъ опытомъ и очень высокопоставленные, которые упорно находятся подъ тѣмъ впечатлѣніемъ, что Германія хочетъ на насъ напасть. Есть много людей въ Германіи, которые одинаково убѣждены въ томъ, что мы готовимся на нихъ напасть. И изъ страха другъ передъ другомъ мы вооружаемся и быстро идемъ по пути къ той именно ссорѣ, которая приводитъ насъ въ ужасъ... Мы обладали на морѣ подавляющими силами, которыя достаточно обезпечивали насъ противъ возможныхъ непріятелей, но насъ это не удовлетворяло: мы рѣшили строить новыя броненосцы—типа „Дреднаутъ“. Зачѣмъ? Мы не нуждались въ нихъ. Никто ихъ не строитъ, а еслибы кто-нибудь началъ сооружать ихъ, то мы съ нашими огромными судостроительными ресурсами всегда могли построить ихъ скорѣе, чѣмъ какая-либо другая страна въ мірѣ. Существуетъ еще другой пунктъ, надъ которымъ у насъ слишкомъ мало останавливались. Мы всегда говоримъ, что для полнаго обезпеченія отъ внѣшнихъ нападеній намъ необходимо имѣть флотъ, равный соединеннымъ флотамъ двухъ сильнѣйшихъ морскихъ иностранныхъ державъ; это—наше мѣрило. Но посмотрите на Германію. Ея армія есть для нея то же самое, что для насъ нашъ флотъ,—ея единственная защита отъ нашествія. Но она не ставитъ себѣ задачей имѣть непременно столько войскъ, сколько имѣють вмѣстѣ какіи-либо двѣ другія первоклассныя державы; у нея нѣтъ „мѣрила двухъ державъ“, какъ у насъ для флота. Она можетъ имѣть болѣе сильную армію, чѣмъ Франція, или Россія, или Австрія въ отдѣльности, но она находится между двумя великими державами, которыя въ совокупности располагають гораздо большимъ количествомъ войскъ, чѣмъ Германія. Это не надо забывать, когда удивляются, почему Германія волнуется извѣстіями о союзахъ и соглашеніяхъ, таинственными указаніями и намеками „Times“ или „Daily Mail“... Поле смерти и безъ того слишкомъ обширно, чтобы народы еще увеличивали его и затрачивали на это увеличеніе болѣе четырехсотъ милліоновъ фунтовъ стерлинговъ въ годъ. Были нѣкогда крестовыя походы, когда князья и короли бросали свои распри и отрекались

отъ своихъ споровъ во имя великой священной цѣли. Болѣе священный крестовый походъ предстоитъ государямъ и народамъ современности; пусть они отбросятъ подозрѣнія, недовѣріе, ссоры, вражду, и вы можете тогда извлечь человѣчество изъ того болота, въ которое погружены миллионы людей, обреченныхъ на бѣдствія и отчаяніе“.

Замѣчанія Ллойда - Джоржа очень интересны и поучительны, особенно тѣ, которыя относятся къ самой Англіи; ораторъ долженъ былъ даже впоследствии взять назадъ свою критику морскихъ вооруженій или придать ей болѣе невинный смыслъ, чтобы не оказаться въ противорѣчіи съ правительствомъ, къ составу котораго онъ принадлежитъ. Но ясно, что всѣ его доводы касаются только внѣшнихъ и случайныхъ признаковъ разбираемаго явленія, не задѣвая его сущности. Неужели все дѣло — въ ошибочныхъ разсужденіяхъ дѣловыхъ людей и въ нерасчетливости ихъ поступковъ? Никто не сомнѣвается въ томъ, что для мирныхъ коммерсантовъ, участвующихъ въ товарномъ обмѣнѣ между нѣмцами и англичанами, война обѣихъ націй была бы желѣзною; но вѣдь вопросъ о войнѣ ставится и рѣшается не мирными обывателями, а вождями армій и флотовъ, людьми, мечтающими о военной славѣ, о побѣдахъ и завоеваніяхъ, о внѣшнемъ могуществѣ и величіи, и отвѣтственными за свои рѣшенія только передъ Богомъ. Недостаточно сказать: „пустъ отбросятъ подозрѣнія, недовѣріе, ссоры и вражду“; нужно еще, чтобы исчезли причины, порождающія эти подозрѣнія, недовѣріе и враждебные конфликты. Разъ государства содержатъ колоссальныя арміи и громадныя военныя флоты, соперничая между собою по силѣ и размѣрамъ своихъ вооруженій, — естественно, что должны существовать постоянныя взаимныя опасенія, подозрѣнія и непріязненные чувства. А когда эти колоссальныя вооруженныя силы находятся въ безотчетномъ распоряженіи лицъ, отвѣтственныхъ только передъ своею совѣстью и передъ Богомъ, то всеобщее хроническое безпокойство неизбежно и обязательно, — и утѣшать себя и другихъ банальными разсужденіями о вредѣ войны и о преимуществахъ постоянного мира — значитъ только запутывать и затѣмнять вопросъ, превращая его въ предметъ безнадежныхъ словопреній.

Мысль о сокращеніи разорительныхъ вооруженій, официально предложенная державамъ ровно десять лѣтъ тому назадъ, въ знаменитой циркулярной нотѣ графа Муравьева, отъ 24 (12) августа 1898 года, дала тѣхъ плодовъ, какихъ отъ нея ожидали, — хотя и послужила толчкомъ къ крупнымъ реформамъ и нововведеніямъ въ области международного права. Основная идея, во имя которой была созвана Гаагская конференція, осталась безъ практическаго примѣ-

ненія, и въ истекшее съ тѣхъ поръ десятилѣтіе пролито было народами на поляхъ битвъ гораздо больше крови, чѣмъ за весь предшествующій періодъ со времени русско-турецкой войны. Мы сами какъ будто отреклись отъ своихъ благодѣтельныхъ плановъ а сознательно впутались въ манчжурско-корейскія дѣла, приведшія насъ къ цѣлому ряду страшныхъ кровопролитій. Великодушныя намѣренія, выраженныя въ 1898 году, были вскорѣ забыты и уступили мѣсто обычнымъ завоевательнымъ увлеченіямъ и соблазнамъ, ибо настроеніе мѣняется подъ вліяніемъ разныхъ случайныхъ обстоятельствъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣняется и политика. Императоръ Вильгельмъ II дѣйствовалъ вообще осторожно; онъ довольствовался тѣмъ, что пугалъ другихъ перспективою войны и поощрялъ рискованныя военныя предпріятія чужихъ правительствъ, но самъ избѣгалъ прямого риска. Онъ не безъ злорадства слѣдилъ за безвыходными затрудненіями нашихъ союзниковъ, французовъ, въ Марокко, гдѣ онъ косвенно способствовалъ поднятію туземнаго національнаго движенія противъ иностранныхъ пришельцевъ. Колоніальныя предпріятія, рассчитанныя на легкость военного успѣха и на пассивную покорность туземныхъ народностей, являются обычными источниками опасныхъ разочарованій и столкновеній для европейскихъ державъ, и общій миръ не можетъ считаться прочнымъ до тѣхъ поръ, пока не измѣнится кореннымъ образомъ отношеніе культурныхъ націй къ некультурнымъ или малокультурнымъ племенамъ и народамъ.

Испытанія французовъ въ мароккескомъ вопросѣ представляютъ новый убѣдительный примѣръ ошибочности колоніальной политики, основанной лишь на правѣ силы. Французы съ самаго начала отнеслись къ Марокко, какъ къ безхозной землѣ, которую можно занять или взять подъ свое покровительство и опеку, по соглашенію съ посторонними европейскими державами; туземцевъ они не принимали въ расчетъ, зная ихъ ничтожество и безсиліе въ военномъ отношеніи. Мало-по-малу они стали, однако, убѣждаться, что мѣстное населеніе имѣетъ свои крѣпкія національныя и религіозныя идеи, и что оно обладаетъ большою силою сопротивленія; они должны были видѣть, что нельзя навязывать туземцамъ свои порядки и реформы, не подготовивъ для этого почвы путемъ мирнаго дружественнаго сожителства, построеннаго на взаимномъ довѣріи и уваженіи. Французскіе дипломаты считали достаточнымъ пріобрѣсти расположеніе и преданность ничтожнаго султана Абдель-Азиса, который съ наивною младенца сѣбшлѣ окружить себя всѣми диковинными изобрѣтеніями цивилизаціи—автомобилями, грамофонами, телефонами и разными издѣліями парижскаго искусства; французскіе промышленники не щадили своего новаго кліента и постоянно снабжали его нуну:

ними ему товарами, за которые требовали денег по непомерно преувеличеннымъ счетамъ, такъ что вскорѣ злосчастный султанъ оказался вовлеченнымъ въ крупныя долги и въ малопонятныя ему кредитныя операціи. Французы были почему-то увѣрены въ незыблемой прочности правленія Абдель-Азиса, несмотря на многіе признаки броженія и недовольства въ странѣ; они не придавали значенія отдѣльнымъ попыткамъ возстанія, съ которыми все чаще связывалось имя младшаго брата султана, Мулай-Гафида. Образовалось странное, явно ненормальное положеніе: народъ въ Марокко былъ противъ султана, связавшагося съ иноземцами, и выражалъ явное сочувствіе къ его противникамъ, а властные представители республиканской Франціи неуклонно стояли за „законнаго шерифа“, поддерживали его официальный авторитетъ и не допускали мысли объ его низложеніи волей мароккескаго народа. Мулай-Гафидъ, опираясь на патріотически-настроенныя толпы мусульманъ, объявилъ себя повелителемъ Марокко и занялъ уже нѣкоторые изъ важнѣйшихъ пунктовъ страны; а французы продолжали вѣрить, что Абдель-Азисъ одержитъ побѣду и что онъ непременно долженъ побѣдить, въ качествѣ единственнаго законнаго правителя, признаннаго Европой. На чемъ основывалась эта твердая вѣра въ жалкаго Абдель-Азиса и почему республиканскіе дипломаты придавали такое исключительное значеніе мнимой законности его власти—неизвѣстно. Если самъ мароккескій народъ отрекается отъ неудачнаго султана и переходитъ на сторону его болѣе сознательнаго и популярнаго брата, то во имя чего могли бы французы навязывать туземцамъ въ этомъ отношеніи свои собственныя понятія о законности? Они, правда, не вмѣшивались въ происходившую междоусобную войну, но до конца признавали только одного Абдель-Азиса и смотрѣли на Мулай-Гафида, какъ на самозванца-революціонера; еще наканунѣ переворота и даже въ самый день роковой битвы французскія газеты сообщали о крупномъ успѣхѣ султана и о вытѣсненіи отрядовъ его соперника изъ Маракеша. Между тѣмъ судьба Абдель-Азиса была уже рѣшена: 19-го августа на разсвѣтѣ его лагерь близъ Маракеша подвергся нападенію и полному разгрому, при участіи его собственныхъ войскъ, и самъ султанъ едва спасся бѣгствомъ въ предѣлы занятой французами прибрежной территоріи. Нѣсколько дней спустя, 24-го августа (нов. ст.), Мулай-Гафидъ былъ торжественно провозглашенъ султаномъ въ Танжерѣ и окончательно вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей, или, говоря высокимъ слогомъ, „вступилъ на престолъ“ Марокко. Какъ извѣстно, западно-европейскіе дипломаты и газетные публицисты любятъ говорить о „занятіи трона“ и „перемѣнѣ царствованія“, даже когда дѣло идетъ о какихъ-нибудь предводителяхъ зулусовъ, и традиціонныя монархи-

ческія понятія и термины официальной Европы прямо переносятся въ такія страны, которыя по своимъ общественно-политическимъ условіямъ не имѣютъ ничего общаго съ государствами западно-европейскаго типа. Громкія фразы о „престолѣ“ и „монархѣ“ едва-ли соотвѣтствуютъ фактамъ, касающимся перехода власти отъ Абдель-Азиса къ Мулай-Гафиду, и во всякомъ случаѣ правительство французской республики не имѣло разумнаго основанія поддерживать въ Марокко принципъ какого-то законно-установленнаго монархизма, въ ущербъ правамъ населенія. Съ одной стороны, своимъ открытымъ покровительствомъ бывшему султану французы только вредили ему въ глазахъ туземцевъ и усиливали популярность его соперника, какъ выразителя чувствъ національнаго патріотизма, а съ другой—они ставили себя въ крайне трудное и неловкое положеніе, при возможномъ успѣхѣ этого соперника. Французская дипломатія вынуждена теперь считаться съ личными взглядами, желаніями и интересами новаго султана, а такъ какъ эти взгляды и желанія не могутъ быть доброжелательны относительно европейцевъ вообще и французовъ въ особенности, то всѣ достигнутые результаты новѣйшей мароккской политики великихъ державъ подвергаются большому сомнѣнію. Что сдѣлаютъ Франція и Европа, если новый султанъ не признаетъ для себя обязательными постановленія алжесиразской конференціи и отвергнетъ право вмѣшательства иностранцевъ въ мароккскія дѣла? Надъ этимъ вопросомъ невольно задумывались французскіе дѣятели при первомъ извѣстіи о торжествѣ Мулай-Гафида, и еслибы послѣдній обладалъ нѣкоторою смѣлостью и пониманіемъ современныхъ политическихъ обстоятельствъ, онъ могъ бы легко воспользоваться взаимнымъ антагонизмомъ между великими державами, чтобы придать мароккскому кризису новое направленіе, въ высшей степени неудобное для Франціи.

Французская республика пожинаетъ теперь въ Марокко плоды своей безпринципной внѣшней политики, которая сообразуется лишь съ интересами и стремленіями правителей, безъ всякаго вниманія къ потребностямъ, желаніямъ и чувствамъ народовъ. Эта политика, ошибочно называемая реальною и практической, построена на томъ предположеніи, что въ большинствѣ государствъ рѣшающая роль во внѣшнихъ дѣлахъ принадлежитъ правительствамъ, а не народамъ; но даже въ Марокко это предположеніе оказывается невѣрнымъ, и оно блестяще опровергнуто всѣмъ ходомъ новѣйшихъ событій. Положеніе Франціи было бы совершенно иное, еслибы съ самаго начала она удѣлила больше вниманія мароккскому населенію и не связывала своей политики съ личностью правителя, и еслибы она, какъ и подобаетъ республикѣ, въ своихъ внѣшнихъ отношеніяхъ и расчетахъ болѣе интересовалась законными правами и симпатіями народовъ, чѣмъ интере-

сами и дружбою такихъ „монарховъ“, какъ Абдель-Азисъ. Политика, игнорирующая настроеніе народовъ, съ которыми устраиваются извѣстныя политическія связи, не можетъ считаться реальною въ наше время, и рано или поздно она неминуемо влечетъ за собою тягостныя разочарованія въ родѣ тѣхъ, которыя выпали на долю французской дипломатіи въ Марокко.

Турецкая революція продолжаетъ давать интереснѣйшіе матеріалы для размышленій о теоріи и тактикѣ революціонныхъ движеній; она вноситъ новыя и часто очень остроумныя методы и приемы, рѣзко отличающіеся отъ обычныхъ западно-европейскихъ традицій въ этой области. Въмѣсто громкихъ словъ и широкихъ программъ мы видимъ здѣсь рядъ крупныхъ практическихъ дѣлъ, прикрываемыхъ мягкими дипломатическими формами; самыя рѣзкія мѣропріятія проводятся и немедленно осуществляются отъ имени султана, съ сохраненіемъ его вѣшняго авторитета. Никакіе общіе принципиальныя споры не примѣшиваются къ основательной и всесторонней фактической ломкѣ стараго режима; необычайно сложное придворное хозяйство падишаха постепенно ликвидируется; множество праздныхъ и дорого оплачиваемыхъ должностей уничтожено; сотни и тысячи агентовъ, жившихъ доносами и шпионствомъ, распущены по домамъ, а завѣдомые казнокрады изъ бывшихъ министровъ и придворныхъ сановниковъ вынуждаются къ возврату присвоенныхъ капиталовъ, послѣ чего ихъ отпускаютъ на всѣ четыре стороны. Бывшій морской министръ долженъ былъ вернуть такимъ образомъ чуть ли не сто тысячъ турецкихъ фунтовъ—почти миллионъ рублей,—чтобы избавиться отъ суроваго суда и наказанія. Имѣнія, розданныя фаворитамъ изъ государственныхъ и дворцовыхъ имуществъ, отбираются обратно въ казну. Этотъ способъ расправы съ старыми хищниками, свободный отъ всякаго оттенка мстительности или излишней жестокости, удовлетворяетъ общественное чувство справедливости и въ то же время возвращаетъ государственному казначейству значительную часть награбленныхъ въ былое время суммъ.

Удивительная цѣлесообразность дѣйствій составляетъ вообще характеристическую черту турецкой революціи въ томъ видѣ, какъ она проходила до сихъ поръ въ Константинополѣ и въ другихъ мѣстахъ. Обновленіе стараго государственнаго строя началось съ обновленія его правительственнаго персонала, не только высшаго, но и низшаго, оно осуществилось безъ всякихъ потрясеній, благодаря сочувствію поддержкѣ лучшей части арміи и всего турецкаго общества. Новое рецкое правительство, однако, имѣетъ предъ собою весьма трудныя щекотливыя задачи, которыя при извѣстныхъ условіяхъ могутъ

оказаться неразрѣшимыми: во-первыхъ, оно должно установить нормальныя отношенія между различными національностями Оттоманской имперіи, положить конецъ вѣковымъ распрямъ и счетамъ между побѣдителями и побѣжденными, между полноправными или, вѣрнѣе, привилегированными турками и безправными туземцами; во-вторыхъ, оно не можетъ не считаться съ приобретенными правами и интересами великихъ иностранныхъ державъ и, между прочимъ, съ правами контроля, основанными на существующихъ международныхъ договорахъ, — хотя само собою разумѣется, что державы не станутъ примѣнять къ обновленной Турціи тѣ постановленія, которыя имѣли въ виду старую безправную, разлагающуюся Турецкую имперію.

Роль западно-европейской дипломатіи въ Константинополѣ существенно мѣняется: имперія, долго считавшаяся безнадежно больною, прибѣгла вдругъ къ радикальнымъ лекарствамъ и обнаружила рѣшимость и способность избавиться отъ старыхъ тяжелыхъ недуговъ. Въмѣсто „больного человѣка“ является здоровый или замѣтно поправляющійся, проникнутый новою энергіею и предприимчивостью; стѣснительная опека можетъ быть устранена, но остается еще цѣлый рядъ вопросовъ, ожидающихъ своего разрѣшенія. Одинъ изъ такихъ вопросовъ поднятъ въ Австро-Венгріи — относительно дальнѣйшей судьбы Босніи съ Герцеговиною, и по этому поводу ведутся горячіе споры въ турецкой патріотической печати. Боснія и Герцеговина, занятая австрійцами на основаніи берлинскаго трактата 1878 года для водворенія порядка въ этихъ турецкихъ провинціяхъ, продолжаютъ номинально входить въ составъ Оттоманской имперіи; введеніе конституціоннаго строя въ Турціи заставляеть босняковъ и герцеговинцевъ желать такого же представительнаго строя для обѣихъ областей, управляемыхъ до сихъ поръ австрійскими чиновниками. Дарованіе мѣстной конституціи со стороны австрійскаго правительства означало бы включеніе этихъ земель въ составъ австро-венгерской монархіи, а противъ этого рѣшительно протестуютъ турецкіе патріоты, утверждающіе, что Боснія и Герцеговина могутъ и должны пользоваться благами обще-турецкой, а не какой-либо иной конституціи. Конечно, турки не въ состояніи отнять у Австро-Венгріи оккупированныя ея провинціи, и разгорѣвшійся споръ можетъ имѣть лишь теоретическое или формально-дипломатическое значеніе. Болѣе серьезны вопросы о дальнѣйшихъ внутреннихъ отношеніяхъ разныхъ племенъ и народностей, объединяемыхъ пока общимъ порывомъ къ коренной политической реформѣ; въ этой сферѣ новому турецкому правительству предстоитъ выказать особенное искусство, разумную осторожность и выдержку.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Edmond Lepelletier. Paul Verlaine. Sa vie, son oeuvre. Стр. 565 („Mercure de France“).

Книга Э. Лепелетье, посвященная памяти Поля Верлена, очень интересна по богатству историко-литературного материала, по фактическим данным, освещающим литературную жизнь во Франции въ концѣ минувшаго вѣка, и, главное, по исчерпывающей полнотѣ біографическихъ свѣдѣній о Верленѣ и о его психологіи въ тяжелыя минуты его жизни.

Литературная слава Поля Верлена теперь вполне установлена. Франція признаетъ его однимъ изъ своихъ величайшихъ поэтовъ XIX вѣка. Но было время, когда новизна его творчества смущала читателей и когда его образъ жизни, нарушавшій всѣ общепринятые представленія о нравственности, удалялъ отъ него симпатіи. Съ именемъ Верлена связаны цѣлыя легенды и самъ Верленъ въ значительной степени способствовалъ ихъ распространенію. Задача, которую ставитъ себѣ Лепелетье, заключается въ возстановленіи истины — причѣмъ ему приходится даже иногда опровергать самообвиненія Верлена, слишкомъ склоннаго къ покаяннымъ настроеніямъ. Лепелетье, извѣстный писатель и общественный дѣятель, былъ товарищемъ и близкимъ другомъ Верлена съ юности, зналъ его въ самые критическіе періоды его жизни — и поэтому имѣетъ возможность документально установить истину относительно фактовъ, извѣстныхъ до сихъ поръ въ искаженномъ видѣ. Что касается духовной біографіи Верлена, то хотя Лепелетье и не устанавливаетъ сколько-нибудь новаго отношенія къ поэзіи Верлена, но онъ даетъ драгоценныя указанія относительно степени искренности Верлена въ тѣхъ или другихъ его настроеніяхъ.

Въ послѣдніе годы жизни Верленъ проводилъ дни и вечера въ кофейныхъ и пивныхъ Латинскаго квартала въ Парижѣ и любилъ разсказывать случайнымъ собесѣдникамъ въ преувеличенномъ видѣ о своихъ слабостяхъ и порокахъ. Его необычная внѣшность, соединявшая уродство съ оригинальностью — маска сатира и въ то же время лицо Сократа, — одежда богемы, дошедшаго до послѣднихъ ступеней нищеты, и, главное, постоянное состояніе опьянѣнія способствовали

представленію о Верленѣ, какъ о современномъ Виллонѣ, знаменитомъ поэтѣ XV вѣка, столь же прославившемся своими мошенничествами, какъ и своими стихами. Такъ сложилась вокругъ имени Верлена легенда, рисующая его чудовищно порочнымъ кутилой, жизнь котораго была цѣпью преступленій, доводившихъ его до тюрьмы.

Лепелетье, свидѣтель его жизни, передаетъ факты такими, какими они были въ дѣйствительности,—и легенда въ значительной степени блѣднѣетъ. Получается, конечно, не жизнь образцово-добродѣтельнаго семьянина, но и не злодѣя, а человѣка съ слабой волей и чуткой душой, испытываго много страданій, жившаго среди нихъ своими вдохновеніями самобытнаго поэта, нашедшаго новые ритмы для новыхъ ощущеній.

Поль Верленъ родился въ 1844 году въ Мецѣ, такъ что долженъ былъ послѣ франко-прусской войны, очутившись въ Лондонѣ, опираться за Францію, чтобы сохранить свою національность. Отецъ его былъ военный, мать была родомъ изъ французской Фландріи и принадлежала къ семьѣ земледѣльцевъ; отъ нея Верленъ унаслѣдовалъ любовь къ землѣ, побуждавшую его нѣсколько разъ уѣзжать надолго въ деревню. Родители Верлена были очень состоятельны, благодаря главнымъ образомъ большому приданому матери поэта. Значительная часть этого состоянія погибла при жизни отца Верлена, пустившагося въ неудачныя спекуляціи. Но когда капитанъ Верленъ умеръ отъ удара въ 1865 году, состояніе вдовы и ея единственнаго сына было все-таки довольно большое, и оно позволяло Верлену жить безъ нужды, когда онъ имѣлъ еще при этомъ правильный заработокъ; только когда онъ, отдавшись своимъ слабостямъ, сталъ тратить деньги, ничего не зарабатывая, то черезъ много лѣтъ беспорядочной жизни онъ дѣйствительно дошелъ до нищеты.

Верленъ учился въ Парижѣ, куда его родители переѣхали послѣ нѣсколькихъ лѣтъ гарнизонной жизни въ провинціи, и кончилъ Lycée Vopararte въ 1862 году; тамъ началась дружба между нимъ и Лепелетье. Въ теченіе двухъ лѣтъ по окончаніи лицея, Верленъ жилъ частью въ деревнѣ, у родственниковъ матери, частью въ Парижѣ, гдѣ онъ много читалъ и проявлялъ большую любознательность въ разныхъ областяхъ знанія. Его любовь къ литературѣ обнаружилась очень рано; Лепелетье сохранилъ стихи и драматическіе наброски Верлена въ возрастѣ шестнадцати лѣтъ. Въ двадцать-два года, т.-е. въ 1867 году, Верленъ уже былъ дѣятельнымъ и видимымъ членомъ литературной группы, которой суждено было подъ названіемъ парнасской школы сыграть замѣтную роль въ исторіи французской поэзіи.

Но поэзія не могла стать исключительнымъ занятіемъ молодого Верлена. Во всякомъ случаѣ родители его считали своимъ долгомъ

найти ему болѣе положительное дѣло въ жизни. Шла рѣчь объ адвокатской карьерѣ, и Верленъ поступилъ на юридическій факультетъ. Но дѣлный годъ прошелъ въ посѣщеніяхъ студенческихъ пивныхъ, и отецъ Верлена понялъ, что адвокатомъ или дѣловымъ человекомъ сынъ его не сдѣлается. Нужно было поэтому сразу пристроить его на какое-нибудь мѣсто, чтобы обезпечить ему хотя бы скромный заработокъ. Мѣсто нашлось вскорѣ послѣ того, какъ Верленъ сдалъ экзаменъ на бакалавра. Онъ поступилъ въ одно страховое общество, а черезъ нѣкоторое время перешелъ на государственную службу — въ городской думѣ. Дѣлныхъ семь лѣтъ, отъ 1864 года по 1871, до разгрома коммуны, Верленъ былъ чиновникомъ, что не мѣшало его литературнымъ работамъ и успѣхамъ. Къ службѣ Верленъ относился, по свидѣтельству Лепелетье, довольно халатно, но занятія его — по распредѣленію жалованія низшему духовенству — были несложныя, и ихъ охотно справлялъ за него его старшій сослуживецъ, предоставляя ему возможность уходить среди рабочихъ часовъ и проводить сколько угодно времени въ кафе, гдѣ собирались его литературные друзья.

Въ эти годы, предшествовавшіе всѣмъ позднѣйшимъ невзгодамъ Верлена — его женитьбѣ, его добровольному изгнанію, его мытарствамъ по тюрьмамъ и госпиталямъ, характеръ его поэзіи былъ еще далекъ отъ сложной эмоциональности, которая отличала его въ позднѣйшіе годы. Въ противоположность обычной эволюціи отъ бурной юности къ уравновѣшенной старости, Верленъ былъ классикомъ въ началѣ своей литературной дѣятельности, а потомъ, по мѣрѣ накопляющихся душевныхъ переживаній и бурь, лирика его осложнилась страстностью, соединяющей порывы высшаго спиритуализма съ пламенными земными экстазами. Страшный для Франціи 1871 годъ такъ сильно измѣнилъ и личную судьбу, и поэзію Верлена, что жизнь и творчество его дѣлается этимъ годомъ на два періода, противоположныхъ по существу одинъ другому. Книга Лепелетье даетъ много цѣннаго матеріала для характеристики обоихъ періодовъ. И если во второмъ періодѣ жизнь Верлена и не представляетъ назидательныхъ примѣровъ, то все же его слабости въ связи со всѣми его муками становятся своего рода трагической необходимостью въ исторіи его духа и его творчества. Это служить ему оправданіемъ — если вообще нужно оправданіе для поэта, искренно переживавшаго всѣ свои настроенія и влеченія.

Первый періодъ въ творествѣ Верлена отмѣченъ по преимуществу литературными вліяніями и литературными интересами. Лепелетье интересно рассказываетъ объ участникахъ нарождавшагося тогда въ поэзіи парнаскаго движенія. Оно развивалось тогда, когда Верленъ жилъ въ Hôtel de Ville. Въ томъ кафе, куда онъ ходилъ въ служебные часы, собирались молодые поэты, обсуждались вопросы стихо-

сложенія, волновавшіе молодыхъ новаторовъ, къ числу которыхъ принадлежалъ и Верленъ. Тамъ продолжались споры, начинавшіеся на субботнихъ собраніяхъ у Леконта де-Ляля; тамъ говорили о странныхъ стихахъ молодого учителя англійскаго языка, Стефана Малармэ,—его оригинальностью Верленъ восторгался больше всѣхъ другихъ. Тамъ читали вслухъ стихи и горячо любили поэзію. Верленъ, чуждый всякаго честолюбія въ жизни, вполне довольствовался этими дружескими встрѣчами съ единомышленниками и считалъ, что жизнь его сложилась идеально; онъ готовъ былъ навсегда удовлетвориться своей скромной службой, посвящая свободное время — а его было много — поэзіи... Кафе на улицѣ Риволи смѣнилось другимъ на улицѣ Клиши, гдѣ та же компанія молодежи собиралась читать стихи и обмѣниваться впечатлѣніями. Мечтой кружка поэтовъ было основать серьезный литературный союзъ и выступить въ печати со своими новшествами. Эта мечта вскорѣ могла осуществиться благодаря одному изъ школьных товарищей Верлена и Лепелетье, маркизу Рикару. Онъ занимался литературой и политикой, имѣлъ положеніе въ свѣтѣ, стоялъ во главѣ философскаго журнала — и въ салонѣ его матери, маркизы Рикаръ, отнесшейся съ большимъ сочувствіемъ къ начинающимъ писателямъ, друзьямъ ея сына, собирался кружокъ поэтовъ, прославившихся потомъ подъ названіемъ парнасцевъ — по названію перваго ихъ коллективнаго сборника, „Современный Парнасъ“. Постоянными посѣтителемъ пріятельскихъ собраній у маркизы Рикаръ были, кромѣ Верлена, молодые поэты Катуллъ Мендесъ, Франсуа Коппé, Эредіа — все будущіе „парнасьены“. Вскорѣ нашелся и издатель для молодыхъ поэтовъ. Это былъ тогда еще неизвѣстный, но съ тѣхъ поръ составившій себѣ громкое имя книгопродавецъ и издатель Альфонсъ Лемеръ. Онъ отважился на чрезвычайно рискованное по тогдашнимъ понятіямъ предпріятіе — на изданіе произведеній новыхъ поэтовъ. Предпріятіе это увѣнчалось успѣхомъ и прославило имя издателя.

Первые сборники стиховъ, изданные Лемеромъ, были „*Poèmes Saturniens*“ Верлена и сборникъ стиховъ Коппé „*Le Reliquaire*“. Изъ нихъ большій успѣхъ имѣла книга Коппé — въ виду того, что молодой авторъ прославился передъ тѣмъ своей пьесой „*Le Passant*“, восторжавшей Парижъ въ исполненіи Сары Бернаръ. На „*Poèmes Saturniens*“ публика обратила мало вниманія, но поэты и критики, Викторъ Гюго, Сентъ-Бёвъ, Банвиль и другіе привѣтствовали въ Верленѣ большого поэта. Въ настоящее время ужъ, конечно, никто не сомнѣвается, что изъ двухъ тогдашнихъ дебютантовъ большую поэтическую силу представляетъ менѣе замѣченный тогда Верленъ.

„*Poèmes Saturniens*“ отражаютъ тогдашнюю поэтику Верлена: мечта поэта должна витать высоко надъ жизнью. Красота въ без-

страсти («Изъ мрамора вѣдь она, Венера милосская!» — восклицаетъ Верленъ въ одномъ стихотвореніи) и т. д. Стихи Верлена, отвѣчавшіе требованіямъ этой поэтики, были въ значительной степени описательные. Поэтъ занятъ былъ также провозглашеніемъ своихъ принциповъ въ поэзіи, и во многихъ стихахъ сильно сказывается его догматизмъ. Такъ, въ прологѣ къ „*Poèmes Saturniens*“ Верленъ проводитъ теорію отвлеченности въ поэзіи. Поэтъ становится въ его изображеніи своего рода бонзой, уединяющимся въ пагодѣ, куда не доходятъ крики, вопли и возгласы толпы. Точно также въ эпилогѣ Верленъ оберегаетъ поэта отъ близости съ окружающими людьми, отъ всякой непосредственности въ творчествѣ, главнымъ образомъ совѣтуетъ работать надъ стихомъ, не полагаясь на вдохновеніе... „Мы чеканимъ стихи, какъ кубки“, — говоритъ онъ, отстаивая теорію безстрастного мастерства стиха.

Таковъ характеръ перваго сборника Верлена, въ которомъ онъ воплощаетъ идеалъ парнасской поэзіи и достигаетъ большого совершенства въ технической разработкѣ стиха; но значеніе даже этого перваго сборника — не въ томъ, что соединяетъ Верлена съ парнасцами, а въ томъ, что отдѣляетъ его отъ нихъ, т. е. въ стихотвореніяхъ, отличающихся, при всей своей обдуманной виртуозности, эмоциональностью и своеобразной мелодичностью. Среди намѣреннаго и принципиальнаго безстрастія звучитъ вдругъ глубокая грусть, создающая такіа истинныя жемчужины, какъ „Осенняя пѣсня“ (*Les sanglots longs — Des violons — De l'automne, — Blessent mon cœur — D'une langueur — Monotone* и т. д.). Въ этомъ поразительномъ по своему лиризму стихотвореніи душа поэта сливается съ природой въ тихой грусти увяданія. Протяжная мелодія этого стихотворенія вносятъ въ французскую лирику новую ноту; въ исторіи французскаго символизма „*Chant d'automne*“ наряду съ „субъективными пейзажами“ Бодлера является однимъ изъ откровеній индивидуалистической интимной лирики. Лепелетъ утверждаетъ, что скорбныя настроенія Верлена въ этомъ и нѣсколькихъ другихъ стихотвореніяхъ „*Poèmes Saturniens*“ были чисто литературнаго происхожденія, такъ какъ въ то время Верленъ мирно служилъ въ *Hôtel de Ville* и былъ доволенъ своей судьбой. Но тѣмъ интереснѣе эта безличная грусть, связанная съ міросозерцаніемъ поэта. Впослѣдствіи она осложнилась психологическими причинами, печальной судьбой поэта, его слабой волей, и такимъ образомъ созрѣла позднѣйшая субъективная лирика Верлена со всѣми ея контрастами сложныхъ, противорѣчивыхъ мотивовъ.

За „*Poèmes Saturniens*“ послѣдовалъ другой сборникъ, „*Fêtes Galantes*“, въ которомъ сказался интересъ Верлена къ XVIII вѣку. Верленъ полюбилъ эту эпоху отчасти благодаря братьямъ Гонкурамъ,

издавшимъ множество мемуаровъ и документовъ, знакомившихъ съ бытомъ и чувствами XVIII вѣка. Стихи Верлена, собранные въ „Fêtes Galantes“, соединяютъ грацію эпохи Ватто съ эротизмомъ позднѣйшей пессимистической эпохи, съ переходами отъ экстазовъ къ бурямъ душевныхъ страданій. Этотъ сборникъ вполне сближалъ Верлена съ его товарищами по „Парнасу“.

Поэты, составлявшіе группу парнасѣновъ, собирались въ то время не только у маркизы де-Рикаръ, но и въ еще одномъ дружескомъ домѣ — у Нины де-Кальясъ, молодой женщины, стоявшей въ центрѣ новаго литературнаго движенія по своимъ симпатіямъ и умѣвшей сдѣлать свой домъ очагомъ новой поэзіи. У нея встрѣчались въ качествѣ завсегдатаевъ Верленъ, Катуллъ Мендесъ, Анатоль Франсъ, Вилье-де-Лиль-Аданъ, Меръ, Валадъ и другіе.

Группа молодыхъ поэтовъ выступила въ поэтическихъ сборникахъ, выходившихъ подъ названіемъ „Современнаго Парнаса“. Издателемъ этихъ сборниковъ былъ Адольфъ Лемѣръ. Первый сборникъ вышелъ въ 1866 году, и въ нѣсколькихъ его выпускахъ принимали участіе изъ поэтовъ старшаго поколѣнія Теофиль Готье, Банвиль, Бодлеръ; изъ младшихъ, составлявшихъ группу парнасцевъ, — Верленъ, Эредіа, Малармѣ и другіе. Первое изданіе „Парнаса“ было очень замѣчено критикой; въ особенности способствовало его успѣху Барбъ д'Оревиллы своими „медальонами“ новыхъ поэтовъ въ „Nain Jaune“. Его сужденія были рѣзкія и не всегда справедливыя, — но онъ поднималъ шумъ вокругъ новыхъ поэтовъ и вызвалъ общій интересъ къ нимъ. Формула парнасѣновъ была очень ясная, — и мастерскіе стихи Верлена, Эредіа и нѣсколькихъ другихъ доказывали плодотворность новой манеры. Успѣхъ перваго „Парнаса“ былъ большой и вполне заслуженный. Второй „Парнасъ“ вышелъ въ 1869 году, — но уже не имѣлъ такого значенія, такъ какъ въ немъ участвовали второстепенныя силы. Вышелъ еще и третій сборникъ въ 1876 году, но уже безъ участія Верлена; онъ былъ въ то время внѣ Франціи и всѣ прежніе друзья относились къ нему отрицательно — вслѣдствіе распространяемыхъ про него слуховъ и вслѣдствіе тяжелыхъ событій въ его личной судьбѣ.

1871-й годъ былъ роковымъ въ жизни Верлена. За два года до того онъ женился на молодой дѣвушкѣ, которая привлекала его своей миловидностью и, главнымъ образомъ, своей невинностью. Радостямъ этой любви, которая привела къ буржуазному браку, посвященъ лирическій сборникъ Верлена подъ заглавіемъ: „La Bonne Chanson“. Но мирное семейное счастье Верлена длилось недолго, хотя, какъ доказываетъ Лепелеттье, Верленъ продолжалъ любить свою жену всю жизнь, что и было причиной всѣхъ его несчастій. Разрывъ съ женой

произошелъ менѣе чѣмъ черезъ два года послѣ свадьбы. Главной причиной былъ, конечно, алкоголизмъ Верлена. Онъ много пилъ уже со времени службы въ Hôtel de Ville и тогда уже приобрѣлъ привычки неисправимаго богемы. Мать его надѣялась, что женитьба остепенить его, но привычка оказалась сильнѣе добрыхъ наклонностей, съ которыми Верленъ вступилъ въ семейную жизнь. Впрочемъ, не это одно вызвало катастрофу. Несчастія Верлена начались со времени коммуны. Верленъ былъ чуждъ политики, и отнесся скорѣе пассивно къ происходившимъ вокругъ него событіямъ. Коммуна застала его на его службѣ — и, не зная въ сущности, какъ поступить, онъ продолжалъ выполнять свои несложныя обязанности по распредѣленію жалованій. Послѣ разгрома коммуны Верленъ пересталъ ходить на службу, и очень опасался преслѣдованій за то, что онъ не отправился въ Версаль, а продолжалъ служить при коммунѣ. Опасенія его были совершенно напрасны; никто не думалъ преслѣдовать его. Все же онъ считалъ необходимымъ скрываться и, чтобы не жить своимъ домомъ, переселился вмѣстѣ съ женой къ ея родителямъ. Отчасти онъ сдѣлалъ это и для сокращенія расходовъ въ виду того, что лишился мѣста. Но переездъ къ родителямъ жены окончательно разбилъ семейную жизнь Верлена. Жена его, чуждая его художественныхъ интересовъ, страдала отъ его слабостей и хотѣла разойтись съ нимъ. Найдя поддержку въ родителяхъ, она стала все рѣзче выступать противъ мужа. Окончательный же разрывъ произошелъ изъ-за дружбы Верлена съ молодымъ поэтомъ Ренбо, который былъ очень талантливъ, но, по общимъ отзывамъ, возбуждалъ всѣхъ противъ себя своимъ грубымъ эгоизмомъ. Верленъ къ нему привязался, очень цѣнилъ его талантъ и ввелъ его въ домъ родителей жены, что и привело къ семейной катастрофѣ. Ренбо нашелъ въ Верленѣ друга, снисходительнаго ко всѣмъ его капризамъ и выходкамъ, сильно его эксплуатировалъ и поссорилъ его своимъ безцеремоннымъ поведеніемъ съ женой и ея родителями. Послѣ множества сценъ рѣшено было, что Верленъ уѣдетъ путешествовать вмѣстѣ съ Ренбо, т.-е. разстанется на время съ женой. Но Верленъ не предполагалъ, что жена его начнетъ процессъ о разводѣ, и ея желаніе окончательно порвать съ нимъ было для него тяжелымъ ударомъ.

Съ отъѣздомъ изъ Парижа начался для Верлена непрерывный рядъ несчастій. Денегъ у него было мало за отсутствіемъ заработка, жизнь вдвоемъ — Ренбо не имѣлъ отдѣльныхъ средствъ и жилъ на счетъ Верлена — при привычкахъ къ невоздержности съѣла все его состояніе. Верлену приходилось въ послѣдствіи давать уроки въ Англіи, ать наставникомъ въ частныхъ школахъ, получая за это гроши.

Жизнь его на чужбинѣ была жалкая. Лепелетье приводитъ въ своей книгѣ множество писемъ къ нему отъ Верлена изъ Англіи. Письма эти интересны мѣткостью и тонкостью сужденій Верлена объ англійской жизни и горькимъ юморомъ въ описаніи своихъ митарствъ. Верленъ мечталъ о томъ, чтобы помириться съ женой. Для этого онъ готовъ былъ даже разстаться съ Ренбо, такъ какъ дружба съ молодымъ поэтомъ ставилась ему въ вину.

Отношенія съ Ренбо кончились весьма печально. Оставивъ его въ Лондонѣ, въ надеждѣ умиротворить этимъ жену, Верленъ уѣхалъ одинъ въ Брюссель для свиданія съ матерью. Онъ надѣялся, что вмѣстѣ съ матерью прійдетъ и жена, и былъ глубоко пораженъ, узнавъ отъ матери, что не только жена не прійдетъ, но что нѣтъ надеждъ на примиреніе. Въ такомъ настроеніи произошло вторичное свиданіе Верлена съ Ренбо, и оно вышло очень бурнымъ. Верленъ вызвалъ Ренбо изъ Лондона. Ренбо пріѣхалъ, но не съ тѣмъ, чтобы остаться съ Верленомъ, а чтобы уѣхать въ Парижъ. Онъ потребовалъ у Верлена денегъ на дорогу. Верленъ возмутился. Онъ былъ въ очень возбужденномъ состояніи, такъ какъ, опечаленный вѣстью о непримиримости жены, многократно искалъ утѣшенія въ этотъ день въ спиртныхъ напиткахъ. Въ присутствіи матери Верленъ сталъ спорить съ Ренбо, и сразу было видно, что онъ почти невмѣняемъ. Незадолго передъ тѣмъ онъ купилъ револьверъ—Лепелетье увѣряетъ, что онъ думалъ о самоубійствѣ въ виду разлуки съ женой, которую онъ и любилъ, и ненавидѣлъ. Въ пылу спора, перешедшаго въ ссору, Верленъ выхватилъ револьверъ и выстрѣлилъ, ранивъ Ренбо въ руку. По свидѣтельству и самого Ренбо, и матери Верлена, Верленъ пришелъ въ отчаяніе, сталъ рыдать и требовать, чтобы Ренбо его тотчасъ же застрѣлилъ, и т. д. Рана была ничтожная; ее тутъ же перевязали Верленъ и его мать. Она же дала Ренбо деньги на дорогу въ Парижъ, и Верленъ пошелъ провожать своего друга на вокзалъ. По дорогѣ произошелъ снова споръ. Верленъ пришелъ опять въ такое возбужденное состояніе, что вторично выхватилъ револьверъ. Ренбо бросился бѣжать, призвалъ жандарма и заявилъ, что Верленъ намѣревался его убить. Верлена арестовали, привлекли къ суду,—и такъ какъ Ренбо подтвердилъ на слѣдствіи свое показаніе, то Верлена судили въ Брюсселѣ и приговорили къ двумъ годамъ заключенія въ тюрьмѣ; онъ отбылъ весь срокъ наказанія сначала въ Брюсселѣ, потомъ въ Монсѣ. Вся эта исторія заключенія по доносу близкаго друга — и въ сущности только за пустяшныя угрозы въ нетрезвомъ видѣ—производитъ дикое впечатлѣніе. Есть цѣлый рядъ обвиненій связанныхъ съ этимъ процессомъ, которымъ закончилась дружба Верлена съ Ренбо. Лепелетье документально опровергаетъ всѣ клеветы!

врагов Верлена и доказываетъ, что въ этой печальной исторіи Верленъ былъ жертвой своего несчастнаго характера и предательства со стороны Ренбо, который во всякомъ случаѣ отплатилъ ему зломъ за добро. Но какъ бы то ни было, а заключеніе въ тюрьму стало новой эрой въ жизни Верлена и исходнымъ пунктомъ новой поэзіи. Два года сосредоточенной жизни при вынужденномъ воздержаніи укрѣпили въ немъ его самобытность, а сложность переживаній, мучительная любовь къ женѣ, дружба съ Ренбо, переходы отъ опьянѣнія къ мучительному раскаянію, болѣзненная возбужденность, которая сказывалась и въ эротизмѣ, и въ истерической религіозности— все это создало страстную и вмѣстѣ съ тѣмъ ироническую, нѣжную, восторженно-христіанскую и вмѣстѣ съ тѣмъ языческую въ своихъ чувственныхъ экстазахъ лирику Верлена, — ту, которая составляетъ содержаніе его позднѣйшихъ сборниковъ, „*Romances Sans Paroles*“, „*Sagesse*“ и др.

Въ нихъ уже нѣтъ слѣда парнасской объективности, въ нихъ поэтъ обнажаетъ до дна болѣзненность остро-субъективныхъ переживаній и мукъ и создаетъ скорбныя мелодіи, отражающія жизнь души на глубинѣ. Лепелетье доказываетъ, что религіозныя чувства Верлена въ эту пору, его католицизмъ, вылившійся въ гимнахъ „*Sagesse*“, былъ скорѣе художественный, даже нѣсколько истерическій, не связанный съ догматическими убѣжденіями; поэтому порывы религіознаго чувства чередовались съ такими же пламенными возвратами къ грѣховнымъ чувственнымъ радостямъ, и рядомъ съ „*Sagesse*“ Верленъ писалъ стихи, составляющіе сборники „*Femmes*“ и „*Elle*“. Въ этихъ сложныхъ настроеніяхъ и даже противорѣчіяхъ, въ сліяніи религіозныхъ экстазовъ съ обостренной чувственностью и заключается современность Верлена.

Отбывъ срокъ тюремнаго заключенія, Верленъ вернулся въ Парижъ, и вся его дальнѣйшая жизнь была крайне неприглядна. Онъ вернулся къ привычкѣ пьянства, жилъ въ бѣдности, иногда въ нищетѣ, окруженъ былъ случайными товарищами кутежей, проводилъ время въ кафе, тамъ же писалъ; а когда заболѣвалъ — что случалось довольно часто, — то отправлялся въ больницу. У него были какъ бы абонированныя мѣста въ излюбленныхъ больницахъ. Вся эта жалкая жизнь одинокаго богемы, поэта изысканныхъ настроеній, прожившаго старость въ грубой кабацкой обстановкѣ, отразилась въ его произведеніяхъ, въ книгѣ „*Мои больницы*“, „*Мои тюрьмы*“. Верленъ умеръ въ 1896 году, окруженный поклоненіемъ молодого поколѣнія, но въ крайне тяжелыхъ житейскихъ обстоятельствахъ. Книга Лепелетье раскрываетъ впервые многія печальныя подробности біографіи Верлена и даетъ ясное представленіе о его жизни, омраченной и сла-

бостью воли, и стеченіемъ несчастныхъ обстоятельствъ. Въ поэзіи Верлена его грустная жизнь отразилась углубленностью лирическаго чувства. Онъ сдѣлался пѣвцомъ скорбной страсти, мучительныхъ самоубицествъ и дерзкихъ земныхъ желаній. Полная біографія Верлена, которую даетъ въ своей книгѣ Лепелетье, восполняетъ цѣльный образъ поэта и представляетъ поэтому очень цѣнный литературный матеріалъ.

II.

Tristan Bernard. Théâtre. I. Стр. 369. Paris, 1908 (Calm. Lévy).

Тристанъ Бернаръ—остроумный парижанинъ и любимецъ парижской публики. Его хроники въ газетахъ читаются всегда съ большимъ интересомъ и — что можетъ служить лучшимъ доказательствомъ его славы, какъ юмориста — множество парижскихъ анекдотовъ приписывается именно Тристану Бернару. Товарищи-хроникеры часто ссылаются на него, какъ на свидѣтеля всяческихъ занятныхъ происшествій, характерныхъ для находчивости парижскихъ бульварныхъ мучрецовъ.

Но Тристанъ Бернаръ—не только остроумный хроникеръ. Онъ — наблюдательный, тонкій и въ достаточной мѣрѣ злой изобразитель французскихъ и въ частности парижскихъ нравовъ средняго класса. Его „Mémoires d'un jeune homme rangé“ и „Mari pacifique“—великолѣпные образцы буржуазной психологіи. Въ этихъ романахъ изображено нѣсколько яркихъ типовъ, созданныхъ мелкими заботами и очень маленькими, но стойкими добродѣтелями французскаго буржуа.

Но ярче всего сатирическій талантъ Тристана Бернара сказывается въ его произведеніяхъ для сцены, въ цѣломъ рядѣ короткихъ и болѣе длинныхъ комедій, имѣющихъ шумный успѣхъ на французскихъ сценахъ. Въ настоящее время вышелъ въ свѣтъ первый сборникъ драматическихъ произведеній Тристана Бернара, и въ него вошли наиболѣе извѣстныя его пьесы. Въ нихъ всесторонне проявляется юмористическій талантъ этого чисто парижскаго сатирика.

Лучшія изъ комедій Тристана Бернара вызываютъ прежде всего вопросъ, имѣетъ ли его юморъ обще-человѣческое значеніе, или это сатира, понятная только согражданамъ автора, живущимъ въ атмосферѣ парижскихъ бульваровъ и, можетъ быть, еще парижскихъ предмѣстій. Приходится относительно нѣкоторыхъ комедій Тристана Бернара дѣйствительно заключить, что вышученные въ нихъ нравы обусловлены исключительными особенностями французскаго характера и условіями французской жизни; сатира его поэтому теряетъ отчасти свою остроту для иностранныхъ читателей. Но, отдавая дань націо-

нальнымъ особенностямъ, Тристанъ Бернаръ создаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ художественные комедійные типы, изображая жизнь подъ угломъ мелкаго уродства. Его произведенія представляютъ большой литературный интересъ, обладая и чисто сценическими качествами, остроумнымъ діалогомъ и драматичностью положеній.

Тристанъ Бернаръ выводитъ на сцену въ своихъ комедіяхъ одинъ весьма любопытный типъ, созданный французской жизнью, едва-ли изображенный кѣмъ-либо другимъ съ такой убійственной точностью и такой граціозной легкостью. Типъ этотъ настолько французскій, или, быть можетъ, даже парижскій, что и названіе его трудно передать на другомъ языкѣ. Тристанъ Бернаръ съ особой любовью и настойчивостью изображаетъ на сценѣ самоувѣренныхъ, корректныхъ, лицемѣрно добродѣтельныхъ негодяевъ, которыхъ парижскій жаргонъ окрестилъ названіемъ „*miffles*“. Въ это понятіе входитъ душевная грубость, соединенная съ безупречной вѣжливостью и добропорядочностью. Лучшія комедіи Тристана Бернара изображаютъ такихъ *miffles*, смѣнившихъ во французской жизни Мольеровскихъ Тартюфовъ. Современный Тартюфъ Тристана Бернара носитъ имя „Господина Кодомъ“, героя одной изъ самыхъ прославленныхъ комедій Тристана Бернара, „*Monsieur Codomas*“. Когда по поводу этой комедіи критика говорила, что Тристанъ Бернаръ изобразилъ совершенно исключительнаго негодяя, авторъ пьесы заступился за своего героя и заявилъ въ одной изъ своихъ остроумныхъ хроникъ, что онъ и не думалъ создавать исключительный типъ, а что его господинъ Кодомъ—самый средній чело­вѣкъ, „*le miffle courant*“.

Эта наиболѣе продуманная и тщательно выполненная комедія Тристана Бернара отличается такимъ исключительнымъ „парижянизмомъ“, что едва-ли можетъ имѣть успѣхъ на какой-нибудь не-парижской сценѣ. Жизнь большого парижскаго дома, гдѣ наверху живетъ управляющій, примѣрный семьянинъ, не стѣсняющій свою жену въ расходахъ и озабоченный устройствомъ судьбы своей дочери, а двумя этажами ниже—дама легкаго поведенія, завязывающая романъ съ образцовымъ управляющимъ, и гдѣ богатый покровитель этой дамы оказывается влюбленнымъ женихомъ дочери управляющаго, причѣмъ именно эта спутанность отношеній обезпечиваетъ благополучіе всѣхъ участниковъ событій,—все это—если и дѣйствительность, то дѣйствительность французская, такъ же неизбѣжно покоящаяся на привычной общей лжи, какъ сущность русской жизни построена на искренности и правдивости.

Но, принявъ условія жизни, изображенныя въ комедіи Тристана Бернара, за дѣйствительность, нельзя не отнестись съ большимъ интересомъ къ изображенному имъ типу корректнаго негодяя. *Monsieur*

Кодомъ — очень строгій господинъ. Рабочій, имѣвшій съ нимъ дѣло, говоритъ про него, что онъ, „если что сказалъ, то сказалъ—и чтобы все было какъ полагается. Когда онъ что задумалъ, то поставитъ на своемъ“... „Онъ справедливъ“,—прибавляетъ рабочій, заканчивая характеристику управляющаго, съ которымъ, по его словамъ, лучше не связываться. Мопсьеуръ Кодомъ всегда на высотѣ своихъ принциповъ, но всегда въ то же время занятъ устройствомъ своихъ дѣлъ. Онъ принимаетъ очень величественный видъ, являясь въ квартиру дамы легкаго поведенія, у которой лопнулъ водопроводъ въ уборной. Она потрясена его величіемъ и чувствуетъ себя недостойной даже простой вѣжливости съ его стороны. Но когда онъ узнаетъ изъ ея болтливой откровенности о томъ, что у нея есть деньги и богатый покровитель, то его строгость сейчасъ же уступаетъ мѣсто отечески-покровительственному тону. Онъ вскорѣ забираетъ въ свои руки ея деньги, ловко пользуясь ея довѣріемъ, признательностью и готовностью заплатить ему любовью за его заботы. Двойственная роль, которую играетъ мопсьеуръ Кодомъ, и составляетъ его расчетливое негодаіство, — причемъ, въ противоположность Тартюфу, его не обличаетъ и не развѣчиваетъ пронизательная честность какой-нибудь Дорины, а онъ до конца остается на высотѣ своего торжествующаго лицемерія. Онъ вступаетъ въ связь съ довѣрчивой Клотильдой—и всѣ отъ этого только выигрываютъ. Клотильда увѣрена, что деньги, которыя она отдаетъ своему заботливому другу, принесутъ ей большіе доходы, а жена мопсьеура Кодомъ тоже довольна, потому что мужъ очень аккуратно платитъ теперь по ея счетамъ и потому что „жилица второго этажа“ постоянно присылаетъ всяческія лакомства семьѣ управляющаго. Конечно, водить съ ней знакомство неприлично, но принимать ея любезности madame Кодомъ не прочь. Она очень снисходительно относится къ дружбѣ мужа съ удобной жилицей, такъ какъ и она не чужда основной черты своего мужа, и для нея выгода стоитъ на первомъ планѣ, искажая всѣ естественныя чувства. Наиболѣе сцениченъ и остроуменъ второй актъ комедіи. Мопсьеуръ Кодомъ заинтересованъ въ прочности связи Клотильды съ ея богатымъ молодымъ покровителемъ, такъ какъ онъ очень ловко пользуется средствами молодого человѣка для своихъ дѣлъ, вымогая деньги отъ него черезъ Клотильду. Молодой человѣкъ является къ нему и кается въ своихъ карточныхъ проигрышахъ, покорно выслушивая его отеческія наставленія по этому поводу; а потомъ онъ говоритъ ему, что рѣшилъ остепениться и думаетъ сдѣлать это путемъ женитьбы. Тогда мопсьеуръ Кодомъ приходитъ въ благородное негодованіе, убѣждаетъ его не покидать бѣдную подругу и, наконецъ, восклицаетъ, чтобы оконча-

тельно отговорить его отъ женитьбы: „Какой извергъ отецъ отдастъ за васъ свою дочь!“

Но вдругъ Кодомъ узнаетъ отъ дочери, что онъ совершенно напрасно тратилъ свое краснорѣчіе, что молодой человекъ дѣйствительно хочетъ жениться, но именно на его дочери. Картина мѣняется. Monsieur Кодомъ готовъ дать согласіе на бракъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сразу мѣняетъ свое отношеніе къ Клотильдѣ. Самое важное для него теперь отдѣлаться отъ нея, такъ какъ „mifférie“ господина Кодомъ характеризуется преобладаніемъ матеріальныхъ интересовъ даже надъ увлеченіемъ хорошенькой легкомысленной женщиной. Monsieur Кодомъ не только согласенъ на бракъ молодого богача съ дочерью, но и хотѣлъ бы умѣрить чрезмѣрную щедрость своего будущаго зятя относительно его прежней возлюбленной. Клотильда взяла у своего молодого друга нѣсколько тысячъ франковъ, нужныхъ monsieur Кодомъ для его дѣла; она приноситъ ихъ управляющему, увѣренная, что эти деньги пойдутъ въ ея пользу. Но тѣмъ временемъ возлюбленный Клотильды уже сдѣлался женихомъ дочери управляющаго, и поэтому Кодомъ требуетъ, чтобы Клотильда вернула ему взятыхъ у него деньги. Отказъ Клотильды вернуть то, что она уже разъ взяла, возмущаетъ его. Объявивъ ей о женитьбѣ ея бывшаго друга на его дочери, онъ нѣсколько удивленъ ея спокойнымъ отношеніемъ къ этому извѣстію. Клотильда благоразумна. Она знала, что другъ ея рано или поздно женится, и даже довольна, что его богатство достанется дочери управляющаго. Къ ужасу послѣдняго она падѣется на продолженіе ихъ связи, и тутъ корректному лицемѣру представляется новый случай разыграть образцоваго проповѣдника нравственности. Онъ объясняетъ Клотильдѣ безнравственность, которая заключалась бы въ его связи съ бывшей подругой своего зятя; онъ совѣтуетъ ей устроить какое-нибудь самостоятельное дѣло, жить честнымъ трудомъ, „нравственно возродиться“, и общается ей навѣщать ее, „когда это будетъ возможно“. Въ этой сценѣ съ Клотильдой monsieur Кодомъ достигаетъ апогея своего лицемѣрія, грубодушія и типичной, тупой гнусности, связанной съ тяготѣніемъ къ обезпеченности и безмятежности. Когда оказывается, что будущій зять monsieur Кодомъ выказалъ большое благородство относительно своей бывшей подруги и назначилъ ей ренту въ десять тысячъ франковъ, то Клотильда находитъ, что ей теперь легче будетъ „нравственно возродиться“, но самъ Кодомъ огорченъ чрезмѣрной, по его мнѣнію, щедростью своего зятя. Глядя на сіяющее лицо счастливаго жениха своей дочери, онъ горитъ: „Завидую людямъ щедрымъ по натурѣ... Я былъ бы неутѣленъ, если бы совершилъ такой безразсудный поступокъ“. Таковъ тотъ современный, неразвѣянный Тартюфъ, въ которомъ жажда

власти надъ людьми смѣнилась мелкой страстью къ наживѣ, болѣе искуснымъ лицемѣріемъ и болѣе мелкимъ грубодушіемъ. Этотъ типъ, выхваченный изъ современной дѣйствительности, ярко, зло и забавно изображенъ въ комедіи Тристана Бернара.

Тотъ же типъ жадныхъ лицемѣровъ Тристанъ Бернаръ изображаетъ въ сатирической пьесѣ „*Franches Lippées*“ („Въ даровщинку“). Пьеса изображаетъ сцену въ ресторанѣ, рѣшительно невозможную гдѣ-либо въ Франціи, гдѣ очень ужъ распространенъ типъ мелкихъ, жадныхъ въ житейскихъ мелочахъ буржуазныхъ семей. Пьеса эта написана съ жестокой наблюдательностью, отъ которой не ускользаютъ самыя незамѣтныя мелочи. Это—картинка нравовъ почти безъ всякаго содержанія, написанная мелкой кистью, составленная изъ едва замѣтныхъ подробностей, которыя, однако, въ общей сложности даютъ картину безотраднaго жизненнаго уродства. Двѣ супружескія четы сошлись послѣ театра въ ресторанѣ. И та, и другая—со средствами. Онѣ провели вечеръ вмѣстѣ въ театрѣ въ ложѣ, которая досталась даромъ одной семьѣ, пригласившей съ собой своихъ друзей. Въ ресторанѣ онѣ попали случайно, только потому, что приглашенная семья условилась встрѣтиться тамъ съ однимъ знакомымъ, который къ тому же не пришелъ. Но въ ресторанѣ возникаетъ вопросъ о совмѣстномъ ужинѣ. Тутъ начинается рядъ мелкихъ гнусностей, въ которыхъ выражается жадность обоихъ буржуа и въ особенности ихъ женъ. Всѣмъ хочется ѣсть, но каждая изъ женъ боится, какъ бы ей мужу не пришлось платить, и предупреждаетъ мужа, что запрещаетъ ему платить за остальныхъ. Приводимые доводы открываютъ цѣлыя бездны буржуазной психологіи. Одна изъ женъ говоритъ мужу, что имъ незачѣмъ платить, потому что ихъ друзья и такъ отлично знаютъ, что у нихъ есть средства, и поэтому нѣтъ надобности пускать пыль въ глаза. Потомъ начинается цѣлый рядъ компромиссовъ. Одинъ изъ мужей и одна изъ женъ отказываются отъ ужина подъ предлогомъ нездоровья и въ то же время—какъ бы ненарокомъ—ѣдятъ. Вначалѣ оба мужа дѣлаютъ видъ, что не замѣчаютъ лакея, предлагающаго заказать ужинъ. Изъ-за каждого отдѣльнаго блюда происходятъ дипломатическія пренія, и въ особенности трагиченъ моментъ подачи счета, по которому все-таки приходится заплатить какъ-разъ хозяину ложы, который, такимъ образомъ, противъ своего желанія угостилъ друзей не только даровой ложей, но и даровымъ ужиномъ. Но гостямъ, которые воспользовались даровымъ угощеніемъ, это далось не легко, такъ какъ имъ пришлось пускать въ ходъ необычайно ловкіе маневры. Они оплачиваютъ только общаніемъ какъ-нибудь въ будущемъ пригласить друзей въ другой театръ, но прибавляютъ, что это, конечно, произойдетъ не скоро, ибо, такъ сказать, хорошаго понемножку. Мелкія

подробности этой ожесточенной дуэли между жадными людьми изображены чрезвычайно мѣтко. Остается впечатлѣніе какого-то безпробуднаго уродства, но таково, по Бернару, психологія мелкаго буржуа,—и она, кажется, дѣйствительно такова.

Тристанъ Бернаръ безпоощадеи въ своихъ изобличеніяхъ. Буржуа; собственникъ всегда уродливъ въ его изображеніи. Онъ всегда—тилячый *shuffle*. Бернаръ постоянно связываетъ деньги съ проявленіемъ инстинктивной жадности, буржуазнаго инстинкта во всей его обнаженности. Иногда связь денегъ съ инстинктомъ жадности изображается скорѣе въ добродушномъ, чѣмъ въ обличительномъ тонѣ, какъ бы намѣчая общечеловѣческую, понятную и простительную слабость. Такъ въ „*Pieds nickelés*“ молодая парочка, очень привлекательная, лишь до тѣхъ поръ собирается платить долги, пока возможность осуществить это намѣреніе крайне проблематична. Какъ только они случайно получаютъ деньги, у нихъ „тяжелѣютъ ноги“. Они не могутъ двинуться съ мѣста, не могутъ рѣшиться отдать деньги кредитору и такъ устраниваются, чтобы опять отложить уплату долга. Наличность денегъ все мѣняетъ. И кредиторъ становится снисходительнымъ, и, главное, обладатель денегъ чувствуетъ свою силу и проникается непобѣдимымъ инстинктомъ обладанія. Такая же метаморфоза въ психологіи челоѣка, не имѣющаго денегъ, послѣ того, какъ онъ ихъ получаетъ, изображена въ маленькой комедіи „Время свободы“ (*Le fardeau de la liberté*).

Во всѣхъ этихъ комедіяхъ есть одна общая идея, связанная съ вопросомъ о буржуазномъ инстинктѣ стяжательства. Сатира Тристана Бернара направлена на эту основную черту средняго французскаго общества, на всѣ мелкія уродства, связанные съ инстинктомъ стяжательства и съ жадностью. Тристанъ Бернаръ до того увѣренъ въ уродствѣ именно этой черты, что доходитъ почти до оправданія людей заведомо безправственныхъ — поскольку они не „собственники“. Въ этомъ смыслѣ интересна одна изъ наиболѣе художественно исполненныхъ небольшихъ комедій Тристана Бернара, „*Daisy*“. Это—единственная комедія, въ которой герой совершаетъ симпатичный поступокъ, и герой этотъ—профессиональный воръ. Онъ занимается кражей кошелевковъ на скачкахъ и имѣетъ сообщника, такого же профессиональнаго вора, служившаго прежде лакеемъ у шулера. Казалось бы, компанія эта едва-ли способна проявлять благородныя чувства. Однако роисходитъ вотъ что: воръ пожилыхъ лѣтъ, Чарли, продолжаетъ свое ремесло главнымъ образомъ изъ любви къ своей молоденькой одругѣ. Вдругъ онъ убѣждается, что хорошенькая Леа вовсе не обить его, а готова его бросить ради его же сообщника, Даго, который моложе его и къ тому же другъ дѣтства Леа. Жизнь теряетъ

всякій интересъ для разочарованнаго пожилого вора. Но онъ знаетъ, что подруга его легкомысленна и что ей достаточно въ теченіе двухъ недѣль не видаться со своимъ возлюбленнымъ, чтобы забыть его. Хорошо бы его удалить. Случай представляетъ огорченному любовнику Леа и возможность отдѣлаться отъ соперника. Полиція устроила западню для воровъ, работающихъ на скачкахъ, и Чарли видитъ, какъ его Даго вотъ-вотъ попадется въ западню. И тутъ товарищеское чувство одерживаетъ верхъ. Чтобы предупредить друга о близости полиціи, Чарли поетъ условленную пѣсню; другъ его понимаетъ, что близка опасность, и въ-время спасается. Благодарности Даго Чарли не принимаетъ. Онъ уходитъ, оставивъ Даго и Леа, и продолжаетъ пѣть пѣсню, въ которой говорится о безумной любви. Профессиональный воръ поступилъ благородно и сдѣлался жертвой искренняго чувства. Это—единственная пьеса Тристана Бернара, гдѣ выводится положительный типъ. Такимъ образомъ, этотъ злой и остроумный изобличитель буржуазнаго уродства склоненъ къ литературному анархизму въ духѣ такихъ произведеній Мирбо, какъ „Воръ“ и какъ „Дневникъ горничной“!—З. В.



ЗАМѢТКА.

ПО ПОВОДУ НОВАГО РОМАНА В. ЧЕРЧИЛЛЯ: „КАРЬЕРА Г. КРЮ“.

Winston Churchill. Mr. Crewe's career. New-York, 1908.

Лѣтъ десять тому назадъ Черчилль, тогда еще совсѣмъ юноша, издалъ свой первый романъ, „Знаменитость“, не произведшій особеннаго впечатлѣнія, хотя молодой авторъ и успѣлъ проявить въ немъ недюжинный юморъ. Затѣмъ онъ написалъ два историческихъ романа, имѣвшихъ широкое распространеніе и доказавшихъ серьезное пониманіе авторомъ исторіи американской революціи; въ одномъ изъ нихъ, „Ричардъ Карвелъ“, онъ вывелъ на сцену перваго адмирала американскаго флота, извѣстнаго авантюриста Поля Джонса, побывавшаго и въ Петербургѣ и числившагося и въ русскомъ флотѣ по приглашенію императрицы Екатерины II. Слѣдующимъ произведеніемъ Черчилля былъ романъ „Кризисъ“, изъ времени междоусобной войны 1861—1865 г.г., имѣвшій большой успѣхъ. Затѣмъ онъ написалъ романъ „Конистонъ“, въ которомъ далъ превосходную картину провинціальной жизни предшествовавшаго настоящему поколѣнію, въ которой большая роль отведена и политикѣ; въ „Конистонѣ“ серьезность его предшествовавшихъ историческихъ произведеній уступила мѣсто живому, искреннему юмору; въ немъ авторъ проявилъ впервые первоклассную писательскую индивидуальность и художественную, чуткую наблюдательность. Прошлой весной вышелъ въ свѣтъ его послѣдній романъ: „Карьера г. Крю“, въ которомъ Черчилль даетъ намъ самую животрепещущую современность и описаніе жизни и нравовъ восточной части Союза, въ связи съ его внутренней политикой и партизанской борьбой. Черчилль владѣетъ языкомъ съ удивительнымъ совершенствомъ; кромѣ того, каждая строчка блещетъ неподдѣльнымъ, очень изящнымъ юморомъ и рѣдкимъ безпристрастіемъ. Извѣстно, что онъ живетъ въ штатѣ Индіанѣ и принимаетъ живое участіе въ общественной жизни; вѣроятно, весь романъ — не что иное, какъ мастерское описаніе нѣкоторыхъ его личныхъ приключеній, связанныхъ простой, обыденной фабулой; книга читается съ громаднымъ интересомъ отъ первой до послѣдней строчки: въ ней чувствуется правда отъ начала до конца, и она оставляетъ здоровое, цѣлостное, возбуждающее впечатлѣніе. Это — мастерская, вѣрная

картина американской провинціальной дѣйствительности, а не односторонне-шаблонное представленіе о жизни съ фальшивой точки зрѣнія сектанта-фанатика или шантажиста въ литературѣ, въ родѣ сенсаціонныхъ произведеній Юптона Синклера и Джэка Лондона. „Карьера г. Крю“ имѣетъ огромный успѣхъ, разошлась во многихъ изданіяхъ и въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, и выдвинула Черчилля на одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ въ современной американской беллетристикѣ.

Хотя книга и названа „Карьерой г. Крю“, миллионера, пожалавшаго очистить политику своего штата отъ желѣзнодорожныхъ вліяній при посредствѣ своихъ денегъ и, встати, запасться личнымъ политическимъ престижемъ, и, воспользовавшись губернаторскимъ мѣстомъ, какъ ступенью, добратся до федеральнаго сената въ Вашингтонѣ, дѣйствительнымъ героемъ романа является не онъ, а молодой серьезный интеллигентъ Остинъ Вэнъ, глубоко вѣрящій въ необходимость принциповъ права и справедливости, и ведущій упорную, хотя и скромную и осторожную борьбу на сторонѣ народа противъ узурпацій капитала и желѣзнодорожнаго трѣста, борьбу, въ которой главными его противниками являются его отецъ и отецъ любимой имъ дѣвушки. Хотя народъ штата и его исполнительная и законодательная власти и связаны по рукамъ и по ногамъ могучей, искусной организаціей, душой которой являются эти отцы героя и героини романа, тѣмъ не менѣе, за четырехлѣтній промежутокъ его продолженія, общественное мнѣніе успѣваетъ стряхнуть эти узы до того, что дѣлается возможнымъ выборъ Вэна въ губернаторы штата, а его отецъ сознательно бросаетъ своихъ хозяевъ и становится на сторону сына. Романъ даетъ детальныя картины американскихъ политическихъ кампаній и конвентовъ и ярко обрисовываетъ множество отдѣльных типовъ и характеровъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ. Особенно симпатичны, какъ представители молодого поколѣнія, самъ Вэнъ и Викторія Флинтъ, дочь желѣзнодорожнаго короля, пытающаяся добратся до правды всяческими доступными ей путями и чутко угадывающая ее, несмотря на вліяніе отца. Авторъ несомнѣнно вѣритъ, что, несмотря на временныя затемнѣнія, здоровая общественная самодѣятельность всегда успѣетъ пробиться наружу и разбить тлетворное воздѣйствіе эгоистическихъ классовыхъ интересовъ, и что если свободныя учрежденія иногда и уклоняются отъ прямыхъ, добросовѣстныхъ путей, общественная совѣсть въ концѣ концовъ выпрямляетъ эти кривизны и выводитъ народъ изъ нежелательныхъ или опасныхъ положеній. Черчилль выводитъ на сцену и дѣльцовъ, и адвокатовъ, и фермеровъ, и купцовъ—и свѣтскихъ дамъ, и женъ поденщиковъ, и кухарокъ, и богачей, и бѣдныхъ, описываетъ и деревню,

и богатое помѣстье миллионера, и главный городъ штата, всюду подмѣчая характерные штрихи и скрашивая самыя некрасивыя явленія своимъ безпредѣльнымъ добродушіемъ и любовью къ своей странѣ и ея порядкамъ. Онъ не скрываетъ общественныхъ язвъ, не замалчиваетъ прорѣхъ, — но читатель чувствуетъ, что народъ въ цѣломъ здоровъ и сознаетъ и немедленно реагируетъ на эти недостатки, и не позволяетъ имъ вѣдраться и деморализировать свое государственное и общественное тѣло. Черчилль любитъ человѣчество и вѣрить въ человѣческую натуру; онъ освѣжаетъ читателя, властно будитъ въ немъ стремленіе приложить и свое плечо къ рычагу исправленія общественныхъ золъ.

Самымъ привлекательнымъ достоинствомъ романа „Карьера г. Крю“ является его простота — простота и фабулы, и изложенія. Въ немъ нѣтъ ни одного необычнаго эпизода; это — обычная и ежедневная жизнь, изо дня въ день идущая нормальнымъ путемъ; нѣтъ никакихъ эффектовъ, ничего такого, что не встрѣчается каждый день въ любомъ захолустьи. И тѣмъ не менѣе чувствуется захватывающій интересъ, и каждая незначительная, повидимому, сценка полна значенія и глубокихъ, характерныхъ деталей. Авторъ проявилъ удивительное умѣнье очертить коротко и ясно и свои типы, и ихъ взаимныя отношенія, и тѣ внутреннія, невидимыя пружины, которыя такъ или иначе руководятъ ими. Романъ „Карьера г. Крю“ долженъ стать на-ряду съ „Дэвидомъ Харумомъ“ Весткота и „Виргинцемъ“ Вистера.

Лосъ-Анжелесъ, Калифорнія.

П. А. Тверской.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 сентября 1908.

Къ юбилею Л. Н. Толстого. — Начало новаго учебнаго года. — Циркулярное возрожденіе умершаго закона. — Преподавательскій вопросъ въ средней школѣ. — Дилемма, поставленная профессорамъ университетовъ. — Судьба одесскихъ профессоровъ. — Закритіе студенческихъ экспертныхъ комиссій. — Изъ административной практики. —

Въ прошломъ общественное значеніе И. С. Тургенева, или въ настоящемъ?

Г. Н. Фалѣевъ („Слово“, № 539) очень удачно вытащилъ изъ архивной пыли „циркуляры о Толстомъ“ — циркуляры главнаго управленія по дѣламъ печати, которыми оно боролось съ Толстымъ и пыталось оградить отъ его „вреднаго“ вліянія читающую и мыслящую Россію.

Вотъ эти циркуляры: 28 марта 1890 г. было предписано „прекратить всякую полемику по поводу „Крейцеровой соваты“. Въ 1892 г. редакціи получили запретъ „перепечатывать письмо Толстого, напечатанное въ „Daily Telegraph“ и въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Въ 1894 г. имъ предписывалось „не перепечатывать, полностью или въ извлеченіяхъ, изъ иностранныхъ газетъ никакихъ свѣдѣній о гр. Л. Н. Толстомъ, его сочиненіяхъ и частной жизни“. Въ іюлѣ 1898 г., за полтора мѣсяца до наступленія семидесятилѣтія великаго писателя, главное управленіе потребовало „не помѣщать статей и извѣстій о предстоящемъ юбилеѣ гр. Л. Н. Толстого“. Въ 1901 г., въ тотъ самый день, когда было опубликовано озадачившее всѣхъ опредѣленіе синода объ отлученіи Л. Н. Толстого, главное управленіе особымъ циркуляромъ предупредило всякую попытку войти въ оцѣнку этого опредѣленія. Редакціямъ повременныхъ изданій было предложено „не помѣщать никакихъ обсужденій опредѣленія синода 20 и 22 февраля объ отлученіи отъ церкви гр. Л. Н. Толстого“. Въ іюлѣ того же года „Миссіонерское Обзорѣніе“ напечатало статью „Новая исповѣдь гр. Л. Н. Толстого“, въ которой былъ помѣщенъ его отвѣтъ синоду. Немедленно послѣдовалъ приказъ: „не перепечатывать этого отвѣта синоду“.

Въ „годъ отлученія“ администрація, повидимому, желала, чтобы вовсе ничего не говорилось о Толстомъ въ печати. Такъ, 8 августа было предписано „не помѣщать никакихъ извѣстій о переѣздѣ гр. Л. Н.

Толстого на югъ и о привѣтствіяхъ, обращенныхъ къ нему со стороны его почитателей“. Это распоряженіе нарушила „Петербургская Газета“, помѣстившая замѣтку о томъ, что Толстой переѣхалъ въ Крымъ. Сейчасъ же повременнымъ изданіямъ былъ разосланъ циркуляръ: „не перепечатывать изъ № 246 „Петербургской Газеты“ извѣстія объ отъѣздѣ гр. Л. Н. Толстого въ Крымъ“. Въ началѣ 1902 г. здоровье Л. Н. Толстого вызвало опасенія. Стали ходить слухи о постигшей его серьезной болѣзни. Эти слухи нашли отзвукъ въ новомъ и послѣднемъ „циркулярѣ о Толстомъ“ Д. С. Сипягина отъ 29 января: „Въ виду возможности въ ближайшемъ времени кончины гр. Л. Н. Толстого, и не встрѣчая препятствій къ помѣщенію тогда статей, посвященныхъ его жизнеописанію и литературной дѣятельности, министеръ внутреннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ, чтобы распоряженіе 3 сентября 1883 г. оставалось въ силѣ и чтобы во всѣхъ извѣстіяхъ и статьяхъ о гр. Л. Н. Толстомъ была соблюдаема необходимая объективность и осторожность“. Синодъ, съ своей стороны, тогда тоже принялъ мѣры, чтобы, въ случаѣ смерти Толстого, православные священники не служили панихидъ...

Ко двю восьмидесятилѣтія Л. Н. Толстого обстоятельства перемѣнились. Печать свободна отъ цензуры главнаго управленія по дѣламъ печати и отъ его циркуляровъ. Никто не запрещаетъ писать „о сочиненіяхъ и о частной жизни Толстого“. Писать извѣстія и статьи о предстоящемъ юбилеѣ разрѣшено. Даже не рекомендуется при этомъ соблюдать „объективность и осторожность“. Но все это отнюдь не означаетъ, что упалъ запретъ, лежавшій на его мысляхъ. Напечатали газеты статью Толстого противъ смертной казни — на них посыпались штрафы. Напомнилъ самъ Толстой въ „Словѣ“ о карѣ, которой подвергся по суду его послѣдователь за распространеніе его сочиненій, — редакторъ газеты понесъ штрафъ. Мало того: вслѣдъ за оштрафованіемъ „Слова“, редакціи петербургскихъ газетъ получили циркулярное предложеніе инспектора типографій не перепечатывать статьи Толстого. Разница скорѣе въ органахъ борьбы съ идеями генія русскаго слова, нежели въ ея приемахъ. Прежде борьбу прямо и открыто вела и направляла центральная власть. Теперь ее направляютъ представители власти мѣстной, опираясь не на цензурный уставъ, а на всеобъемлющія правила охраны. Тамбовскій губернаторъ первый объявилъ по „своей“ губерніи, что никакія попытки придать юбилею Толстого общественный характеръ „не будутъ допущены“. И онъ объяснилъ причину: „графъ Л. Н. Толстой—авторитетно объявлено по Тамбовской губерніи — относится къ разряду тѣхъ писателей, публицистическихъ, богословскихъ и беллетристическихъ произведенія которыхъ ротиворѣчатъ всему нашему государственному строю“. Эта полицей-

ская оцѣнка творчества Толстого такъ же хороша, какъ резолюція ярославскаго городского головы на предложеніи пріобрѣсти для библіотеки городскихъ училищъ сочиненія Л. Н. Толстого. Голова написалъ: „надобности у города въ сочиненіяхъ Льва Николаевича Толстого не встрѣчается“...

Чего хотять тѣ, для кого „надобности въ сочиненіяхъ Л. Н. Толстого не встрѣчается“? Зачѣмъ они противодѣйствуютъ намѣреніямъ другихъ—широко и гласно отмѣтить день рожденія великаго старца? Будутъ ли 28 августа вспоминать въ школахъ, въ театрахъ, въ общественныхъ собраніяхъ, что въ этотъ день Толстому минуло восемьдесятъ лѣтъ, или не будутъ—отъ этого ни больше, ни меньше не станетъ извѣстно его имя. И безъ того имя Толстого знаетъ вся Россія и весь міръ. Его общественное значеніе такъ велико, что не для созданія чего-то задумано чествованіе рѣдкаго юбилея. Общество желаетъ принести дань уваженія, а ему говорятъ: „не будетъ допущено“. „Не будетъ допущено“ выраженіе общественнаго преклоненія передъ тѣмъ, кто десятки лѣтъ призываетъ человѣчество къ добру, къ любви и къ миру. Онъ призываетъ не по указкѣ, не по установленному для того шаблону—и въ этомъ разгадка отношенія къ Толстому свѣтской и духовной власти. „Русское Знамя“ говоритъ, что будто бы противъ торжественнаго празднованія юбилея Толстого „возсталъ народъ“ и тѣмъ оказалъ ему „жестокое сопротивленіе, какъ воздаяніе за гордость, обманъ и развращеніе юношества“. Какой нелѣпый вздоръ! Народныя массы всегда и вездѣ просто и непосредственно относятся къ вѣчнымъ истинамъ. Взоръ народа никогда не ослѣпляютъ указы и шаблоны. Евангельскіе заветы въ глазахъ народныхъ массъ стоятъ въ ихъ непосредственной ясности и чистотѣ и не затмѣваются условностями толкованій. Не изъ народныхъ массъ вышло страшное слово „анархистъ“. Не народъ считаетъ правящую власть „фактомъ природы“.

Это своеобразное опредѣленіе принадлежитъ г. Меньшикову. „Толстой и власть“—такъ озаглавилъ свой предъюбилейный фельетонъ нововременскій публицистъ. „Когда революціонеры—пишетъ онъ—ополчаются на правительство, образованное общество можетъ оставаться болѣе или менѣе равнодушнымъ“. „Но дѣло мѣняется, когда противъ правительства выступаетъ великій писатель, каковъ Левъ Толстой, и выступаетъ не противъ такихъ-то и такихъ чиновниковъ, а вообще противъ учрежденія власти, сложившейся въ вѣкахъ, т. е. составляющей фактъ природы. Тутъ мы, люди культуры, невольно выходимъ изъ своего равнодушія. Здѣсь передъ нами развертывается зрѣлище грандіозное, почти трагическое. Здѣсь каждый долженъ опредѣленно выяснитъ—передъ совѣстью своей—на чьей онъ сторонѣ“. И г. Меньшиковъ, „человѣкъ культуры“, выясняетъ, что онъ на сто-

ронѣ „факта природы“. Рядомъ длинныхъ софизмовъ онъ доказываетъ, что отчужденіе частной собственности на землю не составляетъ народнаго идеала. А затѣмъ дѣлаетъ такой выводъ: „Требуя отъ правительства, чтобы оно, „пока въ силахъ“, отчуждило частную собственность на землю, Толстой стоитъ не за народный идеалъ, а противъ него. Онъ подговариваетъ власть къ величайшему насилию, какое могъ бы придумать тиранъ“.

Не для разбора по существу, конечно, мы привели сужденія г. Меньшикова. Утвержденіе, что Толстой проповѣдуетъ насилие и подговариваетъ къ насилию, настолько само себя опровергаетъ, что не нуждается въ разборѣ. Эти сужденія характерны, какъ показатель, въ какимъ измышленіямъ и изворотамъ противъ Толстого вынуждены прибѣгать люди указки и шаблоновъ. Г. Меньшиковъ думаетъ, что установилъ непоследовательность въ ученіи Толстого, и не замѣчаетъ, что запутался въ тенетахъ словъ, противорѣчій и лжи. Въ фельетонѣ приведенъ въ кавычкахъ рассказъ о бѣдственномъ положеніи крестьянъ Ясной Поляны, принадлежащій будто бы перу В. Г. Черткова, по словамъ котораго „ничего подобнаго, что передаетъ г. Меньшиковъ (имѣющій смѣлость причислять себя къ „людямъ культуры“), онъ нигдѣ не говорилъ и не печаталъ“.

Когда то, что мы пишемъ, выйдетъ въ свѣтъ, юбилейный день уже будетъ позади. Взрыва общественныхъ симпатій мы не ждемъ. Не таково настроеніе. Общество только-что пережило великую бурю и утомлено. Да и слишкомъ ужъ рѣшительныя мѣры приняты властями въ предупрежденіе. Синодъ издалъ воззваніе къ вѣрнымъ сынамъ православной церкви, грозя за участіе въ чествованіи Толстого судомъ Божиимъ, и благословилъ „епархіальныхъ преосвященныхъ озаботиться распространеніемъ въ народѣ существующихъ уже или составляемыхъ впредь изданій, въ коихъ указывается неправильность ученія графа Толстого и опровергается оное“...

Впрочемъ, упомянутое воззваніе синода приводитъ, сверхъ того, и весьма справедливую оцѣнку таланта Толстого и его великихъ заслугъ предъ русскимъ обществомъ, въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Затѣмъ (т.-е., бывъ сначала на военной службѣ, въ ряду защитниковъ Севастополя, и выполнивъ, такимъ образомъ, и съ своей стороны, доблестную задачу многихъ представителей нашего высшаго класса) онъ (гр. Л. Н. Толстой) занялся литературою и подарилъ русскому обществу многими замѣчательными произведеніями, показавшими въ авторѣ выдающуюся глубину мысли, редкую наблюдательность жизненныхъ явленій и вѣрную оцѣнку ихъ и заслужившими право признанія его однимъ изъ великихъ писателей не только русской, и всемірной литературы“...

Какъ же послѣ такой вполне справедливой оцѣнки „замѣчательныхъ“ произведеній Толстого, „заслужившихъ“ право на признаніе его однимъ изъ великихъ писателей не только русской, но и всемірной литературы“, — какъ же требовать, чтобы общество не цѣнило въ Толстомъ того, что цѣнить и самъ св. синодъ? Можно не раздѣлять его философскихъ и религіозныхъ убѣжденій, но это нисколько не освобождаетъ никого отъ обязанности чтить талантъ великаго писателя и чествовать гр. Л. Н. Толстого. Между тѣмъ, св. синодъ заключаетъ свое опредѣленіе такъ: „Святѣйшій синодъ, въ заботахъ о благѣ церкви и спасеніи ея чадъ, призываетъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ церкви воздержаться отъ участія въ чествованіи графа Льва Николаевича Толстого и тѣмъ избавить себя отъ суда Божія, помня, что Богъ поруганъ не бываетъ“. Въ сказанномъ безспорно одно, что за такой грѣхъ, какъ чествованіе гр. Толстого, грозитъ намъ „судъ Божій“, но не судъ святѣйшаго синода; мы еще болѣе согласны съ тѣмъ, что высказалъ, день спустя послѣ воззванія св. синода, а именно, 22-го августа, одинъ изъ архипастырей православной церкви въ своемъ словѣ у могилы Тургенева, упомянувъ и о знаменитомъ фактѣ „суда Божія“, произнесеннаго на землѣ:

„При чтеніи Тургеневскихъ страницъ, — произнесъ онъ, — сердца даже зачерствѣлыя въ тинѣ жизни смягчаются, идеалы человѣчности пробуждаются, и это особенно важно въ наше время“. Считаю Тургенева христіаниномъ, духовный ораторъ остановился и на обвиненіяхъ въ антирелигіозности, которыя слышатся противъ покойнаго писателя: „не говоря уже о томъ, что часто за вѣйшей нерелигіозностью можетъ скрываться и глубокое религіозное чувство, трудно проникнуть въ глубину души человѣческой, вообще, и въ глубину такой гениальной души, какая была у Тургенева, въ частности; поэтому, *слѣдуя ученію Спасителя, и разбойника простившаго, не должно бросать слова осужденія*“.

Итакъ, вотъ какъ должно поступать, слѣдуя ученію Спасителя!

Мы нисколько не удивились бы, еслибы узнали, что истинно православные люди, желая, чтобы ихъ молитвы о здравіи заболѣваго гр. Л. Н. Толстого были услышаны, за отказомъ нашего священника, обратились бы къ лютеранскому пастору или къ католическому патеру, или, наконецъ, въ мечеть или въ синагогу: навѣрное, нигде и нигдѣ не получилъ бы отказа, въ чемъ долженъ теперь отказать имъ православный священникъ...

Левъ Николаевичъ давно живетъ отшельникомъ, вдали отъ шума, отъ толпы. Его могучее слово никогда не гремѣло съ трибуны. Оно разносилось печатнымъ станкомъ, — то ласкающее, то грозное, то

призывающее. Пусть и привѣтствія ему запечатлѣтъ хоть только одинъ печатный станокъ...

Мы шлемъ Льву Николаевичу горячія пожеланія здоровья и силъ. Мы шлемъ ему пожеланія имѣть величайшую радость—увидѣть плоды своей проповѣди. Мы желаемъ Льву Николаевичу увидѣть разсѣявшійся кровавый туманъ и не мечтать о намыленной петлѣ... Отмѣна смертной казни—вотъ было бы лучшее чествованіе юбилея великаго писателя русской земли!..

Начался новый учебный годъ. Что онъ принесетъ высшей и средней школѣ?

Перемѣна курса въ министерствѣ народнаго просвѣщенія произошла въ январѣ. Характеръ перемѣны опредѣлился тогда же. Но поворотъ школьнаго дѣла былъ, повидимому, отсроченъ. Надо отдать справедливость г. министру; въ теченіе перваго полугодія управленія министерствомъ онъ не прибѣгалъ къ крутымъ мѣрамъ и къ крутой ломкѣ того, что сложилось въ школѣ, частью подъ влияніемъ „событій послѣдняго времени“, частью въ результатѣ многолѣтнихъ противорѣчивыхъ циркулярныхъ экспериментовъ цѣлаго ряда его предшественниковъ. Только въ одномъ вопросѣ онъ поступилъ круто: въ вопросѣ объ экзаменахъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, — въ вопросѣ, который, кстати сказать, принципиально былъ предрѣшенъ еще г. Кауфманомъ. Закончится ли благополучно учебный годъ — вотъ что заботило и волновало съ января по май педагоговъ всѣхъ ранговъ и общество. И эта забота о сегодняшнемъ днѣ отодвигала мысль о завтрашнемъ. Минувшій учебный годъ закончился, слава Богу, благополучно, безъ большихъ потрясеній и безъ рѣзкихъ нарушеній хода учебнаго дѣла. Теперь эта забота отошла въ прошлое, и уже ничто не закрываетъ еще большей заботы — о предстоящемъ. Что именно можно считать выяснившимся въ воззрѣніяхъ правительства, во-первыхъ, на содержаніе тѣхъ требованій, которыя оно отнынѣ будетъ предъявлять школѣ, и, во-вторыхъ, на приемы веденія школьнаго дѣла?

„Теперь у насъ главный вопросъ,—говорилъ П. А. Столыпинъ г-жѣ Горячковой,—школа, потому что школа есть показатель государственности. Намъ нужна русская національная школа, которая воспитывала бы русскихъ гражданъ, а не русскихъ иностранцевъ“.

И слова служатъ исчерпывающимъ отвѣтомъ на первую половину ставленнаго вопроса. На вторую — столь же ясно отвѣчаютъ двѣчи министра, сказанныя имъ при вступленіи въ должность и тѣмъ въ Думѣ 10-го іюня, — а также циркуляры и иныя распоряженія, въ изобилии накопившіеся за истекшее лѣто.

Напомнимъ ту часть вступительной рѣчи А. Н. Шварца, которую мы приводили въ апрѣльской хроникѣ. „Главный недочетъ—говорилъ онъ, обращаясь къ чинамъ министерства народнаго просвѣщенія,— въ состояніи нашего вѣдомства, насколько я понимаю, заключается въ слѣдующемъ: министерство само, въ лицѣ своихъ представителей, произнесло надъ старымъ строемъ нашей школы приговоръ не менѣе суровый, чѣмъ тотъ, который произнесло надъ нимъ и общество, но оно до сихъ поръ, въ сожалѣнію, ничего не поставило на мѣсто этого осужденнаго имъ строя. Жизнь, между тѣмъ, не ждала, назрѣвавшіе вопросы требовали того или другого рѣшенія, и такъ какъ твердая почва закона уже давно была здѣсь почему-то оставлена, то, въ результатъ, какъ того и слѣдовало ожидать, получилось нагроможденіе случайныхъ, подчасъ даже не согласованныхъ между собою распоряженій, совершенно сбивавшихъ съ толку исполнителей“. Осужденіемъ всякаго рода отступленій отъ закона была проникнута и думская рѣчь А. Н. Шварца. „Правительство—заявилъ онъ—должно стоять на стражѣ законовъ: отъ этого оно отступить не можетъ“... „Законникомъ я всегда былъ,—это признавали даже, кажется, и поляки“...

Итакъ, школу ждетъ съ двухъ сторонъ новая попытка вернуть ее къ старому: съ одной стороны, искусственное насажденіе въ учащихся національно-патріотическихъ чувствъ, съ другой — возрожденіе если не классицизма, то всего школьнаго режима гимназій гр. Д. А. Толстого, а въ отношеніи высшихъ учебныхъ заведеній — восстановленіе въ полной силѣ университетскаго устава 1884 года. Последнее требуетъ поясненій. Какъ справедливо говорилъ А. Н. Шварцъ, министерство народнаго просвѣщенія, осудивъ старый строй школы, на его мѣсто „ничего не поставило“. За долгій періодъ почти въ тридцать лѣтъ, лишь самыя незначительныя мѣры, касающіяся средней школы, были проведены въ законодательномъ порядкѣ. Все главное дѣлалось „случайными распоряженіями“, т.-е. въ порядкѣ циркулярномъ. Слѣдовательно, если въ отношеніи средней школы вернуться къ „твердой почвѣ закона“, т.-е. признавать дѣйствующимъ то, что содержитъ въ себѣ XI томъ свода законовъ,—и только это,—то окажется, что у насъ существуютъ тѣ самыя гимназій и реальныя училища, которыя были созданы гр. Д. А. Толстымъ. Немногимъ отличнымъ окажется и положеніе университетовъ. Хотя правила 27-го августа 1906 г. изданы въ законодательномъ порядкѣ, но они столь отрывочны, неполны и неопредѣленны, что при всякомъ конфликтѣ съ уставомъ 1884 г. споръ почти всегда можетъ быть формально разрѣшенъ въ пользу устава. Въ вопросѣ о правѣ университетскихъ совѣтовъ самостоятельно устанавливать студенческое представительство

въ лицѣ факультетскихъ старостъ, такое разрѣшеніе спора уже послѣдовало.

И А. Н. Шварцъ именно въ данномъ смыслѣ понимаетъ возвратъ къ „твердой почвѣ закона“. Чрезвычайно характерно это было выражено въ опроверженіи газетныхъ сообщеній о томъ, что министръ народнаго просвѣщенія сдѣлалъ распоряженіе о сокращеніи каникулярнаго времени въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Это неправда—оповѣстило „освѣдомительное бюро“:—министръ продолжительности каникулъ не сокращалъ и сокращать не могъ, ибо продолжительность каникулъ установлена такими-то статьями закона и равняется по закону двумъ мѣсяцамъ. Въ циркулярѣ объ обязанностяхъ директоровъ гимназій и реальныхъ училищъ, или, вѣрнѣе, о надзорѣ директоровъ за преподавателями и попечителей учебныхъ округовъ за директорами, также точно за отправную точку всѣхъ соображеній взяты опредѣленія XI тома свода законовъ. „По закону — гласить циркуляръ, ссылаясь на ст. 1505 и 1726 XI т.,—директоры среднихъ учебныхъ заведеній являются начальниками, на которыхъ лежитъ полная отвѣтственность по всѣмъ частямъ благоустройства ввѣренныхъ имъ училищъ. Законъ этотъ остается въ полной силѣ и я предлагаю“ и т. д.

Въ министерствѣ народнаго просвѣщенія „твердая почва закона уже давно была почему-то оставлена“. Фактъ, конечно, глубоко ненормальный. Онъ неизбежно привелъ къ царящему въ школахъ хаосу, и именно его нельзя не ставить въ самую тѣсную связь съ „разстроеннымъ въ школахъ всѣхъ наименованій ученіемъ“, что констатировалъ А. Н. Шварцъ въ той же вступительной рѣчи. Но этотъ фактъ тянулся на протяжении десятковъ лѣтъ. Законъ, регулирующий жизнь школы,—особенно это касается школы средней,—сталъ забытой бумагой. Его мѣсто давно заняли распоряженія, „подчасъ не согласованныя между собою“ и „сбивающія съ толку исполнителей“, но тѣмъ не менѣе фактически сставлявшія до сихъ поръ единственную обязательную для нихъ норму. Нормы закона такъ переломаны „случайными распоряженіями“, что возвратъ къ нимъ былъ бы равносильенъ коренной реформѣ средней школы. Съ другой стороны, возвратъ къ нимъ въ полномъ объемѣ и невозможенъ. Возвратъ можетъ быть только частичный, слѣдовательно, тоже случайный и произвольный. Наконецъ, есть ли реальное оправданіе, въ смыслѣ цѣлесообразности, въ возвратѣ къ фактически утратившему силу закону? Считаетъ ли правительство по существу необходимымъ вернуться къ школьному строю времени гр. Д. А. Толстого? На этотъ второй вопросъ рѣчь министра даетъ совершенно категорическій отрицательный отвѣтъ. „Министерство само, въ лицѣ своихъ представителей,—говорилъ онъ,—произнесло надъ старымъ строемъ нашей школы приговоръ, не менѣе су-

ровый, чѣмъ тотъ, который произнесло надъ нимъ и общество". Такъ зачѣмъ же наканунѣ введенія въ законодательномъ порядкѣ новаго реформированнаго строя школы возрождать въ его первоначальномъ чистомъ видѣ строй, надъ которымъ произнесенъ суровый приговоръ? Желая на смѣну царящему въ средней школѣ хаосу поставить строго продуманный новый порядокъ, зачѣмъ пытаться ранѣе возстановить всѣми осужденный старый порядокъ? Зачѣмъ дѣлать двойную ломку?

По утвержденію „Россіи“, новый нормальный уставъ средней школы уже разработанъ и будетъ внесенъ въ ближайшую сессію Государственной Думы. По свѣдѣніямъ офиціоза — несомнѣнно достовернымъ — въ проектѣ отведено достаточно мѣста „сердечному попеченію“ и въ основу преподаванія по новому уставу не положенъ „толстовскій“ классицизмъ. Но какъ это, такъ и то другое, чтó пропикало въ печать о законодательныхъ предположеніяхъ А. Н. Шварца, въ весьма слабой степени поднимаетъ завѣсу надъ проектомъ. Только по одному вопросу сообщались конкретныя данныя — о мѣрахъ подготовки преподавателей и улучшенія матеріальнаго ихъ положенія. Преподавательскій вопросъ дѣйствительно составляетъ одно изъ самыхъ больныхъ мѣстъ нашей школы. Насколько извѣстно, въ предположеніяхъ гг. Кауфмана и Герасимова также обращалось особенное вниманіе на необходимость повышенія оплаты труда преподавателей среднихъ учебныхъ заведеній. На этотъ предметъ имѣлось даже въ виду, для устраненія бюджетно-финансовыхъ препятствій, поднять плату за обученіе. Предполагаетъ ли и г. министръ улучшить матеріальное положеніе преподавателей за счетъ стѣсненія условій полученія подростающимъ поколѣніемъ средняго образованія — мы не знаемъ. А потому пока допускаемъ, что необходимая мѣра не будетъ идти въ ущербъ дѣлу народнаго образованія. Что касается созданія особыхъ учрежденій для подготовки опытнаго учительскаго персонала (конечно, если дѣло не сведется къ замѣняющей ихъ „временной“ мѣрѣ, о которой писала „Россія“: „подготавливать аспирантовъ на учительскія должности при управленіяхъ учебными округами, путемъ посланки ихъ на практическія занятія по преподаванію къ тѣмъ учителямъ, которые пользуются репутаціей хорошихъ педагоговъ“), — то и это предположеніе въ принципѣ не можетъ встрѣчать возраженій. Потребность въ подобнаго рода учрежденіяхъ существуетъ, и она признана обществомъ, опередившимъ, въ данномъ отношеніи, правительство. Однимъ изъ первыхъ учрежденій, которыя создались при лигѣ образованія, была „Педагогическая академія“, съ осени уже открывающая свои двери.

Но если, такимъ образомъ, новый курсъ министерства народнаго просвѣщенія одной рукой пишетъ законодательныя предпо-

ложенія, способствующія поднять въ будущемъ личный составъ преподавателей средней школы,—то одновременно изъ-подъ другой руки того же министерства какъ будто выходятъ распоряженія, прямо противоположнаго свойства. Большое значеніе имѣетъ матеріальное обезпеченіе преподавателей, но не оно одно предопредѣляетъ качества учебнаго персонала. Существенно важно, чтобы начинающіе преподавательскую дѣятельность были къ ней научно и технически подготовлены, но не менѣе важны и условія этой дѣятельности въ дальнѣйшемъ. Многое можно оцѣнить и перевести на деньги, но не все. Много значить подготовка, но опять-таки не все. Едва ли не главное, что отгоняло у насъ людей отъ педагогической дѣятельности, было чиновническое положеніе учителей въ глазахъ закона и особенно—начальства. Какъ не можетъ быть чиновникомъ судья, такъ тѣмъ болѣе не можетъ быть чиновникомъ учитель. И тотъ, и другой, по самому роду ихъ дѣятельности, должны стоять въ сторонѣ отъ преходящихъ и мѣняющихся „видовъ правительства“. И къ тому, и къ другому не приложимы общія начала служебной дисциплины, служебнаго послушанія и, какъ-ни-какъ, служебнаго обезличенія. А потому попытки сдѣлать изъ учителей чиновниковъ не могутъ не приводить къ пониженію уровня педагогическаго персонала. Между тѣмъ, послѣднія распоряженія министерства какъ будто прямо направлены къ тому, чтобы снова напомнить преподавателямъ, что они, прежде всего, чиновники учебнаго вѣдомства.

По поводу толковъ, вызванныхъ циркуляромъ объ обязанностяхъ директоровъ, „Россія“ пишетъ: „Всѣ эти разговоры о томъ, что средняя школа процвѣтетъ лишь тогда, когда во главѣ ея будетъ независимый отъ „начальственныхъ указаній“ педагогическій совѣтъ, когда независимѣйшій учитель, при поддержкѣ разнезависимѣйшаго родительскаго комитета, вдохнетъ жизнь въ „мертвый укладъ“ школы, и когда, наконецъ, окружное начальство, а тѣмъ болѣе—министерство будутъ удалены отъ всякаго вліянія на школу,—всѣ эти разговоры извѣстны не со вчерашняго дни и будутъ засорять общественное вниманіе до тѣхъ поръ, пока освободительская секта окончательно не задохнется въ чаду выбалтываемыхъ ею въ такомъ непомѣрномъ количествѣ пустяковъ“. Конечно, по долгу официоза, газета обязана на все находить отвѣтъ. Но не скрывается ли за игривымъ тономъ слабость аргументаціи? „Мертвый укладъ“ школы—вѣдь это фактъ. Необходимость вдохнуть въ него жизнь признана самимъ министерствомъ. А сколь дѣйствительны въ этомъ отношеніи „начальственные казанія“, направленные къ обезличенію педагогическихъ совѣтовъ преподавателей,—развѣ не достаточно краснорѣчиво свидѣтельствуетъ тридцатилѣтнее прошлое нашей средней школы?

Другой циркуляръ — о несовмѣстимости преподавательской дѣятельности съ принадлежностью къ нелегализованнымъ партіямъ — относится одинаково, какъ къ преподавателямъ средней школы, такъ и къ профессорамъ высшей, и мы говоримъ о немъ ниже. Съ наибольшей болѣзненностью отзовется на преподавателяхъ средней школы не этотъ циркуляръ, а возвратъ къ правиламъ о надзорѣ за учениками. Трудно найти что иное въ старыхъ порядкахъ средней школы, что было бы такъ единодушно осуждено, какъ возложеніе на преподавательскій персоналъ полицейскихъ, точнѣе, сыскныхъ обязанностей по внѣшкольному надзору за учащимися. Въ „дни свободы“, когда изъ педагогическихъ совѣтовъ среднихъ учебныхъ заведеній впервые раздался свободный голосъ, педагоги громко заявили, что исполненіе этихъ обязанностей ихъ безконечно тяготитъ. Родительскіе комитеты, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ, тогда же единогласно признали, что, пока такія обязанности лежатъ на преподавателяхъ, нормальныхъ отношеній внутри школы между учащимися и учащими быть не можетъ.

Еще въ іюнѣ въ газетахъ была напечатана слѣдующая телеграмма изъ Кіева: „Попечитель учебнаго округа разослалъ циркуляръ, въ которомъ указывается, что ослабленіе надзора за ученическими квартирами привело къ прискорбнымъ послѣдствіямъ. Предписывается соблюдать всѣ циркуляры министерства, изданные по этому предмету, начиная съ 1882 года. Если родители, говорится въ циркулярѣ, заявятъ, что дѣти ихъ живутъ у родственниковъ, надлежитъ провѣрять это заявленіе“. Затѣмъ въ августѣ одна за другой стали появляться однородныя телеграммы изъ Симферополя, Орла и другихъ городовъ о томъ, что губернаторы созывали совѣщанія подъ своимъ предсѣдательствомъ изъ директоровъ гимназій и реальныхъ училищъ, и что эти совѣщанія рѣшили возстановить внѣшкольный надзоръ преподавателей за учениками. Наконецъ, въ самое послѣднее время газетами было сообщено, что въ засѣданіи директоровъ среднихъ учебныхъ заведеній Петербурга будто бы приняты рѣшенія: „возстановить уличное дежурство воспитателей, которымъ вмѣнить въ обязанность прибѣгать къ содѣйствію полиціи въ тѣхъ случаяхъ, когда это будетъ требоваться обстоятельствами, и ввести контроль за домашней жизнью учащихся и съ этой цѣлью вмѣнить въ обязанность педагогическому персоналу посѣщеніе учениковъ на дому и ученическихъ квартиръ“.

Конечно, безобразны всякаго рода „лиги свободной любви“, „союзы огарковъ“ и т. п. Конечно, нельзя проходить молча мимо тѣхъ явленій чувственной разнузданности и разврата, которыя проникли въ среду гимназической молодежи. Но неужели можно ставить эти явленія на

счесть „ослабленія надзора за ученическими квартирами“? Не вѣрнѣ ли ихъ отнести на счетъ отсутствія моральнаго воздѣйствія учащихся и школы въ ея цѣломъ на учащихся? Поднять учителя въ глазахъ учениковъ, поднять его нравственный авторитетъ — въ этомъ одна изъ основныхъ задачъ нашей несчастной средней школы. А кто занимается сыскомъ, тотъ никогда не можетъ пользоваться нравственнымъ авторитетомъ, — изъ природы человѣческой этого не выкинуть. Г. Марковъ 2-й говорилъ въ Думѣ, что не считаетъ оскорбительнымъ сравненіе своей дѣятельности съ дѣятельностью агентовъ сыска. И однако, все-таки, за такое сравненіе онъ тутъ же вызвалъ г. Пергамента на дуэль...

Всѣмъ профессорамъ, приватъ-доцентамъ и лаборантамъ петербургскаго университета передано подъ росписку распоряженіе министра народнаго просвѣщенія, въ сущности ничего имъ не приказывающее, но равносильное приказу: или держаться въ своихъ политическихъ убѣжденіяхъ правительственной программы, или уйти въ отставку. Для тѣхъ, кто не подчинится распоряженію, есть предваженіе: они будутъ уволены „помимо ихъ на то согласія“, „какъ неблагонадежны“, въ порядкѣ 788 ст. устава о службѣ, т.-е. по словутому „третьему пункту“.

До сихъ поръ были случаи увольненія за принадлежность къ нелегалитетнымъ политическимъ партіямъ судей. Теперь настала очередь для профессоровъ. Разсужденіе министерства просто: профессора состоятъ на государственной службѣ; слѣдовательно, они чиновники; слѣдовательно, далѣе, къ нимъ долженъ имѣть полное примѣненіе извѣстный указъ сената, признавшій несовмѣстимость занятія должности на государственной службѣ съ противорѣчащими „видамъ“ правительства“ политическими убѣжденіями служащаго. Но простота разсужденія отнюдь не дѣлаетъ его основательнымъ. Изъ аргументаціи сената совершенно ясно видно, что онъ не имѣлъ въ виду особенностей учебной службы, вообще, и дѣятельности профессорской, въ частности. А потому эта аргументація, болѣе чѣмъ спорная и въ приложеніи къ чиновникамъ въ тѣсномъ смыслѣ понятія, — въ приложеніи къ профессорамъ представляется, съ юридической точки зрѣнія, явно несостоятельной.

„Противодѣйствуя видамъ правительства — говорится въ циркулярѣ министерства народнаго просвѣщенія про „лѣвыхъ“ профессоровъ, приватъ-доцентовъ и лаборантовъ, — отъ котораго получили свои служебныя полномочія, они нарушаютъ коренныя условія службы. Войдя въ составъ той или иной противоправительственной политической партіи, они утратили право оставаться на государственной службѣ,

т.-е. быть агентами того самого правительства, противниками котораго стали" ¹⁾). Профессоръ—агентъ правительства! Профессоръ получаетъ свои полномочія отъ правительства!.. Агентъ есть тотъ, кто получаетъ долю власти отъ поставившаго его или пославшаго. Правительство сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ власть управленія, и его агенты суть лица, прежде всего, обладающія властью и затѣмъ участвующія въ управленіи. Губернаторъ, податной инспекторъ, земскій начальникъ, полицейскій приставъ, акцизный надзиратель—агенты правительства. Всѣмъ имъ принадлежитъ власть, власть управленія—та самая, которая принадлежитъ правительству. Ихъ служебныя полномочія состоятъ въ осуществленіи власти. Правительство дѣйствуетъ черезъ нихъ, поскольку фактически не въ состояніи дѣйствовать непосредственно, и въ этомъ смыслѣ еще можно говорить, что правительство есть источникъ ихъ служебныхъ полномочій. Но какая власть принадлежитъ профессору? Въ чемъ выражается его участіе въ государственномъ управленіи? Вѣдь нельзя же усматривать власть въ правѣ опфѣнивать познаніи слушателей на экзаменѣ и участіе въ управленіи государствомъ—въ правѣ засѣдать въ университетскомъ совѣтѣ. А приватъ-доценты и лаборанты? Они и въ совѣтѣ не засѣдаютъ и, если читаютъ необязательные курсы, то никого никогда не экзаменуютъ. Единственное служебное полномочіе профессоровъ—передавать знанія слушателямъ, учить. Единственный источникъ ихъ полномочій—ихъ знанія, наука. Министръ можетъ въ любой моментъ совершить дѣйствіе, обычно совершаемое директоромъ департамента, начальникомъ отдѣленія,—словомъ, каждымъ чиновникомъ вѣреннаго ему вѣдомства. Но представьте себѣ министра, который войдетъ на университетскую кафедру и станетъ читать лекціи. Развѣ будетъ не то же самое, какъ если директоръ театра—потому, что артисты находятся въ его вѣдѣніи—объявить, что станетъ пѣть партію тенора?

Воспроизводя соображенія сената, циркуляръ говоритъ: „Должностныя лица не могутъ, очевидно, быть врагами существующаго государственнаго порядка, противодѣйствовать начинаніямъ правительства и поддерживать враждебное къ нему отношеніе, а потому не могутъ принадлежать къ такимъ политическимъ организаціямъ, цѣли и стремленія коихъ направлены къ противодѣйствію правительству и противорѣчать программѣ правительственной дѣятельности“. Здѣсь поразителенъ послѣдовательный переходъ отъ недопустимости „быть врагами существующаго порядка“ къ недопустимости раздѣлять стремленія, противорѣчащія „программѣ правительственной дѣятельности“. Программа правительственной дѣятельности нынѣшняго состава пра-

¹⁾ Текстъ циркуляра напечатанъ въ № 541 „Слова“.

вительства была опубликована 24-го августа 1906 года. Не только то, что противодѣйствуетъ этой программѣ, признано недопустимымъ для должностныхъ лицъ и въ ихъ числѣ для профессоровъ, въ равной мѣрѣ съ недопустимостью „быть врагами существующаго государственнаго порядка“, но также одинаково и то, что ей противорѣчитъ. Выходить, что профессоръ-экономистъ не можетъ излагать съ кафедры доводы науки въ пользу поземельной общины, профессоръ-криминалистъ—доводовъ противъ чрезвычайныхъ судовъ и смертной казни.

Вслѣдъ за соображеніями сената, въ циркулярѣ значится: „Само собою разумѣется при этомъ, что если недопустима принадлежность лицъ, пользующихся правами государственной службы, къ противоправительственнымъ политическимъ организациямъ, то тѣмъ болѣе нетерпима и всякая активная въ этомъ отношеніи агитація“. На этомъ словѣ циркуляръ поставилъ точку и далѣе трактуетъ о „мѣрахъ воздѣйствія“. Что значитъ послѣдняя фраза? О какой „активной агитаціи“ идетъ рѣчь? Если профессоръ, приватъ-доцентъ или лаборантъ будутъ произносить агитационныя рѣчи на площади, передъ толпой народа, то не съ циркуляромъ имъ придется считаться, а съ уголовнымъ уложеніемъ. Если и въ университетской аудиторіи они, вмѣсто лекцій, будутъ произносить рѣчи, возбуждающія къ учиненію бунтовщическаго и т. п. дѣяній, то тоже у нихъ спросить отвѣта уголовный судъ. Циркуляръ ясно говоритъ, что имѣеть въ виду лицъ, которыя, „не будучи преступными въ смыслѣ уголовного закона“, не подлежатъ „уголовному преслѣдованію“. Слѣдовательно, по мысли министерства народнаго просвѣщенія, „нетерпимая“ въ университетѣ „активная агитація“ есть научное изложеніе предмета въ противорѣчіе программѣ правительственной дѣятельности. Это уже такое вторженіе въ сферу научныхъ воззрѣній и убѣжденій профессора, которое лишаетъ смысла университетское преподаваніе.

А. Н. Шварцъ называетъ себя „законникомъ“. А почему въ основу своего распоряженія онъ положилъ „разъясненіе“ сената, а не законъ—и не законъ объ университетской автономіи? Почему распоряженіе не считалось съ закономъ о выборахъ въ Государственный Совѣтъ? Законъ, установившій представительство университетовъ, въ лицѣ выбранныхъ профессоровъ, въ Государственномъ Совѣтѣ, совершенно точно опредѣлилъ, что университеты—не министерскіе департаменты, не казенныя палаты, не канцеляріи, и что профессора—не столоначальники. Правомъ избранія отъ своей корпораціи членовъ верхней законодательной палаты профессора университетовъ закономъ привлечены къ активной политической дѣятельности, и университеты, какъ таковыя, поставлены на арену этой дѣятельности. Выборы безъ свободы политическаго самоопредѣленія—абсурдъ. Зачѣмъ

нужно будетъ выборное представительство университетовъ, если всѣ профессора будутъ одной политической окраски и именно той, которая соотвѣтствуетъ программѣ даннаго правительства? Не проще ли дать право правительству посылать членовъ Государственнаго Совѣта отъ университетовъ по его избранію?..

Газеты сообщаютъ, что за общимъ распоряженіемъ уже послѣдовали и личныя. Профессорамъ Петражицкому, Гриму—называютъ и еще имена—предложено или дать подписку о выходѣ изъ партіи народной свободы, или оставить петербургскій университетъ. Кто ихъ замѣнитъ? Гдѣ найти людей науки, раздѣляющихъ политическія убѣжденія союза русскаго народа или партіи, слѣпо идущей за послѣднимъ правительственнымъ сообщеніемъ? Два-три такихъ профессора найдется,—не больше. Русская жизнь такъ сложилась, что люди самостоятельной мысли и знаній стоятъ надѣво отъ линіи политическаго безразличія. Говорятъ, что къ возобновленію думской сессіи готовится запросъ. Слабое утѣшеніе!.. Д. Д. Гриммъ состоитъ членомъ Государственнаго Совѣта по избранію отъ университетовъ. Его выбрали, какъ лицо извѣстныхъ, опредѣленныхъ политическихъ убѣждений. Какъ ему быть, если бы онъ расписался въ отказѣ отъ этихъ убѣждений?

И еще готовится запросъ—объ одесскихъ профессорахъ, отстраненныхъ отъ преподаванія генераль-губернаторомъ. Уже второй мѣсяцъ на исходѣ, какъ они остались профессорами безъ права быть членами университетскаго совѣта и читать лекціи. Были профессора въ Петербургѣ, говорили съ предсѣдателемъ совѣта министровъ и съ министромъ народнаго просвѣщенія, приѣмъ имъ былъ оказанъ „очень любезный“... и они уѣхали ни съ чѣмъ. Вотъ характерныя выдержки изъ газетнаго отчета о посѣщеніи профессорами П. А. Столыпина и А. Н. Шварца: „Утромъ 11 августа устранинные профессора новороссійскаго университета, Занчевскій, Ярошенко, Васьковскій и Косинскій, получили отъ предсѣдателя совѣта министровъ отвѣтъ на письмо съ просьбой о приѣмѣ. Приѣмъ профессорамъ былъ оказанъ очень любезный. Бесѣда продолжалась болѣе получаса. П. А. Столыпинъ заявилъ, что онъ живо заинтересованъ дѣломъ профессоровъ и дѣятельно займется изученіемъ его, чтобы всесторонне выяснитъ всѣ данныя вопроса объ „устраненіи“. До сихъ поръ, какъ указалъ П. А., матеріаловъ по дѣлу, находящихся въ его распоряженіи и лежавшихъ, по словамъ его, во время приѣма у него на столѣ, слишкомъ недостаточно, чтобы имѣть полное сужденіе о дѣлѣ и составить окончательное заключеніе. Полученное отъ Толмачева телеграфное донесеніе признано недостаточнымъ, и отъ одесскаго генераль-губернатора затребованы уже дополнительныя разъясненія... Отъ П. А. Столыпина всѣ четыре профессора направились къ мини-

стру народнаго просвѣщенія. А. Н. Шварцъ указалъ, что онъ крайне заинтересованъ и даже взволнованъ дѣломъ объ устраненіи и принимаетъ всѣ мѣры къ скорѣйшему выясненію его“...

Дѣло „выясняется“! А въ „Новомъ Времени“ какой-то С. К. пишетъ: „Если мѣры, необходимыя для возвращенія университету его настоящаго значенія, приходится принимать лицу, стоящему внѣ университета, то это указываетъ лишь на глубокое и жалкое паденіе нашей высшей школы“... Союзники „просятъ прекратить травлю противъ мѣропріятія генераль-губернатора и не допустить отмѣны этого постановленія“. Вмѣстѣ съ тѣмъ они требуютъ „выселенія устраненныхъ профессоровъ изъ Одессы“...

Въ отношеніи студентовъ, въ начавшемся академическомъ году слѣдуетъ ожидать самыхъ энергичныхъ мѣръ на пути возврата университетовъ въ то положеніе, въ какомъ они находились до 1905 года. Вольнослушательницы „ликвидированы“. Процентная норма для евреевъ возстановлена въ полномъ объемѣ. Не зданіе университета для ищущихъ высшаго образованія, а наоборотъ. Никакого расширенія существующихъ стѣнъ! — таковъ лозунгъ. Кіевскій университетъ ходатайствовалъ „о томъ, чтобы снять частную квартиру для юридическаго факультета, въ виду отсутствія въ главномъ университетскомъ корпусѣ большой аудиторіи для перваго курса“. Министерство отказало, мотивируя отказъ „неудобствомъ чтенія лекцій въ частномъ помѣщеніи, а также и тѣмъ, что комплектъ слушателей долженъ быть рассчитанъ на существующее помѣщеніе“ („Русское Слово“, № 181). Студенческое представительство и студенческія сходки объявлены недопустимыми. Экспертныя коммиссіи упразднены. На входные билеты приказано наклеивать фотографическія карточки.

Пока, до начала занятій, еще не могло опредѣлиться, что именно изъ распоряженій министерства особенно болѣзненно отразится на студенчествѣ. Много толковъ вызываютъ требованія фотографическихъ карточекъ и закрытіе экспертныхъ коммиссій. Первое мы склонны цѣликомъ приписывать излишней нервности. Контроль необходимъ всегда и вездѣ. Необходимъ онъ и за правомъ входа въ университетскія аудиторіи. О томъ, чтобы администрація университета знала лицо студентовъ, когда ихъ десять тысячъ, само собою разумѣется, можетъ быть рѣчи. Наклейка фотографій на билеты есть не что иное, какъ форма контроля, притомъ наиболѣе простая и наименѣе бдительная. Она практикуется на желѣзныхъ дорогахъ, и ни кому пассажиру, покупающему годовой билетъ, не приходитъ въ голову усматривать въ ней что-либо оскорбительное. Толки о закрытіи

экспертныхъ комиссій мы, напротивъ, вполне понимаемъ. Это распоряженіе министерства, при всей его сравнительной маловажности, нельзя не признать особенно неудачнымъ.

Студентскія экспертныя комиссіи создались; по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ, сами собой и въ силу несомнѣнной практической необходимости. Въ ихъ составъ входятъ частью старосты, частью представители землячествъ. Ихъ дѣло—распредѣлять стипендіи, пособія и освобожденіе отъ платы за ученіе. По закону эта обязанность лежитъ на ректорѣ и проректорѣ. Но и безъ всякихъ доказательствъ ясно, что они физически не въ состояніи ее исполнять, не нарушая справедливости и приходя на помощь дѣйствительной нуждѣ. Въ дѣятельности комиссій нѣтъ и тѣни „потрясенія основъ“. Ихъ работа чисто дѣловая—скучная, непріятная, но безусловно необходимая. И это настолько элементарно-просто, что закрытіе комиссій легко можетъ оказаться спичкой, которая начнетъ пожаръ... Когда весной министерство народнаго просвѣщенія впервые объявило объ упраздненіи обще-студентскихъ организацій, мы выражали горячее пожеланіе, чтобы рискъ нарушенія наладившагося правильного хода занятій въ петербургскомъ университетѣ миновалъ. Мы повторяемъ это пожеланіе, но теперь, осенью, настроены еще менѣе оптимистически. Струна натянута въ высокой степени, а рука, натянувшая ее, все продолжаетъ дѣлать новые обороты вѣрота...

Изъ № 190 „Рѣчи“ заимствуемъ корреспонденцію изъ Харькова. „Въ февралѣ текущаго года, по распоряженію харьковскаго генераль-губернатора Пѣшкова, были закрыты два филиальныхъ отдѣленія харьковской общественной библіотеки. Книги, въ количествѣ 10.000 экземпляровъ, были конфискованы. Полиція захватила рѣшительно всѣ книги—даже религіозно-нравственныя брошюры,—всего на сумму болѣе 800 руб. Филиальныя отдѣленія были закрыты, какъ говорилось въ постановленіи генераль-губернатора, „на все время военнаго положенія“. Со снятіемъ въ Харьковѣ военнаго положенія, правленіе библіотеки и харьковское общество грамотности обратились къ губернатору съ просьбою разрѣшить открыть отдѣленія и вернуть конфискованныя книги. Губернаторъ никакого отвѣта не далъ. Тогда къ нему пошли лично представители общества, но генераль Пѣшковъ отказался ихъ принять и черезъ чиновника объявилъ, что отдѣленія открывать могутъ въ виду снятія военнаго положенія, но конфискованное книжное имущество выдачѣ не подлежитъ и будетъ сожжено“.

Такъ понимаетъ губернаторъ закрытіе библіотекъ на время военнаго положенія!..

Въ отошедшемъ въ исторію прошломъ или въ переживаемомъ настоящемъ—общественное значеніе И. С. Тургенева? Этотъ вопросъ стоялъ предъ нами, когда мы читали отчеты о торжественной панихидѣ на могилѣ творца „Записокъ охотника“, „Отцовъ и дѣтей“, „Нови“, „Стихотвореній въ прозѣ“. И мы искали отвѣта на него въ статьяхъ, которыя были посвящены газетамъ въ день двадцатипятилѣтія смерти покойному. „Молодыхъ“ писателей на могилѣ, словно по уговору, не было ни одного. Для нихъ Тургеневъ ушелъ въ исторію. Для нихъ его духъ не живетъ въ настоящемъ. Такъ ли?

Разсказывая о своей первой поѣздкѣ за границу, Тургеневъ писалъ: „Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшилъ бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться“... И Тургеневъ остался вѣренъ на всю жизнь своей клятвѣ. Онъ рвалъ крѣпостныя цѣпи до 19 февраля. Онъ рвалъ послѣ освобожденія крестьянъ духовныя цѣпи крѣпостной Россіи, пережившія великій актъ освобожденія.

Въ могилѣ ли теперь, черезъ двадцать-пять лѣтъ послѣ смерти Тургенева, русское рабство, русское крѣпостное право? Закопано ли оно безъ остатка, развѣялось ли по вѣтру безъ слѣда? Свободны ли мы, дѣти и внуки рабовладѣльцевъ и рабовъ, отъ ужаснаго наслѣдія отцовъ и дѣдовъ? Исчезло ли рабство изъ нашихъ нравовъ?.. Врагъ Тургенева живъ — и жива его клятва, живъ онъ самъ. Онъ живъ среди насъ. Онъ борется съ своимъ врагомъ. Онъ только ушелъ еще дальше—за грань земли...



ИЗВѢЩЕНІЯ

1.—Отъ Высочайше утвержденнаго Комитета по устройству въ Москвѣ Музея 1812 года.

По мысли Императора Александра I-го воздвигнуть въ Москвѣ храмъ Христа Спасителя въ память двѣнадцатаго года, но до сего времени не осуществлена мысль и пожеланіе того же Императора воздвигнуть другой памятникъ, имѣющій вещественную связь съ событіями Отечественной войны.

Нынѣ съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія въ Москвѣ учрежденъ Комитетъ по устройству Музея 1812 года. Музей этотъ будетъ посвященъ памяти Отечественной войны. Все относящееся до участниковъ и свидѣтелей этой войны, все относящееся до пребыванія французской арміи и все связанное съ могучимъ подъемомъ народныхъ силъ въ эту знаменательную въ жизни Россіи годину, все это должно найти себѣ мѣсто въ Москвѣ, въ стѣнахъ новаго хранилища народной славы. Предки наши принесли въ 1812 году безпримѣрные жертвы для блага и спасенія Родины. Наши жертвы должны явиться данью уваженія памяти ихъ великихъ дѣяній для увѣковѣченія славнѣйшихъ событій Русской Исторіи. Къ близящемуся столѣтію двѣнадцатаго года желательно видѣть Музей оконченнымъ, заполненнымъ и открытымъ.

Помощь нужна всяческая. Нужны и деньги прежде всего, дорога всякая копѣйка добротная, но и нужна помощь въ собираніи всякихъ вещей, книгъ, записокъ участниковъ войны, картинъ во всѣхъ ихъ видахъ и всего имѣвшаго касательство до Отечественной войны. Если у кого лично ничего не найдется, то онъ, можетъ быть, укажетъ Комитету, гдѣ у кого что сохранилось.

Комитетъ покорнѣйше проситъ всѣ послыки и сообщенія направлять непосредственно по указанному ниже адресу; туда же проситъ онъ направлять и денежные пожертвованія. Для удобства жертвователей деньги могутъ вноситься и во всѣ мѣстные казначейства, отдѣленія Государственнаго банка и Государственныя сберегательныя кассы, на имя Комитета.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ будутъ публиковаться Комитетомъ ежемѣсячно.

Комитетъ помѣщается: Москва, Чернышевскій переулокъ, домъ Московскаго Генераль-Губернатора.

Предсѣдатель Комитета: генераль-отъ-инфантеріи Владиміръ Гавриловичъ Глазовъ.

Перечень предметовъ, особо желательныхъ для Музея 1812 года въ Москвѣ.

- 1) Портреты героевъ, военачальниковъ и дѣятелей 1812 года русскихъ и иностранныхъ.
- 2) Бюсты, статуи отдѣльныхъ лицъ, боевыя группы и другія скульптурныя произведенія.
- 3) Военныя карты и планы полей сраженія и похода.
- 4) Картины: масляныя, акварели, рисунки, эстампы, гравюры, литографіи сраженій и отдѣльныхъ эпизодовъ, а также виды мѣстности.
- 5) Манекены воиновъ двѣнадцатаго года русскихъ и иностранныхъ.
- 6) Боевое оружіе и снаряды.
- 7) Трофеи разнаго рода и модели памятниковъ.
- 8) Вещественные памятники: ордена, медали, мундиры, предметы снаряженія, деньги и другіе предметы.
- 9) Различныя воззванія, афиши и объявленія. Ассигнаціи Наполеона.
- 10) Рукописи, мемуары, письма, документы и записки, принадлежащіе участникамъ эпохи.
- 11) Книги, брошюры, газеты русскія и иностранныя, атласы и вообще печатныя изданія эпохи.
- 12) Каррикатуры, лубочныя изданія, игральныя карты, посуда, стекло, фарфоръ съ изображеніями лицъ 1812 года и прочіе предметы, не вошедшіе въ предшествующіе пункты, но имѣющіе отношеніе къ эпохѣ приснопамятнаго года.

Въ Музей также принимаются предметы, относящіеся къ годамъ 1811, 1813 и 1814 и имѣющіе непосредственную связь съ Отечественной войной 1812 года.

II. — Отъ Учебно-воспитательнаго Комитета Педагогическаго Музея военно-учебныхъ заведеній.

Симъ объявляется, что по конкурсу 1907 года премія имени Константина Дмитріевича Ушинскаго присуждена не была. Слѣдующій конкурсъ назначенъ въ 1910 году, на слѣдующихъ главныхъ условіяхъ:

- 1) Конкурсу подлежатъ сочиненія какъ рукописныя, представляемая для этой цѣли въ Педагогическій Музей, такъ и печатныя, вышедшія въ свѣтъ не ранѣе 1907 г.
- 2) Рукописи, представляемыя на конкурсъ въ 1910 г., доставляются въ Педагогическій Музей не позже 1-го мая того же года. Онѣ должны быть написаны на русскомъ языкѣ и четкимъ почеркомъ. Въ случаѣ желанія автора скрыть свою фамилію, дозволяется снабжать рукописи девизомъ и прилагать особый запечатанный пакетъ съ

тѣмъ же девизомъ и со вложеніемъ въ него записки съ обозначеніемъ фамиліи автора и его мѣстожительства.

Примѣчаніе: Представленныя на конкурсъ рукописи могутъ быть взяты обратно или самими авторами, или по довѣренности, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованной.

3) Печатныя сочиненія разсматриваются или по просьбѣ автора, или по указанію кого-либо изъ членовъ учебно-воспитательнаго комитета.

Примѣчаніе: Время представленія ихъ авторами (не менѣе, какъ въ пяти экземплярахъ) то же, что и для рукописей.

4) Премія будетъ присуждена ко дню годовщины смерти К. Д. Ушинскаго, 21-го декабря 1910 года, за выдающійся по своимъ достоинствамъ педагогическій трудъ.

5) Размѣръ преміи составляетъ 900 рублей; премія эта можетъ быть раздѣлена на двѣ: въ 600 рублей и 300 рублей.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ПОДПИСКА

РЕДАКЦИЯ „ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА



ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ
ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.
ИЗДАЮЩЕГОСЯ.

СОРОКЪ-ТРЕТІЙ ГОДЪ. — КНИГА 10.

ОКТЯБРЬ, 1908.

ПЕТЕРБУРГА.

КНИГА 10-я. — ОКТЯБРЬ, 1908

ВЪ „ТОЛСТОВСКОЙ“ КОЛОНИИ

По личнымъ воспоминаніямъ.

Окончаніе.

VI *).

Нерѣдко прїѣзжалъ къ намъ разный интеллигентный людъ, прослышавшій про нашу жизнь и желавшій посмотрѣть лично на нашу колонію. Прїѣзжали большею частью лѣтомъ, когда колонія дѣйствительно представляла прелестный уголокъ. Но, тѣмъ не менѣе, гости, налюбовавшись досыта открывающимся съ поселка величественнымъ горнымъ видомъ, вскорѣ находили, что селиться интеллигенція въ такую глушь и порвать всѣ связи съ культурой — чистѣйшій абсурдъ.

— Какъ! — говорили они чуть не съ ужасомъ — похерить всю исторію человѣчества, добровольно отречься отъ завоеваній прогресса! превратиться въ какихъ-то пустынниковъ — это, какъ хотите, непонятно...

— И какъ вы не умрете со скуки здѣсь? — спрашивали они при этомъ.

до ли намъ скучно? Я не могу понять, какъ у человѣка, свое дѣло, какъ любили мы, могла быть скука. Истинскій хозяинъ весь заполненъ заботами о благоустройствѣ

своего хозяйства, и по мѣрѣ того, какъ оно приближается къ намѣченному идеалу, оно—это поле, этотъ садикъ, эти коровы—постепенно захватываетъ и замѣщаетъ собой весь міръ. Хозяйство имѣетъ столько прелести, столько поэзіи, что не даромъ настоящій крестьянинъ лѣзетъ въ свой до смѣшного миниатюрный надѣлъ, какъ только представится возможность бросить сытую жизнь горожанина. Что влечетъ этого мужика въ городъ, — въ дворники, въ номерные, кучера? Только земельная нужда. Что заставляетъ того же мужика (имѣю въ виду истиннаго крестьянина, не развращеннаго въ-конецъ городомъ) бѣжать изъ сятаго городского довольства, какъ только сеюлотить немножко деньжонковъ, бѣжать къ прежней деревенской нуждѣ, къ пустымъ щамъ, къ мякиному хлѣбу, къ произволу забытыхъ Богомъ деревенскихъ администраторовъ? Поэзія деревни — поэзія труда и независимости, поэзія земли. Вотъ эту-то поэзію и мы всѣ испытывали, и намъ не только не было скучно, но мы даже не замѣчали въ тихихъ трудовыхъ радостяхъ, какъ летитъ время.

Бывало отрадно на душѣ, когда, закончивши трудовой день, выйдешь вечеромъ побродить по огороду или саду! Все радуется взоръ хозяина. На душѣ легко и безмятежно. А сумерки тихо спускаются на усадьбу, спѣшно все задерживая синеваой дымкой. Куры, нагулявшись за день по обширной усадьбѣ, лова жирныхъ гусеницъ, собирая опавшія зерна, умаялись, наконецъ, и тяжело взлетаютъ одна за другой на нашестъ. Коровы не хотятъ оставаться на ночь въ душномъ хлѣву и расположились возлѣ самаго нашего крыльца. Любо имъ, послѣ звоннаго дня, разлечься на зеленой травѣ, вдыхая полной грудью живительную прохладу погожаго вечера. Издали слышится ихъ жеванье жвачки съ легкимъ пріятнымъ хрустомъ. Онѣ отрыгаютъ по временамъ, и сѣрный запахъ жвачки смѣшивается въ воздухъ съ запахомъ молока и полевыхъ цвѣтовъ...

Въ окнахъ появляется красный свѣтъ лампы. Слышится голосъ жены, зовущей ужинать...

А сѣнокосная пора! а посадка огородовъ! а уборка золотыхъ сноповъ съ обнаженныхъ полей! а наконецъ молотьба лошадьми, настоящій праздникъ для дѣтей, когда ребятамъ приходится цѣлый день кататься по укатанному току, съ пѣснями съ хохотомъ! Все это такъ захватываетъ, такъ много даетъ здоровыхъ впечатлѣній, бодритъ духъ и врѣпляетъ тѣло!..

И положительно не хочется никуда рваться.

...Никуда, никуда

Изъ подъ этого неба безбурнаго!

И годы летятъ незамѣтно, спокойно, въ созиданіи уютнаго хозяйственнаго гнѣзда.

Даже свободное время, которое въ городской жизни уходитъ на какія-нибудь глупости или „отдыхъ послѣ обѣда“ (!), сельскій житель проводить не даромъ и, конечно, съ такимъ наслажденіемъ, о которомъ горожане не имѣютъ даже представленія. Чуть выберется свободныхъ нѣсколько минутъ, я иду въ садъ и осматриваю своихъ любимцевъ. Каждое деревцо мнѣ близко, какъ родное существо. Осмотришь, почистишь кору отъ набѣжавшей ржавчины, подрѣжешь тунейный водяной побѣгъ, поправишь распатанный ночной бурей колъ. И глядишь съ любовью и надеждой, какъ на родныхъ дѣтей, на всѣ эти аппорты, виргинки, антоновки, кальвилы,—съ тихой думой о будущемъ, съ вѣрой въ свое счастье, построенное на своемъ личномъ трудѣ и отрѣшеніи отъ грѣховъ городской хищной жизни...

Или пройдешь на огородную полосу, гдѣ насажены всякая овощъ и неприхотливыя лакомства деревни—бобы, горохъ, подсолнухи. Полюбуешься на богатырскій ростъ огорода, освобожденнаго въ-время отъ сорныхъ травъ, выдернешь ухватившійся за землю живучій лопухъ, поправишь плети арбузовъ. Солнце печетъ съ безоблачнаго неба. Пчелы мягко перелетываютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, собирая взятокъ. А въ горохахъ уже слѣтѣлась съ веселымъ дѣтскимъ гамомъ плутоватая семья воробьевъ, желая провѣдать, вѣтъ ли чѣмъ поживиться, не поспѣлъ ли горохъ для лущенія.

А то возьмешь вѣдра, чтобы взять по пути родниковой воды, и пойдешь посидѣть минуточку-двѣ подъ густолиственной тѣнью чинара, слушая серебряный дѣтскій лепетъ выбѣгающаго родника. Освѣжишься нѣсколькими глотками кристальной воды, умоешь вспотѣвшее лицо...

И какая свѣжесть въ душѣ, какія чистыя, безмятежныя мысли!

Въ ту зиму почти не было снѣга. Правда, на святкахъ наступили холода. Доходило даже по ночамъ до—12 градусовъ. Выпалъ снѣгъ и образовался санный путь. Мы, сѣверяне, обрадовались несказанно родной зимѣ, и не на шутку помышляли о саняхъ и катаньѣ по первопутку. Но прошло дней пять, и отъ зимы осталось одно воспоминаніе. Мать Афонаса говорила своимъ внучатамъ, что это приходила въ гости русская зима, извѣстивъ своихъ бѣглецовъ, погостила недѣлку и ушла опять а сѣверъ. Бѣдная! она о зимѣ сказала чуть не цѣлую сагу въ тоскѣ по далекой родинѣ, гдѣ снѣжная зима, гдѣ трещать

отъ морозовъ елки и гдѣ дымъ такъ весело поднимается клубами къ стеклянному морозному небу.

Послѣ святокъ солнце свѣтило сильнѣе и въ воздухѣ начинало пахнуть весной. Въ концѣ января я уже ходилъ съ ребятами на сосѣдній шиманъ, посмотрѣть, что дѣлаетъ солнце, но нашли мы только нѣсколько какихъ-то голубенькихъ цвѣтковъ, пробившихся изъ-подъ слоя прошлогоднихъ листьевъ. Приходъ весны задерживался холодными ночами. Ночь какъ бы боролась съ днемъ, отставая зиму. Но черезъ мѣсяцъ и ночи стали теплыя, и началось настоящее шествіе весны. Въ концѣ февраля коровы уже выпускались на цѣлый день въ огороды, гдѣ лакомились молодой травой. Сѣна стало расходоваться самая малость. Скотъ, попробовавъ зелени, плохо глядѣлъ уже на сѣно. Несмотря на то, что досыта зеленью коровы не наѣдались, удои молока замѣтно прибавились и оно сдѣлалось вкуснѣе.

Осетины-пастухи, желая ускорить появленіе новой травы, стали поджигать прошлогоднюю „ветошь“. Повсемѣстно въ горахъ появились черныя клубы дыма, а по ночамъ, то тамъ, то здѣсь, небо свѣтилось заревомъ пожара. Тѣ же пастухи зажгли прошлогоднюю листву на ближайшихъ къ намъ шиханахъ. Это доставило намъ интересное зрѣлище. Мы подолгу любовались ночью фантастической картиной. Шиханы горѣли съ разныхъ сторонъ. Огонь перебѣгалъ змѣйкой, дальше встрѣчался на пути съ другими огнями, и издали казалось, что шиханы иллюминированы чудными огненными нитками, перебѣгавшими во всевозможныхъ направленіяхъ. Иногда огонь, встрѣтивъ на пути своемъ богатую пищу, останавливался и превращался въ громадный костеръ, бросающій красное зарево темному небу. Слышно было, какъ трещали перегоравшіе сучья. Къ полуночи огненные змѣйки сливались въ костры. Получалась полная иллюзія непріятельскаго бивуака. Вотъ, вотъ, думалось, съ этихъ таинственныхъ высотъ, сверкающихъ всюду кострами, раздастся непріятельская канонада и на нашъ поселокъ посыплются снаряды, неся разрушеніе и смерть!.. Но на высотахъ было таинственно тихо, и только огни попрежнему бѣжали въ лѣсной чащѣ.

Чѣмъ хуже это иллюминацій городовъ?

Мы также каждую весну жгли на своихъ участкахъ прошлогоднюю ветошь. Выжиганіе это необходимо было, чтобы вызвать усиленный ростъ молодой травы, но у насъ еще имѣло и другую цѣль. Первые пришельцы, мы застали здѣсь непроходимый лѣсъ. Для насъ онъ былъ бесполезенъ, служа пріютомъ для волковъ и кабановъ и будучи разсадникомъ мириадъ разныхъ насѣкомыхъ:

оводовъ, клещей, комаровъ, не дающихъ покоя нашему стаду. И первой нашей задачей было уничтожить эти лѣса. При этомъ увеличивалась площадь сѣнокосовъ и пастбища. Огонь оказывалъ намъ большую помощь въ расчистѣ земли. Нужно было только выбрать такой моментъ весной, когда старая трава хорошо высушена. Въ этомъ заключался весь успѣхъ. Трава горѣла, какъ порохъ, отъ одной искры. Это являлось своего рода праздникомъ не только дѣтей, но и взрослыхъ. Въ сельскомъ хозяйствѣ есть много такихъ работъ, которыя имѣютъ громадное значеніе и въ то же время легки и могутъ служить развлеченіемъ. Къ такимъ работамъ принадлежитъ и палка лѣса и прошлогодней травы. Кто-то назвалъ этотъ день праздникомъ огня. Лучше было бы назвать праздникомъ весны. Все старое, обветшалое, пусть исчезаетъ, давая дорогу свѣжему, молодому, открывая изъ мертвящей зимы весну новой жизни. Прочь съ лица земли, хищные, тунелые элементы — волеи, клещи и слѣпни! Дайте просторъ для мирной культуры, дайте дорогу царю-человѣку!

Дождавшись полдня, когда уже солнце подбирало послѣднія капли росы и воздухъ хорошо просушенъ (прошлогодняя трава обладаетъ сильной гигроскопичностью), вся дѣтвора поселка, въ сопровожденіи нѣсколькихъ взрослыхъ, шла на границу нашихъ владѣній и разсыпалась по лѣсной опушкѣ. Одновременно въ разныхъ мѣстахъ они поджигали лѣсную траву.

Получалось грандіозное зрѣлище. Огонь съ неимоверной быстротой устремлялся въ чащу лѣса. Гигантскіе огненные языки ползли въ небесную высь, обнимая лѣсную поросль. Далеко слышался алчный рокотъ пламени, деревья трещали, внезапно поднявшійся вѣтеръ гудѣлъ въ чащѣ лѣса. Туча темнаго дыма взвивалась къ небу. Пепелъ пожараща летѣлъ на нѣсколько верстъ. Въ какія-нибудь двадцать минутъ огонь пролеталъ грознымъ ураганомъ черезъ всѣ наши лѣсныя владѣнія и замиралъ возлѣ самаго поселка, пересѣкаемый проѣзжей дорогой.

Трудъ заполнялъ все наше время и даже праздники приходилось работать. Только въ праздникъ „Дождь-Богъ“ мы могли располагать досугомъ. Въ эти дни мы проводили время, какъ кому вздумается: кто читалъ, писалъ письма; кто отсыпался, навивывая недосыпанье въ ведренные дни; кто ходилъ въ гости къ сосѣдямъ. Въ другіе дни объ отдыхѣ нельзя было и думать. Хорошая погода была въ нашей мѣстности не часто (наша колонія была расположена довольно высоко: на нѣсколько сотъ футовъ надъ уровнемъ моря), и надо было поскорѣй успѣть сдѣлать работу до прихода дождей...

Праздники... Привычки прошлаго сказывались порою и у насъ. Помню, съ какой гнетущей тоской проводилъ я первыя свои именины въ колоніи. Какъ на грѣхъ, выдалась хорошая погода, и надо было боронить огороды.

Именинникъ ходилъ босикомъ взадъ и впередъ по поднятому полю, вода за собой лошадь съ бороной, и думалъ: „для чего это я добровольно запрегся въ этотъ хомутъ, не пускающій на свободу даже въ исключительные дни, дорогіе для меня“? Мнѣ вспоминалось, какъ шумно и весело проводилъ я этотъ день, живя въ „міру“: собирались близкіе люди, пили много вина, много говорилось, много пѣлось веселыхъ пѣсенъ. А теперь мѣси вотъ эту липкую грязь, имѣя спутникомъ безсловесное существо. Въ такихъ невеселыхъ думкахъ я продолжалъ водить лошадь. Я чувствовалъ утомленіе, и порой ощущалъ тошноту. По временамъ показывалась изъ дома жена, вставала на бугоръ и, заслонившись рукой отъ солнца, смотрѣла сверху на мою работу. И мнѣ было еще тяжелѣе подъ ея пристальнымъ взглядомъ: я зналъ, что у нея было на душѣ въ эти минуты, я зналъ, что она шептала про себя.

„Глупый ты, глупый! — казалось, явственно доносилось до меня: — какой неудачный родъ жизни ты себѣ избралъ!“ Мнѣ хотѣлось упасть тутъ же на полянѣ и расплакаться, какъ ребенку.

Тутъ я передаю собственно ощущенія новичка, чтобы показать, какъ тяжело на первыхъ порахъ закалить себя въ трудѣ и отрѣшиться непривычному человѣку отъ наслѣдій прошлаго. Потомъ и я сталъ настоящимъ работникомъ, и весело смѣялся, когда припоминалъ свое именинное настроеніе въ разгаръ весеннихъ работъ.

Вечеромъ все-таки собрались кой-кто въ гости — почтить именинника.

— Ну, умаялся, именинникъ? — крикнулъ весело Петро, показываясь въ дверяхъ. — Небось, ноги ноютъ?

— Ноютъ! — отвѣтилъ я упавшимъ голосомъ, съ жадностью пожирая пироги съ картошкой.

— Ты во сколько слѣдовъ прошелъ бороной? — спросилъ гость.

— Въ шесть! — отвѣчалъ я, желая удивить своимъ усердіемъ.

— Ахъ, несчастный, что дѣлаешь! — напустился Петро.

— А что?

— Да мало. Ты видишь, какая земля твердая! Надо бы въ восемь слѣдовъ.

— Да ну васъ къ чорту! — не на шутку раздраженный, вскри-

чалъ я: — вамъ и этого мало, что я въ день своихъ именинъ исходилъ босикомъ версты сорокъ!—Признаюсь, я не на шутку на Петра озлился, какъ будто ему лично надо было, чтобы я прошелъ бороной въ восемь слѣдовъ.

— Да, вѣдь ты именинникъ!—сказалъ весело Петръ, не замѣчая словно моего раздраженія:—ну, для именинника и въ шесть слѣдовъ достаточно.

— А что же у тебя состряпано что-нибудь именинного? Вѣдь сейчасъ хотѣли еще придти гости.

Скоро пришли Яковъ, Ольга Ѳедоровна и дѣти Владиміра. Самъ Владиміръ и другіе не пришли „изъ принципа“. Поставили самоваръ. Жена принесла на столъ именинный пирогъ, за немѣнимъ фруктовъ начиненный капустой. И началось пиршество.

Однажды на дворъ Георгія вѣхалъ фургонъ, на которомъ сидѣла, вся обложенная коробками и узлами, какая-то старуха. Впереди сидѣла дѣвушка въ бѣломъ передникѣ, съ восточнымъ типомъ лица. Это пріѣхала въ гости къ Дадіани его теща генеральша съ своей горничной. Она привезла съ собою множество всякихъ подарковъ, много привезла и изъ съѣстныхъ припасовъ, начиная отъ сахара и чая.

— Я къ вамъ ѣхала словно въ полярныя страны—всѣмъ запаслась,—говорила гостя, развязывая узлы и коробки,—а то вѣдь у васъ, поди, съ голоду можно помереть.

Поступокъ своихъ дѣтей она уже давно простила и теперь разговаривала съ ними такъ, какъ будто ничего между ними и не было.

Она извинилась, что не можетъ никому сдѣлать визитовъ по своей дряхлости, и выразила желаніе со всѣми познакомиться.

— Не беспокойтесь!—сказалъ Георгій:—здѣсь у насъ визитами не считаются. Какъ кончатъ работы, такъ сами всѣ придутъ знакомиться.

На закатѣ солнца изъ-за дубняка показалась пестрая толпа идущихъ съ сѣнокоса. Слышался оживленный разговоръ, кто-то затягивалъ пѣсню.

— Не понимаю!—воскликала гостя, увидя изъ окна живописную группу: — просто ошеломлена! Словно въ оперѣ хоръ поселятъ!

Вечеромъ, по случаю пріѣзда госты, былъ „сервированъ“ чай въ саду, на который собрались почти всѣ обитатели поселка. На столѣ было много разныхъ сластей и сдобныхъ печеній и прочихъ яствъ, которыя привезла съ собою гостя.

— Давненько мы не видали такого блаженства бытія!—сказалъ Владиміръ, поддѣвая на вылку какой-то грибокъ.

— А сами, батюшка, виноваты! — наставительно произвела гостья:—кто же васъ принудилъ лишаться благъ земныхъ? Вѣдь не нами заведено, не нами и кончится.

— А вы что это, князь!—обратилась она къ подходящему зятю, который отлучился отъ стола, чтобы поставить лошадей въ конюшню:—что же вы гостей покинули? Ай князь!—иронически говорила она, оглядывая зятя съ ногъ до головы.

Георгій былъ въ тиковой полосатой рубахѣ безъ пояса, въ короткихъ штанахъ и въ какихъ-то опорекахъ на босу-ногу.

— Ай князь! — продолжала она, покачивая иронически головой: — не такимъ мы васъ видали когда-то! Вы были изящнымъ офицеромъ. А теперь? Куда дѣвалась ваша стройность, грація? Вы напоминаете теперь какого-то татарина на волжской пристани! Какіе-то штаны рваные, какая-то рубаха!..

— И этого не надо!—сказалъ Георгій, обводя рукой свой костюмъ:—и это лишнее! Есть люди, которые и этого не имѣютъ.

— Но вамъ-то, князь, стыдно бы такъ говорить. Вы вѣдь могли бы заработать на болѣе приличный костюмъ.

— И этого не нужно, генеральша! — повторялъ упрямо Георгій, слегка раздражаясь:—все это пакость, пакость!

— Какъ! и рубахи не нужно?—сдѣлавъ комично-удивленное лицо, спросила старуха:—можетъ быть, и остальную одежду не нужно? Договаривайте, князь!

— Не нужно, генеральша! не нужно! — кричалъ Георгій словно въ какомъ-то изступленіи: — совсѣмъ ничего не нужно, когда помнишь, что есть на свѣтѣ живущіе въ худшей обстановкѣ, чѣмъ мы. И вамъ ничего не нужно, генеральша. И горничную вамъ не нужно, и не развращайте ее своей праздной жизнью, отпустите ее поскорѣе на волю. Она вѣдь, вѣроятно, истосковалась по благоухающимъ долинамъ родной Грузіи, а вы держите ее въ своей роскошной, но противной для нея обстановкѣ!

— Развѣ я могу ее держать? Вѣдь она не крѣпостная!

— Не крѣпостная?—произнесъ Георгій, трясаясь словно въ лихорадкѣ: — вы говорите, генеральша, ваша Тамара не крѣпостная? Что-жъ, она свободная—по-вашему? Стыдно вамъ, генеральша, такъ говорить! Стыдно пребывать въ розовой дымкѣ лжи до такого солиднаго возраста, стыдно обманывать этой ложью другихъ!

На другой день старуха поспѣшно собралась и уѣхала на станцію.

— Чтобы предоставить себѣ свободу отъ васъ, господа! — объяснила она Дадіани свой внезапный отъѣздъ.

Какъ бы то ни было, но пріѣздъ гостей вносилъ въ застоялую жизнь свѣжую струю. Всѣ оживлялись, много говорили, спорили. Кромѣ того, было пріятно думать, что мы не окончательно еще замуrowали себя въ горное ущелье, что есть еще люди, которые помнятъ о тебѣ, интересуются твоими социальными опытами и ѣдутъ за тысячи верстъ повидаться съ тобой. И просто пріятное чувство переходило въ самодовольство: „Значить, ты интересенъ, — думалось тогда, — значить, твоя жизнь ужъ не такъ плоха и безсодержательна“.

Я несказанно былъ радъ, когда однажды утромъ — помню, это знаменательное событіе было 3-го іюня — къ крыльцу моего дома подѣхалъ коробокъ и изъ него выскочилъ мой близкій пріятель, бывшій земскій врачъ К. Мы съ нимъ долгое время не видались, но разъ въ годъ обмѣнивались письмами, чтобы „не потерять другъ друга“.

— Ну, что же, развѣ поцѣлуемся? — были его первыя слова.

— Идетъ! — сказалъ я. И мы, по русскому обычаю, прокашлявшись и проведя руками по усамъ, крѣпко стиснули другъ друга въ губы.

Сейчасъ жена устроила чай — и посыпались разговоры. Уже самоваръ давно потухъ, уже за плетнемъ послышалось блеянье возвращавшагося стада, а мы все говорили и говорили, и все казалось, что мы только еще начали говорить и къ главному предмету разговора еще не подошли.

— Ну, какъ мы съ тобой согласимся? Вѣдь мы вегетарианцы, — сказалъ я гостю, когда на другое утро зашелъ въпросъ объ обѣдѣ: — мясной пищи у насъ совсѣмъ нельзя до-
стать.

— А это? — указалъ гость на гулявшаго въ саду теленка.

— Что? — спросилъ я, не понимая.

— А мясная-то пища. Вѣдь это показано въ библии.

— Да мы не по библии здѣсь живемъ! — сказалъ я, расхо-
хотавшись.

Я припомнилъ, что въ той далекой теперь губерніи, гдѣ мы когда-то служили оба, крестьяне все справлялись съ библией, что можно ѣсть и чего нельзя, и часто обращались къ намъ за справками: „Можно ли, Сергѣичъ, ѣсть зайца? сказываютъ, въ библии онъ причисленъ къ лѣсной собакѣ?“ — „Не

грѣхъ ли ѣсть мясо убитой молніей скотины? кровь не выпущена, не вышло бы грѣха, справься-ка въ библии”.

— Въ библии показано! — комично-наставительно говорилъ гость. — И вотъ этихъ птичекъ ѣсть показано.

Изъ бурьяна вышла семья куръ, предводительствуемая пѣтухомъ, и направилась къ телѣгѣ, гдѣ осталась недоѣденная лошадьми кукуруза (на Кавказѣ овса лошади почти не видятъ — его замѣняетъ кукуруза).

Я терлся въ разрѣшеніи вопроса, какъ поступить: я зналъ, что гость былъ большой любитель мясного, и перейти на вегетаріанскій режимъ было бы для него равносильно голодовкѣ; съ другой стороны — я былъ убѣжденный вегетаріанецъ, не желающій, изъ принципа, потворствовать никому. Двумъ крайностямъ должна была придти на помощь наша тѣсная дружба. И она примирила ихъ. Гость готовъ былъ выдержать вегетаріанскій режимъ или, какъ говорилъ онъ шутя, „поѣсть травы“, а я употреблялъ всѣ усилія, чтобы кушанья были какъ можно вкуснѣе, и не жалѣлъ сливочнаго масла, сметаны и прочихъ вкусныхъ яствъ.

Мы почти цѣлый день проходили съ нимъ по шиханамъ, озирая окрестности. На каждомъ шагѣ жителю сѣвера приходилось чѣмъ-нибудь восхищаться, и междометія не сходили съ языка. Онъ поражался величественностью открывшейся горной картины. Въ подернутыхъ синеватой дымкой горахъ залегли по лощинамъ вѣчные льды, которые блестѣли на лучахъ солнца серебряной чешуей. Онъ поражался впервые видѣннымъ кавказскимъ лѣсомъ, съ громадными чинарами, стройными обелисками поднимавшимися въ небеса, и удивлялся нашей бурно-шаловливой рѣчкѣ. Купаясь, онъ никакъ не могъ удержаться на камнѣ. Волны сбивали его, камни измѣнически перекачивались подъ ногами.

— Да здѣсь у васъ прямо чудеса Индіи! — воскликнулъ онъ, когда, при возвращеніи съ экскурсіи, перейти нашъ Лескенъ оказалось невозможнымъ. Впередъ мы перешли свободно: ширины было всего сажени полторы, и, перескакивая съ камня на камень, мы легко перешли на другую сторону. Но часа черезъ два она была неузнаваемой. Волны свирѣпо метались въ берега, пѣнились и ревѣли. Невыразимый шумъ стоялъ вокругъ отъ ея волнъ. Сорванные вѣвровые чинары неслись неудержимо, громадные камни перекачивались по дну, издавая глухой рокотъ. Рѣчка сдѣлалась вчетверо шире, и вода была какого-то краснаго оттѣнка.

— Что же это такое у васъ? — спрашивалъ К. такимъ тономъ, какъ будто мы были отвѣтственны за поведеніе нашего

Лескена: ничего не было—и вдруг!.. Мы со страхомъ смотрѣли на горную рѣчку, въ дикомъ веселіи поющую на всѣ голоса, и терялись въ догадкахъ, какъ перейти на свою сторону.

Внезапный разливъ горныхъ рѣчекъ—не рѣдкость на Кавказѣ. Стоить въ горахъ разразиться ливню, и въ долины съ неимоверной быстротой бѣжитъ валь, превращая въ минутѣ игривый ручеекъ въ страшную рѣку, вносящую повсюду разрушеніе и гибель. Но какъ скоро этотъ разливъ появляется, такъ скоро и исчезаетъ. Черезъ часа два, на мѣстѣ неиствующей водной стихіи снова переливается, сверкая на солнцѣ, мирный ручеекъ, неустанно лепечущій съ камешками наивный дѣтскій лепетъ.

Вечеромъ мы пошли съ К. въ сосѣдній домъ, куда собирались въ тотъ разъ наши распить принципиальный самоваръ. Такъ называли его потому, что въ этомъ домѣ какъ-то сами собой за самоваромъ завязывались нескончаемые затяжные споры.

— Вотъ лучшая формула грядущаго человѣческаго братства,—говорилъ при входѣ нашемъ Яковъ:—трудъ по способностямъ, вознагражденіе по потребностямъ. Тутъ все сказано, и такъ въ этой одной фразѣ дивно скристаллизовалось цѣлое ученіе, что получается какъ бы математическая аксіома въ родѣ:—прямая линія есть самое кратчайшее разстояніе. И подъ такое точное опредѣленіе комаръ носа не подпуститъ.

— Позвольте,—сказалъ мой гость, ярый любитель споровъ, едва познакомившись съ присутствующими:—меня эта формула не можетъ удовлетворить.

— Чѣмъ же?—спросилъ холодно Яковъ.

— Да просто тѣмъ, что не всякій можетъ дать обществу необходимую сумму работы, но всякій станетъ требовать себѣ возможно большаго. И выйдетъ то, что наиболѣе дѣятельные элементы про свои потребности позабудутъ, а лѣньивые будутъ еще болѣе развѣивать ихъ на счетъ трудящихся. Гдѣ же тутъ справедливость? Вѣдь прогрессъ долженъ вести насъ прежде всего къ справедливости.

— Вы забываете, что будущее общество будетъ далеко не похоже на современное намъ. Во всякомъ случаѣ, оно будетъ исполнено чувствомъ долга и уваженія къ производительнымъ силамъ общества.

— Я думаю наоборотъ,—сказалъ К.:—человѣкъ всегда останется человѣкомъ, но не богомъ. Если бы онъ былъ богомъ, то давно уже и былъ бы имъ.

— Но въ то отдаленное отъ насъ время распоряжаться имъ будетъ не отдѣльная личность, а будетъ избрано особое

учрежденіе, распределяющее потребности и обязанности на основахъ разума и справедливости.

— А разъ будетъ надо мной особое учрежденіе, которое станетъ впрягать меня въ ненавистную мнѣ работу и удовлетворять мои потребности, какъ я не желаю, то тутъ уже нѣтъ свободы, а есть насиліе личности подъ яркимъ флагомъ справедливости.

— Напротивъ, насилія никакого тутъ не будетъ: если тебѣ говорятъ люди, избранные тобой же,—развѣ въ ихъ компетентныхъ совѣтахъ увидить кто насиліе? Нѣтъ, о насиліи не будетъ и мысли, но не будетъ также и той разнузданности личности, какая замѣчается въ современномъ обществѣ.

— Да скажите, пожалуйста, — съ жаромъ проговорилъ К.:— какъ понятіе потребности подвести подъ одинъ общій критерій? Я думаю, абсолютнаго понятія потребности не существуетъ. Для одного является то потребностью, что для другого — роскошью. Ну, вотъ, напр., я затрачиваю мѣсяцъ на поѣздку къ вамъ, которая стоитъ столько денегъ, что какой-нибудь смирный мужикъ прожилъ бы на нихъ годъ съ семьей. Я ѣхалъ во второмъ классѣ, потому что въ четвертомъ и третьемъ я чувствовалъ бы страшное душевное угнетеніе. Эта вѣчная вагонная сутолока и тѣснота, близость къ грязному простонародью, спертый воздухъ, необходимость спать сидя — все это измотало бы меня, и я навѣрное не на шутку бы расхворался. Между тѣмъ, для какого-нибудь осетина представляется раемъ — и въ четвертомъ классѣ: все лучше, чѣмъ скрипучая осетинская арба. Наконецъ, и сама поѣздка къ вамъ — какъ полагаете, господа, — потребность или прихоть?

— Конечно прихоть, — сказалъ кто-то.

— А я говорю, что это — потребность. Для осетина нѣтъ, а для меня — потребность. Я настолько развился, что меня ужъ не интересуешь, напр., ѣхать въ шантанъ, слушать какую-нибудь цыганку Стешу; не пойду я и въ болото искать дупелей, а вотъ потребность съѣздить къ вамъ, ознакомиться съ невиданными формами общественной жизни, — поѣздка эта для меня является такой же потребностью, какъ покупаемая мной дорогая книга, въ то время какъ миллионы простонародья зачитываются еще копѣчными книжонками съ Никольской улицы.

— Да я имѣю право не только на все это, — продолжалъ расходившійся гость, — я имѣю право на кофе, на шоколадъ, на тонкія вина, на кондитерскія печенья; такъ я не самъ себя сдѣлалъ; такимъ я подготовленъ многочисленными предшествующими поколѣніями, которыя меня изнѣжили, развратили и извратили

мою природу до того, что я не могу физически питаться ячменнымъ хлѣбомъ, пить прокислый квасъ, ѣсть какъ лакомство тухлую рыбу. Повторяю, это такъ же невозможно, какъ заставить вѣнценоснаго льва питаться капустой и грибами. Пусть это останется пищей только козловъ. Вѣдь вы уморите меня съ голоду съ вашимъ будущимъ строемъ. А вѣдь насильственное умерщвление людей, можетъ быть и отошедшихъ отъ нормальнаго типа, не входить въ вашу программу, господа?

— Вѣдь я не виноватъ же, господа, — продолжалъ онъ, все болѣе горячась, — я имѣю право жить, хотя бы я былъ и съ извращенной природой? Вотъ почему я считаю вашу формулу — трудъ по способностямъ, а вознагражденіе по потребностямъ — никуда не годной.

— Ну, хорошо, — говорили наши, — допустимъ, что мы признали за вами право ѣсть пирожки, выписанные отъ придворнаго пекаря Филиппова, и курить гаванскія сигары, — но кого же обязать готовить все это? Нельзя же для этого закабалить низшую породу людей. Вѣдь эта мѣра навѣрное и въ вашу программу не входить?

— Я этого не касаюсь, — отвернулся К.: — какъ осуществить будущую человѣческую жизнь — это совершенно особый вопросъ. Я только хотѣлъ выяснитъ, какъ невѣренъ тотъ путь, по которому пришли благодѣтели человѣчества къ сказанной дикой формулѣ.

Владиміръ, все время почти молчавшій, съ напряженнымъ вниманіемъ слушавшій доводы новаго лица, вдругъ поднялся изъ-за стола и рѣзко проговорилъ:

— Видимо, вы ни къ чему сегодня не придете, господа! Не пора ли идти работать?

— Какъ не придемъ? — сказалъ К., не ожидавшій такого рѣзкаго оборота длиннаго спора: — Расходиться, прежде чѣмъ придти къ какимъ-либо выводамъ, по меньшей мѣрѣ... малодушно!

— Да вы ужъ пришли къ выводамъ, — сказалъ Владиміръ. — Едва-ли я ошибусь, если скажу, что вы повторили взгляды бѣлой кости чистѣйшей воды. Я самъ былъ когда-то помѣщикомъ, и знаю, какъ хорошо быть въ положеніи бѣлой кости. Но мнить себя этой бѣлой костью можно только до тѣхъ поръ, пока остаешься въ языческомъ міропониманіи. Съ усвоеніемъ христіанскихъ принциповъ у человѣка является иное направленіе въ пользу отрѣшенія отъ Филипповскихъ пирожковъ для идеи братства и равенства. Такого человѣка уже не смущаетъ отсутствіе пирожковъ: аппетитъ у него изысканнѣе, духовный полетъ выше.

Къ намъ прїѣзжало много разнаго люда. Ихъ всѣхъ можно раздѣлить на двѣ рѣзкія категорїи. Одни прїѣзжали съ цѣлью посмотрѣть на жизнь на новыхъ началахъ — труда и братства, помѣрить свои силы. И если силы позволяли — сами входили въ эту жизнь. Чувствующіе заранѣе свое безсиліе прїѣзжали просто посмотрѣть, полюбоваться издали на нашу жизнь, не задаваясь мыслью самому когда-нибудь жить такой же жизнью. Всѣхъ этихъ гостей я называлъ бы ищущими правды. Но была и другая категорїя. Это — искатели прїюта въ непогоду жизни. Каждую зиму стучались къ намъ эти бѣдныя ласточки въ окна. Мы, въ сущности бѣдники, едва провармливающие сами себя, не могли не отворить передъ ними двери. Эти бѣдныя птички пролетѣли весь свѣтъ, а въ непогоду сѣдѣть укрыться въ наши бѣдныя хижины. Это умиляло насъ и бодрило. Значить, у насъ было хорошо, что люди за тысячу верстъ разыскивали нашъ поселокъ. Значить, дѣйствительно нашъ путь правдивъ и мы уже успѣли заслужить въ массахъ довѣріе.

Помню одну изъ такихъ ласточекъ. Какая-то учительница съ Волги. Она только-что прочитала романъ. Не изъ книги, а на своей собственной жизни. Какъ заправскій романъ, ея романъ окончился пикантнымъ эпилогомъ.

„Онъ“ куда-то исчезъ, перевелся въ другую губернію (онъ былъ ветеринарный врачъ). Какъ въ настоящемъ романѣ, „ей“ пришлось нести послѣдствія. Прошла „слава“, начальство отказало отъ мѣста. А тутъ еще предстояло въ скоромъ времени сдѣлаться матерью. Въ тоскѣ по немъ, убитая неожиданностью развязки, безъ всякихъ средствъ къ жизни, она прїѣхала къ намъ. У насъ она отогрѣлась, повеселѣла, — настолько, что заронились планы на будущее. Роды не помѣшали ея жизнерадостному настроенію. Прожила зиму, настало лѣто. Она радовалась роскошному кавказскому лѣту. Но что-то стала болѣть грудь и не унималась. Прїѣхавшій къ кому-то въ гости докторъ выслушалъ грудь, краснорѣчиво помолчалъ и совѣтовалъ сильнѣе питаться и держать грудь на лучахъ солнца, — „чтобы получился загаръ“. Лескевъ далъ ей здоровую и обильную пищу и горячее, любящее солнце. По цѣлымъ часамъ лежала она гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ — въ саду на шиханѣ, открывъ грудь пламеннымъ, животворящимъ лучамъ. Но ласточка не отогрѣлась и скоро померла.

Прїѣхалъ одинъ актеръ съ разбитыми нервами, обозленный на міръ. Онъ игралъ на какой-то столичной сценѣ, но интрига выбросила его за двери, и онъ очутился на улицѣ. Онъ куда-то поѣхалъ и, услышавъ дорогой про нашу колонію, заѣхалъ къ

намъ. Онъ прожилъ у насъ нѣкоторое время и все рассказывалъ намъ, какъ онъ дивно игралъ „вторыхъ любовниковъ“ и какъ злые завистники прервали его артистическую дѣятельность. Работать онъ ничего не хотѣлъ, увѣряя, что трудъ нехорошо вліяетъ на творческую душу. Трудъ надо отдать людямъ, которые ничего не могутъ дѣлать, какъ только трудиться, но не артистамъ. Поживъ немного, онъ уѣхалъ, и больше мы его не видали. Зачѣмъ онъ пріѣзжалъ? Что думалъ у насъ онъ встрѣтить?

Гигантская статуя Свободы стоитъ передъ Нью-Йоркомъ, освѣщая рефлекторомъ даль океана. Говорятъ, когда на океанъ спустится черная, черная ночь, и завоюетъ холодный вѣтеръ, а злые демоны, враги всего живущаго, встанутъ и завьются въ пространствахъ, заманивая живое на погибель,—тысячи птичекъ, обесиленныхъ долгимъ перелетомъ и испуганныхъ ночью, летятъ на рефлекторъ — съ вѣрой встрѣтить царство серебрянаго свѣта въ осеннюю черную ночь — и встрѣчаютъ холодное, жесткое стекло. Ударившись о него, — онѣ падаютъ бездыханными трупами.

Увы! наша колонія не тотъ же ли былъ рефлекторъ въ темную ночь общественной жизни? Что могъ дать онъ бѣднымъ ласточкамъ, летящимъ на его обманчивый свѣтъ? Колонія могла еще дать что-нибудь людямъ сильнымъ, съ бодрой вѣрой въ свои силы, но не людямъ разбитымъ и разочаровавшимся во всемъ.

Не забыть мнѣ никогда еще одного гостя. Этотъ уже былъ не похожъ на ласточекъ. Старикъ-крестьянинъ изъ чигиринскаго уѣзда пришелъ къ намъ пѣшкомъ посмотреть на нашу жизнь. Этотъ гость всецѣло можетъ быть отнесенъ къ разряду нашихъ гостей, которыхъ я выше назвалъ ищущими правды. Но какъ онъ искалъ ее, этотъ гигантъ-старикъ, съ какимъ упрямствомъ, и какая великая мощь души сказывалась при этомъ!

Паспортовъ ни за что онъ не признавалъ, и благодаря этому много разъ сидѣлъ въ тюрьмѣ. Посидитъ, выпустятъ — и опять пойдеть по Руси въ поиски правды, пока не натолкнется снова на людей, которымъ во что бы то ни стало нуженъ отъ этого безобиднаго старика „видъ на жительство“.

Мы приходили въ восторгъ отъ его теорій. Жизнь полна зла, потому что люди, какъ звѣри, принуждены бороться за кусокъ хлѣба. Люди — съ „вдутой“ божественной душой, но если находятся въ звѣриныхъ условіяхъ — превращаются скоро въ звѣрей. И люди переѣли бы всѣ другъ друга, если бы Богъ не далъ имъ одного средства. „Выберите человѣка и создайте хотя ему одному, не звѣриныя, а божественныя условія“, — сказалъ Богъ: —

„чтобы этотъ избранный человѣкъ не зналъ необходимости борьбы за существованіе, чтобы онъ выше былъ земныхъ мыслей“. И такой человѣкъ называется царь. Онъ имѣетъ всѣ условія для роста своей души вплоть до приближенія къ божеству. Ему одному хорошо ясна божья правда, и онъ чутко слѣдитъ, чтобы эта божья правда не нарушалась на землѣ, чтобы въ народѣ не изсякалъ ея источникъ.

Царь русскій, царь нѣмецкій, царь англійскій и цари всѣхъ другихъ земель — поставлены на то, чтобы блюсти въ народѣ правду. Но правды нѣтъ, люди звѣрѣютъ все болѣе. Отчего это? Оттого что цари заслонены отъ народа кучкой приближенныхъ враговъ народа. Истинное положеніе вещей скрывается. Цари думаютъ, что все хорошо, и ничего не предпринимаютъ къ возвращенію на землю правды. Вотъ и надо царямъ какъ-нибудь дать знать...

И старикъ изъ Чигирина посылалъ многимъ царямъ особые циркуляры, „заявленія“, какъ онъ ихъ называетъ, въ которыхъ говорилось о насиліяхъ, которыя чинятъ народу чиновники, и способы ихъ устраненія. Такія заявленія онъ писалъ и „царю австрійковъ“, и румынскому царю, и многимъ другимъ, „но отвѣта не получалъ, — должно быть, чиновники не передали“, объяснял онъ спокойно. Нѣтъ нужды упоминать, что старикъ не мало потерпѣлъ изъ-за рвенія прогнать неправду съ земли. Онъ насчитывалъ чуть не полжизни, проведенной имъ по тюрьмамъ, но это его не разочаровывало, наоборотъ, только болѣе укрѣпляло въ правотѣ своихъ убѣжденій. Онъ пожилъ у насъ, принимая участіе въ нашихъ работахъ, и однажды вечеромъ вдругъ собралъ свою котомку и ушелъ. „Треба до персидцаго теперечки“ — сказалъ онъ на прощанье: — „если всѣ молчатъ, то какой-нибудь царь зробить же народу правду. Безъ того не можетъ быть“.

Гдѣ ты теперь, милый, любящій старикъ? До какого царя дойдетъ еще твоя ищущая душа?

Мы написали о немъ Толстому, и Левъ Николаевичъ не замедлилъ прислать намъ отвѣтъ.

„Какой хорошій вашъ кievскій старикъ, подающій прошенія!“ — писалъ онъ. — „Этими людьми міръ стоитъ. Онъ такъ рѣшительно хочетъ уничтожить зло, море зла вычерпнуть, что зло его испугается“.

VII.

Въ нравственномъ отношеніи жизнь въ Лескенѣ меня сначала удовлетворяла вполне. Обитатели его были люди интеллигентные, критически мыслящіе и стремящіеся освободиться отъ предрасудковъ. Они работали надъ собой и старались совершенно искренно не приносить ближнему никакихъ непріятностей. Но мое существованіе отравлялось беспокойною мыслью о томъ, на какіе ресурсы жить въ колоніи. Съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе выяснялось, что хозяйство на Лескенѣ не можетъ прокормить насъ, между тѣмъ денежные запасы постепенно приходили къ концу. Сумма, которая была мнѣ нужна для сноснаго существованія въ Лескенѣ, была, правда, не большая: не больше десяти рублей въ мѣсяцъ. Но являлся острый вопросъ: откуда взять эти деньги? Заработковъ никакихъ не было; продавать излишки своихъ продуктовъ нельзя было по той простой причинѣ, что излишковъ этихъ еще не было, и ожидать ихъ нужно было, по крайней мѣрѣ, года черезъ три. Желая избѣжать расходовъ на одежду, я донашивалъ старые пиджаки и жилеты, оставшіеся отъ прежней вавилонской жизни. Осеннее пальто, сильно выцвѣтшее, въ которомъ бы нельзя и показаться въ той жизни, вѣдьсъ отлично выполняло свое назначеніе. Жена перешивала свои платья съ отдѣлкой на болѣе простые, а изъ обрѣзковъ ухитрялась выкраивать дѣтямъ рубашки. Свое осеннее пальто пришлось ей передѣлать въ короткій „сакъ“, такъ какъ понадобилось спать сынишкѣ теплую куртку. Я терялся въ мысляхъ, обдумывая, какъ устроить свое хозяйство, чтобы жить самостоятельно къ тому времени, когда въ карманѣ уже ничего не останется и нечего будетъ ни обрѣзывать, ни перекраивать. Трагизмъ положенія увеличивался еще тѣмъ, что всякій промыселъ, всякое стремленіе извлечь какую-нибудь матеріальную выгоду считалось въ колоніи противнымъ нравственнымъ понятіямъ. Изъ-за этого часто у насъ выходили споры, но споры эти ничего по обыкновенію не уясняли, и каждый оставался при своемъ мнѣніи, только прибавлялось чувство озлобленія къ своимъ оппонентамъ. Если, напримѣръ, остающееся сѣно погодить продать до весны, когда цѣна на него поднимается, это считалось редосудительнымъ: это означало пользоваться народной нуждой, ты бы сѣно поступало состоятельнымъ осетинамъ или даже рекупщикамъ. А между тѣмъ строй міра на каждомъ шагу

заставлялъ насъ считаться съ нимъ. Мы сами платили часто прямо неслыханныя цѣны лишь потому, что во-время не хотѣли пользоваться дешевыми цѣнами на нужные намъ предметы. Одинъ разъ я хотѣлъ было устроить въ небольшихъ размѣрахъ мыловаренный заводъ. Все говорило за то, что это скромное предпріятіе вознаградило бы за труды: кругомъ было развито скотоводство и главный элементъ мыловаренія — сало — можно было всегда достать по недорогой цѣнѣ. Казалось бы, что предпріятіе для изготовленія продукта, содѣйствующаго чистотѣ и оздоровленію населенія, нужно бы считать въ высшей степени полезнымъ предпріятіемъ, имѣющимъ для глухого края культурное значеніе. Но это по понятіямъ правовѣрныхъ толстовцевъ былъ великій грѣхъ. Мы вѣдь всѣ были вегетаріанцы — какъ же можно имѣть дѣло съ предметами, получаемыми черезъ убійство животныхъ? А вторыхъ, вѣдь наше мыловареніе все-таки имѣло видъ коммерческаго предпріятія. Такъ ничего и не вышло, и вегетаріанцы вынуждены были попрежнему ѣздить за мыломъ за 80 верстъ и платить за плохое, почти неприсушенное мыло по 12 к. за фунтъ.

Я путался въ мысляхъ, терялся въ догадкахъ — гдѣ же въ самомъ дѣлѣ взять средствъ, чтобы существовать на избранномъ трудовомъ пути и какое выбрать для себя подсобное занятіе, которое не было бы противно лескенской совѣсти. И я остановился на молочномъ дѣлѣ. Вотъ это, думалъ я; ужъ никому не можетъ быть во вредъ. Самое чистое, божеское дѣло. Разводить хорошую породу скота, вводить въ свое дѣло рациональные способы маслодѣлія, сыродѣлія — что можетъ быть полезнѣе для дикаго пастушескаго края? Я купилъ нѣсколько коровъ „нѣмецкой“ породы (въ нѣмецкихъ колоніяхъ въ сѣверномъ Кавказѣ разводится довольно молочная порода, которая въ средѣ казачьяго населенія была извѣстна подъ кличкой „нѣмецкой“), купилъ небольшой сепараторъ (на три съ половиной ведра въ часъ).

— Ты что-же, хочешь поставить свое хозяйство на промышленную ногу? — спросилъ меня какъ-то Петръ, заставъ меня за обертываніемъ сливочнаго масла въ пергаментную бумагу. И не дождавшись отвѣта, погрозилъ шуточно пальцемъ и произнесъ:

— Ахъ, Антонъ! не позабывай бы ты евангельскаго изреченія: „идите узкими вратами“...

— Ты кому же намѣренъ масло продавать? — спросилъ онъ немного погодя: — бѣднякамъ?

— Бѣднякамъ не по средствамъ дорогое сливочное масло,

сказалъ я не безъ смущенія:—я буду возить его въ Владивѣазъ.

— Значить, будешь кормить сливочнымъ масломъ тамошнихъ отставныхъ генераловъ? — сказалъ чуть не съ гнѣвомъ Петръ. Въ Владивѣазѣ, дѣйствительно, жило тогда много военныхъ въ отставкѣ, которые обзавелись даже домами и жили на пенсіи на дачномъ положеніи.

— Что-жъ!—продолжалъ злобствовать Петръ:—они служили дорогому отечеству, и дорогое отечество ихъ не забыло и дало имъ пенсію. Они поселились въ благословенномъ климатѣ, чтобы продолжить свое драгоцѣнное здоровье. И ты поселился также возлѣ того города, и всю жизнь будешь класть на то, чтобы кормить отставныхъ генераловъ сливочнымъ масломъ. Ты недурной избралъ, братъ, жребій!

— Идите тѣсными вратами въ царствіе Божіе! — говорилъ Петръ:—а вѣдь сознайся, ты выбралъ широкую дорогу — и по евангелію жить, и генераловъ кормить сливочнымъ масломъ.

У меня даже голова закружилась отъ такихъ словъ. Въ самомъ дѣлѣ, вся моя „индустрія“ сводилась въ сущности къ тому, чтобы у генераловъ было къ столу всегда свѣжее масло. И они будутъ наказывать меня матеріально, если я буду опаздывать въ городъ съ масломъ и лишать ихъ чайный столъ вкуснаго продукта. Но чѣмъ же тогда жить?

Но и заглядываніе въ ротъ своей богатой роднѣ также некрасиво, — думалъ я потомъ, — а вѣдь мои суровые критики часто прибѣгаютъ къ этому средству въ отчаянныя минуты безденежья. И я на время утѣшился этой мыслью. Правда, она ничего положительнаго мнѣ не говорила, ни къ чему не приводила, но мнѣ было пріятно сознавать, что и другіе—не святые, и если не кормятъ генераловъ, то сами заглядываютъ въ ротъ генераламъ и генеральшамъ.

Наступила осень. Потянулись къ намъ въ долину густые холодные туманы, и убійственная, гнетущая душу мгла заволакивала нашъ поселокъ, казавшійся теперь какимъ-то жалкимъ, пришибленнымъ. Движеніе тумановъ имѣло почти правильную періодичность. Ночью съ горныхъ ущелій дулъ вѣтеръ, и туманъ угонялся къ сѣверу, въ степныя низины. Надъ поселкомъ зажилась тысячами звѣздъ таинственная холодная ночь. Но только станетъ утро, съ сѣвера дулъ на нашъ поселокъ вѣтеръ, изъ епей наползалъ къ намъ туманъ, и мгла воцарялась настолько льная, что днемъ приходилось бродить чуть не ощупью. И устно становилось на душѣ. Чувствовалась оторванность отъ

міра, какое-то состояніе сиротливости. Это чувство сиротливости естественно тянуло къ тѣсному сближенію насъ, поселянъ, другъ съ другомъ. Но, за немногими исключеніями, приходилось констатировать отсутствіе между нами этой тѣсноты отношеній... Какъ ни странно, но каждый домъ жилъ почему-то отдѣльной жизнью и сношеніе съ другими домами носило какой-то случайный характеръ. Нерѣдко казалось это сношеніе даже вынужденнымъ. Выйдетъ у кого-нибудь сахаръ, печеный хлѣбъ, сосѣдка придетъ просить и на минутку присядетъ и поговорить. Съ нѣкоторыми сношенія сводились прямо къ нулю, благодаря полному взаимному отсутствію интереса другъ къ другу. Жена врача оставалась одна съ своимъ маленькимъ сыномъ и цѣлую зиму никуда не выходила. Время, которое оставалось у нея отъ работъ по дому, она посвящала чтенію романовъ, которые въ избытѣ присылали ей мужъ, находясь на службѣ въ сосѣдней области. И къ ней никто не заглядывалъ во всю зиму. Казалось, она была обречена на какое-то одиночное заключеніе. Для меня было мучительно видѣть такое положеніе вещей, и я неоднократно обращался съ вопросомъ къ своимъ „братьямъ“:—Почему никто изъ васъ не ходитъ къ Ольгѣ Андреевнѣ? Вѣдь не хорошо предоставлять человѣка самому себѣ, притомъ въ такомъ безлюдьи!

— Да что-жъ ходить? — отвѣчали мнѣ равнодушно:—вѣдь она тоже къ намъ не ходитъ, стало быть не желаетъ нашего общенія. Зачѣмъ же мы будемъ навязываться?

Въ бесѣдѣ между собой они нерѣдко посмѣивались надъ ея слабостью къ романамъ. Предоставленная самой себѣ, она развила въ себѣ эту слабость въ страсть, и романъ за романомъ поглощались ею почти непрерывно. Романы для нея были своего рода наркомомъ, въ родѣ табаку или водки, и развившуюся потребность въ нарковѣ я приписываю всецѣло безобразнымъ условіямъ общественности на поселкѣ.

Помню одинъ разговоръ за ужиномъ о ней.

— Какъ назвать, господа, даму, читающую непрерывно романы, въ родѣ нашей Ольги Андреевны? Даму, которая сочиняетъ романы, зовутъ романисткой, а какъ назвать ту, которая читаетъ ихъ запоемъ?

— Романей!—сказалъ кто-то, и всѣ долго смѣялись въ тотъ вечеръ надъ ея страстью.

Какъ знать?.. Можетъ быть, она жила въ извѣстномъ мірѣ фантазій, созданномъ воображеніемъ романистовъ, потому что окружающая дѣйствительность, къ которой когда-то она страстно стремилась и въ которую она такъ долго вѣрила, обманула ея

мечты. А тѣ люди, среди которыхъ жить казалось еще такъ недавно какимъ-то несбыточнымъ счастьемъ, теперь сдѣлались для нея такими неинтересными и жалкими...

Когда мнѣ приходится упоминать о разныхъ несимпатичныхъ сторонахъ нашей колонистской жизни, мною овладѣваетъ какое-то беспокойное чувство, подобное угрызению совѣсти. Какое я имѣю право описывать дурное такихъ людей, которые по вѣстимъ на себя задачамъ, по самоотверженному стремленію идти по тернистому пути евангельской истины заслуживаютъ безспорно уваженія и почтенія? Вѣдь вся ихъ жизнь—это добровольная борьба съ разными недостатками общественной жизни: въ непрерывной работѣ душа утомляется, какъ и тѣло, и дѣлается способною къ временному усыпленію. Но только къ временному!.. Этими наши колонисты рѣзко отличались отъ простыхъ людей, не задающихся никакими нравственными задачами.

Меня спросятъ: почему же наша трудовая жизнь матеріально не могла насъ удовлетворять? Долго мучился и самъ я надъ этимъ вопросомъ. Все, казалось, говорило за то, что нашъ упорный трудъ долженъ былъ вознаграждать насъ и давать намъ возможность жить самостоятельно. Наша трудоспособность, въ общемъ, была не ниже, чѣмъ у настоящихъ мужиковъ. Любовь къ труду у насъ возводилась въ главную добродѣтель. Мы работали даже больше, чѣмъ крестьяне: они отдыхали въ праздники и устраивали именины и проч., мы же каждый день работали почти буквально отъ зари до зари, работали и въ праздники. Отдыхали мы только во время обѣда часа на два. Бюджетъ нашъ не превышалъ нормы крестьянскаго бюджета. Расходы на пищу и одежду сведены были до минимума. На книги и газеты не тратились совсѣмъ, такъ какъ онѣ намъ посылались бесплатно разными сочувствующими намъ друзьями, часто даже неизвестными лично. Правда, мы больше крестьянъ дѣлали расходъ на почтовые марки. Мы не скупились на общеніе съ друзьями вѣдомыми и невѣдомыми, разбросанными не только по лицу земли родной, но и далеко за предѣлами ея. Такъ что, въ общемъ, на каждую семью приходилось на почту не менѣе пяти рублей въ годъ. Но эта расходная статья все же не могла увеличить обыкновенный расходъ средней крестьянской семьи: у насъ вѣдь зато не было расходовъ на водку и т. п. Мы поставлены были въ лучшее экономическое положеніе еще и потому, что сидѣли на собственной землѣ и, стало быть, не приходилось дѣлать затраты на плату арендныхъ денегъ.

Почему же мы не могли прокормиться отъ своего хозяйства?

Кажется, можно дать этому странному явленію единственное объясненіе: было неудачно выбрано мѣсто подъ поселокъ. Трудно было выбрать для поселенія болѣе неудачное мѣсто, чѣмъ то, которое послѣ долгихъ поисковъ выбрали Владиміръ съ Дадіани. Въ то же время въ такомъ благодатномъ краѣ, какъ Кавказъ, не легко было найти подходящее мѣсто: иное и всѣмъ хорошо, но тамъ свирѣпствуютъ страшныя лихорадки, обрекающія на гибель даже и коренное населеніе; въ иномъ мѣстѣ нельзя было достать воды, и приходилось ѣздить за водой верстъ за десять съ бочками; иная мѣстность положительно была неудобна для мирнаго земледѣлія по причинѣ разбоевъ и грабежей; съ которыми русскія власти положительно ничего не могутъ подѣлать.

Послѣ долгихъ поисковъ по Кавказу, Владиміръ съ Георгіемъ облюбовали, наконецъ, участокъ, который и рѣшили приобрести подъ поселокъ. Приѣхавъ, они много насказали лестнаго о найденномъ участкѣ своимъ семьямъ и товарищамъ и послѣ долгихъ обсужденій окончательно остановились на Лескенѣ.

Остается загадкой, почему могли обмануться на немъ люди серьезные и знающіе толкъ въ землѣ? Какъ могли они не замѣтить самаго главнаго недостатка, отъ котораго, черезъ нѣсколько лѣтъ спустя, пришлось колоніи переселиться на другое мѣсто? Этотъ упрекъ относится въ особенности къ Владиміру, бывшему помѣщику и не впервые покупавшему землю.

Дешевизной ли своей (земля обошлась по 35 р. десятина со всѣми расходами по купчей), живописностью ли мѣстности, расположенной вблизи горнаго хребта съ фантастически изваянными обелисками, горными пиками, свѣсившимися массивами, сверкающими на солнцѣ глетчерами? Но главнаго-то на участкѣ не было: хорошей почвы и достаточнаго тепла для успѣшной культуры. Бѣглый осмотръ участка, казалось, могъ бы дать довольно точное представленіе о томъ, насколько онъ способенъ былъ вознаграждать труды земледѣльца. Уже по одному тому, что въ соседнемъ осетинскомъ аулѣ не было садовъ и преобладающею отраслью хозяйства было скотоводство, можно было сказать напередъ, что мѣстность находится на такой высотѣ, что даже коренные обитатели не мечтаютъ о земледѣльческомъ хозяйствѣ. Глухая лѣсная поросль, покрывавшая болѣе трехъ четвертей участка, обиліе въ почвѣ камней и тонкій почвенный слой—все говорило не въ пользу участка. Безъ сомнѣнія, нашихъ согластеевъ обѣтованной земли очаровала эстетическая сторона участка. А очароваться, надо сказать по справедливости, было легко. Чудный величественный горный ландшафтъ, весело гремящая п

каменьямъ горная рѣчка, чинаровые лѣса, поднявшіеся кругомъ по шиханамъ, и глушь, глушь настоящая, поэтическая глушь, по которой стосковалась измученная городской сutoлокой душа интеллигента.

Въ первый же годъ послѣ поселенія на этомъ участкѣ выяснилось, по какимъ причинамъ не суждено поставить здѣсь сноснаго земледѣльческаго хозяйства: Причины эти—небольшое количество пахотной земли; большая часть участка должна была пустовать, такъ какъ покрыта была частымъ дубовымъ лѣсомъ—молоднякомъ, выкорчевывать который было бы слишкомъ дорого; обиліе дождей, стоящихъ цѣлыми недѣлями и въ то самое время, когда ведется пахота, сѣвность, уборка хлѣба. Всѣ эти обстоятельства какъ бы опредѣляли заранѣе типъ хозяйства. Типъ этотъ долженъ былъ приближаться къ скотоводству. Но наши поселяне почти всѣ были ярые фанатики земледѣльческаго труда и измѣнять намѣченный хозяйственный планъ ни за что не соглашались.

— Что же, по-твоему, намъ кормиться, какъ пастухамъ, однимъ кефиромъ?—говорили они мнѣ.

— Затѣмъ же кефиромъ?.. Напротивъ, при преобладающей отрасли скотоводства у насъ будетъ хлѣба больше, чѣмъ у земледѣльца, и хлѣбъ этотъ намъ будетъ доставаться съ меньшимъ трудомъ.

— А ты хочешь все увильнуть отъ хлѣбнаго труда!—обыкновенно замѣчалъ при этомъ Георгій:—Нѣтъ, Антонъ, въ потѣ лица ѣшь хлѣбъ твой,—это заповѣдь самого Бога, и тяжелыя условія нашего труда должны послужить намъ на пользу; они разовьютъ наши способности къ труду, укрѣпятъ наши мускулы. Тебѣ бы все полегче—ахъ, несчастный!

— Я, положительно, не понимаю васъ, господа,—не на шутку горячился я:—вѣдь конкурировать со степью мы не въ состояніи. Затѣмъ же намъ попусту тратить свои силы на производство своего хлѣба, который, положимъ, обойдется намъ въ 60 коп. пудъ, когда за сто верстъ отсюда цѣна ему 20 коп.?—И я излагалъ свой проектъ. Чтобы быть съ хлѣбомъ своимъ, надо снять въ степи у знакомыхъ казаковъ десятины три земли, на которой и сѣять хлѣбъ. Эта земля могла бы дать въ самомъ неудачномъ лучаѣ урожай, вполне обезпечивающій годовое прокормленіе всего поселка. На своей землѣ я проектировалъ заниматься культивированіемъ такихъ растений, которыя могутъ родиться хорошо на большой высотѣ. У насъ могли хорошо произрастать самымъ образомъ капуста, картофель и огурцы. Эти растения

давали всегда богатые урожаи, и проданные излишки могли бы дать намъ средства на удовлетвореніе своихъ нуждъ. Но главная статья дохода должна была заключаться въ скотоводствѣ. Прекрасные сѣнокосы, огромный выгонъ (около ста десятинъ), короткая и теплая зима, все давало возможность имѣть широко поставленное скотоводство. Однако, наши и слушать это не хотѣли и продолжали сѣять пшеницу, дававшую самъ-три, и кукурузу, не каждый годъ дозрѣвавшую вполнѣ и сильно терпѣвшую отъ набѣговъ кабановъ. Впослѣдствіи, впрочемъ, только въ принципѣ согласились со мной. Но на дѣлѣ трудно было выполнить, такъ какъ денежные запасы у каждого уже истощились. Чтобы использовать всѣ наши пастбищныя и сѣнокосныя угодья, надо было завести не менѣе ста коровъ. Для этого былъ нуженъ капиталъ около двухъ съ половиной тысячъ рублей, но ихъ не было. Рѣшили увеличивать стадо постепенно, путемъ сбереженія приплода.

VIII.

Ходьба многихъ русскихъ людей въ былое время по колоніямъ напоминаетъ собою стремленіе обрѣсти обѣтованную землю. Кто не искалъ ее? Кого не манила эта мечта? Ее искали евреи, закованные въ египетскомъ рабствѣ; искали и продолжаютъ искать европейцы, массами эмигрируя на открываемые материки. Вотъ уже сорокъ лѣтъ ее ищутъ наши крестьяне, переваливая за Уралъ, въ далекую тайгу, на пустынный Амуръ. Ищутъ ее и русскіе интеллигенты, желая простора своей изстрадавшейся душѣ. Было время, и оно не такъ еще далеко отъ насъ ушло, когда русскій интеллигентъ видѣлъ обѣтованную землю для себя почти исключительно въ интеллигентныхъ колоніяхъ. И валили туда толпами разные люди, часто безъ всякаго сельскохозяйственнаго знанія, безъ всякой житейской опытности, съ одной только вѣрой въ счастливое будущее, да съ страстнымъ желаніемъ уйти подальше отъ полицейской тѣсноты и чисто животной борьбы за кусокъ хлѣба. И, конечно, розовыя надежды и разные возвышенныя идеи разбивались вдребезги при первомъ приближеніи грубой дѣйствительности. Въ душѣ возникало горькое разочарованіе и, можетъ быть, тайная злоба на „безумцевъ“, смутившихъ ихъ покой...

Въ настоящее время притокъ въ колоніи уменьшился, да и сами колоніи считаются теперь единицами. Но, уменьшившись въ размѣрахъ, онъ поднялся въ качествѣ. Теперь уже вы не встрѣ-

тите, какъ въ былыя времена, такихъ экзальтированныхъ барышень, которыя могутъ идти пѣшкомъ изъ Петербурга въ свою обѣтованную землю, куда-нибудь въ Тверскую или Смоленскую губернію, могутъ во имя идеи питаться въ петровки однимъ хлѣбомъ съ лукомъ и въ то же время при дойѣ коровъ не могутъ отличить на скотномъ дворѣ быка отъ коровы. О такихъ барышняхъ съ платоническимъ желаніемъ жить трудовой жизнью много приходилось слышать въ колоніи. Про одну говорили, что въ первый день по приходѣ въ колонію она захотѣла показать свою работоспособность, „освятить себя въ черномъ трудѣ“, какъ выразилась она, и стала мыть полъ въ избѣ... брокаровскимъ туалетнымъ мыломъ. Другая напросилась полоть грядку съ горохомъ, и она, не видя отродясь, какъ растутъ горохъ, тщательно выполола весь горохъ, оставивъ расти какую-то сорную траву, очевидно принятую ею за горохъ.

Теперь идутъ въ колонію уже серьезные люди, съ необходимымъ запасомъ жизненнаго опыта и умѣньемъ работать. И тѣмъ не менѣе, есть и теперь много неблагоприятныхъ обстоятельствъ, которыя гонятъ интеллигента прочь съ любимой имъ земли, съ любимаго хлѣбнаго труда...

И вотъ наблюдается явленіе аналогичное съ переселенческими движеніями обратно: въ колоніяхъ также наблюдается волна прилива и волна отлива. Одни идутъ работать на землѣ съ надеждой найти свой обѣтованный край, другіе возвращаются назадъ съ разбитой вѣрой въ себя и въ интеллигентныя колоніи и съ опустѣвшимъ кошелькомъ.

Рѣдкіе остаются на продолжительный срокъ. Большинство поживетъ лѣто, годъ, много два и возвращается на свое прежнее пепелище, главнымъ образомъ на службу. Это странное на первый взглядъ явленіе прилива и отлива особенно было замѣтно въ одной колоніи на черноморскомъ берегу подъ Новороссійскомъ. Мнѣ передавали, что за десятилѣтній періодъ существованія въ ней перебивало нѣсколько тысячъ народа. Приходятъ, поживутъ и возвращаются вспять. Сильные духомъ, болѣе упрямые въ исканіи правды на землѣ, идутъ дальше, посѣщаютъ другія колоніи, пока гдѣ-нибудь не осядутъ совсѣмъ. Нѣкоторые, не найдя для себя подходящаго въ Россіи, уѣзжаютъ за границу, въ Швейцарію, въ Америку.

Ищетъ русскій передовой человѣкъ выхода изъ путаницы жизни, нравственной тѣсноты и духоты, страстно рвется онъ на вѣжій воздухъ, на просторъ. Но гдѣ этотъ свѣжій воздухъ и просторъ?..

Въ нашъ поселекъ также немало приходило разнаго люда, въ особенности по лѣтамъ. Но рѣдко кто прїѣзжалъ съ полнымъ рѣшеніемъ остаться. Прїѣзжали просто пожить, посмотреть, поучиться работать. Но были люди, которые, поприсмотрѣвшись, находили нашу жизнь вполне соответствовавшей ихъ возрѣніямъ и оставались у насъ совсѣмъ. Въ мое время такими, напр., были осетинъ Басіевъ и ученикъ александрійскаго института Кузнецовъ. Они пришли къ намъ почти на одной недѣлѣ. Сначала Кузнецовъ. Въ одинъ изъ іюльскихъ вечеровъ, когда уже всѣ пришли съ работы и сидѣли на террасѣ, мирно бесѣдуя въ ожиданіи ужина, въ оградѣ Владиміра показался какой-то человѣкъ съ длинными русыми усами, въ холщевой рубашкѣ и со свѣткой на пальцѣ черезъ плечо. Гости тотчасъ усадили за столъ, поставили самоваръ. Тотчасъ завязалась непринужденная бесѣда.

— Вы, господа, съ сѣнокосомъ управились?—спросилъ гость послѣ общаго прїѣтствій.

— Да нѣтъ еще, все валандаемся, дожди помѣшали,—отвѣтили мы.

— А я торопился поспѣть къ вамъ къ началу сѣнокоса, да въ дорогѣ замѣшкался.

Потомъ онъ сталъ рассказывать намъ про себя. Онъ—сынъ купца, образованіе получилъ въ сельскохозяйственномъ институтѣ. Около трехъ лѣтъ выжилъ въ колоніи на черноморскомъ берегу—„Криницѣ“, но не понравились тамошніе порядки и люди, и пришелъ къ намъ пожить и посмотреть. Многіе изъ нашихъ сами жили въ Криницѣ, и поэтому начались разспросы объ общихъ знакомыхъ и жизни этой сосѣдней съ нами колоніи.

— Ну, какъ поживаетъ Зотъ?

— А самъ Еропкинъ все служить управляющимъ на фабрикѣ?

— Исполнила ли N свою давнишнюю мечту—построить для себя отдѣльный домикъ? Гдѣ теперь X? Вернулся ли изъ-за границы E.? Правда ли, что за обѣдомъ въ Криницѣ удвоили порцію винограднаго вина? Развели ли сады? Обзавелись ли породистымъ скотомъ?

Гость давалъ на всѣ вопросы отвѣтъ.

— Эта колонія теперь не та, чѣмъ вы ее видѣли,—рассказывалъ онъ:—она превратилась въ простое коммерческое учрежденіе. Счета, балансы, набольшіе... Тьфу!—я не вытерпѣлъ убѣждалъ. Представьте себѣ, совсѣмъ христіанскіе принципы выдыхаться стали! Богатые и бѣдные—на каждомъ шагу; властны

и безправные—также. Братства и равенства нѣтъ и въ поминѣ. Но передъ прїѣзжими гостями страшно афишируютъ себя. Портретъ Льва Николаевича виситъ въ столовой на видномъ мѣстѣ.

Кузнецовъ оказался хорошимъ работникомъ. Работа для него была какимъ-то култомъ. Когда не было работы, онъ былъ не въ себѣ и непременно придумывалъ какую-нибудь работу. Выходилъ на работу раньше всѣхъ, и никогда не было примѣра, чтобы онъ первый вспомнилъ объ отдыхѣ. Такіе работники были желательны у насъ, такъ какъ только при такомъ усиленномъ трудѣ колонія могла достичь благополучія, встать на свои ноги.

Дня черезъ три пришелъ Соломонъ Басіевъ, осетинъ изъ сосѣднихъ горъ. Ауль, въ которомъ онъ родился, былъ христіанскій; часть осетинскаго племени принадлежитъ къ магометанской религіи, часть—давно приняла христіанство отъ бывшихъ на Кавказѣ проповѣдниковъ. Но Соломонъ мало зналъ, въ чемъ оно состоитъ. Говорилъ по-русски плохо. Съ самаго ранняго дѣтства онъ жилъ лицомъ къ лицу съ дикой горной природой, которая воспитала въ немъ чистоту и непосредственность чувства. Ему было уже за двадцать-пять, но думалъ и чувствовалъ онъ какъ дитя. До того онъ пасъ стада старшаго брата. Къ намъ пришелъ онъ, чтобы научиться русской грамотѣ и разговору и посмотреть на жизнь „хорошихъ“ русскихъ, какъ онъ сказалъ.

Тихій, скромный, съ мечтательнымъ взоромъ глубокихъ черныхъ глазъ, онъ походилъ скорѣе на какого-то пришельца изъ иныхъ міровъ, спустившагося на нашу землю черезъ снѣговые пики Кавказа. Всѣ его полюбили. Петро взялся учить его грамотѣ вмѣстѣ съ колонистскими дѣтьми. Это былъ способный и довольно любознательный осетинъ, и въ то же время съ такой чуткой совѣстью, что мы удивлялись, какъ этотъ сынъ горныхъ утесовъ могъ дойти до такой интеллигентной высоты! Своей любознательностью онъ, правда, нерѣдко приводилъ въ смущеніе многихъ, которые тяготились объяснять ему какую-нибудь научную теорію при такомъ скудномъ запасѣ русскихъ словъ, какими онъ обладалъ. Большою частью его образованіемъ занимался Петръ, всегда терпѣливый и готовый пожертвовать минутой досуга, чтобы растолковать и объяснить интересующіе его просы.

— Отчего день кончается и солнце уходитъ вонъ за ту гору? Куда оно уходитъ?

— Отчего мѣсяцъ виситъ, и солнце виситъ, и звѣзды висятъ не падаютъ на насъ?

— Собака умереть, кабанъ умереть, человѣкъ умереть. Затѣмъ они живутъ на землѣ и куда они уходятъ съ земли?

— Вотъ человѣкъ добрый живетъ и человѣкъ злой живетъ. Богъ все видитъ. А человѣкъ добрый живетъ и человѣкъ злой живетъ... Затѣмъ это такъ?

Такіе вопросы занимали Соломона.

И когда онъ не удовлетворялся отвѣтами или не понималъ, онъ задумчиво молчалъ, и его ланни глаза печально глядѣли въ синѣющія горы. Можетъ быть, въ эти минуты онъ раскаивался въ томъ, что покинулъ эти горы въ поискахъ за призрачнымъ русскимъ знаніемъ.

Но зато какъ онъ былъ радъ, когда объясненіе его удовлетворяло, какъ чудно мерцали радостью его глаза!

— Теперь поймалъ!—говорилъ онъ по-дѣтски, улыбаясь, а мы не могли удержаться отъ смѣха надъ его своеобразнымъ измѣненіемъ слова—„понялъ“.

— Говори „понялъ“,—высказалъ наставительно ему Петръ,—сколько разъ я тебя поправлялъ, а ты все „поймалъ“.

— Ну, понялъ или поймалъ. Это одно. Поймалъ—хорошо.

И Соломонъ дѣлалъ рукой жестъ, какъ бы что-то ловилъ въ воздухѣ.

А въ области совѣсти онъ былъ у насъ первый судья.

Его нравственный авторитетъ признавался всѣми. Въ какихъ-нибудь недоразумѣніяхъ находили нужнымъ спрашивать у него совѣта, и онъ давалъ просто, ясно, не глядя на лица.

— Ну, скажи, Соломонъ, какъ по-твоему,—спрашивали его часто послѣ дебатовъ, не приводящихъ, по обыкновенію, ни къ какимъ результатамъ, по поводу разныхъ столкновеній:—Кто, по-твоему, правъ, кто виноватъ?

— Ты нехорошо поступилъ, онъ хорошо,—отвѣчалъ обыкновенно Соломонъ по обыкновенію прямо и вслѣдъ затѣмъ оставлялъ спорщиковъ и уходилъ работать.

Оба они стали жить у Георгія и тѣмъ помѣшали осуществиться хозяйственному союзу между мною и имъ. Разъ Георгій пришелъ ко мнѣ на поле, гдѣ я пололъ кукурузу, и, ничего не говоря, сталъ тоже работать мотыгой.

— Пришелъ тебѣ помочь немного,—сказалъ онъ, встрѣтившись съ моимъ недоумѣвающимъ взглядомъ:—я всегда буду приходить къ тебѣ помогать, когда будетъ досугъ. Будемъ помогать другъ другу. У Владиміра семья большая—силы много, а у насъ съ тобой работниковъ нѣтъ. Вотъ и должны мы съ тобою соединиться, чтобы вести хозяйство при обоюдной поддержкѣ. А иначе

и ты, и я не выдержимъ—сбѣжимъ. Жизнь вѣдь трудна здѣсь. Безъ взаимной помощи не обойтись.

Съ этого дня Георгій часто сталъ приходить ко мнѣ помогать. Большею частью онъ дѣлалъ это незамѣтно, безъ моего вѣдома. Утромъ пойдешь, бывало, выгонять коровъ, смотришь—кто-то привезъ изъ лѣса дубняку; или спишь еще, слышишь—кто-то тихонько подойдетъ къ крыльцу, едва слышно брякнетъ ведрами. Встанешь—оказывается, что ужъ идти на родникъ не нужно: воду кто-то ужъ принесъ. Я, конечно, зналъ, кто былъ этотъ добрый геній, и, признаться, тяготился его участіемъ.

— Георгій!—говорилъ я ему:—вѣдь у тебя у самого работы по горло, а ты еще мнѣ помогаешь! Мнѣ какъ-то неловко это, тѣмъ болѣе, что я тебѣ не могу отплатить, такъ какъ все-таки свободнаго времени у меня не бываетъ.

— А ты объ этомъ не заботься, — говорилъ онъ: — когда нужно будетъ, ты мнѣ тоже поможешь. Ахъ, несчастный!—это была его любимая поговорка—ты хочешь еще считаться сосѣдскими услугами!

Мы все хотѣли сговориться съ нимъ относительно соединенія нашихъ хозяйствъ. И Георгій, и я вѣрили, что только въ товариществѣ есть возможность колонистамъ-одиночкамъ не обезсилѣть въ конецъ и не разориться.

Хозяйства наши, соединенныя въ одно, могли бы вполне обезпечить наше будущее: они какъ бы дополняли другъ друга. У него были лошади и орудія, но не было молочнаго скота. У меня, наоборотъ, было много коровъ, заведены почти всѣ необходимыя въ молочномъ хозяйствѣ приборы—сепараторъ, маслобойка, посуда, и было много молока, масла, творогу. Но не было лошадей, на которыхъ необходимо привезти сѣна, дровъ, вспахать огороды. Соединеніе нашихъ хозяйствъ обѣщало намъ много, и мы оба носились съ мечтой объ „Антоно-Георгіевскомъ союзѣ“, какъ звали въ шутку въ домѣ Владиміра. Мы все ждали осенняго дня, когда будетъ досугъ и можно будетъ обсудить вопросъ въ деталяхъ и придти къ окончательному соглашенію.

Но съ приходомъ въ домъ Георгія сразу двухъ работниковъ—вопросъ этотъ сразу сошелъ съ очереди и скоро забылся совсѣмъ.

Своими новыми товарищами Георгій былъ очень доволенъ. Бѣйствительно, Кузнецовъ и Басіевъ были хорошими работниками, рудолюбивые и безусловно хорошіе духовно. Относительно труда ба были какіе-то фанатики, и Георгій не на шутку говорилъ:

— Прямо идола! Совсѣмъ замаять работой. Не посидятъ минутки сложа руки. Иной разъ думаешь: ну, все сдѣлано,

не худо и отдохнуть немного. Нѣтъ—зовуть: еще придумали работу. Ахъ, несчастные! А вѣдь хозяину стыдно отставать отъ работниковъ,—ну, и идешь опять работать, нечего дѣлать.

Благодаря имъ, хозяйство Георгія сразу какъ-то подправилось, приняло красивый, правильный видъ. На зиму много было запасено всего — и кукурузы, и сѣна, и овощей. Перестроили хлѣвъ и устроили въ немъ для каждой скотины загорода. Привутили скота. Садъ тщательно перештыковали. Кузнецовъ, какъ знающій пчеловодство, настаивалъ завести пасѣку. Георгій съѣздили на базаръ и закупили досокъ для ульевъ. Предполагалось осенью, какъ закончатся всѣ работы, приняться за постройку ульевъ. Но когда работы были кончены, приступить къ столярнымъ работамъ было все-таки нельзя: подошли другія, болѣе неотложныя работы. Надо было приступить къ очисткѣ пахотной земли отъ камней, которыхъ было въ землѣ видимо-невидимо. За мѣсяцъ было вывезено нѣсколько сотъ камней, которые свалили въ обрывъ у рѣчки. Хозяйство—такое сложное дѣло, что никакъ нельзя составить заранее планъ работъ. Только что покончили съ камнями, явилась новая неотложная работа: заготовить на зиму, пока сухо, дровъ... А эта надобность вызвала корчевку дубовъ, которые росли на участкѣ совсѣмъ безъ пользы, давая только ненужную тѣнь на луга и на сады, отчего и тѣ и другіе росли хуже, чѣмъ при солнцѣ. Кромѣ этого, дубы были вредны тѣмъ, что служили разсадникомъ разныхъ враговъ садоводства — короѣдовъ пилильщико- и разныхъ грибовъ. Мысль о пасѣкѣ пока отложили, и началась работа въ лѣсу. Работали дружно, въ три топора, и въ какіе-нибудь десять дней лѣсные участки Георгія представляли уже площадь срубленныхъ дубовъ, валяющихся по землѣ въ беспорядочныхъ массахъ. Было что-то печальное въ этой картинѣ повергнутыхъ лѣсныхъ великановъ, безжизненно распростершихъ по землѣ молчаливыя вѣтки. И въ то же время чувство, знакомое навѣрное только побѣдителямъ, бодрило духъ и поднимало сознание человѣческаго всемогущества. „Воля да трудъ человѣка дивное дѣло творять“,—припоминался стихъ изъ Некрасова при созерцаніи этой картины.

Георгій въ то же время не переставалъ помогать мнѣ, въ особенности въ тѣхъ работахъ, гдѣ нужно было воспользоваться лошадьми. И дѣлалось это безъ всякой съ моей стороны просьбы

— Вотъ, подобралъ твое сѣно! — сказалъ онъ однажды, и обыкновенію сіяющій кроткой, любовной улыбкой, подѣляя с сѣномъ въ моему сараю:—Копна-то стояла у самой дороги, тог

и гляди, утащать осетины. На будущее время ставь копыны подалше отъ дороги.

Въ другой разъ рано утромъ пріѣхалъ онъ съ возомъ дровъ и, завидя меня, еще издали закричалъ: — Ругать тебя надо! крѣпко ругать!

— За что?

— Да какъ же?—говорить Георгій уже тихимъ голосомъ:— гордости въ тебѣ, Антонъ, много еще осталось! Ты бы ее въ міръ оставилъ, здѣсь она не нужна.

— Да что такое?—спрашиваю я.

— Да вотъ что: ты не хочешь сказать своему сосѣду: „Нарубилъ я дровъ, а лошади нѣтъ. Вывези-ка мнѣ, Георгій“. Нѣтъ, спѣсь въ тебѣ проклятая! Лучше на своемъ горбу дубье выношу, да не поклонюсь. Ахъ, несчастный!

— Право, какой ты, Антонъ, чудакъ!—говорилъ мнѣ Георгій уже вполне мирно:— вѣдь когда мнѣ нужно будетъ что, я не буду передъ тобой скрывать, я самъ приду и скажу: помогай, не могу, братъ, не въ силахъ!

— А теперь мнѣ Богъ послалъ вонъ какихъ помощниковъ!—говорилъ Георгій радостно:— съ работой прямо играемъ: она на насъ, а мы на нее! Пожалуйста, говори, когда нужно помочь, брось ты эту гордость океанную!

— Потерпи немного, Антонъ!—сказалъ мнѣ какъ-то Георгій, зайдя на минутку:— вотъ, оглядимся немного да устроимся и спягемся съ тобой въ одно общее хозяйство. Не хорошо работать въ одиночку и жить только для своего дома. Бобры и тѣ живутъ вмѣстѣ, а человѣкъ долженъ быть выше бобровъ!

Хорошо было имѣть такихъ сосѣдей. Чувствуя ихъ близость, не страшился я дикаго ущелья некультурной, глухой Осетии, не страшно было туманное будущее. Казалось, душа Георгія изливала какую-то духовную теплоту на все окружающее, и такъ было хорошо жить возлѣ него, и въ душѣ не угасала вѣра въ счастье нашей колоніи. Правда, изрѣдка находили минуты раздумья, тоска по роднымъ и культурной жизни томила сердце, но вспомнишь, съ какими хорошими, стойкими друзьями пришлось связать свою судьбу, и всѣ сомнѣнія и разочарованія исчезнутъ словно паръ.

Къ несчастью, рокъ судилъ иначе.

IX.

Владиміръ возвратился со станціи и сообщилъ, что капуста поднялась въ цѣнѣ, и надо завтра везти ее на базаръ, пока стоитъ на нее спросъ. Мы возили свои продукты преимущественно на станцію въ станицу Прохладную, верстъ за 60 отъ Лескена. Кстати нужно было купить кое-какіе необходимые предметы, веросинъ, мыло, соль. На другой день рано утромъ запрягли въ фургонъ тройку лошадей и поѣхали на огороды накладывать капусту. Наложили пудовъ тридцать отборныхъ вилокъ, приехали сверху съномъ, обернули возъ брезентомъ, упутали веревками. Владиміръ съ Георгіемъ сѣли на возъ. Имъ надавали со всего поселка разныя порученія — тому отослать письмо, тому купить бумаги, тому — гвоздей и веревокъ. У Георгія до верху наполнился карманъ съ записками о разныхъ порученіяхъ. Хорошо помню этотъ день. Это было 18-ое октября. Въ средней Россіи это — самое мерзкое время. Снѣгъ, слякоть, сѣверный вѣтеръ. У насъ на Кавказѣ эта пора — одна изъ лучшихъ. Солнце весь день стоитъ на безоблачномъ небѣ. Послѣ напряженной работы лѣта, природа какъ бы погружается въ сладкій отдыхъ. Было бы невѣрно сказать, что она предается сну послѣ многотруднаго знойнаго лѣта. Нѣтъ, она не спитъ, она живетъ, дышетъ, смѣется... Но живетъ новой жизнью, гдѣ не пестрятъ яркія краски, нѣтъ звучныхъ пѣсень, напряженнаго біенія пульса. Красавица, она отдыхаетъ теперь, погружаясь въ сладостную дрему, послѣ шумнаго, кипучаго дня. И въ грезахъ улыбается счастливой ясной улыбкой. Лѣтняго дня уже нѣтъ, нѣтъ звучныхъ пѣсень въ воздухѣ, не носятъ благоуханія цвѣтовъ. Но солнце свѣтитъ ярко. Воздухъ недвижно повисъ надъ остывшей землей, холодный, прозрачный. Кавказскій хребетъ, съ его глетчерами, фантастическими зубцами, мрачными ущельями, теперь стоитъ передъ вами какъ на ладони. Вглядишься попристальнѣе, и кажется, что видишь тропинки и дымки притаившагося аула... Но до горъ отъ насъ не менѣе двадцати верстъ. Шиханы, окружающіе нашъ поселокъ, переодѣлись въ роскошный осенній нарядъ и кажутся гигантскимъ полотномъ, на которомъ дивный художникъ такъ великолѣпно распредѣлялъ цвѣта увядающаго лѣса: золотые, красные, зеленые. Пригрѣтый ласковымъ солнцемъ лѣсъ стоитъ неподвижно, отдавшись воспоминаніямъ знойнаго лѣта.

А снѣгъ въ горахъ уже спустился низко. Въ горахъ—уже зима. И обвитыя снѣгомъ, онѣ ярко искрились, словно облаченные въ серебряныя ризы.

— Теперь тебѣ, Георгій, править!—шутя, сказалъ Владиміръ, передавая возжи:—Надоѣло ужъ—все я, да я, надо же когда-нибудь и бариномъ прокатиться!

— Давай, давай,—будь бариномъ! — сказалъ миролюбиво Георгій и ловко собралъ возжи въ руку.—Только уговоръ: впередъ я правлю, а обратно ни за что не буду! И не думай!

— Ну, ну, ладно, трогай! — сказалъ Владиміръ. Георгій приватянулъ возжи, лошади пріосанились, готовыя бѣжать.

— Ну, простите! — сказалъ Георгій обступившимъ колонистамъ, и на лицѣ его разлилась тихая меланхолическая улыбка.

Лошади съ трудомъ сдернули тяжелый фургонъ, врѣзавшійся въ землю, и черезъ нѣсколько минутъ онъ затарахтѣлъ по неровной каменистой дорогѣ и исчезъ за сосѣднимъ холмомъ.

Они уѣхали въ среду, а базаръ въ станицѣ Прохладной былъ по четвергамъ.

Они должны были вернуться не позднѣе утра пятницы. Но могли пріѣхать и ночью, если захотѣли бы выѣхать изъ Прохладной пораньше. Но ночью они не пріѣхали. Настала пятница. Ихъ не было. Не пріѣхали и къ полудню.

Насталъ вечеръ. Но и вечеръ прошелъ въ тщетныхъ ожиданіяхъ. Мы стали теряться въ догадкахъ: чтò могло случиться? Одни предполагали, что въ степяхъ выпалъ дождь, и дороги испортились.

— А можетъ быть, заѣхали за Терекъ купить мнѣ корову?—сказалъ одинъ:—они говорили, что, можетъ быть, заѣдутъ, если будетъ время.

— Навѣрное поѣхали въ гости къ Алехину,—сказалъ другой:—Вотъ меду поѣдятъ!—Алехинъ жилъ въ сторонѣ отъ насъ, давно забросивъ свои кисти и краски (онъ былъ по образованію художникъ), и занимался уже нѣсколько лѣтъ подъ Нальчикомъ пчеловодствомъ.

Такъ мы терялись въ догадкахъ.

Наступило слѣдующее утро.

— Чтò, пріѣхали?—кричу я съ крыльца своего дома, увидя старшаго сына Владиміра.

— Нѣтъ!—доносится отвѣтъ.

— Что такое?!

— Къ бавѣ-то навѣрное пріѣдутъ, — сказалъ проходившій мимо Петро.

По субботамъ у насъ топили баню. Топили по очереди. Въ этотъ день очередь была моя. Я долженъ былъ наносить воды, нарубить тутъ же на берегу рѣчки лѣсу и дожидаться, пока протопится печка, чтобы въ-время закрыть трубу. Я все сдѣлалъ, и теперь ожидалъ, когда протопится печь, и читалъ книгу. Но дрова были сырые и горѣли „не дружно“. А погода измѣнилась къ худшему. Съ сѣвера потянулись тучи и заволокли сіяющее небо. Сдѣлалось темно. Косматые тучи спускались все ниже и стали покрывать вершины пихановъ. Дождя не было, но въ самомъ воздухѣ, казалось, висѣли неподвижно дождевыя капли, готовые каждую минуту ударить на тоскующую землю. На душѣ было невыносимо тоскливо. Эта баня, расположенная вдали отъ жилья въ глухомъ лѣсу, казалась мнѣ какой-то берлогой диваря. — „И зачѣмъ я здѣсь, и въ чемъ заключается моя работа культурнаго человѣка?“

Я съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда, наконецъ, протопится печь, чтобы уйти домой.

Часу во второмъ слышу чьи-то шаги. Кто-то спускался по откосу къ банѣ. Я обрадовался. Хотя перемолвлюсь словомъ, увижу лицо человѣческое. Съ нетерпѣніемъ выглядываю изъ передбанника и вижу Петра.

— Ты что же, — спрашиваю, — развѣ отпахался?

Петро съ утра уѣзжалъ на поляну Георгія, вспахать ему подъ пшеницу.

— Или ужъ париться пришелъ? — шутилъ я.

Но Петръ, всегда веселый и смѣющийся, теперь сосредоточенно молчалъ.

— Ты знаешь, что случилось? — проговорилъ онъ, наконецъ, и голосъ его задрожалъ.

— Что? — спросилъ я, предчувствуя что-то очень нехорошее.

Петръ смахнулъ рукавомъ свитки слезу и сказалъ тихо, словно боясь услышать собственный голосъ:

— Георгій-то... вѣдь умеръ!..

Онъ закрылъ лицо рукавомъ свитки. Я остолебенѣлъ. Черезъ минуту я могъ спросить его: — Какъ это?

— Владимиръ привезъ его мертваго, — сказалъ Петръ. — Умеръ на постояломъ дворѣ у Буряна.

Молча мы поспѣшно побѣжали въ поселокъ, оставивъ баню на произволъ судьбы. На дворѣ Дадіани повуро стояли невыпращенныя лошади. Изъ дома слышались рыданія. Владимиръ, безъ шапки, съ всклокоченными волосами, поспѣшно шелъ куда-то, и на мой вопросъ только обернулся ко мнѣ и показалъ свое

блѣдное, измученное лицо. И этого было достаточно, чтобы представить, что пришлось пережить ему за дорогу.

— Гдѣ же Георгій?

Петро молча указываетъ на фургонъ, а самъ бѣжитъ догонять Владиміра. Я подбѣгаю и, отерывъ пологъ, вижу окоченѣвшій, посинѣлый трупъ человѣка, который еще такъ недавно жилъ между нами, смѣялся, шутилъ, спорилъ и дѣлилъ вмѣстѣ съ нами радости и печали. Какъ онъ не похожъ былъ на живого, веселаго Георгія! Лицо сдѣлалось какимъ-то маленькимъ, съ синевой на щекахъ и какой-то застывшей мучительной мыслью. Жизнь человѣка внезапно оборвалась, и какъ нестати, глупо оборвалась! Я закрылъ пологъ и зарыдалъ. Оборвалась жизнь, когда начинался опытъ, на который рѣдко кто рѣшится съ такимъ самоотверженіемъ. И какъ глупо пришелъ этотъ конецъ! Дорога не кончилась, а словно посреди дороги человѣкъ споткнулся о какой-то ничтожный камешекъ и упалъ навзничъ. Я посылалъ безсильныя проклятыя призраку смерти, рѣющему, казалось, надъ нашимъ поселкомъ безшумными крыльями.

Въ домѣ покойнаго была одна Надежда Яковлевна. Она все время рыдала. Къ ней никто не приходилъ. Женщины нашего поселка говорили: „У Н. Я. теперь такое горе, что наши утѣшенія ее только оскорбили бы. Пусть она дастъ слезамъ волю, и ей будетъ легче“.

„Когда въ гости приходитъ горе—третье лицо неумѣстно“, — сказала другая. Не знаю, насколько была правильна такая логика, но убитую несчастьемъ женщину предоставили самой себѣ.

Иди домой, я встрѣтилъ Якова Иваныча. Онъ и безъ того, отъ природы угрюмый, теперь сдѣлался еще мрачнѣе и говорилъ съ озлобленіемъ.

— Какая глупая смерть!—говорю я ему на ходу.

— Глупаго ничего нѣтъ,—глухо отвѣчалъ онъ. Голосъ его замѣтно упалъ. Его также потрясло событіе, но онъ силится философски взглянуть въ лицо смерти, этой вѣчной загадки существующаго.

— Все въ порядкѣ вещей,—говоритъ онъ:—какъ глупо рожденіе человѣка, такъ глупъ и конецъ его. Если хочешь, рожденіе и смерть одинаково глупы. А если это не нравится тебѣ, то считай одинаково мудрыми. Это, въ сущности, все равно. Кому что нравится. Но оба положенія одинаково философскія.

По его лицу пробѣжала какая-то плачущая улыбка. И онъ пошелъ отъ меня дальше.

А подъ навѣсомъ сосѣдняго дома Владиміръ съ Петромъ

уже строгали доски для гроба. Тѣ самыя доски, которыя мѣсяць назадъ привезены были Георгіемъ съ базара для ульевъ. Предчувствовалъ ли онъ, что эти доски понадобятся ему на гробъ? Они дѣлали гробъ и шутили, стараясь отбросить отъ себя повисшее надъ поселкомъ гнетущее настроеніе. И нужно сказать, что ихъ бодрый видъ, ихъ спокойный разговоръ, даже съ шутками и остротами, хорошо дѣйствовалъ на упавшій духъ остальныхъ. Но и шутки наводили на разныя размышленія о тщетѣ и загадочности земного существованія, и вопросы тяжелые, неразрѣшимые тѣснили грудь. Что такое это смерть? Глупая ли жестокая шутка?.. Только ли глупый случай нужно видѣть въ настоящемъ событіи, или въ немъ скрывается великая мысль, непонятная для живущихъ по грубости человѣческаго интеллекта? И всѣ мы, такъ смѣло отрицавшіе до настоящаго дня все основанное на схоластикѣ, все то, что не въ силахъ было устоять передъ критикой разума, почувствовали себя такими жалкими, несчастными, передъ могуществомъ того невѣдомаго, которому мы съ своимъ слабымъ разумомъ даже и названія до сихъ поръ не можемъ подыскать...

— Запасливый Георгій! — говорилъ Владиміръ, прилаживая доску: — и досокъ заранѣе заготовилъ; а не запасись бы раньше, пришлось бы теперь ѣхать въ аулъ...

Увидавъ меня, онъ весело засмѣялся и проговорилъ:

— Ну, а тебѣ, Антонъ, гдѣ рыть могилу?

— Какъ?

— Да такъ, надо уговориться всѣмъ заранѣе, чтобы не было потомъ лишнихъ споровъ. Вотъ Георгій молодецъ! Мы всѣ чуть было не разругались сейчасъ изъ-за мѣста, гдѣ хоронить. Кто говорилъ: за курганомъ въ лѣсу, кто — возлѣ осетинской дороги, а одинъ настаивалъ на томъ, чтобы похоронить на самой верхушкѣ вонъ того шимана, чтобы могила всегда была передъ глазами и напоминала намъ о смерти и о нашемъ товарищѣ... Ну, спорили бы пожалуй долго, потому что дѣло очень важное, — Владиміръ скривилъ насмѣшливо губы, — да вспомнилось, что еще въ прошломъ году, при тебѣ, кажется, — онъ сказалъ, осматривая свой садъ: „Умру — схороните меня подъ виргинской яблоней“. Любилъ онъ ее сильно. Ну, вспомнили это, и спора какъ не бывало. Мѣсто самъ назначилъ. — И онъ сталъ отпиливать доску.

— И что случилось! Господи ты мой Боже! — причитала старуха, мать Афонаса.

— Что случилось? — сказалъ Владиміръ, равнодушно, про-

долгая работа:—Случилось самое обыкновенное дѣло! Не захотѣлъ человѣкъ больше ѣсть картошку и ушелъ... Большое дѣло!

Но, несмотря на свои шутки, Владиміръ всѣмъ своимъ существомъ говорилъ, и блѣднымъ лицомъ, и нервно подрагивающими руками, какую страшную драму пришлось ему пережить за эти дни, прежде чѣмъ дѣлать гробъ своему товарищу.

Уже ночью пріѣхали они изъ Прохладной на постоянный дворъ Бурьяна. Георгій былъ здоровъ и настроенъ былъ на философскія размышленія. Онъ всю дорогу говорилъ, глядя на сіяющія звѣзды, о ничтожествѣ земной жизни, и высказывалъ предположенія, что, можетъ быть, тамъ, на этихъ спокойно мерцающихъ мірахъ, человѣческія существа совершеннѣе, и что, можетъ быть, тамъ провозглашенные Христомъ принципы давно уже осуществлены въ жизни. И нѣтъ тамъ ни войнъ, ни тюремъ, ни голодныхъ людей.

— Какъ хочется порой узнать про эти міры! — говорилъ Георгій: — что они такое? какую мысль выражаютъ они въ общемъ мірозданіи?

— Владиміръ! — оборотясь къ своему спутнику, говорилъ Георгій въ какомъ-то упоеніи: — въ такія чудныя ночи душа какъ бы чувствуетъ соприкосновеніе съ этими таинственными мірами!

Выпрыгнувши лошадей на постояломъ дворѣ нашего пріятеля Бурьяна, они сѣли за самоваръ. Георгій былъ веселъ и разговорчивъ. Стали читать полученныя въ мѣстномъ почтовомъ отдѣленіи письма, газеты. Георгій прочиталъ кое-что изъ „Недѣли“ и сдѣлалъ замѣчанія по поводу сообщенныхъ политическихъ слуховъ. Но вдругъ онъ почувствовалъ въ животѣ боль. Сначала едва замѣтная, она становилась съ каждымъ часомъ все сильнѣе и нестерпимѣе. Къ полуночи несчастный уже не зналъ, куда дѣваться отъ невыносимой боли. Онъ бѣгалъ по комнатѣ, рвалъ на себѣ рубаху и кричалъ на весь домъ. Тщетно старался помочь ему Владиміръ. Боли не утихали ни на минуту. Владиміръ послалъ нарочнаго въ Прохладную, находившуюся въ 15-ти верстахъ, за единственнымъ во всей округѣ желѣзнодорожнымъ врачомъ. Но тотъ, узнавъ отъ посланнаго, что заболѣвшій по костюму бѣдный человѣкъ, какой-то „огородникъ“, отпустилъ посланца съ отказомъ. Врачъ предварительно освѣдомился у него: — „Вѣдь пятнадцати рублей онъ, вѣроятно, не можетъ, мнѣ заплатить?“ — Тотъ сказалъ, что, вѣроятно, не можетъ, и посоветовалъ обратно. Владиміръ не зналъ, что дѣлать. Была глубокая ночь. [о Владикавказъ, гдѣ можно бы найти правильную медицин-

скую помощь, было сто верстъ. На лошади ѣхать немислимо, а поѣздъ уходилъ туда только утромъ. Боли не оставляли больного ни на минуту. Отъ нестерпимой боли онъ кричалъ на весь домъ и призывалъ скорѣе смерть, которая бы избавила отъ мученій. Отъ рубахи уже оставались одни клочья. Можно было предполагать воспаленіе слѣпой кишки. На базарѣ Георгій сѣлъ нѣсколько грушъ. Грушевыя сѣмечки могли попасть въ червеобразный отростокъ и произвести воспаленіе. Это же предполагалъ и фельдшеръ, пріѣхавшій изъ сосѣдней станицы. Онъ оказалъ большое участіе, насколько позволяли ему медицинскія познанія, и пробился надъ больнымъ вплоть до утра. Пусть врачи толкуютъ о фельдшеризмѣ и стараются заглушить своихъ помощниковъ криками о высшемъ образованіи, — хорошій, честный фельдшеръ необходимъ по крайней мѣрѣ въ наше время, когда такъ слабо поставлена врачебная помощь, что одинъ врачъ приходится мѣстами чуть не на полмилліона жителей. И изъ рядовъ благодѣтелей человѣчества — фельдшера не въ силахъ вытолкнуть ожирѣвшая рука врача-„гонорарщика“. Фельдшеръ сдѣлалъ больному промываніе желудка, но, къ сожалѣнію, никакія мѣры не помогали. Боли не унимались, и, только промучившись въ невѣроятныхъ мученіяхъ сутки, Георгій сдѣлался спокойнѣе. Боли какъ будто бы унялись. Но, увы, это было за полчаса до смерти!

— Чувствую, что смерть не далеко, — сказалъ онъ наклонившемуся надъ нимъ Владиміру. — Внутри холодъ разливается, въ глазахъ темнѣетъ... Прощай, товарищъ!

Онъ съ трудомъ отыскалъ его руку и слабо пожалъ ее.

— Боже! Какъ хотѣлось бы повидать въ послѣдній разъ семью! — сказалъ онъ и тихо заплакалъ.

Черезъ нѣсколько минутъ Георгія уже не было. Это было во второмъ часу ночи. Владиміръ спѣшно запрягъ лошадей и выѣхалъ съ постоялаго двора, захвативши съ собой похолодѣвшій трупъ Георгія. Утромъ наѣхавшее начальство задержало бы Владиміра, и трупъ подвергли бы вскрытію. И ему пришлось бы еще просидѣть сутки на постояломъ дворѣ. Вотъ почему Владиміръ спѣшно въ ночь помчался домой, не дожидаясь разсвѣта. Трудно представить себѣ, что онъ испытывалъ, ѣдучи подъ покровомъ темной ночи домой, имѣя спутникомъ молчаливый трупъ товарища! Онъ зналъ, что его съ нетерпѣніемъ ожидаютъ на Лескенѣ, и зналъ, какъ онъ поразитъ всѣхъ извѣстіемъ о смерти. Какъ сказать? „Георгій умеръ и лежитъ въ фургоны мертвымъ“ — это было страшно сказать, и однако такъ сказать приходилось минутой раньше, минутой позже.

— А я пашу на полянѣ, — говорилъ Петръ, прилаживая доски, — и думаю: что долго не ѣдутъ? А я такъ старался допахать полосу Георгію, — пусть, молъ, порадуетъ. Вдругъ, слышу, на осетинской дорогѣ что-то затарахтало. Всмотриваюсь — Владимиръ. Хлещетъ лошадей. Лошади бѣгутъ чуть не вскачь. Что, думаю, шибко гонить? А Георгія не вижу. Куда бы могъ дѣваться? Поровнялся Владимиръ. Спрашиваю: что больно хлещешь лошадей? Онъ молчитъ. Лицо блѣдное, измученное. — А гдѣ же Георгій? — спрашиваю. „Здѣсь“, — говоритъ Владимиръ. — Гдѣ здѣсь? — „Да вотъ тутъ, подъ пологомъ“. — Спать? — „Спать!“ — Что же съ нимъ, захворалъ что-ли? — спрашиваю я. — „Нѣтъ, — говоритъ, — просто умеръ“. Я думалъ, онъ шутитъ, но посмотрѣлъ въ лицо Владимира и сразу понялъ, что ему не до шутокъ. Кинулся я къ пологу, отворотилъ его, а Георгій лежитъ какъ курченокъ, вытянувши впередъ ноги. Я не помню, какъ отпрягъ плугъ и верхомъ поскакалъ домой.

А въ небѣ нависли свинцовыя тучи и стали спускаться на поселокъ. Стало темно и уныло. Все — и дальніе чинары, и стога сѣна, и лежавшія на берегу груды камней, все приняло какой-то зловѣщій отпечатокъ. Природа словно надѣла трауръ. Въ посвистѣ вѣтра и въ шелестѣ чинаровъ слышались чьи-то сдержанныя рыданья. Въ душахъ людей было невыносимо тяжело. Хотѣлось тутъ же упасть и разрыдаться. Когда же спустились на землю сумерки и въ окнахъ показались огоньки, еще болѣе оттѣнявшіе густоту мрака, всѣ почувствовали какую-то оторопь, какой-то безотчетный страхъ. Такъ сильно потрясъ трагическій фактъ психику обитателей колоніи. Многіе боялись оставаться одни и старались быть вмѣстѣ съ другими, словно боясь этой невѣдомой, этой страшной, неумолимой смерти, выхватившей неожиданно лучшаго друга.

Георгія еще засвѣтло перенесли изъ фургона въ небольшую комнатку, которая при жизни покойнаго служила ему чѣмъ-то въ родѣ кабинета. Сюда онъ уединялся для чтенія книгъ и писанія писемъ; тутъ онъ располагался съ своей сапожной мастерской, когда надо было „обшивать“ семью. Безъ жизни, холодный, сюда уединился онъ и теперь на ночь, чтобы на утро покинуть этотъ домъ, и эту колонію, и любимыхъ людей... Покинуть навсегда, навсегда... Надежда Яковлевна осталась въ сосѣдней комнатѣ и между приступами рыданія бродила изъ угла въ уголъ, какъ потерянная. Дѣтей увели къ сосѣдямъ. Бани все-таки кѣмъ-то дотопилась. Мужчины все-таки рѣшили сходить въ нее, чтобы „отряхнуться отъ тяжелыхъ впечатлѣній“, какъ

сказалъ кто-то. Но и въ банѣ разговоръ былъ все по поводу происшедшаго.

— Господи, что случилось!

— Кто бы могъ предположить!

— Какая глупая смерть!

А Владиміръ молчалъ и, забравшись на полдѣкъ, нещадно хлесталъ себя дубовымъ вѣтникомъ. Утрата дорогого существа сблизила насъ всѣхъ сильнѣе. Ярче казалось намъ теперь, что забрались мы въ это дикое ущелье, посреди чуждаго намъ населенія, не для раздоровъ и розни, а только для того, чтобы сплотиться въ одну дружную семью. Сдѣлалась какъ-то ощутительнѣе потребность дорожить каждой минутой совместной жизни, имѣя впереди, во всякую минуту, такую страшную возможность потерять близкаго сердцу...

Оплакивая ушедшаго отъ насъ Георгія, мнѣ хотѣлось обнять въ братскія объятія всѣхъ оставшихся со мной живыхъ и поклясться въ вѣчности дружбы. Рано утромъ будить меня Петръ:

— Пойдемъ скорѣй могилу копать!

Ахъ, это не сонъ былъ, что нашего милаго Георгія уже нѣтъ и никогда его больше не увидимъ... Я наскоро накинулъ свитку, взялъ заступъ и отправился въ садъ, гдѣ подъ виргинской яблонью уже кто-то работалъ лопатой и чернѣла свѣжая земля. Къ полудню могила была готова. Собралось все населеніе колоніи проводить дорогой прахъ. Молча опустили гробъ въ могилу. Молча стали засыпать землей. Эти торжественныя минуты молчанія были, конечно, краснорѣчивѣе многихъ словъ. Когда надъ могилой уже возвышался земляной черный бугоръ, кто-то принесъ изъ своего сада два розовыхъ куста и посадилъ въ изголовьи могилы. Съ минуту еще постояли у могилы, храня торжественное молчаніе, и уныло молча стали расходиться. Только Надежда Яковлевна долго еще стояла, неподвижно устремивъ заплаканные, полные тоски глаза на нѣмую могилу, поглотившую дорогое существо...

Я весь день бродилъ съ тоскливымъ чувствомъ на душѣ. Работа не шла на умъ. Сознаніе сиротства давило грудь. Кругомъ—ни души. Только мы одни, осиротѣлая семья, заброшенная въ глухое ущелье... Теперь оно, казалось плакало настоящими слезами,—лилъ холодный осенній дождь. Снѣговые горы дышали на насъ своимъ леденящимъ дыханьемъ...

А ночью разревѣлась буря, и вплоть до утра стонали по пиханамъ старыя чинары...

Прошло уже много лѣтъ, какъ я оставилъ Лескенъ. Теперь колоніи тамъ не существуетъ. Всѣ разѣхались, не сумѣвъ довести дѣло до того состоянія, когда оно могло давать средства къ жизни. Подъ гнетомъ постоянной нужды и упорнаго труда почти всѣ возвратились вспять, и только немногіе, самые убѣжденные и увѣренные въ своихъ силахъ, продолжаютъ жить земледѣльческимъ трудомъ. Надежда Яковлевна живетъ давно уже въ одной швейцарской деревнѣ простой трудовой жизнью. Старшій сынъ учился въ какой-то сельскохозяйственной школѣ. Болѣе подробныхъ свѣдѣній, къ сожалѣнію, не имѣю. Но до сихъ поръ мы переписываемся съ главнымъ представителемъ идейной трудовой жизни — Владиміромъ. Онъ уже живетъ на третьемъ мѣстѣ послѣ Лескена. Теперь осѣлъ въ Кубанской области и живетъ уже нѣсколько лѣтъ тамъ. Съ нимъ неразлучно — Яковъ Ивановичъ. Дѣти выросли и стали настоящими работниками. Самъ Владиміръ продолжаетъ работать, но уже не съ такимъ усиленнымъ темпомъ, какъ въ былые годы. Теперь у него уже есть работники, и у него бываетъ досугъ. Онъ, какъ настоящий крестьянинъ, радуется душой, что, наконецъ, онъ дождался взрослыхъ дѣтей, на которыхъ можно переложить хотя часть трудовой ноши. Петро женился на старшей дочери Владиміра и съ нѣсколькими мужиками составилъ колонію подъ Пятигорскомъ. Съ любовью мужика-пахаря глядитъ часто Владиміръ на своихъ сыновей и дочерей и долго любитъ, глядя на ихъ ловкую, умѣлую работу. Цѣль жизни достигнута. Владиміръ причалилъ къ тихой пристани. Матеріальная сторона, наконецъ, поставилась настолько хорошо, что ужъ не приходится терпѣть нужду въ самомъ необходимомъ. Въ сосѣдній городъ они возятъ продавать продукты своего хозяйства въ большомъ количествѣ и всегда бываютъ при деньгахъ. На одно жалуется Владиміръ: землю купилъ на такихъ невыгодныхъ условіяхъ, что всѣ доходы почти поглощаются выплатами за землю. Но Владиміръ не унываетъ, какъ не унывалъ онъ, впрочемъ, никогда. Теперь ли ему унывать, когда у него есть настоящіе работники и когда онъ можетъ съ увѣренностью сказать что то, на что затрачена вся жизнь, чему принесено въ жертву все — и безпечальное положеніе помѣщика, и привилегированное положеніе дѣтей — не обмануло его...

Въ его письмахъ попрежнему сквозятъ поклоненіе земледѣльческому труду и увѣренность пахаря въ правильности и справедливости трудовой крестьянской жизни. Къ нему многіе обращаются съ запросами, и онъ охотно отвѣчаетъ всѣмъ, и

ИЗЪ УЧЕБНЫХЪ ТЕТРАДЕЙ
ПОКОЙНАГО ЦЕСАРЕВИЧА
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

(1862 г.)

Около пятидесяти лѣтъ тому назадъ, въ августѣ 1860 года, я былъ приглашенъ графомъ С. Гр. Строгановымъ, попечителемъ при покойномъ Цесаревичѣ Николаѣ Александровичѣ (род. 8 сентября 1843 г.; сконч. 12 апрѣля 1865 г.), взять на себя историческое преподаваніе Цесаревичу. Графъ Строгановъ составилъ тогда общій планъ высшаго преподаванія ему наукъ и для того пригласилъ университетскихъ профессоровъ въ Петербургъ, Москвѣ и Кіевѣ. Незадолго передъ тѣмъ, я возвратился изъ-за границы, послѣ двухлѣтняго посѣщенія западныхъ университетовъ (1856—1858 гг.), съ цѣлью ознакомленія съ положеніемъ въ нихъ преподаванія исторіи, — и началъ чтеніе лекцій по исторіи новаго міра; этотъ же самый предметъ былъ предоставленъ мнѣ гр. Строгановымъ съ тѣмъ, чтобы я остановился преимущественно на послѣднихъ пяти столѣтіяхъ (XIV—XVIII) — до начала французской революціи. Такой предѣлъ моего курса всеобщей исторіи имѣлъ своимъ основаніемъ, между прочимъ, также и ту мысль, что съ того времени исторія Россіи до такой стѣпени переплетается съ исторіей Западной Европы, что послѣдняя должна быть преподаваема уже совмѣстно съ русскою исторіею, курсъ которой читалъ Цесаревичу московскій профессоръ русской исторіи, С. М. Соловьевъ.

Кромѣ насъ двухъ, были приглашены изъ Москвы же для чтенія лекцій Государю Цесаревичу: Ѳ. И. Буслаевъ — по предмету русской литературы; К. П. Побѣдоносцевъ — юридическихъ

наукъ; изъ Кіева Н. Х. Бунге—политической экономіи и финансовъ; М. И. Драгомировъ, профессоръ Военной Академіи, читалъ лекціи по предмету военныхъ наукъ. Ѳ. И. Буслаевъ оставилъ послѣ себя книгу подъ названіемъ: „Мои Воспоминанія“ (1891 г.); при печатаніи ея онъ обратился ко мнѣ съ порученіемъ просить состоявшаго при Цесаревичѣ О. Б. Рихтера, недавно скончавшагося, просмотрѣть его „Воспоминанія“ въ томъ мѣстѣ, гдѣ они касаются Цесаревича, и исправить, если окажутся ошибки. О. Б. Рихтеръ возвратилъ мнѣ „Воспоминанія“ при слѣдующемъ письмѣ:

„Многоуважаемый М. М.

„Возвращая Вамъ присланный мнѣ для просмотра экземпляръ: „Мои Воспоминанія“ Ѳ. И. Буслаева, прошу передать высокочтимому Ѳеодору Ивановичу, что я, читая его воспоминанія, мысленно перенесся въ прошлое и пережилъ нѣсколько сладкихъ, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ грустныхъ минутъ. — Тяжело вспомнить, что потерпѣлъ крушеніе въ виду порта; всѣ мы старались—а я въ это дѣло вложилъ свою душу—подготовить, развить и укрѣпить юную, съ прекрасными задатками натуру на трудное служеніе, которое предстояло; — Богу не угодно было дать осуществиться нашимъ мечтамъ. Такъ какъ Ѳеодоръ Ивановичъ обращается ко мнѣ съ желаніемъ, чтобы я исправилъ тѣ неточности, которыя, за давностью времени, могли вкратѣ въ его повѣствованіе, я только на этомъ основаніи позволяю себѣ указать на стр. 536-ую. Не на смотру упалъ покойный Цесаревичъ, а на *скаковомъ круу*, гдѣ, по случаю воскресенья, молодежь, т.-е. братья и двоюродные братья, задумали устроить скачку. Я, какъ будто, чуялъ бѣду и всѣми силами старался помѣшкать осуществленію этой затѣи, но ничто не помогло, такъ какъ Великій Князь уговорилъ Родителей присутствовать на скачкѣ. Съ непривычки на кровной англійской лошади, Николай Александровичъ сталъ задыхаться, закружилась голова, и онъ на всемъ скаку слетѣлъ. Вотъ начало той болѣзни, которая свела его въ могилу, — болѣзни, такъ незамѣтно подкравшейся; ни одинъ врачъ,—несмотря на то, что я постоянно напоминалъ о паденіи,—не могъ констатировать какихъ-либо осложнений. Судьба!

„Когда будете писать Ѳеодору Ивановичу, прошу Васъ очень передать ему дружескій мой привѣтъ; онъ занималъ видное мѣсто среди личностей, живущихъ въ моихъ воспоминаніяхъ о юшломѣ.

„Пользуюсь случаемъ, чтобы возобновить Вамъ выраженіе мо-

его къ Вамъ уваженія, и по старой памяти позволю себѣ крѣпко позжать Вашу руку.—О. Рихтеръ.“

„20-го дек. 1891 г.“

По утвержденіи моемъ въ званіи преподавателя исторіи новаго міра Цесаревичу, я представилъ графу С. Г. Строганову составленный мною „Общій планъ историческаго преподаванія Е. И. В. Государю Наслѣднику и Великому Князю Николаю Александровичу, отъ октября 1860 года до декабря 1861 года“ — слѣдующаго содержанія:

„Въ теченіе 15-и послѣдующихъ мѣсяцевъ предполагается пройти исторію трехъ столѣтій, а именно XIV-го, XV-го и XVI-го, до вступленія на престолъ Франціи дома Бурбоновъ въ лицѣ Генриха IV Великаго, и до начала новой системы политическаго равновѣсія европейскихъ государствъ.“

„Такой курсъ представитъ въ себѣ двѣ части: *первая* будетъ заключать исторію XIV-го и XV-го вѣковъ, какъ переходнаго времени отъ средне-вѣкового къ новому порядку вещей. Содержаніе этой первой части должно объяснить происхожденіе двухъ великихъ явленій, а именно, *правительства* и *народа*, которыя не были извѣстны среднимъ вѣкамъ, и которыя сдѣлались въ новое время двумя главными дѣйствующими лицами. Для объясненія такого переворота въ историческомъ порядкѣ вещей необходимо будетъ изложить предварительно развитіе соціальнаго, интеллектуальнаго и моральнаго быта западнаго общества, подъ вліяніемъ чего совершилось преобразование и самого государственнаго быта. Такимъ образомъ, исторія двухъ вѣковъ, какъ переходнаго времени отъ средней исторіи къ новой, т.-е. XIV-го и XV-го ст., будетъ изучена въ двухъ отдѣлахъ:

- а) исторія западнаго общества въ его соціальному, интеллектуальному и моральному развитіи;
- б) исторія государства въ трехъ главныхъ національностяхъ, которыя представляютъ намъ западное европейское общество.

„Исторія Скандинавіи и Турецко-Византійскаго міра будетъ служить дополненіемъ первой части курса, какъ исторія новыхъ силъ, принявшихъ скорѣе дѣятельное участіе въ общей жизни западныхъ европейскихъ народовъ.“

„Вся эта первая часть курса можетъ быть окончена въ послѣднихъ числахъ февраля 1861 г. Остальные 10 мѣсяцевъ назначаются на вторую часть, заключающую въ себѣ исторію XVI-го столѣтія, вѣка реформаціи. Исторія общества въ главныхъ проявленіяхъ его жизни и исторія государства составятъ и здѣсь два существенныхъ отдѣла. Такъ какъ реформація была не только религіознымъ переворотомъ, но также соціальнымъ и политическимъ, то потому содержаніе перваго отдѣла представитъ общественную жизнь въ совершенно новой сферѣ, и жизнь государственную во внутренней борьбѣ по двумъ главнымъ направленіямъ: монархическому, вѣдѣнъ съ реформой Лютера, и демократическому съ ученіемъ Кальвина. Исторія новаго міра или европейской колонизаціи въ XVI-мъ стол. составитъ дополненіе второй части и въ то же время заключитъ собою первый періодъ новой исторіи“.

„Сентябрь. 1860.“

Соотвѣтственно такому общему плану историческаго преподаванія была мною составлена и самая программа „Курса исторіи новаго времени или послѣднихъ пяти вѣковъ: XIV—XVIII столѣтій“ въ двухъ главныхъ отдѣлахъ: I) Исторія общества, и II) Исторія государства.

При выполненіи этой программы университетскаго курса исторіи новаго времени отъ XIV до XIX столѣтія встрѣтилось одно затрудненіе: для успѣшности высшаго преподаванія всегда необходимо хотя сколько-нибудь основательное знакомство съ гимназическимъ курсомъ, а именно этого-то и недоставало въ настоящемъ случаѣ; предшественники графа Строганова, повидимому, не успѣли въ томъ, и только благодаря отличнымъ способностямъ Цесаревича, а еще болѣе его охотѣ къ научному труду, университетскій курсъ историческаго преподаванія могъ имѣть исполнѣ желаемый успѣхъ ¹⁾. Но все же оказалось необходимымъ предварительно сдѣлать обзоръ перваго періода исторіи среднихъ вѣковъ, начиная съ паденія Западной Римской имперіи до XVI-го вѣка, и при этомъ остановиться особенно всесторонне на эпохѣ крестовыхъ походовъ, на XII-мъ и XIII-мъ столѣтіяхъ, когда не только распространилась историческая территорія, захвативъ собою дальній Востокъ, но—что еще важнѣе—расширился и кругозоръ европейской цивилизаціи. Эпоха крестовыхъ походовъ въ нашемъ курсѣ исторіи новаго времени, т.-е. послѣднихъ его пяти вѣковъ, заняла, такимъ образомъ, мѣсто введенія въ этотъ курсъ.

Когда къ концу назначеннаго срока, а именно къ концу 1861 года, программа была исчерпана, назначены были репетиціи пройденнаго, письменно и устно, съ цѣлымъ рядомъ вопросовъ.

У меня сохранились „Отвѣты на вопросы первой программы“, писанные собственноручно Цесаревичемъ:

¹⁾ Въ Германіи принцы получаютъ среднее и высшее образованіе въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ; такъ, нынѣшній германскій императоръ, Вильгельмъ II, получилъ среднее образованіе въ кассельской гимназіи и оттуда, по выдержаніи экзамена на „зрѣлость“, поступилъ въ боннскій университетъ; и тутъ, и тамъ, онъ обучался и росъ вмѣстѣ съ прочею молодежью. Кронпринцъ Вильгельмъ не могъ потому сказать то, что сказалъ мнѣ однажды покойный Цесаревичъ, когда въ свободное время, послѣ лекцій, онъ спросилъ меня о подробностяхъ одного городского происшествія, и когда я замѣтилъ, что ему все это должно быть болѣе извѣстно, чѣмъ мнѣ, онъ на это отвѣтилъ мнѣ, съ горькою ироніей: „Вы такъ думаете?!—а знаете ли вы, что мнѣ только на-дняхъ, и то подъ величайшимъ секретомъ, сообщили, что Луи-Филиппа выгнали изъ Франціи“?!—Прусскому кронпринцу, гуденту университета, не было бы надобности въ такой ироніи.

1. Отличительныя историческія черты древняго міра и средних вѣковъ заключаются прежде всего въ значеніи отдѣльнаго человѣка. Въ древнемъ мірѣ, на Востокѣ, напримѣръ въ Индіи, личность человѣка исчезала въ религиозной сектѣ и ориентальномъ фанатизмѣ. Въ Греціи и Римѣ отдѣльный человѣкъ поглощался государствомъ, приносился въ жертву государству. Понятіе „римскаго гражданина“ уничтожало значеніе человѣка (примѣръ: Спарта, гдѣ государство предъявляло свое право надъ ребенкомъ при его рожденіи, заставляя родителей умерщвлять, самымъ безчеловѣчнымъ образомъ, дѣтей слабого сложенія, какъ лишнихъ, негодныхъ къ защитѣ отечества (Римъ: отношенія членовъ семейства. Отецъ. Сынъ.). Такое преобладаніе понятій о „гражданинѣ“ надъ истиннымъ пониманіемъ значенія отдѣльной личности и было причиною паденія древняго міра. Новый, западный, христіанскій міръ, утвердившись на развалинахъ всемірной имперіи, уничтожилъ прежнее понятіе о государственномъ единствѣ и выдвинулъ впередъ личность человѣка. Но такое заявленіе необходимости уваженія къ личности человѣка выразилось вначалѣ въ грубой формѣ феодальнаго барона.

2. Крестовые походы сдѣлались въ концѣ XI вѣка потребностью всего современнаго западно-европейскаго общества. Состояніе Востока было весьма благоприятно для религиознаго энтузіазма, призывавшаго западныхъ христіанъ на освобожденіе Гроба Господня. Іерусалимъ былъ въ рукахъ у турокъ-сeldжукъ, фанатиковъ своей вѣры и враговъ христіанъ. Паломники, прежде безпрепятственно посѣщавшіе Св. мѣста, подвергались теперь страшнымъ насиліямъ въ Палестинѣ. Владычество мусульманъ все болѣе и болѣе увеличивалось и грозило опровергнуть Византію, послѣдній оплотъ христіанскаго, европейскаго міра. Вотъ что происходило на Востокѣ; посмотримъ, какія общественныя нужды вызывали на Западѣ крестовые походы. Состояніе средневѣковаго западнаго общества требовало само собою сильнаго движенія на Востокъ. Папа, утратившій свое вліяніе на восточную церковь, надѣялся возратить себѣ прежнее значеніе. Императоры и короли видѣли въ этихъ походахъ средство избавиться отъ своевольныхъ вассаловъ; вассалы ради были удовлетворить своей боевой дѣятельности и страсти къ приключеніямъ. Наконецъ, простой народъ, эта нефеодальная, лишенная всѣхъ человѣческихъ правъ, масса могла надѣяться освободить себя отъ ига духовныхъ и свѣтскихъ бароновъ.

3. Во все продолженіе крестовыхъ походовъ Іерусалимъ былъ освобожденъ три раза. 1-ый разъ, въ 1099, взялъ Іерусалимъ приступомъ Готфридъ Бульонскій, въ первомъ крестовомъ походѣ. 2-ой разъ освободилъ Іерусалимъ германскій императоръ Фридрихъ II Гогенштауфенъ. Онъ получилъ Іерусалимъ отъ египетскаго султана, за союзъ противъ Дамаска. Въ 3-й разъ Іерусалимъ взяли у мамелюковъ монголы, въ союзѣ съ христіанами.

4. Мы можемъ назвать Ричарда Львиное-Сердце представителемъ средневѣковаго героизма и безумной рыцарской отваги. И подвиги его соотвѣтствуютъ его характеру. Личность Фридриха II Гогенштауфена совершенно противоположна личности Ричарда. На Фридрихѣ II отразился весь переворотъ, который готовъ былъ совершиться въ западномъ обществѣ въ эпоху крестовыхъ походовъ: феодальныя понятія уступили въ немъ мѣсто государственнымъ соображеніямъ. Характеръ Фридриха II приближаетъ его къ нашимъ идеямъ. Онъ былъ представителемъ героизма новѣйшаго. Не дѣлая чудесъ личной храбрости, даже не обнажая меча, онъ овладѣлъ Іерусалимомъ и удерживалъ его за собою нѣсколько лѣтъ.

5. Балдуинъ Фландрскій и Бонифацій Монферратскій предприняли крестовый походъ для того, чтобы возвратить себѣ наслѣдіе своихъ родственниковъ, королей Іерусалимскихъ. Но судьба рѣшила иначе, и крестовый походъ получилъ другой исходъ. Искатель Византійскаго престола, сынъ Исаака Ангела, склонилъ богатыми обѣщаніями крестоносцевъ помочь ему завоевать Византію.

Крестоносцы возвратили Алексѣю его наслѣдіе, но народъ, обремененный условіями вознагражденія, возсталъ. Алексѣй бѣжалъ и его мѣсто занялъ предводитель возстанія. Тогда крестоносцы взяли вторично Константинополь и раздѣлили между собою всю имперію. Причиной особаго направленія пути восьмого крестоваго похода, или второго похода Людовика Святого, была просьба брата Людовика IX, Карла Анжу, короля Обѣихъ Сицилій, который хотѣлъ воспользоваться крестоноснымъ войскомъ, для усмиренія своего сосѣда, Тунисскаго князя. Такимъ образомъ, Карлъ Анжу, для личной выгоды, рѣшился измѣнить направленіе крестоваго похода и пожертвовать настоящему цѣлю его. Но Тунисъ оказалъ сильное сопротивленіе. Въ лагерѣ крестоносцевъ открылась чума. Людовикъ погибъ однимъ изъ первыхъ. Остальныя войска вернулись во Францію.

6. Готфридъ Бульонскій и его спутники перенесли въ Палестину свои средне-вѣковыя понятія и образовали, изъ вновь учрежденнаго ими Іерусалимскаго королевства, полную Европейскую, феодальную систему. Мы видимъ тутъ короли съ любопытнымъ титуломъ „барона Гроба Господня“, могущественныхъ ленниковъ, стоявшихъ непосредственно подъ королемъ, свѣтскихъ и духовныхъ бароновъ. Населеніе приморскихъ городовъ образовало свое независимое городское, общинное управленіе. Все это искусственное и разноплеменное общество было связано между собою взаимными отношеніями вассаловъ къ сузерену и сборникомъ феодальныхъ обычаевъ и законовъ, извѣстныхъ подъ названіемъ Іерусалимскаго судебника или „Писемъ Гроба Господня“. Но что всего замѣчательнѣе и что составляетъ отличительную черту устройства Іерусалимскаго королевства, это—то, что въ этомъ наскоро сплоченномъ и далеко не твердомъ государствѣ мы въ первый разъ встрѣчаемъ зародышъ учрежденія, сходнаго съ англійскимъ парламентомъ. Готфридъ, первый король, составилъ въ Іерусалимѣ и въ прочихъ городахъ Палестины двѣ палаты: верхнюю, гдѣ засѣдали бароны свѣтскіе и духовные, и нижнюю, или палату гражданъ. (Духовные ордена составили третье, независимое сословіе, имѣвшее свои уставы и управлявшееся избранными изъ своей среды рыцарями, впоследствии — великими гроемейстерами).

7. 1) Тамплиеры воротились во Францію, гдѣ у нихъ были огромныя владѣнія (почти половина Франціи принадлежала имъ въ XIV вѣкѣ). Но скорѣе они погибли самымъ жалкимъ образомъ, вмѣстѣ съ своимъ гроемейстеромъ. 2) Юанниты, послѣ послѣдняго завоеванія Іерусалима—Мамелюками, удалились на островъ Родосъ, гдѣ они продолжали борьбу съ невѣрными. Когда, въ XVI ст., орденъ былъ вытѣсненъ изъ Родоса—Турками-Оттоманами, то рыцари перешли на островъ Мальту. 3) Еще въ 1229 году, по удаленіи Фридриха II изъ Палестины, съ нимъ вмѣстѣ оставили Іерусалимъ Тевтоны. Орденъ избралъ себѣ цѣлю обратить независимыхъ Пруссавъ въ христіанство. Въ 1300 году статки ордена оставили Палестину и присоединились къ своимъ товарищамъ.

8. Главною причиною неудачи второго крестоваго похода было недовѣріе іерусалимскаго короля Балдуина III къ своимъ союзникамъ: французскому ко-

ролю Людовику VII и германскому императору Конраду III Гогенштауфену. Осаждая съ ними вмѣстѣ Дамаскъ, Балдуинъ такъ боялся, чтобы въ случаѣ успѣха союзники не сдѣлались для него самого опасными, что позволилъ мусульманамъ подкупить себя. Получивъ мѣшки съ золотомъ, онъ быстро ушелъ изъ-подъ стѣнъ Дамаска, принудивъ такимъ образомъ христіанъ тоже снять осаду. Императоръ и король воротились въ Европу. Этотъ печальный фактъ показываетъ намъ, въ какомъ положеніи находилось тогда Іерусалимское королевство, и знакомитъ насъ ближе и съ самими королями, защитниками Гроба Господня. Итакъ, не мусульмане были причиною неудачи второго крестоваго похода, а сами христіане, призавшіе крестоносцевъ на помощь.

9. Когда Людовикъ IX Святой, освободившись изъ плѣна у египетскаго султана, отправился въ Палестину и оставался тамъ четыре года, то онъ узналъ, что еще до него показались въ передней Азіи—Монголы. Около эпохи 7-го крестоваго похода, они завоевали часть Китайской имперіи и овладѣли восточною Русью. Людовикъ IX, первый, обратилъ вниманіе на Монголовъ, и задумалъ пріобрѣсти въ нихъ новыхъ союзниковъ христіанъ и обратить ихъ противъ мусульманъ. Съ этою цѣлью отправилъ король образованнаго и дѣятельнаго Рубруквиса въ Татарію звать монголовъ на помощь. Людовикъ не дождался новыхъ союзниковъ и воротился во Францію. Посольство Людовика къ Монголамъ не пропало даромъ. Они двинулись на западъ, разрушили Иранское султанство и овладѣли Багдадомъ. На его мѣстѣ основали Монголы Персидское ханство. Палестинскіе христіане радостно приняли новыхъ союзниковъ и начали дѣйствовать соединенными силами противъ Мамелюковъ. Въ христіанскихъ церквахъ молились о побѣдѣ Монголовъ. Алеппо и Дамаскъ были взяты. Но вновь основанное Мамелюкское султанство грозило страшною бѣдою, какъ христіанамъ, такъ и Монголамъ. Монголы, прогнанные Мамелюками за Евфратъ, оставались однако до конца вѣрными друзьями христіанъ, и когда слабые остатки послѣднихъ пришли къ нимъ искать помощи, послѣ покоренія Палестины Мамелюками, то персидскій ханъ Казанъ помѣстилъ на своихъ знаменахъ крестъ и послалъ отъ себя проповѣдниковъ крестоваго похода въ западную Европу. Казанъ получилъ рѣшительный отказъ и пошелъ съ однимъ своимъ войскомъ противъ Мамелюковъ. Іерусалимъ былъ взятъ и Гробъ Господень достался въ третій разъ христіанамъ. Но въ томъ же году Мамелюки вытѣснили изъ Палестины Монголовъ и христіанъ и на этотъ разъ уже окончательно.

10. Во время седьмого крестоваго похода, Мамелюки свергли въ Египтѣ послѣдняго потомка Саладина и возвели на престолъ своего предводителя Бибарса. Такъ основалось Мамелюкское султанство, которое помѣшало Монголамъ подать помощь христіанамъ и было причиною страшныхъ бѣдствій Палестины.

11. Театромъ военныхъ дѣйствій 3-го крестоваго похода служила Птолемаида и все побережье Палестины. Пятый крестовый походъ ограничился взятіемъ Даміетты.

12. Христіане, по изгнаніи ихъ изъ Палестины, оставались еще на островахъ: Кипрѣ и Родосѣ.

13. Магометанскій религіозно-фанатическій орденъ Ассасиновъ былъ созданъ *одною челою*, которому онъ безусловно покорился и кромѣ котораго онъ никого не зналъ. У послѣдователей Гассана не было другой воли, кромѣ его собственной, и по одному слову горнаго старца фанатики бросались въ огонь, проникали въ неприступныя крѣпости и совершали тайныя убійства.

Этотъ религиозный энтузіазмъ къ главѣ общества, энтузіазмъ, поддерживаемый, какъ говорятъ, одуряющимъ напиткомъ, *кашишемъ*, и составлялъ всю страшную силу Ассасиновъ, которые были равно опасны и для христіанъ, и для мусульманъ. Рыцарскій духовный орденъ уже въ основѣ своей былъ *братствомъ* воиновъ-монаховъ, въ которомъ *преобладалъ духъ равенства*. Самы члены съ общаго согласія избирали себѣ главу, въ лицѣ великаго магистра, или гросмейстера. Гросмейстеръ утверждался папою, и обязанъ былъ блюсти за точнымъ исполненіемъ уставовъ общества (Ordo—отсюда орденъ).

14. Виллеардуинъ (Villehardouin) 1202 г., Жуанвилль (Joinville) 1270 г. были замѣчательнѣйшіе историки и свидѣтели крестовыхъ походовъ. Первый участвовалъ въ четвертомъ крестовомъ походѣ, а послѣдній, другъ Людовика IX, сопровождалъ короля въ обѣихъ его походахъ.

Самую важную часть моего историческаго преподаванія составляли тѣ самостоятельныя работы, которыя я предлагалъ Цесаревичу, какъ слушателю университетскаго курса; эти работы, исполняемыя имъ съ большою охотою, представляли ему случай знакомиться съ историческими лицами и цѣлыми эпохами, не по руководствамъ, а по первоначальнымъ источникамъ, лѣтописцамъ, хроникамъ и въ особенности по мемуарамъ современниковъ. Только одна изъ такихъ работъ Цесаревича сохранилась у меня въ подлинникѣ; это были мемуары Сюлли, друга Генриха IV. Я предложилъ сдѣлать изъ этихъ мемуаровъ выписки тѣхъ мѣстъ, которыя обратили на себя особенное его вниманіе и представлялись наиболѣе интересными. Въ сохранившемся небольшомъ отрывкѣ манускрипта Цесаревичъ остановился на томъ мѣстѣ этихъ „Mémoires de Sully“ (книга VIII, стр. 286), гдѣ Сюлли даетъ совѣты королю, какъ онъ можетъ спасти Францію, доведенную его предшественниками до полнаго внутренняго разстройства. Эти страницы Цесаревичъ изложилъ въ русскомъ переводѣ. Когда наступила первая годовщина смерти Цесаревича (12 апрѣля 1866 года), совпавшая съ выходомъ первой книжки только-что основаннаго тогда мною журнала „Вѣстникъ Европы“ (мартъ 1866 г.), я хотѣлъ почтить память покойнаго Цесаревича помѣщеніемъ моихъ тогда еще свѣжихъ воспоминаній о немъ, съ приложеніемъ вышеупомянутой его работы изъ мемуаровъ Сюлли, и согласно закону — представилъ статью въ типографскомъ наборѣ министру Двора, гр. В. Адлербергу, съ просьбою объ исходатайствованіи мнѣ разрѣшенія напечатать въ журналѣ приложенный екземпляръ статьи, и получилъ, 29 апрѣля 1866 года, слѣдующій отвѣтъ:

„М. Г. По представленіи мною на Высочайшее воззрѣніе оставленной Вами и при семъ возвращаемой статьи съ явле-

ченіемъ изъ учебныхъ тетрадей въ Божѣ почивающаго Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича, предназначенной для помѣщенія въ журналъ „Вѣстникъ Европы“, Государь Императоръ, удостоивъ благосклонно отозваться о добромъ намѣреніи Вашемъ сохранить въ памяти соотечественниковъ замѣчательныя черты, отличавшія покойнаго Цесаревича, вмѣстѣ съ тѣмъ однако же изволилъ признать обнародованіе этой статьи, по настоящимъ обстоятельствамъ, несвоевременнымъ, и потому Его Величество не желаетъ, чтобы она была отпечатана“.

Этотъ экземпляръ возвращенной мнѣ статьи сохранился у меня въ теченіе всѣхъ истекшихъ нынѣ сорока сличкомъ лѣтъ и теперь я получилъ возможность впервые напечатать ее.

Уже въ своихъ первыхъ воспоминаніяхъ о покойномъ Цесаревичѣ Николаѣ Александровичѣ — писалъ я тогда въ той статьѣ — я замѣтилъ вообще: „Чтеніе памятниковъ старины было страстью Великаго Князя“. Рѣдкая лекція исторіи проходила безъ того, чтобы онъ не выразилъ желанія самому ближе познакомиться съ тѣмъ или другимъ памятникомъ, который могъ бы подвести его ближе къ лицамъ и событіямъ, входившимъ въ составъ лекціи. При эпохахъ знаменательныхъ и при изученіи главнѣйшихъ ихъ источниковъ, онъ не довольствовался однимъ бѣглымъ чтеніемъ послѣднихъ, но дѣлалъ для памяти извлеченія, и мѣста, которыя считалъ образцовыми, переводилъ съ иностранныхъ языковъ. Особенно сильное впечатлѣніе произвели на него „Мемуары“ Сюлли, министра и друга Генриха IV. Къ сожалѣнію, мы имѣемъ въ своихъ рукахъ всего только одно извлеченіе изъ этихъ мемуаровъ, самое первое, которое было сдѣлано Цесаревичемъ собственноручно, но одинъ выборъ котораго съ его стороны доказываетъ отличное пониманіе цѣлости эпохи. Цесаревичъ избралъ именно то мѣсто въ мемуарахъ, которое относится къ событію, рѣшившему, можно сказать, всю будущность Франціи, и когда Генрихъ IV явился однимъ изъ величайшихъ правителей, какового только представляетъ намъ исторія западной Европы. Это именно книга VIII, съ страницы 286 и слѣд. (*Mémoires du duc de Sully. Nouvelle édition. Par. 1827*), описывающая октябрьскія событія 1596 года — поворотный пунктъ въ исторіи правленія Генриха IV и вмѣстѣ всей Франціи. Таково именно было значеніе извѣстнаго „Собранія Нотаблей“, происходившаго въ Руанѣ, отъ октября 1596 года до начала 1597.

Чтобы сдѣлать вполне вразумительнымъ значеніе извлеченія, приведеннаго Цесаревичемъ изъ „Мемуаровъ“ Сюлли, напомнимъ вкратцѣ причины, вызвавшія это „Собраніе Нотаблей“, какъ то было изложено предварительно на лекціи Цесаревичу.

Генрихъ IV вступилъ въ 1589 году на престолъ Франціи, но ни самой Франціи, ни ея правительства, можно сказать, еще не существовало. Весь сѣверъ Франціи былъ занятъ испанцами, которымъ въ то время принадлежала нынѣшняя Бельгія; испанцы овладѣли главнымъ приморскимъ пунктомъ—Кале; съ юга угрожала сама Испанія изъ своего центра. Такимъ образомъ, Франція не знала своихъ границъ ни съ юга, ни съ сѣвера: каждый успѣхъ испанскаго оружія отрывалъ отъ Франціи то какой-нибудь городъ, то цѣлую область. Внутреннее состояніе королевства было еще бѣдственнѣе: всѣ преслѣдовали свои личные интересы и стремились болѣе самихъ испанцевъ къ раздробленію Франціи; составивъ еще при послѣднихъ Валоа, во время религіозныхъ войнъ католиковъ съ гугенотами, „Лигу“, лигисты, пользуясь слабостью новаго правительства и новой династіи Бурбоновъ, потребовали отъ короля подтвержденія всѣхъ феодальныхъ правъ, т.-е. верховной власти въ своихъ герцогствахъ и графствахъ, изъ которыхъ состояла Франція; даже принцы крови, ближайшіе къ Генриху IV, какъ герцогъ Монпансье, приняли сторону феодаловъ. Ко всему этому присоединилось полное отсутствіе денегъ въ казнѣ, обремененной страшными долгами. Генрихъ IV думалъ поправить финансы тѣмъ, что назначилъ, вмѣсто одного интенданта финансовъ, цѣлый совѣтъ изъ восьми лицъ, но долженъ былъ вскорѣ сознаться, что „вмѣсто одного прожоры онъ получилъ ихъ теперь восемь, и всѣ они вмѣстѣ ѣдятъ поросенка“; такимъ образомъ, доходы уменьшились въ восемь разъ. О положеніи Франціи въ 1596 году можно всего лучше судить по личному положенію самого Генриха IV, какъ онъ рисуетъ его въ своемъ письмѣ къ Сюлли отъ 15-го апрѣля того же года: „Я охотно желаю выразить вамъ то положеніе, до котораго вижу доведеннымъ себя; оно таково, что я нахожусь теперь близъ самаго непріятеля (т.-е. испанцевъ), и не имѣю ни лошади, на которой могъ бы сражаться, ни полнаго вооруженія, въ которое могъ бы облечься; мои рубашки всѣ разорваны; мое верхнее платье заштопано въ локтяхъ; мой походный котелъ очень часто пустъ, и вотъ два дня, какъ я обѣдаю : ужинаю то у одного, то у другого; мои поставщики объявляютъ, то у нихъ нѣтъ средства снабжать мой столъ, тѣмъ болѣе, что ни цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ не получали денегъ. Судите по

этому, заслуживаю ли я такой участи, и долженъ ли я еще терпѣть, чтобы мои сборщики податей и казначей заставляли меня умирать съ голоду, а сами ѣли бы изысканныя кушанья; чтобы мой домъ доходилъ до послѣдней крайности, а ихъ дома были бы преисполнены богатствъ и роскоши; и подумайте, не должны ли вы поспѣшить ко мнѣ на помощь, какъ я прошу васъ о томъ“¹⁾).

Генрихъ IV просилъ Сюлли занять мѣсто въ *Советъ восьми*. Сюлли принялъ предложеніе короля и доказалъ ему необходимость радикально измѣнить финансовое управленіе: 1) установленіемъ лучшаго порядка сбора податей и 2) открытіемъ новыхъ источниковъ для дохода. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ совѣтовалъ 3) для дѣйствительности такой реформы созвать представителей страны для обсужденія всѣхъ государственныхъ дѣлъ. Во Франціи давно уже исторически существовалъ обычай созывать сословія: духовенство, дворянство и среднее сословіе (*tiers-état*); но Сюлли объяснилъ, что такое собраніе было бы невозможно при томъ броженіи умовъ, въ которомъ находилась Франція въ то время; такой парламентъ былъ бы миниатюрою хаотическаго положенія всего государства и представилъ бы внутри себя картину тѣхъ же раздоровъ, какіе происходили во всей Франціи; положено было созвать *нотаблей*, т.-е. однихъ депутатовъ, болѣе строго выбранныхъ по сословіямъ, и причеиъ возможно нѣкоторое вліяніе правительства на выборы, чтобы руководить общественнымъ мнѣніемъ и вести его къ общей цѣли. Духовенство и дворянство должны были представить по 18-ти нотаблей, а среднее сословіе—54. Собраніе должно было открыться въ октябрѣ 1596 года въ Руанѣ. Въ ожиданіи того, Сюлли прибѣгнулъ къ палліативнымъ мѣрамъ для поправленія финансовъ, и успѣлъ, лично посѣтивъ многія провинціи Франціи, однимъ пресѣченіемъ вопіющихъ злоупотребленій, доставить королю въ Руанѣ 500.000 экю на 70-ти повозкахъ. Но его враги успѣли представить всю его дѣятельность въ такомъ черномъ видѣ, что король встрѣтилъ его чрезвычайно холодно. Начались страшныя интриги и борьба Сюлли съ противниками: чтобы уничтожить собранныя имъ деньги, враги Сюлли представляли королю для подписанія двойныя и тройныя суммы на расходъ; если Сюлли отказывалъ въ выдачѣ, королю представляли такіе отказы какъ результатъ его заносчивости, неповиновенія и корысти. Таково было положеніе двора Генриха IV, когда наступилъ день открытія

¹⁾ Lettres missives, t. IV, стр. 565—568.

„Собранія Нотаблей“ въ Руанѣ. Послѣ этого понятно, что тѣ странницы въ „Мемуарахъ“ Сюлли, которыя относятся къ засѣданіямъ нотаблей, представляютъ чрезвычайный интересъ для историка, и мысли Сюлли — замѣнить имъ собраніе „Государственныхъ Чиновъ“ (Etats-Généraux) — заключаютъ въ себѣ особенную важность. На этомъ-то мѣстѣ и остановился прежде всего Цесаревичъ въ своемъ чтеніи „Мемуаровъ“ Сюлли, выписавъ его въ большемъ извлеченіи для памяти:

„Посреди всѣхъ этихъ споровъ (т.-е. Сюлли съ своими придворными врагами), наступилъ день, назначенный для открытія собранія чиновъ королевства, или, скорѣе, *собранія нотаблей*; потому что таково было названіе, которое имъ дали. Единственными виновниками замѣненія вторымъ именемъ перваго, принадлежавшаго естественно этому собранію, были судейскіе и финансовые люди (gens de robe et de finance), которые чувствовали, что ихъ богатство и ихъ значеніе могли дать имъ въ этомъ случаѣ превосходство надъ другими сословіями, превосходство, которое они не хотѣли дѣлить ни съ кѣмъ другимъ, исключая духовенства. Они считали для себя унижительнымъ быть поставленными наравнѣ съ классомъ народа, что и случилось бы, еслибы въ этомъ случаѣ слѣдовали общепринятому въ собраніи чиновъ порядку и въ особенности различію трехъ сословій. Они явились, дѣйствительно, съ такою пышностью и съ такимъ великолѣпіемъ, что вполне затмили дворянъ, военныхъ и другихъ членовъ собранія, которые не могли поражать взоровъ ни богатыми экипажами, ни блескомъ позолоты, ни обстановкою многочисленной свиты, этими вѣчными предметами зависти, уваженія и боготворенія народа, или, вѣрнѣе, вѣчными доказательствами нашего ничтожества и нашего безумія.

„Вотъ, главнымъ образомъ, то понятіе, которое должно составить себѣ объ этихъ большихъ собраніяхъ, которыя называются августѣйшими. Эти люди, которые, казалось бы, должны были вносить въ нихъ духъ благоразумія, любви къ общественному благу, ревности, какою были одушевлены древніе законодатели, занимаются большею частью только смѣшнымъ выказываніемъ роскоши и обнаруживаютъ всю свою вялость, что показалось бы верхомъ позора глазамъ менѣе предупрежденнымъ нашихъ. Разъединеніе сословій, входящихъ въ составъ этихъ собраній, разногласіе ихъ, противоположность выгодъ, желаніе выжить другъ друга, подкупъ и безпорядокъ, которые даютъ окончательное понятіе объ этихъ собраніяхъ, проистекаютъ изъ

„того же нечистаго источника, равно какъ и низость, съ которою здѣсь торгуютъ краснорѣчіемъ. Какъ объяснить себѣ, что тѣ успѣхи просвѣщенія, въ которыхъ одинъ вѣкъ опереживаетъ прошедшіе, обращаются не въ пользу добродѣтели, а на утонченіе порока?

„Я не хочу этимъ сказать, чтобы въ этихъ собраніяхъ не нашлось небольшого числа людей одинаково и добродѣтельныхъ и способныхъ, и чтобы ихъ даже не признавали такими; нѣтъ, но вмѣсто того, чтобы насиловать ихъ скромность, выказываютъ имъ полное забвеніе и презрѣніе, которое заглушаетъ вмѣстѣ съ ихъ голосомъ и голосъ общественной пользы. За то долгій опытъ и доказалъ, что весьма рѣдко созваніе государственныхъ чиновъ приносило то благо, которое отъ него ожидали ¹⁾. Для достиженія такого блага, тѣ, которые составляютъ чины, должны были бы быть проникнуты одинаковыми понятіями о доброй и настоящей политикѣ, или, по крайней мѣрѣ, чтобы невѣжество и злой умыселъ замолкли бы предъ этимъ малымъ числомъ людей безпристрастныхъ и просвѣщенныхъ. Но, къ несчастью, въ массѣ на одного умнаго придается множество безумныхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ высокомеріе, надменность есть первый удѣлъ безумія: здѣсь, болѣе чѣмъ гдѣ-либо, подтверждается та истина, что великія добродѣтели, вмѣсто уваженія и соревнованія, возбуждаютъ только ненависть и зависть.

„Впрочемъ, если правитель, который собираетъ чины, могущественъ и проникнутъ чувствомъ своей власти, онъ съумѣетъ принудить ихъ къ молчанію или парализовать ихъ замыслы. Если это правитель слабый и не сознающій правъ своего званія, то своеволие прямымъ путемъ поведетъ королевство ко всѣмъ несчастіямъ, сопровождающимъ униженіе монархической власти. Слѣдовательно, необходимо, чтобы и правитель и подданные являлись на собраніе одинаково знающими

¹⁾ Разсуждая такимъ образомъ, Сюлли, можно сказать, опередилъ цѣлые вѣка и преслѣдовалъ тѣ цѣли, которыя показались бы идеаломъ и въ болѣе позднюю эпоху. Живя въ средѣ, въ которой сословное различіе было проведено такъ рѣзко, какъ, напримѣръ, мы у себя не имѣемъ о томъ и понятія, Сюлли видѣлъ, что собраніе чиновъ по сословіямъ, а не по земству, всегда будетъ заключать въ себѣ тотъ же духъ раздора, какимъ бушуетъ общество за стѣною собранія чиновъ; вотъ почему онъ жалуется на недостатки собраній по сословіямъ; другой же принципъ собранія былъ невозможенъ, потому что въ самомъ обществѣ не было для него данныхъ. Сюлли думалъ исправить дѣло собраніемъ нотаблей, но оказалось, что и они сохранили въ себѣ духъ сословныхъ раздоровъ и соперничества.

„и свои права, и свои взаимныя обязательства. Первый законъ
 „для правителя есть соблюденіе ихъ всѣхъ. Онъ самъ имѣетъ
 „двухъ властителей надъ собою: Бога и законъ. На его тронѣ
 „должно господствовать правосудіе; кротость должна быть самою
 „прочною его опорою. Такъ какъ Богъ есть настоящій владыка
 „всѣхъ королевствъ, а короли суть только его управители, то
 „они всѣ должны представлять предъ народомъ того, кого они
 „замѣняютъ, достоинствами и совершенствами; главное, они
 „тогда только будутъ царствовать подобно ему (Богу), когда
 „будутъ отцами своихъ подданныхъ. Въ государствахъ монар-
 „хическихъ наслѣдственныхъ существуетъ одно заблужденіе, ко-
 „торое тоже можетъ быть названо *наслѣдственнымъ*; это то,
 „что правитель властенъ надъ жизнью и имуществомъ всѣхъ
 „своихъ подданныхъ, и что посредствомъ четырехъ словъ: *tel*
 „*est notre plaisir* онъ избавленъ отъ необходимости объявлять
 „причины своего образа дѣйствія или даже совсѣмъ ихъ имѣть“.

На этомъ останавливается интересное извлеченіе, сдѣланное
 Цесаревичемъ, вѣроятно потому, что на слѣдующихъ двухъ-трехъ
 страницахъ авторъ мемуаровъ не прибавляетъ ничего новаго къ
 прежде высказаннымъ имъ мыслямъ и только развиваетъ ихъ съ
 большею подробностью, доказывая постоянно безплодность со-
 словныхъ собраний, въ противоположность другимъ писателямъ,
 какъ Коминъ, Буленвиллье, которые стали на сторону собранія
 государственныхъ чиновъ и защищали феодальныя интересы.
 Знаменитая и столь извѣстная рѣчь Генриха IV, которою онъ
 открылъ собраніе нотаблей 1596 года, приводится у Сюлли въ
 небольшомъ сокращеніи, и затѣмъ слѣдуетъ описаніе самыхъ
 засѣданій, безъ короля и въ присутствіи одного Сюлли, при-
 чемъ послѣдній обнаружилъ тотъ необыкновенный государствен-
 ный умъ, который спасъ Францію въ самую критическую ми-
 нуту ея исторіи.

М. Стасюлевичъ.

12 апрѣля 1866 г.



ПОСЛѢ ССЫЛКИ

Личныя воспоминанія и замѣтки

1872—1906 гг.

I.—Верхнеуральскъ и Уфа.

Мои странствованія послѣ ссылки въ Сибирь ¹⁾ начались съ Оренбургской губерніи, куда я прибылъ, прямо изъ Иркутска, во второй половинѣ 1872 года, и поселился въ городѣ Верхнеуральскѣ, назначенномъ мнѣ мѣстопробываніемъ; съ него я и начну мои воспоминанія.

При выѣздѣ моемъ изъ Иркутска, всѣ мои права состоянія были мнѣ возвращены, и въ выданномъ мнѣ тамъ документѣ я значился *бывшимъ* государственнымъ преступникомъ, потомственнымъ дворяниномъ, а въ екатеринбургскомъ казначействѣ, при выдачѣ подорожной, слово „бывшему“ пропустили, такъ что я далѣе прослѣдовалъ подъ весьма необычнымъ наименованіемъ. Верхнеуральскъ предсталъ предо мною весьма жалкимъ, съ его разбросанными, низенькими, почти сплошь одноэтажными домами, крытыми драньемъ, а самъ городъ—безъ деревца кругомъ на тридцать верстъ. Постройки дрянныя, изъ тонкихъ, кривыхъ бревенъ, которыя на зиму обмазываютъ глиной и бѣлятъ, а по низу заваливаютъ навозомъ. Двойныя рамы не вездѣ; а кое-гдѣ въѣсто стекла тряпье или подушка. Много плетня. Улица сбивается на пустырь: грязь и пустопорожнія выгонныя пространства. Много гусей и утокъ; не въ диковину свиньи. Ребятишки у домовъ нищіе, оборванные, безобразные. Уралъ въ плоскихъ берегахъ

¹⁾ О ссылкѣ автора въ Сибирь была помѣщена имъ въ „Вѣстникѣ Европы“ статья подъ заглавіемъ: „Изъ пережитого“ (см. 1907 г., май, 122; июнь, 565).

не шире нашей Волги подъ Ржевомъ; удобный для купанья. Впослѣдствіи, мнѣ не разъ приходилось слышать замѣчанія о сравнительной дикости, убожествѣ обѣдѣвшихъ, обойденныхъ жизнью казачьихъ поселеній, сравнительно съ русскими, и собственнымъ опытомъ я извѣдалъ, какъ много меньше въ нихъ достатка и сытости—сравнительно съ Сибирью. Пришлось съ этимъ ознакомиться съ перваго же шага. Я не захотѣлъ остановиться въ гостинницѣ, и ямщикъ привезъ меня къ почтенному уряднику, который очень заинтересовался моей фамиліей, потому что помнилъ бывшаго генералъ-губернатора, дядюшку Владиміра Аванасьевича. Не сомнѣваюсь, что онъ желалъ меня угостить, а между тѣмъ въ позднѣйшемъ письмѣ домой значится, что я съ содроганіемъ вспоминаю поданную мнѣ тогда тарелку помоевъ съ запахомъ баранины и рубленое мясо, плавающее въ маслѣ.

На слѣдующее утро я явился къ исправнику, Ник. Петр. Курѣдову. Увидалъ сухоощаваго, темноволосаго мужчину, въ формѣ, не безъ джентльменскаго пошиба, соотвѣтствующаго его дворянскому происхожденію изъ Аксаковскихъ странъ, точнѣе изъ Бугурусланскаго уѣзда. Поминаю его добромъ; и когда впослѣдствіи вступилъ въ сношенія съ обывателями, то не слышалъ о немъ дурного. Напротивъ, сожалѣли, что онъ, по всей вѣроятности, скорѣе получить другое назначеніе, такъ какъ исправничаетъ уже восемь лѣтъ. Онъ мнѣ отдалъ визитъ мѣсяца черезъ два слишкомъ, ссылаясь на разъѣзды. Отъ его дома потомъ и пошли знакомства съ обывателями. А первое время я провелъ въ абсолютномъ одиночествѣ, такъ что я даже сталъ тревожиться, не повредить ли мнѣ такая отчужденность въ мѣнѣи начальства и не слѣдуетъ ли переговорить по этому предмету съ исправникомъ.

Но сначала одиночество было мнѣ очень кстати. При водвореніи въ Верхнеуральскѣ во мнѣ заронились заносчивыя мечты. Я вообразилъ, что слѣдуетъ немедленно предпринять что-нибудь рѣшительное для ускоренія моего возврата въ семью, и я напалъ на мысль, что мнѣ всего легче найти заступниковъ въ военномъ вѣдомствѣ, въ штабѣ, къ которому я когда-то принадлежалъ, и что если мнѣ удастся доказать свою пригодность къ хорошей штабной работѣ, то это можетъ сразу поправить мои дѣла. Подъ влияніемъ этой мечты, я надумался написать военному министру, Д. А. Милютину, докладную записку о подготовлявшейся въ то время (1872) военной реформѣ. Несмотря на тринадцатилѣтнюю отрѣшенность отъ военнаго міра и отсут-

ствіе пособій и справочныхъ книгъ, я успѣлъ составить эту записку съ небольшимъ въ двѣ недѣли. Подстраничная выноска доказывала, что я не обольщался насчетъ вѣроятности въ моей работѣ многихъ недочетовъ и промаховъ; но я и теперь полагаю, что человѣка, способнаго составить, въ данныхъ обстоятельствахъ, такую записку, слѣдовало выручить. Мнѣ неизвѣстно, видѣлъ ли ее военный министръ—склоненъ думать, что нѣтъ;—не знаю также, кѣмъ была рѣшена ея участь.

Я не оставался празднымъ и дальнѣйшее время моего пребыванія въ Верхнеуральскѣ. Благодаря самоотверженнымъ стараніямъ сестры, мнѣ удалось получить два или три заказныхъ перевода, и на собственный страхъ я рѣшился перевести довольно большую вещь, не менѣе десяти журнальныхъ листовъ. Въ письмѣ отъ 15-го марта 1873 г.—торжествующее восклицаніе: „Кончилъ переводъ! рублей на 200, если примутъ“. Увы, не приняли! Кромѣ того, меня, повидимому, привлекли къ работѣ въ канцеляріи исправника. Ни разговора объ этомъ, ни полученія какихъ-либо денегъ рѣшительно не припомню; но въ письмахъ попадаются такіа выраженія: „Сію минуту пришла лошадь отъ исправника; вѣрно, какое-нибудь дѣло на почту—надо бѣжать—онъ сегодня уѣзжаетъ (8 янв. 73)“. Или 1 февр.: „Только два слова, изъ квартиры Ник. Петр., куда былъ приглашенъ для окончанія разныхъ дѣлъ къ почтѣ“. И ясно сохранилось у меня въ памяти, что я дѣлалъ выборки изъ недомочныхъ вѣдомостей и при этомъ поразился большими недомками за А. Е. Тимашевымъ, что для меня было интересно не по служебной его дѣятельности, а потому что напомнило былые дни, когда Н. А. Пушкина-Дубельтъ появлялась въ одной ложѣ съ мадамъ Тимашевой на бенефисныхъ спектакляхъ Михайловскаго театра. Вотъ куда способна донестись, и въ какихъ формахъ сказаться, сила женскаго очарованія.

Еслибы расчетъ за журнальныя работы производился тутъ же, и еслибы не оставалось за мной иркутскихъ долговъ, то заработаннаго мною въ Верхнеуральскѣ было бы, конечно, достаточно для моей скромной тамошней жизни, такъ какъ мѣсячные мои расходы не превосходили двадцати-пяти рублей. Но впредь до не-скорохъ получить необходимо было имѣть деньги, и нельзя было ихъ заработать въ городѣ, гдѣ вся письменность ограничивалась лавочными каракулями. Поэтому мои письма оттуда почти сплошь являются просительными. То деньги, то вещи, то выписка книгъ, журналовъ и газетъ, но непремѣнно, въ каждомъ письмѣ, просьба и расходъ. А когда не прямо

деньги, то требовались хлопоты, добываніе работы, ходатайства. И вслѣдствіе гораздо меньшаго разстоянія такіа письма сдѣлались еженедѣльными, подробными, шутивными. На меня они производятъ теперь впечатлѣніе угнетающее, мучительное. Мнѣ стыдно за то ослѣпленіе себялюбія, которое не позволило мнѣ понять, какое впечатлѣніе эти внезапно участвовавшія письма, съ неизмѣнною сущностью кланченія, должны были производить на людей, утомленныхъ десятилѣтнимъ оказаніемъ помощи, при постоянныхъ собственныхъ недохваткахъ и нуждѣ. Конечно, я былъ увѣренъ въ ихъ любви, рвался къ нимъ, вполне надеялся доставить имъ, по своему освобожденію, всякіа блага: покой, довольство, счастье, и увѣрялъ ихъ въ этомъ. Но люди, стоявшіе ближе къ дѣйствительной жизни, не могли не видѣть, что все это вздоръ, и эти ребяческіа выходки, конечно, только укрѣпляли въ нихъ убѣжденіе въ жалкой моей непригодности. Желаніе снова увидѣть меня подъ родительскимъ кровомъ неизбежно должно было осложниться грустными и озабоченными думами. Въ слабое оправданіе себя скажу, что истинное положеніе вещей въ домѣ отъ меня, по добротѣ сердечной, до послѣдней минуты скрывали; такъ что я все представлялъ себѣ въ ложномъ свѣтѣ. Привыкнувъ быть въ молодые годы опорой дома, я продолжалъ воображать, что для водворенія моего въ немъ никакіа жертвы не тяжелы. Мнѣ въ голову не приходило, что я постепенно довелъ себя въ глазахъ моихъ ближайшихъ до того, что сталъ имъ казаться одною изъ тѣхъ личностей, отъ которыхъ не лишнее припрятывать что поцѣниже.

Все это мнѣ стало мучительно яснымъ въ первые же дни по возвращеніи домой. Тяжелы были грѣхи мои; но и наказаніе меня постигло тяжкое. Я вдругъ почувствовалъ, что у меня отняли домъ, что я въ немъ сталъ чужимъ человѣкомъ, котораго остерегаются. Оставалось бѣжать, что я вскорѣ и сдѣлалъ, и до послѣдняго прощальнаго свиданія уже не появлялся въ домѣ. Не совсѣмъ у мѣста я объ этомъ здѣсь распространился, но гдѣ-нибудь сказать надо; а связывать эти тяжелыя признанія съ памятью о послѣднемъ прощаніи съ домомъ я не хочу. Тогда грѣхи уже были искуплены, и я вправѣ ничѣмъ не нарушать чистоты тѣхъ воспоминаній.

Обычный порядокъ моего пустынножительства былъ въ Верхнеральскѣ нарушенъ тѣмъ обстоятельствомъ, что прогулки въ знаительной степени сократились. Онѣ были слишкомъ безотрадны. Ничего, кромѣ гладкой степи, зашѣванія вѣтра въ изгородяхъ иа выѣздѣ, потомъ жалкій, до крайности бѣдный переселенческій

поселокъ, навѣвавшій самыя тоскливыя мысли. Изрѣдка попадались навстрѣчу башкиры, въ синемъ рубищѣ, съ жалкимъ возомъ дрянныхъ кривыхъ дровъ, или шедшій отыскивать въ городѣ какую-нибудь работу около дворовъ, которая большею частью справляется тамъ ими. Работаютъ они, конечно, дурно, но цѣну имъ даютъ самую недостаточную и обсчитываютъ ихъ нагло. Интересъ къ прогулкѣ я временно почувствовалъ лишь тогда, когда стали прокладывать телеграфъ и получилась возможность слѣдить за успѣхомъ работъ.

Въ кругъ верхнеуральскаго общества я сталъ входить съ осени, начавъ съ дома исправника, уже извѣстнаго читателю. Его жена, Анна Петровна, изъ хорошей екатеринбургской купеческой семьи, была несомнѣнно первая въ городѣ дама, какъ по положенію, такъ и по разговору: блондинка, пріятной наружности, воспитанная, нѣсколько чинная. Въ мѣстномъ обществѣ она считалась предводительницей партіи Бѣлой розы; а Красной розой была жена акцизнаго чиновника, безспорно хорошенькая брюнетка, у которой въ рабскомъ подчиненіи находился мировой посредникъ, старый, сѣвшій на ноги отставной кавалеристъ, нѣмецъ.

Для меня пріятнѣйшимъ домомъ былъ домъ доктора Г., молодого человѣка лѣтъ тридцати, нѣмца по фамиліи, практичности, аккуратности, хозяйственности, но во всемъ остальномъ чисто русскаго и женатаго на очень милой русской молодой особѣ, носившей еще—по крайней мѣрѣ у себя дома—прическу въ двѣ косы. Онъ самъ выстроилъ себѣ красивый домикъ на каменномъ фундаментѣ, съ желѣзной крышей, солиднымъ подъѣздомъ и дубовыми рамами въ окнахъ, съ изразцовыми герметическими печами. Все въ домѣ было чисто и уютно, и закуска подавалась аппетитная. Мнѣ бы всего пріятнѣе было ходить почаще туда, тѣмъ болѣе, что хозяева относились ко мнѣ дружелюбно; но очень скоро пришлось почувствовать жало провинціальной сплетни, такъ что явилась необходимость воздерживаться и слѣдить за собой очень строго. Исправникъ довольно часто приглашалъ меня въ клубъ, устроенный, кажется, въ бывшемъ винномъ складѣ, обставленный безъ малѣйшаго щегольства, гдѣ шла преимущественно небольшая коммерческая игра, но иногда и другая. Разъ, единственный, я поддался искушенію и далъ доктору втянуть себя въ азартную игру, послѣдствіемъ чего было полное мое разореніе. Онъ тоже тогда проигралъ и былъ нѣсколько возбужденъ, вслѣдствіе чего, несмотря на поздній часъ, предложилъ мнѣ зайти къ нему, взять у него денегъ и для успокоенія выпить чаю.

Чай вскорѣ явился, а вслѣдъ затѣмъ и милая молодая хозяйка въ бѣлой ночной кофточкѣ. Когда мужъ вышелъ изъ комнаты, она потихоньку сказала:

— Безобразники!

Случай, конечно, совершенно ничтожный; но вѣроятно, что и онъ не остался безъ вліянія на пересуды мѣстныхъ дамъ, въ числѣ которыхъ долженъ еще помянуть красивую, но лишенную политическаго значенія аптекаршу. Объ этихъ пересудахъ я писалъ такъ (22-го марта): „Общественныя огорченія происходятъ главнымъ образомъ вслѣдствіе раздѣленности здѣшней публики на двѣ партіи. Главные представители той и другой другъ у друга не бывають; остальнымъ приходится балансировать. Сплетнямъ нѣсть числа; а также разнымъ безпричиннымъ охлажденіямъ, неожиданнымъ коварствамъ и прочимъ гадостямъ, глупымъ, конечно, но противнымъ. Замѣтивъ, что и я могу сдѣлаться ихъ жертвой, я, разумѣется, сдѣлался осторожнѣе. Если доживу до счастливой минуты полученія извѣстія о переводѣ, первую радость почувствую въ развязкѣ со всѣмъ этимъ. Пока утѣшаюсь тѣмъ, что особа, о которой я писалъ вамъ раньше, совершенно въ сторонѣ отъ этихъ исторій“.

Къ верхнеуральскому обществу тогда принадлежалъ, но держался отъ него дальше, чѣмъ я, одинъ ссыльный полякъ, помѣщикъ, повидимому со средствами, образованный человѣкъ съ энергичнымъ, смѣлымъ лицомъ, но калѣка, волочившій омертвѣлыя ноги при помощи двухъ костылей. Коротко стриженный, съ бородой клиномъ и общимъ типомъ хищной птицы, при очень развитыхъ плечахъ и рукахъ, онъ производилъ, когда двигался, впечатлѣніе подстрѣленнаго коршуна, пытающагося взмахнуть крыльями. Мы изрѣдка встрѣчались въ клубѣ, и раза два или три я у него обѣдалъ. Онъ игралъ очень спокойно, хорошо и большей частью счастливо. Докторъ его не терпѣлъ, повидимому безъ достаточнаго основанія; а мнѣ онъ, напротивъ, нравился, — причеъ, быть можетъ, отчасти подкупали его вкусныя обѣды.

По этой части, т.-е. по части обѣдовъ, я въ Верхнеуральскѣ очень бѣдствовалъ, въ особенности на первой квартирѣ. Черезъ два мѣсяца послѣ пріѣзда и писалъ отъ 17-го сентября:

„Что ни спроси — одинъ отвѣтъ: „здѣсь не найдете“. Казацкая безпритязательная суровость господствуетъ, да еще съ отгѣнкомъ сиротства и воспоминанія о лучшихъ дняхъ, когда городъ былъ „на Линіи“ и гораздо оживленнѣе. Хозяйки мои бѣдны, нельзя отъ нихъ многого требовать; но, кромѣ того, такія неряхи, какихъ рѣшительно не видывалъ. У нихъ одна забота о пищѣ,

которая вѣроятно лучше, чѣмъ у прочихъ бѣдныхъ людей; но все прочее разваливается и гибнетъ“.

Въ эту зиму оренбургскій генералъ-губернаторъ Крыжановскій ѣздилъ въ Петербургъ. Я находилъ, что обращеніе къ высшимъ властямъ, помимо власти мѣстной, было бы неудобно, и просилъ матушку не упустить случая и рѣшиться еще разъ побывать въ Петербургѣ, для личнаго обращенія къ генералъ-губернатору. Ее приняли любезно и общались, въ недалекомъ будущемъ, переводъ въ Оренбургъ или Уфу. Перваго мнѣ очень не хотѣлось, вслѣдствіе болѣе отдаленности и непріятнаго климата, а также въ виду военнаго характера города, причемъ фамилія моя представлялась мнѣ особенно неудобной, такъ какъ прошло всего двадцать лѣтъ со времени генералъ-губернаторствованія моего дяди и его еще помнили. Съ удовольствіемъ замѣчу, что о немъ отзывались вообще хорошо, выставляя на видъ его заботливость о солдатѣ и не всегда толковую ретивость въ сбереженіяхъ и преслѣдованіи хищничества. Безусловно добромъ поминали жену его, по ея выдающейся красотѣ и старанію укрощать слишкомъ заносившагося супруга. Впослѣдствіи выяснилось, что меня переводятъ въ Уфу. Въ письмахъ моихъ объ этомъ долгожданномъ обстоятельстве значится слѣдующее:

„Утромъ въ субботу, 31 марта, я былъ у исправника. Собралось по дѣлу нѣсколько человекъ, съ которыми онъ велъ бесѣду до того одушевленную, что когда принесли почту, она часа полтора пролежала нетронутая. Потомъ онъ вскрылъ конвертъ отъ губернатора — и прямо передалъ мнѣ: оказалось желанное извѣщеніе. Былъ тутъ же докторъ и другія лица, не разъ бывшія въ Уфѣ и знающія путь туда въ подробности. Докторъ полагалъ, что можно бы тотчасъ выѣхать и хотя съ грѣхомъ пополамъ перебраться черезъ Уралъ и далѣе коммерческимъ проселкомъ до Стерлитамака. Но исправникъ и другія лица отговорили, утверждая, что непременно гдѣ-нибудь застрянешь, а пожалуй и вовсе утонешь; а вещи во всякомъ случаѣ неоднократно испуашь и прополощешь. Кажется, я напрасно ихъ послушался; но какъ бы ни было, рѣшено пуститься слѣдующимъ путемъ: на коммерческомъ проселкѣ, ведущемъ отсюда въ Стерлитамакъ, есть въ 54-хъ верстахъ заводъ Бѣлорѣцкій. Туда проѣздъ и въ отчаянную распутицу безопасенъ. Изъ этого завода, какъ только вскрыется рѣка, отправляютъ по полой водѣ барки съ чугуномъ, которыя идутъ до Стерлитамака дней пять. На сихъ-то баркахъ мнѣ и предлагаютъ поплыть, что, конечно, и мѣшкотно, и холодно, и голодно, но будто бы все-таки лучше.

Николай Петровичъ (исправникъ) запросилъ управляющаго заводомъ, когда ожидается вскрытіе рѣки, и, по полученіи отвѣта, заявилъ, что ему самому нужно побывать въ той сторонѣ, и предложилъ довести меня до завода. Любопытно, что съ самой минуты полученія извѣстія о моемъ переводѣ—какъ рукой сняло всѣ здѣшнія досады. Я какъ бы сдѣлался именинникомъ, съ которымъ никто не хотѣлъ имѣть непріятныхъ счетовъ. Меня проводили пивникомъ, въ небольшой мужской компаніи, за нѣсколько верстъ отъ города. Расположились въ болѣе или менѣе живописныхъ кустахъ; но тутъ оказалось, что забыли стаканы и рюмки. Остроумный докторъ и тутъ нашелся, предложивъ отвязать колокольчики...

На Бѣлорѣцкомъ заводѣ исправника, конечно, чествовали, причемъ любезной хозяйкой была очень видная, красивая барыня въ черныхъ шелкахъ, обладательница порядочнаго голоса, вслѣдствіе чего вечеромъ были и романсы, и хоровое пѣніе. По рекомендаціи начальства, меня удобно устроили на баркѣ, снабдили дорожной провизіей, и на слѣдующее утро караванъ тронулся. Путешествіе мое было вполнѣ благополучное, но томительно медленное. Въ четырехъ верстахъ отъ завода мы простояли трое сутокъ по случаю какихъ-то усложненій по найму рабочихъ, и затѣмъ, помимо ночныхъ стоянокъ, мы не разъ останавливались вслѣдствіе того, что барки притыкались къ мелямъ или вовсе разбивались. Приходилось стаскивать, перегружать. Я слѣдовалъ на главной баркѣ, гдѣ, понятно, былъ лучшій лоцманъ и рабочіе лучше; но и мы разъ стукнулись объ утесъ, называемый Чугункой. Поврежденія не послѣдовало; но разбейся барка въ этомъ мѣстѣ—было бы скверно. По личному впечатлѣнію, лоцманъ былъ довольно уже старый и утомленный выпивками косматый мужикъ въ лаптяхъ, не безъ улыбки, но съ нескладной, путанной рѣчью. На свое немного возвышенное мѣсто онъ становился только тамъ, гдѣ требовалось особенное вниманіе. Когда насъ очень быстро несло на утесъ, онъ топалъ ногами, держа обѣ руки вверхъ, отплевывался и кричалъ: „Не бойсь! не бойсь! пронесеть! ничего не будетъ!“ И мы, дѣйствительно, отдѣлались легкимъ толчкомъ, едва коснулись камня. Но онъ все-таки былъ очень сконфуженъ.

Я былъ радъ, когда мы добрались до Авзяна (завода, кажется, Бенардаки), гдѣ, благодаря письмамъ изъ Верхнеуральска, мнѣ было обезпечено радушіе гостепріимство. Уютный домъ среди приволья дальнихъ краевъ, ласковый привѣтъ на чужбинѣ—что можетъ быть отрадіе послѣ утомительнаго пути? И я этимъ

вполнѣ наслаждался въ домѣ управляющаго Авзянскимъ заводомъ, въ особенности благодаря хозяйкѣ, умной, образованной москвичкѣ, къ тому же очень красивой блондинкѣ, хотя и расплывшей нѣсколько болѣе, чѣмъ бы желательно. Да и онъ былъ пріятный человѣкъ, красивый и элегантный, помѣщикьяго пошиба. Ни фамилии, ни имени его не помню; но ее звали Александрой Сергѣевной. Они посовѣтовали мнѣ бросить караванъ и вызвались нанять для меня, недорого, лодочку съ двумя гребцами, при помощи которыхъ я гораздо скорѣе и пріятнѣе доберусь до Стерлитамака, откуда пойдетъ уже прямой трактъ на Уфу.

Этому совѣту я обязанъ едва-ли не самыми блаженными минутами наслажденія природой, какія пришлось мнѣ испытать въ жизни. Своимъ тогдашнимъ впечатлѣніямъ я посвятилъ послѣднія страницы моихъ „Очерковъ сибирской жизни“.

Путь отъ Стерлитамака до Уфы ничѣмъ, конечно, ознаменованъ не былъ; но попасть съ тракта въ Уфу оказалось не легко, по случаю разлива р. Бѣлой. Пришлось плыть часа два, между кустовъ и плетней, подъ дождемъ и при сильномъ вѣтрѣ, причемъ лодченку подчасъ порядочно кренило.

Всего странствованіе мое продолжалось семнадцать дней: съ 19 апрѣля по 6 мая.

О жизни своей въ Уфѣ я могу рассказать еще гораздо менѣе, чѣмъ о жизни въ Верхнеуральскѣ. Тутъ я не имѣлъ никакихъ отношеній къ администраціи и никакихъ знакомствъ. Весь интересъ существованія сводился къ полученію заказной, журнальной или переводной работы и къ соображеніямъ о времени, когда отпустить домой. Городъ былъ для такой жизни удобный, недорогой, съ широкими шоссированными улицами, обставленными уютными особнячками, съ садиками, гдѣ въ маѣ благоухала сирень, а въ іюнѣ липы, и гдѣ соловьи пѣли весной очень громко. Прелестныя прогулки были и за городомъ, въ дубовыхъ рощахъ. Не совсѣмъ удобны были зимнія метели и вообще страшные снѣга, которые поднимали полотно улицъ чуть не до уровня фонарей. Я жилъ во флигелькѣ, въ углу пространнаго двора, и меня часто заносило такъ, что приходилось ждать, пока буря стихнетъ и хозяйскій плохонькій работникъ расчиститъ крыльцо и возобновитъ сообщеніе съ міромъ.

Въ январѣ 1874 года стало извѣстно, что мнѣ, въ числѣ прочихъ, разрѣшалось свободное жительство въ имперіи, кромѣ столичныхъ городовъ и губервскихъ. Тогда же пріѣхалъ въ Уфу генералъ губернаторъ Крыжановскій. Я ему представлялся, не помню, по личному ли желанію, для выраженія благодарности, или по

приказанію выше. Меня принялъ губернаторъ, котораго я тутъ увидѣлъ впервые, и который, при появленіи Н. А. Крыжановскаго, почтительно удалился. Генералъ-губернаторъ былъ любезенъ, посадилъ меня на диванчикъ рядомъ съ собой, выразилъ увѣренность, что у меня теперь прошла всякая фанаберія, и затѣмъ, вдругъ перейдя на дружескую фамиллярность и на „ты“, предложилъ мнѣ только съѣздить домой, повидаться съ матушкой, а затѣмъ явиться къ нему на службу, въ Оренбургъ, причемъ ручался, что это будетъ для меня всего выгоднѣе. Я до крайности испугался такого внезапнаго проявленія милости; но полагаю, что не выдалъ себя и нашелъ слова, свидѣтельствующія о благодарности, готовности и, увы, достойной начальственнаго снисхожденія невозможности. Чуть ли не единственный разъ въ жизни я самъ себя слушалъ и сознавалъ, что сладко лилась моя рѣчь. Во всякомъ случаѣ погранъ не былъ, а, напротивъ, отпущенъ съ миромъ, и въ началѣ февраля отбылъ изъ Уфы съ попутчикомъ, очень хорошимъ полякомъ, котораго я зналъ еще въ Иркутскѣ. Намъ обоимъ очень хотѣлось скорѣе добраться до желѣзной дороги, какъ нагляднаго доказательства нашего возвращенія въ культурныя страны. При сведеніи дорожныхъ счетовъ, на пути изъ Нижняго въ Москву, я остался ему долженъ 14 рублей. Его варшавскій адресъ былъ у меня записанъ, но затерялся; а потомъ я даже его фамилію забылъ, и помню только хорошее лицо, передъ которымъ теперь извиняюсь въ невольной неисправности.

II.—Одесса.

Въ концѣ мая я отправился искать счастья въ Одессу. Теперь такая мысль никому не придетъ въ голову: даже во снѣ было бы ужасно увидать себя въ обстановкѣ этого тяжело испытываемаго города. Трудно понять, какъ еще живутъ тамъ люди; какъ не бѣгутъ всѣ оттуда. Но тогдашняя Одесса была непохожа на теперешнюю. Правда, что собственно за евреевъ и тогда опасались каждую Пасху. Но почвой для этихъ опасеній служила греческая церковь, греческіе фейерверочные пасхальные обычаи и греческая злоба противъ конкурентовъ. Погромъ 1871 года разыгрался нечаянно, по оплошности начальства, и въ немъ преобладали элементы звѣрской потѣхи, разрушенія и грабительства, а не злобнаго калѣченія и убійства, къ которому преимущественно устремлены теперешнія организованныя шайки. Послѣ первыхъ часовъ растерянности, расправа послѣдовала крутая, не оста-

вившая въ умахъ населенія никакихъ сомнѣній насчетъ истинныхъ чувствъ начальства. Въ тѣ дни крѣпкой власти слишкомъ еще далеки были отъ мысли усматривать въ свирѣпостяхъ черни орудіе политической борьбы, полезное укрощеніе строптивыхъ и надежную для себя опору. Конечно, Одессу и тогда не любили, и посѣщали неохотно. Я полагаю, однако, что въ основѣ этой неохоты была лишь своего рода брезгливость, опасеніе еврейской неудержимости, неподобающихъ кривовъ, столпленія вокругъ экипажа протянутыхъ рукъ...

Погромныя раны 1871 года заросли, новороссійское генералъ-губернаторство было упразднено; о блескѣ Воронцовскихъ дней напоминалъ только красивый дворецъ на выступѣ скалы надъ моремъ, гдѣ доживала вѣкъ никому уже невидимая старая княгиня Елизавета Ксаверьевна, волшебница Пушкинскаго „Талисмана“, вдохновительница Воронцовской камарилы. Въ двухъ шагахъ отъ дворца, тоже въ большомъ уединеніи, жилъ другой обломокъ прежнихъ временъ, гр. А. Г. Строгановъ, который въ послѣдніе годы жизни считалъ нужнымъ сжечь всѣ свои бумаги. Представителемъ власти сталъ штатскій градоначальникъ Бухаринъ, сановный старецъ, напоминавшій Самойлова въ „Старомъ Баринѣ“; а городское общество представлялъ талантливый Н. А. Новосельскій. Подъ ихъ невольнѣ безупречной сѣнью, бойкіе, маловоспитанные южане, евреи и греки, обдѣлывали дѣлишки, богатѣли и разорялись, интриговали и переругивались въ думѣ. Немногія приличныя русскія семьи держались вообще особнякомъ, и естественно обособлялся также университетскій кружокъ. Войскъ въ городѣ было мало; офицеры попадались на улицахъ изрѣдка и не играли въ обществѣ замѣтной роли. Массами гуляла публика по бульвару и въ городскомъ саду, наполняла театры и рестораны,—и жило населенію мирно и безмятежно.

Въ эту штатскую, чуждую разжигающихъ вопросовъ и довольную своей участію Одессу я явился съ мечтой не только найти заработокъ, но и сблизиться съ университетскими людьми и при ихъ помощи наверстать потерянное время и подогнать себя до надлежащаго образовательнаго уровня. Легко понять, что въ послѣднемъ отношеніи я рѣзко ошибся: явнѣйшій со мной ни у кого не нашлось ни времени, ни охоты; участливаго, и въ особенности живого, слова не пришлось услышать ни отъ кого. Написанные въ первые мѣсяцы по возвращеніи „Очерки сибирской жизни“ я читалъ осенью въ комитетѣ изъ трехъ лицъ, въ числѣ которыхъ была Т. П. Пассекъ. Въ нихъ при-

знали въ некоторую живость; но посовѣтовали—должно быть, вполнѣ правильно—оставить ихъ пока у себя. Татьяна Петровна мнѣ, конечно, понравилась—она не могла не нравиться,—но ея ближайшіе слишкомъ расхолаживали; такъ что изъ этого знакомства ничего не вышло. По части хлѣба насущнаго, при содѣйствіи мѣстнаго дѣятеля, барона Стюарта, мнѣ помогли пристроиться въ городской библіотекѣ, которою завѣдывалъ очень древній старецъ, де-Рибасъ, человѣкъ романтической наружности, высокій, очень худой, съ длинными пожелтѣвшими уже волосами, всегда въ наглухо застегнутомъ полиняломъ пальто, а на улицѣ—въ живописной мятой шляпѣ. Онъ говорилъ преимущественно по-французски, почитался хранителемъ какихъ-то одесскихъ традицій, обладателемъ учености; но его воздѣйствіе въ библіотекѣ не ощущалось. Онъ появлялся тамъ какой-то беззвучной тѣнью, подходившей, впрочемъ, къ мертвенному состоянію самой библіотеки. Двумъ служащимъ, которыхъ я засталъ, и изъ которыхъ одинъ былъ сынъ де-Рибаса, дѣла было немного; посѣтители, вполнѣ безотрадные, появлялись въ маломъ числѣ; о приведеніи библіотеки въ порядокъ только говорилось. Вознагражденіе было скудное и выплачивалось неаккуратно. Къ счастью, мнѣ вскорѣ удалось перейти въ управленіе одесской желѣзной дороги, благодаря тому, что тамъ былъ значительнымъ лицомъ мой товарищъ по выпуску изъ 1-го корпуса, А. Н. Горчаковъ, донинѣ здравствующій и высоко вознесшійся. Впрочемъ, я и тамъ прослужилъ лишь самые немногіе мѣсяцы, такъ какъ одесская дорога была въ то время объединена съ „Русскимъ Обществомъ пароходства и торговли“, и директоръ обоихъ учрежденій, Н. М. Чихачовъ, вскорѣ перевелъ меня въ главную контору „Общества“, на должность, которая дала мнѣ матеріальную обезпеченность, вполнѣ успокоившую моихъ близкихъ.

Во время службы на одесской дорогѣ, меня однажды призывалъ С. Ю. Витте, тогда цвѣтушій молодой красавецъ, чрезвычайно быстро достигшій въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ первенствующаго положенія. Ему понадобились какія-то разъясненія по вопросу, изложенному на нѣмецкомъ языкѣ, и онъ нашелъ мой докладъ „толковымъ“.

Характеръ Одессы сталъ измѣняться со времени сербской войны. Проявились добровольцы; постепенно усложнились военные управленія; нахлынула масса офицеровъ; въ русскихъ семьяхъ увидали петербургскихъ знакомыхъ и пошли петербургскіе разговоры. Штатскій градоначальникъ уступилъ мѣсто свитскому генералу, графу Левашову, и въ особенности графинѣ Ольгѣ

Виктороввѣ, рожденной Паниной, которая тотчасъ, съ чрезвычайной энергіей и барскимъ пренебреженіемъ рутиной, устремилась къ объединенію общества въ „патріотически-швальномъ“ направленіи, не разбирая ни эллина, ни іудея. Вмѣстѣ, съ тѣмъ заговорили, однако, и о социалистическихъ проявленіяхъ; такъ что Высочайшее посѣщеніе Одессы, въ августѣ 1876 года, послѣдовало уже въ строго охранной обстановкѣ. Смотровое поле было выбрано въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города, противъ такъ называемаго Средняго фонтана, и Государь прибылъ туда съ герцогомъ Мекленбургъ-Стрелицкимъ, въ коляскѣ, на полныхъ рысяхъ, окруженный офицерами, скакавшими растяжнымъ галопомъ. Я стоялъ въ группѣ дачниковъ въ порядочномъ разстояніи, но все-таки такъ, что можно было видѣть, и съ страстнымъ напряженіемъ всматривался въ лицо Государя. Онъ показался мнѣ мало измѣнившимся, только какъ будто крупнѣе прежняго. Такимъ же порядкомъ совершилось и прибытіе Государя на яхту „Ливадія“, по узкому мощеному молу, причемъ я съ особенною ясностью почувствовалъ, что скачущіе толпой всадники — огромная помѣха злоумышленникамъ, но что противно ѣхать въ пыли, и что такая обстановка есть признаніе во многомъ, глубоко прискорбномъ. Вечеромъ я смотрѣлъ на отплытіе „Ливадіи“ со шлюпки, въ веселой молодой компаніи; а на яхтѣ въ это время шла суета по случаю внезапнаго помѣшательства А. А. Потапова.

Война между тѣмъ надвигалась. Мы увидали Тотлебена, намѣчающаго мѣста приморскихъ баттарей. Разные генералы вызывались на совѣтъ въ Ливадію, откуда Государь уѣхалъ нѣсколько раньше обыкновеннаго, и 30 октября произнесъ въ Москвѣ рѣчь, не оставлявшую надежды на мирный исходъ дѣла. Передъ дворцомъ народъ былъ допущенъ въ самому экипажу и ура кричали прямо въ уши, такъ что ближайшихъ пришлось урезонить окрикомъ: „Полно орать!“ — Энтузіазмъ былъ несомнѣнный и широко распространенный. 2-го ноября состоялся приказъ о мобилизаціи арміи, а затѣмъ послѣдовало назначеніе главнокомандующимъ вел. кн. Николая Николаевича. Относившіеся къ этому назначенію безпристрастно не предполагали, конечно, высшихъ дарованій, но утѣшали себя мыслью, что высокое положеніе дастъ возможность предупредить соперничества и пререканія. Великій князь прослѣдовалъ къ арміи, но тамъ тяжело заболѣлъ и вернулся долечиваться въ Одессу, съ лицомъ еще весьма болѣзненнымъ и желтымъ. Серьезныхъ опасеній уже не было, и потому извѣстія о состояніи здоровья довольно скоро замѣнились сплетнями о развлеченіяхъ. Не помню, когда послѣдовало отбытіе изъ

Одессы и вообще какъ прошли послѣдніе мѣсяцы передъ эффектнымъ объявленіемъ войны въ Кишиневѣ, 12 апрѣля.

Изъ Кишинева Государь проѣхалъ въ Одессу, гдѣ осматривалъ приморскія укрѣпленія. Назначенный еще съ осени начальникомъ приморской обороны Н. М. Чихачовъ сдалъ тогда управленіе „Русскимъ Обществомъ пароходства и торговли“ Н. Ф. Фанъ-деръ-Флиту. Пароходы перестали плавать, дѣятельность „Общества“ сократилась; убыло съ этой стороны работы и у меня; но взаимнѣе я былъ привлеченъ къ гораздо болѣе для меня интереснымъ занятіямъ по оборонѣ. Тутъ и началось мое знакомство съ морской службой, морскими вопросами и лично съ довольно многими флотскими офицерами, вслѣдствіе чего, при позднѣйшемъ поступленіи на службу по морскому вѣдомству, я уже не былъ въ немъ совершенно чужимъ. Нѣкоторые изъ служившихъ въ „Обществѣ“ флотскихъ офицеровъ получили officialныя назначенія и нѣкоторыя суда были переданы морскому вѣдомству и вооружены пригодными для тѣхъ дней ничтожными средствами.

Объявленіе войны послѣдовало съ соблюденіемъ всѣхъ международныхъ приличій. Наше посольство безъ суетливости отбыло изъ Константинополя въ Одессу. Торговымъ судамъ данъ былъ для отплытія достаточный срокъ. Считая турецкій флотъ болѣе склоннымъ къ предпримчивости, нежели онъ въ дѣйствительности оказался, весьма опасались, успѣетъ ли перейти изъ Николаева въ Одессу вторая, болѣе сильная и несовсѣмъ еще достроенная поповка „Вице-Адмиралъ Поповъ“. Она перешла благополучно, и предполагалось, что съ тѣмъ вмѣстѣ въ оборону Одессы внесена была громадная сила. Но, увы!—едва-ли можно найти болѣе бѣдственный и пагубный по своимъ послѣдствіямъ примѣръ увлеченія ложной мыслью, осуществленной наперекоръ всякой теоріи и всякому опыту. Полныхъ шесть лѣтъ у насъ были развязаны руки на Черномъ морѣ, и во все это время, непростительнѣйшимъ образомъ, ничего не было сдѣлано для возстановленія тамъ нашей морской силы, и немногимъ болѣе было сдѣлано въ Балтикѣ. Все принесено было въ жертву несчастной мысли созданія собственнаго своего, русскаго, вполнѣ самобытнаго типа судовъ. При бюджетѣ вообще скромномъ не отступали ни передъ какими расходами: лихорадочно строили и потомъ ломали и строили вновь; ни на что другое не обращалось вниманія; давали ходъ только тѣмъ, которые поддерживали въ заблужденіи; деньги исчезали безплодно по всѣмъ направленіямъ и сквозь всякія щели; а во флотѣ все глубже и глубже

въѣдалась зараза службы безъ плаванія и неискренности, несоотвѣтствія словъ съ дѣлами. Осуждая такъ безусловно то состояніе, въ которомъ война застигла нашъ флотъ, я всего менѣе имѣю въ виду набросить тѣнь на нравственную личность Андрея Александровича Попова. Напротивъ, я считаю его первой жертвой несчастной мысли, которая имъ овладѣла и успѣла восторжествовать благодаря утомленію жизнью, дряблости и дрянности другихъ. Отличный морской офицеръ, человѣкъ огромной энергіи, смѣлый, преданный дѣлу, чуждый низменныхъ побужденій, умѣвшій учить и передавать свое воодушевленіе другимъ, способный въ подкупающимъ проявленіямъ доброты, Андрей Александровичъ до конца оставался популярнымъ, даже при враждебности къ нему, и мнѣ кажется, что онъ не будетъ забытъ флотомъ, который ему простить и его роковую ошибку, и приступы бѣснованія, и его главную слабость — неразборчивость въ средствахъ къ достиженію цѣли, доходившую до интриги, лукавства и лъстивости, даже передъ мелкими, но въ данное время нужными людьми.

Въ моемъ очеркѣ „Расчетъ“, написанномъ въ 1879 году, было нѣсколько страницъ, посвященныхъ войнѣ. Редація „Отечественныхъ Записокъ“ не нашла ихъ тогда удобными для печати, и я теперь стѣсняюсь воспроизвести ихъ полностью, а передамъ лишь вкратцѣ ихъ содержаніе.

Я признавался прежде всего въ недостаточномъ сочувствіи къ побужденіямъ, которыми обыкновенно объясняли войну, и въ полномъ равнодушіи къ южно-славянскимъ братьямъ, въ которыхъ видѣлъ черты, мнѣ глубоко несочувственныя. Ни аргументъ вѣкового рабства, ни рассказы о звѣрствахъ на меня не вліяли; такъ какъ мнѣ хорошо было извѣстно, что въ извѣстныхъ обстоятельствахъ всѣ поступаютъ круто, и что у насъ, напри- мѣръ, за вышиваніе освободительныхъ окранныхъ знаменъ расправа съ вышивальщицами была бы суровая. Всѣ грѣшны, и у всѣхъ не одинъ пушокъ на рылѣ. И во снѣ не снилось тогда, что гнусные турецкіе баши-бузуки будутъ свирѣпствовать со временемъ на русской землѣ подъ именемъ ингушей, нанятыхъ для сего благороднымъ російскимъ дворянствомъ и споспѣшествующихъ многочисленными православными дѣятелями.

Затѣмъ, я выражалъ сомнѣніе въ томъ, чтобы намъ позволили осуществить задуманный захватъ, и отрицалъ выгоду его для Россіи, а также возможность найти средства для удвоенія арміи и флотовъ и выставить людей, способныхъ къ успѣшнымъ дѣйствіямъ среди обстоятельствъ столь сложныхъ и запутанныхъ.

По части исполненія засвидѣтельствованы были грубые промахи; въ результатѣ—кромѣ сиротъ и калѣкъ, пониженіе престожа, даже сравнительно съ 1856 годомъ.

Затѣмъ, я писалъ тогда слѣдующее:

„Несмотря на недостаточное мое сочувствіе къ побужденіямъ, исполненію и результатамъ войны, она, однако, производитъ на меня въ общемъ отрадное впечатлѣніе. Вспоминается мужество и чудесная выносливость молодой всесловной арміи; самоотверженіе докторовъ, сестеръ милосердія и всего госпитального персонала; вспоминается прежде всего и надо вѣсть то общее возвышеніе и облагороженіе жизненнаго строя, которое такъ хорошо распространилось по Россіи. Въ первый разъ послѣ 1861 года, вмѣсто каждодневныхъ личныхъ дразговъ, у множества людей явились общія гражданскія мысли и рѣшимость дѣйствовать по этимъ мыслямъ. Не только рѣшимость, но и возможность. Совершилось неслыханное и неизреченное! Вдругъ намъ, обывателямъ города Глухова, было дозволено въ извѣстномъ направленіи — и не въ какомъ нибудь потѣшномъ, а въ такомъ, которымъ и прочіе люди гордятся—предпринимать поступки по мыслямъ своимъ, совѣщаться объ этомъ съ другими, подавать другъ другу руку, рѣшаться и осуществлять свою рѣшимость! И препятствій на всемъ пути очень мало: ровно столько, сколько требуется для возбужденія и пріятности. А ежели кто устремлялся къ прямому пролитію крови за отечество, то и помощь оказывалась—иной разъ даже выше потребности и вѣроятія. Мы почувствовали въ себѣ живую душу и повѣрили, что мы—люди... Мы учились другъ у друга; намъ хотѣлось быть какъ тѣ изъ насъ, которые лучше. Лучезарными, свѣтлыми представляются теперь эти мѣсяцы военнаго времени. Кто бы повѣрилъ тогда, что мы можемъ упасть такъ низко, что въ насъ до такой ужасающей степени нѣтъ ничего надежнаго и вѣрнаго! Слово „честь“ теперь неизблемо сохраняется только въ языкѣ официальныхъ сношеній и коммерческихъ писемъ. А въ то время это было слово живое, которое руководило поступками многихъ. Приведу одинъ примѣръ — по-моему, самый поразительный—а именно, присутствіе въ арміи людей изнѣженныхъ всѣми утонченностями жизни и привыкшихъ, въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ, ставить малѣйшую свою личную прихоть выше всякихъ общихъ соображеній. Были между ними и люди очень немолодые, и не весьма здоровые. Убогая обстановка, холодъ, дрянная пища были для нихъ тягостнѣе, чѣмъ для послѣдняго солдата. Кромѣ того, имъ приходилось выносить

постоянное напряженіе мрачныхъ и гнетущихъ мыслей. А долгое время и то лѣзло въ голову, что можетъ не оказаться лодочки для обратной переправы черезъ Дунай. Въ предлогахъ къ отъѣзду изъ арміи не было недостатка. Они каждодневно выдумывались заинтересованными людьми. Выставлялись впередъ самыя благовидныя и необходимыя причины; пущены были въ ходъ самыя преданныя упрашиванія. Въ каждомъ письмѣ, приносившемся съ далекаго сѣвера, вѣрами раскидывались всякіе кордебалеты, подъ сѣнью пальмъ и латаній, въ свѣтѣ, въ теплѣ, при плескѣ свержающихся водъ, среди благоуханій, подъ звуки чарующей музыки. И однакожъ эти утомленные, больные люди, привыкшіе, въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ, ни въ чемъ не стѣсняться, подъ вліяніемъ войны поняли, что честь и долгъ—тамъ, въ грязи, подъ Плевной, и не колеблясь выдержали до конца.

„Повторяю,—какъ далеки мы отъ этихъ дней, когда честь и долгъ людьми руководили!

„Личныхъ моихъ отношеній къ этому времени я не имѣю причины стыдиться, хотя они оставили во мнѣ впечатлѣніе большой неудовлетворенности. При кое-чемъ не вовсе безполезнымъ былъ все время; единожды успѣлъ подставить лобъ; и затѣмъ еще устремлялся къ тому же, сколько было возможно, съ искреннимъ, скажу прямо, доброкачественнымъ порывомъ. Но отъ личнаго участія въ госпитальномъ дѣлѣ я себя устранилъ. Прозошло это потому, что я со дня на день ждалъ—и имѣлъ право ждать—возможности ѣхать въ армію, и, по насмѣшкѣ судьбы, которую въ подробности объяснять неудобно (1879; теперь это будетъ объяснено ниже), такъ до конца и не дождался. Несмотря на давнюю отставку, я надѣялся быть полезнымъ. Честолюбивыя мечты о военныхъ способностяхъ, о безвѣстномъ участіи въ составленіи плановъ и о заманчивой встрѣчѣ пуль въ мѣстахъ, такъ сказать, предназначенныхъ, — я, разумѣется, содержалъ въ себѣ лишь въ качествѣ пріятной забавы. Но я зналъ навѣрное, что я годенъ для разныхъ необходимыхъ каждодневностей службы; и прежде всего, что я—толковый, нестомчивый и небогатыи писарь, способный написать все, что нужно, по приказанію, данному въ двухъ словахъ. Такіе писари нужны въ походное время, и особеннаго избытка въ нихъ не бываетъ. Идти туда я считалъ моею прямою обязанностью; и въ ежедневномъ ожиданіи не хотѣлъ браться за другое дѣло, которое бы повредило этому. А теперь, когда ожиданіе не привело ни къ чему, меня и беретъ раздумье, не стыдно ли, что

тягости войны такъ деликатно и неощутительно меня коснулись, и не лучше ли было бы бросить заносчивыя мечтанія и пойти помогать докторамъ и сестрамъ милосердія на перевязочныхъ пунетахъ.

„Такъ или иначе, не воротишь. Виновать или не виновать, во всякомъ случаѣ выходитъ, что и тутъ оказался неумѣльнымъ и ненужнымъ.

„Но помимо докучливыхъ сомнѣній по этому вопросу, время войны было для меня, также какъ и для тысячъ другихъ, временемъ оживленія человѣческихъ чувствъ и улучшенія жизни. Послѣ многолѣтнихъ мыканій въ средѣ, гдѣ столько было грубаго и дурного, опять увидѣлъ опрятность душевную, нѣжныя и глубокія личныя привязанности и подчиненіе ихъ долгу, исполняемому такъ просто, такъ само собой. Опять испыталъ прелесть того обращенія, въ которомъ, подѣ внѣшнею сдержанностью, сказывалась душа, ласка, сочувствіе“...

Въ качествѣ волонтера, я принималъ участіе въ атакѣ турецкой эскадры на сулинскомъ рейдѣ, 29 мая 1877 года, за что былъ представленъ къ возвращенію военнаго чина, который и былъ Всемилостивѣйше мнѣ возвращенъ 7 іюля; но, вслѣдствіе безпорядка въ тылу арміи, бумага объ этомъ достигла одесскаго округа и была сообщена мнѣ лишь годомъ позднѣе, 15 іюня 1878 года.

Разскажу подробнѣе объ этомъ обстоятельствѣ, не для того, чтобы говорить о себѣ, а для того, чтобы помянуть добромъ командовавшихъ миноносцами лейтенантовъ Пущина и Рождественскаго и начальствовавшего экспедиціей, командира парохода „В. К. Константинъ“, С. О. Макарова, тогда тоже лейтенанта, безъ той шикарной бороды, которой онъ былъ обязанъ своей Скобелевской наружностью. Назвать его красивымъ въ то время было нельзя; но онъ былъ строенъ, ловокъ и уже привыкъ держать себя какъ человѣкъ извѣстнаго положенія и значительности.

Будущій адмиралъ дѣйствительно уже тогда пользовался во флотѣ нѣкоторой извѣстностью. Онъ выдвинулся впередъ почти мальчикомъ, благодаря протекціи А. А. Попова, который оцѣнилъ его ретивость, лихость и выдающіяся качества отличнаго морского офицера. Въ немъ была очень рѣдкая у насъ жилка изобрѣтательности, и хотя она не выразилась ни въ чемъ крупномъ, но вполне возможно, что онъ не успѣлъ еще сказать по этой части своего послѣдняго слова. Французскимъ и англійскимъ языкомъ онъ овладѣлъ до степени свободнаго разговора,

что удастся столь немногимъ, не усвоившимъ себѣ этихъ языковъ съ дѣтства. Но популяренъ онъ не былъ. Напротивъ, многіе, ничѣмъ себя не заявившіе, вполне заурядные люди не стѣснялись отзываться о немъ дурно, даже пренебрежительно. Это происходило отчасти въ силу сословной напыщенности и вслѣдствіе нерѣдкихъ съ его стороны проявленій недостаточнаго такта и чрезмѣрной склонности къ выставленію себя. Приведу въ примѣръ заглавіе его книги: „Витязь и Тихій океанъ“. Но, конечно, главную роль тутъ играла зависть къ блестящимъ свойствамъ его личности и къ его служебнымъ успѣхамъ.

Л. Н. Пущинъ до войны служилъ въ „Русскомъ Обществѣ“, а В. О. Рождественскій былъ одинъ изъ первыхъ минеровъ, подготовленныхъ учрежденнымъ незадолго передъ тѣмъ миннымъ офицерскимъ классомъ. Онъ еще осенью былъ откомандированъ въ распоряженіе адмирала Чихачова, для устройства минной обороны одесскаго порта и велъ работы дѣятельно, съ утра до сумерекъ, при очень суровыхъ обстоятельствахъ погоды. Тогда же былъ выписанъ изъ Англіи, чрезъ посредство „Русскаго Общества“, миноносецъ № 2, командиромъ котораго и былъ назначенъ Рождественскій. Не помню, гдѣ былъ построенъ миноносецъ № 1, которымъ командовалъ Пущинъ. Я часто встрѣчался съ Рождественскимъ по службѣ и у близкихъ знакомыхъ, и мы сдѣлались пріятелями. Въ качествѣ пріятеля, я сопровождалъ его иногда въ помѣщеніе, гдѣ хранились минные запасы, и, по моей склонности къ порядку, мнѣ казалось, что тамъ была допущена нѣкоторая халатность по части храненія запасовъ и обращенія съ ними. Безцеремонное обращеніе съ опасными веществами имѣетъ свою хорошую сторону; но и извѣстная педантичность тутъ иногда у мѣста. Конечно, я себѣ не позволилъ слова сказать.

Объ экспедиціи къ Сулину я узналъ всего за часъ—другой до выхода судовъ изъ порта. Только и было времени написать страстную записку адмиралу, умоляя его, какъ о величайшей милости, позволить мнѣ идти, затѣмъ собраться самымъ сумасшедшимъ образомъ и поспѣть на „Константинъ“. Послѣ нѣсколькихъ часовъ плаванія, командиръ любезно пригласилъ меня къ своему обѣду, во время котораго очень хорошо разговаривалъ, и затѣмъ отпустилъ меня на миноносецъ Рождественскаго. За кормой „Константина“ были укрѣплены какія-то приспособленія, можетъ быть запасные шесты, не помню. Степанъ Осиповичъ пожелалъ осмотрѣть, все ли тамъ въ порядкѣ, спустился на рукахъ, по концу, и продѣлалъ на виду у насъ всю

операцию съ значительнымъ гимнастическимъ шикомъ, безъ суеты и окриковъ. До ночи мы шли соединенно, миноносцы за кормой справа и слѣва, причемъ иногда обмѣнивались словечкомъ съ Пуццинымъ. Часовъ въ 11, или поздѣе, „Константинъ“ застопорилъ машину, и мы, среди глубокой тьмы, видя лишь звѣзды небесныя, услышали ясный и отчетливый голосъ командира, отдававшего намъ послѣднія приказанія. Словъ не помню, но помню спокойный, вѣрно рассчитанный голосъ, плавную рѣчь и въ заключеніе указаніе, куда идти послѣ атаки, на соединеніе съ нимъ.

Нашъ ходъ былъ такъ рассчитанъ, чтобы подойти къ Сулину въ ближайшее время передъ разсвѣтомъ. Подходили мы самымъ малымъ ходомъ, укрывшись бревентами, съ тѣмъ чтобы дать полный ходъ, какъ только будемъ замѣчены. Меня въ боевую рубку не пустили, ссылаясь на крайнюю тѣсноту, а предложили находиться въ жилой задней каютѣ, причемъ позволили приподнять люкъ и выглядывать. Сверхъ своего бѣлаго костюма я надѣлъ чужое темное пальто и замѣнилъ бѣлую фуражку черной, взятой у кочегара. Чуть начало свѣтать, когда передъ нами смутно обрисовался во мракѣ головной турецкій корабль. Безшумно продолжали мы подползать; во мнѣ все клокотало, я говорилъ себѣ: „вотъ, вотъ сейчасъ—теперь неотвратимо“!.. Вдругъ, среди напряженной тишины, раздался окрикъ турецкаго часового и свернула огненная струйка выстрѣла. Въ то же мгновеніе машина застучала, миноносецъ бросился впередъ—обо что-то ударился (мы перескочили черезъ бонъ), меня сбросило съ трапа и ударило люкомъ по головѣ; тутъ же раздался взрывъ, столбъ воды обрушился на палубу и застучали по ней пули и картечь. Все это произошло подъ изступленное біеніе сердца, скорѣе, чѣмъ оно рассказано. Мы уже шли назадъ и вторично миновали бонъ. Мой люкъ захлопнулся такъ плотно, что я не могъ его приподнять, несмотря на отчаянныя усилія. Меня освободили пришедшіе изъ боевой рубки. Стрѣльба прекратилась, стало свѣтать, но вмѣстѣ съ тѣмъ нашелъ туманъ, такъ что ничего не было видно. Намъ было холодно; мы выпили по рюмѣ водки и закусили кускомъ хлѣба. Потомъ, обсудивъ положеніе, рѣшили остановиться, подождать и поискать Пуццина. Но когда изъ тумана, очень близко, выползло большое турецкое судно, механикъ Канцыревъ бросился въ машину, швырнулъ въ топку кусокъ сала, и мы ушли.

Рождественскій выражалъ надежду, что турокъ хотя не потопленъ, но поврежденъ. Вѣроятноже, однако, что взрывъ по-

связанномъ съ арміей. Присутствію въ ней Государя я придавалъ огромное значеніе, какъ въ нравственномъ, такъ и въ практическомъ отношеніи; вѣрилъ, что оно по достоинству оценено всей Россіей, и надѣялся на немедленное объявленіе амнистіи, которая бы положила конецъ смутѣ послѣднихъ лѣтъ. Не знаю, конечно, многіе ли раздѣляли эту надежду; но во всякомъ случаѣ она оказалась ребяческой. Въ направленіи политики правительства не послѣдовало никакой перемѣны, ни тогда, ни съ тѣхъ поръ, кромѣ какъ въ сторону усиленія репрессій, соотвѣтственно чему и продолжало непрерывно ухудшаться общее положеніе вещей. Какимъ образомъ можно имъ удовлетворяться и не видѣть, чѣмъ оно угрожаетъ въ будущемъ, быть можетъ очень близкомъ — въ особенности въ случаѣ европейскихъ усложненій, — этого, конечно, простому смертному никогда не понять.

Въ началѣ декабря 1878 г., адмиралъ Чихачовъ поѣхалъ въ Петербургъ и взялъ меня съ собою. Для окончательнаго выясненія и закрѣпленія моихъ правъ, я счелъ нужнымъ представиться главному начальнику III отдѣленія А. Р. Дрентельну, бывшему измайловцу и пріятелю Н. Н. Обручева, во время службы въ полку, видѣвшему, кажется, и меня въ измайловскомъ мундирѣ. Онъ принялъ меня дружелюбно и сказалъ, что въ моемъ правѣ жить въ столицахъ не могло быть никакого сомнѣнія. Съ его разрѣшенія мнѣ тогда же возвратили мой указъ объ отставкѣ, съ надписью о всемъ послѣдовавшемъ съ тѣхъ поръ до возвращенія чина включительно. Вышелъ изъ дѣла и отдалъ указъ чиновникѣ, лицо котораго мнѣ было памятно по 1861 году и очень мало съ тѣхъ поръ измѣнилось.

Первыя мои петербургскія впечатлѣнія были не изъ пріятныхъ. Одѣтый по южному, я жестоко прозябъ на пути въ „Европейскую гостинницу“. Улицы всѣ казались незнакомыми, вплоть до Периннаго ряда. Но когда я облекся въ хорошее, шитое для Петербурга платье и теплое пальто и отправился на Васильевскій Островъ, къ сестрѣ, я почувствовалъ приливъ счастья отъ мысли, что иду по петербургской панелі.

Пріемомъ родни я могъ быть вполне доволенъ; но съ особенной, душевной благодарностью долженъ упомянуть пріемъ любящей и доброй воспитательницы моихъ корпусныхъ лѣтъ, М. Л. Обручевой, пожелавшей придать моему возвращенію въ ея домъ характеръ семейнаго торжества, къ которому были приглашены всѣ бывшіе въ Петербургѣ родные. Пріятно было также повидаться съ лицами, съ которыми былъ въ добрыхъ отношеніяхъ во время войны, и которыя еще помнили это время.

На праздники адмиралъ уѣзжалъ въ Одессу, но затѣмъ мы вторично прибыли въ Питеръ, и чрезвычайнѣйшее, по тому времени, происшествіе взрыва въ Зимнемъ дворцѣ послѣдовало при насъ. Публика, съѣзжавшаяся къ молебну на слѣдующій день, видѣла еще многіе слѣды разрушенія. По моему, господствующимъ чувствомъ, возбужденнымъ въ скучающихъ сытыхъ сферахъ, была жажда скандала, причемъ сплетни и злоба не останавливались передъ самыми нелѣпыми обвиненіями. Тонъ дневника Валуева, т.-е. сознаніе потери почвы подъ ногами, растерянности и предчувствіе бѣды, мнѣ кажется, вѣрно выражаетъ общее настроеніе.

Одинъ изъ извозчиковъ, стоявшихъ у подѣзда гостиницы, и стало быть нерѣдко возившій иностранцевъ, сказалъ мнѣ, когда мы съ нимъ поѣхали на слѣдующій день:—Что жъ это? Теперь надъ нами всѣ смѣяться будутъ за-границей!

Въ одинъ изъ этихъ пріѣздовъ, я былъ на литературномъ вечерѣ, гдѣ мнѣ всего болѣе хотѣлось услышать М. Е. Салтыкова. Онъ выступилъ больной, мало пригодный для поклоновъ съ эстрады, и хотя былъ встрѣченъ горячо, но чтеніемъ своимъ не могъ увлечь. Если не ошибаюсь, тогда же читалъ и Тургеневъ, также не вызвавшій особеннаго восторга. Но затѣмъ, въ первый разъ въ жизни, я увидалъ и услышалъ Достоевскаго. Онъ всегда былъ мнѣ настолько несимпатиченъ, что я немногія его вещи могъ дочитать до конца. Чтобы не мучиться, не бралъ въ руки даже такихъ его вещей, гдѣ завѣдомо имѣются божественныя страницы. Въ этотъ вечеръ онъ читалъ исповѣдь Дмитрія Карамазова—быть можетъ, частью, исповѣдь своей собственной недоброй, мрачной души,—способной, однако, къ высшимъ просвѣтлѣніямъ,—и я былъ покоренъ, восхищенъ совершенно такъ же, какъ и вся публика, предавшаяся неудержимому, бурному восторгу...

Вскорѣ по возвращеніи въ Одессу, я увидѣлъ генерала Тотлебена, въ экипажѣ, окруженномъ конными жандармами. Къ чести защитника Севастополя скажу, что онъ не сидѣлъ перегнувшись впередъ и пытливо не всматривался въ встрѣчныхъ прохожихъ, а напротивъ, откинулся на подушки и зѣвалъ во весь ротъ. Поразительна настойчивость, съ которою мы, по всякому поводу, и даже безъ всякаго повода, стараемся лишить лучшихъ нашихъ генераловъ добраго имени, купленнаго дорогой цѣной, приставляя ихъ къ работѣ имъ несвойственной, въ явный ущербъ прямому ихъ дѣлу. Администраторъ, не знающій ни одной строки закона, можетъ быть только игрушкой въ рукахъ

другихъ лицъ, и большею частью лицъ дрянныхъ, подъ вліяніемъ которыхъ онъ скоро превращается въ затворника, одоливаемого шкурнымъ инстинктомъ и изъ всѣхъ дѣлъ на свѣтѣ интересующагося единственно донесеніями сыщиковъ. При такихъ условіяхъ нельзя съ пользою командовать войсками, ибо въ Писаніи сказано, что лучше армія зайцевъ, предводимая львомъ, чѣмъ армія львовъ, предводимая зайцемъ. Высшія задачи военного дѣла, облагораживающія воздѣйствія военной среды, слишкомъ не ладятся съ духомъ сыска. Побѣда немыслима безъ самоотверженія, безъ сознанія святости совершаемаго подвига и убѣжденія въ томъ, что имя помянется съ любовью. Защитнику отечественной святини, въ настоящемъ и прошломъ, не пристало быть заодно со всей грязной накипью народной жизни, съ смрадными наростами на народномъ тѣлѣ. Еще менѣе пристало ему имѣть противъ себя все лучшее въ народѣ, въ каждомъ городѣ, въ каждомъ селеніи, въ каждой семьѣ, въ каждой церкви — по крайней мѣрѣ въ тѣ минуты, когда душами обычной, кощунствующей толпы овладѣваетъ спасительный и искупающій образъ всеблагаго Христа. Какимъ презрѣннымъ существомъ надо быть, чтобы идти противъ голоса лучшихъ писателей всѣхъ народовъ, не стыдиться выступающаго на лбу братоубійственнаго Каинова клейма и не чувствовать проклятія собственныхъ дѣтей! Такимъ ли отверженцамъ водить войска къ побѣдѣ?

А если допустить, что въ нашъ вѣкъ дореформеннаго успокоенія ни у кого никакихъ человѣческихъ чувствъ быть не можетъ и не должно, то, все-таки, гдѣ же указаніе, чтобы люди, привыкшіе свирѣпствовать противъ безоружныхъ, въ виду немедленнаго вслѣдъ за тѣмъ насилуванія и грабежа, могли оказаться пригодными для дѣйствій противъ армій обученныхъ, снабженныхъ и вооруженныхъ по-европейски? Положимъ, мы себя на умѣ, вольной волей на войну ни за что не пойдѣмъ; понимаемъ, что нельзя; станемъ упираться, все стерпимъ, но не пойдѣмъ. Однако, могутъ вѣдь и заставить. И тогда страшно подумать, какія „Débauches“ и „Châtiments“ занесутся во всемірную исторію.

Для всѣхъ, безъ сомнѣнія, было бы лучше, еслибъ у насъ имѣлись генералы, способные отказаться отъ несоотвѣтственной сыскаго работы и отъ выдаваемыхъ за оную крупныхъ подъемныхъ денегъ... Но о такихъ генералахъ не слышно. Напротивъ, еще въ началѣ войны, князь Мещерскій, бывшій ея противникомъ, видѣлъ въ ней ту хорошую сторону, что она выдѣлитъ людей, способныхъ скрутить любую губернію. Увы! онъ не ошибся.

Въ 1879-мъ году, по совершенно личнымъ, интимнымъ причинамъ, я рѣшился оставить Одессу и возвратиться въ прежнему пролетарскому существованію. Предполагая, что мое рѣшеніе можетъ еще измѣниться, Н. М. Чихачовъ, всегда крайне добрый ко мнѣ, предложилъ мнѣ повременить, взять заграничный отпускъ и затѣмъ, въ ноябрѣ, встрѣтить его въ Парижѣ, для сопутствованія ему въ поѣздѣ въ Лондонъ и на нѣкоторые англійскіе заводы. Съ нимъ же я и вернулся въ Россію, но отъ границы получилъ новую командировку въ Петербургъ, и только весной 1880 г. вернулся въ Одессу, гдѣ и послѣдовали мое увольненіе отъ службы въ „Русскомъ Обществѣ пароходства и торговли“ и моя разлука съ начальникомъ, которому во всяческомъ отношеніи я такъ много былъ обязанъ.

Во время бытности Н. М. Чихачова въ Лондонѣ, ему пришлось встрѣтиться съ А. А. Поповымъ, который пріѣхалъ въ Англію съ М. И. Кази, для заключенія контракта на постройку царской яхты „Ливадія“, предназначавшейся для Чернаго моря взаимнѣ разбившейся у мыса Тарханхута ея соименницы. Вполнѣ возможно, что встрѣча была условлена заранѣе; но во всякомъ случаѣ оба адмирала остановились въ одной гостинницѣ „Victoria Hotel“. Андрей Александровичъ желалъ, чтобы мы всѣ обѣдали за однимъ столомъ, въ общей залѣ, и Николай Матвѣевичъ согласился было на это; но такое насильственное сближеніе скоро показалось ему неудобнымъ, и онъ отретировался со свитою въ свой номеръ, несмотря на убѣжденія А. А. Попова, который его укорялъ въ необщительности и отсталости отъ порядковъ заграничной жизни. Яхта была уже заказана заводу Пирса въ Глазго; оставалось только вырѣшить нѣкоторые контрактныя подробности. Она была дальнѣйшимъ развитіемъ мысли о поповкахъ, но уже не круглая, а овальная, съ заостреннымъ образованіемъ носа и кормы, трехъ-винтовая, съ значительнымъ ходомъ. Предполагалось отсутствіе качки и проектировано было такое удобство жилыхъ помѣщеній, что въ насмѣшку говорили о манежѣ и бульварѣ для прогулокъ. Андрею Александровичу хотѣлось склонить Николая Матвѣевича къ заказу судна того же типа для „Русскаго Общества“. Предварительныя убѣжденія были поручены одному изъ состоявшихъ въ свитѣ корабельныхъ инженеровъ, а затѣмъ устроено было засѣданіе, въ которомъ и мнѣ данъ былъ стулъ, и поведена была съ разныхъ сторонъ самая настойчивая атакка. Н. М. не входилъ въ пререканія относительно качествъ, стоимости и коммерческой выгоды судовъ рекомендуемаго типа; но твердо стоялъ на томъ, что ихъ раз-

мѣры не позволять имъ входить ни въ существующіе порты, ни въ существующіе доки, и собесѣдованіе не привело ни къ чему. А. А. съ недобрѣмъ взглядомъ круто оборвалъ свою рѣчь, скомкалъ бывшій предъ нимъ листъ бумаги и бросилъ по направленію къ корабельному инженеру съ окрикомъ:

— Вы понимаете, что это значить!?

Нѣсколько дней спустя, намъ пришлось и увидать „Ливадію“ въ Глазго, т.-е., собственно, одинъ клѣтчатый переплетъ ея дна, причѣмъ строитель, тогда молодой и бойкій, объяснялъ Николаю Матвѣвичу разныя подробности постройки. Тутъ же, на водѣ была и игрушечная модель яхты изъ краснаго дерева. Послѣ отставки А. А., ее потомъ сожгли. Погода была скверная, съ рѣзкимъ, холоднымъ вѣтромъ; а между тѣмъ, въ этотъ самый день, семидесятилѣтній Гладстонъ говорилъ на открытомъ воздухѣ, передъ избирателями Глазго, двухъ-часовую рѣчь!

Забѣгу на нѣсколько лѣтъ впередъ и расскажу еще объ одной встрѣчѣ съ А. А. Поповымъ на чрезвычайно эффектныхъ маневрахъ практической эскадры подъ флагомъ адмирала Чихачова, въ 1888-мъ году. Андрей Александровичъ былъ старшимъ посредникомъ, и его принимали на адмиральскомъ кораблѣ съ почестями, представили офицеровъ, предложили поздороваться съ командой. Года прошли съ тѣхъ поръ какъ онъ въ послѣдній разъ былъ на палубѣ и говорилъ съ матросами. Трогательно было видѣть его счастье, когда онъ медленно обходилъ строй, по своему обыкновенію безъ шапки, и здоровался съ каждой частью. Онъ входилъ въ роль, и когда приставалъ къ трапу, слышно было съ корабля, какъ онъ, попрежнему муштровалъ мичмана на рулѣ. Офицеры постарше молодѣли, слыша этотъ голосъ, напоминавшій „милое прошлое“, молодость; подбѣгали къ борту, чтобы увидѣть и услышать, весело переглядывались со словомъ: „Опять!“ На одномъ изъ судовъ онъ поговорилъ съ артиллерійскимъ офицеромъ, а потомъ взялъ меня подъ руку, отвелъ въ сторону и тихо сказалъ: „Онъ ужъ недѣлю на суднѣ и не знаетъ своихъ пушекъ. Какъ это нехорошо, какъ это нехорошо!“

Ко мнѣ онъ всегда очень благоволилъ, съ первой встрѣчи; приглашалъ обѣдать, заходилъ въ мою маленькую квартиру, сошпильничалъ, добылъ мнѣ отъ персидскаго шаха орденъ Льва и Солнца. Тутъ онъ попросилъ, чтобы, по окончаніи маневровъ, меня назначили къ нему въ секретари. Я взялъ надежнаго писаря, перебрался на „Мининъ“, гдѣ помѣстился Андрей Александровичъ, и къ утру отчетъ былъ готовъ, причѣмъ А. А. нѣсколько разъ въ теченіе ночи приходилъ къ намъ, въ громад-

ный залъ адмиральскаго помѣщенія, для указаній и исправленія работы. Таковы были обычныя условія работы при немъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ видѣлъ я его и въ гробу: совсѣмъ уже смиренный старенькій старичокъ.

Лондонская встрѣча принадлежитъ, безъ сомнѣнія, къ одесскому кругу моихъ воспоминаній; ближайшимъ пріателемъ моихъ тамошнихъ лѣтъ былъ сослуживецъ по „Русскому Обществу“ Ф. И. Бларамбергъ—человѣкъ, о которомъ всѣ, знавшіе его ближе, не могутъ вспоминать иначе, какъ съ самымъ теплымъ чувствомъ. Другихъ онъ могъ смущать своей чрезвычайной вылощенностью, отличнымъ французскимъ языкомъ и проглядывавшими иногда въ его обращеніи оттѣнками высокомерія или пренебреженія, которое сквозитъ у придворныхъ или штабныхъ людей сквозъ всякую ихъ вѣжливость или школьническія, какъ бы товарищескія выходки. Такимъ придворнымъ или штабнымъ человѣкомъ онъ и былъ по существу, какъ родственникъ Чихачовыхъ, остроумный и пріятный собесѣдникъ, элегантный танцоръ, немножко музыкантъ и въ то же время секретарь „Русскаго Общества“, пользовавшійся безусловнымъ довѣріемъ директора. Какъ придворному, ему нравилась извѣстная безпредметность суеты, къ которой онъ могъ бы относиться съ легкой насмѣшкой. Какъ секретарь, онъ не писалъ длинныхъ бумагъ, но превосходно владѣлъ записной книжкой и цвѣтными карандашами, и принципалъ могъ быть увѣренъ, что ни одна бумага не залежится, ни одно слово не ускользнетъ отъ внимательнаго монокла и не останется неподчеркнутымъ надлежащимъ карандашомъ, памятная выметка всегда будетъ въ свое время подана, должное напоминаніе всѣмъ, кому слѣдуетъ, послано и со всѣми, съ кѣмъ слѣдуетъ, будетъ въ надлежащемъ тонѣ переговорено. Онъ изумительно умѣлъ распорядиться курьерами и сторожами, и въ каждой гостиницѣ всегда находилъ преданныхъ рабовъ, которые ему прислуживали лучше, нежели другимъ.

Одинъ изъ нашего русскаго круга, онъ бывалъ въ богатыхъ греческихъ домахъ, можетъ быть ради двухъ-трехъ элегантныхъ гречанокъ, или потому, что тамъ хорошо кормили, или просто потому, что это было полезно въ интересахъ дѣла.

Но все это—одна внѣшность; а сущность—въ томъ, что онъ былъ человѣкъ рѣдкой доброты и нѣжности душевной, рыцарски вѣрный своимъ привязанностямъ, всегда готовый помочь кому и чѣмъ только могъ. Оттого и были такъ печальны послѣдніе годы его жизни. Онъ болѣлъ, сердечно и мучительно, не только личными своими огорченіями, но и огорченіями близкихъ ему людей,

а такихъ огорченій было въ послѣдніе годы такъ много, и слѣдовали они такъ непрерывно одни за другими, что онъ наконецъ не вынесъ ихъ гнета. Отрадою его лучшимъ чувствомъ могло, по крайней мѣрѣ, служить то, что ближайшіе его сердцу остались ему вѣрны до конца и окружили послѣдніе дни его жизни самой нѣжной и преданной заботливостью.

III.—Послѣдніе годы.

Мое пролетарское существованіе послѣ оставленія службы въ „Русскомъ Обществѣ пароходства и торговли“ продолжалось почти четыре года: съ мая 1880-го по февраль 1884-го года. Большую часть этого времени я провелъ въ Петербургѣ; но въ поискахъ рабочаго уединенія и дешевизны живалъ по мѣсяцамъ въ разныхъ мѣстахъ: въ имѣніи моего друга Плена (лѣто 81 г.), въ Новгородѣ (конецъ зимы и весна 82 г.), въ Любани (вторая половина 82 г.), наконецъ за-границей (почти весь 83-й годъ) и въ Твери. Въ первые полтора года я заработалъ всего около тысячи рублей, включая даже гонораръ за „Расчетъ“, написанный ранѣе. По газетнымъ отзывамъ и по нѣсколькимъ привѣтливымъ словамъ Г. З. Елисеева я могу сказать, что этотъ очеркъ имѣлъ извѣстный успѣхъ. Послѣ него и до конца 81 года мнѣ удалось помѣстить только одну статью въ „Вѣстникъ Европы“, о послѣднихъ изслѣдованіяхъ Африки. Затѣмъ, раннею весною 82 г., написана была въ Новгородѣ „Прикащикъ Внучка“, по поводу которой я получилъ крайне лестное письмо — первое и единственное полученное мною выраженіе литературнаго сочувствія. Въ маѣ и іюнѣ 82 г. написана была для „Отечественныхъ Записокъ“, по заказу Н. К. Михайловскаго, статья о французскомъ приходскомъ духовенствѣ въ концѣ XVIII вѣка, которую я писалъ съ значительнымъ увлеченіемъ и считаю не безынтересной по нынѣшнимъ временамъ („От. Зап.“, іюль 83 г.). Позднѣе, въ Любани, была написана также полезная статья о Фрейлигратѣ для „Вѣстника Европы“ (дек. 82 г.). Въ январѣ 83 г., послѣ кончины матушки и потери двухъ главныхъ моихъ привязанностей, глубоко огорченный, одинокій, всегда чувствовавшій, что даютъ мнѣ и принимаютъ отъ меня работу съ отгѣнкомъ благотворительности, я надумался уѣхать на нѣкоторое время за-границу и жить корреспонденціями. Со стороны другого это могло бы быть и недурной выдумкой; но съ моею это было прежде всего малодушіемъ, бѣгствомъ отъ всего, что

меня угнетало, и притомъ бѣгствомъ, совершаемымъ на занятые деньги (отданныя черезъ годъ). Я долженъ былъ сообразить, что во мнѣ нѣтъ никакихъ корреспондентскихъ и репортерскихъ дарованій: общительности, безразличной любознательности свободного разговора со всякимъ встрѣчнымъ, наглости въ появленіяхъ и разспросахъ; что я глубоко равнодушенъ ко всему, что не подходитъ къ моему настроенію, къ кругу моихъ мыслей въ данное время. Натура непреодолимо сказалась и во время этихъ мѣсяцевъ бѣдствующаго заграничнаго странствія. Поѣхалъ за репортерствомъ, а написалъ выстраданное не въ одинъ годъ „Прощаніе“ со всѣмъ, что любилъ въ жизни или что любилъ больше всего. Оно было принято къ напечатанію подъ псевдонимомъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, но не появилось вслѣдствіе закрытія журнала.

Между тѣмъ матеріалъ для фельетоновъ или писемъ представлялся въ изобиліи: Голландія — туманный, Рюисдалевскій пейзажъ, ряды оголенныхъ до верху деревьевъ, съ наклономъ въ одну сторону, поразительная, математически правильная обработка каждаго клочка земли, довольство населенія, крупныя, солидныя постройки своеобразнаго типа, высокіе, островерхіе кирпичные кирхшпили съ пѣтухомъ-флюгеромъ, далеко видные и столь удобные для мгновенной сигнализациі изъ края въ край, красивые загородные дома или замки богатыхъ людей, иногда на холмахъ, окруженные темными сосновыми рощами; на станціяхъ — сахарный песокъ вмѣсто колотата сахара и небравая выправка и обмундировка солдатъ; наконецъ, Роттердамъ, магазины, набережныя и портовые устройства.

На пароходѣ въ Гаричъ — жестокой ночной штормъ, причинившій нѣсколько крушеній, геройская борьба со стихіями на обледенѣлой палубѣ, въ осеннемъ пальто и пледѣ, наконецъ отступленіе въ каюту и окончательная погибель. Продолженіе адскаго холода въ вагонѣ, прибытіе въ Лондонъ въ пять часовъ утра, пѣшеходное странствіе съ носильщикомъ, отказъ въ приѣмѣ въ трехъ ближайшихъ гостиницахъ, приѣмъ въ четвертую въ состояніи полного изнеможенія. Благодарственица — молодая расторопная горничная — моментально устраиваетъ теплую ванну, ведетъ туда, все заботливо раскладываетъ, наставительно объясняетъ. Какое блаженство въ теплой водѣ для прозябшаго насквозь, послѣ трехъ дней пути! Какъ прискорбно — не имѣть средствъ для достойной благодарности! Затѣмъ — Лондонъ: парламентъ, прелестное лицо лорда Солсбери въ одушевленной бесѣдѣ съ рыжимъ господиномъ грубой наружности, самое джентльмен-

ское, умное и красивое лицо, какое мнѣ случалось видѣть; Уэст-минстерское аббатство, Британскій музей, читальный залъ Библиотеки, куда ходилъ за 6—7 верстъ изъ Baywater, Notting Hill (переулка не помню); Національная Галерея, парки, чаты, обнявшіяся на скамейкахъ, иногда закрывшись плащемъ или шалью; Тоуэръ, тамошніе вѣрны; по воскресеньямъ—церкви, проповѣдь кардинала Маннинга, лицемѣрная модная англиканская церковь, вечерняя проповѣдь въ передовой Chapel—нѣсколько ярусовъ мѣстъ для публики, противный, ломающійся модный проповѣдникъ, при немъ запѣвало съ возмутительно фальшивымъ голосомъ при самодовольной улыбкѣ; улицы, магазины, неказистый домъ, гдѣ жилъ лордъ Биконсфильдъ, котораго я любилъ и о которомъ могъ бы наболтать много, въ особенности въ противопоставленіе его Гладстону; политическія бесѣды за обѣдомъ въ пансіонѣ и праздничные petits jeux у хозяйки, ради дочки, четырнадцатилѣтняго подростка. Театровъ, увеселеній, окрестностей—никакихъ; мнѣ доступно было только даровое или почти даровое. Но программа и такъ достаточная, вся добросовѣстно продѣланная, подлинная. Но ни тогда, ни потомъ не написано было ни строки. И такъ какъ пансіонъ стѣдилъ все-таки двадцать-пять шиллинговъ въ недѣлю, то черезъ нѣсколько недѣль мнѣ пришлось бѣжать изъ Лондона въ ужасающую мансарду въ Латинскомъ кварталѣ, съ подъемнымъ окномъ прямо въ небо, тогда какъ февраль и мартъ были во Франціи исключительно холодные. Но и тамъ держаться оказалось не по карману, и я перебрался въ Этамъ (50 верстъ отъ Парижа), гдѣ въ мартѣ и было дописано „Прощаніе“. Мысли о самоубійствѣ я не имѣлъ; но жилъ подъ угнетающимъ впечатлѣніемъ, что домогался и, такъ или иначе, долженъ отъ безкормицы и холода захворать и прекратиться. О состояніи моего духа въ эту пору жизни всего нагляднѣе дадутъ понятіе слѣдующія вступительныя страницы къ „Прощанію“. Теперь, когда достовѣрно извѣстно, что я не прекратился, а живъ по настоящее время, онѣ могутъ показаться бутафорскими, — но онѣ были пережиты и представляются какъ подлинный документъ. Не имѣло бы смысла пересочинять ихъ теперь на болѣе подходящій ладъ.

Итакъ, я писалъ тогда:

„Кстати пришлось эти вечернія шесть верстъ, изо дня въ день, въ слякоть, въ дождь, въ вѣтеръ. Съ пользой почувствовать, въ какой видъ сапоги должны придти, насколько штаны загадятся, и не напрасно постигъ, что въ обстоятельствахъ настолько

бѣдственныхъ нечего и покушаться раскрывать дряхлый зонтикъ. Мимо всего пролегалъ путь. Конца не было расплѣченнымъ лавкамъ и толкотнѣ, и грому экипажей. Потомъ, опять безъ конца, пошли темныя стѣны садовыхъ оградъ и надъ ними, въ мокрой мглѣ, черныя вѣтви оголенныхъ деревьевъ. Глухо, жутко тутъ было: завыванія вѣтра явственно слышались, и лишь изрѣдка выступали изъ мрака, въ мгlistый свѣтъ фонаря, прохожіе въ борьбѣ со стихіями. Потомъ замелькали ласково окна пріютныхъ дачныхъ домиковъ, и потянулся, наконецъ, послѣдній, мрачный переулочекъ. И все это, разное и непохожее, отдавалось въ сердцахъ однимъ звукомъ—однимъ, давно наболѣвшимъ, мучительнымъ сознаніемъ безпріютности, дикаго, бессмысленнаго одиночества.

„Потому говорю, что встати пришлось эта старая музыка, что очень ужъ наглядно заставила она понять близость развязки, испугаться; помогла въ то состояніе придти, когда въ жаръ бросаетъ, и сердце сжимается, и холодный потъ выступаетъ на лбу. Въ самомъ вѣдѣ дѣлѣ: день проходитъ—замѣтить нельзя. И вотъ еще немного такихъ же пустыхъ, ничтожныхъ, незамѣтныхъ дней—въ ту пятницу, не дальше—и напускная, убогонькая почтенность должна будетъ замѣниться открытымъ убожествомъ, голоданіемъ, холодомъ, настоящей грязью, грубостью. Учить стануть новичка; вымещать на немъ давнюю, безразсвѣтную нищету. Пойдутъ нищенскія униженія, выпрашивание странныхъ занятій, неумѣлыя натуги, издѣвательство, безответственность. Тутъ и лечь придется, на отвращеніе и въ досаду всѣмъ: тутъ и стонать въ бреду; тутъ и пугать людей послѣднимъ, старающимся постигнуть, взглядомъ, послѣдними, какъ будто человѣческими, вздохами. Отсюда и въ яму свезутъ—и опять надѣлаешь на прощаніе хлопотъ и изъязну людямъ.

„Много лѣтъ прошло въ значительной близости къ этой развязкѣ. Нельзя бы было жить, еслибъ всегда о ней помнить—и не вспоминается она, пока есть мѣсяцъ—другой жизни въ карманѣ. Больше рѣдко бывало; и дальше не привыкъ, не научился заглядывать. Станутъ истекать гроши, испугаешься, замечешься, извернешься, выпросишь у добрыхъ или недобрыхъ людей. Часто выпрашивалъ. И у тѣхъ просилъ, къ кому, пока были деньги, казалось невозможнымъ обратиться. Все-таки не у всѣхъ. Остались двери, въ которыя не стучался. Есть долги, о которыхъ не говорю—безсчетные и неоплатные;—но если сосчитать вотъ эти, съ такими терзаніями выпрошенные гроши—все, что будетъ и что не будетъ отдано—такъ, право, не такія ужъ по-

давяющія кучи насчитаются. Ну, года, ну, двухъ лѣтъ жизни не успѣлъ трудомъ выкупить — бѣдной, убогой жизни... А пропало труда больше — безъ вины пропало: не потому, чтобы онъ не годился.

„Живъ — стало быть, спасался; хотя много разъ казалось, что спасенія нѣтъ. Помню, разъ въ Питерѣ понесъ продавать послѣднія двѣ книжки. Передъ тѣмъ долго тянулись другія продажи, самыя обидныя; и удрученъ, измученъ я былъ до крайности. Книжки были отличныя, т.-е. такія, на которыя спросъ ежедневный. Стоили онѣ четыре съ полтиной, а предложили мнѣ сразу рубль семьдесятъ-пять копѣекъ. Я все-таки сказалъ: „Пожалуйста, нельзя ли два?“ — и букинистъ сразу хлопнулъ книгами по прилавку, откинулъ ихъ въ сторону и выложилъ два рубля. Я вдругъ замолился: — „Дай вамъ Богъ добраго здоровья, счастливо торговать!..“ — и самъ испугался своего голоса. Точь-въ-точь вотъ этакъ нищія благодарятъ на папертяхъ, или вдоль стѣнъ, гдѣ потемнѣе.

„Бѣдствую — хотя насущнымъ хлѣбомъ довольствуюсь немногимъ. Стало быть, виноватъ; стало быть, не счумѣлъ пригодиться людямъ; стало быть, денежное банкротство усложняется банкротствомъ нравственнымъ. Но о томъ довольно было сказано, и незачѣмъ теперь упоминать; потому что не оно скрутило: съ нимъ бы еще мыкался. Скрутило, отрезвило, заставило понять близость конца банкротство денежное — невозможность дольше изворачиваться и выпрашивать. Некуда сунуться, ни съ работой, ни съ просьбой: вездѣ рогатка. Продажей послѣдняго рубища двухъ недѣль не проживешь. Надо кончать.

„И понялъ я необходимость приготовиться къ близкому концу именно въ тоскѣ этого безконечнаго вечерняго пути сквозь мглу и слякоть, сквозь шумъ чужой жизни, мимо пріятныхъ огней чужого жилья, — когда подъ дождемъ и вѣтромъ заняло сердце сознаніемъ безвозвратнаго, беспощаднаго одиночества.

„Небольшія мои приготовленія: хотѣлось бы только успѣть проститься съ тѣмъ, чтó всего больше любилъ, чтó было радостью и смысломъ бытія; чтó и теперь, при такой пришибленности и при такомъ устраниніи отъ жизни, не дастъ вовсе изсякнуть струѣ чистой, возвышающей радости. А затѣмъ — слабъ я: и жаль мнѣ себя; и хочется сказать, до какой степени мнѣ больно, что не придется проститься съ горемъ и радостью дома, въ безвѣстной деревушкѣ, въ виду смиреннаго, несказанно близкаго душѣ убожества, встрѣчая глазами участливые взгляды, въ которыхъ такъ понятно теплится братство. Больно, что не бле-

снеть мнѣ больше молодая улыбка; что не оживить душу еще разъ безхитростная свѣжесть молодой рѣчи. Больно, что не тѣ глаза будутъ всматриваться въ лицо мертвеца; не на тотъ погостъ его свезутъ; не тѣ руки яму выроютъ; не той землей засыплютъ, и что звукъ земли, бросаемой въ могилу, не отдастся въ сердцахъ словомъ прощенія грѣшному и безпутному брату,— ради его мыканія горькаго, и издѣвательствъ судьбы надъ нимъ, и усилій его не быть злодѣемъ.

„Да, „вѣтеръ родного селенія“ не будетъ вѣять надъ могилой; не занесетъ ее, не будетъ гнѣть надъ ней тоскливую пѣсню метель, что гудитъ въ сиротливой оградѣ! Въ тихія, чуткія недѣли великаго поста, не выступитъ могила изъ-подъ снѣга привѣтной проталинкой; не проростетъ весенней травкой, не зацвететъ цвѣтками; молодая березынька надъ ней никого не освѣтитъ, не ошастливитъ запахомъ своихъ листьевъ. На выгонѣ, неподалеку, ребятишки не будутъ водить своихъ хороводовъ, кружиться, бѣгать. И по тропѣ торной мимо могилы не станутъ ходить люди въ убогій храмъ, гдѣ и для того, кто прибрелъ изъ смрадной разоренной лачуги, теплится признаніе его права на свѣтъ, просторъ, равенство, помощь, возмездіе за неправду. Оповоренъ этотъ храмъ ложью и торгомъ; смутно, немощно болѣла тутъ душа; но все-таки находила отраду и надежду. И празднично расцвѣтала тутъ радость въ молодыхъ сердцахъ. И служила, изъ поколѣнія въ поколѣніе, эта радость и тоска по поруганному праву великимъ связующимъ звеномъ, способнымъ отстоять, способнымъ оградить человѣка среди безграничнаго униженія и темноты.

„Не сдумѣлъ жить среди образовъ и звуковъ родины, такъ хотя бы бугромъ могильнымъ слиться съ ними, — хотя бы крестомъ придорожнымъ надъ отверженнымъ, но прощеннымъ и порой оживающимъ въ чуткой грезѣ прохожихъ...

„Не бывать этому. Только въ собственной мысли будетъ родина; только призраками встанутъ передъ слабѣющимъ взоромъ любимые образы, просторъ далекій вокругъ убогихъ селъ, вѣтерокъ утренній, привѣтный; только въ бреду будетъ подниматься грудь ему навстрѣчу; только въ предсмертномъ шопотѣ будетъ слышаться родная рѣчь. Одинъ заранѣе опущу себя въ свальную яму; одинъ засыплю всѣмъ посторонняго чужою землей.

„И ужъ ежели такъ, ежели не суждено умереть по-человѣчески, спасибо судьбѣ за то по крайней мѣрѣ, что избавила отъ лживаго, продажнаго обряда, отъ вздорнаго участія, отъ соболѣзнованій самодовольныхъ, отъ празднаго всматриванія въ

лицо, беспомощно застывшее въ привычномъ выраженіи страданія.

„Тутъ, все-таки, будетъ легче; униженія и обиды меньше. Навѣрное, меньше лжи.

„Только бы успѣть, только бы смочь проститься!..

„Страшно! Какъ отогнать мысль, что эта попытка прощальнаго общенія съ людьми, въ сущности, затѣя маниака? Какъ повѣрить, чтобы изъ такой изношенности, опустошенности существа, изъ такого сумбура спутанныхъ и дико мечущихся мыслишекъ, вздорныхъ, дрянныхъ, грязныхъ, изъ этихъ подлыхъ, звѣриныхъ озлобленій, изъ лжи и ненужности всей жизни — могло выдѣлиться чистое, пригодное людямъ слово? Трава вывѣтренная, хваченная морозомъ, можетъ ли позеленѣть еще разъ? Въ памяти уже поплывшей, страшно случайной, смутной, передъ взоромъ, отъ котораго міръ сталъ уже застилаться, могутъ ли забытые, потускнѣвшіе образы опять воскреснуть въ прежнемъ свѣтѣ и воздухѣ, въ прежнемъ обаяніи любви и восторга? Изъ глазъ померкшихъ, старческихъ, могутъ ли опять политься прежнія, живительныя, молодыя слезы?

„А не одолѣешь страха, не отгонишь сомнѣній, не увѣруешь въ себя—слова не вымолвишь. Но только отчаяніе можетъ внушить рѣшимость.

„Близко подералось уничтоженіе. Дать ли еще одну, послѣднюю отсрочку?“

Отсрочка была дана—и на множество лѣтъ, самыхъ неожиданныхъ—причемъ, по оступленію чувствъ, свойственному людямъ, которымъ часто подавалась помощь, или по спасительной Микоуберовской способности возникать изъ праха,—я не помню, кто меня тогда выручилъ и какимъ образомъ случилось, что я получилъ чекъ, обезпечившій меня на нѣсколько мѣсяцевъ. При помощи его я перебрался изъ непривѣтливаго Этампа (показался такимъ, потому что было очень холодно; однако я только тамъ испыталъ, что такое благоуханіе фіалокъ во французскомъ лѣсу, въ мартѣ) въ городокъ St.-Florentin (Yonne), гдѣ поселился у отставнаго булочника, въ маленькой комнатѣ, задняя стѣна которой примыкала непосредственно къ скалѣ и была очень сыра. Платилъ недорого, не помню сколько, а кормиться ходилъ разъ въ день въ гостиницу „Au Cheval Blanc, гдѣ получалъ за 1 фр. 50 с. супъ, мясное блюдо, десертъ, $\frac{1}{2}$ б. вина и хлѣба по аппетиту. Утромъ и вечеромъ ходилъ къ молочницѣ за чашкой парного молока. Тутъ я занялся — все въ тѣхъ же

корреспондентских дѣлахъ—вопросомъ о народной школѣ, въ которой клерикальное вліяніе тогда еще довольно энергично боролось съ правительственнымъ. Брошюры, сборники пѣсенъ, программы, учебники были у меня припасены еще въ Парижѣ. Теперь я за нихъ принялся, стараясь, какъ умѣлъ, дополнять печатное бесѣдами съ обывателями, учителями, учительницами и священниками въ городѣ и ближайшихъ селахъ. Церковь въ С.-Флорентѣнѣ большая, красивая, на холмѣ, устремленная вверхъ и господствующая надъ маленькимъ, тѣснящимся вокругъ нея городомъ и всею окрестностью. Церковныя службы отправляются какъ должно, съ достаточною торжественностью; но населеніе охладѣло къ храму; рѣдко увидишь священника на улицѣ, и идетъ онъ одинъ, опустивъ глаза въ тробинѣхъ, и по сторонамъ не смотритъ. Мой хозяинъ не любилъ духовенства и охотно говорилъ объ его вредности. У него были родные или какія-то дѣла въ Бретани, и онъ возмущался тамошними порядками, грязью и невѣжествомъ, въ которыхъ духовенство держало тамъ народъ. Особенно возбуждали его негодованіе какіе-то невѣроятно дикіе погребальныя обряды (у Мопассана есть подобный разсказъ о крестинахъ), какіе-то черепа, пиршества, гдѣ сидятъ по краямъ вырытыхъ канавъ, вшивость и постоянныя, со всего, поборы въ пользу духовенства. Они всячески мѣшаютъ населенію учиться по-французски и поддерживаютъ грубое мѣстное нарѣчіе, причемъ имъ во всемъ помогаетъ дворянство, пользующееся незаконнымъ вліяніемъ. Этотъ разсказъ я слышалъ двадцать-пять лѣтъ тому назадъ, да и разсказчикъ, быть можетъ, говорилъ о давно прошедшемъ, такъ что теперь положеніе вещей, по всей вѣроятности, существенно измѣнилось. Край, въ которомъ находится С.-Флорентѣнъ (деп. Іонны), называется *petite Bourgogne*, и по справедливости можетъ быть названъ благодатнымъ краемъ. Высокихъ винъ тутъ нѣтъ, хотя Шабли и Нюи очень недалеко, но виноградниковъ множество, и они содержатся съ поразительнымъ тщаніемъ. Каждый кустикъ нѣсколько разъ въ годъ подвергается сложнымъ и кропотливымъ манипуляціямъ. Вина выдѣлывается такъ много, что полевые работники на хозяйскихъ харчахъ требуютъ по два литра въ сутки. Мягкостью климата и необходимостью множества работъ, не требующихъ большой физической силы, объясняется тотъ фактъ, что во Франціи рабочій возрастъ продолжается много долѣе, чѣмъ у насъ. Согбенные вдвое, совсѣмъ окостенѣлые или одеревенѣлые старики и старухи все еще работаютъ. Я это видѣлъ и въ Этампѣ, который снабжаетъ париж-

скій рынокъ произведеніями своихъ огородовъ. Рабочая обмундировка, конечно, самая упрощенная: штаны и рубаха, всего чаще разстегнутая; шляпы съ самыми живописными изъяснами, или фуражки. Одѣтые такимъ образомъ люди, обѣдая или играя засаленными картами въ гостинницѣ „Au Cheval Blanc“, нерѣдко говорили объ очень крупныхъ суммахъ по оборотамъ или наслѣдствамъ. А разъ, въ политическомъ разговорѣ, по вопросу о партіяхъ и расприхъ, одинъ сѣдой рабочій, съ открытымъ, умнымъ лицомъ, поразилъ меня словами: „Prenez garde qu'il ne nous aggrave comte à la Pologne!“

Въ настоящее время, эти слова имѣли бы, конечно, для русскаго, еще гораздо большую поразительность, нежели тогда, въ виду даровитости и добраго сосѣдскаго къ намъ вниманія преемника Фридриха II.

При передвиженіяхъ, мелкій торгующій людъ облачается поверхъ костюма въ длинную синюю блузу. Когда тепло, средней руки обыватели не стѣсняются расхаживать по городу безъ сюртуковъ или пиджаковъ. Въ костюмѣ женщинъ, рабочихъ или мелко-промышленныхъ классовъ, господствуютъ голубоватыя тѣни простыхъ, прочныхъ холстинокъ. Излишне пояснять, что красивыя молодыя дѣвушки и въ этомъ строгомъ облаченіи прелестны.

Въ доказательство культурности края приведу слѣдующіе факты:

Всѣ говорятъ хорошимъ французскимъ языкомъ, лучше, чѣмъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ближе къ Парижу. Всѣ обуты, и взрослые, и дѣти. У всѣхъ есть носовые платки. Не видалъ ни одного безобразно пьянаго (стѣснительнаго для пьющихъ полицейскія распоряженія, выѣшивавіе которыхъ въ трактирахъ обязательно, обыкновенно помѣщаются высоко подъ потолкомъ). Одинъ только разъ видѣлъ, какъ человѣкъ изступленно билъ лошадь. По деревнямъ собаки на прохожихъ не лаютъ. Въ праздники, на дѣтяхъ скромныхъ, небогатыхъ семей видишь хорошенкіе нарядные костюмчики. Въ домахъ масса мебели, мѣдной посуды и бѣлья въ глубокихъ, солидныхъ шкапахъ.

Я прожилъ въ С.-Флорентѣнѣ около трехъ мѣсяцевъ; но какъ ни старался выжать что-нибудь путное изъ своего матеріала по школьному вопросу, у меня изъ всей моей статистики, выборовъ и подсчетовъ, ничего не выходило, и хотя я уже не впадалъ въ такое страстное отчаяніе, какъ зимою, но все-таки мучительно обдумывалъ пути и средства къ возвращенію въ Россію и полученію заказной работы. Не знаю, до чего бы я додумался, и удалось ли бы мнѣ вывернуться, когда вдругъ, въ

юлѣ, я получилъ отъ кузины М. Н. Обручевой, жены Николая Николаевича, настоятельнѣйшее приглашеніе провести конецъ лѣта въ ихъ имѣніи, близъ Перигё. Приглашеніе сопровождалось деньгами, и мнѣ въ данныхъ обстоятельствахъ устоять противъ соблазна было тѣмъ труднѣе, что мои отношенія къ обоимъ супругамъ были не только родственными, но и самыми дружескими. Тетенька, какъ я называлъ кузину, меня въ то время очень любила. Приглашеніе шло изъ Петербурга и, вѣроятно, въ корни его лежало желаніе развлечь тетеньку въ виду затрудненій, которыя заставляли опасаться, что обычный осенній отпускъ Николая Николаевича окажется въ томъ году невозможнымъ, — какъ оно въ дѣйствительности и случилось. Я отвѣчалъ радостнымъ согласіемъ, отправилъ багажъ впередъ, а самъ рѣшился сдѣлать большую пѣшеходную экскурсію по живописной и сравнительно дикой мѣстности Морвана, съ рыболовной корзиной черезъ плечо и бѣлымъ зонтикомъ на синей подкладкѣ, называемымъ „bain de mer“. Точнаго маршрута не помню; но знаю, что провелъ сутки или больше въ мѣстечкѣ Pontaubert, гдѣ Бедекеръ рекомендуетъ дѣйствительно прелестную прогулку по берегу ручья; былъ въ Шабли; былъ въ Иранси, гдѣ разводять усовершенствованными способами превосходныя вишни и гдѣ въ маленькомъ трактирчикѣ, весь персоналъ котораго ограничивался однимъ молодымъ человѣкомъ, пообѣдалъ и весело распилъ съ нимъ двѣ бутылки очаровательнаго мѣстнаго вина. Ночевать я, однако, тамъ не остался, а прошелъ по маршруту еще порядочное разстояніе. Одинъ переходъ у меня былъ около 50 верстъ, и такъ какъ я выступалъ утромъ очень рано, то имѣлъ время отдохнуть, и не могу сказать, чтобы слишкомъ усталъ. Въ одно мѣстечко, на берегу рѣки, я пришелъ очень поздно, и меня нигде не пустили ночевать, такъ что я отправился на железнодорожную станцію и тамъ легъ на скамью съ своей корзиной вмѣсто подушки. Въ лѣтнемъ пиджакѣ было очень холодно. Черезъ нѣсколько времени, пришелъ неблагонадежной наружности молодой человѣкъ — точнѣе оборванецъ — и тоже растянулся на другой скамѣ, причемъ я замѣтилъ, что въ его багажѣ былъ топоръ. Конечно, топоръ прежде всего рабочій инструментъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ орудіе убійства; но тѣмъ не менѣе у меня сонъ прошелъ, хотя я продолжалъ лежать неподвижно. Черезъ нѣсколько времени, молодой человѣкъ всталъ и ушелъ, произнеся слѣдующія странныя слова: „Les mariniers font quelquefois de bons coups, mais ils sont bien malheureux“... Былъ въ Аваллонѣ, осматривалъ обитаемый, но

показываемый туристамъ замокъ Chastellux, и наконецъ пришелъ въ Везелъ, гдѣ св. Бернардъ проповѣдывалъ второй крестовый походъ и гдѣ меня интересовала реставрированная, непомято большая по теперешнему населенію церковь, при которой въ то время существовала какая-то іезуитская община. Одинъ изъ тамошнихъ аббатовъ любезно мнѣ все показывалъ и объяснялъ, причемъ въ ризницѣ предъявилъ множество самыхъ сомнительныхъ реликвій. Съ болѣе возвышенныхъ точекъ этой части Морвана открывается необозримое лѣсное пространство. Рѣшительно ничего не видно, кромѣ густого, преимущественно дубоваго лѣса, точно въ необитаемой странѣ.

Пространствовалъ такимъ образомъ съ недѣлю, я сѣлъ въ поѣздъ и прибылъ на родину трюфель, въ Перигѣ, откуда проѣхалъ часть пути въ омнибусѣ, а затѣмъ опять пѣшкомъ, безъ дороги, жалкими дубовыми перелѣсками, и явился въ замокъ Жоръ (Jaure) къ моимъ роднымъ.

Въ концѣ октября я возвратился въ Петербургъ и вскорѣ потомъ отправился въ Тверь, гдѣ были кое-какія знакомства, съ тѣмъ, чтобы при ихъ помощи получить мѣсто по земству. Меня согласились назначить страховымъ агентомъ по Весьегонскому уѣзду, и я уже успѣлъ ознакомиться съ правилами и матеріаломъ, и готовился къ отъѣзду, когда, едва-ли не въ самый день, когда состоялся журналъ о моемъ опредѣленіи, я былъ вызванъ адмираломъ Чихачовымъ въ Петербургъ, гдѣ онъ предложилъ мнѣ служить подъ его начальствомъ по морскому вѣдомству.

На службѣ по этому вѣдомству я состоялъ двадцать-два года, до 1906-го года.

В. Овручевъ.



РОЗА САРОНА

ПОВѢСТЬ.

Окончаніе.

VIII *).

Въ семь часовъ утра, старая нянька и горничная спорили въ корридорѣ, у комнаты Вадима.

Нянька не пускала будить такую рань:

— Поди, и не спалъ вовсе до свѣта!

Но горничная, бѣгавшая поздно вечеромъ съ барыннимъ письмомъ, понимала лучше, что теперь ужъ не до часовъ. Она себя чувствовала ответственной и за это письмо, только-что принесенное Саррошкиной горничной.

Красивенькая, приличная Хася только повернулась — будто полъ горитъ у нея подъ ногами — сунула пакетъ съ печатями... толстый такой.

Ну, да и Анисья Горлецовыхъ вчера не долго погостила въ огромной, освѣщенной электричествомъ кухнѣ!.. Полякъ-поваръ готовилъ ужинъ, а Хася не было въ кухнѣ. Лакей вызвалъ старую тетку.

Анисья не знала, какъ и отдѣлаться отъ ея разспросовъ; почему да отчего письмо отъ самой госпожи Горлецкой?.. Вѣрно ли, что для барышни письмо?.. Не велѣли ли сказать чего-нибудь?..

Письмо барынино, — а отвѣтъ принесли Вадиму Михайловичу.

Первые вѣстники собирающейся грозы проскользнули подъ маской... Загадочныя бѣлыя тѣни.

*) См. выше: октябрь, стр. 170.

Нянька, всегдашняя заступница Саррочки, сходила въ вечеръ. А какъ узнала про барынино письмо — чуть-что не ночью — словно что-то оборвалось у сердца. Развѣ кто думалъ про свадьбу?..

Теперь никто и самъ не знаетъ, что собственно онъ думалъ. Всѣ только огрызались другъ на друга.

Дѣйствительно, Вадимъ уснулъ только подъ утро. Забылся, но ничего вчерашняго не заспалъ. Разбуженный осторожнымъ стукомъ въ дверь, онъ наскоро сообразилъ:

„Рано... Мать заболѣла?.. Вѣрно — мама!..“

Въ пріотворенную щель двери просунулся большой конвертъ.

Онъ принялъ его съ безотчетнымъ сопротивленіемъ испуга... Откуда можетъ быть письмо?!..

Косыя, изящно удлиненныя буквы знакомаго почерка рѣзнули, какъ ножомъ, сердце... Пакетъ отъ Саррочки!..

Вадимъ лихорадочно одѣвался. Скорѣе... 'сейчасъ быть готовымъ къ чему-то!.. Сначала одѣться...

Пакетъ лежитъ, оттопыриваясь углами отъ доски стола... Что-то вошло въ комнату... Какъ холодно!..

За окномъ стволы двухъ сросшихся сосенъ освѣщены солнцемъ иначе, чѣмъ всегда, когда онъ встаетъ... Въ умѣ вспыхнуло:

...Страшно рано... угрожающе рано получить оттуда письмо...

...Развѣ нужно письмо?!..

...Вчера онъ не пришелъ къ ней!..

Онъ такъ страдалъ, такъ страдалъ, что ничто не выдѣлялось отчетливо въ тяжело хлещущемъ душу потокѣ этихъ слитыхъ въ одно мыслей-чувствъ... Вовсе нѣтъ мыслей, которыя тутъ же не превращались бы въ жгучую боль...

И чтобы какъ-нибудь овладѣть своими мыслями, чтобы охватить свое ужасное положеніе, онъ пугливо отшатнулся отъ Саррочки: не думать, не думать о томъ, что съ нею теперь... Справиться со своимъ!..

Мать!.. Душа до краевъ наливается обидой и негодованіемъ. А манера отца впередъ извѣстна: ультиматумъ и исчезновеніе. Безъ необузданности матери.

„Объ этомъ совершенно не можетъ быть рѣчи, — понялъ?“ — и опять уѣдетъ въ городъ.

„Очень выгодная манера!“ — думалъ не одинъ разъ съ досадою сынъ, когда семьѣ приходилось выдерживать штормъ, — а виновникъ былъ недосыгаемъ.

„Боже мой... вѣдь она всю ночь, всю ночь писала такое огромное письмо!“ — думалъ Вадимъ со страхомъ и жалостью,

разрывая конвертъ. Грубый, простой конвертъ, въ какихъ посылають бумаги, а не письма. Онъ уже знаетъ: сомнѣнія... упреки... оскорбленія... Развѣ не довольно одного того, что онъ не пришелъ вчера!.. Она пишетъ, что не войдетъ нежеланной въ его семью—она беретъ назадъ, назадъ беретъ свое слово!.. Счастье всей его жизни!..

Слова никогда не произносились, но они мелькали въ темнѣющемъ взорѣ, рождались въ жесткомъ звукѣ голоса, въ застывшей позѣ. Развѣ онъ не знаетъ, съ какою болѣзненной чувствительностью ея душа содрогается отъ тѣни оскорбленія?!..

Изъ разорваннаго конверта посыпались письма—много: маленькіе конверты,—тонкіе, слежавшіеся листки,—толстые квадраты съ рваными краями... Но это—его, его письма?!.. Его собственныя письма—давнишнія, незначашія записочки!..

Вадимъ лихорадочно рылъ, раскидывалъ бумажки, разыскивая листокъ съ ея нѣсколькими строками. Гдѣ же?.. гдѣ... гдѣ?..

Задѣлъ и вытолкнулъ изъ бумажки фотографію.

Таня, Саррочка и онъ—здѣсь, на балконной лѣсенкѣ. Запелъ странствующій фотографъ, всѣ снимались, весь домъ, даже прислуга снялась на дворѣ у колодца.

Она и Таня сидятъ обнявшись; счастливыя, смѣющіяся лица... Онъ—ниже, у ихъ ногъ. Онъ еще не былъ влюбленъ тогда—онъ былъ идиотски глупъ! Его насилу заставили сѣсть—„больно ужъ пошлая сладкая поза!“—Таня держитъ руку на его плечѣ, точно боится, что онъ убѣжитъ.

А записочки Саррочкиной нѣтъ—никакой нѣтъ записки!.. Его имя на конвертѣ—ничего больше...

Новая, еще незнакомая боль... И Вадимъ не сразу проникся сознаниемъ: это больше, неизмѣримо больше, чѣмъ могла сказать самая грозная записка... Это постепенно входитъ въ его душу—какъ холодная сталь разрываетъ живыя ткани...

...Возвращенныя письма—разрывъ безъ словъ. Разрывъ?!..

Онъ упалъ лицомъ на разбросанныя письма и судорожно зарыдалъ.

Рыдало не отчаяніе—рыдала обиженная, раненая любовь...

И любовь, спасаясь отъ отчаянія нашла, за что ухватиться: липовая аллея... бѣлая фигура, осыпанная золотыми искрами—трепетъ обжигающихъ холодныхъ рукъ... Его, его Саррочка!.. его невѣста...

Такъ ярко, смятенно душа сейчасъ же зажила опять этими умчавшимися мгновеньями, что все, оторвавшее его отъ нея,

исчезло. Она любить!.. Хочетъ его любви!.. Кто можетъ отнять у нихъ любовь?!.. И она сама не можетъ!..

Рыданія стихли... Руки, спѣша, запрятывали разсыпанные письма въ разорванный конвертъ.

Вѣдь это только его собственныя письма! Онъ не чувствовалъ къ нимъ никакой вѣжности. Онъ писать не любить и не можетъ... Пусть съ ними будетъ что угодно.

Но есть у него нѣсколько Саррочинныхъ писемъ—длинныхъ, удивительныхъ писемъ!.. Черезъ нихъ онъ заглянулъ въ замкнутую, пугливую душу, въ нихъ нашелъ запрятанную далеко вѣжность.

Вадимъ представилъ себѣ красивую коробочку, гдѣ лежитъ его сокровище въ запертomъ ящикѣ стола,—и на душѣ стало легко и довѣрчиво. Ну, что-жъ!.. она проявила свое право—причинить ему боль—право близкаго!.. А развѣ онъ не забудетъ въ одинъ мигъ, за ея первую улыбку, всей боли, какую Саррочка можетъ причинить ему?..

Летающій мигъ радостной, свѣтлой гармоніи.

Онъ ей прощалъ свои рыданія, онъ незаслуженной мукой наслаждался, потому что эта мука—отъ нея, а вѣдь онъ не могъ быть виновнымъ передъ нею!..

Могъ.

...Сейчасъ—что, что сдѣлать?..

...Она что-то сдѣлала—прислала его письма.

...Онъ послѣ этого не смѣетъ писать ей?..

...Напрасно!.. Она вернетъ его письма, не читая...

Вотъ, наконецъ! Вадимъ понялъ: эти вернувшіяся письма, только-что легкомысленно засунутыя въ конвертъ, небрежно брошенные въ ящикъ стола—стѣна!..

...Пойти къ ней!—Вѣжать къ ней!..

Мечется какъ связанный... прикованный! Изъ какой-то черной тайны крадется леденящее сомнѣніе...

...Онъ не смѣетъ!.. Долженъ?.. Не смѣетъ. Мѣшаетъ что-то еще, чего онъ не узналъ еще, и оттого нельзя понять...

Наконецъ, изъ чернаго клубка, кружившагося въ его мозгу, вырвалось одно слово:

— „Таня“!..

Въ корридорѣ никого не было. Въ концѣ его открыта настежь дверь маленькаго крыльца, и потокъ утренняго солнца добрался до Таниной двери. Пестрые пятнышки играютъ на стѣнѣ, по невиннымъ сѣренькимъ обоямъ.

„Во всей дачѣ новые обои для дяди Володи“...

Мысль неожиданно пробила—оттуда, гдѣ все по старому:

беззаботно, сіяетъ солнце, поютъ птицы, — въ то время какъ онъ одинъ барахтается въ набѣгающихъ черныхъ волнахъ...

Вадимъ вошелъ и тогда вспомнилъ, что Таня не любитъ темныхъ драпировокъ или ставень, какъ у матери. Сквозь бѣлыя шторы солнце наполняло комнату ровнымъ янтарнымъ свѣтомъ. Мирно бѣлѣетъ низкая кровать и брошенные по стульямъ свѣтлыя одежды. Маленькія желтыя туфли на коврѣ.

Таня спитъ, вытянувшись на груди, плоско сливаясь съ бѣлизной простыни... Розовѣетъ профиль, повернутый къ стѣнѣ... Узелъ закрученныхъ русыхъ косъ надъ сдвинутыми плечами.

Она не слыхала, онъ долженъ былъ позвать ее.

Крѣпко спала и не сразу вернулась изъ сонныхъ просторовъ къ страшному вчерашнему дню.

— Письма?.. письма... зачѣмъ же?!.. Погоди, погоди... Ахъ, это ужасно странно!.. И такъ рано... ужасно рано!..

Она по-дѣтски терла полные сномъ глаза — и тутъ же поправляла сползающія косы и что-то натягивала на горячія сонныя плечи.

Душная комната, тѣсная отъ привычныхъ миловидныхъ вещей и мирнаго беспорядка ночи, Танинъ сильный отъ сна голосъ и мягкій шорохъ ея движеній.

Все это сейчасъ же смягчило холодный мракъ его одинокихъ мужскихъ терзавій, притянуло его изъ угрожающей пустоты въ теплую родную жизнь... Вадимъ сѣлъ на мягкій низенькій стулъ и тяжело уронилъ на руки разбаливающуюся тупую голову. Мысли уплывають... Точно здѣсь онъ въ безопасности... Кто-то движется рядомъ — думаетъ о немъ...

Онъ не замѣтилъ, когда Таня одѣлась наполовину и принялась расчесывать косу.

Три золотистыхъ змѣи извиваются подъ ея проворными пальцами и становятся длиннѣе.

Таня взмахнула головой — змѣи слились золотой волной и упали по спинѣ до колѣнъ.

Таня безостановочно скользила сверху внизъ черепаховымъ гребнемъ и дѣлала какія-то движенія головой и шеей, отчего волна волосъ становилась все тяжелѣе, ровнѣе... И опять три змѣи, перекинутыя черезъ шею, стали извиваться подъ бѣгающими бѣленькими пальцами...

— А ловко это у васъ выходитъ! — засмѣялся вдругъ Вадимъ.

Прежній, ея голосъ непроизвольно засмѣялся изъ свѣтлой дали... Своевольный голосъ испугалъ. Вадимъ нахмурился и отвелъ глаза.

Таня втыкала со всѣхъ сторонъ шпильки и трясла головой, пробуя—крѣпко ли.

— Ну, вотъ!.. Сейчасъ и пойду... правда?

Онъ ее не посылалъ. Но развѣ не довольно было ему придти въ эту комнату? Онъ шепнулъ, стискивая зубы:

— Сходи...

— Отъ тебя что сказать? Или нѣтъ, не нужно—я ужъ сама знаю!—отвѣтила она сама себѣ пугливо.

Таня ужасно торопилась. Для скорости надѣла, было, „раз-летайку“, полотняную съ пестрыми вышивками, какъ выходить на дачѣ къ утреннему кофе, но взглянула въ зеркало и смутилась.

...Парадная, высокая, вся въ цвѣтахъ терраса... Дамы, всегда съ утра корректно одѣтыя въ дорогіе заграничныя наряды...

— Такъ нельзя... да? Ну, тогда уходи, я должна влѣзть въ корсетъ.

Вадимъ вздохнулъ и тяжело поднялся на ноги. Какая-то доля придавившаго его удара перешла на чужія плечи... капля, переливающая черезъ край!

— Посиди въ саду, я сейчасъ выйду,—сказала Таня.

И Вадимъ, не размышляя, спустился съ маленькаго крыльца въ садъ. Вѣдь именно такъ и нужно въ эту минуту: ласковый, все понимающій голосъ диктуетъ очередныя движенія. Непривычные измученные нервы молятъ объ отдыхѣ...

Таня второпяхъ оборвала корсетный шнурокъ, топнула ногой отъ досады и позвонила Анисью.

— Вы никогда ничего не видите, Анисья! Богъ знаетъ какъ тороплюсь, а тутъ гнилые шнурки!..

— Цѣлые были, барышня.

— Какъ-нибудь... узломъ свяжите! Готово?

Анисья мямлала. У нея горѣли уши и бѣгали глаза. Совѣтовалась съ нянюшкой, и онѣ порѣшили Танѣ сказать про барынино письмо. Пускай ужъ сама какъ хочетъ—говорить ли, нѣтъ... Вадиму Михайлычу. Не одной тетѣ Розаліи письмо Софьи Кирилловны Горлецекой казалось боевымъ ядромъ крупнаго калибра.

— Куда это вы, барышня, такъ рано? Чай подать или молока?

— Ничего не надо. Который часъ, однако?

Восемь—сразило Таню. И ужъ давно принесли Саррочкинъ пакетъ!

Въ то время, какъ она мрачно соображала, Анисья безсвязно

говорить про вчерашній вечеръ. На кухнѣ ужинъ готовили... гости... Письмо какое-то... Таня разсердилась и велѣла говорить толкомъ.

...Ну, гости — такъ развѣ не всякій день гости? Саррочка въ самую важную минуту жизни — волнуется... счастлива... страхъ глотать, а кругомъ — чужіе люди, ухаживатели, пошлости...

„Сама такъ хочетъ“ — говорить съ горечью Таня, безсознательно уходя въ собственные мысли отъ безтолковаго голоса глупенькой Анисьи.

...Письмо — да про какое же письмо она толкуетъ такъ настойчиво?

Таня похолодѣла мгновенно, съ головы до ногъ; стали дрожать колѣни; глаза красиво ушли въ темныя кольца, какъ вчера у Вадима...

А черезъ минуту ее уже поражало: какъ могла она не знать впередъ, что мать именно такъ поступить!! Простое, реальное какъ осязаніе, прикосновеніе *жестокости*! Все равно, какъ еслибъ на ея глазахъ наносили тяжелые удары, били!..

Ея Саррочка, Саррочка! Недотрога, загорающаяся обидой отъ воображаемаго косого взгляда, отъ небрежнаго голоса...

Красавица! умница! всѣ, всѣ влюблены, — а тутъ прямо, въ лицо: мы отталкиваемъ твою любовь, пренебрегаемъ, считаемъ за дерзость... да, да!..

Таня громко стонала и металась по комнатѣ, точно выбиваясь изъ накинутаго аркана. Мгновенные взрывы *предчувствія* чего-то общаго, связи этого ужаса съ ея собственной прекрасной любовью — точно провалы въ бездну на узкой тропинкѣ, гдѣ она мечется...

Но теперь Таня уже не чувствовала прежней боязни, неуверенности встрѣчи съ Саррочкой: это было тогда, когда она боялась, что догадывается, когда еще можно было мечтать избавиться, когда не было письма. Теперь все покрылъ ужасъ — ужасъ кровавыхъ ударовъ! Можно только бѣжать туда, какъ бѣдаются, не разсуждая, спасти раненаго...

Анисья, заплаканная, мочила ей водой голову и заставляла пить молоко, перепуганная. — Знать бы — лучше и не говорить вовсе!

— Не смѣйте Вадиму говорить — слышите? Скажи нянѣ! Пусть на глаза не показывается... Начнетъ хныкать...

— Да какъ это вы пойдете туда, барышня? — Ой, не ходите вы къ нимъ! Погодите — видать будетъ.

IX.

Саррочка не спускалась внизъ изъ своей комнаты во второй этажъ.

Раиса Моисеевна и тетя Розалія сидятъ, какъ обыкновенно, за чайнымъ столомъ на террасѣ.

...Никто не смѣетъ сказать, что онѣ такъ разстроились, чтобы перевернуть весь порядокъ жизни. Ну, мало ли какія исторіи случаются у молодежи! У Саррочки такъ много жениховъ... Пожалуй, и жизни не хватитъ, если все принимать близко къ сердцу.

Раиса Моисеевна разсуждаетъ такъ громко, что даже на улицѣ слышно. И ни одна нота не убыла въ ея властномъ голосѣ.

Танечка Горлецакая и полчаса не побыва — убѣжала черезъ дворъ. Дамы замѣтили только, когда промелькнуло мимо рѣшотки знакомое сѣренькое полотняное платье.

Сильнѣе раскраснѣлись впалыя щеки Розаліи, и часто часто мигаютъ ея блестящіе глаза — ихъ точно магнитомъ притягиваетъ величественная фигура Раисы Моисеевны, — даже позы не перемѣнила за цѣлое утро.

Робертъ вчера уѣхалъ въ городъ съ послѣднимъ поѣздомъ; вернуться долженъ къ обѣду, кое съ кѣмъ изъ родныхъ.

Робертъ уменъ, его лишнее было предупреждать, чтобы пока лучше не проговорился никому, но какъ-то невольно мать все-таки сказала, на всякій случай...

Робертъ блеснулъ глазами и кинулъ повелительно:

— Ты, можетъ быть, скажешь мнѣ, почему такъ нужно?

...Ну, можетъ быть, еще не надо сватовства для того, чтобы у нихъ былъ полонъ столъ гостей къ обѣду!

Робертъ первый и угадалъ. Это онъ перехватилъ Саррочку, когда она летѣла, какъ вѣтеръ, изъ липовой аллеи, а въ калитку ускользала высокая фигура Горлецакаго.

Попавъ въ объятія Роберта, Саррочка смѣялась и плакала, и цѣловала его, умоляя никому ни слова не сказать...

Какъ будто нужно еще говорить что-нибудь!

Но Саррочка все-таки настояла на своемъ, сдѣлала секретъ.

Гости могли только догадываться, отчего это Раиса Моисеевна сегодня такъ необыкновенно подвижна и разговорчива и привѣтлива — настоящая радушная королева!

А Саррочка пѣла еврейскія пѣсни и русскіе романсы, и играла въ четыре руки съ кузеномъ Яковомъ, и танцевала вальсъ съ Исаакомъ Зономъ. И она только смѣялась, когда всякій непременно спрашивалъ у нея: почему сегодня нѣтъ у нихъ ея друзей?

— Развѣ?.. Мы вѣдь всегда вмѣстѣ—даже и не замѣчаешь!

Доктора Сивучева не было, и Саррочка рада: ужъ Сивучевъ ни за что не спустилъ бы ей ея загадокъ. А ей такъ весело быть загадочной! Такъ сладко нести въ груди тайну...

Сначала она была увѣрена, что Вадимъ и Таня придутъ вечеромъ,—но какъ-то разомъ опомнилась: конечно, конечно же, онъ не можетъ явиться въ этотъ глупый сумбуръ!..

И молодая хозяйка засіяла еще ослѣпительнѣе безъ затаенной тревоги ожиданія. Ужъ такъ и быть, она обойдется безъ нихъ на сегодняшній вечеръ и, Богъ дастъ, не умретъ со скуки!..

Она была полна какой-то особенной снисходительной нѣжности ко всѣмъ этимъ близкимъ, любящимъ ее людямъ... но которые не могутъ любить ея счастья! И хотѣлось, чтобы они не знали. Пусть ихъ нѣжное вниманіе не будетъ отравлено горечью, и мрачной подозрительностью, и... завистью.

Пусть себѣ Яковъ нашептываетъ ей невинныя глупости, а Зонъ точно повисъ на ней своими печальными глазами... Всѣ—милые, свои съ дѣтства, никто не отрекся отъ нея, оттого что ее оторвали отъ нихъ...

Пусть всѣ, всѣ любятъ, восхищаются... Саррочка не хотѣла ничего грустнаго. Она хотѣла жить одна со своей тайной среди привычныхъ улыбокъ и ласковыхъ словъ.

Но рано бы кончился тотъ веселый вечеръ и совсѣмъ не такъ онъ кончился бы, какъ начался, еслибъ скромная маленькая тѣтя Розалія не взяла мужественно на себя большого поступка: въ продолженіе цѣлаго ужина Розалія проносила въ своемъ карманѣ конвертъ, который тянулъ ее къ землѣ, какъ свинцовый слитокъ...

Она только чаще обыкновеннаго выбѣгала изъ столовой по хозяйству, а подъ конецъ и совсѣмъ такъ больше не показывалась.

Можетъ быть, кто-нибудь изъ всѣхъ этихъ гостей замѣчаетъ, тутъ или нѣтъ старая Розалія?

Послѣдніе гости уходили, не попрощавшись съ Саррочкой: она такъ утомилась, что ее увели наверхъ сейчасъ послѣ ужина.

— Ахъ, это правда, правда — ваша Саррочка слишкомъ утомляется! Не бережетъ себя.

— Нельзя веселиться зимой, и веселиться весной, и веселиться лѣтомъ. Лѣтомъ доктора велѣть немножко скучать.

— А можетъ быть... какая-нибудь важная причина? Нельзя знать!.. — рискнулъ намекнуть кто-то.

Ранса Монсеевна стояла въ дверяхъ высокаго вестибюля, съ расходящейся двумя крыльями лѣстницей и съ зеркальнымъ фонаремъ подъѣзда, гордостью красной дачи. Стояла нарядная, величественная и благосклонная — настоящая радушная королева. Она не знала, что ждетъ ее, когда дверь затворится за послѣднимъ гостемъ...

Къ рѣшетѣ сада подошелъ знакомый разносчикъ. Ранса Монсеевна позвала его въ садъ, чтобы взять десертъ къ обѣду. Она всегда любитъ сама покупать фрукты.

Парадный обѣдъ на небольшое общество. Можетъ быть, нужно было позвать повара и отменить обѣдъ, оттого что молодой со-сѣдъ не придетъ сегодня? Дастъ Богъ, Робертъ привезетъ изъ города довольно гостей, чтобы скушать хорошій обѣдъ.

Рано утромъ Розалія и Хаса въ столовой перетирали парадный французскій сервизъ и хрусталь.

Ранса Монсеевна шла по ступенькамъ террасы, такъ гордо откинувъ красивую голову — точно несла не вазу съ фруктами, а корону для своей дочери.

— Надо бы больше клубники взять, Ранса, — можетъ быть, Саррочка скушаетъ передъ завтракомъ, — сказала Розалія.

— Оставь въ покоѣ Сарру! — сказала сурово мать.

— Ты сама знаешь, что фрукты освѣжаютъ нервы. Я отнесу наверхъ, — наставляла упрямо тетка и стала отбирать на блюдечко самыя крупныя ягоды.

И тонкія смуглыя руки, унизанныя драгоценными кольцами, оставили ее дѣлать, какъ она хочетъ...

Розалія украдкой видала взглядъ на тонкій профиль съ сжатыми губами.

...Неужели Ранса не сознаетъ, какъ сама она виновата въ горѣ своей дочери? Сами, сами виноваты — вѣрили этой свадьбѣ, гордились!

...Ну, чтожъ! когда дѣло сдѣлано — такъ оно уже сдѣлано. Все равно, Саррочка не можетъ быть женой ихъ умницы Якова, или Исаака Зона, или брата его, который скоро пріѣдетъ изъ Англіи. Объ этомъ раньше надо было подумать тому человѣку,

когда онъ взялъ на свою совѣсть судьбу дѣтей. А имени этого человѣка Розалія никогда не произносить въ мысляхъ своихъ.

...Но посмѣлъ ли кто-нибудь въ лицо обвинять того человѣка? Ого! нѣтъ, никто не посмѣлъ. Онъ былъ очень богатый и очень властный человѣкъ, онъ себя дѣлалъ все, какъ онъ хотѣлъ. И Ранса тогда и подумать не смѣла говорить противъ него. И что ему было оттого, что какая-то ничтожная нищая тетка Розалія ушла изъ дома и терпѣла всякую нужду, но никогда не взяла его денегъ? Не видала больше ненавистнаго лица и вернулась только послѣ его смерти, когда могла ужъ на старости лѣтъ отдохнуть подъ кровомъ родной своей сестры.

Но и послѣ того, не одинъ разъ, Розалія готова была покинуть родной кровъ—ей ничего не значить еще разъ отказаться сладко ѣсть и мягко спать, не думая о завтрашнемъ днѣ; только терпѣть напрасныхъ обвиненій она не можетъ.

...Никогда она не вѣрила въ возможность этой свадьбы, ни одной минуточки не вѣрила! А почему она должна была вѣрить? Вѣдь она никогда не была богаткой, какъ Ранса, золото и брилліанты не ослѣпили ея глазъ. Богатый человѣкъ живетъ въ своемъ прекрасномъ домѣ и можетъ забывать, еврей ли онъ, или другой кто: и русскіе, и нѣмцы, и всякіе важные гости весело пируютъ за его столомъ, и онъ себя хозяинъ. А бѣднякъ ищетъ свой кусокъ хлѣба, онъ уже знаетъ, сколько дверей закрывалось передъ нимъ, оттого только, что онъ родился евреемъ.

Но если иной разъ Розалія пыталась сослаться на свой жизненный опытъ—не дай, Боже, какъ ей попадало за это! Ранса горячая, несправедливая женщина. Она знаетъ, какъ тетка обожаетъ Саррочку, и что неспособна она спрашивать съ невинныхъ дѣтей за поступокъ ихъ отца, но въ минуту задѣтой гордости Ранса ничего не помнить. На весь міръ готова кричать, что фанатичка-тетка мститъ дѣтямъ, не хочетъ для нихъ возможнаго счастья: пусть лучше не будетъ имъ никакой судьбы.

И Розалія не одинъ разъ ушла бы—еслибъ не Саррочка. Ангелъ дѣвочка всякій разъ упроситъ, умолитъ, зацѣлуетъ своими атласными губками. Нѣтъ силъ покинуть ее!..

Розалія не злопамятна. Она отбирала клубнику и не напоминала Рансѣ—вотъ же теперь все какъ разъ такъ и случилось, какъ она боялась!

...Кто этого не знаетъ? Молодежь хочетъ веселиться и не разбираетъ, когда устраиваютъ роскошные праздники, кормятъ дорогими ужинами. Только поманите—всѣ прибѣгутъ! Кто же за Саррочкой не ухаживаетъ, коли она вездѣ первая красавица и

разодѣта точно принцесса какая-нибудь? Князья да графы могутъ на нее заглядываться — такъ и это тоже все женихи будутъ? Нѣтъ, свой разумъ каждый человѣкъ долженъ помнить.

Только теперь ужъ нѣтъ пользы этого сказать, досады прибавлять людямъ! Всякій хотѣлъ бы, чтобы лучше не была его правда, если изъ всѣхъ плановъ ничего не вышло, кромѣ бѣды.

Развѣ и раньше Розалія не была права?

Ротблаты жили себѣ какъ хотѣли, все пышнѣе, да выше забирались, чтобы ничѣмъ не отличаться отъ самаго лучшаго общества. Или, можетъ быть, всѣ эти знакомства были нужны Якову Ротблатъ въ его дѣлахъ? Да сохрани Богъ! денегъ не сосчитать, сколько разсорили на приемы, только и всего!..

Далекое и настоящее, свое и чужое, переплетается сплошнымъ узоромъ въ памяти Розаліи, всегда стоявшей въ сторонѣ отъ пышной жизни дома, со своими издавними завѣтами и несокрушимыми сомнѣніями.

Сынъ брата Боруха, Яковъ, до всякаго ласковый, хотъ онъ и получилъ свою золотую медаль, и красивый, Богъ съ нимъ, какъ красивъ весь родъ Генделя, — какъ не бываетъ красивъ ни одинъ изъ тѣхъ жениховъ, — Яковъ Гендель, вотъ кто долженъ былъ получить Саррочку, еслибъ не замутился разумъ гордаго человѣка...

Х.

Саррочка вскочила и такъ наступательно двинулась навстрѣчу тетѣ, что та невольно попятилась.

— Ягодожъ... первая клубника! сама отобрала, дѣтка моя... Покушай на здоровье! Фрукты на нервы полезны — это самый лучшій докторъ... профессоръ.

Пронзительный взоръ боязливо прикасается лица дѣвушки, голосъ молящій, виноватый голосъ обожающихъ женщинъ: не умѣли онѣ, не умѣли оградить свое сокровище отъ горя и обиды! а развѣ онѣ не готовы каждую минуту отдать за нее свою жизнь?..

Дѣвушка отвернула голову и вмѣсто гнѣвнаго упрека уронила тихо:

— Не хочется.

— Ангелъ мой! развѣ ужъ трудно проглотить только вотъ такую ягоду? Погляди сюда... хотъ погляди своими глазами! Или ты скупала за кофе чего-нибудь? Ничего, ничего со вчерашняго дня во рту не имѣла... Или тебѣ больной хочется быть? Пускай всѣ люди видятъ...

— Довольно ужъ, Розалія, довольно! Оставь меня.

Блестящія кудри раздѣлены тонкой линіей пробора надъ низкимъ лбомъ, точно рѣзная черная рамка сжала матовый овалъ, забѣгая фестонами на нѣжныя щеки. Длинный разрѣзъ прозрачныхъ синихъ глазъ съ блестящими рѣсницами и губы розовыя, выпуклыя, прячутъ ровные, какъ бусинки, бѣлые зубы, и самая маленькая горбинка выточенного носика, какого нѣтъ ни у какой королевы—великій Богъ! развѣ не всякому хотѣлось бы день и ночь любоваться на такую чудную красоту?! А маленькія ножки и ручки, точно у ребеночка! А плечи бѣлыя, какъ цвѣты жасмина! Волосы не длинные, а густые же! Не знаетъ никто, какъ ихъ мудрено упрятать въ модную прическу.

Розалія каждое утро помогаетъ Саррочкѣ причесываться и всегда твердитъ при этомъ, что Саррочка—такая же удивительная красавица, какъ та знаменитая итальянка, чьи портреты продаются во всѣхъ лавочкахъ.

Сегодня утромъ Розалія не причесывала Саррочку; но теперь она стояла у стола, и въ глазахъ ея сіяло то же восторженное поклоненіе; пусть накажетъ ее Богъ, если дѣвушка не стала еще красивѣе съ этимъ мрачнымъ взоромъ, съ гордымъ, какъ у королевы, блѣднымъ личикомъ!

Тетя Розалія вдругъ хлопнула рукой по столу, а другую съ угрозою подняла въ воздухъ.

— Такіе глаза гасить слезами?.. Нѣтъ, пусть раньше Господь отниметъ разумъ! Пускай возьмутъ отъ насъ этого чело-вѣка, за котораго ужъ теперь надо слезы лить! Или, можетъ быть, важному жениху стоитъ только повернуться и сейчасъ найдетъ другую такую же?! Какъ разъ на свѣтѣ сколько хочешь барышень, красавицъ, образованныхъ и богатыхъ, имъ не нужно лучше какого-то студента...

— Розалія!

— У нихъ тамъ въ большой дачѣ, видно, денегъ некуда дѣвать? То самое какъ-разъ рассказывалъ старикъ Зонъ про векселя Горлецаго!

— Ты замолчишь, Роза?

— Погоди только убиваться! Побереги свою красоту, если тебѣ такъ ужъ хочется для себя такого...

— Замолчи!! Слышишь, что я тебѣ... велю?!—задышалась Саррочка, безъ голоса, чтобы перекричать этотъ надорванный, пронзительный крикъ.

Она дрожала и судорожно рвала на груди нѣжныя складки розоваго батиста.

...Опять, опять терзаютъ! Нѣтъ силъ! Всѣ силы истрачены на то, чтобы его сестра ушла отъ нея, не увидавъ ни одной ея слезы...

...Подъ обрушившейся лавиной оскорбленій не шевельнется въ ея сердцѣ ничего прежняго. Погребено ея сердце... подъ лавиной погребено... Столкнули они... они...

...Какъ любила, любила всѣхъ!.. Домъ и самыя стѣны комнаты, гдѣ такъ уютно и радостно... Не роскошно, не такъ богато, но нѣтъ всѣхъ угловъ вѣетъ покоемъ и свободой, не нависла вѣчная черная туча...

...Да, правда! старая Роза говорила, что не къ добру она полюбила чужой домъ. Любила больше, чѣмъ старинныхъ друзей своей семьи—это правда! За это расплата.

Ушла Тania Горлепкая, отворачивая глаза, зажимая уши, чтобы не слышать того, что она говорила, и вся дрожала, какъ дрожить теперь она... Мало! не довольно сказала! Развѣ возможно высказать все?!—рѣку выперпачать руками!..

— Ты такая?! ты такая?! О! я вѣдь не знала никогда, что ты совсѣмъ чужая!—твердила въ ужасѣ Тania. Одни эти слова твердила.

— Да! я чужая, чужая!..

Швырнула слова—и ничего не почувствовала. Засмѣялась въ лицо—Богъ помогъ засмѣяться.

Она убѣжала, не прощаясь, не останавливаясь. Изъ жизни Саррочки убѣжала—исчезла!

Она, она заставила убѣжать своимъ презрѣніемъ къ ихъ лицемѣрной добротѣ: на показъ, когда это ничего не стоитъ! Просвѣщенные понятія—пока насъ не касается! Господа Найдено-Горлепкіе ведутъ свой родъ отъ Александра Невского, а ея родъ еще неизмѣримо древнѣе,—можетъ быть, отъ царя Давида! Когда еще и самихъ народовъ этихъ не существовало, которые попираютъ ногами... Варвары, у нихъ взявшіе своего Бога, чтобы его именемъ мучить и гнать!.. изъ вѣка въ вѣкъ... изъ вѣка въ вѣкъ...

— Зачѣмъ пожаловала такая нѣжная барышня? Крадучись въ чужой домъ не пробирается—это пришелъ съ добромъ! Можетъ быть, имъ еще не довольно твоихъ слезъ, твоего стыда?!

— Ты меня уморить рѣшила, Роза?! Я лучше ядъ проглочу! Лучше ядовитыхъ словъ...

Старуха вдругъ страстно всплеснула руками.

— Сарра, Сарра!.. Неужели ты не понимаешь, какъ мучается твоя мать?! Она не сумѣетъ даже говорить съ тобой... Мы же не знаемъ ничего, зачѣмъ приходила сестра!

— Нечего вамъ знать! Это мое дѣло—не мучьте еще и вы меня!

Розалія грозно придвинулась къ ней.

— Что-о такое?!.. Твоей матери ужъ и дѣла нѣтъ? Хорошихъ понятій ты набралась у своихъ друзей! Въ русскихъ семействахъ чуть не по душѣ что-нибудь—и разбѣгаются въ разныя стороны, какъ чужіе...

— Да! оттого что они умнѣ насъ, умнѣ... Смѣлѣ насъ! Каждый для себя живетъ... Кто понесетъ за меня мое горе, кто?? И два вѣка жить вы съ мамой не будете! Все равно бросите меня одну—не будетъ васъ вѣчно, чтобы меня утѣшать и хвалить. Мы другъ друга полюбили, не смущаясь, кто еврей, кто русскій...

Но Розалія не могла дать докончить.

— Саррочка, глупенькая дѣтка моя, дѣвочка моя!—точно молить старуха:—еслибы не разбирали, кто еврей, кто русскій, тогда какъ могли бы разлучить васъ? Ну, какая такая рѣдкость, что молоденькій мальчикъ влюбился въ такую красоту?.. А защитить тебя сумѣетъ ли онъ?! Броситъ ли для тебя свою семью? А развѣ и хорошо, если броситъ,—развѣ Богъ не накажетъ за это? Тебя накажетъ!

— Ты просто съ ума сошла! Развѣ я, я допущу это?!—крикнула Саррочка, вся выпрямляясь. — Я захочу изъ милости нима ихъ взять?! Ты, значить, думаешь, Розалія, что у меня нѣтъ никакой своей гордости? Что взгляну на нихъ послѣ этого!

Слезы радостнаго умиленія хлынули по ввалившимся старымъ щекамъ.

— Такъ за что же, за что ты насъ обвиняешь,—мать свою обвиняешь! Развѣ не готова была его полюбить для тебя, какъ родного...

— Ахъ, неправда, неправда! Никого не полюбить какъ своего—ложь это! Я не боюсь, Роза,—зачѣмъ мнѣ надо притворяться? Развѣ не все кончено, навсегда кончено? Ну, да, чужой—конечно, чужой! А кто для меня не чужой? Ты, можетъ быть, это знаешь?!

Дѣвушка скрестила руки на груди и надвигалась, отгѣсняя ее къ двери.

— Ну, ну... оставь, пожалуйста, комедію, Сарра...

— Моя жизнь вся будетъ только комедія!—крикнула она отчаянно.—Кто же не чужіе, а свои? Кто мои женихи? Яковъ, можетъ быть? или твой любимецъ, Исаакъ?.. Зачѣмъ всегда бояться, Роза! Развѣ легче оттого, что всѣ знаютъ и молчатъ?!

Но вдругъ, точно выросла маленькая, худенькая Роза, согнутая тяжелыми мыслями и горькими чувствами, что надо такъ нести черезъ всю жизнь, безъ отдыха, безъ отрады. Голосъ заколебался низкой грудной дрожью неумирающихъ чувствъ, неугасимыхъ понятій.

— Кого, кого упрекаешь, несчастное дитя?! Или мать твою, или я, можетъ быть, виноваты въ вашей судьбѣ? Позови изъ могилы того человѣка, — пусть онъ дастъ отвѣтъ! „Настрадался ужъ самъ довольно, пускай мои дѣти живутъ какъ люди“. Ого! у него одного дѣти! Хорошій конецъ, чтобы всѣ такъ дѣлали!

Сарра мрачно слушаетъ, съ страннымъ, больнымъ наслажденіемъ слушаетъ. О чемъ молчать, молчать всегда! Отчего вся ея жизнь исковеркана... да развѣ можно еще и говорить объ этомъ!.

А старая Роза говоритъ! Снова рассказываетъ, какъ она ушла изъ дому и десять лѣтъ не видалась со своей единственной сестрой, и не брала ни гроша изъ его богатства.

— Только тебѣ вѣдь онъ отецъ, Сарра, — ты не судья своему отцу, ты не можешь судить его волю — помнишь ли ты это? Помнишь ли заповѣдь, Сарра? Никто не понимаетъ своей судьбы... Богъ знаетъ, зачѣмъ посылаетъ человѣка: иди туда или оставайся здѣсь. Какъ могутъ люди знать?

Легче стало Саррочѣ: мстительнымъ крикомъ выплеснулась горечь, сдавившая сердце, до того, что нельзя нести его въ груди... Каменное сердце!

Всѣ передъ нею виноваты — всѣ виноваты! Но, Господи, зачѣмъ же она кричитъ на бѣдную Розу, такую слабую, безпомощную и такую сильную! Она одна не покорилась, не простила... Молча и просто сдѣлала свой большой подвигъ вѣрности — терпѣла ради своего Бога. А развѣ не любила свою сестру и ея дѣтей больше всего на свѣтѣ?..

— Тетя Розалія, я одной тебѣ завидую! одной тебѣ! — выговорила Саррочка, задыхаясь отъ волненія.

...Виноватые — тамъ, въ большомъ домѣ. О! всѣ, всѣ до единого! Виноваты каждый, кто входитъ въ тотъ домъ, и кто рядомъ живетъ, въ сосѣднемъ домѣ. Во всѣхъ домахъ громаднаго города. Во всѣхъ городахъ, большихъ и маленькихъ, и въ каждой послѣдней деревнѣ необъятной страны...

Точно загорается ужасомъ мозгъ, когда Сарра силится представить себѣ всю необъятность земли, и потоки живыхъ миллионовъ, гдѣ каждая капля — человѣкъ — врагъ! Врагъ для горсточекъ бездомныхъ странниковъ...

...Нѣтъ! не всѣ враги—есть друзья, искренніе друзья, есть справедливые, благородные люди.

...Есть? Ихъ дочь не влюбилась въ еврея! Ихъ сынъ не хочетъ жениться на еврейкѣ...

Но сама, сама она,—развѣ она не предпочла бы, чтобъ онъ былъ свой?.. Онъ все бы зналъ въ жизни, чего нельзя даже рассказать,—все бы понималъ одинаково, какъ она сама. Развѣ кто-нибудь можетъ не желать этого?!

...О! въ этотъ мигъ хочется, одного: не жить. Исчезнуть. Въ одинъ часъ на всѣхъ концахъ міра—вмѣстѣ всѣмъ, у кого одна неотвратимая судьба,—кто бы ты ни былъ, какъ бы ты себя ни обманывалъ!.. Пробылъ часъ—и не стало въ мірѣ ни одного еврея. Это—мы: мы, которые старше васъ всѣхъ, мы, въ комъ живетъ стонъ вѣковъ—мы уходимъ! Бросаемъ вамъ въ лицо жизнь нашу, такъ же рожденную землею, какъ и всякая жизнь—такъ же данную намъ на радость и вами превращенную въ проклятіе. Возьмите ее! Живите нашими жизнями,—онѣ мѣшали вамъ! Возьмите жидовское золото,—вы его считаете похищеннымъ у васъ—о, да, золото вы возьмете! съ радостью возьмете, будете прыгаться изъ-за него другъ съ другомъ!..

Придетъ конецъ нечеловѣческому страданію: горсть обреченныхъ, гонимая человѣчествомъ, для кого разумъ, сердце, совесть, стыдъ, страхъ,—все мѣняется, все другое!..

И это—Твои избранники, Всемогуцій?? Это—благословеніе Твое на нихъ?..

А иной Богъ—Милость и Любовь! Чтò Онъ сдѣлалъ, чтобы отратить??

Но все терпѣли, брели кровавымъ путемъ, вѣрили Тебѣ и ждали. Проходили мимо открытой двери, гдѣ забвеніе и награда:—Забудь.

— Нѣтъ, нѣтъ! Мимо иду. Несу въ душѣ Тебя, мой Всемогуцій Судія, и не смѣю не донести до конца...

Холодъ побѣждалъ въ рукахъ, въ ногахъ, точно вся кровь выливается по застывающимъ жиламъ.

Еслибъ въ эту минуту явился Тотъ, Кто держитъ жизнь и смерть въ своей рукѣ—она до земли склонилась бы и смежила глаза:—Возьми!..

Развѣ страшна смерть? Страшнѣе ли проклятой жизни?!

Тихо. Что-то необязтное, ослѣпительное проносится надъ землей, въ лазури далекихъ небесъ. Свѣтъ въ вышинѣ, куда не достигаешь взоръ. По лицу струятся сладкія слезы... О! пусть не проходитъ мигъ оторванности отъ жизни, мигъ безболѣзненного сліянія съ вѣчнымъ Свѣтомъ.

XI.

— Пусть спитъ дорогая дѣтка, тревожить не надо, — шепчетъ старая тетка и, не дыша, выбирается изъ комнаты.

Какъ два угля, горятъ въ глубинѣ темныхъ впадинъ пронзительные глаза; сильно и часто стучитъ сердце, точно оно сдѣлалось огромное въ сухой старческой груди. Сердце Розы хотѣло бы возвѣстить на весь міръ чудесную вѣсть: *они ничего не могли сдѣлать дѣтушкѣ*. Наша осталась она, наша! И даже страданія юнаго обожаемаго существа не въ силахъ заглушить торжества, переполнившего ее радостной гордостью.

Только не съ кѣмъ старой Розѣ похвастаться своимъ торжествомъ. Не пойдетъ она на террасу, гдѣ ждетъ Райса... Затѣмъ она пойдетъ туда? Пусть уже довольно расплаты всякому, кто въ ослѣпленіи земныхъ соблазновъ пошелъ противъ Бога — настигаетъ персть карающей на ложѣ изъ золота и серебра...

Розалія услыхъ на площадкѣ лѣстницы, около окошка, гдѣ по утрамъ Хася чиститъ маленькіе свѣтлые Саррочкины башмачки и гдѣ отнюдь не полагается сидѣть господамъ. Здѣсь она дождется того, съ кѣмъ въ эту минуту можетъ говорить: онъ пойметъ ее.

Розалія ждала не долго. Вотъ извозчикъ остановился у дачи, — вотъ еще одинъ, — вотъ третій. Вотъ летитъ къ ней гулъ шаговъ и голосовъ, звонкій голосъ Райсы, чей-то смѣхъ...

Прислуга забѣгала. Кто-то крикнулъ: „Розалія Моисеевна!“

Все ея существо слилось въ одно страстное ожиданіе: не много вѣдь у нея времени! Сейчасъ Хася забѣгаетъ по всему дому, найдетъ вездѣ.

...Вотъ онъ, бѣжить! По звуку быстро скользящихъ шаговъ Роза поняла, что Робертъ *не знаетъ*. Не при гостяхъ же мать могла говорить ему! Или Райса не сумѣетъ принять гостей такъ, что ни одинъ человѣкъ не замѣтитъ, что дѣлается у нея въ сердцѣ?

Робертъ бѣжалъ по ступенькамъ, размахивая свѣтлой шляпой, и откинулся назадъ отъ неожиданности, когда надъ перилами всплыла голова и зашипѣлъ шопотъ Розы:

— Тш... тш!.. не разбуди только мнѣ Саррочку!..

Что-то незримое и огромное ввело ихъ, какъ хозяинъ, за собою, въ нарядный кабинетъ Роберта, и заслонило зеркальныя окна, раскрытыя на цвѣтникъ.

— Сарра? Что же такое? Почему Сарра спит?

Но Роза ищетъ словъ... небывалыхъ словъ! Темное лицо разгладилось, взоръ смягчился и засіялъ.

— Роба! ты не долженъ принимать къ сердцу, какъ мать и она... вѣдь ты никогда не любилъ этихъ людей! О! я всегда, всегда знала, Роба. Ты, мальчикъ, не могъ понимать, отчего твое сердце отворачивается отъ нихъ.

— Ну, ну? что же все это значить?! Брось свои разсужденія, Роза, это несносно!—крикнулъ, краснѣя, Робертъ.

— Не будетъ свадьбы этой,—не будетъ!!..

И сразу—ничего больше не стало слышно. Только дыханіе того, что ихъ ввело въ эту комнату.

Юноша поблѣднѣлъ и такъ же мгновенно побагровѣлъ. Прекрасные глаза, глаза Саррочки, только не синіе, а каріе, не томные, а пламенные—хотятъ испепелить мучительницу Розу.

— Горлецовъ? Кто здѣсь былъ?..

— Сама, сама прислала Саррочкѣ письмо! Роба, говорю тебѣ: я увидѣла, я не рошщу больше. Люди слѣпые! не видимъ, куда насъ ведетъ Онъ черезъ слезы и горести,—не видимъ, что къ спасенію нашему ведетъ!

— Ну, конечно! у тебя спасеніе и всегда въ слезахъ да горестяхъ!—разсмѣялся мучительно Робертъ:—оно сейчасъ и видно по тебѣ, сколько счастья! Ахъ, Роза, Роза, Роза!

Онъ вдругъ сѣлъ, точно сломился, схватилъ обѣими руками голову и закачался изъ стороны въ сторону, и заскрипѣлъ зубами—точно сейчасъ искрошилъ ихъ вдребезги.

— Богу ничего не стоитъ разбить въ пыль то, что человѣкъ строитъ, хоть бы всю свою жизнь строилъ!—начала торжественно головой Роза:—одинъ человѣкъ завелъ другого человѣка въ темный лѣсъ. А въ лѣсу набросился дикій звѣрь на него... Человѣкъ побѣжалъ отъ звѣря, смерть свою вспомнилъ—а самъ, ничего не разбирая, набѣжалъ на настоящую дорогу—прочь изъ лѣса.—Кто это сдѣлалъ по-твоему, Роба? Кто послалъ звѣря, чтобы указать путь?..

Робертъ хохоталъ, хлопая по ковру носками желтыхъ ботинокъ.

— Погоди, погоди, Роза! Вотъ я соберусь съ деньгами и напечатаю маленькую книжечку твоихъ притчъ—непремѣнно напечатаю! Зачѣмъ пропадать таланту?—Теперь мода на всякія чудеса и вѣщанія—ты еще прославишься у насъ!..

— Ну, можетъ быть, тебѣ легче, когда ты смѣешься надъ старухой. Мнѣ такъ все равно, мальчикъ. Богъ мнѣ не поставитъ этого въ грѣхъ.

— Да, да, мнѣ ужасно весело надъ тобой смѣяться, когда я... я... я бы своими руками передошлѣ всѣхъ низкихъ лицемѣровъ! А ты—свою чепуху про лѣсъ, про Бога—вѣдь я же еще ничего не знаю, какъ было съ Саррой!—Больна—очень больна? да?

— Нѣтъ, спаси Богъ, зачѣмъ это говорить!—Тебѣ я скажу, Роба,—я не имѣла, кому это сказать!—Твоя мать—Богъ съ ней, никто не говоритъ, что она это сдѣлала... Я не сужу ее: она была вѣрная, послушная жена, она не могла удержать руку, поднятую на грѣхъ. Я это не для васъ говорю...

Робертъ со смѣхомъ поднялся на ноги.

— Ну, само собою—не для насъ! А вонъ, Роза, воробьи подслушиваютъ на карнизѣ—видишь? Ну, ну! ты тоже должна когда-нибудь согрѣшить, не то вѣдь тебя возьмутъ отъ насъ живую на небо, какъ Исаяю... Ахъ, развѣ мнѣ надо дурачиться съ тобой сегодня! Когда принесли письмо? Былъ здѣсь Вадимъ? Что? А-а-а! такъ онъ не былъ, г-нъ Горлецкій!—онъ не былъ!..

Робертъ виѣ себя бѣгалъ по комнатѣ.

Къ чорту навезъ цѣлую кучу гостей! Отчего не могли прислать ему депешу въ городъ? Что теперь съ ними дѣлать? Мать, мать—ей бы матерью Маккавеевъ быть!—Пойти сейчасъ, потребовать отчета... Отчего нельзя?!

— Роза, не знаешь ли ты, отчего всѣ люди—трусы? Храбры офицеры—потому что у нихъ сабля привѣшена, а у другихъ—только тросточка. А вотъ, я пойду и скандалъ устрою въ благородномъ семействѣ такой... такой... Чего я боюсь?! Вотъ, желалъ бы я знать, чего мнѣ бояться!

Роза слѣдила за его прыжками.

— Ахъ, что ты, что ты, Роба, мальчикъ мой умный!—Чему это поможетъ?!

— Ого! уже поможетъ! Чрезвычайно какъ помогаетъ, милая тетушка! Не повадно будетъ... ты не знаешь такой ихъ пословицы, Роза!

— Скандалъ будетъ твоей сестрѣ, Робертъ, нашей несчастной Саррочкѣ. Или, можетъ быть, нужно, чтобы всѣ кричали про то, какъ Найдено-Горлецкіе оттолкнули твою сестру?

Робертъ засунулъ руки въ карманы и близко подскочилъ къ ней.

— А... а... а! Главное, мы любимъ, чтобы не кричали, да? Пускай намъ надавали пощечинъ: тш!.. тш!.. только не шумѣть!.. Не видалъ никто? Ну, слава Богу—до слѣдующаго раза! Вотъ, вотъ какъ это у васъ!

— Успокойся, Робертъ!..

— Я, тетушка, сейчас успокоюсь, какъ только начну дѣйствовать. Читала ты письмо?

— Сарра разорвала письмо, на мелконькіе кусочки изорвала. „Вотъ, кричите, чтобы вы у меня не спрашивали! видите? Письма нѣтъ у меня“.

Робертъ походилъ молча, что-то соображая.

— А длинное было письмо, ты не знаешь?

Не длинное, потому что Роза видѣла своими глазами двѣ пустыя страницы.

— Пойду теперь къ Саррѣ—довольно ей спать!

Старуха бинулась ему наперерѣвъ.

— Сохрани, Боже! Кто тебѣ это позволить, Робертъ! Не уснула, на глазахъ, цѣлую ночь. Утромъ та прибѣгала... еще ее мучить!

— Таня!?

Старуха сложила руки на груди.

— Роба! мальчикъ дорогой... подумай немножко спокойно... Такъ лучше... сразу всѣ корни вырвать! Говорю тебѣ: я вижу что-нибудь такое—вотъ, мнѣ уже больше не страшно за нашу Сарру! Каждого младенца можно окунуть въ воду—развѣ трудно? или, можетъ быть, дитя будетъ сопротивляться чему? Только душа—о! она себѣ остается—какая была! душа подастъ свой голосъ, когда придетъ бѣда. Веселятся съ чужими, мальчикъ, а въ горѣ—только свои. Душа своихъ найдетъ.

На губахъ Роберта дрожала ядовитая усмѣшка.

— Милая тетушка Розалія, вамъ остается только пожелать и мнѣ того же: хорошенькую порцію горя—для того, чтобы—не правда ли?—подстеречь, какъ душа будетъ искать *своихъ*.

...Ахъ, нѣтъ, съ этимъ мальчикомъ лучше не заводить важнаго разговора! Сама сдѣлаешься точно вся въ синякахъ отъ его шутокъ.

Неожиданно онъ остановился передъ нею и сказалъ серьезно:

— Роза! мать и Сарру нужно выпроводить за-границу какъ можно скорѣе. Тогда мы съ Яшей попробуемъ—можетъ быть, намъ удастся прострѣлить лобъ „Александра Невского“. Ты не знаешь, вѣдь Саррочкинъ герой—вылитый Александръ Невскій!

Въ ожиданіи обѣда, на террасѣ пили чай. Въ залѣ Исаакъ Зонъ играетъ въ шахматы съ дядей Генделемъ, а Яковъ стоитъ за его стуломъ и слѣдитъ за игрой отца.

Старикъ Гендель говоритъ, что онъ—игрокъ „второй категоріи“ и всегда, когда только пожелаетъ, можетъ принять участіе въ шахматномъ турнирѣ.

У Исаака горятъ уши отъ колеблющейся надежды словить игрока второй категоріи.

Робертъ незамѣтно присоединился къ обществу и издали всматривался въ мать. Теперь онъ что-то улавливаетъ въ улыбающемся лицѣ...

Лицо не блѣдное, а напротивъ, темное, какъ бываетъ въ жару болѣзни; кусаетъ сохнуція губы, щуритъ глаза—но не вмѣстѣ, а поочереды, одинъ за другимъ... Бѣдная мама!

Изабелла Гендель съ увлеченіемъ перечисляетъ (который ужъ это разъ?), какое роскошное приданое они дали за старшей дочерью, недавно выданной замужъ въ Берлинѣ. Въ эту минуту описывалась шестая дюжина цвѣтного столоваго бѣлья.

Красивая Нетти сидитъ рядомъ съ скучающимъ лицомъ и поглядываетъ черезъ открытую дверь на несносную шахматную партію... Папаша думаетъ только о собственномъ удовольствіи!

Исаакъ на вечерахъ ухаживалъ за Нетти, въ пикъ Саррочей, съ тѣхъ поръ какъ поле состязанія все очевидно же оставалось за ничтожнымъ студентомъ Горлецкимъ.

Въ саду, на балконной площадкѣ двѣ подружки Саррочки по гимназін разговариваютъ со студентомъ о музыкѣ.

Яковъ подошелъ къ Роберту.

— Что съ ней?

— Не знаю, спитъ. Здѣсь мухи дохнутъ со скуки! Вотъ что, Яша: не сдумѣешь ли ты подать идею... обратныхъ билетовъ! а? Только самъ оставайся, — мы потомъ потолкуемъ у меня.

— Роба, я угадалъ?

— Ничего пока самъ не понимаю!—А блондиночка недурна, правда?

— Прекрасная скрипочка. Твоя идея, братъ, потерпѣть фіаско: мамаша расхваливаетъ вашего повара. Ну, все-таки надо попытаться.

— Да, прошу тебя. Боюсь, что у матери сильная мигрень. Нельзя ли предложить пообѣдать въ вокзалѣ?

— Н-н-н... слишкомъ мало кавалеровъ, кусается!—засмѣялся Яковъ.

— Но я тоже, разумѣется, съ вами!.. Или вотъ сейчасъ пришло въ голову: не пустить ли пробный шаръ въ видѣ доктора?

Яковъ кивнулъ одобительно головой и вернулся къ шахматамъ, поймавъ изъ-за двери взглядъ Нетти.

Робертъ подошелъ къ креслу матери и осторожно опустилъ руку на ея плечо. Сейчасъ же плечо дрогнуло, и она тревожно оглянулась на него.

Рука еще успокоительно нажала, а въ красивыхъ глазахъ мелькнули привычныя лукавыя искорки.

— Мама, не пугайся, — она спитъ. Только я все-таки хотѣлъ бы видѣть Мозера — зачѣмъ Саррѣ такъ долго спать? — Это скучно!

— Ну, да, и я то же говорю! Здоровый человѣкъ спать ночью, — комары, слава Богу, есть вездѣ. Отчего, не понимаю, вы давно не послали за Мозеромъ? — заволновалась ворчливо Изабелла.

— А для чего, собственно, всѣхъ насъ привезли сюда? не знаетъ ли этого кузенъ Робертъ? — воскликнула капризно хорошенькая Нетти.

— Прелестная кузина! я, безспорно, самый остроумный человѣкъ въ Петербургѣ, — но я не обладаю даромъ ясновидѣнія. Ясновидцы не бываютъ остроумны, они мрачны.

— Мама! мы еще можемъ вернуться домой къ обѣду. Тетя Раиса хочетъ быть съ Саррой, а не возиться съ гостями.

— Но, Нетти, вѣдь я не фокусникъ, чтобы приготовить тебѣ обѣдъ за пять минутъ! — разсердилась окончательно Изабелла.

— Тогда мы можемъ поѣхать обѣдать съ мужчинами. Это будетъ очень весело! Скажите, Исаакъ Ароновичъ, гдѣ вы обѣдаете съ Яшей, когда мы его напрасно ждемъ до семи часовъ?

Хорошо, еслибъ всѣ революціи на свѣтѣ разыгрывались такъ гладко, какъ маленький планъ Роберта. Черезъ десять минутъ гости уже толпились въ вестибюль, и никто не придавалъ значенія сопротивленію хозяйки, увѣрявшей, что ея мигрень наконецъ пройдетъ послѣ обѣда.

Только Изабелла не могла скрыть своего негодованія: кто слышалъ когда-нибудь, чтобы гостей пригласили на дачу и потомъ выпроводили на обѣдъ, какъ сами знаютъ?

— Успокойся, мама, — счетъ мы заставимъ заплатить баломута Роберта, мы не такъ просты! — шутилъ Яковъ, подавая ей стеклянскую наливку.

Озабоченно спѣшили къ поѣзду только музыкальныя барышни со своимъ кавалеромъ.

— Ну, пусть ужъ не такъ бѣгутъ эти бѣдныя барышни, — мы не заставимъ ихъ кавалера показать, какой у него бумажникъ... ха, ха! — разсмѣялся добродушно старикъ Гендель.

Онъ былъ доволенъ, что уходитъ изъ неприятнаго мѣста, гдѣ чуть-чуть не получилъ мать отъ мальчишки, который еще ни разу не былъ въ шахматномъ клубѣ. Даже крахмаленный воротникъ смякъ отъ этой проклятой партіи.

Гендель пыхтѣлъ и все повторялъ:

— Какой пріятный воздухъ!

ХІІ.

— А-а-а! Владиміръ Кирилловичъ! Счастливая звѣзда моряка посылаетъ васъ въ эту минуту! Домой? Да, пора, пора... Но, все-таки, не присядемъ ли на скамеечку на пять минутъ?

— Добрый день!—всегда радъ, любезный докторъ. Однако, не вѣрнѣ ли будетъ отправиться виѣстѣ завтракать? Адмиральскій часъ.

— Да, да!.. Только, видите ли,—не знаю, какъ сегодня насчетъ завтрака?.. Я именно рассчитываю отъ васъ узнать.

Они проникательно взглядывали другъ на друга, нерѣшительные по серединѣ дорожки. По тропинкѣ черезъ лужайку удалялась фигура садовника, нагруженная доспѣхами ученаго мужа.

Владиміръ Кирилловичъ привыкъ завтракать въ этотъ часъ, и для того, чтобы успѣть отдохнуть часокъ, а потомъ все жаркое время до обѣда проработать у себя въ кабинетъ—нельзя отступать отъ установленнаго расписанія.

Сивучевъ несъ фуражку въ рукѣ и то-и-дѣло проводилъ другой рукой по густой щеткѣ волосъ.

...Точно вязнешь, вязнешь съ каждымъ тягучимъ словомъ...

Однако, неизбежность чего-то, нарушающаго теченіе жизни, все же пробивается сквозь малодушныя попытки отстоять свой покой; Малаховъ бросилъ унылый взглядъ на скамейку и сдѣлалъ нерѣшительный поворотъ.

— Ну, что же... пожалуй присядемъ. Вы не съ поѣзда?

Открытый озабоченный взоръ встрѣтился съ его утомленными глазами.

— Сейчасъ меня не приняли въ обѣихъ дачахъ. Нездоровы дамы. Я не состою врачомъ Ротблатъ, а Софья Кирилловна выслала Анисью извиниться. Событія, очевидно, наступаютъ!

— Да... какъ вамъ сказать?..—меланхолически развелъ руками Малаховъ.

Морякъ рѣзко разсмѣялся.

— Шла въ мѣшкѣ не утайшь, чего ужъ тамъ, батюшка! Михаила Михайловича я встрѣтилъ въ городѣ — онъ, повидимому, внѣ событий?

— Да, да... какъ разъ тогда онъ уѣхалъ, — роняетъ падающій голосъ: — Я говорю, это была ошибка, молодежь всегда необдуманна.

Въ серьезномъ смугломъ лицѣ другого что-то точно переливалось, еще сдерживаемое...

— Едва-ли это существенно. Софья Кирилловна заболѣла, полагаю, не отъ неожиданности?

— То-есть... какъ вамъ сказать? — при этомъ, развелъ онъ еще разъ свои бѣлыя пухлыя руки.

Докторъ рѣзко повернулся на скамейкѣ.

— Какъ хотите, есть вещи предрѣшенныя. Я не защищаю предразсудковъ, вы можете думать. Я только констатирую.

— Ну, не впервые же въ эту минуту вы констатируете? — вырвался голосъ, котораго не выпускали раньше.

Сивучевъ вскочилъ, покружился по дорожкѣ и сѣлъ на то же мѣсто, старательно засовывая обѣ руки между стиснутыхъ коленъ.

„Странно — солидный человѣкъ и такая несдержанность!“ — подумалъ непріязненно Малаховъ.

— Меня, долженъ сказать, ничуть не удивляетъ... определенный кругъ понятій Найдено-Горлецевыхъ! Но всякій найдетъ непозволительнымъ — прямо ни съ чѣмъ несообразнымъ — весь этотъ легкомысленный образъ поведенія... За что, за что, Бога ради, такая жестокость?

Руки вырвались въ разныя стороны, и фуражка слетѣла съ головы. Сивучевъ поймалъ ее налету и ожесточенно натянулъ съ затылка до самаго лба, передѣленного полосой загара.

— Можетъ быть, здѣсь вѣрнѣе будетъ видѣть доказательство недалковидности, — прискорбной недалковидности, я не оправдываю. Стараясь вникать. Ослѣпленіе привычки — дѣти вмѣстѣ растутъ...

— А расплата за ослѣпленіе? А расплата за недалковидность?.. Цѣликомъ на чужой счетъ?! Такъ-съ? Если превыше всего дворянскія традиции — чистота крови и всяческая галиматья — такъ не угодно ли охранять ихъ своевременно! О чемъ люди думали? Что это — дѣти?! Кто сегодня видѣлъ Сарру Яковлевну? Конечно, Татьяна Михайловна. Дайте мнѣ, Бога ради, увидѣть Татьяну Михайловну!

Малаховъ поднялся на ноги, весь налитый холодомъ недо-

вольства. Такъ нельзя вести разговоръ, это не лучше, чѣмъ съ женщинами.

— Пойдемте къ намъ, вы ее увидите, — сказалъ голосъ, который никогда больше не зазвучитъ для Сивучева спокойнымъ довѣріемъ симпатій.

Отъ такихъ людей — подальше. Владиміръ Кирилловичъ памятливъ на непріятныя впечатлѣнія: использовать рѣдкіе случаи, когда жизнь вплотную натывается на его незрячую фигуру. Уроками обязательно дорожить.

Они тронулись рядомъ по дорожкѣ къ выходу изъ парка. Все дрожало въ Сивучевѣ отъ возмущенія:

„Глубокой психологъ! Твоя ученая голова и не расчухаетъ, что не изображено чернымъ по бѣлому! На кой прахъ твое благородство понятій — для книгъ!“

Но вѣдь онъ еще ничего не уяснилъ себѣ фактически! Дѣлать нечего, пришлось настроить голосъ и найти слова.

— Ничего не могу вамъ сообщить. Мальчикъ признался матери... Однако, вѣдь и тамъ тоже взрослые люди? Должно быть понятно, что студентъ третьяго курса обладаетъ совершеннѣйшемъ не болѣе какъ юридическимъ. Этого еще далеко не достаточно для самостоятельной жизни.

— Стало быть, предложеніе сдѣлано и принято! Иначе какъ понимать? Вѣдь въ остальномъ не было надобности признаваться! Но тогда что же случилось у Ротблатъ? Я вамъ докладываю: Сарра Яковлевна заболѣла.

Малаховъ приостановился, наморщивъ лобъ.

— Да... это странно! Гм... едва-ли Вадимъ сдался такъ легко? Всячески — не раньше объясненія съ отцомъ...

— Совершенно ясно, что произошло еще нѣчто, чего вы не знаете!

И точно неизвестное ихъ притягивало — они непроизвольно ускоряли шаги. Вдругъ у доктора вырвалось радостно:

— А вотъ и она сама!!..

Малаховъ никого не различалъ въ смутномъ движеніи человѣческихъ силуэтовъ на аллеѣ, заворачивающей къ вокзалу; но докторъ напряженно слѣдилъ глазами за далекимъ блѣднымъ пятнышкомъ.

Да, это была Тани.

Она шла стремительно, размахивая закрытымъ зонтикомъ, какъ несется, не видя, человѣкъ, погоняемый душевной бурей. Она налетѣла на нихъ — и за нѣсколько шаговъ запнулась, въ нелѣпомъ движеніи летѣть обратно...

По обѣимъ сторонамъ, какъ непроницаемыя стѣны, разстилаются неприкосновенные газоны парка.

— Откуда вы?!—бросила она доктору, глядя и не глядя разбѣгающимися красными глазами.

Вся трепещущая, съ покрытымъ пятнами лицомъ и искажающимися вспухшими губами.

...Золотая барышня! нѣтъ добрая фея!

Дядя Володя тоже глубоко пораженъ.

Можетъ быть, ему случалось видѣть подобную степень человеческого возбужденія въ то время, когда онъ еще посѣщалъ драматическій театръ. Теперь онъ не посѣщаетъ театровъ, такъ какъ не можетъ признать новой драматической школы: это не школа, а истерика.

Дѣвочка, вотъ, вотъ, разрыдается посреди парка, гдѣ все прибывало публики...

— De grâse... on ne perd pas la tête à ce point...—лепеталъ онъ, какъ всегда, по-французски въ минуты волненія—и потоптался вокругъ нея, смутно сознавая свой долгъ что-то предпринять.

Но, вотъ, онъ видитъ съ облегченіемъ, какъ Сивучевъ взялъ Таню подъ руку и быстрымъ шагомъ повелъ ее къ скамейкѣ.

„Дѣйствительно... онъ же докторъ!“—вспомнилъ Малаховъ.

Докторъ обернулся и крикнулъ:

— Отправляйтесь-ка завтракать, Владиміръ Кирилловичъ! Мы явимся черезъ четверть часа...

Конечно, это было самое благоразумное...

...Нѣтъ, нѣтъ! именно Сивучева Таня не хотѣла видѣть въ эту минуту.

...Она только-что слушала ужасы, какіе говорилъ Вадимъ, по ужъ не могла почувствовать ничего сильнѣе, чѣмъ было тамъ—въ комнатѣ Сарры! Однимъ ударомъ вышибли изъ ея души, что жило тамъ съ дѣтства, что ей было дороже всего, всего... И вотъ—одни осколки, среди которыхъ она барахтается и больно ранитъ себя...

— Сарра чужая! Сарра чужая, мы не знали! Мы ошибались—я ошибалась!—твердила она въ ужасѣ Вадиму, не находя другихъ словъ.

Онъ лихорадочно смѣялся: — Чужая!.. да, да, понятно, что значить! значить — что она гордая, они всѣ гордые. Мы не можемъ унижить, хоть и воображаемъ... себя, себя только унижаемъ, а не ихъ! А ты это сейчасъ только почувствовала? Тоже другъ называется!..

— Нѣтъ, не гордость, я не про то... Чужая, чужая!.. — мучилась Таня.

Вадимъ подскочилъ и сталъ въ бѣшенствѣ трести ее за плечи.

— Не тверди, какъ попугай: „чужая“! Что это значить?!..

— Она насъ не понимаетъ... не хочетъ... не можетъ, — я не знаю! Насъ, насъ съ тобой, Вадимъ—не ихъ! Развѣ я требую для нихъ?—Мы!.. намъ не вѣрить... Боже мой!—развѣ мы виноваты?! Она все смѣшала въ одно... Она меня выгнала!..

Да, она произнесла эти слова. А Вадимъ началъ хохотать, какъ безумный. Отлично, онъ очень радъ! Теперь, по крайней мѣрѣ, Таня научится чувствовать, *каково имѣ!*

— Я не умѣла чувствовать!?—воскликнула она.

— Никто! Никогда—никто. Но я-то самъ,—я!..

Онъ вѣкъ себя метался по комнатахъ, билъ себя кулакомъ въ лобъ.

— Когда пуля прошибетъ дурацкій лобъ, только тогда она повѣритъ! Не можетъ повѣрить раньше!

Они убили любовь...

Сейчасъ Таня вспомнила: Вадимъ сказалъ „пуля“?.. Но и это тутъ же сплыло куда-то.

Сивучевъ тихо, бережно проситъ рассказать ему въ двухъ словахъ — только чтобы онъ могъ понять, что именно произошло.

...Но какъ рассказать?.. Случилось ужасное: Саррочка понесла оскорбленіе за ея любовь! — но теперь Таня знаетъ, что это—не самое страшное. Развѣ не часто бываетъ, что родители мѣшają, отрекаются, хотъ проклинаютъ, но не могутъ побѣдить истинной любви? Боже мой, зачѣмъ Сарра позволила разрушить однимъ словомъ?!.. Развѣ виноватъ Вадимъ въ письмѣ матери?..

...Нѣтъ! въ томъ вѣдь и ужасъ, что виноватъ и Вадимъ! Всѣ,—каждый хотъ въ чемъ-нибудь виноватъ...

Таня не знаетъ про себя, въ чемъ именно ея вина. Но еслибъ не было никакой, ни тѣни, она не чувствовала бы себя отброшенной отъ Сарры вмѣстѣ со всѣми... туда, гдѣ всѣ!.. Она бы надѣялась. Она бы не знала навѣрное, что все навсегда погибло: Сарра не проститъ...

И вотъ тутъ—все чужое, непонятное. Ея любовь никто не могъ бы убить. На мѣстѣ Саррочки, она страдала бы за любимого человѣка больше, чѣмъ за себя,—она бы поняла ужасъ его положенія... Она бы не измѣнила дружбѣ...

Она любила Саррочку нѣжнѣе, чѣмъ любятъ сестру. Любила со страстностью исключительныхъ, красивыхъ привязанностей—за что приходится страдать. И въ душѣ—пустота... огромное что-то изъ нея вырвано!..

И Таня растерянно мучается за себя и за Вадима. Точно навсегда она уже не можетъ больше стоять отдѣльно отъ другихъ въ этомъ страшномъ вопросѣ: людей не такихъ, какъ всѣ...

За нею Таня даже думать не можетъ: мысли путаются. И ей кажется... Вадимъ не все, не до конца понимаетъ еще! Какъ онъ держится на ногахъ, говоритъ какія-то слова, хочетъ разобратъ?.. Онъ не свалился въ горячкѣ, не сошелъ съ ума...

...Сарра стоитъ, прижавшись спиною къ стѣнѣ, стиснувъ руки на груди. Плающіе глаза пригвоздили Таню къ полу, какъ она ступила въ комнату.

Не возражала, не защищалась. Она захлебывалась, тонула въ налетѣвшемъ на нее непримиримомъ, отчуждающемъ голосѣ.

Увидала другого, новаго человѣка, покоя не знала до этой минуты. Танѣ кажется, что навсегда она будетъ помнить только эти минуты: минуты суда!.. Каждое слово Сарры распинало ее, разоблачало...

— Вы мнѣ не довѣряете, Татьяна Михайловна?

Ласковое тепло проникаетъ изъ его руки въ ея холодные пальцы.

— „Это Сивучевъ... Онъ хорошій“, — думаетъ вяло Таня. Все равно что онъ хорошій...

Но блеснула мысль—и Таня отодвинулась такъ неожиданно, что рука выскользнула; она скрестила руки на груди и впиалась въ него своими мрачными глазами.

— Ну... а вы, Алексѣй Алексѣевичъ?..

Сивучевъ искоса кинулъ взглядъ и выпрямился.

— Что вы спрашиваете?

И Танѣ ужъ страшно... Страшно коснуться своей боли и чужой!.. Но боль притягиваетъ, какъ бездна.

— Я вамъ скажу... Отчего во мнѣ стыдъ, точно жестокость сдѣлала я, а не другіе! Вы понимаете — это мѣшаетъ!.. это между нами!.. Еслибъ во мнѣ не было... она бы не могла... от... оттолкнуть...

Она заплакала, прижимая руки къ лицу.

— Стыдъ—всѣмъ!—сказалъ нервно Сивучевъ:—живешь и забываешь, что рядомъ живетъ человѣконенавистничество... терпимъ всѣ! Пусть стыдно, не надо бороться съ этимъ чувствомъ.

Да, вы правы, — мѣшаетъ... Мѣшаетъ то, что стыдъ *долженъ быть*.

Таня вдругъ почувствовала его такъ близко, близко... И точно противъ воли выговорила:

— А вы женились бы на ней?..

Что-то твердое, задумчивое лилось изъ его лица на нее, какъ тепло. Сивучевъ не сразу посмотрѣлъ на нее. Вздохнулъ и взглянулъ.

— Я вѣдь всегда зналъ, что она въ вашего брата влюблена...

— Ахъ, совсѣмъ не въ этомъ вопросъ!

Онъ засмѣялся.

— Вопросъ въ этомъ!

— Нѣтъ... я не про то...

— Ну, не знаю, про что другое, — не далъ онъ ей сказать: — Еслибъ Роза Сарона влюбилась въ меня... — онъ махнулъ рукой: — эхъ, не толкуйте лучше, милая барышня, чего вы не можете понимать!

— Вы бы тогда женились?..

Сивучевъ мгновенно поблѣднѣлъ.

— А вы зачѣмъ унижаете свою Сарочку?!..

Таня схватилась обѣими руками за голову и начала рыдать, сразу изъ всѣхъ силъ, какъ дѣти.

— Что же это?! Теперь оскорбленіе — все, все! Каждая мысль...

Таня рыдала. Сивучевъ сидѣлъ неподвижно, согнувъ спину и засунувъ руки между колѣнъ. Черезъ нѣсколько минутъ сказалъ беззвучно.

— Будетъ, выплакались. Изъ худого не сдѣлаешь хорошаго. Вопросъ не въ насъ, барышня. Извѣстно ли вамъ, что Сарра Яковлевна больна?

Таня качнула отрицательно головой.

— Она не больна. Она какъ желѣзная, какъ гранитная. Я бы хотѣла лучше... лучше — пусть бы она была больна!

Таня опять заплакала.

Сивучевъ взялъ ее подъ-руку и повелъ домой.

Шелъ и думалъ:

...„Вотъ чудная дѣвушка: милая, сердечная, простая и прелестная! Косы-то косы, — золото червонное! И все на своемъ мѣстѣ, какъ надо быть. Эти губки съумѣютъ сладко цѣловать. Да, да... раньше бы, что ли?“

Прошли еще нѣсколько шаговъ:

...„Тамъ чувство, какъ блуждающій огонекъ, — дунули и погасло. Пользы все равно никому... Счастливо оставаться честной компаніи! — въ плаваніе пора, братъ Алеша“...

Таню потребовали въ столовую. Придя домой, она просила Сивучева сказать имъ, что она не будетъ завтракать; но сейчас же явилась Анисья и объявила съ порога:

— Папаша приказали, чтобы вы, барышня, сейчасъ пришли.

Вокругъ стола Софья Кирилловна, отецъ, дядя Володя и Сивучевъ встрѣтили дѣвушку по разному — выразительными взглядами.

— Для начала не ду-рно! — протянулъ Горлецкій, оглянувъ ее съ головы до ногъ и небрежно подставивъ для поцѣлуя руку.

Кто-то двинулъ стуломъ. Кто-то судорожно черезъ носъ втянулъ воздухъ. Папа сорвался съ своего мѣста, чтобы подставить Танѣ стулъ; на мигъ она встрѣтилась съ испуганными влажными карими глазами.

...„И этотъ такой же, какъ они“, — подумала холодно Тania.

— Садитесь, Татьяна Михайловна. Узнать изъ первоисточника, такъ сказать, въ чемъ, собственно, заключается платформа жизни, выработанная вами и Вадимомъ?

Она машинально опустилась на стулъ.

— Добрѣйшій Михаилъ Михайловичъ, — заговорилъ Малаховъ, старательно прочищая горло, — но Горлецкій прекратилъ жестомъ его рѣчь и шумно подтянулъ свой стулъ ближе къ столу.

— Позвольте теперь, Владиміръ Кирилловичъ! Пусть намъ разъяснятъ, какъ именно это представляется нашимъ дѣтямъ. Обязаны мы — я и Софья Кирилловна — по первому требованію, открыть свой домъ всѣмъ этимъ... этимъ „дузе вазнымъ“ банкирамъ, маклерамъ, факторамъ, ростовщикамъ, старьевщикамъ — и какая тамъ еще вся эта публика великолѣпной вдовы Ротблатъ! Такъ, Татьяна Михайловна? Или, можетъ быть, вы предполагаете, что возможна сортировка? Напримѣръ: банкира Зона и ученаго кузена Генделя принимать — а его папашу, извѣстнаго подрядчика и продувную шельму, какъ мнѣ извѣстно достоверно — оставить за дверью? Госпожа Ротблатъ выписываетъ туалеты изъ Парижа? Чрезвычайно утѣшительно. Ну, а родная тетушка въ атласномъ парикѣ? Ха, ха! Вы, можетъ быть, за-

ручились обязательствомъ Сарры Яковлевны навѣки отречься отъ всей ея родни?—Ха, ха!—какъ ихъ отецъ рассчитывалъ вывести изъ еврейства этимъ смѣшнымъ лютеранствомъ. Разумѣется, мечталъ—почему бы „мондрому“ Роберту и не быть когда-нибудь министромъ? Ха, ха!—Это, доложу я вамъ, мечтатели! Ничто же сумняшася—въ двадцатомъ вѣкѣ реставрація Палестины, Іерусалима, храма Соломона... Ха, ха!—вплоть до прадѣдушки Авраама!—ха-ха-ха-ха!..

И неожиданно для себя самого, потокомъ собственныхъ словъ, Горлецкій вовлекся въ неудержимый безобидный смѣхъ. Потребовалось даже вытащить платокъ, чтобы просушить пенсне.

— Къ чему весь этотъ вздоръ, я не понимаю! — раздался сейчасъ же рѣзкій окрикъ жены:—Палестина—Соломонъ—какое мнѣ дѣло?.. Очень рада!—Слава Богу!—Пусть все это будетъ!— Но жена моего сына должна быть намъ своя, а не чужая — этого измѣнить ничто не можетъ. И любви никто не отрицаетъ. Но, позвольте спросить,—отчего этотъ бракъ никогда и никому не приходилъ въ голову?..

Она только теперь повернулась въ сторону дочери.

— Почему сама ты никогда не обмолвилась?.. Богъ мой! то, о чемъ мечтаешь... молодежь!.. такъ естественно срывается съ языка... Хотя бы намекъ когда-нибудь! чтобы могъ быть разрушенъ въ-время этотъ гипнозъ ея красоты... да, да—гипнозъ!.. Никто изъ насъ, надѣюсь, не забылъ, какъ относился прежде самъ Вадимъ? Онъ ослѣпленъ, влюбленъ, потерялъ голову — ну, а когда этотъ дурманъ разсѣется? Кровныя антипатіи всегда...

Таня рѣзо поднялась съ мѣста, заглушая ея слова.

— Я могу уйти! Я не хочу слушать оскорбленій и издѣвательства... Я ждала — зачѣмъ меня позвали сюда?.. Папа! Я давно знаю, какъ смѣются надъ еврейскимъ выговоромъ и надъ старушечьими париками... И что евреямъ въ Россіи доступны немногія профессіи... и школы!.. и могутъ быть ростовщики, подрядчики и бушцы,—а не можетъ быть профессоровъ, чиновниковъ и офицеровъ. Я не знаю... о чемъ вы говорите?.. Какъ вы можете теперь... всѣ эти... пошлости!..

Таня отбросила стулъ, отвела протянутыя къ ней руки дяди Володи и бросилась изъ комнаты среди тяжелаго молчанія.

Сейчасъ же поднялся и Сивучевъ.

— Я тоже извиняюсь,—не опоздать бы на поѣздъ. Мое почтеніе, Софья Кирилловна. Да, да, Михаилъ Михайловичъ... эти приемы борьбы пора признать устарѣвшими! Шаржъ изъ еврей-

скаго быта для молодежи не убедителенъ. Будьте здоровы, Владимиръ Кирилловичъ.

Смутный конфузъ... Но Горлецкий вовсе не желалъ ощущать конфуза.

— Ха! Еще бы! Сидѣлъ, какъ на угольяхъ! — подмигнувъ онъ значительно, въ спину доктору: — Морская эмансипація!.. приобрѣтаютъ себѣ покупкою хорошенькихъ японочекъ, креоловъ, дикарочекъ, — весьма соблазнительно! И вполне обезпеченно: благоприобрѣтенная родня не сунется на корабль... ха, ха! Не штука!

Софья Кирилловна переглянулась съ братомъ. Можно ли быть неудачнѣе, чѣмъ глава семьи, какъ разъ сегодня? Точно нарочно! Неподдѣльно легковѣсное высказываетъ само собой поверхъ дипломатическаго замысла, какимъ онъ разсчитывалъ сразить безпринципную требовательность молодежи.

— А вотъ теперь мы увидимъ, рѣшится ли симпатичный мореходъ, такъ сказать, реабилитировать предметъ своего поклоненія? Чего проще! — *la donna e mobile*, еврейскія красавицы, какъ извѣстно, не грѣшатъ романтизмомъ...

— Пощади же, наконецъ, Михаилъ Михайловичъ! Для кого это шутовство? — взмолилась жена.

А Малаховъ тоже отставляетъ свой стулъ.

— Кстати ужъ... я тоже долженъ спросить: зачѣмъ было нужно перевернуть весь мой привычный складъ жизни? Я рѣшительно недоумѣваю. Софи, извини, милая, но съ какой же, наконецъ, цѣлью? Чувствую себя — долженъ сознаться — хуже нельзя. Какая-то совершенно нелѣпая роль...

— Володя!? Боже мой! Что такое еще!

Но нѣтъ, онъ хочетъ, наконецъ, сбросить съ души въ высшей степени тягостный гнетъ чужого недомыслия — онъ не позволяетъ помѣшать.

— Странно было бы думать, что я могу быть солидаренъ съ подобными взглядами! На красавицъ-дѣвушекъ нельзя жениться, оттого что какая-то тетушка носить парикъ... Еврейскій парикъ, какъ извѣстно — религиозный обычай. Не обрядъ, а обычай — это надо, разумѣется, различать. Аналогично этому и русской крестьянкѣ расплетаютъ „дѣвичью косу“ на двѣ косы и надѣваютъ повойникъ. Всѣ народные обычаи въ корнѣ своемъ одинаковы: или всѣ они почтенны — или всѣ смѣшны. Тутъ совершенно не можетъ быть мѣста для точки зрѣнія націоналистической...

Ну, да, дядя Володя не сумѣлъ уйти изъ этой столовой съ

краткой и сильной отповѣдью, какъ сдѣлала Таня, гонимая пыломъ молодого возмущенія. Онъ этого не умѣлъ—и онъ видѣлъ, какъ въ устремленныхъ на него выпѣвшихъ глазахъ Горлецаго мелькали искорки насмѣшки.

— Обычай? Но, почтеннѣйшій Владиміръ Кирилловичъ, вѣдь у нѣкоторыхъ породъ двуногихъ и сейчасъ еще существуетъ, если не ошибаюсь, обычай кушать себѣ подобныхъ, дабы не прокармливать даромъ стариковъ! Не все, что старо—почтенно. Повойникъ русской молодежи нелѣпъ, скрываетъ лучшее украшеніе женской красоты,—однако, тутъ та коренная разница, что его можно послать къ чорту въ каждую интересную минуту! Тогда какъ подъ еврейскимъ парикомъ—бррр!

— Да перестаньте же, наконецъ! Что это, Боже мой!—кричала уже истерически Горлецакая:—Что тутъ доказывать?! И безъ париковъ каждый знаетъ, что еврейскія красавицы въ тридцать лѣтъ дѣлаются тяжеловѣсными скучными матронами. Мать и сейчасъ красивая женщина, если хотите! Сарра будетъ такая же—она на семь мѣсяцевъ старше Вадима! Увлеченіе проходитъ скоро...

— Только не тогда, когда изъ естественнаго увлеченія юности сдѣлали борьбу!—произнесъ у двери торжественно Маляховъ.

И сердце ея мгновенно сжалось болью: спорять—вздоръ говорить—а гдѣ Вадимъ?!

— Куда, не понимаю, Вадимъ могъ дѣваться съ самаго утра!

Горлецкій, насупившись, раскуривалъ сигару. Разумѣется, глупѣйшій споръ, крикъ...

— Это я долженъ спросить: гдѣ изволить быть Вадимъ Михайловичъ? Не грѣхъ бы показать глаза отцу, послѣ такого сюрприза.

XIII.

Сивучевъ замедлилъ шаги, проходя мимо красной дачи. Пожалуй, теперь его бы и приняли?.. Есть тамъ кто-нибудь? Но тутъ же ясно почувствовалось: слишкомъ опасный способъ насытить свое любопытство.

— „Домъ—проходной дворъ!“—вспомнилось ему восклицаніе одного изъ гостей несомнѣнно корректной и гостепріимной Раисы Моисеевны,—гостя, только-что поужинавшего до отвала и проглядѣвшего всѣ глаза на нарядныхъ, красивыхъ барышень.

Pourquoi pas?—вѣдь онъ не женихъ для этихъ барышень!

Это чувствовалось во всемъ. Молодежь держитъ себя въ домѣ мальчишески непринужденно, чѣмъ и создается духъ какого-то особеннаго веселья. Всѣ влюблены — но никто ничѣмъ не обязанъ. Влюблены русскіе, влюблены евреи.

— „Чья же ты, Роза Сарона?“ — поднимается въ груди горечь... упрекъ...

„А вы бы женились?“ — дерзаетъ наивный изстрадавшійся голосокъ.

Бѣдненькая, прозрачная какъ лѣсной ручеекъ, русская душа! Для нея эта поэтическая дружба никогда уже не будетъ тѣмъ, чѣмъ была до сихъ поръ. Останутся навсегда рубцы нежданныхъ царапинъ.

— Алексѣй Алексѣвичъ!.. докторъ Сивучевъ!..

Онъ судорожно оглянулся, провѣряя себя: да—Робертъ—зовутъ! Жуткое ощущеніе пронизало съ головы до ногъ. Въ немъ все сжалось.

— Вы, докторъ, спѣшите на поѣздъ? могу я съ вами? Вамъ необходимо на ближайшій? Впрочемъ, я тоже смогу взять этотъ поѣздъ—идемте!

Сивучевъ сразу схватилъ рѣзкую перемену: — то, что Робертъ блѣденъ, измученъ—это не рѣдкость; простота въ немъ, искренность—вотъ чего раньше никогда не было.

Точно актеръ превосходно игралъ большую роль—и вдругъ повернулся и сказалъ кому-то простое *свое* слово.

Докторъ Сивучевъ раздѣлялъ антипатію большинства русскихъ къ Роберту. Онъ утомлялъ, забивалъ своимъ язвительнымъ остроуміемъ, этимъ напряженнымъ неизмѣннымъ оживленіемъ, подъ которымъ не чувствуется настоящаго дружелюбія.

Но, вотъ, онъ идетъ рядомъ устало и медленно проводить платкомъ по блѣдному лбу, и глядитъ передъ собой озабоченными глазами... И молчить.

Тянуло сказать что-нибудь ласковое... И остановила непрощенная опасливость: подожди, что отъ него будетъ.

...Спросить про сестру онъ долженъ! Но имя застреваетъ въ горлѣ... Почему онъ знаетъ, какимъ звукомъ ея имя можетъ у него вырваться въ эту минуту...

Шаги ихъ слабо скрипѣли на сухомъ пескѣ.

— Докторъ! я васъ удивлю, по всей вѣроятности... Могли бы вы согласиться присутствовать на дуэли? — сказалъ отчетливо тихій и быстрый голосъ.

Робертъ бросилъ взглядъ изъ-подъ бровей въ обѣ стороны и только тогда посмотрѣлъ на своего спутника.

Сивучевъ подпрыгнулъ отъ внезапной остановки на всемъ ходу.

„Отчего, отчего никому не пришло это въ голову!? Такая простая вещь не пришла! Вѣдь не мальчишья... И даже Таня“...

Но онъ спохватился, что задерживаетъ отвѣтъ; можетъ быть принято за колебаніе.

— Никогда и ни въ какомъ случаѣ—принципіальное нѣтъ!—кинулъ онъ со всей силой: — Дикій предрасудокъ, не лучше еврейскаго вопроса. Вы это не довольно продумали, юноша!

Юноша изогнулся всѣмъ тѣломъ, поднимая съ земли какую-то вѣточку, и уже обычный саркастическій голосъ сказалъ:

— Развѣ нужно такъ много словъ, чтобы отказать? Какъ вы думаете—слышно насъ на той скамейкѣ? Вѣдь это, кажется, madame Воховская? Каюсь, вашего отвѣта я не сумѣлъ отгадать: только за васъ я не поручился бы... Теперь мы связаны профессиональной тайной... Не правда ли, докторъ?

— Шутите-съ! Профессиональная тайна врача не предусматриваетъ предумышленнаго убійства!—отрѣзалъ морякъ, сердито краснѣя.

— Тогда просто—джентльмена?

— А ужъ это, полагаю, опредѣляется личнымъ кодексомъ: признаешь или не признаешь право вмѣшательства.

— Однако, докторъ,—какъ же это приежете понимать?!—воскликнулъ Робертъ уже съ откровенной тревогой.

...Пыль и прахъ!.. Если самъ докторъ знаетъ, какъ посоветовать ему это понимать!

Но вдругъ прокралась простая мысль:

...„Горлецовъ вызова не приметъ“.

— А вы совершенно увѣрены... — началъ было Сивучевъ, но и еще что-то успѣло уже перевернуться въ его умѣ,—и онъ закончилъ иронически:—Ужъ коли вызывать, такъ старика Горлецоваго по прямому адресу. Да вы представляете ли себѣ истинное положеніе Вадима?

— Представляю себѣ, смѣю думать, долгъ благороднаго человѣка. Счастливаго пути, докторъ. Этотъ разговоръ вамъ могъ легко присниться во снѣ, не такъ ли?

— Позвольте! вы идете пригласить другого врача?

Тонкое лицо беззвучно смѣется.

— Къ своимъ, къ своимъ иду, докторъ. Такъ и быть, на сегодня ужъ простите... вольность психологическихъ изысканій! Смягчающія вину обстоятельства—по меньшей мѣрѣ: вѣдь вотъ, вы тоже были увлечены моей сестрой—ну, такъ, слегка, допу-

стимъ! — а и васъ поражаетъ, что ея братъ реагируетъ на оскорбленіе, нанесенное ей, — одинаково, какъ братъ всякой русской дѣвушки. Непріятно поражаетъ! Не отрицайте. Для каждаго еврея оскорбленіе — вещь предрѣшенная! Могутъ кушать какъ знаютъ. Стоить ли поднимать шумъ? Счастливо оставаться, докторъ.

„Вотъ вамъ и Робертъ! Острословіе своимъ чередомъ и всякіе тамъ „изломы“ — а чуть затронули ихъ кровное, всё поднимаются, какъ одинъ человѣкъ. Вотъ, вотъ въ чемъ сила! Не такъ-то просто оторвать отъ нихъ хоть одного! Благочестивый господинъ пасторъ въ бѣлой баветкѣ самъ по себѣ — а Роза Сарона цвѣтетъ для каждаго во всей неприкосновенности. Ну, нѣтъ, господа истинно русскіе! одними звѣриными инстинктами не побѣждается братство духа, и вѣковая культура, и закаленная воля!“

Рѣшительно, докторъ Сивучевъ чувствовалъ что-то близко-схожее съ восхищеніемъ, — какъ-то по новому обнимающимъ плѣнительный образъ...

Минутъ десять спустя, докторъ сидѣлъ въ паркѣ, на скамейкѣ и вздыхалъ; точно онъ пробуетъ обрушившуюся тяжесть — нельзя ли сбросить ее съ себя и укатить на поѣздъ.

...Невозможно! надо во что бы то ни стало предупредить. Недаромъ у Горлецкихъ ему дано прозвище — „нашъ общій другъ“... Гдѣ Вадимъ?! Въ городѣ? Но не уклоняется же онъ отъ объясненія съ отцомъ!

...Можетъ быть, какъ разъ въ это время онъ вернулся домой?..

...Возможно, что вызовъ уже состоялся. Онъ занятъ сейчасъ именно этимъ.

Всѣ возможности сразу кружатся, то прячась, то высываясь, — словно играютъ въ кошку-мышку съ докторомъ Сивучевымъ, который какъ-то не поберегся и попалъ въ молодой хороводъ.

...Было еще что-то?..

— „Вы тоже были увлечены моей сестрой“...

Ага! — уже позволяетъ себѣ дерзкую выходку! Неизвѣстно сколько Робертъ позволитъ себѣ завтра. Можетъ быть, такъ прямо и будетъ рѣзать въ глаза: „Вы сюда являетесь пить и ѣсть за нашимъ столомъ, вы волочитесь за нашими женщинами — а насъ вы не считаете за людей. — Ха! почему бы и не сказать? Натура какъ разъ подходящая, чтобы закусить удила. Наглотаемъ всѣ правды-матки, какъ хохлацкихъ галушекъ — и въ барьеру никто не потянетъ! Коли случится офицеръ — полоснетъ, не разсуждая, шашкой...“

Дня два газетныя хроникеры будутъ трепать интересное имя Розы Сарона... Вытащатъ изъ грязи и стараго врача крейсера перваго ранга...

Точно, бывало, гимназистами соберутся курить въ трубу—и махальный крикнуть: „Сыть!“

„Пыль и прахъ! Въ плаваніе бы скорѣе успали, что-ли“...

Сивучевъ волочилъ ноги къ знакомой улицѣ, точно захваченный крѣпкими тисками: причастностью къ назрѣвающему загадочному скандалу его, русскаго моряка, доктора медицины и свободомыслящаго, неуязвимаго скептика.

Докторъ упорно рылся въ своей памяти, выискивая все, что могло уцѣлѣть тамъ отъ дуэльныхъ понятій и дѣлъ. Чорта съ два! вѣдь не офицеръ онъ! Какія дуэли на кораблѣ? По-американски — на узелки, кому отъ внезапнаго головокруженія сорваться за бортъ.

Легенды! Никакихъ американскихъ поединковъ не было на его памяти. Примитивныя авантюры съ разноцвѣтными красавицами, о которыхъ болтаетъ, облизываясь, этотъ оселъ, Горлецкій. Тамъ свой *coupleur locale* по части расплатъ! Совѣтъ юнаго мичмана привезли съ берега, удушеннаго шолковымъ шнуркомъ. Въ порту, куда зашли вслѣдъ за ушедшей французской эскадрой, шли взволнованные толки про отраву, обнаруженную въ каютъ-компаніи. Растаяла и надежда, что Вадимъ не приметъ вызова: не дерзнетъ—двусмысленно!

„Оборудуетъ мальчишъ дѣло, какъ пить дать! Каждый еврей согласится. Докторъ Моверъ ихъ старъ, такъ найдутся молодые“.

...А что, коли и тотъ пижонъ злополучный къ нему же съ этимъ толкнется?

Вотъ она, проклятая суша, съ ея сложностями и недвижимостью! Чего нельзя отдать сейчасъ за развернутые паруса и маленький сизый дымокъ надъ машинами?!..

Собственно говоря, докторъ тащился опять на дачу Горлецкихъ, не зная самъ, что сдѣлаетъ,—только потому, что въ эту минуту долженъ двигаться.

Повидать во что бы то ни стало Танечку—но какъ это сдѣлать? Въ столовой, вѣроятно, еще продолжается конференція семейныхъ мудрецовъ.

„Ха! пусть я буду пошлый дуракъ, коли тамъ не приурочили съ радостью къ пассиву Горлецкихъ—Ротблатовскій активъ, еслибъ „этотъ типъ красоты“ обладалъ ко всему еще и прелестью круглаго сиротства“, —думалъ, стискивая челюсти, Сивучевъ.

Прошагалъ всю рѣшетку, съ чередующимися птицами, вы-

клеывающими глаза змѣйзамъ, — и золочеными монограммами владѣлицы — и цоколемъ розоваго гранита — совсѣмъ какъ въ знаменитой дворцовой рѣшеткѣ.

„Вернусь по переулку, невеликъ кусокъ“, — подумалъ онъ отъ раздраженія — столько разъ въ одинъ день соверцать этихъ птицъ, змѣй и монограммы!

— Алексѣй Алексѣевичъ!

На этотъ разъ доктору не нужно было PROVĖрять себя — точно ли это тотъ голосъ: испугъ и радость — какъ два толчка сердца!

Въ открытую калитку онъ ее увидалъ, ожидающую въ глубинѣ площади.

...Сколько же, сколько времени онъ не видѣлъ костюма изъ бѣлаго пикѣ и этой единственной въ мірѣ прически, всегда вновь восхищающей его!.. Блестящія черныя фестоны забѣгаютъ на нѣжно падающую линію овала; безупречныя очертанія черепа обрисованы черепаховымъ круглымъ гребнемъ.

Въ этой привычной рамкѣ Сивучевъ не сразу разглядѣлъ мраморность чертъ, и снѣгій холодъ прямо глядящихъ глазъ, и странную окаменѣлость тѣла...

Самъ онъ затрудненно справлялся съ дыханіемъ — такъ внезапно, такъ неожиданно съ нею!..

Точно поплылъ наперерѣзъ засверкавшей на солнцѣ свѣжей зыби.

Сивучевъ снялъ фуражку, эту крышу, всегда ему мѣшающую полно жить.

— Вы здоровы? Извѣстно вамъ, что я не былъ принятьтъ утромъ?

— Вы также? Я это отмѣнила. Хочу видѣть всѣхъ.

Онъ смотритъ сбоку — и вдругъ замѣтилъ: точно говорятъ не живыя губы, а художественно вырѣзанныя изъ розоваго мрамора и наложенныя на бѣлый профиль... Онъ безпокойно тряхнулъ головой.

...Вотъ ужъ и не плыветъ наперерѣзъ сверкающимъ волнамъ... Кто же размышляетъ, плывя!..

— Не могу сочувствовать вашему распоряженію... Безъ всякаго исключенія для вашего покорнаго слуги.

— А!.. Мнѣ подобаетъ прятаться?

...Что сдѣлалось съ ея голосомъ!.. Съ стѣсненнымъ, гортаннымъ красивымъ тембромъ Востока, волнующимъ его душу...

— Вотъ и сейчасъ: по голосу вашему сузу, какъ я правъ.

Сарра Яковлевна! безразсудно безцѣльно себя измучивать, когда нужны всѣ наши силы.

— О!.. силы мои всѣ уже собраны: ни малѣйшей опасности банкротства.

...Гдѣ же прежняя Саррочка—Роза Сарона?!.. Пугливая... съ блуждающимъ огонькомъ поэзіи за прозрачной какъ алмазь красотой.

Передъ нимъ—чудная актриса на роли молодыхъ королевъ. Хотѣлось схватить спокойно брошенные античныя руки—сжать—закричать: „Довольно! Это—для другихъ, если такъ хочешь. Я все равно вижу твою раненую душу, я врачъ—не могу развѣ ничѣмъ помочь тебѣ?“

Но мы не слышимъ мыслей. И мы такъ плохо умѣемъ ихъ выражать, схваченные волненіемъ... И еще—если мы чаще смотрѣли въ лицо бушующаго океана, чѣмъ въ закрытую женскую душу...

...Идетъ—какъ будто на сценѣ.

...Такъ будетъ всегда?..

...Царица Савская!

Въ липовой аллеѣ кто-то и теперь бросилъ горсть золотыхъ искръ на бѣлое платье. Въ саду нѣтъ другой аллеи, не видной съ балкона. И другой скамейки.

На свѣтѣ много лѣтнихъ аллей и скамеекъ. Много молодыхъ людей и не очень молодыхъ людей, и словъ восхищенія и любви въ ихъ устахъ. Блестящихъ какъ искры, горячихъ какъ солнце.

Пустыхъ! совершенно пустыхъ словъ.

Она навсегда—новая. Пусть всѣ это видятъ, всѣ повѣрятъ.

...Какая крохотная цѣль! Можетъ быть—не такая ужъ далекая? Тоже пустая. О!.. еще бы!..

Царица сѣла и плавнымъ жестомъ указала моряку мѣсто около себя.

— Алексѣй Алексѣвичъ, у меня есть просьба... большая. Вѣдь да? вы ее исполните?

— Вы же знаете... Нѣтъ, стойте! Раньше моя—у меня тоже просьба! Моя важнѣе... Для того, чтобы я могъ... Сарра Яковлевна! Покажите мнѣ Розу Сарона... Хоть на одну минутку покажите мнѣ прежнюю, нашу,—покажите, что она цѣла! А потомъ—ужъ Богъ съ вами, будьте опять царицей Савской, пока вамъ это такъ нужно!

Вотъ этотъ голосъ не договаривалъ отчетливо каждую букву—онъ прокатился, какъ самая высокая волна, хлестнувшая черезъ моль и разбившаяся въ пыль.

Саррочка засмѣялась маленькими стеклянными шариками, которыхъ разбить нельзя.

— Царица Савская!?

— Вы очень довольны?

— Еще бы—еслибъ правда!

Въ мраморномъ лицѣ еще прилило красоты и гордости.

...Но гдѣ же горе твое—гдѣ мука—гдѣ любовь?!.. Слезъ, слезъ въ эту минуту! Всегда близкія, живыя волны, омывающія женское сердце—языкъ вскипающей души...

Что сталъ бы онъ дѣлать, еслибъ и въ самомъ дѣлѣ Саррочка разрыдалась, какъ Таня на скамейкѣ парка,—еще отчаяннѣе? Но оттого что Саррочка не плачетъ—точно она уплываетъ отъ него въ солнечномъ туманѣ.

— Видите ли, чудесь я не понимаю, — заговорилъ хмуро морякъ:—какъ вамъ извѣстно, я—натуралистъ и пантеистъ. Коли хотите—атеистъ.

— Тогда ужъ я—мистикъ фаталистъ? Нѣтъ, докторъ, фаталисткой быть не хочу. Хочу сама сдѣлать мою судьбу съ завтрашняго дня, съ этого дня, не теряя ни минуты!

И она поднялась на ноги—высокая, прямая и блистающая, какой никогда еще не была.

Всталъ и Сивучевъ, обвинный холодомъ, съ сжавшейся душой.

— Что я долженъ исполнить, ваше величество?

Величество, улыбаясь, пригнулось—заглянуть близко ему въ глаза:

— Не смѣяться! Милый докторъ, ради тѣхъ словъ... словъ, которыя вы мнѣ говорили!.. вѣдь вы не могли ихъ забыть? Вы—нѣтъ! только вы... вамъ некому было повторять ихъ такъ часто—на каждомъ балу, за каждой кадрилию... вы плавали по морямъ, гдѣ нѣтъ ни баловъ, ни красавицъ.

Поползновеніе рукъ въ движенію—точно слабая судорога... Но она осталась—какъ стояла.

— Ничего не забылъ. Но гдѣ она, кому я тѣ слова говорилъ?..

Она отвѣтила не сейчасъ.

— Правда, ея нѣтъ. Это сразу понятно? да?—Какъ я счастлива, если это такъ!

Мраморное лицо ожило слабымъ румянцемъ.

А въ немъ инстинктивно протестуетъ боль какой-то неясной утраты: что-то большое, крупное, чего онъ не понялъ... видитъ только уплывающій куда-то туманный контуръ...

...Но вѣдь это же только дѣвушка, почти ребенокъ! Удержай, удержи уходящую контуръ!..

Безотчетно вырвалось властное движеніе мужской силы въ борьбѣ съ женщиной. Онъ заговорилъ страстно, повелительно:

...Зачѣмъ, зачѣмъ она такая? Пусть она рыдаетъ — душу выплачетъ.

— Бросьтесь на этотъ песокъ — вѣдь у васъ лежать на землѣ въ знакъ траура! Или проклинайте, онъ заслужилъ это!.. Не будьте застывшая... не надо! Развѣ жизнь перевернулась отъ перваго горя? Гдѣ ваша гордость?..

Она чуть-чуть закинула голову... Слушаетъ, прикрывъ роскошные рѣсницы.

...„Сказка!“ — назвалъ мысленно Сивучевъ и провелъ рукой по глазамъ.

— Я умерла... Я опять живу. Умирала страшно — съ милліонами другихъ... Ничего прежняго не будетъ никогда.

Но прежде чѣмъ онъ собралъ мысли — она тряхнула головой и раскрыла туманные глаза.

— Это потомъ... все потомъ, умоляю васъ, докторъ! Когда-нибудь!.. Не надо теперь, пожалуйста... Теперь помогите мнѣ, если вы прежній, добрый! Только зачѣмъ мы все стоимъ?.. Садитесь — вотъ ваше мѣсто.

...„Жалкій идиотъ! кретинъ!“ — честилъ докторъ мысленно героя всѣхъ этихъ превращеній.

— Алексѣй Алексѣевичъ, вы неособенно симпатизируете Роберту, я знаю... Да, да, объ этомъ не стоитъ! — боюсь, вамъ это неприятно?.. и даже навѣрное! А вы одинъ могли бы на него подѣйствовать, — говорить не сказочная, а живая, но все-таки не прежняя влюбленная дѣвочка, зачарованная счастьемъ.

И она не дала ему протестовать, требовала выслушать до конца: Робертъ что-то затѣваетъ. Вчера вернулись съ вокзала — онъ съ Яковомъ — и заперлись въ кабинетѣ.

— Я не спала. Уходя, Яковъ сказалъ на лѣстницѣ: „Значитъ, ты ждешь моей телеграммы“... Не трудно догадаться!

Сивучевъ слушалъ въ полъ-уха, спрашивая себя, долженъ ли онъ сейчасъ ей сказать?..

— Докторъ, — я дура не хочу. Не потому, что боюсь за брата — или за кого-нибудь — не потому! Развѣ это не унижительно для меня? Точно меня и нѣтъ... другіе — нѣтъ, нѣтъ! А я такъ ужъ далеко... о!.. какъ я далеко отъ этого!.. Вы не вѣрите?

Онъ смотрѣлъ въ ее просвѣтленное лицо и теперь ловилъ въ немъ далекую дрожь страданія... неужели уже отжитого?..

Сердце плавилось от жалости въ его груди.

— Вамъ странно... вы не ждали, что я такая безсердечная? А это не то, совсѣмъ не то. Я вынула изъ груди мое сердце— и отдала его.

— Кому?..—прошепталъ бессознательно докторъ.

— Съ воздушнаго шара бросаютъ грузъ, чтобы онъ могъ подняться выше.

Онъ глядѣлъ на вершины деревьевъ свѣтлыми глазами, сжимаемая на колѣняхъ холодные пальцы. Изъ-за темныхъ фестоновъ нѣжная краска набѣгала на щеки.

— Какъ вы похудѣли!.. Милая... Роза Сарона!..

— Высоко... высоко, докторъ! Я лечу... Прощайте!

— Вы меня свели съ ума сегодня! вы—такая?!..—Шатается душа—рвется упасть къ этимъ ногамъ.

Онъ заставилъ себя прислушаться—что она говорить?

Разыскать Роберта и привести къ ней. Втолковать ему, что онъ не имѣетъ права дѣлать что-нибудь во вредъ ей, въ угоду своему самолюбію.

— Скажите, что я должна сказать ему нѣчто очень важное. Это правда. Докторъ, я васъ умоляю... Мнѣ некого больше просить!

Сивучеву осталось только передать ей разговоръ съ Робертомъ.

— Не имѣю представленія, куда онъ долженъ направить свои поиски... Можетъ быть, вы знаете? Есть у васъ молодой врачъ?

Саррочка—безъ испуга, безъ метанья—напряженно соображала, сдвинувъ въ одну линію брови.

— Да... тамъ есть студентъ четвертаго курса, медикъ. Былъ поѣздъ съ тѣхъ поръ? Когда вы говорили съ нимъ?

Сивучевъ вынулъ часы и расписаніе поѣздовъ, но сразу ничего не соображалъ. Мысль отказывается вернуться мгновенно къ совсѣмъ простому.

— Восемь минутъ! Идите скорѣе—можетъ быть—попадетсѣ извозчикъ!

Докторъ поднялся, но вдругъ повернулся къ ней.

— Все зависить отъ главнаго—гдѣ можетъ быть Горлецкій? Ушелъ изъ дома съ утра. Простите, я спрошу: вы не имѣли письма отъ него?

— Нѣтъ.

И онъ не боялся уже, что съ нею сдѣлается истерика отъ произнесеннаго имени.

— Съ вокзала вы вернетесь сюда?—спросила Саррочка.

— Нужно бы въ городъ... если вы не имѣете еще куда-нибудь меня послать?

— Вы не можете остаться?

— Приду.

Онъ уходитъ, оглушенный этимъ ощущеніемъ.

О, да, придется опять! Захваченный разливомъ еще незнакомой ему женской силы...

XIV.

...„Налетѣлъ на костеръ—спалишь крылья. Новенькія и на морскомъ вѣтру не оторостутъ, не надѣйся“.

А въ душѣ—все то же непроходящее ощущеніе потери.

...Смѣшно! Развѣ не всегда Саррочка была влюблена въ самаго обыденнаго студента, не умнаго не глупаго, не дурного не красиваго?

...И развѣ онъ предчувствовалъ хоть сколько-нибудь событія? Ничего подобнаго! Онъ былъ увѣренъ, что этотъ бракъ—давно предрѣшенный вопросъ въ семьѣ Горлецовъ.

Чего же собственно онъ лишился?

„Получи она благополучно своего студента—и была бы все та же красавица Саррочка. Естественныя эволюціи, какъ извѣстно, ничуть не враждебны чреватому будущему... Умнѣе же она его несомнѣнно! А вотъ теперь—птица фениксъ возносится изъ пламени“.

Раздраженная и задержанная мысль не работаетъ логически, а произвольными всплесками выбрасываетъ тайное сокровенныхъ чаяній...

Въ вокзалѣ первый, кто бросился въ глаза доктору, была Таня Горлецовая, въ толпѣ, выливающейся на платформу ко второму звонку.

...„Она! Что здѣсь дѣлаетъ? Ужъ не отправляютъ ли въ городъ злополучный отпрыскъ, отъ грѣха подальше?“

Обрадованный счастливой неожиданностью, Сивучевъ едва вспомнилъ о дѣли своего собственнаго прихода. Робертъ могъ уже успѣть войти въ вагонъ—пришлось побѣгать вдоль поѣзда, заглядывая въ окна.

Горлецовая тоже ищетъ, стараясь, чтобы это не слышкомъ бросалось въ глаза. Остановилась поговорить съ какой-то ба-рышней.

Сивучевъ поклонился ей издали. Таня крикнула:

— Уѣзжаете, докторъ?

— Кажется... Можемъ подать руку другъ другу? Товарищи по неудачѣ?— подошелъ къ ней морякъ, когда поѣздъ тронулся.

Онъ вздохнулъ съ облегченіемъ: не изъ земли же выкопаетъ Роберта, коли тутъ нѣтъ его!

А Таня идетъ, не поднимая глазъ отъ земли. Болью сердца и не отпускающей ни на мигъ тревогой переполнена грубо разбуженная душа.

Сивучевъ думаетъ: „Поставить ихъ рядомъ—на которую изъ двухъ обрушился ударъ?“

— Татьяна Михайловна... добрая фея наша... какъ же вы измучились! Да вы хоть бы провѣрили, голубушка, сначала—гдѣ эти разбитыя сердца, о которыхъ вы сокрушаетесь?

Дѣвушка взглянула на него съ упрекомъ.

— Не дѣлайте еще больнѣе, Алексѣй Алексѣевичъ... Развѣ заслуга быть плаксою? Она не плачетъ... можетъ быть, ни единой слезы... Кажется, еще больнѣе не плакать!

И она въ недоумѣніи покачала головой, гдѣ не просіяла никакая новая красота: покраснѣли вѣки, глаза, огрубѣла кожа...

Вадимъ не возвращался. По телефону справились у швейцара—не былъ и на городской квартирѣ. Отецъ уѣхалъ въ городъ. Съ матерью сдѣлался тяжелый нервный припадокъ.

— Теперь она боится... Ахъ, развѣ не ужасно, что самое важное у людей гдѣ-то запрятано, а на первомъ мѣстѣ всякіе пустяки!?

Дядя Володя тоже собрался было въ городъ на нѣсколько дней, отдохнуть.

— А теперь сидитъ въ маминой комнатѣ, бѣдненькій... Слава Богу, хоть онъ у насъ.

— Расскажетъ въ утѣшеніе Софѣ Кирилловнѣ—сколько именно обмороковъ было у матери Елены, когда она уѣхала съ Инсаровымъ.

Таня странно вздохнула.

— Что-жъ дѣлать!.. Многимъ жить не съ кѣмъ больше! Вотъ и я тоже сдѣлаю своимъ другомъ Ольгу изъ „Обломова“. Это—моя самая любимая героиня.

— Вѣрно! Одна изъ самыхъ прелестныхъ русскихъ дѣвушекъ. А знаете?—знаете, почему вы ее любите?—оживился докторъ.

— Ну, конечно, знаю.

— Нѣтъ!—Потому что сами вы на нее похожи.

Таня остановилась—засмѣялась—и покраснѣла.

...Что же это? Можно ужъ смѣяться, о чемъ-то разговаривать!.. Потянетъ совсѣмъ въ другую сторону...

...Жаль недавней нетронутой муки.

— Не шутите... Я не хочу.

А онъ говорить о томъ, какъ онъ счастливъ, что ее встрѣтилъ.

— Вы, Татьяна Михайловна, — жизнь! Понятная, теплая. Моряки суевѣрны: боюсь сказочныхъ сновъ!

...„Это онъ про нее“... — сказала себѣ Таня. И заплаканные глаза сощурились, точно имъ больно отъ чего-то слѣпящаго.

— Вы ее видѣли?.. Скажите мнѣ что-нибудь...

— Вы вѣдь тоже видѣли, — хмурится Сивучевъ.

— О, нѣтъ... все равно что не видѣла! Архангелъ, изгоняющій изъ рая, — вотъ какая она была! Я всю жизнь буду мучиться... всю жизнь! Нельзя этого забыть!

— И не забудемъ. Царица Савская! Вся библія!

Сивучевъ упросилъ Таню посидѣть на скамейкѣ.

— Конца нѣтъ сегодняшнему дню. Третій день шторма въ открытомъ морѣ — куда легче. А тамъ ждутъ... не знаю зачѣмъ. Нѣтъ, я выброшусь на берегъ!

И черезъ минуту:

— Надѣюсь, что они уйдутъ, ваши Ротблаты? Мы будемъ отдыхать, Татьяна Михайловна... Возьмите меня своимъ другомъ, пока не найдется получше!

...„Какъ... и этотъ тоже? Никто, никто! Не умѣютъ быть мужчинами“.

Что-то унылое врѣзается въ душѣ отъ зрѣлища слабости сильныхъ.

...„Сарра моя, Сарра! вотъ, ты страхъ навела на всѣхъ. Ты этого ли хотѣла?..“

Весь день Раиса Моисеевна принимала визиты. Вѣсть о внезапной болѣзни Саррочки распространилась съ легкостью гѣтнихъ вѣстей; каждый поѣздъ привозилъ кого-нибудь изъ города.

А тѣмъ, кому было отказано утромъ, посланъ по телеграфу биллетень о выздоровленіи. Люди могутъ обидѣться: имъ отказано, а другихъ принимаютъ.

За эти два дня, истинныя чувства Раиса Моисеевны вовсе и пробиться не могли севозъ навалившуюся на нее, трудную и сложную задачу. Или, можетъ быть, для Саррочки нужно, чтобы она плакала и волосы на себѣ рвала, въ то время какъ люди только ищутъ случая позлословить?

Нѣтъ, мысли матери были всецѣло поглощены расчетами, сложными соображеніями и неустанными наблюденіями. Всѣ усилія направлены на то, чтобы удачно лавировать самой и незамѣтно регулировать впечатлѣнія другихъ. Весь день Раиса Моисеевна что-нибудь опровергала и разъясняла.

И никто не захватилъ ее врасплохъ, не могъ подмѣтить горестнаго волненія въ ея любезномъ лицѣ и непринужденномъ тонѣ. Богъ далъ, что она могла дѣлать это трудное и важное для своей Саррочки, потому что ничего другого она не могла сдѣлать для нея въ это время.

А первый страхъ и въ самомъ дѣлѣ уже улегся въ душѣ: кто могъ думать, что такая молоденькая дѣвушка сможетъ перенести ударъ такъ мужественно и гордо? Розалія во всѣхъ углахъ, на бѣгу, успѣвала вознести коротенькую жаркую молитву за торжество правды. Корабль налетѣлъ на подводный камень и не разбился въ щепки, а плыветъ себѣ какъ ни въ чемъ не бывало! Богъ посылаетъ чудо, когда хочетъ,—можетъ быть, и теперь этого не увидать?..

Въ красивой лѣтней гостиной „Помпадуръ“—можно уже почувствовать себя за-границей: разговоръ унизанъ нѣмецкими и французскими названіями курортовъ, морскихъ ваннъ, отелей и пансіоновъ.

Каждый пользуется случаемъ подробно описать какое-нибудь любимое путешествіе или пріятное приключеніе; всякій навязываетъ свой маршрутъ такъ настойчиво и нетерпимо—какъ будто, по меньшей мѣрѣ, ему предстоитъ получить куртажъ за рекомендацію. Царитъ самое неподдѣльное одушевленіе.

Всѣ совѣтуютъ спѣшить, спастись, какъ отъ погрома. Развѣ мало слышно трагическихъ случаевъ оттого, что не обращаютъ вниманія на первые симптомы болѣзни? Въ молодости всѣ болѣзни развиваются быстро. Ну, вѣрно, ужъ Саррочка не такъ много работаетъ, чтобы ей падать въ обморокъ отъ переутомленія!

Наконецъ, и Саррочка сама уже не могла быть вполне увѣрена—точно ли съ нею былъ, или не былъ вчера настоящій обморокъ? Слово, картинное и волнующее, съ легкимъ трескомъ по серединѣ, виситъ въ воздухѣ... Саррочка соглашается, что это былъ обморокъ.

Она ревниво слѣдитъ за тѣмъ, чтобы разговоръ ни на минуту не уклонялся въ сторону отъ желѣзнодорожныхъ линій и медицинскихъ репутацій.

Но подъ шумъ разговоровъ кое-гдѣ обмѣниваются впло-

лоса недоумѣніемъ и негодованіемъ на человѣческое злословіе: Саррочка мила, нарядна и красива, какъ всегда, — что людямъ нужно? Само собой, чутьчку блѣдна — ей это удивительно идетъ! Стоитъ быть такой красивой, чтобы даже болѣзнь красила!

Сегодня почему-то много говорили о Саррочкиныхъ глазахъ, какъ будто это на ней новый сапфировый уборъ.

Но одно можно установить въ подпольныхъ теченіяхъ: ссора съ Горлецами не подлежитъ никакому сомнѣнію. Даже имя Татьяны Михайловны произносится съ осторожностью. Имя ея брата вовсе не произносится.

Кто-то видѣлъ барышню Горлецкую въ вокзалѣ съ докторомъ Сивучевымъ.

— Я не знаю... Можетъ быть, Тавя была сегодня въ городѣ? — сказала на это задумчиво Саррочка — и прибавила, съ неумовимой задержкой: — Мы видѣлись вчера.

Фантазія получила новый толчокъ.

...Гм! Гм! д-ръ Сивучевъ? Для претендента Сарры Яковлевны не слишкомъ ли часто докторъ обѣдаетъ по сосѣдству? Не тутъ ли кроется яблоко раздора?

Кѣмъ-то, какимъ-то образомъ давно дознано, что веселый докторъ — одна изъ надеждъ стариковъ. Сама тонная мадамъ Горлецкая снисходитъ до явныхъ авансовъ.

Нетти подозвала Исаака Зона и сказала, закрываясь вѣеромъ:

— Я окончательно ничему больше не вѣрю! Развѣ одно: Сарра ему отказала. Очень рада! Я всегда хотѣла, чтобы она вышла за доктора. Самые интересные мужчины — моряки.

— Я же вамъ говорилъ! Я тоже очень радъ. Прикажете навести справки, въ какихъ случаяхъ евреи допускаются въ морскую службу?

— Ни въ какихъ, — кто же этого не знаетъ! Фать!

... „Который часъ? Неужели Сивучевъ уѣхалъ... или его увели туда?“ — думаетъ какъ сквозь сонъ Саррочка.

Только неестественно обостренный слухъ могъ уловить шаги наверху, въ боковой комнатѣ, уже передъ самымъ обѣдомъ.

Обѣдать никого не просили.

Нетти разочарована; она пріѣхала одна и вовсе не располагала уѣзжать до музыки. И опять ей показалось: „что-то есть!“ — когда Саррочка любезно вспорхнула съ своего кресла.

Молодой Зонъ проводилъ Нетти до ея подъѣзда, и на томъ же извозчикѣ полетѣлъ обратно въ вокзалъ. Вырвался, какъ крупная рыба изъ сѣти! Бываютъ же мужчины упрямы!

Нетти не расплакалась только потому, что была въ настоящемъ бѣшенствѣ.

Въ суматохѣ вестибюля Сарра неожиданно прошла мимо него совсѣмъ близко и произнесла быстро и беззвучно:

— Проводите... возвращайтесь сейчасъ... Прямо въ кабинетъ. Важно...

Исаакъ всю дорогу простоялъ на тормазѣ, летѣлъ впередъ вмѣстѣ со своими мыслями.

...Какое дѣло до него у Сарры? Если дуэль—она не могла бы терять столько времени... Знаетъ ли она про дуэль?..

Исаакъ такъ ничего и не разобралъ, растерявшись отъ этой поразительной выдержки женщины: ужъ можно сказать, что Ротблаты побили рекордъ собственнаго достоинства! Старуха—великолѣпна! Пусть другой кто-нибудь сѣмѣетъ такъ себя держать—какъ будто стаканъ воды проглотила. Онъ гордился—какъ еслибы онъ былъ ихъ ближайшій родственникъ.

Плохо только, что Робертъ такъ и не появился за весь день. Исаакъ, по рѣшенію тріумвирата, обязанъ состоять при дамахъ, чтобы исчезновеніе друзей не бросалось въ глаза. Но все же Роберту слѣдовало между тремя и пятью повернуться въ гостиную.

...Про дуэль—никакихъ вѣстей, точно какъ въ воду кануло!

Кто-то изъ гостей пустилъ слухъ, что Робертъ—на скачкахъ.

— Возможно! Онъ ничего себѣ продулся на прошлой недѣлѣ, отыграть не худо!

Исаакъ при этомъ захохоталъ черезчуръ громко... Онъ теперь это чувствуетъ. И тогда на мигъ взоръ Саррочки скользнулъ по его лицу.

„Знаетъ!“—подумалъ въ ту минуту Исаакъ.

А вотъ теперь онъ опять уже колеблется.

„По какому дѣлу зовутъ“?..

Дѣловыхъ сношеній въ семьѣ у него нѣтъ. Одна старая тетка черезъ него дѣлаетъ аккуратно свои сіонистскіе взносы, довольно значительные: отдастъ все, что имѣетъ отъ сестры, и, кажется, кое-что вытягиваетъ и у молодежи.

Робертъ снисходительно иронизируетъ надъ „утопіями“.

Давно младшій Ротблатъ числится въ безнадежныхъ: слишкомъ сухъ и изнѣденъ рефлексіей, чтобы служить дѣлу. Скорѣ-Яковъ Гендель добьется съ нимъ чего-нибудь—но и тутъ: недостаточно демократиченъ для заправскаго революціонера.

Не повезло Исааку съ ближайшими пріятелями. Только Сарра помогаетъ ему, вербуетъ... И вдругъ блеснула мысль: сейчасъ не опять ли рѣчь о какомъ-нибудь нежданномъ неофитѣ?

И затревожилось чутье жожака, всегда носящаго при себѣ „наши цѣли“ и „наши виды“.

„Вздоръ! до того ли теперь Саррѣ?“ — долженъ былъ прикрикнуть на себя Исаакъ.

Онъ пообѣдалъ въ вокзалѣ и еще просидѣлъ полчаса съ папирской, соображая, когда у Ротблатовъ кончится обѣдъ.

...Неизбѣжность дуэли очевидна. Нужно вышибать *безнаказанность*, ни передъ чѣмъ не останавливаясь, — изъ умовъ вышибать! Для уклоняющихся существуетъ вѣдъ классическое средство!

Дуэль — одинъ изъ важныхъ пунктовъ программы молодого кружка. Зимой были двѣ исторіи: одна кончилась извиненіемъ передъ барьеромъ; съ другой — вышла гадость: выѣхали полицію, стояло сумасшедшихъ денегъ. Не бѣда! все лучше, чѣмъ глотать пощечины.

Проводивъ послѣдняго гостя, Саррочка полетѣла наверхъ. Робертъ вернулся и не показался гостямъ.

Онъ съ трудомъ поднялся на ноги. Не усталость, а полная протрація! Какъ пришелъ, повалился на оттоманку и дрожить, точно въ лихорадкѣ.

— Мерзну!.. Прикажи, Сарра, приготовить стаканъ глинтвейна! — были его первыя слова.

— Ты боленъ, Роба?!..

— Я подохну, если не накачаюсь сейчасъ же. Обѣдъ подать сюда... Скажи — у меня гость, чтобы не беспокоили, не могу въ столовую... Сарра, скорѣе... прошу тебя!

Саррочка ушла и вернулась со стаканомъ горячаго вина.

Исаакъ Зонъ нашелъ маленькій подъѣздъ открытымъ и всѣхъ въ кабинетѣ.

Дачный кабинетъ Ротблата удачнѣе зимняго, хоть тотъ и стоитъ безразсудныхъ денегъ. Стѣны и потолокъ большой квадратной комнаты отдѣланы деревомъ трехъ цвѣтовъ, по какимъ-то подлиннымъ рисункамъ старинныхъ мастеровъ. На полу — изящныя тонкія циновки, восточная мебель въ чехлахъ изъ чичунчи... Никакихъ лампъ, кромѣ сильнаго плафона, задернутаго шолкомъ въ тонахъ потолка, что даетъ иллюзію солнечнаго свѣта. Зонъ любитъ эту комнату вечеромъ.

Робертъ лежалъ, вытянувшись на оттоманкѣ. Яковъ сидѣлъ рядомъ въ креслѣ, а Саррочка на другомъ концѣ комнаты смотрѣла въ окно, за которымъ догоралъ прозрачный іюньскій вечеръ.

— Вотъ и онъ, вынувшій счастливый жребій! — воскликнулъ Яковъ.

— Вижу ужъ, вижу, что вы оба годны только поддерживать вражескіе предразсудки о еврейской дохлости! — отвѣтилъ Зонъ, пожимая руки.

— Не задѣвай мою ярость, если тебѣ мила жизнь!.. — проговорилъ мертвый голосъ съ оттоманки.

Исаакъ разсмѣялся. И это былъ первый живой звукъ, всколыхнувшій жаркій воздухъ комнаты.

— Спасибо, Исаакъ!.. — сказала Саррочка и крѣпко пожала ему руку.

Яковъ поднималъ усталое лицо.

— За что благодарить еще?.. Для равновѣсія онъ бы долженъ развести по очереди всѣхъ дѣвушекъ и дамъ.

— Ого! Тогда я мнѣняюсь жребіемъ съ тобой, Яковъ.

— Ты боишься, что всѣ въ тебя влюблены, какъ Нетти?

— Кому надо? Ничего не можетъ быть утомительнѣе бессмыслицы.

— М...м...м... без-плодность!.. — простоналъ Робертъ.

Зонъ вопросительно поглядѣлъ на Якова и потомъ свесилъ глаза въ сторону Саррочки.

Яковъ только пошевелился въ своемъ креслѣ.

Оттого что мужчины сидѣли, а дѣвушка одна стояла, приклонившись къ ребру зеркальнаго шкафа, было ясно, что отъ нея придетъ то, чего ждетъ эта наглухо закрытая комната, съ измученными людьми... Одинаково молодыми и измученными.

Зонъ проглядѣлъ уже всѣ глаза сегодня; какъ и влюбленный докторъ, онъ искалъ прежнюю очаровательную дѣвочку.

Онъ не былъ влюбленъ, Исаакъ Зонъ — вѣдь это было бы безцѣльно и потому дурно. Но и для него подруга дѣтства, красавица Ротблатъ, богатѣйшая невѣста, съ ея развертывающейся, какъ таинственный бутонъ, дѣвической судьбой, была сіяющимъ центромъ жизни.

Они съ Саррочкой были на „ты“ до пятнадцати лѣтъ, когда Раиса Моисеевна постановила, что это неприлично. Оба долго отвыкали, путаясь и забавляясь, и въ ихъ отношеніяхъ остался теплый и довѣрчивый тонъ ранней близости, когда вся жизнь другого открыта.

„Что съ тобой сдѣлали, Роза Сарона!..“ — думалъ Исаакъ печально.

Въ зеркало перелились складки бѣлаго платья и на нихъ брошенная рука. Поднятый профиль вычерченъ на блѣдномъ квадратѣ отраженнаго окна, а мрачные глаза смотрятъ куда-то, поверхъ ихъ головъ. Мраморное лицо говорить:

...Смотрите на меня, я не прячусь. Но все равно, вамъ ничего не понять“.

— Ну... Сарра?.. Если ты не хочешь... чтобы одинъ изъ насъ уснулъ, какъ мертвый...—простоналъ Робертъ, усиливаясь держать свои вѣки.

— Чортъ возьми, глотни шампанскаго, тутъ еще есть немного!

Яковъ вытащилъ изъ-подъ низкаго столика бутылку и опрокинулъ ее надъ стаканомъ.

— Вы опоздали, Исаакъ... Дома нѣтъ больше—эта бутылка послѣдняя,—сказала Сарра.

Точно неожиданно вернулась откуда-то, гдѣ она была одна. А они не знали, что она уже вернулась...

Робертъ приподнялся на локтѣ и выпилъ залпомъ вино.

— Сарра намѣревается убить насъ однимъ ударомъ, какъ вучу мухъ!—сказалъ Яковъ.

У него разгорѣлось лицо и все сильнѣе билось сердце.

Саррочка вздохнула и медленно скрестила руки на груди.

— Когда я скажу, вы сразу убѣдитесь, что не нужно было такъ измучиться. Вся эта ваша затѣя ни къ чему не нужна,—сказала она, опустивъ внизъ глаза, спокойно.

— Это не затѣя!..—раздалось повелительно съ оттоманки.

Бѣлая фигура у зеркала качнулась впередъ.

— А для меня — именно, затѣя, Роба! Я ушла... совсѣмъ ужъ ушла отъ этого!.. Поднялась вверхъ я—а все внизу осталось. Ахъ, знаю, что вы не понимаете!

Была маленькая пауза, но никто ей не отвѣтилъ. Ни звука.

— Вотъ тутъ мои братья—я передъ ними объявляю вамъ, Исаакъ Зонъ: я рѣшила весь капиталъ, назначенный отцомъ мнѣ въ приданое, отдать въ комитетъ доктора Герцеля. Я желаю работать вмѣстѣ съ нимъ.

Она ужъ отошла отъ зеркала, она не нуждалась въ опорѣ. Стояла по срединѣ комнаты.

Лицо свѣтилось своей блѣдностью изъ волнистой черной рамки.

Въ мигъ всѣ трое вскочили на ноги и двинулись на нее съ восклицаніями.

— Ну, да, да! Вотъ вамъ мои руки—возьмите! Берите же, попробуйте удержать меня за руки!

Она странно смѣялась, большими толчками. На щекъ блеснуло...

— Я нашла, куда можно уйти отъ всего ужаса жизни—

развѣ вамъ стало завидно?.. Робертъ! пойдемъ вмѣстѣ! Для тебя тоже нѣтъ дорогъ... Увидишь это самъ, когда полюбишь русскую дѣвушку! или когда полюбишь еврейку! Если ты захочешь вернуться—домой вернуться, для того, чтобы на ней жениться—вѣдь это тоже будетъ позоръ... Да, да! А русская дѣвушка отвернется отъ тебя. Роба! вѣдь у насъ много денегъ, вѣдь мы туда не плакать придемъ, какъ тетя Розалія. Мы пойдемъ всѣ вмѣстѣ добывать народу родину. Родину!.. Ну, мы не доживемъ—не все ли равно?.. Развѣ важно—когда именно сказать: я отдала мою жизнь тебѣ, гонимый Израиль,—больше мнѣ нечего отдать!..

Она закрыла руками лицо. Плечи задрожали, и вся она качалась, готовая рухнуть.

Исаакъ толкнулъ кресло, и они усадили ее, какъ она стояла, по срединѣ комнаты. И остались оба у ея ногъ.

— Сарра... Сарра... успокойся, Богомъ прошу! Да, ты все сдѣлаешь, какъ сама захочешь—будетъ время! Такія вещи нельзя рѣшать въ горячкѣ!.. Мы никакихъ обѣщаній не слыхали. Мы бы употребили во зло нашу дружбу!—говорить Яковъ.

А Робертъ сидѣлъ, привалившись къ свѣтлымъ подушкамъ оттоманки, согнутый, и смотрѣлъ на эту группу, какъ на сонное видѣніе.

Дѣвушка опустила отъ лица руки и опять заговорила, склонившись къ нимъ:

— Его не могли найти... да? Какое счастье! Образумьте Робу вы оба... Мы навсегда уйдемъ, я никогда не вернусь въ Россію. Зачѣмъ мнѣ надо, чтобы еще больше страдалъ несчастный человекъ?.. Кому надо?..

— Мнѣ!.. мнѣ надо!..—крикнулъ хрипло Робертъ.—Нашей матери! отцу, который не можетъ встать за тебя!

— Неправда!

Она протянула къ нему руку.

— Нѣтъ, тутъ я одна! Я не хочу оглядываться на прошлое—не мѣшайте же мнѣ! Я не вернусь никогда. У меня здѣсь была сестра, какой не было ни у кого изъ васъ... Ну и что изъ этого?.. Я теперь знаю—все равно гдѣ жить... весь міръ—гостинница для путника. Но зато... О-о!.. Исаакъ!.. вѣдь путь нашъ къ дому—домой?.. Хоть ты понимаешь ли меня?..

Онъ сидѣлъ, скорчившись на скользкой циновкѣ. Тускло-пестрый потолокъ и стѣны медленно кружились.

— Не сейчасъ... пощади!.. Я скажу тебѣ завтра... Опомнись! Сарра, Сарра... У Бога есть чудо, когда Ему угодно

спасти своихъ любимцевъ... Напрасно Рову Сарона покинули у насъ!

— Напрасно.

Она подала ему обѣ руки. Онъ ихъ прижалъ къ своему лицу. Теплыя слезы побѣжали по холоднымъ пальцамъ.

...„Умереть... умереть...“—вспыхивало въ ея душѣ далекимъ холоднымъ свѣтомъ...

Ночь позеленѣла отъ холода и напрасно вуталась изорванными бѣлыми дымками, которые съ себя радостно сбрасывали выснавшіяся лужайки и куртины.

Качнулись протянутыя вѣтки кустовъ отъ какого-то шороха внутри... Первое сонное чирканье разорвало тишину.

Въ небѣ прибывали все новыя и новыя блѣдно-зеленыя волны и спускались на темно-бронзоваго бога съ протянутой рукой въ центръ круга изъ высокихъ, неподвижныхъ деревьевъ. Богъ темнѣлъ уже совсѣмъ отчетливо своими блестящими мускулами и увѣнчанной лаврами маленькой головой—и точно кому-то грозила вытянутая рука, безстрастно и неотразимо, какъ богъ.

Можетъ быть, онъ обѣщалъ охранять зеленую скамейку, съ прижавшейся въ углу человѣческой фигурой? У кого нѣтъ кровли, кромѣ ночного неба, тому защита безсмертные боги.

Человѣкъ спалъ, беззаботно сбросивъ съ головы фуражку, раскинулъ руки и склонилъ голову къ плечу.

Гдѣ-то быстро розовѣло. Но изъ-за сомкнувшихся всюду зеленыхъ стѣнъ видны только переливающиеся отблески на выпукломъ бѣломъ облачкѣ, задумавшемся въ зенитѣ.

Крѣпко заснулъ—кто не чувствуетъ укусовъ предутренняго холода въ разстегнутомъ лѣтнемъ платьѣ.

— Загулялъ, видно, молодецъ! Недолго здѣсь лихорадку схватить.

Старикъ и мальчикъ приостановились у перекрестка дорожекъ и ждали.

Мальчикъ посвисталъ. Потомъ перекинулъ на другое плечо пучокъ тоненькихъ зеленыхъ палочекъ.

— Спать и въ усь себѣ не дуетъ! Постель ему—казенная скамейка. Да что... никакъ баринъ?

— Какой баринъ! — недовольно сказалъ старикъ, но невольно и самъ за нимъ шагнулъ ближе къ скамейкѣ.

Около сапога что-то чернѣетъ на потемнѣвшемъ отъ сырости пескѣ.

Люди, замедлившіе на перекрестѣ, начинали безотчетно дрожать отъ холода, котораго раньше не чувствовали.

— Что же это онъ... такъ спить?.. не дыхнетъ!—Нѣшто это порядокъ—на скамейкахъ спать?!..

— А вотъ мы сторожа пошлемъ. Маршъ! Чему обрадовался?—крикнулъ сурово и негромко старикъ, косясь на темный предметъ у вытянутыхъ ногъ.

— Дяденька!.. Стой... ей Богу, стой! Никакъ это нашъ барчукъ?.. — заревѣлъ вдругъ во все горло мальчикъ. Тоненькія зеленныя палочки запрыгали вокругъ него по площадѣ.

Человѣкъ спалъ въ своей беззаботной позѣ и подъ этотъ пронзительный крикъ. Спалъ подъ шорохъ убѣгающихъ ногъ. Спалъ подъ тревожный топотъ многихъ ногъ и сдержанный гулъ многихъ голосовъ.

Птицы съ рѣдкими жалобными криками безпокойно кружились, недоумѣвая — что стало съ всегда тихой круглой площадью?

— Погодите! Я знаю, куда надо нести.

Полицейскій офицеръ, отдавшій приказаніе нести тѣло въ госпитальный пріемный покой, остановился и хмуро ждалъ старика, пробиравшагося изъ заднихъ рядовъ.

— Пеканень?.. Ты?

— Молодой баринъ Найдено-Горлецкихъ. Дача на Кленовой улицѣ.

— Онъ и есть! Теперь призналъ! — сказалъ чей-то голосъ, словно обрадованный.

Офицеръ подумалъ и приказалъ все-таки нести въ госпиталь. Пропустивъ мимо себя нестройно топчущуюся процессію, онъ накрылъ голову и крикнулъ старому садовнику:

— Пойдешь со мной.

И зашагали молча двое людей, затерянные на пустынныхъ дорожкахъ огромнаго парка.

И каждый шагъ приближалъ ихъ къ большой дачѣ, погруженной въ долгій барскій сонъ.

Тяжело повисъ и еще не шелохнулся отъ дыханія просыпающагося дня ея бѣлый съ синимъ флагъ, на длинномъ шпилѣ. Но вдругъ загорѣлось круглое слуховое окно невысокой башенки.

А на круглой площадѣ бронзоваго бога остались только тоненькія зеленныя палочки, кое-гдѣ поломанныя и втоптанныя въ сырой песокъ.

Ольга Шапиръ.



ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ

О

СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДАХЪ

П. Кропоткинъ,—С. Кравчинскій,—С. Синегубъ,
В. Девоторій-Мокріевичъ.

Литература воспоминаній о нашемъ освободительномъ и революціонномъ прошломъ имѣетъ значеніе не однихъ документальныхъ историческихъ данныхъ. Въ значительной степени мемуары объ этой—столь уже давней и столь еще близкой—эпохѣ заключаютъ въ себѣ и непосредственно литературное, а иногда и художественное значеніе. Авторами воспоминаній о минувшемъ періодѣ борьбы часто являются люди не одной смѣлой мысли, напряженного чувства и непреклонной воли, — между ними немало людей большого литературнаго таланта, проникновенной наблюдательности и художественнаго настроенія. Было бы непростительнымъ пройти мимо художественной цѣнности этихъ памятниковъ, достойныхъ русской литературы и слова. Въ бѣглыхъ очертаніяхъ мы въ настоящее время желаемъ лишь указать на нѣкоторые изъ этихъ мемуаровъ и воспоминаній: можетъ быть, литературная критика займется впоследствии и обстоятельной оцѣнкой художественнаго значенія историческихъ материаловъ объ освободительномъ и революціонномъ прошломъ.

I.

Встаютъ, какъ тѣни, далекіе образы, задумчиво таинственные, блѣдно очерченные, и тревожатъ душу своимъ безысходнымъ трагизмомъ. Иногда это даже не образы въ опредѣленныхъ рамкахъ, а отдаленныя впечатлѣнія, связанныя съ неясными представленіями; иногда это даже не тѣни, а отзвуки какихъ-то чувствъ, волновавшихъ давнымъ-давно, забытыя думы, оставшія глубокіе слѣды въ умѣ и воображеніи, — и все это помнится, какъ что-то нѣкогда пережитое и сильно, и ярко. Таковы отдѣльныя впечатлѣнія, отзвуки чувствъ и забытыя думы о людяхъ семидесятихъ годовъ. И вотъ, когда они вновь напоминаютъ о себѣ своими записками, дневниками, мемуарами, чувствуешь, что черезъ призму истекшихъ десятилѣтій эти воспоминанія, освобожденные отъ былой житейской суеты, отъ быстро мелькавшей смѣны событій и впечатлѣній, не потеряли ничего изъ того дорогого и хорошаго, что было самымъ существеннымъ въ этомъ пережитомъ общественномъ теченіи.

Самое существенное—нравственная сила идеи, воодушевлявшая людей до самопожертвованія.

Съ именами и образами первыхъ дѣятелей народническаго движенія семидесятихъ годовъ неразрывно связаны представленія о нравственной ихъ красотѣ и силѣ. Не трагическая судьба и не послѣдующія страданія создали эти представленія: нравственное начало какъ будто нераздѣльно, всецѣло, искони принадлежало этимъ людямъ еще до того, когда они вступили въ борьбу, еще до того, когда они пали въ борьбѣ. Никакая клевета, никакіе извѣты, никакія поношенія и обвиненія враговъ, „ни ошибка, ни сила, ни злоба“ не наложили на нихъ пятна и, говоря словами художника, безпощадная „житейская пошлость стлалась у нихъ ногъ“. Никакіе позднѣйшіе тактическіе промахи, политическія увлеченія, кровавыя воспоминанія не могли разрушить этой крѣпко спаянной связи между этическимъ началомъ и общественной дѣятельностью тѣхъ, кого мы считаемъ представителями освободительнаго движенія тридцать и болѣе лѣтъ тому назадъ. „А у жизни есть мрачныя силы,—у кого не слабли шаги передъ дверью тюрьмы и могилы“!..

Однимъ изъ наиболѣе сильныхъ талантовъ, моральнымъ ориентиромъ и волевой выдержкой въ группѣ раннихъ дѣятелей семидесятихъ годовъ былъ П. Кропоткинъ. Воспоминанія его—

„Записки революціонера“ — проникли въ Россію легально только въ прошломъ году. Отъ ранняго дѣтства почти до конца восьмидесятихъ годовъ можемъ мы прослѣдить по нимъ развитіе и дѣятельность этой единственной въ своемъ родѣ личности. Потомокъ Мстиславовъ, князей новгородскихъ и смоленскихъ, характерныхъ представителей удѣльно-вѣчевого строя древней Руси, родившійся въ 1842 году въ Москвѣ, выросшій въ самой барской обстановкѣ, камеръ-юнкеръ имп. Александра II-го, одинъ изъ лучшихъ изслѣдователей Сибири и Средней Азіи, выдающійся ученый-специалистъ и талантливый ученый-энциклопедистъ, князь, отдавшій все свое имѣніе и средства на общее дѣло и промѣнявшій обезпеченность на рабочую сермагу, арестантъ, бѣглець и изгнанникъ, одинъ изъ бывшихъ видныхъ анархистовъ-теоретиковъ, — вотъ кто Петръ Кропоткинъ, какъ личность общественная. Въ „Запискахъ“ онъ стоитъ передъ нами во весь ростъ — задумчивый, мыслящій, страдающій, простой и сердечный къ людямъ, восторженный и вѣрующій въ ихъ лучшее будущее. Нѣжная мягкость сѣвезитъ у него во всемъ, — ведетъ ли онъ насъ въ домъ рабочаго труженика, или въ петербургскій салонъ, или въ комнату для крѣпостной прислуги, или на сходку революціонеровъ. — И если авторъ встрѣчается съ чѣмъ-нибудь злымъ, пошлымъ, онъ отводитъ свой взоръ, полный тоски и негодованія, и добавляетъ отъ себя: „лучше объ этомъ не говорить“, или: „чѣмъ меньше объ этомъ говорить, тѣмъ лучше“...

Первыя двѣ части „Записокъ“ — „Дѣтство“ и „Пажескій корпусъ“ — охватываютъ тотъ же періодъ, что и знаменитая трилогія: „Дѣтство, отрочество и юность“ гр. Л. Н. Толстого. Но поэтическое произведеніе Толстого имѣетъ иную цѣль: это — утонченный анализъ развитія дѣтской души, такъ сказать, художественный трактатъ по психогенезису, онъ имѣетъ иную цѣну, чѣмъ сжатые и иногда отрывочныя воспоминанія Кропоткина. Но невольно приходитъ на умъ параллель между двумя этими большими баричами въ юные годы, а въ зрѣлые — людьми идеи и преклоненія передъ народнымъ горемъ, наконецъ, людьми „опрощенія“, отвергшими все, чѣмъ горды были близкіе ихъ, и создавшими свой міръ, полный могущественной мысли, дерзостныхъ рѣшеній и красивой, трогательной поэзіи. Въ этомъ ихъ сходство при громадномъ различіи въ конечныхъ выводахъ, къ которымъ пришли оба тревожные сына русской земли. При неменьшемъ различіи по характеру и силѣ талантовъ, есть, однако, много сходства и въ ихъ воспоминаніяхъ. То, что у великаго художника изображено рельефными картинами, гдѣ вымыселъ,

факты действительности, поэтическия впечатлѣнія ребенка и юноши переплетаются съ позднѣйшими психологическими соображеніями и аналитическими разсужденіями, то въ повѣствованіи общественнаго дѣателя разсказано кратко, просто, но такъ отчетливо и сильно, что „былое и думы“, переданныя безъ вымысла, безъ поэтическихъ прикрасъ, рѣзко запечатлѣваются въ сознаніи читателя. Образъ любящей матери, рано оставившей Кропоткиннхъ сиротами, столь же обаятеленъ, какъ и грустная тѣнь Наташи Николаевны Иртеневой, умершей, когда автору „Дѣтства“ не было 11-ти лѣтъ. Кропоткинъ говоритъ о своей матери, что все его дѣтство перевито воспоминаніями о ней.

„Какъ часто гдѣ-нибудь въ темномъ корридорѣ,—пишетъ онъ,—рука двороваго ласкала меня или брата Александра. Какъ часто крестьянка, встрѣтивъ насъ въ полѣ, спрашивала: „Выростете ли вы такими же добрыми, какою была ваша мать? Она насъ жалѣла, а вы будете жалѣть?“—„Насъ“—означало, конечно, вѣрнопостныхъ. Не знаю, что было бы съ нами, еслибы мы не нашли въ нашемъ домѣ, среди дворовыхъ, ту атмосферу любви, которой должны быть окружены дѣти. Мы были дѣти нашей матери; мы были похожи на нее; и въ силу этого вѣрнопостные осыпали насъ заботами, подчасъ въ крайне трогательной формѣ“.

Въ изображеніи вѣрнопостныхъ у Кропоткина, вообще, больше мягкости и задушевности, чѣмъ въ трилогіи Толстого, потому что здѣсь центръ интереса (у Толстого—исключительно свое личное я) перенесенъ на тѣхъ горемычныхъ, которыхъ такъ любить и жалѣть рассказчикъ. Всѣ эти музыканты въ домѣ Кропоткиннхъ, они же—дворяне (портной—валторнъ, помощникъ дворецкаго—настройщикъ, кондитеръ—барабанъ, ламповщикъ и полотеръ—антука на конترъ-басъ и др. инструментахъ, и т. д.), во время обѣда стоявшіе за спинами баръ „скрипки, тромбоны и трубы“, этотъ прислуживающій за столомъ только-что высѣченный Макаръ, Андрей—портной, горничная Поля, застрѣлившійся Саша—докторъ, Герасимъ Кругловъ—вѣрнопостной Гараська, окончившій съ золотой медалью земледѣльческое училище, будущая научная гордость Россіи, какъ полагали его учителя, сданный въ солдаты за отстаиваніе уваженія къ своей личности, выслужившійся и ставшій потомъ письмоводителемъ, воротилой въ военномъ министерствѣ, забывшій надѣвательства барина и давшій возможность Кропоткину-отцу получить генеральство, надѣтъ красные штаны и каску съ плюмажемъ; Маша, хитростью заставившая суевѣрнаго помѣщика исполнить

свое слово и дать ей „вольную“ (въ противоположность рабской преданности и покорности Натальи Савишны Толстого), — всѣ эти крѣпостныя „души“ встаютъ яркими образами передъ читателемъ. Подобно тому, какъ у Толстого, проходятъ передъ нами отецъ Кропоткина — типичный московскій баринъ и николаевскій офицеръ муштровки и парадовъ, едва-ли когда и участвовавшій въ сраженіи, но „обожавшій мундиръ и презиравшій штатскихъ“; гувернеръ *m-sieur* Пулѣнъ и гувернантка Бурманъ; характерныя черты времени въ родѣ „приказовъ“ Кропоткина — отца бурмистрамъ, „маршрутовъ“ семьѣ въ формѣ военныхъ приказовъ, свадьбы крѣпостныхъ по распоряженію помѣщика, дворянскіе нравы и прихоти, крестьянскія злобы и бѣдствія и т. д. И все рассказанное у П. Кропоткина не является плодомъ художественной концепціи, вымысла, — не то, что онъ слышалъ, а то, „что самъ видѣлъ и зналъ“.

Интересно сравнить отношенія младшаго Иртеньева трилогіи къ своему старшему брату Володѣ — и П. Кропоткина къ брату Александру. Володя Иртеньевъ, какъ изображаетъ его Л. Толстой, былъ довольно пошловатый, особенно въ юности, барченокъ. Большихъ симпатій, казалось бы, онъ не могъ внушить младшему брату, которому, однако, импонировалъ: Николенька старался подражать ему, часто завидовалъ, но дружескихъ и сердечныхъ отношеній между братьями не было, — слишкомъ они оба были эгоистами и самолюбивыми молодыми людьми. Счастливѣе оказался Кропоткинъ: старшій братъ его Саша былъ чуткій, вдумчивый, мягкій юноша; рѣдкая дружба связывала эти два ума и сердца. Когда П. Кропоткину пришлось оставить Москву, гдѣ въ кадетскомъ корпусѣ учился Александръ, онъ изъ пажекаго корпуса велъ дѣятельную переписку съ братомъ. Это были не только искреннія братскія письма, — въ нихъ продолжалось глубокое умственное общеніе двухъ ищущихъ правды и знанія душъ. Главной темой ихъ переписки былъ вопросъ о выработкѣ міросозерцанія: они писали другъ другу о религіозныхъ вопросахъ, о кантіанскомъ критицизмѣ, о дарвиновской теоріи, о вопросахъ политико-экономическихъ, о выборѣ и покупкѣ книгъ (почти всѣ свои небольшія карманныя деньги братья тратили на книги), о томъ, что слѣдуетъ прочесть изъ художественной и научной литературы. Лѣтомъ братское общеніе поддерживалось свиданіями. Когда въ одно лѣто разгнѣванный отецъ задержалъ старшаго сына въ интернатѣ корпуса, пріѣхавшій въ Москву Петръ былъ крайне огорченъ и несчастенъ. На выручку пришли дворовые. Они устроили, подъ опасеніемъ страшныхъ наказаній, тайныя

свиданія братьевъ въ людской и, какъ зѣнцу ока, оберегали ночныя бесѣды юношей. Живыя и трогательныя воспоминанія сохранилъ объ этихъ свиданіяхъ Кропоткинъ (стр. 91—93) ¹⁾.

Прекрасна обрисовка авторомъ „Записокъ“ нашего московскаго С.-Жерменскаго предмѣстья въ концѣ 40-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ прошлаго вѣка. Тогда, въ былое время, ни одна, быть можетъ, изъ частей Москвы не была такъ типична, какъ лабиринтъ чистыхъ, спокойныхъ и извилистыхъ улицъ и переулковъ, раскинувшійся за Кремлемъ, между Арбатомъ и Пречистенкой, извѣстный подъ названіемъ Старой Конюшенной. Около шестидесяти лѣтъ тому, тутъ жило и медленно вымирало старое московское дворянство. Въ молодые годы большинство изъ нихъ пыталось счастье на государственной, большею частью военной, службѣ. Но въ силу тѣхъ или другихъ причинъ вскорѣ оставляло ее, не добравшись до высокихъ чиновъ. Однако, въ какой бы дальній уголъ Россіи ихъ ни забросила служба, родовитые дворяне всѣ какъ-то ухитрились доживать старыя годы въ собственномъ домѣ, въ Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, гдѣ ихъ крестили и гдѣ отпѣвали родителей и т. д. (см. стр. 2—4 и др.). Но прошло четверть вѣка. И слѣдуя по знакомымъ съ дѣтства улицамъ за гробомъ почившаго отца, Петръ Кропоткинъ видѣлъ, какъ мало измѣнились дома, но зналъ, что въ каждомъ изъ нихъ началась новая жизнь.

„Вотъ домъ,—говоритъ онъ,—принадлежавшій матери моего отца, затѣмъ—княгинѣ Мирской, а потомъ старожилу Старой Конюшенной—генералу Н. Единственная его дочь упорно боролась два года съ добродушными, боготворившими ее, но упрямыми родителями изъ-за разрѣшенія посѣщать высшіе курсы. Наконецъ, дѣвушка побѣдила; но ее отправляли на курсы въ элегантной каретѣ, подъ надзоромъ маменьки, которая мужественно высиживала часы на скамейкахъ аудиторіи, вмѣстѣ со слушательницами, рядомъ съ любимой дочкой. И, несмотря на бдительный надзоръ, дочь черезъ годъ или два присоединилась къ

¹⁾ Неразрывная, тѣсная дружба связывала братьевъ до самой грустной кончины старшаго: Александръ Кропоткинъ одновременно съ братомъ въ 1867 году оставилъ военную службу, жилъ въ Петербургѣ своимъ трудомъ, занимался науками, переселился въ Цюрихъ, гдѣ работалъ надъ дополненіями къ „Système de la Nature“ Гольбаха. Узнавъ, въ 1874 г., объ арестѣ Петра К., онъ бросилъ все и пріѣхалъ, чтобы помочь брату, въ Петербургъ, гдѣ самъ былъ арестованъ, сосланъ въ Минусинскъ, потомъ въ Томскъ. Въ Сибири онъ особенно много занимался астрономіей, приобрѣлъ извѣстность среди европейскихъ ученыхъ изслѣдованіями о звѣздныхъ туманностяхъ. Тамъ, въ ссылкѣ и умеръ Александръ Кропоткинъ въ 1886 году.

революціонному движенію, была арестована и просидѣла цѣлый годъ въ Петропавловской крѣпости. Вотъ напротивъ домъ графини Z. Двѣ дочери, которымъ опротивѣла безполезная, безцѣльная, праздная жизнь, долго боролись съ родителями-самодурами изъ-за разрѣшенія присоединиться къ другимъ дѣвушкамъ, посѣщавшимъ курсы и чувствовавшимъ себя тамъ столь счастливыми. Борьба продолжалась нѣсколько лѣтъ. Родители не уступали. Въ результатѣ старшая сестра отравилась; тогда только младшей разрѣшили поступать, какъ ей угодно. А вотъ и домъ, гдѣ мы прожили когда-то годъ. Здѣсь состоялось первое засѣданіе революціоннаго кружка, который мы съ Чайковскимъ основали въ Москвѣ. Я тотчасъ узналъ комнаты, памятные мнѣ съ дѣтства при совершенно другой обстановкѣ. Домъ принадлежалъ теперь роднымъ Наталіи Армфельдтъ, трогательный портретъ которой далъ Кеннанъ, видѣвшій ее въ вольной командѣ на Карѣ. А вотъ еще въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома, въ которомъ скончался отецъ, небольшой сѣренькій домъ, гдѣ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти отца, я встрѣтилъ Степняка (С. Кравчинскаго), переодѣтаго мужикомъ. Онъ только-что былъ арестованъ въ деревнѣ за социалистическую пропаганду среди крестьянъ, но успѣлъ бѣжать и пріѣхать въ Москву.

Такия-то перемѣны произошли въ барскомъ кварталѣ Старой Конюшенной за эти годы. „Крѣпость стараго дворянства и та не выдержала напора молодыхъ силъ“.

II.

Во многомъ преимущества, не говоря уже о художественномъ планѣ и выполненіи, остаются на сторонѣ трилогіи Л. Толстого, но сравненіе нисколько не умаляетъ того живого интереса, тѣхъ яркихъ красокъ, которыя долгое время не сотрутся съ картинъ дѣтства, изображенныхъ Кропоткинымъ. Юность же, проведенная то въ пажескомъ корпусѣ, то въ деревнѣ, содержательнѣе въ изображеніи послѣдняго, чѣмъ „Юность“ Толстого, если оставить психологическія тонкости анализа: такъ же содержательнѣе была и жизнь кадета Кропоткина сравнительно съ бытомъ студента Иртеньева. Кропоткинъ уже тогда вступилъ въ болѣе близкое непосредственное общеніе съ народомъ, о чемъ онъ рассказываетъ въ главѣ объ ярмаркѣ въ родномъ селѣ Никольскомъ и сдѣланномъ описаніи ея;—это была первая статистическая работа семнадцатилѣтняго юноши. Досугъ Кропоткина въ пажескомъ

корпусъ наполняли серьезныя занятія и переписка съ братомъ. Любимыми его предметами были математика, физика и астрономія, но кругъ работы не ограничивался ими: юный кадетъ интересовался вопросами нѣмецкой, англійской и французской философіи, всеобщей исторіи (даже по первоисточникамъ), работалъ въ Публичной библіотекѣ, ходилъ въ Эрмитажъ и изучалъ тамъ картины, одну школу за другой, или же посѣщалъ ткацкія фабрики, литейные, хрустальные и гранильные заводы. Характерны для будущаго защитника рабочихъ интересовъ впечатлѣнія, вынесенныя Кропоткинымъ изъ этихъ посѣщеній. „Я,—говоритъ онъ,—пріобрѣлъ тогда любовь къ могучимъ и точнымъ машинамъ. Я понялъ поэзію машинъ, когда видѣлъ, какъ гигантская паровая лапа, выступившая изъ лѣсопильного завода, вылавливаетъ бревно изъ Невы и плавно подкладываетъ его подъ машину, которая распиливаетъ стволъ на доски, или же смотрѣлъ, какъ раскаленная до-красна желѣзная полоса, пройдя между двумя цилиндрами, превращается въ рельсъ. Въ современныхъ фабрикахъ личность убиваетъ работника. Онъ превращается въ пожизненнаго раба извѣстной машины и никогда уже не бываетъ ничѣмъ инымъ. Но это лишь результатъ неразумной организаціи, и виновна въ этомъ случаѣ — не машина. Чрезмѣрная работа и безконечная ея монотонность одинаково вредны съ ручнымъ орудіемъ и машиной. Если же уничтожить переутомленіе, то мнѣ вполне понятно удовольствіе, которое можетъ доставить человѣку сознаніе мощности его машины, цѣлесообразный характеръ его работы, изящность и точность каждаго ея движенія“...

Между тѣмъ приближалось окончаніе курса. Передъ самымъ выпускомъ П. Кропоткина и его товарищей произошелъ знаменитый пожаръ Апраксина рынка, что противъ пажескаго корпуса (26 и 27 мая 1862 года). Пажи, и между ними особенно Кропоткинъ, принимали дѣятельное участіе въ тушеніи грандіознаго пожара: живое и сильное описаніе бѣдствія и его послѣдствій для общественно-политической жизни читатель найдетъ на страницахъ воспоминаній (141—149). „А черезъ двѣ недѣли, 13-го іюня,—пишетъ Кропоткинъ,—наступилъ, наконецъ, день, котораго пажи и кадеты дожидались съ такимъ нетерпѣніемъ. Александръ II произвелъ намъ родъ короткаго экзамена въ военныхъ построеніяхъ. Мы командовали ротами, а я гарцовалъ на конѣ впереди батальона (К—нъ былъ первымъ ученикомъ, фельдфебелемъ корпуса и пажомъ при самомъ императорѣ). Затѣмъ насъ всѣхъ произвели въ офицеры. Когда па-

радъ кончился, Александръ II громко скомандовалъ: „Произведенные офицеры, во мнѣ!“ Мы окружили его. Царь остался на конѣ. Тутъ я увидѣлъ Александра II въ совершенно новомъ для меня свѣтѣ. Началъ онъ въ спокойномъ тонѣ: „Поздравляю васъ, вы теперь офицеры!“ Онъ говорилъ о военныхъ обязанностяхъ и о вѣрности государю, какъ это всегда говорится въ подобныхъ случаяхъ. Но затѣмъ лицо его внезапно исказилось гнѣвомъ, и онъ началъ говорить, отчеканивая каждое слово: „Но если, чего Боже сохрани, кто-нибудь изъ васъ измѣнитъ царю, престолу и отечеству, я поступлю съ нимъ по всей стро-го-сти закона, безъ мал-лѣйшаго по-пу-щенія“. Объ этомъ прощаніи авторъ „Записокъ“ вспомнилъ почти черезъ двадцать лѣтъ, именно — послѣ смерти императора. „Такъ кончилась трагедія Александра II. Многіе не понимали, какъ могло случиться, чтобы царь, сдѣлавшій такъ много для Россіи, палъ отъ руки революціонеровъ. Но мнѣ пришлось видѣть первыя реакціонныя проявленія Александра II и слѣдить за ними, какъ они усиливались впослѣдствіи; случилось также, что я могъ заглянуть въ глубь его сложной души, увидеть въ немъ прирожденнаго самодержца,—человѣка сильныхъ страстей, но слабой воли,—и для меня эта трагедія развивалась съ фатальной послѣдовательностью Шекспировской драмы. Послѣдній ея актъ былъ ясенъ для меня уже 13 іюня 1862 года, когда я слышалъ рѣчь, полную угрозъ, произнесенную царемъ передъ нами, только-что произведенными офицерами, въ тотъ день, когда по его приказу совершились первыя казни въ Польшѣ“.

Изъ пажескаго корпуса П. Кропоткинъ вышелъ уже съ опредѣленными убѣжденіями, результатомъ долгой работы надъ собой, глубокихъ думъ и серьезныхъ научныхъ занятій по философіи, политической экономіи, исторіи и особенно по высшей математикѣ, физикѣ и химіи. Пять лѣтъ службы въ Сибири въ званіи военнаго, но преимущественно — научной работы тамъ (К—нъ отказался служить въ гвардіи), столько же лѣтъ ученой работы въ Петербургѣ (1867—1872) въ качествѣ то студента физико-математическаго факультета, то изслѣдователя по геологіи и географіи (онъ былъ дѣятельнѣйшимъ членомъ „Русскаго Географическаго Общества“ и осенью 1871-го года отказался ради общественной дѣятельности отъ почетнаго званія секретаря общества) окончательно сформировали мировоззрѣніе и нравственную личность Кропоткина, опредѣлили *цѣль его жизни*, которой онъ не измѣнялъ уже никогда (см. III-ю и IV-ю части мемуаровъ). Кропоткинъ зналъ, что наука — „великое дѣло“;

онъ зналъ радости, доставляемыя ею; онъ зналъ поэзію научной работы, когда то, что въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ казалось хаотическимъ, противорѣчивымъ и загадочнымъ, сразу принимаетъ опредѣленную гармоническую форму, когда „изъ дикаго смѣшенія фактовъ, изъ-за тумана догадокъ—возникаетъ величественная картина, обобщеніе крѣпнетъ и расширяется, а дальше глазъ открываетъ очертанія новыхъ и еще болѣе широкихъ обобщеній“... Но Кропоткинъ созналъ, что онъ не имѣетъ права на всѣ эти высшія радости, когда вокругъ него—гнетущая нужда и мучительная борьба за черствый кусокъ хлѣба, когда все, затраченное имъ, чтобы жить въ мірѣ высокихъ душевныхъ движеній, неизбежно должно быть вырвано изъ рта сѣющихъ пшеницу для другихъ и не имѣющихъ достаточно чернаго хлѣба для собственныхъ дѣтей. Знаніе—могучая сила. Человѣкъ долженъ овладѣть имъ. Но мы и теперь уже знаемъ много. Что если бы это знаніе, и только это, стало достояніемъ всѣхъ? Развѣ сама наука тогда не подвинулась бы быстро впередъ? И сколько новыхъ изобрѣтеній сдѣлаетъ тогда человечество, и насколько увеличитъ оно тогда производительность общественнаго труда! Грандіозность этого движенія впередъ мы даже теперь уже можемъ предвидѣть. Массы хотятъ знать; онѣ хотятъ учиться; онѣ могутъ учиться (стр. 217—218). „Вотъ въ какомъ направленіи мнѣ слѣдуетъ работать“,—рѣшилъ Кропоткинъ и пошелъ своей дорогой: отказался не только отъ своего привилегированнаго положенія, но и отъ любимой научной работы ради того, чтобы жить и работать среди трудящихся.

Конецъ четвертой части „Записокъ“—прекрасная и вѣрная, сжатая и образная характеристика общественно-народническаго движенія начала семидесятыхъ годовъ; пятая часть—арестъ въ 1874 г., тюрьма, удачный побѣгъ лѣтомъ 1876-го года; шестая часть—десятилѣтняя работа за-границей въ интернаціоналѣ и революціонной литературѣ ¹⁾,—написаны онѣ съ тою же силою и яркостью и вызываютъ тотъ же глубокий интересъ, какъ воспоминанія дѣтства, ранней и поздней юности. Поэтому опредѣленіе, прилагаемое часто къ Кропоткину, какъ къ „великому агитатору“, слишкомъ узко: передъ нами прежде всего *философъ*, умный, любящій, искренній, сильный своей вѣрою и убѣжденіями, человѣкъ пророческой мысли и экстаза, крупнаго литературнаго таланта и художественнаго настроенія.

¹⁾ Кропоткинъ довелъ свои воспоминанія до конца 1886 г. Къ V и VI-ой частямъ дополненіемъ служить его же книга „По русскимъ и французскимъ тюрьмамъ“.

III.

„Подпольная Россія“ С. Кравчинскаго (С. Степняка) представляетъ воспоминанія о русскомъ революціонномъ движеніи, во многомъ отличныя отъ „Записокъ“ Кропоткина и по содержанию, и по формѣ. Да и самъ авторъ ихъ—фигура своеобразная, не схожая съ философомъ-революционеромъ. Сергѣй Михайловичъ Кравчинскій родился въ 1851 году и былъ офицеромъ-артиллеристомъ, когда бросилъ службу въ 1871 году, вступилъ въ кружокъ „чайковцевъ“ и весь отдался общественнымъ дѣламъ. По натурѣ онъ былъ крайній индивидуалистъ, по наклонностямъ — *романтикъ революціи*, человекъ широкаго размаха мысли, горячаго сердца и желѣзной воли. Судьба переносила Кравчинскаго изъ края въ край, — однимъ изъ первыхъ ушелъ онъ въ пропаганду среди народа лѣтомъ 1873 года; по счастливымъ случайностямъ не изведавши тюрьмы въ Россіи, онъ побывалъ въ 1876 году въ Герцеговинѣ, гдѣ писалъ воззванія къ возставшимъ славянамъ; въ 1877 году сошелся съ итальянскими социалистами, принималъ участіе въ беневентскомъ возстаніи, сидѣлъ въ итальянскихъ тюрьмахъ; весною 1878 года возвратился въ Петербургъ, гдѣ по собственному почину взялъ на себя отмщеніе шефу жандармовъ Мезенцеву за отношеніе къ политическимъ заключеннымъ и усиленіе кары послѣ умѣреннаго судейскаго приговора по дѣлу 193-хъ. Послѣ убійства Мезенцева, 4-го августа 1878 года, едва удалось друзьямъ выпроводить Кравчинскаго за-границу, гдѣ онъ прожилъ до 1895 г., когда случайно погибъ въ Лондонѣ, убитый поѣздомъ желѣзной дороги. За-границей Кравчинскій занимался преимущественно литературнымъ трудомъ и сталъ широко извѣстенъ въ революціонныхъ кругахъ, какъ выдающійся писатель, и въ пролетарскихъ кругахъ, какъ ораторъ-импровизаторъ. Онъ обладалъ несомнѣннымъ художественнымъ талантомъ: въ его воспоминаніяхъ и беллетристическихъ произведеніяхъ отразились своеобразныя черты этой крупной по таланту и энергіи личности. Въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ онъ сумѣлъ дать яркія картины революціонной жизни,—говоритъ его другъ и биографъ Л. Шипко, — какія могъ дать только человекъ, долго жившій въ самомъ ея центрѣ, и сумѣлъ передать внутреннюю психологическую сторону русскаго революціоннаго движенія, какъ могъ это сдѣлать только человекъ, самъ пережившій и пере-

чувствовавший самые сильные и глубокие впечатления революционной жизни в один из ее наиболее тревожных и драматических периодов.

„Подпольная Россія“ Кравчинскаго—не мемуары в точномъ смыслѣ этого слова, а рядъ разнообразныхъ статей, очерковъ и этюдовъ, на первый взглядъ, по литературной обработкѣ, скорѣе беллетристическихъ, чѣмъ историческихъ. Даже во вступительномъ очеркѣ, гдѣ въ самыхъ общихъ чертахъ излагается исторія всего движенія отъ нигилизма черезъ народническую пропаганду къ терроризму, а также, въ заключительныхъ главахъ книги, когда авторъ пытается „взглянуть на этотъ бурный періодъ безъ пристрастія и партіозности, какъ подобаетъ историку, желающему извлечь изъ прошлаго опыта полезный урокъ для настоящаго“, даже тогда онъ не можетъ отказаться отъ художественныхъ пріемовъ. Въ образной формѣ рисуетъ С. Степнякъ передъ нами, напримѣръ, положеніе русскаго мыслящаго, ищущаго правды юноши на распутьѣ,—мы приведемъ данный отрывокъ въ извлеченіи, такъ какъ онъ вообще можетъ характеризовать приподнятый, напряженный стиль автора—апологета семидесятыхъ годовъ. „И до его (юноши) слуха долетаетъ пѣсня русскаго крестьянина, созданная вѣками страданій, нищеты, угнетенія; вотъ онъ стоитъ передъ нимъ, этотъ „святель и хранитель“ русской земли, подавленный безысходнымъ трудомъ и нуждою, вѣчный рабъ то баръ, то чиновниковъ, то своего же брата кулака“. Никто не подаетъ и не подастъ ему руку помощи... „Никто? Такъ нѣтъ же, нѣтъ!—воскликаетъ Кравчинскій—юноша знаетъ теперь, что ему дѣлать. Онъ протянетъ крестьянину свою руку, онъ покажетъ ему путь къ свободѣ и счастью. Его сердце переполняется любовью къ этому бѣдному страдальцу, и съ пылающимъ взоромъ онъ произноситъ въ глубинѣ своей души торжественную клятву—посвятить всю свою жизнь, всѣ свои силы, всѣ помышленія освобожденію родного народа, который все терпитъ, чтобы доставить ему, баловню судьбы, возможность жить въ довольствѣ и роскоши, учиться, наслаждаться искусствами. Онъ сброситъ съ себя свой барскій нарядъ, прикосновеніе котораго жжетъ его тѣло, надѣнетъ грубый крестьянскій армякъ и лапти, покинувъ богатый домъ родныхъ, въ которомъ ему душно, какъ въ тюрьмѣ, онъ отправится въ народъ, въ какую-нибудь затерянную въ глуши деревушку, и тамъ, слабый и изнѣженный барченокъ, онъ будетъ исполнять тяжелую крестьянскую работу, подвергать себя всевозможнымъ лишеніямъ, чтобы только внести въ эту несчастную среду слово

утѣшенія. Что для него ссылка, Сибирь, смерть? Весь поглощенный своей великой идеей, лучезарной, живительной, какъ благодатное солнце юга, онъ презираетъ страданіе и самую смерть готовъ встрѣтить съ улыбкой блаженства на лицѣ". Такъ появился народникъ-пропагандистъ 1872—1874 годовъ.

Другіе отдѣлы воспоминаній Кравчинскаго — „Революціонные профили“ Стефановича, Д. Клеменца, Лизогуба, Осинскаго, П. Кропоткина, Перовской, В. Засуличъ, Гельфманъ — носятъ чисто художественный характеръ, а „Очерки изъ жизни революціонеровъ“ — Московскій подкопъ, Два побѣга, Укрыватели, Тайная типографія, даже „Побѣдка въ Петербургъ“ въ мартѣ 1881-го года — прямая беллетристика, принимающая иногда фельетонный характеръ: историческій разсказъ идетъ живо, бойко, переплетается съ остроумными замѣчаніями, лирическими отступленіями, субъективными выходками, горячими увѣреніями, нервными вспышками поэтическаго, возбужденнаго настроенія. Не ищите въ книгѣ С. Степняка точной передачи фактовъ — ея нѣтъ; не ищите систематическаго, послѣдовательнаго изложенія событій — оно отсутствуетъ. Ищите въ ней художественныхъ впечатлѣній и найдете картины, полныя огня и блеска, тревожныя и сильныя, найдете образы былыхъ героевъ, набросанные смѣлой рукой художника, болѣе ясно обрисовывающіе характеръ революціоннаго движенія и его дѣятелей, чѣмъ многіе томы документальныхъ источниковъ.

Таковы же, какъ воспоминанія, и революціонныя брошюры Кравчинскаго для народа, и совершенно беллетристическія его произведенія. Онъ — авторъ „Сказки о копейкѣ“, „Хитрой механики“ и др. нелегальныхъ листовъ, а затѣмъ — „Штундиста Павла Руденко“, „Андрея Кожухова“ и „Домика на Волгѣ“. Мы остановимся только на двухъ послѣднихъ повѣствованіяхъ, по сюжетамъ столь близкихъ къ его воспоминаніямъ.

„Андрей Кожуховъ“ — романъ изъ эпохи семидесятыхъ годовъ — отражаетъ въ себѣ и достоинства, и главные недостатки беллетристически-публицистическаго таланта Кравчинскаго. — Въ Женевѣ политическіе эмигранты получаютъ изъ Россіи письмо отъ революціоннаго дѣятеля и литератора Жоржа о разгромѣ и потеряхъ въ революціонной партіи. Нужна помощь, общій подъемъ настроенія и дѣла, освобожденіе заключенныхъ соратниковъ. Эмигрантъ Андрей Кожуховъ, не взирая на крайній рискъ и опасности, переправляется въ Россію. Какъ въ первомъ невольнo подмѣчаешь черты самого автора, такъ въ общихъ абрисахъ второго мимо воли вспоминается знаменитый народо-

волецъ Н. А. Морозовъ. На всѣ дальнѣйшія происшествія и приключенія Андрея Кожухова и его друзей въ Россіи наложены сгущенныя краски; фактическія данныя разныхъ дѣлъ по пропагандѣ семидесятыхъ годовъ, по освобожденію товарищей 78 — 80 годовъ, по террору 79-го года сдвинуты къ одному пункту, съ нарушеніемъ строгой исторической перспективы, въ угоду беллетристической формѣ произведенія и возбужденнаго, нервнаго настроенія автора. Особенно страдаетъ отсутствіемъ фактической точности описаніе послѣднихъ дней революціонеровъ и казни ихъ послѣ неудачной попытки освобожденія (сцена нападенія на конвой, казнь женщины ранѣе 3-го апрѣля 1881 г.), а также заключительный рассказъ Романа о покушеніи на „высокаго сановника“ (событіе 2-го апр. 1879-го г.) и предшествующія ему сцены. Во многихъ частяхъ это произведеніе слишкомъ романтически изображаетъ происшествія и похождения. Таковы прежде всего многіе герои и героини повѣствованія — нѣсколько приподнятые на высоту, излишне идеализованные и характеризующіеся рѣзкими чертами, разрисованные иногда кричащими красками. Но весь романъ Степняка читается съ извѣстнымъ интересомъ, создаетъ настроеніе — особенно, напримѣръ, тамъ, гдѣ рассказывается объ охватившей всю душу преданности дѣлу и равной ей беззаветной любви Зины и Бориса, гдѣ передается о героической любви Тани Рѣпиной къ Кожухову, ея самоотверженіи и душевной борьбѣ передъ сознательной жертвой и гибелью мужа. Всѣ эти силуэты, какъ и либерала-старика Рѣпина, фанатика Зацѣпина, находчиваго и изобрѣтательнаго Василія Вербицкаго, смѣлаго Бочарова, „дѣлателя бомбъ“ Заики, простодушныхъ и геройскихъ сестеръ Дудоровыхъ, мягкой сердцемъ, поэтической Анны Вуличъ и др., — несмотря на бенгальское освѣщеніе, внесенное въ изображеніе обстановки и повышенныхъ тревожныхъ чувствъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, всѣ они приковываютъ вниманіе и значительно уясняютъ общій основной фонъ, озаряютъ сферу, въ которой разыгрывались напряженные и кровавыя событія конца 70-хъ годовъ. И надо при этомъ сказать, что если передъ нами въ романѣ не проходятъ опредѣленные революціонные дѣятели и дѣятельницы, то во всякомъ случаѣ вырисованы они типично, а нѣкоторые носятъ весьма большое сходство съ дѣйствительными лицами, извѣстными по другимъ рассказамъ и воспоминаніямъ, — напримѣръ, Давидъ Стерня, Лена Зубова, Ватажко и др.

Вотъ въ краткихъ чертахъ болѣе романъ, чѣмъ хроника

революціоннаго движенія, написанный Кравчинскимъ. Гораздо проще написана его небольшая повѣсть „Домикъ на Волгѣ“.

Это—разсказъ о томъ, какъ радикалъ Владиміръ Петровичъ Муриновъ ¹⁾ разрушилъ одинъ домикъ на берегу великой русской рѣки. Бѣжавшій отъ властей, онъ нашелъ пріютъ среди уединенно жившихъ — старушки Прозоровой, ея дочери Кати, няни и др. Его приняли душевно, какъ друга Вани, сына и брата хуторянокъ, находившагося въ Петербургѣ и привлеченнаго Муриновымъ въ ряды революціонныхъ дѣятелей. Владиміръ Петровичъ привлекъ въ эти ряды и Катю, ушедшую къ нему съ далекихъ береговъ, и „въ домикъ на Волгѣ уже никто не живетъ. Окна заколочены досками, потому что новый хозяинъ, мѣщанинъ-огородникъ, находилъ невыгоднымъ отоплать такую хормину и ютился съ женой и сыномъ во флигельѣ. Няня умерла, и старуха Прозорова, не выдержавъ одиночества, распродала все и переехала къ незамужней сестрѣ“. Однако, ведетъ этотъ печальный разсказъ Кравчинскій такъ тонко и умѣло, избѣгая съ тактомъ шаблонной пошлости, не прибѣгая къ грубымъ краскамъ въ изображеніи, напимѣръ, жениха Кати, чиновника особыхъ порученій Крутикова, котораго она бросила, что примиряетъ съ этимъ разрушеніемъ благодушно существовавшаго гнѣзда, ради „борцовъ за миръ и счастье миллионѣ другихъ гнѣздъ“. Выдуманными и сочиненными только кажутся якобы горячія, призывныя рѣчи Муринова, обращенныя къ Катѣ, изъ которыхъ она можетъ припомнить, въ роковую для нея минуту, только неудачныя, вымученныя фразы въ родѣ: „не имѣть ничего своего; дѣлить все; быть какъ одна душа и вмѣстѣ служить другимъ; отречься отъ себя; не имѣть другой думы; душу свою положить“... и т. п. Но какъ прекрасны зато описанія природы — придорожнаго пути въ сентябрьскую ночь, хвойнаго лѣса, изображенія душевнаго настроенія Муринова, когда онъ задумчиво шелъ по дорогѣ, внизъ по рѣкѣ, когда „все, что произошло за недѣлю, было для него прошлымъ, какъ онъ думалъ, невозможнымъ прошлымъ, которое уже окрашивалось нѣжными цвѣтами убѣгающаго воспоминанія“...

¹⁾ Описаніе героя совпадаетъ во многомъ съ характеристикой въ „Подпольной Россіи“ В. А. Осинскаго, главнаго героя перваго громкаго политическаго процесса въ Кіевѣ въ 1879-мъ году.

IV.

Что может быть возмутительнее исторіи молодого человѣка, двадцатилѣтняго радикала, искусно и сознательно продѣлывающаго комедію „фиктивного брака“?

Осенью 1872-го года ѣдетъ онъ изъ Петербурга, по настоянію и указаніямъ одной изъ участницъ радикальнаго обществія, такъ называемой „коммунѣ“, въ глушь невѣдомой ему Вятской губерніи, гдѣ встрѣчается съ никогда имъ до того невиданной якобы невѣстой своей, дочерью священника Ч., которая рѣшилась бѣжать къ свободной жизни изъ-подъ гнета родительскаго домашняго деспотизма. Несмотря на проницательность и подозрительность священника (дочь его уже разъ бѣжала одна изъ дома, но была возвращена, а отецъ изъ перехваченныхъ писемъ кое-что слышалъ о предположеніяхъ фиктивного брака), несмотря на всевозможныя трудности и, казалось, неодолимыя препятствія, молодой человѣкъ перехитрилъ и отца, и мать, и всѣхъ родственниковъ Лариссы Васильевны, получилъ благословеніе отъ самого вятскаго архіерея, покровителя о. Василія, обвинчался самымъ незаконнѣйшимъ образомъ, отпраздновалъ по старозавѣтнымъ обычаямъ свадьбу и благополучно доставилъ свою фиктивную жену въ петербургскую коммуну. Молодая семнадцатилѣтняя красавица поселилась въ коммунѣ только одна, а ея юный мужъ отдался прежней пропагаторской дѣятельности сперва среди городскихъ рабочихъ, потомъ уѣхалъ народнымъ учителемъ въ Тверскую губернію.

Все это продѣлалъ одинъ изъ первыхъ „чайковцевъ“, Сергѣй Силычъ Синегубъ ¹⁾, сынъ екатеринославскаго помѣщика и бывшій студентъ-технологъ, сосланный по дѣлу 193-хъ, авторъ однихъ изъ самыхъ лучшихъ и талантливо написанныхъ воспоминаній о началѣ семидесятыхъ годовъ. Изъ этихъ воспоминаній и откровеннаго разсказа Синегуба вырастаютъ передъ нами такія симпатичныя фигуры самихъ героя и героини романа, что рискованная фабула происшествія съ бракомъ облекается въ тонкіе, изящные, поэтическіе контуры... Фонъ молодой, бодрой жизнерадостности не только даетъ примиреніе съ совершившимся фактомъ: когда читатель слѣдитъ за всѣми перипетіями

¹⁾ Въ октябрѣ 1907 года умеръ въ Сибири, какъ сообщалъ намъ авторъ о томъ уже во время печатанія его статьи.—*Ред.*

этой простой, не сложной, но трогательной драмы, рассказанной участникомъ безъ всякихъ прикрасъ, безъ всякой позировки и искусственности, — что-то невольно заставляетъ звучать самыя интимныя струны его душевнаго настроенія...

Вотъ передъ нами Ларисса, вся предавшаяся интересамъ кружка, радостная и свободная; вотъ и Сергѣй Силычъ, у котораго послѣ поѣздки въ Вятскій край оказалось двѣ важныхъ заботы вмѣсто одной: первая — личнаго, а другая — общественнаго характера, такъ какъ, говоритъ онъ, „моя фиктивная жена совершила весьма основательную брешь въ моемъ сердцѣ, но показать это ей было бы преступленіемъ; какъ-нибудь я долженъ былъ заплатать эту брешь во что бы то ни стало; въ этомъ могла помочь мнѣ моя общественная забота: надо въ нее погрузиться, и никакія глупости не будутъ имѣть мѣста“. Для учителя и пропаганды выискался прекрасный случай. Выбившійся въ тузы кулакъ Мартыновъ, разбогатѣвшій на продажѣ сапогъ, устроилъ на свои средства школу въ родномъ селѣ Губиномъ-Углѣ, около знаменитаго сапогами с. Кимры. Туда понадобились учитель и учительница въ февралѣ 1873 года. Кому ѣхать изъ коммуны? Всѣ были заняты или на курсахъ, или по организации пропаганды среди петербургскихъ рабочихъ, кромѣ молоденькой фиктивной жены. Ради дѣла ей пришлось ѣхать.

Такъ нѣкоторое время жили, учили и читали народу книжки незамужніе мужъ и жена, держась поодаль другъ отъ друга. Но однажды, когда Синегубъ лежалъ усталый на маленькой лежаночкѣ, въ своей комнатѣ школьной квартиры и задремалъ, вошла Ларисса, въ восторженномъ настроеніи по поводу успѣха ея чтеній на крестьянскихъ посидѣлкахъ. „Радостное настроеніе Лариссы“ — рассказываетъ авторъ воспоминаній — „передалось и мнѣ; въ этотъ вечеръ мы съ ней долго разговаривали о томъ, что наша пропаганда получаетъ возможность разростись въ деревнѣ. Съ этого вечера мы перестали уже быть буквами другъ съ другомъ... Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ разговоръ нашъ коснулся и разныхъ моральныхъ и общественныхъ темъ, свелся по ассоціаціи идей и на вопросъ о любви, и кончилась наша бесѣда неожиданнымъ признаніемъ Лариссы, что она меня любить, и что тантъ ей это чувство больше не подъ силу. Я чуть съ ума не сошелъ отъ счастья въ этотъ вечеръ. Никогда бы у меня не повернулся языкъ заявить Ларѣ о томъ, что я въ нее влюбленъ до безумія. Это было бы преступленіемъ, посягательствомъ съ моей стороны на ея свободу, такъ какъ я былъ ея законный мужъ. Но она сама сказала мнѣ, что меня любить.

Это значило мгновенно разрушить плотину, долго сдерживавшую живой, напряженный потокъ чувства. Тутъ можно было сойтъ съ ума“.

Но съ ума они не сошли, а весь дальнѣйшій путь черезъ общественную дѣятельность, тюрьму и ссылку прошли уже не разставаясь, вмѣстѣ, рука объ руку до самой Сибири.

Съ тою же простотою, живостью и искренностью, какъ въ первой части воспоминаній, рассказано о фиктивномъ бракѣ во второй — о четырехмѣсячномъ учительствѣ и пропагандѣ въ народѣ. Но читателя надо предупредить, какого рода была эта пропаганда. Читались молодыми супругами и распространялись хорошія книги, затрагивающія честныя чувства, вызывающія благородныя мысли. Это были, на ряду съ сочиненіями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Некрасова, Никитина, напечатанныя даже съ разрѣшенія цензуры — „Фабричныя рассказы“ Голицинскаго, „Дѣдушка Егоръ“ Цебриковой, „Анчутка безпутный“ Майнова, „О землѣ и водѣ“ и „О силахъ земныхъ“ Иванова, книжки о податяхъ, о воинской повинности, рассказы по естественной исторіи, рассказы изъ русской исторіи о старомъ вѣтѣ, объ Иванѣ Грозномъ, о поволжской вольницѣ и т. д. Особенно живо изложена въ воспоминаніяхъ Синегуба повѣсть о борьбѣ съ запивающимъ самодуромъ, устроителемъ и распорядителемъ школы Мартыновымъ и „укрощеніи“ его.

Однако, какъ ни широко стали пользоваться симпатіями окружного населенія, супруги принуждены были уйти лѣтомъ изъ школы и поселились въ Петербургѣ, гдѣ вмѣстѣ съ другими вели обученіе и пропаганду среди фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, пока С. Синегубъ не былъ арестованъ въ ноябрѣ 1873 года.

Въ третьей части воспоминаній онъ рассказываетъ о своемъ пребываніи въ Петропавловской крѣпости и Домѣ предварительнаго заключенія, живописуетъ бытъ и нравы многочисленныхъ участниковъ монстръ-процесса и самый процессъ 193-хъ. Болѣе *четыре*хъ лѣтъ томился узникъ до разбора дѣла и по приговору суда, который не могъ за столь продолжительное время разобратъ въ дѣлѣ, долженъ былъ еще съ 1878 года отправиться на 8 лѣтъ каторжныхъ работъ въ крѣпостяхъ. Судъ, правда, ходатайствовалъ о замѣнѣ каторги поселеніемъ, но министръ юстиціи Паленъ и шефъ жандармовъ Мезенцевъ настояли передъ Государемъ на исполненіи приговора въ высшей мѣрѣ для всѣхъ, въ томъ числѣ и С. Синегуба. Вмѣстѣ съ мужемъ ушла навсегда въ Сибирь и Ларисса.

Все это изображено авторомъ мемуаровъ ¹⁾ въ такихъ лирическихъ мягкихъ тонахъ, съ такимъ безыскусственнымъ изяществомъ, все это вырисовываетъ такъ ярко и трогательно чистый образъ сердечнаго, милаго человѣка, одного изъ лучшихъ старыхъ „чайковцевъ“, что нѣтъ силъ оторваться отъ прочувствованныхъ страницъ его воспоминаній, полныхъ тоски и нѣжности; это—характерная картина, перевитая идиллическими цвѣтами на сѣромъ, жесткомъ фонѣ тюремнаго каземата и человѣческой злобы.

V.

Югъ не отставалъ отъ сѣвера. Тамъ были своеобразныя условія, своеобразныя организаціи, несмотря на болѣе или менѣе согласное общее движеніе русскаго революціонизма. Между радикальскими кружками большую роль сыграла народнически-революціонная кievская группа такъ называемыхъ „бунтарей“. Одинъ изъ самыхъ видныхъ ея дѣятелей, Дебогорій-Мокріевичъ ²⁾ оставилъ обширныя и подробныя воспоминанія; на нихъ мы теперь и остановимъ вниманіе читателя.

Воспоминанія В. К. Дебогорія-Мокріевича—самые, пожалуй, живые и интересные мемуары о семидесятыхъ годахъ, а для характеристики народническаго „бунтарства“ прямо незаменимы. Всѣ почти десять лѣтъ своей дѣятельности на югѣ Россіи Дебогорій-Мокріевичъ былъ послѣдовательнымъ и крайнимъ народникомъ, и даже, когда идеалы политической борьбы смѣнили соціальныя планы, накануне систематической организаціи терроризма въ 1879 г., онъ, подобно Катону, упрямо утверждалъ: „а все же я говорю—надо достать побольше оружія и подымать народное возстаніе“. Дебогорій-Мокріевичъ былъ человѣкъ неизсякаемой энергіи, отваги, смѣлости и риска, неохладѣвающей страсти и большихъ увлеченій, — отсюда необыкновенная занимательность повѣствованія о жизни и приключеніяхъ, выпавшихъ на долю его, типичнѣйшаго „бунтаря“ русскаго революціоннаго

¹⁾ С. Синегубъ, занимавшійся преимущественно литературнымъ трудомъ, извѣстенъ былъ въ радикальскихъ кругахъ и въ 70-хъ гг., и позже, какъ создатель многихъ популярныхъ стихотвореній. Дѣйствительно, онъ обладалъ несомнѣннымъ художественнымъ талантомъ поэта-лирика. (См. „Русская Муза“ П. Я.).

²⁾ Владиміръ Карповичъ Дебогорій-Мокріевичъ, род. 1848 г., былъ въ кievскомъ университетѣ съ конца 60-хъ годовъ, затѣмъ за-границей, въ Швейцаріи; съ 1873 г. весь отдали народнической пропагандѣ, въ 1879 арестованъ и въ маѣ сосланъ на пятнадцатилѣтнюю каторгу.

движенія. Искренно и правдиво передаетъ онъ и думы, и мысли, и мотивы своей дѣятельности, не скрываетъ разочарованій и боли за неудачно сложившееся и невыполненное дѣло, вводитъ въ самую интимную суть революціонныхъ настроеній и вскрываетъ внутреннюю причинную связь революціонныхъ дѣяній.

Дебогорій-Мокріевичъ прежде всего—мастерской *разсказчикъ*. Вы слѣдите за его повѣстью о „горѣ-злосчастьѣ“ народа и тѣхъ, кто думалъ ему помочь организаціей протеста, слѣдите съ неослабывающимъ интересомъ за разсказомъ о школьныхъ впечатлѣніяхъ (конецъ 50-хъ и начало 60-хъ годовъ), о раннихъ симпатіяхъ въ селянину, съ которымъ рядомъ на одномъ полѣ юноша Дебогорій исполнялъ у своего отца, небогатаго землевладѣльца Каменецъ-Подольской губерніи, общую крестьянскую работу, за изображеніемъ жизни кievскихъ студенческихъ и иныхъ кружковъ, „американской авантюрой“ 1872 г. (попыткой устроить заокеанскую „коммуну“), за швейцарскими приключеніями, разсказомъ о бытѣ кievскихъ „коммунистовъ“, а особенно о всѣхъ перипетіяхъ „хожденія въ народъ“ и организаціей пропаганды среди народа въ 1874—1876 годахъ. Эта пропаганда закончилась неудачей. Усталость и досада, особенно разочарованіе въ той средѣ, ради которой шла агитація, натапливали многихъ на мысль, что вся постановка „бунтарскаго“ дѣла—полна иллюзій и ошибочна. Дебогорій-Мокріевичъ съ обычной своей прямою и искренностью опредѣленно говоритъ: „очевидно, что еще годъ-два подобныхъ странствованій по деревнямъ или жизни среди народа, и мы отрезвились бы отъ нашихъ революціонно-народническихъ утопій. Движеніе наше улеглось бы, приняло бы болѣе спокойное теченіе, и въ концѣ-концовъ, пожалуй, мы оказались бы не чѣмъ другимъ, какъ „крайней лѣвой“ нашего общеземскаго движенія. Осѣли бы мы по деревнямъ, кто въ качествѣ учителя, кто фельдшеромъ, кто ремесленникомъ и стали бы мы пропагандировать идеи социализма. Окружающая дѣйствительность скоро бы наложила печать на нашу пропаганду; мы увидѣли бы кругомъ себя почти поголовную безграмотность (а какая же широкая пропаганда возможна среди безграмотнаго населенія?); самъ собою выступилъ бы на очередь вопросъ о распространеніи въ народѣ грамотности и тому подобной культурной дѣятельности“ (Воспоминанія, стр. 180). Все это могло быть, конечно, при нормальныхъ условіяхъ русской жизни и при иной политикѣ русскаго правительства. Но, по сознанію самыхъ энергичныхъ и убѣжденныхъ народниковъ-„бунтарей“ 70-хъ годовъ,

„революціонное народничество было обречено на гибель, такъ какъ народная масса далеко не была революціонна“.

Еще болѣе усиливается интересъ воспоминаній Дебогорія-М., когда событія начинаютъ съ 1878-го года идти ускореннымъ темпомъ и принимать драматическую окраску: періодъ „всюю шаташася“ для южныхъ революціонеровъ по разнымъ городамъ и весямъ, время перваго „исполнительнаго комитета соціально-революціонной партіи, побѣги, демонстраціи и вооруженныя сопротивленія, наконецъ арестъ кіевскаго кружка „бунтарей“ при кровавомъ освѣщеніи, перестрѣлкѣ и убійствѣ, тюрьма, судъ и долгій путь въ далекую Сибирь, на каторгу. Такою же напряженной занимательностью отличается живой разсказъ автора объ его удачномъ бѣгствѣ съ этапа осенью 1879 года и приключеніяхъ въ Сибири за цѣлый годъ слишкомъ — въ дремучемъ лѣсу, по глубоководнымъ и широкимъ рѣкамъ, по безконечной Барабинской степи, въ городахъ и поселкахъ, при переправахъ въ ледоходъ и при одиночномъ странствованіи въ качествѣ мелкаго торговца или присковаго рабочаго. Не сильно будетъ сказано, что всѣ эти разсказы напомнятъ читателю юные годы и чтеніе о любимыхъ „искателяхъ слѣдовъ“ Купера и Майнъ-Рида. Въ самомъ авторѣ есть что-то, напоминающее „слѣдопыта“. Однако, всѣ его разсказы — не плодъ вымысла и досужей фантазій: они правдивы и біографически точны.

Описанія природы, характеристики друзей, знакомыхъ и случайныхъ встрѣчныхъ на рискованномъ пути революціонера, наконецъ лирическія отступленія и прочувствованныя разсужденія — дополняютъ широкую картину, вносятъ въ нее красочность, увлекаютъ воображеніе читателя и привлекаютъ его вниманіе къ быстро мелькающимъ страницамъ воспоминаній. Прекрасны, на примѣръ, описанія Дебогоріемъ путешествія по Днѣпру въ лодкѣ изъ Кіева до „агітаціоннаго“ центра, Чигиринщины, или плаванія на плоту по р. Амуру во время бѣгства, а также описанія многихъ глухихъ и поэтическихъ мѣстъ Сибири, — и грустные думы навѣваютъ эти воспоминанія...

Дебогорій-Мокріевичъ пережилъ все, о чемъ онъ пишетъ, полною жизнью, и кровью и слезами орошено былое его и близкихъ ему людей. Пережитая драма оставила глубокій слѣдъ на всю его жизнь. Со смѣлой правдивостью разсказываетъ онъ, какъ горькимъ опытомъ дошелъ до убѣжденія, что и въ прошломъ народничествѣ, и въ прошломъ бунтарствѣ нѣтъ выхода для дорогого ему народнаго дѣла. Подкупающей искренностью дышатъ его позднѣйшія слова: вспоминая теперь всѣ счеты,

которые велись въ семидесятые годы между революціонерами и либералами, становится и грустно, и досадно за оба лагеря,— такими неумѣлыми и недалёковидными оказались и одни, и другіе. Одни не вѣрили въ свои силы и думали какъ-то „украсть конституцію“, а чтобы усыпить, одурачить врага, принялись взапуски проклинать революціонеровъ. Другіе были полны вѣры въ собственныя силы до того, что вызывали въ бой не только правительство, но и общество. Только одинъ врагъ и оказался предусмотрительнымъ: согнулъ онъ въ бараній рогъ и либеральную, и революціонную оппозицію, и зажилъ послѣ того припѣваючи на долгое время. А какой грубой ироніей звучать теперь слова „Земли и Воли“ (1878 г.), что „паденіе современнаго политическаго строя не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію, и что вопросъ только о днѣ и часѣ, когда это совершится“! Вотъ уже почти двадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ это писалось, а скоро наступитъ четверть столѣтія. Цѣлая четверть вѣка! Чтò же, ужъ не этотъ ли періодъ времени имѣли въ виду землевольцы, когда назначали выше приведенные сроки? О, конечно, нѣтъ! Да, — мы ожидали тогда социальную революцію раньше двадцати-пяти лѣтъ, не то что какую-то конституцію! Но жизнь жестоко посмѣялась надъ нами...

Намъ уже приходилось указывать на ту нравственную силу идей, которая сыграла громадную роль въ жизни и судьбѣ первыхъ начинателей освободительнаго движенія въ семидесятые годы. Остановившись теперь на нѣкоторыхъ изъ лучшихъ воспоминаній этихъ дѣятелей о пережитой ими эпохѣ „бури и натиска“, мы не можемъ не подивиться силѣ ихъ талантовъ и въ области ума, и въ области литературнаго слова: столько въ нихъ изобразительной яркости, художественной красоты, поэтическаго настроенія, столько, наконецъ, наблюдательнаго и проникновеннаго ума, великодушнаго и всепрощающаго чувства.

Игн. Житецкій.



ЛАСТОЧКА

ЭСКИЗЪ

ПО ПОЛЬСКОМУ РОМАНУ Г. ДАНИЛОВСКАГО: „Ласточка“.

I.

Въ одномъ изъ русскихъ городовъ открылись въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ три высшихъ школы. Понятно, онѣ не были основаны въ столь короткое время. Онѣ только вновь открывались, одна за другой, послѣ закрытія ихъ. Но далеко не всѣ прежніе учащіеся и студенты были допущены въ продолженію курса. Одни были уволены съ правомъ продолжать ученіе въ иныхъ городахъ, другіе и безъ такого права, а значительное число ихъ товарищей были принуждены отбывать воинскую повинность.

Словомъ, закрытіе этихъ школъ оказалось для многихъ весьма чувствительнымъ, и прошло нѣкоторое время, пока общее число учащихся въ высшихъ школахъ снова дошло въ городѣ тысячъ до трехъ, — въ томъ числѣ оказывалось около двухсотъ поляковъ. Въ первомъ году послѣ возобновленія лекцій учащіеся на высшихъ курсахъ, а также и студенты думали только объ экзаменахъ или зачтеніи семестровъ и о скорѣйшемъ полученіи дипломовъ съ правами, что имъ было даже облегчено, по особымъ обстоятельствамъ того времени. Но уже со слѣдующаго же года стали поступать и слушатели менѣе благонадежные.

Вскорѣ, однако, молодежь снова зашевелилась, вступая въ свои природныя, хотя и непризнанныя права; пошли землячества и группировка по убѣжденіямъ. Однимъ изъ первыхъ вновь организовавшихся союзовъ явилась польская корпорація. Главнымъ дѣятелемъ въ ея возстановленіи былъ технологъ, старый агита-

торъ Линовскій, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшій отъ катастрофы. Въ университетѣ ему помогъ натуралистъ Квашевскій, также крайній по убѣжденіямъ, но добродушный идеалистъ, который былъ въ состояніи пожертвовать только самимъ собой. Но пока дѣло шло собственно о пропагандѣ, годился и онъ. Въ ветеринарномъ институтѣ былъ его товарищъ по гимназіи, Дулька, крестьянскій сынъ изъ Люблинской губерніи, котораго отецъ готовилъ въ ксендзы, но лишилъ всякой помощи, когда тотъ уперся противъ перехода въ семинарію. Отецъ, вдобавокъ, проклиналъ его, и это обстоятельство, несмотря на презрѣніе къ предрассудкамъ, втайнѣ глубоко тяготило Дулька.

Введенный Квашевскимъ въ кружокъ, онъ первое время дичился и упорно молчалъ. Но когда онъ освоился съ диспутами и обычаями, то порой вмѣшивался въ обмѣнъ мыслей отрывистыми и рѣзкими замѣчаніями, которыми, безъ всякаго краснорѣчія, попадалъ прямо въ суть дѣла и производилъ впечатлѣніе. Съ тѣхъ поръ каждое выступленіе его привлекало общее вниманіе. Знали, что онъ не займетъ много времени, но отрѣзаетъ что-нибудь своеобразное и мѣткое.

Дулька жилъ дешевыми уроками и мелкими, случайными работами. Кормился кое-какъ, но нерѣдко бѣдствовалъ. Случилось разъ, что ему отказали въ квартирѣ, а денегъ у него не осталось ни гроша. Двѣ ночи онъ спалъ на вольномъ воздухѣ и въ продолженіе трехъ дней питался краюшкой хлѣба. Нужда раздражала бѣдняка и побуждала его видѣть въ товарищахъ „паничей“, у которыхъ онъ не хотѣлъ исвать помощи.

Но, пробродивъ три дня по улицамъ и обезсилѣвъ, Дулька, наконецъ, инстинктивно потащился вечеромъ въ тотъ закоулокъ, гдѣ жили нѣсколько знакомыхъ ему студентовъ, и, увидавъ свѣтъ въ окнахъ одного изъ нихъ, вошелъ въ квартиру и опустился на стулъ у печки, незамѣченный никѣмъ среди увлеченнаго споромъ собранія.

А предметомъ спора была одна изъ тѣхъ „матеріалистическаго воззрѣнія на исторію“. Тема не подходила къ настроенію Дульки, да онъ и не въ силахъ былъ слѣдить за аргументаціею, протянулъ ноги, уперся въ печку головой и ощутилъ неполноту сознанія.

По поводу реферата, упразднявшаго значеніе великихъ людей и сводившаго народныя движенія, возникновеніе и паденіе государствъ къ причинамъ экономическимъ, говорилъ технологъ Орскій, высокій блондинъ съ расовыми чертами лица.

— Если изъ исторіи человѣчества исключить самую личность

человѣка и вліянія нравственныя, — продолжалъ онъ, — то такая исторія потеряетъ смыслъ самостоятельной науки и всякій интересъ. Она обратилась бы только въ вѣчное повтореніе естественно-научныхъ фактовъ, въ родѣ того, что въ дождливое лѣто бываетъ много грибовъ, а въ сухое ихъ мало. Умноженіе населенія и, въ связи съ нимъ, смѣна хозяйственныхъ типовъ — это только канва, которая разумѣется сама собой, которой никто и не отрицалъ; но докажите мнѣ экономическими причинами, почему Наполеонъ долженъ былъ родиться итальянцемъ и царствовать во Франціи послѣ революціи, а не родиться французомъ два вѣка раньше и не объединить Италію въ качествѣ гениальнаго кондотьера, какимъ его называетъ Тэнъ?

Рѣчь внезапно прервалась грохотомъ. Это Дулька свалился со стула. Линовскій, Квашевскій и студентъ-медики Ромирскій бросились въ нему, убѣдились, что онъ не пьянъ, растегнули ему воротникъ и жилетъ, увидѣли изодранную рубашку и впалый животъ. Ясно, что Дулекъ сдѣлалось дурно отъ истощенія. Стали его тереть, принесли вина, и бѣднякъ скоро оправился.

— Ну, не стыдно ли вамъ, — упрекалъ его своимъ авторитетнымъ тономъ Линовскій, — что вы не обратились къ товарищамъ. Этакая гордая штука, а еще коммунистомъ называется!.. Вѣдь вотъ, отъ института вы бы приняли стипендію, а обратиться къ помощи товарища не хотѣли. Мало того, вы непременно еще и винили, можетъ быть съ ненавистью думали о нихъ за то, что они были сыты, когда вамъ случилось голодать. А ненависть — это такое зелье, которое всегда пускаетъ ростки.

— Это вы замѣтили вѣрно, — вставилъ Орскій: — мнѣ было бы, напримѣръ, тяжело принять помощь отъ васъ, а между тѣмъ я нисколько не стѣсняюсь получать деньги съ нотаціями отъ дяди, фрукта допотопныхъ временъ. Да вотъ еще сегодня взялъ на почтѣ его денежный конвертъ... — Орскій вынулъ письмо и прочелъ нѣсколько строкъ: „Дорогой Муля, посылаю тебѣ съ Ицкомъ на почту сто-двадцать рублей серебромъ (а прислалъ бумажками), авансомъ по декабрь мѣсяцъ. Только, смотри, не дѣлай долговъ и вообще не рассчитывай на мое наслѣдство, ибо имѣнія своего я такому расточителю не оставлю. И то, какъ ты отозвался въ письмѣ о своихъ профессорахъ, показываетъ, что у тебя въ головѣ вѣтеръ свищетъ. Всякое начальство ты долженъ почитать и любить, относиться къ нему съ полнымъ довѣріемъ, просить у наставниковъ совѣта не только по ученью, но и во всѣхъ обстоятельствахъ жизни“...

— Это ужъ ты выдумалъ! — прервалъ его кто-то.

— Хотите, читайте сами. Да вѣдь это въ каждомъ письмѣ, при каждой присылкѣ... Что-жъ мнѣ, возвратить ему деньги и написать: отважитесь вы, милый дяденька, оставьте при себѣ и ваши рубли „серебромъ“, и золотые ваши совѣты стараго чекана? Слѣдовало бы. Но сознаюсь въ своей слабости и каюсь: отказывать себѣ болѣе, чѣмъ отказываю теперь, я не въ силахъ. Конечно, это свинство, какъ всякій компромиссъ. Но я знаю, что не перенесъ бы большей нужды, чѣмъ та, въ какой живу теперь. И тѣмъ болѣе я уважаю товарища Дулюку.

Орскій пошелъ домой, и на нѣкоторомъ разстояніи его догналъ Линовскій. Онъ зналъ, что Орскій не годится для пропаганды, но цѣнилъ въ немъ темпераментъ. Къ систематической, упорной работѣ, сопряженной съ лишеніями, Орскій былъ неспособенъ, хотя и сочувствовалъ ей по убѣжденіямъ. Но онъ, уже изъ одного самолюбія, легко могъ рѣшиться на какой-нибудь смѣлый шагъ, и Линовскій ввелъ его въ русскую организацію, въ которой участвовали не только студенты, но и посторонніе, въ томъ числѣ и женщины. Имѣла ли эта организація активныя политическія задачи, этого Орскій не зналъ, но бывалъ на ея довольно многолюдныхъ общихъ собраніяхъ, которыя имѣли характеръ литературныхъ вечеровъ. Тамъ читались и рефераты по экономическимъ вопросамъ, съ преніями по нимъ.

Пройдя съ Орскимъ поддорога къ его квартирѣ, Линовскій сказалъ:—А Ласточку у насъ покищаютъ.

— Кто?

— Отецъ ея. Этотъ чиновникъ, нажившій имѣніе, и такъ съ трудомъ, послѣ нѣкоторой борьбы и изъ страха прослыть отсталымъ среди другихъ, такихъ же чиновниковъ, отпустилъ ее въ консерваторію. Но теперь велѣлъ ей возвращаться; не такія, говоритъ, времена, а играть на роялѣ, сдѣлай одолженіе, можешь и дома. И вотъ, бѣдняжка совсѣмъ заскучала, даже похудѣла. Законопатять ее въ деревню, загубить человека.

— Но, вотъ, вѣдь вы сказали, что отецъ ея боится прослыть отсталымъ. Такъ почему же непременно загубить?

— Какое же это ручательство? Даже такой чиновникъ, который на службѣ нажилъ состояніе, и жандармъ, и самый отъявленный самодуръ хотѣли бы въ то же время считаться передовыми людьми. Отчего она такъ заскучала и перемѣнилась въ лицѣ? Не хочется ей назадъ въ кѣтку, гдѣ она билась и только случайно вылетѣла. Надо бы придумать, какъ бы ее оборонить и я кое съ кѣмъ поговорю.

На ближайшемъ углу товарищи разстались. Орскій, придя

домой, думать о Ласточкѣ. Ему было жаль ее. Ему ясно при-
видѣлись ея черные, глубокіе, тревожные глаза. Ей могло быть
лѣтъ около двадцати, но казалась она дѣвочкой. Очень небольшого
роста, но при отсутствіи другихъ женщинъ ростъ ея предста-
влялся среднимъ, такъ какъ при маленькой головѣ и маломъ
корпусѣ ноги ея оказывались относительно длинными. Тоненькая,
очевидно слабая, она играла свои этюды съ фанатическимъ
увлеченіемъ, часовъ по пяти въ день, читала, вырабатывала себѣ
опредѣленные мнѣнія, но высказывала ихъ коротко и не-
смѣло.

Орскій не разъ встрѣчалъ ее на собраніяхъ этого русскаго
кружка, гдѣ ему случалось участвовать въ преніяхъ. Однажды
онъ не могъ найти русскаго слова для точнаго выраженія своей
мысли и привелъ, какъ это называется по-польски. Ласточка
перевела его выраженіе, и это было началомъ ихъ знакомства.
Но по-польски Ласточка знала очень немного, и они говорили
между собой всегда на русскомъ языкѣ. Среди дѣвушекъ въ
томъ кружкѣ тихая Ласточка имѣла нѣсколько пугливый видъ,
но мужчины угадывали въ ней ту силу, какую даютъ искрен-
ность и глубина убѣжденія.

Орскій хорошо понималъ ее и любилъ говорить съ ней, и она
съ нимъ становилась разговорчива, даже спорила, такъ какъ
онъ обходился съ ней бережно, избѣгая всякой рѣзкости и
ироническаго тона. Они иногда уходили вмѣстѣ изъ собраній, и
онъ провожалъ ее до квартиры. При этомъ имъ случалось оста-
навливаться гдѣ-нибудь на углу улицъ или у рѣшетки сада и
простоять тамъ съ полчаса, особенно когда она просила его
объяснить ей ближе какой-нибудь сложный вопросъ, въ которомъ
онъ съ ней былъ несогласенъ.

Орскій съ удовольствіемъ вспоминалъ объ этихъ стоянкахъ
съ симпатичной дѣвушкой, хотя при этомъ никогда не затраги-
валось что-либо относившееся до нихъ лично. И ему было жаль,
что теперь этихъ прогулокъ больше не будетъ. О чувствѣ между
ними не было и помина. Въ Марьѣ Петровнѣ (такъ ее звали)
были и черты неизвѣстныя Орскому, новыя для него. Онъ въ
ней и видѣлъ случайно встрѣченную Ласточку, но очень милую.

Въ слѣдующее утро, въ удивленію Орскаго, мысль о Марьѣ
Петровнѣ не давала ему покоя. Онъ не пошелъ въ чертежную
института и напрасно взялся было за записки. Жалко, что
отзовутъ Ласточку, но съ этимъ слѣдовало бы примириться. А
вотъ, если она въ самомъ дѣлѣ загрустила, то это значитъ, что
ей дома живется худо. Стало быть, въ самомъ дѣлѣ, надо обо-

ронить ее, хотя бы и отъ отца—самодура, какъ говорилъ Линовскій. Но что же тутъ возможно сдѣлать?

Орскій бросилъ записки и пошелъ къ русскому студенту Башину, который считался вліятельнымъ членомъ кружка. Это былъ человѣкъ, пробовавшій уже разныхъ карьеръ до поступления въ университетъ и знавшій людей. Орскій ему понравился своимъ „открытымъ“ характеромъ и тѣмъ, что онъ не былъ „мямлей“. Орскаго вниманіе Башина даже нѣсколько выдвинуло въ кружкѣ. Узнавъ, что онъ родился недалеко отъ Бѣлой-Церкви, Башинъ увѣрялъ его, что онъ—малороссъ, и даже прозвалъ его „атаманомъ“, а кличка эта усвоилась и въ кружкѣ, за что нѣкоторые поляки косились на Орскаго.

Когда Орскій пришелъ къ Башину, съ которымъ до тѣхъ поръ видѣлся только въ собраніяхъ, тотъ принялъ его привѣтливо.

— А, атаманъ! Вотъ хорошо, что вы пришли... У васъ въ институтѣ что-нибудь?

— Нѣтъ, въ институтѣ ничего особеннаго, а я пришелъ посоветоваться по особому дѣлу.—Орскій снялъ три книги со стула и сѣлъ. Онъ рассказалъ то, что зналъ о Ласточкѣ, упомянувъ притомъ, что слышалъ объ этомъ отъ Линовскаго.

— Тутъ вы, батенька, пришли, можно сказать къ самому источнику. Я объ этомъ говорилъ съ нѣсколькими изъ своихъ и съ ней говорилъ. Дѣло очень простое, но что-жъ, когда сама она упрямится.

— Какъ упрямится, вѣдь ей же не хочется домой?

— Мало что не хочется! Но въ такомъ случаѣ надо же употребить подходящее средство... А средство есть простое, оно придумано давно и прежде примѣнялось очень нерѣдко, чаще, чѣмъ теперь—выйти замужъ.

Орскій нахмурился.

— Но какъ же это выходить за кого попало, только чтобы сохранить свободу?! Да еще что мужъ скажетъ!

— Видите, Орскій, вы человѣкъ прямой и не пустозвонъ, и я вамъ скажу всю правду... Я бы ее не стѣснялъ, еслибы она вышла за меня. Но я хотѣлъ бы быть въ самомъ дѣлѣ ея мужемъ, потому что она мнѣ нравится. Я ей и предложилъ себя, какъ выходъ изъ положенія, но при этомъ откровенно сказалъ ей, что буду искать ея привязанности. Словомъ, „сдѣлалъ ей предложеніе“ помѣщански.

— Вы поступили честно.

— А она именно поэтому меня и не принимаетъ.

— Значить, она хочетъ брака флетивнаго?

— Она просто не хочетъ домой, а о флетивныхъ бракахъ совсѣмъ не знала, но теперь упрямится противъ предлагаемаго ей средства. Да мнѣ такъ жаль ее, что я предлагалъ ей другихъ, которые согласились бы оказать ей эту услугу... Тимошина, Селезнева... Не хочетъ. Потомъ я даже говорилъ съ тѣмъ и съ другимъ. Первый сказалъ ни да, ни нѣтъ, а другой, кажется, согласился бы. Но она не хочетъ.

При послѣднихъ словахъ, Башинъ сталъ крутить бороду и уставился пристальнымъ взглядомъ на Орскаго.

— Услугу эту оказалъ бы ей и я,—медленно и внятно произнесъ тотъ:—тѣхъ она, можетъ быть, меньше знаетъ.

— Вы? Ну, братъ атаманъ, согрѣшилъ я въ умѣ передъ вами, что не сказалъ вамъ первому. Прямо-таки обидѣлъ васъ. Хоть вы и украинецъ, но, знаете, думалось, что не захотите принять въ паспортъ православную жену, или, можетъ быть, у васъ уже какая-нибудь паненка на примѣтѣ. Этакій молодецъ атаманъ, что слово, то дѣло!

— Ну, что за важность! Вѣдь одна форма.

— Все-таки, знаете, говорить-то, говорить, легко. А какъ дойдетъ до дѣла, такъ и держи карманъ. Только это надо скоро. Я ее увижу еще сегодня... Вы гдѣ вечеромъ?

— До восьми—въ институтѣ, въ чертежной.

— Если она согласится на васъ, я вамъ скажу по телефону, а вы раздобудете изъ института вашу метрику и пришлите мнѣ. Остальное все устрою я самъ и дамъ вамъ знать.

Вечеромъ Орскаго позвали въ институтѣ къ телефону, и онъ услышалъ голосъ Башина:—Согласна. Ай да атаманъ! Торопитесь же съ метрикой.

Орскій досталъ свое метрическое свидѣтельство, сунулъ его въ конвертъ и черезъ два дня, не заставъ Башина дома, отдалъ этотъ конвертъ Селезневу, который намѣренъ былъ дожидаться возвращенія своего товарища.

Орскій старался не думать объ этомъ дѣлѣ. Онъ сказалъ себѣ, что поступилъ хорошо, и что эта формальность ни къ чему его не обязуетъ. Однако онъ не ощущалъ того удовлетворенія, которое обыкновенно слѣдуетъ за хорошимъ поступкомъ. Онъ сознавалъ, что готовъ былъ это сдѣлать не по одному чувству долга, но еще и по той причинѣ, что Ласточка ему нравилась. А если было такъ, то изъ этого могли возникнуть послѣдствія. Но молодой человекъ не хотѣлъ думать объ этомъ и остановился на той мысли, что „разъ рѣшено, такъ нѣчего

и думать⁴. Ни на минуту онъ не допускалъ возможности отказаться отъ своего предложенія, уже переданнаго дѣвушкѣ и ею принятаго. Онъ началъ усиленно работать въ институтѣ, а еще вызвался принять на себя хлопоты по погребенію старика, возвращеннаго изъ Сибири, въ числѣ другихъ повстанцевъ 1863 года. Старикъ этотъ занималъ скромную должность въ желѣзнодорожномъ правленіи и не имѣлъ въ городѣ ни родственниковъ, ни знакомыхъ, кромѣ двухъ-трехъ студентовъ.

II.

Между тѣмъ Ласточка не безъ колебанія приняла предложеніе, которое ей передалъ Башинъ.

— Наконецъ, я вамъ нашелъ подходящаго кандидата!—сказалъ онъ, придя къ ней на квартиру.—Поблагодарите меня.

— Благодарю,—отвѣчала она сухо. Хрупкая фигурка ея рельефно выдѣлялась на фонѣ бѣлыхъ обоевъ, такъ какъ, впустивъ Башина, она прислонилась къ стѣнѣ.

Башинъ сѣлъ безъ приглашенія.—А можетъ быть, вы передумали? Выборъ совершенно отъ васъ зависитъ. Въ Москву мы можемъ послать и другого кого. А еслибы послушаться папеньку, то вѣдь и это имѣло бы свою хорошую сторону. Фортепьяно дома есть и женихъ найдется, мужъ настоящій, а не бумажный. Знаете, это еще большой вопросъ, у кого больше свободы: у одинокой, эксплуатируемой работницы или у женщины, которая вышла замужъ „хорошо“ и живетъ въ свое удовольствіе.

— Къ чему вы глумитесь надо мной, Башинъ? Не понимаю.— Она присѣла къ столу и оперлась головою на руку.

— Нисколько не глумлюсь, а только разъясняю выборъ. Вы отлично знаете, какъ я къ вамъ расположенъ, хотя вы терпѣть меня не можете. Что-жъ дѣлать! Насильно милъ не будешь.

— Неправда, будто я васъ не терплю. Я знаю ваши хорошія стороны... Но только...

— Но только,—думается вамъ,—пошелъ бы онъ себѣ по добру, по-здорову.

— Такъ вы пришли изводить меня, а я думала—вы добрый.—И Ласточка печально улыбнулась.

— Нѣтъ, я совсѣмъ не затѣмъ пришелъ,—поправился Башинъ и принялъ серьезный тонъ.—Доказательство на лицо: я же принесялъ вамъ кандидата въ мнимые мужья. Лучшаго не

можетъ быть. Во-первыхъ, онъ — католикъ, значитъ, никакихъ обрядовъ до вѣнчанія не нужно; во-вторыхъ — самолюбивый человекъ, значитъ, разъ общалъ — не уклонится. Не здѣшній уроженецъ и, по окончаніи курса, навѣрное уѣдетъ въ свои края, — значитъ, не будетъ ходить за вами по пятамъ.

Тогда Марья Петровна спросила робко:

— Кто же онъ такой?

— Атаманъ.

Она сдѣлала движеніе, но осталась сидѣть.

— Притомъ, повѣрьте мнѣ, я знаю людей. Онъ — порядочный малый. Но у него въ головѣ больше шума, чѣмъ убѣжденій. Теперь онъ искренно социалистъ, анархистъ, что угодно, но это онъ только скачетъ и брыкается отъ полноты молодыхъ силъ, какъ возрастной жеребчикъ на лугу. А потомъ онъ поставитъ крестъ надъ „иллюзіями молодости“ и въ томъ числѣ надъ вами.

Она покраснѣла и поднялась. — Неправда, онъ не такой!.. — И помолчавъ съ полминуты, она прибавила:

— Впрочемъ, я и съ нимъ не хочу.

Башинъ также всталъ. — Ну, тогда я больше никого не знаю... За Орскаго можно, по крайней мѣрѣ, ручаться, что онъ оставитъ васъ въ покоѣ. Да вѣдь сейчасъ же послѣ вѣнчанія вы поѣдете въ Москву, по порученію кружка?

— Разумѣется.

Оба они помолчали. — Такъ какъ же вы рѣшаете окончательно?

— Я согласна, — произнесла Ласточка голосомъ, въ которомъ почему-то слышались слезы.

Орскій такъ захлопотался по поводу похоронъ патріота, что не успѣлъ даже набросать надгробной рѣчи, которую общалъ товарищамъ произнести на кладбищѣ. Только въ востелѣ, во время совершенія обряда, онъ обдумалъ, что можно было сказать подходящаго. До кладбища было далеко. Орскій шелъ въ небольшой группѣ студентовъ, провожавшихъ покойнаго. Вдругъ сбоку подѣхали сани, кто-то соскочилъ съ нихъ и, схвативъ Орскаго подъ руку, сердито проговорилъ: — Что же вы? — Это былъ Башинъ. Онъ прибавилъ въ рѣзкомъ тонѣ: — Если вы не сдержите обѣщанія, то это будетъ плохо.

— Что-о? — произнесъ Орскій, высвободивъ свою руку.

— Вѣдь я же далъ вамъ знать, что сегодня. — Оба они отстали отъ процессіи.

— Ничего я не получалъ и не знаю.

— Я послалъ вамъ сегодня утромъ письмо съ нарочнымъ.

— А я вышелъ очень рано.

— Счастье, что я не положился на одно письмо. Мнѣ сказали у васъ на квартирѣ, что вы на похоронахъ. Заѣдемъ сейчасъ вмѣстѣ къ Марьѣ Петровнѣ, чтобы она знала навѣрное.

— Разъ я согласился, она должна знать навѣрное. А я долженъ еще говорить на кладбищѣ.

И узнавъ, въ какой церкви будетъ вѣнчаніе, Орскій представилъ самому Башину передать, что онъ, Орскій, къ четыремъ часамъ будетъ въ церкви.

Но когда гробъ былъ опущенъ въ могилу, неожиданно сталъ говорить Дулька, увлекся и произнесъ такую пламенную рѣчь, къ которой нѣчего было прибавить.

Когда Орскій вошелъ въ маленькую деревянную церковь на краю города, въ ней уже находились Башинъ, нѣсколько студентовъ и двѣ незнакомыя молодыя особы. Марья Петровна не заставила ждать себя: она пріѣхала нѣсколько минутъ послѣ Орскаго съ провожатымъ, котораго онъ также не зналъ.

Обрядъ совершалъ старшій священникъ добродушнаго вида. Орскому не случалось быть на православной свадьбѣ, и все ему было ново: стояніе подъ вѣнцомъ и хожденіе вокругъ аналоя, и прикладываніе къ образамъ. Ему подсказывали, что дѣлать. Свадебный обрядъ въ его впечатлѣніяхъ какъ будто смѣшивался съ утреннимъ, погребальнымъ, но представлялся ему какимъ-то случайнымъ, нелогичнымъ продолженіемъ перваго. Онъ чувствовалъ большую усталость, и когда ему велѣли поцѣловать Ласточку въ губы, онъ радъ былъ, что кончилось. Но поцѣлуй нѣсколько смутилъ ихъ обоихъ.

Она быстро направилась къ выходу, и онъ взялъ ее подъ руку, но шелъ молча, хотя слѣдовало сказать хоть что-нибудь на прощаніе. — Красивая пара! — произнесъ кто-то изъ постороннихъ, которые всегда найдутся при вѣнчальномъ обрядѣ.

— Ваши сани, — сказалъ ей Башинъ, подводя извозчика.

Она обратилась къ Орскому.

— Благодарю васъ, — и подала ему руку, а окружавшимъ сказала: — До свиданія!

— Сегодня же въ Москву? Съ какимъ же поѣздомъ? — спросилъ, наконецъ, Орскій.

Она сказала, и легкая, граціозная фигурка ея, въ пепельной бѣлищей шубкѣ съ рукавами и въ черной барашковой шапочкѣ кавалерійскаго покроя, вспорхнула на сани. Уѣхала она одна. Орскій нѣкоторое время слѣдилъ, какъ Ласточка быстро исчезала

въ полумракѣ, и ему почему-то представлялось будто это отлетала его молодость.

Онъ почувствовалъ страшную усталость и, взявъ извозчика, отправился домой спать. Но на пути заявилъ себя голодъ, и молодой человѣкъ вспомнилъ, что онъ ничего не ѣлъ съ восьми часовъ утра. Онъ не доѣхалъ до дому и зашелъ въ ресторанъ. Взявъ ножъ, онъ былъ удивленъ серебрянымъ кольцомъ на пальцѣ, снялъ его, увидалъ выгравированное внутри число того дня и сунулъ кольцо въ карманъ жилета. Когда онъ съѣлъ свою порцію, то усталость уменьшилась, и онъ сталъ думать о только-что происшедшемъ. Онъ былъ доволенъ, что оказалъ Ласточкѣ услугу, хотя его и тревожила дальнѣйшая ея судьба, такъ какъ данное ей порученіе было, конечно, соединено съ опасностью. Быть можетъ, и лучше было бы, еслибы она принуждена была возвратиться въ семью. А убѣжденія, а право личности? Ну, разумѣется. Услуги она отъ него потребовала, онъ исполнилъ ея желаніе. Но такъ какъ далѣе онъ не могъ сдѣлать ничего, то лучше было обо всемъ этомъ не думать.

Однако онъ думалъ и возвратясь домой. Думалъ, между прочимъ, что велъ себя слишкомъ деревянно и въ церкви, и по выходѣ изъ нея. Не сказалъ даже ни слова прощанія. Конечно, это — одна форма! Но все-таки бѣдная Ласточка могла подумать, что онъ неохотно исполнялъ свое обѣщаніе. Поѣхать на поѣздъ? Но не значило ли это воспользоваться какимъ-то правомъ, придать значеніе тому, что было пустой формальностью? Однако, такъ какъ умъ подчиняется желанію, то Орскій сказалъ себѣ въ концѣ, что это сомнѣніе мелко и глупо, и позднимъ вечеромъ явился на вокзалъ.

Двери изъ зала на платформу только-что открылись, и публика двинулась къ вагонамъ. Увидавъ Марью Петровну въ группѣ провожавшихъ, Орскій пробрался къ ней и сказалъ, что въ церкви на него нашелъ какой-то столбнякъ, помѣшавшій ему сказать, какъ онъ жалѣетъ объ ея отъѣздѣ. Онъ отобралъ у нея ручной чемоданчикъ и пледъ, свернутый въ ремнѣ, и прибавилъ:

— Позвольте мнѣ загладить мою неловкость хоть въ качестве носильщика. Я поищу вамъ мѣсто поудобнѣе.

Ласточка взглянула на него своими чистыми, робкими глазами.

— Что вы говорите? Вѣдь мнѣ слѣдуетъ благодарить васъ, очень... очень. Но я не умѣю. — Она коротко, первно улыбнулась.

Орскому удалось найти для нея цѣлую скамью въ дамскомъ отдѣленіи. Она пошла за нимъ со своими знакомыми, а онъ провелъ ее въ вагонъ и показалъ, гдѣ ея вещи; потомъ сошелъ на платформу, а она осталась въ двери вагона.

— Вы надолго?—спросилъ Орскій.

— Сама не знаю. Но, кажется, на постоянное жительство.

— Жалко. Такъ будетъ пусто...—Они замолчали и оба какъ-будто считали секунды, навсегда исчезавшія въ прошломъ.

— Припоминаю я, — снова началъ Орскій, сочувственно смотря въ ея тревожные глаза, — какъ мы простаивали иной разъ на углахъ или у вашихъ воротъ и говорили, говорили... такъ легко, такъ обоимъ понятно. Можетъ быть, потому, — пошутилъ онъ, — что мы стояли на одномъ уровнѣ, не такъ, какъ здѣсь, на разной высотѣ.

— Всегда находилась тема, — отвѣтила она просто, но съ печальнымъ оттѣнкомъ.

— А теперь тему надо отложить въ сторону, — да, конечно.

Она несмѣло окинула его взглядомъ.

— Встрѣтимся ли мы еще, когда-нибудь?—И едва замѣтно вздохнула.

— Наверное, — отвѣтилъ Орскій, тронутый ея взглядомъ, который былъ для него первымъ откровеніемъ ея дѣвической прелести.—А если и не встрѣтимся, то будемъ идти всегда въ одномъ направленіи,—прибавилъ онъ нѣсколько настойчиво.

— Всегда, всегда, — подтвердила Ласточка и отошла отъ двери.

Идти въ одномъ направленіи значить никогда не встрѣтиться — это такъ въ смыслѣ геометрическомъ. Напротивъ, въ политикѣ, идя неотступно въ одномъ направленіи, можно иногда встрѣтиться — въ тюрьмѣ. Это бываетъ частенько.

III.

Въ мартѣ Орскій не получилъ обычнаго трехмѣсячнаго денежнаго конверта отъ дяди. Сперва молодой человѣкъ не придавалъ значенія этой задержкѣ и ждалъ присылки со дня на день. Но, наконецъ, онъ долженъ былъ сказать себѣ, что дядю, вѣроятно, разсердили извѣстія газетъ о студенческомъ движеніи, и денегъ онъ больше присылать не будетъ. Къ этому присоединились другія непріятности. За послѣднее время онъ рѣдко бывалъ на лекціяхъ и наверстать пропущенное было нелегко, тѣмъ

болѣе, что экзамены были назначены нѣсколько ранѣе обыкновеннаго срока. А въ своемъ проектѣ котла онъ открылъ важную ошибку, такъ что почти уже готовый чертежъ приходилось переделывать.

Однако хуже всего была нужда въ деньгахъ. Доселѣ онъ жилъ лучше большинства товарищей, а теперь ему пришлось отказывать себѣ во всемъ, ѣсть въ отвратительной кухмистерской и, что всего хуже, занимать деньги, не зная, когда ихъ можно будетъ отдать. Онъ заложилъ часы и когда-то подаренную дядей золотую булавку. Но этого хватило не надолго. Искать уроковъ въ эту пору года было напрасно. Орскій задолжалъ за комнату, долженъ былъ сносить жалобы и угрозы хозяйки. Наконецъ, въ половинѣ апрѣля дошло до того, что ему перестали чистить сапоги и приносить самоваръ.

Между тѣмъ, кипѣніе въ студенческой средѣ возрастало. Сходки учащались, и Орскій принималъ въ нихъ участіе. Однако онъ уже не выступалъ со смѣлыми, но практическими, удобоисполнимыми предложеніями, какими прежде заслужилъ прозвище атамана, а только возбуждалъ товарищей рѣчами, дышавшими ненавистью къ власти и раздраженіемъ за общество, которое сидѣло сложа руки. Въ немъ уже заговорила болѣе злоба, чѣмъ убѣжденіе пролетарія.

Сходка въ чертежной залѣ началась съ двухъ часовъ, а теперь уже давно фонари горятъ. Много было произнесено рѣчей горячихъ, отвергнуто и принято нѣсколько резолюцій. Къ вечеру составъ собранія нѣсколько измѣнился и порѣдѣлъ. Въ большой продолговатой залѣ съ двумя поперечными отдѣленіями стемнѣло. По бокамъ залы, во всѣ четыре конца, стояли столы, которые казались цоколями для поддержки фигуръ. Надъ столами возвышалось нѣсколько фигуръ стоявшихъ за ними и множество сидѣвшихъ въ разныхъ позахъ, опираясь на столы. Напряженіе въ собраніи ослабѣло и рѣчи слабо журчали, какъ бы то выливались уже остатки изъ ораторскаго бассейна.

Изъ угла, гдѣ сидѣлъ Орскій, не видно было говорившаго въ послѣднія минуты оратора. Окруженный вѣнкомъ головъ, но еще довольно ясно выдавался предсѣдательствовавшій или, точнѣе сказать, предстоявшій преніямъ, такъ какъ онъ стоялъ подъ каедрой, неподвижно, упираясь ногой на стулъ, который, въ случаѣ нужды, служилъ ему трибуной. Орскій не скучалъ только потому, что злился. Ему думалось: „Когда же чортъ возьметъ всѣ эти порядки, да и наше это времяпровожденіе?“

Вдругъ отворилась дверь, и въ залѣ появился инспекторъ

съ двумя помощниками. Шагахъ въ пяти отъ двери они остановились. Это прервало рѣчь послѣдняго оратора, видимо, впрочемъ, уставшаго. Предсѣдательствовавшій тотчасъ вскочилъ на стулъ и спросилъ:

— Желаетъ ли собраніе выслушать г. инспектора?

Ему отвѣтило молчаніе, затѣмъ кто-то глухо произнесъ: „да“.

— Слово за г. инспекторомъ, — сказалъ руководитель преній и сошелъ со стула.

Инспекторъ нѣсколько смѣшался, и въ продолженіе какой-нибудь полминуты раздавался только стукъ вскакиванья на стулья и столы. Наконецъ, сообразивъ настроеніе бывшей передъ нимъ толпы, инспекторъ сталъ уговаривать ее въ мягкомъ тонѣ разойтись.

— Господа, вѣдь вы совѣщались цѣлый день, — кажется, довольно. Никто вамъ не препятствовалъ. Но пора уже заперать зданіе института; поэтому прошу васъ — кончайте скорѣй и расходитесь, хотя бы для того, чтобы сторожа могли пойти спать.

Онъ вышелъ среди шиканья, смѣшаннаго съ ироническими аплодисментами.

Поднялся было еще одинъ ораторъ, но среди шума торопливыхъ разговоровъ его не было слышно. Только видѣли, что онъ неистово махалъ руками.

— Сходку объявляю на сегодня закрытой! — перекричалъ всѣхъ предсѣдатель. — Завтра, въ десять часовъ, въ этой же залѣ!

— И принесть свѣчей! На всякій случай! — раздалось изъ угла.

— Вѣрно!

Толпа повалила на лѣстницу и во дворъ. Къ Орскому присоединился землякъ его Рудный.

— Слушайте, — сказалъ онъ, — дѣло, повидимому, принимаетъ серьезный оборотъ и могутъ быть разныя неожиданности. Намъ слѣдовало бы собраться и обозначить наше отдѣльное положеніе.

— А какъ вы думаете, если все студенчество пойдетъ, можетъ ли оно достигнуть чего-нибудь серьезнаго — одно?

Рудный помолчалъ, но когда они прошли еще десятка два шаговъ, отозвался: — Едва-ли что-нибудь изъ этого выйдетъ.

— Такъ на что намъ еще обозначать отдѣльное положеніе? Я никого удерживать не стану. Валишь, такъ валишь всѣмъ разомъ. А впрочемъ, можетъ еще и на этотъ разъ все кончиться на разговорахъ.

Поднимаясь по своей лѣстницѣ, Орскій думалъ: „Налила ли

эта дура керосину въ лампу?“—И придя въ комнату, убѣдился, что не налила: „Чортъ знаетъ что такое!“—продолжалъ онъ мысленный монологъ, раздѣваясь, потому что нѣчего было дѣлать, надо было ложиться спать. „Хоть бы въ самомъ дѣлѣ закрыли ту лавочку. Я бы поѣхалъ на практику“...

Путру ему ужасно не хотѣлось вставать. Поднявшись, наконецъ, на постели, первое, что онъ увидалъ, это были возвратившіеся изъ-за двери сапоги, которые стояли нечищенные. „Ну ее, эту сходу!—рѣшилъ онъ.—Заварится каша, такъ еще поспѣю... Поѣсть надо, пока двугривенный въ карманѣ“.

Надѣвъ сапоги, Орскій умылъ лицо и съ полотенцемъ въ рукахъ подошелъ къ комоду за табакомъ. На комодѣ лежали два письма. На обоихъ адресъ былъ написанъ неизвѣстными почерками, но почтовый штемпель былъ знакомый. Разорвавъ конвертъ, онъ взглянулъ на подпись письма. Оно было отъ пана Стефана, старичка, который жилъ у дяди въ качествѣ „резидента“, то-есть, говоря проще, нахлѣбника.

Панъ Стефанъ сообщалъ Орскому о смерти дяди, который въ завѣщаніи назначилъ его, Орскаго, наслѣдникомъ всего своего состоянія. Заслугу въ этомъ старикъ приписывалъ себѣ. Онъ именно будто бы напоминалъ покойному о составленіи завѣщанія. „Позволю себѣ упомянуть, что я всегда высоко цѣнилъ, пане Зигмунтъ, ваши дарованія и характеръ и неотступно отзывался о васъ передъ покойнымъ, высокочтимымъ моимъ другомъ, какъ о наиболѣе достойномъ представителѣ благородныхъ преданій и качествъ его рода“.

Читая это смиренное и высокопарное посланіе, Орскій сперва подумалъ, не сошелъ ли панъ Стефанъ съ ума,—до такой степени извѣстіе его было неожиданно и казалось неправдоподобно. Но когда онъ въ другомъ письмѣ нашелъ „сердечное участіе въ повесенной имъ потерѣ“ со стороны жившей вблизи дяди семьи далекихъ родственниковъ, которыхъ Орскій почти не зналъ и которые уже выражали надежду найти въ немъ „симпатичнаго и благожелательнаго сосѣда“, то молодой человѣкъ долженъ былъ убѣдиться, что произошло въ самомъ дѣлѣ событіе, которое совершенно измѣняло его положеніе.

Итакъ, ему досталось довольно значительное состояніе. Волица, имѣніе дяди—было порядочное, незаложенное, и хозяйство въ немъ велось исправно. Богатый человѣкъ! Только въ карманѣ—всего двугривенный. Свести въ умѣ счеты было легко. Долговъ около 75 р., проѣздъ въ Волицу—много 25 р., итого—цѣна одной лошади. Но откуда достать эти деньги? Теперь,

когда открылся путь, чтобы вырваться изъ крайней нужды, надо было дѣйствовать рѣшительно, не думая о чемъ-либо иномъ. До тѣхъ поръ Орскій, притиснутый нуждой, занималъ деньги только у своихъ товарищей и не хотѣлъ обратиться за помощью къ своему дальнему родственнику Лабендскому, который былъ студентомъ университета въ томъ же городѣ. Лабендскій, когда пріѣхалъ туда, зашелъ къ нему, соблюдая форму вѣжливости.

Но это былъ фатъ, хотя и не дурной, по природѣ, малый, сынъ богатаго помѣщика въ ихъ сосѣдствѣ, применившій въ студенческой средѣ къ категоріи такъ-называемыхъ въ то время „бѣлоподкладчиковъ“. Поступилъ онъ на юридическій факультетъ, но работалъ еще меньше, чѣмъ большинство юристовъ, зато усердно посѣщалъ кафе-шантаны и карточные вечера въ „обществѣ“. Послѣ того „визита“, который онъ сдѣлалъ Орскому, они встрѣчались только на улицѣ и иногда обмѣнивались нѣсколькими словами.

Но теперь Орскому приходилось отложить въ сторону антипатіи, а пожалуй и симпатіи, такъ какъ если не сегодня, то завтра ему нѣчего было ѣсть. Онъ одѣлся, пошелъ къ квартирной хозяйкѣ и объявилъ ей, что уѣзжаетъ изъ города и ждетъ только денегъ на проѣздъ, которыя долженъ получить не далѣе, чѣмъ послѣ-завтра. Поэтому онъ просилъ хозяйку потерпѣть еще два дня, а между тѣмъ посылать ему утромъ самоваръ съ булкой, велѣть чистить ему сапоги и поправлять лампу. Все это было исполнено тотчасъ, и Орскій, напившись чаю, отправился къ своему кузену, почти увѣренный, что застанетъ его дома, потому что „когда везетъ, то ужъ везетъ“.

И въ самомъ дѣлѣ Лабендскій оказался дома. Но слуга сообщилъ, что паничъ еще „одѣвается“, и Орскій имѣлъ время осмотрѣть элегантную обстановку и даже заглянулъ въ французскій альбомъ съ разными „pudités“. Черезъ нѣсколько минутъ къ нему вышелъ молодой человѣкъ съ подерученными кверху черными усиками, въ австрійской курткѣ, плотно обтягивавшей высокую грудь и тонкую талію, въ сѣро-синихъ, также плотно прилегавшихъ рейтузахъ съ синимъ же кантомъ, молодцеватой миной и движеніями ловкаго корнета.

Увидѣвъ этотъ „фруктъ“, Орскій пожалѣлъ было о своемъ приходѣ, однако показалъ кузену полученныя утромъ письма.

— Примите мое искреннее сочувствіе, — сказалъ тотъ въ нѣсколько напыщенномъ тонѣ. — Хотя я лично не зналъ почившаго пана Матеуша, но много о немъ слышалъ отъ моего отца. И судя по удивленію, съ какимъ на него смотрѣлъ Ор-

скій, что тому незнакомы свѣтскія „condoléances“, Лабендскій снисходительно улыбнулся. Понявъ, въ чемъ дѣло, онъ заговорилъ уже въ совсѣмъ иномъ, веселомъ и фамиллярномъ тонѣ.

— Вы меня извините за нескромность, но я предполагаю, что вамъ хотѣлось бы немедленно осмотрѣть ваше наслѣдство. А такъ какъ я самъ порой бываю безъ гроша, то позволяю себѣ предложить, какъ родственникъ, — даже мнѣ это сдѣлало бы большое удовольствіе, — небольшую услугу, въ залогъ будущихъ нашихъ, болѣе близкихъ отношеній.

— Я и пришелъ просить васъ объ этомъ, — конфузливо признался Орскій.

— Да сдѣлайте одолженіе! Чѣмъ хата богата... Сколько же, примѣрно?

— Передъ выѣздомъ надо съ долгами раздѣлаться... Да на поѣздѣ. Рублей семьдесятъ, если можно, — проговорилъ Орскій, для котораго при каждомъ займѣ всего труднѣе было назвать цифру, которую онъ всегда и уменьшалъ.

— Съ удовольствіемъ! — Лабендскій зашелъ въ спальню и возвратился со сторулевымъ билетомъ. — Пожалуйста.

— Спасибо вамъ, но позвольте мнѣ написать расписку.

— Какой вздоръ! А вотъ процентъ я, пожалуй, себѣ выговорю въ такой формѣ, что заѣду къ вамъ на охоту. Лѣсъ въ Волицѣ славится, и дядя поддерживалъ все въ порядкѣ.

Затѣмъ между молодыми людьми завязалась уже свободная и оживленная бесѣда, при которой Орскій нашелъ, что кузенъ его былъ хотя и своего рода „фруктомъ“, но недурнымъ и даже пріятнымъ въ обращеніи малымъ.

Они сговорились отобѣдать въ тотъ день вмѣстѣ въ ресторанѣ, причемъ оба рѣшили въ умѣ поставить вина и перейти на „ты“.

— А потомъ не отправиться ли намъ вмѣстѣ въ Тиволи? — предложилъ Лабендскій. — У меня абонементный билетъ на двоихъ. Правда, нумера тамъ больше скучные, но есть двѣ пѣвички очень себѣ ничего, ну и акробатъ одинъ удивительный... Такой дѣлаетъ прыжокъ, что чортъ возьми! — И, разставивъ два стула, Лабендскій сталъ объяснять трудность скачка.

Но Орскаго это мало интересовало, и вниманіе его привлекъ въ это время какой-то далекій шумъ на улицѣ. Лабендскій прервалъ свой рассказъ и также сталъ прислушиваться. — Что это?.. Какъ будто пѣніе.

Въ окно были видны только группы остановившихся прохожихъ, глядѣвшихъ вдоль улицы по направленію къ площади.

Оттуда и шелъ этотъ гулъ. Но, вотъ, онъ сталъ приближаться. Да, это было пѣніе. Вдругъ, громко и совершенно внятно грянула марсельеза. Очевидно, толпа внезапно возросла отъ прилива другой толпы, съ боковой улицы.

Орскій дрогнулъ и поблѣднѣлъ. То былъ голосъ общаго дѣла. Оно отзывало его отъ эгоистическихъ мелочей жизни. Звали и его къ себѣ, какъ товарища, соратника и, быть можетъ, какъ жертву. Орскій почувствовалъ, какъ сердце у него на мгновение остановилось, а потомъ сильно забилося, точно стало бросаться въ стороны, какъ подстрѣленная птица. Въ головѣ у него зашумѣло, и сейчасъ же вслѣдъ затѣмъ въ ухахъ его раздалась дробь подошвъ, катившихся скорой рысью.

Лабендскій исчезъ въ другую комнату, высочилъ оттуда съ биноклемъ, поднялся колѣнями на подоконникъ и выглянулъ въ форточку.—Ого, ого!..—проговорилъ онъ.—Вотъ такъ лупать!—онъ прибавилъ бранное слово.—Хотите бинокль?—Онъ оглянулся и увидалъ, что Орскій былъ мертвенно-блѣденъ.

— Чтѣ съ вами? Эй, кто тамъ! Вина!

Орскій опирался руками на подоконникъ и видѣлъ, какъ передъ домомъ стали появляться группы студентовъ. Одни быстро пробѣгали мимо, другіе на минуту приостанавливались, обмѣнивались словами, указывая на площадь, и расходились. Никого изъ нихъ уже не оставалось передъ домомъ, когда по срединѣ улицы прошелъ Дулька, сгибаясь напередъ и держась за голову обѣими руками, на которыхъ виднѣлась кровь.

Орскій отвернулся отъ окна и опустилсѣ на стулъ, а Лабендскій подаль ему стаканъ вина. Орскій жадно его выпилъ и, вынувъ изъ кармана сторублевый билетъ, положилъ его передъ кузеномъ.

— Это почему же?

— Уѣхать теперь я не могу,—сказалъ Орскій и подаль кузену руку на прощанье.

— Все равно, черезъ нѣсколько дней поѣдете.

— Кто знаетъ, куда мнѣ придется ѣхать. Еще и деньги отберутъ.—И несмотря на настоянія Лабендскаго, онъ ушелъ, не взявъ того билета.

По судьбой было рѣшено, что Орскій все-таки поѣдетъ, куда хотѣлъ. Въ теченіе дня онъ побывалъ у нѣсколькихъ товарищей, узналъ, что завтра будетъ сходка въ институтѣ, что Дулька принять въ больницу, что ранены еще тѣ и тѣ изъ товарищей. Назавтра, однако, сходка не состоялась, такъ какъ всѣ бывшіе на примѣтъ у кого слѣдуетъ, а въ числѣ ихъ и Орскій, получили

предписаніе о выѣздѣ изъ города въ двадцать-четыре часа, съ предложеніемъ, что на слѣдующій же день невыѣхавшіе будутъ арестованы и высланы по этапу. Тогда Орскій отправился опять къ Лабендскому и, прождавъ его на квартирѣ часа два, взявъ деньги и въ тотъ же день выѣхалъ въ свою сторону, съ первымъ пассажирскимъ поѣздомъ.

IV.

Болѣе сутокъ ѣхалъ онъ по желѣзной дорогѣ, затѣмъ нанялъ крестьянина и на паровонной бричкѣ потащился за восемь миль отъ станціи, въ Волицу. Ъзда въ вагонѣ была еще для Орскаго продолженіемъ прежней жизни, имѣла съ нею связь. Это его высылали за „безпорядки“ или, какъ ему представлялось, за протестъ противъ господствовавшихъ безпорядковъ. Но когда онъ очутился среди полей, подернутыхъ свѣтлой зеленью раннихъ всходовъ, и группъ деревьевъ, начинавшихъ покрываться листвою, его обдалъ иной воздухъ, „вольный“, какъ говорятъ въ народѣ, вольный, живительный, слегка заправленный запахами земли и сырости. Моросилъ мелкій, долговременный дождикъ, по тамошнему—„капустникъ“. Бричка кренилась на выбоинахъ дороги. Въ ней всѣ ямы, на поляхъ борозды и выемки наполнены были водой, которою были залиты и цѣлыя полосы луговъ, а по рвамъ текли быстрые ручьи.

Надъ широкими трисинами, жалобно покрикивая, несутся чайки; кое-гдѣ бродятъ промокшіе журавли; высоко надъ дорогой перелетаютъ галки. Но все это виднѣется сквозь кисею мелкаго дождика. Весь пейзажъ представляется какъ бы только призракомъ дѣйствительности. Совсѣмъ иной міръ. То, что осталось позади, отмечено въ прошлое, какъ стадо перелетныхъ птицъ отмечается въ сторону внезапнымъ порывомъ вихря. Память о только-что бывшемъ осталась, но она точно просочилась на дно души, какъ вода сквозь песокъ. Въ душѣ—какой-то перерывъ, антрактъ, ожиданіе новаго. Не видя, на чемъ остановиться, мысли дремлютъ или блуждаютъ безцѣльно, суетно.

Дорога была такъ тяжела, что Орскій принужденъ былъ переночевать въ корчмѣ. Только вечеромъ слѣдующаго дня, перемѣнивъ лошадей и возницу, онъ дотащился до воротъ своей усадьбы и, наконецъ, среди стаи дворовыхъ псовъ, на бѣшеный лай которыхъ вторили и гончія изъ-подъ завалинъ, новый владѣлецъ Волицы подъѣхалъ къ крыльцу длиннаго, двухъ-этажнаго дома съ большими, мрачно глядѣвшими окнами.

Сторожъ началъ стучать въ двери и въ рамы оконъ, но нѣкоторое время не отзывался никто. А Орскій, оставаясь въ бричкѣ, уныло чувствовалъ себя совсѣмъ здѣсь чужимъ, неожиданнымъ гостемъ, подѣхавшимъ къ мертвому дому.

Наконецъ, въ окнахъ мелькнулъ свѣтъ и послышалось:

— Чи то вы, Василью?

— Я. Видчиняйты, паньчъ пріихавъ.

Застучали откладываемые засовы, щелкнули два замка, и Орскій поднялся къ растворившейся толстой дубовой двери, за которой его встрѣтилъ старый камердинеръ дяди, Юзефъ.

— Вотъ, охота кому трястись по ночамъ!—проворчалъ онъ, помогая паничу снять пальто. Таково было привѣтствіе разбуженнаго старика.

— Дорога ужасная, — почти покорно оправдывался Орскій.

— Извѣстно, размыло. А я говорилъ пану Стефану, что паничъ пріѣдетъ сейчасъ... Такъ нѣтъ, говорить, онъ напишетъ, когда выслать лошадей...

Но ворчанье старика было прервано появленіемъ самого пана Стефана, который заключилъ Орскаго въ объятія.

— Пріѣхалъ, сыночекъ, вотъ онъ!.. Ну, покажись!—и, отступивъ, панъ Стефанъ осматривалъ своего новаго покровителя.—Ого, однакожъ ты у меня выросъ, возмужалъ, что за усы, что за мина! Я бы тебя и въ городѣ узналъ. Сейчасъ видать—кровь...

Орскій чувствовалъ себя немного неловко, такъ какъ едва зналъ пана Стефана. Но ему все-таки было пріятно, что къ нему кто-то относится дружески.

— Что, каковы всходы, видѣлъ, а? Египетскіе, можно сказать. Это—мой посѣвъ. Покойный, свѣти Господь его душѣ, былъ уже тогда боленъ.

— Гдѣ же мнѣ было видѣть, въ сумеркахъ!

— Такъ осмотри сейчасъ хоть риздо свое!—и старый резидентъ, со свѣчой въ рукѣ, повелъ Орскаго по комнатамъ.—Вотъ столовая; портреты велишь почистить, рамы поправить. Это—библіотека; она въ порядкѣ, только бильярдъ надо бы перенести въ другое мѣсто.

Они пошли наверхъ. — Эту лѣстницу прочь, — продолжалъ путеводитель, — вмѣсто нея надо желѣзную... А бильярдъ вотъ сюда бы, — прибавилъ онъ, входя въ большую комнату съ венеціанскими окнами.

Изъ-за раздвинувшейся тучи показался новый мѣсяцъ и освѣтилъ за деревьями какъ бы нижнюю полосу неба, закрытую паромъ.

— А этотъ прудъ также принадлежитъ къ Волицѣ? — спросилъ Орскій.

— А какъ же, весь прудъ и мельница наши, только берегъ напротивъ—это ужъ имѣніе Орвидовъ. Когда ясно, то и дворъ ихъ виденъ отсюда. Но дѣла ихъ плохи, совсѣмъ плохи.—Банкруты. Еще старый Орвидъ запутался, а послѣ него жена его, покойная, совсѣмъ разстроила хозяйство. Теперь тамъ старуха тетка кое-какъ возится съ остатками. Извѣстно, бабѣ хозяйство. Молодой Орвидъ еще въ училищѣ, а панна сестра, та плаваетъ въ лодкѣ по нашему пруду и распѣваетъ себѣ, какъ сирена. Теперь она въ отъѣздѣ, у родныхъ въ Литвѣ. Красавица она, чтѣ говорить, но только тебѣ не совѣтую; голѣ какъ яйцо. Вотъ бы отсюда прорубить аллею для пейзажа.—Ну, тамъ комнаты для гостей...

Когда они сошли внизъ, старикъ показаль „канцелярію“, то-есть дѣловую приемную покойнаго пана Матеуша, и рядомъ его кабинетъ и спальню, которые долженъ былъ занять новый владѣлецъ, Зигмунтъ Орскій. Потомъ осмотрѣли буфетъ, гостиную и, наконецъ, „коморен“ самого пана Стефана, какъ онъ называлъ очень уютныя и порядочно меблированныя комнаты, гдѣ на этажеркахъ и столѣ видѣлись разныя фигурки и вещицы, нныя даже цѣнныя. Орскій съ любопытствомъ взглянулъ на нѣкоторые изъ нихъ.

— Все это будетъ твое, — убѣдительно заявилъ панъ Стефанъ:—вѣдь я тебя какъ сына... Скажу тебѣ, старый Вильскій злится; онъ издавна зарился на Волицу, но я до тѣхъ поръ пилилъ почитаемаго моего друга Матеуша, пока онъ не сдѣлалъ такого распоряженія, какъ слѣдовало по справедливости.

— А долго ли дядя былъ боленъ?

— Хворать-то онъ сталъ еще съ поздней осени. Бывало лучше, бывало хуже. Но настоящая болѣзнь продолжалась всего недѣль шесть. Доктора его доѣхали. Кабы пустили ему кровь, какъ я предлагалъ, жилъ бы онъ и по сейчасъ. А такъ—вотъ и мое почтеніе.—Онъ вздохнулъ.—Это былъ для меня истинный, вѣрный другъ и пріятель сердечный. И обдарить меня хотѣлъ, уговаривалъ принять... Но мнѣ на что?! Уже на смертномъ одрѣ, говорить уже не былъ въ состояніи, а мнѣ кивалъ и показывалъ вотъ такъ,—здѣсь панъ Стефанъ растопырилъ пальцы руки.—Это онъ хотѣлъ показать—сколько. Съ тѣмъ и померъ, свѣти Господь душѣ его.

Орскаго покорило отъ такого безцеремоннаго приставанья, и старикъ замѣтилъ это, такъ что поспѣшилъ прибавить:—Но я,

разумѣется, и не думалъ. Мнѣ дорога была его дружба. А потерявъ его, я только дожидался прїѣзда наслѣдника и гдѣ-нибудь найму себѣ приставище.

— Къ чему же, на это я не могу согласиться.

— Въ такомъ случаѣ—какъ хочешь!—панъ Стефанъ развелъ руками.—Твоя воля. Служилъ я твоему дядѣ, могу и тебѣ служить совѣтомъ. — И вдругъ, разнѣжившись, онъ снова обнялъ Зигмунта. — Пусть будетъ по-твоему. Постой, постой, у меня тутъ припрятана для тебя игрушечка — часы съ репетиціей. — Старикъ подошелъ къ столу и подалъ Орскому золотые карманные часы. — Это еще твоего дѣда, и Матеушъ постоянно ихъ носилъ. Бьютъ часы и четверти... Чудо, какой репетиръ. Пусть и тебѣ онъ мѣритъ время на счастье и на долгія лѣта. Онъ заведенъ.

Орскій поблагодарилъ и, предшествуемый Юзефомъ, отправился въ спальню, а проходя по комнатамъ, захватывая взглядомъ находившіеся въ нихъ предметы, между прочими—висѣвшія на стѣнѣ ружья и разныя принадлежности охоты. „Итакъ, все это—мое!“

Онъ легъ въ постель, но взялъ въ руки дядины часы; въ самомъ дѣлѣ цѣнныя. На верхней доскѣ былъ эмалевый кружокъ съ вырѣзаннымъ портретомъ Наполеона, на другой—буквы *Z. O.* подъ дворянской короной, начальные буквы дѣда, который также назывался Зигмунтомъ. Съ нажимомъ пружины раздался троекратный серебристый звонъ, а затѣмъ, болѣе полнымъ звукомъ, еще одинъ.

„Три четверти перваго—пора спать!“—сказалъ себѣ молодой владѣлецъ Волицы и задулъ свѣчу. „Все это—мое. Домъ, поля, прудъ и мельницы... И панъ Стефанъ также мой до смерти. Лукавый старикашка... Только тотъ берегъ не мой“...

Панъ Стефанъ, однако, обманулся въ своихъ видахъ на новаго владѣльца. Онъ разсчитывалъ, что молодой человѣкъ, попавшій изъ нужды въ обиліе, заживетъ весело, наполнитъ соседней молодежи усадьбу, которая при дядѣ его стала похожа на монастырь, станетъ давать пиры, заведетъ карточные партіи. Сторожу-резиденту улыбалась мысль, что ему придется снова жить въ средѣ шумной, молодцеватой, веселой, остроумной, расточительной; кушать тонкія блюда и пить добрыя вина. Онъ тѣшился, что ему придется, какъ опытному вивѣру, быть распорядителемъ кутежей, въ мѣру оживленныхъ избыткомъ молодыхъ силъ, но вмѣстѣ сдерживаемыхъ прирожденной традиціею.

Но въ дѣйствительности оказалось совсѣмъ иное. Со слѣ-

дующаго же дня Орскій пожелалъ осмотрѣть все хозяйство и ознакомиться со всѣми подробностями. Онъ сталъ таскать пана Стефана съ восьми часовъ утра до вечера по полямъ, лугамъ, болотамъ, по сырому лѣсу, гдѣ въ повозѣхъ, гдѣ пѣшкомъ, и тотъ долженъ былъ все подробно объяснять профану, который не отличалъ пшеницы отъ ржи, но хотѣлъ все узнать, изучить и не довольствовался одними названіями, но стремился сразу ознакомиться со всѣмъ веденіемъ дѣла. Въ первый же день старикъ возвратился съ такого объѣзда голодный, усталый, озябшій, къ тому же съ такимъ выводомъ, что этотъ конецъ не дастъ водить себя за носъ, а напротивъ, самъ все возьметъ въ руки. Была ли то наслѣдственная привязанность къ землѣ, или внезапно привившаяся страсть владѣнія, но Орскій съ порывистымъ увлеченіемъ старался „произойти“ всю хозяйственную суть и подчинить своей волѣ все, что дѣлалось, родилось и росло на этомъ пространствѣ около тысячи десятинъ пашни, двухсотъ десятинъ луговъ и пустырей и четырехсотъ—лѣса.

Скоро онъ удачно подыскалъ себѣ управляющаго, при которомъ могъ учиться дѣлу на самомъ дѣлѣ. Управляющій при самомъ уговорѣ признался, что онъ два раза въ мѣсяцъ, то-есть черезъ воскресенье, бываетъ пьянъ, что таково уже ему отъ Бога положеніе, но что въ остальное время онъ ни за что не выпьетъ и рюмки. Орскому понравились какъ эта откровенность, такъ и то, что онъ говорилъ безъ всякаго униженія и лести. Съ своей стороны, начинающій земледѣлецъ признался, что еще ничего не смыслить въ дѣлѣ, но требуетъ, чтобы тотъ не только велъ хозяйство, но и его самого выучилъ хозяйничать.

Такова была договоренная между обѣими сторонами конституція, и она строго соблюдалась безъ всякихъ отлыниваній и государственныхъ переворотовъ, а управляющій искренно привязался къ своему патрону и вмѣстѣ ученику. Цѣлые дни они проводили въ полѣ, причемъ Зигмунтъ самъ пахалъ подъ озимъ, сѣялъ и косилъ. Онъ выписалъ себѣ учебникъ сельскаго хозяйства, который читывалъ по вечерамъ, а въ воскресные дни составлялъ инвентарь и заносилъ дневные счета въ книгу.

Эта усиленная работа продолжалась до жатвы. Развлеченіемъ для Орскаго въ эти три мѣсяца служила только ѣзда верхомъ, которой онъ учился въ городѣ, пока былъ обезпеченъ постояннымъ пособіемъ отъ дяди. Къ кутежамъ онъ и въ городѣ не былъ склоненъ, а отъ ухаживаній воздерживался, опасаясь стѣснить свою свободу. Мѣстный театръ его не привлекалъ, а нельзя же было все время, остававшееся отъ лекцій, работъ и

товарищескихъ собраній, посвящать чтенію. Молодые силы требовали физическаго упражненія. Здѣсь, въ деревнѣ, въ конюшняхъ дяди онъ нашелъ трехъ верховыхъ лошадей. Двумя изъ нихъ онъ пользовался поочередно для выѣздовъ въ поле и въ лѣсъ. Кони были порядочные, мѣстныхъ заводовъ. Но третьимъ былъ немолодой уже жеребецъ завода Сангушки, отлично выѣзженный, но строгій, какъ увѣрялъ панъ Стефанъ. Въ послѣдніе годы дядя уже не садился на него и собирался его продать, но спрашивалъ такую цѣну, которой никто не давалъ. Конь былъ арабской крови, прежде сѣрый, теперь совсѣмъ бѣлый, невысокій. Его каждый день гоняли на кордѣ. При дядѣ было даже положено гонять по два раза въ день. Зигмунтъ возобновилъ это положеніе, но самъ два мѣсяца практиковался на другихъ лошадяхъ, прежде, чѣмъ велѣлъ осѣдлать себя Чардаша.

На третій мѣсяцъ онъ попробовалъ, но неудачно. Не было достаточно эластичности въ рукѣ, и Чардашъ при первомъ же поворотѣ далъ легкую „свѣчку“, то-есть поднялся на полтора аршина и сбросилъ всадника. Но Орскій, проведя нѣсколько шаговъ за трензельку и успокоивъ коня, сѣлъ опять, далъ ему волю, и Чардашъ спокойно пошелъ рысью, постепенно усиливая аллюръ, перешелъ на галопъ и восхитилъ своего новаго хозяина ровнымъ, правильнымъ ходомъ и замѣчательной чуткостью къ поводу и шенкелямъ. Зигмунтъ специально занялся имъ и убѣдился, что управленію слѣдовало учиться у этого коня—такъ онъ вѣрно „реагировалъ“ на каждое указаніе.

По окончаніи уборки, времени было довольно, и молодой человѣкъ пристрастился къ этому новому для него искусству, хотя въ гимназическіе годы ему не разъ случалось въ деревнѣ „кататься“ верхомъ. Онъ скоро научился отличать знаки протеста лошади противъ какой-нибудь несообразности въ управленіи—отъ невинной игры, въ которой только сказывалась ея горячая кровь. Чардашъ былъ добръ, охотно послушенъ, но это не мѣшало ему подыгрывать для фантазій, то-есть, дѣлать нѣсколько скачковъ съ мѣста, прежде чѣмъ пойти ровно, иногда приналечь на поводъ и подхватить скорымъ галопомъ или прыгнуть вбокъ отъ темнаго пня или кучи, въ притворномъ испугѣ, или, особенно подъ сумерки, торопиться домой. А когда всадникъ бралъ руку къ себѣ и не давалъ ему перейти на галопъ, то конь иной разъ круто подбирался и шелъ рысью, но такимъ высокимъ ходомъ, что всадникъ самъ, невольно, научился приподниматься въ стременахъ и перехватывать черезъ разъ, по-англійски.

V.

Когда главныя работы въ полѣ окончились, Орскій сдѣлалъ два визита въ сосѣдствѣ. Онъ побывалъ у стараго Вильскаго, того сосѣда, который зарился на Волицу, и сошелся съ его сыномъ. Потомъ онъ посѣтилъ старушку пани Орвидъ, ближайшую свою сосѣдку, на той сторонѣ пруда. Здѣсь онъ увидѣлъ остатки богатства этого стариннаго, разорившагося рода. Аллея великолѣпныхъ итальянскихъ тополей, въ которой, однако, многія деревья уже высохли, вела къ каменному „палацу“ стиля ренессансъ. Лакей въ ливреѣ, доложивъ о немъ, повелъ его черезъ нѣсколько комнатъ, убранныхъ старинной мебелью, нѣсколькими большими вазами, портретами, оружіемъ. Зигмунтъ успѣлъ замѣтить два довольно большихъ гобелена.

Старушка сидѣла на глубокомъ креслѣ, вблизи камина, въ которомъ вспыхивали огоньки надъ догоравшими полѣньями. Она обратила къ входившему совершенно бѣлую, какъ бы напудренную голову подъ низкимъ и короткимъ чепцомъ изъ черныхъ кружевъ. Губы ея сложились въ добрую, пріятливую улыбку, когда она приподняла руку, которую Зигмунтъ поцѣловалъ.

— Прошу, сядьте сюда, пане Зигмунтъ, поближе... Вѣдь васъ зовутъ Зигмунтъ? Карточку я не рассмотрѣла, а сказали: „молодой панъ Орскій“.

— А крестное мое имя вы знали...—И молодой человѣкъ наклонился, какъ бы благодаря.

— Да, видишь, не то что узнала имя, а помню: вѣдь я была на твоихъ крестинахъ.—Она снова улыбнулась.—Есть сходство съ матерью. Она лежитъ въ Оровѣ, а отецъ?

— Онъ въ Уляхъ. Оровъ проданъ еще при немъ.

— Да, да. Рано ты остался сиротой. А теперь сколько тебѣ лѣтъ?

— Двадцать-пять.

— Счастливый возрастъ. Да, да... Такъ Ганка въ Оровѣ... и Юзефъ тамъ... И Наталья, Витольдъ...—Она вздохнула.—Продано. Упокой души ихъ, Господи... Вотъ милый ты, что заглянулъ къ намъ; жаль только, что Гальки нѣтъ... Да, сердце, все проходить и исчезаетъ. Ты видѣлъ, домъ—уже наноловину развалина; только этотъ корпусъ еще держится... Мы ужъ все равно, но Еленѣ, конечно, грустно. А тебѣ какъ живется въ Волицѣ, — привыкаешь?

— Стараюсь.

— Зимой вотъ будетъ скучно. Сельскому хозяину зимой спать слѣдуетъ за все лѣто, а молодому это трудно.

— Какъ-нибудь выдержу.—Онъ всталъ, и старушка, на прощанье, поцѣловала его въ голову и позвонила.—Я тебя всегда рада видѣть, только скучно у насъ,—прибавила она, кивнувъ на его поелонъ.

Подъ осень Орскій посѣтилъ еще двухъ близкихъ сосѣдей, тѣ отдали визиты, и въ Волицѣ стали бывать сынъ старика Вильскаго и еще нѣсколько молодыхъ людей. Панъ Стефанъ могъ утѣшиться. Онъ сталъ завѣдывать кухней и буфетомъ и получилъ небольшое жалованье, въ видѣ ренты съ капитала, который могъ ему завѣщать его покровитель, покойный Матеушъ.

Несмотря, однако, на то, что въ Волицѣ стали бывать гости, Зигмунтъ не высидѣлъ дома цѣлой зимы. Онъ поѣхалъ въ Кіевъ, на „контракты“, гдѣ встрѣтилъ кое-кого изъ своихъ сосѣдей, сдѣлалъ новыя знакомства, принялъ приглашеніе одного литовскаго помѣщика на охоту, пристрастился къ этому новому развлеченію и, наконецъ, попалъ въ одну изъ бѣлорусскихъ губерній, въ имѣніе, которое славилось охотой на медвѣдей.

Въ Волицу Зигмунтъ возвратился только въ апрѣлѣ, и то потому, что панъ Стефанъ напомнилъ ему письмомъ о днѣ смерти его дяди и о томъ, что на этотъ день была заказана месса въ мѣстномъ костелѣ. Тамъ, на „коллаторской“, передней скамьѣ, обтанутой чернымъ сукномъ, онъ увидалъ старушку пани Орвидъ, а возлѣ нея—блѣдную брюнетку съ классическими чертами лица, въ которой онъ угадалъ pannу Елену. Она сразу произвела на него впечатлѣніе, не только замѣчательной красотой, но и смѣлымъ, соколинымъ взглядомъ, какой она обратила на него, подавая ему руку, когда онъ подошелъ къ нимъ послѣ обряда.

Въ слѣдующій разъ онъ встрѣтился съ Еленой на балу у Вильскихъ, въ именины старика. Танцевать Орскій не умѣлъ, но на балъ рѣшился ѣхать прямо въ надеждѣ увидѣть тамъ Елену, такъ какъ Вильскіе созывали не только сосѣдей, но и жившихъ за десятки верстъ родственниковъ и знакомыхъ. На всякій случай панъ Стефанъ подучилъ Зигмунта мазуркѣ, вальсу и кадрили на старый ладъ. Въ Кіевѣ Орскій обзавелся полнымъ гардеробомъ, такъ что резидентъ ахнулъ, увидавъ его въ вечернемъ нарядѣ, который обрисовывалъ его стройную фигуру.

У Вильскихъ Зигмунтъ встрѣтился и съ своимъ кузеномъ Лабендскимъ.

— Вы знакомы съ королевой бала?—спросилъ тотъ.

— Коронація была безъ меня, такъ что я не знаю—кто.

— Конечно, Елена Орвидъ... та высокая брюнетка съ голубыми глазами, которая танцуетъ съ Куковицеимъ. Теперь они остановились. Вглядитесь, сами ее признаете.

— Такъ этотъ завитой барашекъ называется Куковицеимъ?

— Присмотритесь, — продолжалъ Лабендскій. — Вѣдь это античная статуя. Она рѣдко танцуетъ, но когда снизойдетъ, то танцуетъ страстно, все равно—съ кѣмъ. Молодежь вся болѣе или менѣе занята ею, но и побаивается ея. Она умѣетъ ловко оборвать. А женщины ее терпѣть не могутъ...

— Завидуютъ.

— Красотѣ, да, а больше нѣчему: Орвиды вѣдь совсѣмъ разорились. Но женщины ненавидятъ ее еще за крайніе взгляды.

— Крайніе взгляды, въ нашей глуши? Это интересно.

— То-есть, не политическія мнѣнія, а такъ, взгляды на личную свободу, на права женщины и все такое.

Зигмунту казалось неловкимъ подойти къ Еленѣ на балу и не пригласить ее... А пригласить значило, при его неискusstвѣ въ танцахъ, сдѣлать себя смѣшнымъ въ ея глазахъ. Онъ утвердился въ этомъ мнѣніи, когда увидалъ, что кадрили былъ совсѣмъ не такой, какому наскоро училъ его панъ Стефанъ. Въ него включали разныя неизвѣстныя ему фигуры и такія „па“, о которыхъ онъ не имѣлъ понятія.

Онъ пошелъ бродить по комнатамъ, гдѣ были гости. Въ одной былъ буфетъ, въ двухъ играли въ карты. Орскому скоро все надоѣло, и онъ собирался уѣхать, но, войдя въ залу, остановился посмотреть на Елену, которая вальсировала съ Куковицеимъ. Это былъ ловкій танцоръ, и ту холодную статую можно было не узнать сразу—такъ она оживилась. Ее приводилъ въ упоеніе танецъ. Только-что она сѣла, ее подхватилъ другой кавалеръ; а едва откланялся тотъ, она пошла съ третьимъ. Глаза ея блистали, тонкія ноздри слегка расширились... Совсѣмъ усталая, она опустилась на стулъ и освѣжилась вѣтромъ изъ страусовыхъ перьевъ.

Но Куковицкій не далъ ей и передышки. Онъ подскочилъ съ мольбой и, слегка обнявъ ее рукой, сперва медленными, плавными кругами втянулъ ее въ вихрь вальса, потомъ почти уносилъ дѣвушку въ страстномъ вращеніи, такъ что она, поддерживая платье правой рукой, почти прислонилась головой къ его плечу и даже закрыла глаза.

Орскій внезапно, почти безсознательнымъ движеніемъ приблизился къ двери, за которою сидѣли музыканты, и сказалъ имъ:

— Довольно!

Музыка прервалась, и Кузовицкій отвелъ свою даму на мѣсто, а потомъ вошелъ въ комнату музыкантовъ и съ досадою спросилъ:

— Кто вамъ приказалъ перестать?

— Я, — отвѣчалъ Орскій. — Довольно было вальса.

„Барашекъ“ взглянулъ на него и по глазамъ его увидалъ, что изъ этого можетъ быть исторія. Онъ пробормоталъ что-то и, велѣвъ продолжать вальсъ, удалился. Тогда Елену пригласилъ Лабендскій, а Зигмунтъ подошелъ къ ея теткѣ и обмѣнялся съ ней нѣсколькими словами. Онъ не успѣлъ отойти, когда Елена вернулась на мѣсто и сказала ему вполголоса:

— Г. Кузовицкій, извиняясь передо мной, сказалъ, что вы остановили музыкантовъ.

— Мнѣ кажется, ему слѣдовало бы не жаловаться вамъ, а сдѣлать выговоръ мнѣ.

— Это его дѣло. Но вы поступили невѣжливо по отношенію ко мнѣ, позвольте вамъ замѣтить.

Орскій растерялся.

— Искренно прошу у васъ извиненія, — проговорилъ онъ послѣ момента молчанія. — Я объ этомъ не подумалъ, и не знаю, какъ оправдаться, хотя сдѣлалъ я это именно изъ-за васъ.

Смущеніе молодого человѣка успокоило Елену. Огоньки въ ея глазахъ исчезли.

— Какъ изъ-за меня? — спросила она уже съ любопытствомъ.

— Я видѣлъ, какъ вы устали, и мнѣ было досадно... Ну, да, больше ничего.

Она улыбнулась.

— Я не люблю ничьей опеки, а мы видимся всего второй разъ.

— Видимся, да. Хотя я-то видѣлъ васъ еще прошлой осенью, издали, на пруду, въ лодкѣ. И слышалъ... Это было лунной ночью, и вы чудно пѣли. Осталось красивое впечатлѣніе.

— Вотъ какъ! Но вѣдь вы не могли разслышать словъ.

— Напротивъ, и отлично помню. Вы пѣли „Чи я въ полю не пшевица була“, и еще „Hej, polesiał sokół ziwu“...

— И теперь вамъ было досадно, что я не пою, а танцую... — Елена усмѣхнулась. — Но откуда же вы меня тогда подслушали?

— Я лежалъ на своемъ берегу, за высокой травой. Не подумайте, что мечталъ, глядя на луну. Нѣтъ, это было вскорѣ послѣ моего студенчества. На меня находили тогда такіе шальные дни, когда въ душѣ вдругъ подымается буря и не даетъ покоя... И потомъ проходитъ такъ же безотчетно, какъ пришла.

— О, да! Именно безъ видимаго повода и безотчетно...—Она пошевелилась на стулѣ и въ глазахъ ея сверкнули прежніе огоньки.—Я вамъ сдѣлала выговоръ, но если хотите, могу вамъ дать вторую мазурку.

— А въ задатокъ хоть одинъ туръ вальса? Вы теперь отдохнули.

Они сдѣлали два тура вокругъ залы, и Орскому это сошло удачно. Онъ отошелъ въ другія комнаты, нѣсколько отуманенный не только непривычнымъ для него движеніемъ.

Подали ужинъ, при которомъ Елена зорко слѣдила за стаканами, назначенными для венгерскаго вина. Другія вина гости могли наливать себѣ сами, но венгерское вино подливалось прислугой тотчасъ же, какъ только она замѣчала опорожненный или хотя бы наполовину отпитый стаканъ. Бесѣда скоро оживилась. Елена сидѣла далеко отъ Орскаго, между Лабендскимъ и молодымъ Вильскимъ. Первый старался смѣшить ее, и это ему удавалось, а Вильскій, какъ казалось Зигмунту, присматривался слишкомъ безцеремонно къ ея открытымъ выше перчатокъ рукамъ и къ бюсту. Разговоры въ обществѣ были самые банальныя, а напыщенные тосты съ прославленіемъ гражданскихъ заслугъ именинника, который, какъ всѣ отлично знали, былъ порядочнымъ кулакомъ, и за „наши заповѣдныя идеалы“, о которыхъ, по убѣжденію Орскаго, никто изъ этихъ плантаторовъ не думалъ, раздражали его.

Вдругъ молодому Вильскому пришло въ голову заставить этого новичка въ мѣстномъ обществѣ говорить, и, кивнувъ Зигмунту два раза, онъ постучалъ вилкой въ стаканъ.

— Г. Орскій проситъ слова.

Это было глупо. Но Зигмунтъ не хотѣлъ выказывать замѣшательства и отговариваться. Въ немъ забились прежняя, городская жилка, и, вставъ, онъ поднялъ бокалъ.

— За тѣхъ, кто на насъ работаетъ! За рабочій людъ, господа!

Немногіе изъ присутствовавшихъ сочли долгомъ отпить изъ стакановъ. По общему впечатлѣнію это была неумѣстная выходка. Но Елена привѣтствовала Орскаго бокаломъ и съ удареніемъ произнесла:

— Пью съ вами!

Но такъ какъ этотъ тостъ былъ уже послѣ мороженаго, то хозяинъ поднялся и гости стали возвращаться въ залу. Послѣ ужина возобновились танцы, но Зигмунтъ вышелъ на террасу и сѣлъ на одной изъ нижнихъ ступеней лѣстницы. Какъ тамъ, въ ком-

натахъ, было искусственно и пошло, такъ здѣсь, въ саду, при свѣтѣ мѣсяца, все казалось просто и вмѣстѣ величаво.

Посидѣвъ нѣсколько минутъ, Орскій поднялся по лѣстницѣ и на террасѣ встрѣтилъ Елену.

— Вы меня встревожили вашимъ тостомъ, — сказала она серьезно. — Все, что колеблетъ нашу обыденную жизнь, что поднимаетъ край завѣсы надъ инымъ міромъ, выводитъ меня изъ равновѣсія, велитъ мнѣ рваться къ чему-то, вызываетъ безсонницу.

— Какъ же вы себя представляете тотъ иной міръ? — тихо спросилъ онъ, бережно взявъ ее за руку.

— Это долженъ быть міръ идей и самопожертвованія.

— И лишений, а часто и разочарованій. Я изъ него вышелъ, и не скажу, что это иногда не щемитъ мнѣ сердце. Однако, я туда не возвращаюсь. Это дано только особымъ, избраннымъ натурамъ. А безъ дѣйствительнаго призванія и вы не вынесли бы того тяжкаго труда.

— О, еслибы я разъ попала на тотъ путь, то уже ничто не сбило бы меня съ дороги!

Въ эту минуту изъ залы раздалась мазурка.

— Слышите? Вѣдь вы общали ее мнѣ. — И онъ подложилъ ей руку подъ свою, чтобы идти въ залу. Но Елена, не вынимая руки, сказала черезъ ступень внизъ и оба они подъ-руку сбѣжали въ садъ.

— Можемъ пройтись и здѣсь, а не въ душной залѣ, — сказала она. И они проскакали мазурку вглубь аллеи и назадъ. Потомъ подъ-руку поднялись въ залу и простились.

VI.

Прошли недѣли двѣ, и Орскому очень хотѣлось увидѣться опять съ Еленой, а вмѣстѣ съ тѣмъ ему почему-то было противно дѣлать новый формальный визитъ для нея. Имъ овладѣло какое-то безпокойство. Распоряженій по хозяйству онъ не дѣлалъ, предоставивъ все управляющему, не хотѣлъ дослушивать длинныхъ разсказовъ пана Стефана о прошломъ, а въ обращеніи съ прислугой, особенно въ конюшняхъ, сталъ проявлять нетерпѣніе, чего прежде не было. Замѣтивъ, что въ стойлахъ верховыхъ лошадей не была перемѣнена подстилка, онъ пригрозилъ одному изъ конюховъ, что прогнать его, если это случится еще разъ. Старый резидентъ не узнавалъ Зигмунта.

Онъ опять сталъ особенно заниматься лошадьми, леталъ по лугамъ и лѣсу по два раза въ день, такъ что всѣмъ тремъ верховымъ лошадямъ было довольно работы. Однажды, выѣхавъ на Чардашѣ шагомъ на окраину лѣса, онъ почувствовалъ, что конь ложится на поводъ, и, взглянувъ на длинную просѣку передъ собой, которой конца не было видно, онъ замѣтилъ въ отдаленіи клубившуюся пыль.

Орскій далъ волю лошади и, спустя нѣсколько минутъ скорой рыси, увидалъ далеко передъ собой коня, который также живо подавался впередъ. Усиливъ аллюръ, онъ скоро различилъ висѣвшее на лѣвомъ боку той лошади платье. Тогда онъ поднялъ Чардаша на галопъ, но передняя лошадь, заслышавъ погоню, также пошла галопомъ. И по мѣрѣ того, какъ Орскій ускорялъ ходъ, преслѣдуемый конь дѣлалъ то же самое. Догадываясь, что той амазонкой была Елена, Зигмунтъ пустилъ Чардаша въ карьеръ, что было рискованно на дорогѣ, мѣстами перерывитой корнями. Но Орскій даже не подумалъ, что такая скачка была особенно неосторожной для Елены, напротивъ, раздраженный тѣмъ, что разстояніе между лошадьми не сокращалось достаточно быстро, онъ ударилъ своего коня хлыстомъ, вмѣсто того, чтобы только слегка до него дотронуться, какъ иногда дѣлалъ прежде. Чардашъ скакнулъ вбокъ и хотѣлъ приподняться, но всадникъ не далъ ему опереться на поводъ и хлестнулъ его еще разъ. Тогда конь рванулся впередъ съ такой силой, что отбросилъ всадника нѣсколько назадъ, и Орскій, потерявъ одно стремя, едва не слетѣлъ. Чардашъ пошелъ во всю силу, какъ передъ флагомъ на скачкахъ, и всадникъ не могъ умѣрить скачки, такъ какъ лошадь захватила мундштукъ и заносила, уже не чувствуя его.

Такъ они влетѣли на дорогу, которая вела внутрь лѣса, и Орскій едва успѣвалъ нагибаться подъ болѣе низкими вѣтвями, которыхъ концы били его по лицу. Положеніе становилось небезопаснымъ, но послѣ одного изъ этихъ невольныхъ поклоновъ, при которыхъ всадникъ долженъ былъ закрывать глаза, самъ Чардашъ замедлилъ ходъ и, наконецъ, остановился.

На широкой полянкѣ, держа за поводъ рыжую лошадь, слегка потемнѣвшую отъ пота, стояла Елена въ узкой амазонкѣ. Ея волосы были нѣсколько растрепаны, на щекахъ румянецъ, глаза горѣли, а на губахъ была веселая усмѣшка.

— А что? Недурно идетъ моя Зузула?.. Но вы безъ шапки, что это значитъ?

— Вѣтъ сбита. Вы все прямо по окружной дорогѣ сюда?

— Да,—а вы?

— Меня занесла лошадь направо, на лѣсную дорогу.

Орсвій соскочилъ съ сѣдла, и Елена замѣтила его блѣдность.

— Какъ же можно идти маршъ-маршемъ по лѣсной дорогѣ! Легко было удариться о вѣтвь и слетѣть или просто убиться.

— Штука въ томъ, чтобы умѣть кланяться въ пору,—такъ говорить житейская мудрость.

Чардашъ стоялъ, вздрагивая по временамъ. На немъ мѣстами видѣлась пѣна, а по всему тѣлу выступила сѣть жилокъ.

— Чудный у васъ конь!—сказала Елена.

— Лошади согрѣлись, надо намъ сѣсть и провести ихъ шагомъ. Онъ помогъ дѣвушкамъ подняться въ сѣдло, и они медленно двинулись назадъ.

— Я обожаю ѣздить верхомъ, а теперь двѣ недѣли не могла, потому что Зузуля зарубилась и прихрамывала.

— Я былъ бы такъ счастливъ, еслибы вы позволили мнѣ сопровождать васъ.

— Вѣдь вы же сопровождаете.

— Но впередъ?

— При случаѣ, если встрѣтимся.

— О, я васъ встрѣчу. Загоняю всѣхъ лошадей, а встрѣчу! Знаете, мнѣ какъ-то совѣстно пріѣхать къ вамъ съ церемональнымъ визитомъ, пожалуй еще съ запряжкой четверней, какъ это здѣсь принято.

Елена засмѣялась.—Женихомъ? Да, такъ именно женихи ко мнѣ ѣздили.

— Женихи?

— Разумѣется, такіе „претенденты на мою руку“. Ужасно скучный народъ. Чтобы не сердить тету, я должна была ихъ принимать, хоть по разу.

— Не все же они были скучны,—когда-нибудь доходили и до объясненія.

— Они не успѣвали. Чтобы сдѣлать пріятное тетѣ, я cadaго принимала раза два и даже выказывала свои таланты, играла на роялѣ, говорила о хозяйствѣ, въ которомъ ничего не понимаю... Но когда такой джентльменъ пріѣзжалъ въ третій разъ, меня ужъ не было дома. Зузуля спасала меня отъ нихъ.

— Пріѣдутъ еще.

— Теперь ужъ едва-ли... Теперь всѣмъ стало извѣстно, что дѣла наши плохи. А сверхъ того и кумушекъ меня разслабили. Вы знаете, какъ въ нашемъ захолустѣ смотрятъ на независимость или такія причуды женщины, которыя не относятся къ туалету и флёрту.

Она тронула лошадь хлыстикомъ, и они пошли рысью по узкой дорожке.

— Позвольте мнѣ идти впереди,—сказалъ Орскій и выдвинулся первымъ, къ нѣкоторому ея удивленію.

Когда они приблизились къ кресту, гдѣ ихъ дороги раздѣлялись, Зигмунтъ пріостановилъ лошадь, но держалъ ее коротко въ поводу и въ шенкеляхъ. Поровнявшись, они перешли на шагъ.

— Когда-то мнѣ случится васъ встрѣтить.—Нечего дѣлать, буду рыскать на удачу.

Она сказала совсѣмъ серьезно:—Не люблю церемоній и не боюсь пересудовъ... Выѣзжаю я обыкновенно той дорогой на опушкѣ, на которой вы меня преслѣдовали... и не догнали. Она широка и довольно ровная.

— Чудесно!—Но еще одну милость: можно говорить вамъ не „пани“, а—„кузина“?

— Какъ хотите. А впрочемъ, какъ вы говорили въ городѣ съ товарищами-курсистками?

— На „вы“, конечно, со всѣми; съ поляками безъ „пани“, а съ русскими—безъ „имени-отчества“. У насъ вообще было запросто.

— Ну, „запросто“—это можетъ быть и грубо, что мнѣ, признаюсь, не нравится. Другое дѣло—просто: это и красивѣе, и веселѣе, чѣмъ всякія салонныя ужимки.

Черезъ нѣсколько дней Орскій встрѣтилъ ее на окружной дорогѣ. Елена уже возвращалась, но хотѣла провѣдать стараго пасѣчника, изъ бывшихъ повстанцевъ, который давно поселился въ лѣсу.

— Отчего вы сегодня не на Чардашъ?—тотчасъ спросила она, подавъ ему руку.

— Онъ ходилъ подо мной вчера,—солгалъ Зигмунтъ.

Былъ чудный день. Въ лѣсу, въ кустахъ и на полѣ птицы весело щебетали, чиликали и повторяли свои короткіе ритмы.—Небо синѣло изъ-за деревьевъ, при полномъ блескѣ солнца. Ъхать приходилось медленно въ такую жару, да Орскій и Елена не торопились и потому, что имъ было хорошо вмѣстѣ, свободно и весело. Ей Орскій казался давно знакомымъ, а онъ восхищался ея красотой и правдивостью.

Она припомнила нѣсколько стиховъ и пристыдила своего спутника за то, что онъ не зналъ, чьи они. Они молча доѣхали до пасѣки. Пасѣчникъ не удивился гостямъ, такъ какъ Елена иногда заѣзжала къ нему. Онъ сталъ угощать ихъ вишнями.

— Вѣдь я паненку помню вотъ этакой маленькой... Да, а теперь, вишь, какой расцвѣла красавицей, да и ростомъ подошла къ покойнымъ родителямъ. А паничъ изъ Волицы также молодецъ. Посмотрю на васъ... какъ разъ и другъ къ другу вы подошли, миленькіе...

Когда они отѣхали отъ хаты пасѣчника, Зигмунтъ ничего не упомянулъ о его словахъ. По дорогѣ домой они говорили о движеніи среди молодежи, и Орскій былъ удивленъ тѣмъ увлеченіемъ, съ какимъ къ нему относилась Елена, — совсѣмъ незнакомая съ политикой и соціологіей. Онъ самъ продолжалъ вѣрить въ будущность этого дѣла. Но оно представлялось ему какъ будто снятымъ на время съ очереди.

Наконецъ, Орскій посѣтилъ еще разъ тетку Елены, переправясь на тотъ берегъ въ лодкѣ. Дѣвушка обвела его по саду и съ тѣхъ поръ они часто катались на пруду и гуляли вблизи, а кромѣ того они попрежнему встрѣчались верхомъ, только уже по уговору. Ихъ болѣе и болѣе влекло другъ къ другу сходство положенія, то-есть одиночество, въ какомъ они жили, а сверхъ того и сходство темперамента.

Однажды они забрели далеко въ лѣсъ и зашли опять къ пасѣчнику. Онъ угостилъ ихъ медомъ, но такъ какъ еще не было время выборки меда, то старикъ далъ имъ очень немного, причеиъ Еленѣ—гораздо большую порцію, чѣмъ Зигмунту. Онъ, очевидно, считалъ ихъ женихомъ и невестой, такъ какъ на шутиливую жалобу Зигмунта, что хозяинъ обидѣлъ его въ пользу Елены, старикъ сказалъ простодушно:

— У паненки губы сладкія, на что вамъ меду?!

— Тоже, придумали вы, дѣдушка! — сказала Елена, покраснѣвъ.

А Орскій, чтобы замаять это, замѣтилъ: — Я тамъ надъ дубомъ видѣлъ, какъ кружились ястребята. Надо бы ихъ повыстрѣлять.

— Гдѣ ихъ тамъ достанешь!..—Старикъ качалъ головой.—Птицы—народъ высокій, а люди—народъ низкій, отъ земли не отростъ. Человѣкъ хитритъ, прячется, а то бы ихъ ему и ружьемъ не достать.

Но когда молодые люди стали съ нимъ прощаться, дѣдъ вернулся къ прежнему и сказалъ:

той полянки, и молодой человекъ, какъ бы въ порывѣ удивленія и благодарности, быстро взялъ ее за талію и поцѣловалъ въ полу-раскрытыя губы.

Она слегка дрогнула, какъ бы пробуждаясь отъ сна, и прошептала:

— Зигмунтъ...

Такъ они обручились.

А Ласточка?...

Неожиданность сразу измѣнила положеніе. Теперь уже нельзя было довольствоваться дружбой съ Еленой.

— Галька, дорогая моя!—сказалъ Орскій, взявъ ее руку.— Могу называть васъ такъ?

Она отвѣтила, пожавъ ему руку. Потомъ прибавила:

— Можешь.

Они присѣли на травѣ.

— Я связанъ фиктивнымъ бракомъ съ дѣвушкой, которую у насъ было рѣшено освободить отъ родительской власти. Она милая, но я не былъ влюбленъ въ нее. И она добрая, она согласится на разводъ; да теперь бракъ ей и не нуженъ. Богъ знаетъ, гдѣ она. Я завтра же уѣду разузнать о ней, отыскать ее, если возможно.

— Отчего было бы невозможно?

— Потому что она можетъ быть въ тюрьмѣ, вѣдь она ѣхала съ порученіемъ... Если разыщу ее, она по моей просьбѣ навѣрное начнетъ дѣло о разводѣ. Тогда я тотчасъ возвращусь, и мы скажемъ все твоей теткѣ, такъ что положеніе наше будетъ совсѣмъ ясное. Вѣрь мнѣ и жди меня.

Онъ обнялъ Елену и прижалъ ее къ себѣ. Поцѣлуй повторился не разъ.

— Я тебѣ вѣрю,—говорила она прерывавшимся голосомъ, приподнимая голову съ его плеча.— Хочу быть твоей и иначе не хочу жить... И еслибы ты даже не получилъ развода или не могъ со мной вѣнчаться... Насъ благословилъ уже тотъ старикъ... Возьмемъ да и поѣдемъ въ Италію!

Зигмунтъ не принялъ этого отвѣта буквально, хотя въ умѣ его и мелькнулъ вопросъ: отчего именно—въ Италію?

Черезъ два дня Орскій входилъ въ квартиру Башина въ университетскомъ городѣ. Май еще не прошелъ, экзамены не кончились, и старый студентъ никуда не выѣхалъ. Онъ, впрочемъ, и не собирался держать экзаменовъ, хотя ихъ въ томъ году не бойкотировали.

Башинъ вскочилъ съ дивана.

— Батюшки, кого я вижу? Атаманы!.. И какой же бравый, загорблый, а по платью даже какъ бы черносотенный. Но по платью вѣдь только встрѣчаютъ, а вы, пожалуй, по товарищескому дѣлу?

Башинъ велѣлъ подать чаю, и они сѣли.

— Я по дѣлу личному, но въ которомъ замѣшанъ товарищъ. Вотъ уже слишкомъ два года, какъ вы, Башинъ, женили меня на Ласточкѣ...

— Да, потому что со мной она не хотѣла продѣлать даже этой церемоніи. Такъ что же?

— Теперь она давно вышла изъ-подъ родительской власти. Ей бракъ со мной больше не нуженъ, а мнѣ необходима свобода: я хочу жениться на другой, тамъ, въ своихъ мѣстахъ.

— То-то, въ своихъ мѣстахъ...—Башинъ пошелъ къ огню за табакомъ. — Вамъ свои мѣста всего дороже. И что это за логика: „мнѣ необходима свобода и я хочу жениться“?! Нужна вамъ жена, такъ вѣдь она у васъ есть—разыщите Ласточку. На что вамъ лучше? Будетъ съ нея шатаній, высылковъ, водвореній и голодовокъ. И то не понимаю, какъ она все это выдержала, такая хрупкая... Вы теперь, я слышалъ, богатый человѣкъ,—можете доставить ей спокойствіе и довольство.

— Но я хочу жениться на другой, потому что полюбилъ другую.

Оба они помолчали. Потомъ Башинъ сказалъ, какъ бы въ раздумьи:

— А можетъ быть, она и померла, не выдержала, бѣдняжка.

— Значитъ, вы не знаете, гдѣ она и что съ ней?

— Что съ ней, если она жива, догадываюсь; но гдѣ именно она—это мнѣ неизвѣстно. Знаю, что изъ Москвы она отправилась во Владимірскую губернію, оттуда была выслана и водворена гдѣ-то въ Саратовской губерніи. Затѣмъ, она была опять арестована и выслана въ Вологодскую, а оттуда куда-то исчезла, но куда—не знаю. Прежде она давала знать о себѣ сюда, нашимъ; а теперь не пишетъ,—вѣроятно, не можетъ.

Орскій всталъ.

— Надо пойти разузнать еще у кого-нибудь.

— Да, конечно. И я съ своей стороны поразспрошу кое-кого. Вы когда ѣдете?

— Если не узнаю здѣсь, то попытаюсь узнать въ Вологодской губерніи.

— Съ ума вы сошли! Что же вы такъ въ потемкахъ искать будете? Просто зайдите ко мнѣ передъ выѣздомъ, и если не

узнаете здѣсь ничего ни у другихъ, ни у меня, то отправляйтесь назадъ, въ „ваши мѣста“. А я еще ее все время буду разыскивать.

— Какъ же мнѣ такъ, оставаться въ неизвѣстности?..

— Поймите, если чтò возможно узнать, то я узнаю! — съ удареніемъ произнесъ старый студентъ, положивъ руку на грудь. — Вѣдь это мой интересъ, чтобы Ласточка дала вамъ разводъ. Вѣдь я издавна въ нее влюбленъ, развѣ вы не знали? Она вамъ не говорила?

— Ничего подобнаго! — удивленно сказалъ Орскій.

— Вотъ, видите. Разведется съ вами, такъ, можетъ, теперь согласится выйти за меня. Вѣдь довольно она, сердечная, помялась. Правда, я не богатъ. Но кормиться съ ней могу, хотя бы этими руками...

И онъ протянулъ руки.

Орскій пробылъ въ городѣ четыре дня, не узналъ ничего и зашелъ опять къ Башину, который сказалъ ему, что также ничего не провѣдалъ. Но онъ записалъ адресъ Орскаго, въ нѣмѣніи. — Я буду упорно продолжать поиски, — сказалъ онъ. — И какъ только она подастъ просьбу о разводѣ, я извѣщу васъ.

— Нѣтъ, вы дайте мнѣ знать тотчасъ, когда узнаете, гдѣ она; я къ ней поѣду самъ.

— Совершенно лишнее. Чтò за пріятность для женщины видѣться съ тѣмъ, кто проситъ о разводѣ съ нею! Повторяю, я извѣщу васъ, когда ею будетъ подана просьба, и тогда вы можете узнать гораздо ближе — у насъ, въ городѣ, въ консисторіи. Извѣщу также, если она откажется исполнить ваше желаніе. Но это совершенно невѣроятно.

Зигмунтъ подумалъ, подумалъ и, рѣшивъ черезъ мѣсяцъ опять пріѣхать къ Башину, если не получить отъ него извѣстія, отправился домой, не добившись ничего.

VIII.

Спустя около недѣли послѣ этого свиданія, Башинъ пріѣхалъ въ городъ Новоузенскъ и безъ труда узналъ тамъ, гдѣ проживаетъ поднадворная Марія Орская. Какая-то женщина, повидимому кухарка, провела его въ узенькую комнату съ однимъ окномъ, короткимъ диваномъ, столикомъ и стуломъ. Ласточка сидѣла, стѣжившись, въ углу дивана и читала. Башинъ, на первый взглядъ, едва узналъ ее, такъ она еще похудѣла и лицо приняло сѣроватый оттѣнокъ.

— Башинъ! — Она отъ удивленія даже протянула къ нему руки, но онѣ тотчасъ упали. — Какими путями вы сюда?

— Тѣми, которые ведутъ къ вамъ, то-есть, къ вашей милой особѣ, если не къ вашему сердцу.

Она сразу хотѣла направить разговоръ иначе. — Что же у васъ тамъ дѣлается? Вѣдь я живу здѣсь совсѣмъ какъ въ пустынѣ.

— У васъ и здѣсь въ комнатахъ такъ мило, уютно и задушевно, какъ всегда. А вамъ много пришлось перенести... Знаю отъ тѣхъ, кому вы писали, и слѣдилъ постоянно... Вы были больны въ ...ской тюрьмѣ... Что у васъ было?

Ласточка грустно улыбнулась. — Зачѣмъ говорить о томъ, что прошло!... Тяжелѣе всего для меня было разстаться съ дѣтьми, которые меня полюбили и которыхъ я полюбила. А остальное что-жъ... Я вѣдь на это шла, и не жалуюсь.

— А какія же то были дѣти?

— Годъ тому, меня водворили въ одномъ мѣстечкѣ Владимірской губерніи. Оно называлось посадомъ, но фабрика была тамъ одна, небольшая ткацкая, а другіе жители — наполовину кустари, наполовину крестьяне. И самъ фабрикантъ, изъ крестьянъ, въ обхожденіи казался добродушнымъ, но кулакъ въ душѣ. Во всемъ посадѣ — ни одного образованнаго человѣка. Фабрикантъ и предложилъ мнѣ учить его дѣтей, мальчика десяти лѣтъ и дѣвочку уже тринадцати. Оба умѣли только читать, а писали плохо. Я плату спросила небольшую, такъ какъ онъ испросилъ мнѣ переѣздъ къ нему въ домъ, гдѣ я имѣла и столъ. Я стала учить ихъ правописанію, четыремъ правиламъ, преподавала такъ-называемыя „краткія свѣдѣнія“ по русской исторіи и географіи, купила имъ у коробейника басни, два устарѣлыхъ учебника и катехизисъ... обучала вѣдь и Закону Божію. Мой купецъ былъ въ восторгѣ отъ дешевизны обученія столькимъ предметамъ, и мнѣ жилось тамъ недурно, потому что дѣти, особенно дѣвочка, привязались ко мнѣ страстно и оба были способными и хорошія натуры.

— Но васъ, вѣрно, выслали?

— Нѣтъ, просто перевели въ другой городокъ. Вышло такъ. Я хотѣла заглянуть на фабрику и, получивъ позволеніе хозяина, пошла туда съ своими учениками... Но тамъ работали и дѣти, и вотъ, за полчаса, которые мы тамъ пробыли, были два случая. Одинъ мастеръ оттащала мальчика за волосы, и когда мы переходили на другую сторону, чтобы уйти отъ этого звѣрства, мастеръ подскочилъ къ другому мальчику и далъ ему такую пощечину, что тотъ громко заплакалъ и схватился, бѣдный, за

подбородокъ. Навѣрное, ему тотъ извергъ повредилъ зубъ. Моя ученица также заплакала. На этотъ разъ я не выдержала, замигала мастеру, что онъ поступаетъ противозаконно и сказала, что пожалуюсь хозяину. А тотъ безстыдно мнѣ отвѣтилъ: „Я ему самъ на васъ пожалуюсь,—не ваше дѣло“.

— Конецъ предвижу,—Башинъ усмѣхнулся.

— Послѣ обѣда купецъ зашелъ на фабрику, но скоро вернулся и тотчасъ позвалъ меня къ отвѣту: какое право имѣла я, этакая „политическая“ тварь, вмѣшиваться въ порядки на фабрикѣ,—бунтовать что-ли хочу рабочихъ? Вонъ! и т. д. Ученица моя дрожащимъ голосомъ жаловалась отцу на жестокость мастера и, умолая „простить“ меня, обняла меня. Но онъ оторвалъ ее отъ меня, повелъ на дворъ и заперъ въ чуланъ, а мои вещи велѣлъ выбросить на лѣстницу. Я ушла, не выдавая больше той дѣвочки, и жалованье пропало за полмѣсяца. Меня скоро перевели, вѣроятно по оговору этого человѣка, и мысль о дѣвочкѣ долго не давала мнѣ покоя.

— Вы все о другихъ думаете!

Она улыбнулась.

— Цѣлые полчаса говорю вамъ о себѣ и даже не подумала о васъ.

Башинъ махнулъ рукой.— Ну, обо мнѣ вѣдь и не стоитъ.

— Нѣтъ, вы что-нибудь скушаете,—вы, пожалуй, голодны...

— Не надо. А здѣсь надолго ли вы теперь?

— Мнѣ не назначено срока. У меня и здѣсь есть уроки въ одной семьѣ; составляютъ десять рублей въ мѣсяцъ. Да казенный паекъ. Съ голоду не умру, но меня тяготитъ бездѣйствіе. Передать, раздать все, что слѣдовало, это давно мной сдѣлано. А здѣсь ко мнѣ ничто и не дойдетъ. А если ничего не дѣлать, то вѣдь не стоитъ же сидѣть въ такой трущобѣ.

— Здѣсь есть еще поднадзорные?

— Двое мужчинъ.

— Не нравится ли вамъ который-нибудь изъ нихъ?

— Не говорите глупостей.

Башинъ поднялся, какъ будто хотѣлъ ходить по комнатѣ. Но не было мѣста. Онъ придвинулъ свой стулъ къ ея дивану.

— А я именно о такихъ глупостяхъ и хочу поговорить съ вами серьезно. Я для этого и пріѣхалъ.

Ласточка слегка отодвинулась на диванѣ.

— Не бойтесь, я на васъ не брошусь. Но буду говорить напрямки. Ну, что вамъ сидѣть безъ дѣла и въ трущобѣ, какъ сами говорите?

— Говорятъ, скоро будетъ амнистія.

— Эге, что сказали! Да знаете ли вы, что нынѣ поднадзорные еще годами сидятъ въ своихъ мѣстахъ и послѣ амнистіи, если никто о нихъ не хлопочетъ. А еще когда-то быть амнистіи... Вамъ надо найти выходъ. Его добуду вамъ я! Клянусь вамъ честью!—Онъ хотѣлъ ударить кулакомъ по столу, но воздержался. — Я вамъ буду ходатаемъ во всѣхъ инстанціяхъ, буду работать на васъ какъ волъ, а когда буду съ вами, буду вамъ слугой.

Видя его волненіе, она встала съ дивана и подошла къ окну. — Башинъ! Развѣ это возможно? Вѣдь вы же знаете, вы сами сосватали мнѣ тотъ бракъ.

— Да, потому что меня вы не хотѣли, чувствовали ко мнѣ отвращеніе.

— За что же, помилуйте?! Вы всегда были ко мнѣ добры...

— Не хочу я этой доброты къ вамъ. Не доброта была, вы отлично знаете. Я васъ люблю года четыре, люблю страстно, какъ любятъ люди ненормальные, выше или ниже другихъ, во всякомъ случаѣ съ ними неравные, нелюбящіе никого и ничего, кромѣ той, кого они страстно желаютъ, въ комъ видятъ свою цѣль, наслажденіе, свою вѣру и свое небо...

— Довольно, Башинъ, довольно, голубчикъ .. Вѣдь я не могу слушать этого.

— Разъ выслушайте, когда вы мнѣ, хотя и невольно, искалѣчили жизнь... Я такъ, безъ одного вашего ободряющаго слова, не въ состояніи ни работать, ни предпринять что-либо... Я пробовалъ запивать, и это продолжалось съ полгода... Бросилъ, не помогало... Смѣшно было бы требовать отъ васъ сейчасъ любви... Я и прошу васъ только—выведите и себя, и меня изъ безпомощнаго положенія.

— Что же я должна сдѣлать? — мягко спросила Ласточка, тронутая его словами.

— Дайте мнѣ надежду, что, можетъ быть, когда-нибудь вы согласитесь быть со мной, откройте просвѣтъ изъ той ямы, въ какой я сижу. Пускай это будетъ просвѣтъ условный, который вы можете заслонить опять, если, несмотря на все, что я стараюсь сдѣлать для васъ, вы все-таки не рѣшитесь быть моей. Снимите только тяжесть сознанія, что вы отвергли меня навсегда, что вы, Ласточка моя родная, ужъ никогда ко мнѣ не прилетите...

Ей было жаль его. Она хотѣла какъ возможно смягчить для него отказъ. И, дотронувшись рукой до его рукава, она

глядѣла на него съ участіемъ своими черными, добрыми и робкими глазами, и говорила:

— Послушайте, умный и хорошій Башинъ... Прежде всего— совершенная неправда, будто я чувствую къ вамъ какое-то ни на чемъ не основанное отвращеніе; это вы сами выдумали и, я думаю, сами этому не вѣрите. Но вѣдь вы все-таки просите у меня обѣщанія... Нѣтъ! Погодите, не прерывайте меня... Мнѣ вѣдь тяжело это говорить... Какое тамъ ни условное обѣщаніе, но все-таки, значить, я подала бы вамъ надежду, что, нося фамилію другого человѣка, я современемъ могу быть вашей... Я знаю, что мой бракъ фиктивный и тотъ человѣкъ никогда не считалъ его инымъ. Вотъ вы какъ-то разыскали меня, а о немъ два года и слуху не было. Но имя его меня все-таки связываетъ. Думаете ли вы, что онъ далъ бы свое имя женщинѣ, которая станетъ жить съ другимъ? Это было бы нечестно... Пойдите, я сейчасъ кончу. Потомъ, какъ же это вы, мужчина и человѣкъ практическій, можете придавать значеніе такому условному, ничѣмъ не подтвержденному обѣщанію и на немъ основывать цѣлый планъ?

— Очень мило то, что вы сказали, но ошибочны оба ваши аргумента. Ваше слово ободренія для меня вы подтвердите подачей просьбы о разводѣ съ Орскимъ. Я вамъ самъ напишу это прошеніе. Поводомъ, разумѣется, будетъ вымышленное прелюбодѣянiе съ его стороны; онъ приметъ вину на себя, я это знаю. Возьму отъ васъ довѣренность, представлю прошеніе въ консисторію, поставлю и необходимыхъ жесвидѣтелей... Могу даже дать взятку кому слѣдуетъ. Она будетъ небольшая, много ли можно требовать отъ жены студента... Словомъ, поведу все дѣло, а между тѣмъ и васъ отсюда вытащу. Значить, и имя Орскаго не будетъ васъ стѣснять, а стало быть отпадаетъ и другой вашъ доводъ.

По мѣрѣ того какъ Башинъ говорилъ, Ласточка измѣнялась въ лицѣ. На гладкомъ овальномъ лбу ея вырисовалась тонкая морщинка. Въ глазахъ выраженіе участія исчезло. Дѣвушка присѣла на подоконникъ и произнесла болѣе увѣреннымъ, чѣмъ прежде, голосомъ:

— Но безъ его согласія ничего сдѣлать нельзя. Вѣдь его вызвать въ консисторію... Почему же вы знаете, что онъ возьметъ вину на себя?

— Очень просто: потому что онъ самъ мнѣ это сказалъ.

— Неправда... И развѣ я могу начинать дѣло по словамъ посторонняго человѣка?

— Извольте, я вамъ покажу доказательство.— Башинъ всталъ и, вынувъ изъ бокового кармана затасканный бумажникъ и нѣсколько бумагъ, подаль ей письмо Орскаго, въ конвертѣ.

Она оглядѣла адресъ и почтовый клейма, вынула письмо и прочла: „Любезный Башинъ, я возвращаюсь къ прежней своей мысли — ѣхать самому къ Ласточкѣ по дѣлу о разводѣ. Какъ вы только узнаете, гдѣ она, прошу васъ, сообщите немедленно; я зайду къ вамъ и тотчасъ же отправлюсь къ ней. Будьте другомъ, не откладывайте увѣдомленія. Вашъ С. Орскій. На всякій случай пишу еще разъ свой адресъ“. Затѣмъ слѣдовало названіе губерніи, уѣзда и имѣнія.

Ласточка медленно опустила руку съ письмомъ. Башинъ прочелъ въ лицѣ ея, что она дѣлала большое усиліе надъ собой и вѣки ея нѣсколько разъ судорожно затрепетали, какъ крылья птицы, попавшейся въ силки.

Онъ поднялъ руки, заложилъ ихъ за шею и выпрямилъ станъ, какъ бы уставъ быть сгорбленнымъ. Затѣмъ онъ началъ уже съ ироніею:

— Кажется, вы свой фиктивный бракъ, все-таки, считали несовсѣмъ фиктивнымъ, хотя Орскій и не искалъ васъ два года, пока ему это не понадобилось,—потому, онъ тамъ, въ „своихъ мѣстахъ“, влюбился. И теперь спѣшитъ жениться, уже не фиктивно, но дѣйствительно.

— Это въ его волѣ.—Она опустилась съ подоконника.

— И ничего — продолжалъ онъ — вы не подѣлаете съ полкомъ противъ полян.

Ласточка сдѣлала движеніе къ двери. Но Башинъ, опасаясь, что послѣдними словами онъ окончательно испортилъ свое дѣло, заградилъ дверь, бросившись передъ дѣвушкой на колѣни.

— Ласточка, душечка, добрая, милосердная! — быстро заговорилъ онъ, прижавъ свои руки къ груди. — Не убивайте, пожалуйста меня!

— Затѣмъ же вы не исполнили его воли?

Башинъ, хотя сильно взволнованный, все-таки придумалъ оправданіе.

— Я получилъ это письмо уже въ день отъѣзда, а у меня такъ душа рвалась къ вамъ... Впрочемъ, сперва Орскій самъ соглашался, чтобы ѣхалъ я...

Это послѣднее, впрочемъ, можно было вывести и изъ письма.

Башинъ все стоялъ на колѣняхъ, не выпуская Ласточку въ дверь.

— Дорогая, любезная, желанная, — молилъ онъ, — сдѣлайте, какъ я вамъ говорилъ! Ну, на что вамъ его видѣть?

— Я сдѣлаю то, что сама захочу, то, что будетъ выходомъ и для него, и для васъ... и для меня!

Она ухватила руку за дверь и хотѣла убѣжать, но Башинъ, поднявшись, удерживалъ ее за другую руку.

— Умоляю васъ, послушайте еще два слова...

Но Ласточка громко закричала въ дверь:

— Наталья Ивановна! Скорѣе сюда! — И когда Башинъ выпустилъ ее руку, она моментально исчезла.

Страшно взволнованный, Башинъ былъ золъ и на нее, и особенно на себя, за то, что не сумѣлъ удачнѣе повестъ дѣло. Онъ сталъ къ окну и увидѣлъ на дворѣ прежнюю старушку, которая торопливо несла въ рукѣ стаканъ воды, вѣроятно зачерпнутой въ кадѣ. Простоявъ такъ съ четверть часа, онъ сѣлъ на диванъ, рѣшивъ упорно ждать окончательнаго объясненія. Такъ прошло еще полчаса.

Наконецъ, та же старушка вошла и пригласила его:

— Марья Петровна проситъ васъ въ другую комнату.

Эта комната была просторная, такъ же убого убранная, какъ и первая. Ласточка, блѣдная, сидѣла на кожаномъ диванѣ съ пожилой женщиной въ чепцѣ. Рядомъ, на стулѣ Башинъ увидѣлъ молодого человѣка грузинскаго типа, котораго онъ уже видывалъ въ университетскомъ городѣ, но не былъ съ нимъ знакомъ, однако слыхалъ, что это былъ одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ заѣзжихъ агитаторовъ и едва-ли не членъ одной изъ боевыхъ дружинъ.

— Я должна сказать вамъ, что рѣшительно отказываюсь дать какиа-либо обѣщанія. Можетъ быть, дѣло устроится какъ-нибудь иначе. — Ласточка остановилась, но скоро прибавила, опустивъ глаза: — А васъ прошу простить меня, Башинъ. Я не виновата въ вашемъ положеніи, но и не могу помочь вамъ. Авось само измѣнится...

— А что же вы думаете сдѣлать, чтобы выйти изъ вашего?.. Вы о чемъ-то хотѣли намекнуть.

— Ни о чемъ. Останусь здѣсь, пока не уберутъ въ другое мѣсто или не отпустятъ на волю.

— Что же ему сказать?

— Скажите, чтобы онъ не пріѣзжалъ, что теперь я не согласна. Пусть подождетъ, ну, хоть мѣсяца два. Вотъ единственная моя къ нему просьба.

— Это ваше послѣднее слово?

Она утвердительно кивнула.

— Прощайте, не поминайте лихомъ!—тихо сказалъ Башинъ и вышелъ на улицу.

IX.

Возвратясь домой, Башинъ написалъ Орскому о неудачѣ своей поѣздки совершенно вѣрно, только сочинилъ, будто письмо Зигмунта уже не застало его въ городѣ, такъ какъ онъ выѣхалъ наканунѣ. Кромѣ того, онъ умолчалъ предъ Орскимъ о своихъ впечатлѣніяхъ и нѣкоторыхъ догадкахъ.

Зигмунтъ не ожидалъ такого результата. Особенно привелъ его въ недоумѣніе тотъ двухмѣсячный срокъ. На третій день по полученіи письма онъ уже явился къ Башину и спросилъ, какъ онъ понимаетъ этотъ срокъ.

— Быть можетъ, она хотѣла только, чтобы мы отъ нея отвязались, въ расчетѣ, что въ теченіе этихъ двухъ мѣсяцевъ она будетъ переведена куда-нибудь, въ другое мѣсто, такъ что мы опять потеряемъ ея слѣдъ,—отвѣтилъ Башинъ, но въ тонѣ его не слышалось убѣжденія.

Орскій нѣсколько разъ мотнулъ головой.

— Вы допускаете, что она хитритъ... Это совсѣмъ не въ ея натурѣ. Но какъ вамъ показалось,—значила ли эта отсрочка, что Ласточка желаетъ, чтобы черезъ два мѣсяца я пріѣхалъ къ ней, или означаетъ скорѣе ея нежеланіе, чтобы я пріѣхалъ раньше этого срока?

— Ну, батенька, это уже тонкости... И къ чему вамъ такой анализъ?

— Потому что въ первомъ случаѣ отсрочка могла быть назначена ею изъ одной деликатности, изъ нежеланія допустить меня сейчасъ же послѣ отказа договариваться съ вами. Во второмъ же предположеніи, то-есть, если ее интересуетъ только то, чтобы я не пріѣхалъ сейчасъ или скоро, это могло бы значить, что она не хочетъ, чтобы мой пріѣздъ помѣшалъ ей въ чемъ-нибудь.

— Но такъ какъ вопроса этого не разрѣшите вы, не разрѣшимъ и мы съ вами, то оставимъ его въ сторонѣ.

Орскій призадумался.

— Меня тревожитъ и эта отсрочка, и то, что вы ее видѣли въ обществѣ съ тѣмъ нумеромъ.

— Въ обществѣ съ человекомъ, въ самомъ дѣлѣ достойнымъ уваженія... Но какъ же вы собираетесь поступить?

— Слѣдуетъ подчиниться ея волѣ... А впрочемъ, не знаю.

Орскій ушелъ, а Башину показалось страннымъ, что онъ говорилъ о ея волѣ, точно такъ, какъ ею дважды было упомянуто о его волѣ.

Орскій пріѣхалъ къ Орвидамъ верхомъ и пригласилъ Елену сдѣлать съ нимъ прогулку.

— Вы на Чардашѣ?

— Нѣтъ.

— Жалѣете его для меня? Какъ это мило!..

— Мнѣ надо переговорить съ вами.

Пока ей сѣдлали лошадь, Зигмунтъ прошелъ къ теткѣ. Старушка уже видѣла, что дѣло идетъ къ свадьбѣ, и радовалась за дѣвушку, которая вскорѣ осталась бы безъ средствъ и даже безъ пріюта. А Орскій былъ для нея самой подходящей „партией“. Поэтому она и не думала ихъ стѣснять.

Какъ только они выѣхали шагомъ изъ парка, Зигмунтъ сталъ рассказывать Еленѣ о результатѣ поѣздки Башина, не скрывая отъ нея ничего.

— А, знаешь, я призналась тетѣ и сказала ей, что ты начинаешь дѣло о разводѣ... Она сперва было ужаснулась отъ этого слова, но когда узнала, что такое фиктивный бракъ, то успокоилась. Она тебя любитъ, намъ нечего съ ней слишкомъ стѣсняться... Но она огорчила меня, увѣряя, что на разводъ потребуется цѣлый годъ, если не больше... Что ты на это скажешь?—прибавила дѣвушка, обращаясь къ своему спутнику.

— Смотри... вѣтъ!..—Онъ указалъ хлыстикомъ впередъ.— Да, вѣроятно, съ годъ... А еще до самаго начала дѣла придется ждать два мѣсяца. Досадно, Галья моя, дорогая... Но какъ же быть? Во всякомъ случаѣ два мѣсяца надо ждать, чтобы, по крайней мѣрѣ, начать дѣло навѣрное, а то можетъ затянуться до безконечности.

— Мнѣ не хочется пускать тебя туда, къ женѣ.

— Куда?

— Къ Ласточкѣ. Признайся, вѣдь ты любилъ ее?

— Совсѣмъ не любилъ ее... такой любовью, какъ наша. Она была мнѣ симпатична, и я ее уважаю,—это другое дѣло.

— Нѣтъ, Зигмусъ,—она наклонилась направо и обняла его на моментъ рукой, въ которой держала хлыстикъ.—Не ѣди туда, прошу тебя. Не нужно мнѣ ни ея согласіе, ни ея содѣйствіе къ разводу. Она знаетъ, что ты теперь хочешь развода. Пусть и вызываетъ того, какъ онъ?.. твоего товарища или другому кому поручить. А нѣтъ, такъ мнѣ и не надо.

Галья вдругъ подняла лошадь на галопъ.

Сколько Зигмунтъ и при слѣдующихъ свиданіяхъ ни старался убѣдить Елену, что ему необходимо будетъ поѣхать и поставить дѣло о разводѣ, она не хотѣла объ этомъ слышать. Разъ даже заплакала, и когда онъ хотѣлъ ее успокоить, она улыбнулась и, глядя ему прямо въ лицо, сказала:

— Я тебя вѣрю и на тебя одного хочу положиться. Вотъ, возьмемъ да и уѣдемъ просто.

— Въ Италію?—усмѣхнулся уже и онъ.

— Да. Вотъ если въ консисторію тебя будутъ вызывать, туда ты поѣдешь... А не будетъ развода, такъ намъ и не надо.

Этотъ разговоръ происходилъ въ роцѣ. И оглянувшись кругомъ, они нѣсколько разъ поцѣловались.

Такимъ образомъ, послѣ посѣщенія Ласточкинъ Башиннымъ прошли три недѣли, и Орскій все еще надѣялся уговорить Гальку, въ теченіе остававагоса до срока мѣсяца слишкомъ, признать неизбѣжность его поѣздки для соглашенія съ фактивной его женой. Однажды Зигмунтъ, послѣ обѣда, собирался переплыть къ Орвидамъ, когда ему привезли съ почты газету и письмо, адресованное незнакомымъ ему почеркомъ. На вложенномъ листѣ были только слѣдующія строки: „Священникъ, призванный къ нынѣ умершей отъ раны арестанткѣ Маріи Орской, считаетъ долгомъ исполнить ея послѣднюю волю, увѣдомляя васъ, что свидѣтельство о ея смерти вы можете получить въ городѣ Новоузенскѣ, Самарской губерніи“.

Зигмунтъ сперва не вполне понялъ прочитанное. Но, пробѣжавъ еще разъ, онъ опустился локтями на столъ и нѣсколько мгновеній содрогался, рыдая. Арестантка... ранена, умерла! Зачѣмъ сдѣлала это она, милая, робкая птичка?! И почему помнила о свидѣтельствѣ, которое должно было освободить его?

Онъ нѣкоторое время оставался на мѣстѣ въ какой-то простраціи, и когда всталъ, ему показалось, что это былъ не онъ, а кто-то чужой.

На тотъ берегъ онъ поѣхалъ на слѣдующій день, и то только чтобы передать имъ извѣстіе и проститься передъ отъѣздомъ. Къ нѣкоторому его удивленію, Елена приняла близко къ сердцу гибель Ласточки.

Въ Новоузенскѣ Орскій поспѣшилъ за полученіемъ свидѣтельства, какъ онъ говорилъ Еленѣ и ея теткѣ. И себѣ твердилъ, что такъ слѣдовало сдѣлать. Но въ душѣ онъ сознавалъ только неудержимую потребность разузнать, какъ все это случи-

лось, и страстное желаніе, конечно, если не поспѣть къ погребенію, то найти хоть мѣсто, гдѣ ее зарыли.

Онъ пустился въ путь, не забывъ къ Башину, но, пользуясь прежнимъ его рассказомъ, легко отыскалъ улицу и домъ, гдѣ жила Ласточка. Обратился въ немолодой акушеркѣ, у которой она помѣщалась, и сказалъ, кто онъ. Весь городъ зналъ подробности покушенія на тюремное помѣщеніе, и случай этотъ былъ даже описанъ въ газетахъ, въ числѣ другихъ подобныхъ. Въ тюремномъ зданіи, куда, съ мѣсяцъ назадъ, была помѣщена партія пересыльных арестантовъ, былъ открытъ подкопъ, раньше, чѣмъ арестанты успѣли его окончить, и тогда усилено было наблюденіе. Но арестантами, въ одну изъ слѣдующихъ ночей, съ дерева, стоявшаго между окнами, была переброшена черезъ ограду веревочная лѣстница, по которой они и стали спускаться на улицу. Двоимъ изъ нихъ уже удалось бѣжать, когда нѣсколько стражниковъ выбѣжали за ограду и открыли огонь по той лѣстницѣ и дереву. Вдругъ, сзади, изъ-за кустовъ въ стражниковъ стали стрѣлять какіе-то двое постороннихъ, а оказавшаяся, къ несчастью, съ ними Марья Петровна бросила бомбу, отъ которой стражники разбѣжались. Но въ это самое время далъ залпъ по улицѣ находившійся вблизи военный караулъ. Одинъ изъ нападавшихъ былъ убитъ, другой схваченъ карауломъ, побѣгъ арестантовъ былъ остановленъ. А она, бѣдняжка, была поднята съ прострѣленной грудью и черезъ три дня скончалась въ тюрьмѣ. Таковъ былъ рассказъ акушерки.

— Гдѣ я найду того священника, который ее напутствовалъ?—спросилъ Орскій.

— Это—отецъ Алексѣй, младшій священникъ нашего прихода. Вонъ—церковь...—Она указала въ окно.—Онъ состоитъ при тюрьмѣ.

Орскій засталъ отца Алексѣя. Къ удивленію, младшій священникъ оказался бѣлымъ какъ лунъ, съ рѣзкими и неподвижными, какъ на иконѣ, чертами лица. Орскій представился.

— Сигизмундъ Орскій. Съ недѣлю тому я получилъ въ—скомъ уѣздѣ, въ имѣніи Волицѣ, письмо отъ здѣшняго священника безъ подписи.

— Вамъ нужно свидѣтельство?—Онъ указалъ на стулъ.

— Я прошу васъ, батюшка, выдать мнѣ это свидѣтельство, какъ законному мужу покойной, хотя я съ ней не выдался ни разу со дня вѣнчанія. Но вмѣстѣ убѣдительно прошу васъ передать мнѣ все, что вы знаете о ней, ея слова, подробности смерти, и сообщить мнѣ, гдѣ она похоронена.

Священникъ нѣкоторое время глядѣлъ Зигмунту прямо въ глаза и потомъ провизнесъ мягко, но рѣшительно:

— Не имѣю права.—Онъ немного наклонилъ вбокъ голову и повторилъ:—Не имѣю права. Она просила только сообщить вамъ о свидѣтельствѣ. И хотя она отказалась отъ утѣшеній церкви, но просьба ея исполнена. А что касается мѣста погребенія, его указать невозможно. Она была похоронена, вмѣстѣ съ убитыми и съ раньше еще казненными арестантами, на учебномъ плацу вѣдѣшняго баталіона, а туда не пускаютъ. Да и мѣста уже затоптаны ученьями. А вотъ, совѣтую вамъ, чтобы не было для васъ задержки, сдѣлать самимъ визитъ слѣдователю. Онъ еще здѣсь—Спасская улица, домъ Мартынова. Его еще сейчасъ застанете. За свидѣтельствомъ о смерти жены придите ко мнѣ завтра въ 11 часовъ утромъ.

Когда Орскій возвратился въ гостиницу, ему сообщили, что паспортъ его былъ задержанъ въ участкѣ. Но онъ уже зналъ отъ слѣдователя, что можетъ выѣхать хоть завтра, такъ какъ покойная болѣе двухъ лѣтъ находилась подъ надзоромъ, и властямъ было извѣстно, что бракъ ея былъ фиктивный и никакихъ сношеній съ мужемъ не происходило, а покушеніе здѣсь, въ Новоузенскѣ, носило чисто-мѣстный характеръ.

Х.

Въ самый вечеръ своей свадьбы Орскіе пустились въ путь, и, дѣйствительно, направились прямо въ Италію. Но не успѣлъ еще пройти и медовый мѣсяцъ, какъ между молодыми обнаружилось значительное различіе въ настроеніи. Елена жила въ какомъ-то экстазѣ. Страстная ея натура повергла ее въ непрерывное упоеніе. Она наслаждалась любовью, красотами природы, величіемъ историческихъ воспоминаній, жизнерадостнымъ характеромъ людей, наслаждалась до восторга. Она сходила съ ума отъ Венеціи, не давала мужу покоя, безпрестанно возила его по Canal Grande, днемъ—смотрѣть таинственно-мрачныя палаццо, вечеромъ—слушать пѣніе, возила на Lido—любоваться моремъ, водила на площадь св. Марка, въ соборъ, въ картинныя галереи.

Зигмунтъ старался входить въ ея тонъ, но въ немъ чувствовалась какая-то усталость или разсѣянность. Она его упрекала, что онъ сталъ какой-то не тотъ, какого она знала и какимъ его угадывала. Между ними произошла даже, мимолетная впро-

чемъ, размолвка, когда онъ не согласился ѣхать прямо въ Римъ, куда она стала стремиться всей душой, а настоялъ на томъ, чтобы остатокъ жаркаго сезона провести въ Швейцаріи.

Но они остановились на нѣсколько дней въ Миланѣ, и тогда все вниманіе Елены вдругъ поглотило происходившее тамъ рабочее движеніе, вслѣдствіе вздорожанія хлѣба. Газеты были наполнены отчетами о народныхъ сходкахъ, статьями противъ налога на муку и вообще противъ возростаго обложенія.

Елена неудержимо стремилась на улицы, и Зигмунту пришлось возить ее къ такимъ пунетамъ, гдѣ, по слухамъ, ожидались демонстраціи. На пути имъ попадались отряды конныхъ карабинеровъ или линейные батальоны, направленные къ мѣстамъ сборищъ. Волненіе усилилось, когда при свалкѣ толпы съ карабинерами былъ убитъ рабочій.

Немедленно на углахъ улицъ появились афиши, на которыхъ дюймовыми буквами были напечатаны возбудительныя воззванія. Елена остановила ветуррина и, не сходя съ экипажа, прочла одно изъ такихъ воззваній, напечатанное большими кровавыми буквами. Оно кончалось словами:

„Tu, folla, non hai diritto al pane; tu hai diritto al piombo!“ ¹⁾

Когда они вернулись въ отель и сошли за общій столъ, Елена еще не оправилась отъ испытаннаго ею лихорадочнаго волненія.

— Скушай же что-нибудь, — сказалъ ей Зигмунтъ по-польски, наливая ей и себѣ вина.

— И здѣсь то же самое?.. — Она вопросительно взглянула ему въ глаза.

— Ну, нѣтъ, — отвѣтилъ онъ. — Классовая борьба есть и здѣсь; она должна была начаться и въ этой благословенной странѣ. Но различіе въ томъ, что здѣсь положеніе не безвыходное. Ни та, ни другая сторона здѣсь не обратятся къ употребленію силы, потому что здѣсь — свобода.

Вдругъ всѣ обѣдавшіе вскочили отъ стола и бросились на балконъ, который шелъ вдоль цѣлой половины фасада. По улицѣ издали доносился шумъ и топотъ толпы. Вотъ она стала приближаться. Это былъ цѣлый потокъ людей, въ которомъ смѣшивались рабочіе въ праздничномъ костюмѣ, мужчины, женщины, подростки обонхъ половъ. Передовыя дружины шли, перекидываясь словами, взглядами, которые сопровождались порывистыми жестами. Среди этой головной колонны качались на бревнахъ красныя доскуты и красныя ленты.

¹⁾ Толпа, ты не имѣешь права на хлѣбъ; у тебя есть право только на свинецъ.

Слѣдующія волны народа шли уже болѣе или менѣе мѣрной поступью, и надъ ними могучимъ вихремъ неслась пѣснь. Когда эти волны покатались подъ балкономъ отеля, ясно раздались вырывавшіеся изъ сотенъ грудей, восторгомъ одушевленные звуки пѣсни:

Sù fratelli, sù compagne,
Sù venite in fitta schiera!
Sulla libera bandiera
Splende il sol dell'avveniri!.. ¹⁾

Дальнѣйшія звенья потока протекали съ другими строфами той же пѣсни. Но среди нихъ, вмѣстѣ съ красными, показались уже густые креповые черныя флаги, а далѣе проплылъ еще, утвержденный на высокомъ шестѣ, широкій черный штандартъ съ надписью: „Evviva l'anarchia!“

При приближеніи его, тѣснившіеся по тротуарамъ, въ окнахъ всѣхъ домовъ и на балконахъ зрители, какъ подъ влияніемъ гипноза, приветствовали грозный символъ громкимъ воплемъ, въ которомъ ничего нельзя было разобрать.

А толпы, между тѣмъ, проходили и проходили съ пѣніемъ.

Guerra al regno della guerra,
Morte al regno della morte... ²⁾

Блѣдная, съ раздвинутыми губами, стояла Елена, опираясь руками на балюстраду балкона и содрогаясь отъ волненія.

Уже послѣдніе ряды демонстрантовъ исчезли изъ вида, но Орскій напрасно пытался увести Елену въ залу. Вдругъ издали, но уже съ другого конца улицы, послышались крики и сталъ раздаваться, съ ровными интервалами, сухой трескъ—какъ бы отъ раскалываемыхъ орѣховъ.

Тогда Орскій схватилъ жену за руку и увлекъ ее въ комнаты, а важный метръ-д'отель, въ бѣломъ галстухѣ, подошелъ къ двери балкона, заперъ ее и, проходя столовую, замѣтилъ:

— Это заговорилъ генералъ Бава-Беккари.

Л. А—въ.



- ¹⁾ Эй братья, эй подруги,
Идите тѣсною ратью!
Надъ свободнымъ знаменемъ
Сіяетъ солнце будущности.
- ²⁾ Война царству войны,
Смерть царству смерти.

ПРОПОВѢДНИКЪ

РОМАНЪ МАРГАРИТЫ БЕМЕ.

„*Apostel Dodenscheit*“, v. Margarete Böhme. Berlin, 1908.

Письма къ жѣнщинѣ-другу.

Завтра рано утромъ я покидаю Гамбургъ — быть можетъ, навсегда.

Не пугайтесь, дорогая, уважаемая ффрау,—на этотъ разъ требуетъ пережѣны status quo не обычное мое малодушіе съ духомъ высокомерія и колебанія; теперь это вызвано обстоятельствами особаго рода.

Третьяго дня вечеромъ я въ первый разъ въ жизни былъ у моего дѣда, консула Пипендика. Вы знаете его, вы даже имѣли благое намѣреніе познакомиться насъ, и мой упорный отказъ нѣсколько раздражилъ васъ.

— Чтѣ вы за странный человѣкъ!—сказали вы мнѣ:—жить нѣсколько лѣтъ въ одномъ городѣ съ рѣднымъ дѣдомъ и еле знать его въ лицо!—и въ то же время вы подумали (я прочелъ это въ вашихъ глазахъ), что я не стою такого славнаго дѣда. Вѣроятно, вы находили мое поведеніе бестактнымъ, такъ какъ, относясь къ вамъ во всемъ съ безграничнымъ довѣріемъ, я никогда не посвящалъ васъ въ мою прошлую жизнь и въ мои отношенія къ родственникамъ.

Родственники! Я едва удерживаюсь отъ смѣха... Это слово звучитъ насмѣшкой, оно глядитъ на меня со страницы письма, какъ жестокая и грубая карикатура.

Не думайте, дорогой другъ, что я молчалъ по недостатку довѣрія, но мнѣ не хочется шевелить тѣ, чтѣ мертво: я боюсь,

какъ бы оно не ожило отъ прикосновенія теплой руки. Но въ нынѣшнюю ночь я не могу заснуть, и потому хочу рассказать вамъ исторію моей молодости. Мысленно я вижу васъ, сидящую напротивъ меня, и во мнѣ является, какъ и всегда въ вашемъ присутствіи, такое чувство—словно мы знакомы сотни, сотни лѣтъ...

Получивъ письмо консула, я сначала совсѣмъ не хотѣлъ идти, но мой патронъ, безъ всякой просьбы съ моей стороны, заявилъ мнѣ еще наканунѣ, что я могу воспользоваться послѣ-обѣденнымъ отпускомъ, а хозяйка квартиры также съ необычайною предупредительностью приготовила мое праздничное платье. Что тутъ было раздумывать? Я одѣлся и предсталъ ровно въ семь безъ десяти минутъ передъ свѣтлыми очн консула.

Онъ пригласилъ меня сѣсть и спросилъ, почему я до сихъ поръ не навѣстилъ его? Развѣ я нисколько не интересуюсь моей роднею съ материнской стороны?

Я отвѣчалъ, что никому не люблю навязываться.

Кажется, мой отвѣтъ ему понравился. Онъ погладилъ свою длинную желтовато-сѣдую бороду и кивнулъ головою.

Тѣмъ временемъ я оглядѣлся... Я оцѣнилъ стоимость тяжелой, черезчуръ изукрашенной рѣзбою черной дубовой мебели изъ Давцига въ стилѣ багоссо, порадовался мягкимъ тонамъ персидскихъ тканей, насладился полнымъ настроеніемъ великолѣпіемъ картинъ голландскихъ мастеровъ съ ихъ сочными глубокими красками. Они подѣйствовали на меня какъ сонное зелье, ведущее въ Ханаанъ мечтаній.

Черезъ открытыя стеклянныя двери я видѣлъ бархатисто-зеленый дернъ съ клумбами огненной герани, и это сплетеніе свѣжихъ, смягченныхъ, сочныхъ красокъ въ природѣ, живописи и тканяхъ — загнипотизировало, закружило меня въ какомъ-то пестромъ водоворотѣ, какъ птицу или мотылька, и увлекло меня въ сѣрый туманъ моего несчастнаго дѣтства...

— Это укоръ?—сказалъ консулъ Пипендикъ.—Ты, можетъ быть, воображаешь, что мы недостаточно хорошо къ тебѣ относились? Будь ты дѣвочка, мы, конечно, чаще видѣли бы тебя,—дѣвушки нуждаются въ опорѣ, какъ вьющееся растеніе. Но для мальчиковъ и юношей самостоятельность лучше. Я росъ круглымъ сиротою и все же вышелъ въ люди...

— Это не хитро при двухмилліонномъ наслѣдствѣ! — чуть не сорвалось у меня съ языка. Но я промолчалъ и съ твердостью выдержалъ его взглядъ. Онъ ощутилъ какую-то неловкость и забарабанилъ пальцами по столу. Затѣмъ нѣсколько раздра-

женнымъ тономъ онъ заявилъ, что семья никогда не теряла меня изъ виду, и развернулъ при этомъ списокъ моихъ прегрѣшеній. Только за послѣднее время я сталъ вести себя нѣсколько удовлетворительно, хотя люблю жить выше средствъ, что не годится для человѣка въ торговомъ дѣлѣ, и за два года три раза я напивался пьянымъ до безчувствія.

— Это не ваше дѣло! — опять чуть-чуть не сорвался у меня отвѣтъ, но я сказалъ, что судьба, очевидно, не предназначила мнѣ быть купцомъ.

— А чѣмъ же? — спросилъ консулъ немного свысока.

— Борцомъ за существованіе. (Вѣдь вы сами этого хотѣли! — добавилъ я мысленно). Дѣдушка Пипендизъ оставилъ мой выпадъ безъ возраженія.

— Мать твоя съ семьею живетъ въ Ріо. Они тамъ уже четырнадцать лѣтъ и скоро должны вернуться сюда. Мы рѣшили послать тебя въ Ріо для того, чтобы ты поработалъ тамъ подъ руководствомъ твоего отчима Зееленберга, превосходно знающаго дѣло. Если ты окажешься прилежнымъ и работоспособнымъ, — быть можетъ, мы поручимъ тебѣ черезъ нѣсколько лѣтъ управленіе филиальнымъ отдѣленіемъ: ты замѣнишь Зееленберга. Кажется, можешь быть довольнымъ. До тѣхъ поръ ты будешь получать ежемѣсячно 250 долларовъ при полномъ содержаніи въ домѣ твоихъ родителей, или — если ты это предпочитаешь — въ первоклассномъ boarding-house. Съ завтрашняго дня ты освобождаешься отъ занятій, а въ субботу утромъ долженъ отплыть на нашей „Клеопатрѣ“, идущей въ Ріо съ грузомъ. Вотъ мое рѣшеніе и — дѣлу конецъ.

Консулъ поднялся, аудіенція кончилась.

— Денегъ на дорогу тебѣ не нужно, но такъ какъ ты обѣдаешь въ лучшихъ ресторанахъ, то, конечно, ничего не могъ скопить; поэтому — вотъ тебѣ на первые расходы.

Съ этими словами онъ подалъ мнѣ запечатанный конвертъ.

Я не долженъ былъ, — не правда ли? — брать его, или мнѣ слѣдовало швырнуть его г. консулу подъ ноги? Вы качаете головою? Я былъ настолько слабохарактеренъ, что положилъ конвертъ въ боковой карманъ.

— Прощай, Коля! — сказалъ старикъ и подалъ мнѣ два пальца. — Веди себя хорошо. Я буду желать и надѣяться, что при слѣдующей встрѣчѣ тебѣ можно будетъ не только подать, но и пожать руку. Прощай!

Я очутился на улицѣ. Я шелъ, ничего не видя и не сознавая. Знакомо ли вамъ это состояніе, похожее на смерть, когда

мозговія функціи внезапно прекращаютъ свою дѣятельность и сознание какъ бы утрачивается? Получасовая ходьба по жарѣ и физическое утомленіе — привели меня внезапно въ память и въ сознание. Я вдругъ остановился, задыхаясь, словно на меня навалили непосильную ношу...

Знаете ли вы, что меня поразило? Именно мысль, что консулъ Пипендикъ произвелъ на меня недурное впечатлѣніе. Я смутно сознавалъ, что я уже готовъ подыскать ему оправданіе, и что тысячи людей сочли бы его сегодняшнее предложеніе за величайшее счастье.

Въ душѣ у меня таилось, какъ дремлющая на солнцѣ змѣя, смутное предчувствіе того, что меня ожидаетъ. Меня любезно примутъ въ Ріо, я найду въ урожденной Пипендикъ весьма пріятную даму, и, благодаря новизнѣ впечатлѣній, пожалуй стану чувствовать себя недурно. Широко поставленное дѣло и сознание отвѣтственности — преодолѣютъ мало-по-малу мое нежеланіе, вызовутъ чувство сытаго удовлетворенія жизнью, которое высосетъ всю горечь и муку прошедшаго, и это прошедшее поглядитъ на меня современемъ загадочнымъ взоромъ сфинкса, будетъ казаться далекимъ мною. Придетъ время, когда я стану обмѣниваться новогодними поздравленіями съ роднею Пипендикъ и — неизбежный выводъ изъ этого: — Все было къ твоему благу...

— Чего же вы хотите? Чудака вы этакій! — слышу я ваше восклицаніе.

Дорогой другъ, каждый человѣкъ долженъ имѣть въ жизни твердую опору. Она бываетъ двухъ сортовъ: для $\frac{9}{10}$ людей это — любовь, любовь къ человѣку, къ дѣлу, къ призванію, къ идеалу, къ кому-нибудь или чему-нибудь. Для насъ, призрачныхъ странниковъ послѣдняго десятилѣтія, ненависть выше любви. Я, по крайней мѣрѣ, не отдалъ бы мою чудесную, цвѣтущую, жизнеспособную дѣятельность за любовь. Она дастъ мнѣ силы; не могу придумать, что бы произошло со мною, еслибы я потерялъ ее. Я утратилъ бы самого себя и неминуемо бы погибъ. Не знаю, понимаете ли вы меня? Смѣю надѣяться, что да.

Въ этотъ мигъ послышался стукъ копытъ; мимо меня промчался экипажъ консула, который слегка кивнулъ мнѣ. Въ ту же секунду я сталъ самимъ собою. Я разорвалъ конвертъ, тамъ лежали два банковыхъ билета. Терпѣть не могу бумажекъ; я сейчасъ же размѣнялъ ихъ, и въ карманѣ у меня зазвенѣло золото...

Я вошелъ къ Lavony и велѣлъ подать себѣ бутылку Лафита — Mouton Rothschild 1880 г., темная влага котораго разрѣшила мою напряженность; мысли ожили, завертѣлись, заку-

жились веселымъ хороводомъ. Послѣ третьей—я окончательно сталъ Колею Доденшейтомъ.

Шелъ теплый майскій дождь, въ этотъ вечеръ я пережилъ много приключеній, я былъ охваченъ удвоенною жаждою жизни. Мое самочувствіе было на рѣдкость завидное...

Конечно, я не поѣду въ Ріо, но не останусь и въ Гамбургѣ. Теперь для меня открываются врата свободы. Я вижу городъ съ большими площадями, широкими улицами, золотыми кровлями, высокими башнями... Въ карманѣ моемъ звенитъ золото Пипендика, кровь моя согрѣта сокомъ изъ виноградниковъ Ротшильда, сердце мое бьется, а мысли въ головѣ качаются, какъ маки и колосья на вѣтру...

На улицѣ мнѣ попались двѣ дѣвушки — совсѣмъ еще молоденькія, въ свѣтлыхъ блузкахъ и шляпахъ; у нихъ были блѣдныя лица и голодные глаза. Я угостилъ ихъ ужиномъ, и онѣ рассказали мнѣ свою исторію—всегда одну и ту же... Дѣтство—голодь, нищета, фабрика, жажда жизни, свободы, наслажденія. Женить, загородная поѣздка, оболъщеніе, разочарованіе, потеря работы, окончательное паденіе, желаніе подняться, тоска по честной жизни... Еслибы только деньги! Деньги, деньги—вотъ онѣ, вѣчный припѣвъ!

Я никогда не желалъ имѣть деньги ради нихъ самихъ. Можетъ быть, Анни и Генни посмѣялись надъ чудачкомъ и, вмѣсто швейной машины и прочаго, накупили себѣ нарядовъ? Пускай! Въ эту ночь я видѣлъ еще много дрожащихъ рукъ и голодныхъ глазъ... Подъ взвизгиваніе скрипокъ и хлопанье пробокъ отъ бутылокъ шампанскаго, при свѣтѣ люстръ, я все время видѣлъ призракъ человѣческой скорби. Я очнулся на зарѣ съ пустыми карманами и тяжелою головою...

На сегодня—addio! Съ сегодняшней же ночи начну свою юношескую исповѣдь для васъ, для васъ одной... Тысячу привѣтствій!—Преданный вамъ Коля Доденштейтъ.

Исторія моей юности.

I.

Если вы ждете чего-нибудь необычайнаго, я боюсь, что вы разочаруетесь. Мой дѣдъ съ отцовской стороны былъ балетмейстеромъ и умеръ пятидесяти лѣтъ отъ роду отъ бѣлой горячки.

Бабушка, бывшая хористка, умерла въ чахоткѣ. Отецъ мой, рано оставшійся сиротою, получилъ хорошее образованіе, благо-

даря участію, которое приняла въ немъ извѣстная артистическая чета, но отцовская кровь сказала: онъ сдѣлался танцовщикомъ.

Двадцати-пяти лѣтъ Михаэль Доденштейтъ былъ самымъ моднымъ танцмейстеромъ въ Гамбургѣ; въ богатыхъ купеческихъ домахъ считалось признакомъ хорошаго тона брать у него уроки танцевъ и граціи. Конечно, онъ былъ приглашенъ и на виллу Пипендикъ—давать уроки шестнадцатилѣтней Лизѣ, единственной дочери хозяина. Всѣ ученицы Доденштейта бредили его меланхолическими глазами и удивительными галстуками, но у Лизы Пипендикъ, лишенной матери и начитавшейся Марлиттъ, у одной хватило духу зайти далѣе, чѣмъ слѣдовало.

Не дѣлайте поспѣшныхъ выводовъ. Дѣвица изъ гамбургской купеческой семьи бережетъ свою репутацію. Они уѣхали на Гельголандъ и тамъ обвѣнчались.

Папа Пипендикъ перенесъ ударъ съ большою твердостью и послалъ новобрачнымъ чекъ на пятнадцать тысячъ марокъ для приличнаго обзаведенія, но съ вѣжливой рѣшительностью отклонилъ всякія сношенія съ новобрачными—„въ виду неслыханнаго въ исторіи семьи Пипендикъ скандала“.

Парочка улетѣла въ Парижъ, гдѣ, выдавая себя за князя и княгиню Доденшекъ, она зажила весьма весело и приобрѣла аристократическія знакомства, покуда прибытіе знакомыхъ гамбургцевъ не положило этому конецъ и не сдѣлало разрывъ между отцомъ и дочерью окончательнымъ.

Молодые поселились въ городѣ на сѣверѣ, но вмѣстѣ съ приданнымъ испарилась и взаимная любовь, и къ тому времени, когда я родился, въ домѣ царила полная нищета.

Я былъ одаренъ съ дѣтства необычайно тонкимъ слухомъ (къ сожалѣнію!) и слишкомъ рано сталъ все понимать. Я слышалъ взаимные упреки, жалобы урожденной Пипендикъ (не могу назвать ее матерью!), грубые ругательства отца, возвращавшагося на зарѣ пьянымъ. Мать ненавидѣла меня; она не сказала мнѣ ни одного ласковаго слова,—это было бы событіемъ, солнечнымъ лучомъ, который могъ бы многое скрасить и озарить въ моей жизни.

Однажды—мнѣ было тогда семь лѣтъ—я увидѣлъ ее безутѣшно рыдающей надъ письмомъ. Мое одинокое дѣтское сердце забилося состраданіемъ и нѣжностью: и подкрался къ ней и хотѣлъ взобраться къ ней на колѣни. Она вскрикнула и отбросила меня, какъ гадкое насекомое; а такъ какъ я не сразу отошелъ, она отпихнула меня ногою. Этотъ мигъ запечатлѣлся въ моей памяти, какъ темное пятно на фотографической пластинкѣ,

и онъ неразрывно связанъ у меня въ умѣ съ воспоминаніемъ о матери.

Позади нашего дома былъ мрачный дворъ, но за стѣною его свѣтило солнце, озарявшее большой веселый садъ, бѣлоголовые пахучіе кусты бузины и тяжелыя лиловыя грозди сирени; оно играло въ густой заросли смородинныхъ кустовъ съ темными какъ гранаты и прозрачными свѣтло-красными ягодами. Солнце отражалось въ ласковыхъ глазахъ красивой дамы, разговаривавшей со мною черезъ заборъ, дарившей мнѣ фрукты и цвѣты. Порою она брала меня къ себѣ въ садъ и играла со мною.

Фрау Гертруда Ингришъ была солнечнымъ лучомъ моего дѣтства. Отецъ также сживалъ иногда въ саду съ ея мужемъ, старымъ учителемъ, и съ нею. Однажды, когда я игралъ неподалеку въ травѣ, а старикъ Ингришъ возился со своими ульями, я услышалъ отъ слова до слова слѣдующій разговоръ.

— Вы должны взять себя въ руки, сосѣдъ Доденштейнъ. Вы губите себя и семью вашимъ ужаснымъ пьянствомъ,—говорила фрау Труда.

— Это правда, фрау Ингришъ,—отвѣчалъ отецъ,—но самъ чортъ запышетъ отъ такой жизни. Обѣда—и того она не приготовить. Или романомъ зачитается, или такое состряпаетъ, что ѣсть нельзя. А какъ она съ мальчуганомъ обращается! Уже это одно—поводъ къ ссорамъ...

— Она не мирится съ бѣдностью. Лучше всего вамъ было бы разойтись. Пускай бы она вернулась къ отцу.

— Я писалъ консулу, она сама умоляла его взять ее обратно, но гамбургцы и слышать не хотятъ: они боятся скандала. Собачья жизнь! Жаль, что не хватаетъ духу покончить...

— У каждого—свой крестъ,—сказала Гертруда Ингришъ, глядя на прозрачно-алое зарево заката.

Къ нимъ подошелъ, ковыляя, Ингришъ. Онъ былъ хромымъ и опирался на палку. Его добродушное лицо все было въ веснушкахъ и носило слѣды отъ укусовъ пчелъ, а длинная бѣлая грива волосъ придавала комическій характеръ его маленькой головкѣ.

Фрау Труда вскочила и пошла домой. Я же, лежа въ травѣ и слѣдя за муравьями, спрашивалъ себя: зачѣмъ вообще люди начинаютъ жить, если жизнь такъ ужасна, что ее всѣ ненавидятъ, вмѣсто того, чтобы любить?

Меня находили развитымъ не по лѣтамъ ребенкомъ, но учителя не были особенно мною довольны: я былъ разсѣянъ и не отличался прилежаніемъ. Къ насмѣшкамъ товарищей я относился

равнодушно, но когда меня окончательно выводили изъ себя, я превращался въ дикаго звѣря и со мною трудно бывало справиться. Наша безотрадно-сѣрая жизнь наполняла меня смутнымъ страхомъ передъ жизнью, казавшеюся мнѣ чудовищемъ. Я ничему не радовался; не помню даже, смѣялся ли я когда-нибудь? Неразрѣшенная загадка бытія глядѣла на меня застывшимъ ликомъ...

Я часто желалъ быть животнымъ, я любилъ животныхъ, а больше всего—большую, полуголодную цѣпную собаку нашего сосѣда мѣдника. Она встрѣчала меня ласковымъ ворчаніемъ, виляніемъ хвоста и, казалось, угадывала мои мысли. Я потихоньку носилъ ей кусочки и порою отвязывалъ ее,—за что мнѣ попадало отъ хозяина.

— Затѣмъ ты это дѣлаешь, Коля?—спросилъ отецъ, когда мѣдникъ ему пожаловался.

— Не могу этого видѣть... Большая собака въ тѣсной будкѣ, всегда на цѣпи, и при этомъ ее даже не кормятъ досыта.

— И люди живутъ на цѣпи,—загадочно отвѣтилъ отецъ.

Я не появлялся, но однажды, когда въ тѣни было 28°, и Каро, изнемогая отъ жажды и зноя, грызъ цѣпь, я пробрался къ нему въ сумеркахъ и освободилъ его.

Вечеромъ у насъ снова начался скандалъ. Я дремалъ у себя, въ окно струилась тяжелая волна аромата отъ свѣжескошеннаго сѣна и цвѣтущихъ центифолій. Вдругъ я услышалъ грубый голосъ. Мать съ волосами, заплетенными въ косы, въ ночной кофточкѣ—высунулась изъ окна.

— Это опять вашъ негодный мальчишка!—разслышалъ я голосъ мѣдника:—собака чуть не разорвала парня...

— Обратитесь къ моему мужу!—крикнула она:—онъ не позволяетъ мнѣ тронуть пальцемъ этого оболтуса.

Она захлопнула окно и вбѣжала ко мнѣ. На щекахъ у нея горѣли красныя пятна.

— Ты спустилъ собаку съ цѣпи?

— Я! Парню—подѣломъ. Онъ не давалъ Каро ѣсть.

Она вся затряслась. Хотя я привыкъ къ брани, щелчкамъ, оплеухамъ, меня до сихъ поръ не били по настоящему, но тутъ она схватила палку отца и принялась наносить мнѣ удары по чемъ попало; они сыпались на руки, плечи, спину, голову; она била меня до того, что я уже не могъ кричать, и опомнился лишь тогда, когда вбѣжалъ отецъ. Онъ кинулся на нее, вырвалъ у нея палку и такъ ударилъ ее, что она съ громкимъ крикомъ выбѣжала въ другую комнату. Свалва продолжалась; я затонулъ

уши, закрылъ глаза... Но вдругъ произошло нѣчто ужасное. Послышался крикъ, что-то хлопнуло, затѣмъ раздался стукъ—словно отъ паденія чего-то тяжелаго—и затѣмъ наступила мертвая тишина...

Я сползъ съ постели, добрался до двери. Была свѣтлая лѣтняя ночь, и я увидѣлъ отца, лежащаго ничкомъ на полу... Я опустился рядомъ съ нимъ и хотѣлъ приподнять его голову, но руки мои воснулись чего-то липкаго... Я громко вскрикнулъ—и опомнился уже поутру въ спальнѣ фрау Ингришъ.

Сосѣди, привлеченные криками, нашли мать мою раненой и лежащей безъ чувствъ на софѣ, а отца—съ раздробленнымъ черепомъ, въ лужѣ крови...

II.

Наша домашняя трагедія попала въ газеты.

Сентиментальная тетушка, воспитательница матери, неожиданно пріѣхала изъ Гамбурга для того, чтобы попытаться устроить примиреніе. Для вдовы Доденшейтъ родительскій домъ былъ открытъ, и она вернулась къ своимъ нарядамъ, выѣздамъ, подругамъ и флирту. Со мною она не простилась: ея нервы были слишкомъ потрясены.

Черезъ полтора года она вышла за сына бременскаго пріятеля ея отца и переѣхала съ нимъ въ Ріо; у нея шестеро дѣтей, и супружество это оказалось счастливымъ.

Уполномоченный фамиліи Пипендикъ вступилъ въ переговоры съ Ингришами. Было условлено, что я временно у нихъ останусь; относительно средствъ просили не стѣсняться.

— Мы довѣряемъ вамъ и надѣмся, что, помимо заботливости, вы будете примѣнять и строгость по отношенію къ этому мальчику, уже обнаружившему, къ сожалѣнію, дурные задатки,—сказалъ онъ на прощанье въ моемъ присутствіи.

И мужъ съ женою общали сдѣлать изъ меня порядочнаго человѣка.

Для меня наступило счастливѣйшее время моей жизни.

Правда, самъ Ингришъ мало чѣмъ интересовался, кромѣ своихъ книгъ и пчель, но фрау Труда изливала на меня всю вѣжность своего сердца, которому некого было любить. Молодая, красивая женщина казалась довольною и спокойною, но рядомъ съ семидесятилѣтнимъ старикомъ она томила жаждою жизни.

— Когда ты вырастешь, Коля, мы посмотримъ съ тобою

Божій міръ, — говорила она; — мнѣ такъ хочется куда-нибудь уѣхать...

Наша взаимная привязанность все росла; она обращалась со мною какъ съ взрослымъ и рассказала мнѣ свое прошлое. Жизнь въ бѣдности съ больною матерью заставила ее выйти за добраго старика, предложившаго ей хорошій домъ и довольство. Онъ былъ добръ къ ней, она хорошо одѣвалась, ея свѣтлыя платья и фантастически изогнутыя шляпы даже возбуждали неодобреніе въ городѣ, но она тосковала.

Я пробылъ у Ингришей почти три года, когда, по случаю проведенія новой желѣзнодорожной линіи, въ городѣ появилось много новыхъ людей — инженеровъ, техниковъ, мастеровъ, рабочихъ. Главный инженеръ, по фамиліи Авенариусъ, нанялъ въ нашей квартирѣ двѣ комнаты. Это былъ веселый, жизнерадостный, полный силъ и самоувѣренности человекъ. Его сѣрые глаза и бѣлые зубы привѣтливо смѣялись, и хотя онъ былъ очень ласковъ со мною, я сразу не влюбилъ его. Инстинктивно я угадывалъ въ немъ врага и соперника; я сталъ даже копить деньги для того, чтобы купить ружье и застрѣлить его, но осенью онъ уѣхалъ.

Фрау Труда ходила съ заплаканными глазами, но потомъ повесѣла, хотя стала разсѣянной и озабоченной. Какъ-то разъ она спросила меня: что бы я сдѣлалъ, еслибы она уѣхала?

Я отвѣчалъ, что я повѣшусь или утоплюсь. Она поцѣловала меня.

— А ты поѣхалъ бы со мною, милый?

— Ну, конечно, тетя Труда! Куда хочешь.

Я не дѣлалъ ей никакихъ вопросовъ, но вскорѣ, когда Ингришъ уѣхалъ въ деревню къ пріятелю пчеловоду, моя пріемная мать увезла меня въ Берлинъ, гдѣ мы очутились въ двухъ скромно меблированныхъ комнатахъ четвертаго этажа. Наша пѣздка припоминается мнѣ довольно смутно; помню только, что я въ сумеркахъ лежалъ на диванѣ, у меня былъ жаръ и я метался, а между тетей Трудою и инженеромъ шелъ разговоръ обо мнѣ. Къ утру мнѣ стало хуже: обнаружилась корь.

Труда самоотверженно ходила за мною. Когда я сталъ поправляться, я замѣтилъ, какъ она измѣнилась и похудѣла.

— Тетя Труда, вернемся назадъ къ дядѣ Ингришу! — сталъ я просить.

Она обняла меня и заплакала.

— Намъ нельзя вернуться, Коля! Я сама боюсь, что мы надѣлали глупостей...

Когда я всталъ съ постели, она стала часто уходить изъ дому. Отъ скуки я познакомился съ жильцами сосѣднихъ квартиръ, между прочимъ — съ восьмилѣтней дѣвочкой Региночкой, мать которой, болѣзненная женщина, шила галстуки на продажу.

Дѣвочка сдѣлалась моимъ лучшимъ, единственнымъ моимъ другомъ. Она умѣла вызывать невѣдомыя мнѣ самому стороны моего существа: играя съ Региночкой, я былъ веселъ, ласковъ, уступчивъ, впервые въ жизни я чувствовалъ себя ребенкомъ.

Но и этому счастью пришелъ конецъ. Гамбургскіе родные узнали о моемъ отъѣздѣ, и однажды, во время отсутствія Труды, къ намъ на квартиру явился господинъ въ штатскомъ въ сопровожденіи полицейскаго. При словахъ: „именемъ закона!“ никто не рѣшился вступить за меня; только Региночка обхватила меня руками, полицейскій хотѣлъ ее ударить, но я съ такою силою вонзилъ ему въ руку мои крѣпкіе бѣлые зубы, что онъ отступилъ съ крикомъ боли. Разумѣется, меня легко осилили и поволокли... Внизу лѣстницы мы встрѣтили фрау Труду; она была блѣдна какъ полотно и ломала руки, но отъ рыданій не могла выговорить ни слова... Больше я не видѣлъ ее.

Меня помѣстили въ пансіонъ д-ра Ликсенбергера, широко-вѣщательныя рекламы котораго до сихъ поръ печатаются въ газетахъ: онъ принимаетъ къ себѣ на воспитаніе испорченныхъ, порочныхъ дѣтей. Методъ его: „твердость, энергія, укрѣпляющія физически и нравственно“.

Твердость и энергія — въ переводѣ на нѣмецкій языкъ: муштровка, наказанія, голодъ, колотушки. Мнѣ трудно возвращаться къ этому времени, которое кажется какимъ-то зловѣщимъ призракомъ.

Сначала я совершенно оупѣлъ, память отказывалась работать, и никакими способами мнѣ нельзя было вбить науку въ голову. Мою тоску по Трудѣ и Регинхентъ, къ которымъ я отчаянно рвался, педагоги приписывали моему упрямству и злости, врожденнымъ „дурнымъ задаткамъ“. Съ теченіемъ времени она, конечно, ослабѣла, но вмѣстѣ съ возвращеніемъ умственныхъ способностей во мнѣ стала расти пламенная ненависть къ людямъ, лишившимъ меня свободы. Учиться я сталъ лучше, но ни отъ кого не слышалъ слова поощренія и ласки. Изъ товарищей я сблизился съ Гейнцемъ Блохъ, веселымъ бѣлокурнымъ мальчикомъ. Онъ пригласилъ меня къ себѣ; они жили бѣдно, но дружно; дядя Гейнце, извѣстный скрипачъ, давалъ ему уроки, и мой то-

варищъ, одаренный музыкальными способностями, собирался стать виртуозомъ. У него былъ мягкій смычокъ и пѣвучій тонъ; слушая его, я забывалъ обо всемъ на свѣтѣ, и мнѣ страстно захотѣлось учиться музыкѣ. Приобрѣсти скрипку—стало моею мечтою. Около этого времени со мною случилась бѣда. Я росъ быстро, много работалъ и всегда былъ голоденъ—кормили насъ очень скудно. Хозяйствомъ завѣдывала сестра доктора, старая дѣва, фрейлейнъ Линда. Она поручила мнѣ какъ-то отнести на кухню свѣжій сыръ. Я положилъ его на комодъ, спѣша докончить письменную работу, но онъ пахнулъ такъ аппетитно, что я... не удержался, и вскорѣ отъ сыра осталось одно воспоминаніе. Три часа спустя, меня потребовали къ директору.

— Ахъ, ты, воръ, презрѣнный, низкій ворюшка! — воскликнулъ докторъ, и уже пошелъ-было за палкою, но, увидѣвъ меня, стоящаго передъ нимъ со скрещенными на груди руками, должно быть прочиталъ въ глазахъ моихъ нѣчто такое, что заставило его передумать. Странное дѣло—онъ словно испугался, и, проговоривъ:—Руку объ тебя марать не стоитъ!—велѣлъ мнѣ убираться вонъ.

Я все продолжалъ мечтать о скрипкѣ. Мнѣ казалось, что съ нею мнѣ будетъ легко и весело жить. Дядя Гейнце вызвался давать мнѣ уроки даромъ, скрипку можно было приобрести даже въ разсрочку. Я рѣшился обратиться съ просьбою къ директору, но, конечно, получилъ отказъ. Только этого недоставало: заниматься подобнымъ вздоромъ!

Двѣ ночи я не смыкалъ глазъ и бродилъ какъ потерянный; во мнѣ ожили самыя темныя свойства моей души.

Черезъ нѣсколько дней мнѣ случайно пришлось быть при томъ, какъ фрейленъ Линдѣ почтальонъ отсчитывалъ четыреста марокъ золотомъ. Одна изъ монетъ незамѣтно закатилась подъ столъ и осталась тамъ лежать на коврѣ, между складками драпир.

Въ классѣ я совсѣмъ забылъ объ этомъ, но вечеромъ я вспомнилъ о монетѣ: она лежала на томъ же мѣстѣ. Съ этихъ поръ она загнипотизировала меня: я постоянно возвращался къ ней мыслью. Въ моей наивности я не подумалъ, что при аккуратности старой дѣвы и скупости ея брата—врядъ-ли потеря монеты въ двадцать марокъ могла остаться незамѣченной...

На третій день она все еще лежала на томъ же мѣстѣ. Я нагнулся и, поднявъ ее, положилъ въ карманъ. Въ классѣ я былъ разсѣянъ, а сходя внизъ, къ вечернему кофе, услышалъ шумъ, угрожающій голосъ директора, всхлипываніе мальчиковъ...

Эта штука входила, какъ оказалось, въ систему воспитанія: педагогъ желалъ испытать нашу честность. Теперь онъ ждетъ откровеннаго сознанія.

Онъ устремилъ на меня свои сверкающіе очки, словно заранѣе зналъ—гдѣ искать виновнаго.

Но тутъ произошло нѣчто неожиданное. Слабоумный мальчикъ, вспомнившій, вѣроятно, аналогичное происшествіе, вдругъ заявилъ, что монету взялъ онъ и потерялъ ее по дорогѣ изъ школы.

Нужно было видѣть глупѣйше-растерянное выраженіе лица нашего педагога; оно положительно забавляло меня, но, взглянувъ на мальчика, съ которымъ отъ страха сдѣлались судороги, я не могъ колебаться. Я досталъ золотой изъ кармана куртки и положилъ его на столъ.

— Я взялъ ее,—сказалъ я громко и почти равнодушно.

Директоръ весь просіялъ. Никогда я не видѣлъ его такимъ радостнымъ; голосъ его звучалъ почти дружелюбно, когда онъ сталъ объяснять мнѣ, что я совершилъ воровство, дѣйніе, налагающее на меня пятно въ глазахъ всѣхъ честныхъ людей. Онъ напишетъ моему дѣду, куда же я считаюсь подъ арестомъ.

Я вышелъ, гордо поднимая голову, но въ своей комнатѣ рыдался, уткнувъ голову въ подушки. Воръ! Ни одинъ честный человѣкъ не протянетъ мнѣ руки! Мое сердце разрывалось отъ стыда и отчаянія, и я былъ совсѣмъ одинъ.

На второй день пріѣхалъ г. Бломъ, правая рука дѣда (какъ я узналъ впоследствии). Не отвѣчая на мой поклонъ, онъ спросилъ: не боленъ ли я? Я отвѣтилъ отрицательно. Послѣ разговора съ директоромъ онъ пришелъ ко мнѣ въ комнату.

— Неужели тебѣ не стыдно, Николай Доденштейнъ? Ты не стыдишься, что нанесъ такой позоръ твоему дѣду, который гордится своимъ незапятнаннымъ именемъ? Ты объ этомъ не подумалъ?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я коротко, не тронутый его увѣщаніями.

Онъ повелъ меня къ врачу—видъ мой, должно быть, ему не понравился. Врачъ внимательно меня осмотрѣлъ и констатировалъ легкій неврозъ сердца. Правое легкое было тоже затронуто: результатъ переутомленія и недостаточнаго питанія...

Г. Бломъ вернулся со мною обратно въ пансіонъ. Съ веранды я слышалъ отрывки ихъ разговора и принужденный смѣхъ моего воспитателя.

— Неврозъ сердца, уважаемый? Чтò за чепуха! Единственная его болѣзнь—moral insanity...

Я прошелъ къ себѣ и посмотрѣлъ въ словарь значеніе этихъ словъ. Почему я боленъ нравственно? Въ чемъ это выразилось? Я спустилъ съ цѣпи дворовую собаку, я послѣдовалъ за женщиной, оказавшей мнѣ ласку, я укусилъ руку полицейскаго, хотѣвшаго ударить ребенка, я съѣлъ съ голоду грошовый сыръ... Вотъ только послѣдній мой поступокъ—я и самъ не понималъ его.

III.

Меня отвезли въ Гарцъ и помѣстили у пастора Гринвиттера—вдовца, хозяйствомъ котораго завѣдывала старая, но еще бодрая ключница. Пасторъ держалъ всегда лишь одного пансіонера, которому посвящалъ всѣ свои заботы, какъ садовникъ, старающійся сохранить рѣдкое растеніе, выходить его и заставить расти прямо.

Въ городѣ было много учителей гимназій, которые за сравнительно недорогую плату давали мнѣ уроки, что вполне замѣняло гимназическій курсъ. Съ пяти часовъ я былъ совершенно свободенъ, и могъ дѣлать, что мнѣ было угодно. Въ восемь часовъ мы ужинали, а затѣмъ до десяти я снова былъ свободенъ.

Вначалѣ, помня „систему“ д-ра Ливсенбергера, я недовѣрчиво относился къ такой свободѣ, подозрѣвая въ ней ловушку. Меня стѣсняло даже видимое удовольствіе пастора и Агаты, причиняемое имъ моимъ громаднымъ аппетитомъ за обильною и вкусною пасторскою трапезою.

Въ общемъ все шло хорошо, но съ теченіемъ времени между мною и воспитателемъ не установилось болѣе близкихъ, дружественныхъ отношеній. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ воспитывалъ дѣтей не изъ любви къ нимъ, но изъ любви къ спорту, такъ сказать: питомецъ былъ въ его глазахъ объектомъ для наблюденія. Товарищей у меня не было, и при такой массѣ свободного времени я чувствовалъ себя очень одинокимъ. Въ хорошую погоду я ходилъ до изнеможенія, а затѣмъ лежалъ цѣлыми часами, прислушиваясь къ голосамъ природы. И чѣмъ глубже я погружался въ размышленія, тѣмъ сильнѣе я убѣждался, что все въ мірозданіи связано между собою, все группируется въ стройномъ порядкѣ—массами, стаями, парами; лишь я одинъ остаюсь—самъ по себѣ. Это породило во мнѣ даже нѣкоторую мавію величія. Сознаніе, что я одинъ въ своемъ родѣ, возвышало меня, парализовало болѣзненное ощущеніе одиночества и заброшенности.

Такимъ образомъ прошло еще три года. Мнѣ исполнилось семнадцать лѣтъ; я выросъ, возмужалъ и порою чувствовалъ такой приливъ силъ, что у меня по жиламъ словно мурашки пробѣгали.

Однажды пасторъ объявилъ мнѣ за завтракомъ, что къ нему пріѣзжаетъ пятнадцатилѣтняя племянница, дочь его брата — виднаго берлинскаго чиновника. Пасторъ казался нѣсколько расстроеннымъ. Елена потеряла мать свою еще будучи трехлѣтнимъ ребенкомъ, и отецъ страшно избаловалъ свою любимицу; онъ былъ не въ силахъ въ чемъ-либо ей отказать, и плоды этого воспитанія сказались теперь. Полгода тому назадъ онъ женился на молодой женщинѣ; этотъ бракъ поразилъ Елену сначала безграничнымъ, доходящимъ до столбняка изумленіемъ, а затѣмъ вызвалъ взрывъ безумной ярости, перешедшей въ дикое упрямство. Совмѣстная жизнь молодой мачихи съ падчерицею сложилась такъ невозможно, что явилось необходимою—временно удалить Елену изъ отцовскаго дома. Тишина и миръ пастората должны были благотворно подѣйствовать на ея взвинченные нервы.

Сообщеніе пастора непріятно изумило меня. Я презиралъ женщинъ и относился къ нимъ какъ къ неизбежному злу, необходимому лишь въ видахъ продолженія человѣческаго рода.

Я не осмѣдился о днѣ ея пріѣзда, но, возвращаясь вечеромъ домой съ томикомъ Виргилія въ рукѣ, я увидѣлъ ее стоящею на лѣстницѣ въ золотисто-огненномъ столбѣ пыли, падавшемъ нискося изъ окна... Всѣ подробности запечатлѣлись въ моей памяти съ необыкновенной отчетливостью.

Она была въ платьѣ изъ легкой красной матеріи, ниспадавшемъ длинными складками отъ шеи до щиколокъ; въ черныхъ пушистыхъ ея волосахъ былъ красный бантъ; цвѣтъ лица, необыкновенно бѣлый и чистый, напоминалъ фарфоръ, а черты ея казались такими нѣжными и имѣли такое кроткое выраженіе, что образъ „злой, упрямой берлинской дѣвчонки“ немедленно исчезъ. Держась тонкою ручкою за перила, она легко спорхнула внизъ и вдругъ остановилась передо мною.

— Вы—Николай Доденштейтъ?—спросила она поспѣшно и тихо:—я васъ ждала. Я—Елена Гринзиттеръ.

Я не зналъ, что мнѣ сказать, и неловко поклонился, сердясь на свою застѣнчивость. Покуда я что-то бормоталъ, чувствуя, что темная волна заливаетъ мнѣ лицо, она схватила меня за руку и увлекла къ оконной нишѣ.

— Я хотѣла васъ попросить—если вамъ все равно—будемъ говорить другъ другу „ты“. Это — ради дяди. Если мы сразу

установимъ товарищескій тонъ, намъ предоставлять полную свободу,—иначе...

— Конечно, конечно,—забормоталъ я.

— Мы будемъ добрыми товарищами, не такъ ли, Коля?— сказала она, коснувшись рукою моей руки, отъ чего меня бросило въ жаръ.

— Ну, до свиданія за столомъ!

Я взбѣжалъ къ себѣ наверхъ, распахнулъ окно, сорвалъ воротничокъ и погрузилъ голову въ тазъ съ водою. Я злился на себя и у меня было сердцебиеніе.

Хорошенько вымывшись и надѣвъ чистый воротникъ, я сошелъ внизъ, и мнѣ показалось, что уютная комната—быть можетъ, вслѣдствіе игравшаго на бѣлой стѣнѣ отблеска заката—странно измѣнилась.

За ужиномъ я ощутилъ уваженіе къ мудрости Елены. Она вѣрно сообразила, что непринужденный, простой товарищескій тонъ, какимъ она со мною заговорила и который я старался поддержать, понравится пастору. Онъ одобрительно кивнулъ головою, и предложилъ намъ послѣ ужина пройти по деревнѣ.

Былъ чудный вечеръ, рано стало темнѣть и чувствовалась близость грозы.

Снова у меня явилось чувство, словно я впервые вижу эти сады, лужайки, дома, заборы—въ новомъ освѣщеніи. Мы больше молчали. Порою Елена приостанавливалась, вдыхая запахъ ночныхъ фіалокъ и левкоевъ. На всемъ лежалъ отпечатокъ грустной поэзіи.

Мимо пруда, въ которомъ квакали лягушки, мы прошли къ пильной мельницѣ, стоявшей въ тѣни сосенъ. Въ сумеркахъ вода серебрилась, темно-фіолетовыя облака нависли надъ горами.

— Вы уже давно здѣсь?— неожиданно спросила моя спутница.

— Три года. Я думалъ... вы знаете?

— Это долго! Чтò же ты такое надѣлалъ, чтобы попасть сюда?

— Я?

— Ну, да... За пансіонерами дяди Людвигъ всегда водятся грѣшки.

— Я былъ боленъ.

— Вздоръ!

— Ничуть. У меня туберкулёзъ и ракъ морали, Елена

Гринзиттеръ. Я путаю понятія о добрѣ и злѣ, твоемъ и моемъ, обманѣ и воровствѣ, любви и ненависти, убійствѣ и нѣжности... Со мною рискованно ходить въ потемкахъ...

— Вотъ что! Ну, въ такомъ случаѣ мы пожалуй сойдемся. Мы уже понимаемъ другъ друга.

— Смѣю надѣяться.

— Именно, именно!—Слова ея вдругъ зазвучали разсѣянно. Я чувствовалъ, что она забыла обо мнѣ, и былъ обиженъ.

Вдругъ она повернулась и побѣжала такъ быстро, что я еле нагналъ ее у пастората.

— Ты испугалась меня, Леночка? — спросилъ я насмѣшливо.

Она откинула голову назадъ.

— Тебя?.. Я совсѣмъ про тебя забыла, Коля Доденштейтъ! — отвѣтила она, и по ея тону я чувствовалъ, что она говоритъ правду. — Не сердись. Когда я о чемъ-нибудь задумаюсь — меня словно кулакомъ въ спину толкнутъ: я бѣгу, бѣгу, сама не знаю — куда... Покойной ночи!

Я долго стоялъ у открытаго окна. Что-то новое вошло въ мою жизнь...

По вечерамъ мы часто гуляли вмѣстѣ. У пруда Елена какъ-то спросила меня: достаточно ли здѣсь глубоко для того, чтобы утопиться. Я разсмѣялся.

— Нѣтъ, здѣсь можно только получить насморкъ. Утомленные жизнью должны пройти далѣе — къ пруду у пильной мельницы. Тамъ недавно утопилась одна сумасшедшая.

— Да развѣ здѣсь глубоко? Здѣсь дно видно! — сказала она, когда мы пришли въ мельницѣ: — какъ же она это устроила?

Я объяснилъ ей, что прудъ мелокъ лишь у береговъ, по срединѣ же онъ отличается большою глубиной. Она пристально смотрѣла на спокойную прозрачную воду, представлявшую такой контрастъ съ бѣлымъ снѣгомъ пѣны у колесъ. У меня заболѣли подъ конецъ глаза отъ солнца, и я потащилъ ее дальше въ лѣсъ — теплый и благоуханный. Мы сѣли у ручья, она — на большомъ камнѣ, я — у ногъ ея, на травѣ.

— Мнѣ нравится, что ты умѣешь молчать, Коля Доденштейтъ, — сказала она. — Это ужасно, когда ты каждую минуту можешь ждать какой-нибудь пошлости вѣтрѣ: „Нравится ли вамъ здѣсь? Долго ли вы пробудете? Любите ли вы форель?“ Ужасно!

— Быть можетъ, я цѣню въ тебѣ то же качество, Елена Гринзиттеръ...

— Коля! Любишь ли ты когда-нибудь? — спросила она неожиданно, и ее нѣжный голосъ дрогнулъ. — Брата? Мать? Отца? Сестру? Друга? Любишь по настоящему? Все равно — кого?

— Нѣтъ.

— А я любила! — воскликнула она: — я любила отца, да какъ еще! Мы были — одна душа. И такъ шло до тѣхъ поръ, покуда она не втерлась между нами. Тутъ все кончилось. Съ этой минуты я потеряла его. Теперь она поставила на своемъ. Я — лишняя. И стану еще болѣе лишнею, когда будутъ другія дѣти. Но я отомщу имъ! Я сдѣлаю такое, чего они не забудутъ... Что бы мнѣ такое сдѣлать, чтобы хорошенько отравить имъ медовый мѣсяцъ?.. Имъ обоимъ! И отца я ненавижу теперь, какъ и ее.

Ея слова лились потокомъ, злой огонь горѣлъ въ глазахъ, руки сжимались въ кулаки, ея лицо было, бузвально, искажено, и злобныя мысли свѣтились сквозь него, какъ сквозь стекло. Она вдругъ стала мнѣ ближе. Я вспомнилъ о женщинѣ, оттолкнувшей меня ногою.

— До сихъ поръ я никого не любилъ по настоящему, но ненавиждѣть я умѣю! — проговорилъ я, стиснувъ зубы.

Елена не отвѣчала. Она закрыла лицо обѣими руками и разразилась дикимъ, отчаяннымъ плачемъ.

Я опустился на колѣни возлѣ нея, старался отвести ея руки отъ лица, цѣловалъ ея волосы, ея пальцы и голыя ручки.

— Пусти, Коля! Расскажи мнѣ о себѣ.

— Елена, милая, дорогая Елена, не плачь!

Она высвободилась изъ моихъ объятій, сѣла, но удержала мои руки въ своихъ. И въ первый разъ въ жизни я рассказъ о страданіяхъ дѣтства, и чѣмъ дольше я говорилъ, тѣмъ свободнѣе текли слова и тѣмъ легче становилось у меня на сердцѣ.

— Ты тоже — покинутый, Коля, — сказала Елена.

— Двое покинутыхъ!

Между нами образовалась невидимая связь.

Охотно я сбросилъ котурны моего презрительнаго отношенія къ міру и верховнаго одиночества и соединился съ человѣческимъ родомъ. Но одновременно мною овладѣлъ порывъ влюбленности, страстнаго влеченія къ женщинѣ, таившейся, какъ подземный потокъ, въ глубинахъ моего существа. Я сталъ осыпать ее поцѣлуями.

— Я люблю тебя, Елена! Люблю тебя... Полюби меня также, полюби хотя немного!

— Да, я буду тебя любить,—отвѣчала она.—Надо любить кого-нибудь, иначе—жить нельзя.

Мы опоздали къ ужину. Пасторъ прогуливался со своимъ другомъ, докторомъ Либеновымъ, въ саду.

Я поспѣшилъ извиниться за опозданіе, и онъ отнесся къ моему извиненію благосклонно.

Съ этого вечера для меня наступила особенная жизнь; по счастью, были каникулы, и мое состояніе духа не такъ бросалось въ глаза. Я жилъ какъ во снѣ. Елена любила меня, но я не чувствовалъ себя вполне удовлетвореннымъ: ея нравственный обликъ ускользалъ отъ меня. Даже выраженіе лица ея было измѣнчивымъ: то оно было дѣтски-радостнымъ, невинно-молодымъ, какъ и подобало ея возрасту, то—страстнымъ и дерзкимъ, какъ у зрѣлой женщины, то кроткимъ, то—чуть не свирѣлымъ.

Мы попрежнему гуляли вмѣстѣ долгими часами, и я жилъ въ какомъ-то оцѣненіи любовныхъ грѣзъ; но послѣ короткаго тревожнаго сна я каждый разъ просыпался съ чувствомъ тупой тоски, опутывавшей мой мозгъ паутиною... Удручающіе вопросы и опасенія преслѣдовали меня. Что выйдетъ изъ нашей любви? Чѣмъ она кончится? Что принесетъ мнѣ будущее? Назову ли я Елену своею? Но съ зарею дня всѣ эти сомнѣнія и страхи прятались по угламъ, какъ совы, и я бродилъ весь день, сходя съ ума отъ любви къ юной чаровницѣ.

Лѣто шло къ концу. Въ саду пастората цвѣли мальвы, а липа во дворѣ все щедрѣе роняла золото своихъ увядающихъ листьевъ... Занятія возобновились, и учителя удивлялись моему разсѣянности, неохотѣ къ ученію и тупости пониманія. Посыпались замѣчанія и выговоры.

— Что съ нами будетъ, Элла? — спросилъ я какъ-то ее. Она засмѣялась и закрыла мнѣ ротъ рукою.

— Послѣ насъ—хоть потопъ!—воскликнула она:—все равно угодимъ въ адъ кромѣшный... Не надо только мучиться заранѣе...

Но однажды утромъ она прибѣжала ко мнѣ въ садъ.

— Онъ знаетъ, — проговорила она. — Агата видѣла, какъ ты поцѣловалъ меня въ корридорѣ. Онъ боится, чтобы мы серьезно не полюбили другъ друга, и не желаетъ оставлять

насъ подъ одною кровлей. Онъ уже написалъ отцу... За мною прїѣдутъ...

Она застонала и судорожно сжала мнѣ руку. Ея блѣлое личико было совсѣмъ желтое, словно восковое, глаза лихорадочно горѣли, губы пересохли...

— Молчи! — шепнулъ я ей: — я найду какой-нибудь исходъ. Никто насъ не разлучитъ.

Она кивнула мнѣ, слабо улыбнулась и исчезла.

Въ это утро я совсѣмъ не въ силахъ былъ заниматься; къ счастью моему, одинъ изъ учителей заболѣлъ.

Все время я мысленно искалъ выхода. Лучше всего было бы — взять Елену за руку, уйти съ нею и работать для нея, покуда она не станетъ моею женою. Я проклиналъ „заботливость“ гамбургской родни. Безъ нея я съ четырнадцати лѣтъ уже былъ бы въ подмастерьяхъ, и теперь могъ бы зарабатывать себѣ хлѣбъ...

Долго я ломалъ себѣ голову, ничего не придумалъ, и наконецъ почувствовалъ, что готовъ заплакать. Я машинально схватился за Торквато Тассо, котораго мы съ Еленой вмѣстѣ читали наканунѣ. У нея былъ настоящій литературный вкусъ, и она руководила моимъ чтеніемъ.

Изъ книги выпало письмо, адресованное мнѣ. Я сорвалъ конвертъ и прочелъ нацарапанныя карандашомъ строки:

„Милый Коля. Не сердись на меня. Увѣряю тебя, что это случилось бы, еслибы мы и не узнали другъ друга. Я прїѣхала сюда съ этимъ намѣреніемъ, и ощущаю громадную, злую радость при мысли, что это поразитъ ихъ и останется имъ памятно на всю жизнь. Покажи имъ это письмо: пусть они знаютъ, изъ-за чего я такъ поступила, чтобы на тебя не пало понапрасну подозрѣніе.

„Еще я должна тебѣ сознаться, Коля, — мое признаніе поможетъ тебѣ легче это перенести: я не любила тебя такъ, какъ ты думалъ. Я просто была очень одинока, а ты приласкалъ меня. Я очень къ тебѣ привязана, но это — не настоящая любовь. Прощай. Цѣлую тебя. — Твоя Элла“.

Я перечитывалъ загадочныя строки, не понимая ихъ смысла. Онѣ такъ меня поразили, что я не могъ логически мыслить. Только тѣ мѣста, въ которыхъ она говорила, что не любитъ меня, вонзились мнѣ въ сознаніе, какъ иглы, и причиняли острую боль.

Мы обѣдали въ половинѣ второго. Елены еще не было. Пасторъ Гринвиттеръ ходилъ большими шагами взадъ и впередъ. Онъ взглянулъ на меня, и въ его взорѣ я прочелъ растерян-

ность и безпомощность, чуждая этому спокойному лицу. Елена часто опаздывала, и пасторъ велѣлъ подавать кушанье.

Желая казаться спокойнымъ, я поднесъ ложку ко рту, и вдругъ, въ эту самую минуту, мнѣ пришло на умъ, что письмо Елены было написано по особому поводу и должно имѣть особый смыслъ... Съ тѣхъ поръ прошли года, но и теперь я чувствую отголосокъ того удара въ сердце, который я ощутилъ тогда— вмѣстѣ съ ледяною дрожью ужаса, пробѣжавшей у меня по спинѣ...

— Я долженъ поискать Елену!—воскликнулъ я. Сорвавшись съ мѣста, я выбѣжалъ вонъ изъ дому и помчался по улицѣ... Навстрѣчу мнѣ бѣжали дѣти, за ними—запыхавшіяся женщины...

— Въ пруду утопилась дѣвушка...

— Пріѣзжая барышня... Племянница пастора!

Года прошли съ тѣхъ поръ, и у меня въ памяти остались лишь отдѣльныя подробности. Ночью я пробрался въ ея комнату и увидѣлъ ея холодное, застывшее, заострившееся лицо. Въ углахъ губъ притаилось злобно-насмѣшливое выраженіе. Полуприкрытые вѣками глаза—горѣли, какъ мнѣ показалось, фосфорическимъ блескомъ и смѣялись надо мною...

Кажется, я вскрикнулъ. Въ комнату вошелъ пасторъ; онъ отвелъ меня въ мою спальню и что-то говорилъ мнѣ о томъ, что теперь, конечно, я не могу оставаться у него въ домѣ. Черезъ день пріѣхалъ отецъ Елены—за своей мертвою дочерью. Ее должны были похоронить въ Берлинѣ.

Я не отдалъ ему ея прощальныхъ строкъ. Онъ—всегда со мною.

IV.

Четыре недѣли спустя, я уже былъ въ Х., шлезвигскомъ городкѣ, гдѣ имѣлась гимназія, и для меня началась новая полоса жизни.

У профессора Петерсена было восемь пансіонеровъ, рослыхъ, бѣлокурыхъ, хорошо упитанныхъ молодыхъ людей, встрѣтившихъ меня при первомъ появленіи привѣтственными возгласами. Въ большинствѣ все это были сыновья зажиточныхъ крестьянъ, и хотя у Петерсена было голодно, они не ощущали недостатка ни въ чемъ, благодаря постояннымъ присылкамъ всякой провизіи изъ дому.

Здѣсь я не могъ пожаловаться на дурное къ себѣ отношеніе; и учителя, и товарищи относились ко мнѣ хорошо; по-

слѣдніе были бы не прочь ближе сойтись со мною, но я какъ-то не могъ найти съ ними настоящаго тона. Они были слишкомъ просты и жизнерадостны для меня. У насъ не было ничего общаго, и, замѣчая мою разсѣянность, они прозвали меня: „Коля траппистъ! Коля отшельникъ!“ Мало-по-малу всѣ отъ меня отдалились, и я опять остался одинокимъ—съ воспоминаніемъ о трагедіи въ Гарцѣ.

Это было мнѣ по душѣ. Туманъ прошлаго. нѣсколько разсѣялся, и я понималъ все, казавшееся мнѣ непостижимымъ: Элла умерла, она добровольно ушла отъ меня; страшное рѣшеніе уже созрѣло въ ея душѣ, когда она пришла ко мнѣ. Въ то время какъ я цѣловалъ ее и нашептывалъ слова любви, душа ея была полна жаждою мести. Обо мнѣ она почти и не думала.

Трудно было все это переработать въ себѣ, и пороку мнѣ казалось, что я схожу съ ума.

Лучше всего мнѣ было во время уединенныхъ прогулокъ. Въ сумеркахъ я обыкновенно ходилъ къ морю, и когда мнѣ приходилось шагъ за шагомъ бороться противъ порывовъ налетающей бури, я легче всего себя чувствовалъ. По цѣлымъ часамъ сидѣлъ я на береговыхъ утесахъ и прислушивался къ шуму прибоя, борясь съ бурей, бушевавшей въ моей собственной душѣ.

Элла погибла изъ-за ничтожнаго, воображаемаго мотива. Она не подумала объ ожидающей ее жизни, о томъ, что было несправедливаго въ ея скорби. Можно спорить о мірской несправедливости, но способность быть счастливымъ нужно воспитать въ себѣ, вызвать ее изъ себя.

Понятіе о счастьи мѣняется—сообразно воззрѣніямъ, темпераменту, времени, модѣ и индивидуальности каждаго; можно понимать его въ идеальномъ или грубо матеріальномъ смыслѣ. Я же думаю о душевномъ равновѣсіи... Такъ же, какъ бытіе подвержено постоянной борьбѣ силъ, такъ и душевныя теченія подобны игрѣ волнъ. Каждое вліяніе извнѣ или изнутри — встрѣчаетъ сопротивленіе, нарушающее гармонію. Устраненіе этой помѣхи и есть первое условіе для созданія счастья. Счастьемъ можно способствовать. Нужна взаимопомощь дѣйствій. Девизъ: „всѣ для одного и одинъ для всѣхъ“ — долженъ стоять не надъ дверью гарема, а надъ вратами жизни.

Нужно посылать въ народъ проповѣдниковъ, которые возвѣстили бы ученіе счастья, превратить религію любви въ религію счастья, такъ какъ оба эти понятія равнозначащи.

До сихъ поръ я не думалъ о своемъ призваніи, но теперь я твердо рѣшилъ, что стану проповѣдникомъ. Не съ кафедры

буду я проповѣдывать, я пойду въ народъ миссіонеромъ по призванію. И съ того момента, какъ эта мысль явилась у меня, я сталъ другимъ человекомъ. Во мнѣ забили ключомъ новыя жизненные силы; меня охватила жажда дѣятельности, какой я никогда не испытывалъ. Понятія мои расширились, я сталъ работать надъ собою. Во всемъ происходящемъ, даже въ трагедіи юной души, разыгравшейся на моихъ глазахъ, я видѣлъ подтвержденіе моей теоріи о несостоятельности господствующихъ у насъ понятій—моральныхъ и религіозныхъ.

Тогда въ Штутгартѣ выходилъ журналъ „Утренняя заря“, посвященный вопросамъ этики и культуры, и читавшійся преимущественно учащеюся молодежью. Я написалъ для него нѣсколько статей, которыя были не только помѣщены, но и оплачены. Но это не могло меня удовлетворить; мнѣ нуженъ былъ широкій кругъ публики, диспуты, въ которыхъ я убѣдилъ бы всѣхъ, что моя философія—единственная, помогающая людямъ жить.

Мои попытки заинтересовать товарищей этими идеями привели только къ тому, что меня прозвали: „проповѣдникъ Доденштейн“.

Порою въ весеннихъ сумеркахъ я поднимался на валъ плотины и начиналъ произносить рѣчи. По ту сторону плотины находился одинокій трактиръ, въ которомъ въ эту пору почти никто не бывалъ. Кругомъ была тишина и уединеніе, и когда я закрывалъ глаза, то волнующееся, шумящее море представлялось мнѣ взволнованною толпой, по которой пробѣгаетъ глухой рокотъ. И я говорилъ съ жаромъ и вдохновеніемъ—чуть не до полного изнеможенія...

Однажды меня захватилъ тамъ сильнѣйшій дождь пополамъ съ градомъ, и пришлось поневолѣ искать убѣжища въ трактирчикѣ.

Мнѣ открыла дверь молодая служанка съ лампочкой въ рукахъ. Стулъ мой очень ее напугалъ, она была въ домѣ одна. Пива не оказалось, но она предложила приготовить грогъ, такъ какъ я очень прозябъ. Она поставила напитокъ на круглый столъ возлѣ топившейся желѣзной печи и сама присѣла къ столу съ работою.

Свѣтъ лампы падалъ на ея густые, почти желтые волосы. Черты у нея были грубыя, губы пухлыя, а красные рабочіе пальцы представляли контрастъ съ бѣлыми, полными руками.

Мы разговорились; оказалось, что она видѣла, какъ я стою въ потьмахъ и проповѣдую, словно пасторъ въ церкви... Она такъ весело расхохоталась, что я послѣдовалъ ея примѣру, а затѣмъ спросила, дерзко заглянувъ мнѣ въ глаза:

— Что вы—и взаправду пасторъ, или изъ актеровъ, можетъ быть?

— Я—и то, и другое, и—ни то, ни другое,—отвѣтилъ я, осушивъ стаканъ до дна, вслѣдствіе чего у меня по жиламъ разлилась пріятная теплота. Я позволилъ ей снова наполнить мой стаканъ, и бесѣда продолжалась.

Я узналъ, что у Энгель (такъ звали дѣвушку)—горе. Ее бросилъ женихъ, „изъ себя красивый, да и съ достаткомъ, не скоро другого такого сыщешь“...

Я сталъ развивать передъ нею мою теорію, доказывая ей, что ея счастье было лишь кажущимся, и отъ нея зависитъ создать себѣ новое.

Говорилъ я долго и убѣдительно, хотя голова у меня кружилась отъ грога. Наконецъ я сдѣлалъ паузу для того, чтобы дѣвушка могла мнѣ возразить, но она съ улыбкою проговорила, нагнувшись ко мнѣ:

— Я бы тоже выпила съ тобой стаканчикъ, еслибы ты меня угостилъ!

И прежде чѣмъ я успѣлъ отвѣтить, она вышла и вернулась съ двумя стаканами дымящагося напитка. Она присѣла на диванъ рядомъ со мною, мы чокнулись, и я хотѣлъ продолжать свою рѣчь, но она, смѣясь, обвила мою шею руками и поцѣловала меня въ губы.

— Будетъ тебѣ! Ты—миленькій, только ужъ больно много болтаешь... Чего-чего ты не наплелъ тутъ...

Я хотѣлъ освободиться; мнѣ было противно прикосновеніе ея мягкихъ, влажныхъ губъ, близость ея здороваго тѣла, но я такъ опьянѣлъ, что не могъ двинуть рукою. Она хохотала и называла меня „пьяненькимъ“.

Домой я вернулся въ десять часовъ. Профессора съ женою не было дома; они ушли въ гости, но въ большой комнатѣ за-сѣдали всѣ пансіонеры и шелъ пиръ горой. На столѣ, покрытомъ газетами, красовался большой окорокъ, копченые угри, сыры и всякая провизія...

— Сюда! сюда!—крикнулъ Фридъ Томсъ.—Присаживайся, проповѣдникъ, и откушай, пока еще не все съѣдено!..

— Съѣжте угри изъ Экенфёрде!

— Съѣжая ветчина послѣдняго привоза отъ моихъ стариковъ!

— Слушай, пріятель! Это что же? Съ нами ты не ѣшь, не пьешь, а теперь отъ тебя разить громомъ?.. Ты еле держишься на ногахъ. Молодецъ!

— Есть такі грѣшохъ!—добродушно сказалъ Тенсенъ.

Я не могъ ѣсть, но сѣлъ на широкій подоконникъ и скрестилъ руки на груди.

— Что вамъ нужно отъ меня? Можетъ быть, я трезвѣе васъ.

— Хо! хо!—воскликнули они и захопали въ ладоши.

— Товарищи!—продолжалъ я:—совершайте вашу трапезу, я буду смотрѣть, и это доставитъ мнѣ не меньше удовольствія...

— Молчаніе! Проповѣдникъ желаетъ держать рѣчь!

— Мы съ вами живемъ въ разныхъ мірахъ. Вотъ вы сидите за угощеніемъ и думаете лишь о наслажденіи ѣдою. Фи! Прежде всего самый процессъ ѣды—противенъ. Но хуже всего то, что вся ваша жизнь построена на тотъ же ладъ: ѣсть, пить, спать, работать и наслаждаться. Полный кошелекъ, домъ—полная чаша, жена, дѣти, хорошее положеніе—вотъ ваши неизменные идеалы... Послѣ васъ—потопъ! Вокругъ васъ—луга съ откормленными быками, тонкорунными овцами, милыми барашками... Думаете ли вы о людской нуждѣ, о задачахъ жизни, о томъ, что вокругъ насъ и передъ нами? Сознаете ли вы, что мы, молодежь, должны быть носителями новыхъ идей, что отъ насъ зависитъ будущность Германіи, быть можетъ—всего человѣчества? Кто знаетъ? Быть можетъ, именно намъ суждено разрѣшить міровыя проблемы, создать новыя цѣнности, взять новый курсъ для того, чтобы помочь людямъ достигнуть высочайшихъ идеаловъ? А что мы такое? Передъ нами лишь слегка приподнимаютъ завѣсу и показываютъ намъ крошечку того прекраснѣйшаго, величайшаго, благороднѣйшаго, что подарили міру великіе художники и мыслители всѣхъ временъ. Намъ лишь указываютъ міровыя задачи, тѣнь славныхъ созданій, и предоставляютъ намъ самимъ вдуматься во все это, разобраться въ немъ, постичь его... И поэтому въ нашихъ головахъ—путаница и недоумѣніе, вихрь мыслей и сумятица, и за всѣмъ этимъ мы забываемъ, что мы—люди, что мы должны быть людьми будущаго и прежде всего—выработать въ себѣ личность...

— Bravo, проповѣдникъ!.. „Да саро“! Нѣтъ, продолжай! Bravo!

Я соскочивнулъ съ подоконника, шумные возгласы меня взбѣсили, и я такъ ударилъ кулакомъ по столу, что колбаса покадилась на полъ, а окорокъ подпрыгнулъ.

— Кто вы такіе? Вы...

Но голосъ у меня вдругъ осѣкъся. По жиламъ пробѣжала ледяная струя, вдохновеніе сразу упало: я отрезвѣлъ... Я почувствовалъ себя такимъ жалкимъ, ничтожнымъ, какъ никогда еще за всю мою жизнь. Слезы гнѣва и стыда навернулись у меня на глазахъ. Я пробормоталъ извиненіе и вышелъ. Все

стихло. У дверей моей комнаты я прислушался: не смѣются ли? Нѣтъ, никто не смѣялся, только разговоры временно смолкли, а затѣмъ всѣ перешли къ „порядку дня“. Этого случая я никогда не забуду.

Подъ впечатлѣніемъ нравственнаго Katzenjammer'a я цѣлую недѣлю не ходилъ на плотину и гулялъ по скучной большой дорогѣ. Но вдали отъ моря вдохновеніе не посѣщало меня, и на восьмой день я снова пошелъ по знакомой тропинкѣ.

Едва я сѣлъ на обычное мѣсто и вынулъ свою записную книжку, какъ передо мной явилась Энгель, очевидно меня поджидавшая, и стала звать меня зайти.

— Я слишкомъ много выпилъ у тебя, Энгель,—сказалъ я,—намъ, ученикамъ старшаго класса, надо быть всегда со свѣжею головой.

— Чтѣ за пустяки! Не пей больше чѣмъ можешь, но пойдѣмъ погрѣться. Тутъ на холоду ты простуду схватишь. Можешь и въ комнатѣ строчить сколько душѣ угодно...

Она потащила меня за руку. Сначала я дѣйствительно сѣлъ за работу, но Энгель постоянно подходила ко мнѣ, хлопала по плечу и по колѣнкѣ, посмѣивалась, и кончилось тѣмъ, что я опять пилъ грогъ...

Съ тѣхъ поръ я сдѣлался почти ежедневнымъ посѣтителемъ трактирчика, выпивалъ три-четыре стакана,—я уже не пьянѣлъ послѣ перваго,—болталъ съ Энгель и возвращался домой съ тяжелою головой.

Сотни разъ я давалъ себѣ слово положить этому конецъ, но во мнѣ происходила смѣна противоположныхъ настроеній. При мысли объ Энгель я порою ощущалъ физическую тошноту. Когда она со своею грубостью служанки, вульгарными заигрываніями и дерзко вызывающею глупостью вставала въ моихъ воспоминавіяхъ рядомъ съ нѣжнымъ образомъ Эллы,—мнѣ казалось, что я погружаюсь въ море стыда. Можетъ ли нечистый человѣкъ проповѣдывать людямъ чистоту сердца? Но все это исчезало, какъ только духъ алкоголя проникалъ въ мою кровь.

Лѣтомъ я рѣже посѣщалъ трактирчикъ, такъ какъ принялъ приглашеніе Тенсена погостить на фермѣ его родителей. Я научился ѣздить верхомъ, мы катались по окрестностямъ, посѣщали сосѣдей, но эта жизнь въ зажиточномъ фермерскомъ домѣ была не по мнѣ, и я обрадовался окончанію каникулъ.

Съ осени началась старая жизнь.

Высокіе идеалы и величайшая пошлость—мирно уживались во мнѣ бокъ-о-бокъ. Тутъ—благородныя мысли, жажда правды и

добра, любовь къ Богу и людямъ; тамъ—влеченіе къ Энгель и грогу. Я находилъ, что легкое опьяненіе пріятно бодритъ меня и вдохновляетъ.

Мои вечернія прогулки не остались незамѣченными; одинъ изъ классныхъ надзирателей по дружбѣ предупреждалъ меня; я на нѣсколько дней воздержался, а затѣмъ принялся за старое. Въ сущности, и къ Энгель меня тянуло сознаніе моего одиночества.

Но однажды, войдя въ трактирчикъ, я былъ изумленъ, найдя за столомъ всю нашу компанію пансіонеровъ, которые на перебой ухаживали за Энгель. Меня встрѣтили возгласами „ура!“ и смѣхомъ.

— Да здравствуетъ проповѣдникъ! Ему принадлежитъ честь открытія! Его здоровье!

— Какъ видишь, мы тебя накрыли.

— Очень радъ,—сказалъ я сухо и сѣлъ между Томсомъ и Тенсеномъ.

— Сердишься, небось, что отбиваемъ у тебя красотку?—засмѣялся послѣдній.

— Ничуть. Сдѣлайте одолженіе!

И дѣйствительно, съ этой минуты Энгель перестала для меня существовать.

Рѣшено было устраивать еженедѣльно по субботамъ такіе пирушки. Въ эти дни профессоръ бывалъ въ клубѣ, а жена его—на партіи виста; прислугу мы подкупили. Я приходилъ иногда, но меня совсѣмъ туда не тянуло. Однажды я встрѣтилъ Энгель; она похудѣла и казалась злою. Товарищей моихъ она за что-то угрожала „приструнить“,—имъ не пройдетъ даромъ „обида честной дѣвушкѣ“. Я былъ, по ея мнѣнію, все же лучше остальныхъ.

Эта встрѣча обезпечила меня. По городу уже ходили преувеличенные слухи объ „оргіяхъ гимназистовъ“ въ трактирчикѣ. Теперь я думаю, что они шли отъ самой Энгель, желавшей что-нибудь „сорвать“ съ богатыхъ юношей. Во всякомъ случаѣ катастрофа разразилась передъ самыми экзаменами на аттестатъ зрѣлости.

Товарищи мои давно уже пріуныли въ ожиданіи суднаго дня, но къ величайшему ихъ изумленію передъ судомъ учителей предсталъ лишь одинъ обвиняемый—я.

Я былъ подвергнутъ допросу по всей формѣ.

1) Бывалъ ли я тайно въ трактирѣ, вопреки правиламъ учебныхъ заведеній? 2) Возвращался ли я оттуда въ пьяномъ

видѣ? 3) Находился ли я въ недовольственныхъ сношеніяхъ съ трактирною служанкою?

— Я ничего не отрицаю, — проговорилъ я, охваченный смущеніемъ.

— Значить, вы во всемъ сознаётесь?

— Да.

Наступило мертвое молчаніе. Директоръ вздохнулъ и сталъ что-то перелистывать. Воздухъ былъ, буквально, заряженъ электричествомъ.

— Гмъ!.. Да! Въ анонимномъ письмѣ говорилось... гмъ! да, говорилось... о другихъ гимназистахъ, которые... гмъ! да! принимали участіе... Чтѣ вы... гмъ! да! объ этомъ знаете?

Собраніе задерживало дыханіе—до такой степени стало тихо въ залѣ.

Въ головѣ моей мысли обгоняли одна другую. Безъ сомнѣнія мое положеніе улучшится, если я скажу правду: массоваго исключенія не допустить, одного же меня трудно будетъ исключить—въ виду чрезвычайъ вопіющей несправедливости... Но эта мысль мелькнула у меня лишь на минуту. Я подумалъ о товарищахъ—веселыхъ, добросердечныхъ малыхъ, всегда относившихся ко мнѣ вполне корректно. У всѣхъ у нихъ были родители, близкіе люди, которымъ этотъ скандалъ причинить горе. Повредить онъ имъ и при выпускномъ экзаменѣ. А я? Я былъ свободенъ какъ птица. Кому какое до меня дѣло? Аттестатъ? Но вѣдь я желалъ сдѣлаться вольнымъ проповѣдникомъ. На что онъ мнѣ?

— Я ничего объ этомъ не знаю, — отвѣтилъ я спокойно.

Среди членовъ конференціи пробѣжалъ вздохъ облегченія. Мнѣ показалось даже, что взоръ нѣкоторыхъ изъ нихъ благосклонно остановился на мнѣ.

Разумѣется, меня исключили. Сплетни мало-по-малу замолкли, честь заведенія была спасена.

Когда буря благополучно пронеслась мимо, товарищи, собравшись съ мужествомъ, открылись родителямъ, и дѣло съ Ангелъ было улажено.

Я посѣтилъ ее передъ отъѣздомъ, Щеки у нея были снова румяныя, а на пальцѣ—толстое обручальное кольцо. Она вышла замужъ за работника съ фермы, и на двѣ тысячи марокъ они собирались обзавестись собственнымъ хозяйствомъ.

Половина старшаго класса провожала меня на вокзалъ.

Приѣхалъ даже старикъ Тенсенъ, съ тѣмъ, чтобы позать мнѣ руку на прощанье. Пришлось обѣщать ему, что въ случаѣ надобности я къ нему обращусь... за поддержкою и совѣтомъ.

Никогда не былъ я такъ богатъ и счастливъ, какъ въ этотъ день.

На этомъ собственно и кончается исторія моего дѣтства и юности.

Семья Пипендикъ сдѣлала мнѣ черезъ своего повѣреннаго предложеніе поступить на службу въ торговый домъ въ Бременѣ, и я согласился. Мое самосознаніе тѣмъ временемъ созрѣло. Я зналъ, что между моимъ прошлымъ и будущимъ долженъ пройти періодъ успокоенія и подготовленія.

Четыре года я пробылъ въ Бременѣ, три—въ Гамбургѣ, и за это время, кажется, никому не причинилъ беспокойства: въ рабочіе часы я былъ аккуратенъ и точенъ какъ машина, но въ часы отдыха я становился собою: Колей Доденштейтомъ, чело-вѣкомъ съ двумя душами, въ груди котораго уживались рядомъ любовь и ненависть къ людямъ.

Порою я бралъ самого себя за руку и старался вывести себя изъ области праздничныхъ мечтаній къ повседневному труду простой, скромной, буржуазной жизни. Но каждый разъ, какъ только я видѣлъ себя на полдорогѣ къ цѣли, я замѣчалъ, что потерялъ въ пути самое дорогое, и возвращался на старую стезю.

Друзей у меня не было, но людей я видѣлъ достаточно: бездомныхъ матросовъ—въ кабачкахъ, погибшихъ созданій—на улицѣ, безпріютныхъ—въ ночлежныхъ домахъ, несчастныхъ и заброшенныхъ—во всѣхъ углахъ и концахъ города.

Все болѣе утверждался я въ сознаніи, что всѣ люди добры и пріятны, когда они счастливы и поскольку они носятъ въ себѣ способность быть счастливыми. Человѣчество недужно, оно горитъ и дрожитъ, какъ въ лихорадкѣ. Дайте ему счастье—и оно выздоровѣетъ: сила, радость, доброта—смигнуть собою болѣзнь, страданіе и грѣхъ.

Какъ Іаковъ—изъ за-Рахили, такъ и я служилъ семь лѣтъ изъ-за моей личной и духовной свободы, и такъ какъ я—фаталистъ, я ждалъ призыва. Теперь мое время пришло.

Берлинъ, июль.

Дорогой другъ! Когда я, нѣсколько недѣль тому назадъ, писалъ для васъ мою исповѣдь, во мнѣ воскресло съ особен-

ною живостью воспоминаніе о ффрау Трудѣ Ингришъ, бывшей для меня настоящею матерью. Замѣчательно и грустно, съ какою легкостью мы сбрасываемъ въ яму забвенія память о дорогихъ людяхъ и вещахъ, принадлежащихъ къ нашему прошлому, и лишь случайно мы достаемъ ихъ оттуда и отряхиваемъ съ нихъ накопившуюся годами пыль...

Еще изъ пансіона Ликсенбергеръ я дважды писалъ ффрау Трудѣ, но письма мои возвратились нераспечатанными, и я былъ наказанъ. Позднѣе я снова пробовалъ разыскать ее, но безуспѣшно. Затѣмъ новыя впечатлѣнія и переживанія изгладили ея милый образъ, и лишь за послѣднее время онъ снова ожилъ во мнѣ.

Въ Берлинѣ я рѣшилъ прежде всего пріискать мѣсто въ какой-нибудь редакціи. Звѣзда моя привела меня въ пансіонъ, гдѣ живутъ представители интеллигентной богемы, которые—*ничто*, какъ и я самъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ—*ничто*, люди, желающіе безконечно многого и не достигшіе покуда ничего.

Тутъ есть д-ръ Рейсбартъ, журналистъ и художникъ, бывшій адвокатъ и владѣлецъ фермы въ Цинциннати, изобрѣтатель новаго воздушнаго „дирижабля“ и усовершенствованной пишущей машины, которые принесутъ ему колоссальный годовой доходъ, какъ только будутъ введены въ употребленіе. Капиталъ на устройство ихъ еще не собранъ, но когда все будетъ оборудовано, д-ръ Рейсбартъ намѣренъ создать съ помощью своихъ капиталовъ новыя фабрики, рабочіе на которыхъ будутъ имѣть не только собственные дома, школы, театры, ванны, но и пенсію.

Юный студентъ Якобъ Вешерлингъ работаетъ въ свою очередь надъ изобрѣтеніемъ питательныхъ пиллюль, долженствующихъ устранить всякую возможность недоѣданія и голода. Подобная реформа въ области питанія положить конецъ болѣзнямъ желудка, не говоря уже о сбереженіи времени.

Г. фонъ-Вильде, надъ лысымъ черепомъ котораго пронеслись, повидимому, уже многіе годы, проповѣдуетъ „опрощеніе“; въ его комнатѣ нѣтъ мебели, и онъ сожалеетъ о томъ, что проклятая культура принуждаетъ его ходить въ сюртукъ и панталонахъ. Онъ—основатель „Свободнаго союза мудрыхъ въ Богѣ“.

Кромѣ нихъ, имѣются еще двѣ дамы: ффрау Ада Менъ-Шюттельбаумъ, бывшая довольно извѣстная артистка, вышедшая за кушетиста, разведшаяся съ нимъ и теперь пишущая высоко-нравственные романы, которые приведутъ человѣчество къ добру и красотѣ, какъ только разойдутся въ миллионѣхъ экземпляровъ и будутъ переведены на всѣ языки міра.

Другая дама—фрейлейнъ Клео Петерсенъ, ремингтонистка, извѣстная подъ названіемъ „гремучей змѣи Клеопатры“. Когда споры наши разгораются, она стучитъ обыкновенно по столу и восклицаетъ:—Молчите, господа! Успокойтесь и молитесь святому Петру, чтобы онъ ниспослалъ золотой дождь, и вы увидите, какъ счастливо будетъ человѣчество!

Мысль хотя не оригинальная, но въ общемъ вѣрная.

Вы видите, что я попалъ въ кружокъ интересныхъ людей. Но я долженъ вамъ разсказать о тетѣ Трудѣ. Въ телефонной книжкѣ мнѣ попался на глаза адресъ инженера Гельмута Авенариуса, директора какой-то строительной компаніи, Маргаретенштрассе, собственный домъ, и хотя это могъ быть однофамилецъ, я сейчасъ же отправился къ нему.

Домъ былъ красивый, двухъ-этажный, съ садомъ. Слуга въ темной изящной ливрѣ провелъ меня въ грандіозный рабочій кабинетъ „г. директора“.

Г. Авенариусъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ, и хотя онъ пополнѣлъ и отпустилъ себѣ англійскія бакенбарды, я сразу узналъ его. Глаза его были все такіе же веселые и пріятливые. Онъ вертѣлъ между пальцевъ мою карточку.

— Г. Доденшейтъ?.. Имя какъ будто знакомое, но я что-то не припоминаю...

Я не былъ расположенъ къ прелюдіямъ и сразу проговорилъ:

— Цѣль моего посѣщенія придетъ на помощь вашей памяти, г. Авенариусъ. Я хотѣлъ васъ просить, не окажете ли вы мнѣ содѣйствіе въ поискахъ моей пріемной матери, фрау Гертруды Ингришъ?

Авенариусъ вздрогнулъ и бросилъ смущенный взоръ на дверь во внутреннія комнаты.

— Что? Кто? Ахъ, да! Вы—тотъ маленькій?.. Какъ, однако, молодое растетъ! Садитесь, г. Доденшейтъ.

Онъ провелъ раза два платкомъ по лбу.

— Фрау Ингришъ... Да, да, какъ бѣжитъ время! Пойдите, сколько же?..

— Четырнадцать лѣтъ.

— Совершенно вѣрно—четырнадцать! Для меня это была пора рыцарскихъ мечтаній... Мнѣ такъ было жаль бѣдную молодую женщину, прикованную къ калѣкъ-мужу. Къ сожалѣнію, меня скорѣе перевели въ Позенъ, и наша переписка оборвалась...

— Такъ вы не знаете, гдѣ фрау Ингришъ?

— Погодите... Мѣсяцъ тому назадъ я не могъ бы отвѣтить на вашъ вопросъ, но что значитъ случай! Недѣли три тому

назадъ я искалъ конторщицу, и вотъ однажды ко мнѣ является... (онъ понизилъ голосъ и покосился на дверь) кто бы вы думали? Фрау Ингришъ—съ тѣмъ, чтобы рекомендовать мнѣ родственницу. Вотъ и адресъ ея: Бернауэръ-штрассе, 71, у г. Газекіиля, не Гезекіиля... Ха! ха!

Онъ засмѣялся нѣсколько дѣланно и продолжалъ:

— Скажите ей, что я по старой дружбѣ отказалъ девяносто-деяти претендентамъ, а она написала мнѣ затѣмъ, что барышня ея устроилась иначе. Итакъ, милый г. Доденштейтъ, вы пріѣхали въ Берлинъ и намѣрены разыскать вашу пріемную мать? Прекрасно! У нынѣшней молодежи рѣдко можно встрѣтить подобныя чувства. Чѣмъ вы занимаетесь, смѣю спросить?

Мое прежнее отвращеніе къ нему ожило, но радость при полученіи адреса фрау Труды пересилила его, и я, настроенный сообщительнѣе, чѣмъ обыкновенно, отвѣтилъ ему, что служилъ по торговой части, но теперь перемѣняю родъ дѣятельности: дѣлаюсь журналистомъ.

— Такъ, такъ,—сказалъ директоръ благосклонно,—я долженъ познакомить васъ съ женою. Она бредитъ соціальными вопросами и вербуетъ интересныхъ людей... Я—не изъ ихъ числа,—прибавилъ онъ, смѣясь,—но я разрѣшаю ей это. Мнѣ даже пріятно доставить ей „сочувственныя души“. Если вы ничего противъ этого не имѣете, я васъ представляю...

Онъ ввелъ меня въ элегантную гостиную со стеклянною, уставленною цвѣтами, верандою и познакомилъ съ дамою въ свѣтломъ платьѣ, отрекомендовавъ меня какъ стараго знакомаго, пріѣхавшаго въ Берлинъ съ цѣлью посвятить себя журналистикѣ и пропагандѣ общественно-этическихъ вопросовъ...

— Моя жена тоже пишетъ,—добавилъ онъ.

— Если это называется писать!—уронила фрау Авенариусъ, подавая мнѣ узенькую, усыпанную брилліантовыми кольцами ручку.— Не пройдемъ ли мы на веранду? Воздухъ послѣ дождя чудный...

Я не знаю, въ чемъ состоитъ очарованіе фрау Авенариусъ. Она уже не первой молодости и ее нельзя назвать красавицей. Ея нѣжное лицо, черзчуръ миниатюрное въ рамѣ пышныхъ, пепельно-бѣлокурыхъ волосъ, освѣщается громадными сіяющими золотисто-карими глазами.

Съ улицы слышалось шипѣніе автомобиля.

— Извиняюсь, обязанности службы—прежде всего,—воскликнулъ директоръ, и, выразивъ надежду, что я еще посижу у его жены, простился съ нами.

— Доденштейтъ! Это — не совсѣмъ обыкновенное имя, и

еслибы я, не зная васъ, услышала его, вы представились бы мнѣ именно такимъ, какой вы на самомъ дѣлѣ,—задумчиво сказала фрау Авенариусъ:—съ каждымъ именемъ у меня связано известнаго рода представленіе о человѣкѣ, и я рѣдко ошибаюсь... Такъ вы—миссіонеръ? Какого рода? Вы—не церковникъ?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я, и постарался изложить ей мои цѣли и взгляды, мое намѣреніе создать общину, которой я принесу новую истину, быть можетъ—новыя откровенія...

Ея неподдѣльное вниманіе вдохновляло и ободряло меня; я становился краснорѣчивымъ.

— Въ чемъ состоятъ эти откровенія?

— Въ новомъ освѣщеніи понятій счастья и любви, правды и неправды, въ указаніи пути къ углубленію этихъ понятій, дабы отвлеченныя мысли получили конкретную цѣнность...

— Вы говорите почти то же, что Кристофъ Гроссъ! — воскликнула она.—Вы не знаете его? Вы должны съ нимъ познакомиться. Онъ похожъ на Мессію, даже—по наружности. Удивительный человѣкъ! Какъ онъ разъясняетъ личность Христа! Совсѣмъ по новому—такъ глубоко и своеобразно! Онъ тоже хочетъ создать новое царство духа, новую религію, но, къ сожалѣнію, для этого нужны громадныя средства. Одна изъ моихъ пріятельницъ послала ему десять тысячъ марокъ для начала, но это—слишкомъ ничтожная сума. Другая дама развелась изъ-за него съ мужемъ, и когда ей стало ясно, что въ его любви нѣтъ ничего земного, она сошла съ ума и лишила себя жизни...

Горничная со скромно опущенными глазами, но похожая лицомъ на Энгель, внесла чай и печенье.

Я замѣтилъ, что меня не особенно привлекаетъ этотъ Мессія, берущій отъ женщинъ деньги и сводящій ихъ съ ума своими проповѣдями.

Фрау Авенариусъ улыбнулась.

— Вы его не знаете. Отъ него исходитъ особое очарованіе. И потомъ—его идеи...

— Я всегда думалъ, что дамы „of the upper ten thousand“ далеки отъ подобныхъ вопросовъ, и радуюсь, что слышу отъ васъ противное...

Она улыбнулась съ отгѣнкомъ грусти.

— Это—привилегія не однихъ бѣдняковъ; порою и богатые люди бываютъ очень бѣдны...

Она не договорила, и я сталъ разспрашивать ее объ ея литературныхъ работахъ. Она пишетъ романы?

Она слегка разсмѣялась.

— Нѣтъ... Я не такъ еще низко пала, чтобы утратить всякое чувство самокритики; но видите ли... свободного времени у меня много, думаешь, думаешь... и захочется набросать кое-что на бумагу... разные мысли, настроенія... — Она взяла папку съ бумагами. — Можно вамъ прочесть?

— Пожалуйста!

Она прочла своимъ мягкимъ, глуховатымъ голосомъ непритязательную картину настроенія, набросокъ безъ дѣйствующихъ лицъ. Потсдамская площадь въ канунъ Рождества: звонки, шипѣніе автомобилей, стукъ экипажей, выкрики разносчиковъ, рожь толпы, и среди всего этого — тихіе шумы, тонущіе въ общей симфоніи праздничнаго гула... Тысячи огней и красокъ, живой kaleidoscope людей и предметовъ, въ которомъ бьется пульсъ радостнаго настроенія. А стороною движется похоронная процессія съ бѣлымъ гробикомъ ребенка, и заснувшій навѣкъ маленький странникъ ждетъ своего сочельника тамъ, въ краю вѣчнаго мира. Онъ идетъ къ звѣздамъ...

Не могу судить, имѣлъ ли этотъ набросокъ какія-нибудь художественныя достоинства, но онъ свидѣтельствовалъ о глубинѣ переживаній автора.

— Это, конечно, дилеттанство, — сказала она; — но оно доставляетъ мнѣ отраду.

— Всегда надо дѣлать тѣ, что доставляетъ отраду, уважаемая фрау.

— Это звучитъ нищеванствомъ.

— Ничуть, я вѣрю, что радость бытія — долгъ; вѣрю такъ же, какъ въ возможность счастья.

— Какъ вы понимаете счастье?

— Счастье — разрѣшеніе всѣхъ диссонансовъ души въ великомъ гармоническомъ аккордѣ, разрѣшеніе контрастовъ и конфликтовъ, отъ которыхъ страдаетъ мыслящій человекъ — въ гармоническомъ единеніи. Не въ примиреніи, нѣтъ, такъ какъ оно равносильно отреченію, ограниченію, апатіи. Счастье, наоборотъ, должно быть сильнымъ, дѣйственнымъ, совершеннѣйшею кристаллизацией личности, которая въ этомъ состояніи полной зрѣлости реагируетъ лишь на тѣ внѣшнія проявленія, что непосредственно связаны съ нею. Многіе люди страдаютъ, напримѣръ, отъ мысли, что другіе ихъ не понимаютъ, но въ дѣйствительности они не понимаютъ самихъ себя. Они стоятъ, сами этого не сознавая, передъ своимъ собственнымъ я, какъ передъ закрытымъ домомъ. Еслибы иной изъ насъ зналъ, какія болота и пропасти таятся въ его душѣ — онъ бы ужаснулся...

Агнеса Авенариусъ облокотилась локтями на столъ и задумчиво глядѣла на меня своими большими глазами.

— Значить, по-вашему, первое условіе счастья — самопознаніе?

— Съ извѣстными ограниченіями — да. Природа человека — божественна, и ей предназначено идти къ счастью; инстинкты — ея спутники; они, какъ невоспитанныя дѣти, всегда кричатъ: „хочу! хочу!“ — но ихъ слѣдуетъ воспитывать тамъ, гдѣ слово: „хочу!“ не ведетъ къ добру. Инстинкты должны намъ повиноваться, а не управлять нами.

— Знаете, — вздохнула фрау Авенариусъ, — когда говоритъ Кристофъ Гроссъ, мнѣ кажется, что меня окутываютъ и кружатъ голова облака дивнаго эніама; мы понимаемъ, что подъ его словами таится нѣчто великое и прекрасное, но въ сущности намъ неясно: чего онъ хочетъ? Васъ же я могла бы слушать по цѣлымъ часамъ.

Пробило шесть часовъ, и я поднялся.

— Какъ жаль, что мы на дняхъ уѣзжаемъ, — сказала она, — но вы должны обѣщать мнѣ, что посѣтите меня въ началѣ сентября; я должна чаще васъ видѣть. Если вы учите счастью, то найдете во мнѣ прилежную ученицу.

Я обѣщалъ быть у нея. Она крѣпко сжала мою руку.

— Еще одно слово, г. Доденштейнъ. Вы сами счастливы?

— Я на пути къ счастью, — отвѣтилъ я.

Въ этотъ вечеръ я позабылъ Трудъ Ингрипъ и даже не принималъ участія въ спорахъ за табльдотомъ; я думалъ о бюбурой женщинѣ, жаждавшей счастья и единомыслія.

Наконецъ — къ фрау Трудъ!

Четырнадцать лѣтъ страшно мѣняютъ женщину — внутренно и наружно. Несмотря на это, она все еще красива, и налетъ сѣдины на ея пышныхъ черныхъ, мягкихъ какъ бархатъ волосахъ напоминаетъ пудру. Черты ея нѣсколько ували и глаза кажутся очень утомленными. Я сейчасъ бы узналъ ее при встрѣчѣ, меня же она не сразу узнала, но затѣмъ радость ея была велика.

Она заставила меня прежде всего рассказать ей мою жизнь, и уже потомъ рассказала о себѣ. Дружба съ Авенариусомъ продолжалась два года. Она лишь вскользь упомянула объ этомъ времени, но я заполнилъ пробѣлы. Она говоритъ о немъ безъ всякой горечи, — озлобленіе несвойственно ея мягкой натурѣ. Черезъ годъ умерла фрау Стеффензенъ, мать Региночки, и она взяла дѣвочку къ себѣ, хотя борьба за существованіе была не-

легка: ей пришлось работать на фабрикѣ дамскихъ блузокъ. Еще черезъ три года счастье улыбнулось ей: добрый старикъ Ингрипъ оставилъ своей бывшей женѣ двѣнадцать тысячъ марокъ; конечно, ей захотѣлось отдохнуть, взять лучшую квартиру, и кончилось тѣмъ, что за три года деньги ушли, и снова пришлось приняться за тяжелую работу, съ тою только разницею, что теперь у нея есть собственная швейная машина и она шьетъ изящныя блузки, получая по пятнадцати марокъ за дюжину, между тѣмъ какъ при большомъ прилежаніи можно сдѣлать въ два дня одну блузку.

И дѣйствительно, она чуть ли не послѣ первыхъ же привѣтствій уже взялась за работу.

У Газекіи она имѣетъ двѣ маленькихъ комнатки, и за это должна готовить ему кушанье.

Въ комнатѣ, несмотря на открытое окно, было душно; солнечные лучи скользили по волосамъ тети Труды, по ея прилежнымъ рабочимъ рукамъ, и я невольно подумалъ о томъ времени, когда она, молодая и беззаботная, прогуливалась въ своихъ муслиновыхъ платьяхъ среди кустовъ центифолій въ озаренномъ солнцемъ саду...

Она угадала, по всей вѣроятности, мои мысли, такъ какъ сказала:

— Тогда хорошо было, Коля, но, знаешь ли, я раскаивалась въ томъ, что сдѣлала, только на первыхъ порахъ. Тогда я не была удовлетворена внутренно, мечтала о счастьѣ и терзалась оттого, что никогда не узнаю такого счастья. Нынче, наоборотъ, несмотря на бѣдность и тяжелую работу, я испытываю минуты истиннаго счастья. Вотъ теперь, напримѣръ, когда ты снова со мною. Когда человѣкъ узналъ, что такое счастье, и расплатился за него—онъ свелъ счеты съ самимъ собою. И заботы не мѣшаютъ счастью,—иначе снова явится пробѣлъ, заполняющійся неопредѣленными стремленіями къ чему-то...

— Значить, ты достигла душевнаго равновѣсія, тетя Труды? Это радуетъ меня. Именно ему я хотѣлъ бы научить людей. Изъ этого обрѣтенія людьми самихъ себя рождается сумма ощущеній и чувствъ, составляющихъ въ концѣ концовъ счастье.

Тетя Труды покачала головою, когда я сталъ развивать передъ нею свои планы.

— Лучше бы ты остался при твоёмъ дѣлѣ. Человѣкъ долженъ имѣть постоянный опредѣленный кругъ дѣйствій и работы, а такими вопросами—заниматься въ свободное время... Посвятить же себя только этому... Повѣрь мнѣ, Коля, ты не передѣлаешь

людей, особенно—молодыхъ. Каждый изъ нихъ будетъ понимать счастье по-своему.

У тети Труды есть свои заботы: Регина—слабago здоровья. Ей пришлось отказаться отъ хорошаго мѣста въ конторѣ, такъ какъ она заболѣла отъ сидячей жизни. Теперь она служить въ магазинѣ.

Вскорѣ пришла и Регина. Вотъ ее я бы никогда не узналъ! Въ моемъ воспоминаніи я вижу ее маленькимъ, веселымъ, живымъ созданіемъ; теперь она стала совсѣмъ взрослою, серьезною дѣвушкой, совершенно непохожею на прежняго жизнерадостнаго ребенка. Она хороша собою и симпатична, съ ней сразу можно подружиться, но хотя она мила и привлекательна, врядъ-ли найдется человѣкъ, который въ нее влюбится.

Тетя Труда пожелала, чтобы мы говорили другъ другу „ты“. Ей это показалось трудно, а мнѣ—чрезвычайно легко: она рождена быть добрымъ товарищемъ и сестрою.

Онѣ уговорили меня остаться ужинать: намъ столько надо было сказать другъ другу; даже Регина разговорилась. Въ девять часовъ дверь, безъ предварительнаго стука въ нее, растворилась, и въ щель просунулась маленькая голова хищной птицы.

— Фрау Ингришъ,—послышался пискливый, бранчивый голосъ:—согласно нашему уговору, вы не имѣете права принимать мужчинъ.

— Но вѣдь это—мой пріемный сынъ, г. Газекиль!—воскликнула фрау Труда.—Я ручаюсь за него... Подойдите ближе...

— Нѣтъ ужъ, благодарю. Человѣка по лицу не узнаешь...

Дверь со стукомъ захлопнулась. Тетя Труда вспыхнула отъ гнѣва и не могла говорить, но Регина, сохраняя спокойный видъ, дала объясненіе. Ихъ хозяинъ—ростовщикъ; онъ ссужаетъ деньгами подъ проценты и страшно боится воровъ и убійцъ. Бѣдную тетю Труду онъ всячески тѣснить.

Я со стыдомъ и сожалѣніемъ думаю о брошенныхъ мною на вѣтеръ деньгахъ и о томъ, какъ мало могу я нынче сдѣлать для обѣихъ бѣдныхъ женщинъ. Какъ только получу заработокъ, прежде всего вырву ихъ изъ этой волчьей ямы. Я уже рассказалъ имъ о васъ,—обѣ онѣ просятъ вамъ кланяться. На сегодня—будетъ. Цѣлую вашу руку. — Вѣчно признательный и преданный вамъ—К. Д.

Берлинъ. Ноябрь.

Тысячу разъ благодарю васъ за ваши милыя строки и участіе! Вы спрашиваете: какъ мнѣ живется? Съ виду—северно, въ сущности—великолѣпно. Что касается работы въ редакціяхъ—

я странствовалъ всѣ эти мѣсяцы отъ Понтія къ Пилату, и ничего не нашелъ подходящаго. Недѣлю тому назадъ, я получилъ занятія при книгоиздательствѣ: ежедневно просматриваю и исправляю по роману въ 300 страницъ, а гонораръ... Ну, о немъ я лучше умолчу, для того, чтобы не вызвать вашего знаменитаго покачиванія головою. Оставимъ это! Не единымъ хлѣбомъ чловѣкъ сытъ бываетъ. Есть еще у меня сотня марокъ, кольцо съ брилліантами и часы съ золотою цѣпочкой, и въ общемъ я чувствую себя лучше, чѣмъ когда-либо. Я все больше убѣждаюсь въ томъ, насколько я былъ правъ, перебравшись въ Берлинъ. Тутъ я скорѣе всего найду единомышленниковъ; поле дѣятельности тутъ безгранично и почва для моего ученія какъ разъ подготовлена.

Царство реализма, славу Богу, окончилось. Влеченіе къ идеализму охватываетъ души, и тревога—особый признакъ нашего времени—есть не что иное, какъ исканіе Бога и жажда счастья.

Я познакомился съ Кристофомъ Гроссомъ, проповѣдникомъ. Фрау Авенариусъ говорила ему обо мнѣ, и онъ навѣстилъ меня. Сознаюсь, что его внѣшность меня очаровала: онъ могъ бы служить моделью для Гофманскаго Христа: темныя мягкія длинныя кудри, борода, большіе кроткіе глаза, дѣжные руки, мягкій проникновенный голосъ, прикрывающій пустоту красивыхъ словъ, которыя изливаются на слушателя благоуханнымъ дождемъ. Агнеса Авенариусъ права. Онъ можетъ, буквально, вскружить голову, такъ что въ концѣ концовъ ничего не поймешь. Онъ—убѣжденный христіанинъ, не „церковникъ“ конечно; онъ хочетъ перевоспитать чловѣчество съ помощью реформъ во всѣхъ областяхъ духа. Между прочимъ, онъ спросилъ: часто ли я выдаюсь съ фрау Авенариусъ,—на что я отвѣтилъ отрицательно.

Мнѣ показалось, что мой отвѣтъ доставилъ ему облегченіе.

— Фрау Авенариусъ — милая женщина, — сказалъ онъ со вздохомъ, — жаль только, что она очень нерѣшительна... Она могла бы принести большую пользу нашему дѣлу: во-первыхъ,—она очень даровита, во-вторыхъ—очень богата. Помимо средствъ мужа, она имѣетъ собственное состояніе—чуть ли не миллионъ. Вѣдь она—единственная дочь и наслѣдница шополаднаго фабриканта Виннига.

Мы разстались съ обѣщаніемъ чаще видѣться и переписываться. Въ обхожденіи онъ—чловѣкъ пріятный, но я не могъ бы сойтись съ нимъ ближе: въ немъ чувствуется „мастеръ своего дѣла“.

Мнѣ симпатичнѣе г. фонъ-Вильде; его убѣжденія вполне искренни. Созданный имъ кружокъ „Свободный союзъ мудрецовъ въ Богѣ“ имѣетъ три отдѣла: *познавшіе, познающіе, стремящіеся къ познанію*, другими словами: *одѣтые, полудѣтые и неодѣтые*. Религія пола, которую онъ проповѣдуетъ, построена несомнѣнно на этическихъ началахъ, но онъ придаетъ слишкомъ много цѣны внѣшнимъ проявленіямъ и обрядамъ.

Въ концѣ августа онъ устроилъ „лѣтнее празднество мистерій“ въ Груневальдѣ, по близости озера, въ самой глухой части, гдѣ и днемъ рѣдко попадаютъ гуляющіе. Не будучи членомъ кружка, я все же получилъ приглашеніе; костюмъ для дамъ и мужчинъ былъ обязательно греческій; полночная часть, теплая лунная ночь: время и мѣсто были хорошо выбраны для „мистерій“.

Представьте себѣ обстановку: нѣчто въ родѣ рощи Бѣлкина, густую чащу сосенъ, поднимающихся къ небу въ видѣ голубыхъ колоннъ, въ мистическомъ лунномъ свѣтѣ; надъ ними — черно-синій, усыпанный серебряными звѣздами куполъ неба; по самой серединѣ чащи — маленькое озеро, похожее на темное меланхолическое око, одновременно пугающее и чарующее, окаймленное мягкимъ, пушистымъ мхомъ, въ которомъ нога вязнетъ, какъ въ дорогомъ смирнскомъ коврѣ.

Тутъ же были возведены „алтари“ изъ простыхъ деревянныхъ, оклеенныхъ бѣлою бумагою ящиковъ, служившихъ для перевозки фруктовъ и винъ, но казавшихся при лунномъ освѣщеніи глыбами драгоцѣннаго бѣлаго мрамора, обвитыхъ гирляндами розъ.

Къ полуночи собрались всѣ приглашенные; темныя верхнія одежды были сброшены, и около сорока фантастическихъ бѣлыхъ фигуръ образовали хороводъ вокругъ алтаря Діониса. Одинъ изъ нихъ, старецъ съ бѣлою бородой, явился въ роли жреца, онъ произнесъ воззваніе; затѣмъ началось пѣніе гимновъ въ честь любви, красоты и божественности природы, — слова походили на греческія и латинскія, но были нѣмецкія. Интересно было бы записать ихъ и прочесть въ трезвомъ состояніи. Тогда, ночью, самое отсутствіе смысла производило гипнотизирующее впечатлѣніе, особенно благодаря плоскимъ „фіаламъ“ съ какимъ-то предательски-крѣпкимъ и сладкимъ испанскимъ виномъ.

Затѣмъ вспыхнули факелы и началась пляска: мужчины были съ лютнями, женщины — съ тирсами въ рукахъ. Избавляю васъ отъ подробностей празднества, — скажу только, что узъ буржуазной морали были сброшены вмѣстѣ съ тогами и покрывалами,

но у меня, какъ на зло, не было подходящаго настроенія, и я думалъ при видѣ этихъ декольтированныхъ нимфъ: какъ благодарны должны онѣ быть буржуазной морали и своимъ портникамъ за то, что въ обычное время онѣ ходятъ не въ такихъ костюмахъ! Я оставался совершенно холоденъ.

Со мною заговорилъ бѣлокурый мужчина съ бородою—Гансъ-Леонгардъ фонъ Гогендорфъ, тоже философъ, стремящійся осчастливить человѣчество.

— Что такое счастье, милѣйшій г. Доденштейтъ? Счастье—любовь. Я согласенъ съ нашимъ другомъ г. фонъ Вильде, но я желалъ бы углубить, расширить его ученіе.

Мы условились, что на дняхъ увидимся, и я отъ нечего-дѣлать подошелъ къ красивой женщинѣ, одиноко сидѣвшей на алтарѣ—ящикѣ съ бутылками—и пившей вино. Она налила мнѣ, мы чокнулись и выпили еще, что было тѣмъ удобнѣе, что мы сидѣли у источника. Она созналась, что замѣтила меня еще во время хоровода и спрашивала себя: кто я такой, актеръ или пасторъ?

Вторая половина праздника показалась мнѣ болѣе приятно: черные глаза моей собесѣдницы и сладкое вино—одурманили меня. Не желаю знаться съ любителями холодной воды. Я люблю вино и пою ему гимны!

Я проводилъ фрау Розауру Мальтонъ домой. Это было на разсвѣтѣ, домашніе духи еще спали. По ея настоятельному приглашенію я зашелъ къ ней. Она занимаетъ большую, чрезвычайно изящную квартиру. Въ японскомъ будуарѣ уже былъ накрытъ столъ для завтрака; она зажгла спиртовку, и покуда заваривался кофе—разсказала мнѣ свою исторію.

Она — полу-нѣмка, полу-американка, и съ отцомъ своимъ, игравшимъ на сценѣ, объѣхала полъ-міра; на семнадцатомъ году она сама выступала въ роли субретокъ, но возненавидѣла подмостки, и для того, чтобы избавиться отъ нихъ, вышла замужъ за страшно богатаго шведскаго барона, овдовѣла въ двадцать лѣтъ, потеряла состояніе при крахѣ стокгольмскаго банка, вышла вторично за врача, дурно съ нею обращавшагося, который даже покушался на ея жизнь. Она развелась съ нимъ, затѣмъ, познакомившись съ сыномъ богатаго австрійскаго фабриканта, вступила съ нимъ въ бракъ — тоже неудачный. У мужа оказалось полъ-дюжины любовницъ, и онъ скоро бросилъ жену, условившись выплачивать ей по двѣнадцати тысячъ марокъ въ годъ — плохое вознагражденіе за утраченное счастье...

Фрау Розауръ—двадцать-шесть лѣтъ, но она уже покончила

съ жизнью, она знаетъ цѣну людямъ и нашему продажному обществу; ей извѣстно, что счастье встрѣчается не на большихъ дорогахъ; она ищетъ мира и душевнаго равновѣсія. Прежде всего она обратилась къ церкви, затѣмъ—къ спиритуалистамъ; въ кружкѣ г. фонъ Вильде она дошла до стадіи „познающихъ“, а теперь—теперь она принадлежитъ мнѣ. Я приобрѣлъ ея душу и—какую душу!

Не думайте, что я влюбленъ—въ банальномъ смыслѣ слова. Розаура стала для меня за эти мѣсяцы дорогимъ, возлюбленнымъ другомъ, вполне меня понимающимъ. Она безконечно добра; ни одинъ несчастный не уходитъ отъ нея безъ утѣшенія. Рѣдкая женщина способна спасти изъ-подъ обломковъ счастья такую жизнеспособность и силу духа. Она смутно напоминаетъ мнѣ лицомъ первую любовь мою—Елену: тѣ же длинныя, шелковистыя волосы, тонкія черты и темныя грустные глаза.

Порою я захожу къ фрау Авенариусъ. И тамъ мои идеи прививаются; она заговариваетъ объ изданіи газеты для пропаганды моего ученія, редакторомъ которой буду я. Мысль эта очень заманчива, но у меня нѣтъ своихъ средствъ, а работать на чужія я боюсь. Будь я увѣренъ въ успѣхѣ, тогда—другое дѣло. Послѣдній разъ фрау Авенариусъ упрекала меня за то, что я рѣдко ее посѣщаю; она показала мнѣ даже раздраженной. Почему это самыя развитыя женщины не могутъ стать выше подобныхъ мелочей?

Къ сожалѣнію, я не могу посвящать много времени и моимъ близкимъ: фрау Трудъ съ Региною. Розаура дѣлаетъ это за меня. Регина стала каплять кровью, и Розаура предложила ей у себя мѣсто компаньонки, но та съ непонятнымъ для меня упорствомъ долго отказывалась отъ этой легкой работы и согласилась лишь по моему настоянію. Весною, слава Богу, и тетя Труда перебирается отъ Газекіиля: Розаура достала ей хорошо оплачиваемую работу на домъ. Какъ видите, она—добрый геній всѣхъ насъ.

Я былъ нѣсколько разъ у Гогендорфа, съ которымъ познакомился на празднествѣ мистерій. Онъ и его маленькая жена очень нуждаются—Богъ вѣсть, на чтѣ они живутъ,—и все же я рѣдко видѣлъ болѣе веселыхъ людей. Она—миленькая кубла-роково, съ золотымъ сердцемъ и умомъ колибри, обожающая своего великаго „сверхчеловѣка“, считающая его геніемъ, непонятымъ тупоумною толпой...

Увѣряю васъ: онъ можетъ говорить двѣнадцать часовъ сряду и еще долѣе, можетъ заговорить васъ до одури, до безчувствія...

Порою въ этомъ вихрѣ словъ мелькнетъ умное замѣчаніе, острое слово, мѣткое сравненіе, но эти проблески тонутъ въ массѣ безсодержательныхъ фразъ...

Онъ одаренъ всякими способностями, почти во всемъ „кое-что“ понимаетъ, но со всѣми своими познаніями онъ — безпомощнѣ всякаго ребенка передъ прагматическими требованіями жизни. Они вѣчно живутъ подъ угрозою выселенія изъ квартиры; подобно птицамъ небеснымъ, они не сѣютъ, не жнутъ и тѣмъ не менѣе еще не умерли съ голоду.

И все-таки эта парочка, въ ожиданіи будущихъ благъ, чувствуетъ себя счастливѣе большинства богатыхъ людей...

— Ты *должна* быть счастлива, Ганнеле!—говоритъ онъ ей въ тяжелыя минуты, когда даже ея веселость и легкомысліе готовы измѣнить ей,—слышишь: *должна*!—и ея заплаканные глаза уже улыбаются.—Ты будешь современемъ очень счастлива! Сможешь ли ты снести великое бремя счастья?

— Я снесу какое угодно бремя счастья, Гансъ-Леонгардъ!—воскликаетъ Ганнеле съ сіяющими глазами.

Въ глазахъ большинства людей Гансъ-Леонгардъ — болтунъ, крадущій дни у Господа Бога, лѣнтяй, напускающій на себя важность философа. Но онъ—искрененъ и совершенно непрактиченъ; имъ обоимъ слѣдовало бы жить гдѣ-нибудь на другой планетѣ—такъ далеки они отъ жизни. Несмотря ни на что, они нравятся мнѣ, я охотно бываю у нихъ, ихъ радушіе искупаетъ недостатокъ комфорта. Если нервы у васъ не раздражены, то подъ шумъ рѣчей Ганса-Леонгарда, бьющихся бурнымъ водопадомъ, и подъ журчаніе болтовни Ганнеле, вы можете слѣдовать теченію вашихъ собственныхъ мыслей.

Теперь вы познакомились съ моимъ кружкомъ. Въ слѣдующій разъ я подробнѣе напишу вамъ о Розаурѣ и Регинѣ.

Вашъ вѣрный и преданный—К. Д.

Берлинъ. Февралъ.

Глубокоуважаемая фрау!

Простите, что, не будучи лично знакома съ вами, я осмѣливаюсь вамъ писать. Но я такъ много хорошаго слышала о васъ, Коля такъ васъ уважаетъ и вы имѣете на него такое вліяніе, что я хочу хотя попытаться заинтересовать васъ тѣмъ, что меня тревожитъ.

Не знаю, упоминалъ ли Коля обо мнѣ въ своихъ письмахъ къ вамъ? Тетя Труда Ингрипъ замѣняла намъ обоимъ мать, и я смотрю на Колю—какъ на брата. Тетя Труда привязана къ

нему, какъ въ родному сыну, и за время ихъ разлуки — тревога о немъ причинила ей немало горя.

Дорогая, уважаемая фрау! Попытайтесь, прошу васъ, повліять на Колю, чтобы онъ поступилъ куда-нибудь на мѣсто и измѣнилъ свой безпорядочный образъ жизни, который можетъ подорвать его здоровье. Мы не смѣемъ показать ему, что тревожимся за него: онъ сейчасъ же разсердится на насъ за наше „непониманіе“. Но все это не можетъ кончиться добромъ.

Несчастіе Коли состоитъ въ томъ, что онъ вращается среди множества свихнувшихся людей. Я не умѣю даже описать ихъ. Одни изъ нихъ эксплуатируютъ чужую глупость, но большинство изъ нихъ витаетъ въ облакахъ. Они хотятъ осчастливить міръ, а не могутъ заработать себѣ кусокъ хлѣба. Коля тоже такъ думаетъ и зачастую потѣшается надъ ихъ разглагольствованіями, но онъ не думаетъ, что самъ онъ отчасти на нихъ похожъ, и что его теорія — въ сущности тѣ же слова.

Уважаемая фрау! Я — простая дѣвушка изъ народа, но у меня есть глаза и уши. Чтѣ хотятъ всѣ они сказать своимъ новымъ евангеліемъ счастья? Я помню человѣка, заговаривавшаго рожу, зубную боль, судороги и обжогъ. „Заговоръ“ состоялъ изъ бормотанія непонятныхъ словъ, но онъ, случалось, помогалъ вѣровавшимъ въ него. Помогаетъ тѣ, чтѣ называется теперь самовнушеніемъ. Вѣдь и Христосъ не говорилъ: „Я исцѣлю тебя“. Онъ говорилъ: „вѣра твоя помогла тебѣ“. Я не вѣрю, чтобы можно было исцѣлить посредствомъ „заговора“ больныя легкія и сломанные члены. Также и со счастьемъ. Конечно, есть люди, все горе которыхъ состоитъ въ недовольствѣ собою, и если стѣнуть имъ внушить другое міросозерцаніе, они, быть можетъ, станутъ счастливы. Но въ большинствѣ случаевъ понятіе о счастьѣ — вполнѣ реальное, и я хотѣла бы знать, можно ли прописать его, какъ лекарство, больнымъ и бездомнымъ, одинокимъ людямъ?

Несмотря на всѣ старанія, Коля не нашелъ подходящихъ для себя занятій. Изъ пансіона онъ перебрался въ жалкую мансарду въ томъ же домѣ въ Штеглицѣ, гдѣ живутъ его друзья Гогендорфы.

Часовъ съ цѣпочкою у него уже нѣтъ; очевидно, ему живется плохо, но онъ увѣряетъ, что вполнѣ счастливъ, и смѣется надъ нами. Мнѣ кажется, что онъ боленъ.

На слѣдующей недѣлѣ онъ хочетъ прочесть докладъ въ салонѣ фрау Авенариусъ, передъ приглашенною ею публикой. Этимъ обстоятельствомъ недовольны двое: г. Кристофъ Гроссъ

и фрау Розаура Мальтонъ. Я на ея мѣстѣ предложила бы ему свою квартиру.

Вотъ я и подошла къ тому пункту, который, какъ я боюсь, внушить вамъ дурное мнѣніе обо мнѣ. Вѣроятно, Коля уже писалъ вамъ, какъ онъ близокъ съ нею? Онъ прямо обожаетъ ее, но я думаю, что эта дружба приноситъ Колѣ одно зло.

Я знаю, очень дурно говорить такія вещи о женщинѣ, осѣпавшей меня благодареніями. Она пригласила ко мнѣ своего врача, покупаетъ мнѣ дорогія лекарства и укрѣпляющія средства, и я могла бы считать себя на седьмомъ небѣ, еслибы не моя инстинктивная антипатія къ ней, которая настолько велика, что мнѣ тяжело надѣвать подаренное ею платье.

Въ сущности она добрая женщина, но въ ней есть что-то фальшивое.

Дорогая, уважаемая фрау, вы не разсердитесь, что я сразу открываю вамъ свое сердце? Тетѣ Трудѣ я говорить объ этомъ не смѣю, Колѣ—тѣмъ болѣе.

Слово „фальшивое“ я понимаю въ смыслѣ неискренности. Не можетъ женщина, носящая привязныя косы и локончики, сидящая по три часа за туалетомъ, и любимое чтеніе которой составляетъ „Chic parisien“ и другіе модные журналы, — отдаваться всею душою религіозно-философскимъ вопросамъ. Она увѣряетъ, что ушла отъ людей, а сама получаетъ много писемъ, по вечерамъ часто выѣзжаетъ и вообще съ вечера запирается на ключъ въ своихъ трехъ комнатахъ, изъ которыхъ ходъ на лѣстницу, такъ что въ случаѣ пожара мы всѣ — я и двое слугъ — рискуемъ сгорѣть заживо — въ виду отсутствія другого хода.

Я уже говорила ей объ этомъ, но у нея—такая привычка, и она не можетъ отъ нея отстать. На ночь я всегда готовлю въ ея будуарѣ спиртовку для кофе и порою — нѣсколько чашекъ.

Вообще, у нея много странныхъ привычекъ, но это, конечно, — ея дѣло, и еслибы не безпокойство насчетъ Коли—я никогда бы о нихъ не загнулась. Когда онъ приходитъ къ ней, они постоянно пьютъ абсентъ... Я не знаю, что это за напитокъ (сначала я думала, что это въ родѣ оршада), но, должно быть, онъ—очень вѣрпкій, такъ какъ Коля вскорѣ начинаетъ очень громко и возбужденно говорить, а когда онъ уходитъ, то находится въ какомъ-то полусознательномъ состояніи. Вчера, напримѣръ, я вижу: онъ шаритъ въ передней, отыскиваетъ свое пальто и при этомъ держится за стѣнку... Я назвала его по имени; онъ обер-

нулся, страшно блѣдный, и поглядѣлъ на меня дикими глазами, очевидно не узнавая меня. „Коля!“—повторила я и схватила его за руку, холодную и влажную. Онъ все продолжалъ на меня смотрѣть, не говоря ни слова. Я подвела его къ креслу, усадила; онъ попрежнему молчалъ, затѣмъ началъ бормотать какія-то безсвязныя слова, и вдругъ, схвативъ шляпу, безъ пальто выбѣжалъ на улицу. Я—за нимъ, и догнала его уже у фонаря. Онъ хотѣлъ отбросить меня—мы прямо-таки вступили въ борьбу, но вдругъ онъ глубоко вздохнулъ, какъ человѣкъ, котораго разбудили отъ тяжелаго сна...

Тетѣ Трудѣ нельзя этого говорить: она знаетъ семейную исторію Коли; дѣдъ его умеръ въ бѣлой горячкѣ, отецъ былъ алкоголикомъ, и она всегда боялась для него наслѣдственности... Когда эти мысли начинаютъ мною овладѣвать, я не могу спать по ночамъ, на груди у меня словно камень. Поэтому я и рѣшаюсь обратиться въ моемъ горѣ къ вамъ, дорогая, уважаемая фрау. Вамъ я сознаюсь въ томъ, въ чемъ не созналась бы никому другому: Коля дорогъ мнѣ, и, право, я отдала бы мою жизнь для того, чтобы его спасти. Вы знаете, какой онъ чудный человѣкъ! Вы имѣете на него вліяніе, и на васъ я возлагаю всѣ мои надежды!

Съ глубокимъ уваженіемъ и преданностью ваша
Регина Стеффензенъ.

Съ нѣм. О. Ч.



ВЪ ДЕРЕВНѢ

I.

Дожди потокомъ льются съ неба,
Затоплены кругомъ полѣ,—
Ужель сыновъ своихъ безъ хлѣба
Ты вновь оставишь, мать-земля?

Полночный мракъ угрюмъ и чѣренъ,
Ненастье плачетъ на дворѣ,
И сѣятель съ кошницей зѣренъ
Не выйдетъ въ поле на зарѣ.

Земля останется безплодной:
Напрасно въ грязь бросать зерно,
И призракомъ бѣды народной
Грядущее омрачено...

Завѣсой непрерывныхъ ливней
Укрылся солнца свѣтлый ликъ,
И вихрь поетъ все заунывнѣй,
И тайный страхъ въ душѣ великъ.

II.

Полеги подъ бурей спѣлый колосъ,
Онъ проростаетъ и гниетъ,
И урагана дикій голосъ
Ему отходную поетъ.

Какъ рать борцовъ на бранномъ полѣ,
Колосевъ сила полегла;
Колосьямъ не подняться болѣ,
Ихъ пеленой укрыла мгла.

Какъ много вмѣстѣ съ этой силой
Погребено надеждъ живыхъ!
И солнце, вставъ надъ ихъ могилой,
Съ зарею не согрѣетъ ихъ.

Они лежатъ во мглѣ покорно,
Надъ ними не блеснуть серпы,
И ихъ день жатвы плодотворно
Не свяжетъ въ пышные снопы:
Пропали зёрна!

О. Чюмина.



ТОРЕАДОРЪ

ПОВѢСТЬ.

— V. Blasco Ibañez. Sangre y Arena. Novela. Valencia. 1908.

I.

Какъ всегда въ дни „корриды“ — боя быковъ — Хуанъ Гальярдо позавтракалъ рано. Завтракъ его состоялъ только изъ куска хорошо прожареннаго мяса. Вина онъ даже не отвѣдалъ: бутылка стояла передъ нимъ нетронутой. Нужно было сохранить полное спокойствіе духа. Онъ выпилъ двѣ чашки крѣпкаго чернаго кофе и закурилъ огромную сигару. Положивъ локти на столъ и опершись подбородкомъ на руки, онъ сталъ оглаживать сонными глазами входившихъ въ столовую.

Уже нѣсколько лѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ получилъ „альтернативу“, т.-е. возведенъ былъ въ званіе тореадора въ мадридскомъ циркѣ, онъ всегда останавливался въ одномъ и томъ же отелѣ на улицѣ Алакала, гдѣ хозяева относились къ нему какъ къ родному, гдѣ лакеи, швейцаръ, старыя служанки и поваръ обожали его и гордились имъ. Здѣсь же, въ одной изъ комнатъ, онъ пролежалъ много дней забинтованный, въ спертomъ воздухѣ, пропитанномъ запахомъ іодоформа и табачнаго дыма — послѣ двухъ несчастныхъ случаевъ, когда быкъ за дѣлъ его рогами. Это непріятное воспоминаніе не тревожило его. Суевѣрный какъ южанинъ, къ тому же постоянно подверженный опасностямъ, онъ былъ увѣренъ, что этотъ отель приноситъ ему счастье, и что ничего дурного съ нимъ здѣсь не произойдетъ. Нельзя было, конечно, избѣжать профессиональных несчастій — царапинъ на тѣлѣ, какъ и дыръ на платьѣ. Но онъ

ни разу не падалъ серьезно, какъ падали нѣкоторые товарищи, воспоминаніе о которыхъ омрачало его самыя счастливыя минуты.

Онъ любилъ въ дни боя быковъ оставаться послѣ ранняго завтрака въ столовой, разглядывая путешественниковъ, остановившихся въ его отелѣ. Все это были большей частью иностранцы или пріѣзжіе изъ далекихъ провинцій. Они проходили мимо него съ равнодушными лицами, а потомъ съ любопытствомъ оглядывались, узнавая отъ прислуги, что этотъ изящно одѣтый молодой человекъ съ бритымъ лицомъ и черными глазами—Хуанъ Гальярдо, котораго всѣ звали за просто Гальярдо—знаменитый „эспада“¹⁾. Въ этой атмосферѣ общаго любопытства скорѣе проходили мучительные часы, отдѣлявшіе его отъ начала боя. Какъ медленно тянулось время! Эти часы томительной неизвѣстности, во время которыхъ какъ бы поднимались изъ самой глубины души смутные страхи, сомнѣнія въ себѣ, были самыя тяжелыя въ жизни тореадора. Онъ не хотѣлъ пойти погулять, чтобы не утомиться передъ боемъ и выйти на арену свѣжимъ, подвижнымъ и легкимъ. Но и сидѣть долго за завтракомъ ему тоже не полагалось. Нужно было поѣсть быстро и мало, чтобы не выйти на арену съ обремененнымъ желудкомъ.

Онъ продолжалъ сидѣть у стола, подпирая голову руками, окруженный облакомъ благоуханнаго дыма. Отъ времени до времени онъ поднималъ глаза и оглядывался не безъ нѣкотораго фатовства, замѣчая взгляды дамъ, устремленные съ интересомъ на знаменитаго тореадора.

Онъ привыкъ къ обожанію толпы и теперь тоже угадывалъ въ женскихъ взглядахъ лестное отношеніе къ себѣ. Видно было, что его находили красивымъ и изящнымъ. И, забывая свою тревогу, онъ инстинктивно выпрямился, какъ человекъ, привыкшій становиться въ горделивую позу передъ публикой, стряхнулъ ногтемъ пепелъ сигары, упавшій на рукавъ, и поправилъ на пальцѣ покрывавшее цѣлый суставъ кольцо. На кольцо сверкала огромный брилліантъ, окруженный ореоломъ цвѣтныхъ огней, горѣвшихъ волшебнымъ блескомъ, вырываясь изъ глубины камня, прозрачной какъ капля воды.

Онъ самодовольно оглядывалъ свой изящный костюмъ, шпачку, которую онъ надѣлъ, спускаясь въ столовую, и положилъ теперь на стулъ рядомъ съ собой, тонкую золотую цѣпочку,

¹⁾ Эспада — тотъ, который выходитъ одинъ-на-одинъ противъ быка и закалываетъ его шпагой, послѣ того, какъ быка уже раздражили конные *никадоры* и *бандериллеросы*, вонзившіе въ него три пары палокъ съ кричками на концѣ.

протянутую по жилету изъ одного кармана въ другой, воткну-тую въ галстухъ жемчужную булавку, которая бросала молочный отсвѣтъ на его смуглое лицо, башмаки изъ русской кожи, по-верхъ которыхъ видѣлись, высовываясь изъ панталонъ, ноги въ вышитыхъ шольковыхъ чулкахъ.

Его платье и завитые волосы пропитаны были запахомъ сладкихъ и крѣпкихъ духовъ. Волосы его были очень черные, очень блестящіе. Гальярдо приглаживалъ ихъ на вискахъ, принимая видъ побѣдителя передъ устремленными на него женскими взглядами. Онъ былъ недурень... Эта мысль его радовала. Гдѣ найдется другой тореадоръ, столь же изящный, такой же „душка“ для женщинъ?

Но скорѣ имъ снова овладѣла тревога. Взглядъ его потускнѣлъ; онъ задумчиво оперся головой на руки, упорно посасывая сигару и устремивъ взоръ на облака дыма. Онъ переносился мыслями къ вечернему часу, мечтая о томъ, чтобы онъ наступилъ какъ можно скорѣе. Онъ думалъ о томъ, какъ онъ вернется изъ цирка, уставшій, вспотѣвшій, но съ счастливымъ сознаніемъ миновавшей опасности, голодный, съ безумной жаждой развлечься, съ радостной увѣренностью, что его ожидаютъ нѣсколько дней отдыха и полной безопасности. Если Господь сохранитъ его, какъ и въ другіе разы, онъ вечеромъ поѣстъ съ аппетитомъ, даже немножко напѣется и пойдетъ искать красотку, которая пѣла прежде въ одномъ music-hall'ѣ. Онъ видѣлъ ее въ прежній пріѣздъ, но не имѣлъ возможности продлить знакомство съ нею. При его постоянныхъ переѣздахъ съ одного конца полуострова въ другой у него не оставалось времени ни на что.

Въ столовую вошли нѣсколько его поклонниковъ, которые хотѣли повидать своего любимца, прежде чѣмъ идти домой завтракать. Это были старые любители боя быковъ, составлявшіе избранный кружокъ. Гальярдо былъ ихъ кумиромъ. Они звали его „своимъ тореадоромъ“, давали ему мудрые совѣты и вспоминали постоянно своихъ прежнихъ любимцевъ, Лагартихо и Фраскуэло. Они обращались съ Гальярдо съ покровительственной фамильярностью, говорили ему „ты“, въ то время какъ онъ прибавлялъ къ имени каждого почтительное обращеніе „донъ“, въ знакъ установленнаго классоваго различія между тореадоромъ, сыномъ народа, и его поклонниками. Къ восторженнымъ похваламъ этихъ доброжелателей примѣшивались всегда воспоминанія о прошломъ, съ цѣлью внушить юному борцу уваженіе къ годамъ и долгому опыту его покровителей. Они говорили о

старомъ мадридскомъ циркѣ, прибавляя, что только тамъ можно было видѣть настоящихъ быковъ и настоящихъ борцовъ. Они съ трепетомъ восторга вспоминали о „черномъ“, т.-е. о знаменитомъ въ прежнее время Фраскуэло.

— Еслибы ты его видѣлъ! Но вѣдь ты въ это время былъ груднымъ младенцемъ, или даже, быть можетъ, на свѣтъ не родился.

Въ столовую вошли еще нѣсколько почитателей. Это были жалкіе съ виду люди съ голодными лицами, репортеры захудалыхъ листовъ, извѣстныхъ только борцамъ, которыхъ тамъ хвалили или критиковали. Они явились къ Гальярдо, какъ только узнали о его пріѣздѣ, и стали осаждать его лестью и просьбами о билетахъ. Общее восхищеніе объединило ихъ съ другими друзьями тореадора, крупными коммерсантами и чиновниками, которые разговаривали съ ними о предстоящемъ боѣ, не взирая на ихъ жалкій видъ.

Всѣ пришедшіе здоровались съ Гальярдо, цѣлуясь съ нимъ или пожимая ему руку, и забрасывали его вопросами и восклицаніями:

- Хуанильо!... Какъ поживаетъ Карменъ?
- Благодарю. Ничего.
- А мама твоя, синьора Ангустиасъ?
- Отлично, благодарю. Она въ „Уголкѣ“.
- А сестра и племянники?
- Благодарю. По старому.
- А кудакъ шуринъ?
- Что ему дѣлается! Такой же болтунъ, какъ и былъ.
- А насчетъ прибавленія семейства у тебя ничего не слышно? Нѣтъ надежды?
- Ни-ни.

Гальярдо стукнулъ ногтемъ о зубы, съ отрицательнымъ выраженіемъ, лица и сейчасъ же сталъ предлагать вопросы послѣднему изъ вошедшихъ, о которомъ только и зналъ, что онъ—любитель боя быковъ.

— Ваши здоровы? Ну, слава Богу. Сядьте и возьмите что-нибудь.

Онъ сталъ сейчасъ же спрашивать о томъ, каковы съ виду сегодняшніе быки. Всѣ пришедшіе къ Гальярдо были передъ тѣмъ въ циркѣ и осматривали быковъ. Съ любопытствомъ профессионала Гальярдо спрашивалъ также о томъ, что говорятъ въ Café Ingles, гдѣ тоже собиралось много любителей.

Въ этотъ день должна была состояться первая коррида весенняго сезона, и поклонники Гальярдо ждали большого успѣха въ виду блестящихъ отзывовъ о его подвигахъ на другихъ аренахъ. Начиная отъ боя быковъ на Пасхѣ въ Севильѣ (этимъ боемъ начинался сезонъ корриды), Гальярдо переѣзжалъ изъ города въ городъ, сражаясь съ быками. А когда наступилъ августъ и сентябрь, то онъ проводилъ всѣ ночи въ поѣздѣ и всѣ дни на аренѣ. Его повѣренный въ Севильѣ терялъ голову, осаждаемый письмами и телеграммами. Онъ не зналъ, какъ согласовать множество приглашеній—съ недостаткомъ времени.

Наканунѣ Гальярдо выступалъ въ Сіуда-Реаль и сѣлъ въ поѣздъ въ томъ же костюмѣ, въ какомъ былъ на аренѣ, чтобы попасть къ утру въ Мадридъ. Ночью онъ спалъ только урывками, усѣвшись въ углу, который ему предоставили другіе пассажиры; они сдвинулись, чтобы дать хоть немного отдохнуть человѣку, который на слѣдующій день долженъ былъ рисковать жизнью.

Друзья его восхищались его силой и смѣлостью, съ которой онъ бросался на быковъ.

— Вотъ, посмотримъ, какъ сойдетъ сегодняшній день! — говорили они съ убѣжденностью вѣрующихъ. — Тебя закидаютъ шапками отъ восторга. Знатки возлагаютъ на тебя много надеждъ... Посмотримъ, будешь ли ты такъ хорошъ, какъ въ Севильѣ.

Поклонники ушли, торопясь домой завтракать, чтобы попасть потомъ рано на корриду. Гальярдо, оставшись одинъ, хотѣлъ подняться къ себѣ наверхъ; ему не сидѣлось на мѣстѣ отъ нервнаго возбужденія. Но въ это время въ столовую вошелъ черезъ стеклянную дверь человѣкъ съ двумя дѣтьми, которыхъ онъ велъ за руку. Прислуга не пускала его, но онъ не обращалъ ни на кого вниманія. Онъ блаженно улыбался, увидавъ Гальярдо, и направился къ нему, таща за собой дѣтей. Гальярдо узналъ его.

— Какъ живется, товарищъ?

Онъ сейчасъ же освѣдомился, по обычаю, о здоровьи его семьи. Вошедшій повернулся къ своимъ сыновьямъ и сказалъ имъ съ важностью:

— Ну, вотъ онъ. Вы все о немъ спрашивали... Видите, онъ — такой, какъ на портретахъ.

Мальчики благоговѣнно смотрѣли на героя, котораго столько разъ видѣли на портретахъ, украшавшихъ комнаты ихъ бѣдной квартиры. Онъ былъ для нихъ сверхъестественнымъ существомъ,

подвиги и богатства котораго были первымъ предметомъ ихъ восторговъ, когда они стали сознательно относиться къ окружающему.

— Хуанильо, поцѣлуй руку крѣстному.

Младшій изъ двухъ мальчиковъ ступнулъ о правую руку борца краснымъ личикомъ, тщательно вымытымъ и вытертымъ матерью по случаю визита къ крѣстному. Гальярдо разсѣяннѣ погладилъ его по головѣ. У него было много крестниковъ во всей Испаніи. Поклонники заставляли его крестить своихъ сыновей, думая, что этимъ они обезпечиваютъ ихъ будущность. Эта повинность была однимъ изъ послѣдствій его славы. Маленькій крестникъ, котораго ему теперь привели, напоминалъ ему о тяжеломъ времени, когда онъ только-что началъ выступать на аренѣ; онъ сохранилъ благодарное чувство къ отцу мальчика, который вѣрилъ въ него, когда еще многіе оспаривали его.

— Какъ дѣла?—спросилъ Гальярдо.—Поправились?

Отецъ мальчиковъ отвѣтилъ, что живетъ, занимаясь комиссіонерствомъ на рынкѣ на площади Себада. Но заработки его такіе, — прибавилъ онъ, — что едва-едва хватаютъ на жизнь. Гальярдо посмотрѣлъ съ участіемъ на бѣдняка, принарядившагося ради праздника.

— Хотите пойти на корриду? Поднимитесь въ мою комнату. Гаробато дастъ вамъ билеты. Всего хорошаго, прощайте... А вотъ мальчикамъ на гостинцы.

Въ то время какъ крестникъ снова поцѣловалъ правую руку тореадора, Гальярдо сунулъ другой рукой обоимъ мальчикамъ по нѣскольку дуэро. Отецъ увелъ сыновей, извиняясь и благодаря Гальярдо, причемъ нельзя было понять, что его больше радуетъ, подарокъ ли дѣтямъ, или билетъ на корриду, за которымъ онъ тотчасъ же отправился къ слугѣ тореадора.

Гальярдо переждалъ нѣсколько времени, чтобы не встрѣтиться опять у себя въ комнатѣ съ старымъ поклонникомъ и его сыновьями. Онъ посмотрѣлъ на часы. Только часъ! Какъ еще долго до начала борьбы!

Когда онъ вышелъ изъ столовой и направился къ лѣстницѣ, ему преградила дорогу женщина въ поношенномъ плащѣ. Она вошла въ отель и, не обращая вниманія на непускавшихъ ее слугъ, направилась къ Гальярдо съ непринужденнымъ видомъ старой знакомой.

— Хуанильо!.. Хуанъ! Не узнаешь меня?.. Я Каракола, синьора Дохоресъ, мать бѣднаго Лечугверо.

Гальярдо улыбнулся старушкѣ, черной, маленькой, съ морщинистымъ лицомъ и глазами, горящими какъ угли, говорливой и крикливой. Въ то же самое время, угадывая, къ чему сведутся всѣ ея рѣчи, онъ засунулъ руку въ жилетный карманъ.

— Горе мнѣ, сынъ мой! — сказала она. — Горе и муки... Какъ только узнала, что ты сегодня здѣсь выступаешь, я себѣ сказала: пойду-ка я къ Хуанильо; авось онъ не забылъ мать своего погибшаго товарища... Какой же ты красивый, цыганенокъ! Всѣ женщины будутъ безъ ума отъ тебя... А мнѣ плохо живется, сынокъ. Рубахи на тѣлѣ нѣтъ. Сегодня кромѣ капли анисовки ничего во рту не имѣла. Меня изъ жалости держать въ домѣ у Пепоны. Очень приличный домъ: тамъ комнаты отъ пяти дуро. Заѣхалъ бы ты туда. Тамъ бы тебѣ было хорошо. Я мою и чешу дѣтей, служу хозяевамъ... Да, еслибы былъ живъ мой бѣдный сынъ! Помнишь моего Пепито? Помнишь день, когда онъ умеръ?..

Гальярдо положилъ дуро въ сухую руку старухи, спѣша уйти, чтобы не слышать болтовни, въ которой уже дрожали слезы. Проклятая колдунья! Вздумалось же ей напомнить передъ боемъ о бѣдномъ Лечугверо, товарищѣ его юности, который умеръ на его глазахъ отъ удара рогомъ въ самое сердце, на аренѣ въ Лебрихѣ, когда они оба выступали еще только противъ молодыхъ бычковъ... Вотъ злобѣщая старуха! Онъ оттолкнулъ ее, а она, переходя отъ печали къ радости, рассыпалась въ восторженныхъ похвалахъ отважнымъ юношамъ, славнымъ тореадорамъ, которымъ достаются деньги — и сердца женщинъ.

— Ты достоинъ любви испанской королевы, красавецъ ты мой! Сеньора Карменъ должна глядѣть въ оба. Въ одинъ прекрасный день тебя похитятъ у нея — и дѣло съ концомъ. А ты не дашь ли мнѣ билетъ на сегодня, Хуанильо? Очень мнѣ хочется видѣть тебя на аренѣ, миленькій мой!

Крики старухи и ея возбужденно-восторженные взгляды и жесты разсмѣшили прислугу и нарушили строгость надвора, не впускавшаго въ двери любопытныхъ, столпившихся на улицѣ, чтобы посмотреть на знаменитаго тореадора. Молча отстраняя слугъ, въ переднюю ворвались нищіе, бродяги и продавцы газетъ.

Мальчишки, прибѣжавшіе съ пачками газетъ подъ мышкой, снимали шапки и привѣтствовали бойца съ восторженной фамиллярностью:

— Гальярдо! Да здравствуетъ Гальярдо! Да здравствуютъ смѣльчаки!

Самые храбрые хватали его за руку, крѣпко трясли ее и

раскачивали ее во всѣ стороны, чтобы продержатъ какъ можно дольше въ своей рукѣ руку великаго національнаго героя, изображеніе котораго они видѣли во всѣхъ газетахъ. Чтобы и товарищи тоже удостоились этой чести, они безцеремонно призывали ихъ:

— Пожми его руку! Не бойся! Онъ милый.

И всѣ они готовы были стать на колѣни передъ тореадоромъ. Другіе, съ взъерошенной бородой, въ поношенномъ, но когда-то приличномъ платьѣ, въ порванныхъ башмакахъ, ходили вокругъ общаго кумира и, снимая порыжѣлыя шляпы, говорили въ полголоса, называя его донъ-Хуаномъ, чтобы отличиться отъ непочтительно-восторженной толпы.

Гальярдо со смѣхомъ отбивался отъ наплыва поклонниковъ; они обступили его, не взирая на прислугу, которая не рѣшалась бороться противъ популярности тореадора. Гальярдо вынулъ всѣ деньги, которыя у него были по карманамъ, и сталъ бросать серебряныя монеты въ протянутыя къ нему руки.

— Больше у меня ничего нѣтъ. Оставьте меня, друзья мои!

Дѣлая видъ, что ему надоѣла его популярность, онъ раскинулъ себя дорогу однимъ движеніемъ мощныхъ мускуловъ и побѣжалъ наверхъ по лѣстницѣ, ловко перескакивая черезъ нѣсколько ступенекъ заразъ. Прислуга тѣмъ временемъ, не стѣсненная его присутствіемъ, выталкивала его почитателей на улицу.

Проходя мимо комнаты, которую занималъ его слуга Гарбато, Гальярдо увидѣлъ его среди сундуковъ и ящиковъ. Онъ вынималъ костюмъ для боя.

Когда Гальярдо остался одинъ у себя въ комнатѣ, его пріятное возбужденіе, вызванное наплывомъ почитателей, сразу разсѣялось. Наступали самые тяжелые часы дня корриды—неизвѣстность послѣднихъ часовъ передъ началомъ боя. Быки завода Міуры и мадридская публика!.. Опасность, которая вдали оцѣняла его, усиливая его мужество, пугала его теперь, когда онъ остался одинъ, какъ что-то сверхъестественное, страшное по своей неизвѣстности.

Онъ чувствовалъ страшную усталость, точно теперь только на немъ отозвалась бессонная ночь. Ему хотѣлось растянуться на одной изъ кроватей, стоявшихъ въ глубинѣ комнаты, но безпокойство, овладѣвшее имъ, прогоняло сонъ.

Онъ сталъ ходить по комнатѣ и зажегъ новую сигару окуркомъ той, которую выкурилъ.

Какимъ будетъ начинающійся сезонъ? Что скажутъ его враги?

Какъ отнесутся къ нему его соперники? Онъ убилъ уже много быковъ завода Миуры. Въ концѣ концовъ это такіе же быки, какъ и всѣ другіе. Но онъ вспомнилъ, сколько товарищей пало на аренѣ въ бою именно съ быками этого завода. Страшные Миуры! Не даромъ и онъ, и другіе борцы требуютъ тысячу пезетъ больше за то, чтобы сразиться съ этими быками.

Онъ продолжалъ нервно ходить по комнатѣ, останавливаясь отъ времени до времени и безсмысленно глядя на знакомые предметы. Потомъ онъ сѣлъ въ кресло, какъ бы охваченный внезапной слабостью. Онъ нѣсколько разъ посмотрѣлъ на часы. Еще не было двухъ! Какъ медленно тнулось время!

Ему хотѣлось, чтобы хоть скорѣе настало время одѣться и ѣхать въ циркъ. Онъ зналъ, что это успокоитъ его нервы. Люди, шумъ, любопытство толпы, желаніе казаться спокойнымъ и веселымъ и затѣмъ, главное, близость опасности—сейчасъ же прогонять тревогу, въ которой было нѣчто похожее на страхъ.

Чтобы развлечься посторонними мыслями, Гальярдо сунулъ руку въ карманъ сюртука и вынулъ вмѣстѣ съ бумажникомъ конвертъ, надушенный сладкими и сильными духами. Подойдя къ окну, въ которое вливался тусклый свѣтъ внутреннего двора, онъ сталъ разглядывать конвертъ, который ему подали, когда онъ пріѣхалъ въ отель, и восхитился изяществомъ тонкаго почерка, которымъ написанъ былъ адресъ...

Онъ открылъ конвертъ, съ наслажденіемъ вдыхая неопредѣленный запахъ, который шелъ отъ него.

„Да,—подумалъ онъ,—знатное происхожденіе и путешествія всегда сказываются... даже въ мелочахъ!“

Гальярдо любилъ сильно душиться, какъ бы стремясь уничтожить запахъ нищеты своего дѣтства. Его враги глумились надъ молодымъ атлетомъ, который душился какъ женщина. Его поклонники мирились съ этой слабостью, но часто должны были отворачиваться, чувствуя дурноту отъ слишкомъ сильнаго запаха духовъ. Цѣлый магазинъ духовъ сопровождалъ Гальярдо въ путешествіяхъ, и тѣло его было натерто самыми женственными эссенціями, въ то время какъ онъ ходилъ по аренѣ среди павшихъ лошадей, разбросанныхъ по песку вишоекъ и окровавленныхъ внутренностей. Отъ французовъ, съ которыми онъ познакомился, выступая въ циркахъ на югѣ Франціи, Гальярдо узналъ секретъ соединенія различныхъ запаховъ. Но всѣ его смѣси были несравнимы съ изумительнымъ ароматомъ письма, пропитаннаго тѣми же духами, какими душилась женщина, писавшая письмо. Это былъ таинственный, тонкій и неуло-

вимый запахъ, совершенно неподражаемый, точно исходящій изъ ея изысканнаго, холенаго тѣла, „букетъ знатной дамы“, какъ онъ его называлъ.

Онъ перечелъ нѣсколько разъ письмо съ счастливой и гордой улыбкой на губахъ. Письмо было коротко, строчекъ въ шесть: привѣтъ изъ Севильи, пожеланіе удачи въ Мадридѣ и поздравленіе заранѣе съ успѣхомъ. Это письмо можно было показать кому угодно, не компрометируя женщину, подписавшую его. „Милый Гальярдо“ въ началѣ, а въ концѣ—„Вашъ другъ, Соль“. Письмо было спокойное-дружеское, на „вы“, написанное нѣсколько покровительственнымъ тономъ, точно оно обращено было не къ равному, точно каждое слово милостиво снисходило съ недосыгаемой высоты.

Тореадоръ, глядя на письмо съ восхищеніемъ простолюдина, едва умѣющаго разбирать написанное, почувствовать легкую досаду; ему казалось, что она недостаточно цѣнить его.

— Ахъ, что за женщина!—пробормоталъ онъ. — Какъ съ нею сладить!.. Подумать вѣдь... Писать на „вы“! Мнѣ—„вы“!..

Но пріятныя воспоминанія разсѣяли его досаду. Онъ самодовольно улыбнулся. Холодный тонъ—это для письма, привычка знатной дамы, много ѣздившей по свѣту. Его досада смѣнилась восторгомъ передъ нею.

— Она молодецъ! Стоить хорошаго быка.

Онъ гордо улыбнулся, какъ боецъ, который радъ признать силу побѣжденнаго звѣря, потому что чѣмъ сильнѣе быкъ, тѣмъ болѣе велика слава справившагося съ нимъ борца.

Пока Гальярдо восторгался письмомъ, слуга его Гаробато входилъ и выходилъ изъ комнаты, принося платья и картонки и раскладывая вещи на кровати.

Онъ проворно и безшумно двигался по комнатѣ, какъ бы не обращая вниманія на присутствіе тореадора. Гаробато уже нѣсколько лѣтъ сопровождалъ Гальярдо на всѣ корриды въ качествѣ его слуги. Онъ одновременно съ Гальярдо сталъ выступать въ Севильѣ въ качествѣ капеадора, играющаго плащомъ съ быкомъ, когда нужно отстранить его отъ тореадора или заманить на какое-нибудь опредѣленное мѣсто на аренѣ. Но почему-то всѣ неудачи и несчастія выпадали на его долю, въ то время какъ его товарищъ сразу сталъ отличатся, такъ что каждое появленіе на аренѣ приближало его къ славѣ. Гаробато былъ маленькаго роста, смуглый, слабаго сложенія, и его морщинистое, старообразное лицо перерѣзано было бѣлой полосой, плохо заросшимъ рубцомъ, который остался отъ удара рогами,

когда онъ упалъ замертво на арену въ одномъ городѣ. Кромѣ этого рубца на лицѣ, у него было еще нѣсколько другихъ, изуродовавшихъ скрытыя части тѣла.

Онъ чудомъ остался въ живыхъ послѣ всѣхъ своихъ попытокъ сдѣлаться тореадоромъ, и самое горькое было еще то, что всѣ смѣялись, глядя, какъ его топчутъ и калѣчатъ быки. Въ концѣ концовъ его упрямство было побѣждено вѣчными неудачами, и онъ примирился на томъ, что сталъ сопровождать своего прежняго товарища въ качествѣ довѣреннаго слуги. Онъ былъ самымъ восторженнымъ поклонникомъ Гальярдо, но все-таки злоупотреблялъ до нѣкоторой степени довѣріемъ тореадора и его дружескимъ отношеніемъ, позволяя себѣ критиковать его и давать совѣты. Будь онъ на мѣстѣ Гальярдо, онъ бы, по его словамъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ проявилъ больше умѣнья. Друзья Гальярдо посмѣивались надъ обманутыми надеждами Гаробато, но онъ не обращалъ вниманія на эти насмѣшки. Отказаться отъ боя быковъ? Ни за что! Для того, чтобы не изгладилось въполнѣ воспоминаніе о его прошломъ, онъ начесывалъ свои жестые волосы блестящими прядями на уши и долго оставлялъ на темени священную длинную прядь, „колету“ своей юности, профессиональный знакъ всѣхъ тореросовъ, отличавшій ихъ отъ простыхъ смертныхъ.

Когда Гальярдо сердился на него, то его шумный гнѣвъ обрушивался постоянно на это головное украшеніе.

— А ты еще носишь „колету“, безстыдникъ! Я тебѣ срѣжу этотъ мышиный хвостъ, негодяй!

Гаробато выслушивалъ со смиреніемъ эти угрозы, но мстилъ за нихъ тѣмъ, что величественно молчалъ, отвѣчая пожатіемъ плечъ на веселость тореадора, когда тотъ, возвращаясь изъ цирка послѣ удачнаго боя, спрашивалъ его съ дѣтскимъ самодовольствомъ:

— Ну что, какъ по-твоему? Правда вѣдь, я былъ недуренъ?

Отъ дружбы юныхъ лѣтъ онъ сохранилъ привилегію говорить на „ты“ съ Гальярдо. Онъ бы и не могъ иначе говорить; его обращеніе на „ты“ сопровождалось наивнымъ преклоненіемъ и его фамильярность походила на дружеское отношеніе между оруженосцемъ и искателемъ приключеній во времена рыцарства.

Онъ былъ тореадоромъ только отъ шеи до темени, а въ остальномъ соединялъ таланты портного съ ловкостью камердинера. Отвороты его пиджака изъ англійскаго сукна—подарокъ тореадора—были утыканы множествомъ простыхъ и англійскихъ булавокъ, а въ обшлагѣ рукава торчали нѣсколько иголокъ съ

нитками. Его сухія смуглыя руки выполняли всѣ мелкія работы съ чисто женской ловкостью.

Когда онъ приготовилъ и разложилъ на кровати все, что долженъ былъ надѣть Гальярдо, онъ еще разъ все осмотрѣлъ, чтобы убѣдиться, что ничего не забыто. Потомъ онъ сталъ посреди комнаты и, не глядя на Гальярдо, произнесъ мрачнымъ голосомъ:

— Уже два часа.

Гальярдо нервно поднималъ голову, точно до того не замѣчалъ присутствія слуги. Онъ спряталъ письмо въ бумажникъ и лѣниво пошелъ вглубь комнаты, какъ бы стараясь отдалить время одѣванія.

— Все готово?

Но вдругъ его блѣдное лицо побагровѣло. Онъ широко раскрылъ глаза, точно охваченный внезапнымъ ужасомъ.

— Какой костюмъ ты мнѣ приготовилъ?

Гаробато указалъ пальцемъ на кровать, но прежде чѣмъ онъ могъ вымолвить слово, тореадоръ обрушился на него съ неистовымъ бѣшенствомъ.

— Будь ты проклятъ! — кричалъ онъ. — Дѣла своего не знаешь, что-ли! Коррида въ Мадридѣ, быки Міуры, а ты мнѣ приготовилъ красный костюмъ, такой же, какой носилъ несчастный Манюэль Эспартеро! Врагъ бы хуже не поступилъ, чѣмъ ты, безсовѣстный! Смерти ты моей хочешь, что-ли, проклятый!..

Онъ былъ сильно взбѣшенъ, считая оплошность слуги предзнаменованіемъ несчастія. Глаза его гнѣвно сверкали, точно онъ получилъ предательскій ударъ отъ врага. Зрачки его покраснѣли, и казалось, что онъ, вотъ-вотъ, бросится на бѣднаго Гаробато своими здоровенными кулачищами...

Легкій стукъ въ дверь прервалъ эту сцену.

— Войдите!

Вошелъ молодой человѣкъ въ свѣтломъ костюмѣ, съ краснымъ галстукомъ, держа касторовую шляпу въ рукѣ, унизанной сверкающими кольцами съ крупными брилліантами. Гальярдо тотчасъ же его вспомнилъ, такъ какъ обладалъ удивительной памятью на лица, свойственной людямъ, часто выступающимъ передъ толпой. Забывъ сразу свой гнѣвъ, онъ любезно улыбнулся, точно приходъ гостя былъ для него очень пріятнымъ сюрпризомъ. Это былъ пріятель изъ Бильбао, восторженный любитель боя быковъ, пламенный поклонникъ Гальярдо. Вотъ все, что онъ о немъ помнилъ. Но какъ его зовутъ?

Всѣхъ вѣдь не запомнить! Какъ его зовутъ? Гальярдо по-

мнилъ только, что онъ на „ты“ съ этимъ молодымъ человѣкомъ, такъ какъ они — уже давнишніе друзья.

— Садись... Какъ я тебѣ радъ! Когда пріѣхалъ? Дома всѣ здоровы?

Гость сѣлъ съ благоговѣйнымъ чувствомъ вѣрующаго, входящаго въ храмъ своего божества, рѣшивъ не двинуться съ мѣста до послѣдней минуты, радуясь тому, что тореадоръ говорить съ нимъ на „ты“, и называя его Хуаномъ черезъ каждыя два слова, для того, чтобы мебель, стѣны и тѣ люди, которые случайно проходили мимо двери по коридору, были свидѣтелями его интимной дружбы съ великимъ человѣкомъ. Онъ разсказалъ, что пріѣхалъ утромъ изъ Бильбао только для того, чтобы видѣть Гальярдо на аренѣ, и уѣдетъ на слѣдующій день. Затѣмъ онъ сообщилъ, что читалъ объ успѣхахъ Гальярдо въ этомъ году: сезонъ хорошо начался. Сегодняшняя коррида, по его словамъ, обѣщала быть хорошей. Онъ былъ утромъ въ помѣщеніи и видѣлъ одного чернаго быка, съ которымъ Гальярдо любопытно будетъ поиграть. Тореадоръ вдругъ прервалъ пророчества своего поклонника и, извинившись, вышелъ изъ комнаты. Его остановилъ Гаробато.

— Какой же вынуть костюмъ? — спросилъ онъ еще болѣе угрюмымъ голосомъ, чѣмъ прежде.

— Зеленый, табачный, голубой... какой хочешь.

Когда Гальярдо вернулся, онъ засталъ у себя въ комнатѣ еще одного посѣтителя. Это былъ докторъ Руизъ, популярный врачъ, который уже въ теченіе тридцати лѣтъ лечилъ всѣхъ бойцовъ, раненыхъ въ мадридскомъ циркѣ.

Гальярдо преклонялся передъ нимъ, считая его величайшимъ представителемъ всемірной учености, и въ то же время подшучивалъ надъ его добродушіемъ и надъ его неряшливой внѣшностью. Его отношеніе къ доктору было такое же, какъ у всякаго простолюдина, который цѣнитъ ученость только тогда, когда она сопровождается неряшливостью и чудачествами, отличающими ученаго отъ простыхъ смертныхъ.

Докторъ Руизъ былъ маленькаго роста человѣкъ съ большимъ животомъ, широкимъ лицомъ, приплюснутымъ носомъ и круглой бѣлой бородой грязно-желтоватаго оттѣнка; все это придавало ему отдаленное сходство съ головой Сократа. Когда онъ стоялъ, его вздутый животъ вздымался и опускался подъ широкимъ жилетомъ при каждомъ словѣ, которое онъ произносилъ; а когда онъ садился, то животъ его подпирало къ его плоской груди: Его платье, грязное и потертое отъ долгаго употребленія,

висѣло какъ чужое на его неуклюжемъ тѣлѣ, тучномъ въ частяхъ, предназначенныхъ для пищеваренія, и тощемъ въ частяхъ, управляющихъ движеніемъ.

— Онъ блаженный,—говорилъ про него Гальярдо.—Мудрецъ... сумасшедшій, добрякъ, какихъ мало. У него никогда гроша не будетъ. Все, что имѣетъ, онъ отдаетъ, а беретъ за леченіе—сколько дадутъ.

Двѣ страсти оживляли жизнь доктора — революція и бой быковъ. Онъ ждалъ какой-то непонятной страшной революціи, которая все уничтожитъ въ Европѣ. Онъ исповѣдывалъ революціонный анархизмъ, въ которомъ самъ не разбирался, ясно сознавая только свои разрушительныя цѣли. Торeadоры относились къ нему какъ къ отцу родному. Онъ говорилъ имъ всѣмъ „ты“, и достаточно было телеграммы изъ какого угодно мѣста полуострова, чтобы добрякъ докторъ тотчасъ же садился въ повозку и отправился лечить кого-нибудь изъ своихъ „дѣтокъ“ отъ раны, нанесенной рогами быковъ. А за леченіе онъ бралъ сколько давали, не предъявляя никакихъ претензій.

Увидавшись съ Гальярдо послѣ долгаго отсутствія, онъ обнялъ его, прижимая свой пухлый животъ къ тѣлу торeadора, точно отлитому изъ бронзы. Славные молодцы торeadоры! Онъ нашелъ, что у Гальярдо лучший видъ, чѣмъ когда-либо.

— Ну, какъ у васъ насчетъ республики, докторъ? Когда ее объявятъ?—спросилъ Гальярдо съ аздалузскимъ лукавствомъ.—Національ говоритъ, что ужъ скоро, чуть ли не на этихъ дняхъ.

— Да тебѣ что до этого, шутникъ? Оставь въ покоѣ бѣднаго Націоналя. Лучше бы онъ поглубже всаживалъ бандерильи! У тебя одно дѣло въ жизни: божественно убивать быковъ, какъ до сихъ поръ. Говорятъ, хорошій сегодня будетъ денежъ. Я слышалъ, что быки...

Молодой человѣкъ, который посѣтилъ помѣщеніе быковъ и желалъ оповѣстить объ этомъ всѣхъ, воспользовался словами доктора и, прервавъ его, заговорилъ объ одномъ черномъ быкѣ, который очень ему понравился съ виду и отъ котораго можно ждать толка. Оба гостя Гальярдо, пробывъ нѣсколько времени вдвоемъ въ его комнатѣ, обмѣнялись поклонами и стояли теперь рядомъ. Гальярдо считъ своимъ долгомъ познакомить ихъ другъ съ другомъ. Но какъ звать этого пріятеля, съ которымъ онъ на „ты“?.. Онъ почесалъ голову, нахмурилъ брови съ сосредоточеннымъ видомъ, но не долго колебался.

— Послушай,—сказалъ онъ юношѣ изъ Бильбао,—напомни мнѣ твое имя. Прости... встрѣчаешь такъ много людей...

Молодой человекъ скрылъ подъ любезной улыбкой свое разочарованіе, когда обнаружилось, что Гальярдо забылъ его, и называлъ свое имя. Гальярдо сейчасъ же вспомнилъ его и исправилъ свою забывчивость тѣмъ, что прибавилъ къ его имени слова: „богатый горнозаводчикъ изъ Бильбао“. Ему онъ называлъ „знаменитаго доктора Руиза“, и они заговорили сейчасъ же какъ старые знакомые, объединенные общимъ увлеченіемъ. Они обсуждали достоинства быковъ, съ которыми предстояло бороться ихъ другу.

— Садитесь туда, — сказалъ Гальярдо, указывая на диванъ въ глубинѣ комнаты. — Тамъ вамъ не помѣшаютъ разговаривать. Не обращайтесь вниманія на меня. Я буду одѣваться. Мы тутъ всѣ свои, и стѣсняться, надѣюсь, нечего.

Онъ снялъ куртку, сѣлъ на стулъ, поставленный по срединѣ арки, которая отдѣляла маленькій салонъ отъ алькова, и отдался въ руки Гаробато, который открылъ несессеръ изъ русской кожи и вынулъ оттуда туалетныя принадлежности тореадора.

Несмотря на то, что онъ былъ тщательно выбритъ, Гальярдо все-таки намылилъ лицо и провелъ бритвой по щекамъ. Послѣ того, помывшись, онъ снова сѣлъ на стулъ. Слуга причесалъ ему волосы завитками, покрывающими лобъ и виски, надушивъ предварительно голову духами и не жалѣя брильянтина: затѣмъ онъ сталъ причесывать профессиональную эмблему, священную „колету“.

Онъ съ особымъ почтительнымъ чувствомъ расчесалъ широкую прядь, спускавшуюся съ темени тореадора, заплетъ ее и прикрѣпилъ двумя шпильками на головѣ, оставляя подъ самый конецъ дальнѣйшую прическу. Раньше всего нужно было заняться ногами борца. Онъ разулъ его, и Гальярдо остался въ одномъ только шолковомъ трико, въ которомъ рѣзко обозначались упругіе сильные мускулы тореадора. Въ одномъ мѣстѣ углубленіе въ мускулъ обнаружило глубокій рубецъ на мѣстѣ, гдѣ кусокъ мяса былъ вырванъ рогами. На смуглой кожѣ рукъ обозначались бѣлыми пятнами слѣды старыхъ схватокъ съ быками. Смуглая безволосая грудь исполосована была двумя неправильными багровыми рубцами, тоже слѣдами кровавой борьбы. На щиколотѣ одной ноги было круглое багровое пятно въ родѣ отпечатка монеты. Тѣло борца было при этомъ плотное, выхоленное, надушенное крѣпкими духами, какъ у женщины.

Гаробато сталъ на колѣни передъ тореадоромъ, держа въ рукахъ вату и бинты.

— Совершенно какъ древній гладіаторъ! — сказалъ докторъ

Руизъ, прерывая разговоръ съ прїѣзжимъ изъ Бильбао.—Ты настоящій римлянинъ, Хуанъ.

— Это все дѣлають года,—возразилъ съ легкой грустью тореадоръ.—Старость приближается. Когда я боролся съ быками и съ голодомъ, не нужно было всѣхъ этихъ приготовленій, и ноги были какъ желѣзныя на аренѣ.

Гаробато вложилъ между пальцевъ борца маленькіе комки ваты, затѣмъ покрылъ пятки и верхнюю часть ногъ тонкимъ слоемъ ваты и, взявъ бинты, сталъ плотно обвивать ими ноги, на манеръ того, какъ забинтованы муміи. Затѣмъ онъ вынулъ иголку съ ниткой изъ обшлага и тщательно зашилъ концы бинтовъ.

Гальярдо стукнулъ о полъ забинтованными ногами, которыя держались крѣпче въ своей мягкой, но плотно стягивающей ихъ оболочкѣ. Затѣмъ слуга натянулъ на ноги высокіе чулки, доходившіе до середины бедра, толстые и мягкіе, какъ гамаша. Они были единственной защитой ногъ подъ шолковымъ костюмомъ тореадора.

— Смотри, чтобы не морщились чулки. Натяни ихъ хорошо, Гаробато. Я не люблю складокъ.

Онъ всталъ, подошелъ къ зеркалу и наклонился, чтобы самому разгладить складки на чулкахъ. На бѣлые чулки Гаробато натянулъ еще розовые шолковые, единственные, которые оставались на виду въ костюмѣ тореадора. Затѣмъ Гальярдо всунулъ ноги въ туфли, выбравъ ихъ изъ многихъ паръ, выставленныхъ Гаробато на одномъ изъ сундуковъ. Всѣ туфли были совсѣмъ новыя, съ бѣлыми подошвами.

Послѣ этого только началась главная часть туалета тореадора. Слуга передалъ ему шолковые короткіе панталоны табачнаго цвѣта съ тяжелыми золотыми вышивками на швахъ. Гальярдо надѣлъ ихъ; причемъ на ноги его свѣсились толстые шнуры съ золотой бахромой на концахъ. Эти шнуры предназначались для того, чтобы подвязывать панталоны ниже колѣнъ, искусственно сжимая ногу. Шнуры эти назывались „мачось“ — крючки.

Гальярдо велѣлъ слугѣ стянуть шнуры какъ можно сильнѣе, напрягая самъ въ это время изо всѣхъ силъ мускулы ноги. Этотъ моментъ былъ крайне важный. Завязки должны быть очень тщательно затянуты. Гаробато проворно свернулъ концы шнуровъ и засунулъ ихъ подъ край панталонъ.

Гальярдо надѣлъ тонкую батистовую рубашку, надушенную и прозрачную, какъ женская сорочка. Гаробато застегнулъ ру-

башку и повязалъ поверхъ нея галстухъ, который спустился красной полосой черезъ грудь до самаго пояса. Оставалось надѣть самую сложную часть костюма—„фаху“, шоловый шарфъ длиной около четырехъ метровъ, который обвивался вокругъ тѣла. Въ развернутомъ видѣ „фаха“ заняла всю комнату. Гаробато сталъ орудовать ею съ привычной своей ловкостью.

Гальярдо отошелъ въ конецъ комнаты, туда, гдѣ сидѣли его гости, и засунулъ въ поясъ одинъ конецъ шарфа.

— Начинай! — крикнулъ онъ слугѣ. — Только, пожалуйста, поаккуратнѣе!

Медленно поворачиваясь на каблучкахъ, онъ приближался къ слугѣ, и шоловый шарфъ обвивался правильными кругами вокругъ его тѣла, придавая ему чрезвычайную стройность. Иногда „фаха“ обвивалась дважды по одному мѣсту, а иногда оставляла непокрытымъ небольшое пространство, плотно облекая фигуру борца, безъ одной морщинки, безъ малѣйшаго уплотненія. Во время этого круженія Гальярдо, чрезвычайно аккуратный и даже капризный по части своего туалета, останавливался нѣсколько разъ, поправляя работу слуги.

— Не хорошо, — говорилъ онъ съ досадой. — Ахъ, какой ты, право!.. Будь повнимательнѣе, Гаробато.

Послѣ многихъ остановокъ на пути, Гальярдо дошелъ, наконецъ, до своего слуги, весь обмотанный шоловымъ шарфомъ. Ловкій и проворный Гаробато зашилъ и застегнулъ англійскими булавками одежду на тореадорѣ, такъ что все его платье составляло одно цѣлое. Онъ не могъ бы раздѣться безъ посторонней помощи и безъ ножницъ. Онъ не могъ снять ни одной части своего костюма, прежде чѣмъ вернуться въ отель, — развѣ только его раздѣли бы въ лазаретѣ, еслибы онъ попался на рога быку.

Гальярдо опять сѣлъ, и Гаробато сталъ заканчивать прическу „колеты“. Онъ вынулъ шпильки, которыми закрѣпилъ прядь волосъ, и сплелъ эту прядь съ причѣпной косичкой, называемой „монья“ и украшенной черной кокардой. Это было замѣной сѣтки, которую носили тореадоры въ прежнія времена.

Гальярдо сталъ потягиваться, какъ бы желая оттянуть минуту, когда нужно будетъ, наконецъ, рѣшительно надѣть костюмъ для борьбы. Онъ передалъ Гаробато сигару, которую положилъ на ночной столикъ, и спросилъ, который часъ, думая, что всѣ часы спѣшать.

— Еще рано... Не пріѣхали еще молодцы. Не люблю рано ѣхать въ циркъ. Скучно тамъ ждать...

Вошелъ слуга и возвѣстилъ, что внизу ждетъ карета.

Пора было ѣхать. У Гальярдо не было уже предлога, чтобы дольше медлить. Онъ надѣлъ поверхъ „фахи“ жилетъ, шитый золотомъ, а поверхъ него куртку, сверкающую массивнымъ золотымъ шитьемъ, тяжелую какъ броня, сіяющую какъ золото. Шолковая матерія табачнаго цвѣта видна была только изнутри рукавовъ и въ двухъ треугольникахъ плечъ. Эта куртка исчезала почти цѣликомъ подъ большой пелериной съ золотымъ шитьемъ въ видѣ огромныхъ цвѣтовъ, чашечки которыхъ были изъ крупныхъ цвѣтныхъ камней. Наплечники сдѣланы были изъ тяжелыхъ золотыхъ вышивокъ, свѣшивающихся съ плечъ, и такая же золотая вышивка окаймляла всю пелерину, обшитую тяжелой золотой бахромой, которая шевелилась на ходу. Изъ кармановъ, обшитыхъ золотомъ, высовывались два шолковыхъ платка—красныхъ какъ шарфъ и какъ галстухъ.

— Монтеру!

Гаробато вынулъ съ величайшей осторожностью изъ длинной картонки монтеру—шапку, которую носятъ тореадоры на аренѣ, черную, курчавую, съ двумя свисающими наушниками изъ бахромы. Гальярдо надѣлъ ее, посмотрѣвъ, чтобы косичка съ кокардой осталась на виду, правильно падая на спину между плечами.

— Дай плащъ!

Гаробато снялъ со стула парадный плащъ, царственно роскошный, того же цвѣта, какъ костюмъ тореадора, и такъ же весь покрытый золотымъ шитьемъ. Гальярдо накиннулъ его на одно плечо и, посмотрѣвъ въ зеркало, остался доволенъ собой. Онъ, кажется, недурень... Впередъ, на бой!

Его два друга поспѣшно съ нимъ простились, чтобы взять коляску и поѣхать вслѣдъ за нимъ. Гаробато взялъ подмышку большую связку красныхъ кусковъ сукна, изъ-подъ которыхъ виднѣлись рукояти и острія нѣсколькихъ шпагъ.

Спустившись внизъ, онъ увидѣлъ, остановившись у дверей отеля, что вся улица полна народа, который волновался, точно произошло какое-нибудь важное событіе. До него доходили издали смутный гулъ голосовъ.

Къ нему подошли хозяинъ отеля и вся его семья, протягивая ему руки, точно провожая его въ далекое путешествіе.

— Всего хорошаго! Дай вамъ Богъ удачу!

Прислуга, забывая о классовыхъ различіяхъ въ пылу возбужденія и участія, протягивала ему руки.

— Дай вамъ Богъ удачу, донъ Хуанъ!

Онъ оборачивался во всѣ стороны и улыбался, не придавая значенія озабоченнымъ лицамъ женщинъ.

— Благодарю. Благодарю. До свиданія!

Онъ весь преобразился. Какъ только онъ надѣлъ на плечи свой сверкающій плащъ, беззаботная улыбка озарила его лицо. Онъ былъ блѣденъ, и лицо его было увлажненное потомъ, какъ у больного, но онъ смѣялся, радуясь жизни, радуясь тому, что онъ идетъ на арену, инстинктивно проникаясь отвагой и гордостью при видѣ толпы.

Онъ принялъ смѣлый и гордый видъ, покуривая сигару, которую держалъ въ лѣвой рукѣ, слегка покачиваясь въ бедрахъ и ступая твердымъ шагомъ.

— Идемъ, господа!.. Пропустите, пожалуйста! Благодарю! Благодарю!

Онъ оберегалъ свой костюмъ отъ прикосновенія грязныхъ рукъ и освобождалъ себѣ дорогу къ каретѣ, среди толпы восторженныхъ, но одѣтыхъ въ лохмотья почитателей, которые столпились у дверей. У нихъ не было денегъ, чтобы пойти на корриду, но они пользовались случаемъ, чтобы пожать руку знаменитому Гальярдо или коснуться его одежды.

У панели стояла коляска, запряженная четырьмя мулами въ праздничной упряжи, украшенной шерстяной бахромой съ помпонами и бубенцами. Гаробато уже взобрался на козлы съ своей связкой красныхъ „мулетъ“¹⁾ и шпагъ. Въ каретѣ сидѣли три торероса, положившіе свои плащи на колѣни. На нихъ были тоже великолѣпные костюмы яркихъ цвѣтовъ, столь же роскошно расшитые, какъ у Гальярдо, но не золотомъ, а серебромъ.

Гальярдо, сопровождаемый восторженной толпой, защищаясь локтями отъ тянущихся къ нему рукъ, добрался до подножки кареты и сѣлъ, поддерживаемый провожавшими его.

— Здравствуйте, господа! — отрывисто сказалъ онъ своей „кадриль“²⁾.

Онъ сѣлъ у самой дверцы, чтобы быть на виду у всѣхъ, и улыбался, кивая головой въ отвѣтъ на громкія привѣтствія нѣсколькихъ женщинъ и на привѣтственные рукоплесканія маленькихъ разносчиковъ газетъ.

¹⁾ „Мулета“ — короткій красный плащъ, навернутый на палку; ее держитъ „эспада“, выходя одинъ на быка въ послѣдней части боя быковъ, т.-е. послѣ пикадоровъ и бандерильеросовъ. — *Прим. перев.*

²⁾ „Кадриль“ каждого эспады состоитъ кромѣ него изъ двухъ пикадоровъ, двухъ бандерильеросовъ и „puntillero“, который закалываетъ быка ножомъ — въ тѣхъ случаяхъ, когда эспада не окончательно убиваетъ его. — *Прим. перев.*

Коляска понеслась по улицѣ, наполняя ее веселымъ звономъ бубенцовъ. Толпа разступилась, давая дорогу муламъ, но многіе наклонялись къ каретѣ, точно хотѣли броситься подъ колеса. Всѣ махали зонтиками или шляпами, охваченные общимъ восторгомъ, который заражаетъ въ разныхъ случаяхъ толпу, заставляя всѣхъ кричать, сами не зная почему.

— Да здравствуютъ храбрецы!.. Да здравствуетъ Испанія!

Гальярдо, попрежнему блѣдный и улыбающійся, кланялся во всѣ стороны, и повторялъ:—Благодарю, благодарю!—тронутый восторгомъ, вызваннымъ его появленіемъ, и гордась тѣмъ, что его имя соединяли съ именемъ родины.

Нѣсколько растрепанныхъ дѣтей побѣждали за коляской тореадора со всѣхъ ногъ, точно въ концѣ этой безумной гонки ихъ ждало что-то необычайное.

Уже за часъ до того улица Алкала превратилась въ потокъ экипажей, мчавшихся между тротуарами, запруженными пѣшеходами, которые направлялись къ окраинѣ города. Всякаго рода экипажи участвовали въ этомъ оживленномъ и шумномъ шествіи, устарѣлые и самые модные, начиная отъ стариннаго дилижанса, выбравшагося на свѣтъ и казавшагося анахронизмомъ, и до автомобиля новѣйшей конструкціи. Трамваи проходили переполненные, и масса пассажировъ стояла на подножкахъ. Омнибусы останавливались на углу улицы Алкала, и кондукторъ все время зазывалъ:—Въ циркъ! Въ циркъ!—Весело бѣжали, звеня бубенцами, мулы въ пестрыхъ сѣткахъ; они везли въ открытыхъ экипажахъ женщинъ въ бѣлыхъ мантильяхъ, съ красными цвѣтами въ волосахъ, и каждую минуту раздавались испуганные крики, когда вдругъ между колесъ экипажей пробирался съ проворствомъ обезьяны какой-нибудь мальчишка, переходившій прыжками черезъ улицу, не страшась быстрой ѣзды экипажей. Раздавались гудки автомобилей, кричали кучера, газетчики выкрикивали листки съ портретами и описаніями быковъ, выпускаемыхъ въ этотъ день на арену, и съ біографіями и портретами знаменитыхъ тореадоровъ. Иногда, среди неяснаго гула толпы, раздавались отдѣльные восторженные восклицанія. Среди темныхъ мундировъ конной полиціи проѣзжали всадники на жалкихъ, худыхъ клячахъ, въ желтыхъ кожаныхъ панталонахъ, расшитыхъ золотомъ курткахъ и широкихъ восторовыхъ шляпахъ съ большой кокардой сбоку. Это были пикадоры, всадники съ суровыми лицами горцевъ. За спиной у cadaго изъ нихъ, на высокомъ мавританскомъ сѣдлѣ, сидѣлъ какой-то красный чортъ,—служитель, провожающій пикадора въ циркъ.

Тореадоры проѣзжали въ открытыхъ коляскахъ и золотое шитье на ихъ костюмахъ сверкало на солнцѣ, ослѣпляя толпу и возбуждая ея восторги:

— Вотъ Фуэнтесъ! А это—Бомба!

Довольные тѣмъ, что узнали своихъ любимцевъ, прохожіе слѣдили жадными взорами за удаляющимися колясками, точно боялись пропустить чрезвычайно интересное зрѣлище.

Съ конца улицы Алкала отрывалась прямая, широкая дорога, окаймленная деревьями, зеленѣвшими подъ свѣжимъ дыханіемъ весны; балконы домовъ съ обѣихъ сторонъ были полны людей, а внизу кишѣла толпа и гремѣли колеса экипажей. Въ этомъ мѣстѣ какъ-разъ высились, застилая горизонтъ, ворота Алкала, вырисовываясь своей бѣлой рѣзной массой на голубомъ небѣ, по которому носились, какъ одиноко плавающіе лебеди, тонкія облачка.

Гальярдо сидѣлъ молча на своемъ мѣстѣ, глядя на толпу съ неподвижной улыбкой. Поздоровавшись съ бандерильеросами, онъ не промолвилъ больше ни слова. Они тоже сидѣли молча, блѣдные, озабоченные неизвѣстностью того, что ихъ вскорѣ ожидало. Оставшись одни, они уже не улыбались, отбросивъ притворство, нужное въ присутствіи публики.

Какое-то таинственное предчувствіе предупредило публику о приближеніи послѣдней кадрили, направляющейся въ циркъ. Поклонники Гальярдо, которые бѣжали за его коляской, уже отстали тѣмъ временемъ, но все-таки всѣ оборачивались, какъ бы угадывая приближеніе знаменитаго тореадора, замедляли шагъ и выравнивались вдоль панели, чтобы лучше его разглядѣть.

Въ проѣзжающихъ мимо коляскахъ женщины оборачивались при звукѣ бубенцовъ, которыми обвѣшаны были мулы въ упряжкѣ коляски. Смутный гулъ восторженныхъ криковъ шелъ изъ нѣсколькихъ группъ, остановившихся на панели. Нѣкоторые махали по воздуху шляпами, другіе—палками, привѣтствуя тореадора.

Гальярдо улыбался машинально въ отвѣтъ на привѣтствія, но видимо былъ такъ озабоченъ, что не замѣчалъ поклоновъ. Около него сидѣлъ Національ, бандерильеръ его кадрили, опытный боецъ, старше Гальярдо на десять лѣтъ, коренастый чело-вѣкъ съ сросшимися бровями и важными, степенными жестами. Онъ слылъ среди товарищей добрякомъ, очень честнымъ чело-вѣкомъ и большимъ политиканомъ.

— Что-жъ, Хуанъ,—сказалъ онъ,—тебѣ нечего жаловаться на Мадридъ. Тебя здѣсь публика любитъ.

Гальярдо, точно не слыша его словъ, заговорилъ о томъ, что его мучило въ эту минуту. Ему хотѣлось облегчить душу словами:

— Чуетъ мое сердце,—сказалъ онъ,—что сегодня недоброе что-то случится.

Доѣхавъ до Сибелесъ, коляска остановилась. Черезъ дорогу шла похоронная процессія, направлявшаяся въ Прадо. Она остановила вереницу экипажей, ѣхавшихъ съ улицы Алкала.

Гальярдо еще больше поблѣднѣлъ, глядя испуганными глазами на крестъ, который несли впереди, и на священниковъ, которые шли за нимъ съ торжественнымъ похороннымъ пѣніемъ; они поглядывали—одни съ отвращеніемъ, другіе съ завистью—на этихъ людей, забывшихъ Бога и стремившихся наслаждаться зрѣлищемъ боя.

Тореадоръ поспѣшилъ снять „монтеру“, какъ и его бандерильерсы, за исключеніемъ Націоналя.

— Ахъ, чтобъ тебя!—крикнулъ Гальярдо. — Сними скорѣе шляпу!

Онъ съ бѣшенствомъ взглянулъ на Націоналя, готовый прибить его, такъ какъ былъ убѣжденъ, вѣря смутному предчувствію, что дерзость бандерильера навлечетъ на него самыя ужасныя несчастія.

— Хорошо... Я сниму,—сказалъ Національ разсерженнымъ тономъ капризнаго ребенка, глядя на удаляющійся крестъ.—Я сниму, но только изъ уваженія къ покойнику.

Имъ пришлось долго стоять на мѣстѣ, пропуская очень длинное похоронное шествіе.

— Вотъ неожиданная помѣха!—пробормоталъ Гальярдо дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ.—Что за фантазія возить покойника о дорогѣ въ циркъ! Проклятіе!.. Говорилъ я, что сегодняшній день добромъ не кончится.

Національ улыбнулся и пожалъ плечами.

— Это суевѣріе... Богу и природѣ до всего такого дѣла нѣтъ.

Эти слова, которыя еще больше разозлили Гальярдо, разсѣяли озабоченность остальныхъ. Они стали подшучивать надъ товарищемъ, какъ всегда, когда онъ произносилъ среди разговора свою любимую фразу о Богѣ и природѣ.

Когда дорога освободилась, коляска помчалась во весь опоръ среди другихъ экипажей, спѣшившихъ къ цирку. Подѣхавъ туда, коляска свернула влѣво и вѣхала въ такъ называемыя конюшенныя ворота. Они вели во внутренніе дворы и конюшни.

Тамъ пришлось ѣхать медленно среди множества толпившейся публики. Торедору снова сдѣлали овацію, когда онъ вышелъ изъ коляски вмѣстѣ со своими бандерильеросами. Онъ шелъ, оберегая свой костюмъ отъ прикосновенія грязныхъ рукъ, улыбался, кланялся и пряталъ правую руку, которую всѣ хотѣли пожать...

— Пропустите, господа. Благодарю.

Огромный дворъ, расположенный между циркомъ и стѣной служебныхъ зданій, былъ полонъ людей, пришедшихъ повидать тореросовъ, прежде чѣмъ сѣсть на мѣста. Поверхъ шляпъ посѣтителей выдѣлялись шляпы пикадоровъ, сидѣвшихъ на лошадяхъ, а также конныхъ альгвавилловъ, одѣтыхъ въ костюмы XVII вѣка. Съ одной стороны двора стояли одноэтажные кирпичные дома съ дверьми, обвитыми виноградомъ, съ горшками цвѣтовъ на подоконникахъ. Тамъ помѣщался цѣлый маленькій мірокъ, канцеляріи, мастерскія, конюшни, квартиры конюховъ, плотниковъ и разныхъ служащихъ цирка.

Торедоръ съ трудомъ пробирался среди отдѣльныхъ группъ. Имя его переходило изъ устъ въ уста съ выраженіемъ восторженнаго поклоненія.

— Гальярдо!.. Такъ вотъ онъ, Гальярдо! Оле! Да здравствуетъ Испанія!

Отдавшись во власть публики, онъ подошелъ къ подовавшимъ его, скрывая свое волненіе, свѣтлый какъ богъ, веселый и довольный, точно пришелъ на праздникъ въ его честь.

Его шею вдругъ охватили двѣ руки, въ то время какъ онъ почувствовалъ шедшій ему прямо въ лицо сильный запахъ вина.

— Милый!.. Славный!.. Да здравствуютъ наши храбрые молодцы!

Его обнималъ хорошо одѣтый господинъ, мѣстный обыватель, который обильно позавтракалъ съ друзьями и отошелъ отъ нихъ; они стояли въ нѣсколькихъ шагахъ позади него и, смѣясь, наблюдали за нимъ. Онъ положилъ голову на плечо торедора и такъ и остался въ этомъ положеніи, точно собираясь заснуть отъ восторга. Толчки Гальярдо и внимательство друзей пьянаго господина освободили торедора отъ нескончаемаго объятія. Пьяный отошелъ наконецъ отъ своего кумира и сталъ выражать свой восторгъ громкими восклицаніями:

— Чтò за человекъ этотъ Гальярдо! Пусть придутъ всѣ народы міра полюбоваться на такого торедора, какъ этотъ, и они умрутъ отъ зависти. Пусть у нихъ есть флотъ, есть деньги, — все это пустяки. А такихъ быковъ и такихъ молодцовъ у нихъ

нѣтъ, и всѣ они должны преклониться предъ нимъ. Молодецъ, сынъ мой! Да здравствуетъ моя родина!

Гальярдо прошелъ черезъ большую залу съ бѣлыми выштукатуренными стѣнами, безъ всякой мебели, гдѣ стояли бучками его товарищи по профессіи. Онъ протолкался между ними, направился къ маленькой двери и проникъ черезъ нее въ узкую темную комнату, въ глубинѣ которой сверкалъ свѣтъ. Это была часовня. Старинный образъ Мадонны стоялъ на алтарѣ. Вокругъ него зажжены были четыре восковыя свѣчи. Нѣсколько запыленныхъ вѣтокъ искусственныхъ цвѣтовъ стояли въ простыхъ фаянсовыхъ подставкахъ.

Часовня была полна народа. Простонародье толпилось тамъ, чтобы повидать героевъ дня. Всѣ сняли шапки; одни протискивались въ первые ряды, другіе сидѣли на скамьяхъ и стульяхъ въ глубинѣ часовни, и большинство поворачивалось спиной къ Мадоннѣ, жадно глядя на дверь, чтобы выкрикнуть чье-нибудь имя, какъ только покажется въ дверяхъ сверкающій костюмъ тореадора.

Бандерильеросы и пикадоры, бѣдняги, которые такъ же рисковали жизнью, какъ и эспады, вызывали лишь небольшой интересъ своимъ появленіемъ. Только ужъ самые ревностные любители знали имена конныхъ бойцовъ.

Вдругъ раздался долго не смолкавшій гулъ, и изъ устъ въ уста повторялось чье-то одно имя:

— Фуэнтесъ!.. Это Фуэнтесъ!

Изящный тореадоръ, стройный и красивый, перекинувъ плащъ черезъ плечо, подошелъ къ самому алтарю и нѣсколько театрально опустился на одно колѣно. Свѣтъ отразился въ его цыганскихъ глазахъ, когда онъ откинулъ назадъ свою опущенную голову. Послѣ краткой молитвы, онъ перекрестился и, поднявшись, ушелъ спиной къ двери, не отводя глазъ отъ Мадонны, какъ уходитъ теноръ, кланяясь публикѣ...

Гальярдо проще выражалъ свои чувства. Онъ вошелъ со шляпой въ рукахъ, откинувъ плащъ и держась не менѣе гордо, но, очутившись передъ образомъ Мадонны, онъ сталъ на колѣни и отдался молитвѣ, не думая о сотняхъ глазъ, обращенныхъ на него. Его душа простого христіанина была полна страха и раскаянія. Онъ просилъ заступничества Мадонны съ рвеніемъ простого человѣка, живущаго среди постоянныхъ опасностей и вѣщающаго въ небесную помощь. Въ первый разъ за весь день онъ подумалъ о женѣ и о матери. Бѣдная Карменъ ждетъ теперь въ Севильѣ его телеграммы. Синьора Ангустіасъ возится спо-

койно со своими курами въ „Уголкѣ“, не зная въ точности, гдѣ сражается ея сынъ... И не даромъ его мучить предчувствіе бѣды цѣлый день! Навѣрное что-нибудь случится. Онъ сталъ молиться Мадоннѣ, прося ея покровительства. Онъ общалъ исправиться, забыть „другую“ и жить—какъ велитъ Господь.

Укрѣпленный въ своемъ суетвѣріи этимъ суетнымъ поканіемъ, онъ вышелъ изъ часовни, все еще взволнованный, съ мутнымъ взглядомъ, не видя людей, загораживавшихъ ему дорогу.

Когда онъ прошелъ въ комнату, гдѣ тореросы ждали минуты выхода на арену, ему поклонился человѣкъ съ бритымъ лицомъ, въ черной одеждѣ, которую онъ носилъ нѣсколько неуклюже.

— Проклятіе!—пробормоталъ тореадоръ, проходя дальше.— Говорилъ я, что сегодня случится неладное.

Это былъ капелланъ цирка, страстный любитель боя быковъ, явившійся со святыми дарами. Онъ пришелъ въ сопровожденіи одного сосѣда, который исполнялъ должность причетника, получая взаменъ билетъ на корриду. Онъ уже цѣлые годы велъ споръ съ одной изъ центральныхъ мадридскихъ церквей, которая считала, что у нея больше правъ на исполненіе церковныхъ обязанностей въ циркѣ. Въ дни корриды онъ нанималъ коляску на счетъ управленія цирка, бралъ подъ полу дароносицу и выбиралъ по очереди кого-нибудь изъ своихъ знакомыхъ или кого-нибудь, кому онъ покровительствовалъ, и направлялся вмѣстѣ съ нимъ въ циркъ, гдѣ ему оставляли два мѣста впереди, у самаго входа въ помѣщеніе быковъ.

Священникъ вошелъ въ часовню съ видомъ собственника и возмущенъ поведеніемъ публики. Всѣ стояли съ непокрытыми головами, но громко разговаривали, а нѣкоторые даже курили.

— Господа, здѣсь не кафе. Будьте любезны выйти. Начинается бой.

При этомъ сообщеніи всѣ бросились вонъ изъ часовни. Священникъ вынулъ святыя дары и положилъ ихъ въ раскрашенный деревянный ящикъ. Затѣмъ онъ самъ тоже быстро побѣжалъ, чтобы сѣсть на мѣсто до появленія на аренѣ кадрилей.

Толпа исчезла изъ внутреннихъ помѣщеній цирка. Во дворѣ остались только люди въ полковыхъ, расшитыхъ золотомъ костюмахъ, всадники въ желтыхъ панталонахъ и огромныхъ востровыхъ шляпахъ, алгвазилы на лошадяхъ и прислужники въ своихъ голубыхъ съ золотомъ одеждахъ.

У такъ называемыхъ „лошадиныхъ воротъ“, подъ аркой, открывавшей входъ на арену, участники боя устанавливались въ привычномъ порядкѣ: впереди—эспады; за ними, на установлен-

номъ разстояніи—бандерильеросы, а за ними—арьергардъ, эскадронъ могучихъ горцевъ пикадоровъ, пахнувшихъ кожей и конюшенной, на тощихъ какъ скелеты лошадяхъ съ однимъ завязаннымъ глазомъ. Въ качествѣ обоза, тнувшагося за этимъ войскомъ, шли въ концѣ три мула въ упряжи, приготовленные для выволакиванія труповъ съ арены, сильныя, горячія животныя въ пестрой упряжи съ бахромой, помпонами и бубенцами; на шеѣ у нихъ развѣвались ленты съ національными цвѣтами.

Въ глубинѣ арки, надъ деревяннымъ барьеромъ, доходившимъ до половины ея высоты, видѣлась голубая сверкающая точка—кусочекъ неба надъ циркомъ, и часть скамеекъ, сплошь занятыхъ толпой, среди которой трепетали на воздухѣ, какъ пестрыя бабочки, вѣера и газеты.

Оттуда доносилось мощное дыханіе, точно исходящее изъ груди великана. Звучный гулъ доносился съ волнами воздуха, какъ эхо далекой музыки, не слышной, а скорѣе предугадываемой.

Изъ-за арки высовывались головы зрителей, сидѣвшихъ у самого входа. Они заглядывали съ любопытствомъ во внутрь цирка, чтобы какъ можно скорѣе увидѣть героевъ.

Гальярдо всталъ въ одинъ рядъ съ двумя другими эспадями, обмѣнявшись съ ними легкимъ наклономъ головы. Они не говорили, не улыбались. Каждый былъ занятъ собой, уносясь воображеніемъ далеко отсюда, или ни о чемъ не думая, съ той пустотой въ мысляхъ, которую производитъ сильное волненіе. Внѣшняя ихъ забота сосредоточивалась на плащахъ, которые они безъ конца оправляли на себѣ.

Они закидывали одинъ конецъ плаща на плечо, обвивая концы вокругъ пояса, заботясь о томъ, чтобы изъ-подъ этой яркой покрывки красиво и граціозно выступали ноги въ шолковыхъ, расшитыхъ золотомъ панталонахъ. Всѣ лица были блѣды и увлажнены потомъ. Мысли борцовъ уносились на арену, еще не видную въ эту минуту, и они чувствовали непобѣдимый страхъ передъ тѣмъ, что должно было произойти по ту сторону стѣны, страхъ передъ невидимымъ, передъ опасностью, которая заявляетъ о себѣ, но не показывается. Какъ-то кончится бой!

За плечами кадрилей раздался топотъ двухъ лошадей, которые возвращались изъ-подъ аркады съ арены. Это были альгвазилы въ своихъ черныхъ короткихъ плащахъ и черныхъ шляпахъ, украшенныхъ красными и желтыми перьями. Они обѣжали арену, удаливъ оттуда всѣхъ постороннихъ, и вернулись, чтобы занять мѣсто впереди кадрилей, въ качествѣ вѣстовыхъ.

Ворота арки широко раскрылись, также какъ и ворота

барьера противъ нихъ. Взглядамъ открылась круглая арена, на которой должна была разыгратъ трагедія борьбы для развлечения четырнадцати тысячъ людей. Смутный и пріятный гулъ все усиливался, превращаясь въ странную веселую музыку, въ триумфальный маршъ блестящихъ фигуръ, которыя побѣдно двигали руками и покачивались въ бедрахъ. Впередъ, молодцы!

И борцы, шурясь отъ быстрого перехода изъ мрака къ яркому свѣту, вышли изъ тишины въ гудящій циркъ, гдѣ тѣснилась на скамьяхъ амфитеатра шумная толпа, устремившая на арену любопытные взгляды, поднявшаяся вся съ мѣсто, чтобы лучше видѣть.

Впереди показались тореадоры, вдругъ ставшіе совсѣмъ маленькими, когда вышли на арену. Они казались сверкающими куклами, и золото ихъ костюмовъ играло на солнцѣ всѣми цвѣтами радуги. Ихъ граціозныя движенія вызвали сразу у толпы восторгъ, подобный радости ребенка передъ блестящей игрушкой. Весь циркъ вскочилъ на ноги, самъ не зная, почему, точно охваченный внезапнымъ шкваломъ. Публика аплодировала; наиболѣе восторженные и нервныя зрители кричали отъ восторга, музыка гремѣла, и среди этого гула, раздававшегося съ обѣихъ сторонъ цирка, отъ входныхъ воротъ до президентской ложи, торжественно выступали кадрили, возмѣщая медленность шага граціозными движеніями рукъ и покачиваніемъ всего тѣла. Въ лазури надъ циркомъ носились бѣлые голуби, какъ бы оглушенные и испуганные шумомъ, поднимавшимся изъ этого кирпичнаго вулкана.

Борцы почувствовали себя совсѣмъ другими, вступивъ на арену. Они шли рисковать жизнью за нѣчто большее, чѣмъ деньги. Сомнѣнія и страхъ передъ неизвѣстнымъ исчезли, какъ только они перешли черезъ барьеръ. Вотъ они уже ходятъ по аренѣ, вотъ они передъ публикой: наступила дѣйствительность. Жажда славы, желаніе выказать превосходство надъ товарищами, гордость своей силой и ловкостью ослѣпляла ихъ простыя, дикія, какъ у варваровъ, души. Они забыли страхъ, преисполняясь грубой и жестокой отвагой.

Гальярдо тоже весь преобразился. Онъ выпрямлялся, идя по аренѣ, чтобы казаться выше, и имѣлъ гордый видъ побѣдителя. Онъ съ торжествующимъ видомъ оглядывался во всѣ стороны, точно оба его товарища совершенно не существовали. Ему казалось, что все принадлежитъ ему одному; что и циркъ и публика—его собственность. Онъ чувствовалъ себя способнымъ поборотъ всѣхъ быковъ, пасущихся на лугахъ Кастиліи и Анда-

лузіи. Онъ не сомнѣвался, что всѣ рукоплещутъ ему одному, такъ же, какъ былъ увѣренъ, что тысячи женскихъ глазъ подлѣплями или мантильями, въ ложахъ и на скамейкахъ, устремлены на него. Публика его обожала. Подвигаясь по аренѣ съ гордой улыбкой, онъ осматривалъ всѣ отдѣленія амфитеатра, зная, гдѣ расположены группы его поклонниковъ, и дѣлая видъ, что не знаетъ, гдѣ сидятъ друзья другихъ тореадоровъ.

Кадрилы поклонились президенту, и затѣмъ блестящее шестіе распалось. Служители и пикадоры исчезли съ арены. Потомъ, въ то время, какъ алыгвазилъ подхватилъ въ шляпу ключъ, брошенный президентомъ, Гальярдо направился къ скамейкамъ, гдѣ сидѣли наиболѣе ярые его поклонники, и передалъ имъ свой роскошный парадный плащъ, поручая имъ его на время боя. Красивый плащъ переходилъ изъ рукъ въ руки, и потомъ его повѣсили на край барьера, какъ священный символъ профессіи.

Самые восторженные поклонники, вставши съ мѣстъ, размахивали руками и палками, кланялись тореадору, громко выражая свои надежды. Вотъ увидать, каковъ сынъ Севильи!..

А онъ, прислонившись къ барьеру, улыбался съ довольнымъ видомъ и повторялъ всѣмъ:

— Благодарю. Благодарю. Буду стараться.

Не только его поклонники возлагали на него много надеждъ, — всѣ зрители очень имъ интересовались, ожидая сильныхъ ощущеній — быть можетъ, такихъ, которыя закончатся для борца лаваретомъ.

Всѣ думали, что Гальярдо очутится рано или поздно на рогахъ у быка, и поэтому именно всѣ ему бѣшено аплодировали съ варварскимъ, кровожаднымъ восторгомъ, напоминающимъ чувства мизантропа, который ѣздитъ всюду за укротителемъ звѣрей, въ надеждѣ, что когда-нибудь этого смѣльчака растерзаютъ у него на глазахъ.

Гальярдо смѣялся надъ старыми любителями тауромахіи, которые считали, что не можетъ произойти катастрофы, если тореадоръ слѣдуетъ всѣмъ правиламъ искусства. Правила!.. Онъ ихъ не зналъ и не давалъ себѣ труда узнать ихъ. „Для того, чтобы побѣждать, нужны только сила и смѣлость“, — думалъ онъ. И какъ слѣпой, руководствуясь только своей отвагой и полагаясь только на свою физическую силу, онъ сдѣлалъ быструю карьеру, доводя публику до неистовства своей безумной отвагой.

Онъ не прошелъ, какъ всѣ тореадоры, черезъ всѣ низшія ступени, не служилъ годами прислужникомъ и потомъ бандерильеромъ въ кадрили какого-нибудь извѣстнаго тореадора.

Рога быковъ не пугали его. „Рога голода, страшнѣ“, — говорилъ онъ. Главное, по его мнѣнію, сразу смѣло взяться за дѣло. Онъ такимъ образомъ выступилъ съ самаго начала въ качествѣ эспады, и въ очень немного лѣтъ приобрѣлъ огромную популярность.

Имъ восхищались, и въ то же время считали, что онъ непремѣнно погибнетъ на аренѣ. Публика приходила въ безумный восторгъ, глядя, какъ смѣло онъ рисковалъ жизнью. Къ нему относились до нѣкоторой степени какъ къ осужденному на смерть. Онъ былъ не изъ тѣхъ, которые дорожатъ собой: онъ отдавалъ себя цѣликомъ, съ жизнью включительно. Онъ стоилъ денегъ, которыя ему платили. И толпа, съ животнымъ жестокимъ чувствомъ людей, которые глядятъ на опасное зрѣлище изъ безопаснаго мѣста, восторгалась героемъ и подзадоривала его. Люди осторожные смотрѣли на его выходы съ недоумѣніемъ. Они считали его самоубійцей, которому пока все сходило съ рукъ. „Ненадолго его хватить“, — говорили они.

Раздались звуки трубъ, и на арену выскочилъ первый быкъ. Гальярдо, перекинувъ на руку свой боевой плащъ, простой, безъ всякихъ украшеній, продолжалъ стоять у барьера подлѣ мѣсть, гдѣ сидѣли его друзья. Онъ принялъ презрительный видъ, увѣренный, что всѣ смотрятъ только на него. Первый быкъ предназначался не ему. Онъ покажетъ себя, когда придетъ его очередь. Но аплодисменты, которыми публика выказывала свое одобреніе игрѣ плащомъ другой кадрили, вывели Гальярдо изъ его неподвижности. Вопреки своему намѣренію, онъ шелъ къ быку и нѣсколько разъ поминалъ его плащомъ, выказывая больше смѣлости, чѣмъ искусства. Весь циркъ бѣшено зааплодировалъ ему, и онъ почувствовалъ, что его храбрость всѣмъ нравится.

Когда Фуэнтесъ убилъ перваго быка и направился къ президентской ложѣ, раскланиваясь съ толпой, Гальярдо еще болѣе поблѣднѣлъ, какъ будто всякое одобреніе другому было обидой, нанесенной ему. Вотъ наступить его чередъ, и публика увидитъ кое-что занятное! Чтѣ произойдетъ, онъ въ точности не зналъ, но во всякомъ случаѣ рѣшилъ напугать публику.

Едва только выскочилъ на арену второй быкъ, какъ Гальярдо, казалось, одинъ занялъ всю арену. Его плащъ то-и-дѣло покрывалъ голову быка. Одного пикадора его кадрили, Потахе, быкъ сбросилъ съ лошади, причемъ тотъ очутился незащищеннымъ у самыхъ роговъ. Тогда Гальярдо уцѣпился за шею быка и оттащилъ его съ геркулесовской силой, заставивъ его повер-

нуться и давъ этимъ пикадору время и возможность спастись бѣгствомъ. Публика бѣшено зааплодировала.

Когда наступила очередь бандерильеросовъ, Гальярдо остался у барьера, ожидая знака, чтобы начать борьбу съ быкомъ одинъ-на-одинъ. Національ взялъ въ руки бандерильеры—палки съ крючками на концахъ—и сталъ подзывать быка на средину арены. Онъ не старался выказать грацію и отвагу. Все дѣло только въ томъ, чтобы заработать деньги. Въ Севильѣ у него было четверо дѣтей, и еслибы онъ умеръ, то второго отца имъ не найти. Исполнить свой долгъ—большаго онъ и не хотѣлъ; вонзить свои бандерильи въ шею быка, какъ чернорабочій торомачин, не желая овацій и стараясь не заслужить свистковъ—вотъ и все.

Когда онъ вонзилъ пару бандерильи, кое-кто зааплодировалъ, а нѣкоторые проворчали по адресу бандерильера, намекая на его образъ мыслей:

— Поменьше бы заниматься политикой и лучше бы за дѣвать быка!

Національ, обманутый разстояніемъ, принялъ эти восклицанія за похвалы, и сталъ улыбаться, какъ Гальярдо.

— Благодарю! благодарю!—говорилъ онъ.

Когда Гальярдо снова ступилъ на арену подъ звуки трубъ, возвѣщавшихъ послѣднюю часть боя, толпа заволновалась. Этотъ тореадоръ былъ ея любимецъ. Будетъ на что посмотреть!

Гальярдо взялъ мулету изъ рукъ Гаробато, который передалъ ее сложенною черезъ барьеръ, взялъ изъ его же рукъ шпагу и направился мелкими шагами къ ложѣ президента. Ставъ прямо противъ нея, онъ остановился, держа въ рукахъ шапку. Всѣ притаили дыханіе, пожирая глазами своего любимца, но никто не слышалъ его обращенія къ президенту. Отважная фигура стройнаго Гальярдо, съ слегка откнутымъ назадъ торсомъ для того, чтобы громче раздались произносимыя имъ нѣсколько словъ, произвела на толпу не меньшее впечатлѣніе, чѣмъ произвела бы самая замѣчательная рѣчь. Кончивъ обращеніе, онъ бросилъ шапку на землю, и толпа стала шумно выражать свой восторгъ. Молодецъ сынъ Севильи! Вотъ онъ покажетъ себя! Зрители многозначительно переглядывались, сули другъ другу необычайныя зрѣлища. Весь амфитеатръ заволновался, точно въ присутствіи какого-то чуда. Шумъ смѣнился тишиной, сопровождающей великія событія, и казалось, что весь циркъ опустѣлъ. Жизнь многихъ тысячъ людей сосредоточилась въ ихъ глазахъ. Всѣ затаили дыханіе.

Гальярдо медленно приблизился къ быку, прижавъ мулету къ животу, какъ знамя, и дѣлая другой рукой правильныя движенія шпагой, какъ бы отбивая тактъ шаговъ.

Повернувъ на минуту голову, онъ увидѣлъ, что Національ и другіе участники его кадрили слѣдуютъ за нимъ съ плащами, чтобы помочь ему, отвлекая быка въ опасныя минуты.

— Прочь всѣ!

Его голосъ громко прозвучалъ среди затихшаго цирка, доносясь до самыхъ послѣднихъ скамеекъ, и по всѣмъ скамейкамъ прошелъ восторженный шопотъ:— „Всѣ прочь“!.. Онъ отослалъ всѣхъ прочь... Что за молодецъ!

Гальярдо направился совершенно одинъ прямо къ быку—и снова воцарилось глубокое молчаніе. Онъ спокойно развернулъ мулету, натянулъ ее на палку и приблизился еще на нѣсколько шаговъ, почти стукнувшись о морду быка, ошеломленного его смѣлостью.

Публика сидѣла не дыша, съ сверкающими отъ восторга глазами. Какой молодецъ! Лѣзетъ прямо на рога!.. Гальярдо нетерпѣливо топалъ ногой по песку, подзывая быка, который бросился на него. Мелета мелькнула надъ рогами. Быкъ оторвалъ бахрому съ костюма тореадора, который не двинулся съ мѣста и стоялъ, только откинувшись назадъ торсомъ. Ревъ толпы награждалъ его за эту мастерскую игру мулетой.

Огромная туша еще разъ бросилась на бойца, и онъ повторилъ прежнюю игру, вызвавъ такой же ревъ толпы, какъ и въ первый разъ. Быкъ, возбѣшенный обманомъ, бросался на бойца, а онъ продолжалъ играть мулетой, почти не сходя съ мѣста, возбужденный близостью опасности и восторженными восклицаніями толпы, которыя его какъ бы опьяняли.

Гальярдо чувствовалъ дыханіе быка; до лица его доходили брызги его пѣны. Эта близость какъ бы сроднила его съ быкомъ, и онъ смотрѣлъ на него какъ на добраго друга, который дастъ себя убить, чтобы содѣйствовать его славѣ.

Быкъ простоялъ спокойно нѣсколько минутъ, какъ бы уставъ отъ этой игры, и мрачно смотрѣлъ на человѣка и на мулету, смутно подозрѣвая, что ему устроена западня, и что каждая схватка приближаетъ его къ смерти.

Гальярдо почувствовалъ приливъ бѣшеной смѣлости. Настала роковая минута!.. Онъ круглымъ движеніемъ лѣвой руки обмоталъ мулету вокругъ палки и поднялъ правую руку на высоту глазъ, цѣлясь наклоненной шпагой въ мозгъ животнаго.

Толпа заволновалась.

— Не бросайся!—кричали тысячи голосовъ.—Нѣтъ!.. нѣтъ! Онъ стоялъ слишкомъ близко. Быкъ не принялъ надлежащаго положенія: онъ бы вырвался и схватилъ тореадора. Гальярдо дѣйствовалъ противъ всѣхъ правилъ. Но что за дѣло до правилъ и до опасности этому отчаянному смѣльчаку!

Онъ бросился впередъ со шпагой, въ то время какъ быкъ бросился на него. Произошла страшная, дикая схватка. На одну минуту человекъ и звѣрь образовали одну массу, и въ такомъ видѣ сдѣлали вмѣстѣ нѣсколько шаговъ, причемъ нельзя было распознать, кто побѣдитель: человекъ ли, очутившійся между рогами, или звѣрь, опустившій голову и старавшійся поднять на рога ускользавшій отъ него комокъ изъ яркихъ красокъ и золота.

Наконецъ группа распалась; мулета упала на землю, какъ тряпка, и борецъ отскочилъ съ пустыми руками, шатаясь отъ силы удара; онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и тогда только пришелъ въ равновѣсіе. Костюмъ его былъ въ безпорядкѣ: галстуки выскочили изъ жилета, весь смятый и разорванный рогами.

Быкъ по инерціи продолжалъ быстро бѣжать. На его широкой шеѣ едва замѣтна была красная окровавленная шпага, воткнутая до рукоятки. Но скоро онъ остановился, крутя шею отъ боли, потомъ опустился на переднія ноги, наклонилъ голову, почти касаясь мордой земли, и растянулся въ предсмертныхъ судорогахъ.

Казалось, что циркъ рухнетъ отъ криковъ толпы, что стѣны распадутся, что публика разбѣжится въ паникѣ—до того всѣ заволановались, вскочивъ на ноги, дрожа, жестикуюлируя и крича:

— Умеръ!.. Какой мастерской ударъ шпагой!

Всѣ одну минуту думали, что тореадоръ останется на рогахъ и упадетъ на арену раненый, весь въ крови. Увидя его стоящимъ на ногахъ, слегка оглушеннымъ страшной схваткой, но улыбающимся, всѣ были поражены, и восторгъ ихъ не зналъ мѣры.

— Вотъ силачъ!—кричали всѣ внѣ себя, не зная, какъ выразить сильнѣе свой восторгъ.—Вотъ варваръ!

На арену полетѣли шляпы, и амфитеатръ снова огласился градомъ бѣшеныхъ рукоплесканій, въ то время какъ тореадоръ обходилъ амфитеатръ вдоль барьера, направляясь къ ложѣ президента.

Аплодисменты еще усилились, когда Гальярдо широкимъ жестомъ, прижимая руку къ сердцу, поклонился президенту. Всѣ кричали, требуя награды тореадору за его мастерство. Онъ заслу-

жилъ „ухо“¹⁾), ибо не часто приходится видѣть такіе мѣткіе удары шпагой. И восторгъ усилился, когда одинъ изъ служителей передалъ тореадору темный треугольный комокъ, волосатый и окровавленный: кончикъ одного уха быка.

Уже на арену выскочилъ третій быкъ, а оваціи Гальярдо все еще продолжались, точно публика не могла оправиться отъ испытаннаго волненія и точно все дальнѣйшее уже было лишено интереса.

Остальные тореросы, поблѣднѣвшіе отъ профессиональной зависти, всячески старались вызвать вниманіе публики. Раздались снова аплодисменты, но очень вялые сравнительно съ прежними. Публика была потрясена, но все еще не очнулась и разсѣяннo смотрѣла на происходящее на аренѣ. На скамейкахъ поднялись шумные споры. Поклонники другихъ тореадоровъ, успокоившіеся и оправившіеся отъ заразившаго ихъ общаго восторга, стали оспаривать заслуги Гальярдо, послѣ минутнаго увлеченія его отвагой. Конечно, онъ очень смѣлъ, говорили они, прямо лѣзетъ на смерть, но это не искусство. Самые горячіе поклонники Гальярдо, восторгавшіеся его смѣлостью, соответствующей ихъ собственному характеру, возмущались, какъ вѣрующіе, когда сомнѣваются въ чудотворности святого, которому они поклоняются.

Вниманіе публики отвлеклось происшествіемъ въ одномъ изъ отдѣленій амфитеатра. Всѣ обратили головы въ ту сторону. Тамъ нѣсколько людей повскакали съ мѣстъ, поворачиваясь спиной къ аренѣ; въ воздухѣ мелькали руки и поднятыя палки. И остальная публика, глядя въ ту сторону, перестала интересоваться боемъ на аренѣ и старалась понять, что тамъ произошло, глядя на нумера, написанные крупными цифрами на барьерѣ. Нумера эти обозначали раздѣленія амфитеатра.

— Ссора въ третьемъ отдѣленіи!—весело кричала публика.— И въ пятомъ тоже дерутся.

Инстинктивно заражаясь начавшимся гдѣ-то волненіемъ, вся публика повскакала съ мѣстъ, стараясь увидать что-нибудь поверхъ головъ своихъ сосѣдей, но ничего не видя, кромѣ приближающихся полицейскихъ, которые поднимались по рядамъ скамеекъ и дошли наконецъ до группы, въ которой возникла драка.

— Садитесь!—кричали самые благоразумные, которымъ мѣшали глядѣть на арену, гдѣ продолжался бой.

¹⁾ Очень отличившійся и угодившій публикѣ тореадоръ получаетъ, если президентъ на это согласенъ, ухо (oreja) быка, въ знакъ того, что заколотый имъ быкъ—его собственность. Кромѣ почета, это и денежная награда: убитый быкъ продается мясникамъ за тысячу пезетъ или больше.—Прим. перев.

Понемногу толпа успокоилась; ряды головъ приняли правильное положеніе, и всѣ стали слѣдить за продолжающимся боемъ. Но нервы зрителей были очень возбуждены, и это сказывалось въ несправедливой враждебности къ нѣкоторымъ борцамъ или въ презрительномъ молчаніи.

Избалованная пережитымъ восторгомъ, публика не цѣнила смѣлости другихъ борцовъ. Она скучала, и отъ скуки ѣла и пила. Продавцы ходили между перегородами отдѣленій амфитеатра, ловко перебрасывая покупателямъ свой товаръ. Апельсины летѣли, какъ красные мячики, на самыя верхнія скамейки, по прямой линіи отъ продавца къ покупателю. Раскупоривались бутылки съ прохладительными напитками. Въ ставанкахъ сверкало золотое андалузское вино.

Вдругъ зрители оживились. Фуэнтесъ выступилъ, чтобы самому вонзить бандерильи въ предназначеннаго ему быка, и всѣ ждали, что онъ проявитъ необыкновенную грацію и ловкость. Онъ вышелъ одинъ на середину арены, держа бандерильи въ одной рукѣ, спокойный, улыбающійся, идя медленными шагами, точно собираясь начать игру. Быкъ съ любопытствомъ слѣдилъ за его движеніями, удивляясь, что видитъ передъ собой только одного человѣка, послѣ того какъ его окружало множество развернутыхъ плащей, какъ вонзались въ его шею огромныя пики и лошади лѣзли прямо ему на рога.

Тореадоръ гипнотизировалъ быка. Онъ подошелъ такъ близко, что касался его лба кончиками бандерильи. Потомъ онъ отбѣгалъ мелкими шагами, и быкъ шелъ на него, точно слѣдуя его зову; онъ очутился такимъ образомъ на противоположномъ концѣ арены. Быкъ во всемъ подчинялся борцу, слѣдуя каждому его движенію; наконецъ тореадоръ, заканчивая игру, раскрылъ руки, взявъ въ каждую по бандерильѣ, поднялся на кончики пальцевъ своимъ стройнымъ, худощавымъ тѣломъ и, подойдя къ быку, съ величественнымъ спокойствіемъ вонзилъ въ шею ошеломленнаго нежданностью звѣря свои пестрые палки.

Онъ три раза повторилъ то же самое при восторженныхъ крикахъ публики. Тѣ, которые считали себя знатоками, рассчитались теперь за взрывъ восторга, вызванный Гальярдо.—Вотъ это такъ тореадоръ! Вотъ это настоящее искусство!

Гальярдо, стоя у барьера, вытиралъ потъ съ лица платкомъ, который передалъ ему Гаробато. Потомъ онъ выпилъ ставанъ воды, поворачиваясь спиной къ аренѣ, чтобы не видѣть подвиговъ своего товарища. Въ арену онъ уважалъ своихъ соперниковъ съ братскимъ чувствомъ, порожденнымъ общимъ опаснымъ дѣ-

ломъ. Но на аренѣ они всѣ были врагами, и успѣхи каждаго были обидой для другого. Въ эту минуту восторгъ публики казался ему урономъ для его славы.

Когда выступилъ пятый быкъ, предназначавшійся ему, онъ бросился на арену, жаждая ошеломить публику своими подвигами.

Какъ только падалъ кто-нибудь изъ пикадоровъ, онъ сейчасъ уговялъ быка на другой конецъ арены, такъ ошеломляя его тамъ игрой плащомъ, что быкъ уже не рѣшался двинуться съ мѣста. Тогда Гальярдо или касался его головы ногой, или клалъ ему шапку между рогами. А иногда онъ пользовался тѣмъ, что быкъ стоялъ на мѣстѣ ошеломленный, и становился прямо передъ нимъ, или же опускался на колѣни подлѣ него, или чуть не ложился прямо передъ нимъ.

Старые любители глухо протестовали. Это—штуки, которыя не допускались бы въ доброе старое время. Но они должны были молчать, заглушенные криками публики.

Когда раздался сигналъ для выступленія бандерильеросовъ, Гальярдо схватилъ палки у Націоналя и направился къ быку. Раздались протесты. Почему это онъ вздумалъ взять бандериллы?.. Затѣмъ? Всѣ знали, что онъ не мастеръ въ этомъ дѣлѣ. Это хорошо для тѣхъ, которые сдѣлали карьеру шагъ за шагомъ, и были долгіе годы бандерильеросами, прежде чѣмъ стать эспадками. Гальярдо же началъ прямо съ конца и закалывалъ быковъ съ перваго же раза, какъ выступилъ на аренѣ.

— Нѣтъ! нѣтъ!—кричала толпа.

Докторъ Руизъ крикнулъ ему черезъ барьеръ:

— Оставь это, сынъ мой. Ты вѣдь самъ знаешь... твое дѣло—закалывать быковъ.—Но Гальярдо не обращалъ вниманія на протесты и былъ глухъ къ увѣщаніямъ друзей въ порывѣ своей безграничной смѣлости. Онъ прямо подошелъ къ быку и, не давъ ему двинуться съ мѣста... дзз!.. вонзилъ въ него пару бандерилл. Палки попали несовсѣмъ въ надлежащее мѣсто, и одна изъ нихъ упала на землю отъ движенія изумленного быка. Но это было не важно.

Съ той слабостью, которую толпа чувствуетъ къ своимъ кумирамъ, извиняя и прощая имъ ихъ недостатки, вся публика припшла въ восторгъ отъ его смѣлости. И становясь все болѣе и болѣе отважнымъ съ каждой минутой, онъ взялъ вторую пару бандерилл и вонзилъ ихъ, не слушая протестовъ публики, которая боялась за его жизнь. Затѣмъ онъ повторилъ то же самое въ третій разъ, попрежнему не очень хорошо, но съ такой отва-

гой, что то, что вызвало бы свистки, сдѣлай это другой, встрѣчено было криками восторга.—Что за молодецъ! И какъ счастье улыбается его отвагѣ!—Быкъ стоялъ съ четырьмя бандерильерами, вмѣсто шести, и то такъ слабо задѣвавшими его, что онъ какъ будто не чувствовалъ боли.

— Онъ не тронуть! — кричали любители на скамьяхъ, но Гальярдо, взявъ шпагу и мулету, надѣвъ монтеру, направился съ дерзкимъ спокойнымъ видомъ къ быку, надѣясь на свою звѣзду...

— Всѣ прочь! — снова крикнулъ онъ.

Чувствуя, что кто-то стоитъ за нимъ, не слушаясь его приказанія, онъ повернулъ голову. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него стоялъ Фуэнтесъ. Онъ послѣдовалъ за нимъ, съ плащомъ на рукѣ, притворяясь, что дѣлаетъ это изъ разсѣянности, но на самомъ дѣлѣ съ тѣмъ, чтобы придти ему на помощь, какъ бы предчувствуя, что это понадобится.

— Оставьте меня, Антонио! — сказалъ Гальярдо сердитымъ и въ то же время почтительнымъ тономъ, какъ говорилъ бы съ старшимъ братомъ.

И тонъ его былъ такой рѣшительный, что Фуэнтесъ пожалъ плечами, точно отстраняя отъ себя всякую отвѣтственность, и повернулся спиной къ нему, удаляясь, однако, очень медленно, какъ будто увѣренный, что его присутствіе понадобится съ минуты на минуту.

Гальярдо взмахнулъ мулетой передъ самой головой быка, и быкъ ринулся на него. Онъ ловко увернулся при крикахъ „оле!“ своихъ поклонниковъ. Но быкъ снова повернулся и бросился на тореадора мощнымъ движеніемъ головы, вырвавъ мулету изъ его рукъ. Очувшившись безоружнымъ и видя, что быкъ погнался за нимъ, онъ побѣжалъ къ барьеру, и въ эту самую минуту плащъ Фуэнтеса отвлекъ быка. Гальярдо, почувствовавъ во время бѣга, что быкъ стоитъ на мѣстѣ, не перепрыгнулъ черезъ барьеръ, а сѣлъ у стѣнки; нѣсколько мгновеній онъ просидѣлъ, глядя на своего врага, стоявшаго въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него. Бѣгство его такимъ образомъ закончилось успѣхомъ, такъ какъ зрители зааплодировали, восхищенные его неустрашимостью.

Гальярдо снова взялъ въ руки мулету и шпагу, раскинулъ красный кусокъ сукна и опять подошелъ къ быку, но уже не съ прежнимъ спокойствіемъ. Его охватилъ кровожадный гнѣвъ, и ему хотѣлось какъ можно скорѣе заколотъ быка, который заставилъ его обратиться въ бѣгство на виду многотысячной публики.

Едва сдѣлавъ первый шагъ, онъ подумалъ, что настала рѣшительная минута; онъ твердо сталъ, опутивъ мулету и поднимая шпагу къ глазамъ.

Публика опять запротестовала, боясь за его жизнь.

— Не бросайся!.. Ай!..

Крикъ ужаса вырвался изъ всѣхъ устъ. Публика повскакала съ мѣстъ, съ широко раскрытыми отъ испуга глазами. Женщины хватились за голову или крѣпко сжимали руку своего ближайшаго сосѣда.

Шпага тореадора попала въ кость, и это препятствіе остановило Гальярдо. Онъ не успѣлъ отскочить и попалъ на одинъ изъ роговъ быка. Быкъ схватилъ его поперекъ тѣла, и сильный, мускулистый боецъ при всей своей тяжести повисъ какъ тряпка на рогахъ, пока быкъ сильнымъ ударомъ головой не откинулъ его на нѣсколько метровъ дальше. Тореадоръ тяжело упалъ на арену съ распростертыми руками, точно лягушка, одѣтая въ шолкъ, расшитый золотомъ.

— Убить!.. Быкъ попалъ ему рогомъ въ животъ!—кричали на скамейкахъ.

Но Гальярдо поднялся среди плащей и людей, которые прибѣжали ему на помощь. Онъ улыбался, ощупывая свое тѣло и сдѣлавъ жестъ плечами, чтобы показать, что съ нимъ ничего не случилось. Ударился, и больше ничего, только шарфъ слегка порвался. Рогъ проникъ только въ эту толстую шольвовую оболочку.

Онъ вернулся опять къ быку, чтобы сразиться съ нимъ, но никто уже не садился, понимая, что схватка будетъ короткая и ужасная. Гальярдо подошелъ къ быку со своей слѣпой порывистостью, точно все еще не вѣрилъ въ силу роговъ, хотя и чувствовалъ ихъ на себѣ. Или заколотъ его, или умереть, но сейчасъ, безъ уловокъ и осторожностей! Или быкъ, или онъ! У него все заволело краснымъ передъ глазами; глаза его налились кровью. Какъ далекій отголосокъ изъ другого міра, доходилъ до него гулъ толпы, совѣтовавшей ему быть осторожнѣе.

Онъ сдѣлавъ только всего еще два движенія мулетой, съ помощью людей съ плащами, не отходившихъ отъ него, потомъ быстро, точно во снѣ, бросился на быка и воткнулъ въ него шпагу—съ быстротой молніи, какъ говорили его поклонники. Онъ такъ глубоко засунулъ руку, что, вынимая ее, наткнулся на одинъ рогъ и былъ отброшенъ на нѣсколько шаговъ. Но все же онъ остался на ногахъ, а быкъ послѣ этой бѣшеной схватки упавъ, отбѣжавъ на другой конецъ арены; онъ опустился на

колёни и нагнулъ голову, еще дыша, пока не пришелъ пунтильеръ и не закололъ его окончательно.

Публика ошалѣла отъ восторга. Поразительная коррида! Всѣ были насыщены сильными ощущеніями. Этотъ Гальярдо не взялъ у нихъ лишняго. Стоило заплатить за входъ, чтобы все это видѣть! Будетъ о чемъ говорить цѣлыхъ три дня въ кафе. Какой смѣльчакъ! Какой варваръ! Самые восторженные съ воинственнымъ пыломъ осматривались во всѣ стороны, выглядывая враговъ.

— Первый тореадоръ въ мірѣ! И кто станетъ это оспаривать, тотъ будетъ имѣть дѣло со мною!

Остальная часть корриды прошла, не вызывая никакого интереса. Все казалось безцвѣтнымъ въ сравненіи съ отвагой Гальярдо.

Когда упалъ послѣдній быкъ, на арену высыпала цѣлая толпа мальчишекъ, любителей боя быковъ и учениковъ. Всѣ пошли слѣдомъ за Гальярдо, провожая его до выхода, окружили его, проталкиваясь, чтобы пожать ему руку, коснуться его платья. Наконецъ, самые восторженные и пламенные поклонники, не обращая вниманія на протесты Націоналя и другихъ бандериллеросовъ, схватили тореадора за ноги, подняли его на плечи и понесли его съ арены до выхода.

Гальярдо, снявъ шапку, кланялся всѣмъ, рукоплескавшимъ ему. Завернувшись въ свой парадный плащъ, онъ шествовалъ какъ божество, выпрямившись на плечахъ носившихъ его поклонниковъ и глядя внизъ на привѣтствовавшую его толпу.

Когда онъ очутился снова въ экипажѣ и проѣхалъ по улицѣ Алкала, гдѣ его привѣтствовала толпа, не бывшая на корридѣ, но уже оповѣщенная о его успѣхѣ, его потное лицо озарилось гордой, самодовольной улыбкой, но продолжало быть блѣднымъ отъ волненія.

Національ, который сильно встревожился, когда Гальярдо очутился на рогахъ быка, спросилъ, не чувствуетъ ли онъ боли и не позвать ли доктора Руиза.

— Нѣтъ... Пустяки! Нѣтъ еще того быка, который бы меня одолѣлъ.

Но, какъ будто вспомнивъ, при всей своей самоувѣренности, о томъ, какъ онъ боялся по пути въ циркъ, и видя ироническое выраженіе въ глазахъ Націоналя, онъ прибавилъ:

— Это я только передъ боемъ боюсь всякихъ предчувствій... Потомъ это проходить, какъ женскій капризъ. Но ты правъ, Себастьянъ. Какъ это ты говоришь: Богъ и природа! Другими

словами, Богу и природѣ дѣла нѣтъ до тореросовъ. Каждый дѣлаеть что можетъ, по мѣрѣ своей ловкости и храбрости. Тутъ не поможетъ ни земное, ни небесное заступничество. А ты умный, Себастьянъ! Жаль, что ты не учился.

Съ оптимизмомъ радостнаго настроенія онъ смотрѣлъ на бандерильера какъ на ученаго, забывъ, какъ онъ всегда потѣшался надъ его разсужденіями.

Пріѣхавъ въ отель, онъ засталъ въ передней множество друзей, пришедшихъ поздравить его. Они говорили о его подвигахъ съ такими гиперболами, что все, что было на аренѣ, приняло совсѣмъ измѣненный видъ за короткое время, отдѣлявшее бой отъ прибытія тореадора въ отель.

У себя въ комнатѣ онъ засталъ друзей, знатныхъ господъ, говорившихъ ему „ты“. Подражая деревенскому говору, они говорили языкомъ пастуховъ и содержателей бычачьихъ стадъ, хлопывая его по плечу:

— Славно работалъ, молодецъ!.. Славно!

Гальярдо высвободился изъ ихъ восторженныхъ объятій и вышелъ въ коридоръ вмѣстѣ съ Гаробато.

— Пойди и пошли телеграмму домой. Знаешь что: „Ничего новаго“.

Гаробато сказалъ, что лучше пусть пойдетъ кто-нибудь изъ отельной прислуги, потому что онъ долженъ помочь раздѣться ему.

— Нѣтъ, — сказалъ Гальярдо. — Пойди ты самъ... Нужно послать еще одну телеграмму. Ты знаешь... той сеньорѣ, доннѣ Соль... Тоже: „Ничего новаго“.

Съ испанскаго З. В.



ПОСМЕРТНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ

А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА.

I *).

Себѣ.

Въ родной семьѣ пѣвцовъ почтѣнъ не будешь ты
Ни шумной славою, ни славой долговѣчной;
Но ты оставишь слѣдъ возвышенной мечты,
И скорби искренней, и думы человѣчной.

5-го февраля
1898 г.

II.

За шлагбаумомъ.

Въ одной петербургской газетѣ, въ концѣ 1898 г., былъ помѣщенъ фельетонъ: „Петербургскіе Разговоры“. Между прочимъ, авторъ фельетона поставилъ вопросъ: „Кого, послѣ смерти Полонскаго, можно назвать въ настоящее время поэтомъ?“ Затѣмъ перечислялись въ такомъ порядкѣ слѣдующіе поэты: Минскій, Мережковский, Фофановъ, гр. Голенищевъ-Бутузовъ, Случевскій. Въ концѣ же говорится: „Тѣ, которыхъ имена не пришли сами собой въ голову, пусть и остаются за шлагбаумомъ“.—А. Ж.

Одна статья теперь поэтовъ сосчитала.
Живыхъ извѣстныхъ—пять. Меня въ числѣ ихъ вѣтъ.
Не потому ль, что счетъ ошибоченъ? Пять—мало.
Затѣмъ я не шестой, седьмой, восьмой поэтъ?

¹⁾ Эти два стихотворенія А. М. Жемчужникова, по высказанному покойнымъ поэтомъ желанію, должны были быть напечатаны только послѣ его смерти.

На это званіе прошу мнѣ выдать нумеръ.
Меня молчаніемъ нельзя же обойти.
Мнѣ мѣсто надо дать среди живыхъ пяти;
Вѣдь я еще пока не умеръ.

„Тотъ за пламбаумомъ“ — цитирую статью —
„Кого именовать не вспомнили съ пятью“.
Но я „извѣстнымъ“ быть себя считаю вправѣ,
Довѣрчиво пойду въ опущенной заставѣ;
И при писательской, почетной братьѣ всей,
Предъ тѣми, отъ кого дѣйствительно зависить,
Впустить или вѣтъ, — скажу: „Подвысь; я—Алексѣй
Жемчужниковъ“. И стражъ подвысить.

18 ноября
1898 г.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 октября 1908.

Предстоящая сессія Государственной Думы. — Государство и правительство. — Профессора и „противо-правительственная“ партія. — Вопросъ объ автономіи высшей школы. — Чрезвычайное проявленіе чрезвычайной охраны. — Новый законопроектъ о печати. — Саратовская городская дума и саратовскія церковныя власти. — Postscriptum.

Приближается день открытія второй сессіи третьей Государственной Думы. Въ общемъ положеніи дѣлъ не произошло, за сто дней перерыва парламентской работы, никакой существенной перемѣны. По прежнему дѣйствуетъ почти повсемѣстно тотъ или другой видъ экстраординарной охраны, парализующій силу закона и обращающій его, сплошь и рядомъ, въ мертвую букву; по прежнему существуютъ только на бумагѣ свободы, провозглашенныя манифестомъ 17-го октября; по прежнему остается спорнымъ самое существо преобразованнаго государственнаго строя; по прежнему вездѣ господствуетъ безпорядокъ, падаетъ народное благосостояніе, растетъ взаимное недоувѣріе, взаимная вражда. Къ обычнымъ бѣдствіямъ присоединяются чрезвычайныя: многія мѣстности опять поражены неурожаемъ, холерная эпидемія достигаетъ давно небывалыхъ размѣровъ. Что же видѣется впереди? Можно ли ожидать, въ близкомъ будущемъ, выхода на новый путь, рѣшительнаго разрыва съ принципами и приемами, создавшими все то, отъ чего теперь страдаетъ Россія? Увѣренности въ этомъ, при настоящемъ положеніи вещей, нѣтъ и быть не можетъ; слишкомъ мало точекъ опоры даже для надеждъ, хотя бы весьма скромныхъ. Ничѣмъ не гарантировано и то небольшое, что составляетъ преимущество нынѣшняго порядка передъ существовавшимъ три года тому назадъ. Не прекращаются слухи о возможномъ роспускѣ Государственной Думы; не умолкаютъ, въ печати извѣстнаго сорта — пе-

чати, пользующейся благоволеніемъ и покровительствомъ властей, — рѣчи о *неограниченномъ*, по прежнему, самодержавіи...

Поворотъ къ лучшему немислимъ до тѣхъ поръ, пока правительство, и въ теоріи, и на практикѣ, отождествляетъ себя съ государствомъ, пока синонимами считаются понятія о противоправительственномъ и противогосударственномъ. „Правительство“ — читаемъ мы въ офиціозной газетѣ — „всегда и во всемъ, въ каждомъ актѣ своей дѣятельности, является только представителемъ общегосударственного начала... Допускать возможность какого-либо иного взгляда на дѣятельность и задачи правительственной власти означало бы признаніе, что правительство можетъ имѣть свои особые интересы, отличные отъ интересовъ государства. Это означало бы также, что такіе особые интересы сегодня могутъ быть одни, завтра — другіе, въ зависимости отъ того, какъ складывается для нихъ политическая минута“. Не выдерживаетъ критики эта аргументація уже потому, что совершенно неопредѣленно самое представленіе объ „общегосударственномъ началѣ“. Сколько-нибудь точные выводы можно сдѣлать изъ него только до тѣхъ поръ, пока рѣчь идетъ объ элементарнѣйшихъ, простѣйшихъ функціяхъ правительства — о защитѣ противъ внѣшнихъ враговъ, объ охранѣ безопасности внутри страны (хотя и здѣсь возможны весьма различные взгляды на то, кого считать врагомъ, какъ охранять безопасность). Этими функціями далеко не исчерпывается дѣятельность правительства — а во всѣхъ другихъ ея областяхъ способы служенія „общегосударственному началу“ допускаютъ множество самыхъ различныхъ толкованій. Выборъ одного изъ нихъ обусловливается, каждый разъ, настроеніемъ правительства — настроеніемъ, зависящимъ именно отъ свойствъ „политической минуты“. *Nous sommes mobiles et nous jugeons des êtres mobiles* — сказали, кажется, Сентъ-Бевъ о литературныхъ критикахъ. Эти слова можно примѣнить, *mutatis mutandis*, къ государственнымъ дѣятелямъ: измѣнчивые сами, они имѣютъ дѣло съ измѣнчивыми обстоятельствами. Измѣняются, притомъ, не только стремленія и взгляды людей; мѣняются и люди, стоящіе у власти — и съ каждой такой перемѣной, если она не случайна, если она имѣетъ хоть сколько-нибудь общее значеніе, соединяется новое пониманіе „общегосударственного начала“. Съ особенною ясностью это обнаруживается тамъ, гдѣ давно пустилъ корни парламентарный или хотя бы и не парламентарный, но дѣйствительно-конституціонный строй. Что англійское или французское министерство, представляя собою „общегосударственное начало“, является, вмѣстѣ съ тѣмъ, органомъ партіи и, слѣдовательно, охранителемъ „особыхъ интересовъ“ — это не подлежитъ никакому сомнѣнію; но развѣ нельзя сказать ничего подобнаго о правительствахъ германскомъ или австрійскомъ? Развѣ,

напримѣръ, паденіе Каприви не было вызвано, между прочимъ, тѣмъ, что онъ не стоялъ за „особые интересы“ крупныхъ землевладѣльцевъ (аграріевъ)? Развѣ „особые интересы“ національностей, населяющихъ Австрію, не отражались много разъ на образованіи и на политикѣ австрійскихъ кабинетовъ? Скажемъ болѣе: развѣ вліяніе „особыхъ интересовъ“ не чувствовалось на каждомъ шагѣ у насъ въ Россіи, когда стоялъ еще непоколебимо нашъ прежній государственный строй? Насколько въ эпоху „диктатуры сердца“, выдвигались на первый планъ особые интересы крестьянъ, настолько въ продолженіе двухъ слѣдовавшихъ затѣмъ десятилѣтій велика была заботливость объ особыхъ интересахъ дворянства. Конечно, въ обоихъ случаяхъ основаніемъ извѣстнаго ряда мѣръ выставлялись требованія „общегосударственнаго начала“; но нельзя же допустить, чтобы сегодня изъ этого начала логически и законно вытекало одно, завтра—другое, прямо противоположное. Интересы *государства* не могутъ измѣняться такъ быстро и такъ радикально; неустойчивыми являются только интересы *правительства*, въ той мѣрѣ, въ какой оно опирается на тѣ или другія общественныя сферы или считаетъ нужнымъ дѣйствовать въ ихъ духѣ и въ ихъ пользу. Глубоко невѣрно, поэтому, отождествленіе правительства и государства — и не только невѣрно, но и опасно: отъ него слишкомъ легко перейти къ смѣшенію понятій, исключаящему возможность правильного развитія политической жизни.

Не тѣмъ другимъ, какъ именно такимъ смѣшеніемъ понятій, объясняется странное положеніе, созданное для нашихъ политическихъ партій. Существовавшія, à l'état latent, уже давно,—онѣ оформились и сьорганизовались, какъ только оказались на лицо первые задатки конституціоннаго строя. И это не могло быть иначе: въ народномъ представительствѣ, какъ бы оно ни было неполно и несовершенно, отражаются, какъ въ зеркалѣ, теченія, возникшія или возникающія въ странѣ, и приобрѣтаютъ тѣмъ самымъ и болѣшую твердость, и болѣшую опредѣленность. Къ *государству*, какъ къ формѣ общежитія, не относится у насъ отрицательно ни одна изъ партій, заслуживающихъ этого названія; анархизмъ не имѣлъ и не имѣетъ сторонниковъ въ Государственной Думѣ. Иное дѣло—отношеніе къ *правительству*, т.-е. къ министерству П. А. Столыпина, или раньше — къ министерствамъ графа Витте и И. Л. Горемыкина: дружественное или нейтральное въ средѣ однихъ партій, оно въ средѣ другихъ имѣетъ характеръ рѣшительно оппозиціонный или даже прямо враждебный. Это—явленіе нормальное и неизбѣжное: но наши властныя сферы съ нимъ все еще не могутъ примириться, такъ рѣзко оно противорѣчитъ традиціямъ и взглядамъ, выработаннымъ вѣками. Отсюда вопиющая несообразность: искусственно подведенныя подъ понятіе объ *обще-*

ствахъ, партіи признаны подлежащими правительственному утвержденію, въ которомъ отказывается „противоправительственнымъ“ партіямъ, какъ партіямъ „противогосударственнымъ“. Единственнымъ мѣстомъ, гдѣ онѣ могутъ пользоваться нѣкоторой свободой, является трибуна Государственной Думы. Только здѣсь могутъ высказываться мнѣнія, выраженіе которыхъ въ другомъ мѣстѣ, при другихъ условіяхъ, встрѣчаетъ непреодолимныя преграды или влечетъ за собою уголовную отвѣтственность. Открывая широкій просторъ однимъ партіямъ, всецѣнно стѣсняя другія, правительство становится участникомъ партійной борьбы и ведетъ ее, притомъ, такими средствами, употребленіе которыхъ подрываетъ въ корнѣ равноправность борющихся сторонъ. Партійнымъ, въ бѣльшей или меньшей степени, правительство является и въ западно-европейскихъ государствахъ; но тамъ партія, поддерживающая правительство — или имъ поддерживаемая — не пользуется никакими *privilegia odiosa*, ни въ чемъ не стѣсняетъ свободы другихъ партій. Противоправительственныя партіи не считаются тамъ противогосударственными уже потому, что сегодняшняя оппозиція можетъ стать завтра обладательницею власти. У насъ, положимъ, еще далеко до такихъ перемѣненій; но пора признать, что правительству не принадлежитъ монополія политической мудрости, что не оно одно компетентно опредѣлять, чего требуетъ, въ каждомъ данномъ случаѣ, „общегосударственное начало“, и что преслѣдованію могутъ подлежать только дѣйствія, а не мнѣнія.

Слишкомъ мало замѣченными, вслѣдствіе привычки къ сенсационнымъ вѣстямъ, проходятъ иногда событія, заслуживающія самаго серьезнаго вниманія. Таково, напримѣръ, вооруженное нападеніе на желѣзнодорожный поѣздъ, въ ночь на 14-ое сентября, у станціи Безданы; таково обнаруженіе въ Петербургѣ, нѣсколькими днями раньше, склада бомбъ, динамита и оружія, повлекшее за собою массовые аресты. Не доказываютъ ли эти факты — въ связи со многими другими, столь же знаменательными, — всю ошибочность системы, которой такъ долго и такъ упорно держится правительство? Не ясно ли, что ни къ чему не ведутъ безпрестанно постановляемые и исполняемые смертныя приговоры? Если въ самой столицѣ, на глазахъ многочисленной и бдительной полиціи, производятся обширныя приготовленія, раскрытіе которыхъ, вѣроятное, почти неизбѣжное, грозитъ участникамъ неминуемою гибелью, то можно ли сомнѣваться въ томъ, что всѣ попытки устрашенія бѣгутъ мимо цѣли? Если до сихъ поръ возможны экспроприаціи въ родѣ безданской, то не пора ли признать, что никакимъ обостреніемъ репрессій нельзя обезпечить общественную безо-

пасность? Уже теперь поразительно велики цифры казенныхъ — и все не уменьшается число лицъ, подлежащихъ, при нынѣ дѣйствующемъ порядкѣ, смертной казни. Пропастъ, лежащую между прошедшимъ и настоящимъ, нельзя, очевидно, наполнить мертвыми тѣлами; нужно построить черезъ нее мостъ, по которому переходъ совершился бы мирно и спокойно. Главнымъ аргументомъ въ пользу усиленной и чрезвычайной охраны служила до сихъ поръ именно обуславливаемая ею возможность обращенія къ военному суду, въ видахъ широкаго примѣненія смертной казни. Если восторжествуетъ, наконецъ, убѣжденіе въ томъ, что смертная казнь не только безнравственна, но и нецѣлесообразна, это облегчитъ возвращеніе къ закону, о которомъ, при дѣйствіи нынѣшняго порядка, скоро осталось бы лишь одно воспоминанье.

Сказанное нами до сихъ поръ касается одной стороны медали; необходимо напомнить и о другой. Каждый новый террористическій актъ, удавшійся или неудавшійся, свидѣлствуетъ не только о безцѣльности суровыхъ репрессій, но и безцѣльности самого террора. Что достигнуто, въ самомъ дѣлѣ, длиннымъ рядомъ убійствъ и покушеній на убійство, грабежей и покушеній на ограбленіе, ознаменовавшихъ собою послѣдніе годы? Рѣшительно ничего изъ предположеннаго — и очень много прямо идущаго въ разрѣзъ съ предположеніями. Не безрезультатнымъ можетъ показаться, съ перваго взгляда, развѣ убійство Плеве, за которымъ довольно скоро послѣдовалъ поворотъ въ правительственной политикѣ; но *post hoc* не то же самое, что *propter hoc*. Еслибы не неудачная война, смерть Плеве, вѣроятно, измѣнила бы въ положеніи вещей столь же мало, какъ, двумя годами раньше, смерть Сипягина. Нашелся бы, и безъ труда, другой министръ внутреннихъ дѣлъ, который продолжалъ бы политику своего предшественника — или приподнялъ бы еще на нѣсколько градусовъ ея суровость. Вліяніе лица ничтожно въ сравненіи съ вліяніемъ обстоятельствъ — и именно обстоятельствами объясняется различіе между Плеве и кн. Святополкъ-Мирскимъ. Обстоятельствами создано и все послѣдующее, вплоть до манифеста 17-го октября и созыва Государственной Думы. Только глубокими причинами вызываются глубокія перемѣны въ государственной и общественной жизни. На мѣсто „устраняемыхъ“ людей всегда находятся другіе, идущіе по ихъ стопамъ — а между тѣмъ самое „устраненіе“ обращается въ доводъ, оправдывающій систему. Насилію противопоставляется насиліе; получается какъ бы заколдованный кругъ, изъ котораго трудно найти исходъ, пока съ обѣихъ сторонъ не явится рѣшимость вступить на другой путь. Отъ того, какъ скоро настанетъ этотъ моментъ, зависитъ дальнѣйшая судьба Россіи.

Мы отмѣтили выше неосторожное обращеніе съ понятіями о противоправительственныхъ и противогосударственныхъ партіяхъ. Образцомъ такого обращенія можетъ служить текстъ обязательства, подписаніемъ котораго предполагалось обусловить сохраненіе каведры за профессорами, судившимися за участіе въ выборгскомъ воззваніи. Они должны были удостовѣрить, что „не будутъ впредь принадлежать ни къ какимъ противогосударственнымъ и противоправительственнымъ партіямъ, а равно не дозволять себѣ не только такихъ поступковъ, которые караются уголовными законами, но и такихъ, которые противны присягѣ и служебному долгу“. Казалось бы, что достаточной гарантіей противъ совершенія преступленій служить самый законъ, облагающій ихъ уголовными карами; казалось бы, что исполненіе служебнаго долга обезпечивается не вынужденной подпиской, а сознаніемъ нравственной отвѣтственности, сопряженной съ принятіемъ извѣстныхъ функций; казалось бы также, что до крайности различны взгляды на требованія служебнаго долга и совершенно излишне, значить, обѣщаніе, которое каждымъ можетъ быть понимаемо по своему. Намъ интересуется теперь, впрочемъ, не столько вторая, сколько первая часть подписки. Профессора и привать-доценты, подписавшіе выборгское воззваніе, воѣ, если мы не ошибаемся, числились въ Государственной Думѣ „кадетами“. Обращенное къ нимъ предложеніе отказаться отъ принадлежности къ противогосударственнымъ и противоправительственнымъ партіямъ имѣло, слѣдовательно, тотъ смыслъ, что къ числу такихъ партій министерство относитъ партію народной свободы. Между тѣмъ, о противогосударственности этой партіи можетъ быть рѣчь лишь при смѣшеніи понятія о государствѣ съ понятіемъ о правительствѣ, да и терминъ *противоправительственный* приложимъ къ ней развѣ какъ синонимъ термина *оппозиціонный*. Ни на государство, ни на правительство, какъ на необходимый органъ государственной власти, партія народной свободы не посягала и не посягаетъ; она вела и ведетъ ведетъ борьбу только противъ правительства въ настоящемъ его видѣ и составѣ—борьбу, на которую уполномочиваетъ ее самое существованіе представительнаго строя. Средства борьбы, вытекающія изъ программы и тактики кадетъ, не заключаютъ въ себѣ ничего противозаконнаго. Выборгское воззваніе, которое до сихъ поръ такъ охотно ставится въ вину кадетамъ, исходило не отъ партіи, а отъ отдѣльных лицъ, которыя и отвѣчали за него передъ судомъ. Неразрывно связанное съ исключительнымъ до трагизма моментомъ нашей исторіи, оно не можетъ быть разсматриваемо какъ символъ „кадетской вѣры“, какъ знамя, подъ которымъ остается каждый старый, подъ которое становится каждый новый участникъ партіи. Связывать съ принадлежностью къ кадетской партіи какія-либо правоограниченія—значить

одинаково идти въ разрѣзъ какъ съ справедливостью, такъ и съ здравымъ смысломъ.

Подписки, которой требовали отъ профессоръ-выборгцевъ, они не дали, ограничившись заявленіемъ, что въ преподаваніи нѣтъ мѣста для партійныхъ тенденцій и для возбужденія неуваженія къ законамъ. Министерство благоразумно удовольствовалось этимъ заявленіемъ, въ которомъ только всепревозмогающее усердіе официозной газеты можетъ видѣть нѣчто вполне аналогичное съ первоначальнымъ проектомъ обязательства. Университетомъ сохранены, къ счастью, крупныя научныя силы; устраненъ хоть одинъ изъ поводовъ къ столкновенію, въ такомъ угрожающемъ числѣ накопившихся, въ послѣднее время, въ области высшей школы. Опасность, однако, и въ этомъ отношеніи миновала не вполне: остается въ силѣ циркуляръ министерства народнаго просвѣщенія, примѣняющій къ профессорамъ извѣстное сенатское опредѣленіе о несовмѣстимости государственной службы съ принадлежностью къ нелегалитизованнымъ политическимъ партіямъ. Что между профессорами и другими должностными лицами существуетъ, на почвѣ занимающаго насъ вопроса, глубокое различіе—это показано съ достаточною ясностью въ сентябрьской общественной хроникѣ нашего журнала; остановимся только на историческихъ примѣрахъ, которыми услужливая печать пытается оправдать образъ дѣйствій министерства. Когда одна изъ газетъ напомнила нашимъ обскурантамъ, что въ самый разгаръ борьбы между министерствомъ Бисмарка и прусской палатой депутатовъ такіе выдающіеся вожди оппозиціи, какъ Вирховъ и Моммзенъ, спокойно продолжали занимать университетскія катедры, „Россія“ вывела на справку, что въ 1849 г. оба названные ученые, за участіе въ политической агитаціи, были уволены отъ службы, какъ и извѣстный философъ Куно Фишеръ и не менѣе извѣстный филологъ Гауптъ, а еще раньше, „въ либеральнѣйшемъ тогда вюртембергскомъ королевствѣ“, та же судьба постигла знаменитаго Роберта фонъ-Моля (1845), въ Баваріи—профессора Ласо (1847). Этотъ списокъ можно было бы значительно дополнить, прибавивъ къ нему, напримѣръ, семерыхъ геттингенскихъ профессоровъ, удаленныхъ отъ должности, въ 1837 г., королемъ ганноверскимъ Эрнестомъ-Августомъ; но что онъ доказываетъ? Только то, что при господствѣ „мнимаго конституціонализма“ (Scheinconstitucionalismus), какимъ, до 1848-го года, была проникнута политическая жизнь въ южной Германіи (не исключая будто бы „либеральнѣйшаго“, на самомъ же дѣлѣ не очень далеко ушедшаго отъ абсолютизма Вюртемберга), а также во время такой реакціи, какою ознаменованъ 1849-ый годъ, обезпеченнымъ и прочнымъ не можетъ считаться никакое право. И какъ относилось къ увольненію профессоровъ герман-

ское общественное мнѣніе, какъ относились къ нему сами германскія правительства? Не говоримъ уже о взрывѣ негодованія, вызванномъ геттингенскимъ инцидентомъ: и въ единичныхъ случаяхъ, какъ до, такъ и послѣ 1848-го года, обычнымъ результатомъ удаленія отъ должности былъ ростъ популярности удаленнаго, весьма скоро получавшаго возможность вернуться къ прерваннымъ занятіямъ. Изъ числа геттингенскихъ профессоровъ братья Гриммъ и Дальманъ уже въ 1840 г. получили кѣредры въ прусскихъ университетахъ (берлинскомъ и боннскомъ); еще раньше возобновили чтеніе лекцій Альбрехтъ (въ Лейпцигѣ) и Эвальдъ (въ Тюбингенѣ), немного позже — Веберъ (въ Лейпцигѣ) и Гервинусъ (въ Гейдельбергѣ); Веберъ и Эвальдъ черезъ нѣсколько времени возвратились даже въ Геттингенъ. Робертъ фонъ-Мольте уже въ 1847 г. былъ приглашенъ въ Гейдельбергъ; Ласо умеръ профессоромъ въ вюрцбургскомъ (баварскомъ) университетѣ. Вирховъ, пробывъ нѣсколько лѣтъ въ Вюрцбургѣ, съ 1856 г. опять сталъ профессоромъ въ Берлинѣ; тамъ же занялъ кѣредру и Гауптъ. Моммзенъ читалъ одно время въ Цюрихѣ, но уже въ 1854 году былъ призванъ въ бреславльскій (прусскій) университетъ, откуда, три года спустя, перешелъ въ Берлинъ. Куно Фишеръ, удаленіе котораго изъ Гейдельберга (въ 1850 г.) привлекло къ нему всеобщее сочувствіе, въ 1856 г. сдѣлался профессоромъ въ Іенѣ, а въ началѣ семидесятыхъ годовъ возвратился въ Гейдельбергъ. Изъ всѣхъ этихъ фактовъ видно, что въ Германіи удаленіе профессора никогда не закрывало передъ нимъ надолго доступъ къ преподавательской дѣятельности: благодаря значительному числу университетовъ, распредѣленныхъ до событій шестидесятыхъ годовъ между десятью, а послѣ нихъ—между семью государствами, всякій сколько-нибудь выдающійся ученый, лишившись кѣредры въ одномъ университетѣ, всегда, спустя немного времени, могъ и можетъ занять ее въ другомъ; не составляетъ исключенія и возвращеніе на прежнее мѣсто. Ничего подобнаго нельзя сказать о Россіи, съ ея централизованнымъ управленіемъ; у насъ, какъ показываетъ опытъ, выброшенные за бортъ, по политическимъ соображеніямъ, профессора въ лучшемъ случаѣ получаютъ возможность вернуться на кѣредру лишь по прошествіи многихъ лѣтъ. А между тѣмъ, профессоровъ, стоящихъ на высотѣ своего призванія, у насъ гораздо меньше, чѣмъ въ Германіи, и бережное отношеніе къ нимъ особенно необходимо. Официозная газета утверждаетъ, съ своею ей беззащитчивостью, что всѣ „кадетскіе“ профессора, вмѣстѣ взятые, „не стоятъ добраго слова въ сравненіи съ такими гигантами, какъ Вирховъ и Моммзенъ“. Производить расцѣнку профессоровъ, надъ которыми была занесена рука министра, мы не станемъ; они достаточно извѣстны русскому обществу, а нѣкоторыхъ

изъ нихъ хорошо знаетъ и заграничный ученый міръ. Ихъ авторитету не страшны нападенія въ родѣ тѣхъ, которыми ихъ удостоиваетъ „Россія“.

Если одну изъ тучъ, нависшихъ надъ нашей высшей школой, и можно считать разсѣявшейся безслѣдно, то слишкомъ еще много остается другихъ, не менѣе мрачныхъ. Опасность грозитъ самому дорогому достоянію высшей школы: ея автономіи, созданной закономъ 27-го августа 1905-го года. Какъ разъ въ то время, когда начали обнаруживаться его плоды и наступило, хоть отчасти, давно желанное успокоеніе, онъ подвергается ограниченіямъ, урѣзкамъ—и признается, въ концѣ концовъ, требующимъ *разъясненія*. Что означаетъ, въ современномъ административномъ языкѣ, это слово—о томъ свидѣлствуютъ опредѣленія Сената, не столько истолковавшія, сколько измѣнившія, два года тому назадъ, дѣйствовавшее въ то время положеніе о выборахъ въ Государственную Думу. Въ томъ же порядкѣ и въ томъ же духѣ интерпретированъ недавно законъ 13 іюля 1886 года, относящійся, по своему буквальному смыслу, къ лицамъ *не-русскаго происхожденія*, а Сенатомъ распространенный на лицъ *не-православнаго исповѣданія*. Пока „разъясненіе“ еще не состоялось, въ полномъ ходу находятся министерскіе циркуляры, вносящіе смуту и тревогу въ жизнь высшихъ учебныхъ заведеній. Съ большою твердостью стали на защиту автономіи совѣты столичныхъ университетовъ, счумѣвшіе, при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, достигнуть возобновленія правильныхъ занятій и имѣвшіе полное основаніе рассчитывать на дальнѣйшее мирное теченіе университетской жизни—если только она будетъ предоставлена сама себѣ и ограждена отъ посторонняго вмѣшательства. Въ постановленіи, состоявшемся 3-го сентября, совѣтъ с.-петербургскаго университета призналъ, что циркуляры отъ 26 мая и 25-го іюня (изъ которыхъ однимъ стѣсняется свобода студенческихъ собраній, а другимъ упраздняются факультетскіе старосты) превращаютъ совѣтъ, вопреки предначертаніямъ закона, въ пассивнаго зрителя совершающихся въ университетѣ событій, лишеннаго возможности воздѣйствія на студентовъ, а ректора и проректора ставятъ въ положеніе простыхъ исполнителей, предписаній высшаго начальства. При такихъ условіяхъ совѣтъ не находитъ возможнымъ нести отвѣтственность за правильный ходъ учебной жизни. То же самое, въ сущности, высказалъ, нѣсколько дней спустя, профессоръ А. А. Мануйловъ, въ рѣчи, произнесенной имъ передъ выборомъ на новый срокъ ректора московскаго университета. Ни министръ, ни попечитель учебнаго округа—читаемъ мы въ этой рѣчи—„не могутъ предлагать совѣтамъ къ исполненію распоряженій, которыя совѣтами не признаются соответствующими учебной жизни въ университетахъ и со-

дѣйствующими правильному ея ходу". Выслушавъ рѣчь А. А. Мануйлова — этого достойнаго преемника кн. С. Н. Трубецкаго, — совѣтъ московскаго университета огромнымъ большинствомъ голосовъ (65 противъ 11) выбралъ его вновь на должность ректора и затѣмъ единогласно, по предложенію гр. Камаровскаго (октябриста), выразилъ увѣренность, что онъ „и впредь будетъ являться точнымъ и стойкимъ выразителемъ руководящихъ принциповъ совѣта, стоящаго на стражѣ началъ, провозглашенныхъ Высочайшимъ указомъ 27 августа 1905 года и оберегающаго ихъ отъ всякихъ посягательствъ, откуда бы они ни исходили". 13-го сентября въ с.-петербургскомъ университетѣ произошли событія, о характерѣ которыхъ, за отсутствіемъ (въ ту минуту, когда мы пишемъ эти строки) какихъ бы то ни было свѣдѣній въ печати, можно судить только по слѣдующему постановленію совѣта, состоявшемуся 14-го числа: „совѣтъ, призванный къ охраненію началъ университетской автономіи, провозглашенныхъ Высочайшимъ указомъ 27 августа 1905 года, и впредь будетъ отстаивать ея неприкосновенность. Осуществленіе совѣтомъ этой задачи возможно только при условіи непрерывнаго хода университетскихъ занятій. Въ виду этого, совѣтъ обращается къ гг. студентамъ съ убѣдительною просьбой воздержаться отъ принятія рѣшеній, могущихъ внести разстройство въ жизнь университета. Нарушеніе правильнаго хода занятій можетъ причинить только вредъ дѣлу упороченія и развитія академическаго самоуправленія".

Таково положеніе вещей, созданное попыткой остановить нормальный ходъ событій и возвратиться къ безповоротно осужденной опытѣмъ системѣ управленія высшей школой. Совершенно правильно кн. Е. Н. Трубецкой сравниваетъ эту попытку съ образомъ дѣйствій мальчика, который, получивъ отъ родителей наполненный газомъ шаръ, сталъ бы прикасаться къ нему булавками или копить его надъ горящей свѣрой. Большимъ счастьемъ будетъ предупрежденіе взрыва, которымъ грозитъ подобная неосторожность. Исходъ вопроса о вольнослушательницахъ долженъ былъ, повидимому, убѣдить министерство въ опасности поспѣшныхъ и необдуманныхъ мѣръ: онъ долженъ былъ показать, что прежде безусловнаго устраненія вольнослушательницъ изъ университетовъ слѣдовало выяснить съ достаточною полнотою обстоятельства, при которыхъ онѣ были допущены туда — а прежде чѣмъ разрѣшать имъ, подъ извѣстными условіями, окончаніе курса, слѣдовало удостовѣриться въ осуществимости этихъ условій ¹⁾. Урокъ, однако, прошелъ безслѣдно: методъ обращенія съ го-

¹⁾ Появившіяся недавно въ печати выписки изъ журнала сообщаютъ начальниковъ высшихъ учебныхъ заведеній, состоявшагося въ апрѣлѣ 1907-го года, удостовѣряютъ, что приемъ вольнослушательницъ въ университеты былъ прямо разрѣшенъ

ручимъ матеріаломъ не измѣнился. Неудивительно, что министр народнаго просвѣщенія не встрѣчаетъ одобренія даже въ сферахъ, близкихъ къ правительству; неудивительно, что деп. фонъ-Андрей выражаетъ полное согласіе съ аргументаціей кн. Е. Н. Трубецкаго, предсѣдатель Думы отзывается объ А. Н. Шварцѣ (по словамъ сотрудника газеты „Слово“) „необычайно рѣзко“, а деп. Капустинъ высказываетъ убѣжденіе, что „профессура, такъ единогласно ставшая на защиту дарованныхъ ей указомъ 27-го августа правъ, съумѣетъ эти права отстаивать, если студенчество откажется отъ всякихъ выступленій, положившись во всемъ на профессоровъ“. Какъ ни мало кабинетъ П. А. Столыпина удовлетворяетъ требованіямъ, которыя можно и должно предъявлять къ конституціонному министерству, даже въ немъ присутствіе А. Н. Шварца звучитъ фальшивой нотой и плохо ладитъ съ оптимизмомъ А. И. Гучкова, выдающаго въ нынѣшнемъ премьеръ-министрѣ охранителя новаго государственнаго строя. Читая благодарственные адреса, посылаемые А. Н. Шварцу отъ имени разныхъ отдѣловъ союза русскаго народа, невольно начинаешь относиться съ нѣкоторымъ сочувствіемъ даже къ образу дѣйствій его предшественниковъ.

Развязную защиту министерства народнаго просвѣщенія мы встрѣчаемъ, по обыкновенію, въ „Россіи“, болѣе робкую и приличную—въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Государство, по словамъ офиціозной газеты, „не въ правѣ считать здоровыми и жизненными тѣ явленія университетской жизни, которыя создались путемъ прямого нарушенія законовъ... Нужно, чтобы школа, наконецъ, оставила арену политической борьбы и сдѣлалась дѣйствительно разсадникомъ знанія... Факты показываютъ, что если высшая школа останется въ томъ положеніи, въ какомъ она находится все послѣднее время, то это было бы равносильно тому, что государство отказалось отъ всякой надежды имѣть серьезную школу“. Факты показываютъ совершенно другое. Именно въ послѣднее время высшая школа стала опять „разсадникомъ знанія“—не потому, чтобы среди учащихся угасъ интересъ къ политической жизни, а потому, что открылась возможность совмѣстить его съ научными занятіями. Открылась она благодаря смягченію полицейскаго гнета надъ высшей школой, благодаря усиліямъ не стѣсняемымъ больше на каждомъ шагѣ

бывшимъ министромъ народнаго просвѣщенія, П. М. фонъ-Кауфманомъ. Что касается до дальнѣйшей бытности въ университетахъ вольнослушателей, поступившихъ туда раньше состоявшейся перемѣны во взглядахъ министерства, то имъ разрѣшено совѣтомъ министровъ только одно: дослушивать курсы *въ свободное отъ занятій время и отдельно отъ студентовъ*. Едва ли это окажется возможнымъ; такое дозволеніе немногимъ отличается отъ запрещенія.

профессоровъ и освобожденнаго отъ административной опеки со-
вѣта, благодаря установленію легальныхъ формъ общенія между
студентами. Спокойствіе, благопріятствующее труду, было достигнуто
безъ „прямого нарушенія законовъ“, безъ уклоненія отъ ихъ внутрен-
няго смысла. Если бы то или другое изъ нововведеній, выросшихъ
на почвѣ автономіи, и было въ чемъ-нибудь несогласно съ буквою
университетскаго устава, изданнаго при совершенно иныхъ условіяхъ
и давно уже осужденнаго жизнью, то самое простое благоразуміе
требовало и требуетъ примиренія съ формой, ради заключающагося
въ ней существа. Тщета запрещеній и репрессій доказана много-
лѣтнимъ опытомъ. Возвращеніе къ нимъ было бы тѣмъ болѣе неизви-
нительно, чѣмъ крупнѣе результаты, полученные при противополож-
ной системѣ: такъ успѣшно, какъ въ минувшемъ академическомъ
году, занятія въ высшей школѣ не шли съ 1898-го года. Совершенно
исчезнуть политическое броженіе между учащимися въ высшей школѣ
можетъ, конечно, лишь тогда, когда Россія станетъ свободнымъ госу-
дарствомъ не только по имени, когда она войдетъ въ колею обно-
вленной народной жизни.

Въ статьѣ „Московскихъ Вѣдомостей“ (№ 211), написанной въ
видѣ возраженія кн. Е. Н. Трубецкому, приподнимается, кажется,
край завѣсы, покрывающей дальнѣйшія намѣренія министерства на-
роднаго просвѣщенія. Признавая — и совершенно справедливо, — что
спорные вопросы, тревожащіе высшую школу, могутъ быть оконча-
тельно разрѣшены не сенатскимъ разъясненіемъ дѣйствующихъ пра-
вилъ, а новымъ законодательнымъ актомъ, газета г. Будиловича
какъ бы старается приготовить общественное мнѣніе къ замѣнѣ
выборнаго ректора назначеннымъ, т.-е. къ уничтоженію одного изъ
самыхъ цѣнныхъ приобрѣтеній послѣдняго времени. Она напоми-
наетъ, что въ нашихъ университетахъ, за исключеніемъ двухъ ко-
роткихъ промежутковъ времени (съ 1863 по 1884 и съ 1905 по 1908 г.),
ректора не выбирались, а назначались; она указываетъ на то, что и
за-границей правительство, въ лицѣ особыхъ органовъ, принимаетъ
иногда непосредственное участіе въ завѣдываніи университетами. Въ
первой части этой аргументаціи допущена ошибка, болѣе чѣмъ
странная со стороны газеты, редактируемой бывшимъ профессоромъ
(занимавшимъ, кажется, и должность ректора): должность ректора
была у насъ выборною и по уставу 1804-го, и по уставу 1835-го года,
измѣненному, въ этомъ отношеніи, лишь въ 1849-мъ году, во время
извѣстнаго гоненія на университеты ¹⁾. Что касается до иностран-

¹⁾ Любопытно, что уже въ 1765 г. московскіе профессора, отвѣчая на вопросъ
императрицы о причинахъ упадка университета, указывали на вредное вліяніе

ныхъ государствъ, то тамъ давно уже установился такой *modus vivendi* между правительствомъ и высшей школой, при которомъ форма правительственного контроля не имѣетъ существеннаго значенія. Совсѣмъ не то у насъ: слишкомъ вѣроятно, что назначаемый ректоръ, при нашихъ административныхъ привычкахъ и правахъ, оказался бы, согласно предсказанію кн. Е. Н. Трубецкого, „окруженнымъ пустотою“.

Давно уже переставшіе удивляться самымъ невѣроятнымъ проявленіямъ разнаго вида окранъ, читатели газетъ все-таки не могли не остановиться съ недоумѣніемъ передъ слѣдующею телеграммою изъ Нижняго-Новгорода, распубликованною 13-го сентября: „за перепечатку проекта закона лиги образованія „Нижегородскій Листокъ“ оштрафованъ на тысячу рублей“. Лига образованія — учрежденіе, существующее открыто и легально; составленный ею законопроектъ предназначенъ ко внесенію въ Государственную Думу, черезъ посредство надлежащаго числа членовъ Думы; что же можетъ быть въ немъ объясняющаго административное взысканіе, да еще столь тяжкое? Недоумѣніе усиливается при ознакомленіи съ текстомъ законопроекта — усиливается какъ потому, что въ немъ, даже при большомъ желаніи и большомъ умѣнѣ, нельзя найти рѣшительно ничего угрожающаго общественному спокойствію и порядку, такъ и потому, что для петербургскихъ газетъ его перепечатка не повлекла за собою никакихъ непріятныхъ послѣдствій. За распоряженіемъ нижегородской администраціи нельзя не признать одного несомнѣннаго достоинства: оно доказываетъ съ поразительною ясностью всю ненормальность положенія, въ которое поставлена печать — особенно провинціальная — при дѣйствіи чрезвычайной охраны. Изгнанный, по крайней мѣрѣ номинально, въ одну дверь, административный произволъ возвратился въ другую, и возвратился въ такихъ формахъ, какихъ не знала даже до-конституціонная печать. Нужно не видѣть очевиднаго, чтобы благодарить Бога — какъ это дѣлаетъ одна петербургская газета, меньше всего грѣшащая наивностью, — „за то, что умерли всѣ эти предварительныя и послѣдующія цензуры, оштрафование по усмотрѣнію министра, закрытіе газеты или журнала по соглашенію трехъ (четырехъ!) министровъ“. Вовсе онѣ не умерли, въ сущности даже вовсе не ослабѣли. Все дѣло въ томъ, что штрафуетъ періодическія изданія теперь не министръ, а губернаторъ или градоначальникъ; его же властью, безъ соглашенія съ кѣмъ бы то ни

„директора“, назначеннаго правительствомъ, и выражали желаніе, чтобы какъ ректоръ, такъ и деканы выбирались коллегіей профессоровъ.

было, приостанавливаются изданія; а что касается до предварительной цензуры, то ее, съ нѣкоторыхъ поръ, успѣшно замѣняетъ давленіе на типографіи, которымъ предоставляется на выборъ ничего не печатать на извѣстную тему—или прекратить свое существованіе.

Въ газетахъ было сообщено, что предсѣдатель Думы не находитъ необходимымъ скорое изданіе новаго закона о печати. На вопросъ, сдѣланный ему по этому поводу сотрудникомъ „Слова“, Н. А. Хомяковъ отвѣчалъ: „Я вамъ, журналистамъ, удивляюсь. Неужели вы думаете, что при теперешнемъ положеніи вещей печать получить что-нибудь хорошее? Хуже—можетъ быть, а лучше—врядъ ли“. Нельзя отрицать, что для такого пессимизма имѣется немало основаній. Свобода, во всѣхъ ея видахъ, безспорно обрѣтается не въ авантажѣ, и на скорую переимѣну въ этомъ отношеніи разсчитывать трудно. Вѣдь носится же слухъ, что въ законопроектѣ о печати, изготовляемомъ министерствомъ юстиціи, предполагается установить отвѣтственность типографовъ и книгопродавцевъ за печатаемые и продаваемые ими произведенія—т.-е. ввести одну изъ самыхъ худшихъ, самыхъ опасныхъ формъ предварительной цензуры. И все-таки мы думаемъ, что внесеніе въ Думу законопроекта о печати, кѣмъ бы и въ какомъ бы духѣ онъ ни былъ составленъ, предвѣщало бы переимѣну къ лучшему, хотя, быть можетъ, недостаточно еще близкую. Думскія пренія раскрыли бы передъ страной весь ужасъ положенія, переживаемаго печатью; соединивъ въ одно цѣлое разбросанные штрихи возмутительной картины, они показали бы наглядно, что такъ дѣло дальше идти не можетъ. Союзъ 17-го октября, подъ опасеніемъ явнаго противорѣчія съ своей программой, долженъ былъ бы высказаться противъ всего, прямо или косвенно разсчитаннаго на порабощеніе мысли и слова. Немыслимымъ оказалось бы, во всякомъ случаѣ, совмѣстное существованіе новаго закона о печати и дискреціонныхъ по отношенію къ ней административныхъ полномочій—а въ настоящую минуту особенно важно и цѣнно все то, что приближаетъ къ концу дѣйствіе исключительныхъ положеній.

Лѣтъ двадцать тому назадъ, въ одну изъ самыхъ неприглядныхъ эпохъ русской жизни, какая-то газета—если мы не ошибаемся, „Недѣля“—занялась приискиваньемъ и группировкой мелкихъ фактовъ сколько-нибудь отраднаго характера. Еслибы теперь нашлись охотники приняться за такую работу, положеніе ихъ, въ виду крайней скудости матеріала, оказалось бы далеко не легкимъ. Собирателю рѣдкостей можно было бы, однако, указать на одно недавнее событіе. Московской городской думѣ было запрещено, въ силу чрезвычайной охраны, исполнить вошедшее въ законную силу постановленіе ея

по поводу юбилея Л. Н. Толстого. Возникъ вопросъ объ обжалованіи этой мѣры; но прежде, чѣмъ онъ былъ поставленъ на очередь, московскій генераль-губернаторъ увѣдомилъ городского голову, что запрещеніе было вызвано только опасеніемъ демонстрацій, приуроченныхъ къ 28-му августа, а въ настоящее время со стороны администраціи не встрѣчается препятствій къ исполненію думскаго постановленія ¹⁾. Что-то не слышать, чтобы другіе губернаторы, наложившіе veto на празднованіе 28-го августа, послѣдовали примѣру генерала Гершельмана; но хорошо уже и то, что свѣтская власть, въ лицѣ одного изъ своихъ представителей, допускаетъ возможность чествованія великаго писателя, столь рѣшительно осуждаемаго и столь грубо поносимаго духовными властями. Нигдѣ, кажется, глубокой разрывъ между высшимъ духовенствомъ и значительной частью русскаго общества не выразился такъ ярко, какъ въ Саратовѣ. За нѣсколько дней до 28-го августа въ широко распространенныхъ „Братскихъ листахъ“ епископъ саратовскій Гермогенъ отозвался о Л. Н. Толстомъ въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ; нѣсколько дней спустя онъ горячо вступился за протоіерея Кречетовича (депутата отъ духовенства въ саратовской городской думѣ), позволившаго себѣ назвать *позорнымъ* постановленіе думы, рѣшившей послать Л. Н. Толстому поздравительную телеграмму. На просьбу думы возложить представительство духовенства на другое лицо епископъ не только отвѣчалъ отказомъ, но призналъ образъ дѣйствій прот. Кречетовича *подвигомъ*, а къ Л. Н. Толстому примѣнилъ длинный рядъ оскорбительныхъ эпитетовъ („ужасный нравственный развратитель“, „возмутительный кощунникъ“, „ужасный уродъ“, „всероссійскій нравственный злодѣй“ и т. п.). Удивительнаго въ этомъ нѣтъ ничего; но достойно вниманія, что нашлась газета — и не изъ числа завѣдомо черносотенныхъ, — провозгласившая письмо епископа Гермогена „защитой перваго догмата либерализма — свободы мнѣній“ и обвинившая саратовскихъ думскихъ радикаловъ въ желаніи зажать ротъ несогласному съ ними сочлену. Итакъ, свобода мнѣній и свобода ругательства — одно и то же? Протоіерею Кречетовичу никто не ставилъ въ вину несогласіе съ большинствомъ думы: рѣчь шла только о формѣ, въ которой выражено это несогласіе. Что эпитетъ *позорный* не можетъ считаться „парламентарнымъ“, что саратовская дума, къ какой бы партіи ни принадлежало большинство гласныхъ, должна была признать его для себя оскорбительнымъ — это не требуетъ доказательствъ. Еслибы оскорбителемъ оказался одинъ изъ избранныхъ членовъ думы, она

¹⁾ Московская городская дума постановила, тѣмъ не менѣе, — и совершенно правильно — обжаловать первоначальное распоряженіе генераль-губернатора.

могла бы удовольствоваться призывомъ его къ порядку со стороны председателя; но вѣдь прот. Кречетовичъ посланъ въ думу своимъ начальствомъ и дисциплинарной власти председателя, конечно, надъ собою не признаетъ. Интересы духовенства нисколько не пострадали бы отъ замѣны его другимъ лицомъ, хотя бы и раздѣляющимъ тѣ же взгляды, но умѣющимъ выражать ихъ въ приличной формѣ. Ни о какомъ деспотизмѣ саратовскихъ „товарищей“ не можетъ, слѣдовательно, быть и рѣчи. Единственный выводъ, вытекающій изъ этой бури въ стаканѣ воды, заключается въ томъ, что въ выборныхъ собраніяхъ не должно быть мѣста для назначенныхъ членовъ. Духовенство должно участвовать въ земскихъ и городскихъ выборахъ на общихъ основаніяхъ, какъ это и было до пересмотра положеній земскаго и городского.

„Помня старый режимъ“ — читаемъ мы въ той же газетной статьѣ, — „радикальная дума была увѣрена, что архіерей испугается думы; прежніе наши архипастыри были такъ напуганы, что всякаго куста боялись... Неожиданное выступленіе епископа Гермогена въ защиту церкви должно дать понять русскому радикализму, что старый режимъ миновалъ и для духовенства. А что если вѣками униженная и оскорбленная церковь тоже воспользуется всѣми свободами, чтобы защитить себя? Что если выступать горячо вѣрующіе пастыри и іерархи и поднимутъ древнюю проповѣдь, когда-то волновавшую необозримыя массы? Что если преемники учениковъ Христа захотятъ воспользоваться всѣмъ объемомъ своей апостольской власти? Тогда еврействующимъ радикаламъ придется услышать и нѣчто болѣе острое, чѣмъ невинное (!?) слово *позоръ*“. Память о старомъ режимѣ должна была привести думу къ прямо противоположному заключенію: запугано, при немъ, духовенство несомнѣнно было, но боялось оно органовъ *власти*, а отнюдь не безвластныхъ общественныхъ учреждений. „Выступленіе“ епископа Гермогена знаменуетъ собою не начало новаго режима, а наоборотъ, продолжающееся господство стараго, при которомъ духовная власть черпала свою силу въ сознаніи солидарности съ „свѣтскою рукою“. Къ этой рукѣ взывалъ и недавній кievскій миссіонерскій съѣздъ; этою рукою принимались, между прочимъ и въ Саратовѣ, разныя стѣснительныя мѣры по отношенію къ чествованію Л. Н. Толстого. Когда дѣйствительно настанетъ новый режимъ, въ средѣ духовенства неизбежно появятся новыя теченія, признаки которыхъ виднѣлись довольно ясно въ короткую эпоху сравнительной свободы. Рядомъ съ ними уцѣлѣютъ, конечно, и традиціонные приемы, диктуемые нетерпимостью къ иначе мыслящимъ и вѣрою въ собственную непогрѣшимость; но едва ли они для кого-либо окажутся страшными, именно потому, что въ распоряженіи ихъ

уже не будетъ внѣшней „превосходящей силы“. Въ интересахъ церкви слѣдуетъ пожелать, чтобы орудіями дѣятельности ея явились тогда не „острыя слова“, не угрозы и проклятія, не попытки возбужденія „необозримыхъ массъ“. Негодныя сами по себѣ, всѣ эти формы нападенія и защиты менѣе всего достойны свободной церкви и менѣе всего цѣлесообразны въ свободномъ государствѣ.

P.-S.—Наше обзорѣніе было уже сдано въ печать, когда мы прочли глубоко-печальное извѣстіе о временномъ прекращеніи занятій въ с.-петербургскомъ университетѣ. Зная настроеніе совѣта, мы вполне убѣждены въ томъ, что эта мѣра принята имъ для предупрежденія другихъ, еще болѣе тяжкихъ послѣдствій до крайности натянутаго положенія вещей.



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ СЕМ. ИВ. ВАСЮКОВА:

„ВЪ СТЕПЯХЪ СѢВЕРНАГО КАВКАЗА“.

ОФФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ.

Въ первыхъ числахъ истекшаго сентября мѣсяца, редакція журнала получила отъ г. ставропольскаго губернатора бумагу, отъ 1 сентября с. г., за № 5245, слѣдующаго содержанія:

Въ редакцію журнала „Вѣстникъ Европы“.
(На основаніи 138 ст. Уст. о ценз. и печ.).

Въ журналѣ „Вѣстникъ Европы“ за іюнь и іюль текущаго года напечатана статья С. И. Васюкова подъ заглавіемъ: „По Сѣверному Кавказу“.

Авторъ этой статьи, касаясь вопроса объ осѣдломъ поселеніи баптистовъ въ Ставропольской губерніи, осуждаетъ, между прочимъ, мѣстную администрацію за противодѣйствіе, будто бы, желанію ихъ водвориться на свободныхъ инородческихъ земляхъ, предназначенныхъ для колонизаціи, приписывая ей такіа мѣры воздѣйствія, какъ запечатаніе вырытыхъ баптистами колодцевъ, воспрещеніе сажать деревья, разводить сады и даже уничтоженіе уже посаженныхъ деревьевъ.

Такія обвиненія основаны исключительно на голословныхъ свидѣльствахъ самихъ баптистовъ и относятся къ 1902—1904 годамъ, когда имъ, какъ неправославнымъ, не было еще дозволяемо осѣлое водвореніе на казенныхъ земляхъ въ силу дѣйствовавшаго въ то время закона (Высочайшее повелѣніе 15-го апрѣля 1899 года).

Въ виду возможности дальнѣйшаго распространенія невѣрныхъ свѣдѣній по затронутому предмету въ обществѣ, посредствомъ ежедневныхъ органовъ печати (см. газ. „Слово“ сего года, № 517),—не находя возможнымъ оставить эту статью безъ возраженія, прошу редакцію „Вѣстника Европы“ помѣстить нижеслѣдующее:

I.

Какъ оказывается, баптисты никакимъ притѣсненіямъ со стороны администраціи отнюдь не подвергались, и приписываемые ей случаи зарытія колодцевъ и истребленія деревьевъ представляютъ сплошное извращеніе фактовъ. Въ дѣйствительности, недоразумѣнія происходили вслѣдствіе тѣхъ условій субъ-аренды, въ которыя баптисты были поставлены вовсе не мѣстной административной властью, а арендаторами. Такъ, Томузловское сельское общество, добровольно уступивъ имъ по сходной цѣнѣ часть арендуемаго имъ оброчнаго туркменскаго участка Сѣверо-Мажарской дачи, равную 350 дес., впоследствии стало тяготиться этой субъ-арендой, что объяснялось взаимными хозяйственными столкновеніями и бывшимъ случаемъ открытаго поруганія нѣкоторыми сектантами догматовъ православной вѣры.

Въ результатъ томузловцы стали тѣснить сектантовъ увеличеніемъ изъ года въ годъ арендной платы, и на этой почвѣ едва не произошло столкновеніе, грозившее перейти въ насильственные дѣйствія и безпорядки, такъ какъ томузловцы неотступно требовали немедленной уплаты повышенной арендной платы, подъ угрозой лишенія баптистовъ права пользованія колодцами, а тѣ, находя требованія чрезмѣрными, окончательно отказывались отъ ихъ исполненія, обратившись къ содѣйствію властей. Только благодаря своевременному вмѣшательству въ споръ мѣстной инородческой администраціи, рѣшившейся, съ одобренія губернскаго начальства, принять недоплаченную баптистами часть арендной суммы (309 р.) въ счетъ причитавшейся съ общества оброчной платы, — инцидентъ былъ улаженъ, причѣмъ, для предупрежденія столкновеній въ будущемъ, изъ пользованія Томузловскаго сельскаго общества, съ его согласія, были выдѣлены упомянутыя 350 десятинъ для передачи въ непосредственную аренду компаніи баптистовъ.

Послѣ состоявшейся, по Высочайшему повелѣнію 6-го іюля 1904 г., отмѣны указаннаго выше ограничительнаго закона, баптистамъ разрѣшено было осѣдлое водвореніе на одномъ изъ переселенческихъ участковъ Сѣверо-Мажарской дачи, гдѣ они и образовали особый поселокъ, названный „Толстово-Васюковскимъ“. Нынѣ они живутъ совершенно спокойно, никѣмъ не стѣсняемые, развивая и расширяя свое экономическое благосостояніе.

II.

Въ той же статьѣ г. Васюкова упоминается о Воронцовскомъ шоссе, которое будто бы отърывается только для „губернаторскаго“ проѣзда. Это также невѣрно. Шоссе (правильнѣе—небольшая идущая отъ моста дамба) въ сухую погоду закрывается—въ интересахъ ея сбереженія и потому, что крестьяне сами избѣгаютъ безъ нужды ѣздить по каменному настилу; въ распутицу же, для которой собственно и предназначена дамба,—она всегда открывается для безпрепятственнаго пользованія всего населенія.

Ставропольскій Губернаторъ Б. Янушевичъ.

7 сентября 1908 г.

№ 5245.

Г. г. Ставрополь.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 октября 1908.

I.

— Библиотека великихъ писателей, подъ редакціей С. А. Венгерова.—Пушкинъ. Томъ второй. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 1908.

Монументальное изданіе С. А. Венгерова быстро подвигается впередъ: полгода для подготовки такого огромнаго тома, для такой сложной, кропотливой работы — небольшой срокъ. Второй томъ Пушкина по обдуманности плана и тщательности исполненія стоитъ, можетъ быть, еще выше перваго. Съ внѣшней стороны, мы находимъ здѣсь два благопріятныхъ измѣненія: во-первыхъ, примѣчанія изъ текста перенесены въ конецъ тома; во-вторыхъ, иллюстраціи на этотъ разъ подобраны съ болѣе строгимъ выборомъ, и между ними меньше случайнаго и ненужнаго, нежели въ первомъ томѣ. Текстъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ — насколько то позволяетъ трудность дѣла — доведенъ до совершенства: расположеніе матеріала, осторожность въ датахъ отдѣльныхъ произведеній и отрывковъ, строгость въ отборѣ того, что безъ достаточныхъ основаній приписывается Пушкину, — въ общемъ не оставляютъ желать ничего лучшаго. Если вспомнить, что научное изученіе Пушкина началось, можно сказать, только вчера, то точность, достигнутая въ этомъ отношеніи г. Венгеровымъ, надо будетъ признать чрезвычайно значительной.

Остается вопросъ объ исправности Пушкинскаго текста — важнѣйшій въ такого рода изданіяхъ. Мы не будемъ останавливаться на подробностяхъ: это — задача спеціальной критики; насъ интересуютъ здѣсь только общія линіи плана, положеннаго въ основу изданія. Г. Венгеровъ задался цѣлью представить читателямъ подлиннаго Пушкина, т. е. напечатать текстъ его произведеній по возможности въ томъ самомъ видѣ, какъ они были имъ написаны. Скажемъ прямо:

онъ достигъ этой цѣли несравненно въ большей степени, нежели всѣ его предшественники. Въ общемъ это самый точный текстъ Пушкина, какой мы имѣемъ, если не считать академическаго изданія, доведеннаго пока только до 1822 года. И если г. Венгерова можно въ чемъ упрекнуть, то скорѣе въ томъ, что онъ даетъ лишнее.

Съ точки зрѣнія текста все написанное Пушкинымъ дѣлится на двѣ группы: на произведенія, напечатанныя при жизни поэта, и произведенія и отрывки, оставшіеся въ рукописяхъ (преимущественно черновыхъ). Въ отношеніи первой группы задача редактора сравнительно проста: онъ перепечатываетъ Пушкинскій печатный текстъ, и затѣмъ въ примѣчаніяхъ воспроизводитъ варианты по рукописямъ. Напротивъ, вторая группа представляетъ большія трудности. Черновыя рукописи Пушкина исчерканы вдоль и поперекъ; въ нихъ нѣтъ, можно сказать, слова, которое не было бы многократно замѣнено другимъ, опять восстановлено, опять зачеркнуто, и т. д. Что надо принять въ текстъ и что исключить? Абсолютная точность здѣсь невозможна: ея можетъ достигнуть только фотографическое факсимиле. Академическое изданіе до извѣстной степени приближается къ точности, но оно принуждено для этого отводить очень много мѣста примѣчаніямъ, въ которыхъ и дается возможно полное описаніе рукописи. Г. Венгеровъ держится иной системы: онъ старается воспроизводить Пушкинскую рукопись по возможности сполна въ самомъ текстѣ. Эта система кажется намъ вдвойнѣ ошибочной: въ полномъ видѣ она неосуществима, и въ популярномъ изданіи, какимъ является изданіе г. Венгерова, — нецѣлесообразна. Приведемъ въ поясненіе два-три примѣра.

Подъ № 325-мъ у г. Венгерова напечатанъ слѣдующій набросокъ 1821 года:

Младыя пировъ утихли смѣхи
Утихъ безумства вольный гласъ
Любовницы забыли насъ
И разлетѣлися утѣхи
Въ изгнаніи
Гдѣ
Я въ стени
Вообр
Горюшь ли ты
Пи...
Гдѣ ты

Спрашивается: была ли надобность въ популярномъ изданіи печатать этотъ отрывокъ въ текстѣ? Не довольно ли было бы дать только первую строфу, а все остальное отнести въ примѣчанія? И это тѣмъ болѣе, что въ такомъ видѣ, какъ отрывокъ здѣсь напечатанъ, онъ можетъ только ввести читателя въ заблужденіе. На той же

страницъ Пушкинской черновой тетради, гдѣ записаны эти стихи, есть еще немало стиховъ *одного съ ними размѣра*, вѣроятно долженствовавшихъ составлять съ нимъ одно цѣлое; но г. Венгеровъ даетъ ихъ отдѣльно, какъ особенные наброски. Съ другой стороны, всѣ эти начатыя строки въ концѣ отрывка *несомненно* не относятся къ нему, какъ видно уже по разницѣ стихотворныхъ размѣровъ; по всей вѣроятности, это—не что иное, какъ записанный Пушкинымъ себѣ для памяти перечень какихъ-нибудь его стихотвореній, причемъ онъ отмѣтилъ только начало перваго стиха каждой пьесы: на это указываетъ и разнообразіе метровъ, и слова: „Горишь ли ты“ („Горишь ли ты, лампада наша“...—такъ начинается, какъ извѣстно, стихотвореніе къ Я. Толстому). Къ сожалѣнію, редакторъ еще усилилъ путаницу, снабдивъ этотъ отрывокъ такимъ примѣчаніемъ: „№ 325 очень характеренъ для изученія пушкинскаго творчества. Въ такой же мѣрѣ, въ какой Пушкинъ былъ медлителемъ въ окончательной отдѣлкѣ, онъ былъ быстръ въ первоначальной концепціи: начать строчку, онъ ее не доканчиваетъ, у него уже сложилась слѣдующая строка и онъ быстро къ ней переходитъ, чтобы затѣмъ съ тою же быстротою переходить къ слѣдующимъ“. Бѣда въ томъ, что эти обрывки явно *не* продолжаютъ первой строфы наброска. Очевидно, что популярное изданіе должно было и этотъ набросокъ, и остальные, съ нимъ смежные, отнести въ примѣчанія, гдѣ они могли бы явиться въ достопамятномъ видѣ, т.-е. въ связи съ описаніемъ данной страницы Пушкинской тетради. То же самое надо сказать объ отрывкѣ № 222, который несомнѣнно представляетъ собою вариантъ нѣсколькихъ стиховъ изъ пьесы „Позволь душѣ моей открыться предъ тобою“, и о многихъ другихъ наброскахъ; помѣщеніе ихъ въ текстъ не увеличиваетъ, а умалываетъ научность изданія.

Еще одинъ упрекъ мы должны сдѣлать редактору: это за „Гавриладу“. Разъ онъ по цензурнымъ соображеніямъ не могъ дать ее цѣликомъ, — лучше было, по примѣру прежнихъ издателей, дать рядъ цѣльныхъ отрывковъ изъ нея, нежели исказить поэму, безчисленными пропусками. Въ такомъ видѣ, какъ она сейчасъ напечатана у г. Венгерова, читатель, раньше незнакомый съ поэмою, ничего не пойметъ въ ней, и не пойметъ, прежде всего, фабулы. Что можно разобрать въ такихъ искалѣченныхъ стихахъ?

Но, старый врагъ, не дремлетъ сатана.
Провѣдалъ онъ, шатаясь въ бѣломъ свѣтѣ,
Что... имѣлъ еврейку на примѣтѣ,
Красавицу, которая должна

.....
Лукавому великая досада!
Хлопочетъ онъ...

...между тѣмъ,
На... сидѣтъ въ уныніи сладкомъ;
Весь міръ забывъ, не онъ ничѣмъ,—
И безъ него все шло своимъ порядкомъ.
Что-жъ дѣлаетъ...? гдѣ она,
.....печальная супруга?

Весь матеріалъ комментарий въ изданіи г. Венгерова заслуживаетъ величайшей похвалы. Во второмъ томѣ—около двадцати статей и сто страницъ примѣчаній къ отдѣльнымъ пьесамъ. Въ этихъ статьяхъ шагъ за шагомъ прослѣживается жизнь Пушкина внѣшняя и внутренняя, такъ что, если собрать всѣ біографическія статьи, которыя даетъ это изданіе, получится коллективная біографія Пушкина столь подробная и столь достовѣрная, съ которою и отдаленно не могутъ сравниться всѣ существующія его жизнеописанія. Другой рядъ статей представляетъ собою богатый комментарий къ произведеніямъ поэта, историческій и эстетическій. Ничего подобнаго у насъ никогда не было, ни для Пушкина, ни для кого-либо изъ прочихъ нашихъ классиковъ. Не всѣ эти статьи—равнаго достоинства, есть между ними и слабыя, но нѣтъ ни одной, которая, по крайней мѣрѣ, прилично не собирала бы всю Пушкинскую литературу по данному вопросу. Но есть между ними и замѣчательныя работы, по глубинѣ мысли или оригинальности взгляда поднимающіяся далеко надъ среднимъ уровнемъ, какъ, напримѣръ, предисловіе г. Вяч. Иванова къ „Цыганамъ“, или статья Н. Павлова-Сильванскаго „Народъ и царь въ трагедіи Пушкина“. Наконецъ, въ примѣчаніяхъ, составленныхъ гг. Карасикомъ, Лернеромъ и Морозовымъ, данъ великолѣпный, опять-таки безпримѣрный бібліографическій и историко-литературный комментарий къ произведеніямъ Пушкина.

Много спорнаго въ этомъ томѣ съ историко-литературной точки зрѣнія, но это—недостатки совершенства. Пройдетъ еще много лѣтъ, прежде чѣмъ какое-нибудь новое изданіе Пушкина отодвинетъ это на задній планъ; поскольку жизнь, творчество и текстъ Пушкина теперь изучены, оно, въ общемъ, повторяемъ, — т.-е. именно какъ цѣлое—великолѣпно. Оно, сверхъ Пушкинскаго текста, даетъ и біографію поэта, и анализъ его творчества, и комментарий къ тексту. Академическое изданіе дастъ намъ (и то не скоро) болѣе вѣрный текстъ, но больше оно ничего не дастъ, и слѣдовательно Венгеровскаго изданія оно не замѣнитъ.

II.

- М. Л. Бинштокъ. Лира. Сборникъ произведеній русской художественной лирики. Спб. 1908.
- В. Бончъ-Бруевичъ. Избранныя произведенія русской поэзіи. Изданіе пятое. Изд. Т-а „Знаніе“. Спб. 1909.

Такіе сборники, безъ сомнѣнія имѣютъ свою цѣну, особенно въ странѣ, какъ наша, гдѣ „читающая“ публика очень мало читаетъ и очень плохо помнитъ. Спросите любого средняго врача, инженера, акушерку о какомъ-нибудь великолѣпномъ стихотвореніи Пушкина: они въ лучшемъ случаѣ смутно помнятъ, что когда-то читали его. Есть завзятые любители стиховъ, но ихъ, разумѣется, немного; огромное же большинство живетъ среди сокровищъ родной поэзіи, какъ крокъ среди цвѣтовъ. Для такихъ людей хрестоматіи могутъ быть очень полезны и пріятны.

Г. Бинштокъ — эстетъ: онъ желалъ дать въ своемъ сборникѣ только такія пьесы, которыя представляютъ „безусловную художественную цѣнность“. Много бились мудрецы и художники надъ вопросомъ о томъ, что такое красота, и всѣ неизмѣнно приходили къ убѣжденію, что безусловной красоты нѣтъ, такъ какъ невозможно найти объективный критерій красоты. Для г. Бинштока и вопроса не существуетъ: покажите ему произведеніе искусства, и онъ берется съ одного взгляда опредѣлить объективные признаки его художественности. Секретъ очень простъ: „подъ художественною цѣнностью слѣдуетъ понимать произведеніе искусства, въ которомъ форма или выраженіе совершенно неотдѣлимы отъ художественной идеи (содержанія), такъ что онѣ представляютъ органическое цѣлое, и кажется невозможнымъ данное содержаніе выразить иначе“. Въ чьихъ глазахъ „представляютъ“ и кому „кажется“, это, къ сожалѣнію, не говорится. Вотъ, напримѣръ, г. Бинштоку приняты имъ въ сборникъ плохіе стихи г-жи Галиной, очевидно, кажутся „органическимъ цѣлымъ“, а намъ они кажутся просто плохими стихами, и все его предисловіе кажется намъ образчикомъ забавнѣйшей наивности.

Но предисловіе предисловіемъ, а на дѣлѣ, т.-е. въ выборѣ пьесъ, г. Бинштокъ дѣйствуетъ, разумѣется, совершенно субъективно, потому что иного способа и нѣтъ: онъ выбираетъ то, что *ему* кажется „безусловной художественной цѣнностью“. По счастью, поэзія наша богата, а его сборникъ невеликъ, и изъ того, что онъ взялъ, мы бы немного выкинули. Зато мы многое замѣнили бы. Можно бы спросить, почему изъ Апухтина взяты только „Ночи безумныя“; зачѣмъ было

тратить дорогое мѣсто на переводы П. И. Вейнберга изъ Гейне; почему М. Л. Михайлову отведено столько же страницъ, сколько Фету, а Allegro—почти столько же, сколько Тютчеву; почему совсѣмъ нѣтъ Огарева, и пр. Но все это—частности, которыя въ такомъ субъективномъ дѣлѣ всегда будутъ спорны. Важнѣе другое: г. Бинштокъ совершенно обходитъ нашу молодую поэзію; въ его сборникѣ нашли мѣсто только два старшіе представителя ея—Вальмонтъ и Брюсовъ, но нѣтъ ни Блока, ни В. Иванова, ни Сологуба (зато есть изъ новѣйшихъ Галина, Башкинъ и подобные имъ). Это сдѣлано не безъ умысла, какъ показываетъ то же комическое предисловіе: „въ наше время шатанія поэтической мысли“ г. Бинштокъ желаетъ своимъ сборникомъ „вернуть ее на единственный правильный путь“.—Это Галина-то должна указать путь Вяч. Иванову!

Какъ бы то ни было, въ „Лирѣ“ читатель найдетъ много перловъ русской поэзіи, и такъ какъ изданъ сборникъ красиво, то больше нечего съ него и спрашивать.

Сборникъ г. Бончъ-Бруевича—совсѣмъ другого рода: это—избранныя произведенія русской тенденціозной поэзіи, политической и соціальной. Конечно, и такіе сборники полезны, и, какъ показываетъ количество изданій, книга г. Бончъ-Бруевича пользуется успѣхомъ. Эта книга—цѣлый фоліантъ; въ ней 821 стихотвореніе. Труда на нее положено, видимо, бездна; три четверти цитируемыхъ писателей—никому невѣдомыя имена, множество пьесъ собрано по журналамъ и газетамъ. Въ своей специальной задачѣ г. Бончъ-Бруевичъ почти достигъ полноты, и это придаетъ значительную цѣну его книгѣ; она даетъ богатый матеріалъ для изученія развитія соціальной и политической мысли въ среднихъ кругахъ русской интеллигенціи, и здѣсь невысокое въ художественномъ отношеніи массовое творчество даже наиболѣе интересно. Другое дѣло—читающая публика: ей эта книга можетъ принести только вредъ, такъ какъ ужасающія вирши, которыми она на три четверти переполнена, разумѣется, безсильны пробуждать гражданскія чувства, но зато способны неизлечимо испортить художественный вкусъ читателя. Ей, этой публикѣ (и своей просвѣтительной цѣли) г. Бончъ-Бруевичъ гораздо больше послужилъ бы, еслибы отобралъ изъ своего матеріала только то, что хотя до нѣкоторой степени отмѣчено печатью художественнаго дарованія, и издалъ бы это по дешевой цѣнѣ (его сборникъ стоитъ 2 рубля).

III.

— Матеріалы къ исторіи и изученію русскаго сектантства и раскола. Подъ редакціей Вл. Бончъ-Бруевича. Выпускъ первый. Спб. 1908.

Этотъ первый выпускъ, представляющій собою большой томъ въ триста слишкомъ страницъ, является починомъ большого дѣла: г. Бончъ-Бруевичъ собирается постепенно издать не только матеріалы по исторіи нашего сектантства, лично имъ собранные и переданные теперь въ рукописное отдѣленіе Академіи Наукъ, но и все то, что еще удастся собрать по этому предмету (и въ своемъ предисловіи онъ обращается ко всему обществу съ просьбою о сообщеніи такихъ свѣдѣній и матеріаловъ). Онъ обѣщаетъ издавать по 4—5 выпусковъ въ годъ, такъ что, очевидно, изданіе предполагено въ широкихъ размѣрахъ. Къ такому предпріятію нельзя отнести иначе, какъ съ горячимъ сочувствіемъ. Наши свѣдѣнія о прошлыхъ судьбахъ и настоящемъ состояніи русскаго сектантства скудны и, главное, отрывочны; между тѣмъ это знаніе намъ настоятельно нужно, — оно нужно и всей интеллигенціи, и законодателю, и историку. Собираніе и планомѣрное изданіе сырыхъ матеріаловъ есть первый шагъ къ этому знакомству.

Къ сожалѣнію, г. Бончъ-Бруевичъ взялся за дѣло, видимо, безъ всякаго опредѣленнаго плана. Уже первый его выпускъ представляетъ собою нѣчто хаотическое. Казалось бы, издатель прежде всего долженъ былъ поставить себѣ вопросъ, для кого онъ предназначаетъ свое изданіе: для изслѣдователей или для обыкновенныхъ читателей? Но первый выпускъ равно не годится ни для тѣхъ, ни для другихъ. Здѣсь собраны матеріалы, по крайней мѣрѣ, о семи сектахъ, безъ разбора — историческіе и современные, массовые и индивидуальныя, все это въ перемежку, безъ всякой системы; здѣсь 1905 годъ стоитъ рядомъ съ XVII вѣкомъ, письмо Л. Толстого о скопчествахъ — между матеріалами о штундистахъ съ одной стороны и о духоборахъ — съ другой, и т. под. Для ученаго все это отрывочно, неполно, непровѣрено; для обыкновеннаго читателя это — сумбуръ, наполовину неудобочитаемый. Такого читателя можетъ интересовать преимущественно ученіе (и, разумѣется, исторія) тѣхъ сектъ, нравственнаго направленіе которыхъ ему родственно, — штундистовъ, духоборовъ и т. п.; но что онъ будетъ дѣлать съ Лексинскимъ лѣтописцемъ и другими поморскими матеріалами, или съ Посланіемъ основателя скопческой секты, которые даются ему сырьемъ, безъ надлежащаго комментарія? Онъ просто не станетъ ихъ читать. Одно изъ двухъ: или изданіе будетъ

научнымъ, или оно будетъ просвѣтительнымъ; для каждой изъ этихъ цѣлей матеріалъ долженъ быть выбранъ и обработанъ по разному, но въ обоихъ случаяхъ онъ долженъ быть представленъ въ систематическомъ видѣ. Въ этомъ смыслѣ первый выпускъ „Матеріаловъ“ надо признать совершенно неудачнымъ.

И тѣмъ не менѣе мы настоятельно рекомендуемъ его вниманію читателей, какъ одну изъ интереснѣйшихъ книгъ, какія вышли у насъ въ послѣдніе годы. Здѣсь нельзя познакомиться ни съ ученіемъ, ни съ исторіей хотя бы одной только секты; зато здѣсь есть безцѣнные матеріалы, съ удивительной наглядностью раскрывающіе *психологию* сектантства, современнаго и, отчасти, прошлаго. Г. Бончъ-Бруевичу удалось собрать цѣлую коллекцію рукописей, заключающихъ въ себѣ воспоминанія отдѣльных сектантовъ — баптистовъ, штундистовъ, духоборовъ, — и здѣсь, въ излагаемыхъ фактахъ, въ самомъ тонѣ и языкѣ разсказа развертывается предъ нами живая картина сектантскаго міровоззрѣнія и быта. Эта картина поразительна: простые, сильные характеры, глубокая серьезность, безпримѣрная нравственная чистота и стойкость, истинно-евангельскій духъ любви, незлобія, самозабвенія представляютъ рѣзкій контрастъ съ нашей, интеллигентской психологіей, сложной, аффектированной, искаженной тщеславіемъ и самооглядкой, засоренной всевозможными фикціями. Здѣсь есть страницы, оставляющія неизгладимое впечатлѣніе, какъ, напримѣръ, разсказъ Андросова о его свиданіи съ Петромъ Веригинымъ, или нѣкоторыя части воспоминаній баптиста Павлова, или молитва штундиста Чижова; что-то первобытное соединилось здѣсь съ высшей нравственной красотой въ одно грандіозное явленіе, которое мы, вѣроятно, еще и не способны оцѣнить въ полной мѣрѣ.

Всѣ эти разсказы почти тождественны по содержанію: это — повѣсть о личныхъ и массовыхъ гоненіяхъ за вѣру. Всюду повторяется одно и то же: мѣстное духовенство въ борьбѣ съ ересью, нисколько не пытаясь одолѣть ее духовнымъ оружіемъ, тотчасъ зоветъ къ себѣ на помощь свѣтскій мечъ, проще говоря, полицію, начинается безчеловѣчное, истинно-средневѣковое истязаніе сектантовъ, — и въ результатъ секта крѣпнѣетъ, разрастается и еще болѣе одухотворяется, чѣмъ вначалѣ. Этотъ ходъ вещей съ прелестнымъ юморомъ изображенъ въ скорбной повѣсти о „страданіи христіанъ“ въ с. Павловкахъ. Здѣсь разсказывается, какъ первоначально былъ посланъ лучший другъ мѣстныхъ сектантовъ, кн. Д. А. Хилковъ, и какъ послѣ этого дьяконъ въ пьяномъ видѣ куражился: намъ-де трудно было вырвать корень (т.-е. Хилкова), а отростки и сами посохнутъ. „Ну, отростки, — продолжаетъ пишущій, — не поддавались ихнимъ соблазнамъ. Благодаря Бога въ Павловкахъ почва хорошая, хлѣбободная и мягкая, и по доламъ, при

рѣчекъ, луга и частые подходили дожди, и отростки проросли и ихъ Богъ поливалъ, такъ что они укрѣпились на томъ лугу. И тамъ бродила скотина, такъ что изъ нихъ была рогатая и безрогая, и она заѣдала и затаптывала эти несчастные отростки. Но они съ большимъ трудомъ проросли". Въ томъ же самомъ разсказѣ павловцевъ есть эпизодъ чисто-евангельской красоты. Въ самый разгаръ гоненій случилось однажды, что исправникъ по просьбѣ сектантовъ выпустилъ изъ-подъ ареста одного изъ ихъ среды. Это было такъ необычно, что произвело на нихъ впечатлѣннѣе чуда; имъ казалось, что „отъ сего дня должна правда явиться на землѣ"; они ничего не могли дѣлать и толпою ходили по селу. Уже священникъ обезпокоился и урядникъ побѣждалъ доложить становому, что сектанты ходятъ по улицамъ „и проповѣдуютъ какую-то правду". „А насъ—продолжаетъ разсказчикъ—какая-то охватила горячая любовь, такъ что намъ ничего не жалко было: ни отцовъ, ни матерей, ни женъ, ни дѣтей, ни денегъ, а только намъ стало жаль тѣхъ друзей и братьевъ, что страдаютъ за правду, вездѣ по тюрьмамъ и по другимъ государствамъ посылаемы". Весь день провели они въ постѣ и молитвѣ и чтеніи Евангелія, а вечеромъ пошли въ садъ Хилкова, утолили голодъ яблоками и медомъ, и затѣмъ опять всю ночь молились.

Невольно приходитъ на мысль: что если эти дѣти мудрѣ насъ, образованныхъ? Ихъ нравственный идеалъ—тотъ же, что и нашъ: евангельская любовь и равенство; но въ то время, какъ мы ищемъ множества окольныхъ тропинокъ, они идутъ къ цѣли прямой, трудной дорогой. Мы оправдываемся тѣмъ, что эта дорога, при великой сложности соціальнаго быта, непригодна. Но вѣтъ ли тутъ самообольщенья? и не потому ли мы отвергаемъ эту дорогу, что она такъ терниста, что она требуетъ отъ каждаго въ отдѣльности тѣхъ великихъ жертвъ и того героизма, примѣръ которыхъ показываютъ намъ всѣ эти простые баптисты, штундисты, духоборы?—Во всякомъ случаѣ, ближайшее знакомство съ ними драгоцѣнно, такъ какъ оно заставляетъ пересмотрѣть самые основные устои нашего нравственнаго быта, т.-е., то, что всего важнѣе и о чемъ люди меньше всего думаютъ.

IV.

— Ж. Эльсландеръ. Новая школа. Съ франц. Э. Юргенсъ. Москва. 1908.

Книжка эта, поскольку она касается чисто-педагогическихъ вопросовъ (потому что въ ней есть и пространныя разсужденія о современномъ общественномъ строѣ, на которыхъ мы не будемъ останавливаться), дѣлится на двѣ части: на изложеніе основныхъ принци-

повѣ „новой школы“ и изложеніе детальной программы занятій въ ней. Какъ ни интересна эта программа, она не имѣетъ большого значенія, такъ какъ здѣсь все обусловливается личностью преподавателя, составомъ учащихся и пр. Зато теоретическая часть книжки чрезвычайно цѣнна. Мы горячо рекомендуемъ ее вниманію всякаго образованнаго человѣка.

Мысли, выраженные въ этой книжкѣ, не составляютъ личной собственности ея автора, и не только потому, что онѣ многократно были высказаны другими людьми, раньше всѣхъ—Л. Н. Толстымъ: онѣ носятъ въ воздухѣ, педагогика приведена къ нимъ силою вещей, силою собственнаго развитія и прогресса всей человѣческой мысли. И если мы называемъ книжку Эльсландера замѣчательной, то лишь въ томъ отношеніи, что она превосходно формулируетъ и обосновываетъ эти назрѣвшія идеи.

Ихъ двѣ, этихъ основныхъ идей, и въ корнѣ онѣ срастаются нераздѣльно. Духовная жизнь ребенка управляется собственной глубокой логикой, которую воспитаніе должно только регулировать, но никакъ не подавлять: такова первая мысль Эльсландера. Нынѣшнее воспитаніе, принудительное по формѣ, словесное по содержанію, идетъ наперекоръ естественному развитію ребенка; въ дѣйствительности наши дѣти получаютъ двойное воспитаніе: одно, искусственное, имъ навязываютъ, другое они сами добываютъ изъ своихъ живыхъ впечатлѣній; только это второе воспитаніе и образуетъ истинную основу ихъ существа, тогда какъ первое лишь искажаетъ его. Это активное внимательство въ дѣло самой природы должно прекратиться.

Второй принципъ—положительный. Мы знаемъ, что всѣ свои знанія человѣчество добыло на пути къ достиженію исполнѣ конкретныхъ цѣлей, продиктованныхъ жизненными потребностями: источникъ всѣхъ знаній—трудъ человѣка въ борьбѣ съ силами природы. Этимъ самымъ путемъ долженъ идти ребенокъ. Подобно тому, какъ, по извѣстному физиологическому закону, развитіе зародыша воспроизводитъ всѣ измѣненія, чрезъ которыя проходила эволюція вида, такъ и начальная жизнь ребенка представляетъ собою ускоренное повтореніе жизни человѣчества. Ребенокъ долженъ приобрѣтать знаніе такъ же, какъ приобрѣтало его человѣчество, т. е. въ трудѣ. Знанію нельзя научить, оно должно приобрѣтаться въ процессѣ той работы, которая требуетъ его примѣненія; такое знаніе усваивается не однимъ мозгомъ, но всѣмъ существомъ человѣка. Разумѣется, ребенокъ долженъ пользоваться опытомъ предковъ, ему нѣтъ надобности начинать сызнова всю ихъ работу, и, съ другой стороны, благодаря наслѣдственнымъ предрасположеніямъ онъ можетъ быстро пройти путь, проложенный съ такимъ трудомъ его предками. Величайшее зло нынѣшней школы

заключается въ томъ, что эти знанія она сообщаетъ дѣтямъ въ отвлеченной формѣ: „всѣ существующіе приемы обученія—говоритъ Эльсландеръ—проникнуты стремленіемъ сгруппировать наибольшее количество фактовъ, выжать изъ нихъ общіе принципы и преподать уму ребенка готовые понятія, лишенныя какого бы то ни было соприкосновенія съ дѣйствительностью, т.-е. того именно, что главнымъ образомъ могло бы его заинтересовать“,—и онъ справедливо замѣчаетъ, что именно противоестественность этой системы (*сначала* готовая формула, а затѣмъ уже примѣры) заставляетъ нынѣшнюю школу сплошь и рядомъ дѣйствовать путемъ принужденія.

Великія мысли, простыя и свѣтлыя, какъ Божій день, какъ разумъ человѣческій! Имъ принадлежитъ будущее, но, спрашивается, какова ихъ практическая цѣнность въ настоящемъ? Могутъ ли онѣ сейчасъ быть осуществлены социалью? Но педагогическое невѣжество создало дурную педагогическую систему—ее, какъ и все другое, создалъ реальный общественный интересъ, и въ немъ коренится ея живучая сила; значитъ, здѣсь недостаточно узнать истину, чтобы сдумать осуществить ее. Современная школа—очень сложный, очень остроумный аппаратъ, великолѣпно исполняющій свое назначеніе, и пока живъ тотъ, кто ее наладилъ для своей надобности, ее ничто не сломить. Это говорить, не замѣчая своей наивности, самъ Эльсландеръ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ характеризуетъ нравственное вліяніе современной школы: она систематически подавляетъ всякое самостоятельное проявленіе характера, это—ея прямая цѣль, потому что вся нынѣшняя организація общества держится на подавленіи личной воли; „существующій строй жизни опирается исключительно на людей, у которыхъ ему удалось совершенно сломить характеръ и задушить малѣйшіе признаки независимости“. А если такъ, то ясно, что вопросъ о школѣ выходитъ далеко за предѣлы педагогики: это вопросъ о реальномъ соотношеніи общественныхъ силъ, и только перемѣщеніе этихъ силъ можетъ сдвинуть школу съ мертвой точки. „Новая школа“ возможна только въ новомъ обществѣ. Это, разумѣется, не лишаетъ важности теоретическую разработку вопроса о новой школѣ. Сознанная истина—тоже реальная сила; Герценъ сказалъ однажды, что и логика обязываетъ, какъ совѣсть. Пусть всѣ читаютъ педагогическія статьи Толстого, книжку Эльсландера и подобныя имъ: здравая мысль о воспитаніи дѣтей не только сама по себѣ цѣнна, но она—также одинъ изъ путей, которые приводятъ наше сознаніе къ источнику парящаго зла. Изъ разума человѣческаго течетъ много свѣтлыхъ мыслей, которыя всѣ запружаются твердыней современнаго общества и всѣ подтачиваютъ ее: такова и мысль о новой школѣ.

V.

— Владиміръ Анучинъ. Казнь Якова Стеблянского. Изд. книгоиздательства „Основа“. Москва. 1908.

Не будемъ сравнивать, кто „лучше“ описать смертную казнь: Л. Андреевъ въ „Разсказѣ о семи повѣшенныхъ“ или В. Анучинъ. Эта тема, если можно такъ выразиться, — изъ самыхъ благодарныхъ: какъ ни разсказать, лишь бы не совсѣмъ плохо, — все равно читатель будетъ потрясенъ. Г. Анучину нельзя отказать въ талантѣ; мы помнимъ одинъ его разсказъ изъ жизни пришлыхъ китайцевъ въ Сибири во время русско-японской войны (кажется, въ „Образованіи“), чрезвычайно яркій и трогательный. „Казнь Якова Стеблянского“ и помимо своей темы — незаурядная вещь. Она не свободна отъ повтореній и растянутости мѣстами въ изображеніи чувствъ, волновавшихъ разсказчика — очевидца казни, самыя эти чувства не глубоки и не ярки, но вся изобразительная, внѣшне-художественная часть разсказа носитъ печать истиннаго дарованія. Авторъ — явно ученикъ Толстого, но способный ученикъ; не подражая, но свободно слѣдуя манерѣ Толстого, онъ нигдѣ не оставляетъ туманныхъ пятенъ: все, что попадаетъ въ поле зрѣнія, всякую вещественную подробность и мимолетную фигуру, онъ вычеканиваетъ до наглядности — и все-таки не загромождаетъ ими вниманія. Надо всѣми частностями неотступно высится, и ростетъ, и ширится торжественно и страшно одно великое, о чемъ идетъ разсказъ, — голый фактъ смертной казни, какъ набатъ среди ночи, заглушающій стоголосую суетню пожара и звучащій какъ будто въ полной тишинѣ. И такъ властно захватываетъ этотъ фактъ ваше вниманіе, что самая личность казнимаго какъ бы отступаетъ на задній планъ. Въ этомъ — главное достоинство разсказа: сквозь отдѣльное явленіе намъ показана во всей своей силѣ его моральная сущность.

Эту сущность В. Анучинъ понялъ, какъ намъ кажется, глубже всѣхъ своихъ предшественниковъ. Онъ изображаетъ сцену, разыгравшуюся на тюремномъ дворѣ передъ висѣлицей за нѣсколько минутъ до казни. Это было рано утромъ въ майскій день; на мѣстѣ собрались уже всѣ должностныя лица — смотритель тюрьмы, надзиратель, товарищъ прокурора, представитель полиціи и пр.; за висѣлицей выстроилась рота солдатъ, тутъ же стоитъ въ ожиданіи палачъ, и между двухъ конвойныхъ стоитъ въ ножныхъ и ручныхъ кандалахъ, въ сѣрой арестантской одеждѣ, осужденный. Это — уголовный преступникъ, убійца для грабежа, простой, твердый, неустрашимый человѣкъ.

За минуту до казни спохватились, что надо расковать казнимаго, и вотъ посылають за кузнецомъ, и всѣ ждутъ его въ томительномъ молчаніи. Тутъ заговорилъ Стеблянскій; онъ обращается съ насильственно-вызывающими вопросами—ни къ кому въ особенности, вообще къ „начальству“, къ тѣмъ, кто противъ него. Онъ говорить, но никто ему не отвѣчаетъ; безпредѣльное воздушное пространство поглощаетъ его слова; за каждымъ его вопросомъ слѣдуетъ пауза мертвого молчанія. Вотъ въ чемъ ужасъ: „Онъ былъ одинъ, а всѣ были противъ него. Онъ былъ одинокъ и выдерживалъ при этомъ натискъ молчанія и враждебности всѣхъ многихъ, сильныхъ и неумолимыхъ“. Въ этомъ чувствѣ очевиднаго абсолютнаго одиночества—высшій ужасъ смертной казни. Мы не знаемъ, мы не думаемъ о томъ, что нравственно наша жизнь держится однимъ—инстинктомъ родства и братства людей; мы не думаемъ объ этомъ потому, что никогда не выходимъ изъ этой атмосферы, какъ бы ни обуревали насъ человѣческая вражда и злоба. Дурной воздухъ все же воздухъ, и легкія дышать; мы даже представить себѣ не можемъ такого положенія, когда бы мы стали абсолютно одинокими, безповоротно отрѣзанными отъ всего міра людей. Смертная казнь—именно такое положеніе, и притомъ единственное. Тутъ, передъ висѣлицей, человѣкъ вдругъ, въ одно мгновеніе, убѣждается въ томъ, чему онъ все время не вѣрилъ, не могъ вѣрить, потому что это необыкновенно и немислимо: что естественная нить, связывавшая его съ родомъ человѣческимъ, сразу обрѣзана, точно ножницами. Если есть на свѣтѣ что-нибудь до конца противоестественное, чего нельзя представить себѣ никакимъ усиленіемъ воображенія, то именно это. Отрѣзанъ и отодвинутъ отъ *всѣхъ* людей, поставленъ *одинъ*, какъ на камень среди океана: этого человѣкъ не можетъ вынести, и это собственно и есть смерть; когда за моментомъ этого сознанія наступаетъ удушеніе, оно должно казаться счастьемъ,—такъ невыносимо это сознаніе.

И вотъ почему такъ подавляюще дѣйствуютъ смертныя казни на все общество: этотъ процессъ многократно-повторяемаго разрѣзанія естественной нити, пуповины, соединяющей отдѣльнаго человѣка съ родомъ людскимъ, сѣетъ въ странѣ настоящее безуміе. Не слѣдуетъ думать, что это слишкомъ сложно для толпы; нѣтъ: всѣ безсознательно ощущають это. Величайшее нарушеніе естества совершается всенародно; если бы оно случилось разъ, чувство неизбѣжности нормальнаго строя жизни (т.-е. непреложнаго родства людей) не было бы нарушено. Это—то же, что чудо: если бы чудеса начали совершаться ежедневно, людьми постепенно овладѣло бы безуміе. Но казни совершаются ежедневно, и вотъ кошмаръ расплзается по всей странѣ; ликъ естества искажается въ каждой душѣ; для каждаго совершенно

безсознательно распадается связь временъ,—и горничныя десятками бросаются въ Неву, отецъ стрѣляетъ въ дочь, шесть мужиковъ насилуютъ женщину, добрая мать становится раздражительной, сухой ученый превращается въ неврастеника. Изъ нихъ каждый совершаетъ свой поступокъ или впадаетъ въ свою болѣзнь по достаточнымъ личнымъ причинамъ; но эти причины—лишь поводы: воздухъ насыщенъ безуміемъ, и въ этой атмосферѣ малѣйшая искра вспыхиваетъ пожаромъ.

VI.

— Б. В. Добрышинъ. Задачи современной интеллигенціи. Спб. 1908.

Брошюра г. Добрышина заслуживаетъ того, чтобы сказать нѣсколько словъ,—правда, не столько о ней, сколько по поводу ея. Вопросъ, намѣченный въ ея заглавіи, теперь снова сталъ на очередь. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что преобладающее чувство въ русскомъ обществѣ нынѣ — чувство стыда и боли за понесенное пораженіе, и, какъ всегда бываетъ съ побѣжденными, вслѣдъ за угаромъ неудавшейся борьбы наступилъ періодъ самокритики. Интеллигентная масса еще растеряна, ея разбушевавшіеся аффекты еще не улеглись и слѣпо ищутъ себѣ выхода во всевозможныхъ экссесахъ, въ Натѣ Пинкертонѣ и порнографіи, и пройдетъ, вѣроятно, еще немало времени, прежде чѣмъ она вернется отъ мечты къ дѣйствительности и отъ аффекта къ мысли. Но въ передовой части общества мысль уже вступила въ свои права—и здѣсь она естественно направилась прежде всего на самоанализъ. Почему не удалась наша борьба? Нѣтъ ли въ нашемъ развитіи какой-нибудь роковой ошибки, которая обусловила неизбѣжность нашего пораженія?—и отсюда: чтѣ такое мы, русская интеллигенція, сами по себѣ, и каково наше положеніе въ массѣ народной? Эти вопросы неотступно стоятъ передъ сознаніемъ, ихъ разрѣшеніе—важнѣйшая задача нынѣшняго дня; совершенно ясно, что вся судьба русской интеллигенціи и ея идеаловъ зависитъ отъ искренности и глубины, съ которыми она сѣмѣетъ провѣрить устои собственнаго существованія.

Г. Добрышинъ говоритъ въ своей брошюрѣ о всевозможныхъ вещахъ: о личномъ совершенствованіи и задачахъ интеллигенціи, какъ цѣлаго, о терпимости и благожелательности, и проч. Главная его ошибка заключается въ томъ, что онъ рассматриваетъ интеллигенцію, какъ нѣчто отдѣльное, и безсознательно даже хотѣлъ бы еще болѣе изолировать ее, чѣмъ это есть нынѣ (его книжка имѣетъ подзаголовокъ: „Объединеніе интеллигенціи“). И вотъ эта его ошибка представляетъ серьезный интересъ, потому что она типична, потому что

она лежитъ въ основѣ едва-ли не всѣхъ разсужденій о роли нашей интеллигенціи, какія приходится встрѣчать за послѣднее время въ публицистикѣ.

Ошибка въ томъ, что наша интеллигенція—и тогда, когда мыслить о себѣ самой, и тогда, когда разсуждаетъ о своемъ долгѣ передъ народомъ—инстинктивно противопоставляетъ себя послѣднему, какъ нѣчто качественно отличное отъ него, и притомъ высшаго качества. Сознательно мы всѣ болѣемъ этимъ расколомъ, но онъ считается естественнымъ и неизбежнымъ; мы слишкомъ мало отдаемъ себѣ отчетъ въ томъ, какъ ненормально такое положеніе вещей, и еще меньше задумываемся надъ вопросомъ, такъ ли ужъ мы отличны отъ „народа“, какъ это намъ кажется. Мы—плоть отъ плоти его; наше расхожденіе съ нимъ началось такъ недавно; мы объединены съ нимъ общностью территоріи и языка, политическаго строя и безчисленныхъ бытовыхъ условій: мыслимо ли, чтобы наше несходство было органическимъ? Очевидно, что нѣтъ. А такъ какъ расколъ несомнѣнно существуетъ, то необходимо уяснить себѣ, какова же именно сфера расхожденія.

Уже не въ первый разъ наша общественная мысль останавливается на этихъ вопросахъ. Былъ моментъ въ нашемъ прошломъ, когда они стояли еще острѣе, чѣмъ теперь, когда на нихъ сосредоточивалась главная борьба умственныхъ теченій; это именно начало сороковыхъ годовъ, моментъ сформированія западничества и славянофильства. Въ литературѣ того времени вопросъ объ интеллигенціи и ея отношеніи къ народу былъ разработанъ такъ глубоко и всесторонне, что человѣку, знакомому съ этой литературой, всѣ нынѣшнія разсужденія на эти темы кажутся и старыми, и наивными. На первомъ мѣстѣ стоятъ здѣсь старые славянофилы, такъ преступно забытые либеральной частью нашего общества: у нихъ, и особенно у крупнѣйшаго изъ нихъ—И. В. Кирѣевскаго—можно найти по данному вопросу мысли, сохранившія всю свѣжесть и неожиданно освѣщающія предметъ съ такихъ сторонъ, о существованіи которыхъ обыкновенно и не догадываются.

Достаточно просмотрѣть „Дневникъ“ Герцена, чтобы видѣть, какъ мучительно ощущали и западники свою оторванность отъ народа. Но они не углублялись въ изслѣдованіе причинъ этого раскола, а главное—они видѣли въ немъ болѣзнь роста, тяжелое, но по своимъ послѣдствіямъ благотворное явленіе. Напротивъ, славянофилы, съ присущимъ имъ крѣпкимъ историческимъ чутьемъ, главное свое вниманіе обратили на безусловную ненормальность явленія. Исходя изъ представленія объ органической цѣльности національнаго бытія, они утверждали, что высшая образованность, литературное просвѣ-

щеніе страны, должна являться естественнымъ завершеніемъ народнаго быта, должна вырастать изъ него, какъ плодъ изъ сѣмени. Между смутнымъ чувствомъ народной массы и высшими проявленіями національнаго творчества въ искусствѣ и мышленіи должна существовать, говорили они, закономѣрная послѣдовательность, связывающая всю народную жизнь въ одно цѣлое. Такъ, говорили они, и обстоитъ дѣло на Западѣ; тамъ нѣтъ раскола между образованностью и мировоззрѣніемъ народа: „несознанная мысль, выработанная исторіей, страданная жизнью, потемненная ея многосложными отношеніями и разнородными интересами, восходитъ силою литературной дѣятельности по лѣстницѣ умственнаго развитія отъ низшихъ слоевъ общества до высшихъ круговъ его, отъ безотчетныхъ влеченій до послѣднихъ ступеней сознанія“, — и въ этомъ видѣ она является уже не остроумной идеей, не діалектической игрой, но глубоко-серьезнымъ дѣломъ внутреннего самопознанія. У насъ просвѣщеніе оторвалось отъ народной почвы, и это одинаково вредно отражается на обѣихъ сторонахъ: этотъ разрывъ остановилъ умственное развитіе народа и искусственно ускорилъ образованность оторванныхъ отъ него высшихъ классовъ, подобно тому, „какъ тяжелый экипажъ, валоженный гусемъ, станетъ на мѣстѣ, когда лопнутъ передніе постромки, между тѣмъ какъ оторванный форейторъ тѣмъ легче уносится впередъ“. Въ результатѣ — народъ коснѣетъ въ невѣжествѣ, а высшее наше просвѣщеніе поражено искусственной отвлеченностью и бесплодіемъ, ибо не имѣетъ корней въ землѣ. При такихъ условіяхъ что можетъ сдѣлать интеллигенція для народа? Между ними нѣтъ умственной связи, у нихъ нѣтъ общаго языка. Душа народа — вовсе не „*tabula rasa*“, на которой безъ труда можно чертить письма высшей образованности: у него есть своя образованность, укоренившаяся тысячелѣтіями и по существу отличная отъ нашей.

Разработка этой мысли — о своеобразной насыщенности народнаго духа, препятствующей свободному проникновенію въ народъ нашей образованности, — составляетъ одну изъ главныхъ заслугъ славянофильства. Славянофилы твердо помнили то, что мы слишкомъ часто склонны забывать, — что народъ нашъ — не только ребенокъ, но и старикъ, ребенокъ по знаніямъ, но старикъ по жизненному опыту и основанному на немъ мировоззрѣнію. Можно не соглашаться съ тѣмъ, какъ славянофилы опредѣляли характеръ народнаго мировоззрѣнія въ отличіе отъ мировоззрѣнія образованныхъ классовъ, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что у народа есть, и по существу вещей не можетъ не быть, извѣстная совокупность незыблемыхъ идей, вѣрованій, симпатій; и это въ первой линіи — идеи и вѣрованія религіозно-метафизическія, т.-е. тѣ, которыя, разъ сложившись, опредѣляютъ все мышленіе и всю дѣя-

тельность человѣка. Въ этой именно точкѣ—корень нашего расхожденія съ народомъ, такъ какъ *наше* просвѣщеніе основано на метафизикѣ совершенно иного рода, на метафизикѣ позитивной, атеистической. Такимъ образомъ, расколъ между нашей интеллигенціей и народомъ происходитъ не отъ различія степеней образованности, а отъ разнородности самыхъ основъ мышленія. Публицисты убѣдили насъ, что главной причиной неуспѣшности воздѣйствія интеллигенціи на народъ являются тѣ препятствія, которыя ставятъ этому воздѣйствію власть. Но это невѣрно: безконечно болѣе важнымъ препятствіемъ является отсутствіе общаго языка. Интеллигенція изъ кожи лѣзетъ, чтобы просвѣтить народъ, она засыпаетъ его милліонами экземпляровъ популярно-научныхъ книжекъ, учреждаетъ для него библіотеки и читальни, издаетъ для него дешевые журналы,—и все безъ толку, потому что она не заботится о томъ, чтобы приноровить весь этотъ матеріалъ къ его уже готовымъ понятіямъ, потому что она объясняетъ ему частные вопросы знанія безъ всякаго отношенія къ его центральнымъ убѣжденіямъ, которыхъ она не только не знаетъ, но даже и не предполагаетъ въ немъ. „Замѣнить литературными понятіями коренныя убѣжденія народа—говоритъ Кирѣевскій—такъ же легко, какъ отвлеченной мыслью пережѣвить кости развившагося организма“. Здѣсь есть еще и другая ошибка. Подавляющая масса просвѣтительнаго матеріала, предлагаемаго народу, имѣетъ своимъ предметомъ чистое знаніе. Между тѣмъ, интересъ къ знанію возникаетъ лишь на высокой ступени развитія. Всѣ, кто внимательно и съ любовью приглядывались къ нашему народу,—и между ними столь разнородные люди, какъ Рачинскій и Г. Успенскій,—единогласно свидѣтельствуютъ, что народъ ищетъ знанія исключительно практическаго, и именно двухъ родовъ—низшаго, техническаго, включая грамоту, и высшаго, метафизическаго, уясняющаго смыслъ жизни и дающаго силу жить. Этого послѣдняго знанія мы совсѣмъ не даемъ народу—мы не культивируемъ его и для насъ самихъ. Зато мы въ огромныхъ количествахъ стараемся перелить въ народъ *наше* знаніе, отвлеченное, научное, лишенное нравственныхъ элементовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ пропитанное опредѣленнымъ раціоналистическимъ духомъ. *Этого* знанія народъ не можетъ принять, какъ потому, что онъ еще не ощущаетъ потребности въ немъ, т. е. интереса къ нему, такъ и потому, что общій характеръ этого знанія встрѣчаетъ отпоръ въ его собственномъ исконномъ міропониманіи. Отдѣленная пропастью отъ народа, интеллигенція не можетъ быть ни здорова, ни сильна для побѣды; а для того, чтобы слиться съ народомъ, она должна вернуться на общую почву съ нимъ,—на почву религіозно-метафизической мысли. Это, разумѣется, не значитъ, что намъ слѣдуетъ вернуться къ даннымъ фор-

мамъ народныхъ вѣрованій: рѣчь идетъ не о содержаніи, а о самомъ объектѣ интереса и мысли, о томъ, что составляетъ главный предметъ народнаго мышленія, и что у интеллигенціи такъ долго было въ презрѣніи.—М. Г.

VII.

— Викторъ Черновъ. Теоретика романскаго синдикализма. Поль Луи. Исторія синдикализма во Франціи. Спб. 1908.

Терминъ „синдикатъ“ имѣетъ во Франціи довольно широкое примѣненіе, и онъ употребляется, между прочимъ, для обозначенія профессиональныхъ организацій рабочаго класса. Словомъ же „синдикализмъ“ именуется также такая система классовой борьбы пролетаріата, цѣлью которой, кромѣ достиженія непосредственныхъ практическихъ результатовъ, служитъ ниспроверженіе господствующаго капиталистическаго строя, а средствами—непосредственныя и преимущественно экономическія выступленія рабочихъ. Эта система считается характерной для профессиональныхъ организацій французскихъ рабочихъ, которыя, поэтому, отличаются отъ англійскихъ трэдъ-юніоновъ стараго типа тѣмъ, что не довольствуются преслѣдованіемъ ближайшихъ задачъ, а задаются цѣлью кореннаго переустройства общества, а отъ другихъ социалистическихъ теченій,—тѣмъ, что отворачиваются отъ партійной борьбы въ парламентахъ. Система синдикализма считается выработанной самостоятельно рабочимъ классомъ Франціи, пришедшимъ къ ней не путемъ теоретическихъ разсужденій или научныхъ изслѣдованій, а практически, въ процессѣ развитія организованной борьбы за свое благополучіе. Дѣйствительно, въ исторіи французскаго синдикальнаго движенія вы почти не встрѣтите именъ вліяющихъ на него интеллигентовъ. Но интеллигенція, конечно, не оставалась равнодушной къ тенденціямъ, проявлявшимся въ средѣ французскихъ рабочихъ, и въ настоящее время насчитывается много именъ французскихъ и итальянскихъ писателей, стремящихся къ теоретическому обоснованію тактики французскихъ синдикатовъ.

Книга, названная выше, разсматриваетъ обѣ стороны синдикальнаго движенія. Перу французскаго автора принадлежитъ изложеніе исторіи синдикальныхъ организацій французскихъ рабочихъ; русскій писатель разбираетъ теоретическія построенія приверженцевъ синдикализма. Исторію синдикальнаго движенія французскихъ рабочихъ молодой французскій писатель, Поль Луи, начинаетъ съ общества взаимопомощи, возникшихъ послѣ первой революціи, на ряду со старыми организаціями подмастерьевъ, и имѣвшихъ цѣлью „предохранить своихъ членовъ отъ вреда, приносимаго неодоушевленными предме-

тами". Соответственно слабому развитію капиталистической промышленности и антагонизма рабочих и хозяевъ въ тѣ времена, „рабочіе меньше думали о борьбѣ противъ хозяевъ или объ уменьшеніи рабочаго дня, чѣмъ о предохраненіи себя отъ ударовъ судьбы". „На нихъ производили наибольшее впечатлѣніе частныя несчастныя случаи или безработица и ихъ денежная безпомощность для борьбы съ болѣзнями". Общества взаимопомощи и преслѣдовали цѣли ослабленія результатовъ этихъ несчастныхъ „случайностей". Вторая четверть истекшаго столѣтія отличается бѣдственнымъ состояніемъ рабочихъ классовъ во Франціи, какъ слѣдствіемъ завершенія „великихъ переворотовъ въ орудіяхъ производства, когда конкуренція все обостралась, и хроническое перепроизводство впервые показало свое злое жало". Хозяева упорно стремились къ пониженію заработной платы, а рабочіе сопротивлялись имъ и прибѣгали къ стачкамъ. Старые союзы подмастерьевъ и взаимопомощи не были приспособлены для такой борьбы, и отвѣтомъ на новую потребность пролетаріата были новые союзы „сопротивленія", сначала придерживавшіеся оборонительной, а позже перешедшіе къ наступательной стачечной борьбѣ за возвышеніе заработной платы и укороченіе рабочаго дня. Упроченіе такихъ организацій служитъ признакомъ того, что рабочій классъ понималъ „постоянный антагонизмъ между своими интересами и интересами капиталистовъ". Въ концѣ сороковыхъ годовъ французскіе рабочіе близки были къ уклоненію отъ пути классовой борьбы и увѣровали въ возможность упраздненія существующаго хозяйственнаго строя путемъ учрежденія производительныхъ ассоціацій. Бѣдственное положеніе рабочихъ естественнымъ образомъ располагало ихъ къ воспріятію социалистическихъ ученій о полномъ упраздненіи тѣхъ порядковъ, которые приносятъ имъ столько зла; и эти ученія „съ необычайной быстротой и легкостью распространялись въ народныхъ массахъ". „Волнуемый различными теченіями, убѣжденный въ практической цѣнности гуманитарныхъ формулъ, полный вѣры въ свои молодыя силы, пролетаріатъ стремится мирно преобразовать общественный строй. Въ своемъ глубокомъ и наивномъ идеализмѣ онъ ждетъ отъ государства освободительныхъ декретовъ. Неискушенный опытомъ, онъ замѣняетъ организацію энтузіазмомъ. Но его надежды внезапно рушатся, столкнувшись съ суровой жизнью, и июньская катастрофа даетъ ему зловѣщій урокъ". Послѣ того рабочія профессиональныя организаціи подверглись разгрому, и во время второй имперіи имъ пришлось вновь возрождаться изъ пепла. Правительство допускало, конечно, только мирныя общества взаимопомощи и кооперации; но подъ скромнымъ знакомъ выдачи пособій своимъ членамъ эти общества „на самомъ дѣлѣ превращаются мало-по-малу въ союзы со-

противленія*. Новыя профессиональныя организаціи, впрочемъ, значительно расширяють свои задачи и „къ требованію коллективнаго тарифа присоединяють другія пожеланія и вырабатываютъ сложныя программы, въ которыхъ организація бюро по найму и образованіе членовъ играютъ довольно видную роль“.

По мѣрѣ дальнѣйшаго развитія профессиональныхъ союзовъ, называемыхъ отнынѣ синдикатами, послѣдніе начинаютъ болѣе и болѣе усваивать коллективистическія идеалы и именовать себя социалистическими. Въ самой организаціи наблюдается значительный прогрессъ, и отдѣльные синдикаты начинаютъ объединяться въ федераціи по профессіямъ. Это объединеніе дало сильный толчокъ развитію профессиональныхъ организацій, потому что федераціи, „разъ охвативъ определенное число синдикатовъ, ведутъ удивительно интенсивную пропаганду въ самыхъ отсталыхъ мѣстностяхъ“. Хотя первыя федераціи возникли еще въ прежнія времена, но „большая часть федеральныхъ ассоціацій упрочила свое существованіе только въ очень недавнее время“. Дальнѣйшимъ шагомъ въ развитіи профессиональныхъ организацій французскихъ рабочихъ было образованіе биржъ труда, объединяющихъ всѣ синдикаты одного города; а еще выше ихъ стоитъ общая конфедерація труда. „Объединяя въ своихъ предѣлахъ и федерацію, и биржи труда, и, при ихъ посредствѣ, первичныя ячейки, она собираетъ весь борющійся пролетаріатъ въ одну единую армію. Своимъ всеобъемлющимъ содержаніемъ она реализуетъ однородность классоваго строенія“. Первыя биржи труда образовались въ концѣ 80-хъ годовъ, но значительное развитіе онѣ получили съ начала 90-хъ гг., и въ настоящее время число этихъ организацій приближается къ 150-ти. Биржи труда объединяють, впрочемъ, далеко не всѣ синдикаты; въ эти организаціи входитъ около трети (1.600) всего числа синдикатовъ. То же самое надлежитъ сказать и относительно конфедераціи труда: къ ней применили 2.400 синдикатовъ, заключающихъ 200 тыс. рабочихъ. Составъ конфедераціи труда, впрочемъ, быстро увеличивается, и въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ къ ней присоединилось 600 новыхъ профессиональныхъ союзовъ. Если національное объединеніе французскихъ рабочихъ въ общей конфедераціи труда служить показателемъ распространенія того вида синдикализма, который ставитъ себѣ задачей, между прочимъ, испроверженіе господствующихъ экономическихъ порядковъ, то приведенныя выше цифры свидѣтельствуютъ пока о слабомъ развитіи этого движенія.

Статья Поля Луи слѣдитъ главнымъ образомъ за внѣшней исторіей синдикальнаго движенія во Франціи и очень мало останавливается на развитіи идейной стороны такъ-называемаго революціоннаго син-

дикализма. Въ этомъ отношеніи рассмотрѣнный нами ранѣе трудъ русскихъ авторовъ, г.г. Критской и Лебедева, болѣе удовлетворить читателя. Зато въ вышедшемъ нынѣ изданіи мы находимъ обстоятельный разборъ теоріи этого синдикализма, сдѣланный г. Черновымъ. Идеи авторовъ этой теоріи, правда,—не совершенно то же самое, что идеи французскихъ синдикалистовъ-рабочихъ. Теоретики синдикализма не принадлежатъ къ рабочей средѣ и не принимаютъ участія въ синдикальномъ движеніи. Они лишь сочувствуютъ идеямъ послѣдняго и пытаются дать имъ теоретическое обоснованіе. Соціально-политическое значеніе этой теоріи рѣзко поэтому отличается отъ того, какое мы наблюдаемъ въ отношеніи хотя бы теоріи социаль-демократіи. Послѣдняя первоначально возникла въ кабинетахъ ученыхъ публицистовъ и политическихъ дѣятелей, и рабочіе примкнули къ той программѣ (соціалистической), какая изъ нея вытекала. Первая сдѣлалась кабинетнымъ произведеніемъ послѣ того, какъ соотвѣтствующее ей направленіе дѣятельности рабочихъ опредѣлилось въ жизни. Если съ практической стороны доктрина синдикализма питается такимъ образомъ соками чисто рабочаго движенія, то въ теоретическомъ отношеніи она основывается на ученіи Маркса. Или, какъ говоритъ авторъ статьи о теоретикахъ социализма въ рассматриваемомъ изданіи, „синдикализмъ вытекаетъ изъ двухъ лозунговъ: теоретическаго—„возвратъ къ Марксу“, и практическаго—„возвратъ къ чисто пролетарскому первоисточнику социализма“. Теоретики-синдикалисты (Ж. Сорель, Леоне, Лабріола, Лагардель и др.) находятъ, что социаль-демократы слишкомъ умалили значеніе экономики въ общественной жизни и приписываютъ преувеличенное значеніе политикѣ и идеологіи, и вълѣдствіе этого затушевываютъ классовый характеръ современной борьбы, образуя партіи, составленныя изъ самыхъ разнородныхъ соціальныхъ элементовъ, и задерживаютъ развитіе борьбы классовъ, увлекая пролетаріатъ въ политику, представляющую ограниченное поле для развитія его самодѣятельности. Первоначальнымъ факторомъ эволюціи, согласно Марксу, являются экономическія, даже производственныя отношенія. Экономическія же организаціи рабочихъ послужатъ и главнымъ агентомъ разрушенія господствующаго и созиданія новаго строя. На экономической же почвѣ невозможно такое смѣшеніе соціальныхъ элементовъ, какъ въ области политики, и экономическая борьба ведетъ, поэтому, къ самому рѣзкому разграниченію между классами. Г. Черновъ слѣдитъ шагъ за шагомъ за главнѣйшими аргументами синдикалистовъ и высказываетъ по этому предмету много вѣрныхъ и интересныхъ соображеній. Не лишнее, однако, замѣтить, что этотъ авторъ рассматриваетъ ученіе синдикалистовъ не

только, какъ безстрастный критикъ, но и какъ членъ партіи, расширяющій ея воззрѣнія.

VIII.

— Д-ръ Франке. Земельныя правоотношенія въ Китаѣ. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей, съ примѣчаніями и дополненіями Н. И. Кохановскаго, преподавателя юридическихъ наукъ въ Восточномъ институтѣ. Владивостокъ. 1908.

Книга эта толкуетъ о предметѣ, о которомъ въ Европѣ существуютъ весьма смутныя понятія, но который въ наши дни приобретаетъ болѣе и болѣе интересъ, какъ потому что народъ, къ которому онъ относится, теперь просыпается отъ вѣкового сна и будетъ играть болѣе активную роль въ международныхъ отношеніяхъ, такъ и по причинѣ разрастающихся коммерческихъ связей европейцевъ въ Китаѣ и участія первыхъ въ землевладѣніи этой страны. Но удовлетворительное изложенеіе порядковъ китайскаго землевладѣнія представляетъ большія трудности потому, что ни въ европейской, ни въ китайской литературѣ не существуетъ ни научной разработки даннаго вопроса, ни систематически собраннаго на этотъ счетъ матеріала. На нѣмецкомъ языкѣ, говоритъ авторъ разсматриваемаго нами труда, о правоотношеніяхъ земельной собственности въ Китаѣ „до сихъ поръ ничего не написано; въ англійской же и французской литературахъ имѣются лишь статьи теоретическаго содержанія, безъ отношенія къ дѣйствительнымъ обстоятельствамъ настоящаго времени и къ его практическимъ требованіямъ, или же сводки матеріаловъ чисто практическаго характера безъ научной системы“. Китайскіе источники также не представляютъ достаточныхъ данныхъ для систематическаго описанія порядковъ современнаго землевладѣнія этой оригинальной страны, и „чтобы постичь часто лишь съ трудомъ уясняемыя явленія китайской духовной жизни въ ихъ внутреннемъ содержаніи“, авторъ примѣнилъ методъ историческаго изученія предмета, матеріалами для котораго служили главнымъ образомъ немногіе сборники старыхъ законовъ, императорскіе указы, резолюціи, официальные историческія изданія и мѣстныя описанія и т. д. Авторъ обращался, какъ онъ говоритъ, „къ мудрости древнихъ эпохъ, какъ первоначальному источнику китайскихъ воззрѣній, и отсюда слѣдилъ историческій ходъ развитія до настоящаго времени“. Не лишнее замѣтить, что самъ авторъ не только жилъ въ Китаѣ, но и имѣетъ опытъ „собственной долготѣней практики въ дѣлѣ китайской земельной регистраціи“. Это представляетъ важное значеніе, потому что открыло ему возможность пользоваться неписаннымъ обычнымъ правомъ, которое „уважается каждымъ чиновникомъ и никѣмъ безнаказанно не нарушается“. Такъ какъ мѣ-

стные обычаи касательно землевладѣнія различны въ каждой провинціи и часто даже въ каждой области и уѣздѣ, и „этотъ первобытный лѣсъ часто своеобразныхъ воззрѣній и обычаевъ изслѣдованъ только въ малой части“, то понятно, какое значеніе имѣютъ здѣсь личныя наблюденія автора. Не слѣдуетъ, однако, забывать, что эти послѣднія по необходимости должны быть весьма ограничены; а такъ какъ авторъ не довольствовался простымъ описаніемъ явленія, а старался привести китайскія земельныя отношенія въ систему согласно европейскимъ понятіямъ, можно пожалуй ожидать, что эта попытка не осталась безъ вліянія на истолкованіе фактовъ китайскаго быта, и порядки китайскаго землевладѣнія представлены въ разсматриваемомъ сочиненіи до извѣстной степени оевропеизированными.

Д-ръ Франке отвергаетъ общераспространенное въ Европѣ мнѣніе, что „всѣ земли китайской государственной территории принадлежать императору, какъ воплощенію абсолютной государственной власти“. Это было нѣкогда въ Китаѣ, какъ и въ другихъ странахъ, но въ историческомъ процессѣ въ Китаѣ, какъ и вездѣ, коллективное владѣніе землей постепенно преобразовывалось въ индивидуальное. Императору же считаются принадлежащими всѣ безхозяйныя земли и неразработанныя пустоши. „Содержаніе права частной земельной собственности въ Китаѣ—на столько же полное, какъ въ любомъ другомъ государствѣ міра“; но развитіе индивидуализма не достигло здѣсь той степени, какъ въ Европѣ, и ограничивающимъ его моментомъ служатъ интересы семьи, представляющей, „въ соответствии съ воззрѣніями народа, единицей“. „По праву купли-продажа земли допущена совершенно такъ же, какъ купля-продажа скота или товаровъ“, за исключеніемъ тѣхъ земель, которыя служатъ для почитанія предковъ. Но по воззрѣніямъ народа „купля земли принимается какъ неизбежное зло, а продажа ея признается вообще предосудительной“. Такое воззрѣніе образовалось естественно, соответственно тому, что земля въ теченіе тысячелѣтій была единственнымъ почти источникомъ существованія массъ, и участокъ ея сдѣлался роднымъ для давней семьи. Въ большихъ городахъ и портахъ, подъ вліяніемъ Запада, по практическимъ соображеніямъ, отступаютъ отъ этого обычая, но въ деревняхъ продажа земли наблюдается весьма рѣдко, а начальные фразы купчихъ актовъ (въ родѣ, напр., слѣдующей: „такъ какъ мнѣ настоятельно нужны наличныя деньги, всѣ же средства получить таковыя исчерпаны, то я желаю продать“ и т. д.) показываютъ, что уважительнымъ основаніемъ для отчужденія отцовской земли считается крайняя необходимость. Чаше, вѣроятно, практикуется—а первоначально была единственнымъ способомъ перенесенія земельной собственности—продажа земли съ правомъ выкупа, но простетвіи на-

значеннаго срока. Эта форма продажи вполне соответствует взгляду китайцевъ на землю, какъ на имущество, по возможности не подлежащее отчужденію, и является компромиссомъ между господствующими взглядами и требованіями обстоятельствъ. Проявленіе индивидуализма въ земельной области ограничивается, однако, и закономъ въ отношеніи перехода земли по наслѣдству. „Китайское право не признаетъ посмертной воли завѣщателя“, и семейный участокъ, послѣ смерти его обладателя (движимое имущество — также), дѣлится поровну между сыновьями „безъ различія происхожденія отъ законной жены, отъ побочныхъ женъ или отъ рабынь“. О слабомъ развитіи индивидуализма въ области земельныхъ отношеній Китая можно еще судить потому, что регистрація землевладѣнія совершается тамъ не въ цѣляхъ его укрѣпленія, а для взиманія государственныхъ налоговъ. Послѣднія главы своего труда д-ръ Франке посвятилъ вопросу о правахъ иностранцевъ на землевладѣніе въ Китаѣ. Права эти находятся въ періодѣ образованія, которое совершается подъ вліяніемъ съ одной стороны препятствій, воздвигаемыхъ китайскимъ правительствомъ развитію иностраннаго землевладѣнія, съ другой — настоятельныхъ стремленій иностранцевъ, по коммерческимъ соображеніямъ, приобрѣтать землю въ Китаѣ. Стремленія эти, конечно, поддерживаются ихъ правительствами, и врядъ-ли можно сомнѣваться въ томъ, что побѣда окажется на сторонѣ иностранцевъ.

IX.

— П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюціи Россіи. Томъ I. Разложеніе натурального строя и условія образованія сельско-хозяйственнаго рынка. Сиб. 1908.

Авторъ названнаго сочиненія задался весьма важной и интересной темой — прослѣдить аграрную эволюцію Россіи отъ древнѣйшихъ временъ до самаго послѣдняго момента. Первый томъ его работы можно считать состоящимъ изъ четырехъ частей: общей или теоретической, исторической, описанія современнаго сельско-хозяйственнаго рынка и описанія отношеній къ послѣднему крестьянскаго хозяйства. Приступая къ выполненію своей прямой задачи, авторъ не могъ не признать, что экономическая исторія Россіи разработана весьма недостаточно, а „древній нашъ хозяйственный строй почти еще совсѣмъ не затронутъ систематическимъ изученіемъ“, почему отвѣтъ на вопросъ объ аграрно-экономической эволюціи Россіи „мы можемъ получить только въ самой общей формѣ и притомъ построенный скорѣе на косвенныхъ, чѣмъ на прямыхъ указаніяхъ“ (стр. 112). Несмотря на эту бѣдность матеріаловъ, въ книгѣ г. Лященко мы на-

ходитъ описаннымъ совершенно опредѣленный процессъ аграрной эволюціи Россіи и высказаннымъ совершенно опредѣленное на нее воззрѣніе. Столь благоприятные по видимости результаты изученія достигнуты были потому, что авторъ не производилъ историческаго изслѣдованія того, какія фактически совершались перемѣны въ аграрныхъ и аграрно-культурныхъ отношеніяхъ нашей страны; онъ искалъ въ историческихъ фактахъ указанія на то, „какимъ образомъ возникали и развивались въ аграрно-экономической эволюціи Россіи явленія, соответствующія“ тѣмъ, какія авторъ считаетъ — на основаніи ученій Зомбарта и Карла Бюхера — совершившимися на Западѣ. Въ исторической части своего труда г. Лященко является передъ нами поэтому не историкомъ, а экономистомъ, придерживающимся опредѣленнаго воззрѣнія на направленіе экономической эволюціи прогрессирующихъ народовъ и подбирающимъ указанія на то, что это ученіе приложимо къ экономической эволюціи и нашей страны. Такъ какъ исповѣдываемая имъ теорія заключаетъ много такого, что въ большей или меньшей степени приложимо ко всякой странѣ, а отсутствіе достаточнаго матеріала не позволяетъ научно установить *степень* приложимости ея къ тому, что имѣло мѣсто въ исторіи Россіи, то отъ воли самаго писателя зависитъ придать большее или меньшее значеніе фактамъ, согласнымъ съ исторіей. Воля г. Лященко была за полное оправданіе теоріи фактами экономической эволюціи Россіи; но онъ на столько сознательно относится ко всему этому предмету, что не скрываетъ, что его заключенія о характерѣ аграрной эволюціи Россіи построены „скорѣе на косвенныхъ, чѣмъ на прямыхъ указаніяхъ“ (стр. 112). Это признаніе, однако, нимало не вліяетъ на его отношенія къ своимъ выводамъ, и послѣдніе въ его устахъ получаютъ видъ непогрѣшимой истины.

Исповѣдываемая г. Лященко теорія учить, что источникомъ первоначальнаго накопленія капитала служатъ (согласно Зомарту) поземельныя ренты; что образованныя такимъ образомъ суммы обращаются въ торговлю, подчиняютъ себѣ мелкаго производителя, сначала какъ своего данника, а въ послѣдствіи какъ наемнаго рабочаго въ организуемыхъ капиталомъ мануфактурахъ и фабрикахъ; что процессъ эволюціи сельскаго хозяйства по существу не отличается отъ того, который установленъ довольно прочно для обрабатывающей промышленности; что общераспространенный типъ мелкаго земледѣльца, работающаго на отдаленные рынки, представляетъ полную аналогію кустарю, какъ по степени эксплуатаціи его торговцемъ, такъ и потому, что и тотъ, и другой образуютъ переходныя ступени въ капитализаціи соответствующей промышленности. „Послѣ этого подчиненія земледѣльческаго хозяйства денежно-торговому капиталу,—гово-

рить г. Лященко, — начинается болѣе широкое развитіе въ немъ капиталистическихъ отношеній, приводящее въ концѣ къ капитализаціи всего земледѣльческаго производства". Русское земледѣліе находится пока на стадіи подчиненія мелкаго производителя торговому капиталу. „Въ русскомъ земледѣльческомъ хозяйствѣ, съ его массою историческихъ пережитковъ и съ недостаточнымъ развитіемъ вообще производительнаго капитализма, эта система является и по количеству, и по значенію своему преобладающей. Но, конечно, въ той же народной жизни назрѣваютъ и условія капитализаціи земледѣльской промышленности, такъ же, какъ и обрабатывающей; все болѣе успѣшно развивается капиталистическій процессъ, идущій на смѣну прежнимъ формамъ некапиталистическаго и домашняго производства“ — такъ заканчивается книга г. Лященко.

Мы сказали, что авторъ не производитъ историческихъ изслѣдованій, а пользуется историческими фактами для подтвержденія той предвзятой мысли, съ какою онъ приступилъ къ своему труду. Въ угоду этой мысли онъ выкидываетъ цѣлыя категоріи фактовъ и даже цѣлые періоды исторіи. Для примѣра укажемъ на его приемы доказательства того, что „такъ называемое первоначальное накопленіе возникло въ Руси путемъ совершенно-аналогичнымъ, какъ въ Зап. Европѣ, т.-е. путемъ накопленія рентъ“ (стр. 127). „Капиталъ, зародившійся въ землевладѣніи въ видѣ накопленныхъ рентъ, нашелъ себѣ въ тогдашнихъ условіяхъ русской жизни, въ географическомъ положеніи Россіи, въ ея отношеніяхъ къ иностраннымъ народностямъ, блестящій расцвѣтъ въ формѣ торговаго капитала“, первоначально работавшаго „главнымъ образомъ на внѣшній рынокъ“ (стр. 134). Для доказательства этой мысли надлежало бы, конечно, обратиться къ наиболѣе отдаленному времени орудованія капитала, къ эпохѣ кievской Руси. Но авторъ взялъ изъ этой эпохи лишь указанія Русской Правды на аграрныя отношенія, весьма мало выясненные, и совершенно игнорировалъ ея важнѣйшую характерную черту — блестящее состояніе внѣшней торговли кievской Руси; и не напрасно: этотъ періодъ находится въ полномъ противорѣчій съ его ученіемъ. „Если судить о кievской Руси по быту высшихъ классовъ, — говоритъ нашъ извѣстный историкъ, — можно предполагать въ ней значительные успѣхи матеріальнаго довольства, гражданственности и просвѣщенія. Руководящая сила народнаго богатства, внѣшняя торговля сообщала жизни много движенія, приносила на Русь большія богатства“. Откуда же брались капиталы для этой торговли и какую роль играла въ его накопленіи эксплуатація населенія подѣ титуломъ землевладѣнія, полученія поземельныхъ рентъ? „Дань, шедшая кievскому князю съ дружиной, питала внѣшнюю торговлю Россіи“, — объясняетъ тотъ же ученый.

Что же касается накопленія поземельныхъ рентъ, то „до конца X в. господствующій классъ русскаго общества остается городскимъ по мѣсту и характеру жизни. *Управленіе и торговля* давали ему столько житейскихъ выгодъ, что онъ еще не думалъ о „землевладѣніи“. Мало того, что полученіе поземельныхъ рентъ не играло никакой роли въ „первоначальномъ накопленіи“ въ кievской Руси,—самая возможность полученія этихъ рентъ была результатомъ предварительнаго накопленія капитала иными путями. Одной изъ вещественныхъ формъ этого предварительно накопленнаго капитала были рабы, составлявшіе важный предметъ внѣшней торговли русскихъ. А скопленіе въ рукахъ высшихъ городскихъ классовъ этого товара привело ихъ къ мысли эксплуатировать его также въ качествѣ рабочей силы въ земледѣліи. „Отсюда можно заключить, что самая идея о правѣ собственности на землю, о возможности владѣть землею, какъ всякою другою вещью, вытекла изъ рабовладѣнія, была развитіемъ мысли о правѣ собственности на холопа“ ¹⁾).

Уже на основаніи сказаннаго читатель можетъ допустить мысль, что исторія аграрныхъ отношеній Россіи, изображенная въ разсматриваемомъ сочиненіи, въ значительной степени конструирована, а не изслѣдована. Это, однако, не лишаетъ соответствующую часть книги г. Лященко значенія. Напротивъ, она читается съ интересомъ и потому, что въ ней есть много вѣрнаго, и что она представляетъ попытку примѣненія къ нашей странѣ теоріи, пользующейся большимъ распространеніемъ, и что любопытно слѣдить за тѣми приемами, помощью которыхъ дѣйствительная исторія втискивается въ рамки этой теоріи. Другія части разсматриваемаго сочиненія представляютъ болѣе самостоятельный и болѣе солидный интересъ, потому что, внося въ предметъ мало новаго, авторъ, однако, оперируетъ съ болѣе точнымъ и болѣе доступнымъ ему матеріаломъ и разсматриваетъ весьма важные вопросы современнаго хозяйственнаго быта. Онъ описываетъ, какимъ образомъ, послѣ крестьянской реформы, измѣнился характеръ земледѣльческаго производства, сдѣлавшагося по преимуществу крестьянскимъ; какъ развитіе денежнаго хозяйства побуждало крестьянина къ большому и большому расширенію своихъ посѣвовъ (на счетъ помѣщичьихъ) и отчужденію добываемаго зерна; какъ отразилось увеличеніе крестьянскихъ продажъ на измѣненіи характера хлѣбной торговли и „вмѣстѣ съ демократизаціей и децентрализаціей земледѣльческаго производства началась демократизація рынка и децентрализація торговли“; какъ всѣ эти процессы, имѣвшіе первоначальной причиной условія освобожденія помѣщичьихъ крестьянъ, были затѣмъ

¹⁾ Проф. В. Ключевскій. Курсъ русской исторіи, часть I, лекціи X, XV.

поддержаны сооруженіемъ желѣзныхъ дорогъ и тарифной желѣзнодорожной политикой, которыя, вмѣстѣ съ тѣмъ, повели къ развитію хлѣбной конкуренціи окраинъ съ центромъ. Всѣ эти явленія знаменовали и обуславливали огромное развитіе сельско-хозяйственнаго рынка и расширеніе поля дѣйствія торговаго капитала, который и въ настоящее время развивается гораздо быстрее, чѣмъ капиталъ производительный. Разъ втянутый въ товарное обращеніе—при условіяхъ нашей дѣйствительности, когда крестьянину приходится ограничиваться производствомъ чуть ли не одного только зерна—мелкій производитель побуждается къ большому и большому сбыту послѣдняго при понижающихся на него цѣнахъ, и у насъ поэтому больше и больше развивается типъ хозяина, работающаго на скупщика. Въ послѣдней главѣ, на основаніи преимущественно данныхъ земской статистики, авторъ пытается дать цифровое выраженіе различнымъ явленіямъ развитія „производства на скупщика“.

Наиболѣе, впрочемъ, интересной частью книги г. Лященко слѣдуетъ признать главу IX-ую, посвященную изученію внутренняго сельско-хозяйственнаго рынка — предметъ, которымъ онъ самъ спеціально занимается и для котораго онъ пользовался, между прочимъ, неопубликованными официальными данными о хлѣбныхъ запасахъ на рынкахъ. Глава эта особенно интересна еще потому, что различныя явленія обращенія хлѣба, кромѣ развѣ движенія его по желѣзнымъ дорогамъ, привлекали мало вниманія общей литературы. Но предметъ этой главы—урожай и запасы хлѣба, передвиженія послѣдняго, хлѣбныя цѣны и т. п.—имѣютъ болѣе спеціальный характеръ и мало еще интересуютъ средняго русскаго читателя. Къ книгѣ г. Лященко приложена библіографія литературы по экономической исторіи сельскаго крѣпостнаго хозяйства.

Х.

— Очерки сельско-хозяйственнаго строя въ Бельгін. Сиб. 1908.

Эта книжка входитъ въ серію изданій, предпринятыхъ Главнымъ Управленіемъ землеустройства и земледѣлія и посвященныхъ „вопросамъ аграрнаго законодательства и современному положенію землевлѣдѣнія и землепользованія въ западно-европейскихъ странахъ. Цѣль этихъ изданій — ознакомить русское общество и дѣятелей по землеустройству съ тѣми многообразными способами правительственнаго и общественнаго воздѣйствія, которымъ главнымъ образомъ и обязано сельское хозяйство за-границей своимъ прогрессомъ“. Содержаніе книжки не совсѣмъ соответствуетъ ея заголовку, и подъ именемъ „сельско-хозяйственнаго строя“ излагается дѣятельность правитель-

ства по воспособленію сельскому хозяйству и состояніе сельской кооперации въ Бельгіи. Изложенію этихъ предметовъ предпослано введение, заключающее нѣкоторыя свѣдѣнія о сельско-хозяйственныхъ районахъ и аграрныхъ отношеніяхъ въ Бельгіи. Книжка написана недостаточно интересно и мало удовлетворяетъ поставленному Главнымъ Управленіемъ „непременному условію сообщать по преимуществу лишь конкретныя, вполне опредѣленныя практическія свѣдѣнія“. Если подъ „практическими“ свѣдѣніями понимать подробное изложеніе уставовъ различныхъ обществъ, то рассматриваемое изданіе отвѣчаетъ этому условію. Если же практика есть сама жизнь, а не бумага, то „практическихъ“ свѣдѣній въ книжкѣ мы встрѣчаемъ немного. Мы имѣемъ въ ней лишь внѣшнее описаніе предмета и немногія цифровыя о немъ свѣдѣнія. Между тѣмъ, наше правительство имѣетъ, казалось бы, средства для того, чтобы достать нужные матеріалы и обезпечить болѣе обстоятельный характеръ своимъ изданіямъ. Тѣмъ не менѣе, рассматриваемая книжка заслуживаетъ вниманія читателя уже и потому, что о сельско-хозяйственной кооперации въ Бельгіи писано у насъ мало.

Начинается рассматриваемое нами изданіе изложеніемъ дѣятельности правительства по восспособленію сельскому хозяйству. Дѣятельность эта проявляется въ организаціи сельско-хозяйственнаго образованія, въ пропагандѣ сельско-хозяйственныхъ союзовъ и въ матеріальной поддержкѣ послѣднихъ. Остановливаясь подробно на правилахъ, касающихся означенныхъ предметовъ, настоящее изданіе не приводитъ почти никакихъ цифръ, по которымъ можно было бы судить объ энергіи правительственной работы. Общественныя сельско-хозяйственныя организаціи Бельгіи въ общемъ подраздѣляются на профессиональные союзы, кооперативныя учрежденія и общества взаимнаго страхованія. Профессиональные союзы имѣютъ цѣлью „выясненіе, охрану и развитіе своихъ профессиональныхъ интересовъ“. Кромѣ 776 союзовъ (съ $42\frac{1}{2}$ т. членовъ), преслѣдующихъ общія сельско-хозяйственныя цѣли, тамъ насчитывается 215 союзовъ (ок. 10 т. членовъ), заботящихся о развитіи пчеловодства, 133 общества (19 т. членовъ) садоводства, 54 общества (4 т. членовъ) птицеводства, 312 обществъ (11 т. членовъ), ставящихъ себѣ цѣлью улучшеніе породъ домашнихъ животныхъ и т. д. Другой рядъ обществъ преслѣдуетъ цѣли закупки различныхъ предметовъ, необходимыхъ для сельскаго хозяйства; число ихъ достигаетъ 780, объединяющихъ 50 т. членовъ. Общества для сбыта сельско-хозяйственныхъ произведеній распространены слабо. Изъ производительныхъ коопераций широкое распространеніе получили лишь молочныя (производство масла). Таковыхъ насчитывается 460, имѣющихъ 47 т. членовъ, конныя принад-

лежить 128 тыс. коровъ. Въ противоположность тому, что встрѣчается въ Германіи, кредитныя коопераціи распространены въ бельгійскихъ деревняхъ довольно слабо: въ 1901 г. ихъ насчитывалось 286, при 13 тыс. членовъ. Изъ обществъ взаимнаго страхованія наибольшимъ успѣхомъ пользуются общества страхованія рогатаго скота: число ихъ 730, имѣющихъ 68 т. членовъ. Бельгійская, какъ и французская, деревня оставалась до послѣдняго времени внѣ всякаго воздѣйствія прогрессивныхъ городскихъ элементовъ, и современная культура проводилась тамъ главнымъ образомъ духовенствомъ. Сказанное относится и къ предмету, о которомъ идетъ рѣчь въ разсматриваемомъ изданіи. Такъ, министерство земледѣлія было учреждено при клерикальномъ министерствѣ; кредитныя кассы создались по почину аббата Меллаартсъ; имъ же былъ основанъ крестьянскій союзъ (Voerebond), объединяющій 400 сельско-хозяйственныхъ союзовъ съ 25 т. членовъ, и 183 кредитныя кассы. „Почти каждый бельгійскій священникъ беретъ на себя починъ по устройству различнаго рода союзовъ взаимопомощи среди крестьянъ своего прихода“.—В. В.

Въ теченіе сентября поступили въ Редакцію нижеслѣдующія новыя книги и брошюры:

Абаза, К. К.—Азбука для начальныхъ военныхъ школъ и для обученія взрослыхъ вообще. Изд. 12-ое, исправл. Спб. 908. Стр. 68. Ц. 10 к.

Аккерманъ, Ф.—Первая книжка стиховъ. Тифл. 908. Ц. 60 к.

Аникинъ, Степанъ.—Кто такіе жида и за что ихъ черная сотня не любитъ? Спб. 908. Стр. 77. Ц. 8 к.

Ахшарумовъ, В. Д.—Стихотворенія. Стр. 100. Полтава, 908. Ц. 75 к.

Б—ъ, Л.—Экклезіастъ. Кременчугъ, 908. Стр. 35. Ц. 10 к.

Варадійнъ, Б. Б.—Путешествіе въ Лавранъ. Спб. 908. Стр. 50.

Варацъ, Г. М.—Библейско-агадическія параллели къ глгописнымъ сказаніемъ о Владимірѣ Святѣмъ. Кіевъ, 908. Ц. 75 коп.

Бергстремъ, Яльмаръ.—Голосъ жизни.—Пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Перев. съ дат. А. и П. Ганзенъ, съ вступл. проф. Геффдингга. М. 908. Ц. 40 к.

Бирюковъ, П.—Л. Н. Толстой. Біографія. Т. II. М. 908. Ц. 2 р. 25 к.

Бончъ-Бруевичъ, Влад.—Избранныя произведенія русской поэзіи. Изд. 5-е. Ц. 2 р. Спб. 908.

Боринъ, Я.—Сказки и были Л. Н. Толстого для школъ и народа. Съ картинами художниковъ Алексѣева и Морозова. М. 908. Ц. 60 к.

Ганжулевичъ, Т.—„Записки Охотника“ И. С. Тургенева. Съ 2 портр. И. С. Т. и 8 иллюстраціями. Спб. 908. Ц. 75 коп.

Гаринъ, К.—Годъ седьмой. Деревенскія панорамы. Ц. 1 р. Спб. 908.

Гензель, П. П., прив.-доц. моск. унив.—Библіографія финансовой науки. Толковый указатель къ главнѣйшимъ сочиненіямъ въ русской и иностранной финансовой литературѣ. Ярославль, 908. Стр. 110. Ц. 60 к.

Гольденвейзеръ, А. С.—Преступленіе какъ наказаніе, а наказаніе какъ преступленіе. (Мотивы Толстовскаго „Воскресенія“). Этюды, лекціи и рѣчи на уголовныя темы. Кіевъ, 908. Стр. 229. Ц. 1 р. 25 к.

Григорьевъ, Г.—Краткій курсъ химіи. Изд. 6-ое. Ц. 80 к. Спб. 908.

Дорожастайскій, В.—Поездка въ сѣверо-западную Монголію. Спб. 908. Стр. 14.

Елачичъ, М. А.—Три пьесы. Княжій дворъ. Экспроприація. Сожженіе корабля. Спб. 908. Ц. 2 р.

Забѣлинъ, Иванъ.—Исторія русской жизни съ древнѣйшихъ временъ. Ч. I. Доисторическое время Руси. Второе изд., исправл. и доп., съ портретомъ автора, съ рисунками скифовъ и сарматовъ и картою Европейской Сармаціи Птолемея. М. 908. Стр. XVIII+675. Ц. 4 р.

Ивановъ, В.—Учебникъ русской грамматики. Ч. I. Этимологія. Изд. 2-ое. Смол. 908. Ц. 70 к.

Ивановъ-Разумникъ.—О смыслѣ жизни. О. Сологубъ, Леонидъ Андреевъ, Левъ Шестовъ. Спб. 908. Ц. 1 р.

Измайловъ, А.—Левъ Толстой для школы и дома.—Избранные рассказы, сказки, притчи для дѣтей. М. 908. Ц. 20 к.

Келтула, В. Л.—Краткій курсъ исторіи русской литературы. Для среднихъ учебныхъ заведеній. Ч. I, вып. 1 и 2: Исторія древней русской литературы, отъ IX-го в. до конца XVII-го вѣка. Спб. 908. Ц. 2 р.

Киплингъ, Р.—Избранные рассказы. Кн. I и II. Перев. и предисл. Н. П. А. (Библіотека иностр. писателей подъ ред. Ив. А. Бунина). М. 908. Московское книгоизд. Стр. XXIV+320 и 353. Ц. по 1 р. 50 к.

Крамаренко, Г. А.—Путешествіе на Камчатку и обследованіе ея въ рыболовномъ отношеніи въ 1907 г. Спб. 908. Стр. 52.

Кросби, Эрнестъ. Л. Н. Толстой, какъ школьный учитель. Перев. съ англійскаго. Изд. 2-ое. М. 908. Стр. 79. Ц. 40 к.

Лосскій, Н.—Обоснованіе интуитивизма. Пропедевтическая теорія знаній. 2-ое изд. Спб. 908. Ц. 2 р.

Лукашевичъ, Клавдія.—Школьный праздникъ въ честь Л. Н. Толстого (Литературно-музыкальное утро). Съ рисунками и нотами. М. 908. Ц. 60 коп.

Монтелли, А. К.—Органы чувствъ и внѣшній міръ. Публичная лекція. Николаевъ, 908. Стр. 32. Ц. 15.

Моревъ, Д. Д.—Руководство политической экономіи. 9-ое изд. Спб. 908. Ц. 2 р.

Маминъ-Сибирякъ, Д. Н.—Три конца. Уральская лѣтопись. Спб. 908. Ц. 1 р. 50 к.

Маминъ-Сибирякъ, Д. Н.—Дѣтскія гѣни. Рассказы. Спб. 909. Ц. 1 р. 25 к.

Немировичъ-Данченко, Вас.—Развѣчанная царица. Очерки Венеціи. Изд. 4-ое тов. Сытина. М. 908. Стр. 432. Ц. 1 р. 25 к.

Николай Митанловичъ, Великій князь.—Московский Некрополь. Т. III (Р—Ө). Спб. 908. Стр. 432.—Т. IV, вып. 2. Спб. 908.

Пекаторосъ, Г.—Диалоги искреннихъ людей. Современныя идеи и настроенія. Одесса, 908. Стр. 88. Ц. 50 к.

Пиленко, Ал., прив.-доц. Спб. унив.—Русскіе парламентскіе прецеденты. Вып. II. Спб. 908. Стр. 176. Ц. 70 к.

Слонимскій, Л.—Конституція Россійской имперіи. Съ примѣчаніями и вступительною статью. Спб. 908. Стр. 240. Ц. 1 р.

Тичеръ, Н.—„Единство школы“ для всего народа, какъ требованія русскихъ политическихъ партій. Спб. 908. Ц. 50 к.

Толстой, К. К. — Корни безпросвѣтнаго пессимизма. Оптимистическая философія проф. И. И. Мечникова. Спб. 908. Ц. 1 р.

Толстой, Л. Н. — Ученіе Христа, изложенное для дѣтей. М. 908. Ц. 18 к. Изданіе „Посредника“.

—— Тоже въ изданіи И. Горбунова-Посадова. М. 908. Ц. 20 к.

—— Исповѣдь. Изд. „Посредника“. М. 908. Стр. 83. Ц. 20 к.

—— Замѣчательные мыслители всѣхъ временъ и народовъ: 1) Богъ. Мысли разныхъ писателей. Собралъ Левъ Толстой. Стр. 22. Ц. 5 к. 2) Божественная природа души. Стр. 30. Ц. 6 к. — 3) Разумъ. Стр. 21. Ц. 5 к. — 4) Единеніе. Стр. 22. Ц. 5 к. 5) Свобода. Стр. 21. Ц. 5 к. — Изд. „Посредника“. Изъ „Круга чтенія“. М. 908.

Франке, д-ръ О. — Земельныя правоотношенія въ Китаѣ. Перев. съ нѣмецк. п. р. Н. И. Кохановскаго. Владив. 908. Ц. 1 р. 50 к.

Черновъ, В. — Соціалистическіе этюды. М. 908. Ц. 1 р. 25 к.

Чернышевъ, В. — Законы и правила русскаго произношенія. Звук. Формы. Удареніе. Опытъ руководства для учителей, чтецовъ и артистовъ. 2-ое изд. Спб. 908. Ц. 40 к.

Чернышевскій, Н. Г. — Прологъ, романъ въ двухъ частяхъ. — Что дѣлать? — романъ. Съ портретомъ автора 1864 г. Спб. 908. Ц. 1. 50 к.

Шеллингъ. — Философскія изслѣдованія о сущности человѣческой свободы. — Бруно, или о божественномъ и естественномъ началѣ вещей. Спб. 908. Ц. 1 р.

Шоломъ Аизъ. — Годъ первый. Разказы съ еврейскаго. Перев. А. Брумбергъ и Евг. Троповскаго. Ц. 1 р. Спб. 908.

Шестовъ, Левъ. — Начала и концы. Собраніе статей: Творчество изъ ничего (А. П. Чеховъ). — Пророческій даръ. — Похвалы глупости. — Предпоследнія слова. Спб. 909. Ц. 1.

Щукинъ, П. И. — Бумаги, относящіяся до Отечественной войны 1812 года. Ч. 10-ая. М. 908.

Gleimow, G. — Die Zukunft Polens. B. I. Wirtschaft. Leipzig. 908.

— Авторское право: Докладъ Коммисіи Спб. Литературнаго Общества, по поводу проекта закона объ авторскомъ правѣ. Спб. 908. Ц. 50 к.

— Библіотека свободнаго воспитанія и образованія и защиты дѣтей, пер. И. Горбунова-Посадова: 1) Д-ръ Оберъ-Вломъ, Что рассказывалъ дядя-докторъ мальчику-племяннику. Первоначальныя свѣдѣнія изъ области половой жизни. Съ франц. Е. Поповъ. М. 908. Ц. 15 к. 2) Эльсландеръ. Ж., Новая школа. М. 908. Ц. 30 к.

— Всеобщая бібліотека. № 1: Проф. Т. Н. Грановскій. Четыре характеристики. Стр. 71. — № 2: А. С. Грибоѣдовъ. Горе отъ ума. Стр. 81. — № 3: Викторъ Гюго. Избранныя стихотворенія въ переводахъ русскихъ поэтовъ. Стр. 61. — № 4: Вильямъ Шекспиръ. Гамлетъ, принцъ датскій. Перев. Н. А. Полевого. Стр. 96. — № 5 и 6: М. Сервантесъ. Донъ-Кихотъ Ламанчскій. Съ иллюстраціями. Стр. 131. Ц. 20 к. — № 7: Народныя движенія въ Россіи. Семнадцатый вѣкъ. І. В. А. Никольскій, Морозовщина. Стр. 67. — № 8, 9, 10: Ренэ Базенъ. Умирающая земля. Романъ. Перев. съ 82-го франц. изд. Стр. 200. Ц. 30 к. Спб. 908. Ц. вып. по 10 к.

— Изданія „Посредника“: Л. Н. Толстой. — 1) Ягоды, ц. 2; 2) Молитва, ц. 3; 3) Корней Васильевъ, ц. 5; 4) Л. Н. Толстой. Краткій біографическій очеркъ. М. 908. Ц. 15.

— Матеріалы къ исторіи и изученію сектантства и раскола, п. р. В. Бончъ-Бруевича. Вып. 1-ый: Баптисты, Бѣгуны, Духоборцы, Л. Толстой о скопчествахъ, Павловцы, Поморцы, Старообрядцы, Скопцы, Штундисты.—Спб. 908. Ц. 2 р.

— Московская губернія по мѣстному изслѣдованію: 1898—1906 гг. Т. III, вып. 2. М. 908.

— Мѣстные законы Бессарабіи. Переводъ „Ручной книги законовъ“ или такъ называемаго Шестикишия, собраннаго Конст. Арменополомъ, съ прилож. соборной грамоты Господаря Маврокордаго. — Краткое собраніе законовъ, извлеченныхъ изъ Царскихъ книгъ, трудами и усердіемъ боярина Андронакія Доница изданное. Одесса, 908. Стр. 342+297+163. Ц. 2 р. 50 к.

— Сводъ свѣдѣній о финансовыхъ результатахъ и главныхъ оборотахъ по казенной продажѣ питей за 1907 годъ. Спб. 908.

— Сводъ товарныхъ цѣнъ на главныхъ русскихъ и иностранныхъ рынкахъ за 1907 годъ. (Съ приложеніемъ таблицы фрахтовъ и страховыхъ премій на хлѣбные грузы). Изд. Министерства торговли и промышленности. Матеріалы для торгово-промышленной статистики. Спб. 908. 4°. Стр. VII+113.

— Систематическій указатель статей, напечатанныхъ въ неофициальной части „Педагогическаго сборника“ за время отъ 1893 по 1907 годъ включительно, составленный Е. П. Свѣшниковой. Спб. 908. Стр. 101.

— Труды по лѣсному опытному дѣлу въ Россіи. Вып. IV—X. (Главное управленіе землеустройства и земледѣлія. Лѣсной департаментъ). Спб. 907—908.

— Хрестоматія изъ писаній Льва Толстого. Съ иллюстраціями. Составлена группою дѣтей п. р. П. Сергѣенко. М. 908. Ц. 1 р.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 октября 1908 г.

Межпарламентская конференція въ Берлинѣ. — Рѣчь канцлера Бюлова и вопросъ о предупрежденіи войнъ. — Международный конгрессъ журналистовъ. — Партийный сѣздъ германской социаль-демократической партіи.

Въ Берлинѣ происходили недавно засѣданія конференціи „между-парламентскаго союза для установленія международнаго третейскаго суда“, при участіи выдающихся официальныхъ дѣятелей Германіи. Въ одной изъ послѣднихъ книгъ нашего журнала говорилось уже о происхожденіи и значеніи этого международнаго союза, возникшаго по частной инициативѣ около двадцати лѣтъ тому назадъ и оказавшаго весьма замѣтное вліяніе на общій ходъ развитія международнаго права въ новѣйшее время ¹⁾. Предшествовавшія конференціи этого союза собирались поочередно въ разныхъ культурныхъ центрахъ Западной Европы и даже Америки (въ Сентъ-Луи, 1904 г.), но Германія оставалась при этомъ въ сторонѣ, такъ какъ ея правящіе круги относились отрицательно къ идеѣ обязательнаго третейскаго суда и твердо стояли на почвѣ существующей системы вооруженнаго мира. Еще въ прошломъ году, на второй Гаагской конференціи, проектъ обязательнаго международнаго арбитража потерпѣлъ неудачу исключительно благодаря возраженіямъ германскихъ уполномоченныхъ. Однако идея коренной реформы международнаго права достигла уже такихъ практическихъ успѣховъ, что съ нею должны поневолѣ считаться и самые консервативные государственные люди, и однимъ изъ краснорѣчивыхъ признаковъ совершившагося поворота въ этомъ отношеніи является именно то обстоятельство, что послѣдняя межпарламентская конференція собралась въ Берлинѣ.

Болѣе восьмисотъ представителей парламентовъ всѣхъ странъ съѣхалось по этому поводу въ столицу Германіи, — въ томъ числѣ около сорока французскихъ депутатовъ и сенаторовъ, двадцать шесть делегатовъ изъ Соединенныхъ Штатовъ и шесть представителей Канады. Официальное открытіе конференціи состоялось съ большимъ

¹⁾ См. статью проф. А. Васильева: „Первая Дума и идея международнаго парламента“ („Вѣстникъ Европы“, 1908, августъ).

торжествомъ 17-го сентября (нов. ст.), въ зданіи имперскаго сейма. Общее вниманіе обращала на себя выразительная фигура одного изъ основателей междупарламентскаго союза, 86-ти-лѣтняго Фредерика Пасси, получившаго, какъ извѣстно, Нобелевскую премію за свои многолѣтнія усилія и заслуги въ дѣлѣ пропаганды идеи мира. Выѣстъ съ имперскимъ канцлеромъ, княземъ Бюловомъ, явились германскіе и прусскіе министры; изъ членовъ имперскаго сейма и отдѣльных ландтаговъ—всѣ партіи, кромѣ социаль-демократической, прислали своихъ представителей. Изъ иностранныхъ делегацій наиболѣе многочисленною оказалась итальянская, въ составѣ 96 депутатовъ, 18 сенаторовъ и 12 бывшихъ членовъ парламента; затѣмъ—болѣе ста бельгійцевъ, 90 венгерцевъ и 70 англичанъ; было также нѣсколько членовъ нашей Государственной Думы. Предсѣдатель нѣмецкой парламентской группы, профессоръ Эйкгофъ, привѣтствовалъ собравшихся и предложилъ избрать президентомъ члена прусской верхней палаты и имперскаго сейма, принца Шенаихъ-Каролата. Занявъ предсѣдательское мѣсто, принцъ Шенаихъ-Каролатъ произнесъ на французскомъ языкѣ длинную вступительную рѣчь, въ которой высказалъ много хорошихъ мыслей о преимуществахъ миролюбія и о великой роли парламентовъ въ области взаимнаго сближенія и общенія націй. По его словамъ, и нѣмцы проникнуты миролюбивыми чувствами, хотя въ Германіи—добавилъ онъ откровенно—стремленія междупарламентскаго союза были всего менѣе поняты и оцѣнены. „Нѣмцы—продолжалъ принцъ Шенаихъ-Каролатъ—всегда готовы жертвовать своею кровью и достоинствомъ для сохраненія своихъ національныхъ благъ; они не страшатся никакихъ жертвъ, когда дѣло идетъ о защитѣ чести и независимости отечества отъ всякихъ посягательствъ; но нѣмцы лучше кого бы то ни было привыкли дорожить благодѣяніями мира, потому что они хорошо помнятъ, какъ часто нѣмецкія земли и города опустошались непріятельскими нашествіями. Нѣмцы радуются тому, что Германская имперія со времени своего основанія стала оплотомъ мира и что императоръ Вильгельмъ II всегда признавалъ себя сторонникомъ мирнаго соглашенія народовъ и сочувствовалъ мысли о третейскомъ международномъ судѣ. Великіе нѣмецкіе изслѣдователи, изобрѣтатели, поэты, врачи и мыслители принадлежатъ не только намъ, но всему свѣту. Границы странъ и государствъ стираются; великіе люди другихъ націй становятся нашими“. Принцъ Шенаихъ говорилъ какъ истинный нѣмецкій патріотъ, и если не всѣ его заявленія были пріятны для иностранцевъ, то они во всякомъ случаѣ свидѣтельствовали объ искренней убѣжденности оратора. Большинство нѣмецкаго образованнаго общества дѣйствительно вѣритъ и въ то, что военное могущество Германіи есть вѣрнѣшая

охрана общаго мира, и въ то, что личная политика Вильгельма II ограждаетъ интересы безопасности и спокойствія имперіи, и въ то, что взаимное сближеніе народовъ и всякія благодѣянія прогресса поощряются идеями и чувствами нѣмецкаго патріотизма. Ходъ мыслей оратора могъ показаться слушателямъ недостаточно послѣдовательнымъ и логичнымъ, но всѣхъ долженъ былъ удовлетворить заключительный выводъ о безусловной желательности осуществленія широкихъ начинаній и задачъ междупарламентскаго союза.

Смутное впечатлѣніе, произведенное рѣчью президента, вскорѣ изгладилось, когда на трибуну взошелъ имперскій канцлеръ, князь Бюловъ. Его рѣчь была произведеніемъ не только ораторскаго, но и дипломатическаго искусства; она сразу завоевала аудиторію не только изяществомъ формы, но и тонкостью содержанія, и симпатичностью тона, и прямотою нѣкоторыхъ отдѣльныхъ заявленій. Князь Бюловъ говорилъ по-французски, и прибывшіе изъ Парижа корреспонденты остались имъ очень довольны. „Вы встрѣтите въ Германіи — сказалъ онъ между прочимъ — сочувствіе, на которое вы имѣете право рассчитывать. Междупарламентская конференція въ первый разъ за-сѣдаетъ на германской почвѣ, но вы для насъ не чужіе. Въмѣстѣ съ цивилизованнымъ міромъ Германія умѣетъ цѣнить услуги, которыя вы оказываете благородному дѣлу. Оглядывая это блестящее собраніе, я вижу здѣсь представителей всѣхъ возрастовъ, и это кажется мнѣ естественнымъ, такъ какъ въ вашей дѣятельности вы соединяете порывы юности съ опытностью зрѣлыхъ лѣтъ. Такъ боретесь вы противъ сомнѣній и затрудненій, воздвигаемыхъ противъ всякаго прекраснаго дѣла. Вы достигли большаго, чѣмъ предполагалось первоначально. Руководимые замѣчательными людьми, — назову только старѣйшаго изъ васъ, г. Фредерика Пасси, котораго мы, къ нашему удовольствію, видимъ здѣсь, котораго, какъ я припоминаю, я видѣлъ тридцать лѣтъ назадъ въ Парижѣ, и котораго мы всѣ находимъ теперь столь же пламеннымъ и юнымъ, какъ и въ прошломъ, — вы неустанно преслѣдовали свою задачу — достигнуть гарантій мира и согласія между народами. Трудная задача, требующая терпѣнія и настойчивости, ибо ей противостоятъ страсти и предрасудки, — но благодѣтельная задача. Я могу сказать это безъ преувеличенія: изъ года въ годъ возросталъ вашъ успѣхъ. Вы — депутаты, а я министръ, много разъ въ теченіе десяти лѣтъ обращавшійся къ представителямъ своей страны въ этомъ залѣ. Если я и не парламентскій министръ въ самомъ смѣломъ смыслѣ этого слова, то все-таки я строго и честно конституціонный канцлеръ; — надѣюсь, что въ этомъ не станутъ мнѣ возражать ваши нѣмецкіе коллеги. Какъ конституціонный министръ, я знаю, что вы, въ качествѣ народныхъ представителей, выражаете

чувства своихъ согражданъ. Что бы ни говорили, желанія ихъ большинства направлены къ согласію, прогрессу и миру, и, слѣдовательно, находятся въ согласіи съ вашими стремленіями. Что касается правительствъ, то вы должны отдать имъ справедливость, что они пошли навстрѣчу вашимъ желаніямъ, заключивъ международные договоры о третейскомъ судѣ. Правительства принимали во вниманіе ваши предположенія, подвергнувъ своему разсмотрѣнію всѣ вопросы, признанные достаточно созрѣвшими для рѣшенія. Если правительства готовы идти по этому пути и въ будущемъ, какъ и въ прошломъ, то это отчасти ваша заслуга. Правительства согласны между собою и съ вами относительно цѣли, къ которой нужно стремиться. Разногласія касаются лишь вопроса, какого пути слѣдуетъ держаться, чтобы лучше и вѣрнѣе достигнуть цѣли. Мы въ Германіи принимаемъ живое участіе въ вопросахъ, интересующихъ вашъ межунапарламентскій союзъ, и особенно въ вопросѣ о третейскомъ судѣ. На второй Гаагской конференціи мы предложили и подписали соглашеніе о призовомъ международномъ судѣ, и поддержали проектъ, имѣющій въ виду учрежденіе постоянного третейскаго трибунала, — проектъ, принятіе котораго рекомендуется державамъ въ заключительномъ протоколѣ конференціи. Мы сами прибѣгали къ принципу третейскаго разбирательства въ различныхъ международныхъ соглашеніяхъ и включили во многіе торговые трактаты соотвѣтственную оговорку, въ видѣ обязательнаго или факультативнаго правила. Мы считаемъ своимъ долгомъ участвовать въ конференціи морскихъ державъ, которая должна черезъ нѣсколько недѣль собраться въ Лондонѣ. Наше содѣйствіе заранее обезпечено для всѣхъ предложеній, совмѣстимыхъ съ интересами законѣрной обороны, какъ и съ непреходящими законами человечности. Но есть еще другое убѣдительное доказательство интереса, принимаемаго Германіей въ вашемъ дѣлѣ, — это именно возрастающее число нѣмецкихъ депутатовъ, желающихъ участвовать въ межунапарламентскомъ союзѣ. Долгій житейскій опытъ показалъ мнѣ, что недоразумѣнія вѣрнѣе всего устраняются путемъ непосредственныхъ личныхъ отношеній... Вашему дѣлу старались приписать характеръ, котораго оно не имѣетъ, — вамъ приписывали намѣренія, которыхъ вы, конечно, не питаете. Миролюбіе не означаетъ недостатка любви къ отечеству. Патріоты — тѣ, которые стремятся предупреждать столкновения путемъ борьбы противъ всегда вреднаго невѣжества, нездоровой придирчивости, часто слѣпой ненависти и нерѣдко обманчивыхъ честолюбій. Кто такъ дѣйствуетъ — даетъ доказательство патріотизма, очищающаго дорогу, устраняющаго препятствія и облегчающаго такимъ образомъ приближеніе человечества къ идеалу, общему для всѣхъ временъ и народовъ. Наученная своею исторіею, которая не

пала на нее тяжелыми испытаніями въ теченіе трехъ столѣтій, Германія хочет и должна быть достаточно сильною, чтобы защищать свою территорію, свое достоинство и независимость. Она не злоупотребляетъ и не будетъ злоупотреблять своею силою. Нѣмецкій народъ, желающій мира, основаннаго на правѣ и справедливости, и доказавшій искренность своего желанія соблюденіемъ мира въ продолженіе многихъ лѣтъ, выражаетъ сочувствіе вашимъ работамъ. Я нахожусь въ согласіи съ моими соотечественниками, когда говорю вамъ: да будутъ плодотворны ваши работы, пусть принесутъ онѣ пользу всѣмъ народамъ, представители которыхъ доставили намъ великую радость и великую честь своимъ пребываніемъ въ Берлинѣ“.

Приведенная рѣчь Бюлова представляетъ собою интересный образчикъ оффиціальнаго краснорѣчія: для всѣхъ въ ней найдется ласковое слово, и ни для какой оппозиціи тутъ не оставлено мѣста. Оказывается, что германское правительство вполне солидарно съ лучшими реформаторскими идеями своей эпохи, что оно съ готовностью идетъ навстрѣчу попыткамъ практическаго осуществленія идеи международнаго третейскаго суда и не имѣетъ ничего общаго съ сторонниками придиричливой, недоувѣрчивой и обманчиво-честолюбивой политики, столь часто выдаваемой за проявленіе высшаго патріотизма. Понятно поэтому, что всѣ присутствовавшіе долго и шумно рукоплескали имперскому канцлеру. Обычная фраза о всегдашней рѣшимости защищать честь и достоинство отечества отъ возможныхъ покушеній — совершенно терялась среди доброжелательныхъ словъ о третейскомъ судѣ, о взаимномъ сближеніи народовъ, о готовности работать сообща съ передовыми приверженцами мира. Особенное мастерство обнаружилъ князь Бюловъ въ своеобразномъ освѣщеніи вопроса объ обязательномъ международномъ арбитражѣ: въ доказательство своей солидарности съ стремленіями конференціи онъ смѣло ссылаясь на тѣ самые факты, въ которыхъ ярче всего выразились упорныя реакціонныя тенденціи современной Германіи. Дѣйствительно, германское правительство поддерживало проектъ учрежденія международнаго призового суда и соблюдало принципъ третейскаго разбирательства при заключеніи торговыхъ договоровъ; оно присоединилось также къ пожеланію, выраженному въ заключительномъ протоколѣ второй Гаагской конференціи; но оно рѣшительно не допускало примѣненія арбитража въ тѣхъ случаяхъ, когда затронуты національное достоинство, честь и независимость страны, — т. е., во всѣхъ случаяхъ, вызывающихъ серьезную опасность вооруженнаго столкновенія. Споры о законности морского приза, о такомъ или иномъ толкованіи торговыхъ договоровъ и т. п., не могутъ сами по себѣ угрожать войною, и потому разрѣшеніе ихъ охотно предоставляется третейскому суду; но,

очевидно, идея третейскаго разбирательства, примѣняемая къ этимъ невиннымъ категоріямъ международныхъ разногласій, не имѣетъ никакой связи съ тою основною задачею, которую ставитъ себѣ международный парламентскій союзъ. Все дѣло именно въ томъ, какъ предупредить и улаживать конфликты другого рода, возбуждающіе опасность въ слѣдствіе несогласимыхъ притязаній и взаимнаго раздраженія сторонъ; между тѣмъ именно эти конфликты исключаются Германіею изъ числа подлежащихъ арбитражу, такъ какъ въ нихъ затрагиваются, конечно, честь и достоинство націи или государства. Само собою разумѣется, что отъ правительства всегда будетъ зависеть, во-первыхъ, рѣшать вопросъ о томъ, задѣта ли въ данномъ случаѣ національная честь или нѣтъ, и во-вторыхъ, доводить даже незначительный споръ до той точки, когда задѣвается уже достоинство страны и когда всякое отступленіе кажется позорнымъ. Другими словами, положеніе вопроса о мирѣ и войнѣ останется и въпрямую такимъ же, какимъ оно было до новѣйшихъ успѣховъ международного арбитража, и потому германскій канцлеръ можетъ свободно превозносить эти успѣхи безъ ущерба для авторитета Вильгельма II. Примеровъ того, насколько произвольно и растяжимо примѣненіе понятій о національной чести и достоинствѣ въ международныхъ дѣлахъ, можно привести сколько угодно. Наши злосчастныя корейскія и манчжурскія затѣи тоже связывались съ требованіями русской національной чести и сознательно были доведены до такого пункта, когда затронуты были жизненные интересы противниковъ, побудившіе ихъ рѣшиться на войну. Нѣтъ такого пограничнаго или иного международного инцидента, котораго нельзя было бы, при желаніи, раздѣлить до степени крупнаго событія, возбуждающаго національныя страсти и способнаго поэтому привести къ кровавой развязкѣ. До внезапной поѣздки Вильгельма II въ Танжеръ никто не предвидѣлъ, что ирокекскія дѣла могутъ послужить предметомъ опаснаго раздора между Франціею и Германіею; однако на этой почвѣ германская политика велась въ такомъ направленіи, что національная честь французовъ несомнѣнно ставилась на карту, и, слѣдовательно, устранялась возможность примѣненія третейскаго суда для избѣжанія войны. Эти важныя особенности германскаго officialнаго сочувствія къ идее международного правового порядка были старательно скрыты въ рѣчи канцлера, и вся его аргументація была рассчитана на то, чтобы вызвать въ слушателяхъ благодушное довѣрчивое настроеніе относительно Германіи и ея правительства.

Пользуясь этимъ настроеніемъ, президентъ предложилъ собранію послать императору слѣдующую привѣтственную телеграмму: „Пятнадцатая конференція междупарламентскаго союза, собравшаяся се-

годня въ Берлинѣ въ имперскомъ сеймѣ, позволяетъ себѣ почтительнѣйше выразить вашему величеству свои чувства и свою искреннюю благодарность за то, что ваше величество произнесло недавно столь энергическія слова въ пользу поддержанія мира". Вильгельмъ II не замедлилъ отвѣтомъ: „Собравшимся въ Берлинѣ парламентаріямъ всѣхъ культурныхъ государствъ я выражаю за присланное мнѣ привѣтствіе мою сердечную признательность и надѣюсь, что состоящее изъ столь многихъ значительныхъ людей всего земного шара собраніе останется довольнымъ пребываніемъ въ моей резиденціи и окажетъ въ извѣстной мѣрѣ свое содѣйствіе сохраненію особенно близкихъ моему сердцу благодѣяній всеобщаго мира“. Денеша была выслушана собраніемъ стоя и съ живымъ одобреніемъ. Конференція, поставившая на своемъ знамени замѣну военной расправы третейскимъ судомъ, приступила такимъ образомъ къ своимъ занятіямъ подъ благосклоннымъ покровительствомъ главнаго представителя и защитника существующей системы вооруженнаго мира въ Европѣ.

Второе засѣданіе конференціи, 18-го сентября, было посвящено вопросу объ обязательномъ третейскомъ разбирательствѣ международныхъ споровъ. Бывшій австрійскій министръ фонъ-Пленеръ въ обстоятельномъ докладѣ напомнилъ собранію факты, въ силу которыхъ проектъ всеобщаго соглашенія по этому предмету потерпѣлъ неудачу на второй Гаагской конференціи. Самый принципъ былъ единодушно одобренъ, и извѣстные разряды дѣлъ признаны подлежащими третейскому суду; но эти принципиальныя заявленія значили въ сущности очень мало. Когда очередь дошла до проекта всеобщаго договора объ арбитражѣ, то за него высказались делегаціи Англіи и Соединенныхъ Штатовъ, а оппозиція исходила преимущественно отъ германскихъ представителей. Большія затрудненія вызывались также обсужденіемъ случаевъ, въ которыхъ примѣнимъ третейскій судъ; одна категорія за другою исключалась изъ первоначальнаго списка, и въ концѣ осталось только восемь рубрикъ второстепенной важности. При заключительномъ голосованіи подано было 35 голосовъ за всеобщій договоръ, пять голосовъ — противъ, при четырехъ воздержавшихся. А для дѣйствительности рѣшеній по дипломатическимъ вопросамъ требовалось единогласіе, и никакого отступленія отъ этого принципа не допускала Германія. Тѣмъ не менѣе, тотъ фактъ, что значительное большинство державъ одобрило мысль объ обязательномъ третейскомъ судѣ и приняло проектъ всеобщаго договора по этому предмету, указывалъ на возможность полнаго соглашенія въ будущемъ. Въ заключеніе докладчикъ Пленеръ внесъ резолюцію, рекомендующую державамъ продолжать переговоры на почвѣ достигнутого уже на Гаагской конференціи результата, съ цѣлью придти къ окончательному

всеобщему соглашенію. Бельгійскій сенаторъ Лафонтэнъ дополнилъ эту резолюцію предложеніемъ, чтобы державы, одобившія въ Гаагѣ проектъ всеобщаго соглашения объ арбитражѣ, по возможности скорѣе превратили этотъ проектъ въ окончательный договоръ, пригласить присоединиться къ нему остальные государства. Резолюція Пленера была принята единогласно, а предложеніе Лафонтэна — огромнымъ большинствомъ, противъ голосовъ нѣкоторой части нѣмецкихъ представителей. Изъ этого видно, что взгляды отчасти измѣнились въ Германіи, и точка зрѣнія, которую отстаивали ея делегаты на Гаагской конференціи, все болѣе теряетъ почву. Но не надо забывать, что всеобщая обязательность третейскаго суда, даже когда она будетъ признана Германіею и солидарными съ нею державами, нисколько не разрѣшитъ и не коснется вопроса о войнѣ и мирѣ, ибо она можетъ относиться лишь до извѣстной группы второстепенныхъ или незначительныхъ дѣлъ, допускающихъ, по общему признанію, третейское разбирательство. Другія, болѣе серьезныя дѣла, угрожающія войною, изъяты отъ дѣйствія третейскаго суда; для нихъ остается въ силѣ только дружественное посредничество постороннихъ державъ. Швейцарскій делегатъ Гобъ предложилъ признать обязательнымъ для спорящихъ сторонъ воздержаніе отъ какихъ бы то ни было непріязненныхъ дѣйствій, если одна изъ нихъ обратилась къ посредничеству дружественнаго государства: это скромное предложеніе было съ нѣкоторыми оговорками поддержано, отъ имени нѣмецкой группы, профессоромъ Эйкгофомъ и затѣмъ было принято собраніемъ противъ голосовъ немногихъ консервативныхъ нѣмецкихъ депутатовъ. Американецъ Ричардъ Бартольдъ выступилъ послѣ этого съ пространною рѣчью, въ которой предлагалъ укрѣпить новыя начала международнаго права путемъ формальнаго обезпеченія полной независимости и неприкосновенности безспорныхъ владѣній и правъ cadaго изъ государствъ, участвующихъ въ конференціи; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ прочелъ странное по наивности письмо извѣстнаго милліардера Карнеги, рекомендуемое очень простой способъ упраздненія войны. „Въ Берлинѣ—пишетъ Карнеги—находится одинъ человѣкъ, который могъ бы сказать нужное слово. Еслибы императоръ Вильгельмъ исполнилъ свою священную миссію въ Германіи, то все остальное послѣдовало бы само собой. Въ его власти—положить конецъ войнамъ между цивилизованными націями. Онъ долженъ былъ бы только предложить Великобританіи, Франціи и Соединеннымъ Штатамъ подписать совместную декларацію о невозможности нарушенія мира при современныхъ условіяхъ культурной жизни и о разрѣшеніи въ будущемъ всѣхъ международныхъ споровъ третейскимъ судомъ. Ни одна изъ трехъ державъ не отвѣтила бы отрицательно, и императоръ Вильгельмъ оказалъ бы

міру услугу, единственную во всемірной исторіи". Карнеги, впрочемъ, не объясняетъ, съ какою цѣлью Франція, не потерявшая еще надежды на Эльзасъ-Лотарингію, подписала бы актъ отреченія отъ будущихъ войнъ и зачѣмъ стали бы подписывать подобный актъ другія самостоятельныя державы, не привыкшія подчиняться желаніямъ чужого монарха; до и самъ этотъ монархъ, сказавшій нужное слово, могъ бы на другой день сказать другое слово, прямо противоположное, и никакія его заявленія не устранили бы безпокойства, вызываемаго именно его ненормальнымъ могуществомъ. Если войны когда-нибудь исчезнутъ изъ практики государствъ, то, конечно, не по доброй волѣ властелина, выросшаго въ традиціяхъ милитаризма и имѣющаго въ своемъ безпрекословномъ распоряженіи миллионную армію. Нѣмецкій депутатъ Гаусманъ далъ понять американскому делегату, что даже вѣрноподанные нѣмцы не считаютъ своего императора такимъ всемогущимъ, какимъ признаетъ его американскій республиканецъ Карнеги. Предложеніе Бартольда было передано для предварительнаго рассмотрѣнія въ бюро союза. Румынскіе представители возбудили вопросъ о кодификаціи общепризнанныхъ началъ международного права для облегченія задачи будущаго международного трибунала, и собраніе приняло потомъ соотвѣтственную резолюцію. Единогласно также одобрены конференціею выводы подробнаго доклада нѣмецкаго депутата Пахнике о неприкосновенности частной собственности на морѣ.

Въ заключительномъ засѣданіи 19 сентября рѣшено учредить постоянный центральный органъ междупарламентскаго союза, подъ руководствомъ особаго секретаря, на содержаніе котораго ассигнованы надлежащія средства; расходы должны покрываться государствами, парламенты которыхъ участвуютъ въ союзѣ, и починъ въ этомъ отношеніи сдѣланъ Англіею, отъ имени которой лордъ Уирдаль заявилъ объ ежегодномъ взносѣ трехсотъ фунтовъ стерлинговъ. Слѣдующее собраніе конференціи состоится въ августѣ будущаго года въ Канадѣ, по приглашенію канадскаго правительства; на 1911 годъ имѣется уже приглашеніе въ Римъ. По закрытіи сѣзда, былъ устроенъ въ честь его членовъ прощальный раутъ въ канцлерскомъ дворцѣ; князь Бюловъ, какъ передаютъ берлинскія газеты, имѣлъ при этомъ политическіе разговоры съ отдѣльными группами иностранныхъ депутатовъ. Въ одномъ мѣстѣ парка англійскіе представители внезапно окружили канцлера, и лордъ Уирдаль обратился къ нему съ небольшою рѣчью, въ которой благодарилъ его за хорошія слова миролюбія и завѣрилъ его, что большинство англійскаго народа проникнуто дружественными чувствами относительно Германіи. Князь Бюловъ отвѣтилъ, что и нѣмцы ничего не имѣютъ противъ англичанъ и что обѣ націи могутъ спокойно жить между собою въ мирѣ и


дружбѣ, къ пользѣ и благу обѣихъ странъ. Канцлеръ имѣлъ также продолжительную бесѣду съ нашимъ депутатомъ, А. И. Гучковымъ, причемъ высказалъ мнѣніе, что между Россіею и Германіею возможны только такія недоразумѣнія, которыя всегда могутъ быть устранимы; въ доказательство онъ сослался на то, что въ теченіе болѣе столѣтія не происходило никакихъ войнъ между обоими сосѣдними государствами. „Однако въ прошломъ—замѣтилъ нашъ депутатъ—много говорилось о русско-германской войнѣ“. „Но дѣло всегда кончалось одними разговорами“, — возразилъ канцлеръ. Даже въ мелочахъ сказывалось общее благоприятное для мира впечатлѣніе, оставленное въ Германіи трехдневною сессіею междупарламентской конференціи. Отъ имени императора оставшіеся еще въ Берлинѣ иностранные гости были приглашены 20 сентября въ новый дворецъ, гдѣ кронпринцъ подтвердилъ имъ неуклонно-миролюбивыя стремленія своего отца и пожелалъ всякаго успѣха благотворнымъ начинаніямъ и работамъ междупарламентскаго союза, за которыми „императоръ слѣдитъ съ живѣйшимъ интересомъ и сочувствіемъ“. Можно подумать, что Вильгельмъ II сдѣлался убѣжденнымъ сторонникомъ прочнаго и всеобщаго мира.

Вслѣдъ за окончаніемъ парламентскаго международнаго съѣзда, 22 сентября, открылся торжественно въ томъ же помѣщеніи германскаго рейхстага международный конгрессъ печати. При открытіи присутствовали германскіе и прусскіе министры, представители дипломатическаго корпуса, члены парламентовъ, видные общественные и городскіе дѣятели Берлина; въ числѣ иностранныхъ участниковъ особенно замѣтны были французскіе журналисты, директоры „Temps“, „Journal des Débats“, „Figaro“ и другихъ вліятельныхъ парижскихъ газетъ и журналовъ. Русская печать не имѣла своихъ представителей по причинамъ, которыя объяснилъ съѣзду официальный докладчикъ въ отчетѣ за истекшій годъ: „вслѣдствіе недостатка свободы дѣйствій она не получила еще національной организаціи и потому не могла въ корпоративномъ смыслѣ присоединиться къ международному конгрессу“. Избранный предсѣдателемъ съѣзда, вѣнскій журналистъ Вильгельмъ Зингеръ привѣтствовалъ собравшихся остроумною рѣчью, сначала на нѣмецкомъ, потомъ на французскомъ языкѣ; отъ имени правительства говорилъ министръ иностранныхъ дѣлъ, статсъ-секретарь фонъ-Шёнъ, который, въ качествѣ дипломата, признаетъ печать „великой державой“ съ постоянно возростающимъ значеніемъ и могуществомъ. Министръ говорилъ о полной свободѣ прессы, позволяющей ей оказывать благотворное вліяніе на жизнь и политику народовъ; онъ указалъ на крупную роль, которую играетъ

печатъ въ международныхъ дѣлахъ, и въ заключеніе произнесъ нѣсколько любезныхъ французскихъ фразъ по адресу иностранныхъ гостей. Рефераты, прочитанные и обсуждавшіеся на сѣздѣ, касались исключительно профессиональныхъ вопросовъ — объ организаціи третейскаго суда по дѣламъ печати, о неприкосновенности профессиональной тайны и о желательной отмѣнѣ закона объ обязательныхъ свидѣтельскихъ показаніяхъ для журналистовъ. Въ честь конгресса устраивались ежедневно разные празднества, банкеты, спектакли; состоялся также блестящій пріемъ въ канцлерскомъ дворцѣ, и князь Бюловъ не упустилъ случая произнести остроумную рѣчь, не имѣвшую, впрочемъ, политическаго значенія: онъ вспомнилъ свои молодые годы, когда впервые столкнулся съ прессою, и сообщилъ любопытные образчики тогдашнихъ газетныхъ отзывовъ объ его дипломатической дѣятельности; съ тѣхъ поръ онъ привыкъ къ нападкамъ и насмѣшкамъ печати, но за то онъ нашелъ въ ней и доброжелательныхъ, серьезныхъ критиковъ, замѣчанія которыхъ иногда интересны и поучительны. О томъ, что печать полноправна и должна быть полноправна въ каждомъ культурномъ государствѣ, никто уже не говорилъ, — ибо принципъ свободы печати давно уже сдѣлался избитою аксіомою въ Европѣ, и тѣмъ грустиѣ промелькнула въ одномъ изъ докладовъ дѣловая фраза объ отсутствіи организаціи и „свободы дѣйствій“ русской печати.

Необычайно шумный и многолюдный сѣздъ нѣмецкой социаль-демократической партіи, происходившій съ 13-го по 19-ое сентября въ Нюрнбергѣ, не представлялъ большого принципиальнаго интереса; горячіе споры касались почти исключительно вопросовъ партійной тактики. причемъ замѣчался серьезный расколъ между центральнымъ представительствомъ партіи и мѣстными партійными организаціями южно-германскихъ государствъ. Дѣло въ томъ, что вопреки постановленіямъ партійныхъ сѣздовъ въ Любекѣ и Дрезденѣ парламентскія социаль-демократическія фракціи Баваріи, Бадена, Вюртемберга и Гессена рѣшились подавать голоса за утвержденіе бюджета въ названныхъ государствахъ, считая этотъ способъ дѣйствій болѣе цѣлесообразнымъ въ видахъ успѣшной практической защиты интересовъ рабочаго класса. Центральное представительство партіи рѣшительно протестовало противъ такого явнаго нарушенія партійной дисциплины; южно-германскіе социаль-демократы подверглись жестокому нападку, и въ средѣ партіи возгорѣлась страстная полемика, которая должна была найти свою авторитетную развязку на сѣздѣ въ Нюрнбергѣ. Послѣ пятидневныхъ оживленныхъ преній, сѣздъ въ засѣданіи 18 сентября большинствомъ 258 противъ 119 голосовъ при-

нялъ мотивированную резолюцію, осуждающую поведеніе южно-германскихъ товарищей; вслѣдъ затѣмъ, отъ имени 67 делегатовъ Баваріи, Бадена, Вюртемберга и Гессена, была прочитана декларация о томъ, что общій партійный сѣздъ является высшимъ представительствомъ партіи по всѣмъ общимъ принципиальнымъ и тактическимъ вопросамъ, касающимся всей имперіи, но въ дѣлахъ и вопросахъ мѣстной политики отдѣльныхъ германскихъ государствъ должны быть признаны единственно компетентными и отвѣтственными мѣстныя парламентскія фракціи. Такимъ образомъ, германская социаль-демократія раскололась въ этомъ отношеніи на два лагеря, и вопросъ о „ревизионизмѣ“, о борьбѣ между новыми практическими теченіями и старою партійною догмою, вступилъ теперь въ новый фазисъ.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

— *Henri Bataille. La Femme Nue. Pièce en 4 actes. 1908.*

Анри Батайль принадлежит, среди современных французских драматурговъ, къ наиболѣе литературнымъ, т.-е. къ такимъ, для которыхъ сцена—живое отраженіе нравственныхъ идей, волнующихъ человѣчество. Каждое время имѣетъ свою живую мораль, по своему опредѣляетъ отношенія человѣка къ человѣку, и сцена, поскольку, конечно, въ психологическомъ произведеніи не искажена психологическая правда, поскольку положенія, люди и выводы жизненны, даетъ провѣрку истинъ, исповѣдуемыхъ даннымъ временемъ, данной средой, даннымъ поколѣніемъ. Моралистъ можетъ разсуждать, но выводы его становятся обязательными лишь тогда, когда истина моралиста дѣлается органической. Сцена выясняетъ отношеніе между идеалистическимъ сознаніемъ, далекимъ отъ жизни, и непосредственной правдой.

Такимъ образомъ сцена является отвѣтомъ идеологамъ—въ особенности въ произведеніяхъ драматурговъ, живо чувствующихъ стремленія новой морали. Всегда есть новая творческая мораль и старая мораль переживаній, ибо мораль—живой организмъ. Анри Батайль—одинъ изъ такого рода писателей. Онъ поднимаетъ вопросы новой для французовъ морали и показываетъ ее въ столкновеніяхъ, создаваемыхъ живой дѣйствительностью. Онъ не обладаетъ дерзостью—чисто-внѣшней, впрочемъ—Анри Бернштейна, автора „Урагана“, „Вора“ и т. д., который угощаетъ французовъ всѣмъ, что имъ дорого: шикарными позами, шикарнымъ негодяйствомъ, шикарнымъ цинизмомъ и шикарными туалетами. Онъ не полемизируетъ со сводомъ законовъ, какъ прежде Дюма, а теперь Эрве и отчасти Бріе. Но онъ освѣщаетъ интимныя драмы жизни, и на нихъ провѣряетъ то, что для него является новой моралью.

Въ чемъ заключается эта новая мораль?

Давно, во времена Дюма, царилъ провозглашенный имъ лозунгъ: „Tue-la!“ Онъ относился не только къ адюльтерной женѣ, а въ сущности ко всѣмъ столкновеніямъ чувствъ. Онъ устанавливалъ право мести, право суда человѣка надъ человѣкомъ. Мораль тогда была самоувѣренная и хищнически-эгоистическая. Вліяніе русскаго романа внесло новую струю. Еще въ то время, когда, вслѣдствіе возникшей

моды на все русское, въ второстепенныхъ романахъ предлагали гостямъ „une tranche de samovar“, Антуанъ поставилъ въ создаваемомъ имъ тогда революціонно-реалистическомъ театрѣ „Власть тьмы“, а затѣмъ поставлена была передѣлка для театра „Преступленія и Наказанія“; эти двѣ пьесы имѣли огромное литературное и нравственное вліяніе во Франціи. Въ то время Жюль Лемэтръ, сопротивляясь во имя, какъ будто, своего позднѣйшаго націонализма, всѣмъ сѣвернымъ вліяніямъ, вывелъ формулу для русскихъ пьесъ: всѣ онѣ, по его словамъ, кончаются тѣмъ, что люди становятся на колѣни и публично каются. Формулу свою онъ подтверждалъ на довольно убѣдительныхъ примѣрахъ—„Грозы“ и „Власти тьмы“.

И вотъ, подъ этимъ возрастающимъ вліяніемъ создавалась новая формула морали во французской литературѣ. Явилось то, что французы окрестили „культъ жалости“, сами указывая на русскихъ великихъ писателей, какъ на источникъ этихъ эмоцій. Русская жалость—увы!—искажалась, и очень, такими писателями, какъ Буржэ, свихнувшийся въ сторону официального католичества. Но толстовство—въ смыслѣ замѣны „tue-la“ „русскимъ прощеніемъ“—осталось во французской литературѣ, и однимъ изъ яркихъ представителей его является Анри Батайлъ. Свою духовную близость съ Толстымъ онъ подтвердилъ тѣмъ, что обработалъ для сцены „Воскресеніе“, а что онъ проникся мыслями о любви и прощеніи—доказываютъ его пьесы.

Новая мораль для французовъ, и въ томъ числѣ, значить, для выразителя ихъ, Батайля, это—любовь и прощеніе, состраданіе, жалость къ чужому страданію. Прежде былъ вопросъ о чувствѣ и долгѣ. Теперь—о чувствѣ и—другомъ чувствѣ, или о чувствѣ другого. Пьесы Батайля построены на этой морали, и въ этомъ—ихъ идейный интересъ. Въ „Maman Colibri“, въ „Enchantement“ чувства, уклоняющіяся отъ практически нравственной нормы, любовь матери взрослыхъ дѣтей къ молодому другу ея сына, младшей сестры, полу-дѣвочки къ мужу старшей сестры, человѣчно и нѣжно оправданы, поняты и приняты съ любовью и жалостью.

Очень ярко эта постановка вопроса о жалости выступаетъ въ новой пьесѣ Батайля подъ названіемъ „Нагая женщина“ („Femme Nue“). Пьеса эта имѣла большой успѣхъ во Франціи; критика признала ее литературнымъ шедевромъ по замыслу и одною изъ самыхъ блестящихъ пьесъ современнаго репертуара по сценическимъ качествамъ. Для русскихъ читателей она представляетъ особый интересъ, какъ отголосокъ русской морали жалости,—но именно въ виду этого русскій читатель и русскій зритель отнесутся къ замыслу пьесы строже, чѣмъ французы. Русскому читателю и зрителю—(столь выигрышная для актеровъ и сценически интересная пьеса пройдетъ,

конечно, и на русскія сцены)—сразу раскроется основной недостаток пьесы, основная слабость замысла, происходящая именно оттого, что авторъ—во власти литературно навѣянной, а не органически произникающей его существо моральной идеи.

Мы говорили выше, что сцена провѣряетъ жизненность моральной идеи. Потому такъ велика русская литература, заразившая Европу „культомъ жалости“, что пророки любовной жалости въ литературѣ связаны съ народной психологіей. Во Франціи же культура—сурово-эгоистическая, практически-строгая. Этический идеаль останавливается на порогѣ права личности: дай Богъ обезпечивать всякому „то, что ему слѣдуетъ“, *son dû*,—а не переливать черезъ край потокомъ жалости. Поэтому „толстовство“ въ его идеаль любви и жалости по существу чуждо французу, и если его внести въ французскую дѣйствительность, то оно приведетъ или къ сентиментальности, т.-е. къ душевной фальши, или къ какому-то уродливому компромиссу между жалостью и практичностью. Такъ оно и происходитъ въ пьесѣ Баталы. Вотъ въ чемъ заключается содержаніе пьесы:

Молодой художникъ послѣ долгихъ тяжелыхъ лѣтъ упорнаго труда и лишений добился успѣха. Онъ получаетъ въ „Салонѣ“ золотую медаль, и будущность его обезпечена. Его привѣтствуютъ какъ новатора: онъ написалъ портретъ нагой женщины—своей модели, которая сдѣлалась его подругой и дѣлила съ нимъ его бѣдность,—и не назвалъ эту картину ни Венерой ни Діаной; онъ далъ искреннее воспроизведеніе живой красоты. Его картину еще до рѣшенія жюри покупаетъ продавецъ картинъ за шестьдесятъ тысячъ франковъ. Все сразу вознаграждаетъ талантливаго молодого художника за перенесенныя имъ лишенія и за то, что онъ продолжалъ вѣрить въ свои силы даже въ самыя тяжелыя минуты. И слава, и деньги, обезпечивающія не только расплату съ долгами, казавшимися прежде огромными, не только исполненіе скромныхъ желаній его подруги—велосипедный костюмъ и новая отдѣлка на корсажѣ,—но и безконечно много другого. Въ минуту перваго опьяненія художникъ не забываетъ, что въ значительной степени онъ обязанъ всеѣмъ своей подругѣ, Лулу. Ея прекрасное тѣло послужило ему моделью для прославившей его картины, а ея любовь и преданность помогли ему прожить въ радости долгіе годы ожиданій. Онъ любитъ всей душой свою простую подругу—и знаменуетъ начало новой жизни тѣмъ, что женится на ней. Его товарищи—въ ужасѣ. Лулу, модель, которая прежде вела самый легкомысленный образъ жизни, была въ связи съ однимъ изъ товарищей прославившагося молодого художника и потомъ только сошлась съ нимъ. Но онъ вѣритъ въ нее, въ ея любящее сердце, и женится на ней, чувствуя себя на вершинѣ земного счастья.

Но, какъ видно съ самаго начала второго дѣйствія, порывъ благородной признательности къ любимой подругѣ юности миновалъ. Художникъ очень вошелъ въ моду; онъ зарабатываетъ много денегъ, онъ сдѣлался живописцемъ *des belles madames*, по выраженію одного изъ его извѣстныхъ друзей, онъ принятъ въ свѣтъ, соблазненъ роскошью аристократическихъ салоновъ, любя, какъ художникъ, красивые предметы. Онъ соблазненъ, кромѣ того, и воплощеніемъ соблазна роскоши, молодой принцессой; она—милліонерка, купившая своими милліонами титулъ и очень стараго мужа—цинично предоставляющаго женѣ полную свободу. У художника новое роскошное помѣщеніе, и онъ принимаетъ у себя друзей и знакомыхъ. На первомъ приѣмѣ въ новомъ помѣщеніи мы и присутствуемъ во второмъ актѣ. Художникъ доволенъ всѣмъ—кромѣ своей жены. Лулу не подходитъ къ рамкамъ его новой жизни. Онъ заразился снобизмомъ, и простая, искренняя Лулу шокируетъ его на каждомъ шагу—тѣмъ болѣе, что новая страсть заглушила въ немъ прежнюю любовь къ женѣ. Онъ не любитъ свое прошлое, онъ пишетъ по иному, предпочитая шикъ искренности, забывъ прежнее преклоненіе передъ правдой и красотой живого тѣла и увлекаясь пышностью тканей или блестящемъ аксессуаровъ. Его знаменитую „Нагую женщину“ приобрѣло правительство, и онъ хлопочетъ, чтобы картину не повѣсили въ Люксембургѣ, а отправили куда-нибудь въ провинціальный музей. Лулу, подслушавъ разговоръ мужа съ однимъ изъ товарищей, возмущена тѣмъ, что мужъ хочетъ „отправить ее въ Каркасонъ“. Она гордится этой картиной, и ей кажется, что мужъ унижаетъ ее, стыдясь ея портрета. Художникъ возмущенъ и этимъ безтактнымъ, по его мнѣнію, отношеніемъ Лулу къ ея прошлому. Когда находящійся тутъ же учитель его начинаетъ проповѣдывать ему возвращеніе къ природѣ, ко всему простому, и совѣтуетъ ему цѣнить Лулу, онъ съ досадой отвѣчаетъ, что Лулу ему теперь не пара. Является принцесса, разряженная и насмѣшливая, чтобы посмотреть на домашнюю жизнь художника и на его жену. Художникъ принимаетъ ее наединѣ, предоставивъ всѣмъ уйти въ другую залу, гдѣ танцуютъ античные танцы англичанки въ жанрѣ Дунканъ. Лулу входитъ, и хотя не видитъ ничего, возбуждающаго подозрѣніе, но инстинктивно чувствуетъ, что что-то неладно. Слишкомъ ея мужъ и принцесса стараются объяснить, почему они тутъ вдвоемъ, а не прошли въ салонъ къ другимъ. Лулу проситъ мужа пойти къ другимъ гостямъ и, оставшись наединѣ съ принцессой, говоритъ съ нею съ искренностью простой, наивно до вѣрчивой души; она говоритъ, что безумно любить мужа, что онъ любитъ ее, и что разлучать ихъ—преступленіе. Опытная свѣтская кокетка посмѣивается надъ ея наивностью и старается ее увѣрить, что

она принадлежит къ другому—вышнему—свѣту, и что поэтому—при всей дружбѣ съ художникомъ и его женой—она ни въ какія личныя отношенія съ ними вступать не намѣрена. Лулу успокаивается, принимаетъ даже отъ принцессы въ подарокъ брошку, которую та снимаетъ съ себя и даетъ ей на память объ искреннемъ, сдружившемъ ихъ разговорѣ. Но у нея остается смутное чувство катастрофы, нависшей надъ нею. Она чувствуетъ себя брошенной, одинокой, унижаемой на каждомъ шагѣ. Почему мужъ пригласилъ своего товарища, ея бывшаго любовника? Значить, онъ хочетъ похоронить ея прошлое. Она принимаетъ преданнаго ей стараго друга какъ незваного и нежеланнаго гостя, и онъ уходитъ, огорченный ея несправедливостью. Вдругъ всѣ ея смутные страхи подтверждаются. Уйдя изъ комнаты къ гостямъ и вернувшись потомъ въ гостиную, гдѣ мужъ ея остался съ принцессой, она застаётъ ихъ въ нѣжномъ объятіи, не оставляющемъ въ ней никакихъ сомнѣній... Скандалъ потушенъ въ самомъ началѣ; старый принцъ уводитъ жену, жуя ее за неосторожность, а художникъ остается съ Лулу и тщетно старается унять ея неутѣшный плачъ натянутыми объясненіями о неизбежности мимолетныхъ капризовъ въ жизни артиста, о томъ, что онъ ее любитъ, и т. д. Она знаетъ, что все кончено, и онъ уводитъ ее, рыдающую, при спускающемся занавѣсѣ.

Эти два акта—вполнѣ въ рамкахъ французской психологической драмы и французскихъ нравовъ, и о нихъ можно говорить только со стороны художественнаго и сценическаго ихъ интереса—очень значительнаго. Отмѣтимъ пока только то, что они вполнѣ французскіе, изъ духовной сферы средняго француза—и даже средняго европейца. Неравный бракъ художника—объ этомъ много у Додэ въ его „*Femmes d'artistes*“. Простое любящее сердце въ борьбѣ съ испорченнымъ свѣтомъ—тоже использованная тема, можетъ быть вполнѣ жизненная и правдоподобная. Побѣда коварной и кокетливой принцессы надъ слабой волей и пылкимъ воображеніемъ художника,—это возможно и бывало. До сихъ поръ „все въ порядкѣ“, какъ говорятъ англичане.

Но вотъ третій актъ, и въ немъ замыселъ принимаетъ совсѣмъ другой—анти-практическій, анти-французскій характеръ. Лулу знаетъ, что мужъ ее не любитъ, что онъ хочетъ развестись съ нею, а принцесса—со своимъ мужемъ. Она импульсивно страстный человѣкъ и слѣдуетъ до конца логикѣ своихъ страстей. Она не разсуждаетъ о правахъ личности, она ненавидитъ соперницу—она не уступитъ любимаго мужа. Ей кажется, что у нея есть естественный союзникъ—мужъ принцессы, и она идетъ къ нему, чтобы предложить ему дѣйствовать сообща и не допустить развода. Но она попадаетъ въ міръ совершенно чуждыхъ ей чувствъ. Мужъ принцессы, цинично спокойный

аристократъ, развиваетъ передъ трепещущей отъ мукъ женщиной свою теорію комфорта и поддержки аристократическаго блеска жизни самыми унижительными компромиссами. Онъ не расположенъ къ драматическимъ порывамъ чувствъ. Онъ поступитъ такъ, какъ ему удобнѣе, какъ нужно для того, чтобы обезпечить себѣ до конца жизни самыя лучшія папиросы, т.-е. продать какъ можно дороже свое согласіе на всѣ требованія жены; такъ онъ дѣйствительно и поступаетъ. Этотъ законченный типъ свѣтскаго циника—одинъ изъ самыхъ удачныхъ въ пьесѣ. Лулу понимаетъ, что онъ тоже скорѣе противникъ, и уходитъ—но только изъ комнаты, а не изъ дома; она проходитъ въ дверь, ведущую въ садъ, и останавливается тамъ, чтобы увидѣть у соперницы мужа, который, какъ она знаетъ, сейчасъ къ ней придетъ. Онъ, дѣйствительно, приходитъ и, оставшись наединѣ съ принцессой, сначала говоритъ съ печалью о женѣ, о своей жалости къ ея незаслуженнымъ страданіямъ, но потомъ, подпадая подъ чары возлюбленной, говоритъ только о своей страсти; она ведетъ себя заносчиво и вмѣстѣ съ тѣмъ любовно, и онъ исполняетъ всѣ ея капризы, когда она обходится съ нимъ какъ съ дрессированнымъ домашнимъ псомъ. Входитъ Лулу и застаётъ ихъ врасплохъ. Она сначала грозитъ, бранится и обзываетъ принцессу и мужа грубыми выраженіями, когда принцесса, привыкшая улаживать все деньгами, предлагаетъ ей обезпеченіе, какъ она до того предложила—и съ успѣхомъ—своему мужу. Лулу горячо и гордо отказывается и наконецъ, въ разгарѣ сцены, говоритъ мужу: „Выбирай, которую изъ насъ ты хочешь—меня, отдавшую тебѣ всю жизнь, или ее—хотя ты знаешь, что я не могу жить безъ тебя“. Принцесса, которая находитъ, что художникъ недостаточно энергично противится женѣ, принимаетъ ея вызовъ и тоже говоритъ: „Скажите—я или она“. Это положеніе—наиболѣе интересное въ пьесѣ и наиболѣе новое во французскомъ театрѣ. Художникъ долженъ рѣшить, сдѣлать выборъ между жалостью и страстью—какъ въ театрѣ Корнеля приходилось выбирать служеніе долгу или вѣрность чувству. Постановка этого вопроса составляетъ заслугу Батайли, интересъ его пьесы. Онъ дѣлаетъ уклонъ въ сторону такого рѣшенія, въ которомъ вмѣсто судей и подсудимыхъ, какъ въ адюльтерныхъ пьесахъ прежняго французскаго репертуара, являются люди, понимающіе другого, и для которыхъ вопросъ о правахъ смѣнился голосомъ состраданія.

Но, поставивъ этотъ вопросъ, Батайль хочетъ и рѣшить его въ четвертомъ дѣйствіи драмы, — и тутъ обнаруживается несостоятельность французской психологіи передъ чувствомъ жалости, въ широкомъ, искреннемъ и правдивомъ смыслѣ слова.

Вотъ къ чему сводится доброта, въ французскомъ пониманіи — и вотъ что значитъ любовь французской женщины: Лулу видитъ не

уклончивому отвѣту мужа, что онъ склоняется въ сторону ея соперницы, и сама подписываетъ письмо къ судебнымъ властямъ съ требованіемъ развода. Она развязываетъ руки мужу и уходитъ — но съ тѣмъ, чтобы лишить себя жизни. Въ четвертомъ дѣйствіи она — въ лечебницѣ, куда ее помѣстили послѣ попытки застрѣлиться; она опасно, но не смертельно ранила себя въ грудь. За время ея болѣзни совершается переворотъ въ ея мужѣ — и въ принцессѣ. Они прониклись жалостью — и не хотятъ счастья цѣною жизни Лулу. Такова мораль жалости. Но тутъ-то именно и обнаруживается несостоятельность французскаго идеолога передъ моралью, съ которой онъ связанъ идейно, а не органически. Если говорить о жалости и любви, то, конечно, лишь о той, въ которой наше благо неотдѣлимо отъ блага того, кого мы любовно пожалѣли. Жалость только тогда благо, когда мы жалѣемъ вмѣстѣ съ собой, а не отдѣльно отъ себя. Нельзя жалѣть другого и продолжать жалеть своего блага, идущаго ему во вредъ. Это — милостыня, а не творческая доброта. И вотъ только такую милостыню предлагаютъ Лулу ея мужъ и принцесса. Она лежитъ въ постели, еще очень слабая — и къ ней приходитъ ея прежняя соперница. Это сцена удивительная и въ высшей степени оригинальная. Оригинальность ея подчеркиваетъ Лулу, которая все время повторяетъ: „Какъ это возможно? Передо мной моя соперница, та, которую я ненавидѣла, а мы говоримъ, какъ сестры!“ Этотъ моментъ — прекрасный, и принцесса, приходящая къ Лулу съ дѣйствительной жалостью, была бы новымъ явленіемъ во Франціи. Но ужасъ въ томъ — и тутъ-то смѣшался Баталь, — что она приходитъ съ компромиссомъ. Ей жаль Лулу, но жаль не творческой жалостью. Она хочетъ устроить компромиссъ — и говорить, что отказывается отъ брака съ художникомъ, чтобы не лишить Лулу крова и положенія. А когда приходитъ мужъ Лулу, и принцесса уходитъ, то все содержаніе ихъ жалости вполне обнаруживается. Художникъ предлагаетъ женѣ поселиться на югѣ, въ Каннѣ, гдѣ онъ найметъ ей виллу и куда будетъ какъ можно чаще къ ней прѣзжать. Она спрашиваетъ, будетъ ли онъ видаться съ принцессой, — и изъ отвѣта мужа ясно, что отъ своей страсти онъ не откажется. Словомъ, онъ ищетъ accommodations — какъ культурный французъ, правда, съ добрымъ сердцемъ. Лулу понимаетъ всю несостоятельность этой жалости; она чувствуетъ только одно — что мужъ ее не любитъ, а отъ его компромиссовъ предпочитаетъ отказаться. Она знаетъ, что она одна, и жизнь ей опротивѣла. Мужъ уходитъ все-таки въ агентство, гдѣ прочелъ объявленіе о виллѣ, — но тѣмъ временемъ происходитъ нѣчто совсѣмъ неожиданное. Является прежній другъ Лулу, который не переставалъ ее любить, — и она уходитъ съ нимъ. Вся любовь къ мужу, доведшая ее до самоубійства, становится, благодаря

этому концу, чисто практическимъ чувствомъ. Она осталась безъ крова, безъ заботъ о себѣ,—пришелъ другой предложить ей то, что отнялъ у нея разлюбившій ее мужъ—и она съ благодарностью принимаетъ спасительный даръ. А ея любовь? Значить, любовь женщины—пассивное чувство, только отвѣтное?

Конечъ пьесы и вся мораль ея, какъ мы видимъ, подчинены французскимъ понятіямъ, и если разсматривать замыселъ по отношенію къ цѣли, которою задается самъ авторъ, т.-е. къ вопросу о спасительной, творческой жалости, то окажется, что вмѣсто жалости мужъ Лулу предлагаетъ ей постыдный компромиссъ, т.-е., что, пожалѣвъ ее, онъ хочетъ соблюсти и свои отдѣльные отъ нея интересы. А жалость только тогда дѣйствительна, когда она соединяетъ желанія двухъ людей, разлученныя эгоистическими чувствами.

Художественныя и сценическія достоинства пьесы—очень большія. Интересенъ первый актъ, нравы артистической богемы, разговоръ художника съ продавцомъ, много остроумныхъ mots, хороши эпизодическія лица,—какъ мужъ принцессы,—есть нѣсколько удачныхъ типовъ художниковъ и художественныхъ критиковъ, есть любопытные разговоры объ искусствѣ, насмѣшки надъ погоней за медалями и т. д. Все это обезпечиваетъ успѣхъ пьесы. Она смотрится съ несомнѣннымъ интересомъ. Но только замыселъ ея не выполняетъ цѣли, поставленной себѣ авторомъ. Онъ поднялъ вопросъ о жалости—и рѣшилъ его компромиссомъ.—З. В.



МЫСЛИ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

ВЪ ДРАМАХЪ ШЕКСПИРА *).

So is it in the music of men's lives.

„Richard II“, V, 5.

„Быть или не быть“?!....

Никогда еще въ мировой литературѣ вопросъ о значеніи бытія и небытія, вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли жить, или не слѣдуетъ, не былъ поставленъ такъ ясно и смѣло, какъ Шекспиромъ—въ монологѣ Гамлета.

Этотъ ясный вопросъ требовалъ столь же яснаго отвѣта.

Однако, если мы подвергнемъ строгому логическому анализу тотъ отвѣтъ, который дается Шекспиромъ въ лицѣ его героя, Гамлета, то мы неминуемо придемъ къ заключенію, что отвѣтъ этотъ, несмотря на высоко-художественную форму, въ которую онъ вылился, не можетъ насъ удовлетворить.

Смерть—не болѣе, какъ сонъ,—такъ учить насъ Гамлетъ. И такъ какъ этотъ сонъ „окончить грусть и тысячи ударовъ—удѣлъ живыхъ“, то онъ „достойнъ желаній жаркихъ“. Но во снѣ могутъ быть сновидѣнія, и ихъ-то Гамлетъ боится. Онъ боится „чего-то послѣ смерти“. Еслибы у насъ могла быть увѣренность въ томъ, что нашъ сонъ послѣ смерти будетъ глубокимъ, вѣчнымъ и совершенно спокойнымъ, то всякій изъ насъ охотно разстался бы съ жизнью.

Такія мысли могли имѣть интересъ для современниковъ Шекспира, но мы ихъ давно переросли. Мы теперь совершенно увѣрены, что смерть дѣйствительно навсегда кончаетъ всѣ страданія и тревоженія нашей жизни, и что никакихъ „сновидѣній“ послѣ смерти нѣтъ и быть не можетъ. Вѣра въ безсмертіе, въ какое-то продолженіе личной жизни послѣ смерти, въ настоящее время не всѣми раздѣляется. Тишина могилы для насъ ничѣмъ не нарушима. И тѣмъ не менѣе современное человѣчество не считаетъ смерть „концомъ, достойнымъ желаній жаркихъ“, и стремится не къ смерти, а къ жизни. Жизнь поддерживается инстинктомъ, который

*) Всѣ стихотворные переводы Шекспира и Байрона въ этой статьѣ взяты изъ изданій Брокгаузъ-Ефрона.

представляет собою могучую стихійную силу, дѣйствующую равномерно во всемъ органическомъ мірѣ,—не поддающуюся никакимъ законамъ логики и въ сущности своей необъяснимую. Сила эта такъ велика, что никакія, даже самыя тонкія логическія разсужденія не въ состояніи ее разрушить. „Я живу для того, чтобы умереть“, — говоритъ Кайнъ въ поэмѣ Байрона, — „и, живя, я не вижу ничего, что могло бы заставить меня ненавидѣть смерть, еслибы не природное стремленіе, подлый и ничѣмъ необъяснимый инстинктъ жизни. Я его ненавижу и самъ себя презираю, но все-таки превозмочь не могу. И потому я живу“. Здѣсь Байронъ гораздо удачнѣе Шекспира отиѣтилъ то „соображеніе“, которое заставляетъ человѣка цѣпляться за эту столь презрѣнную жизнь и дѣлать несчастье такимъ живучимъ. Правда, это не объясненіе, но вѣрное указаніе на неизвѣстную и не отъ насъ зависящую силу. Объяснить жизненный инстинктъ мы не въ состояніи, такъ какъ вообще вопросъ о томъ, для чего именно, для какой цѣли мы живемъ, выходитъ за предѣлы человѣческаго мышленія — и если вообще можетъ быть разрѣшенъ, то развѣ только путемъ сложной философской системы, но ни въ какомъ случаѣ не драматическимъ монологомъ. Поставивъ этотъ смѣлый вопросъ, намѣтивъ великую проблему, Шекспиръ долженъ былъ на самомъ себѣ испытать, что и онъ—только человѣкъ. Говоря его же словами, мы можемъ сказать, что онъ „страшно взволновалъ все наше существо мыслями, лежащими за предѣлами нашихъ душъ“, но этими предѣлами, какъ всякій смертный, связанъ и онъ. „Шекспиръ стучится въ закрытыя ворота мистеріи“, мѣтко замѣтилъ Брандесъ, но эти ворота предъ нимъ не раскрываются.

Надо замѣтить, что Шекспиръ никогда не былъ метафизикомъ. Его великій, но вполнѣ трезвый умъ терялъ подъ собою почву, когда онъ обращался къ вопросамъ о тайнахъ „того свѣта“. „Эта земля—источникъ моихъ радостей, это солнце свѣтитъ моимъ страданіямъ. Разъ я долженъ съ ними разстаться, то пусть будетъ что угодно. Я не желаю слышать о томъ, будетъ ли въ будущемъ любовь или ненависть, будетъ ли и въ тѣхъ сферахъ верхъ или низъ“. Такъ могъ бы онъ говорить вмѣстѣ съ Фаустомъ Гёте. И оставаясь на этой землѣ, которую онъ такъ любилъ, на которой онъ выросъ, могучій и коренастый, какъ вѣковой дубъ, Шекспиръ разрѣшалъ проблемы не будущей, а настоящей жизни. И здѣсь, въ этой земной жизни, передъ нами настоящій Шекспиръ. Здѣсь на лицо всѣ его элементы. Картинная, образная рѣчь со словами, то нѣжно вкрадывающимися въ нашу душу, то рѣжущими и колющими какъ кинжалъ, широкое, благородное міросозерцаніе, схватывающее самый нервъ жизни и от-

брасывающее все мелочное, смѣлая, оригинальная и вполнѣ законченная мысль.

„Что жизнь?“—спрашиваетъ Макбетъ.

Отвѣтъ получается яреій, чисто Шекспировскій:

Тѣнь мимолетная, фигляръ,
Нектово шумящій на помостѣ
И черезъ часъ забытый всѣми; сказка
Въ устахъ глунца, богатая словами
И звономъ фразъ, но нищая значеньемъ.

Сравненіе жизни съ игрою на сценѣ здѣсь далеко не случайно. Шекспиръ, директоръ театра, актеръ и старый дѣятель сцены, долженъ былъ особенно любить это сравненіе. Оно ему навязывалось почти каждый день. Надъ входомъ въ театръ „Глобусъ“, участникомъ котораго былъ Шекспиръ, красовалась деревянная, ярко окрашенная фигура, изображавшая Атланта, несущаго земной шаръ, а внизу надпись: „Totus mundus agit histrionem“—„Весь міръ играетъ на сценѣ“.

„Весь міръ—сцена“ увѣряетъ насъ сатирическій философъ Жакъ въ комедіи „Какъ вамъ это понравится“:

Въ немъ женщины, мужчины, всѣ—актеры,
У каждаго есть входъ и выходъ свой,
И человѣкъ одинъ и тотъ же роли
Различныя играетъ въ пьесѣ, гдѣ
Семь дѣйствій есть.

Далѣе слѣдуетъ сатирическое перечисленіе этихъ семи дѣйствій, составляющихъ вмѣстѣ комедію человѣческой жизни. Грудной ребенокъ, школьникъ, любовникъ, солдатъ, судья, старикъ, безпомощный и смѣшной; и наконецъ, —

Последній актъ, кончающій собою
Столь странную и сложную исторію,
Есть новое младенчество—пора
Беззубая, безглазая, безъ вкуса,
Безъ памяти малѣйшей, безъ всего.

Здѣсь невольно вспоминается одна многозначительная параллель. Въ то самое время, когда въ Англіи создавались драмы Шекспира, въ Испаніи зрѣло и выходило въ свѣтъ другое великое произведеніе мировой литературы, „Донъ Кихотъ“ Сервантеса. И вотъ что говорить намъ рыцарь печальнаго образа, обращаясь къ Санхо Пансѣ и давая ему одно изъ тѣхъ безчисленныхъ нравственныхъ и моральныхъ поученій, по части которыхъ онъ такъ щедръ. „Совѣтую тебѣ, Санхо, имѣть хорошее мнѣніе о театрѣ и быть къ нему благосклон-

нымъ, въ особенности же къ актерамъ и драматическимъ поэтамъ, ибо они много содѣйствуютъ благу государства, при каждомъ нашемъ шагѣ показывая намъ зеркало, въ которомъ вѣрно отражаются жизнь и дѣянія людей. Драма и актеры—это картина, которая намъ ярче всѣхъ другихъ показываетъ, что мы такое и чѣмъ мы должны быть. Скажи мнѣ, видѣлъ ли ты когда-либо драму, въ которой выступаютъ короли, цари, папы, рыцари, дамы, а также всякаго рода личности. Одинъ играетъ злодѣя, другой мошенника, одинъ купца, другой солдата, одинъ умнаго шута, другой влюбленнаго шута, и когда комедія кончена и костюмъ снятъ, всѣ актеры опять между собою равны. То же самое происходитъ на большомъ театрѣ міра, на которомъ одни играютъ царей, другіе папъ, словомъ—всѣ тѣ роли, которыя встрѣчаются въ комедіи. Но подъ-конецъ, т.-е., когда жизненный свѣтъ угаснетъ, смерть сниметъ съ каждаго костюмъ, которымъ онъ отличался отъ другихъ. Въ могилѣ они всѣ равны“.

Если съ этими разсужденіями Сервантеса сопоставить слова Гамлета о томъ, что „актеры—зеркало и краткая лѣтопись своего времени“, и поэтому ихъ расположеніемъ нужно особенно дорожить; что конечная цѣль всякой игры на сценѣ состоитъ въ томъ, чтобы „держать, такъ сказать, передъ природою зеркало, показывать добродѣтели ея собственныя черты, насмѣшекъ—ея собственное изображеніе, самому вѣку и времени—форму и оттискъ его существа“, то сходство получается поразительное, ибо оно касается не только общей идеи, но и отдѣльных словъ и выраженій. А такъ какъ, насколько мы знаемъ, Шекспиръ и Сервантесъ ничего другъ о другѣ не знали, то сходство это могло возникнуть только путемъ совершенно самостоятельнаго творчества и почти одновременной гениальной интуиціи.

Итакъ, міръ—театральная сцена, человѣкъ на ней—не болѣе какъ актеръ,—такъ говорятъ намъ два великихъ современника, Сервантесъ и Шекспиръ. Но міръ не только сцена, міръ вромѣ того еще—тюрьма.

„Данія тюрьма“,—утверждаетъ Гамлетъ. „Такъ и весь свѣтъ тюрьма?“—спрашиваютъ Розенкранцъ и Гильденштернъ. „Превосходная“,—отвѣчаетъ Гамлетъ. „Въ ней много ямъ, каморокъ и капурокъ. Данія—одна изъ худшихъ“.

Это—одно изъ тѣхъ злыхъ и колкихъ замѣчаній, брошенныхъ Гамлетомъ какъ-то вскользь. Въ дѣйствительности же сравненіе міра съ тюрьмою у Шекспира также не случайно и тѣсно связано съ основными принципами его творчества.

Въ исторіи человѣчества тюрьма сыграла свою немаловажную роль. Въ ней пребывали и самые худшіе, и самые лучшіе элементы общества. Воры, грабители и разбойники съ одной стороны, Савонарола, Джіордано Бруно и Бонниваръ, съ другой стороны, прошли че-

резъ тюрьму. Въ тюрьмѣ человѣческая мысль работала усиленно, интенсивно. Не всегда при этомъ тюрьма въ своихъ стѣнахъ хранила эту мысль. Нерѣдко прямо изъ тюремной кельи она вырывалась наружу, на чистый воздухъ свободы, и здѣсь зажигала сердца людей, Сервантесъ написалъ первую часть „Донъ-Кихота“ въ тюрьмѣ; одно изъ лучшихъ произведеній Достоевскаго было продумано въ каторги. Тюрьма—лучшее доказательство того, что идеальное стремленіе человѣческой мысли не знаетъ никакой преграды, и поэтому она, предназначенная для лишенія свободы, является истиннымъ символомъ этой свободы, какъ это высоко-художественно выразилъ Байронъ:

Духъ вѣчной мысли, ты,—надъ камъ владыки нѣтъ, —
Всего свѣтлѣй горнишь во тмѣ темницъ, свобода!

Что же касается Шекспира, то самыя глубокія, мѣткія и художественныя соображенія о сущности человѣческой жизни, когда-либо имъ высказанныя, онъ вложилъ въ уста человѣку, заключенному въ тюрьму. Человѣкъ этотъ—король Ричардъ Второй.

Ричардъ Второй свергнуть съ престола узурпаторомъ Болингброкомъ и брошенъ въ Тауэръ. Онъ уже ранѣе, еще во время междоусобной войны съ Болингброкомъ, свылся съ мыслью, что ему придется разстаться съ королевской властью, и мысль о томъ, что король такое же ничтожество, какъ и всякій смертный, для него не нова. Но теперь передъ его глазами уже вѣрная смерть, ибо иной участи заключенному въ Тауэръ въ то время трудно было ожидать. И вотъ мысли о близкой смерти, безмолвная тишина и совершенное одиночество, вся эта странная и необычная обстановка заставляютъ усиленно работать его живой умъ и пылкое воображеніе. Эта тюремная келья, въ которую онъ заключенъ, для него теперь—весь міръ. Такъ какъ міръ этотъ не можетъ быть населенъ людьми, то королевскій узникъ населяетъ его мыслями, которыя здѣсь же должны родиться и быстро размножаться.

Мысли эти—по свойству и характеру своему—такія же многоразличныя, какъ и отдѣльные люди, населяющіе земной шаръ: отважныя и скромныя, пылкія и холодныя, парящія къ небесамъ и низменныя, благородныя и подлыя, и общая ихъ черта та, что онѣ никогда ничѣмъ не довольны и въ концѣ-концовъ исчезаютъ на подобіе мыльных пузырей, не оставляя слѣда.

Ни я, никто на свѣтѣ никогда
Своей судьбой доволенъ не бываетъ,
И не найдетъ онъ никогда покоя,
Пока не обратится онъ въ ничто.

Здѣсь дается понять, что „ничто“ есть дѣйствительно полный покой. Въ этомъ смыслѣ мысли Ричарда послѣдовательнѣе мыслей

Гамлета, ибо Ричардъ даетъ намъ прямой и ясный отвѣтъ. На вопросъ: „быть или не быть?“ — Ричардъ безъ малѣйшихъ колебаній отвѣчаетъ: „не быть“. Никакіе „сны“ его не пугаютъ. При этомъ, не безъ ироніи и сарказма онъ разбиваетъ два ходячихъ довода, которые обыкновенно приводятся въ защиту и въ оправданіе земной жизни. Одинъ изъ нихъ—священное писаніе, съ его безчисленными парадоксами и противорѣчіями, изъ числа которыхъ Шекспиръ приводитъ только одно, какъ наиболѣе извѣстное,—о томъ, что дѣти удостоиваются небеснаго царства только потому, что они — дѣти, а передъ богатымъ оно закрыто только потому, что онъ богатъ. Другой доводъ—это излюбленный самообманъ, старающійся свалить свои бѣдствія „на спину другихъ“ соображеніемъ, что не одинъ человѣкъ, а всѣ безъ исключенія страдаютъ, страдали и будутъ страдать. Оба эти довода ничего не объясняютъ и совершенно не выдерживаютъ критики анализирующаго, непредубѣжденнаго ума. Поэтому утвержденіе Ричарда, что счастье совершенно невозможно и небытіе лучше бытія, является единственнымъ логически правильнымъ и достойнымъ отвѣтомъ, „последнимъ выводомъ мудрости“, какъ сказалъ бы Гёте.

Казалось бы, на этомъ разсужденіи Ричарда можно бы остановиться. Онъ исчерпалъ всю суть жизни и дошелъ до послѣдняго предѣла, дальше котораго человѣческому уму идти нельзя. Но здѣсь происходитъ одно странное, своеобразное явленіе, которое необходимо подробнѣе разсмотрѣть.

Какъ только Ричардъ произнесъ слово „ничто“, столь характерно заканчивающее циклъ его разсужденій, какъ гдѣ-то,—въ зданіи ли Тауэра или внѣ его, это остается неяснымъ,—раздается звукъ музыки. И вдругъ, при звукѣ этой музыки, Ричарду кажется, что онъ что-то постигаетъ; что нѣчто, ранѣе для него неясное, вдругъ становится яснымъ; что какой-то скрытый до того смыслъ, неожиданно раскрывается передъ нимъ.

Мы знаемъ, что музыка вообще очень сильно дѣйствовала на Шекспира. Музыка по его представленіямъ слышится во всѣхъ окружающихъ землю сферахъ; каждая человѣческая душа полна музыкальной гармоніи. „Человѣкъ, который не носитъ музыки въ самомъ себѣ, котораго не трогаетъ созвучье сладкихъ звуковъ, готовъ на измѣну, интриги и грабежъ; движенія его души глухи какъ ночь, его чувства мрачны какъ Эребъ. Никому изъ такихъ людей не довѣряй. Прислушайся къ музыкѣ“.

Однако, для того, чтобы въ данномъ случаѣ объяснить магическое дѣйствіе музыкальных звуковъ на Ричарда Второго, недостаточно того вліянія, которое музыка вообще производитъ на каждого худо-

жественно воспримчиваго человека. Для объясненія этой нѣсколько загадочной сцены у Шекспира намъ кажется необходимымъ остановиться подробнѣе на вліяніи музыки на человека вообще и разобрать этотъ вопросъ съ отвлеченной, научной и философской точки зрѣнія. Большую помощь при этомъ намъ оказываетъ теорія Шопенгауэра о сущности музыкальных звуковъ. Мы тѣмъ болѣе вправѣ обратиться къ этой теоріи, что весь извѣстный монологъ Ричарда Второго насквозь проникнутъ настоящимъ Шопенгауэровскимъ пессимизмомъ, и если послѣ этого и вліяніе музыки на Ричарда Второго въ общемъ окажется согласнымъ съ теоріей Шопенгауэра, то это совпаденіе достойно нашего вниманія, не менѣе чѣмъ упомянутая уже выше аналогія въ міровоззрѣніяхъ Сервантеса и Шекспира ¹⁾.

Теорія Шопенгауэра нынѣ отвергнута и почти забыта. Тѣмъ не менѣе, она и въ наши дни имѣетъ не одинъ историческій и практический интересъ, хотя бы потому, что Рихардъ Вагнеръ высоко цѣнилъ ее и творилъ подъ ея вліяніемъ. Быть можетъ, сопоставленіе ея съ произведеніемъ Шекспира поможетъ намъ установить ту долю правды, которая несомнѣнно въ ней содержится.

По мнѣнію Шопенгауэра, музыка въ ряду другихъ искусствъ—поэзіи, зодчества, живописи и скульптуры—занимаетъ совершенно особое мѣсто. Между тѣмъ какъ другія искусства суть только изображенія и картины окружающихъ насъ явленій, музыка существуетъ совершенно самостоятельно, независимо отъ этихъ явленій, представляя собою не изображеніе ихъ, а существо ихъ, самую суть ихъ, Ding an sich, т.-е. волю. Между тѣмъ какъ всѣ другія искусства передаютъ намъ выраженіе воли посредствомъ изображенія отдѣльных вещей и предметовъ, въ форму которыхъ эта воля облекается, —музыка, существуя безъ всякой внѣшней формы, выражаетъ самую волю, сокровенную сущность всѣхъ мировыхъ явленій. Поэтому она, съ одной стороны, тѣсно связана съ другими видами искусства, представляя такъ же, какъ и они, выраженіе воли; съ другой же стороны—существенно разнится отъ нихъ въ томъ отношеніи, что въ музыкѣ все происходитъ „непосредственно“, безъ внѣшней формы, внѣ міра явленій. Въ этомъ отношеніи она стоитъ выше другихъ искусствъ, такъ какъ, обращаясь къ человѣческимъ чувствамъ, волнуя, трогая и радуя человека, она не нуждается ни въ словахъ, ни въ какихъ-либо внѣшнихъ формахъ проявленія. Отдѣльные тона на любомъ музыкальномъ инструментѣ, начиная съ самыхъ глубокихъ до самыхъ высокихъ, олицетворяютъ волю на различныхъ ступеняхъ

¹⁾ Относительно другой аналогіи между Шопенгауэромъ и Шекспиромъ см. мою статью „Теорія Шопенгауэра о безуміи и Гамлетъ Шекспира“. „Вѣстникъ Психологіи, Криминальной Антропологіи и Гипнотизма“. 1904. Выпускъ 10.

объективаций въ порядкѣ постепеннаго совершенствованія ея при переходѣ отъ неорганическаго міра въ органической, отъ минерала и кристалла черезъ растительный и животный міръ къ человѣку съ его сложнымъ и многообразнымъ міромъ чувствованій. Отрѣшенная отъ всякихъ внѣшнихъ явленій, музыка выражаетъ собою „истинную сущность“ ихъ. „Когда мы слышимъ музыку, подходящую къ какой-либо сценѣ, дѣйствию, событію или окружающимъ насъ явленіямъ, то намъ кажется, что она раскрываетъ передъ нами самый тайный ихъ смыслъ и является самымъ вѣрнымъ и яснымъ комментариемъ къ нимъ“.

Это послѣднее именно и происходитъ съ Ричардомъ II въ текицѣ. Онъ только-что кончилъ свои размышленія о жизни, найдя, что она—„ничто“. Но теперь совершенно неожиданно звуки музыки раскрываютъ передъ нимъ тотъ „тайный смыслъ“, о которомъ говорить Шопенгауэръ. Музыка на человѣка можетъ дѣйствовать, съ одной стороны, мелодіей, съ другой — тактомъ, мѣрою и рѣимой. Эти послѣдніе составляютъ ея сущность, точно также какъ и мелодія, ибо музыка безъ такта „перестаетъ быть музыкой“, какъ вѣрно замѣчаетъ Шопенгауэръ. Въ данномъ случаѣ на Ричарда мелодія музыки не дѣйствуетъ, такъ какъ музыка эта случайна, не связана съ его разсужденіями и ими не вызвана. Но тѣмъ сильнѣе на него дѣйствуетъ равномерный тактъ, раскрывая „тайный смыслъ“.

Что это? Звуки музыки. Ха, ха!
Такъ соблюдайте: музыка ужасна,
Когда ни такта въ ней, ни мѣры нѣтъ.

Тактъ музыки представляется Ричарду сущностью жизни. Мелодія ея можетъ постоянно мѣняться, но только жизнь, движущаяся по опредѣленному, равномерному такту, идетъ правильнымъ путемъ. У Ричарда этого такта никогда не было. Вся его жизнь была постояннымъ рядомъ внезапныхъ, немотивированныхъ и совершенно несогласныхъ между собою поступковъ. Два элемента составляютъ его проблематичную личность: пылкая художественная фантазія, богатѣйшее воображеніе съ одной стороны; атрофія воли, неспособность къ дѣйствию—съ другой стороны. Нерѣшительность и колебаніе у него видны во всемъ. На поставленный ему категорическій вопросъ Болингброва, согласенъ ли онъ навсегда отречься отъ престола,—онъ даетъ чрезвычайно характерный отвѣтъ: „Да, нѣтъ—нѣтъ, да“. Этотъ отвѣтъ рисуетъ всю его личность, личность совершенно непригодную къ дѣлу правленія государствомъ и вообще непригодную тамъ, гдѣ требуются не мечтанія, не красивыя и звучныя рѣчи, а разумное, цѣлесообразное дѣйствіе. Желанія у него вспыхивали внезапно, исте-

рически-страстно, воображеніе создавало чудныя художественныя картины; но, какъ у всякаго неврастеника, желанія эти быстро падали, страстный порывъ смѣнялся апатіей, одна крайность слѣдовала за другою. Во всей его жизни не было никакого руководящаго начала, не было мѣры и такта, который теперь ему слышится въ звукахъ музыки. Въ его жизни, говоря словами Рихарда Вагнера, не было лейтъ-мотива или, вѣрнѣе говоря, лейтъ-мотивомъ ея были именно дисгармонія, разстройство, рѣжущій ухо диссонансъ. Лейтъ-мотивъ лежитъ въ основаніи каждаго человѣческаго существованія. Въ этомъ смыслѣ и нужно понимать слова Шекспира, вполне согласныя и съ Вагнеромъ, и съ Шопенгауэромъ, о томъ, что человѣкъ долженъ „носить музыку въ самомъ себѣ“. Эта музыка есть отраженіе его истинной сущности, его лейтъ-мотивъ.

Вся жизнь Ричарда II прошла безцѣльно. Для Англіи его царствованіе принесло одинъ только вредъ. Его пылкій темпераментъ, съ заложенными въ немъ несомнѣнными задатками художественнаго, поэтическаго таланта, не нашелъ никакого примѣненія. Въ этомъ смыслѣ онъ самъ надъ собою произноситъ суровый, но справедливый приговоръ. „Я погубилъ время, и теперь время меня губитъ“ ¹⁾. Это трезвое и справедливое замѣчаніе вновь сопровождается однимъ изъ тѣхъ поэтическихъ, художественныхъ сравненій, до которыхъ Ричардъ II такой любитель. „Время превратило меня въ свои часы“,—разсуждаетъ онъ:

Мои всѣ мысли—тѣхъ часовъ минуты,
И раздѣленъ на вздохи каждый часъ;
Глаза мои—лишь циферблатъ, а палецъ,
Стирая слезы, движется какъ стрѣлка
По циферблату. Что же дальше, сэръ:
Бой тѣхъ часовъ—тѣ громкія стenanія,
Которыя мнѣ въ сердце тяжело бьютъ,
Какъ колоколь. Такъ слезы, вздохи, стоны
Считаютъ ходъ минутъ, часовъ и дней.

Эта мрачная картина опять-таки навѣяна звуками музыки. Безнадежное, пессимистическое настроеніе на минуту возмущаетъ Ричарда, но онъ быстро успокаивается.

Какъ бѣситъ эта музыка меня!

Въ этихъ послѣднихъ словахъ быстрый переходъ отъ возмущенія къ нѣжности, и поэтъ опять рисуетъ полную противорѣчій личность Ричарда.

¹⁾ Здѣсь необходимо замѣтить, что на англійскомъ языкѣ слова „время“ и „тактъ“ передаются однимъ и тѣмъ же словомъ: time, въ виду чего логическая связь разсужденій Ричарда съ звуками только-что воспринятой имъ музыки въ подлинникѣ гораздо яснѣе, чѣмъ въ переводѣ.

чарда II. На этихъ словахъ разсужденія его обрываются. Къ Тауэру уже приближаются наемные убійцы, отъ рукъ которыхъ ему суждено пасть.

Такимъ образомъ, у Шекспира вся наша жизнь представляетъ мрачную картину. То она—часовой механизмъ, равномерно передающій лишь „слезы, вздохи, стоны“, то—тюрьма, то—драматическая сцена. Человѣкъ—то слѣпое орудіе судьбы, то—узникъ и страдалецъ, то—жалкій путь. Личное счастье никому не суждено. Нѣтъ выхода, кромѣ смерти. Въ послѣднемъ своемъ твореніи, въ „Бурѣ“, Шекспиръ торжественно закрѣпилъ этотъ приговоръ:

Когда-нибудь настанетъ день,
Когда всѣ эти чудима видѣнья,
И храмы, и роскошныя дворцы,
И тучами увѣчанныя башни,
И самый нашъ великій шаръ земной
Со всѣмъ, что въ немъ находится по-нынѣ,
Исчезнетъ все, слѣда не оставивъ.
Изъ вещества того же, какъ и сонъ,
Мы созданы. И жизнь на сонъ похожа,
И наша жизнь лишь сномъ окружена.

Такъ говорилъ Шекспиръ. А черезъ триста почти лѣтъ ему вторитъ великій франкфуртскій философъ: „Этотъ нашъ столь реальный міръ, со всѣми своими солнцами и млечными путями—ничто“!

Р. В. Гевгардъ.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 октября 1908

Холера въ Петербургѣ. — Холера и городская дума. — Приостановка занятій въ петербургскомъ университетѣ. — Положеніе вопроса о низшей народной школѣ. — Проектъ Е. В. Богдановича. — Обязаны ли граждане содѣйствовать негласному списку? — Дополнительные выборы въ Г. Думу. — А. С. Медвѣдевъ и П. Х. Шванебахъ †.

Очередныя „злобы дня“—холера и если еще не разыгравшіяся, то готовыя разыгратъ событія въ университетахъ и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Что событія, нарушающія правильный и спокойный ходъ академической жизни, могутъ текущей осенью возникнуть, это представлялось возможнымъ и вѣроятнымъ еще съ января и февраля. Далѣе степень вѣроятности все увеличивалась и, по мѣрѣ приближенія начала учебнаго года, создавалась печальная увѣренность въ ихъ неизбежности. Но относительно холеры едва-ли кто предполагалъ, что эпидемія такъ жестоко разразится въ Петербургѣ.

По числу ежедневныхъ заболѣваній и по абсолютной смертности, эпидемія 1908 г. далеко оставила за собой двѣ послѣднія эпидеміи, бывшія въ Петербургѣ въ 1902 и 1904 гг. Въ эпидемію 1902 г. наивысшее число заболѣваній въ день равнялось 156, а наивысшее число смертныхъ случаевъ—51. Соотвѣтственныя цифры въ 1904 г.: 218 и 101. Въ нынѣшній же разъ, 9 сентября было зарегистрировано 419 заболѣваній и 176 смертныхъ случаевъ. Какъ и всегда, холера уносила и уноситъ преимущественно городскую бѣдноту. Но было немало заболѣваній со смертельнымъ исходомъ и среди высшихъ, болѣе состоятельныхъ классовъ населенія. Между прочимъ, жертвами холеры стали два молодыхъ ученыхъ: магистрантъ петербургскаго университета Карташевъ, наканунѣ заболѣванія сдѣлавшій себѣ предохранительную прививку, и профессоръ высшихъ женскихъ курсовъ Павловъ-Сильванскій. Бурно вспыхнула-было холера въ Павловскомъ военномъ училищѣ. Проникла она и въ больницы для душевно-больныхъ. Съ третьей недѣли эпидемія пошла на убыль, но пониженіе числа заболѣваній идетъ очень медленно. Гораздо замѣтнѣе повышеніе числа выздоровленій, особенно по сравненію со смертностью.

Такъ же, какъ и всегда, развитію холерной эпидеміи сопутствовали нелѣпыя слухи,—тѣ слухи, которые въ Поволжьѣ еще недавно при-

обходимы собранія думы съ 27 августа, когда появились первыя холерныя заболѣванія, и до 19 сентября, когда окончилось вакантное для гласныхъ время? Они были необходимы хотя бы для того, чтобы у обывателей не зародилась мысль, что дума будто бы бѣжала отъ холеры. Они были необходимы, чтобы раздѣлить съ гг. Рѣзцовымъ, Оппенгеймомъ и Аничковымъ отвѣтственность за всѣ порядки, ибо главный виновникъ организаціонныхъ неурядицъ, конечно, дума, а не городской голова и не предсѣдатели санитарной и больничной комиссій. Они были необходимы для немедленнаго отстраненія отъ дѣла г. Оппенгейма, если справедливо то, что сообщалось въ печати о его дѣятельности, или для немедленнаго же и авторитетнаго опроверженія сообщеній, если они были несправедливы. Наконецъ, мы рѣшительно отказываемся понять, какъ сами гласные, принявшіе избраніе и вмѣстѣ съ тѣмъ обязанность „вѣдать дѣла о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ“, могли находиться на отдыхѣ въ заграничныхъ или русскихъ курортахъ, зная, что въ Петербургѣ—холера. Нѣкоторые отдѣльные гласные не выдержали отдыха. Они ежедневно бывали въ засѣданіяхъ „маленькой“ думы и принимали энергичное участіе въ борьбѣ съ эпидеміей. Но дума въ полномъ составѣ 162 гласныхъ отсутствовала: она отдыхала...

Любопытный эпизодъ, касающійся борьбы съ холерой, прочли мы на страницахъ „Голоса Москвы“ (№ 216). Корреспондентъ газеты изъ Петербурга 17 сентября передалъ по телефону слѣдующее: „Предсѣдатель санитарной комиссій гласный Оппенгеймъ обратился къ градоначальнику съ просьбой запретить газетамъ нападки на его дѣятельность. Заявление гласнаго Оппенгейма возымѣло свое дѣйствіе, и газетамъ было предложено не касаться вопросовъ, связанныхъ съ дѣятельностью предсѣдателя санитарной комиссій. Сегодня редакторъ „Петербургскаго Листка“ г. Скроботовъ обратился къ товарищу министра внутреннѣхъ дѣлъ съ просьбой отмѣнить это распоряженіе, указывая, что оно лишаетъ газеты возможности касаться столь животрепещущаго вопроса, какъ борьба съ холерной эпидеміей. Товарищъ министра удовлетворилъ ходатайство редактора“. Неужели это правда? Здѣсь все любопытно: и обращеніе къ градоначальнику гласнаго думы, и распоряженіе градоначальника, и отмѣна распоряженія товарищемъ министра и, наконецъ, помѣщеніе приведеннаго сообщенія въ московской газетѣ. Въ петербургскихъ газетахъ, по крайней мѣрѣ намъ, оно на глаза не попадалось.

Надежды на то, что университетскій кризисъ разрѣшится безъ эксцессовъ со стороны молодежи, не оправдались. 20-го сентября въ петербургскомъ университетѣ началась забастовка. Съ утра лекціи

читались безпрепятственно, но послѣ 12 часовъ занятія пришлось прекратить: студенты производили въ аудиторіяхъ такой шумъ, что чтеніе лекцій стало невозможнымъ. Никакихъ болѣе рѣзкихъ происшествій, ни внутри университета, ни на улицѣ, въ этотъ первый день забастовки не было. Студенты очень быстро разошлись. Большіе наряды полиціи не имѣли повода приступить къ какимъ бы то ни было дѣйствіямъ.

Намъ не разъ приходилось высказывать наше отрицательное отношеніе къ студенческимъ забастовкамъ, и два года непрерывавшагося хода занятій въ петербургскихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, конечно, не способствовали тому, чтобы мы измѣнили нашъ взглядъ. Что касается нынѣ начавшейся забастовки, то она намъ представляется рѣзко ошибочной даже тогда, когда мы мысленно ставимъ себя въ положеніе студентовъ и пытаемся смотрѣть на дѣло ихъ глазами. Забастовка вызвана не какими-либо отдѣльными конкретными мѣрами, а всей вообще политикой министерства народнаго просвѣщенія, которое, въ каждомъ шагѣ и въ каждомъ распоряженіи прикрываясь буквой стараго закона, показываетъ рѣшительное намѣреніе вернуть въ старую колею университетскую жизнь, уже твердо освоившуюся въ новой. Министерство постоянно оговаривается, что оно не касается существа болѣзненныхъ для университетовъ вопросовъ о студенческихъ организаціяхъ, о вольнослушательницахъ и о предѣлахъ автономныхъ правъ профессорскихъ коллегій, а только охраняетъ силу закона „впредь до его измѣненія въ установленномъ порядкѣ“. Оно настойчиво заявляетъ, что ломаетъ сложившійся строй по чисто-формальнымъ соображеніямъ. Уже одно приложеніе мертвенно-формальной точки зрѣнія къ живому дѣлу и къ живымъ людямъ не можетъ не нервировать молодежи. Но за заявленіями министерства нельзя не чувствовать, къ тому же, если не неискренности, то недоговоренности. Своеобразность приѣмовъ толкованія стараго закона внѣ связи съ духомъ и внутреннимъ смысломъ позднѣйшихъ законодательныхъ актовъ, внесеніе юридическаго спора съ совѣтами университетовъ на „разъясненіе“ сената и неуклонное требованіе примѣненія своего пониманія закона, не ожидая „разъясненія“,—все это слишкомъ ясно подсказываетъ, что дѣло не въ буквѣ статей XI тома свода законовъ, а въ отношеніи министерства къ существу новыхъ порядковъ. Кромѣ того, развѣ у министерства народнаго просвѣщенія нѣтъ интерпретаторовъ? Чего не договариваетъ А. Н. Шварцъ, о томъ громко кричатъ телеграммы отдѣловъ союза русскаго народа, благодарственная грамота министру „предсѣдателя студенческаго отдѣла союза русскаго народа при петербургскомъ университетѣ“, студента Шенкена, и ежедневныя статьи „Русскаго Знамени“ и „Вѣща“.

Намъ понятно, что положеніе дѣла въ глазахъ нервно настроеннаго студенчества показалось крайнимъ. Крайнимъ оно рисуется и профессорамъ, о чемъ свидѣлствуютъ постановленія, принятыя совѣтами университетовъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ,—и печати, и обществу. Дѣйствительно, разсчитывать на объективность перваго департамента сената нельзя, на воздѣйствіе на правительство третьей Государственной Думы—трудно. Тѣмъ не менѣе, мы не только желали, чтобы студенчество не отдалось во власть настроенія, но считали и считаемъ, что оно должно было найти въ себѣ силы создавшееся настроеніе преодолѣть. Увеличила ли забастовка шансы разрѣшенія конфликта въ благопріятномъ для университетовъ смыслѣ? Едва ли могутъ быть сомнѣнія въ отрицательномъ отвѣтѣ на этотъ вопросъ. Забастовка отколола студенчество отъ профессуры. Она вырвала изъ рукъ совѣтовъ одинъ изъ сильныхъ аргументовъ въ пользу автономіи и новыхъ порядковъ: возстановленіе правильнаго хода академической жизни. Какъ будетъ реагировать на забастовку общественное мнѣніе, если забастовочное движеніе разовьется и распространится на всѣ высшія учебныя заведенія, пока еще не опредѣлилось. Но, во всякомъ случаѣ, не такъ, какъ реагировало осенью 1905 года. Это можно предугадать съ безошибочностью. Между тѣмъ, до забастовки общественное мнѣніе съ исключительнымъ единодушіемъ поднимало голосъ противъ политики А. Н. Шварца. На московскихъ прогрессивныхъ газетахъ, послѣ општрафованія „Русскихъ Вѣдомостей“, лежалъ запретъ касаться университетскаго вопроса. Но изъ „Голоса Москвы“ мы могли бы привести цѣлый рядъ статей, написанныхъ въ тонѣ, ничуть не уступавшемъ тону петербургскихъ „Слова“ и „Рѣчи“. Даже „Новое Время“ 19-го сентября отрещивалось отъ солидарности съ министерствомъ народнаго просвѣщенія. Газета писала, „что министерство народнаго просвѣщенія допустило рядъ нетактичностей, что въ вопросахъ и о студенческихъ старостахъ, и о вольнослушательницахъ, и въ отношеніи профессоровъ либеральныхъ партій оно поступило такъ торопливо и нервно, какъ этого вовсе не требовалось положеніемъ вещей“. „Словомъ,—заклѣчала газета,—мы отнюдь не сливаемся съ министерствомъ просвѣщенія ни въ его программѣ, ни въ его тактикѣ“.

Въ тотъ самый день, когда забастовка въ петербургскомъ университетѣ началась, совѣтъ постановилъ временно пріостановить занятія. Это рѣшеніе и быстроту его принятія нельзя не привѣтствовать. Задача минуты—понизить тонъ нервнаго настроенія студенческихъ массъ, и само собою разумѣется, достиженіе задачи тѣмъ легче, чѣмъ менѣеросло возбужденіе. Сломить студенческія массы, когда онѣ уже вступили на путь активныхъ дѣйствій, мѣрами универ-

ситетскаго воздѣйствія нельзя. Съ этимъ должно считаться хотя бы потому, что студентовъ тысячи. Мѣры же полицейскія, съ ихъ необходимыми, грозящими кровью, послѣдствіями,—неужели онѣ могутъ быть оправданы педантизмомъ, не допускающимъ уступокъ? Кромѣ общихъ соображеній объ анти-педагогичности уступокъ есть еще конкретный аргументъ, который обычно выставляютъ противъ закрытія университетовъ при объявленіи студентами забастовки. Говорятъ: не всѣ студенты отказываются слушать лекціи, и закрытіемъ университета совѣтъ нарушаетъ право неприсоединившихся къ забастовкѣ—право, созданное ими внесеніемъ платы за обученіе. Насъ глубоко возмущаетъ приложеніе такой коммерческой точки зрѣнія къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ. Внесеніе платы трактуется, какъ какой-то договоръ найма между студентами и профессорами. „Я внесъ деньги, и ты обязанъ мнѣ читать лекціи, а хочу я слушать или нѣтъ—мое дѣло“, — вотъ въ сущности слова, которыя вкладываетъ этотъ аргументъ въ уста студента по адресу профессора. „Долженъ ли ты читать мнѣ одному, подъ охраной городовыхъ, можешь ли ты спокойно излагать предметъ, зная, что изъ-за твоей лекціи растетъ возбужденіе десятковъ или сотенъ твоихъ вчерашнихъ слушателей, — все это меня не касается: слушать тебя мое право, и ты не смѣешь его нарушать“. Думаемъ, что такое разсужденіе, съ неумолимой логичностью вытекающее изъ приведеннаго аргумента, такъ больно бьетъ по профессорскому авторитету и по достоинству профессорскаго званія, какъ не можетъ быть никакая антипедагогическая уступка.

Но, согласно закону, рѣшеніе совѣта университета должно еще получить санкцію министра. Этой санкціи не послѣдовало. А. Н. Шварцъ нашелъ „недостаточными мотивы совѣта для принятія предположенной имъ мѣры“. А потому министръ народнаго просвѣщенія предложилъ „всѣмъ гг. профессорамъ и преподавателямъ продолжать чтеніе лекцій и другія учебныя занятія со студентами“, совѣту же— „принять, согласно § 2 указа 27 августа 1905 г., всѣ мѣры къ обезпеченію желающихъ продолжать учебныя занятія студентамъ полной къ тому возможности“. „Вмѣстѣ съ тѣмъ—заканчиваетъ министр,— вновь подтверждая, что распоряженія мои, касавшіяся нѣкоторыхъ сторонъ дѣятельности университетовъ, отнюдь не заключаютъ въ себѣ какихъ-либо ограниченій правъ, дарованныхъ университетамъ Высочайшимъ указомъ 27 августа 1905 г. и Высочайше утвержденными правилами 11 іюня 1907 г., я выражаю увѣренность, что совѣтъ разъяснитъ студентамъ какъ этотъ вопросъ, такъ и то, что волнующіе ихъ нынѣ всѣ вообще вопросы академической жизни въ ближайшемъ времени должны стать предметомъ обсужденія въ законодательныхъ

учрежденіяхъ, при разсмотрѣніи проекта новаго устава университетовъ, и въ тѣхъ же учрежденіяхъ должны получить свое разрѣшеніе". Въ моментъ, когда мы сдаемъ нашу хроникъ въ печать, на этомъ приходится поставить точку.

Допустимъ, что совѣтъ приметъ послѣднее указаніе и пожелаетъ „разъяснить" студентамъ то, что предлагаетъ министръ. Будетъ ли онъ въ силахъ исполнить требованіе? Отвѣтомъ могутъ служить слова ректора, И. И. Боргмана, сказанныя имъ сотруднику „Рѣчи" (№ 227): „Я глубоко убѣжденъ, что безъ допущенія широкаго представительства отъ различныхъ студенческихъ группъ нельзя рационально управлять университетомъ"... „Я повторю, нельзя обойтись безъ участія „злополучныхъ" старость, на которыхъ извѣстными кругами возводятся всевозможныя, абсолютно неправильныя обвиненія вплоть до обвиненія ихъ въ участіи въ экспроприаціи въ канцеляріи совѣта ¹⁾. Два года существовалъ у насъ институтъ старость, и за это время мы не имѣли никакихъ „инцидентовъ" и „конфликтовъ". Я согласенъ поэтому принять уже приписанное мнѣ однимъ изъ извѣстныхъ инспекторовъ названіе „староста старость", такъ какъ рѣшительно ничего обиднаго для себя въ этомъ званіи не вижу. Будь у насъ совѣтъ старость, я увѣренъ, не было бы настоящаго конфликта, даже при наличіи другихъ нашихъ разногласій съ министерствомъ. Мы призвали бы къ себѣ старость, и съ ними намъ не трудно было бы столковаться и выяснить дѣйствительное положеніе вещей. Но что же оставалось намъ дѣлать теперь? Съ кѣмъ говорить? Къ кому обращаться? *Вѣдь нельзя вести переговоровъ съ девяти тысячной массой*".

На вопросъ о предсказаніи ближайшаго будущаго, И. И. Боргманъ въ той же бесѣдѣ замѣтилъ: „Надѣюсь, что тѣ, отъ кого зависить дальнѣйшая судьба университета, поймутъ все это, и переживаемый кризисъ не сдѣлается затяжнымъ".

Болѣзненная острота университетскаго вопроса естественно отодвинула на второй планъ вопросъ о низшей народной школѣ. Деревня вообще не кричитъ о своихъ нуждахъ. Она кричала только въ короткіе „дни свободы". Прошли эти дни — и она снова погрузилась въ то молчаніе, въ которомъ находилась всегда. Со стороны же кричать о крестьянской деревнѣ и въ особенности о народной школѣ теперь некому. Прежде безъ устали твердило и напоминало земство. Земство новѣйшаго типа болѣе занято полицейской охраной, чѣмъ дѣломъ на-

¹⁾ Это обвиненіе принадлежитъ бывшему профессору университета, академику Соболевскому, и за его подписью напечатано въ газетѣ князя Ухтомскаго, въ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ". Совѣтъ университета поручилъ ректору привлечь г. Соболевскаго къ суду за клевету.

роднаго образованія. Да и не склонны „правые“ земцы тревожить и беспокоить „начальство“.

Последнее официальное заявленіе о положеніи вопроса было сдѣлано А. Н. Шварцемъ 10 іюня въ Государственной Думѣ. Отвѣчая на упрекъ въ медленности работы министерства, онъ сказалъ: „Министерство, говорите вы, дѣйствуетъ медленно. Вы совершенно правы. Я защищать въ этомъ отношеніи министерство, конечно, не могу, да и не собираюсь. Но вѣдь вообще законодательное дѣло не движется такъ быстро, какъ этого иногда бы хотѣлось. Это не такое легкое дѣло, какъ, кажется, вы думаете, ибо требуетъ прежде всего надежныхъ, твердыхъ и умѣлыхъ работниковъ, а ихъ немного, всѣ наперечетъ, и они становятся все рѣже и рѣже. Случайная болѣзнь моего ближайшаго сотрудника по выработкѣ устава начальныхъ школъ заставила меня отложить представленіе вамъ устава на два мѣсяца, ибо мнѣ некому было другому поручить это дѣло, и я предпочелъ выжидать, чтобы не поручать этого дѣла случайному человѣку“.

Это откровенное признаніе, чрезвычайно характерное для главы вѣдомства, въ которомъ, вопреки закону, вмѣсто двухъ штатныхъ членовъ совѣта министра получаютъ многотысячные оклады чуть не десять,—какъ извѣстно, вызвало принятіе Думою не менѣе характерной формулы, совместно предложенной октябристами фонъ-Анрепомъ и Капустиннымъ, кадетами Милюковымъ и Шингаревымъ и епископами Митрофаномъ и Евлогіемъ: „Въ виду заявленія г. министра народнаго просвѣщенія, что продолжительная болѣзнь одного изъ его сотрудниковъ была причиною, что разработка проекта закона о низшемъ образованіи была приостановлена,—Государственная Дума выражаетъ пожеланіе, чтобы г. министръ испросилъ нынѣ же нужную сумму на вознагражденіе лицъ, которыхъ онъ признаетъ необходимыми пригласить для разработки предстоящихъ законопроектовъ по неотложной коренной реформѣ низшаго, средняго и высшаго образованія, и на связанные съ таковой разработкой расходы“.

А. Н. Шварцъ, само собою разумѣется, этого коварнаго пожеланія не исполнилъ, и низшая народная школа стала терпѣливо ждать выздоровленія его „ближайшаго сотрудника“. Затѣмъ, уже въ августѣ, въ газетахъ промелькнуло извѣстіе о циркулярѣ, которымъ предлагалось училищнымъ совѣтамъ — направлять представленія съ планами введенія всеобщаго обученія не иначе, какъ черезъ директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ. Связано ли было это распоряженіе съ возвратомъ непосредственно направленныхъ представленій,—не знаемъ. Но, во всякомъ случаѣ, оно не способствовало ускоренію дѣла.

При такомъ положеніи вопроса казалось бы цѣлесообразнымъ широко использовать общественную инициативу въ разработкѣ если не

устава начальной школы, то главныхъ оснований признанной всѣми неотложной и все откладывающейся реформы. Правительство же поступаетъ наоборотъ. Въ виду предстоящаго открытія очередныхъ сессій уѣздныхъ земскихъ собраний, оно поторопилось изъять изъ обсуждения собраний проектъ, составленный лигой образованія. Изъ „Слова“ (№ 565) узнаемъ, что тверской губернаторъ разослалъ председателямъ земскихъ управъ и предводителямъ дворянства циркуляръ по поводу законопроекта лиги образованія. Въ циркулярѣ этомъ указывается, что „частное общество „лига образованія“ разослало въ земскія управы составленный имъ „проектъ школьнаго закона“, прося внести этотъ проектъ на разсмотрѣніе предстоящихъ очередныхъ земскихъ собраний“; далѣе — что, „согласно распоряженію министерства внутреннихъ дѣлъ“, означенный проектъ не можетъ быть допущенъ къ обсужденію въ земскихъ собраніяхъ, какъ имѣющій „характеръ не мѣстный, а общегосударственный“¹⁾.

Мы не входимъ въ оцѣнку, распоряженія министерства внутреннихъ дѣлъ, такъ живо напоминающаго времена Д. С. Сипагина и В. К. Плеве, съ точки зрѣнія стремленія вернуть земство къ этимъ ушедшимъ-было въ прошлое временамъ. Мы отмѣчаемъ его, какъ фактъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не можемъ не отмѣтить нѣкоторой поспѣшности распоряженія. Дѣло въ томъ, что есть полное основаніе думать, что въ предстоящихъ земскихъ собраніяхъ будутъ попытки подвергнуть обсужденію не одинъ школьный проектъ „крамольной“ лиги образованія, но также и проектъ „истинно-русской“ народной школы, принадлежащій мыслямъ и перу члена совѣта министра внутреннихъ дѣлъ и извѣстнаго автора патріотическихъ воззваній и брошюръ, г. Богдановича. Вѣдь придется пресѣкать и эти попытки.

Существо проекта Е. В. Богдановича просто—скажемъ—до наивности, чтобы не сказать—до дикости. Всѣ народные учителя должны быть исключительно изъ запасныхъ унтеръ-офицеровъ. Для приготовленія къ учительской дѣятельности, они должны пройти двухлѣтніе курсы, которые надлежитъ устроить „преимущественно въ городахъ, гдѣ расположены наши окружныя и корпусныя штабы, такъ какъ пре-

¹⁾ Кстати о Твери: 18 сентября въ газетахъ была напечатана слѣдующая телеграмма оттуда: „Губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіе отклонило постановленіе городской управы о наименованіи городского сквера именемъ бывшаго тверскаго губернатора, затѣмъ члена первой Государственной Думы, князя С. Д. Урусова“. Что это значить? Причемъ „постановленіе городской управы“, если о наименованіи сквера именемъ князя С. Д. Урусова состоялось рѣшеніе городской думы — и состоялось три года назадъ, когда князь Урусовъ оставилъ должность тверскаго губернатора? На основаніи какого закона губернское присутствіе „отклонило“ рѣшеніе городской думы, своевременно не опротестованное, черезъ три года послѣ его принятія?

подавателями на курсахъ должны быть наши офицеры генеральнаго штаба, законоучитель изъ академиковъ, и, наконецъ, ради (!) преподаванія педагогикъ, математики и русскаго языка, — мѣстные педагоги“. Органами руководства и надзора г. Богдановичъ проектируетъ волостныя, уѣздныя и губернскіе комитеты сложнаго состава съ участіемъ мѣстныхъ воинскихъ начальниковъ и „не менѣ“ двухъ, трехъ и четырехъ „землевладѣльцевъ изъ отставныхъ или запасныхъ офицеровъ“. Главными предметами занятій въ школахъ должны быть военныя упражненія съ деревянными ружьями и знаменами и изученіе „отечествовѣдѣнія“; а на грамоту г. Богдановичъ отводитъ: въ первый годъ шесть часовъ въ недѣлю, во второй — три часа и въ третій — два. Учителя изъ унтеръ-офицеровъ должны быть и профессиональными деревенскими ораторами. По предположеніямъ г. Богдановича, офицеры генеральнаго штаба должны ихъ приготовить къ тому, дабы ихъ „не могли побить хлѣсткимъ словомъ путешествующіе по нашимъ селамъ агитаторы, весь багажъ которыхъ заключается въ бойкихъ фразахъ изъ грошовыхъ брошюръ о томъ, какъ у насъ, якобы, все скверно, а у другихъ все прекрасно; дабы нашъ новый народный учитель, при односельчанахъ своихъ, могъ разбить эфемерныя доводы агитатора и попросту доказать, что онъ лжетъ и преступно смущаетъ народъ“.

И этотъ нелѣпый проектъ канцеляріи Государственной Думы предупредительно разослала всѣмъ ея членамъ! А одесскій генералъ-губернаторъ, ген. Толмачевъ, уже посылалъ привѣтствіе г. Богдановичу по поводу начала занятій въ городскихъ школахъ. Нелегко будетъ положеніе мѣстныхъ предводителей дворянства, въ виду распоряженія министерства внутреннихъ дѣлъ, — если, впрочемъ, не послѣдуетъ „разъясненія“, что запретъ касаться общегосударственныхъ вопросовъ относится только къ проекту лиги образованія, — когда г. Пурішкевичъ въ бессарабской губерніи или г. Марковъ — въ курской заведутъ рѣчь о „школахъ патріотизма“ по проекту г. Богдановича...

Распоряженіемъ петербургскаго градоначальника отъ 1 августа былъ подвергнутъ двухнедѣльному тюремному заключенію „за неисполненіе законнаго требованія полиціи“ швейцаръ одного изъ домовъ на Вас.-Остр., дворянинъ Антонъ Викентьевъ Барковский. Затѣмъ, приказомъ отъ 2 августа, Барковскому была назначена высылка изъ столицы.

Обстоятельства, послужившія поводомъ наказаній, наложенныхъ на Барковского, заимствуемъ изъ „Рѣчи“ (№ 184), гдѣ они были изложены въ слѣдующей запискѣ: къ Барковскому „явился агентъ охраннаго отдѣленія и потребовалъ различныхъ справокъ относительно

проживающаго въ домѣ одного лица, подвергавшагося нѣсколько времени тому назадъ обыску. Барковский, не исполнивъ требованія агента, удалить его изъ швейцарской, несмотря на предъявленіе агентомъ удостовѣрительной карточки. Черезъ два дня послѣ этого Барковский былъ вызванъ въ участокъ, гдѣ и подвергнутъ аресту; одновременно въ квартирѣ его былъ произведенъ обыскъ, завершившійся отображеніемъ всѣхъ найденныхъ бумагъ и книгъ".

По тексту замѣтки можно, пожалуй, сдѣлать предположеніе, что петербургскій градоначальникъ подвергъ наказанію Барковского не только за отказъ дать справки агенту охраннаго отдѣленія, но, быть можетъ, также за преступность формы удаленія агента изъ швейцарской и за преступный характеръ того, что было обнаружено при обыскѣ. При всей искусственности этихъ предположеній, мы считаемъ нужнымъ ихъ отмѣтить, такъ сказать, изъ осторожности,—въ устраненіе всякихъ недоразумѣній. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, мы позволяемъ себѣ ихъ игнорировать, такъ какъ насъ интересуетъ не судьба Барковского, а общій вопросъ, вытекающій изъ распоряженія градоначальника: обязаны ли граждане оказывать содѣйствіе негласному полицейскому розыску?

Требованіе, предъявленное Барковскому агентомъ сыска, было въ сущности требованіемъ дать свидѣтельское показаніе, т.-е. требованіемъ о выполненіи одной изъ тѣхъ формъ содѣйствія въ раскрытіи преступленій, которое, при условіи его предъявленія въ порядкѣ судебнаго изслѣдованія, составляетъ безспорную обязанность гражданъ. Данная форма содѣйствія слагается изъ двухъ моментовъ: во-первыхъ, изъ обязанности явиться по вызову и, во-вторыхъ, изъ обязанности дать показаніе. Въ обстановкѣ, въ которой агентъ потребовалъ справокъ отъ Барковского, личное прибытіе агента въ мѣсто жительства Барковского замѣняло вызовъ и явку послѣдняго. Но это не является существеннымъ обстоятельствомъ. Если бы къ Барковскому прибылъ судебный слѣдователь и тамъ, а не у себя въ камерѣ, приступилъ къ его допросу, то обязанность отвѣчать на предлагаемые вопросы для него стояла бы столь же несомнѣнно.

Дѣйствующее старое уложеніе о наказаніяхъ не знаетъ отказа отъ дачи свидѣтельскаго показанія, какъ самостоятельнаго преступнаго дѣянія, и потому вопросъ объ условіяхъ преступности такого отказа не имѣетъ прямого отвѣта. Но въ новомъ уголовномъ уложеніи есть особая ст. 172, которая гласитъ: „Явившійся къ слѣдствію или суду въ качествѣ свидѣтеля, понятого, свѣдущаго лица или переводчика, виновный въ отказѣ, безъ уважительной причины, исполнить свою обязанность, наказывается: арестомъ на срокъ не свыше одного мѣсяца или денежною пеней не свыше ста рублей“. Отсюда съ устраняющей

всякія сомнѣнія ясностью вытекаетъ, что основное условіе преступности отказа—отказъ на слѣдствіи или на судѣ. Но для дальнѣйшаго вывода объ обязанности гражданъ давать также свидѣтельскія показанія органамъ несудебной власти необходимо еще рѣшить попутный вопросъ: не покрывается ли эта обязанность общей формулой о неисполненіи законныхъ требованій полиціи?

При опредѣленіи объема уголовно-правового значенія послѣдней формулы глубоко ошибочно брать за исходное положеніе законность требованія, въ смыслѣ отсутствія преступности дѣйствія со стороны предъявившаго требованіе агента полиціи. Обратившись къ Барковскому за справкой, агентъ охраны, конечно, ничего преступнаго не совершилъ. Онъ исполнялъ свою обязанность, намѣревался примѣнить способъ розыска, ничего противозаконнаго въ себѣ не заключающій, и, слѣдовательно, субъективно, т.-е. для него, его требованіе было законно. Но для оцѣнки дѣйствія того, кто отказался исполнить его требованіе, важна объективная законность, въ смыслѣ обязательности исполненія предъявленнаго требованія. Только кажущимся будетъ противорѣчіе въ одновременномъ признаніи и что агентъ охраны дѣйствовалъ законно, и что Барковский своимъ отказомъ тоже не нарушилъ закона. Внутренняго противорѣчія здѣсь нѣтъ никакого, ибо субъективная законность въ дѣйствіяхъ одного отнюдь не исключаетъ субъективной же законности въ дѣйствіяхъ другого.

Уставъ уголовного судопроизводства не отличаетъ гласнаго розыска отъ негласнаго и считаетъ послѣдній однимъ изъ способовъ производства дознанія. Ст. 254 говоритъ, что „при производствѣ дознанія полиція всѣ нужныя ей свѣдѣнія собираетъ посредствомъ розысковъ, словесными разспросами и негласнымъ наблюденіемъ, не производя ни обысковъ, ни вымоковъ въ домахъ“. При этомъ, даже когда полиція замѣняетъ судебного слѣдователя, она „формальныхъ допросовъ ни обвиняемымъ, ни свидѣтелямъ не дѣлаетъ, развѣ бы кто-либо изъ нихъ оказался тяжело больнымъ и представлялось бы опасеніе, что онъ умретъ до прибытія слѣдователя“ (ст. 258). „Разспросъ“ по существу—то же, что „допросъ“. Но съ юридической стороны между этими понятіями есть большая разница, подчеркиваемая указаніемъ закона, что полиція „формальныхъ допросовъ“ не дѣлаетъ. „Допросъ“ предполагаетъ необходимое облеченіе его результатовъ въ письменную форму протокола, обязательно составляемаго въ присутствіи допрашиваемаго и закрѣпимаго его подписью. „Разспросъ“ же самъ законъ именуетъ „словеснымъ“, т.-е., это есть тотъ способъ полученія однимъ лицомъ свѣдѣній отъ другого, который ничѣмъ не гарантируетъ для разспрашиваемаго вѣрности послѣдующаго воспроизведенія его словъ. Можно ли, при такихъ условіяхъ, конструиро-

вать отвѣтъ на полицейскій разспросъ, какъ обязанность гражданъ, неисполненіе которой должно влечь уголовную отвѣтственность?

Если не имѣеть опоры въ уставѣ уголовного судопроизводства уравненіе, по юридическимъ послѣдствіямъ, отказа отъ дачи показанія слѣдователю съ отказомъ отвѣчать при словесномъ разспросѣ чиновъ наружной полиціи, то уже совсѣмъ представляется невозможнымъ уравнять обязанность содѣйствовать, въ какой бы то ни было формѣ, органамъ суда съ обязанностью содѣйствовать органамъ сыска. Сыскъ—дѣло темное,—дѣло, въ которомъ благовидные приемы переплетаются съ неблаговидными и въ которомъ практикуются подкупъ и обманъ. Скажутъ: такова печальная необходимость. Допустимъ. Но требовать отъ гражданъ участія въ этомъ дѣлѣ государство не имѣеть права. Гдѣ есть обманъ, подкупъ, подговоръ, тамъ не можетъ быть гражданской обязанности.

Въ сентябрѣ происходили дополнительные выборы членовъ Государственной Думы на вакансіи, открывшіяся за смертью или вступленіемъ сложения депутатами ихъ полномочій. Во всѣхъ случаяхъ избранными оказались или крайніе правые, или правые умѣренные, или октабристы. Торжествуя по этому поводу, „Россія“ писала по адресу прогрессивной печати, или „лѣвыхъ листовъ“, согласно обычной терминологіи газеты: „Въ числѣ ихъ излюбленныхъ утвержденій, сколько помнится, всегда была мысль, что именно выборы и ничто, кромѣ выборовъ, не опредѣляетъ политическія настроенія съ такой убѣдительною наглядностью. Очевидно, что съ этой точки зрѣнія они должны были бы признать нагляднымъ показателемъ настроеній и результаты тѣхъ дополнительныхъ выборовъ, которые происходятъ сейчасъ“.

Кого думалъ обморочить офиціозъ этими словами? Конечно, выборы всего лучше и нагляднѣе опредѣляютъ политическія настроенія. Но конечно также, что они опредѣляютъ настроеніе тѣхъ, кто выборы производятъ или хотя бы принимаютъ въ нихъ участіе. Если, положимъ, выборы производятъ дворянскія собранія, то болѣе, чѣмъ странно, судить по ихъ результатамъ о настроеніяхъ, господствующихъ среди крестьянъ и рабочихъ. При оцѣнкѣ значенія выборовъ, само собою разумѣется, нельзя не принимать въ соображеніе избирательнаго закона. Но въ отношеніи тѣхъ дополнительныхъ выборовъ, которые только-что имѣли мѣсто въ херсонской, казанской и въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, даже и принимать въ соображеніе законъ 3-го іюня нѣтъ надобности. Этотъ законъ еще въ прошломъ году предопредѣлилъ ихъ исходъ. Дополнительные выборы производились не собраніями избирателей, а собраніями выборщиковъ, т.-е. тѣми, образованными въ прошломъ году, коллегіями, поли-

тическія настроенія которыхъ извѣстны съ полной точностью по первоначальнымъ выборамъ. Избиратели никакого участія въ дополнительныхъ выборахъ не принимали. Слѣдовательно, ихъ результаты въ какой связи съ измѣненіемъ или съ сохраненіемъ политическаго настроенія въ странѣ не находится. Это все настолько элементарно, что нельзя не удивляться „смѣлости“, чтобы не сказать болѣе, „Россіи“ въ ея стремленіи кого-то въ чемъ-то убѣдить.

У себя на родинѣ, въ весьегонскомъ уѣздѣ, тверской губерніи, скончался членъ первой Государственной Думы, Александръ Семеновичъ Медвѣдевъ. Покойный происходилъ изъ крестьянъ. Его отецъ былъ „дворовымъ человѣкомъ“, а послѣ освобожденія крестьянъ занималъ должность волостного старшины. А. С. уже въ зрѣломъ возрастѣ окончилъ курсъ въ Демидовскомъ юридическомъ лицей. Но образованіе не оторвало его отъ родного уѣзда. Тамъ онъ былъ учителемъ, земскимъ страховымъ агентомъ, затѣмъ земскимъ гласнымъ и членомъ училищнаго совѣта. За участіе въ 1894 г. въ качествѣ гласнаго и секретаря тверского губернскаго земскаго собранія, подавшаго извѣстный адресъ съ указаніемъ на необходимость для Россіи введенія народнаго представительства, Александръ Семеновичъ получилъ Высочайшій выговоръ. Съ 1897 по 1905 г. продолжалось его вынужденное устраненіе отъ земскаго дѣла. Затѣмъ онъ былъ избранъ членомъ губернской земской управы, а годъ спустя—членомъ Думы. А. С. Медвѣдевъ пользовался большою популярностью среди мѣстныхъ крестьянъ. И въ Таврическомъ дворцѣ крестьяне внимательно прислушивались къ его голосу. А. С. умеръ внезапно, накануне приведенія надъ нимъ въ исполненіе приговора по дѣлу о выборскомъ воззваніи.

П. Х. Шванебахъ занималъ два министерскихъ поста: главноуправляющаго землеустройствомъ и земледѣліемъ—до образованія министерства гр. С. Ю. Витте и затѣмъ государственнаго контролера—въ кабинетѣ И. Л. Горемыкина и П. А. Столыпина. Въ первые дни по открытіи первой Думы онъ больше всѣхъ другихъ министровъ искалъ сближенія съ депутатами и высказывался отнюдь не въ реакціонномъ духѣ. Но послѣ роспуска Думы покойный занялъ въ кабинетѣ самое крайнее правое мѣсто. Въ Государственномъ Совѣтѣ онъ въ послѣднюю сессію выступалъ весьма часто и тоже всегда съ предложеніями и заявленіями наиболѣе реакціоннаго характера.

ОТЪ РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА „ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

Вслѣдствіе слабости здоровья и значительнаго утомленія послѣ сорока-трехъ лѣтъ трудовъ по изданію и редакціи журнала, основаннаго мною въ 1866-мъ году, когда и мнѣ самому исполнилось уже сорокъ лѣтъ, я вижу себя, къ великому сожалѣнію, вынужденнымъ сложить, съ 1909 года, званіе редактора и, по выходѣ въ свѣтъ шестого и послѣдняго тома журнала (ноябрь и декабрь) за текущій годъ, прекратить вмѣстѣ съ тѣмъ и самое изданіе журнала—подъ моею редакціей.

М. Стасюлевичъ.

30 сентября 1908 г.



ИЗВѢЩЕНІЯ

Отъ Высочайше утвержденного Комитета по устройству въ Москвѣ Музея 1812 года.

По мысли Императора Александра I-го воздвигнуть въ Москвѣ храмъ Христа Спасителя въ память двѣнадцатаго года, но до сего времени не осуществлена мысль и пожеланіе того же Императора воздвигнуть другой памятникъ, имѣющій вещественную связь съ событіями Отечественной войны.

Нынѣ съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія въ Москвѣ учрежденъ Комитетъ по устройству Музея 1812 года. Музей этотъ будетъ посвященъ памяти Отечественной войны. Все относящееся до участниковъ и свидѣтелей этой войны, все относящееся до пребыванія французской арміи и все связанное съ могучимъ подъемомъ народныхъ силъ въ эту знаменательную въ жизни Россіи годину, все это должно найти себѣ мѣсто въ Москвѣ, въ стѣнахъ новаго хранилища народной славы. Предки наши принесли въ 1812 году безпримѣрныя жертвы для блага и спасенія Родины. Наши жертвы должны явиться данью уваженія памяти ихъ великихъ дѣяній для увѣковѣченія славнѣйшихъ событій Русской Исторіи. Къ близящемуся столѣтію двѣнадцатаго года желательно видѣть Музей оконченнымъ, заполненнымъ и открытымъ.

Помощь нужна всяческая. Нужны и деньги прежде всего, дорога всякая копейка добротная, но и нужна помощь въ собираніи всякихъ вещей, книгъ, записокъ участниковъ войны, картинъ во всѣхъ ихъ видахъ и всего имѣвшаго касательство до Отечественной войны. Если у кого лично ничего не найдется, то онъ, можетъ быть, укажетъ Комитету, гдѣ у кого что сохранилось.

Комитетъ покорнѣйше просить всѣ послышки и сообщенія направлять непосредственно по указанному ниже адресу; туда же просить онъ направлять и денежные пожертвованія. Для удобства жертвователей деньги могутъ вноситься и во всѣ мѣстныя казначейства, отдѣленія Государственнаго банка и Государственныя сберегательныя кассы, на имя Комитета.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ будутъ публиковаться Комитетомъ ежемѣсячно.

Комитетъ помѣщается: Москва, Чернышевскій переулокъ, домъ Московскаго Генераль-Губернатора.

Предсѣдатель Комитета: генераль-отъ-инфантеріи Владиміръ Гавриловичъ Глазовъ.

Перечень предметовъ, особливо желательныхъ для Музея 1812 года въ Москвѣ.

- 1) Портреты героевъ, военачальниковъ и дѣятелей 1812 года русскихъ и иностранныхъ.
 - 2) Бюсты, статуи отдѣльныхъ лицъ, боевыя группы и другія скульптурныя произведенія.
 - 3) Военныя карты и планы полей сраженія и похода.
 - 4) Картины: масляныя, акварели, рисунки, эстампы, гравюры, литографіи сраженій и отдѣльныхъ эпизодовъ, а также виды мѣстности.
 - 5) Манекены воиновъ двѣнадцатаго года русскихъ и иностранныхъ.
 - 6) Военное оружіе и снаряды.
 - 7) Трофеи разнаго рода и модели памятниковъ.
 - 8) Вещественные памятники: ордена, медали, мундиры, предметы снаряженія, деньги и другіе предметы.
 - 9) Различныя воззванія, афиши и объявленія. Ассигнаціи Наполеона.
 - 10) Рукописи, мемуары, письма, документы и записки, принадлежащіе участникамъ эпохи.
 - 11) Книги, брошюры, газеты русскія и иностранныя, атласы и вообще печатныя изданія эпохи.
 - 12) Каррикатуры, лубочныя изданія, игральныя карты, посуда, стекло, фарфоръ съ изображеніями лицъ 1812 года и прочіе предметы, не вошедшіе въ предшествующіе пункты, но имѣющіе отношеніе къ эпохѣ приснопамятнаго года.
- Въ Музей также принимаются предметы, относящіеся къ годамъ 1811, 1813 и 1814 и имѣющіе непосредственную связь съ Отечественной войной 1812 года.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

П Я Т А Г О Т О М А

СЕНТИВРЬ — ОКТЯБРЬ, 1908.

Книга девятая. — Сентиврь.

	стр.
ЛВУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ. —На 28-ой августа 1908 г.—	
АЛЕКСѢЙ ЖЕМЧУЖНИКОВЪ	5
ВОСПОМИНАНІЯ О ЛВѢ НИКОЛАЕВИЧѢ ТОЛСТОМЪ. —	
I-XXII. — СЕРГѢЯ СЕМЕНОВА	7
„За одно слово“.—Разсказъ, съ предисловіемъ Льва Толстого.— В. С. МО-	
РОЗОВА	64
Кризисъ въ македонскомъ освободительномъ движеніи.— И. КАШИНЦЕВА	72
Въ „Толстовской“ колоніи.—По личнымъ воспоминаніямъ.— I-V. — А. М—ОВА	101
Творчество А. П. Чехова , его мотивы и идеи.—Критическій очеркъ.— IV-V. —	
Окончаніе. — А. И. КРАСНОСЕЛЬСКАГО	140
Роза Сарона — Повесть. — I-VII. — ОЛЬГИ ШАПОРЪ	170
Ранніе годы Н. Г. Чернышевскаго. —Изъ исторіи русскаго общества и лите-	
ратурн.—Окончаніе.— VIII-X. — В. Е. ВѢТРИНСКАГО	214
Предки.—Романъ Джертрудъ Асертонъ.—„Ancestors“, by Gertrude Atherton.	
—Окончаніе.—Часть третья: I-X. — Съ англ. О. Ч.	264
Изъ пьесъ о въ утраченной, Принца Шенанхъ-Каролата.— I-3. —	
О. ЧЮМИНОЙ	294
Исторія молодой дѣвушки.— C. Farrère Mademoiselle Dax, jeune fille. —	
Окончаніе.—Часть третья: VII-VIII. — Часть четвертая: I-VIII. — Съ	
франц. З. В.	297
Хроника. — Л. Н. ТОЛСТОЙ. — 1828-1908 гг. — К. К. АРСЕНЬЕВА	330
Внутреннее Овозраженіе. —Періодическое повтореніе тревожныхъ слуховъ.—	
Почему они легко находятъ вѣру.—Въ какой мѣрѣ осуществлены объ-	
явленія указа 12-го декабря 1904-го года.—Постановленіи кievскаго	
миссіонерскаго съѣзда.—Новыя теченія въ средѣ октябристовъ.—Цир-	
куляръ министра народнаго просвѣщенія.—Петиція финляндскаго сейма.	341
Литературное Овозраженіе. — I. П. Коганъ. Очерки по исторіи новѣйшей русской	
литературы. Томъ первый, вып. I.— II. Д. Н. Овсяннико-Куликовскій.	
А. И. Герценъ (характеристика).—III. К. Чуковский. Леонидъ Андреевъ	
большой и маленький.— IV. П. Засодимскій. Изъ воспоминаній и т. д.	360
Иностранное Овозраженіе. —Рѣчи Вильгельма II о войнѣ и мирѣ.—На чемъ	
держится миръ въ Европѣ.—Воинственныя мечты и миролюбивая	
дѣйствительность.—Разсужденія Ллойда-Джоржа.—Колоніальныя пред-	
пріятія и мароккскій вопросъ.—Турецкая конституція и балканскія	
дѣла	396
Новости Иностранной Литературы. — I. Edmond Lepelletier. Paul Verlaine.	
Sa vie, son oeuvre. — II. Tristan Bernard. Théâtre. I. — З. В.	407
Замѣтка. —По поводу новаго романа В. Чирчилля: „Карьера г. Крю“.	
Winston Churchill: „Mr. Crewe's career“. — П. А. ТВЕРСКОГО	423
Изъ Овощественной Хроники.—Къ юбилею Л. Н. Толстого. —Начало новаго	
учебнаго года.—Циркулярное возрожденіе умершаго закона.—Препода-	
вательскій вопросъ въ средней школѣ.—Дилемма, поставленная про-	
фессорами университетовъ.—Судьба одесскихъ профессоровъ.—За-	
крытіе студенческихъ экспертныхъ комиссій.—Изъ административной	
практики.—Въ прошломъ общественное значеніе И. С. Тургенева или	
въ настоящемъ?	426
Извѣщенія. — I-II.	444



Книга десятая. — Октябрь.

	стр.
Въ „Толстовской“ колонии. — По личнымъ воспоминаніямъ. — Окончаніе. — VI-IX. — А. МИХАЙЛОВА.	447
Изъ ученихъ тетрадей покойнаго Цесаревича Николая Александровича (1862 г.). — М. М. СТАСЮЛЕВИЧА.	490
Послѣ ссылки. — Личныя воспоминанія и замѣтки. — 1872-1906 г.г. — I. Верхнеуральскъ и Уфа. — II. Одесса. — III. Последніе годы. — В. ОБРУЧЕВА.	504
Роза Сарона. — Повѣсть. — Окончаніе. — VIII-XIV. — ОЛЬГИ ШАПОРЪ.	543
Литературныя воспоминанія о семидесятихъ годахъ. — П. Кропоткинъ. — С. Кравчинскій. — С. Синегубъ. — В. Девоторій-Мокриевъ. — I-V. — ИГН. ЖИТЕЦКАГО.	598
Ласточка. — Эскизъ по польскому роману Г. Даниловскаго: „Jaskółka“. — I-X. — Л. А. ВЪ.	620
Проповѣдникъ. — Романъ Маргариты Бёме. — „Apostel Dodenscheit“, v. Margarete Böhme. — Письма къ женщинѣ-другу. — Исторія моей юности. — I-IV. — Съ нѣм. О. Ч.	672
Въ деревнѣ. — Стихотворенія. — I-II. — О. ЧЮМИНОЙ.	717
Тореадоръ. — Повѣсть. — V. Blasco Ibañez. „Sangre y Arena“. — Novela. — I. — Съ испанск. З. В.	719
Посмертныя стихотворенія. — I. Севъ. — II. За шлагбаумомъ. — А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА.	758
Хроника. — Внутреннее Овозрѣніе. — Предстоящая сессія Государственной Думы. — Государство и правительство. — Профессора и „противоправительственныя“ партіи. — Вопросъ объ автономіи высшей школы. — Чрезвычайное проявленіе чрезвычайной охраны. — Новый законопроектъ о печати. — Саратовская городская дума и саратовскія церковныя власти. — Postscriptum.	760
По поводу статьи Смм. Ив. Васюкова: „По стѣнамъ Сѣвернаго Кавказа“. — Официальное опроверженіе.	777
Литературное Овозрѣніе. — I. Библиотека великихъ писателей, п. р. С. А. Венгера. Пушкинъ, т. II. — II. М. Л. Биннтокъ. Лира. — В. Бовтъ-Бруевичъ. Избранныя произведенія русской поэзіи. — III. Матеріалы къ исторіи и изученію русскаго сектантства и раскола, п. р. Вл. Б.-Бруевича. Вып. 1. — IV. Ж. Эльсландеръ. Новая школа, съ франц. — V. В. Анучинъ. Жизнь Якова Стеблинскаго. — VI. Б. В. Добришинъ. Задачи современной интеллигенціи. — М. Г. — VIII. В. Черновъ. Теоретика романскаго синдикализма. Поль Луи, Исторія синдикализма во Франціи. — VIII. Д-ръ Франке. Земельныя правоотношенія въ Китаѣ, съ нѣм., п. р. Н. И. Кухановскаго. — IX. П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюціи въ Россіи. — X. Очерки сельско-хозяйственнаго строя въ Бельгіи. — В. В. — Новыя книги и брошюры.	780
Иностранное Овозрѣніе. — Междупарламентская конференція въ Берлинѣ. — Рѣчь канцлера Бюлова и вопросъ о предупрежденіи войнъ. — Международнѣй конгрессъ журналистовъ. — Партийный съѣздъ германской социаль-демократической партіи.	813
Новости Иностранной Литературы. — Henri Bataille. La Femme Nue. — З. В.	825
Мысли о жизни и смерти въ драмахъ Шекспира. — Р. В. ГЕБГАРДА.	833
Изъ Общественной Хроники. — Холера въ Петербургѣ. — Холера и городская дума. — Приостановка занятій въ петербургскомъ университетѣ. — Положеніе вопроса о низшей народной школѣ. — Проектъ Е. В. Богдановича. — Обязаны ли граждане содѣйствовать негласному сыску? — Дополнительные выборы въ Г. Думу. — А. С. Медвѣдевъ и П. Х. Шва-небахъ †.	843
Отъ Редактора журнала „Вѣстникъ Европы“	858
Извѣщенія.	
Библиографическій Листокъ. — Русскіе портреты XVIII и XIX ст., т. IV, выд. — Бумаги, относящіяся до Отечественной войны, изд. П. И. Щуки. Часть X. — Ив. С. Тургеневъ для дѣтей, п. р. Н. Котляревскаго. Конституція Россійской Имперіи, Л. Слонимскаго. — Н. В. Слюни. Современное положеніе нашего Дальняго Востока.	

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКЪ

ИЗД. 1908 Г.

(Сорокъ-третій годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ПОДПИСНА ПЪНА:

ПОДПИСКА

DE. HAPHAET.

Печатается по авторскому рукопису М. М. Стасюковича.

РЕДАКЦІЯ „ВІСНИКА ЄВРОПИ“

ЕКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:



DUE NOV 27 1916

~~DUE JAN 21 '50~~

~~SEP 28 62H~~

~~MAY 28 1975 H~~

CANCELLED
903205